АКАДЕМИЯ НАУК СССР

АКАДЕМИК
Е. В. ТАРЛЕ

СОЧИНЕНИЯ

VII

Ев. Тарле

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

АКАДЕМИК

ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ ТАРЛЕ

СОЧИНЕНИЯ
В
ДВЕНАДЦАТИ
ТОМАХ

1959

ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА

АКАДЕМИК

ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ

ТАРЛЕ

СОЧИНЕНИЯ

ТОМ

VII

1959

ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА

Е. В. ТАРЛЕ

ОТ РЕДАКТОРА

В VII том Сочинений академика Е. В. Тарле входят его работы, посвященные Отечественной войне 1812 г. и Наполеону: «Наполеон» [1], «Нашествие Наполеона на Россию» [2], предисловие к I тому «Избранных произведений» Наполеона [3], статья «Михаил Илларионович Кутузов — полководец и дипломат» [4]. Тут же публикуется близкая по тематике статья «Французская революция и Англия» [5].

Том VII заключает в себе, таким образом, основной комплекс трудов Е. В. Тарле, посвященных Наполеону и его нашествию на Россию.

Эти работы, вызвавшие в дальнейшем оживленную полемику, хорошо известны советскому читателю. Главные из них известны и за рубежом: книги Е. В. Тарле «Наполеон» и «Нашествие Наполеона на Россию» были переведены на французский, английский, немецкий, итальянский и другие иностранные языки. Выход в свет указанных работ Е. В. Тарле явился в свое вре-

---

[1] Впервые опубликована отд. изд., М., 1936. 624 стр. (Жизнь замечательных людей. Серия биографий, вып. 4—6). Печатается по изданию: М., Госполитиздат, 1942. 368 стр.

[2] Впервые опубликована в журнале «Молодая гвардия», 1937, № 10—11, стр. 166—242; № 12, стр. 202—228; 1938, № 1, стр. 106—143; № 2, стр. 46—88; № 3, стр. 64—112. Отд. изд.: М., Соцэкгиз, 1938, 282 стр. Печатается по изданию: М., Госполитиздат, 1943, 364 стр.

[3] Опубликовано в кн. Наполеон. Избранные произведения, т. I, М., 1941, стр. V—VIII.

[4] Впервые опубликована в журнале «Вопросы истории», 1952, № 3, стр. 34—82.

[5] Впервые опубликована в кн. «Французская буржуазная революция 1789—1794». М.—Л., 1941, стр. 231—243.

мя значительным событием советской исторической науки, и правильно оценить их можно лишь с историографических позиций.

Отечественная война 1812 г. и темы, связанные с Наполеоном, не привлекали особого внимания историков в первый период развития советской исторической науки (1917—1934 гг.). В эти годы вышел сборник М. Н. Покровского «Дипломатия и войны царской России» [6], составленный в основном из статей по истории внешней политики России, написанных автором еще в 1907—1910 гг. для девятитомника «История России в XIX веке» (изд. бр. Гранат). Тут, в главе, посвященной обозрению внешней политики России в первые десятилетия XIX в., было отведено два десятка страниц «двенадцатому году». В III главе неоднократно переизданной в эти же годы «Русской истории с древнейших времен» [7], как и позже в «Русской истории в самом сжатом очерке» [8], М. Н. Покровский не уделял этой тематике самостоятельных глав, обычно включая скупые страницы, относящиеся к 1812 году, в вводную часть отдела о декабристах. В сущности этим и исчерпывалась в то время советская историография Отечественной войны 1812 г.

Остро критическое отношение М. Н. Покровского к дворянской историографии двенадцатого года было его заслугой. Он разоблачал официальную «царистскую» концепцию, характерную и для А. Н. Михайловского-Данилевского и для М. И. Богдановича, которые превозносили якобы решающую роль Александра I в войне, приписывали победу «царю и промыслу божию», принижали значение в войне народа и выдающихся русских полководцев.

Выдвигая на первое место императора, официальные дворянские историки рисовали народ как безликую массу, слепо преданную «царю-батюшке», и расписывали «любовь» закрепощенного крестьянства к помещикам, делая ее мотивом сопротивления врагу, насыщая понятие «отечественной войны» квасным патриотизмом. Однако, заняв правильные критические позиции

---

[6] Покровский М. Н. Дипломатия и войны царской России. М., 1923.

[7] Покровский М. Н. Русская история с древнейших времен. М., изд. «Мир», 1913—1914.

[8] Покровский М. Н. Русская история в самом сжатом очерке. М., Госиздат, 1920.

по отношению к дворянской историографии, М. Н. Покровский не сумел создать правильную позитивную марксистскую концепцию изучаемых явлений. Он «оправдывал» агрессию Наполеона, не разобрался в характере его захватнической политики, даже отказывал войне 1812 г. в названии «Отечественной», отрицал патриотизм народа и его роль в защите родины, затушевывал деятельность выдающихся русских полководцев, особенно М. И. Кутузова, полагал, что французская армия пала жертвой не народного сопротивления всей России, а недостатков собственной организации.

Уничижительная для великих событий трактовка М. Н. Покровского влекла за собой недооценку их и как темы исследования. Казалось неправильным посвящать силы разработке подобных малозначительных квази-патриотических тем, и они отодвигались на задний план, выпадали из числа очередных, не привлекая внимания исследователей. Научная молодежь не выбирала поэтому этих тем для углубленного изучения. Однако сознание неправильности концепции М. Н. Покровского и незаслуженного забвения, в которое погрузилась такая важная для исторического мировоззрения проблематика, мало-помалу созревало среди историков. Глубокая и правильная ленинская оценка этих исторических явлений была перед глазами — издание Сочинений В. И. Ленина способствовало повороту мысли. Исторические постановления Коммунистической партии и Советского правительства об ошибках М. Н. Покровского и его «школы» оказали огромную помощь исторической науке. Гораздо шире и планомернее стало изучаться ленинское наследие. Развилась монографическая работа, вышли в свет разнообразные исторические учебники, утвердилась продуманная марксистско-ленинская концепция отдельных исторических дисциплин, восстановились исторические факультеты. Наступил период значительного оживления в исторической науке.

Работы Е. В. Тарле «Наполеон» и «Нашествие Наполеона на Россию» вышли в свет вскоре после постановления партии и правительства об ошибках «школы» М. Н. Покровского. Они заняли свое место в числе едва ли не самых первых монографий, которыми советская наука откликнулась на эти исторические постановления. Свежие, талантливые, построенные на живом ма-

териале первоисточников, богатые правильными обобщениями и написанные рукой большого мастера слова, эти книги открыли перед советским читателем новую область крупного исторического значения. В книгах раскрывалась большая тема краха замысла мирового господства, разбившегося о сопротивление всколыхнувшихся народов. Эти великие исторические события были показаны на фоне эпохи крушения феодального строя, которому классовая борьба первых десятилетий XIX в. нанесла значительные удары. Работа о 1812 годе была проникнута чувством горячего патриотизма, и первые рецензенты справедливо называли ее «книгой о героизме русского народа». Перед читателем проходили живые картины далекого прошлого — сложная обстановка возникновения наполеоновского замысла мирового господства, острое экономическое соперничество между двумя капиталистическими странами — Англией и Францией; поднималась Россия как последнее препятствие к установлению всеевропейского владычества буржуазного диктатора, вероломное нападение которого на нашу родину вставало в живых образах. Тяжелые картины первого периода отступления сменялись драматически нарастающими событиями последующих дней, возникала фигура Кутузова как крупнейшего полководца, гремела Бородинская битва, враг вступал в Москву, собирались силы героически сопротивлявшегося народа, рисовались картины, партизанской борьбы, военных ударов усилившейся русской армии, изгнания врага... В условиях нараставшего напряжения предвоенных лет книги Е. В. Тарле сыграли большую положительную идейную роль, которая еще более возросла в годы Великой Отечественной войны с немецким фашизмом, когда эти работы вооружили тысячи военных лекторов и пропагандистов, легли в основу многих статей и популярных книг, были взяты на вооружение героической страной, боровшейся против гитлеровских захватчиков.

Е. В. Тарле никогда не считал свои работы о нашествии Наполеона на Россию такими монографиями, которые исчерпывали бы предмет и все положения которых были бы окончательными и неоспоримыми. Его живая исследовательская мысль всегда искала путей для нового продвижения вперед. Позднейшая критика его работ (1951 г.) указывала на их не-

достатки, говорила о необходимости расширить круг первоисточников через систематическое привлечение отечественного документального материала, дать анализ глубоких стратегических расчетов М. И. Кутузова перед Бородинской битвой, иначе проанализировать и самую битву, деятельно изучить и раскрыть подготовку и проведение в жизнь контрнаступления русской армии во втором периоде войны [9]. В статье Е. В. Тарле «Михаил Илларионович Кутузов—полководец и дипломат», напечатанной в 1952 г. в «Вопросах истории», автор пошел навстречу указаниям научной общественности и учел ряд критических замечаний, высказанных в указанной полемике.

Монография Е. В. Тарле о Наполеоне вносила значительный вклад в науку: тут впервые было проведено тщательное исследование экономической базы возникновения бонапартизма и раскрыто классовое лицо стремящегося к мировому господству диктатора, представлявшего на мировой арене крупную промышленную буржуазию Франции. В работе Е. В. Тарле было ярко показано, как Наполеон, поднявшийся на волне Французской революции, постепенно все более и более отходил от ее общенародных целей и становился представителем крупных французских промышленных буржуа, сохранивших из завоеваний Французской революции только то, что было выгодно новому эксплуататорскому классу. Раскрыть особенности экономических предпосылок бурных политических явлений начала минувшего века Е. В. Тарле помогли, конечно, его специальные исследования по истории континентальной блокады [10]. Книга Е. В. Тарле появилась в годы возрастающей в Европе опасности войны в связи с укреплением у власти фашистской диктатуры Гитлера — нового претендента на мировое господство,— она была поэтому в какой-то мере «созвучна» событиям, раскрывая неизбежность краха одного из более ранних замыслов мирового господства.

Публикуемые в настоящем томе работы Е. В. Тарле воспроизводятся по их последним прижизненным изданиям.

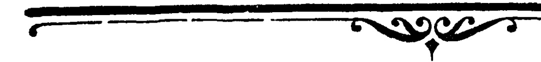
М. Нечкина

---

[9] «Большевик», 1951, № 19 (октябрь), стр. 77—80.

[10] См. наст. изд., т. III и т. IV.

Наполеон



ВВЕДЕНИЕ

Новое издание моей книги выходит в разгаре борьбы нашей героической армии против гнусной гитлеровской орды, возглавляемой человеком, который является в полном смысле мерзейшей и прежде всего смешной карикатурой на Наполеона.

Как известно, не только сам Гитлер, но и вся его шайка (в особенности Геббельс, Фрик, Дитрих и вообще те из них, кто «по письменной части») довольно настойчиво любит проводить параллель между «фюрером» и... Наполеоном. Они очень хвалят Наполеона «за объединение континента против Англии» и за попытку покончить с Россией. Разгром армий Наполеона в России в 1812 г., приведший в конечном счете к крушению наполеоновской империи, они объясняют не только морозами и другими случайностями, но и тем, что Наполеон както нерешительно ставил вопрос: он хотел победы и подчинения политики Александра его, наполеоновской, политике. А нужно было ставить дело шире, так, как поставил «фюрер»: нужно было поставить основной задачей физическое искоренение большей части русского народа и захват всей русской территории. Таким образом, «фюрер» призван возобновить и победоносно завершить дело великого императора. Этой скромной мыслью объясняется вся демонстративная, театральная шумиха, давно уже производимая гитлеровской бандой вокруг имени Наполеона. Этим объясняется и помпа с военным парадом при торжественном перенесении гроба сына Наполеона из Вены в Париж. Этим объясняется и то, что Гитлер, приехав в Париж, отправился прямо с вокзала поклониться праху Наполеона, к саркофагу во Дворце инвалидов, и другие комедиантские выходки в том же духе.

При всей смехотворности и прямой карикатурности серьезных сравнений ничтожного пигмея с гигантом стоит сказать несколько слов о глубоких, коренных отличиях, существующих между исторической почвой первой французской империи и

той почвой, на которой гитлеровская банда воздвигла свой шаткий кровавый балаган. Полуграмотная шайка, в которой недоучка Розенберг и пустейший бумагомарака Геббельс числятся уже эрудитами, только потому до сих пор не запретила зловещих для нее стихов Гете, что, конечно, никогда их и не читала. А великий поэт как будто предвидел это нелепейшее обезьянничанье Гитлера, когда писал свои бессмертные, истинно пророческие стихи:

Будь проклят тот, кого, как вал,
Гордыни буйство одолеет,
Кто, немцем будучи, затеет,
Что корсиканец затевал!
И вспомнит он поздней иль ране
Мои слова! Поверит им!
Он обратит весь труд, страданья,
Во зло себе и всем своим! [1]

Историческая обстановка, при которой началась, развивалась и окончилась изумительная карьера Наполеона, была такова, что ему суждено было отчасти в истории Франции, а особенно в истории покоренных им стран играть долгое время определенно прогрессивную роль.

Даже в самой Франции его военный деспотизм сохранил немало таких завоеваний революции, которые безусловно имели прогрессивный характер. Недаром Пушкин вслед за многими публицистами и историками своего времени назвал Наполеона «наследником и убийцей» революции. Не только «убийцей», но и наследником. Конечно, Наполеон уничтожил все ростки политической свободы, которые начали было всходить при революции. Он круто оборвал начавшееся было движение, которое, хотя с большими перебоями и уклонениями, все-таки устремлялось в сторону установления буржуазно-конституционного режима. Наполеон задавил во Франции всякое воспоминание, всякий намек на политическую свободу. На малейшее противоречие своей воле, своим предначертаниям он смотрел как на государственное преступление. Ни свободы слова, ни свободы печати, ни свободы собраний при нем не было и следа. Никакого участия граждан в государственном управлении, в законодательстве, в направлении текущей политики он не допускал. Всюду должна была царить его ничем не стесняемая воля. Законодательство, касающееся рабочего класса, затрагивающее отношения между рабочим и работодателем, уже при революции отличалось вопиюще несправедливым характером и отдавало рабочего в жертву хозяйской эксплуатации. При Наполеоне были введены новые постановления, еще более ухудшающие юридическое положение рабочего класса.

Но наряду с этими явлениями были налицо и другие.

Наполеон с самого начала своей государственной деятельности ясно сознавал и неоднократно провозглашал, что разрушенный Великой буржуазной революцией феодальный строй никогда уже не воскреснет и не должен воскреснуть. Наполеон своим светлым, трезвым умом сразу же увидел, что дворянские реакционеры, эмигранты, ни за что не желающие примириться с победой буржуазной революции, осуждены на полную неудачу, потому что как нельзя реку заставить течь в обратном направлении, от устья к истокам, точно так же невозможно повернуть вспять всемирную историю. Поэтому он создал обширную, всеобъемлющую систему гражданского права, кодекс уголовного права, стройную, глубоко продуманную сеть административных, судебных, финансовых учреждений, которые навсегда уничтожили возможность каких бы то ни было поползновений вернуть старый феодальный строй. Отняв у буржуазии право на прямое вмешательство в государственное управление и законодательство, Наполеон тем не менее вполне сознательно и планомерно производил своей единоличной, самодержавной волей те глубокие и очень прочные преобразования во французском государственном и общественном строе, которые соответствовали социально-экономическим интересам и потребностям буржуазного класса, в особенности буржуазии крупной.

Если, например, гражданское законодательство, устройство суда и управления в царствование Наполеона вполне удовлетворяли не только крупную, но и громадную по своей численности мелкую городскую и сельскую буржуазию, то внешняя политика Наполеона имела в виду в значительной мере интересы именно крупной буржуазии, промышленников по преимуществу. О процветании крупных промышленных фирм и о создании новых (в особенности в области текстильной индустрии) Наполеон заботился неукоснительно. И когда он сокрушал одно за другим государства феодально-монархической, дворянской Европы, то при заключении мира с противником никогда не упускал из виду реализовать максимально выгодные условия для французской промышленности. Побежденное государство должно было всякий раз превращаться, во-первых, в нужный для французов рынок сбыта и, во-вторых, в рынок сырья. Но Наполеон сознавал себя, да и был в самом деле, завоевателем и государственным человеком, а не уголовным разбойником, предводительствующим бандой преступных головорезов. Поэтому при всей эгоистичности своей политики, при всей эксплуататорской целеустремленности всех своих начинаний в области внешней политики французский император отчетливо понимал, что разорять в лоск покоренные народы прежде всего невыгодно и нецелесообразно.

Завоевав Италию, Наполеон прежде всего обеспечил

крестьянство этой страны от разных беззаконных поборов и притеснений, потому что ему нужно было, чтобы итальянский превосходный шелк-сырец не только продолжал бесперебойно доставляться во Францию для лионских шелковых мануфактур, но чтобы он доставлялся впредь еще в гораздо бо́льших количествах. А если спугнуть крестьянина, разрешив солдатчине оголтелый грабеж, то, конечно, всякая работа по возделыванию и сбору сырца прекратится и значение Италии как рынка сырья для французской промышленности будет подорвано. Подчинив себе все германские государства, Наполеон поставил их в такие условия, когда они могли продолжать спокойно и невозбранно свою хозяйственную деятельность. Разграбив же их сразу и дочиста, он уничтожил бы рынок сбыта для той же французской промышленности.

Мало того, когда Наполеон в завоеванных им странах беспощадно сокрушал феодальный строй, освобождал миллионы крестьян от крепостного рабства, провозглашал полное равенство всех сословий перед лицом гражданского и уголовного закона, он тем самым значительно повышал благосостояние населения этих стран, емкость и покупательную способность нового рынка сбыта для французской индустрии. Таким образом, разрывая всякие феодальные путы и ломая перегородки, ускоряя процесс включения Европы в развивающуюся систему капитализма, Наполеон, движимый прежде всего интересами французской буржуазной экономики, вместе с тем объективно служил делу экономического и социального прогресса, способствовал ускорению ликвидации старых, обветшалых форм быта. Таким образом, по своим последствиям его грандиозная историческая роль явилась в общем ролью прогрессивной.

Ничего общего нет и не могло быть между обстоятельствами, при которых возникла диктатура Наполеона, и условиями, сделавшими возможным хотя бы кратковременное владычество в Европе гитлеровской банды. Еще менее сходства, по-видимому, окажется между историей крушения наполеоновской империи и уже явно наметившимся ходом событий, которые приведут с полнейшей неизбежностью к уничтожению немецкого фашизма.

Сам Наполеон своим холодным, всегда ясным и светлым умом отлично понимал, в чем тайна его колоссальной популярности и могучей крепости его трона, который и в самом деле мог быть низвергнутым лишь после отчаяннейших и долгих усилий всей Европы. Он слышал возгласы крестьян при своем триумфальном возвращении в 1815 г.: «Да здравствует император! Долой дворян!» И он отвечал тогда на эти возгласы так, как ответил в Гренобле, едва войдя в этот город: «Я явился, чтобы избавить Францию от эмигрантов. Пусть берегутся свя-

щенники и дворяне, которые хотели подчинить французов рабству! Я повешу их на фонарях!»

Наполеон был несокрушим, и всякая борьба против него неизменно кончалась гибелью его противников, пока он выполнял свою роль «хирурга истории», ускоряющего торжество исторических прогрессивных принципов, пока он уничтожал огнем и мечом обветшалый и без того осужденный на слом европейский феодализм. Когда Маркс и Энгельс указывали, что наполеоновские войны в известном смысле сделали в странах континентальной Европы то дело, которое совершала гильотина во Франции в годы революционного террора, они имели в виду именно разгром всех европейских феодально-абсолютистских монархий, учиненный Наполеоном. От этих страшных ударов европейский феодальный абсолютизм уже никогда не мог вполне оправиться. Сочувствие прогрессивно настроенных кругов европейского общества в покоряемых Наполеоном странах, иногда скрыто, а иногда очень недвусмысленно выражаемое, было в те годы за Наполеоном обеспечено. «Мы приходили в чужую землю,— и сейчас же после нашего прихода помещик переставал бить по зубам своих крестьян и свою прислугу, сейчас же раскрывались мрачные монастырские тюрьмы, где фанатическое духовенство держало «еретиков», прекращалось наглое обхождение со всеми людьми недворянского происхождения»,— так вспоминали впоследствии старые наполеоновские солдаты времена победоносного шествия Наполеона по Европе. В первые годы наполеоновского владычества французская армия являлась в самом деле как бы вестником освобождения населения завоевываемых стран.

Правда, довольно скоро дело стало меняться. Наполеон начал обременять население покоренных стран все более и более тяжелыми податями, налогами, поборами всякого рода. Он стал также требовать от своих вассалов, чтобы они ежегодно поставляли в его армию определенное количество солдат. А при постоянных наполеоновских войнах эти солдаты часто возвращались домой калеками или — еще чаще — и вовсе не возвращались. Наконец, установив свою континентальную блокаду, т. е. уничтожив легальную возможность для всех покоренных им стран торговать с Англией, Наполеон сильно подорвал благосостояние, правда, не всех, но некоторых подвластных ему народов, например голландцев или жителей северогерманских портовых городов вроде Гамбурга, Бремена, Любека, которые до прихода французского завоевателя вели обширнейшую торговлю с англичанами. Правда и то, что многим промышленникам блокада, напротив, казалась выгодной, так как избавляла их от английской конкуренции.

Словом, с течением времени подвластные народы все более

и более тяжело переносили деспотическое владычество Наполеона, и прежнее сочувствие к нему начало сменяться разочарованием, раздражением, наконец прямой враждой. Но все-таки даже и в эти последние, самые тяжелые для побежденной Европы годы наполеоновского владычества все подданные французского императора без различия национальности и вероисповедания — и немцы, и итальянцы, и поляки, и голландцы, и бельгийцы, и славяне в Иллирии, и евреи — чувствовали себя под твердой защитой закона и были вполне уверены, что их личность и имущество зорко охраняются императорской полицией, императорскими судьями и администраторами от каких бы то ни было насилий, грабежа, воровства, нападений и посягательств. Всякий подданный Наполеона, даже в самых отдаленных и глухих местах его колоссальной империи, знал, что не только французский солдат, но и французский префект, верховный комиссар, даже наместник самого императора не посмеет беззаконно посягнуть на его жизнь, честь, имущество. Когда же друг детства, товарищ Наполеона по Бриенской военной школе Бурьен стал брать слишком откровенно поборы с гамбургских купцов, то и его Наполеон тотчас сместил с должности.

Наполеоновские новые подданные в завоеванной Европе на многое роптали, особенно к концу царствования, но многое и хвалили. Им нравилось установление строгой законности в судах и администрации (во всех «неполитических» делах, конечно), равенство всех граждан перед гражданским и военным законом, правильное ведение финансовых дел, отчетность и контроль, расплата звонкой монетой за все казенные поставки и подряды, проведение прекрасных шоссейных дорог, постройка мостов и т. д. «Наполеон много у нас брал, но много нам и давал»,— так отзывались о времени его владычества в 30 и 40-х годах XIX в. старики в Вестфалии, Италии, Бельгии, Польше. «Когда построена эта великолепная дорога?» — спросил однажды уже в конце 20-х годов XIX в. император австрийский Франц I, проезжая по Иллирии.— «При императоре Наполеоне, когда он отнял у вашего величества Иллирию!» — отвечали ему.— «В таком случае жаль, что он у меня хоть на один год не отнял всю Австрию, по крайней мере мы могли бы теперь ездить по всей нашей державе, не рискуя сломать себе шею!» — заметил Франц.

У Франца был типично обывательский взгляд в данном случае: Наполеон — сила, которая многое выправила, упорядочила и двинула вперед в области чисто материальной, узко технической. Но Франц — монарх старого, феодально-абсолютистского типа, и не мог, разумеется, смотреть также на все историческое дело Наполеона — разгром феодальной Европы —

с положительной точки зрения. Несколько позже того времени, когда сделал свое простодушное замечание император Франц, вот как вспоминали царствование Наполеона глубокие мыслители, основатели научного социализма: «Если бы Наполеон остался победителем в Германии, он, согласно своей известной энергичной формуле, устранил бы, по крайней мере, три дюжины возлюбленных отцов народа. Французское законодательство и управление создали бы прочную основу для германского единства и избавили бы нас от 33-летнего позора и тирании Союзного сейма... Несколько наполеоновских декретов совершенно уничтожили бы весь средневековый хлам, все барщины и десятины, все изъятия и привилегии, все феодальное хозяйничанье и всю патриархальность, которые еще тяготеют над нами во всех закоулках наших многочисленных отечеств» [2].

Последствием такой политики и было то, что за все царствование Наполеона экономические кризисы и голодовки были редким явлением и участились лишь к концу царствования. Вообще говоря, хозяйственная деятельность и во Франции и в вассальных государствах Европы развивалась нормально, насколько, конечно, вообще можно говорить о «нормальности» капиталистического строя, да еще при военных условиях. Золотая валюта, введенная Наполеоном, оказалась такой прочной, что почти не пошатнулась даже после страшнейших последних опустошительных войн Наполеона, сопровождавшихся такими катастрофами, как гибель великой армии в русских снегах в 1812 г. и как два нашествия на Францию неприятельских армий в 1814 и 1815 гг. Наполеон застал французские финансы в самом отчаянном положении, а оставил их в таком виде, что страны, победившие Наполеона, могли только от души позавидовать французам.

В том-то и дело, что Наполеон был деспот, но умный деспот, завоеватель, а не мародер, государственный человек, а не предводитель разбойничьей банды, гениальный законодатель, а не орудие шайки уголовных мошенников, и к своей исторической роли он готовился на полях победоносных битв, совершая бессмертные в военной истории стратегические и тактические подвиги в Италии и Египте, а не промышляя темными делами и делишками, в том числе ремеслом платного «осведомителя». Что угодно можно сказать о Наполеоне — и что он был способен на тиранические действия, на самые жестокие дела, и что проливал без конца человеческую кровь, и что вел захватнические, вопиющие, несправедливые войны, но одного только не скажет о нем ни один сколько-нибудь знающий историк — не признает в нем сходства с Гитлером, не выбранит его «Гитлером».

И не только потому, что так беспредельно велика разница

в силах и в духовной одаренности этих двух людей. Сходство между ними в самом деле ведь заключается лишь только в том, что оба они принадлежат к одной породе млекопитающих — людской. В этом смысле (но *только* в этом) и котенок, даже самый поганый и ничтожный, «похож» на самого величавого льва Атласских гор, потому что оба принадлежат тоже к одной и той же зоологической породе. Но тем саркастичнее всякое сопоставление их, и тем убийственнее для Гитлера прозвучали слова И. В. Сталина о котенке и льве в речи, произнесенной в Москве 6 ноября 1941 г.

Просто нельзя найти две индивидуальности, настолько ничего общего между собой не имеющие, как Наполеон и Гитлер. Лорд Розбери в своей книге о последних годах Наполеона сказал: «Наполеон до бесконечности раздвинул то, что до его появления считалось крайними пределами человеческого ума и человеческой энергии»[3]. Об Адольфе же Гитлере Генрих Манн и другие знающие его и хорошо его изучившие люди неоднократно высказывались так: свет никогда не узнал бы, до какой грязной мерзости и наглой глупости может дойти человек, если бы не было Гитлера, и до каких размеров может дойти позорное падение какого бы то ни было людского общества, если бы не было гитлеризма в современной Германии.

Уже совершенно наглядно обозначилась и вся разница между европейским тылом Наполеона перед 24 июня 1812 г. и европейским тылом гитлеровской Германии перед 22 июня 1941 г.

«Союзниками» Наполеона были державы, которые хотя и желали освобождения от его верховенства, но все-таки рассчитывали кое-что выиграть в случае его победы, и, самое главное, не только среди *правительств*, но и среди *народов* в покоренной Европе был известный разброд мнений по вопросу о том, желать ли поражения Наполеона, или нет. В Польше, Бельгии, Саксонии, Баварии, в некоторых странах Рейнского союза, в Северной Италии этот разнобой в настроениях в течение всего 1812 и даже еще начала 1813 г. очень и очень чувствовался. Вспомним, например, в каком отчаянии были во всей Европе не только фабриканты текстильных мануфактур, но и их рабочие, боявшиеся внезапной отмены континентальной блокады, что должно было сразу же повлечь наплыв английских товаров и породить упадок производства и безработицу в промышленных странах на континенте. Были и еще некоторые социальные слои и прослойки в европейском народонаселении, среди которых далеко не все желали падения Наполеона. Но уже зато в 1941 и 1942 гг. в отношении европейских народов к событиям на советско-германском фронте царит единство чувств и мыслей, небывалое никогда во всемирной истории. Лодзинский рабочий и архиепископ Кентерберийский, сербский пастух и па-

рижский студент, ректор Венского университета, скитающийся в эмиграции, и норвежский рыбак — все эти люди (если некоторые из них не понимали раньше) наконец поняли, что спасение или гибель цивилизации и даже просто спасение или рабство всех, не принадлежащих к гитлеровской уголовной банде, зависит прежде всего от геройской борьбы Красной Армии и ее конечной победы.

Умственная ограниченность всех этих итальянских Фариначчи и немецких Геббельсов, разглагольствующих о сходстве Гитлера с Наполеоном, такова, что им и в голову не приходит мысль о громадной разнице в исторической обстановке. Капитализм прогрессивный, победоносно шедший в гору, выдвинул Наполеона; капитализм реакционный, загнивающий, разлагающийся, явно сознающий свою обреченность и стерегущую его гибель, способен выдвигать только шайки бандитов, вся программа которых — зоологическая жестокость в борьбе за интересы наиболее отсталых, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала. Нынешние дегенераты, поражающие убогостью своего мышления и своим общим индивидуальным ничтожеством, строят всю свою «идеологию» на борьбе против тех перспектив, которые открыла человечеству Великая социалистическая революция в СССР; и пошли они в поход на нас с таким затхлым старьем, которое даже при Фридрихе II было уже изъедено молью и отбрасывалось даже этим хищником как совсем ненужный идеологический хлам.

Хочется отметить еще одну характерную черту: сравнить отношение к русской истории Наполеона с отношением к ней со стороны заправил гнусной гитлеровской банды.

Вспомним замечательное высказывание Наполеона о Петре I в разговоре, происходившем в Кремле 15 октября 1812 г.

Беспокойная, взволнованная мысль императора напряженно работала. Он все чаще и упорнее обращался тогда к запоздалому раздумью о необыкновенном народе, с которым он вступил в борьбу, о характере этого народа и об его истории. «Какую трагедию талантливый автор, истинный поэт мог бы извлечь из истории Петра Великого, этого человека, сделанного из гранита, как кремлевский фундамент,— человека, который создал цивилизацию в России и который заставляет меня теперь, сто лет спустя после его смерти, вести этот страшный поход!» — сказал Наполеон однажды, беседуя в Кремле с генералом графом Нарбонном о Петре Великом. «Я не могу опомниться от восхищения, когда я думаю, что в этом самом дворце Петр, 20 лет отроду, без советов извне, почти без всякого образования, перед лицом властолюбивой правительницы и всесильной партии старины, возымел и составил план своего царствования,

овладел властью и, помышляя сделать Россию победоносной и покоряющей, начал с уничтожения своевольного стрелецкого войска, которое казалось единственной силой царства. Какой пример моральной автократии!» Император сказал далее Нарбонну, что Петр Великий произвел «дворцовое 18 брюмера», низвергнув Софью. Наполеон восторгался тем, что одновременно с войнами Петр создавал и армию, и флот, и новую столицу. Императора особенно восхищало в Петре, что царь, «рожденный на троне», сам, по собственному желанию, решил пройти через испытания и поднять на себя труды, которым приходится подвергаться человеку, своими собственными усилиями добывающему себе верховную власть. Петр на некоторое время даже выехал за границу, «чтобы перестать быть царем и познать обыкновенную жизнь». «Ведь он добровольно сделался таким же артиллерийским прапорщиком, каким был и я!» — восклицал Наполеон. Этот разговор происходил в Кремле, в покоях Петра Великого, в октябре 1812 г. И Наполеон не мог не обратиться по ассоциации к тяжкой заботе, неотступно удручавшей его самого именно в этот момент: «Можете ли вы понять? — продолжал он: — И подобный человек, на берегах Прута во главе созданной им армии дал турецкому войску окружить себя!.. Таковы необъяснимые затмения в жизни величайших людей... Это все равно как и Юлий Цезарь, осажденный в Александрии египтянами!» [4]

Так судил Наполеон о Петре, бессмертную славу которого не считал ничуть помраченной теми или иными неудачами. Наполеон уже знал тогда, когда вел эту беседу, что и его собственный «страшный поход» на Москву тоже был «затмением», и примерами двух других «величайших людей» всемирной истории — Петра Великого и Юлия Цезаря — пытался, конечно, извинить себя самого. Но показательней всего тут ничуть не скрываемое полное восхищение Наполеона тем, что остановило на себе его внимание в истории великого русского народа.

И эту-то великую русскую историю пожелал «уничтожить» спустя сто тридцать лет после беседы Наполеона с графом Нарбонном полуграмотный, тупоумный немецко-фашистский мерзавец, приказавший именно с этой целью своей банде искоренять систематически всякие русские исторические реликвии.

Отрицать очевидный и безусловный факт, что страшный разгром феодально-абсолютистской Европы Наполеоном имел огромное, вполне положительное, прогрессивное историческое значение, было бы нелепой ложью, недостойной сколько-нибудь серьезного ученого.

Наполеон как деятель истории — явление, которое уже никогда и нигде повториться не может, потому что уже никогда и нигде не будет той исторической обстановки в мировой

истории, какая сложилась во Франции в Европе в конце XVIII и начале XIX в.

Автор ставит своей основной целью дать возможно отчетливую картину жизни и деятельности первого французского императора, его характеристику как человека, как исторического деятеля, с его свойствами, природными данными и устремлениями. Автор предполагает в читателе этой книги хотя бы общее знакомство с эпохой, с движущими историческими силами ее, с классовой структурой общества в послереволюционной Франции и в феодально-абсолютистской Европе.

В этой Европе именно Наполеону и суждено было нанести страшные удары феодальному строю. Не зная истории наполеоновской империи, читатель просто ничего не поймет во всей истории Европы от 1815 до 1848 г.

Эта книга представляет собой не популяризацию, а результат самостоятельного исследования, сжатую сводку тех выводов, к которым автор пришел после изучения как архивных, так и изданных материалов. Эти материалы он изучал (а некоторые из них впервые и нашел) при работе над своими двумя монографиями о континентальной блокаде и над исследованием о положении печати при Наполеоне. К ним прибавлены, конечно, и такие источники, которые относятся также и к другим сторонам деятельности Наполеона. В приложениях читатель найдет ссылку на некоторые документы, которые тут использованы, а приступающий к изучению эпохи найдет библиографию, которая даст ему указания на важнейшую старую и новую литературу.

Глава I

МОЛОДЫЕ ГОДЫ НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА

1

В городе Аяччо, на острове Корсике, 15 августа 1769 г. 19-летняя жена одного местного дворянина, занимавшегося адвокатской практикой, Летиция Бонапарте, находясь вне дома, почувствовала внезапное приближение родовых мук, успела вбежать в гостиную и тут родила ребенка. Около родильницы никого в этот момент не оказалось, и ребенок из чрева матери упал на пол. Так совершилось прибавление семейства у небогатого адвоката корсиканского городка Аяччо Карло Бонапарте. Адвокат решил дать в будущем своему сыну воспитание не корсиканское, а французское и, когда мальчик подрос, добился определения его на казенный счет в одно из французских военных училищ: учить сына на свой счет у многодетной семьи средств не было.

Остров Корсика, долгое время принадлежавший Генуэзской торговой республике, восстал против Генуи под предводительством одного местного землевладельца (Паоли) и в 1755 г. прогнал генуэзцев. Это было, по-видимому, восстанием мелкопоместных дворян и землевладельцев, поддержанных в данном случае охотниками, скотоводами в горах, беднотой в немногих городах, словом, населением, желавшим избавиться от беззастенчивой эксплуатации со стороны совершенно чуждой им купеческой республики, от фискального и административного гнета. Восстание увенчалось успехом, и с 1755 г. Корсика жила в качестве самостоятельного государства под управлением Паоли. На Корсике были сильны еще (особенно во внутренних частях острова) пережитки родового быта. Жили кланами, ведшими иногда долгую и ожесточенную войну между собой. Кровная месть (вендетта) была в очень большом ходу и нередко кончалась громадными побоищами между отдельными кланами.

В 1768 г. Генуэзская республика продала свои уже фактически несуществующие «права» на Корсику французскому

королю Людовику XV, и весной 1769 г. французские войска разгромили отряд Паоли (дело было в мае 1769 г., за три месяца до рождения Наполеона). Корсику провозгласили владением Франции.

Годы детства Наполеона проходили, таким образом, как раз тогда, когда на острове еще живы были сожаления о так внезапно вновь утраченной политической самостоятельности, а вместе с тем частью землевладельцев и городской буржуазии овладевала мысль, не стать ли окончательно, не за страх, а за совесть, подданными Франции. Отец Наполеона, Карло Бонапарте, примкнул к «французской» партии, но маленький Наполеон жалел об изгнанном защитнике Корсики, Паоли и ненавидел французских пришельцев.

Характер у Наполеона с раннего детства оказался нетерпеливым и неспокойным. «Ничто мне не импонировало,— вспоминал он впоследствии,— я был склонен к ссорам и дракам, я никого не боялся. Одного я бил, другого царапал, и все меня боялись. Больше всего приходилось от меня терпеть моему брату Жозефу. Я его бил и кусал. И его же за это бранили, так как бывало еще до того, как он придет в себя от страха, я уже нажалуюсь матери. Мое коварство приносило мне пользу, так как иначе мама Летиция наказала бы меня за мою драчливость, она никогда не потерпела бы моих нападений!»

Наполеон рос ребенком угрюмым и раздражительным. Мать любила его, но воспитание и ему и другим своим детям дала довольно суровое. Жили экономно, но нужды семья не испытывала. Отец был человек, по-видимому, добрый и слабохарактерный. Истинным главой семьи была Летиция, твердая, строгая, трудолюбивая женщина, в руках которой находилось воспитание детей. Любовь к труду и к строгому порядку в делах Наполеон унаследовал именно от матери.

Обстановка этого уединенного от всего света острова, с его довольно диким населением в горах и лесных чащах, с нескончаемыми междуклановыми столкновениями, с родовой кровной местью, с тщательно скрываемой, но упорной враждой к пришельцам-французам, сильно отразилась на юных впечатлениях маленького Наполеона.

В 1779 г., после больших хлопот, отцу удалось отвезти двух старших детей — Жозефа и Наполеона — во Францию и поместить их в Отенский коллеж, а весной того же 1779 г. 10-летний Наполеон был переведен и помещен на казенную стипендию в военном училище в г. Бриенне, в восточной Франции.

В Бриеннском военном училище Наполеон оставался угрюмым, замкнутым мальчиком; он быстро и надолго раздражался, не искал ни с кем сближения, смотрел на всех без почтения, без приязни и без сочувствия, очень в себе уверенный, несмотря на

свой малый рост и малый возраст. Его пробовали обижать, дразнить, придираться к его корсиканскому выговору. Но несколько драк, яростно и не без успеха (хотя и не без повреждений) проведенных маленьким Бонапартом, убедили товарищей в небезопасности подобных столкновений. Учился он превосходно, прекрасно изучил историю Греции и Рима. Он увлекался также математикой и географией. Учителя этой провинциальной военной школы сами не очень были сильны в преподаваемых ими науках, и маленький Наполеон пополнял свои познания чтением. Читал он и в этот ранний период и впоследствии всегда очень много и очень быстро. Французских товарищей удивлял и отчуждал от него его корсиканский патриотизм: для него французы были тогда еще чуждой расой, пришельцами-завоевателями родного острова. Со своей далекой родиной, впрочем, он в эти годы общался только через письма родных: не такие были у семьи средства, чтобы выписывать его на каникулы домой.

В 1784 г., 15 лет, он с успехом окончил курс и перешел в Парижскую военную школу, откуда уже выпускались офицеры в армию. Здесь были собраны первостепенные преподавательские силы: достаточно сказать, что среди преподавателей были знаменитый математик Монж и астроном Лаплас. Наполеон с жадностью слушал лекции и читал. Тут было чему и у кого поучиться. Но в первый же учебный год его постигло несчастье: он поступил в Парижскую школу в конце октября 1784 г., а в феврале 1785 г. скончался его отец Карло Бонапарте от той самой болезни, от которой впоследствии умер и сам Наполеон: от рака желудка. Семья осталась почти без средств. На старшего брата Наполеона, Жозефа, надежда была плоха: он был и неспособен и ленив. 16-летний юнкер взял на себя заботу о матери, братьях и сестрах. После годичного пребывания в Парижской военной школе он вышел 30 октября 1785 г. в армию с чином подпоручика и отправился в полк, стоявший на юге, в г. Валансе.

Трудно жилось молодому офицеру. Бо́льшую часть жалованья он отсылал матери, оставляя себе только на самое скудное пропитание, не позволяя себе ни малейших развлечений. В том же доме, где он снимал комнату, помещалась лавка букиниста, и Наполеон все свободное время стал проводить за чтением книг, которые давал ему букинист. Общества он чуждался, да и одежда его была так невзрачна, что он и не хотел и не мог вести сколько-нибудь светскую жизнь. Читал он запоем, с неслыханной жадностью, заполняя заметками и конспектами свои тетради.

Больше всего его интересовали книги по военной истории, математике, географии, описания путешествий. Читал он и фи-

лософов. Именно в эту пору он ознакомился с классиками просветительной литературы XVIII в.— Вольтером, Руссо, Даламбером, Мабли, Рэйналем.

Трудно установить, когда именно появляются в нем первые признаки того отвращения к идеологам революционной буржуазии и ее философии, которое так для него характерно. Во всяком случае 16-летний подпоручик пока еще не столько критиковал, сколько учился. Это тоже коренная черта его ума: ко всякой книге, так же как и ко всякому новому человеку, он приближался в эти начальные годы своей жизни с жадным и нетерпеливым желанием поскорее и как можно полнее извлечь то, чего он еще не знает и что может дать пищу его собственной мысли.

Читал он и беллетристику и стихи; увлекался «Страданиями молодого Вертера» и некоторыми другими вещами Гете; читал Расина, Корнеля, Мольера, нашумевшую тогда книгу стихов, приписанных средневековому шотландскому барду Оссиану (это была искусная литературная подделка); от этого чтения снова бросался к математическим трактатам, к книгам военного содержания, особенно к сочинениям об артиллерийском деле.

В сентябре 1786 г. он испросил себе долговременный отпуск и уехал в Аяччо, на родину, устраивать материальные дела своей семьи. Умирая, его отец завещал небольшое имение и довольно запутанные дела. Наполеон деятельно и успешно занялся этими делами и поправил материальное положение семьи. Отпуск свой ему удалось продлить до середины 1788 г., хотя, по-видимому, и без сохранения содержания. Но результаты его работы по дому и имению покрыли все.

Вернувшись в июне 1788 г. во Францию, он вскоре со своим полком был отправлен в г. Оксонн. Здесь он жил уже не на частной квартире, а в казарме и продолжал с прежней жадностью читать решительно все, что попадало под руку, и в частности основные труды по военным вопросам, волновавшим военных специалистов XVIII в. Однажды, посаженный за что-то на гауптвахту, он совершенно случайно нашел в помещении, где был заперт, неизвестно как попавший сюда старый том юстиниановского сборника (по римскому праву). Он не только прочел его от доски до доски, но потом, почти 15 лет спустя, изумлял знаменитых французских юристов на заседаниях по выработке Наполеоновского кодекса, цитируя наизусть римские дигесты. Память у него была исключительная.

Способность к упорнейшему умственному труду, к долгому размышлению сказалась в нем уже в этот ранний период. «Если кажется, что я всегда ко всему подготовлен, то это объясняется тем, что раньше чем что-либо предпринять, я долго размышлял уже прежде; я предвидел то, что может произойти. Вовсе не

гений внезапно и таинственно (en secret) открывает мне, что именно мне должно говорить и делать при обстоятельствах, кажущихся неожиданными для других,— но мне открывает это мое размышление. Я работаю всегда, работаю во время обеда, работаю, когда я в театре; я просыпаюсь ночью, чтобы работать»,— так говорил он неоднократно впоследствии. О своей гениальности он упоминал часто с каким-то легким налетом иронии или насмешливости, а о своей работе — всегда с большой серьезностью и с большой настойчивостью. Он гордился своей колоссальной работоспособностью больше, чем какими бы то ни было другими дарами, какими наделила его столь неограниченно щедрая к нему природа.

Тут, в Оксонне, он и сам берется за перо и составляет небольшой трактат по баллистике («О метании бомб»). Артиллерийское дело окончательно становится его излюбленной военной специальностью. Остались в его бумагах от этого времени также и кое-какие беллетристические наброски, философско-политические этюды и т. п. Здесь он частенько высказывается более или менее либерально, иногда прямо повторяет некоторые мысли Руссо, хотя в общем его никак нельзя назвать последователем идей «Общественного договора». В эти годы его жизни бросается в глаза одна черта: полное подчинение страстей и желаний воле и рассудку. Он живет впроголодь, избегает общества, не сближается с женщинами, отказывает себе в развлечениях, работает без устали, сидит за книгами все свободное от службы время. Согласился ли он окончательно удовольствоваться своей долей — долей небогатого провинциального офицера, корсиканского дворянина из бедных, на которого аристократы-товарищи и аристократы-начальники всегда будут смотреть сверху вниз?

Он не успел ясно сформулировать ответ на этот вопрос и еще меньше успел конкретно развить планы будущего, как сначала зашаталась, потом надломилась, потом провалилась та сцена, на которой он готовился действовать: грянула Французская революция.

2

Те бесчисленные биографы и историки Наполеона, которые склонны наделять своего героя сверхъестественными качествами мудрости, пророческого дара, вдохновенного следования своей звезде, хотят уловить в 20-летнем артиллерийском поручике оксоннского гарнизона предчувствие того, чем для него лично будет разразившаяся в 1789 г. революция.

На самом деле все обстояло гораздо проще и естественнее: по социальному своему положению Наполеон мог только выиг-

рать от победы буржуазии над феодально-абсолютистским строем. В Корсике дворяне (а особенно мелкопоместные) никогда не пользовались даже и в генуэзские времена теми правами и преимуществами, какими так дорожили дворяне французские; на большую и быструю карьеру по военной службе мелкопоместный провинциал с далекого, недавно французами завоеванного дикого итальянского острова ни в коем случае рассчитывать не мог. Если чем и могла пленить его революция 1789 г., так это именно тем, что только теперь личные способности могли содействовать восхождению человека по социальной лестнице. Для начала артиллерийскому поручику Бонапарту ничего больше не требовалось.

Практические заботы охватили его. Как для него выгоднее всего использовать революцию? И где сделать это лучше? Ответов было два: 1) на Корсике, 2) во Франции. Преувеличивать размеры и температуру его корсиканского патриотизма в тот момент ни в коем случае не следует. Поручик Бонапарт в 1789 г. не напоминал уже того 10-летнего злого волчонка, который так больно дрался во дворе Бриеннской военной школы, когда товарищи передразнивали его корсиканский акцент. Теперь он знал, что́ такое Франция и что́ такое Корсика, мог сравнивать масштабы и понимал, конечно, всю несоизмеримость этих масштабов. Но дело в том, что даже и в 1789 г. он не мог надеяться на то место во Франции, которое именно теперь, когда разразилась революция, он мог, при счастливых обстоятельствах занять на Корсике. Спустя два с половиной месяца после штурма Бастилии Наполеон отпросился в отпуск и уехал на Корсику.

Между многими другими литературными набросками Наполеон как раз в 1789 г. закончил очерк истории Корсики, который он в рукописи дал для отзыва Рэйналю, и очень был обрадован лестным отзывом этого тогда популярного писателя. Самая тема показывает живейший его интерес к родному острову еще до появления возможности начать там политическую деятельность. Прибыв домой, к матери, он немедленно объявил себя сторонником возвратившегося из долгого изгнания Паоли, но тот отнесся к молодому лейтенанту весьма холодно, а очень скоро обнаружилось, что им и вовсе не по пути. Паоли норовил совершенно освободить Корсику от французского владычества, а Бонапарт учитывал, что Французская революция открывает новые пути для развития Корсики, а может быть,— и это главное — для его собственной карьеры.

Пробыв на Корсике несколько месяцев и не добившись никаких результатов, он снова уезжает в полк и увозит с собой младшего брата Людовика, чтобы несколько уменьшить расходы по дому для матери. Братья поселились в Валансе, куда

снова перевели полк. Лейтенант Бонапарт должен был теперь жить вдвоем с братом и давать ему воспитание на свое очень скудное жалованье. Иногда приходилось обедать одним куском хлеба. Наполеон продолжал усиленно работать по службе и читать запоем разнообразнейшую литературу, усердно налегая на военную историю.

В сентябре 1791 г. он снова попал на Корсику, куда ему удалось получить перевод по службе. На этот раз он окончательно разошелся с Паоли, потому что тот уже прямо вел дело к отторжению острова от Франции, чего Наполеон ни в коем случае не хотел. Когда в апреле 1791 г. разгорелась борьба между контрреволюционным духовенством, всецело поддерживавшим сепаратиста Паоли, и представителями революционных властей, то Бонапарт даже стрелял в мятежную толпу, напавшую на предводительствуемый им отряд. В конце концов он стал подозрителен и властям, так как сделал попытку завладеть крепостью (без распоряжения сверху). Он уехал во Францию, где ему необходимо было немедленно явиться в Париж, в военное министерство, чтобы оправдаться в своем несколько сомнительном поведении на Корсике. Приехал он в столицу в конце мая 1792 г. и был личным свидетелем бурных революционных событий этого лета.

У нас есть точные данные, чтобы судить, как 23-летний офицер отнесся к двум центральным событиям этих месяцев: к вторжению народной массы в Тюильрийский дворец — 20 июня — и к свержению монархии — 10 августа 1792 г. Будучи не участником, а лишь посторонним, случайным свидетелем и имея возможность высказаться оба раза в интимном кругу, он мог совершенно свободно дать простор истинным своим чувствам, всем своим инстинктам. И его высказывания не оставляют никаких сомнений в смысле их полнейшей ясности и недвусмысленности: «Пойдем за этими канальями»,— сказал он Бурьену, с которым был на улице, видя толпу, шедшую к королевскому дворцу 20 июня. Когда перепуганный этой грозной демонстрацией Людовик XVI поклонился толпе из окна, к которому подошел в красной фригийской шапке (одной из эмблем революции), Наполеон сказал с презрением: «Какой трус! Как можно было впустить этих каналий! Надо было смести пушками 500—600 человек,— остальные разбежались бы!» Я смягчаю эпитет, примененный Наполеоном к Людовику XVI, так как передать его в точности в печати нет ни малейшей возможности. 10 августа (в день штурма Тюильри и низвержения Людовика XVI) он снова на улице и снова повторяет этот эпитет по отношению к королю, а революционных повстанцев обзывает «самой гнусной чернью».

Конечно, он не мог, стоя в толпе и глядя на штурм Тюильри

10 августа 1792 г., знать, что французский трон, с которого в этот момент сгоняют Людовика XVI, тем самым очищается именно для него, Бонапарта, так же как стоявшие вокруг него массы, восторженными криками приветствовавшие рождение республики, не могли подозревать, что этот незаметный, затерянный в толпе, худой, маленький молодой офицер в поношенном сюртуке задушит эту республику и станет самодержавным императором. Но интересно отметить этот инстинкт, заставлявший Наполеона уже тогда думать о картечи как о наиболее подходящем способе отвечать на народные восстания.

Он побывал еще раз на Корсике. Но приехал он туда как раз в тот момент, когда Паоли окончательно решил отделить Корсику от Франции и предался англичанам. Наполеону удалось незадолго до захвата острова англичанами, после долгих приключений и опасностей, бежать с Корсики и увезти с собой мать и всю семью. Это было в июне 1793 г. Едва они скрылись, как дом их был разграблен сепаратистами — приверженцами Паоли.

Начались годы тяжелой нужды. Большая семья была совсем разорена, и молодому капитану (Наполеон получил незадолго до того этот чин) приходилось содержать мать и семерых братьев и сестер. Он их устроил кое-как сначала в Тулоне, потом в Марселе. Потянулась трудная и скудная жизнь, шел месяц за месяцем, не принося никакого просвета, и вдруг служебная лямка прервалась самым неожиданным образом.

На юге Франции разразилось контрреволюционное восстание. Роялисты Тулона в 1793 г. изгнали или перебили представителей революционной власти и призвали на помощь крейсировавший в западной части Средиземного моря английский флот. Революционная армия осадила Тулон с суши.

Осада шла вяло и неуспешно. Руководил осадой некий Карто. Политическим руководителем армии, усмирявшей восстание роялистов на юге, был знакомый Бонапарта, корсиканец Саличетти, вместе с ним выступавший против Паоли. Бонапарт посетил своего земляка в лагере возле Тулона и тут указал ему единственный способ взять Тулон и прогнать английский флот от берега. Саличетти назначил молодого капитана помощником начальника осадной артиллерии.

Штурм, произведенный в первых числах ноября, не удался, потому что командовавший в этот день Доппэ велел отступать, вопреки мнению и желанию Бонапарта, в самый решительный момент. Бонапарт был уверен, что победа осталась бы за французами, если бы не эта грубая ошибка. Сам он шел впереди штурмующей колонны и был ранен. После долгого сопротивления и проволочек со стороны высших властей, не очень доверявших какому-то совсем не известному молодому человеку, случайно очутившемуся в лагере, новый командующий

Дюгомье разрешил ему, наконец, привести свой план в исполнение. Расположив батареи, как он давно хотел, Бонапарт, после страшной канонады, штурмом, в котором он лично участвовал, взял тот пункт (Эгильет), который был командной высотой над рейдом, и открыл огонь по английскому флоту.

После двухдневной ожесточенной канонады республиканцы 17 декабря пошли штурмом на укрепления. Штурмующих было 7 тысяч человек, и они были, после ожесточенного боя, отброшены. Но тут подоспел Бонапарт с резервной колонной, и это вмешательство решило победу. На другой день началось повальное бегство из города всех, кого англичане согласились взять на корабли. Тулон сдался на милость победителей. Республиканская армия вошла в город. Английский флот успел уйти в открытое море.

«У меня слов не хватает, чтобы изобразить тебе заслугу Бонапарта: у него знаний столь же много, как и ума, и слишком много характера, и это еще даст тебе слабое понятие о хороших качествах этого редкого офицера»,— писал генерал Дютиль в Париж, в военное министерство, и с жаром рекомендовал министру сохранить Бонапарта для блага республики. Огромная роль Бонапарта и в расположении орудий, и в искусном ведении осады и канонады, и, наконец, в решающий миг штурма была ясна всему осадному корпусу.

Этот штурм произошел 17 декабря 1793 г. Таково было первое сражение, данное и выигранное Наполеоном. От 17 декабря 1793 г., когда были взяты укрепления Тулона, по 18 июня 1815 г., когда побежденный император удалился с покрытого трупами ватерлооского поля,— 22 года (с перерывами) длилась эта долгая, кровавая карьера, которая внимательно изучалась на протяжении всей эпохи национально-освободительных войн в Европе и опыт которой до сих пор подвергается систематическому исследованию.

Наполеон дал на своем веку около 60 больших и малых сражений (количественно несравненно больше, чем в совокупности дали Александр Македонский, Ганнибал, Цезарь и Суворов), и в этих битвах участвовали гораздо бо́льшие людские массы, чем в войнах его предшественников по военному искусству. Но несмотря на обилие грандиозных побоищ, с которыми связано поприще Наполеона, Тулонская победа, при всей своей сравнительной скромности, навсегда заняла в наполеоновской эпопее совсем особое место. Он впервые обратил на себя внимание. О нем впервые узнали в Париже. Комитет общественного спасения был очень рад, что наконец удалось покончить с тулонскими изменниками и отогнать от берега англичан.

Это развитие событий обещало скорую ликвидацию роялистской контрреволюции на всем юге. Тулон считался такой

неприступной крепостью, что многие верить не хотели вести о его падении, о том, что какой-то никому неведомый Бонапарт мог взять его. К счастью для победителя, в осаждающем лагере, кроме Саличетти, находился еще один человек, гораздо более влиятельный: Огюстен Робеспьер, младший брат Максимилиана. Он присутствовал при взятии города, и он же описал событие в докладе, посланном в Париж. Результаты сказались немедленно: постановлением от 14 января 1794 г. Наполеон Бонапарт получил чин бригадного генерала. Ему было в этот момент 24 года отроду. Начало было сделано.

Время, когда Бонапарт взял Тулон, было периодом полного владычества монтаньяров в Конвенте, временем колоссального влияния Якобинского клуба в столице и провинции, временем расцвета революционной диктатуры, победоносно и беспощадно боровшейся против внешних врагов и внутренней измены, против восстаний, поджигаемых роялистами, жирондистами, не присягнувшими священниками.

В происходившей яростной внутренней борьбе Наполеон Бонапарт не мог не видеть, что нужно выбирать между республикой, которая ему все может дать, и монархией, которая все у него отнимет и не простит ему ни взятия Тулона, ни его как раз в это время изданной небольшой брошюры «Ужин в Бокере», в которой он доказывает восставшим на юге городам, что их положение безнадежно. Весной и в начале лета комиссары Конвента на юге (и особенно Огюстен Робеспьер, под прямым влиянием Бонапарта) подготовляли вторжение в Пьемонт, в северную Италию, чтобы оттуда угрожать Австрии. Комитет общественного спасения колебался, Карно был тогда против этого плана. Влияя через Огюстена Робеспьера, Бонапарт мог надеяться на осуществление этой своей мечты: принять участие в завоевании Италии. Самая мысль была в тот момент еще необычной для французского правительства: идея защищаться от интервенции не обороной от контрреволюционной Европы, а прямым нападением на Европу, казалась еще слишком дерзкой. Планам Бонапарта не суждено было осуществиться в 1794 г. Внезапная, абсолютно не предвиденная им политическая катастрофа перевернула все вверх дном.

Чтобы поддержать лично перед своим братом и перед Комитетом общественного спасения план итальянского похода, Огюстен Робеспьер отправился в Париж. Наступило лето, нужно было решить этот вопрос. Бонапарт находился в Ницце, куда он вернулся из Генуи, выполнив секретное поручение, данное ему в связи с затевающимся походом. И вдруг из Парижа грянуло известие, которого не ждала не только далекая южная провинция, но не ждала и сама столица: пришла поразительная весть об аресте в день 9 термидора, на самом заседании Конвента,

Максимилиана Робеспьера, его брата Огюстена, Сен-Жюста, Кутона, затем, попозже, их приверженцев и казни их всех на другой день без суда, в силу простого объявления их вне закона. Немедленно по всей Франции начались аресты лиц, особенно близких или казавшихся близкими к главным деятелям павшего правительства. Генерал Бонапарт после казни Огюстена Робеспьера сразу оказался под ударом. Не прошло и двух недель после 9 термидора (27 июля), как он был арестован (10 августа 1794 г.) и препровожден под конвоем в антибский форт на Средиземноморском побережье. После заключения, продолжавшегося 14 дней, Бонапарт был выпущен: в его бумагах не нашлось ничего, чтобы дало повод к преследованию.

Правда, в эти дни термидорианского террора погибло много людей, в той или иной степени близких к Робеспьеру или робеспьеристам, и Бонапарт мог почитать себя счастливым, что избежал гильотины. Во всяком случае по выходе из тюрьмы он сразу убедился, что времена переменились и что его счастливо начатая карьера приостановилась. Новые люди относились к нему подозрительно, да и знали его еще очень мало. Взятие Тулона не успело еще создать ему большой военной репутации. «Бонапарт? Что такое — Бонапарт? Где он служил? Никто этого не знает»,— так реагировал отец молодого поручика Жюно, когда тот сообщил ему, что генерал Бонапарт хочет взять его к себе в адъютанты. Тулонский подвиг уже был забыт и во всяком случае расценивался уже не так высоко, как в первый момент после события.

А тут еще подвернулась новая неприятность. Неожиданно термидорианский Комитет общественного спасения приказал ему ехать в Вандею на усмирение мятежников, и когда генерал Бонапарт прибыл в Париж, то узнал, что ему дают командование пехотной бригадой, тогда как он был артиллеристом и не хотел служить в пехоте. Произошло запальчивое объяснение между ним и членом комитета Обри, и Бонапарт подал в отставку.

Опять наступил для Наполеона период материальной нужды. 25-летний генерал в отставке, поссорившийся с начальством, без всяких средств, невесело просуществовал в Париже эту трудную зиму 1794/95 г. и еще более трудную и голодную весну. Казалось, все его забыли. Наконец в августе 1795 г. он оказался зачисленным как генерал артиллерии в топографическое отделение Комитета общественного спасения. Это был прообраз генерального штаба, созданный Карно, фактически главнокомандующим армиями. В топографическом отделении Наполеон составляет «инструкции» (директивы) для итальянской армии республики, которая вела операции в Пьемонте. Он и в эти месяцы не переставал учиться и читать. Он посещал знаме-

нитый парижский Ботанический сад, посещал обсерваторию, жадно слушал там астронома Лаланда.

Должность эта не давала Наполеону большого заработка, и иногда единственным ресурсом в смысле получения обеда оказывался визит в семью Перно, где его очень любили. Но ни разу в эти тяжелые для него месяцы не пожалел он о своей отставке, ни разу не пожелал пойти в пехоту,— быть может, потому, что теперь это было бы уже возможно только путем унизительных просьб. И вот снова судьба выручила его: снова он понадобился республике, и опять против тех же врагов, что и в Тулоне.

1795 год был одним из решающих поворотных лет в истории французской буржуазной революции. Буржуазная революция, низвергнув абсолютистско-феодальный строй, лишилась 9 термидора самого острого своего оружия — якобинской диктатуры, и, добившись власти, став на путь реакции, буржуазия блуждала в поисках новых способов и форм прочного установления своего владычества. Термидорианский Конвент в зиму 1794/95 г. и весной 1795 г. неуклонно передвигался в политическом смысле слева направо. Буржуазная реакция еще далеко не была так сильна и так смела в конце лета 1794 г., тотчас после ликвидации якобинской диктатуры, как поздней осенью того же 1794 г.; а осенью 1794 г. правое крыло Конвента не говорило и не действовало и вполовину так свободно и бесцеремонно, как весной 1795 г. В то же время все разительнее делался бытовой контраст в эту страшную голодную зиму и весну между люто голодавшими рабочими предместьями, где матери кончали с собой, предварительно утопив или зарезав всех своих детей, и развеселой жизнью буржуазии, попойками и кутежами, обычными для «центральных секций», для тучи финансистов, спекулянтов, биржевых игроков, больших и малых казнокрадов, высоко и победно поднявших свои головы после гибели Робеспьера.

Два восстания, исходившие из рабочих предместий и прямо направленные против термидорианского Конвента, грозные вооруженные демонстрации, перешедшие дважды — 12 жерминаля (1 апреля) и 1 прериаля (20 мая) 1795 г.— в прямое нападение на Конвент, не увенчались успехом. Страшные прериальские казни, последовавшие за насильственным разоружением Сент-Антуанского предместья, надолго прекратили возможность массовых выступлений для плебейских масс Парижа. И, конечно, разгул белого террора неизбежно воскресил потерянные было надежды «старой», монархической части буржуазии и дворянства: роялисты предположили, что их время пришло. Но расчет был ошибочный. Сломившая парижскую плебейскую массу буржуазия вовсе не затем разоружала рабочие предместья, чтобы облегчить триумфальный въезд претендента

на французский престол, графа Прованского, брата казненного Людовика XVI. Не то, чтобы собственнический класс Франции дорожил хоть сколько-нибудь республиканской формой правления, но он очень дорожил тем, что ему дала буржуазная революция. Роялисты не хотели и не могли понять того, что совершилось в 1789—1795 гг., что феодализм рухнул и уже никогда не вернется, что начинается эра капитализма и что буржуазная революция положила непроходимую пропасть между старым и новым периодом истории Франции и что их реставрационные идеи чужды большинству городской и сельской буржуазии.

В Лондоне, Кобленце, Митаве, Гамбурге, Риме — во всех местах скопления влиятельных эмигрантов — не переставали раздаваться голоса о необходимости беспощадно карать всех, принимавших участие в революции. Со злорадством повторялось после прериальского восстания и диких проявлений белого террора, что, к счастью, «парижские разбойники» начали друг друга резать и что роялистам нужно нагрянуть, чтобы без потери времени перевешать и тех и других — и термидорианцев и оставшихся монтаньяров. Нелепая затея повернуть назад историю делала бесплодными все их мечты, осуждая на провал все их предприятия. Людей, покончивших 9 термидора с якобинской диктатурой, а 1—4 прериаля — с грозным восстанием парижских санкюлотов,— всех этих Тальенов, Фреронов, Бурдонов, Буасси д'Англа, Баррасов,— можно было совершенно справедливо обвинить и в воровстве, и в животном эгоизме, и в зверской жестокости, и в способности на любую гнусность, но в трусости пред роялистами их обвинить было нельзя. И когда поторопившиеся роялисты при деятельной поддержке Вильяма Питта организовали высадку эмигрантского отряда на полуострове Киберон (в Бретани), то руководители термидорианского Конвента без малейших колебаний отправили туда генерала Гоша с армией и после полного разгрома высадившихся сейчас же расстреляли 750 человек из числа захваченных.

Роялисты после этого разгрома вовсе не сочли своего дела потерянным. Не прошло и двух месяцев, как они снова выступили, но на этот раз в самом Париже. Дело было в конце сентября и в первых числах октября, или, по революционному календарю, в первой половине вандемьера 1795 г.

Обстановка была такова: Конвент уже выработал новую конституцию, по которой во главе исполнительной власти должны были стоять пять директоров, а законодательная власть сосредоточивалась в двух собраниях: Совете пятисот и Совете старейшин. Конвент готовился ввести эту конституцию в действие и разойтись, но, наблюдая все более и более усиливающиеся в слоях крупнейшей «старой» буржуазии монархические на-

строения и страшась, как бы роялисты, действуя чуть-чуть умнее и тоньше, не воспользовались этим настроением и не проникли бы в большом количестве в будущий выборный Совет пятисот, руководящая группа термидорианцев во главе с Баррасом провела в самые последние дни Конвента особый закон, по которому две трети Совета пятисот и две трети Совета старейшин должны были обязательно быть избранными из числа членов, заседавших до сих пор в Конвенте, и лишь одну треть можно было выбирать вне этого круга.

Но на этот раз в Париже роялисты были далеко не одни; они находились даже и не на первом плане ни при подготовке дела, ни при самом выступлении. Это-то и делало в вандемьере 1795 г. положение Конвента особенно опасным. Против произвольного декрета, имеющего явной и неприкрыто эгоистической целью упрочить владычество существовавшего большинства Конвента на неопределенно долгий срок, выступила довольно значительная часть крупной денежной буржуазной аристократии и верхушка буржуазии так называемых «богатых», т. е. центральных, секций г. Парижа. Выступили они, конечно, с целью совсем развязаться с той частью термидорианцев, которая уже не соответствовала настроениям сильно качнувшихся вправо наиболее зажиточных кругов как в городе, так и в деревне. В парижских центральных секциях, взбунтовавшихся внезапно в октябре 1795 г. против Конвента, признанных, настоящих роялистов, мечтавших о немедленном возвращении Бурбонов, было, конечно, не очень много, но они, ликуя, видели, куда направляется, и, восхищаясь, предугадывали, чем кончится это движение. «Консервативные республиканцы» парижской буржуазии, для которых уже и термидорианский Конвент казался слишком революционным, расчищали дорогу реставрации. И Конвент сразу же, начиная с 7 вандемьера (т. е. с 29 сентября), когда стали поступать тревожнейшие сведения о настроениях центральных частей Парижа, увидел прямо перед собой грозную опасность. В самом деле: на кого он мог опереться в этой новой борьбе за власть? Всего за четыре месяца до того, после зверской прериальской расправы с рабочими предместьями, после длившихся целый месяц казней революционных якобинцев, после полного и проведенного с беспощадной суровостью разоружения рабочих предместий,— Конвент не мог, разумеется, рассчитывать на активную помощь широких масс.

Рабочие Парижа смотрели в тот момент на комитеты Конвента и на самый Конвент как на самых лютых своих врагов. Сражаться во имя сохранения власти в будущем Совете пятисот за двумя третями этого Конвента рабочим не могло бы и в голову прийти. Да и сам Конвент не мог и помыслить вызвать

к себе на помощь плебейскую массу столицы, которая его ненавидела и которой он страшился. Оставалась армия, но и здесь дело было неблагополучно. Правда, солдаты без колебаний везде и всегда стреляли в ненавистных изменников-эмигрантов, в роялистские шайки и отряды, где бы они их ни встречали: и в нормандских лесах, и в вандейских дюнах, и на полуострове Кибероне, и в Бельгии, и на немецкой границе. Но, во-первых, вандемьерское движение выставляло своим лозунгом не реставрацию Бурбонов, а якобы борьбу против нарушения декретом Конвента самого принципа народного суверенитета, принципа свободного голосования и избрания народных представителей, а во-вторых, если солдаты были вполне надежными республиканцами и их только сбивал или мог сбить с толку ловкий лозунг вандемьерского восстания, то с генералами дело обстояло значительно хуже. Взять хотя бы начальника парижского гарнизона генерала Мену. Одолеть налетом Антуанское рабочее предместье 4 прериаля, покрыть город бивуаками, арестовывать и отправлять на гильотину рабочих целыми пачками — это генерал Мену мог сделать и делал с успехом; и когда вечером 4 прериаля его войска с музыкой проходили, уже после победы над рабочими, по центральным кварталам столицы, а высыпавшая на улицу нарядная публика с восторгом приветствовала и самого Мену и его штаб, то здесь было полное единение сердец и слияние душ между теми, кто делал овацию, и тем, кто был предметом овации. Мену мог чувствовать себя вечером 4 прериаля представителем имущих классов, победивших враждебную неимущую массу, предводителем сытых против голодных. Это было ему ясно, понятно и приятно. Но во имя чего он будет стрелять теперь, в вандемьере, в эту самую, некогда его приветствовавшую, нарядную публику, плотью от плоти и костью от кости которой он сам является? Если между Мену и термидорианским Конвентом можно было бы установить какую-нибудь разницу, то именно в том, что этот генерал был значительно правее, реакционнее настроен, чем самые реакционные термидорианцы. Центральные секции домогались права свободно избрать более консервативное собрание, чем Конвент, и расстреливать их за это генерал Мену не захотел.

И вот в ночь на 12 вандемьера (4 октября) термидорианские вожди слышат ликующие крики, несущиеся со всех сторон: демонстративные шествия, громогласные восторженные восклицания распространяют по столице известие, что Конвент отказывается от борьбы, что можно будет обойтись без сражения на улицах, что декрет взят назад и выборы будут свободны. Доказательство приводится одно единственное, но зато неопровержимое и реальнейшее: начальник вооруженных сил одной из цен-

тральных секций Парижа (секция Лепеллетье), некто Делало, побывал у генерала Мену, переговорил с ним, и Мену согласился на перемирие с реакционерами. Войска уводятся в казармы, город во власти восставших.

Но ликование оказалось преждевременным. Конвент решил бороться. Сейчас же, в ту же ночь на 13 вандемьера, по приказу Конвента генерал Мену был отставлен и тут же арестован. Затем Конвент назначил одного из главных деятелей 9 термидора, Барраса, главным начальником всех вооруженных сил Парижа. Сейчас же, ночью, нужно было начать действовать, потому что возмутившиеся секции, узнав об отставке и аресте Мену и поняв, что Конвент решил бороться, со своей стороны, без колебаний и с лихорадочной поспешностью стали скопляться в ближайших к дворцу Конвента улицах и готовиться к утреннему бою. Их победа казалась и им, и их предводителю Рише де Серизи, и даже многим в самом Конвенте почти несомненной. Но они плохо рассчитали.

Барраса современники считали как бы коллекцией самых низменных страстей и разнообразнейших пороков. Он был и сибарит, и казнокрад, и распутнейший искатель приключений, и коварный, беспринципный карьерист и всех прочих термидорианцев превосходил своей продажностью (а в этой группе занять в данном отношении первое место было не так-то легко). Но трусом он не был. Для него, очень умного и проницательного человека, с самого начала вандемьера было ясно, что начавшееся движение может приблизить Францию к реставрации Бурбонов, а для него лично это обозначало прямую опасность. Дворянам, пошедшим в революцию, вроде него, было очень хорошо известно, какой ненавистью пылают именно к таким отщепенцам от своего класса роялисты.

Итак, нужно было дать немедленно, через несколько часов, бой. Но Баррас не был военным. Необходимо было сейчас же назначить генерала. И тут Баррас совершенно случайно вспомнил худощавого молодого человека в потертом сером пальто, который несколько раз являлся к нему в последнее время в качестве просителя. Все, что Баррас знал об этом лице, сводилось к тому, что это — отставной генерал, что он отличился под Тулоном, но что потом у него вышли какие-то неприятности и что сейчас он перебивается с большим трудом в столице, не имея сколько-нибудь значительного заработка. Баррас приказал найти его и привести. Бонапарт явился, и сейчас же ему был задан вопрос, берется ли он покончить с мятежом. Бонапарт просил несколько минут на размышление. Он не долго раздумывал, приемлема ли для него *принципиально* защита интересов Конвента, но он быстро сообразил, какова будет выгода, если он выступит на стороне Барраса, и согласился, поставив одно

условие: чтобы никто не вмешивался в его распоряжения. «Я вложу шпагу в ножны только тогда, когда все будет кончено»,— сказал он.

Он был тотчас назначен помощником Барраса. Ознакомившись с положением, он увидел, что восставшие очень сильны и опасность для Конвента огромная. Но у него был определенный план действий, основанный на беспощадном применении артиллерии. Позднее, когда все было кончено, он сказал своему другу Жюно (впоследствии генералу и герцогу д'Абрантес) фразу, показывающую, что свою победу он приписывал стратегической неумелости мятежников: «Если бы эти молодцы дали мне начальство над ними, как бы у меня полетели на воздух члены Конвента!» Уже на рассвете Бонапарт свез к дворцу Конвента артиллерийские орудия.

Наступил исторический день — 13 вандемьера, сыгравший в жизни Наполеона гораздо бóльшую роль, чем его первое выступление — взятие Тулона. Мятежники двинулись на Конвент, и навстречу им загремела артиллерия Бонапарта. Особенно страшным было избиение на паперти церкви св. Роха, где стоял их резерв. У мятежников тоже была возможность ночью овладе́ть пушками, но они упустили момент. Они отвечали ружейной пальбой. К середине дня все было кончено. Оставив несколько сот трупов и уволакивая за собой раненых, мятежники бежали в разных направлениях и скрылись по домам, а кто мог и успел, покинул немедленно Париж. Вечером Баррас горячо благодарил молодого генерала и настоял, чтобы Бонапарт был назначен командующим военными силами тыла (сам Баррас немедленно сложил с себя это звание, как только восстание было разгромлено).

В этом угрюмом, хмуром молодом человеке и Баррасу и другим руководящим деятелям очень импонировала та полная бестрепетность и быстрая решимость, с которой Бонапарт пошел на такое до тех пор не употреблявшееся средство, как стрельба из пушек среди города в самую гущу толпы. В этом приеме подавления уличных выступлений он был прямым и непосредственным предшественником русского царя Николая Павловича, повторившего этот прием 14 декабря 1825 г. Разница была лишь в том, что царь со свойственным ему лицемерием рассказывал, будто он ужасался и долго не хотел прибегать к этой мере и будто только убеждения князя Васильчикова возобладали над его примерным великодушием и человеколюбием, а Бонапарт никогда и не думал ни в чем оправдываться и на кого-нибудь сваливать ответственность. У восставших было больше 24 тысяч вооруженных людей, а у Бонапарта не было в тот момент и полных 6 тысяч, т. е. в четыре раза меньше. Значит, вся надежда была на пушки; он их и пустил в ход. Если дошло до бит-

вы,— подавай победу, чего бы это ни стоило. Этого правила Наполеон всегда без исключения придерживался. Он не любил попусту тратить артиллерийские снаряды, но там, где они могли принести пользу, Наполеон никогда на них не скупился. Не экономничал он и 13 вандемьера: паперть церкви св. Роха была покрыта какой-то сплошной кровавой кашей.

Полная беспощадность в борьбе была характернейшей чертой Наполеона. «Во мне живут два разных человека: человек головы и человек сердца. Не думайте, что у меня нет чувствительного сердца, как у других людей. Я даже довольно добрый человек. Но с ранней моей юности я старался заставить молчать эту струну, которая теперь не издает у меня уже никакого звука»,— так в одну из редких минут откровенности говорил он одному из людей, к которому благоволил,— Луи Редереру.

И уже во всяком случае эта струна решительно никогда даже и не начинала звучать в Наполеоне, когда речь шла о сокрушении врага, осмелившегося на открытый бой.

13 вандемьера в наполеоновской эпопее сыграло громадную роль.

Историческое значение разгрома вандемьерского восстания заключалось в следующем: 1) Упования роялистов на близкую победу, на возвращение Бурбонов потерпели еще один крах, более тяжкий, чем даже на Кибероне. 2) Высшие слои городской буржуазии убедились, что они слишком уж торопятся взять непосредственно, открытым вооруженным выступлением, государственную власть в свои руки. Забывали даже о тех элементах городской и сельской буржуазии, которые стояли за республику и продолжали опасаться слишком быстрого и бесцеремонного усиления реакции. Кто такой был Рише де Серизи, предводительствовавший восстанием? Роялист. Ясно, как могли отнестись к этому восстанию крестьяне-собственники, т. е. громадная масса сельской мелкой буржуазии, видевшая в реставрации Бурбонов воскрешение феодального режима и отнятие только что купленных ими участков из конфискованных у дворян-эмигрантов и из секвестрованных у церкви земельных фондов. 3) Наконец, еще раз было продемонстрировано, что антиреставрационные настроения деревни особенно резко влияли на армию, на солдатские массы, на которые можно было вполне положиться, поскольку речь шла о борьбе против сил, так или иначе, прямо или косвенно, частично или полностью связанных с Бурбонами.

Таков был исторический смысл 13 вандемьера.

Что касается лично Бонапарта, то этот день сделал его имя впервые известным не только в военных кругах, где его уже отчасти знали по Тулону, но и во всех слоях общества, даже там, где до той поры о нем и не слыхивали. На него стали смотреть

как на человека очень большой распорядительности, быстрой сметливости, твердой решимости. Политики, завладевшие властью с первых же времен Директории (т. е. с того же вандемьера 1795 г.), а во главе их Баррас, сделавшийся сразу самым влиятельным из пяти директоров, благосклонно взирали на молодого генерала. Они полагали тогда, что на него и впредь можно положиться в том случае, если понадобится пустить в ход военную силу против тех или иных народных волнений.

Но сам Бонапарт мечтал о другом. Его тянуло на театр военных действий, он мечтал уже о самостоятельном командовании одной из армий Французской республики. Хорошее отношение к нему директора Барраса, казалось, делало эти мечтания вовсе не такими несбыточными, какими они были до вандемьера, когда отставной 26-летний генерал бродил по Парижу, ища заработка. Круто, в один день, изменилось все. Он стал командующим парижским гарнизоном, любимцем могущественного директора республики Барраса, кандидатом на самостоятельный пост в действующей армии.

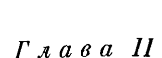
Вскоре после своего внезапного возвышения молодой генерал встретился впервые с вдовой казненного при терроре генерала, графа Богарне, и влюбился в нее. Жозефина Богарне была на шесть лет старше его, у нее было в жизни немало романических приключений, и никаких особенно пылких чувств к познакомившемуся с ней Бонапарту она не питала. С ее стороны действовал, по-видимому, больше материальный расчет: после 13 вандемьера Бонапарт был очень на виду и уже занимал важный пост. С его стороны была внезапно налетевшая и захватившая его страсть. Он потребовал немедленно же свадьбы и женился. Жозефина некогда была близка с Баррасом, и этот брак еще шире открыл Бонапарту двери могущественных лиц республики.

Среди почти 200 тысяч названий работ, посвященных Наполеону и зарегистрированных известным библиографом Кирхейзеном и другими специалистами, нашла себе место и обильная литература, посвященная отношениям Наполеона к Жозефине и к женщинам вообще. Чтобы уже покончить с этим вопросом и больше к нему не возвращаться, скажу, что ни Жозефина, ни вторая его жена, Мария-Луиза Австрийская, ни г-жа Ремюза, ни актриса м-ль Жорж, ни графиня Валевская и никто вообще из женщин, с которыми на своем веку интимно сближался Наполеон, никогда сколько-нибудь заметного влияния на него не только не имели, но и не домогались, понимая эту неукротимую деспотическую, раздражительную и подозрительную натуру. Он терпеть не мог знаменитую г-жу Сталь еще до того, как разгневался на нее за оппозиционное политическое умонастроение, и возненавидел он ее именно за излишний, по его мнению, для

женщины политический интерес, за ее претензии на эрудицию и глубокомыслие. Беспрекословное повиновение и подчинение его воле — вот то необходимейшее качество, без которого женщина для него не существовала. Да и не хватало ему времени в его заполненной жизни много думать о чувствах и длительно предаваться сердечным порывам.

Так вышло и теперь: 9 марта 1796 г. состоялась свадьба, а уже спустя два дня, 11 марта, Бонапарт простился с женой и уехал на войну.

В истории Европы начиналась новая глава — долгая и кровавая.



Глава II

ИТАЛЬЯНСКАЯ КАМПАНИЯ 1796—1797 гг.

1

С того самого времени, как Бонапарт разгромил монархический мятеж 13 вандемьера и вошел в фавор к Баррасу и другим сановникам, он не переставал убеждать их в необходимости предупредить действия вновь собравшейся против Франции коалиции держав — повести наступательную войну против австрийцев и их итальянских союзников и вторгнуться для этого в северную Италию. Собственно, эта коалиция была не новая, а старая, та самая, которая образовалась еще в 1792 г. и от которой в 1795 г. отпала Пруссия, заключившая сепаратный (Базельский) мир с Францией. В коалиции оставались Австрия, Англия, Россия, королевство Сардинское, Королевство обеих Сицилий и несколько германских государств (Вюртемберг, Бавария, Баден и др.). Директория, как и вся враждебная ей Европа, считала, что главным театром предстоящей весенней и летней кампании 1796 г. будет, конечно, западная и юго-западная Германия, через которую французы будут пытаться вторгнуться в коренные австрийские владения. Для этого похода Директория готовила самые лучшие свои войска и самых выдающихся своих стратегов во главе с генералом Моро. Для этой армии не щадились средства, ее обоз был прекрасно организован, французское правительство больше всего рассчитывало именно на нее.

Что касается настойчивых уговариваний генерала Бонапарта относительно вторжения из южной Франции в граничащую с ней северную Италию, то Директория не очень увлекалась этим планом. Правда, приходилось учитывать, что это вторжение могло быть полезным как диверсия, которая заставит венский двор раздробить свои силы, отвлечь свое внимание от главного, германского, театра предстоящей войны. Решено было пустить в ход несколько десятков тысяч солдат, стоявших на юге,

чтобы побеспокоить австрийцев и их союзника, короля Сардинского. Когда возник вопрос, кого назначить главнокомандующим на этом второстепенном участке фронта войны, Карно (а не Баррас, как долго утверждали) назвал Бонапарта. Остальные директора согласились без труда, потому что никто из более важных и известных генералов этого назначения очень и не домогался. Назначение Бонапарта главнокомандующим этой предназначенной действовать в Италии («итальянской») армии состоялось 23 февраля 1796 г., а уже 11 марта новый главнокомандующий выехал к месту своего назначения.

Эта первая война, которую вел Наполеон, окружена была всегда в его истории особым ореолом. Его имя пронеслось по Европе впервые именно в этом (1796) году и с тех пор уже не сходило с авансцены мировой истории: «Далеко шагает, пора унять молодца!» — эти слова старика Суворова были сказаны именно в разгаре итальянской кампании Бонапарта. Суворов один из первых указал на поднимающуюся грозовую тучу, которой суждено было так долго греметь над Европой и поражать ее молниями.

Прибыв к своей армии и произведя ей смотр, Бонапарт мог сразу догадаться, почему наиболее влиятельные генералы французской республики не очень добивались этого поста. Армия была в таком состоянии, что походила скорее на скопище оборванцев. До такого разгула хищничества и казнокрадства всякого рода, как в последние годы термидорианского Конвента и при Директории, французское интендантское ведомство еще никогда не доходило. На эту армию, правда, не очень много и отпускалось Парижем, но и то, что отпускалось, быстро и бесцеремонно разворовывалось. 43 тысячи человек жили на квартирах в Ницце и около Ниццы, питаясь неизвестно чем, одеваясь неизвестно во что. Не успел Бонапарт приехать, как ему донесли, что один батальон накануне отказался исполнить приказ о переходе в другой указанный ему район, потому что ни у кого не было сапог. Развал в материальном быту этой заброшенной и забытой армии сопровождался упадком дисциплины. Солдаты не только подозревали, но и воочию видели повальное воровство, от которого они так страдали.

Бонапарту предстояло труднейшее дело: не только одеть, обуть, дисциплинировать свое войско, но сделать это на ходу, уже во время самого похода, в промежутках между сражениями. Откладывать поход он ни за что не хотел. Его положение могло осложниться трениями с подчиненными ему начальниками отдельных частей этой армии вроде Ожеро, Массена или Серрюрье. Они охотно подчинились бы старшему или более заслуженному (вроде Моро, главнокомандующему на западногерманском фронте), но признавать своим начальником 27-лет-

него Бонапарта им казалось просто оскорбительным. Могли произойти столкновения, и стоустая казарменная молва на все лады повторяла, переиначивала, распространяла, изобретала, вышивала по этой канве всякие узоры. Повторяли, например, пущенный кем-то слух, будто во время одного резкого объяснения маленький Бонапарт сказал, глядя снизу вверх на высокого Ожеро: «Генерал, вы ростом выше меня как раз на одну голову, но если вы будете грубить мне, то я немедленно устраню это отличие». На самом деле, с самого начала Бонапарт дал понять всем и каждому, что он не потерпит в своей армии никакой противодействующей воли и сломит всех сопротивляющихся, независимо от их ранга и звания. «Приходится часто расстреливать»,— мельком и без всяких пояснений доносил он в Париж Директории.

Бонапарт резко и немедленно повел борьбу с безудержным воровством. Солдаты это сейчас же заметили, и это гораздо больше, чем все расстрелы, помогло восстановлению дисциплины. Но Бонапарт был поставлен в такое положение, что откладывать военные действия до того, когда будет закончена экипировка армии, значило фактически пропустить кампанию 1796 г. Он принял решение, которое прекрасно сформулировано в его первом воззвании к войскам. Много было споров о том, когда именно это воззвание получило ту окончательную редакцию, в которой оно перешло в историю, и теперь новейшие исследователи биографии Наполеона уже не сомневаются, что только первые фразы были подлинны, а почти все остальное это красноречие прибавлено позже. Замечу, что и в первых фразах можно ручаться больше за основной смысл, чем за каждое слово. «Солдаты, вы не одеты, вы плохо накормлены... Я хочу повести вас в самые плодородные страны в свете».

Бонапарт с первых же шагов считал, что война должна сама себя кормить и что необходимо заинтересовать непосредственно каждого солдата в предстоящем нашествии на северную Италию, не откладывать нашествия до того, как все нужное будет армией получено, а показать армии, что от нее самой зависит забрать силой у неприятеля все необходимое и даже больше того. Молодой генерал объяснялся со своей армией так только на этот раз. Он всегда умел создавать, усиливать и поддерживать свое личное обаяние и власть над солдатской душой. Сентиментальные россказни о «любви» Наполеона к солдатам, которых он в припадке откровенности называл пушечным мясом, ровно ничего не значат. Не было любви, но была большая заботливость о солдате. Наполеон умел придавать ей такой оттенок, что солдаты объясняли ее именно вниманием полководца к их личности, в то время как на самом деле он стремился только иметь в руках вполне исправный и боеспособный материал.

В апреле 1796 г., начиная свой первый поход, Бонапарт был в глазах своей армии только способным артиллеристом, хорошо служившим два с лишком года тому назад под Тулоном, генералом, расстрелявшим в вандемьере бунтовщиков, шедших на Конвент, и только за это получившим свой командный пост в южной армии, — вот и все. Личного обаяния и безоговорочной власти над солдатом Бонапарт еще не имел. Он и решил подействовать на своих полуголодных и полуобутых солдат лишь прямым, реальным, трезвым указанием на материальные блага, ожидающие их в Италии.

9 апреля 1796 г. Бонапарт двинул свои войска через Альпы.

Знаменитый автор многотомной истории наполеоновских походов, ученый стратег и тактик, генерал Жомини, швейцарец, бывший сначала на службе у Наполеона, а потом перешедший в Россию, отмечает, что буквально с первых дней этого первого своего командования Бонапарт обнаружил доходящую до дерзости смелость и презрение к личным опасностям: он со своим штабом прошел по самой опасной (но краткой) дороге, по знаменитому «Карнизу» приморской горной гряды Альпийских гор, где во все время перехода они находились под пушками крейсировавших у самого берега английских судов. Тут впервые сказалась одна черта Бонапарта. С одной стороны, в нем никогда не было той рисовки молодечеством, лихой отвагой и бесстрашием, какая была присуща, например, его современникам — маршалам Ланну, Мюрату, Нею, генералу Милорадовичу, а из позднейших военачальников — Скобелеву; Наполеон всегда считал, что без определенной, безусловной необходимости военачальник не должен во время войны подвергаться личной опасности по той простой причине, что его гибель сама по себе может повлечь за собой смятение, панику и проигрыш сражения или даже всей войны. Но, с другой стороны, он полагал, что если обстоятельства сложатся так, что личный пример решительно необходим, то военачальник должен не колеблясь идти под огонь.

Путешествие по «Карнизу» с 5 по 9 апреля 1796 г. прошло благополучно. Бонапарт очутился в Италии и немедленно принял решение. Перед ним были совместно действовавшие австрийские и пьемонтские войска, разбросанные тремя группами на путях в Пьемонт и Геную. Первое сражение с австрийским командующим Дерханто произошло в центре, у Монтенотте. Бонапарт, собрав свои силы в один большой кулак, ввел в заблуждение австрийского главнокомандующего Болье, который находился южнее — на пути к Генуе, и стремительно напал на австрийский центр. В несколько часов дело кончилось разгромом австрийцев. Но это была только часть австрийской армии. Бонапарт, дав самый краткий отдых своим солдатам, двинулся

дальше. Следующая битва (при Миллезимо) произошла через два дня после первой, и пьемонтские войска потерпели полное поражение. Масса перебитых на поле сражения, сдача пяти батальонов с 13 орудиями в плен, бегство остатков сражавшейся армии — таковы были результаты дня для союзников. Немедленно Бонапарт продолжил свое движение, не давая врагу оправиться и прийти в себя.

Военные историки считают первые битвы Бонапарта — «шесть побед в шесть дней» — одним сплошным большим сражением. Основной принцип Наполеона выявился вполне в эти дни: быстро собирать в один кулак большие силы, переходить от одной стратегической задачи к другой, не затевая слишком сложных маневров, разбивая силы противника по частям.

Проявилась и другая его черта — уменье сливать политику и стратегию в одно неразрывное целое: переходя от победы к победе в эти апрельские дни 1796 г., Бонапарт все время не упускал из виду, что ему нужно принудить Пьемонт (Сардинское королевство) поскорее к сепаратному миру, чтобы остаться лицом к лицу с одними австрийцами. После новой победы французов над пьемонтцами при Мондови и сдачи этого города Бонапарту пьемонтский генерал Колли начал переговоры о мире, и 28 апреля перемирие с Пьемонтом было подписано. Условия перемирия были весьма суровы для побежденных: король Пьемонта, Виктор-Амедей, отдавал Бонапарту две лучшие свои крепости и целый ряд других пунктов. Окончательный мир с Пьемонтом был подписан в Париже 15 мая 1796 г. Пьемонт всецело обязывался не пропускать через свою территорию ничьих войск, кроме французских, не заключать отныне ни с кем союзов, уступал Франции графство Ниццу и всю Савойю; граница между Францией и Пьемонтом сверх того «исправлялась» к очень значительной выгоде Франции. Пьемонт обязывался доставлять французской армии все нужные ей припасы.

Итак, первое дело было сделано. Оставались австрийцы. После новых побед Бонапарт отбросил их к реке По, заставил их отступить к востоку от По и, перейдя на другой берег По, продолжал преследование. Паника объяла все итальянские дворы. Герцог Пармский, который, собственно, вовсе и не воевал с французами, пострадал одним из первых. Бонапарт не внял его убеждениям, не признал его нейтралитета, наложил на Парму контрибуцию в 2 миллиона франков золотом и обязал доставить 1700 лошадей. Двинувшись дальше, он подошел к местечку Лоди, где ему нужно было перейти через реку Адду. Этот важный пункт защищал 10-тысячный австрийский отряд.

10 мая произошло знаменитое сражение под Лоди. Тут снова, как при марше по «Карнизу», Бонапарт нашел нужным рискнуть жизнью: самый страшный бой завязался у моста, и главнокомандующий во главе гренадерского батальона бросился прямо под град пуль, которыми австрийцы осыпали мост. 20 австрийских орудий буквально сметали картечью все на мосту и около моста. Гренадеры с Бонапартом во главе взяли мост и далеко отбросили австрийцев, которые оставили на месте около 2 тысяч убитыми и ранеными и 15 пушек. Немедленно Бонапарт начал преследование отступающего неприятеля и 15 мая вошел в Милан. Еще накануне этого дня, 14 мая (25 флореаля), он писал Директории в Париж: «Ломбардия принадлежит сейчас (Французской) республике».

В июне французский отряд под начальством Мюрата занял, согласно приказу Бонапарта, Ливорно, а генерал Ожеро занял Болонью. Бонапарт в середине июня лично занял Модену, затем наступила очередь Тосканы, хотя герцог Тосканский был нейтрален в происходившей франко-австрийской войне. Бонапарт не обращал на нейтралитет этих итальянских государств ни малейшего внимания. Он входил в города и деревни, реквизировал все нужное для армии, забирал часто и все вообще, что ему казалось достойным этого, начиная с пушек, пороха и ружей и кончая картинами старых мастеров эпохи Ренессанса.

Бонапарт смотрел на эти тогдашние увлечения своих воинов очень снисходительно. Дело дошло до мелких вспышек и восстаний. В Павии, в Луго, произошли нападения местного населения на французские войска. В Луго (недалеко от Феррары) толпа убила 5 французских драгун, за что город подвергся каре: изрублено было несколько сот человек, а город отдан был на поток и разграбление солдатам, которые перебили всех жителей, подозревавшихся во враждебных намерениях. Такие же жестокие уроки были даны и в других местах. Значительно усилив свою артиллерию пушками и снарядами, как взятыми у австрийцев с бою, так и отнятыми у нейтральных итальянских государств, Бонапарт двинулся дальше, к крепости Мантуе, одной из сильнейших в Европе по естественным условиям и по искусственно созданным укреплениям.

Бонапарт едва успел приступить к правильной осаде Мантуи, как узнал, что на помощь осажденной крепости спешит специально посланная для этого из Тироля 30-тысячная австрийская армия под начальством очень дельного и талантливого генерала Вурмзера. Эта весть необычайно ободрила всех врагов французского нашествия. А ведь за эту весну и лето 1796 г. к католическому духовенству и североитальянскому полуфеодальному дворянству, ненавидевшим самые принципы буржуазной революции, которые несла с собой в Италию французская

армия, прибавились многие и многие тысячи крестьян и горожан, жестоко пострадавших от грабежей, чинимых армией генерала Бонапарта. Разгромленный и принужденный к миру Пьемонт мог возмутиться в тылу у Бонапарта и перерезать его сообщения с Францией.

16 тысяч человек Бонапарт предназначил на осаду Мантуи, 29 тысяч у него были в резерве. Он ждал подкрепления из Франции. Навстречу Вурмзеру он послал одного из лучших своих генералов — Массена. Но Вурмзер отбросил его. Бонапарт отрядил другого, тоже очень способного своего помощника, который еще до него был уже в генеральских чинах,— Ожеро. Но и Ожеро был отброшен Вурмзером. Положение становилось отчаянным для французов, и тут Бонапарт совершил свой маневр, который, по мнению и старых теоретиков и более новых, мог бы сам по себе обеспечить ему «бессмертную славу» (выражение Жомини), даже если бы тогда, в самом начале своего жизненного пути, он был убит.

Вурмзер уже торжествовал близкую победу над страшным врагом, уже вошел в осажденную Мантую, сняв с нее, таким образом, осаду, как вдруг он узнал, что Бонапарт со всеми силами бросился на другую колонну австрийцев, действовавших на сообщениях Бонапарта с Миланом, и в трех битвах их разбил. Это были сражения при Лонато, Сало и Брешии. Вурмзер, узнав об этом, вышел из Мантуи со всеми своими силами и разбив заслон, поставленный против него французами под начальством Валлета, отбросив в ряде стычек еще и другие французские отряды, наконец 5 августа встретился под Кастильоне с самим Бонапартом и потерпел тяжкое поражение благодаря блестящему маневру, в результате которого часть французских войск вышла в тыл австрийцам.

После ряда новых сражений Вурмзер с остатками разбитой армии сначала кружил у верхнего течения Адидже, потом заперся в Мантуе. Бонапарт возобновил осаду. На выручку уже на этот раз не только Мантуи, но и самого Вурмзера в Австрии была снаряжена в спешном порядке новая армия, под начальством Альвинци, тоже (подобно Вурмзеру, эрцгерцогу Карлу и Меласу) одного из лучших генералов Австрийской империи. Бонапарт пошел навстречу Альвинци, имея 28 500 человек, оставив 8300 человек осаждать Мантую. Резервов у него почти не было, их не насчитывалось и 4 тысяч. «Генерал, который очень уж исключительно заботится перед сражением о резервах, непременно будет разбит»,— это на все лады повторял всегда Наполеон, хотя он был, конечно, далек от отрицания огромного значения резервов в длительной войне. Армия Альвинци была значительно больше. Альвинци отбросил несколько французских отрядов в ряде стычек. Бонапарт велел эвакуировать

Виченцу и еще несколько пунктов. Он сосредоточил около себя все свои силы, готовясь к решающему удару.

15 ноября 1796 г. начался, а вечером 17 ноября окончился упорный и кровопролитный бой при Арколе. Альвинци, наконец, столкнулся с Бонапартом. Австрийцев было больше, и сражались они с чрезвычайной стойкостью — тут были отборные полки Габсбургской монархии. Одним из самых важных пунктов был знаменитый Аркольский мост. Трижды французы бросались на штурм и брали мост и трижды с тяжкими потерями отбрасывались оттуда австрийцами. Главнокомандующий Бонапарт повторил в точности то, что он сделал за несколько месяцев до того при взятии моста в Лоди: он бросился лично вперед со знаменем в руках. Около него было перебито несколько солдат и адъютантов. Бой длился трое суток с небольшими перерывами. Альвинци был разбит и отброшен.

Больше полутора месяцев после Арколе австрийцы оправлялись и готовились к реваншу. В середине января 1797 г. наступила развязка. В трехдневной кровопролитной битве при Риволи 14 и 15 января 1797 г. генерал Бонапарт наголову разбил всю австрийскую армию, на этот раз тоже собранную, уже в подражание молодому французскому полководцу, в один кулак. Спасшись с остатками разбитой армии, Альвинци уже не смел и помыслить о спасении Мантуи и запертой в Мантуе армии укрывавшегося там Вурмзера. Через две с половиной недели после битвы при Риволи Мантуя капитулировала. Бонапарт обошелся при этом весьма милостиво с побежденным Вурмзером.

После взятия Мантуи Бонапарт двинулся на север, явно угрожая уже наследственным габсбургским владениям. Когда спешно вызванный на итальянский театр военных действий в начале весны 1797 г. эрцгерцог Карл был разбит Бонапартом в целом ряде сражений и отброшен к Бреннеру, куда отступил с тяжкими потерями, в Вене распространилась паника. Она шла из императорского дворца. В Вене стало известно, что спешно запаковывают и куда-то прячут и увозят коронные драгоценности. Австрийской столице угрожало нашествие французов. Ганнибал у ворот! Бонапарт в Тироле! Бонапарт завтра будет в Вене! Такого рода слухи, разговоры, возгласы остались в памяти современников, переживавших этот момент в старой богатой столице Габсбургской монархии. Гибель нескольких лучших австрийских армий, страшные поражения самых талантливых и способных генералов, потеря всей северной Италии, прямая угроза столице Австрии — таковы были тогда итоги этой годовой кампании, начавшейся в конце марта 1796 г., когда Бонапарт впервые вступил в главное командование французами. В Европе гремело его имя.

2

После новых поражений и общего отступления армии эрцгерцога Карла австрийский двор понял опасность продолжения борьбы. В начале апреля 1797 г. генерал Бонапарт получил официальное уведомление, что австрийский император Франц просит начать мирные переговоры. Бонапарт, следует заметить, сделал от себя все зависящее, чтобы окончить войну с австрийцами в такой благоприятный для себя момент, и, наседая со всей своей армией на поспешно от него отступающего эрцгерцога Карла, он в то же время извещал Карла о своей готовности к миру. Известно любопытное письмо, в котором, щадя самолюбие побежденных, Бонапарт писал, что если ему удастся заключить мир, то этим он будет гордиться более, «чем печальной славой, которая может быть добыта военными успехами». «Разве не достаточно убили мы народа и причинили зла бедному человечеству?» — писал он Карлу.

Директория согласилась на мир и только раздумывала, кого послать для ведения переговоров. Но пока она размышляла об этом и пока ее избранник (Карл) ехал в лагерь Бонапарта, победоносный генерал уже успел заключить перемирие в Леобене.

Но еще до начала леобенских переговоров Бонапарт покончил с Римом. Папа Пий VI, враг и непримиримый ненавистник Французской революции, смотрел на «генерала Вандемьера», ставшего главнокомандующим именно в награду за истребление 13 вандемьера благочестивых роялистов, как на исчадие ада и всячески помогал Австрии в ее трудной борьбе. Как только Вурмзер сдал французам Мантую с 13 тысячами гарнизона и с несколькими сотнями орудий и у Бонапарта освободились войска, прежде занятые осадой,— французский полководец отправился в экспедицию против папских владений.

Папские войска были разгромлены Бонапартом в первой же битве. Они бежали от французов с такой быстротой, что посланный Бонапартом в погоню за ними Жюно не мог их догнать в продолжение двух часов, но, догнав, часть изрубил, часть же взял в плен. Затем город за городом стали сдаваться Бонапарту без сопротивления. Он брал все ценности, какие только находил в этих городах: деньги, бриллианты, картины, драгоценную утварь. И города, и монастыри, и сокровищницы старых церквей предоставили победителю громадную добычу и здесь, как и на севере Италии. Рим был охвачен паникой, началось повальное бегство состоятельных людей и высшего духовенства в Неаполь.

Папа Пий VI, охваченный ужасом, написал Бонапарту умоляющее письмо и отправил с этим письмом кардинала Маттеи, своего племянника, и с ним делегацию просить мира. Генерал

Бонапарт отнесся к просьбе снисходительно, хотя сразу же дал понять, что речь идет о полной капитуляции. 19 февраля 1797 г. уже был подписан мир с папой в Толентино. Папа уступал очень значительную и самую богатую часть своих владений, уплачивал 30 миллионов франков золотом, отдавая лучшие картины и статуи своих музеев. Эти картины и статуи из Рима, так же как еще раньше из Милана, Болоньи, Модены, Пармы, Пьяченцы, а позже из Венеции, были отправлены Бонапартом в Париж. Перепуганный до последней степени папа Пий VI моментально согласился на все условия. Сделать это ему было тем легче, что Бонапарт в его согласии нисколько и не нуждался.

Почему Наполеон уже тогда не сделал того, что он совершил несколько лет спустя? Почему он не занял Рим, не арестовал папу? Это объясняется, во-первых, тем, что еще предстояли мирные переговоры с Австрией, а слишком крутой поступок с папой мог взволновать католическое население центральной и южной Италии и создать этим для Бонапарта необеспеченный тыл. А, во-вторых, мы знаем, что за время этой блестящей первой итальянской войны с ее непрерывными победами над большими, могущественными армиями грозной тогда Австрийской империи у молодого генерала была одна такая бессонная ночь, которую он всю прошагал перед своей палаткой, впервые задавая себе вопрос, который раньше не приходил ему в голову: неужели всегда ему и впредь придется побеждать и завоевывать новые страны для Директории, «для этих адвокатов»?

Много лет должно было пройти и много воды и крови должно было утечь, пока Бонапарт рассказал об этом своем уединенном ночном размышлении. Но ответ на этот заданный себе тогда вопрос он, конечно, дал вполне отрицательный. И в 1797 г. 28-летний завоеватель Италии уже видел в Пие VI не запуганного, трепещущего хилого старика, с которым можно было сделать, что угодно: Пий VI был для Наполеона духовным повелителем многих миллионов людей в самой Франции, и всякий, кто думает об утверждении своей власти над этими миллионами, должен считаться с их суевериями. Наполеон на церковь в точном смысле этого слова смотрел как на удобное полицейско-духовное орудие, помогающее управлять народными массами; в частности католическая церковь, с его точки зрения, была бы особенно удобна в этом отношении, но к сожалению, она всегда претендовала и продолжает претендовать на самостоятельное политическое значение, и все это в значительной степени оттого, что она обладает законченной и совершенной, стройной организацией и повинуется как верховному владыке папе.

Что касается именно папства, то к нему Наполеон относился как к выработавшемуся исторически и укрепившемуся

почти двумя тысячелетиями чистейшему шарлатанству, которое выдумали в свое время римские епископы, ловко воспользовавшись благоприятными для них местными и историческими условиями средневековой жизни. Но, что и такое шарлатанство может быть серьезнейшей политической силой, это он понимал очень хорошо.

Смирившийся, потерявший лучшие свои земли, трепещущий папа уцелел пока в Ватиканском дворце. Наполеон не вошел в Рим; он поспешил, покончив дела с Пием VI, обратно в северную Италию, где нужно было заключить мир с побежденной Австрией.

Прежде всего нужно сказать, что и леобенское перемирие, и последовавший затем Кампо-Формийский мир, и все вообще дипломатические переговоры Бонапарт вел всегда по собственному своему произволению и вырабатывал условия тоже ни с чем, кроме своих соображений, не считаясь. Как это стало возможно? Почему это сходило ему с рук? Здесь прежде всего действовало старинное правило: «победителей не судят». Республиканских генералов (самых лучших, вроде Моро) австрийцы как раз в этом же 1796 г. и в начале 1797 г. били на Рейне, а рейнская армия требовала и требовала денег на свое содержание, хотя с самого начала была хорошо экипирована. Бонапарт же с ордой недисциплинированных оборванцев, которую он превратил в грозное и преданное войско, ничего не требовал, а напротив, посылал в Париж миллионы золотой монетой, произведения искусства, завоевал Италию, в бесчисленных боях уничтожая одну австрийскую армию за другой, принудил Австрию просить мира. Битва при Риволи и взятие Мантуи, завоевание папских владений — последние подвиги Бонапарта окончательно сделали непререкаемым его авторитет.

3

Леобен — это город в Штирии, австрийской провинции, которая в этой своей части находится в каких-нибудь 250 километрах от подступов к Вене. Но чтобы окончательно и формально утвердить за собой все желаемое в Италии, т. е. все уже завоеванное и все, что еще захочется подчинить своей власти на юге, и вместе с тем чтобы заставить австрийцев пойти на серьезные жертвы на далеком от Бонапарта западногерманском театре военных действий, где французам очень не везло,— необходимо было все-таки дать Австрии хоть какую-нибудь компенсацию. Бонапарт знал, что хотя его авангард и стоит уже в Леобене, но что доведенная до крайности Австрия будет яростно защищаться и что пора кончать. Где же взять эту компенсацию? В Венеции. Правда, Венецианская республика была

вполне нейтральна и делала все, чтобы не дать никакого повода к нашествию, но Бонапарт решительно никогда не затруднялся в таких случаях. Придравшись к первому же попавшемуся поводу, он послал туда дивизию. Еще раньше этой посылки он в Леобене заключил с Австрией перемирие именно на таких основаниях: австрийцы отдавали французам берега Рейна и все свои итальянские владния, занятые Бонапартом, а взамен им была обещана Венеция.

Собственно, Бонапарт решил разделить Венецию: город на лагунах отходил к Австрии, а материковые владения Венеции — к той «Цизальпинской республике», которую завоеватель решил создать из главной массы занятых им итальянских земель. Конечно, эта новая «республика» являлась отныне фактически владением Франции. Оставалась небольшая формальность: объявить венецианскому дожу и сенату, что их государство, бывшее самостоятельным с момента своего основания, т. е. с середины V в., перестало существовать, так как это понадобилось генералу Бонапарту для успешного завершения его дипломатических комбинаций. Он даже и свое собственное правительство, Директорию, уведомил о том, что́ собирается сделать с Венецией, лишь когда уже начал приводить в исполнение свое намерение. «Я не могу вас принять, с вас каплет французская кровь»,— написал он венецианскому дожу, умолявшему о пощаде. Тут имелось в виду, что на рейде в Лидо был кем-то убит один французский капитан. Но даже и предлога не требовалось, все было ясно. Бонапарт приказал генералу Барагэ д'Илье занять Венецию. В июне 1797 г. все было кончено: после 13 столетий богатейшая событиями самостоятельной исторической жизни купеческая республика прекратила свое существование.

Итак, в руках Бонапарта оказался тот богатый объект для дележа, которого только и недоставало для окончательного и выгоднейшего замирения с австрийцами. Но случилось так, что завоевание Венеции сослужило Бонапарту и еще одну, совсем уже неожиданную службу.

В один майский вечер 1797 г. к главнокомандующему французской армией, генералу Бонапарту, находившемуся тогда в Милане, прибыла экстренная эстафета от подчиненного ему генерала Бернадотта из Триеста, уже занятого, по приказу Бонапарта, французами. Примчавшийся курьер передал Бонапарту портфель, а донесение Бернадотта объясняло происхождение этого портфеля. Оказывалось, что портфель взят у некоего графа д'Антрэга, роялиста и агента Бурбонов, который, спасаясь от французов, бежал из Венеции в Триест, но тут и попал в руки уже вошедшего в город Бернадотта. В этом-то портфеле и оказались поразительные документы. Чтобы понять все значение

этой неожиданной находки, нужно хоть в нескольких словах напомнить о том, что́ в тот момент творилось в Париже.

Те слои крупнейшей финансовой, торговой буржуазии и земледельческой аристократии, которые были как бы «питательной средой» вандемьерского восстания в 1795 г., вовсе не были и не могли быть разгромлены пушками Бонапарта. Разгромлена была лишь их боевая верхушка, руководящие элементы секций, выступавшие в этот день рука об руку с активными роялистами. Но эта часть буржуазии не переставала и после вандемьера находиться в глухой оппозиции к Директории.

Когда весной 1796 г. был раскрыт заговор Бабефа, когда призрак нового пролетарского выступления, нового прериаля, начал вновь жестоко тревожить собственнические массы в городе и деревне, то побежденные в вандемьере роялисты снова приободрились и подняли голову. Но они снова ошиблись, как ошиблись в 1795 г., летом на Кибероне и в вандемьере в Париже; они снова не учли, что хотя массы новых землевладельцев желают в защиту своей собственности создания сильной полицейской власти, хотя новая разбогатевшая на распродаже национального имущества буржуазия готова принять монархию, даже монархическую диктатуру, но возвращение Бурбона поддержит, может быть, лишь ничтожнейшая доля крупнейшей буржуазии города и деревни, потому что Бурбон всегда будет дворянским королем, а не буржуазным, и с ним вернутся феодализм и эмиграция, которая потребует обратно свои земли.

И все-таки, так как роялисты были из всех контрреволюционных группировок лучше всех организованы, сплочены, снабжены активной помощью и средствами из-за границы, имели на своей стороне духовенство, они и на этот раз взяли в свои руки руководящую роль в подготовке низвержения Директории весной и летом 1797 г. Это и должно было в конечном счете погубить и на этот раз возглавляемое ими движение. Дело в том, что всякий раз частичные выборы в Совет пятисот давали ясный перевес правым, реакционным, иногда даже явственно роялистским элементам. Даже в самой Директории, находившейся под угрозой контрреволюции, были колебания. Бартелеми и Карно были против решительных мер, а Бартелеми и вообще тайно сочувствовал многому в поднимающемся движении. Остальные три директора — Баррас, Ребель, Ларевельер-Лепо — постоянно совещались, но не решались ничего предпринять, чтобы предупредить готовящийся удар.

Одним из обстоятельств, которые очень тревожили Барраса и его двух товарищей, не желавших без борьбы отдавать свою власть, а может быть, и жизнь и решившихся бороться всеми мерами, было то, что генерал Пишегрю, прославленный завоеванием Голландии в 1795 г., оказался в лагере оппозиции. Он

был избран президентом Совета пятисот, главой высшей законодательной власти в государстве, и его предназначали в верховные руководители готовящегося нападения на республиканских «триумвиров» — так называли трех директоров (Барраса, Ларевельер-Лепо и Ребеля).

Таково было положение вещей летом 1797 г. Бонапарт, воюя в Италии, зорко следил за тем, что делается в Париже. Он видел, что республике грозит явная опасность. Сам Бонапарт республику не любил и вскоре республику задушил, но он вовсе не намерен был допустить эту операцию преждевременно, а самое главное, вовсе не желал, чтобы это пошло на пользу кому-либо другому. В бессонную итальянскую ночь он уже ответил себе, что не всегда ему суждено побеждать только в пользу «этих адвокатов». Но еще меньше он хотел побеждать в пользу Бурбона. Его тоже, как и директоров, беспокоило, что во главе врагов республики стоит один из популярных генералов — Пишегрю. Это имя могло в решающий миг сбить с толку солдат. Они могли пойти за Пишегрю именно потому, что верили в его искренний республиканизм, и могли не понять, куда он их ведет.

Теперь уже без труда можно представить себе, что́ должен был почувствовать Бонапарт, когда ему прислали из Триеста с такой поспешностью толстый портфель, отобранный у арестованного графа д'Антрэга, и когда в этом портфеле он нашел непререкаемые доказательства измены Пишегрю, тайных его переговоров с агентом принца Конде, Фош-Борелем, прямые свидетельства о давнем его предательском поведении относительно республики, которой он служил. Только одна маленькая неприятность несколько замедлила отправку этих бумаг прямо в Париж, Баррасу. Дело в том, что в одной из бумаг (и притом в самой важной для обвинения Пишегрю) другой агент Бурбонов, Монгайар, между прочим рассказывал, что он побывал в Италии у Бонапарта в главной квартире армии и пытался с ним тоже вести переговоры. Хотя ничего больше и не было, кроме этих ничего не значащих строк, хотя Монгайар и мог под каким-нибудь предлогом действительно побывать под чужим именем у Бонапарта, но генерал Бонапарт решил, что лучше эти строки уничтожить, чтобы не ослаблять впечатления касательно Пишегрю. Он приказал доставить к себе д'Антрэга и предложил ему тут же переписать этот документ, выпустив нужные строки, и подписать его, грозя иначе расправиться с ним. Д'Антрэг мигом сделал все, что от него требовалось, и был спустя некоторое время выпущен (т. е. ему было устроено мнимое «бегство» из-под стражи). Документы вслед за тем были Бонапартом отправлены и доставлены Баррасу. Это развязало руки «триумвирам». Они не сразу опубликовали ужасающую

бумагу, которую им доставил Бонапарт, но сначала подтянули особенно верные дивизии, затем подождали генерала Ожеро, которого спешно отрядил Бонапарт из Италии в Париж на помощь директорам. Кроме того, Бонапарт обещал прислать из вновь реквизированных в Италии денег 3 миллиона франков золотом для усиления средств Директории в предстоящий критический момент.

В 3 часа ночи 18 фрюктидора (4 сентября 1797 г.) Баррас приказал арестовать двух подозрительных по своей умеренности директоров; Бартелеми был схвачен, а Карно успел бежать. Начались массовые аресты роялистов, чистка Совета пятисот и Совета старейшин, за арестами последовала высылка их без суда в Гвиану (откуда не очень многие вернулись впоследствии), закрытие заподозренных в роялизме газет, массовые аресты в Париже и провинции. Уже на рассвете 18 фрюктидора всюду красовались огромные плакаты: это были напечатанные документы, подлинники которых, как сказано, прислал в свое время Бонапарт Баррасу. Пишегрю, председатель Совета пятисот, был схвачен и тоже увезен в Гвиану. Никакого сопротивления этот переворот 18 фрюктидора не встретил. Плебейские массы ненавидели роялизм еще больше, чем Директорию, и открыто радовались удару, сокрушившему надолго старых приверженцев династии Бурбонов. А «богатые секции» на этот раз на улицу не вышли, хорошо помня страшный вандемьерский урок, который преподал им в 1795 г. при помощи артиллерии генерал Бонапарт.

Директория победила, республика была спасена, и победоносный генерал Бонапарт из своего далекого итальянского лагеря горячо поздравлял Директорию (которую он уничтожил спустя два года) со спасением республики (которую он уничтожил спустя семь лет).

4

Бонапарт был доволен событием 18 фрюктидора еще и в другом отношении. Леобенское перемирие, заключенное с австрийцами еще в мае 1797 г., так и оставалось перемирием. Австрийское правительство вдруг стало летом обнаруживать признаки бодрости и почти грозить, и Бонапарт прекрасно знал, в чем тут дело; Австрия, как и вся монархическая Европа, затаив дыхание, следила за тем, что разыгрывалось в Париже. В Италии ждали со дня на день свержения Директории и республики, возвращения Бурбонов и ликвидации поэтому всех французских завоеваний. 18 фрюктидора с разгромом роялистов, с публичным изобличением измены Пишегрю положило конец всем этим мечтаниям.

Генерал Бонапарт стал резко настаивать на скорейшем подписании мира. Из Австрии был послан для переговоров с Бонапартом искусный дипломат Кобенцль. Но тут коса нашла на камень. Кобенцль во время долгих и трудных переговоров жаловался своему правительству, что редко можно встретить «такого сутягу и такого бессовестного человека», как генерал Бонапарт. Здесь еще больше, чем когда-либо, обнаружились дипломатические способности Бонапарта, по мнению многих источников той эпохи, не уступавшие его военному гению. Только раз он поддался одному из тех припадков ярости, которые впоследствии, когда он уже чувствовал себя владыкой Европы, овладевали им часто, но теперь пока еще были внове. «Ваша империя — это старая распутница, которая привыкла, чтобы все ее насиловали... Вы забываете, что Франция победила, а вы побеждены... Вы забываете, что вы тут со мной ведете переговоры, окруженный моими гренадерами...» — бешено кричал Бонапарт. Он швырнул об пол столик, на котором стоял привезенный Кобенцлем драгоценный фарфоровый кофейный сервиз, подарок австрийскому дипломату от русской императрицы Екатерины. Сервиз разбился вдребезги. «Он вел себя, как сумасшедший»,— доносил об этом Кобенцль. 17 октября 1797 г. в местечке Кампо-Формио был подписан наконец мир между Французской республикой и Австрийской империей.

Почти все то, на чем настаивал Бонапарт и в Италии, где он побеждал, и в Германии, где австрийцы вовсе не были еще побеждены французскими генералами, было им достигнуто. Венеция, как и желал Бонапарт, послужила компенсацией Австрии за эти уступки на Рейне.

Бурным ликованием встретили в Париже весть о мире. Страна ждала торгового и промышленного оживления. Имя гениального военного вождя было у всех на устах. Все понимали, что война, проигранная прочими генералами на Рейне, была выиграна одним Бонапартом в Италии и что этим был спасен также и Рейн. Официальным, официозным и совсем частным печатным и устным восхвалениям победоносного генерала, завоевателя Италии, не было конца. «О, могущественный дух свободы! Ты один мог породить... итальянскую армию, породить Бонапарта! Счастливая Франция!» — восклицал в своей речи один из директоров республики, Ларевельер-Лепо.

Между тем Бонапарт наскоро заканчивал организацию новой вассальной Цизальпинской республики, куда включил часть завоеванных им земель (прежде всего Ломбардию). Другая часть его завоеваний была непосредственно присоединена к Франции. Наконец, третья часть (вроде Рима) оставлена была до поры до времени в руках прежних государей, но с фактическим подчинением их Франции. Бонапарт организовал эту Цизальпинскую

республику так, что при видимости существования совещательного собрания представителей из состоятельных слоев населения вся фактическая сила должна была находиться в руках французской оккупационной военной власти и присланного из Парижа комиссара. Ко всей традиционной фразеологии об освобождении народов, о братских республиках и т. д. он относился с самым откровенным презрением. Он ничуть не верил тому, что в Италии есть хоть сколько-нибудь значительное число людей, которые были бы охвачены тем энтузиазмом к свободе, о котором он сам говорил в своих воззваниях к населению завоевываемых им стран.

Распространялась по Европе официальная версия о том, как великий итальянский народ сбрасывает долгое иго суеверий и притеснений и несметной массой берется за оружие, чтобы помогать освободителям-французам, а на деле вот что — не для публики, а для Директории — сообщал доверительно Бонапарт: «Вы воображаете себе, что свобода подвинет на великие дела дряблый, суеверный, трусливый, увертливый народ... В моей армии нет ни одного итальянца, кроме полутора тысяч шелопаев, подобранных на улицах, которые грабят и ни на что не годятся...» И дальше он говорит, что только с уменьем и при помощи «суровых примеров» можно держать Италию в руках. А итальянцы уже имели случай узнать, что́ именно он понимает под суровыми мерами. Он жестоко расправился с жителями г. Бинаско, с г. Павией, с некоторыми деревнями, около которых были найдены убитыми отдельные французы.

Во всех этих случаях действовала вполне планомерная политика Наполеона, которой он держался всегда: ни одной бесцельной жестокости и совсем беспощадный массовый террор, если это ему было нужно для подчинения завоеванной страны. Он уничтожил в завоеванной Италии всякие следы феодальных прав, где они были, он лишил церковь и монастыри права на некоторые поборы, он успел за те полтора года (с весны 1796 до поздней осени 1797 г.), которые он провел в Италии, ввести кое-какие законоположения, которые должны были приблизить социально-юридический строй жизни северной Италии к тому, который успела выработать буржуазия во Франции. Зато он тщательно и аккуратно эксплуатировал все итальянские земли, где только побывал, много миллионов золотом он отправил Директории в Париж, а вслед за этим и сотни лучших творений искусства из итальянских музеев и картинных галерей. Не забыл он и лично себя и своих генералов: они вернулись из похода богатыми людьми. Однако, подвергая Италию такой беспощадной эксплуатации, он понимал, что как ни трусливы (по его мнению) итальянцы, но что очень любить французов (армию которых они же и содержали из своих средств) им не за что

и что даже их долготерпению может наступить внезапный конец. Значит, угроза военным террором — главное, что может на них действовать в желательном для завоевателя духе.

Ему еще не хотелось покидать завоеванную страну, но Директория ласково, однако очень настойчиво звала его после Кампо-Формио в Париж. Директория назначила его теперь главнокомандующим армии, которая должна была действовать против Англии. Бонапарт уже давно почуял, что Директория начала его побаиваться. «Они завидуют мне, я это знаю, хоть они и курят фимиамом под моим носом; но они меня не одурачат. Они поспешили назначить меня генералом армии против Англии, чтобы убрать меня из Италии, где я больше государь, чем генерал»,— так оценивал он свое назначение в доверительных беседах.

7 декабря 1797 г. он прибыл в Париж, а 10 декабря был триумфально встречен Директорией в полном составе в Люксембургском дворце. Несметная толпа народа собралась у дворца, самые бурные крики и рукоплескания приветствовали Наполеона, когда он прибыл к дворцу. Речи, которыми встретили его Баррас, первенствующий член Директории, и другие члены Директории, и лукавый, дальше всех проникающий мыслью в будущее, умный и продажный министр иностранных дел Талейран, и остальные сановники, восторженные славословия толпы на площади — все это принималось 28-летним генералом с полным наружным спокойствием, как нечто должное и нисколько его не удивляющее. В душе он никогда особой цены восторгам народных толп не придавал: «Народ с такой же поспешностью бежал бы вокруг меня, если бы меня вели на эшафот»,— сказал он после этих оваций (конечно, не во всеуслышание).

Едва приехав в Париж, Бонапарт принялся проводить через Директорию проект новой большой войны: в качестве генерала, назначенного действовать против Англии, он решил, что есть место, откуда можно грозить англичанам более успешно, чем на Ламанше, где их флот сильнее французского. Он предложил завоевать Египет и создать на Востоке подступы и плацдармы для дальнейшей угрозы английскому владычеству в Индии.

Не сошел ли он с ума? — спрашивали себя в Европе многие, когда уже летом 1798 г. узнали о совершившемся, потому что строжайшая тайна окружала до той поры новый план Бонапарта и обсуждение этого плана весной 1798 г. в заседаниях Директории.

Но то, что казалось издали обывательскому уму фантастической авантюрой, на самом деле тесно связывалось с определенными и стародавними устремлениями не только революционной, но и дореволюционной французской буржуазии. План Бонапарта оказался приемлемым.

Глава III

ЗАВОЕВАНИЕ ЕГИПТА И ПОХОД В СИРИЮ 1798—1799 гг.

1

В исторической карьере Наполеона египетский поход — вторая большая война, которую он вел,— играет особую роль, и в истории французских колониальных завоеваний эта попытка тоже занимает совсем исключительное место.

Буржуазия Марселя и всего юга Франции с давних пор вела обширнейшие и крайне выгодные для французской торговли и промышленности сношения со странами Леванта, другими словами, с берегами Балканского полуострова, с Сирией, с Египтом, с островами восточной части Средиземного моря, с Архипелагом. И тоже с давних пор постоянным стремлением этих слоев французской буржуазии было упрочение политического положения Франции в этих прибыльных, но довольно беспорядочно управляемых местах, где торговля постоянно нуждается в охране и престиже силы, которую купец может в случае нужды призвать к себе на помощь. К концу XVIII в. умножились соблазнительные описания природных богатств Сирии и Египта, где хорошо бы завести колонии и фактории. Французская дипломатия с давних пор приглядывалась к этим так, казалось, слабо оберегаемым Турцией левантийским странам, которые числились владениями константинопольского султана, землями Оттоманской Порты, как называлось тогда турецкое правительство. С давних пор также французские правящие сферы смотрели на Египет, омываемый и Средиземным и Красным морями, как на такой пункт, откуда можно угрожать торговым и политическим конкурентам в Индии и Индонезии. Еще знаменитый философ Лейбниц подавал в свое время Людовику XIV доклад, в котором советовал французскому королю завоевать Египет, чтобы этим подорвать положение голландцев на всем Востоке. Теперь, в конце XVIII в., не голландцы, а англичане были

главным врагом, и после всего сказанного ясно, что руководители французской политики вовсе не смотрели на Бонапарта, как на сумасшедшего, когда он предложил им нападение на Египет, и вовсе не удивились, когда холодный, осторожный, скептический министр иностранных дел Талейран стал самым решительным образом этот план поддерживать.

Еще едва только овладев Венецией, Бонапарт приказал одному из подчиненных генералов захватить Ионические острова и тогда уже говорил об этом захвате как об одной из деталей в деле овладения Египтом. У нас есть и еще неопровержимые данные, показывающие, что в течение всей своей первой итальянской кампании он не переставал возвращаться мыслью к Египту. Еще в августе 1797 г. он писал из своего лагеря в Париж: «Недалеко уже то время, когда мы почувствуем, что для того, чтобы в самом деле разгромить Англию, нам нужно овладеть Египтом». В течение всей итальянской войны в свободные минуты он, как всегда, много и с жадностью читал, и мы знаем, что он выписал и прочел книгу Вольнэя о Египте и еще несколько работ на ту же тему. Захватив Ионические острова, он так ими дорожил, что, как он писал Директории, если бы пришлось выбирать, то лучше отказаться от только что завоеванной Италии, чем от Ионических островов. И одновременно, еще не заключив окончательно мира с австрийцами, он настойчиво советовал овладеть островом Мальтой. Все эти островные базы на Средиземном море были ему нужны для организации будущего нападения на Египет.

Теперь, после Кампо-Формио, когда с Австрией — временно по крайней мере — было покончено и Англия оставалась главным врагом, Бонапарт все свои усилия направил на то, чтобы убедить Директорию дать ему флот и армию для завоевания Египта. Его всегда манил Восток, и в эту пору его жизни его воображение было больше занято Александром Македонским, чем Цезарем или Карлом Великим или кем-либо из других исторических героев. Несколько позже, уже странствуя по египетским пустыням, он полушутя, полусерьезно высказывал спутникам сожаление, что слишком поздно родился и уже никак не может, подобно Александру Македонскому, тоже завоевавшему Египет, провозгласить себя тут же богом или божьим сыном. И совсем уже серьезно он говорил потом, что Европа мала и что настоящие великие дела совершать можно лучше всего на Востоке.

Эти его внутренние влечения как нельзя больше соответствовали тому, что требовалось в тот момент с точки зрения его дальнейшей политической карьеры. В самом деле: с той самой бессонной ночи в Италии, когда он решил, что не всегда

же ему побеждать только для Директории, им был взят курс на овладение верховной властью. «Я уже не умею повиноваться»,— открыто заявлял он в своем штабе, когда им велись переговоры о мире с австрийцами, а из Парижа приходили раздражавшие его директивы. Но свергнуть Директорию сейчас, т. е. в зиму с 1797 на 1798 г. или весной 1798 г., еще было нельзя. Плод еще не созрел, а Наполеон в эту пору если уже потерял способность повиноваться, то еще пока не утратил способности терпеливо ждать момента. Директория еще недостаточно себя скомпрометировала, а он, Бонапарт, еще недостаточно стал любимцем и кумиром всей армии, хотя на те дивизии, которыми он командовал в Италии, он уже вполне мог положиться. Как же лучше можно использовать то время, которое еще нужно переждать, если не употребив его на новое завоевание, на новые блестящие подвиги в стране фараонов, стране пирамид, идя по следам Александра Македонского, создавая угрозу индийским владениям ненавистной Англии?

В высшей степени ценной была для него в этом деле поддержка Талейрана. Вряд ли вообще можно говорить об «убеждениях» Талейрана. Но возможность создать богатую, процветающую, полезную в экономическом отношении французскую колонию в Египте для Талейрана была бесспорна. Он прочел об этом доклад в Академии еще до того, как узнал о замыслах Бонапарта. Аристократ, пошедший из соображений карьеризма на службу республике, Талейран в данном случае являлся выразителем стремлений класса, особенно заинтересованного в левантийской торговле,— французского купечества. Теперь к этому прибавилось со стороны Талейрана еще и желание расположить к себе Бонапарта, в котором лукавый ум этого дипломата раньше всех предугадал будущего властелина Франции и наиболее верного душителя якобинцев.

Но Бонапарту и Талейрану не очень много пришлось и трудиться, чтобы убедить Директорию дать деньги, солдат и флот для этого далекого и опасного предприятия. Во-первых (и это самое важное), Директория по указанным уже общим экономическим и особенно военно-политическим причинам тоже видела пользу и смысл в этом завоевании, а во-вторых (это было несравненно менее существенно), кое-кто из директоров (например, Баррас) мог и в самом деле усмотреть в затеваемой далекой и опасной экспедиции некоторую пользу именно от того, что она такая далекая и такая опасная... Внезапная колоссальная и шумная популярность Бонапарта уже давно их тревожила; что он «разучился повиноваться», это Директория знала лучше, чем кто-либо другой: ведь Бонапарт заключил Кампо-Формийский мир в таком виде, как он захотел, и вопреки некоторым прямым желаниям Директории. На чествовании

его 10 декабря 1797 г. он вел себя не как молодой воин, с волнением благодарности принимающий похвалу от отечества, а как древнеримский император, которому подобострастный сенат устраивает триумф после удачной войны: он был холоден, почти угрюм, неразговорчив, принимал все происходившее как нечто должное и обыденное. Словом, все его ухватки тоже наталкивали на беспокойные размышления. Пусть едет в Египет: вернется — хорошо, не вернется — что же, Баррас и его товарищи уже наперед были готовы безропотно перенести эту утрату. Экспедиция была решена. Главнокомандующим был назначен генерал Бонапарт. Это случилось 5 марта 1798 г.

Немедленно началась самая кипучая деятельность главнокомандующего по подготовке экспедиции, по осмотру кораблей, по отбору солдат для экспедиционного корпуса. Тут еще больше, чем в начале итальянской кампании, обнаружилась способность Наполеона, затевая самые грандиозные и труднейшие предприятия, зорко следить за всеми мелочами и при этом нисколько в них не путаться и не теряться — одновременно видеть и деревья, и лес, и чуть ли не каждый сук на каждом дереве. Инспектируя берега и флот, формируя свой экспедиционный корпус, внимательно следя за всеми колебаниями мировой политики и за всеми слухами о передвижении эскадры Нельсона, которая могла потопить его во время переезда, а пока крейсировала у французских берегов,— Бонапарт в то же время чуть не поодиночке отбирал для Египта солдат, с которыми воевал в Италии. Он знал громадное количество солдат индивидуально; его исключительная память всегда и впоследствии поражала окружающих. Он знал, что этот солдат храбр и стоек, но пьяница, а вот этот очень умен и сообразителен, но быстро утомляется, потому что болен грыжей. Он не только впоследствии хорошо выбирал маршалов, но он хорошо выбирал и капралов и удачно отбирал рядовых солдат там, где это нужно было. А для египетского похода, для войны под палящим солнцем, при 50° и больше жары, для перехода по раскаленным необъятным песчаным пустыням без воды и тени нужны были именно отборные по выносливости люди. 19 мая 1798 г. все было готово: флот Бонапарта отплыл из Тулона. Около 350 больших и малых судов и барок, на которых разместилась армия в 30 тысяч человек с артиллерией, должны были пройти вдоль почти все Средиземное море и избежать встречи с эскадрой Нельсона, которая расстреляла бы и потопила их.

Вся Европа знала, что готовится какая-то морская экспедиция; Англия, сверх того, прекрасно знала, что во всех южнофранцузских портах идет кипучая работа, что туда непрерывно прибывают войска, что во главе экспедиции будет генерал Бонапарт и что уже это назначение показывает всю важность

дела. Но куда отправится экспедиция? Бонапарт очень искусно распространил слух, что он намерен пройти через Гибралтар, обогнуть Испанию и затем попытаться сделать высадку в Ирландии. Этот слух дошел до Нельсона и обманул его: он сторожил Наполеона у Гибралтара, когда французский флот вышел из гавани и пошел прямо на восток, к Мальте.

Мальта принадлежала еще с XVI в. Ордену мальтийских рыцарей. Генерал Бонапарт подошел к острову, потребовал и добился его сдачи, объявил его владением Французской республики и после нескольких дней остановки отплыл дальше в Египет. Мальта была примерно на полпути, и подошел он к ней 10 июня, а 19-го уже продолжал путь. Сопутствуемый благоприятным ветром, уже 30 июня Бонапарт со своей армией причалил к берегу Египта близ г. Александрии. Немедленно он начал высадку. Положение было опасное: он узнал в Александрии тотчас же по приезде, что ровно за 48 часов до его появления к Александрии подошла английская эскадра и спрашивала о Бонапарте (о котором, конечно, там не имели ни малейшего представления). Оказалось, что Нельсон, прослышав о взятии Мальты французами и убедясь, что Бонапарт его обманул, помчался на всех парусах в Египет, чтобы не допустить высадки и потопить французов еще на море. Но ему повредила именно его излишняя поспешность и бóльшая быстроходность британского флота; правильно сначала сообразив, что Бонапарт пошел от Мальты к Египту, он снова сбился с толку, когда ему сказали в Александрии, что ни о каком Бонапарте там и не слыхивали, и тогда Нельсон помчался в Константинополь, решив, что французам плыть больше некуда, раз их нет в Египте.

Эта цепь ошибок Нельсона и случайностей спасла французскую экспедицию. Нельсон каждую минуту мог вернуться, поэтому высадка была произведена с большой быстротой. В час ночи 2 июля войска были на суше.

2

Очутившись в своей стихии с верными солдатами, Бонапарт уже ничего не боялся. Немедленно он двинул свою армию на Александрию (высадку он произвел в рыбачьем поселке Марабу, в нескольких километрах от города).

Египет числился владением турецкого султана, но фактически им владела и над ним господствовала начальствующая верхушка хорошо вооруженной феодальной конницы. Конница называлась мамелюками, а их начальники, владельцы лучших земель в Египте,— беями-мамелюками. Эта военно-феодальная аристократия платила известную дань константинопольскому

султану, признавала его верховенство, но фактически крайне мало от него зависела.

Основное население — арабы — занималось кто торговлей (и между ними были состоятельные и даже богатые купцы), кто ремеслами, кто караванным транспортом, кто работал на земле. В самом худшем, наиболее загнанном состоянии были копты, остатки прежних, еще доарабских, племен, живших в стране. Носили они общее название «феллахи» (крестьяне). Но феллахами назывались и обедневшие крестьяне арабского происхождения. Они батрачили, были чернорабочими, погонщиками верблюдов, кое-кто — мелкими бродячими торговцами.

Хотя страна считалась принадлежащей султану, но Бонапарт, прибывший захватить ее в свои руки, все время старался делать вид, будто он с турецким султаном не воюет,— напротив, с султаном у него глубокий мир и дружба, а он явился, чтобы освободить арабов (о коптах он не говорил) от угнетения со стороны беев-мамелюков, которые своими поборами и жестокостями угнетают население. И когда он двинулся к Александрии и после нескольких часов перестрелки взял ее и вошел в этот обширнейший и тогда довольно богатый город, то, повторяя свой вымысел относительно освобождения от мамелюков, он сразу стал устанавливать надолго французское владычество. Он всячески уверял арабов в своем уважении к корану и к магометанской религии, по рекомендовал полную покорность, грозя в противном случае крутыми мерами.

После нескольких дней пребывания в Александрии Бонапарт двинулся на юг, углубляясь в пустыню. Войска его страдали от отсутствия воды: население деревень в панике покидало свои дома и, убегая, отравляло и загрязняло колодцы. Мамелюки медленно отступали, изредка тревожа французов, и затем на своих великолепных лошадях скрывались от погони.

20 июля 1798 г. в виду пирамид Бонапарт встретился наконец с главными силами мамелюков. «Солдаты! Сорок веков смотрят на вас сегодня с высоты этих пирамид!» — сказал Наполеон, обращаясь к своей армии перед началом сражения.

Дело было между селением Эмбабе и пирамидами. Мамелюки потерпели полное поражение, они бросили часть своей артиллерии (40 пушек) и бежали на юг. Несколько тысяч человек осталось на поле битвы.

Сейчас же после этой победы Бонапарт пошел в г. Каир, второй из двух больших городов Египта. Напуганное население молча встретило завоевателя; оно не только ничего о Бонапарте не слыхало, но ему было даже и теперь еще невдомек, кто он такой, зачем явился и с кем воюет.

В Каире, который был богаче Александрии, Бонапарт нашел массу съестных припасов. Армия отдохнула после тяже-

лых переходов. Правда, неприятно было то, что жители слишком уж были напуганы, и генерал Бонапарт даже издал специальное воззвание, переведенное на местное наречие, с призывом к успокоению. Но так как одновременно он приказал в виде карательной меры разграбить и сжечь село Алькам, недалеко от Каира, заподозрив его жителей в убийстве нескольких солдат, то запуганность арабов еще более усилилась.

Эти приказы в подобных случаях Наполеон не колеблясь отдавал и в Италии, и в Египте, и всюду, где он воевал впоследствии, и это тоже у него было вполне рассчитано: его войско должно было видеть, как страшно карает их начальник всех и каждого, кто посмеет поднять руку на французского солдата.

Устроившись в Каире, он приступил к организации управления. Не касаясь подробностей, которые были бы тут неуместны, я отмечу только наиболее характерные черты: во-первых, власть должна была быть сосредоточена в каждом городе, в каждом селении в руках французского начальника гарнизона; во-вторых, при этом начальнике должен находиться совещательный «диван» из назначенных им же наиболее именитых и состоятельных местных граждан; в-третьих, магометанская религия должна пользоваться полнейшим уважением, а мечети и духовенство — неприкосновенностью; в-четвертых, в Каире при самом главнокомандующем должен состоять тоже большой совещательный орган из представителей не только г. Каира, но и провинций. Сбор податей и налогов должен был быть упорядочен, доставка натурой должна быть так организована, чтобы страна содержала французскую армию на свой счет. Местные начальники со своими совещательными органами должны были организовать исправный полицейский порядок, охранять торговлю и частную собственность. Все земельные поборы, взимавшиеся беями-мамелюками, отменяются. Имения непокорных и продолжающих войну беев, бежавших к югу, отбираются во французскую казну.

Бонапарт и тут, как и в Италии, стремился покончить с феодальными отношениями, что было особенно удобно, так как именно мамелюки поддерживали военное сопротивление, и опереться на арабскую буржуазию и на арабов-землевладельцев; эксплуатируемых же арабской буржуазией феллахов он отнюдь не брал под защиту.

Все это должно было закрепить основы безусловной военной диктатуры, централизованной в его руках и обеспечивающей этот создаваемый им буржуазный порядок. Наконец, настойчиво провозглашаемая им веротерпимость и уважение к корану были, замечу кстати, настолько чрезвычайным новшеством, что российский «святейший» синод, выдвинув, как

известно, весной 1807 г. смелый тезис о тождестве Наполеона с «предтечей» антихриста, в виде одного из аргументов намекал на поведение Бонапарта в Египте: покровительство магометанству и т. п.

Насадив новый политический режим в завоеванной стране, Бонапарт стал готовиться к дальнейшему походу — к вторжению из Египта в Сирию. Ученых, которых он взял с собой из Франции, он решил в Сирию не брать, а оставить их в Египте. Бонапарт никогда не проявлял особо глубокого уважения к гениальным изысканиям своих ученых современников, но он великолепно сознавал, какую огромную пользу может принести ученый, если его направить на выполнение конкретных задач, выдвигаемых военными, политическими или экономическими обстоятельствами. С этой точки зрения он с большим сочувствием и вниманием относился и к своим ученым спутникам, которых взял с собой в эту экспедицию. Даже знаменитая его команда перед началом одного сражения с мамелюками: «Ослов и ученых на середину!» — означала именно желание обезопасить прежде всего наряду с драгоценнейшими в походе вьючными животными также и представителей науки; несколько неожиданное сопоставление слов получилось исключительно вследствие обычного военного лаконизма и необходимой краткости командной фразы. Нужно сказать, что в истории египтологии поход Бонапарта сыграл колоссальную роль. С ним приехали ученые, которые впервые, можно сказать, открыли для науки эту древнейшую страну человеческой цивилизации.

3

Еще до сирийского похода Бонапарту многократно приходилось убеждаться, что арабы далеко не все восхищены тем «освобождением от тирании мамелюков», о котором постоянно говорил в своих воззваниях французский завоеватель. Французы имели достаточно продовольствия, установив правильно действующую, но тяжкую для населения машину реквизиций и налогового обложения. Но звонкой монеты было найдено меньше. Для добывания ее служили другие средства.

Оставленный Бонапартом в качестве генерал-губернатора Александрии генерал Клебер арестовал прежнего шейха этого города и большого богача Сиди-Мохаммеда Эль-Кораима по обвинению в государственной измене, хотя и не имел к тому никаких доказательств. Эль-Кораим был под конвоем отправлен в Каир, где ему и заявили, что если он желает спасти свою голову, то должен отдать 300 тысяч франков золотом. Эль-Кораим оказался на свою беду фаталистом: «Если мне суждено умереть теперь, то ничто меня не спасет и я отдам, значит, свои пиастры без пользы; если мне не суждено умереть, то

зачем же мне их отдавать?» Генерал Бонапарт приказал отрубить ему голову и провезти ее по всем улицам Каира с надписью: «Так будут наказаны все изменники и клятвопреступники». Денег, спрятанных казненным шейхом, так и не нашли, несмотря на все поиски. Зато несколько богатых арабов отдали все, что у них потребовали, и в ближайшее после казни Эль-Кораима время было собрано таким путем около 4 миллионов франков, которые и поступили в казначейство французской армии. С людьми попроще обращались и подавно без особых церемоний.

В конце октября 1798 г. дело дошло до попытки восстания в самом Каире. Несколько человек из оккупационной армии подверглось открытому нападению и было убито, и в течение трех дней восставшие оборонялись в нескольких кварталах. Усмирение было беспощадное. Кроме массы перебитых арабов и феллахов при самом подавлении восстания, уже после усмирения несколько дней подряд происходили казни; казнили от 12 до 30 человек в день.

Каирское восстание имело отголосок и в соседних селениях. Генерал Бонапарт, узнав о первом же из этих восстаний, приказал своему адъютанту Круазье отправиться туда, окружить все племя, перебить всех без исключения мужчин, а женщин и детей привести в Каир, самые же дома, где жило это племя, сжечь. Это было исполнено в точности. Много детей и женщин, которых гнали пешком, умерло по дороге, а спустя несколько часов после этой карательной экспедиции на главной площади Каира появились ослы, навьюченные мешками. Мешки были раскрыты, и по площади покатились головы казненных мужчин провинившегося племени.

Эти зверские меры, судя по свидетельству очевидцев, на время страшно терроризировали население.

Между тем Бонапарт должен был считаться с двумя крайне опасными для него обстоятельствами. Во-первых, уже давно (как раз месяц спустя после высадки армии в Египте) адмирал Нельсон нашел наконец французскую эскадру, стоявшую пока в Абукире, напал на нее и уничтожил совершенно. Французский адмирал Бриэй погиб в битве. Таким образом, армия, воевавшая в Египте, оказывалась надолго отрезанной от Франции. Во-вторых, турецкое правительство решило ни в коем случае не поддерживать распространенный Бонапартом вымысел, будто он вовсе не воюет с Оттоманской Портой, а только наказывает мамелюков за обиды, чинимые французским купцам, и за угнетение арабов. В Сирию была послана турецкая армия.

Бонапарт двинулся из Египта в Сирию, навстречу туркам. Жестокости в Египте он счел наилучшим методом, чтобы вполне обеспечить тыл во время нового далекого похода.

Поход в Сирию был страшно тяжел, особенно вследствие недостатка воды. Город за городом, начиная от Эль-Ариша, сдавался Бонапарту. Перейдя через Суэцкий перешеек, он двинулся к Яффе и 4 марта 1799 г. осадил ее. Город не сдавался. Бонапарт приказал объявить населению Яффы, что если город будет взят приступом, то все жители будут истреблены, в плен брать не будут. Яффа не сдалась. 6 марта последовал штурм, и, ворвавшись в город, солдаты принялись истреблять буквально всех, кто попадался под руку. Дома и лавки были отданы на разграбление. Спустя некоторое время, когда избиения и грабеж уже подходили к концу, генералу Бонапарту было доложено, что около 4 тысяч уцелевших еще турецких солдат при полном вооружении, большей частью арнауты и албанцы по происхождению, заперлись в одном обширном, со всех концов загороженном месте и что когда французские офицеры подъехали и потребовали сдачи, то эти солдаты объявили, что сдадутся только, если им будет обещана жизнь, а иначе будут обороняться до последней капли крови. Французские офицеры обещали им плен, и турки вышли из своего укрепления и сдали оружие. Пленников французы заперли в сараи. Генерал Бонапарт был всем этим очень разгневан. Он считал, что совершенно незачем было обещать туркам жизнь. «Что мне теперь с ними делать? — кричал он.— Где у меня припасы, чтобы их кормить?» Не было ни судов, чтобы отправить их морем из Яффы в Египет, ни достаточно свободных войск, чтобы конвоировать 4 тысяч отборных, сильных солдат через все сирийские и египетские пустыни в Александрию или Каир. Но не сразу Наполеон остановился на своем страшном решении... Он колебался и терялся в раздумье три дня. Однако на четвертый день после сдачи он отдал приказ всех их расстрелять. 4 тысячи пленников были выведены на берег моря и здесь все до одного расстреляны. «Никому не пожелаю пережить то, что пережили мы, видевшие этот расстрел»,— говорит один из французских офицеров.

Тотчас после этого Бонапарт двинулся дальше, к крепости Акр, или, как французы ее чаще называют, Сен-Жан д'Акр. Турки называли ее *Акка.* Особенно мешкать не приходилось: чума гналась по пятам за французской армией, и оставаться в Яффе, где и в домах, и на улицах, и на крышах, и в погребах, и в садах, и в огородах гнили неприбранные трупы перебитого населения, было, с гигиенической точки зрения, крайне опасно.

Осада Акра длилась ровно два месяца и окончилась неудачей. У Бонапарта не было осадной артиллерии; обороной руководил англичанин Сидней Смит; с моря англичане подвозили и припасы и оружие, турецкий гарнизон был велик. Пришлось,

после нескольких неудавшихся приступов, 20 мая 1799 г. снять осаду, за время которой французы потеряли 3 тысячи человек. Правда, осажденные потеряли еще больше. После этого французы пошли обратно в Египет.

Тут следует отметить, что Наполеон всегда (до конца дней) придавал какое-то особое, фатальное значение этой неудаче. Крепость Акр была последней, самой крайней восточной точкой земли, до которой суждено ему было добраться. Он предполагал остаться в Египте надолго, велел своим инженерам обследовать древние следы попыток прорытия Суэцкого канала и составить план будущих работ по этой части. Мы знаем, что он писал воевавшему как раз тогда против англичан майсорскому султану (на юге Индии), обещая помощь. У него были планы сношений и соглашений с персидским шахом. Сопротивление в Акре, беспокойные слухи о восстаниях сирийских деревень, оставленных в тылу, между Эль-Аришем и Акром, а главное, невозможность без новых подкреплений так страшно растягивать коммуникационную линию — все это положило конец мечте об утверждении его владычества в Сирии.

Обратный путь был еще тяжелее, чем наступление, потому что был уже конец мая и приближался июнь, когда страшная жара в этих местах усиливалась до невыносимой степени. Бонапарт останавливался не надолго, чтобы так же жестоко, как он всегда это делал, покарать сирийские деревни, которые находил нужным покарать.

Любопытно отметить, что во время этого тяжкого обратного пути из Сирии в Египет главнокомандующий делил с армией все трудности этого похода, не давая себе и своим высшим начальникам никакой поблажки. Чума наседала все более и более. Чумных оставляли, но раненых и больных не чумой брали с собой дальше. Бонапарт велел всем спешиться, а лошадей, все повозки и экипажи предоставить под больных и раненых. Когда после этого распоряжения его главный заведующий конюшней, убежденный, что для главнокомандующего должно сделать исключение, спросил, какую лошадь оставить ему, Бонапарт пришел в ярость, ударил вопрошавшего хлыстом по лицу и закричал: «Всем идти пешком! Я первый пойду! Что, вы не знаете приказа? Вон!»

За этот и подобные поступки солдаты больше любили и на старости лет чаще вспоминали Наполеона, чем за все его победы и завоевания. Он это очень хорошо знал и никогда в подобных случаях не колебался; и никто из наблюдавших его не мог впоследствии решить, что и когда тут было непосредственным движением, а что — наиграно и обдумано. Могло быть одновременно и то и другое, как это случается с великими актерами. А Наполеон в актерстве был действительно велик, хотя

на заре его деятельности, в Тулоне, в Италии, в Египте, это его свойство стало открываться пока лишь очень немногим, лишь самым проницательным из самых близких. А среди его близких было тогда мало проницательных.

14 июня 1799 г. армия Бонапарта вернулась в Каир. Но недолго еще суждено было если не всей армии, то ее главнокомандующему оставаться в завоеванной им и покорившейся стране.

Не успел Бонапарт отдохнуть в Каире, как пришла весть, что близ Абукира, там, где за год до того Нельсон уничтожил французские транспорты, высадилась турецкая армия, присланная освободить Египет от французского нашествия. Сейчас же он выступил с войсками из Каира и направился на север к дельте Нила. 25 июля он напал на турецкую армию и разгромил ее. Почти все 15 тысяч турок были перебиты на месте. Наполеон приказал в плен не брать, а истребить всех. «Эта битва — одна из прекраснейших, какие я только видел: от всей высадившейся неприятельской армии не спасся ни один человек»,— торжественно писал Наполеон. Французское завоевание этим казалось вполне упроченным на ближайшие годы. Ничтожная часть турок спаслась на английские суда. Море попрежнему было во власти англичан, но Египет прочнее чем когда-либо был в руках Бонапарта.

И тут произошло внезапное, никем не предвиденное событие. Долгие месяцы отрезанный от всякого сообщения с Европой, Бонапарт из случайно попавшей в его руки газеты узнал потрясающие новости: он узнал, что, пока он завоевывал Египет, Австрия, Англия, Россия и Неаполитанское королевство возобновили войну против Франции, что Суворов появился в Италии, разбил французов, уничтожил Цизальпинскую республику, движется к Альпам, угрожает вторжением во Францию; в самой Франции — разбои, смуты, полное расстройство; Директория ненавистна большинству, слаба и растерянна. «Негодяи! Италия потеряна! Все плоды моих побед потеряны! Мне нужно ехать!» — сказал он, как только прочел газету.

Решение было принято сразу. Он передал верховное командование армией генералу Клеберу, приказал в спешном порядке и строжайшей тайне снарядить четыре судна, посадил на них около 500 отобранных им людей и 23 августа 1799 г. выехал во Францию, оставив Клеберу большую хорошо снабженную армию, исправно действующий (им самим созданный) административный и налоговый аппарат и безгласное, покорное, запуганное население огромной завоеванной страны.

Глава IV

ВОСЕМНАДЦАТОЕ БРЮМЕРА 1799 г.

1

Наполеон отплыл из Египта с твердым и непоколебимым намерением низвергнуть Директорию и овладеть верховной властью в государстве. Предприятие было отчаянное. Напасть на республику, «поставить точку к революции», начавшейся взятием Бастилии больше десяти лет назад, сделать все это, даже имея в своем прошлом Тулон, Вандемьер, Италию и Египет, представляло ряд страшных опасностей. И начались эти опасности, едва только Наполеон покинул берег завоеванного им Египта. За 47 дней пути во Францию были близки и, казалось, неизбежны встречи с англичанами, и в эти страшные минуты, по словам наблюдавших, один только Бонапарт оставался спокоен и отдавал с обычной энергией все нужные приказания. Утром 8 октября 1799 г. корабли Наполеона пристали к бухте у мыса Фрежюс, на южном берегу Франции. Для того чтобы понять, что произошло в 30 дней, между 8 октября 1799 г., когда Бонапарт ступил на французскую землю, и 9 ноября, когда он стал повелителем Франции, нужно напомнить в нескольких словах о положении, в котором находилась страна в тот момент, когда она узнала, что завоеватель Египта вернулся.

После переворота 18 фрюктидора V года (1797 г.) и ареста Пишегрю директор республики Баррас и его товарищи, казалось, могли рассчитывать на те силы, которые поддержали их в этот день: 1) на новые собственнические слои города и деревни, разбогатевшие в процессе распродажи национального имущества, церковных и эмигрантских земель, в подавляющем большинстве боявшиеся возвращения Бурбонов, однако мечтавшие об установлении прочного полицейского порядка и сильной центральной власти, и 2) на армию, на солдатскую массу, тесно связанную с трудовым крестьянством, ненавидевшим самую мысль о возврате старой династии и феодальной монархии.

Но в два года, прошедшие между 18 фрюктидора V года (1797 г.) и осенью 1799 г., обнаружилось, что Директория потеряла всякую классовую опору. Крупная буржуазия мечтала о диктаторе, о восстановителе торговли, о человеке, который обеспечит развитие промышленности, принесет Франции победоносный мир и крепкий внутренний «порядок»; мелкая и средняя буржуазия — и прежде всего купившее землю и разбогатевшее крестьянство — желала того же; диктатором мог быть кто угодно, только не Бурбон. Парижские рабочие после массового разоружения их и направленного на них свирепого террора в прериале 1795 г., после ареста в 1796 г. и казни Бабефа и ссылки бабувистов в 1797 г., после всей политики Директории, направленной всецело на защиту интересов крупной буржуазии, особенно спекулянтов и казнокрадов,— эти рабочие, продолжая голодать, страдать от безработицы и от дороговизны, проклиная скупщиков и спекулянтов, конечно, ни в малейшей степени не были склонны защищать Директорию от кого бы то ни было. Что касается пришлых рабочих, поденщиков из деревень, то для них действительно был только один лозунг: «Мы хотим такого режима, при котором едят» (un régime où l'on mange). Эту фразу полицейские агенты Директории частенько подслушивали в предместьях Парижа и докладывали своему обеспокоенному начальству.

За годы своего правления Директория неопровержимо доказала, что она не в состоянии создать тот прочный буржуазный строй, который был бы окончательно кодифицирован и введен в полное действие. Директория за последнее время показала свою слабость и в другом. Восторги лионских промышленников, шелковых фабрикантов по поводу завоевания Бонапартом Италии, с ее громадной добычей шелка-сырца, сменились разочарованием и унынием, когда в отсутствие Бонапарта явился Суворов и в 1799 г. отнял Италию у французов. Такое же разочарование овладело и другими категориями французской буржуазии, когда они увидели в 1799 г., что Франции становится все труднее бороться против могущественной европейской коалиции, что золотые миллионы, которые Бонапарт присылал в Париж из Италии в 1796—1797 гг., в большинстве расхищены чиновниками и спекулянтами, обкрадывающими казну при попустительстве той же Директории. Страшное поражение, нанесенное Суворовым французам в Италии при Нови, смерть французского главнокомандующего Жубера в этой битве, отпадение всех итальянских «союзников» Франции, угроза французским границам — все это окончательно отвратило от Директории буржуазные массы города и деревни.

Об армии нечего и говорить. Там давно вспоминали об уехавшем в Египет Бонапарте, солдаты открыто жаловались,

что голодают из-за всеобщего воровства, и повторяли, что их зря гонят на убой. Внезапно оживилось всегда тлевшее, как уголь под пеплом, роялистское движение в Вандее. Вожди шуанов, Жорж Кадудаль, Фротте, Ларошжаклен, поднимали снова и Бретань и Нормандию. В некоторых местах роялисты дошли до такой смелости, что кричали иногда на улице: «Да здравствует Суворов! Долой республику!» Целыми тысячами бродили по стране уклонившиеся от воинской повинности и поэтому принужденные покинуть родные места молодые люди. Дороговизна росла с каждым днем вследствие общего расстройства финансов, торговли и промышленности, вследствие беспорядочных и непрерывных реквизиций, на которых широко наживались крупные спекулянты и скупщики. Даже когда осенью 1799 г. Массена разбил в Швейцарии при Цюрихе русскую армию Корсакова, а другая русская армия (Суворова) была отозвана Павлом, то и эти успехи мало помогли Директории и не восстановили ее престижа.

Если бы кто пожелал выразить в самых кратких словах положение вещей во Франции в середине 1799 г., тот мог бы остановиться на такой формуле: в имущих классах подавляющее большинство считало Директорию со своей точки зрения бесполезной и недееспособной, а многие — определенно вредной; для неимущей массы как в городе, так и в деревне Директория была представительницей режима богатых воров и спекулянтов, режима роскоши и довольства для казнокрадов и режима безысходного голода и угнетения для рабочих, батраков, для бедняка-потребителя; наконец, с точки зрения солдатского состава армии Директория была кучкой подозрительных людей, которые оставляют армию без сапог и без хлеба и которые в несколько месяцев отдали неприятелю то, что десятком победоносных битв завоевал в свое время Бонапарт. Почва для диктатуры была готова.

2

13 октября (21 вандемьера) 1799 г. Директория уведомила Совет пятисот — «с удовольствием», было сказано в этой бумаге,— что генерал Бонапарт вернулся во Францию и высадился у Фрежюса. При неистовой буре рукоплесканий, радостных криках, нечленораздельных воплях восторга все собрание народных представителей встало, и стоя депутаты долго выкрикивали приветствия. Заседание было прервано. Как только депутаты вышли на улицу и распространили полученное известие, столица, по словам свидетелей, как бы внезапно сошла с ума от радости: в театрах, в салонах, на центральных улицах неустанно повторялось имя Бонапарта. Одно за другим прибы-

вали в Париж известия о неслыханной встрече, которую оказывает генералу население юга и центра во всех городах, через которые он проезжал, направляясь в Париж. Крестьяне выходили из деревень, городские депутации одна за другой представлялись Бонапарту, приветствуя его как лучшего генерала республики. Не только он сам, но и никто вообще не мог себе перед этим даже и вообразить такой внезапной грандиозной, многозначительной манифестации. Бросалась в глаза одна особенность: в Париже войска гарнизона столицы вышли на улицу, как только была получена весть о высадке Бонапарта, и с музыкой прошли по городу. И нельзя было вполне точно уяснить, кто именно дал приказ об этом. И был ли вообще дан такой приказ, или дело сделалось без приказа?

16 октября (24 вандемьера) генерал Бонапарт прибыл в Париж. Директории оставалось просуществовать еще три недели после этого прибытия, но ни Баррас, которого ждала политическая смерть, ни те директора, которые помогли Бонапарту похоронить директориальный режим, не подозревали еще в тот момент, что развязка так близка и что до установления военной диктатуры сроки нужно исчислять уже не неделями, но днями, а скоро и не днями, а часами.

Проезд Бонапарта по Франции от Фрежюса до Парижа уже явно показал, что в нем видят «спасителя». Были торжественные встречи, восторженные речи, иллюминации, манифестации, делегации. Крестьяне, горожане провинций выходили ему навстречу. Офицеры, солдаты восторженно приветствовали своего полководца. Все эти явления и все эти люди, которые, как в калейдоскопе, сменялись перед Бонапартом, пока он ехал в Париж, еще не дали ему полной уверенности в немедленном успехе. Важно было, что́ скажет столица. Гарнизон Парижа с восторгом приветствовал полководца, вернувшегося со свежими лаврами завоевателя Египта, победителя мамелюков, победителя турецкой армии, покончившего с турками как раз перед самым отъездом из Египта. В высших кругах Бонапарт сразу почувствовал крепкую опору. В первые дни также обнаружилось, что подавляющая масса буржуазии, особенно из числа новых собственников, относится к Директории явно враждебно, не доверяет ее дееспособности ни во внутренней, ни во внешней политике, откровенно боится активности роялистов, но еще больше трепещет перед брожением в предместьях, где рабочим массам только что был нанесен Директорией новый удар: 13 августа, по требованию банкиров, Сийес ликвидировал последний оплот якобинцев — Союз друзей свободы и равенства, насчитывавший до 5000 членов и имевший 250 мандатов в обоих советах. Что опасность и справа и слева, а главное, слева, лучше всего может предотвратить Бонапарт — в это

сразу и твердо поверили буржуазия и ее вожди. К тому же еще совсем неожиданно обнаружилось, что в самой пятичленной Директории нет никого, кто был бы способен и имел возможность оказать серьезное сопротивление, даже если бы Бонапарт решился на немедленный переворот. Ничтожные Гойе, Мулен, Роже-Дюко были вообще не в счет. Их и в директора провели именно потому, что никто и никогда не подозревал за ними способности произвести на свет какую-нибудь самостоятельную мысль и решимости раскрыть рот в тех случаях, когда Сийесу или Баррасу это казалось излишним.

Считаться приходилось только с двумя директорами: Сийесом и Баррасом. Сийес, прогремевший в начале революции своей знаменитой брошюрой о том, чем должно быть третье сословие, был и остался представителем и идеологом французской крупной буржуазии; вместе с ней он скрепя сердце перенес революционную якобинскую диктатуру, вместе с ней горячо одобрял и свержение якобинской диктатуры 9 термидора и прериальский террор 1795 г. против восставшей плебейской массы и вместе с этим же классом искал упрочения буржуазного порядка, считая директориальный режим для этого абсолютно негодным, хотя сам и был одним из пяти директоров. На возвращение Бонапарта он смотрел с упованием, но до курьеза глубоко ошибался в личности генерала. «Нам нужна шпага»,— говорил он, наивно воображая, что Бонапарт будет только шпагой, а строителем нового режима будет он, Сийес. Мы сейчас увидим, что́ вышло из этого плачевного (для Сийеса) предположения.

Что касается Барраса, то это был человек совсем другого пошиба, другой биографии, другого склада ума, чем Сийес. Он, конечно, был умнее Сийеса уже потому, что не был таким надутым и самоуверенным политическим резонером, каким был Сийес, который был не то что просто эгоистом, а был, если можно так выразиться, почтительно влюблен в самого себя. Смелый, развратный, скептический, широкий в кутежах, пороках, преступлениях, граф и офицер до революции, монтаньяр при революции, один из руководителей парламентской интриги, создавший внешнюю рамку событий 9 термидора, центральный деятель термидорианской реакции, ответственный автор событий 18 фрюктидора 1797 г.— Баррас всегда шел туда, где была сила, где можно было разделить власть и воспользоваться материальными благами, которые она дает. Но в отличие, например, от Талейрана он умел ставить жизнь на карту, как поставил ее перед 9 термидора, организуя нападение на Робеспьера; умел прямо пойти на врага, как он пошел против роялистов 13 вандемьера 1795 г. или 18 фрюктидора 1797 г. Он не просидел, как притаившаяся мышь, в подполье при Ро-

бесньере подобно Сийесу, ответившему на вопрос, чем он занимался в годы террора: «Я оставался жив». Баррас сжег свои корабли давно. Он знал, как его ненавидят и роялисты и якобинцы, и не давал пощады ни тем, ни другим, сознавая, что и он не получит пощады ни от тех, ни от других, если они победят. Он очень непрочь был помочь Бонапарту, если уж тот вернулся из Египта, к сожалению, здравый и невредимый. Он сам бывал у Бонапарта в эти горячие предбрюмерские дни, подсылал к нему для переговоров и все пытался обеспечить за собой местечко повыше и потеплее в будущем строе.

Но уже очень скоро Наполеон решил, что Баррас невозможен. Не то что не нужен: умных, смелых, тонких, пронырливых политиков, да еще на таком высоком посту, было вовсе не так много, и пренебрегать ими было бы жаль, но Баррас именно сделал себя невозможным. Его не только ненавидели, но и презирали. Беззастенчивое воровство, неприкрытое взяточничество, темные аферы с поставщиками и спекулянтами, неистовые и непрерывные кутежи на глазах люто голодавших плебейских масс — все это сделало имя Барраса как бы символом гнилости, порочности, разложения режима Директории.

Сийеса же, напротив, Бонапарт обласкал с самого начала. У Сийеса и репутация была лучше и сам он, будучи директором, мог при переходе своем на сторону Бонапарта сообщить всему делу какой-то будто бы «законный вид». Его Наполеон тоже, как и Барраса, до поры до времени не разочаровывал, а приберегал, тем более что Сийес должен был понадобиться на некоторый срок еще и после переворота.

В эти же дни к генералу явились два человека, которым суждено было связать свои имена с его карьерой: Талейран и Фуше. Талейрана Бонапарт знал давно, и знал как вора, взяточника, бессовестного, но и умнейшего карьериста. Что Талейран продает при случае всех, кого может продать и на кого есть покупатели, в этом Бонапарт не сомневался, но он ясно видел, что Талейран теперь его не продаст директорам, а, напротив, ему продаст Директорию, которой он почти до самого последнего времени служил в качестве министра иностранных дел. Талейран дал ему много ценнейших указаний и сильно торопил дело. В ум и проницательность этого политика генерал вполне верил, и уже та решительность, с которой Талейран предложил ему свои услуги, была хорошим для Бонапарта предзнаменованием. На этот раз Талейран прямо и открыто пошел на службу к Бонапарту. То же самое сделал Фуше. Министром полиции он был при Директории, министром полиции он собирался остаться и при Бонапарте. У него была — это знал Наполеон — одна ценная особенность: очень боясь за себя в случае реставрации Бурбонов, бывший якобинец и террорист,

вотировавший смертный приговор Людовику XVI, Фуше, казалось, давал достаточные гарантии, что он не продаст нового властелина во имя Бурбонов. Услуги Фуше были приняты. Крупные финансисты и поставщики откровенно предлагали ему деньги. Банкир Колло принес ему сразу 500 тысяч франков, и будущий властелин ничего решительно против этого пока не имел, деньги же брал особенно охотно — пригодятся в таком тяжелом предприятии.

В эти горячие три с половиной недели — между приездом в Париж и государственным переворотом — Бонапарт видел у себя многих людей и очень много полезнейших (для дальнейшего) наблюдений сделал над ними. А им (кроме Талейрана) почти всем казалось, что этот блистательный вояка и рубака, к тридцати годам уже одержавший столько побед, взявший столько крепостей, затмивший всех генералов, в делах политических, гражданских не очень много смыслит и что можно будет не без успеха им руководить. Вплоть до развязки во все эти дни собеседники и помощники Бонапарта воображали себе какого-то другого, а вовсе не его. И он сам делал все от него зависящее, чтобы в эти опасные недели его принимали за кого-то другого. Преждевременно показывать львиные когти было не к чему. Испытанный им прием простоты, прямоты, непосредственности, некоторой как бы незатейливости и даже ограниченности был им обильно пущен в ход в течение всей первой половины брюмера 1799 г. и вполне удался. Будущие рабы считали своего будущего властелина случайным удобным орудием. Они даже не скрывали своего отношения к нему. Он-то ведь знал, что истекают последние дни, когда люди еще могут с ним говорить, как равные с равным, и он знал, как важно, чтобы они сами об этом пока не подозревали. Но, как и всегда, он и тут оставался главнокомандующим, дающим общую директиву начинающемуся делу. Так ловко и умело держал он себя в эти подготовительные недели, что не только армия, но и рабочие предместья посмотрели в первый момент на совершившееся как на переворот слева, как на спасение республики от роялистов. «Генерал Вандемьер приехал из Египта, чтобы снова спасти республику»,— вот как говорили (и вот какой легенды добивался Бонапарт) и до и после переворота.

Государственный переворот, доставивший Бонапарту неограниченную власть, называется обыкновенно для краткости переворотом 18 брюмера (9 ноября), хотя на самом деле он был только начат 18-го, а решающее действие произошло на другой день — 19 брюмера, т. е. 10 ноября 1799 г.

Все дело было крайне облегчено тем, что не только два директора (Сийес и Роже-Дюко) были в игре, но третий (Гойе) и четвертый (Мулен) были совсем сбиты с толку и кругом об-

мануты пронырливым и хитрейшим Фуше, решившим заработать себе на готовящемся перевороте портфель министра полиции. Оставался Баррас, который все еще льстил себя надеждой, что без него не обойдутся, и который решил придерживаться выжидательной тактики. В Совете пятисот, в Совете старейшин много влиятельных депутатов чуяли заговор, некоторые даже знали о нем наверное; многие, точно ничего не зная, сочувствовали, полагая, что дело скорее всего сведется к персональным переменам.

3

Роли были окончательно распределены лишь вечером накануне 18 брюмера. Дело началось с утра 18 брюмера. Утром, с 6 часов, дом Бонапарта и прилегающая улица стали наполняться генералитетом и офицерством. Из парижского гарнизона к этому дню оказалось 7000 человек, на которых Бонапарту вполне можно было положиться, и около 1500 солдат особой стражи, охранявшей Директорию и оба законодательных собрания — Совет пятисот и Совет старейшин. Не было оснований предполагать, что и солдаты особой стражи воспротивятся Бонапарту с оружием в руках. И все-таки в высшей степени важно было замаскировать с самого начала истинный характер предприятия, не дать возможности «якобинской», т. е. левой, части Совета пятисот призвать в решающий миг солдат «на защиту республики». Для этого все и было организовано так, что выходило, будто сами законодательные собрания призывают Бонапарта к власти. Собрав около себя 18 брюмера на рассвете тех генералов, на которых он мог особенно положиться (Мюрата и Леклера, женатых на его сестрах, Бернадотта, Макдональда и несколько других), и много офицеров, пришедших по его приглашению, он их уведомил, что настал день, когда необходимо «спасать республику». Генералы и офицеры вполне ручались за свои части. Около дома Бонапарта уже выстроились стройные колонны войск. Бонапарт ждал декрета, который его друзья и агенты пока проводили в наскоро созванном с утра Совете старейшин.

Так как Совет старейшин был в значительной своей части представлен средней и крупной буржуазией, то здесь некий Корнэ, человек, преданный Бонапарту, заявил о «страшном заговоре террористов», о близкой гибели республики от этих коршунов, готовых ее заклевать, и т. д. Эти туманные и пустозвонные фразы, ничего не конкретизируя, никого не называя, кончались предложением немедленно вотировать декрет, по которому, во-первых, заседания Совета старейшин, а также и Совета пятисот (которого даже и не спросили) переносятся

из Парижа в Сен-Клу (городок в нескольких километрах от столицы) и, во-вторых, подавление «страшного заговора» поручается генералу Бонапарту, который и назначается начальником всех вооруженных сил, расположенных в столице и ее окрестностях. Наскоро этот декрет был вотирован как теми, которые знали, для чего этот декрет предназначен, так и теми, для кого это было полной неожиданностью. Протестовать не посмел никто. Сейчас же этот декрет был переслан Бонапарту.

Зачем понадобилось Бонапарту перед удушением обоих законодательных собраний перенести их для этой операции в Сен-Клу? Тут сказывались воспоминания и впечатления великих революционных лет. В воображении этого поколения вставали грозные, теперь уже такие далекие, минуты, когда на всякое насилие рабочие предместья, плебейские массы отвечали немедленным выступлением, когда на угрозу разгона народных представителей звучали слова: «Скажите вашему господину, что мы здесь по воле народа и уступим только силе штыков», и когда господин не посмел послать штыки, а сами штыки обратились против Бастилии; вспоминалось, как народная масса покончила с полуторатысячелетней монархией, как раздавлены были жирондисты, как в последний раз, в прериале 1795 г., народ носил на пике голову члена термидорианского Конвента и показывал ее оцепеневшим от ужаса другим членам Конвента... Как ни был уверен в себе Бонапарт, но сделать в Париже то, что он решил сделать, показалось ему все-таки не так безопасно, как в маленьком местечке, где единственным большим зданием был дворец — один из загородных дворцов старых французских королей.

Начало дела было разыграно именно так, как желал Бонапарт: фикция законности была соблюдена, и он на основании декрета объявил войскам, что они отныне поставлены под его команду и должны «сопровождать» оба совета в Сен-Клу.

Он повел войско прежде всего в Тюильрийский дворец, где заседал Совет старейшин, окружил его и вошел в зал заседаний в сопровождении нескольких адъютантов. Говорить публично (не с солдатами) он никогда не умел, ни до, ни после этого эпизода. Он произнес несколько не очень связных слов. Присутствующие запомнили фразу: «Мы хотим республику, основанную на свободе, на равенстве, на священных принципах народного представительства... Мы ее будем иметь, я в этом клянусь». Но дело было уже не в ораторских эффектах. Именно в этот день и суждено было надолго замолкнуть парламентскому красноречию, которое играло такую роль в революционной Франции. Затем он вышел на улицу. Перед ним была авангардная часть приведенного им войска, встретившая его бурны-

ми приветственными кликами. Тут разыгралась новая неожиданная сцена. К нему приблизился некто Ботто, посланный от Барраса, который очень беспокоился, что Наполеон до сих пор не позвал его.

Увидя Ботто, генерал громовым голосом закричал, обращаясь к нему как к представителю Директории: «Что вы сделали из той Франции, которую я вам оставил в таком блестящем положении? Я вам оставил мир — я нахожу войну! Я вам оставил итальянские миллионы, а нахожу грабительские законы и нищету! Я вам оставил победы — я нахожу поражения! Что вы сделали из ста тысяч французов, которых я знал, товарищей моей славы? Они мертвы!» Дальше шло повторение слов о том, что он стремится к республике, основанной «на равенстве, морали, гражданской свободе и политической терпимости».

Директория (т. е. верховная исполнительная власть республики) была ликвидирована без малейших затруднений, даже не пришлось никого ни убить, ни арестовать: Сийес и Роже-Дюко сами были в заговоре, Гойе и Мулен, видя, что все пропало, поплелись за войсками в Сен-Клу. Оставался Баррас, к которому Бонапарт отрядил Талейрана с поручением «убедить» Барраса немедленно подписать заявление о своей отставке. Убедившись, что Бонапарт решил обойтись без него, Баррас сейчас же подписал требуемое, заявив, что он хочет вообще покинуть политическую жизнь и удалиться в свое имение под сень деревенской тишины, и тут же под конвоем взвода драгун был отправлен на новое местожительство. Так навсегда исчез с политической сцены Баррас, всех до сих пор удачно обманывавший, а теперь вдруг обманутый в свою очередь.

Итак, Директория была ликвидирована. К вечеру 18 брюмера квесторы обоих законодательных собраний были уже в Сен-Клу. Оставалось ликвидировать и эти собрания, и хотя Совет старейшин и Совет пятисот, окруженные гренадерами, гусарами и драгунами Бонапарта, были всецело в его руках, но он хотел повести дело так, чтобы оба совета сами признали свою непригодность, сами распустили себя и передали власть Бонапарту. Это стремление осуществить свой план в каких-то законных формах в общем вовсе не было свойственно Наполеону. Но на этот раз все-таки до самого конца нельзя было быть вполне уверенным, что среди солдат не возникнет сумятицы, нерешительности, если с самого начала откровенно будет заявлено о насильственном уничтожении конституции. Значит, следовало, поскольку это может помочь и ускорить дело, вести его мирно. А если нельзя будет мирно, тогда — и только тогда — броситься в штыки. 30 тысяч боевых товарищей Бонапарта были в Египте, где оккупировали страну. Из солдат итальянского похода налицо были не все. Приходилось

6*

считаться и с людьми, не знавшими его лично и которых он тоже пока не знал.

Распоряжения Бонапарта по дислокации войск между Парижем и Сен-Клу были отданы и выполнены с раннего утра. Население Парижа с любопытством следило за передвижениями батальонов, за длинным кортежем карет и пешеходов, следовавших из столицы в Сен-Клу. О состоянии рабочих предместий доносили, что там идет обыденная работа и не заметно никаких признаков волнения. В центральных кварталах коегде раздавались крики: «Vive Bonaparte!», но в общем настроение было скорее выжидательное. Далеко не все депутаты выехали в Сен-Клу 18-го числа; большинство отложило отъезд до 19 брюмера, когда, собственно, и было назначено первое заседание.

Когда наступил этот второй и последний день государственного переворота, у генерала Бонапарта были некоторые довольно серьезные опасения. Конечно, уже к вечеру 18 брюмера из трех высших учреждений два были ликвидированы: Директория не существовала, Совет старейшин показал себя покорным, готовым к самоликвидации. Но оставалось еще уничтожить палату народных представителей, т. е. Совет пятисот. А в этом Совете пятисот около 200 мест занимали якобинцы, члены распущенного Сийесом Союза друзей свободы и равенства. Некоторые из них, правда, готовы были продаться из корысти или покориться из боязни, но были люди и другого закала — были обломки великих революционных бурь, были люди, для которых взятие Бастилии, низвержение монархии, борьба с изменниками, «свобода, равенство или смерть» не были пустыми звуками. Были такие, которые не очень ценили ни свою, ни чужую жизнь и которые говорили, что, где можно, там следует истреблять тиранов гильотиной, а там, где нельзя,— кинжалом Брута.

В течение всего 18 брюмера левая («якобинская») группа собиралась на тайные совещания. Они не знали, что́ предпринять. Агенты Бонапарта — а у него и в этой группе оказались свои шпионы — не переставали сбивать их с толку, утверждая, что дело идет не о мерах против якобинцев, а лишь о способе преодолеть роялистскую опасность. Якобинцы слушали, верили и не верили, и когда утром 19 брюмера они собрались на заседание во дворце Сен-Клу, то между ними преобладала растерянность. Но и гнев в некоторых из них накипал все больше и больше.

Утром 19-го генерал Бонапарт в открытой коляске, эскортируемый кавалерией, выехал из Парижа в Сен-Клу. За ним ехали его приближенные.

Когда он прибыл в Сен-Клу, то узнал, что среди депутатов

Совета пятисот многие уже открыто негодуют, что они, увидя, какая масса войск окружает дворец, горячо возмущены непонятным для них, нелепым, внезапным перенесением их заседаний из столицы в «деревню» Сен-Клу (так называли это маленькое местечко), и открыто говорят, что теперь они вполне уже сообразили, каков замысел Бонапарта. Передавали, что они называют его преступником и деспотом, а чаще всего — разбойником. Бонапарта это встревожило, он произвел смотр войскам и остался доволен.

В час дня во дворце Сен-Клу открылись в разных залах заседания обоих советов. Бонапарт и его приближенные ждали в соседних залах, пока оба совета вотируют нужные декреты, поручающие генералу Бонапарту выработку новой конституции, а затем разойдутся. Но час проходил за часом,— даже Совет старейшин не решался, и в нем проявлялись растерянность и запоздалое робкое желание противодействовать затеянному беззаконию. Надвигались сумерки ноябрьского вечера. Бонапарту нужно было решиться действовать немедленно, иначе всему затеянному им делу грозил провал. В четыре часа дня он вдруг вошел в зал Совета старейшин. Среди мертвого молчания он произнес еще более сбивчивую и путаную речь, чем накануне. Смысл был тот, что он требует быстрых решений, что он приходит к ним на помощь, чтобы спасти их от опасностей, что на него «клевещут, вспоминая Цезаря и Кромвеля», что, напротив, он хочет спасти свободу, что правительства сейчас не существует. «Я не интриган, вы меня знаете; если я окажусь вероломным, будьте вы все в таком случае Брутами!» Таким образом, он приглашал их заколоть его, если он посягнет на республику. Бонапарту стали отвечать, его стали заглушать. Он произнес несколько угроз, напомнил, что располагает вооруженной силой, и вышел из зала Совета старейшин, так и не добившись того, чего желал, т. е. декрета о передаче ему власти. Дело поворачивалось плохо. Дальше должно было пойти еще хуже: предстояло объясняться с Советом пятисот, где гораздо скорее мог найтись среди якобинской части собрания в самом деле подражатель Брута.

За Бонапартом пошло несколько гренадер. Но их было слишком мало на случай массового нападения на Бонапарта, а этого очень и очень можно было ожидать. За ним шел, между прочим, генерал Ожеро, бывший под его начальством в эпоху завоевания Италии. Перед самым входом в зал Бонапарт круто обернулся и сказал: «Ожеро, помнишь Арколе?» Бонапарт напомнил ту страшную минуту, когда он бросился прямо под австрийскую картечь со знаменем в руках брать Аркольский мост. И в самом деле, приближалось нечто похожее. Он открыл дверь и показался на пороге. Неистовые, яростные, гневные

вопли встретили его появление: «Долой разбойника! Долой тирана! Вне закона! Немедленно вне закона!» Группа депутатов бросилась на него, несколько рук протянулось к нему, его схватили за воротник, другие пытались схватить его за горло. Один депутат изо всей силы ударил его кулаком в плечо. Низкорослый, тогда еще худой, никогда не отличавшийся физической силой, нервный, подверженный каким-то похожим на эпилепсию припадкам, Бонапарт был полузадушен возбужденными депутатами. Несколько гренадер успели окружить изрядно помятого Бонапарта и вывести его из зала. Возмущенные депутаты возвратились на места и яростными криками требовали голосовать предложение, объявлявшее генерала Бонапарта вне закона.

В этот день в Совете пятисот председательствовал родной брат Наполеона, Люсьен Бонапарт, бывший тоже в заговоре. Это обстоятельство весьма способствовало успеху предприятия. Бонапарт, придя в себя после ужасной сцены в зале, решил бесповоротно разогнать Совет пятисот открытой силой, но предварительно он постарался извлечь из Совета пятисот своего брата, что и удалось ему без особого труда. Когда Люсьен Бонапарт оказался рядом с Наполеоном, тот предложил ему, чтобы он, Люсьен, в качестве председателя обратился к фронту выстроенных войск с заявлением, якобы жизнь их начальника в опасности, и с просьбой «Освободить большинство собрания» от «кучки бешеных». Последние сомнения в законности дела, если таковые еще были у солдат, исчезли. Раздался грохот барабанов, и гренадеры, предводимые Мюратом, беглым шагом вошли во дворец.

Согласно показаниям очевидцев, пока грохот барабанов быстро приближался к залу заседаний, среди депутатов раздавались голоса, предлагавшие сопротивляться и умереть на месте. Двери распахнулись, гренадеры с ружьями наперевес вторглись в зал; продолжая двигаться по залу беглым шагом, но в разных направлениях, они быстро очистили помещение. Неумолкаемый барабанный бой заглушал все, депутаты ударились в повальное бегство. Они бежали через двери, многие распахнули или разбили окна и выпрыгнули во двор. Вся сцена продолжалась от трех до пяти минут. Не велено было ни убивать депутатов, ни арестовывать. Выбежавшие в двери и спасшиеся через окна члены Совета пятисот оказались среди войск, со всех сторон подходивших к дворцу. На секунду заглушивший барабаны громовой голос Мюрата, скомандовавшего своим гренадерам: «Вышвырните-ка мне всю эту публику вон!» (Foutez-moi tout ce monde dehors!), звучал в их ушах не только в эти первые минуты, но не был забыт многими из них, как мы знаем из воспоминаний, всю их жизнь.

Бонапарту пришла в голову еще одна мысль, может быть, подсказанная ему его братом Люсьеном. Солдатам вдруг велено было наскоро изловить нескольких разбежавшихся депутатов и привести их во дворец, после чего решено было составить из пойманных таким путем лиц «заседание Совета пятисот» и приказать *им вотировать декрет о консульстве*. Несколько перепуганных, промокших и продрогших депутатов были захвачены кто на дороге, кто на постоялом дворе, приведены во дворец, и тут они сейчас же сделали все, что от них требовалось, а затем уже были окончательно отпущены с миром, вотировав, кстати, и собственный свой роспуск.

Вечером в одной из слабо освещенных зал дворца Сен-Клу Совет старейшин тоже издал без прений декрет, которым вся власть над республикой передавалась трем лицам, названным консулами. На эти должности были назначены Бонапарт, Сийес и Роже-Дюко, ибо стать единоличным владыкой формально Бонапарт в этот момент считал еще нецелесообразным, но что фактически его консульство будет самой полной диктатурой, он уже предрешил. Он знал также, что два его товарища ни малейшей роли играть не будут и что разница между ними лишь та, что немудрящий Роже-Дюко уже сейчас убежден в этом, а глубокомысленный Сийес еще пока этого не подозревает, но скоро убедится.

Франция была у ног Бонапарта. В два часа ночи три новых консула принесли присягу в верности республике. Поздно ночью Бонапарт уехал из Сен-Клу. С ним в коляске ехал Бурьен. Бонапарт был угрюм и до самого Парижа не проронил почти ни одного слова.

Глава V

ПЕРВЫЕ ШАГИ ДИКТАТОРА
1799—1800 гг.

1

С того момента, когда вечером 19 брюмера в Сен-Клу Мюрат рапортовал Наполеону, что зал Совета пятисот очищен и все обстоит благополучно, генерал Бонапарт превратился на 15 лет в ничем не ограниченного повелителя французского народа. То обстоятельство, что первые пять лет этого периода Наполеон называл себя первым консулом, а последние десять лет — императором и что соответственно Франция сначала называлась республикой, а потом империей, ничего по сути дела не меняло ни в классовой основе нового режима, ни в природе военной диктатуры Наполеона. Это устанавливалась диктатура контрреволюционной буржуазии, той буржуазии, которая в погоне за наживой привела Францию на край гибели, поняла это, растерялась и, «изверившись в своих собственных политических способностях», пришла к единственному выводу, что только задушив революционный демократизм, только под покровительством крепкой, пусть тиранической, пусть даже в лице этого страшного вояки Бонапарта, но только твердой и нерушимой власти буржуазное общество может беспрепятственно развиваться, обеспечив свободное движение частного капитала.

Бонапарт усвоил эти основы будущего государства. На утверждение этих основ он направил всю силу своего таланта и в первую очередь и главным образом полностью использовал все открывшиеся перед ним возможности, чтобы сделаться единодержавным властителем этого нового государства. Он уничтожал, создавал, изменял государственные учреждения, но их смысл и их цель оставались совершенно неизменными: они должны были превратить государственный аппарат в орудие, осуществлявшее единую верховную волю.

Но если конечной целью Наполеона во всех его политических предприятиях было установление и укрепление полного

своего владычества, то средства к достижению этой цели он применял самые разнообразные, и к числу этих средств относились также дипломатия, умение идти до поры до времени на компромиссы, заключать перемирия, способность к выжиданию и к терпению. С годами он эту способность стал утрачивать, но в первые годы его правления она была налицо.

«Я бываю то лисой, то львом. Весь секрет управления заключается в том, чтобы знать, когда следует быть тем или другим»,— говорил Наполеон.

Аппарат централизованной государственной власти, как нельзя более приспособленный к неограниченной монархии, был создан при Наполеоне именно в годы Консульства. И от этого аппарата не хотело не только отказаться, но не решалось даже его видоизменить ни одно из правительств, сменявшихся во Франции от Наполеона до настоящего времени, за исключением Парижской Коммуны.

Не только административные реформы первого консула всегда приводили (и продолжают приводить) в восторг буржуазных идеологов во Франции и вне Франции, но их восхищает также и создание условий, обеспечивающих спокойное наживание денег в торговле, в промышленности, словом, систематизация, приведение в ясность и в действие всего того, во имя чего крупная буржуазия так деятельно ломала и душила великие завоевания 1789 и следующих годов.

Конструктивная роль Наполеона как «создателя» внешних форм государственной надстройки буржуазного экономического владычества больше всего была выявлена именно в годы Консульства, и это дало ему колоссальную популярность не только в первые годы его правления, но в глазах и позднейших буржуазных историков, отражавших взгляды восторжествовавшего класса.

Итак, 30-летний генерал, до сих пор никогда ничем не занимавшийся, кроме войны, завоеватель Италии, завоеватель Египта, одним ударом уничтоживший законное правительство республики, оказался вечером 19 брюмера властителем одной из величайших европейских держав, которую, в сущности, он вовсе не знал в тот момент, да и не имел еще времени узнать. Эта страна жила исторической жизнью полторы тысячи лет, если даже считать только от Хлодвига; затем полуторатысячелетнее царство было разрушено революцией, ниспровергшей разом и феодальный строй и монархию, с ним связанную; воцарилась республика, и вот теперь он, корсиканский дворянин, генерал этой самой республики, в свою очередь ниспроверг республиканское правление и стал единоличным повелителем. Перед ним были горы старорежимных обломков и масса новых, выявленных революцией материалов, очень много начатого и

неоконченного, начатого и брошенного, начатого и взятого назад; все было как бы в хаосе и брожении.

Что касается внешних дел, то здесь первый консул тоже столкнулся с высшей степени сложным и опасным положением. Пока он завоевывал Египет, вторая европейская коалиция отвоевала у французов Италию. Поход Суворова уничтожил плоды одержанных Бонапартом в 1796—1797 гг. побед. Правда, у Суворова уже не хватило сил и возможностей после перехода через Альпы вторгнуться во Францию, как он раньше рассчитывал, но коалиция вовсе не складывала оружия, и уже весной можно было ждать врагов у французских границ. Денег в казначействе не было; были целые армейские части, которые месяцами не получали ассигнованных на их содержание сумм. С любопытством и не без иронии испытанные в делах политические деятели ждали, как выйдет из этих сложнейших, запутаннейших, опаснейших обстоятельств молодой корсиканец, никакого другого дела, кроме своего солдатского, до сих пор не делавший и не знавший.

2

Бонапарт начал с организации новой власти, т. е. с оформления своего самодержавия. Не без чувства комизма можно наблюдать первые встречи его со старыми политиками вроде Сийеса, который думал играть первую роль и быть как бы наставником и ментором при неопытном молодом человеке. Наполеон уже тогда считал профессиональных политиков тогдашней Франции устаревшими болтунами, не желающими понять, что их время прошло. Якобинцев он ненавидел и боялся, о Робеспьере (и старшем и младшем, с которым был, как мы видели, лично в хороших отношениях) никогда не вспоминал, но было ясно, что он уже и подавно хорошо знает цену тем, кто погубил Робеспьера и кто занял его место. Термидорианские спекулянты, казнокрады и взяточники, прикрывающие пустозвонным краснобайством свои темные делишки, возбуждали в нем гадливое чувство.

Сийес, которому Бонапарт поручил составить проект новой конституции, усердно сидел над искусно задуманными и очень хитро сплетенными конституционными программами, забывая о том, что теперь буржуазия в своей массе и в городе и в деревне требовала прочного полицейского порядка, закрепления своих прав, которые непосредственно касались свободы в торговле и промышленности; крестьяне-собственники хотели полной уверенности в прочности обладания новоприобретенными землями. Но проекты Сийеса Бонапарт совсем неожиданно

для автора назвал нелепыми, дал руководящие указания и внес «поправки».

Новая конституция была готова уже через месяц после переворота. Во главе республики стоят три консула, из которых первый облечен всей полнотой власти, а два других — правом совещательного голоса. Сенат назначается консулами, а он в свою очередь назначает членов Законодательного корпуса и Трибуната из числа нескольких тысяч кандидатов, избираемых населением.

Новая конституция — так было сначала обещано — должна была подвергнуться всенародному голосованию. Но Бонапарт вдруг объявил, что конституция вводится в действие уже сейчас, до плебисцита. Первым консулом был «назначен», конечно, Бонапарт.

4 нивоза (25 декабря 1799 г.) произошел плебисцит, утвердивший и новую конституцию и трех консулов во главе с Бонапартом. 3 011 007 голосов ответили положительно, 1562 — отрицательно. Голосовала и армия, причем это голосование происходило кое-где по полкам, и солдаты отвечали на вопрос командиров хором. Голосование в деревнях и городах происходило под бдительным надзором властей. Впрочем, собственническая масса среди крестьянства, большинство буржуазии в городах и даже, по свидетельству современников, немало рабочих в городах были в тот момент настроены вполне благоприятно относительно первого консула, в котором видели человека, спасшего республику от роялистов 13 вандемьера и способного отразить все еще грозящую интервенцию со стороны Англии, Австрии и России.

Вся полнота власти сосредоточилась в его руках. Все остальные учреждения существовали в виде каких-то бледных теней, никогда не имевших и не пытавшихся иметь ни малейшего влияния. Сийес был в недоумении и обиде. Но Бонапарт его богато наградил и навсегда отстранил от какой бы то ни было активной роли. Ему нужны были слуги и исполнители, а не советчики и законодатели.

Тотчас же обнаружилось, что ему не нужны и критики. Постановлением, проведенным вскоре после введения в действие консульской конституции, Бонапарт (27 нивоза) приказал из 73 существовавших до тех пор газет закрыть 60, а остальные 13, до поры до времени уцелевшие (спустя некоторое время из них было закрыто еще девять и осталось четыре), были отданы под суровый надзор министра полиции. Наполеон органически не выносил чего-либо даже отдаленно похожего на свободу печати. Эти первые шаги очень ярко обрисовывали воззрения Наполеона на свою власть. Ему казалось, что его беспредельную власть дали ему только гренадеры в дни брюмера

1799 г. Быть *во всем* обязанным *только* своим гренадерам, т. е. самому себе, основывать *все* на праве завоевания — вот что стало не только мыслью, а, так сказать, политическим мироощущением Наполеона. «Большие батальоны всегда правы» (Les gros bataillons ont toujours raison) — это было одной из любимых поговорок Бонапарта. Большие батальоны завоевали ему 18 и 19 брюмера Францию, точно так же как они завоевали под его начальством до того Италию и Египет, а после того почти всю Европу, и никто, по его убеждению, не мог спрашивать у него отчета или требовать дележа власти. Сийес понял это, к своему разочарованию, очень скоро. Постепенно это поняли и остальные участники заговора 18 брюмера, а за ними и все другие.

Но правильно сказал о Наполеоне поэт Гете: для Наполеона власть была то же самое, что музыкальный инструмент для великого артиста. Он немедленно пустил в ход этот инструмент, едва только успел завладеть им. Он прежде всего своей задачей поставил прекращение гражданской войны на западе Франции и тесно связанное с этим истребление сильно развившегося бандитизма на юге и на севере. Он очень торопился: нужно было наиболее неотложные дела — вроде указанных двух задач — выполнить до весны, потому что весной предстояло возобновление войны.

3

Разбойничьи шайки, сделавшие непроезжими к концу Директории все дороги южной и центральной Франции, приобрели характер огромного социального бедствия. Они среди бела дня останавливали дилижансы и кареты на больших дорогах, иногда довольствовались ограблением, чаще убивали пассажиров, нападали открыто на деревни, долгими часами пытали на медленном огне захваченных людей, требуя указать, где спрятаны деньги (их так и называли тогда «поджаривателями»), иногда совершали налеты и на города. Эти шайки прикрывались знаменем Бурбонов; люди эти якобы мстили за ниспровергнутый королевский трон и католический алтарь. В эти банды и в самом деле в изобилии шли люди, непосредственно и лично пострадавшие от революции. Ходили слухи (так и оставшиеся непроверенными, но очень правдоподобные), будто некоторые из главарей этих банд отдают часть награбленного агентам роялизма. Во всяком случае развал и беспорядок в полицейском аппарате к концу правления Директории делали эти шайки почти неуязвимыми и подвиги их безнаказанными. Первый консул прежде всего решил покончить с ними. Распра-

вился он с разбоем в какие-нибудь полгода, но главные шайки были сломлены уже в первые месяцы его правления.

Меры были жестокими. Не брать в плен, убивать на месте захваченных разбойников, казнить и тех, кто дает пристанище шайкам или перекупает у них награбленные вещи, или вообще находится с ними в сношениях,— таковы были основные директивы. Были посланы отряды, беспощадно расправлявшиеся не только с непосредственными виновниками и их помощниками, но и с теми полицейскими чинами, которые оказывались виновными в попустительстве или в слабости и бездействии власти.

Тут проявилась еще одна черта Наполеона: полнейшая беспощадность к преступникам. У него всегда всякая вина была виновата, смягчающих обстоятельств он не знал и знать не хотел. Если можно так выразиться, он принципиально отвергал доброту, считал ее качеством, которое для правителя прямо вредно, недопустимо. Когда его младший брат Людовик, назначенный им в 1806 г. в Голландию королем, вздумал как-то похвалиться перед Наполеоном, что его, Людовика, в Голландии очень любят, то старший брат сурово оборвал младшего словами: «Брат мой, когда о каком-нибудь короле говорят, что он добр, значит царствование не удалось» (quand on dit d'un roi qu'il est bon, le règne est manqué).

Когда в апреле 1811 г. одна газета («Gazette de France») вздумала в избытке усердия самым елейным и восторженным тоном сообщить о «доброте» императора, который на радостях по случаю рождения наследника удовлетворил какого-то просителя, то Наполеона это так взорвало, что он сейчас же написал министру полиции: «Господин герцог Ровиго, кто позволил «Gazette de France» поместить очень глупую статью, которая там сегодня напечатана обо мне?» — и приказал немедленно убрать редактора, так как «человек этот делает слишком много пошлостей» (trop de niaiseries). «Отнимите у него редактирование газеты!» Кажется, Наполеон скорее простил бы, если бы о нем распространяли слух, что он зверь, чем взводили бы на него напраслину, будто он добр. Все это выявилось с течением времени, но уже свирепая массовая расправа с разбойниками показала, что новый правитель, в прямое опровержение известного афоризма, решительно предпочитает скорее покарать десять невиновных, чем пощадить или упустить из рук одного виновного.

Одновременно с очищением Франции от разбойничьих шаек Бонапарт обратил самое пристальное внимание на Вандею.

Здесь по-прежнему дворянству и духовенству удалось (по целому ряду специфических экономических причин, свойственных этой провинции и сопредельной с нею южной части

Нормандии) увлечь за собой часть крестьян, организовать их, вооружить превосходным оружием, которое доставляли им с моря англичане, и, пользуясь лесами и болотами, вести долгую партизанскую борьбу против всех правительств революции. С вандейцами и шуанами (таково было в просторечии название этих повстанцев) Бонапарт повел другую тактику, чем с разбойничьими шайками. Как раз перед переворотом 18 брюмера шуаны одержали ряд побед над республиканскими войсками, взяли г. Нант и громко говорили о близкой реставрации Бурбонов. Бонапарт, с одной стороны, усилил действовавшую против шуанов армию, а с другой — обещал амнистию тем, кто немедленно сложит оружие, дал понять, что не будет преследовать католического богослужения, наконец, захотел лично видеться и говорить со знаменитым предводителем шуанов Жоржем Кадудалем, которому обещал, чем бы ни кончились переговоры, полную личную безопасность во время пребывания в Париже и свободное возвращение.

Так этот фанатический бретонский крестьянин громадного роста и легендарной мускульной силы оказался на несколько часов наедине с худощавым еще тогда, приземистым Бонапартом. Адъютанты в сильном беспокойстве за жизнь Бонапарта теснились в соседних залах, ведь все знали, что Кадудаль способен на любое самопожертвование для своего дела и что он уже давно смотрит на себя как на обреченного.

Почему он не убил Бонапарта? Исключительно потому, что в тот момент он был еще под властью той вскоре исчезнувшей иллюзии, которая с самого начала карьеры Бонапарта сбивала с толку роялистов. Им все казалось, что молодому прославленному полководцу суждено сыграть ту самую роль, которую в Англии в 1660 г. сыграл генерал Монк, помогший изгнанным Стюартам вернуться на престол и уничтожить республику. Конечно, Наполеон уничтожил республику и по классовой природе своей власти прокладывал дорогу монархии, но нельзя себе и представить более нелепого заблуждения, чем мысль, что натура, подобная Наполеону, способна уступить кому бы то ни было первое место (даже оставляя в стороне вопрос о возможности это сделать).

Кадудаль Бонапарта не задушил, но вышел из его кабинета все-таки не примиренный. Первый консул предложил ему, между прочим, поступить с генеральским чином в армию, с тем конечно, чтобы воевать только против внешних врагов. Кадудаль отказался и вернулся в Вандею. Другой большой вождь шуанов, Фротте, был взят в плен и расстрелян. Кадудаль, еще в январе 1800 г. разбитый правительственными войсками, теперь, после личного свидания с Бонапартом, продолжал борьбу, но вынужден был подолгу прятаться и удовлетворяться

внезапными нападениями на случайно отбившиеся небольшие группы солдат. И успехи правительственных войск, и обещание амнистии, и смягчение антицерковной политики, и только что отмеченная надежда Бурбонов и их приверженцев на Бонапарта — все это сильно снижало боеспособность и одушевление шуанов. Кадудаль видел, что его отряды редеют. В Вандее распространялось выжидательное настроение и склонность задобрить и расположить в пользу роялистов нового главу Французской республики. Бонапарту до поры до времени больше ничего и не требовалось: ему нужно было в эти первые месяцы, т. е. в ноябре и декабре 1799 г. и в первую половину 1800 г., проводить лишь самые необходимые меры и не забывать ни на минуту о предстоящей весной войне.

Он переходил от одного неотложного дела к другому: от разбойников к Вандее, от Вандеи к финансам, потому что громадную армию, которую он готовил к весне, следовало и накормить, и одеть, и вооружить, а денег в казначействе (настоящих, металлических денег) не оказалось вовсе,— хозяйничанье Директории привело к полному безденежью казны. Наполеон нуждался в специалисте, и в хорошем специалисте, и сейчас же нашел его: это был Годэн, которого он и сделал своим министром финансов.

Конечно, с самого начала правления Бонапарта и в области финансов была взята та же установка, как и в других областях: оба — и военный диктатор и исполнитель его воли Годэн — решили придать преобладающее значение не прямым налогом, а косвенным. Косвенное обложение, требующее в конечном счете одних и тех же взносов и с богатого и с бедного потребителя, казалось Наполеону удобным своим автоматическим характером, так как косвенное обложение не ссорит налогоплательщика со сборщиком податей и с правительством, ввиду того что при покупке предметов потребления, как бы высоко обложены они ни были, никаких сборщиков нет и быть не может.

Буржуазия и в городе и в деревне была довольна новым направлением финансовой политики; была она довольна и целым рядом других финансовых мер: установлением контроля, упорядочением отчетности, суровым преследованием хищничества и беззастенчивого казнокрадства. Казнокрадов было так много, что у историка иногда является искушение выделить их в особую «прослойку» буржуазии.

Тяжелую руку нового властителя некоторые спекулянты и казнокрады почувствовали очень скоро. Он подержал в тюрьме знаменитого в те времена поставщика и хищника Уврара, возбудил преследование против некоторых других, приказал строжайше проверять счета, задержал выплаты, показавшиеся

ему малообоснованными. Он несколько раз прибегал к такому приему: сажал финансиста в тюрьму, когда была уверенность в совершенном им мошенничестве, независимо от того, успел или не успел тот ловко замести следы, и держал его, пока тот не соглашался выпустить свою добычу. Но вообще казнокрадство не было, конечно, уничтожено.

4

Наполеон деятельно трудился над организацией управления. Он оставил деление Франции на департаменты, но сразу смел с лица земли всякие признаки местного самоуправления. Уничтожались все выборные должности в городах и деревнях, даже и выборные собрания. Отныне в каждый департамент министр внутренних дел должен был назначать префекта — владыку и повелителя, местного маленького царя. Префект назначает муниципальные советы, а также городских голов (мэров) в городах и коммунах (деревнях). Эти чины, ответственны перед префектом, который может и отрешать их от должности. Около префекта есть чисто совещательный орган — «главный совет», всецело от префекта зависящий, служащий исключительно для удобнейшего ознакомления префекта с нуждами департамента. Министр внутренних дел ведает всей административной жизнью страны, в его же ведомство включены были и торговля, и промышленность и общественные работы, и еще многое другое, что потом постепенно было выделено Бонапартом в другие министерства.

Резкой реформе подверглось и судебное дело: в середине марта Бонапарт подписал и еще один закон — об организации министерства юстиции. Преобразуя суды, он покончил впоследствии с присяжными заседателями: его самодержавие не могло по существу своей природы мириться с участием независимого от его воли голоса общества при решении судебных дел. Но упразднил он их не сразу.

Наполеон никогда не стеснял себя никакими соображениями о независимости судебной власти и соблюдении законной процедуры, когда речь шла об уничтожении политических противников. Но во всех прочих случаях, когда человек вел с кем-либо гражданский процесс или когда человека судили за уголовное преступление, не имеющее ничего общего с политикой, Наполеон требовал, чтобы суд действовал без всяких соображений политического характера. И когда к первому консулу явились представиться назначенные им впервые судьи, он сказал им: «Никогда не рассматривайте, к какой партии принадлежал человек, который ищет у вас правосудия».

Чрезвычайно характерно, что он выделил все касавшееся

непосредственно обороны создаваемого им здания самодержавной монархии от внутренних врагов в особое большое министерство, совершенно независимое от министерства внутренних дел и, так же как и все прочие самостоятельные ведомства, непосредственно подчиненное первому консулу. Это было министерство полиции, поставленное им в смысле власти и в смысле денежных средств так, как оно никогда не было поставлено при Директории.

Особенное внимание было посвящено Бонапартом организации столичной префектуры полиции. Префект парижской полиции, хоть и подчиненный министру полиции, был поставлен совсем особо от других сановников, имел свой личный доклад у первого консула, и вообще уже с самого начала было ясно, что первый консул в лице парижского префекта полиции хочет иметь как бы контрольный осведомительный орган, который помогал бы следить за действиями слишком уж могущественного министра полиции.

Бонапарт с умыслом несколько дробил свою политическую полицию и стремился иметь не одну, а две или даже три полиции, которые наблюдали бы не только за гражданами, но и друг за другом. Он поставил во главе министерства полиции Фуше, очень ловкого шпиона, хитрого провокатора, пронырливого интригана, словом, сыщика-специалиста. Но Бонапарт знал вместе с тем, что Фуше не то что его, а отца родного продаст при случае за сходную цену. Чтобы обезопасить себя с этой стороны, первый консул и завел доверенных шпионов с узко очерченной задачей: шпионить за самим Фуше. А чтобы точно уловить момент, когда Фуше это заметит и постарается их подкупить, Бонапарт держал еще и третью серию шпионов, функция которых была следить за шпионами, наблюдающими за Фуше.

Наполеон считал всегда, что у Фуше медный лоб и что он абсолютно чужд способности смущаться чем бы то ни было. Прошло много лет. Наполеон уже давно превратился в императора, а Фуше сиял орденами и золотым шитьем мундира министра полиции, когда Наполеон, раздраженный чем-то, захотел его уязвить и показать, что хорошо помнит все превращения своего министра. «Ведь вы голосовали за казнь Людовика XVI!» — сказал он ему внезапно. «Совершенно верно! — ответил Фуше, низко, в пояс, по своему обыкновению, кланяясь императору.— Ведь это была первая услуга, которую мне привелось оказать вашему величеству». Это был глубоко значительный диалог: Фуше напоминал императору, что карьера их обоих — революционного происхождения, хотя и построена на том, что один из них, заняв вакантный престол Людовика XVI, задушил революцию, а другой усердно помогал ему это

сделать. Теперь, в 1799 г., Фуше был Бонапарту особенно необходим именно потому, что хорошо знал своих бывших товарищей, которых он предал и продал новому владыке.

Уже в первую зиму своего правления Бонапарт организовал продуманную во всех частях машину централизованного государства, управляемого бюрократической верхушкой из Парижа.

Создание неограниченной власти с сосредоточием ее в руках первого консула — вот что было основной целью новой «конституции».

Бонапарт как-то сказал: «Да, да, пишите так, чтобы было кратко и неясно». Этими словами он изложил свой общий принцип: когда дело идет о конституционных ограничениях верховной власти, нужно писать покороче и потуманнее. Если существовал когда-нибудь на свете деспот, органически не способный ужиться с каким-либо, хотя бы скромным, но реальным ограничением своей власти, то это был именно Наполеон.

Уже в первые дни после переворота рассеялось, как дым, то наивное недоразумение, которое владело людьми, поддерживавшими Бонапарта, а особенно Сийесом, все время перед 18 брюмера. Когда Сийес представил Бонапарту проект, по которому он, Бонопарт, должен был играть роль верховного представителя страны (вроде позднейшего президента республики), окруженного высшими почестями и снабженного огромными доходами, но управлять должны были другие лишь назначаемые им, но от него не зависящие люди, то Бонапарт заявил: «Я никогда не стану играть такой смешной роли»,— и категорически отверг проект Сийеса. Тот вздумал было упираться, спорить. Тогда его посетил министр полиции Фуше, который совершенно дружески и доверительно обратил его внимание на то, что у Бонапарта в руках вся вооруженная сила страны и что поэтому от слишком продолжительных споров с ним особой пользы для спорящего произойти не может, даже скорее наоборот. Сийесу, по-видимому, эта аргументация показалась исчерпывающе убедительной, и он умолк.

«Конституция VIII года республики» (так называлось выработанное под руководством Наполеона государственное устройство Франции) как нельзя лучше отвечала принципу, усвоенному Наполеоном. Вся полнота власти сосредоточивалась в руках первого консула; остальные два консула получали лишь совещательный голос. Бонапарт назначается первым консулом на десять лет. Первый консул назначает сенат из 80 членов. Он же назначает своей властью всех гражданских и военных должностных лиц, начиная с министров, и все они ответственны исключительно перед ним. Учреждаются еще два установления, которые должны изображать собою законодательную

власть: это 1) Трибунат и 2) Законодательный корпус. Члены того и другого учреждения назначались сенатом (т. е., другими словами, тем же первым консулом) по собственному усмотрению из нескольких тысяч кандидатов, которых в результате сложнейшей процедуры «избирали» избиратели. Ясно, что если бы даже из нескольких тысяч кандидатов, намеченных населением, всего 400 человек оказались на стороне правительства, то именно эти 400 и были бы отобраны для замещения вакансий в Трибунате и Законодательном корпусе. Даже и речи о возможности самостоятельного поведения таких людей быть не могло при этих условиях отбора. Но и этого мало. Кроме этих учреждений, был создан еще Государственный совет, всецело и непосредственно назначаемый правительством первого консула.

Законодательная машина должна была действовать так: правительство вносит законопроект в Государственный совет, который его обрабатывает и вносит в Трибунат. Трибунат имеет право высказываться в речах по поводу этого законопроекта, но не имеет права выносить никаких решений. Поговорив о законопроекте, Трибунат этим и выполняет свою функцию и передает законопроект в Законодательный корпус, который, напротив, не имеет права обсуждать этот законопроект, не имеет права говорить о нем, но зато имеет право постановлять решения, после чего законопроект утверждается первым консулом и становится законом. Эта нарочито нелепая «законодательная» машина была, конечно, во все царствование Наполеона безгласной исполнительницей его велений. Впрочем, впоследствии (в 1807 г.) он и вообще уничтожил Трибунат за полной ненадобностью. Нечего и прибавлять, что глубокая канцелярская тайна должна была окружать (и окружала) действия этих учреждений. Для ускорения дела первый консул мог вносить свой законопроект и непосредственно в сенат, который и издавал нужный закон под названием «сенатус-консульта». Вот и все. Итак, вся полнота реальной законодательной власти всецело сосредоточивалась, так же как и полнота исполнительной власти, в руках Бонапарта.

Новый самодержец к весне 1800 г. уже выполнил, таким образом, самые спешные дела: он оформил новое государственное устройство, покончил если не со всеми, то с очень многими разбойничьими шайками, наводнявшими страну, провел — пока наскоро и временно — некоторые мероприятия по смягчению положения в Вандее, ввел централизацию управления страной и осуществил первые, необходимейшие меры по обузданию спекулянтского хищничества. Громадная, искусно разработанная сеть полицейского шпионажа под руководством Фуше быстро покрыла страну.

Жозеф Фуше был, если можно так выразиться, прирожденным шпионом. В древнем Риме была поговорка: «Ораторами делаются, а поэтами рождаются». Фуше был «творцом» провокаторской и сыщицкой системы, которой впоследствии тщетно пытались следовать ученики и подражатели, неаполитанские Делькаретто, русские Бенкендорфы и Дубельты, австрийские Седльницкие. Наполеон предоставил творчеству Фуше полный простор и только, зная его разнообразные качества и слишком уж разностороннюю натуру, приставил к нему, на всякий случай, как сказано, нескольких шпионов, неведомых министру полиции Фуше, чтобы следить за самим Фуше. Он знал очень хорошо что, отправляясь весной в новый далекий поход, он должен был прочно обеспечить политический тыл и что с этой точки зрения вся новая «конституция VIII года» ровно никакого значения не имеет, а министерство полиции имеет важность колоссальную. Бонапарт поэтому не только снабжает полицию обильными средствами, не только старается усовершенствовать и обеспечить нужными, способными и энергичными людьми только что созданную им администрацию в Париже и в провинции, но и берет окончательно в железные тиски те 13 органов печати, которые уцелели после закрытия первым консулом сразу 60 газет.

Перед отъездом на войну Наполеон оставляет организованную им машину самодержавия своим министрам, требуя от них, чтобы они обеспечили порядок, пока он будет воевать с коалицией европейских держав.

Но еще за месяц до отъезда Наполеона, в апреле 1800 г., Фуше открыл и доставил первому консулу неопровержимые доказательства существования в Париже англо-роялистского агентства, находящегося в прямых сношениях с двумя принцами Бурбонского дома, бывшими в эмиграции, родными братьями казненного при революции Людовика XVI. Это были Людовик, граф Прованский, и Карл, граф Артуа. Роялисты совершенно откровенно ставили ставку на захват власти при помощи англичан и других интервентов. Что англичане тоже в свою очередь ставят ставку на французских роялистов, которые готовы были на какие угодно экономические и политические уступки в пользу английской торговой и промышленной буржуазии, лишь бы только добиться реставрации Бурбонов,— Бонапарту было ясно уже с января 1800 г., когда на его предложение начать мирные переговоры король английский Георг III ответил прямым, формальным советом... восстановить на французском престоле Бурбонов.

Первый консул окончательно утвердился в мысли, что одна из серьезнейших задач борьбы внутренней — это беспощадная расправа с изменниками-роялистами, а самая главная зада-

ча борьбы внешней — упорная война с Англией. Фуше были отданы соответствующие приказы по борьбе с активными роялистами: деятельное их выслеживание, аресты, судебное преследование. Наполеон очень часто повторял слова, выражавшие крепко сидевшую в нем мысль: «Есть два рычага, которыми можно двигать людей,— страх и личный интерес». Под словом «l'intérêt» он понимал не только денежную корысть в точном смысле слова, но и честолюбие, самолюбие, властолюбие. Как же действовать на роялистов? Можно ясно подметить, что относительно этой категории своих врагов Наполеон действовал попеременно, в разные периоды по-разному: в одну полосу — террором, в другую — привлекая их милостями, должностями, деньгами.

Теперь, весной 1800 г., спеша к действующей армии, он не имел времени применять какие-либо иные средства к изменникам, кроме беспощадного террора.

Другая главная задача — война с Англией — должна была, как и до сих пор, вестись не у английских берегов, перед лицом могучего британского флота, а на европейском континенте, против союзников Англии, в первую очередь против Австрийской империи.

Уезжая на войну 8 мая 1800 г., покидая Париж в первый раз после государственного переворота, Бонапарт отдавал себе полный отчет, что дальнейшая судьба его диктатуры над Францией зависит в полной мере от результатов начавшейся кампании. Или он снова отвоюет у австрийцев северную Италию, или коалиция интервентов опять появится у французских границ.

Глава VI

МАРЕНГО. УПРОЧЕНИЕ ДИКТАТУРЫ. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПЕРВОГО КОНСУЛА 1800—1803 гг.

1

Наполеон обыкновенно не вырабатывал заранее детальных планов кампаний. Он намечал лишь основные «объективы», главные конкретные цели, хронологическую (приблизительную, конечно) последовательность, которую должно при этом соблюдать, пути, которыми придется двигаться. Военная забота охватывала и поглощала его целиком лишь в самом походе, когда ежедневно, а иногда ежечасно он менял свои диспозиции, сообразуясь не только со своими намеченными целями, но и с обстановкой, в частности с непрерывно поступавшими известиями о движениях врага. У него было правило, которому он всегда неизменно следовал: не считать неприятеля глупее самого себя, пока его не испытал на деле; предполагать с его стороны не менее разумные поступки, чем в данном положении совершил бы сам.

Перед ним была сильная, прекрасно снабженная австрийская армия, занимавшая северную Италию, откуда в предыдущем году Суворов вытеснил французов. Но Суворова уже на этот раз с австрийцами не было, а этому Наполеон придавал колоссальное значение. «Армия баранов, предводительствуемая львом, сильнее, чем армия львов, предводительствуемая бараном»,— говаривал впоследствии Наполеон. Он знал, что на этот раз Россия уже не участвует в коалиции, хотя еще и не мог узнать, что как раз в том самом месяце — мае — 1800 г., когда он шел со своей армией в Италию уничтожать плоды суворовских побед, самого Суворова опускали в землю в петербургской Александро-Невской лавре. Перед Бонапартом стоял не Суворов, а всего только Мелас, исправный генерал-исполнитель, штабной службист, один из тех исправных генералов, которых так часто и так страшно и до и после 1800 г. бил Наполеон и которые не переставали все время с горечью доказывать, что он делает это не по правилам. Наполеон, согласно своему принципу, и тут

действовал против Меласа так, как если бы Мелас был Наполеоном, а Мелас действовал против Наполеона так, как если бы Наполеон был Меласом.

Австрийцы сосредоточивались в южной части североитальянского театра войны, по направлению к Генуе. Мелас не считал возможным, что Бонапарт пройдет самым трудным путем, из Швейцарии через Сен-Бернар, и не оставил там большого заслона. Именно эту дорогу и выбрал первый консул. Лютый холод снежных вершин, зияющие пропасти под ногами, обвалы, метели, ночевки в снегу — все это узнали в Альпах солдаты Бонапарта в 1800 г., как узнали это там же солдаты Суворова в 1799 г. и воины Ганнибала за две тысячи лет до Суворова и Бонапарта. Только теперь в пропасти летели не слоны, как при Ганнибале, а пушки, лафеты, зарядные ящики. Впереди шел генерал Ланн с авангардом; за ним, растянувшись громадной линией между круч и утесов, следовала вся армия Бонапарта. 16 мая начался подъем на Альпы; 21 мая сам Бонапарт с главными силами был на перевале Сен-Бернар, а впереди; на склонах, ведущих в Италию, уже начались авангардные стычки со слабым австрийским заслоном, который был там расположен. Австрийцы были опрокинуты, спуск французов на юг ускорился, и внезапно вся армия Бонапарта, дивизия за дивизией, стала в последних числах мая выходить из южных альпийских ущелий и развертываться в тылу австрийских войск.

Не теряя и часу времени, Бонапарт прямо пошел на Милан и вошел в эту столицу Ломбардии уже 2 июня 1800 г.; затем сейчас же занял Павию, Кремону, Пьяченцу, Брешию, ряд других городов и деревень, всюду отбрасывая австрийцев, совершенно не ожидавших главного нападения с этой стороны. Армия Меласа была занята осадой Генуи, которую и взяла у французов как раз спустя несколько дней. Но появление Бонапарта в Ломбардии свело к нулю австрийский успех в Генуе.

Мелас спешил навстречу так нежданно нагрянувшим с севера французам. Между г. Александрией и Тортоной находится большая равнина; посредине этой равнины лежит деревушка Маренго. Еще в начале зимы 1800 г. в своем парижском дворце, рассматривая подробную карту северной Италии, Бонапарт сказал своим генералам, ткнув пальцем именно в это место на карте: «Здесь мы должны разбить австрийцев». Встреча главных сил противников произошла 14 июня 1800 г., и произошла на этом самом месте.

Это сражение сыграло колоссальную роль в международной политике вообще и в исторической карьере Наполеона в особенности. В Париже и во всей Франции было неспокойно. Роялисты ждали со дня на день гибели Бонапарта в альпийских пропастях; известно было также, что австрийская армия очень

сильна и что ее артиллерия сильнее французской. Ходили слухи о близкой английской высадке в Вандее. Шуанские вожди, Кадудаль и его товарищи, считали реставрацию Бурбонов делом не только решенным, но и близким. Ждали только сигнала: известия о смерти Бонапарта или о поражении французской армии. В Европе, даже нейтральной, тоже с напряженным вниманием следили за развитием событий. Здесь тоже ждали победы австрийцев, чтобы примкнуть к коалиции против Франции. Бурбоны готовились к путешествию в Париж.

Наполеон, его генералы, офицеры и солдаты очень хорошо понимали всю важность игры и вероятность проигрыша: австрийцев на этот раз было гораздо больше; они воспользовались долгим спокойным отдыхом на стоянках в итальянских городах и деревнях, пока армия Наполеона совершала тяжелые переходы через Сен-Бернар. У Бонапарта было всего 20 тысяч человек и была лишь ничтожная часть из той артиллерии, с которой он перевалил в мае через большой Сен-Бернар, потому что главная масса артиллерии, задержанная осадой и взятием австрийского горного заслона, еще задержалась в пути. А у Меласа была армия в 30 тысяч солдат и обильная, хорошо снабженная снарядами артиллерия (около 100 пушек). Часть своей ничтожной артиллерии Бонапарт дал притом генералу Дезэ, так что у него против сотни австрийских пушек было лишь около полутора десятка орудий.

Битва, начавшаяся утром 14 июня 1800 г. недалеко от Маренго, обнаружила с первых же часов силу австрийских масс: французы с боем отступали, нанося противнику большие удары, но и сами несли тяжкие потери. Около двух часов дня сражение казалось совсем проигранным. После трех часов дня ликующий Мелас отправил в Вену курьера с известием о полной победе австрийцев, о разгроме непобедимого Бонапарта, о трофеях и пленных. Во французском штабе царило смущение. Бонапарт казался спокойным и все повторял, что нужно держаться, что сражение еще не кончено. И вдруг в начале четвертого часа все круто и внезапно изменилось: подоспела дивизия генерала Дезэ, который был послан на юг с целью отрезать путь отхода неприятеля от Генуи и теперь со всей скоростью в решающий момент подошел на выстрел к полю битвы и ударил на австрийцев.

Австрийцы настолько были уверены в своей полной победе, что они к этому часу начали целыми частями располагаться для отдыха и обеда. Под ударами налетевшей на них свежей дивизии Дезэ, за которой бросилась вся армия Бонапарта, австрийская армия подверглась полному разгрому. Уже в пять часов вечера австрийцы бежали, преследуемые французской кавалерией. Сам Дезэ был убит в начале атаки, и вечером после этого

сражения, одного из громадных триумфов своей жизни, Бонапарт со слезами сказал: «Как хорош был бы этот день, если б сегодня я мог обнять Дезэ!» — «Почему мне не позволено плакать?..» — вырвалось у него еще за несколько часов до того, в разгаре битвы, когда ему сообщили, что Дезэ только что пал с лошади мертвый.

Только дважды боевые товарищи Наполеона видели слезы на его глазах после сражения. Второй раз это было несколько лет спустя, когда на его руках умирал маршал Ланн, у которого ядром оторвало обе ноги.

В разгаре ликований венского двора, возбужденного первым радостным известием Меласа, в Вену прибыл и второй курьер, сообщавший, какая катастрофа случилась после отправления первого... Италия снова, и на этот раз, казалось, окончательно, была потеряна для австрийцев. Грозный враг оказался опять непобедимым.

Первые слухи о генеральном сражении в Италии дошли до правительства в Париже через шесть дней после события, 20 июня (1 мессидора). Но слухи были сначала неясные. В городе с большим волнением ждали известий. Откуда-то уже проносились вести о проигранной битве, о смерти Бонапарта. Вдруг в первом часу дня прогремел пушечный выстрел салюта, за ним другой, третий; примчался курьер с официальными известиями: полный разгром австрийской армии, взята в плен половина австрийской артиллерии, тысячи пленных, тысячи австрийцев изрублены. Италия снова в руках Бонапарта.

Настроение было приподнятое на этот раз не только в буржуазных, но и в рабочих кварталах: в Сент-Антуанском предместье давно уже не было такого оживления. Конечно, рабочие тогда не могли еще предвидеть, что новый владыка сдавит их окончательно железной рукой, что он введет «рабочие книжки», которые поставят их в полную зависимость от хозяев, что наступающее царствование окончательно задушит революцию и будет временем прочного и планомерно проводимого укрепления социального строя, основанного на беспрепятственной и поддерживаемой законом эксплуатации труда капиталом.

В том же Париже возле биржи, возле банкирских контор, в разряженной толпе на бульварах ликовали еще больше, но именно потому, что победил Бонапарт, тот самый человек, который задушил 18 и 19 брюмера революцию и теперь завоевал вполне прочное положение и возможность, с одной стороны, железной рукой подавлять «анархию», все покушения против собственников и собственности, а с другой стороны, не вернет и дворянско-феодальную монархию.

Угрюмо молчали некоторые наиболее непримиримые якобинцы; удручены были роялисты. Но и те и другие временно

совсем были отброшены в сторону грандиозно развертывавшимися и в столице и в провинции восторженными настроениями. Помимо всего было еще и какое-то опьянение гордостью, восторженность военного патриотизма, какая-то горячка, внезапно овладевшая многими до сих пор трезвыми умами. Все это достигло своего апогея, когда первый консул вернулся в Париж. Многочисленная толпа двинулась ему навстречу, причем малейшее подозрение в холодности к Бонапарту принималось в массе как признак роялизма. «Тут аристократы живут! Почему дом не иллюминован?» — кричала толпа и била стекла в заподозренном доме. Несметная масса людей весь день простояла вокруг Тюильрийского дворца, приветственными криками вызывая Бонапарта. Но он не вышел на балкон.

2

После Маренго очередной задачей Бонапарта было, во-первых, достигнуть выгодного мира с Австрией. Затем он хотел помириться с Англией и всей европейской коалицией вообще и, в-третьих, продолжить и углубить законодательную деятельность, начатую сейчас же после брюмерского переворота и прерванную походом в Италию.

Но еще одна забота упорно отвлекала внимание Бонапарта и повелительно отрывала его в течение всей эпохи Консульства от основных задач. Это была борьба с якобинцами и роялистами. Фуше считал роялистов более серьезной и непосредственной опасностью, но Бонапарт уже тогда мало верил Фуше и полагал, что Фуше, боясь реставрации, считает якобинцев, бывших своих друзей, все же меньшим злом и не склонен их очень преследовать, тем более что у них меньше шансов достигнуть власти. А сам первый консул, напротив, был после Маренго того мнения, что якобинцы — более опасные враги.

С первых же дней установления своей диктатуры Наполеону пришлось считаться с врагами «слева» — якобинцами — и врагами «справа» — роялистами. И неодинаково отнесся он к этим двум категориям своих противников.

К роялистам у него было отношение примирительное, он открыто обнаруживал готовность к мирным переговорам. Консульская администрация охотно брала на службу заведомых роялистов, подчеркивая, что, если они соглашаются служить Бонапарту, значит, они уже тем самым заслуживают снисходительного отношения. Бонапарт уже своими амнистиями отдельным эмигрантам показывал, что роялистам он согласен многое и многое простить и забыть.

Но совсем не то было с якобинцами. Их Наполеон в самом деле ненавидел, в самом деле преследовал. Ведь сам-то он ни-

когда революционером не был, и для него временная близость с братом Робеспьера и с якобинцами была просто-напросто тактикой карьериста. Деспот по натуре, самодержец с ног до головы, сознательно державший курс после 18 брюмера на создание в том или ином виде крупнобуржуазной монархии, Наполеон не мог полностью оценить в прошлом якобинцев той колоссальной заслуги, которую они имели в истории Французской революции и которая состояла не более и не менее, как в спасении революции в самый для нее опасный момент. Мало того, в полном согласии с тем крупнобуржуазным классом, интересы которого он поддерживал, Наполеон усвоил себе манеру отмечать в якобинской диктатуре прежде всего ее репрессивный, резко насильственный характер, умалчивая и о причинах, делавших это явление неизбежным, и о последствиях, спасших революционную Францию. И не зная, как похуже выругать в 1812 г. Ростопчина, сжегшего Москву, Наполеон назвал его «русским Маратом», приравнивая человека, отдавшего свою жизнь за революцию, к московскому барину, крепостнику, для которого спасение России совпадало со спасением крепостного права и который участвовал в защите родины лишь гаерскими, балаганными «афишками» и тем, что без нужды и толка путался под ногами Кутузова и посылал на Кутузова доносы царю. Наполеону политически выгодно было, чтобы в умах нового поколения якобинская диктатура ассоциировалась исключительно с кровопролитием и всякого рода ужасами и ни с чем более.

А между тем своим ясным умом он не мог начисто отрицать исторической заслуги этой диктатуры. Наполеон ненавидел якобинцев, но о якобинской диктатуре 1793—1794 гг. прямо заявил однажды, что Конвент спас Францию. А вот Людовика XVI он в самом деле презирал от всей души, как всегда презирал всякую слабость. «Предупредите эту женщину, что я — не Людовик XVI»,— сказал он, когда узнал, что г-жа Сталь слишком много разговаривает в своем салоне.

И именно зная, что наиболее непреклонные и непримиримые, хоть и притаившиеся враги его находятся среди уцелевших еще бывших якобинцев, он гнал их беспощадно.

Преследование якобинцев, в сущности, как началось после 18 брюмера, так и не прекращалось до конца империи, временами лишь ослабевая.

Аресты якобинцев или лиц, подозреваемых в близости к ним, происходили и в столице и в провинции, и притом в провинции еще больше, чем в столице. Местная уцелевшая аристократия, вернувшиеся амнистированные эмигранты, местная зажиточная буржуазия, а в деревне новое, собственническое крестьянство — все они, зная наперечет былых деятелей местных отделений Якобинского клуба, былых должностных лиц робеспье-

ровских времен, теперь беспощадно и сторицей расплачивались со своими врагами. Когда, при деятельнейших провокаторских усилиях со стороны политической полиции, удалось ускорить «покушение» 10 октября 1800 г., т. е. удалось в здании оперы арестовать четырех человек с кинжалами, шедших к ложе первого консула, то не только были казнены эти четыре человека, но по всей Франции были произведены массовые аресты «якобинцев». Большинство арестованных либо никогда уже не вернулось на родину, либо вернулось спустя много лет сломленными людьми. Кое-кто погиб в тюрьме («самоубийства» политических заключенных были в большом ходу в те времена), другие погибли в Кайенне, в американской ссыльно-каторжной колонии Франции. А спустя месяц после этого «покушения» полиция Фуше арестовала (18 ноября 1800 г.) настоящего якобинца Шевалье, который подготовлял взрыв. Новая волна арестов и высылок поднялась по всей стране. Хватали направо и налево, хотя арестуемые никакого понятия не имели о Шевалье и его замыслах. Мало того, когда в декабре того же 1800 г. произошло в самом деле серьезное покушение на жизнь первого консула, то — хотя эта «адская машина» была организована исключительно роялистами и якобинцы абсолютно ни малейшего касательства к делу не имели — Наполеон и этим покушением тоже воспользовался для новых страшных гонений против якобинцев.

Тот, кто хочет вникнуть в натуру Наполеона и понять движущие силы его психологии, никогда не должен обманываться слащавыми попытками, столь обильными в необъятной литературе о Наполеоне,— попытками представить его в самом деле каким-то «полуреволюционером», тем, чем его часто называли сначала враги, а потом хвалители в первой половине XIX в.,— «Робеспьером на коне». Никогда он этим не был. Деспот по натуре, прирожденный самодержец, считаясь с условиями, он еще мог терпеть первое время по нужде существование некоторых чисто внешних пережитков буржуазной республики. Но как только стало возможным, он вымел прочь все, что оставалось от республики, и круто повернул к окончательному обращению Франции в военную деспотию и к превращению Европы в конгломерат рабски подчиняющихся этой военной деспотии вассальных царств, колоний и полуколоний. Якобинцам и особенно ненавистной Наполеону якобинской идеологии с ее грезами о «братских республиках» и о равенстве и свободе — в наполеоновской абсолютной монархии места не было. Энгельс правильно отметил хронологическую дату («австрийский брак»), после которой эта новая самодержавная империя Наполеона стала быстро принимать и все внешние черты стародавних, традиционных монархий. Конечно, и новая и старая тирании оди-

наково были безнадежно непримиримыми не только с героической якобинской традицией, но даже с самыми робкими и скромными воспоминаниями о буржуазной республике.

Жестокая, вне всяких установленных, «законных» рамок, абсолютно произвольная расправа с якобинцами — одна из самых характерных черт наполеоновского правления. Вопреки воззрениям Наполеона, Фуше непосредственно после 18 брюмера, как сказано выше, полагал, что якобинцы не так опасны в данный момент, как роялисты, желающие восстановления Бурбонов.

Нужно сказать, что в данном случае Фуше обнаружил бо́льшую полицейскую проницательность, чем его господин. Дело в том, что претендент на престол граф Прованский, его брат Карл и почти вся верхушка эмиграции были после брюмерского переворота убеждены, что самая удача этого переворота, водворение диктатуры, показывает, что назрел момент для восстановления монархии. А если так, то неужели Франция не предпочтет старую, историческую династию, а подчинится какому-то корсиканскому выходцу? Революция после десятилетних неистовств убита наповал 18 и 19 брюмера. Теперь остается, чтобы та самая рука, которая нанесла Директории в ноябре 1799 г. во дворце Сен-Клу смертельный удар, а в июне 1800 г. разгромила австрийцев при Маренго, посадила бы на французский прародительский престол христианнейшего короля Людовика XVIII (он же временно граф Прованский). Сам ли граф Прованский решился на курьезную выходку (еще задолго до Маренго, через три с половиной месяца после брюмерского переворота), или его брат, крайне экономно наделенный от природы умственными качествами, дал ему совет, но Людовик обратился из Митавы, где тогда проживал, к первому консулу с письмом, в котором просил Бонапарта восстановить династию Бурбонов. А за это Бонапарт пусть требует и для себя и для друзей каких угодно наград — все получит! И, кроме наград, еще получит «благословения будущих поколений». Бонапарт ничего не ответил. К нему и к жене его Жозефине стали подсылать с новыми поручениями, предложениями, письмами.

Летом 1800 г., после Маренго, когда действительно казалось, что воля Бонапарта может сделать с Францией все, что ему заблагорассудится, Людовик снова обратился к нему с той же просьбой. Тогда Бонапарт в первый и последний раз ответил претенденту следующее: «Я получил ваше письмо. Благодарю вас за любезности, которые вы мне говорите. Вы не должны желать своего возвращения во Францию: вам пришлось бы пройти через сто тысяч трупов. Пожертвуйте вашими интересами покою и счастью Франции: история это вам зачтет».

Когда эмиграция удостоверилась, что Бонапарт не из тех,

над кем царствуют, а из тех, кто сам над другими царствует, когда получен был его прямой отказ, решено было его убить.

Почти тогда же эта мысль возникла и в якобинских кругах. Но здесь дело кончилось, как уже сказано, удавшейся провокацией Фуше. Зная о готовящемся покушении через своих агентов и точно осведомившись, что оно должно произойти в опере 10 октября 1800 г. вечером, Фуше арестовал заговорщиков (Черакки, Арена, Демервиля, Топино-Лебрена), когда они, вооруженные, уже приблизились к ложе первого консула. Утверждали потом, что сам же Фуше и снабдил их оружием. Заговорщики были казнены, а влияние Фуше усилилось. Его провокаторы развивали необычайно энергичную деятельность, стараясь проникнуть всюду — от светских салонов до самых бедных харчевен и трактиров.

3 нивоза (24 декабря 1800 г.), когда первый консул проезжал вечером, направляясь в оперу, по улице Сен-Никэз, близ его кареты раздался страшный взрыв. Карета Бонапарта проехала мимо «адской машины» всего секунд за десять до взрыва. Мостовая покрылась трупами и ранеными, полуразрушенная карета благополучно домчала первого консула до здания оперы. Он вошел в ложу с виду совершенно спокойный, так что публика в театре только через некоторое время узнала о происшедшем. Начавшееся немедленно следствие на первых порах ничего не выяснило, никто не был арестован на месте покушения. Бонапарт был убежден, что и на этот раз дело организовано якобинцами. Он обвинял Фуше в том, что тот слишком занят роялистами и не обращает достаточно внимания на якобинцев. Он решил покончить с оппозицией слева. Велено было составить список из 130 имен вождей якобинцев или принимаемых за таковых. Они были арестованы и подверглись в большинстве своем ссылке в Гвиану и на Сэйшельские острова, откуда редко кто возвращался. Префекты в провинции начали, сверх того, жесточайшую травлю против всех, кто за годы революции обнаружил словом или делом симпатию к решительной борьбе против реакции. Теперь уцелевшие реакционеры стали сводить с ними счеты. Из этого первого списка, составленного Фуше, некоторые попали не просто в ссылку, а в каторжные тюрьмы без суда и следствия, и не были освобождены, даже когда истина выяснилась. А выяснил ее тот же Фуше, и как раз почти в те же дни, когда отправлял якобинцев на каторгу и в ссылку. Уж он-то раньше всех узнал, что якобинцы в данном случае абсолютно ни при чем; ссылал же он их исключительно для того, чтобы угодить раздраженному Бонапарту.

Ровно через две недели после покушения и в разгар террора против якобинцев был задержан некто Карбон, а спустя

некоторое время Сен-Режан, затем Бурмон и несколько десятков роялистов, проживавших в Париже легально и нелегально. Карбон и Сен-Режан, непосредственные виновники покушения, сознались. Все было организовано исключительно роялистами с целью убить Бонапарта и произвести реставрацию Бурбонов. Это не помешало оставить в силе принятые против якобинцев меры, но решено было не пощадить и роялистов. Бонапарт решил, таким образом, из одного покушения извлечь двойную политическую пользу. Когда потом ему сказали, что Фуше был убежден в полной невиновности ссылаемых якобинцев, Бонапарт ответил: «В самом деле? Фуше! Вот он всегда такой! Впрочем, это не важно. Теперь я от них (якобинцев) избавлен». Роялисты, непосредственно участвовавшие в покушении, были казнены, многие сосланы подобно якобинцам.

Но все-таки гнев Бонапарта против роялистов не был в тот момент так жесток, как можно было бы ожидать, судя по расправе с совсем неповинными в «адской машине» якобинцами. И тут дело вовсе не только в психологическом наблюдении, которое сделали над Наполеоном его приближенные, дело было не только в том, что он уже истощил на якобинцев весь свой гнев за эти первые недели после покушения, а на роялистов его уже не хватило,— Наполеон очень хорошо умел быть жестоким, когда находил это нужным, оставаясь вполне холодным и спокойным. Дело было не в этом, а в том, что он задался целью оторвать от Бурбонов те элементы среди роялистов, интересы которых были вполне примиримы с новым порядком вещей во Франции. Другими словами, те роялисты, которые признают законность его, Наполеона, власти, подчинятся ей безропотно, будут приняты им с готовностью, и прежние грехи могут быть им прощены, а с непримиримыми, непременно желающими восстановить Бурбонов и старый строй,— беспощадная борьба.

Еще до Маренго первый консул приказал Фуше составить списки тех эмигрантов, которым можно дозволить вернуться во Францию, и, несмотря на адскую машину на улице Сен-Никэз, эти списки продолжали составляться. По первоначальным спискам эмигрантов насчитывали около 100 тысяч человек, и из них около 52 тысяч вернулось уже согласно постановлению от 1 вандемьера (20 октября 1800 г.). По дальнейшим спискам эмигрантов было выявлено почти в полтора раза больше, чем раньше предполагалось. Из 145 тысяч эмигрантов около 141 тысячи получило право въезда во Францию; по приезде они поступали под надзор полиции. Только 3373 эмигрантам въезд по-прежнему был воспрещен. Но этим он не ограничился: в мае 1802 г. был издан сенатус-консульт, по

которому всякий эмигрант, принесший присягу в верности новому государственному строю, получал право въезда во Францию. Масса эмигрантов, бедствовавших за границей, использовала этот закон и вернулась во Францию.

Покушения на некоторое время прекратились. Бонапарт с удвоенной энергией взялся за дипломатические дела. Никогда ни до, ни после этого периода он не желал до такой степени скорого замирения с коалицией. Это ему было нужно и для поправления финансов, и ввиду явной жажды скорейшего мира со стороны большинства французского населения, и, конечно, чтобы иметь передышку для довершения начатых и осуществления намеченных государственных реформ.

3

По дипломатической части он выбрал себе в помощники нужного человека не менее удачно, чем по части политического сыска, потому что если Фуше оказался мастером в деле провокации и шпионажа, то князь Талейран показал себя виртуозом дипломатического искусства. Но была и разница в положении самого первого консула в том и другом случае: Наполеон пользовался Фуше и его аппаратом, но считал и называл их всех подлецами; не доверяя Фуше, он держал еще свою особую полицию для наблюдения за самим Фуше, но, конечно, на этом поприще, в этом состязании победить своего министра он не мог. Тут с Фуше никакие Наполеоны, никакие Александры Македонские не могли бы справиться. Он мигом распознавал наблюдавших за ним (приставленных Наполеоном людей). В области полиции Наполеон нуждался в Фуше и в специальных его талантах, потому что в данном вопросе не мог даже и отдаленно равняться со своим министром, и считался с этим. Напротив, в дипломатическом искусстве Наполеон не только не уступал Талейрану, но кое в чем превосходил его, и хотя тот был высокоталантливым министром иностранных дел, но все-таки руководящие мысли давал Талейрану он сам, все важные мирные переговоры вел он сам, а Талейран подавал лишь советы, оформлял дипломатические ноты и вырабатывал тактические приемы, необходимые для достижения намеченного.

Одним из самых крупных дипломатических достижений Наполеона является, бесспорно, полный переворот, произведенный им в русской политике. Он дал знать императору Павлу, с которым Франция официально была в войне, что желает вернуть в Россию немедленно всех русских пленных, оставшихся после разгрома корпуса Корсакова осенью 1799 г. И притом он не требовал даже обмена пленными (впрочем, пленных французов в России почти не было в то время). Уже

это привело Павла в восхищение, и он для окончания дела о пленных отправил в Париж генерала Спренгпортена.

В середине декабря 1800 г. Спренгпортен приехал в Париж. Бонапарт сразу же выразил самое горячее чувство симпатии и уважения к Павлу Петровичу, подчеркивая благородство и величие души, которые, по его мнению, отличают русского царя. Одновременно оказалось, что первый консул не только приказал вернуть всех русских пленных (около 6 тысяч человек), но и распорядился, чтобы им всем были сшиты за счет французской казны новые мундиры по форме их частей и выдано обмундирование, новая обувь, возвращено вооружение. Эта никогда никем при войне не практиковавшаяся любезность сопровождалась личным письмом Бонапарта императору Павлу, в котором первый консул в дружественных выражениях говорил, что мир между Францией и Россией может быть заключен в 24 часа, если Павел пришлет в Париж доверенное лицо. Все это совершенно пленило Павла. Из ярого врага Франции он внезапно обратился в ее доброжелателя и ответил Бонапарту сообщением, в котором уже наперед соглашался на мир, изъявляя желание вернуть Европе в согласии с первым консулом «тишину и покой».

«Ваш государь и я — мы призваны изменить лицо земли»,— сказал Бонапарт посланцу Павла, генералу Спренгпортену.

Наполеон после этого первого успеха решил заключить с Россией не только мир, но и военный союз. Идея союза диктовалась двумя соображениями: во-первых, отсутствием сколько-нибудь сталкивающихся интересов между обеими державами и, во-вторых, возможностью со временем совокупными силами грозить (через южную Россию и Среднюю Азию) английскому владычеству в Индии. Мысль об Индии никогда не оставляла Наполеона, начиная от египетского похода и до последних лет царствования. Разработанного проекта не было ни тогда, ни позже, но основная идея крепко засела в его голове. Эта идея в 1798 г. связывалась у него с Египтом, в 1801 г.— с внезапной дружбой русского царя, в 1812 г., при начале похода,— с Москвой. Во всех трех случаях стремление к далекой цели не получило даже и начала реального оформления, но, как сейчас увидим, на этот раз дело дошло до чего-то вроде глубокой военной разведки или до видимости подобной разведки.

Необычайно быстрое развитие дружественных отношений с Бонапартом у императора Павла шло параллельно и в тесной связи с усилением столь же внезапной ненависти к Англии, вчерашней его союзнице в борьбе против Франции. Наполеон обдумывал — пока в общих чертах — комбинацию,

основанную на походе французских войск под его начальством в южную Россию, где они соединились бы с русской армией, и он повел бы обе армии через Среднюю Азию в Индию. Павел не только склонен был напасть на англичан в Индии, но даже опередил Бонапарта в первых шагах к реализации этой программы. Казачий атаман Матвей Иванович Платов, по неведомой причине засаженный Павлом в Петропавловскую крепость и находившийся там уже полгода, внезапно был извлечен из своего каземата и доставлен прямо в царский кабинет. Тут ему без всяких предисловий был задан изумительный вопрос: знает ли он дорогу в Индию? Ничего абсолютно не понимая, но сообразив, что в случае отрицательного ответа его, вероятно, немедленно отвезут обратно в крепость, Платов поспешил ответить, что знает. Немедленно он был назначен начальником одного из четырех эшелонов войска донского, которому почти в полном составе приказано было идти в Индию. Всего же выступили в поход все четыре эшелона — 22 500 человек. Выступили они с Дона 27 февраля 1801 г., но шли недолго...

В Европе с растущим беспокойством следили за укреплением дружбы между французским властелином и русским императором. В случае укрепления союза между этими двумя державами они вдвоем будут повелевать на всем континенте Европы — это было мнение не только Наполеона и Павла, но и всех европейских дипломатов того времени. Совершенно определенное беспокойство царило и в Англии. Правда, французский флот был гораздо слабее английского, а русский флот был и вовсе ничтожен, но замыслы Бонапарта относительно Индии и внезапная посылка каких-то русских войск по направлению к Индии тревожили и раздражали Вильяма Питта, первого министра Великобритании. С большим беспокойством ждали во всех европейских дипломатических канцеляриях и королевских дворцах наступления весны 1801 г., когда оба будущих могущественных союзника могли бы предпринять нечто решительное. Но первый весенний день, 11 марта, принес совсем другое.

Когда в Париж внезапно пришла весть, что Павел задушен в Михайловском дворце, Бонапарт пришел в ярость. Разрушилось все, чего он с таким искусством и таким успехом достиг в отношениях с Россией в несколько месяцев. «Англичане промахнулись по мне в Париже 3 нивоза (в день взрыва адской машины на улице Сен-Никэз — *Е. Т.*), но они не промахнулись по мне в Петербурге!» — кричал он. Для него никакого сомнения не было, что убийство Павла организовали англичане. Союз с Россией рухнул в ту мартовскую ночь, когда заговорщики вошли в спальню Павла.

Первому консулу приходилось сразу и круто перестраивать все свои дипломатические батареи. Наполеон умел маневрировать и в этом вопросе так же быстро и искусно, как маневрировал с артиллерийскими батареями.

4

Отныне установка должна быть взята другая: не на продолжение войны, а на мир с Англией. Что касается Австрии, то с нею мирные переговоры велись уже давно; уже 9 февраля 1801 г. австрийский уполномоченный Кобенцль подписал в г. Люневиле мирный договор с Францией. Переговоры велись Жозефом Бонапартом, братом первого консула, и Талейраном, министром иностранных дел. Но оба они исполняли лишь указания Наполеона, который искусно использовал при этом свою внезапно возникшую дружбу с Павлом. Австрия могла подвергнуться нападению и с запада и с востока. Пришлось уступить буквально все. После битвы при Маренго и победы французов также и в Эльзасе, где генерал Моро одержал над австрийцами победу при Гогенлиндене, сопротивляться было трудно. Наполеону удалось по Люневильскому миру получить все, что он желал получить от Австрии: окончательное отторжение от Австрии всей Бельгии, уступку Люксембурга, все германские владения на левом берегу Рейна, признание Батавской республики (т. е. Голландии), признание Гельветической республики (т. е. Швейцарии), признание Цизальпинской и Лигурийской республик (т. е. Генуи и Ломбардии), которые, конечно, все становились фактически французскими владениями. Что касается Пьемонта, то он весь как был, так и остался занят французскими войсками. «Вот он, этот несчастный договор, который я должен был по необходимости подписать. Он ужасен и по форме и по содержанию»,— с грустью докладывал в своем письме Кобенцль своему начальнику (Коллоредо).

Кобенцль имел большее право на возмущение, зная, что Талейран успел получить обильные подарки (под шумок, конечно) во время самих переговоров от австрийского двора, но ничего не сделал в пользу австрийцев, потому что договор был продиктован от начала до конца самим Наполеоном.

Итак, с Австрией до поры до времени было покончено. Ясно было, что при таких жесточайших потерях Австрийская империя будет ждать удобного случая, чтобы поправить свои дела. Ожидая лучших времен, она смирилась.

Таким образом, в момент смерти Павла из всех великих держав в состоянии войны с Францией оставалась только одна Англия. Круто переменив фронт после смерти Павла, Наполеон

поставил своей задачей скорейшее заключение мира с англичанами.

Трудный момент переживала Англия. Английская торговая и промышленная буржуазия не знала себе соперников в чисто экономическом отношении на тогдашнем европейском континенте. Индустриально-технический переворот последних десятилетий XVIII в. окончательно обеспечил за Англией положение ведущей державы в области экономики, и одной из причин раздражения французской буржуазии против политики старого режима был англо-французский торговый договор 1786 г., за которым последовало победоносное завоевание французского внутреннего рынка английской текстильной и металлургической промышленностью. Все меры Конвента и Директории против английской торговли горячо приветствовались французскими промышленниками, и вся война между Англией и Францией в эпоху революции рассматривалась и в Англии и во Франции как война английских купцов и промышленников против французских купцов и промышленников.

Во главе всех политических предприятий против Франции, всех военных европейских коалиций стоял Вильям Питт, первый министр британского кабинета. Он щедро субсидировал в свое время и Пруссию, и Австрию, и Пьемонт, и Россию, и снова Австрию и Неаполь, потому что ясно видел, чем является с точки зрения английских экономических и политических интересов растущее на континенте могущество Франции.

Но ни субсидирование европейских коалиций, ни деятельная помощь флотом, деньгами, припасами, оружием, оказываемая вандейским контрреволюционерам, не помогали, и к 1801 г. в Англии стало распространяться мнение, что с новым владыкой Франции лучше было бы войти в переговоры о соглашении. Это мнение, правда, нисколько не разделялось промышленниками и теми торговыми кругами, которые непосредственно были связаны с эксплуатацией захваченных за время долгой войны французских и голландских колоний. Но купечество, связанное с европейской торговлей, хотело мира; в английском рабочем классе в тот момент были сильны чувства возмущения, вызванного эксплуатацией и совершенно голодным существованием, и ярость рабочих выражалась не только в разрушении машин, но иногда и в явно пораженческих настроениях.

Словом, когда Бонапарт заключил с Австрией выгоднейший мир, отдававший в его руки массу новых земель и в Германии и в Италии, и когда после смерти Павла он заключил мир с преемником Павла Александром и одновременно предложил мир также Англии, то временно обескураженные провалом своих надежд на разгром Франции английские правящие сферы решили пойти на эти переговоры. Вильям Питт вышел в отстав-

ку как раз перед убийством Павла, и его заменили люди, выражавшие стремление тех слоев, которые считали возможным мириться. Во главе кабинета стал Аддингтон, а министром иностранных дел сделался лорд Гоуксбери, давший понять, что Англия не прочь заключить мир.

Мирные переговоры велись в Амьене, и там же был 26 марта 1802 г. подписан мирный трактат с Англией. Англия вернула Франции и ее вассалам (Голландии и Испании) все колонии, которые она успела захватить за долгие годы войны, продолжавшейся девять лет, кроме островов Цейлона и Тринидад. Мальта должна была быть возвращена мальтийским рыцарям. Англия обязывалась эвакуировать все занятые ею за время войны пункты на Адриатическом и Средиземном морях. Франция обязывалась эвакуировать Египет, убрать войска из Рима и вернуть его и другие папские владения римскому папе. Вот и все главные условия. Но ведь самое важное было вовсе не это. Разве из-за этого английская правящая аристократия и буржуазия тратили в течение девяти лет миллионы на свои и чужие войска, рассылали флоты во все океаны?

Самое тяжкое для правящих сфер Англии было то, что им не удалось вырвать из когтей Бонапарта ни одного из его европейских завоеваний. Бельгия и Голландия, Италия, левый берег Рейна и Пьемонт остались в прямом его обладании, вся западная Германия была отныне его беспомощной добычей. Все эти завоеванные, или пока еще не совсем завоеванные, страны, попадая под прямую или косвенную власть Бонапарта, исчезали для английского сбыта, для импорта как английских фабрикатов, так и английских колониальных продуктов. Ничего не вышло из всех стремлений английских уполномоченных в Амьене положить основы для выработки сколько-нибудь выгодного для Англии торгового договора. О богатом внутреннем французском рынке не приходилось, конечно, и думать: как он был закрыт наглухо для английского ввоза еще до Бонапарта, так и остался закрытым. А кроме этого, с чисто военной, чисто политической точки зрения безопасность Англии от французских нападений не могла быть сколько-нибудь прочно обеспечена. Пока Бонапарт царил над Бельгией и Голландией, он говорил, что «Антверпен — это пистолет, направленный в английскую грудь».

Амьенский мир не мог оказаться очень длительным, Англия не чувствовала себя еще настолько побежденной. Но в тот момент, когда в Париже и в провинции узнали о подписании мирного трактата с Англией, удовлетворение было полное. Самый грозный, самый богатый, самый упорный и непримиримый враг, казалось, признал себя побежденным, утвердил своей подписью все завоевания Бонапарта. Кончилась долгая, тяжкая война с Европой, и кончилась полной победой на всех фронтах.

5

Недолго суждено было Франции и Европе пользоваться миром при Наполеоне. Но эти два года — от весны 1801 г., когда состоялось замирение с Австрией, до весны 1803 г., когда после короткого Амьенского мира опять началась война с Англией,— были полны кипучей деятельности Наполеона в области организации управления страной и законодательства. Теперь он мог приняться систематически за те законодательные труды, которые волей-неволей должен был откладывать до сих пор; хотя он начал заниматься ими и после Маренго, но дела эти не могли стоять у него на первом плане, пока не было окончательного мира с Австрией и с Англией и пока сношения с императором Павлом направляли мысль на новые трудные войны и далекие завоевания.

Настало время, когда он мог поставить, обсудить и разрешить целый ряд капитальнейших вопросов администрации, финансов, экономики, гражданского и уголовного законодательства. Метод его работы над теми государственными проблемами, которых он не знал, был таков. Бонапарт председательствовал на заседаниях созданного им Государственного совета, выслушивал доклады министров, приказывал, чтобы являлись те, кто непосредственно работал над этими докладами, и выспрашивал подробно обо всем, что казалось неясным.

Больше всего он любил говорить со специалистами и у них учиться. «Когда попадаете в незнакомый город,— поучал он своего пасынка, Евгения Богарне, впоследствии вице-короля Италии,— то вы не скучайте, а изучайте этот город: откуда вы знаете, не придется ли вам его когда-нибудь брать?» Весь Наполеон в этих словах: накоплять знания для реального их использования. Он удивлял английских капитанов, говоря с ними о подробностях оснастки не только французских, но и английских кораблей и о разнице в канатах английских и французских.

Экономике (а в ту эпоху это были вопросы развития капиталистического производства), как увидим дальше, Наполеон придавал колоссальное значение, и вопросы торговли и промышленности, вопросы производства и сбыта, тарифов и таможен, морского фрахта и сухопутных сообщений были им уже через 2—3 года после начала правления так изучены, что он знал о причинах удешевления или вздорожания лионского бархата не хуже лионских купцов и мог уличить в мошенничествах — и определить, в каких именно,— подрядчика, строящего шоссейную дорогу на конце колоссальной империи, был в состоянии не только разрешить своим властным словом пограничный спор или покончить с путаницей чересполосиц между отдельными германскими государствами и князьями, но и моти-

вировать свое решение ссылкой на *историю* этого спора и этих чересполосиц.

Наполеон выслушивал всех, от кого мог надеяться получить дельное указание, но решал сам. «Выиграл сражение не тот, кто дал хороший совет, а тот, кто взял на себя ответственность за его выполнение и приказал выполнить»,— говаривал он. Среди множества мнений, которые выслушивает главнокомандующий, часто может случиться и одно правильное, но нужно уметь его выбрать и использовать. Точно так же и в законодательных реформах и во всем ведении внутренней политики. Но издать повеление тоже является вовсе не концом, а лишь началом дела. Проверку того, исполнены ли приказы, Наполеон считал ничуть не менее важным делом в государственном управлении, чем самую отдачу этих приказов,— и признавал непременной обязанностью министра доискиваться до точнейшего определения личности виновного в неисполнении приказа или небрежном или замедленном его исполнении. Бюрократическая служба была при нем делом очень тяжелым. Ложиться спать приходилось поздно, вставать — рано, вспоминали потом служившие при нем старые чиновники. По его мнению, для правительства важнее всего извлечь из человека то, что он может дать,— а если люди при этом не будут долго заживаться на свете,— то это само по себе вовсе и неважно для государства. Наполеон даже выразил это характерное для него убеждение в следующих откровенных словах: «Не давать людям состариться — в этом состоит большое искусство управления» (ne pas laisser vieillir les hommes!). Он старался обеспечить должностной аппарат хорошими окладами, но уж зато выжимал из людей все, что только возможно было из них выжать. Сам работая непрерывно почти круглые сутки, за вычетом немногих часов для сна, 15 минут на обед и меньше 15 минут на завтрак,— Наполеон не считал нужным проявлять к другим больше снисходительности, чем к самому себе. И точь-в-точь, как он это делал с солдатами и офицерами, Наполеон не только страхом суда, наказания, увольнения заставлял чиновников сидеть за работой сверх всякой меры. Старик Тремок, долго тянувший при Наполеоне тяжелую служебную лямку в качестве чиновника канцелярии, потом аудитора Государственного совета, говорит, что у Наполеона было «искусство увеличивать в людях преданность делу той фамильярностью, с которой он умел, при случае, обращаться с низшими, как с равными», и это искусство «порождало увлечение, равное тому, которое он порождал в армии. Люди истощались в работе так точно, как (другие — *Е. Т.*) умирали на поле битвы». На гражданской службе, как на военной, служащий персонал шел на все, чтобы заслужить орден или милостивую улыбку владыки.

Со времени плебисцита, наскоро устроенного после Амьенского мира, и последовавшего в силу этого «всенародного решения» сенатус-консульта 2 августа 1802 г. Наполеон Бонапарт был объявлен «пожизненным консулом» Французской республики. За эту меру голосовали 3 568 885 человек, против — 8374. Ясно было, что Франция превратилась в абсолютную монархию и что не сегодня-завтра первый консул будет объявлен королем или императором. И этот свой будущий трон, как и свою уже существующую «республиканскую» диктатуру, Наполеон желал утвердить на прочной базе крупной городской и деревенской буржуазии, собственников-купцов, собственников-промышленников, собственников-помещиков, собственников-крестьян. Право собственности, абсолютно ничем не ограниченное, должно было быть положено в основу созидаемого им нового строя. С одной стороны, навсегда и бесповоротно уничтожается всякое воспоминание о старых феодальных правах дворян, помещиков-сеньеров, над землями, какими они или предки их некогда владели, а с другой — навсегда и бесповоротно утверждается полное право собственности за владельцами купленных при революции земель, конфискованных у эмигрантов, церквей и монастырей,— и утверждается это право за всеми теми, кто в данный момент ими владеет.

Что касается торговли и промышленности, то здесь, с одной стороны, собственникам торговых и промышленных предприятий давалось решительно ничем не ограниченное право вступать в договорные отношения со служащими и рабочими на основе «добровольного соглашения» (т. е. ничем не сдерживаемой свободы эксплуатации труда капиталом), причем рабочий был лишен всякого права и возможности коллективной борьбы с эксплуатацией; с другой же стороны, французским торговцам и промышленникам давалась уверенность, что правительство Наполеона захочет и будет в состоянии победоносно оградить внутренний французский рынок от иностранной конкуренции и превратить часть Европы, а если удастся, то и всю Европу в объект эксплуатации для французского торгового и промышленного капитала. Наполеон был уверен, что созданный и укрепленный им строй, а также его внутренняя и внешняя политика заставят торговую и промышленную буржуазию и собственническое крестьянство простить решительно всякое насилие, отказаться от всяких претензий на активное участие в политической жизни, в управлении и законодательстве, заставят согласиться на подчинение любой форме самодержавия, даже такой, какой при Людовике XIV не было, пойти на такие жертвы, примириться с такими рекрутскими наборами, о каких в самые тяжелые времена старого режима и не слыхивали.

6

Решив покончить со всем тем, что создавало некоторые затруднения в господстве новейших капиталистических отношений, в утверждении его собственной власти, Наполеон не только амнистировал эмигрантов, отдав им даже при этом часть нераспроданных имуществ, но и устроил официальное примирение французского государства с католической церковью. Уже сейчас, после 18 брюмера, отправление католического культа стало свободным. Теперь он разрешил празднование воскресного дня, многих священников вернул из ссылки, многих выпустил из тюрем. Затем Наполеон приступил к переговорам с папой об условиях, на которых первый консул согласился бы признать католицизм «религией большинства французского народа» и поставить католическую церковь под покровительство государства.

В результате этих переговоров был издан известный конкордат, это «чудо государственной мудрости», по уверению буржуазных историков.

На самом деле конкордат был сдачей большей части позиций, отвоеванных революцией у церкви в пользу свободной мысли. Революция покончила с возможностью официального влияния католического духовенства на французский народ, а Наполеон открывал вновь эту возможность. Зачем он это сделал? Ответ был ясен и не допускал никаких сомнений.

Сам Наполеон если и не был убежденным атеистом, то во всяком случае его можно назвать весьма равнодушным и довольно нерешительным деистом. Вообще говоря, о вопросах религии он беседовал весьма мало на своем веку. Он никогда не стремился опереться на помощь предполагаемого деистами высшего существа и ни малейших мистических настроений не обнаруживал. И уж во всяком случае в итальянском аристократе графе Кьярамонти, который с 1799 г. стал папой Пием VII, Наполеон усматривал не преемника апостола Петра и не наместника бога на земле, а пронырливого старого итальянца, который, конечно, охотно интриговал бы в пользу реставрации Бурбонов во имя возвращения церковных имуществ, секвестрованных при революции, но который боится Наполеона потому, что почти вся Италия занята французами, а после Маренго Рим и папа римский всецело в руках первого консула Бонапарта.

Пий VII панически боялся Наполеона и считал его насильником и грабителем. Наполеон же не верил ни одному слову Пия VII и считал его интриганом и лжецом. Такого мнения они держались друг о друге еще до того, как начались между ними переговоры, и после того, как переговоры окончились, и дальше, до самой смерти, и, по-видимому, ни разу серьезно не

усомнились в правильности взаимной оценки. Дело было не в личности папы. С точки зрения Наполеона католическая церковная организация была силой, которой нельзя было пренебрегать не только потому, что она могла принести много вреда, оставаясь в лагере врагов, но еще больше потому, что могла принести большую пользу, перейдя в лагерь друзей. «Попы все-таки лучше, чем шарлатаны вроде Калиостро или Канта или всех этих немецких фантазеров»,— говаривал Наполеон, ставя в один ряд авантюриста Калиостро и философа Канта и прибавляя, что раз уж люди так устроены, что хотят верить в разные чудеса, то лучше дать им возможность пользоваться церковью и установленным церковным учением, чем разрешать слишком философствовать. Прививают же людям оспу, чтобы они не заболели ею,— аргументировал Наполеон. Другими словами: лучше сговориться с пронырливым старым графом Кьярамонти, который называет себя папой Пием VII и в которого люди, по свойственной им глупости, верят как в божьего наместника на земле, лучше поставить на свою службу рядом с жандармерией и полицией Фуше еще и бесчисленную черную полицию папы Пия VII, чем позволять своим врагам Бурбонам пользоваться этой бесчисленной ратью монахов и священников или толкать подвластное население в объятия неуловимых фантазеров и философов и развивать свободомыслие. Мало того, Наполеон отчетливо понимал, что эта черная католическая рать очень и очень полезна именно для окончательного удушения ненавистной ему просветительной и революционной идеологии. Уже в июле 1801 г. было подписано соглашение (конкордат) между папой и Наполеоном, а 15 апреля 1802 г. закон о конкордате и о новом устройстве католической церкви во Франции был обнародован в окончательном виде. Вот его основы.

Наполеон признает католицизм «религией огромного большинства французских граждан», но не государственной религией, как то было при дореволюционном режиме; он разрешает беспрепятственное богослужение во всей стране. Взамен того папа обязуется никогда не требовать возвращения церкви конфискованных у нее во время революции земель. Епископов и архиепископов назначает по своему выбору и желанию Наполеон, а уже после этого назначенное духовное лицо получает от папы церковное (каноническое) посвящение в сан; точно так же священники, назначаемые епископами, вступают в должность только после утверждения правительством. Папские послания, буллы, обращения, постановления допускаются во Франции только с особого всякий раз разрешения правительства. Таковы главные основы конкордата, который просуществовал больше 100 лет после Наполеона. Наполеон не ошибся в своих расчетах. Вскоре после конкордата (уже при империи)

католическое духовенство ввело во всех школах Франции обязательный катехизис, в котором текстуально говорилось и велено было заучивать наизусть, что 1) «бог... сделал императора Наполеона орудием своей власти и *образом своим* на земле» и 2) «кто противится императору Наполеону, тот противится порядку, установленному самим господом, и достоин вечного осуждения, а душа противящегося достойна вечной гибели и ада». Катехизис проповедовал, кроме этих двух, еще много и других «истин» в том же духе. Это на уроках «закона божия». А по праздникам с церковной кафедры излагалось, что «святой дух» временно решил переселиться в Наполеона именно на предмет искоренения революционного безначалия и неверия и что постоянные победы первого консула (а потом императора) над всеми врагами внешними объясняются прямым стратегическим вмешательством «святого духа».

Как раз в те месяцы, которые отделяют предварительное подписание соглашения между папой и Наполеоном от обнародования закона о конкордате, Наполеон создал орден Почетного легиона, до сих пор существующий во Франции. Затеял Наполеон это дело еще в самом начале 1801 г. Он решил создать знак отличия за военные или гражданские заслуги. Орден должен был иметь разные степени и даваться по воле верховной власти.

При Наполеоне было положено начало той организации народного образования, которая существует почти без всяких изменений вплоть до настоящего времени. Правда, низших школ при нем не было, но в области высшего и среднего образования никаких существенных отклонений нет.

Во главе всей организации стоит ведомство называющееся «Университетом» (l'Université), а управляет этим ведомством главный начальник его — Grand-Maître de l'Université (теперь это название сохранено за министром народного просвещения). «Университет» при Наполеоне заведовал: 1) высшей школой и 2) лицеями — школой средней. При Наполеоне основывались только высшие специальные школы, преимущественно для подготовки техников, инженеров, нотариусов, чиновников судебных, чиновников административных, чиновников финансового ведомства и т. д. Дисциплина была суровая, чисто военная, экзамены очень строгие. Что касается лицеев, то они были созданы прежде всего для подготовки офицеров. Человек, кончивший лицей, принимался по дополнительному экзамену в специальные высшие военные школы. На государственную службу по гражданским ведомствам принимали по окончании лицея, не требуя дальнейшего образования, но, конечно, без тех прав по службе и той карьеры, которая ожидала окончивших после лицея еще ту или иную высшую школу.

Наполеон любил хвалиться тем, что покровительствует наукам. Он осыпал милостями математиков, химиков, астрономов, физиков, очень благосклонен был к египтологам, потому что начало научной египтологии связывалось с его походом в Египет.

Но от науки он требовал реальных результатов и ценил чисто утилитарные результаты научной деятельности. Он хотел прежде всего, чтобы наука способствовала «славе империи» (он это высказал в письме к Лапласу в июле 1812 г. из Витебска). Тогда даже такие абстрактные науки, как астрономия, тоже могут пригодиться. Но исторических наук он не любил и относился к ним с подозрительностью. Он, например, терпеть не мог римского историка Тацита за то, что Тацит непочтителен к римским цезарям. Философия, особенно просветительная, была для него ненавистной «идеологией»; политическую экономию он считал шарлатанством (особенно учение физиократов); философа Канта он тоже считал шарлатаном. Преподавание в университете и в средней школе при нем имело строжайший утилитарный, преимущественно технический, уклон.

Наполеон поставил себе прежде всего сознательной целью искоренить, по возможности, всякие воспоминания о только что окончившейся революционной эпохе, не только о ненавистной ему революционной «идеологии», но даже об исторических фактах, о событиях революционных лет. Воспрещено было не только писать о революции, но даже упоминать о ней или о деятелях того времени. Никакого Робеспьера не было, Марата не было, Бабефа не было, даже Мирабо не было никогда на свете. Когда в 1807 г. однажды в Парижской академии кто-то очень благонамеренно поговорил случайно о Мирабо, то Наполеон разгневался и написал министру полиции: «Не дело президента ученого общества говорить о Мирабо». Запрещено было в печати самое слово «революция». Свое убеждение, что «для управления печатью нужны хлыст и шпоры», Наполеон начал осуществлять, как мы указывали, с первых дней своей власти. Уже через два с небольшим месяца после 18 брюмера Наполеон постановлением 27 нивоза закрыл без объяснения причин 60 газет и оставил в живых лишь 13. Но и эти 13 скоро свелись к четырем. Четыре газеты очень небольшого формата (англичане называли их «носовыми платками») заполнялись настолько ничтожным содержанием, что их мало кто и читал. Наполеон не только не хотел, чтобы, например, его пресса вела *борьбу* с революционными принципами, нет, он просто не желал, чтобы читатели могли вспомнить, что когда-то были провозглашены эти принципы. Он, например, воспретил ввоз в империю тех немецких газет, где шла усиленная борьба против революционной идеологии, где восхваляли Наполеона за то, что он задушил

революцию. Наполеон, запрещая ввоз этих газет, не желал, чтобы даже таким путем его подданные вспоминали о революции. Строго были воспрещены все путеводители и топографические описания, где упоминалось о революционных событиях,— такие (до Наполеона вышедшие) путеводители изымались при постоянных обысках в типографиях. В учебниках было воспрещено поминать, что в Голландии и в Швейцарии была («когда-то») республика, хотя в Голландии Наполеон ее уничтожил лишь в 1806 г.

В 1810 г. некто Баррюэль-Боверд рискнул написать книгу «Деяния философов и республиканцев». Автор уповал, что если уж так неистово, последними словами ругать революционеров, как он их ругает, если уж до такого самозабвения льстить при этом Наполеону, как он льстит, то дело пройдет гладко и книга выйдет в свет. Но он ошибся: книга была воспрещена и конфискована «за тягостные воспоминания, которые она пробуждает». Так было сказано в официальной бумаге [1].

Грех, который наполеоновское правительство никогда не прощало авторам, заключался в «тайном якобинстве». А «тайное якобинство» усматривалось в самых неожиданных признаках: например, если человек очень хвалил нравственность древнего грека Аристида или честность Катона, то потому, что Афины и Рим были республиками, автор немедленно брался под подозрение: не хочет ли он сказать что-то похвальное о республиканском образе правления?..

Жестокий гнет наложен был Наполеоном и на прессу покоренных народов. Тут малейший намек на порабощение отечества грозил не только закрытием газеты, конфискацией книги, но и опасностью для автора. Пример книгопродавца Пальма, расстрелянного по требованию Наполеона в Нюрнберге только за то, что он отказался назвать автора не понравившейся Наполеону брошюры, показывал, чего могут ждать писатели и издатели в покоренных странах при малейшей попытке проявить скорбь об угнетенной родине.

Проводимое самыми решительными мерами искоренение всяких воспоминаний о революционных событиях и принципах во Франции и не менее крутое преследование всякого намека на национальное освобождение и самоопределение в завоеванной Европе — таковы руководящие мотивы всей наполеоновской политики в области печати.

7

Уже через два месяца после битвы при Маренго и через несколько недель после своего возвращения из Италии первый консул издал постановление (12 августа 1800 г.) об образова-

нии комиссии для выработки проекта гражданского свода законов, кодекса гражданского права, который должен был стать краеугольным камнем всего юридического быта Франции и завоеванных ею земель. Дело было колоссально трудное, и поэтому Наполеон назначил в эту комиссию всего четырех человек: он терпеть не мог больших комиссий, длинных речей, многочисленных заседаний. Все четверо были очень крупные юристы.

Этот кодекс получил впоследствии наименование «Кодекса Наполеона», подтвержденное декретом 1852 г. и до сих пор не отмененное официально (хотя его называют также «гражданским кодексом»). Наполеоновский свод гражданских законов, по мысли законодателя, должен был юридически оформить и закрепить победу, одержанную буржуазией над феодальным строем, и обеспечить несокрушимость позиций, которые должна в новом обществе занять частная собственность, сделать принцип полной буржуазной собственности неуязвимым для каких бы то ни было нападений, откуда бы они ни исходили: от феодалов, не желающих ложиться в гроб, или от пролетариев, желающих порвать свои цепи.

Наполеон считал, что революция произошла во Франции не потому, что Франция жаждала свободы, а потому, что хотела равенства. Под равенством он понимал одинаковость гражданских прав, обеспечиваемых законом, но не социально-экономических условий существования граждан. Равенство гражданских прав он и решил прочно обеспечить своим кодексом. «Свобода была только предлогом» (la liberté n'a été qu'un prétexte), говорил он о революции. И уничтожив политическую свободу, он закрепил и кодифицировал «равенство», как он его понимал.

С точки зрения ясности, последовательности, логической выдержанности в защите интересов буржуазного государства Наполеоновский кодекс в самом деле, может быть, заслуживает тех одобрений, какими его с давних пор осыпала (и осыпает) буржуазная юридическая литература капиталистических стран. Никто, однако, даже при минимальной доле беспристрастия, не будет отрицать, что этот свод законов был шагом назад сравнительно с законодательством Французской буржуазной революции. Конечно, он был прогрессивным шагом сравнительно со сводами законов, царившими на остальном европейском континенте. Но многое, данное революцией, было взято назад.

Женщина поставлена Наполеоном в бесправное положение перед лицом мужа и, кроме того, в приниженное, невыгодное положение относительно братьев в наследственном праве. Совершенно отменены гуманные законы революции, уравнивающие в правах так называемых «незаконных» детей с «законными». Восстановлена так называемая «гражданская смерть» для осужденных на каторжные работы и присужденных к другим

тяжким наказаниям, хотя эта тяжкая прибавка к судебной каре была отменена при революции. Наполеон помогал устраивать новое общество, учитывая все то, что было строго необходимо для широчайшей, беспрепятственной экономической деятельности крупной буржуазии, и отметая прочь все тенденции, которые выражали демократические стремления мелкой буржуазии. Могут спросить: неужели и в этом колоссальном деле создания гражданских законов все обошлось без попыток протеста, без стремления сохранить былую революционную широту в новом законодательстве? Такие попытки были. Когда кодекс стал проходить через «законодательные учреждения», то кое-кто в Трибунате вздумал робко возражать, но ровно ничего из этой слабой оппозиции не вышло.

Эти возражения были разрешены крайне легко: Бонапарт исключил из Трибуната всех членов, кроме 50 самых молчаливых, и кстати уж постановил, что отныне в Трибунате не будет никогда больше 50 человек. После этой попутной конституционной реформы дело пошло как по маслу. В марте 1803 г. Наполеоновский кодекс, уже обсужденный в Государственном совете, начал проходить через Законодательный корпус, который даже и права не имел дебатировать, а молча принимал статью за статьей. В марте 1804 г. кодекс, подписанный Наполеоном, стал основным законом и базисом французской юриспруденции. Французская крупная буржуазия получила то, чего хотела; буржуазная революция дала свой посмертный плод, потому что теперь было ясно, что говорить о продолжающейся революции во Франции после 18 брюмера ни в коем случае нельзя. Но ни один историк не вправе забывать о громадном прогрессивном значении этого гражданского кодекса для завоеванных Наполеоном стран Европы.

В кодекс включены были с течением времени и те законы, которыми Наполеон обуздывал рабочий класс еще более прочно, чем это делалось раньше. Не только остался в полной силе закон Ле Шапелье (1791 г.), приравнивающий даже самые мирные стачки, даже простой уход с работы по сговору с товарищами к преступлениям, наказуемым в порядке уголовного преследования, но были еще, кроме того, созданы «рабочие книжки», которые хранились у хозяина и без которых рабочего нигде не принимали на новое место. А в эти книжки прежний хозяин вписывал и аттестацию рабочего и обозначал, по каким причинам он уволил данного рабочего. Можно себе легко представить, как злоупотребляли хозяева этой полнейшей возможностью лишить рабочего заработка и куска хлеба.

Специальный торговый кодекс, выработанный в то же время по повелению Наполеона, дополнял общий свод гражданских законов целым рядом постановлений, регулирующих и юридиче-

ски обеспечивающих торговые сделки, жизнь биржи и банков, вексельное и нотариальное право, поскольку они касаются торговых операций. Наконец, изданием *уголовного* кодекса Наполеон закончил свои основные законодательные труды общего характера. Он сохранил смертную казнь, ввел для некоторых преступлений отмененное при революции телесное наказание плетьми, а также клеймение раскаленным железом, наложил на все преступления против собственности крайне суровые кары. Его уголовное законодательство было бесспорным шагом назад сравнительно с законами революционной эпохи.

Вся эта огромная законодательная деятельность еще не успела вполне закончиться, как уже в марте 1803 г. началась снова война с Англией. Наполеон снова обнажил меч, который он уже больше в ножны не вкладывал до самого конца своей долгой и кровавой эпопеи.

Глава VII

НАЧАЛО НОВОЙ ВОЙНЫ С АНГЛИЕЙ И КОРОНАЦИЯ НАПОЛЕОНА

1803—1804 гг.

1

Вновь после краткого перерыва началась гигантская борьба, и враги довольно ясно представляли себе ее трудности. Против Наполеона, в руках которого была Франция, бо́льшая часть Италии, ряд городов и территорий западной Германии, Бельгия и Голландия, стояли не менее огромные силы, страшные и своими размерами и своей разнохарактерностью. Наполеону всю жизнь приходилось бороться с коалициями экономически отсталых полуфеодальных монархий, возглавляемых, однако, в этой борьбе экономически передовой, первенствующей в тогдашнем капиталистическом мире державой. Наполеоновские войны были не только стремлением французского буржуазного государства подчинить своим интересам старые феодально-абсолютистские образования с их отсталыми экономическими формами. Одновременно эти бесконечные войны оказывались схваткой между Францией, только что вступившей на путь промышленно-капиталистического развития, и Англией, вступившей на этот путь гораздо раньше и уж достигшей на этом пути несравненно бо́льших результатов.

Тут уместно сказать несколько слов о характере наполеоновских войн, с самого начала резко отличавшихся от войн Французской революции. Именно по поводу войн Французской революции и наполеоновских войн Ленин говорит: «Национальная война *может* превратиться в империалистскую *и обратно*. Пример: войны великой французской революции начались как национальные и были таковыми. Эти войны были революционны: защита великой революции против коалиции контрреволюционных монархий. А когда Наполеон создал французскую империю с порабощением целого ряда давно сложившихся, крупных, жизнеспособных, национальных государств Европы, тогда из национальных французских войн получились империалистские.

породившие *в свою очередь* национально-освободительные войны *против* империализма Наполеона»[1]. Под империализмом Ленин понимает здесь грабеж чужих стран вообще, под империалистской войной — «войну хищников за раздел такой добычи», как поясняет он в другом месте, где в другой связи тоже касается эпохи Наполеона.

В своей упорной, непримиримой борьбе против растущего соперника, французского капитализма, английская буржуазия имела на своей стороне и высокую технику, и громадные наличные капиталы, и продуктивно эксплуатируемые колонии, и колоссальные торговые связи на всем земном шаре. В этой борьбе Англия долго и успешно пользовалась услугами и помощью отсталых в экономическом отношении полуфеодальных монархий и вооружала на свой счет и своими ружьями армии этих монархий. Когда Вильям Питт младший давал миллионные субсидии России или Австрии, или Пруссии, чтобы поднять их против французской революции или Наполеона, он делал точь-в-точь то же самое, что за 40 лет до него делал его отец Вильям Питт старший, субсидировавший ирокезов и всякие индейские племена и поднимавший их на борьбу против тех же французов в Канаде. Разница была, конечно, в масштабах и в ставках, поставленных на этот раз на карту.

Почему заключенный Англией в марте 1802 г. Амьенский мир оказался лишь одногодичным перемирием? Потому что, когда прошла радость от прекращения тяжкой войны, широкие круги английской буржуазии и землевладельческой аристократии ясно увидели, что они проиграли войну, а Бонапарт ее выиграл. Бонапарт не только не пустил английские товары на подвластные ему огромные рынки, но, удерживая в своих руках Бельгию и Голландию, мог каждую минуту грозить непосредственно английским берегам, а главное, он уже к 1802 г. был в таком положении, что мог, не встречая препятствий, прямыми угрозами приневоливать к «союзу» с собой целый ряд еще пока числящихся «независимыми» стран. Он уже к моменту заключения Амьенского мира был гораздо более грозен и опасен, чем даже Людовик XIV на вершине своего могущества, потому что все аннексии, какие производил Людовик XIV в западной прирейнской Германии, были детской игрой сравнительно с тем, как распоряжался Бонапарт хотя бы в той же западной Германии. Установление же прочной гегемонии французского военного диктатора на материке Европы могло служить прямым преддверием к нашествию на Англию.

Нужно сказать, что Наполеон очень искусно использовал коротенький Амьенский мир для подавления восстания негров на острове Сан-Доминго, где еще в эпоху Директории укрепился знаменитый вождь негритянского населения Туссен-Лувер-

тюр, формально признававший зависимость острова от французов, но фактически правивший самостоятельно.

Наполеон в вопросе о колониях стоял вполне на точке зрения французских плантаторов, которые никак не желали примириться с освобождением невольников в колониях, происшедшим еще в годы революционного Конвента. Наполеон, получив по Амьенскому миру обратно занятые было Англией французские колонии (Сан-Доминго, Малые Антильские острова, Маскаренские острова, берег Гвианы), не восстанавливая прежнее рабство там, где оно было отменено, подтвердил законы рабовладения там, где они не успели быть отменены вследствие временного захвата англичанами. Для усмирения восстания Туссен-Лувертюра Наполеон снарядил в 1802 г. целый флот с армией в 10 тысяч человек. Туссен-Лувертюра коварно заманили во французский лагерь, где он был арестован 7 июня 1802 г. и отправлен во Францию. Как только герой негритянской освободительной борьбы был привезен во Францию, Наполеон приказал заключить его в одиночную камеру крепости Жу, расположенной в сырой горной местности. Суровый климат и жестокое заключение, без свиданий с родными, без прогулок, при самом суровом обращении, убили Туссена-Лувертюра в десять месяцев.

У Наполеона были некоторые планы, касавшиеся организации и эксплуатации колоний. Но возобновившаяся весной 1803 г. война с Англией заставила его отказаться от планов широкой колониальной политики. Невозможность при полной отрезанности приморских сообщений удержать в своих руках далекие владения на Миссисипи заставила Наполеона даже продать (30 апреля 1802 г.) Соединенным Штатам всю еще остававшуюся в руках французов часть Луизианы.

Та (бóльшая) часть английской буржуазии, которая весной 1803 г. громко требовала расторжения Амьенского мира, имела в виду между многими прочими мотивами еще и этот: воспрепятствовать Наполеону удержать старые французские колонии и приобрести новые.

Но Амьенский мир стал надламываться и разрушаться не только в Англии, но и в Париже. Наполеон полагал, что, заключив этот мир, англичане уже отказались впредь от вмешательства в дела Европы и примирились окончательно с его грядущей гегемонией на континенте, и вдруг оказалось, что это не так и что смотреть сложа руки на то, что Бонапарт делает в Европе, Англия не согласна.

Начались сложные дипломатические переговоры. Обе стороны не желали и не могли уступить друг другу, и обе очень хорошо друг друга понимали. Уже с самого начала 1803 г. переговоры стали принимать такой характер, что нужно было ждать

близкого разрыва. Колебания, конечно, были и в Лондоне и в Париже. Английские министры далеко не все были убеждены, что страна вполне готова снова ринуться в опаснейшую борьбу, да еще на первых порах без союзников,— Франция в этот момент была в мире со всеми державами. С своей стороны Бонапарт знал, до какой степени торговая буржуазия Парижа и Лиона, а также и промышленники, производящие предметы роскоши, завалены блестящими коммерческими предложениями и заказами из Англии, как оживилась в первые же месяцы после Амьенского мира торговля от приезда 15 тысяч богатых туристов из Англии; знал он также, что вместе с тем сам-то он и сейчас, в мирное время, имеет возможность не пускать английские товары во Францию, и поэтому война с Англией с точки зрения интересов французских промышленников непосредственно ничего нового в этом смысле не даст. Правда, при войне запретительную систему можно было бы обострить, усилить и расширить на новые страны, на что очень надеялся Наполеон. Но все же он колебался.

Знаменитая сцена гнева на аудиенции английского посла в Тюильри, окончательно толкнувшая обе державы к войне, была разыграна Наполеоном в качестве последней пробы, последней попытки устрашения.

Тут следует кстати сказать несколько слов об этой характерной особенности Наполеона, так часто и столь многих сбивавшей с толку. Бесспорно, что эта надменная, сумрачная, быстро раздражающаяся, почти всех на свете презирающая натура была склонна к порывам бешеного гнева. Следует заметить, что вообще Наполеон великолепно владел собой. Он даже указывал знаменитому трагическому актеру Тальма, у которого он сам многому научился и за это к нему благоволил, на всю неестественность того, что трагики проделывают на театральной сцене, когда хотят изобразить сильные чувства: «Тальма, вы приходите иногда во дворец ко мне утром. Вы тут видите принцесс, потерявших возлюбленного, государей, которые потеряли свои государства, бывших королей, у которых война отняла их высокий сан, видных генералов, которые надеются получить корону или выпрашивают себе корону. Вокруг меня обманутое честолюбие, пылкое соперничество, вокруг меня катастрофы, скорбь, скрытая в глубине сердца, горе, которое прорывается наружу. Конечно, все это трагедия; мой дворец полон трагедий, и я сам, конечно, наиболее трагическое лицо нашего времени. Что же, разве мы поднимаем руки кверху? Разве мы изучаем наши жесты? Принимаем позы? Напускаем на себя вид величия? Разве мы испускаем крики? Нет, не правда ли? Мы говорим естественно, как говорит каждый, когда он одушевлен интересом или страстью. Так делали и те лица, которые до меня

занимали мировую сцену и тоже играли трагедии на троне. Вот примеры, над которыми стоит подумать».

Наполеон владел собой почти всегда. Только с единственной страстью — с гневом — он не всегда умел справиться. Эти порывы были резки и ужасны для окружающих. Во время припадков гнева он бывал поистине страшен даже для самых твердых и мужественных. Но вместе с тем Наполеону случалось иногда с определенными целями и на основании зрело обдуманных соображений (и совершенно независимо от природной, настоящей вспыльчивости) разыгрывать искусственные сцены ярости, причем он проделывал это с таким высоким театральным талантом, с такой поразительно тонкой симуляцией, что только очень уж хорошо знавшие его зрители могли догадаться об этом комедиантстве, да и то не всегда, часто и они ошибались.

Назначенный английским послом во Франции Уитворт с самого начала не верил в возможность сохранения мира с Бонапартом, и не потому даже, что Франция уже слишком много выиграла по Амьенскому миру, но потому, что после Амьенского мира первый консул стал распоряжаться в сопредельной Европе так, как если бы она уже была в его ведении. Осенью 1802 г., например, он объявил Швейцарии, что желает ввести в ней новое государственное устройство и посадить правительство, «дружественное Франции». Объяснял он свое желание, указывая швейцарцам на их географическое положение — между Францией и Италией, которая подвластна Франции, а подкрепил свои географические соображения посылкой на границу Швейцарии генерала Нея с 30 тысячами солдат. Швейцария смирилась и стала беспрекословно покорной страной. Почти одновременно Наполеон формально и окончательно объявил королевство Пьемонт присоединенным к Франции. Западногерманские мелкие государи и князья, лишившись после Люневильского мира 1801 г. надежды на Австрию, трепетали перед Наполеоном, а обращался он с ними, в самом полном и точном смысле слова, как со своими лакеями. Наконец и Голландия была прочно в его руках, было ясно, что она уже не вырвется и не освободится от него.

Примириться со всем этим Англия не хотела и не могла. В первой же большой аудиенции, 18 февраля 1803 г., Наполеон разыграл сцену раздражения и угроз. Он говорил о своем могуществе, о том, что если Англия осмелится начать войну, то это будет войной «на истребление», что напрасно Англия надеется на союзников, что Австрия как великая держава «не существует больше». Он говорил таким тоном и так кричал, что Уитворт писал своему начальнику, министру иностранных дел лорду Гоуксбери: «Мне казалось, что я слышу скорее какого-то драгунского капитана, а не главу одного из могуществен-

нейших государств Европы». Идея запугать Англию и этим предотвратить войну, продолжая притом хозяйничать в Европе, упорно владела Наполеоном. Но тут коса нашла на камень. Английская буржуазия и аристократия, во многом уже тогда резко расходившиеся, были согласны в одном: не допустить подчинения Европы диктатору Наполеону. Он грозил, что призовет полумиллионную армию. В ответ на его угрозу английское правительство усилило снабжение флота и стало делать обширные военные приготовления.

13 марта разыгралась новая и последняя сцена. «Итак, вы хотите войны... Вы хотите воевать еще 15 лет, и вы меня заставите это сделать». Он требовал возвращения Мальты, которую англичане захватили еще до Амьенского мира и обязались возвратить, но не торопились это исполнить, ссылаясь на противоречащие миру действия Бонапарта. «Англичане хотят войны,— очень громко провозгласил он,— но если они первые обнажат шпагу, то пусть знают, что я *последний* вложу шпагу в ножны... Если вы хотите вооружаться, я тоже буду вооружаться; если вы хотите драться, я тоже буду драться. Вы, может быть, убьете Францию, но запугать ее вы не можете... Горе тем, кто не выполняет условий!.. Мальта или война!» — с гневом закричал он и вышел из зала, где происходил прием послов и сановников.

В начале мая 1803 г. Уитворт выехал из Парижа, и началась война Наполеона с Англией, уже не прекращавшаяся до самого конца его царствования.

2

В Англии знали, что война будет трудной и опасной. Почти тотчас же после ее начала во главе британского правительства фактически снова стал Вильям Питт, бывший не у дел с 1801 г., ушедший, когда английским правящим классам — аристократии и буржуазии — показалось возможным и необходимым начать мирные переговоры с Бонапартом.

Теперь, в 1803 г., час Вильяма Питта снова пришел. Человек, девять лет воевавший с Французской революцией, должен был отныне взять на свою ответственность несравненно более грозную войну с Наполеоном. И, однако, Вильям Питт полагал, что если воевать с Наполеоном будет труднее, чем с революционными правительствами минувшей эпохи, то эта новая война не возбуждает таких политических беспокойств внутри страны, какие возбуждала прежняя война с революционной Францией. Конечно, Франция в 1803 г. была гораздо больше по своей территории, гораздо богаче и обладала гораздо лучше организованной армией, чем прежде; во главе ее стоял талантливый организатор и великий полководец; но, с другой стороны, исчез тот

«революционный яд», который уже так явно стал заражать даже флот его британского величества, не говоря уже о рабочем населении промышленных и каменноугольных центров. Вильям Питт очень хорошо помнил матросские бунты 1797 г. Теперь во Франции царствовал деспот, жестоко расправлявшийся с якобинцами и истребивший всякие следы политической свободы. Все это было так. Но очень уже тревожными были первые полтора года завязавшегося поединка, когда Англия и наполеоновская Франция стояли друг против друга один на один.

Английская торговая и промышленная буржуазия, с восторгом приветствовавшая Амьенский мир, как было сказано, уже через несколько месяцев убедилась в том, что Бонапарт ни за что торгового договора с Англией не заключит и английских товаров ни во Францию, ни в зависимые от него страны Европы не допустит. Что касается аристократии, то она совершенно сознательно шла с готовностью на войну, потому что без войны требования решительной избирательной реформы в пользу буржуазии пришлось бы удовлетворить или выдержать долгую и опаснейшую внутреннюю борьбу. Это — факт, доказуемый документально и неопровержимо. И помимо всего, грозный призрак рабочего движения одинаково тревожил умы этих обоих, готовых к упорному единоборству классов.

Вильям Питт решил пойти на что угодно, лишь бы предотвратить высадку Наполеона на берегах Англии.

Наполеон прежде всего занял весь Ганновер, большое немецкое владение, принадлежавшее английскому королю, бывшему одновременно и ганноверским курфюрстом. Затем он приказал занять ряд пунктов в южной Италии, где еще не было французских войск. Он приказал Голландии и Испании выставить флот и войска на помощь французам. Сейчас же был отдан приказ конфисковать во всех подвластных землях английские товары, арестовать всех англичан, которые окажутся во Франции, и держать их вплоть до заключения мира с Англией. Наконец, он приступил к устройству грандиозного лагеря в Булони, на Ламанше, напротив английского берега. Там должна была собраться огромная армия, которая предназначалась для высадки в Англии. «Мне нужно только три дня туманной погоды — и я буду господином Лондона, парламента, Английского банка»,— сказал он в июне 1803 г., через месяц после начала войны. Булонский лагерь организовывался в 1803 г. очень активно, еще активнее в 1804 г. Кипучая работа началась во всех французских портах, на всех верфях. «Три туманных дня» могли дать возможность французскому флоту ускользнуть от английских эскадр и высадить армию на английском берегу, а тогда Наполеон сломил бы все препятствия, прошел бы от места вы-

садки до Лондона и вошел бы в столицу. Так полагал сам Наполеон, и так думали очень многие в Англии.

Впоследствии многие англичане, пережившие эту эпоху, говорили, что еще в первые месяцы после начала войны в Англии старались осмеять планы Бонапарта о десанте. Но с конца 1803 г. и особенно в 1804 г. англичанам уже было не до смеха. Англия не переживала такой тревоги со времени, когда ждали прихода испанской непобедимой армады в 1588 г. Объезжая порты и прибрежные города северо-западной Франции, Наполеон торопил работы и в воззваниях рисовал перед населением торговых центров лучезарные картины будущей победы над вечным историческим конкурентом. Английское правительство получало самые тревожные известия о грандиозном размахе приготовлений Наполеона. Необходимо было предпринять очень решительные меры. Человек, который мог в 1798 г. ускользнуть с большой эскадрой и большой армией от английского флота, гонявшегося за ним по всему Средиземному морю, и благополучно высадить десант в Египте, да еще по дороге завоевать Мальту,— такой человек в самом деле может воспользоваться туманами, которых на Средиземном море бывает так мало, а на Ламанше так много, да и потребное время тут измеряется не месяцами, а скорее часами или немногими сутками.

Что было делать?

Выходов было два. Первый заключался в том, чтобы, не щадя никаких денежных затрат, быстро подготовить и поставить на ноги коалицию европейских держав, которая ударила бы на Наполеона с востока и предотвратила бы этим его нашествие на Англию. Но Австрия, разбитая Бонапартом и так много потерявшая по Люневильскому миру, еще не оправилась вполне, хотела воевать, но не решалась. Пруссия колебалась, Россия сомневалась. Переговоры велись, Питт не терял надежды на сформирование коалиции, но это средство было хоть и надежное, но медленное: оно могло опоздать.

Оставалась другая мера. Вильям Питт и Гоуксбери уже давно знали, что фанатический вождь шуанов и бретонских повстанцев, Жорж Кадудаль, бывает в Лондоне, где сносится с Карлом Артуа, братом претендента на королевский престол Людовика, графа Прованского, и что вообще французские эмигранты что-то затевают. Вскоре для английского правительства не было в общих чертах тайной, что́ именно затевают эти приютившиеся в Лондоне роялисты. Убедившись в полном поражении вандейского мятежа и в невозможности низвергнуть Бонапарта открытым восстанием, они решили его убить, т. е. повторить ту попытку, которая случайно им не удалась в 1800 г. при взрыве адской машины.

Неожиданные перспективы открылись перед Вильямом Пит-

том. Английское правительство хотело повести это дело очень деликатно. Самое бы лучшее, если б можно было устроить, как в 1801 г. с Павлом Петровичем, собиравшимся в Индию: т. е. по мере сил, исподтишка помогая делу, иметь затем формальную возможность корректно выразить соответствующее соболезнование, как в свое время была выражена скорбь по поводу «апоплексического удара», постигшего русского царя в его спальне, когда русский посол Воронцов официально известил англичан об этом печальном медицинском случае. Но организовать теперь, в 1804 г., новый апоплексический удар в Тюильри было труднее и сложнее, чем тогда, в 1801 г., в Михайловском замке в Петербурге. При дворе Наполеона не было ни раздраженного гвардейского офицерства, ни графа Палена, ни Беннигсена, ни Платона Зубова, одного из непосредственных авторов «апоплексического удара». Да и разговаривать на этот раз пришлось бы не с изящной светской дамой Ольгой Александровной Жеребцовой, сестрой Платона Зубова, через которую тогда в Петербурге английский посол Уитворт проявлял свои попечения о здоровье Павла I, а необходимо было объясняться со взлохмаченным бретонским крестьянином, который не понимал ни тонких намеков, ни приема умолчаний и не мог взять в толк, что допускается лишь «похищение» первого консула. Словом, Кадудаль не очень понимал, как это можно «похитить» главу государства в его столице. Он вообще был чужд всех этих изящных разговорных тонкостей и не умел своими громадными ножищами в высоких охотничьих сапогах лавировать достаточно ловко по вылощенному паркету дипломатических лондонских кабинетов и приемных. В этих переговорах выражение «похитить Бонапарта» играло ту же деликатную роль, как фраза «предложить императору Павлу отречься» в совещаниях графа Палена с Александром накануне 12 марта 1801 г. «От слова не станется»,— Вильям Питт младший, не зная русского языка, всю свою жизнь руководствовался этой наиболее дипломатической из всех возможных русских поговорок.

Заговор был обдуман и созрел в Лондоне. Жорж Кадудаль должен был устранить первого консула, т. е. внезапно напасть на него в сопровождении нескольких вооруженных людей, когда он будет кататься верхом один около своего загородного дворца в Мальмезоне, увезти его и убить.

Жорж Кадудаль был фанатик в самом полном значении этого слова. Он десятки раз рисковал своей жизнью в Вандее, бывал в самых невероятных переделках и теперь без колебаний и без трепета шел убивать Бонапарта, в котором видел победоносное выражение ненавистной ему революции, узурпатора, мешающего законному королю, Людовику Бурбону, сесть на престол.

В одну темную августовскую ночь 1803 г. Жорж Кадудаль и его товарищи были высажены английским кораблем на берегу Нормандии и тотчас же направились в Париж. Были люди, были в изобилии деньги, были связи в столице, тайные адреса и явки, безопасные убежища. Но нужно было войти в сношения с тем человеком, который непосредственно, в первый момент, должен был после Бонапарта захватить власть в свои руки и организовать приглашение Бурбонов на прародительский престол. Такого человека роялисты наметили в лице генерала Моро, а посредником в сношениях между Моро и Жоржем Кадудалем стал другой генерал — Пишегрю, который был сослан после 18 фрюктидора в Гвиану и сумел бежать оттуда, а теперь, в 1803 г., проживал нелегально в Париже. Пишегрю, уличенному изменнику, беглому ссыльному, терять было нечего. Но генерал Моро был человеком совсем другого типа и другого положения. Моро был одним из талантливейших генералов французской армии, честолюбец, но честолюбец нерешительный. Он ненавидел Бонапарта уже давно и именно за 18 брюмера, когда Бонапарт решился на то, на что сам он не решился. Он был с тех пор в молчаливой оппозиции. Некоторые якобинцы считали, что он — убежденный республиканец, знавшие его лично роялисты убеждены были, что он из одной ненависти к первому консулу согласится им помочь.

Ненависть к Бонапарту была господствующей страстью Моро, но ничто не давало права предполагать, что он хотел посадить на престол Бурбонов. Так или иначе, уже то, что он узнал о заговоре и не донес, компрометировало его. Пишегрю, бывший в постоянных сношениях с агентами английского правительства, уверил и англичан и роялистов, что Моро согласен содействовать. Но Моро отказался говорить с Кадудалем, а самому Пишегрю определенно заявил, что согласен действовать против Бонапарта, но не желает служить Бурбонам. Пока шли эти переговоры и совещания, наполеоновская полиция выслеживала и доносила ежедневно первому консулу о том, что она успевала открыть.

15 февраля 1804 г. генерал Моро был арестован у себя на квартире, а спустя восемь дней ночью был арестован и Пишегрю, выданный полиции за 300 тысяч франков лучшим его другом, хозяином конспиративной квартиры. Допросы следовали за допросами, но Пишегрю отказывался что-либо сообщить. К Моро приходили от имени Бонапарта, обещая прощение и свободу, если он признается, что виделся с Кадудалем. Моро отказался. Через 40 дней после своего ареста Пишегрю был найден в своей камере удавленным собственным галстуком. С тех пор слухи о том, что это было не самоубийство, а убийство, совершенное по приказу высшей власти, не прекраща-

лись. Наполеон впоследствии презрительно опровергал их, говоря: «У меня был суд, который осудил бы Пишегрю, и взвод солдат, который расстрелял бы его. Я никогда не делаю бесполезных вещей». Но эти слухи находили почву особенно потому, что за несколько дней до таинственной смерти Пишегрю произошло потрясшее высшие круги Франции и Европы совершенно неожиданное событие: расстрел члена династии Бурбонов, герцога Энгиенского.

С самого ареста Моро и Пишегрю и после ряда других арестов, связанных с заговором, Наполеон был в состоянии почти постоянной ярости. Рука англичан была для него очевидна; не менее ясна была и руководящая роль Бурбонов. Он уже знал, что англичане перевезли и высадили еще в конце лета 1803 г. Жоржа Кадудаля во Франции, что он приехал с английскими деньгами и с инструкциями Карла Артуа, что он в Париже и каждый день может произвести покушение один или с целой группой товарищей. В гневе Наполеон сказал однажды, что напрасно Бурбоны думают, что он не может им лично воздать по заслугам за эти попытки его убить. Этот возглас услышал Талейран и, чтобы выслужиться и вместе с тем чтобы безопасно для себя лично отомстить ненавидевшим его роялистам, сказал: «Бурбоны, очевидно, думают, что ваша кровь не так драгоценна, как их собственная». Это привело Наполеона в полное бешенство. Тут-то и было впервые произнесено имя герцога Энгиенского. Взбешенный Наполеон наскоро собрал совет из нескольких лиц, и этот совет (в котором были Фуше и Талейран) решил арестовать герцога Энгиенского. Было два затруднения: во-первых, герцог жил не во Франции, а в Бадене, во-вторых, он решительно никак не был связан с открывшимся заговором. Но первое препятствие для Наполеона существенным не было: он распоряжался уже тогда в западной и южной Германии, как у себя дома. А второе препятствие тоже значения не имело, так как он уже наперед решил судить герцога военным судом, который за доказательствами гнаться особенно не будет. Приказ был послан немедленно.

Герцог Энгиенский жил в г. Эттенгейме, в Бадене, не подозревая о страшной грозе, собравшейся над его головой. В ночь с 14 на 15 марта 1804 г. отряд французской конной жандармерии вторгся на территорию Бадена, вошел в г. Эттенгейм, окружил дом, арестовал герцога Энгиенского и увез его немедленно во Францию. Баденские министры были довольны, по-видимому, уже тем, что и их самих не увезли вместе с герцогом, и никто из баденских властей не подавал признаков жизни, пока происходила вся эта операция. 20 марта герцог уже был привезен в Париж и заключен в Венсенский замок. Вечером 20 марта собрался в Венсенском замке военный суд. Герцога Энгиен-

ского обвинили в том, что он получал деньги от Англии и воевал против Франции. В три часа ночи без четверти он был приговорен к смертной казни. Он написал письмо Наполеону и просил передать это письмо по адресу. Председатель военного суда Юлен (один из героев взятия Бастилии) хотел от имени суда написать Наполеону ходатайство о смягчении приговора, но генерал Савари, специально посланный из Тюильрийского дворца, чтобы следить за процессом, вырвал у Юлена перо из рук и заявил: «Ваше дело кончено, остальное уже мое дело». В три часа ночи герцог Энгиенский был выведен в Венсенский ров и здесь расстрелян.

Когда Наполеон прочел последнее письмо к нему герцога Энгиенского, написанное перед казнью, он сказал, что если бы прочел его раньше, то помиловал бы осужденного. Он был очень мрачен и задумчив весь день, и с ним не смели заговаривать. Он потом утверждал, что был совершенно прав, казня герцога, что этого требовали государственные интересы, что Бурбонам нужно было дать острастку.

За несколько дней до казни герцога был, наконец, арестован и Кадудаль. При аресте на улице он оказал отчаянное сопротивление,— убил и изувечил несколько сыщиков. Он и все его товарищи были гильотинированы. Генерал Моро был изгнан из Франции.

3

Еще в марте, после расстрела герцога Энгиенского и когда еще только готовился процесс Кадудаля, в Париже и затем в провинции возник и стал держаться слух, что именно герцога Энгиенского Кадудаль и его товарищи имели в виду пригласить на престол после того, как будет покончено с первым консулом. Это было неверно, но этот слух сослужил большую службу Бонапарту. Прямо, без обиняков, учреждения, изображавшие собой представительство народа и наполненные клевретами и исполнителями воли первого консула,— Трибунат, Законодательный корпус, Сенат,— заговорили о необходимости раз навсегда покончить с таким положением, когда от жизни одного человека зависит спокойствие и благо всего народа, когда все враги Франции могут строить свои надежды на покушениях. Вывод был ясен: пожизненное консульство следует превратить в наследственную монархию.

Таким образом, во Франции после Меровингов, царствовавших с V по VIII в., после Каролингов, царствовавших с VIII по X в., после Капетингов (с их двумя нисходящими линиями — Валуа и Бурбонов), царствовавших с конца X в. до 1792 г., когда Людовик XVI («Людовик Капет», как его называли при

революции) был низвергнут с престола,— после этих трех королевских династий должна была воцариться «четвертая династия», династия Бонапартов. Республика, существовавшая с 10 августа 1792 г., должна была снова обратиться в монархию.

Эта новая династия Бонапартов не должна была, однако, носить королевский титул подобно предыдущим династиям. Новый властитель пожелал принять титул императора, полученный впервые Карлом Великим после коронации его в 800 г. Теперь, через тысячу лет, в 1804 г., Наполеон открыто заявлял, что подобно Карлу Великому он будет *императором Запада* и что он принимает наследство не прежних французских королей, а наследство императора Карла Великого.

Но ведь и сама империя Карла Великого была лишь попыткой воскрешения и продолжения другой империи, гораздо большей, Римской. Наполеон хотел считать себя наследником и Римской империи, объединителем стран западной цивилизации. Впоследствии ему удалось поставить под прямую свою власть или под косвенную вассальную зависимость гораздо больший конгломерат земель, чем владел когда-либо Карл Великий; а перед походом на Россию в 1812 г. колоссальная держава Наполеона, если не считать североафриканских и малоазиатских владений Рима, но говорить лишь о Европе, была размерами больше Римской империи и несравненно богаче и населеннее ее. Но в первый момент, когда Европа узнала о плане Наполеона воскресить империю Карла Великого, это было многими сочтено за безумную гордыню и за дерзкий вызов зарвавшегося завоевателя всему цивилизованному миру.

Послы всех держав с напряженным вниманием следили за тем внезапным, крутым, ускоренным движением к монархии, которое стало во Франции так заметно после раскрытия заговора Жоржа Кадудаля и казни герцога Энгиенского. Точно установленный чисто роялистский замысел заговора Жоржа Кадудаля поразил умы. И по мере того как публиковались сообщения о следствии и процессе, среди крупной буржуазии, среди людей, в свое время раскупивших конфискованные у церкви и у эмигрантов земли, все больше крепло стремление упрочить власть и режим, созданный Наполеоном, твердо оградить себя и свою собственность от покушений старых хозяев-аристократов. 18 апреля 1804 г. сенат вынес постановление, дающее первому консулу, Наполеону Бонапарту, титул наследственного императора французов. Формальность плебисцита была проделана с еще большей легкостью, чем в 1799 г., после брюмера.

Смущение все же было очень сильное, хотя уже в 1802 г. этого события все ждали, а крупная буржуазия, которая целиком поддерживала политическое поведение Наполеона, считала возрождение монархии совершенно неизбежным. Конечно,

убежденные республиканцы не могли примириться с новым положением. Дни революции, дни мечтаний о свободе и равенстве, пламенные проклятия коронованным деспотам вставали в памяти. Некоторые думали, что Наполеон уменьшил свою славу, пожелав прибавить к своему гремевшему по всему свету имени еще какой-то титул. «Быть Бонапартом и после этого сделаться императором! Какое понижение!» — восклицал переживший этот момент известный впоследствии публицист и памфлетист Поль Луи Курье. Бетховен, восторгавшийся Наполеоном, посвятивший ему «Героическую симфонию», взял назад это посвящение, узнав о превращении гражданина Бонапарта в императора. Когда раззолоченная толпа сановников, генералов, пышно разодетых придворных дам впервые приветствовала в залах Тюильрийского дворца нового императора, то лишь несколько посвященных в тайну людей знали тогда, что новый владыка не считает еще законченной церемонию своего воцарения и что он не спроста стал поминать Карла Великого. Наполеон пожелал, чтобы римский папа *лично* участвовал в его предстоящей коронации, как это было сделано за тысячу лет до него, в 800 г., с Карлом Великим. Но Наполеон решил внести при этом некоторую, довольно существенную поправку: Карл Великий сам поехал для своего коронования к папе в Рим, а Наполеон пожелал, чтобы *римский папа* приехал к нему в Париж.

Пий VII узнал о желании императора Наполеона со страхом и раздражением. Приближенные старались утешить его историческими примерами. Между прочим, поминали и папу Льва Святого, который однажды — дело было в середине V в.,— когда пришлось очень туго, поехал, скрепя сердце, даже навстречу Аттиле, вождю гуннов, который уж во всяком случае не мог очень превосходить своей благовоспитанностью, вежливостью и изящными манерами нового французского императора. Впрочем, об отказе и думать было нельзя. Рим находился под угрозой со стороны стоявших в северной и средней Италии наполеоновских войск.

После первых же кратких размышлений папа решил исполнить требование Наполеона, но зато поторговаться и выпросить себе хоть несколько кусочков из отхваченных в свое время Наполеоном папских владений на севере Церковной области в Италии. Но папе Пию VII, кардиналу Консальви и всему конклаву кардиналов было не под силу перехитрить первоклассного дипломата, каковым всегда был Наполеон. Папа много лукавил, горько жаловался, снова лукавил, снова жаловался,— ничего не выторговал и отправился в Париж в надежде, которую в нем охотно поддерживал Наполеон, что когда он приедет в Париж, то здесь, может быть, что-нибудь и получит. Он приехал в Париж — и ровно ничего не получил. Любопытна двой-

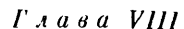
ственность в поведении Наполеона до и во время коронации. Папа был ему нужен, потому что тогда сотни миллионов людей на земном шаре, и в частности большинство французов, религиозно в папу верили. Значит, папа должен был быть необходимой обстановочной деталью коронации, особенно если речь шла о воскрешении прав и претензий Карла Великого. Но, с другой стороны, Наполеон смотрел сам на Пия VII как на шамана, как на колдуна, да еще такого, который сознательно эксплуатирует людскую глупость, действуя разными заклинаниями и манипуляциями в церкви и вне церкви. Выписав папу, он пообещал кардиналам, что поедет встречать его. Он и поехал, но в охотничьем костюме, окруженный охотниками, псарями и собаками, и встретил Пия VII в лесу Фонтенебло, недалеко от Парижа и в нескольких шагах от загородного дворца, где тогда проживал. Папский кортеж остановился, и папу пригласили выйти из кареты, перейти через дорогу и пересесть в коляску императора, который даже не двинулся с места. В том же духе обходился он с папой во все время пребывания его в Париже.

2 декабря 1804 г. в соборе Нотр-Дам в Париже произошло торжественное венчание и помазание на царство Наполеона. Когда нескончаемый ряд золотых придворных карет со всем двором, генералитетом, сановниками, папой и кардиналами подвигался от дворца к собору Нотр-Дам, несметные толпы народа глядели на этот блестящий кортеж. В этот день, впрочем, повторялась кое-где и фраза, которую историческая легенда приписывает разным лицам и которая будто бы была сказана одним старым республиканцем из военных в ответ на вопрос Наполеона, как ему нравится торжество: «Очень хорошо, ваше величество, жаль только, что *недостает сегодня* 300 тысяч людей, которые сложили свои головы, чтобы сделать подобные церемонии невозможными». Эти легендарные слова относят иногда и к моменту подписания конкордата, но они являются и для того и для другого случая весьма характерными.

В центральный акт коронации Наполеон внес совершенно неожиданно для папы и вопреки предварительному постановлению церемониала характернейшее изменение: когда в торжественный момент Пий VII стал поднимать большую императорскую корону, чтобы надеть ее на голову императора, подобно тому как за десять столетий до того предшественник Пия VII на престоле св. Петра надел эту корону на голову Карла Великого,— Наполеон внезапно выхватил корону из рук папы и сам надел ее себе на голову, после чего его жена, Жозефина, стала перед императором на колени, и он возложил на ее голову корону поменьше. Этот жест возложения на себя короны имел символический смысл: Наполеон не хотел, чтобы папскому «благословению» было придано слишком уж решаю-

щее значение в этом обряде. Он не пожелал принимать корону из чьих бы то ни было рук, кроме своих собственных, и меньше всего из рук главы той церковной организации, с влиянием которой он нашел целесообразным считаться, но которую не любил и не уважал.

Несколько дней длились празднества во дворце, в столице, в провинции, горели нескончаемые иллюминации, гремели пушечные салюты, гудели колокола, не смолкала музыка. В эти дни бесконечных празднеств Наполеон уже знал, какая новая опасность вырастает перед империей. Еще до коронации он получил ряд сведений, не позволявших ему сомневаться, что Вильям Питт после провала заговора Кадудаля обратился с удвоенной энергией к дипломатическому созданию новой, уже третьей по счету от начала революционных войн, коалиции против Франции и что эта коалиция фактически уже существует.



Глава VIII

РАЗГРОМ ТРЕТЬЕЙ КОАЛИЦИИ
1805—1806 гг.

I

Первый грандиозный союз европейских держав против Франции, начавший войну против нее еще до Наполеона, в 1792 г., был побежден и распался окончательно в 1797 г., когда австрийские уполномоченные подписали с генералом Бонапартом мир в Кампо-Формио. Вторая коалиция, воевавшая против Франции, когда Бонапарт был в Египте, была побеждена возвратившимся Бонапартом и распалась после того, как из нее вышел Павел I, а Австрия принуждена была подписать Люневильский мир в 1801 г. Теперь, в 1805 г., перед Наполеоном в третий раз стоял во всеоружии союз первоклассных европейских держав. Предстояла новая грандиозная проба сил.

Наполеон думал в 1804—1805 гг. об «империалистской войне» в пределах Англии, о «взятии Лондона и Английского банка», но привелось ему вести эту войну в 1805 г., хотя и с тем же противником, и закончить ее не близ Лондона, а близ Вены.

Вильям Питт, не щадя и не считая миллионов золотых фунтов стерлингов, принялся готовить новую коалицию. В самоуверенной Англии начиналась истинная паника. Подготовленный Наполеоном Булонский лагерь вырос в конце 1804 г. и в первой половине 1805 г. в грозную военную силу. Первоклассная громадная, превосходно экипированная армия стояла в Булони и ждала тумана на Ламанше и сигнала к посадке на суда. В Англии пытались организовать нечто вроде всенародного ополчения. Итак, все упования Англия вынуждена была возложить на коалицию.

Австрия с сочувствием отнеслась к идее новой войны. Потери ее по Люневильскому миру были так огромны, а главное, Бонапарт так самовластно после этого распоряжался западными и южными маленькими германскими государствами, что новая война для Австрийской империи была единственной надеж-

дой избежать превращения ее во второстепенную державу. А тут еще представлялся случай вести войну на английские деньги. Почти одновременно с развитием этих тайных переговоров с Австрией Вильям Питт повел такие же переговоры с Россией.

Наполеон знал, что Англия сильно рассчитывает на такую войну, когда за нее на континенте воевали бы Россия и Австрия. Он знал также, что именно Австрия, раздраженная и испуганная теми захватами в западной Германии, которые совершал Наполеон уже после Люневильского мира, очень внимательно прислушивается к внушениям британского кабинета. И уже в 1803 г. у первого консула прорывались слова, показывающие, что он не считает победу над Англией обеспеченной, пока не сокрушены ее возможные континентальные союзники, или «наймиты» (les salariés), как он их презрительно именовал. «Если Австрия вмешается в дело, то это будет означать, что именно Англия принудит нас завоевать Европу»,— заявил он Талейрану.

Русский император Александр Павлович прервал по вступлении на престол всякие разговоры о союзе с Наполеоном, начатые его отцом. Больше чем кто-либо он знал об организации «апоплексического удара», постигшего его отца, тем более что в подготовке этого происшествия и сам он играл существенную роль.

Молодой царь вместе с тем знал, до какой степени дворянство, сбывающее в Англию сельскохозяйственное сырье и хлеб, заинтересовано в дружбе с Англией. Ко всем этим соображениям прибавилось еще одно, очень веское. Уже весной 1804 г. можно было сильно надеяться, что в новой коалиции примут участие Англия, Австрия, Неаполитанское королевство (так думали тогда), Пруссия, которая тоже была жестоко обеспокоена действиями Наполеона на Рейне. Не ясно ли, что лучшего случая для вступления России в войну против французского диктатора нельзя было ожидать? Не хватит у Наполеона тогда средств и сил справиться с этой тьмой врагов.

Когда произошел расстрел герцога Энгиенского, во всей монархической Европе, и без того готовившейся к выступлению, началась бурная и успешная агитация против «корсиканского чудовища», пролившего кровь принца Бурбонского дома. Решено было вовсю использовать этот кстати подвернувшийся инцидент. Сначала все советовали Баденскому великому герцогу протестовать против вопиющего нарушения неприкосновенности баденской территории при аресте герцога Энгиенского, но великий герцог Баденский, люто перепуганный, сидел смирно и даже поспешил окольным путем справиться у Наполеона, вполне ли он доволен поведением баденских властей при этом

событии, исправно ли они исполняли все, чего от них требовали французские жандармы. Другие монархи тоже ограничились негодованием вполголоса в узком семейном кругу. Вообще храбрость их выступлений по этому поводу неминуемо должна была оказаться прямо пропорциональной расстоянию, отделявшему границы их государств от Наполеона. Вот почему наибольшую решительность должен был проявить именно русский император. Александр протестовал формально, особой нотой, против нарушения неприкосновенности баденской территории с точки зрения международного права.

Наполеон приказал своему министру иностранных дел дать тот знаменитый ответ, который никогда не был забыт и не был прощен Александром, потому что более жестоко его никто никогда не оскорбил за всю его жизнь. Смысл ответа заключался в следующем: герцог Энгиенский был арестован за участие в заговоре на жизнь Наполеона; если бы, например, император Александр узнал, что убийцы его покойного отца, императора Павла, находятся хоть и на чужой территории, но что (физически) возможно их арестовать, и если бы Александр в самом деле арестовал их, то он, Наполеон, не стал бы протестовать против этого нарушения чужой территории Александром. Более ясно назвать публично и официально Александра Павловича отцеубийцей было невозможно. Вся Европа знала, что Павла заговорщики задушили после сговора с Александром и что юный царь не посмел после своего воцарения и пальцем тронуть их: ни Палена, ни Беннигсена, ни Зубова, ни Талызина и вообще никого из них, хотя они преспокойно сидели не на «чужой территории», а в Петербурге и бывали в Зимнем дворце.

Личная ненависть к жестокому оскорбителю, вспыхнувшая в Александре, находила живейший отклик в общедворянских и общепридворных настроениях, о которых уже шла речь.

Пытаясь расширить классовую базу своих воинственных предприятий и привлечь симпатии либеральных слоев общества, Александр, готовясь войти в третью коалицию, начал выражать громогласно и в письмах свое разочарование по поводу стремления Наполеона к единодержавию и по поводу гибели Французской республики. Это было плохо прикрытое лицемерие: Александр никогда и ни в какой степени не интересовался судьбой Французской республики, но он тонко и правильно уловил, что превращение Франции в самодержавную империю есть тоже обстоятельство, подрывающее моральный престиж Наполеона и во Франции и в Европе среди некоторой части общества, среди людей, для которых революция сохранила свое былое обаяние. Либеральное порицание обладателя и деспотического хозяина крепостной империи по адресу Наполеона за то, что Наполеон — деспот, это один из курьезов времени, пред-

шествовавшего окончательной подготовке к военному выступлению третьей коалиции против новой французской империи.

Вильям Питт без колебаний согласился финансировать Россию, а еще раньше дал понять, что будет финансировать и Австрию, и Неаполь, и Пруссию, и всех, кто захочет поднять оружие против Наполеона.

Что в это время делал французский император? Он знал, конечно, о дипломатической игре своих врагов, но так как коалиция сколачивалась несмотря на усилия Питта, медленно и так как Наполеону до самой осени 1805 г. казалось, что Австрия еще не готова к войне, то оставалось, с одной стороны, продолжать готовиться к десанту в Англии, а с другой — действовать так, как если бы кроме него в Европе никого не было. Захотел присоединить Пьемонт — и присоединил; захотел присоединить Геную и Лукку — и присоединил; захотел объявить себя королем Италии и короноваться в Милане — и короновался (28 мая 1805 г.); захотел отдать целый ряд мелких германских земель своим германским «союзникам», т. е. вассалам (вроде Баварии),— и отдал.

Германские князья, владельцы западноевропейских земель, после Люневильского мира 1801 г. и полного отстранения Австрии чаяли себе спасения только в Наполеоне. Они гурьбой теснились в Париже во всех дворцовых и министерских передних, уверяя в своей преданности, выпрашивая кусочки соседних территорий, донося друг на друга, подкапываясь друг под друга, шныряя около Наполеона, осыпая просьбами и взятками Талейрана, доходя до низкопоклонства. С некоторым удивлением сначала (а потом уже перестали удивляться) царедворцы Наполеона наблюдали при Тюильрийском дворе одного из этих маленьких немецких монархов, как он, стоя за креслом Наполеона, игравшего в карты, время от времени изгибался и налету целовал руку императора, не обращавшего на него при этом никакого внимания.

2

Наступила осень 1805 г. Наполеон заявлял своим адмиралам, что ему нужно даже не три, а два дня, даже всего *один* день спокойствия на Ламанше, безопасности от бурь и от британского флота, чтобы высадиться в Англии. Приближался сезон туманов. Наполеон давно уже приказал адмиралу Вильневу идти из Средиземного моря в Ламанш и присоединиться к ламаншской эскадре, чтобы совокупными силами обеспечить переправу через пролив и десант в Англии. И вдруг чуть не в один день пришли к императору, находившемуся среди своих войск в Булони, два огромной важности известия: первое —

что адмирал Вильнев не может в скором времени исполнить его приказ, и второе — что русские войска уже двинулись на соединение с австрийцами и австрийцы готовы к наступательной войне против него и его германских союзников и что враждебные войска двигаются на запад.

Разом, без колебаний, Наполеон принимает новое решение. Увидев воочию, что Вильяму Питту все же удалось спасти Англию и что о высадке нечего и думать, он немедленно позвал своего генерального интенданта Дарю и передал ему для вручения корпусным командирам обдуманные заблаговременно диспозиции новой войны: не против Англии, а против Австрии и России. Это было 27 августа.

Конец Булонскому лагерю, всем двухлетним работам над его организацией, всем мечтам о покорении упорного, недосягаемого за своими морями врага! «Если я через 15 дней не буду в Лондоне, то я должен быть в середине ноября в Вене»,— сказал император еще перед самым получением известий, круто изменивших его ближайшие намерения. Лондон спасся, но Вена должна была заплатить за это. Несколько часов подряд он диктовал диспозиции новой кампании. Во все стороны полетели приказы о новом рекрутском наборе для пополнения резервов, о снабжении армии во время ее движения по Франции и Баварии навстречу неприятелю. Помчались курьеры в Берлин, в Мадрид, в Дрезден, в Амстердам с новыми дипломатическими инструкциями, с угрозами и приказами, с предложениями и приманками. В Париже царили смущение и некоторая тревога. Наполеону докладывали, что купцы, биржа, промышленники потихоньку жалуются на его страсть к аннексиям и на его не считающуюся ни с чем внешнюю политику, что именно ему самому приписывают вину в новой грозной войне всей Европы против Франции. Ропот был тихий, осторожный, но он уже был.

Несмотря на это, через несколько дней, пользуясь стройной военной организацией, созданной им, Наполеон поднял громадный Булонский лагерь построил в походный порядок армию, там собранную, усилил ее новыми формированиями и двинул от берегов Ламанша через всю Францию в союзную Баварию.

Наполеон шел необычайно быстрыми переходами, совершая обход с севера расположения австрийских войск на Дунае, левым флангом которых была крепость Ульм.

Если третья коалиция, принципиально решенная ее главными участниками уже в середине 1804 г., выступила на поле битвы почти через полтора года, осенью 1805 г., то одной из главных причин было желание на этот раз подготовиться особенно хорошо, обеспечить за собой максимальную возможность победы. Австрийская армия была снабжена и организована несравненно лучше, чем когда-либо раньше. Армия Мака предназна-

чалась для первого столкновения с наполеоновским авангардом и на нее возлагались особенно большие надежды. От этого первого столкновения зависело многое. Ожидавшийся в Австрии, Англии, России, во всей Европе успех Мака основывался не только на подготовленности и прекрасном состоянии его дивизий, но и на предположении вождей коалиции, что Наполеон не снимет сразу, целиком свой Булонский лагерь и что не все свои силы без остатка он двинет от Булони на юго-восток, а если и двинет, то не будет в состоянии так быстро их привести и сосредоточить где нужно.

Мак, вступив в Баварию, твердо знал, что и Наполеон идет прямо в Баварию. Нейтралитет второстепенных держав ни до, ни во время, ни после Наполеона никогда и не существовал иначе, как на бумаге. Курфюрст Баварский колебался и был в непрерывном страхе. Ему грозила, требуя союза, могущественная коалиция Австрии, России с Англией во главе, ему грозил, тоже требуя союза, Наполеон. Курфюрст сначала вступил в тайный союз с коалицией, обещав австрийцам всемерную помощь в начинавшейся войне, а спустя несколько дней, зрело поразмыслив, забрал свою семью и министров и убежал в Вюрцбург, город, куда, по приказу Наполеона, направлялась одна из французских армий под начальством Бернадотта, и всецело перешел на сторону Наполеона.

Ту же эволюцию столь же быстро проделали курфюрст Вюртембергский и великий герцог Баденский. «Стиснув зубы, они заставили временно замолчать свое немецкое сердце», — скорбно выражаются об этом инциденте позднейшие немецкие учебники для средней школы. В награду за это мужественное сопротивление требованиям своего немецкого сердца курфюрсты Баварский и Вюртембергский были произведены Наполеоном в короли, каковыми титулами они, а затем их потомки и пользовались вплоть до ноябрьской революции 1918 г., а великий герцог Баденский так же, как и оба эти новых короля, получил награду территориальными пожалованиями за счет Австрии. Просили они еще немножко и денег, но Наполеон отказал.

Путь в Баварию был открыт. Маршалам приказано было ускорить движение, и с разных сторон они предельно быстрыми переходами спешили к Дунаю. Маршалы Бернадотт, Даву, Сульт, Ланн, Ней, Мармон, Ожеро с корпусами, находившимися под их начальством, и конница Мюрата, получив точные приказания императора, исполняли их, как выразился один тогдашний прусский военный наблюдатель, с правильностью часового механизма. Меньше чем в три недели, в неполных 20 дней, громадная по тому времени армия была переброшена почти без всяких потерь больными и отставшими от Ламанша на

Дунай. Наполеон среди определений, которые он давал военному искусству, сказал однажды, что оно заключается в умении устраивать так, чтоб армия «жила раздельно, а сражалась вся вместе». Маршалы шли разными дорогами, предуказанными императором, легко обеспечивая себе пропитание и не загромождая дорог, а когда настал нужный момент, они все оказались вокруг Ульма, где, как в мешке, и задохся Мак с лучшей частью австрийской армии.

24 сентября Наполеон выехал из Парижа, 26-го он прибыл в Страсбург, и тотчас же началась переправа войск через Рейн. Начиная эту войну, Наполеон тут же, на походе в Страсбурге, дал армии окончательную организацию. Здесь уместно сказать о ней несколько слов.

Войско, шедшее на Австрию, было названо официально *великой армией* в отличие от других частей, стоявших гарнизонами и оккупационными корпусами в отдаленных от театра войны местах. Великая армия была разделена на 7 корпусов, во главе которых были поставлены наиболее выдающиеся генералы, возведенные после коронации Наполеона в чин маршалов.

В общей сложности в 7 корпусах было 186 тысяч человек. В каждом из этих корпусов была и пехота, и кавалерия, и артиллерия, и все те учреждения, которые бывают при армии в ее целом. Мысль Наполеона заключалась в том, чтобы каждый из 7 корпусов сам по себе был как бы самостятельной армией. Главные артиллерийские и кавалерийские массы не зависели от кого-либо из маршалов, не входили ни в один из этих 7 корпусов, а были организованы совсем особыми частями великой армии и были поставлены под прямое и непосредственное командование самого императора: например, маршал Мюрат, которого Наполеон назначил начальником всей кавалерии, состоявшей из 44 тысяч человек, являлся только его помощником, передаточной и исполнительной инстанцией его повелений. Наполеон имел возможность в нужный момент по своему усмотрению бросить всю свою артиллерию и всю кавалерию на помощь одному из 7 корпусов.

Отдельно и от 7 корпусов, и от артиллерии и кавалерии существовала императорская гвардия. Это были отборные 7 тысяч человек (потом их стало больше, я говорю лишь о 1805 г.); гвардия состояла из полков пеших гренадер и пеших егерей, из конных гренадер и конных егерей, из двух эскадронов конных жандармов, из одного эскадрона мамелюков, набранных в Египте, и, наконец, из «итальянского батальона», так как Наполеон был не только императором французов, но и королем завоеванной им северной и средней Италии. Правда, в этом «итальянском батальоне» гвардии было больше французов, чем итальянцев. В императорскую гвардию брали лишь особо отличив-

шихся солдат. Они получали жалованье, пользовались хорошей пищей, жили в непосредственной близости к императорской главной квартире, носили особенно нарядные мундиры и высокие медвежьи шапки. Наполеон очень многих из них знал в лицо и знал их жизнь и службу.

Наполеон внимательно приглядывался к командному составу и без колебаний давал генеральский «диплом» людям, не достигшим 40-летнего возраста. А были у него маршалы, ставшие таковыми в 34 года. Молодость являлась в наполеоновском военном чинопроизводстве признаком положительным, а не отрицательным, как во всех без исключения тогдашних армиях.

Своеобразна была дисциплина, введенная Наполеоном. Телесных наказаний в армии он не допускал. Военный суд приговаривал в случае больших проступков к смертной казни, к каторге, в более легких случаях — к военной тюрьме.

Но был один особо авторитетный институт — товарищеский суд, нигде не обозначенный в законах, но при молчаливом согласии Наполеона введенный в великой армии. Вот что по этому поводу говорят очевидцы. Произошло сражение. В роте заметили, что двух солдат никто во время боя не видал. Они явились к концу и объяснили свое отсутствие. Рота, убежденная, что виновные просто спрятались со страха, сейчас же выбирает трех судей (из солдат). Они выслушивают обвиняемых, приговаривают их к смертной казни и тут же на месте расстреливают. Начальство все это знает, но не вмешивается. На том дело и кончается. Ни один офицер не должен был не только участвовать в суде, но даже и знать (официально, по крайней мере) о происшедшем расстреле.

Самодержец, объявленный наследственным императором, помазанник папы, а с 1810 г. родственник австрийского царствующего дома, Наполеон сумел внушить своим солдатам убеждение, что и он и они по-прежнему защитники своей родины от Бурбонов, от интервентов, что он по-прежнему только первый солдат Франции. На самом деле в его глазах солдаты были «пушечным мясом», это выражение он довольно часто повторял, но, слепо веря и повинуясь ему, солдаты давали ему вместе с тем фамильярные, ласковые, любовные клички. Грозный Цезарь, перед которым трепетала Европа и пресмыкались цари, для них был солдат; в разговоре меж собой они называли его «маленьким капралом», «стригунком» (le petit tondu).

Они верили также, что слова Наполеона: «в ранце каждого солдата лежит жезл маршала» — не пустой звук; они охотно вспоминали, в каком чине начали свою службу и Мюрат, и Бернадотт, и Лефевр, и многие другие звезды императорского генералитета.

В своих солдатах и офицерах Наполеон был вполне уверен,

в генералах и маршалах — не во всех и не в полной мере. Что касается военной роли маршалов, то здесь дело обстояло так: Наполеон окружил себя целой свитой блестяще одаренных военных людей. Они были не похожи друг на друга во всем, кроме одной черты: они все обладали, хоть и в неодинаковой степени, быстротой соображения, пониманием условий обстановки, умением принимать быстрые решения, военным чутьем, указывавшим внезапно выход из безвыходного положения, упорством там, где оно нужно, а главное — Наполеон приучил их с полуслова понимать его мысль и развивать ее дальше уже самостоятельно. Стратегический талант Наполеона делал маршалов точнейшими исполнителями его воли и в то же время не убивал в них самостоятельности на поле сражения. И безграмотный рубака, добродушный Лефевр, и холодный, жестокий по натуре аристократ Даву, и лихой кавалерист Мюрат, и картограф-оператор Бертье — все они были недюжинными тактиками, обладавшими большой инициативой. Храбрецы Ней или Ланн в этом отношении ничуть не уступали хитрому, рассудительному Бернадотту или методическому Массена, или сухому, сдержанному Мармону. Конечно, личное бесстрашие считалось в их среде совершенно обязательным: они должны были показывать пример. В этом отношении у них выработалась совсем особая военная доблесть. Когда однажды восторгались геройской храбростью маршала Ланна, водившего столько раз свои гусарские полки в атаку, присутствовавший Ланн с досадой вскричал: «Гусар, который не убит в 30 лет,— не гусар, а дрянь!» Когда он это сказал, ему было 34 года, а спустя два года он пал, убитый ядром на поле сражения. Ланн был не просто удалым гусаром, а был способным полководцем. Таковы были помощники, которых выбрал себе и выдвинул в первые ряды Наполеон.

Почти все они были еще налицо в 1805 г., когда открылась война с третьей коалицией. Не было только Дезэ, убитого при Маренго, да не было и еще одного, которого Наполеон ставил едва ли не выше всех: изгнанный Моро жил в Америке. Во главе такой армии и располагая такими помощниками, стоял Наполеон, бывший тогда во всем блеске своих дарований.

Корпуса Сульта и Ланна и конница Мюрата перешли через Дунай и появились неожиданно для Мака на его тылах. Видя опасность, часть австрийцев успела проскользнуть на восток, но главная масса была отброшена Неем в крепость. Мак был сдавлен со всех сторон. Была еще возможность уйти, но Мака сбивали с толку подосланные Наполеоном искусные шпионы во главе со знаменитейшим из них Шульмейстером, уверявшие Мака, что нужно держаться, что Наполеон скоро снимет осаду, потому что в Париже вспыхнуло против него восстание. Когда

Мак выразил недоверие, шпион дал знать во французский лагерь, и там средствами походной типографии был напечатан специальный номер парижский газеты с сообщением о мнимой революции в Париже. Шпион доставил этот номер Маку, тот прочел и успокоился.

15 октября маршалы Ней и Ланн с боем взяли высоты, окружавшие Ульм. Положение Мака стало совсем отчаянным. Наполеон послал к нему парламентера с требованием сдачи на капитуляцию, предупреждая, что если он возьмет Ульм приступом, то никто не будет пощажен. 20 октября 1805 г. уцелевшая армия Мака со всеми военными запасами, артиллерией, знаменами и с нею крепость Ульм были сданы на милость победителя. Наполеон отпустил самого Мака, а сдавшуюся армию отправил во Францию на разные работы. Спустя некоторое время Наполеон получил известие, что Мюрату удалось перехватить и взять в плен еще 8 тысяч человек из тех, которым посчастливилось до сдачи крепости ускользнуть из Ульма.

В сущности после ужасающего ульмского позора война была уже проиграна третьей коалицией, но лишь немногие из австрийского и русского штаба это сразу поняли. Не задерживаясь в Ульме, Наполеон и его маршалы двинулись правым берегом Дуная прямо на Вену. Во время дальнейшего преследования французы взяли еще массу пленных, а считая с битвами до Ульма, они взяли около 29 тысяч человек. Если присоединить сюда же взятых в Ульме 32 тысячи человек, получается 61 тысяча одними только пленными; убитые, не взятые в плен тяжело раненые и пропавшие без вести тут не учтены.

«200 пушек, 90 знамен, все генералы — в нашей власти. Из этой армии спаслось лишь 15 тысяч человек»,— извещал Наполеон своих солдат о результатах этих первых операций войны в особом воззвании.

Движение французов к Вене продолжалось ускоренным темпом. Но армии Кутузова удалось все же на левом берегу Дуная, под Дюренштейном, напасть на корпус Мортье (11 ноября) и нанести ему серьезное поражение. 13 ноября, предшествуемый кавалерией Мюрата, окруженный своей гвардией, Наполеон въехал в Вену. Он поселился в императорском дворце в Шенбрунне, под Веной. Бежавший из Вены австрийский император Франц перед поспешным своим отъездом послал Наполеону предложение перемирия, но Наполеон не согласился.

Отныне все упования третьей коалиции были возложены на русские войска и на русского императора, а главные упования русского императора возлагались на привлечение в коалицию Пруссии. Тем и другим надеждам суждено было в самом скором времени разлететься прахом.

3

В октябре 1805 г., т. е. как раз в те дни, когда Мак, запершись в Ульме, готовился сдаться и сдался в плен со всей армией, император Александр I находился в Берлине и склонял короля прусского Фридриха-Вильгельма III объявить Наполеону войну. Фридрих-Вильгельм был в такой же тревоге и нерешимости, как и южногерманские курфюрсты, о которых шла речь выше. Он боялся и Александра и Наполеона. Сначала Александр вздумал даже угрожающе намекать на насильственный переход русских войск через прусскую территорию, но, когда король проявил неожиданную твердость и стал готовиться к сопротивлению, Александр начал действовать лаской. Тут, кстати, подоспело известие, что Наполеон приказал маршалу Бернадотту по пути в Австрию пройти через Аншпах, южное владение Пруссии. Нарушение нейтралитета было налицо, и король, оскорбленный самоуправством Наполеона, с одной стороны, а с другой — еще не учитывая успехов великой армии (дело было до сдачи Ульма), стал склоняться к вмешательству в войну на стороне третьей коалиции. Кончилось тайным договором между Фридрихом-Вильгельмом III и Александром, где предусматривалось предъявление со стороны Пруссии известных ультимативных требований Наполеону. После этого разыгралась нелепейшая сцена: Фридрих-Вильгельм, королева Луиза и Александр спустились в мавзолей и тут перед гробом Фридриха II поклялись в вечной взаимной дружбе. Затеяно это было в сентиментальных тонах того времени, нелепость же этой выходки заключалась в том, что в свое время Россия воевала именно с этим Фридрихом II семь лет, и то Фридрих бил русских, то русские жестоко били Фридриха, успели занять Берлин и чуть не довели короля до самоубийства. После этой курьезной инсценировки и демонстрации русско-немецкой вечной и пламенной взаимной любви Александр I выехал из Берлина и направился прямо на театр военных действий в Австрию.

В Англии и в Австрии ликование было полное. Если вся прусская армия пройдет через Рудные горы и явится на место действия,— Наполеон погиб. Так писали газеты, с восторгом рассказывая о трогательной русско-прусской клятве у гроба Фридриха Великого.

Наполеону требовалось во что бы то ни стало ускорить развязку, пока Пруссия еще не вступила в коалицию. Почти тотчас после взятия Вены французам удалось без боя захватить громадный мост, единственный почему-то не разрушенный австрийцами, соединявший Вену с левым берегом Дуная. О взятии этого моста ходило много анекдотических рассказов, один из которых (несколько неточный и приукрашенный легендой)

хорошо знаком русским читателям по второй части «Войны и мира». На самом деле было так: Мюрат, Ланн, Бертран и один саперный полковник (Дод), искусно спрятав батальон гренадер в кустах и зарослях, сами без прикрытия явились к предмостному укреплению, объявили растерявшимся австрийцам, которым велено было при первом появлении неприятеля взорвать мост, что уже заключено перемирие, прошли мост, вызвали генерала князя Ауэрсперга, повторили свою ложь о перемирии, и по данному сигналу, раньше чем Ауэрсперг успел ответить, французские гренадеры внезапно выскочили из кустов и бросились на австрийцев и на пушки, расставленные на мосту. В одну минуту французский батальон занял мост; австрийцы пытались оказать сопротивление, но оно было быстро сломлено.

Сейчас же, не теряя ни часу времени, Наполеон, которому ликующий Мюрат доложил об этом изумительном происшествии, приказал переправиться через этот мост и прямо идти на русскую армию. Наступило тяжелое время для русской армии. Наполеон со своими главными силами перешел у Вены через Дунай и стремился преградить русским их поспешное отступление на север. Кутузов, главнокомандующий союзной армией, ясно видел, что быстрый отход от Кремса к ольшанской позиции южнее Ольмюца — единственное спасение: у него было под рукой около 45 тысяч человек, у Наполеона немногим меньше 100 тысяч. В русской армии просто понять не могли истории с венским мостом и громко говорили об измене, о том, что австрийцы уже тайно сговорились с Наполеоном,— до такой степени бессмысленной, невероятной являлась потеря этого моста, давшая Наполеону немедленно, без всякой борьбы, обладание левым берегом Дуная, что неизбежно губило всю русскую армию. После тяжких арьергардных боев, где приходилось выставлять заслоны, явно обреченные на истребление, лишь бы дать время уйти главным силам, потеряв из 45 (приблизительно) тысяч около 12, измучив армию, Кутузов все-таки избежал страшившей его позорной сдачи на капитуляцию, ушел от наседавшего на него Наполеона и привел остатки своего войска в Ольмюц, где уже находились оба императора — Александр и Франц.

Положение было такое. Только что из России была подтянута гвардия и еще армейские подкрепления, и всех русских войск, считая уже с теми, которые привел Кутузов в Ольмюц и его окрестности, набралось до 75 тысяч человек. Австрийцев осталось к этому времени от 15 до 18 тысяч. Не нужно забывать, что одна большая австрийская армия была уже уничтожена Наполеоном еще до занятия Вены, а другая — более крупная и хорошо снабженная — сражалась в это время в Венецианской области против армии маршала Массена, которому Наполеон

приказал очистить восточную часть северной Италии. Итак, в лучшем случае у союзников близ Ольмюца было около 90 тысяч человек. Но Кутузов лучше других знал, что далеко не все 75 тысяч русских солдат, числившихся на бумаге, можно было выставить на поле битвы, а гораздо меньше. Он страшился битвы, считал, что нужно продолжать отступление, начатое после внезапной переправы Наполеона через Дунай, что нужно уходить дальше на восток, ждать, затягивать войну, чтобы дать пруссакам время окончательно решиться выступить против французов. Но тут он натолкнулся на живейшее сопротивление: император Александр стоял за немедленное генеральное сражение.

Александр I, ничего не понимая в военных операциях, но снедаемый жаждой славы, уверенный в несомненном успехе, не сомневаясь, что близкое выступление Пруссии (после знаменитой клятвы у гроба Фридриха) безусловно обеспечено, рвался в бой. Бежать от Наполеона, имея свежую, только что пришедшую гвардию и громадные силы, укрываться затем от него месяцами в бедной горной стране казалось царю и постыдным и ненужным. Его любимец, молодой генерал-адъютант князь Петр Долгоруков, именно и был им приближен за то, что держался, как почти все гвардейское офицерство, его мнений. Кутузов знал, что и царь, и Долгоруков, и все им подобные в военном деле — полнейшие нули, если даже в других отношениях кое-кто из них были неглупые люди. Но Кутузов, хотя был твердо убежден, что русскую армию ждет катастрофа и что нужно бежать от Наполеона, не теряя времени, уклоняться от решительной битвы, отсиживаясь вдали, не мог, однако, противопоставить роковому легкомыслию, обуявшему царя, категорическую оппозицию, так как вся полнота власти принадлежала Александру.

Кутузов был в русско-австрийском лагере единственным настоящим полководцем, единственным понимающим дело генералом (из тех, голос которых вообще кое-что значил) *, к нему все-таки прислушивались. Но тут вмешалась такая сила, с которой Кутузову было не сладить, хотя лично он и разгадал игру Наполеона.

Наполеон, преследовавший русских, когда они остановились у Ольмюца, вдруг тоже остановился со своей главной квартирой недалеко от Ольмюца, в Брюнне. Бонапарт в это время очень опасался только одного: как бы русские не ушли и не затянули войны. Далеко от Франции, зная, что к нему едет с ультиматумом от Пруссии Гаугвиц, Наполеон жаждал скорейшего генерального сражения: он был вполне уверен в победе.

* Багратион влияния на царя не имел.

которая разом кончит войну. Его дипломатический и актерский дар развернулся в эти дни в полном блеске: он угадал все, что творилось в русском штабе, сыграл на руку Александру против Кутузова, употреблявшего последние слабые усилия, чтобы поскорее уйти и спасти русскую армию. Наполеон артистически разыграл роль человека, очень испуганного, ослабевшего, больше всего опасающегося битвы. Ему нужно было внушить противнику мнение, что именно сейчас легко разбить французскую армию, чтобы этим побудить русских немедленно напасть на него. Осуществляя свой замысел, он, во-первых, велел своим аванпостам начать отступление; во-вторых, он послал к Александру своего генерал-адъютанта Савари с предложением о перемирии и мире; в-третьих, приказал Савари просить Александра о личном свидании; в-четверых, приказал тому же Савари просить Александра (в случае отказа в личном свидании) прислать доверенное лицо для переговоров. Ликование в русском штабе было полнейшее: Бонапарт трусит! Бонапарт истощил себя и погиб! Главное — не выпускать его теперь из рук!

В самом деле: все эти поступки Наполеона были так на него не похожи, так необычайны, так унизительны, что, казалось, гордый император, первый полководец в мире, никогда и не подумал бы так действовать, если бы в самом деле очень уж горькая необходимость его к этому не принудила. Кутузов со своими опасениями казался совсем посрамленным и опровергнутым. Александр отказал Наполеону в личном свидании и отправил к нему князя Долгорукова. Долго впоследствии издевался Наполеон над этим молодым придворным генералом; он его потом даже в официальной печати называл «freluquet». В этом непереводимом французском эпитете заключены два русских понятия, выражаемые словами «шалун» и «вертопрах». Вел себя Долгоруков надменно, непреклонно и внушительно, обращаясь с французским императором, «как с боярином, которого хотят сослать в Сибирь»,— так впоследствии острил Наполеон, вспоминая об этом свидании. Продолжая талантливо исполнять ту же комедию, Наполеон прикинулся смущенным и расстроенным. И вместе с тем, зная, что не следует переигрывать и что все на свете, даже глупость князя Долгорукова, имеет предел, он кончил свидание заявлением, что не может согласиться на предложенные условия (Долгоруков предлагал ему отказаться от Италии и от ряда других завоеваний). Но самый отказ был облечен в такую форму, что не ослабил, а усилил общее впечатление неуверенности и робости Наполеона.

После радостного отчета Долгорукова о его впечатлениях все колебания в лагере союзников кончились: решено было немедленно напасть на отступающего, ослабленного, растерявшегося Наполеона и с ним покончить.

2 декабря 1805 г., ровно через год после коронации Наполеона, на холмистом пространстве вокруг Праценских высот, западнее деревни Аустерлиц, в 120 километрах к северу от Вены, разыгралась эта кровавая битва, одна из самых грандиозных по своему значению во всемирной истории, одна из самых поразительных в наполеоновской эпопее.

Наполеон лично руководил сражением с начала до конца: почти все его маршалы были налицо. Поражение русских и австрийцев определилось уже в первые утренние часы, но все-таки не погибла бы русская армия так страшно, если бы русские генералы не попали в ту ловушку, которую измыслил и осуществил Наполеон: он угадал, что русские и австрийцы будут стараться отрезать его от дороги к Вене и от Дуная, чтобы окружить или загнать к северу, в горы, и именно поэтому он как бы оставил без прикрытия и защиты эту часть своего расположения, отодвигая преднамеренно свой левый фланг. Когда русские туда пошли, он их раздавил массой своих войск, захвативших Праценские высоты, прижав русских к линии полузамерзших прудов. В прудах потонули или были уничтожены французской картечью целые полки, другие сдались в плен. Русские кавалергарды были истреблены почти полностью еще в разгаре битвы, после жестокой схватки с конными гренадерами наполеоновской гвардии. Маршалы изумлялись храбрости русских солдат, но и не меньше абсурдному поведению и полному военному невежеству, растерянности и бездарности русских генералов, кроме Кутузова. Они особенно поражены были, например, тем, что командующий левым крылом русских войск Буксгевден, имея 29 батальонов пехоты и 22 эскадрона кавалерии, вместо того чтобы помочь погибавшей русской армии, все время битвы провозился около третьестепенного пункта боя, где его часами удерживал ничтожный французский отряд. А когда Буксгевден, наконец, догадался начать отход, то сделал это так поздно и так неискусно, что несколько тысяч из его корпуса были отброшены к прудам и здесь потонули, так как Наполеон, заметив это движение, приказал бить ядрами в лед. Остальные были взяты в плен.

Император Франц и Александр бежали с поля битвы еще задолго до окончательной катастрофы. Их свита бежала врассыпную, бросив обоих монархов по дороге, и монархи тоже убежали с поля сражения и быстро разлучились друг с другом, унесенные лошадьми в разные стороны.

Короткий зимний день склонялся к вечеру, солнце, ярко светившее весь день, зашло, а Александр и Франц в темноте спасались от плена. Александр дрожал, как в лихорадке, и плакал, потеряв самообладание. Его быстрое бегство продолжалось и в следующие дни. Раненый Кутузов едва спасся от плена.

Наступил вечер. Все было кончено. По широкой равнине, спотыкаясь поминутно о бесчисленные трупы людей и лошадей, проезжал Наполеон, окруженный громадной свитой, маршалами, генералами гвардии и адъютантами, приветствуемый восторженными криками солдат, отовсюду сбегавшихся к императору. Около 15 тысяч убитых русских и австрийцев, около 20 тысяч пленных, вся почти артиллерия неприятеля, а самое главное — фактическое уничтожение русско-австрийской армии, разбежавшейся на три четверти в разные стороны, бросившей весь свой колоссальный обоз, все боевые запасы, огромные массы провианта,— таковы были в общих чертах результаты этой победы. Французы потеряли меньше 9 тысяч (из 80 тысяч).

На другой день во всех частях французской армии читался приказ Наполеона. «Солдаты, я доволен вами: в день Аустерлица вы осуществили все, чего я ждал от вашей храбрости. Вы украсили ваших орлов бессмертной славой. Армия в 100 тысяч человек под начальством русского и австрийского императоров меньше чем в четыре часа была разрезана и рассеяна. Те, которые ускользнули от вашего меча, потоплены в озерах...» — так начинался этот приказ.

Немедленно австрийский император Франц заявил Александру, что продолжать борьбу совершенно немыслимо. Александр с этим согласился. Франц послал победителю письмо с просьбой о личном свидании. Наполеон встретился с Францем на своем бивуаке, недалеко от Аустерлица. Он принял императора Франца вежливо, но прежде всего потребовал, чтобы остатки русской армии немедленно ушли из Австрии, и сам назначил им определенные этапы. Он заявил, что переговоры о мире будет вести только с Австрией. Франц, конечно, согласился беспрекословно.

Третья коалиция европейских держав окончила свое существование.

4

В течение всей второй половины ноября и начала декабря 1805 г. Вильям Питт с большим волнением ждал известий о генеральном сражении. Глава английского правительства, создатель и вдохновитель третьей коалиции против Наполеона знал, что теперь Англия надолго обеспечена от нашествия: еще 21 октября 1805 г. в морской битве при Трафальгаре адмирал Нельсон напал на соединенный франко-испанский флот и уничтожил его, сам пав во время битвы. Отныне у Наполеона не было флота. Но Вильям Питт боялся другого. Он понимал, как понимала это и вся торговая и промышленная буржуазия

Англии, что дело этим не кончится, что Наполеон держит прямой курс на полное изгнание английских купцов с торговых рынков тех стран Европы, которые прямо или косвенно попадут под его власть. Мало того, располагая богатейшими странами континента, портами и верфями, Наполеон имеет все средства выстроить новый флот и воссоздать Булонский лагерь.

Катастрофа Мака в Ульме, въезд Наполеона в Вену, захват моста французами и похожее на бегство отступление Кутузова, преследуемого наполеоновской армией, болезненно поразили Питта. Но явное согласие Пруссии примкнуть к коалиции снова оживило его надежды. В далекой Моравии, где-то возле Ольмюца, должен был решиться великий вопрос: будет ли свергнута диктатура Наполеона над половиной Европы или и другая половина континента попадет под его власть.

Наконец, пришли в Англию первые (голландские) газеты с роковой вестью: третья коалиция безнадежно погибла в крови и в позоре на аустерлицких полях. В парламентских кругах громко обвиняли Питта в гибельных иллюзиях, оппозиция требовала его отставки, кричала о позоре, который падет и на Англию, об английских золотых миллионах, выброшенных на создание бездарно провалившейся коалиции. Питт не выдержал нервного потрясения, заболел и слег, а спустя несколько недель, 23 января 1806 г., скончался. Аустерлиц убил, как тогда говорили, и этого самого упорного и талантливого врага Наполеона. Новый кабинет, во главе которого стал Фокс, решил предложить Наполеону мир.

Наполеон был на вершине торжества. Он предписывал условия, перед ним пресмыкались и побежденные и не воевавшие. С необычайной ловкостью использовал он свою великую победу. В Вену добрался, наконец, долго ехавший прусский дипломат Гаугвиц с ультиматумом Фридриха-Вильгельма III, и первое, что Гаугвиц поспешил сделать,— это забыть о том, с какой целью он приехал. Он явился к Наполеону со сладчайшей улыбкой, кланяясь в пояс, горячо поздравляя его величество с разгромом всех супостатов. Гаугвиц был жестоко напуган, как, впрочем, и его король, который с ужасом ждал расплаты за клятву, произнесенную над гробом Фридриха, и за другие недавние свои похождения. «Поздравляю ваше величество с победой!» — начал Гаугвиц. «Фортуна переменила адрес на ваших поздравлениях!» — прервал император.

Наполеон сначала накричал, сказал, что понимает все прусское плутовство, но затем согласился забыть и простить, однако с условием: Пруссия должна вступить с ним в союз. Условия союза таковы: Пруссия отдает Баварии свое южное владение — Аншпах; Пруссия отдает Франции свои владения — княжество Невшатель и Клеве, с г. Везелем; зато Наполеон отдает Прус-

сии занятый его войсками еще в 1803 г. Ганновер, принадлежавший английскому королю; Пруссия вступает в союз с Францией, т. е. объявляет англичанам войну. Гаугвиц согласился на все. Его король Фридрих-Вильгельм — тоже, тем более что он ожидал худшего. Бавария, союзница, получила от Австрии Тироль, от Пруссии — Аншпах, но зато отдавала Наполеону свою богатую промышленную область Берг. Наконец, Австрия уступала Наполеону как королю Италии всю Венецию и Венецианскую область, Фриуль, Истрию, Далмацию. В общем Австрия теряла одну шестую часть населения (4 миллиона из 24) и одну седьмую часть государственных доходов, а также громадные территории и уплачивала победителю 40 миллионов флоринов золотом.

Мир был подписан в Пресбурге 26 декабря 1805 г. За несколько дней до того был подписан тесный оборонительный и наступательный союз Наполеона с Баварией, Вюртембергом и Баденом. Во Францию и Италию потянулись бесконечные обозы с добычей, взятой в Австрии. Одних пушек было забрано в арсеналах и с бою 2 тысячи, больше 100 тысяч ружей и т. д. Но раньше чем покинуть разгромленную Австрию, Наполеон сделал еще одно дело. Король Фердинанд Неаполитанский и его жена Каролина еще в октябре 1805 г., соблазнившись после битвы при Трафальгаре мыслью, что Наполеон на этот раз будет разбит, вступили в сношения с Англией и Россией. Эта династия неаполитанских Бурбонов особенно болезненно всегда чувствовала гнет Наполеона и ненавидела его. Королева неаполитанская Мария-Каролина, родная сестра казненной королевы Марии-Антуанетты, не терпела Францию и, в частности, Наполеона уже давно и даже перед французским представителем Алькье не скрывала, что она мечтает, что Неаполитанское королевство будет спичкой, которая зажжет большой пожар. «Но сообразите, ваше величество, что ведь всегда спичка сгорает прежде всего, даже независимо от того, чем пожар окончится»,— ответил ей посланник Наполеона. Теперь, после Аустерлица, «спичка» сгорела мгновенно. После Аустерлица Бурбонам пришлось жестоко поплатиться. «Бурбоны перестали царствовать в Неаполе», — произнес Наполеон и приказал немедленно занять все королевство французскими войсками. Бурбоны бежали на остров Сицилию, под охрану британского флота, а Наполеон вскоре назначил королем неаполитанским своего брата Жозефа. Затем, богато наградив отличившихся генералов, офицеров и солдат деньгами, орденами, повышением в чинах, некоторых через два, три чина сразу, он выехал из Вены в Париж и, 26 января 1806 г. встреченный несметными толпами ликующего народа, въехал в Тюильрийский дворец. А прошло еще несколько дней, и он узнал, что ненавистный

враг, Вильям Питт, скончался за три дня до его возвращения в Париж, что Англия хочет мира. Теперь он в самом деле мог чувствовать себя Карлом Великим, императором Запада.

Роскошные пиры, балы, банкеты, неслыханно блестящая придворная жизнь окружила Наполеона; сотни подобострастных царедворцев ловили взгляды императора, оказывали ему божеские почести, осыпали его самой бесстыдной лестью.

5

Наполеон после смерти Вильяма Питта еще не мог надеяться на перемену английской политики. Но когда у власти стал Фокс, всегдашний противник внешней политики Питта, в Европе заговорили о близком мире между Англией и Францией. Действительно, начались переговоры, и Фокс послал в Париж для этих переговоров лорда Ярмута. Наполеон не очень верил в реальность надежд на мир, но вынудил уже в феврале 1806 г. Пруссию официально разорвать сношения с Англией; он стремился изолировать Пруссию не только от Англии, но и от России и тогда нанести ей решительный удар.

Прусский король уже с ранней весны 1806 г. стал убеждаться, в какое опасное положение он попал. Правда, Наполеон «простил»; Наполеон даже пожелал, чтобы Пруссия вступила с ним в союз, пообещав подарить Ганновер. Но в ответ на это Англия объявила Пруссии войну. Ганновер Наполеон так и не отдавал и держал там свои войска. В это-то время Фридрих-Вильгельм III вдруг узнал, что глава английского правительства Фокс послал в Париж лорда Ярмута для переговоров с Наполеоном о мире и что Наполеон дал понять Ярмуту, что если Англия заключит с ним мир на желательных основаниях, то он вернет Ганновер английскому королю. Прусский двор и правительство увидели, до какой степени их обманули. Возмущение больше всего сказывалось именно в тех кругах, которые в течение всего 1805 г. тщетно убеждали Фридриха-Вильгельма стать на сторону третьей коалиции. Они утверждали, что это могло бы предупредить Аустерлиц и спасти Пруссию от изоляции, в которой она теперь очутилась лицом к лицу с Наполеоном.

К этому времени Наполеон решил оформить и закрепить свою бесконтрольную власть над западной и отчасти центральной Германией. Он создал Рейнский союз. В середине 1806 г. союз был окончательно оформлен, и 12 июля подписан соответствующий договор всеми германскими государями, которым Наполеон приказал это сделать. В Рейнский союз вошли Бавария, Вюртемберг, Регенсбург, Баден, Берг, Гессен-Дармштадт, Нассау (обеих линий) и еще восемь германских кня-

жеств. Этот союз «избрал» своим *протектором* императора Наполеона. В благодарность за принятие императором этого нового сана Рейнский союз брал на себя обязательство в случае войны выставить в распоряжение Наполеона 63 тысячи солдат. Много мелких самостоятельных владельцев, прежде подчинявшихся верховному суверенитету императоров австрийского Габсбургского дома, отныне подчинялись тем государям Рейнского союза, во владение которых были вкраплены их земли. Этим самым теряла последний смысл так называемая «Священная Римская империя», как называлось верховенство австрийских императоров над раздробленной Германией и над ее фактически самостоятельными князьями. Почти ровно тысячу лет существовал этот титул. Теперь (в 1806 г.) австрийский император Франц от него отказался по прямому предложению императора Наполеона.

Этот новый захват Наполеона, присоединение к его владениям новых территорий сильно встревожили и раздражили прусский двор и прусское правительство. Ведь Рейнский союз вводил наполеоновскую власть в самые недра Германии и прямо угрожал целости Пруссии. Опасность усиливалась еще тем, что одновременно с подготовкой этого Рейнского союза Наполеон произвел несколько назначений, которые были лишь слабо замаскированы расширением Французской империи за счет новых государств. Еще 15 марта 1806 г. последовало назначение маршала Мюрата великим герцогом Клеве и Берга (в западной Германии), 30 марта — назначение Жозефа Бонапарта неаполитанским королем, а маршала Бертье — князем Невшательским; 5 июня другой брат Наполеона, Людовик Бонапарт, был назначен королем Голландии, министр иностранных дел Талейран — князем Беневентским, маршал Бернадотт — князем Понте-Корво в южной Италии. Все это были даже не вассалы, а просто наполеоновские наместники и генерал-губернаторы. И вся Европа это понимала.

Между тем Наполеон снова готовился к войне. В июне, образовав Рейнский союз, он прямо объявил Законодательному корпусу, что у него есть армия в 450 тысяч человек и есть средства, позволяющие содержать ее без займов и без дефицита. Около 200 тысяч войск Наполеон стал сосредоточивать по обоим берегам Рейна, в Эльзасе, Лотарингии и в государствах новосозданного Рейнского союза. Ходили зловещие слухи о готовящихся новых захватах французского императора.

6 июля в Париж приехал русский дипломат Убри. Александр послал его под предлогом специальных переговоров о бухте Каттаро, но на самом деле, чтобы осмотреться и удостовериться, насколько серьезны шансы на мир между Англией и Францией. Талейрану очень искусными маневрами удалось добиться под-

писания прелиминарных условий мира с Россией. Это случилось через какие-нибудь две недели после приезда Убри в Париж. Теперь все зависело от исхода переговоров между Талейраном и лордом Ярмутом, потому что Александр решил, в зависимости от их исхода, ратифицировать или не ратифицировать договор, подписанный в Париже его представителем Убри.

Но мир с Англией был невозможен. И экономические, и политические интересы правящих классов Англии никак не мирились с диктатурой Наполеона на половине континента. А Наполеон при переговорах не шел в сущности ни на какие уступки, но предъявлял новые и новые требования, говорил о Египте, о Сирии...

И вдруг Европу облетела весть, что 13 сентября скончался британский министр иностранных дел, единственный в Англии могущественный поборник мира с Францией — Фокс.

Партия в Пруссии, требовавшая решительного противодействия наполеоновским захватам, сразу подняла голову; было ясно, что теперь ни Англия, ни, конечно, Россия мира с Наполеоном не заключат. Уже с начала сентября Фридрих-Вильгельм переходил от ярости к трусости и не знал, на что решиться. Но для него было очень большой радостью узнать, что снова возросли шансы на образование коалиции. В самый день смерти Фокса, еще не зная о фатальном исходе его болезни, прусский король решил двинуть войска в соседнюю с ним Саксонию. Спустя три недели оказалось, что в Испании очень склонны примкнуть к готовящейся вновь коалиции, если таковая будет победоносна, и между испанским двором и Фридрихом-Вильгельмом III завязались тайные сношения.

В Пруссии среди дворянства и среди части буржуазии царили волнение и раздражение. Короля обвиняли в трусости, Гаугвица — в измене. Дворянство ненавидело Наполеона, видя только в нем прямого виновника разрушений, которым подверглись стародавние феодальные отношения и помещичье-крепостной быт: прусская буржуазия с беспокойством видела, как деятельно воздвигает Наполеон таможенные и иные стены между своими вассальными владениями и Пруссией, как планомерно ведет он работу на пользу *французской* промышленности в ущерб всякой иной. Среди офицерства и генералитета Пруссии царили задор и стремление отплатить за обиды, обманы и за то презрение, которое Наполеон откровенно и повсюду выражал. Королева Луиза (жена Фридриха-Вильгельма III) была главой этой дворянско-офицерской партии. Из Англии и России — хотя и Англия и Россия сами вели в это время бесплодные переговоры с Наполеоном — шли всяческие подбадривания и обнадеживания... Главное, что побудило короля к решительным шагам, заключалось в том, что Наполеон все равно начнет войну,

сколько ему ни уступай. Решено было послать Наполеону просьбу объясниться по поводу своих намерений относительно Пруссии. Император ничего не ответил.

Прусская армия двинулась. Полки за полками с пением патриотических песен проходили через Берлин и Магдебург, направляясь к западу, и королева Луиза выходила навстречу и делалась центром манифестаций. Король Фридрих-Вильгельм выехал к армии, которая сосредоточивалась в Магдебурге и дальше к западу. Наполеону он послал новую ноту: он требовал отвода французских войск от границ Пруссии. В ответ на это требование Наполеон во главе своей армии перешел через границу Саксонии, где стояли пруссаки.

Глава IX

РАЗГРОМ ПРУССИИ И ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОДЧИНЕНИЕ ГЕРМАНИИ 1806—1807 гг.

1

Наполеон 8 октября 1806 г. отдал приказ о вторжении в Саксонию, союзную с Пруссией, и великая армия, сосредоточенная до этого в Баварии со времени Пресбургского мира, тремя колоннами стала переходить границу. Впереди в центральной колонне шел Мюрат с кавалерией, за ним Наполеон — с главными силами. В действующей великой армии было в тот момент около 195 тысяч человек — всего лишь несколько больше половины всех военных сил Наполеона, так как он должен был оставить в своих итальянских владениях до 70 тысяч и около такого же количества в других своих огромных владениях. Правда, эти 195 тысяч должны были пополняться новобранцами, которых пока усиленно готовили в тыловых лагерях. Против армии Наполеона Пруссия выставила несколько меньшее число бойцов — около 175—180 тысяч.

Чтобы понять ту неслыханно быструю, молниеносную и непоправимую катастрофу, которая последовала в ближайшие дни, мало, конечно, указать на этот незначительный численный перевес великой армии над прусской, мало даже вспомнить о совсем исключительных военных дарованиях французского полководца и о блестящем подборе маршалов и генералов, которыми он себя окружил. Тут столкнулись два социально-экономических уклада, два государственных строя, две обусловленные разницей социальных систем военные тактики и две военные организации. Типично крепостнический, феодально-абсолютистский строй, отсталый в промышленном отношении, владеющий совсем примитивной техникой, столкнулся с государством, которое пережило глубокую буржуазную революцию, уничтожило у себя феодализм и крепостнические порядки.

Об организации армии Наполеона мы уже говорили. Прусская армия в точности отражала в себе, как в зеркале, всю

крепостническую структуру государства. Солдат — крепостной мужик, перешедший из-под розог помещика под фухтеля и шпицрутены офицера, осыпаемый пощечинами и пинками со стороны всякого, кто выше его, начиная с фельдфебеля, обязанный рабски повиноваться начальству; он знает твердо, что и речи быть не может об улучшении его участи, как бы храбро и исправно он ни сражался. Офицер только потому офицер, что он — дворянин, и были офицеры, которые *хвалились* жестокостью своего обхождения с солдатами, именно в этом видя истинную дисциплину. Генералами люди становились либо уже под старость, либо по протекции и знатности своего происхождения.

Еще в середине XVIII в., когда эти старорежимные порядки существовали во всех армиях, а не только в прусской, Фридрих II мог побеждать в Семилетнюю войну и французов, и русских, и австрийцев, хотя терпел время от времени и сам страшные поражения. Фридрих II понимал, что только неслыханной жестокостью он может заставлять угнетенных и озлобленных солдат идти в бой. «Самое для меня загадочное,— сказал он однажды одному приближенному генералу,— это наша с вами безопасность среди нашего лагеря». Со времени войн Фридриха II прошло 40 лет, а в Пруссии осталось все по-прежнему, с одним только изменением: самого Фридриха уже не было, а вместо него командовал бездарный герцог Брауншвейгский и другие убогие в умственном отношении титулованные генералы.

Что сделалось с прусскими правящими верхами в эту роковую для них эпоху, в конце лета и ранней осенью 1806 г.? Как Фридрих-Вильгельм III, боявшийся выступить против страшного императора за год до того в союзе с Англией, Австрией и Россией, осмелился выступить теперь? Больше всего тут с его стороны было смелости отчаяния: убеждение, что никакой покорностью не спасешься, что все равно Наполеон нападет. Но офицерство, генералитет, все высшее дворянство были решительно в восторге и вслух похвалялись, что проучат корсиканского выскочку, убийцу герцога Энгиенского, предводителя санкюлотов. Кого, вопрошали, побеждал Наполеон до сих пор? Трусливых, разноплеменных австрийцев? Варваров — турок и египетских мамелюков? Слабых итальянцев? Русских, которые почти такие же варвары, как турки и мамелюки? Не разлетится ли его слава дымом, когда он столкнется с войском, созданным еще Фридрихом II?

Придворно-офицерская среда, военачальники, генералы, великосветское окружение, королева Луиза и ее приспешники — все они дошли до крайней степени легкомыслия, фантазерства и хвастовства. Они не желали считаться с тем, что Наполеон

черпает свои ресурсы не только из Франции, но и из нескольких уже покоренных им больших и богатых стран; они были уверены, что как только прусская армия молодецким ударом опрокинет Наполеона, роялисты восстанут в тылу и низвергнут его во имя Бурбонов. Старый главнокомандующий, герцог Брауншвейгский, тот самый, который в 1792 г. был вождем военной интервенции и помимо своей воли ускорил падение французской монархии своим нелепым угрожающим манифестом,— всегда питал ненависть старорежимного крепостника-реакционера к французам, дерзким революционным смутьянам. Но он страшился непобедимого Бонапарта и не очень поддерживал праздничное и победоносное настроение, царившее вокруг королевы Луизы и принца Людвига. Пасторы в церквах Берлина и в провинции, со своей стороны, без затруднения ручались за деятельную поддержку господа бога, с давних пор, как общеизвестно, вполне дружески относившегося к династии Гогенцоллернов. С горячим нетерпением ожидали первых известий с театра войны. Никто не знал, с чьей стороны последует переход границы...

Три колонны наполеоновской армии двигались через Франконский лес к реке Эльбе, в тыл прусской армии, чтобы отрезать ее от ее сообщений.

На другой день после вторжения Наполеона в Саксонию, бывшую в союзе с Пруссией, 9 октября, произошел первый бой (при Шлейце). Авангард — Мюрат и маршал Бернадотт — приблизился к прусскому отряду и по приказу Наполеона атаковал его. Сражение было небольшое. Пруссаки были отброшены, потеряв около 700 человек (из них 300 убитыми). На следующий день, 10 октября, произошел новый бой, на этот раз более серьезный. Маршал Ланн подошел к г. Заальфельду, где стоял принц Людвиг, глава придворной военной партии, с девятитысячным войском. Бой, завязавшийся немедленно, кончился снова победой французов. Пруссаки бежали после упорного сопротивления, потеряв убитыми и пленными около полутора тысяч человек. К концу боя сам принц Людвиг был заколот штыком.

Беглецы из-под Заальфельда присоединились к главным силам прусской армии, стоявшим близ г. Иены под начальством князя Гогенлоэ. Другая часть главных сил, под начальством самого герцога Брауншвейгского, отходила севернее — к Наумбургу, но ей не суждено было туда дойти.

Когда в Берлин пришли одно за другим известия о боях при Шлейце и при Заальфельде и о смерти принца Людвига, все были потрясены. Даже странно было, что два первых, хотя бы и неудачных, но сравнительно незначительных, боя могли до такой степени круто изменить общественную атмосферу.

Не только утихло непомерное самохвальство, но как-то слишком уж быстро сменилось растерянностью и страхом. Только королева Луиза не падала духом и восторгалась вместе с окружающими геройской смертью принца Людвига и убеждала в том, что ожидаемое генеральное сражение сразу все исправит.

Наполеон предполагал, что главная масса прусской армии сосредоточивается в районе Веймара, чтобы продолжать отход к Берлину, и что генеральное сражение произойдет у Веймара 15 октября. Он послал маршала Даву к Наумбургу и далее на тылы прусской армии, Бернадотт получил приказ присоединиться к Даву, но выполнить его не мог. Наполеон с маршалами Сультом, Неем, Мюратом двинулся на Иену. К вечеру 13 октября Наполеон въехал в г. Иену и, смотря с высот окружающих гор, увидел крупные силы, отходившие по дороге в Веймар. Князь Гогенлоэ знал, что французы вошли в Иену, но он понятия не имел, что и сам Наполеон с несколькими корпусами находится тут же. В ночь с 13-го на 14-е Гогенлоэ остановился по дороге и неожиданно для Наполеона решил принять бой.

Еще перед рассветом Наполеон объехал ряды своей армии. Он говорил солдатам, что наступающее сражение отдаст всю Пруссию в руки французской армии, что император надеется на их обычную храбрость, и объяснил солдатам, как он это всегда делал, в самых общих чертах, главное содержание своего плана на предстоящий день.

Наконец рассвело. Наступило 14 октября 1806 г.— день, решивший участь Пруссии. Бой начался в первые же часы после рассвета; он был долгий и упорный, но уже в начале французам удалось добиться такого успеха, что никакие усилия неприятеля не могли вырвать победу из их рук. Сначала пруссаки и саксонцы отступали медленно, упорно обороняясь, но, искусно сосредоточив и введя в бой лучшие части корпусов маршалов Сульта, Ланна, Ожеро, Нея и кавалерию Мюрата, Наполеон в точности осуществил свой план. Когда прусская армия дрогнула и ударилась в бегство, преследование оказалось еще более губительным для побежденных, чем под Аустерлицем. Остатки прусской армии бросились к г. Веймару, преследуемые до города и в самом городе кавалерией Мюрата. Здесь их пало особенно много; разгоряченные французские всадники рубили, не слушая криков о пощаде, не беря в плен сдающихся. Прусская армия была разгромлена полностью. Ничтожные остатки спаслись и сохранили вид солдат, остальные были перебиты или взяты в плен, или (огромное большинство) пропали без вести.

Гогенлоэ с толпой бегущих успел уйти и стремился попасть

к Наумбургу, где рассчитывал найти нетронутую главную часть армии, единственную, на которую теперь можно было рассчитывать. При этой второй части армии, шедшей под командованием герцога Брауншвейгского, находился и сам король Фридрих-Вильгельм. И вдруг к беглецам, убегающим из-под Иены, вечером и ночью совсем неожиданно стали присоединяться другие беглецы, рассказывавшие о том, какое новое несчастье обрушилось на Пруссию. Оказалось, что герцог Брауншвейгский, не дойдя до Наумбурга, остановился близ Ауэрштедта, в двух с небольшим десятках километров от Иены. Здесь и произошло столкновение с маршалом Даву, и сюда во время битвы до сражавшихся все время долетали отдаленные, тогда еще непонятные во всем их значении, звуки артиллерийской пальбы. Несмотря на недостаток сил (Даву имел всего один корпус, так как поддержки Бернадотта он не получил), главная часть прусской армии была наголову разбита. Сам герцог Брауншвейгский пал, смертельно раненный в разгаре боя. Так остатки этой армии, как сказано, смешались в своем бегстве с беглецами первой армии, убегавшими из-под Иены и Веймара.

Король узнал, таким образом, от беглецов из-под Иены, что в один этот день, 14 октября, разгромленная в двух сражениях Наполеоном и маршалом Даву, почти вся прусская армия перестала существовать. Этого решительно никто в Европе, даже из злейших врагов Пруссии, не ожидал так скоро — через шесть дней после вторжения Наполеона.

Совсем неслыханная и никогда ранее не испытанная паника овладела беглецами, когда они, поделившись вестями, узнали теперь, что все погибло и что никакой армии больше нет.

2

Бегство остатков прусской армии происходило в еще большем смятении. Французы продолжали преследование и собирали по пути громадные обозы с провиантом, экипажи, лошадей, артиллерию, вполне годную к употреблению,— все, что беглецы бросали по дороге. Наполеон шел прямо на Берлин. По пути он приказал занять герцогство Гессен-Кассель, объявил тамошнюю династию низложенной, занял Брауншвейг, занял Веймар и Эрфурт, Наумбург, Галле, Виттенберг. Князь Гогенлоэ уходил от него на север, собрав под своей командой около 20 тысяч солдат разных корпусов, почти безоружных, деморализованных, не повинующихся офицерам.

Убегая на север, армия с каждым днем уменьшалась в числе — за нею гнался Мюрат с кавалерией. За Пренцлау, на дороге в Штеттин, Гогенлоэ был окружен со всех сторон и должен был капитулировать. За несколько дней до того маршалу Ланну

без сопротивления по первому требованию сдалась сильная крепость Шпандау с огромными военными припасами, а спустя несколько дней после сдачи Гогенлоэ генерал Ласаль во главе гусар подошел к Штеттину, грозной крепости с прекрасной артиллерией и большим гарнизоном (больше 6 тысяч человек), причем съестных припасов в крепости было в изобилии. Могучая твердыня, защищаемая обильной артиллерией, без единого выстрела сдалась по первому требованию гусарскому генералу, при котором не было ни одной пушки. Паника, самая беспросветная, как-то сразу и повсеместно овладела генералитетом, офицерами, солдатами погибающих остатков прусской армии. От хваленой дисциплины не осталось и следа, прусские солдаты тысячами шли сдаваться французам. Но и генералы и офицеры проявили такой упадок духа, который даже их победителям казался чем-то совсем небывалым. Как будто это были не те люди, которые всего за две недели до этого так гордо и самоуверенно собирались покончить с Наполеоном.

27 октября 1806 г., через 19 дней после начала войны и через 13 дней после битвы при Иене и Ауэрштедте, Наполеон в сопровождении четырех маршалов, конных гренадер и гвардейских егерей торжественно въехал в Берлин. Бургомистр города сдал Наполеону ключи от столицы и просил пощадить Берлин. Наполеон приказал, чтобы магазины были открыты и чтобы жизнь шла нормально. Население встречало императора боязливо, с почтительными поклонами и оказывало беспрекословное подчинение.

Водворившись в Берлине, Наполеон прежде всего стал уничтожать последние остатки разбежавшейся во все стороны прусской армии. Оставался, собственно, еще только отряд генерала Блюхера, наиболее энергичного из прусских военачальников. Блюхеру удалось собрать около 20 тысяч солдат и офицеров из разбежавшихся и разгромленных частей, и с ними он бежал к северу, преследуемый маршалами Бернадоттом, Сультом и Мюратом. Он вошел в Любек. Дальше была датская граница, но Дания, панически боявшаяся Наполеона, категорически воспретила Блюхеру перейти границу. Да это его и не спасло бы, потому что маршалы немедленно перешли бы границу вслед за ним. 7 ноября маршалы вошли в Любек и тут, на улицах города, напали на отряд Блюхера. Произошла отчаянная резня: около 6 тысяч пруссаков были изрублены французами или взяты в плен. Блюхер с 14 тысячами человек успел вырваться из города, но к вечеру на равнине за Любеком, настигнутый и окруженный маршалами, Блюхер сдался на капитуляцию со всеми 14 тысячами солдат, офицеров и генералов, какие у него еще оставались, со всей артиллерией и запасами.

В это же время французы подошли к крепости Кюстрин на

Одере. Они уже до такой степени привыкли теперь пользоваться полнейшей, совсем небывалой, невообразимой деморализацией, охватившей всю Пруссию после Иены, что к крепости Кюстрин подошли просто четыре роты пехотинцев без артиллерии, и командир этого ничтожного отряда потребовал (даже и для виду не приступая к осадным работам) капитуляции крепости. И крепость Кюстрин капитулировала по первому требованию с 4 тысячами прекрасно вооруженного гарнизона, с прекрасной артиллерией, с громадными складами провианта. Эта серия панических, неслыханных в военной истории сдач могучих крепостей без малейшей попытки сопротивления завершилась любопытнейшей историей с Магдебургом, историей, которой Наполеон не сразу поверил, когда ему впервые о ней доложили.

В Магдебурге, единственной еще не сдавшейся и очень сильной первоклассной крепости, являвшейся вместе с тем большим и богатым торговым центром, с огромными складами боеприпасов и продовольствия, с громадной артиллерией, был расположен большой и очень хорошо вооруженный гарнизон в 22 тысячи человек под начальством генерала Клейста. Эти 22 тысячи человек и магдебургская крепость являлись после сдачи Блюхера последним пунктом, где еще оставались вооруженные силы Пруссии. К Магдебургу подошел маршал Ней. От поспешности и уверенности в успехе Ней не потрудился даже взять с собой осадную артиллерию, а захватил лишь три-четыре легкие мортиры. Он предложил Клейсту немедленно капитулировать. Клейст отказался. Тогда маршал Ней велел выстрелить из своих легких мортир. Выстрелы не причинили (и не могли причинить) городу ни малейшего вреда, но этого оказалось достаточным: генерал Клейст со всем своим гарнизоном сдался Нею 8 ноября на капитуляцию, и маршал, войдя в город, нашел там огромные военные запасы и богатые склады разнообразных товаров. Клейст объяснял потом свое поведение тем, что, когда французы выстрелили из мортир, жители очень перепугались и просили его как начальника крепости, не теряя времени, сдать город. Уступая этому желанию, он и капитулировал.

Получив известие о Магдебурге, Наполеон, Франция и вся Европа поняли окончательно, что Пруссия кончена. Армия вся или истреблена, или в плену, крепости *все*, кроме Данцига, — в полном порядке и исправности, с громадными запасами — в руках французов, столица и почти все города — под начальством французских властей, всюду полная покорность населения.

Прусский король, королева Луиза, их дети и двор (очень небольшой) укрылись на окраине Прусской монархии, в г. Ме-

меле, после бедственных блужданий по другим местам. Все надежды короля Фридриха-Вильгельма на перемирие и мир были тщетны,— Наполеон ставил самые ужасающие условия. Во французских газетах Наполеон приказывал печатать статьи, в которых с жестокой иронией и ядовитой насмешкой говорилось о королеве Луизе; она называлась главной виновницей бедствий, постигших Пруссию.

Эти злобные выходки победителя не помешали Фридриху-Вильгельму III написать Наполеону почтительное письмо, в котором король выражал упование, что его величество император Наполеон доволен удобствами королевского двора в Потсдаме и что все там для него оказалось в исправности. Наполеон на это ничего не ответил.

За всю его долгую победоносную карьеру никогда, ни до, ни после, с Наполеоном не случалось того, чего он достиг в эту осень 1806 г. В один месяц, если считать от дня начала войны (8 октября) до дня сдачи Магдебурга (8 ноября), он вконец разрушил одну из четырех существовавших тогда великих европейских держав, с которыми до тех пор должен был считаться. Его победа была на этот раз такой сокрушительной и полной, как еще никогда. Паническая растерянность прусского правительства и прусских генералов, полный отказ от сопротивления после первых же ударов, мгновенно проявившаяся и твердо установившаяся абсолютная покорность населения и всех гражданских властей — все это в таких размерах Наполеон наблюдал впервые. Мамелюки в Египте сопротивлялись, австрийцы сопротивлялись, итальянцы сопротивлялись, русские очень храбро сражались, и даже на Аустерлицком поле отдельные части вели себя так стойко, что вызвали потом похвалу Наполеона. А тут армия, хвалившаяся традициями Фридриха II, страна с наиболее исправной администрацией, население, по своей общей культурности не уступавшее тогда никому в Европе, вдруг превратились в инертную массу. Вся Европа была потрясена и напугана. О германских государствах нечего и говорить: одна германская страна за другой спешила засылать в Потсдамский дворец к Наполеону изъявления полной покорности.

Вполне было естественно, что в эти октябрьские и ноябрьские дни, живя в каком-то радужном тумане, среди ежедневно поступавших к нему в Берлин и в Потсдам известий о сдаче крепостей и последних остатков прусской армии, среди коленопреклоненных молений о пощаде, о заступничестве, среди льстивых уверений курфюрстов, герцогов и королей в верноподданнических чувствах, Наполеон решил нанести главному своему врагу, Англии, сокрушительный удар, который именно теперь после завоевания Пруссии, стал, по его мнению, воз-

можен. Меньше чем через две недели после сдачи Магдебурга маршалу Нею император подписал 21 ноября 1806 г. свой знаменитый берлинский декрет о континентальной блокаде.

3

Континентальная блокада сыграла огромную роль в истории наполеоновской империи, и не только в истории всей Европы, но и в истории Америки: она сделалась стержнем всей экономической, а потому и политической борьбы в течение всей императорской эпопеи.

В чем заключалась характернейшая особенность берлинского декрета о блокаде? Ведь уже при революции воспрещено было торговать с англичанами, и, например, еще декретом 10 брюмера V года (1796 г.) этот запрет был чрезвычайно ясно выражен и мотивирован. Да и при Наполеоне не только этот декрет повторялся и подтверждался, но не далее как 22 февраля того же 1806 года император, воспрещая ввоз откуда бы то ни было бумажных материй и пряжи, еще раз подтвердил свои резко протекционистские взгляды, направленные к охране интересов французской промышленности. Издавая 21 ноября 1806 г. свой берлинский декрет, Наполеон не только продолжал и укреплял монополизацию имперского внутреннего рынка в пользу французской промышленности, но и жестоко бил всю английскую экономику, старался осудить ее на полное удушение, на государственное банкротство, голод и капитуляцию. В том-то и было дело, что на *этот* раз он хотел изгнать англичан не из Французской империи только, но из всей Европы, экономически их обескровить, лишить их всех европейских рынков сбыта. Первый параграф декрета гласил: «Британские острова объявлены в состоянии блокады», второй параграф: «Всякая торговля и всякие сношения с Британскими островами запрещены». Дальше воспрещалась почтовая и иная связь с англичанами и приказывалось немедленно и повсеместно арестовывать всех англичан и конфисковывать принадлежавшие им товары и их имущество вообще.

Если бы даже не было обильнейших документальных комментариев, на которые нисколько не скупился Наполеон, когда речь шла о континентальной блокаде, то вполне достаточно было бы даже просто вдуматься в текст берлинского декрета, чтобы понять его истинный исторический смысл: экономическая блокада Англии могла дать сколько-нибудь существенные результаты, *только* если бы вся Европа попала или под прямую власть, или под неукоснительный и властный контроль со стороны Наполеона. В противном случае достаточно было одной стране не повиноваться и продолжать торговать с Англией,

как и весь декрет о блокаде сводился к нулю, потому что из этой непослушной страны английские товары (под неанглийскими марками) быстро и легко распространились бы по всей Европе.

Вывод отсюда ясен: если для победы над Англией нужно неукоснительное соблюдение континентальной блокады всеми европейскими государствами, то необходимо покорить воле Наполеона всю Европу и прежде всего захватить все европейские берега, чтобы французские таможенные чины и французские жандармы могли там распоряжаться по-своему и в самом деле уничтожать контрабанду. Не требовалось обладать государственным умом Наполеона, чтобы понять, как страшно тяжела будет блокада не только для Англии, но и для всей потребительской массы Европы, которая лишалась, таким образом, английской мануфактуры и английских колониальных товаров, начиная с хлопка и кончая кофе и сахаром. Наполеон наперед знал, как прибыльна, а поэтому и активна будет контрабанда со стороны английских купцов, как охотно будут прибегать к контрабанде французские торговцы, привыкшие продавать англичанам свое сырье. Все это Наполеон предвидел с самого начала, и логический ответ был один: нужно продолжать так удачно начатое покорение европейского континента, чтобы таким путем сделать возможным фактическое осуществление континентальной блокады.

Он мог убедиться очень скоро, что есть один слой населения во всей Европе — именно промышленная буржуазия, которая будет приветствовать избавление от английской конкуренции. Когда сейчас же после разгрома пруссаков Саксония изменила союзу с Пруссией и примкнула к Наполеону, обещав полностью подчиниться декрету о континентальной блокаде, промышленники Саксонии были крайне рады этому и выражали бурный восторг, но торговцы, землевладельцы, широкая потребительская масса были обеспокоены и удручены. Наполеон мог наперед знать, что только силой, только страхом и принуждением можно будет заставить все правительства и все народы Европы принять и выполнять в точности предписания блокады.

С момента издания декрета, 21 ноября 1806 г., создание «империи Карла Великого», ее расширение и укрепление сделались прямым требованием, логической необходимостью при избранной Наполеоном экономической системе борьбы против Англии.

В Потсдамский дворец к императору был позван министр иностранных дел Талейран, и ему было приказано немедленно разослать во все вассальные или полувассальные страны повеление Наполеона о блокаде.

В то же время император приказал маршалам произвести

возможно полный систематический захват побережья Северного (Немецкого) и Балтийского морей. Наполеон вполне сознавал, какую чудовищную меру он решил пустить в ход. «Не дешево нам стоило поставить интересы частных лиц в зависимость от ссоры монархов и возвратиться после стольких лет цивилизации к принципам, которые характеризуют варварство первобытных времен; но мы были вынуждены противопоставить общему врагу то оружие, которым он пользуется»,— так писал Наполеон в своем официальном послании к сенату Французской империи, которым оповещал сенат о континентальной блокаде. Послание было помечено тем же днем, как и декрет («Берлин, 21 ноября 1806 г.»).

Европа приняла декрет о блокаде с молчаливой и боязливой покорностью. После разгрома Пруссии еще никто как следует не успел опомниться, и многие со страхом считали свои дни и ждали гибели. Англия же поняла, что борьба теперь пошла не на жизнь, а на смерть. И она снова обратилась к той державе, к которой уже дважды обращалась, в 1798 и в 1805 гг. Снова Александру I обещана была финансовая поддержка, если он возобновит борьбу с Наполеоном и попытается спасти Пруссию. Обращался английский кабинет и к Австрии, но эта держава еще не оправилась от страшного аустерлицкого погрома и злорадно наблюдала за гибелью Пруссии, не решившейся в 1805 г. выступить на стороне третьей коалиции. Зато в Петербурге все оказалось вполне подготовленным к выступлению. Наполеон держал в изобилии во всех странах и столицах, а особенно в Петербурге, многочисленных шпионов и лазутчиков, которые представляли собой необычайное разнообразие, начиная от графов, князей и пышных великосветских дам и кончая шкиперами и лавочниками, лакеями и почтовыми чиновниками, докторами и курьерами. Через них Наполеон знал о переговорах Англии с Россией, о настроениях и приготовлениях Александра, об обещании новых английских золотых субсидий русскому царю в случае выступления России. Организовав временно центр управления своей громадной империи в Берлине, Наполеон не покладая рук начал работать разом над двумя трудными задачами: во-первых, над мерами по реализации только что провозглашенной континентальной блокады и, во-вторых, над подготовкой армии к предстоящей в близком будущем новой встрече с русскими войсками, которые должны были прийти на помощь погибающей Пруссии.

Наполеон велел оккупировать старые торговые приморские города — Гамбург, Бремен, Любек. Французские войска шли берегами Немецкого и Балтийского морей, занимая города и прибрежные села, арестовывая попадавшихся англичан, конфискуя английские товары, ставя всюду сторожевые пикеты и

разъезды для ловли английской контрабанды. До сих пор Пруссия, Саксония и другие германские государства должны были доставлять средства для содержания французской великой армии, стоявшей в завоеванной стране. Теперь ганзейские города должны были содержать еще и французских таможенных чиновников и береговых стражников, поставленных по берегу Немецкого моря для борьбы против английского ввоза. Одновременно Наполеон энергично подготовлял вторжение в Польшу и новое выступление против русских, двигавшихся уже к границам восточной Пруссии.

4

Выступление Александра диктовалось на этот раз более существенными мотивами, чем в 1805 г. Во-первых, на этот раз Наполеон грозил уже довольно явственно русским границам: его войска уже двигались от Берлина на восток. Во-вторых, одна делегация поляков за другой являлась в Потсдам к Наполеону, прося его о восстановлении самостоятельности Польши, и император французов, король Италии, протектор Рейнского союза явно непрочь был прибавить к своим трем титулам еще четвертый, связанный с Польшей. А это грозило отнятием у России Литвы и Белоруссии, а может быть, и Правобережной Украины. В-третьих, ясно было, что после декрета о континентальной блокаде Наполеон не успокоится, пока так или иначе не заставит Россию примкнуть к числу держав, выполняющих этот декрет, а разрыв торговли с Англией грозил разорительными последствиями для всего сбыта русского сельскохозяйственного сырья в Англию и для устойчивости тогдашней очень шаткой русской валюты. Словом, причин к войне против Наполеона нашлось достаточно даже и помимо желания как-нибудь отплатить за аустерлицкий разгром и позор. Готовились гораздо более серьезно, чем в аустерлицкую кампанию. С тревогой учитывали неслыханно быструю гибель Пруссии, сознавали, с каким сильным противником приходится иметь дело. Ни на чью реальную помощь при этом рассчитывать не приходилось: Пруссия как держава в тот момент, в конце 1806 г., уже почти не существовала.

В Петербурге было решено отправить против Наполеона в первую очередь 100 тысяч человек с главной массой артиллерии и с несколькими казачьими полками. Гвардия должна была тронуться из Петербурга несколько позже.

Наполеон решил предупредить русскую армию. Уже в ноябре французы вступили в Польшу. Польское дворянство и немногочисленная торгово-ремесленная буржуазия встретили их появление с большим восторгом, уже наперед приветствуя в Наполеоне восстановителя польской самостоятельности, погиб-

шей при трех разделах Польши в конце XVIII в. Но Наполеон относился к идее самостоятельности Польши довольно прохладно. Поляки были ему нужны в его громадной игре только как некоторый аванпост или буфер при столкновении с Россией и Австрией на востоке Европы (Пруссию он уже ни во что не считал). Но для этого необходимо было, чтобы Наполеон в своей внешней политике последовательно проводил революционные традиции буржуазной Франции. Между тем он никогда не ставил себе такой задачи, а разгромить царскую империю он тогда и не собирался. В данный момент Польша ему была нужна как источник пополнения и снабжения армии. Первого он добился использованием распространенных в польском мелком дворянстве и городской буржуазии симпатий к Франции как носительнице идей национальной свободы. Посредством строго проводимых реквизиций он сумел выкачать из страны довольно большие местные ресурсы.

Впоследствии Тильзитским миром Наполеон разрешил «польский вопрос», вновь переделив Польшу, отдавая своему новому союзнику, саксонскому королю, бо́льшую часть завоеваний прусской Польши в виде так называемого Великого герцогства Варшавского. Это была северная половина этнографической Польши, кроме Белостокского округа, переданного Александру. Пока что, при неопределенном положении, создавшемся в период до Тильзитского мира, Наполеону удалось создать французскую партию среди польских магнатов, которые раскачивались медленно, боясь репрессий России против их родственников — крупных помещиков в Литве, Белоруссии и на Украине. Военный министр временного правительства Польши, князь Иосиф Понятовский, получивший впоследствии звание французского маршала, заявил себя сторонником Наполеона не сразу.

Внутренняя политика Наполеона в Польше должна была означать шаг вперед по пути ее буржуазного развития. Параграф первый обнародованной им конституции Великого герцогства Варшавского гласил: «Рабство отменяется. Все граждане равны перед законом». Однако это была только фразеология, ибо «свободный земледелец», уезжающий из деревни, в которой он находился, должен был вернуть помещику земельную собственность. Среди крепостного крестьянства прусской Польши под влиянием свободных граждан — солдат французской армии — стали появляться признаки движения против помещиков. Но это движение и здесь не получило развития. Формальное «освобождение» крестьян не лишало помещиков власти.

Благодаря воскресшим надеждам на освобождение Польши от прусского господства, а в будущем и от австрийского владычества при перспективе «воссоединения» Литвы, Белоруссии

и Украины французскую армию принимали в Польше с распростертыми объятиями. В Познани маршалу Даву устроили триумфальный прием. Всюду в этой провинции, даже там, куда еще не проникали французские войска, прусские власти были смещены и заменены поляками. Руководящую роль в начале движения против Пруссии сыграл вернувшийся из Франции участник восстания Костюшко, Выбицкий.

Движение в стране против пруссаков начало постепенно подниматься. Сначала среди формируемых войск преобладает дворянское ополчение, но уже в конце января 1807 г. на фронте на путях к Данцигу появились регулярные полки, «легия», генерала Домбровского, возвратившегося из Италии. В феврале 1807 г. насчитывалось уже 30 тысяч регулярных войск с кадрами из бывших унтер-офицеров и офицеров «польских легионов», созданных Бонапартом во время итальянской кампании 1796—1797 гг.

Но, вообще говоря, никакого общего вооруженного движения страны на помощь французам не произошло, и маршал Ланн писал Наполеону в Берлин из Польши, что особого толка от поляков ждать не приходится, они склонны к анархии и ничего прочного у них создать невозможно.

В конце ноября Наполеон получил известие, что передовые части русской армии вошли в Варшаву. Наполеон приказал Мюрату и Даву идти немедленно на Варшаву. Мюрат 28 ноября вошел с кавалерией в город, накануне оставленный пруссаками, ушедшими за Вислу и сжегшими за собою мост. Наконец и сам Наполеон появился в Польше, сначала в Познани, потом в Варшаве. Он заявил дворянству, явившемуся к нему на поклон, что сначала нужно заслужить право восстановления Польши. Он хотел было выписать в Польшу из Парижа знаменитого Тадеуша Костюшко, национального героя тогдашней Польши, борца против разделов Польши при Екатерине. Но Костюшко ставил условия, имевшие целью оградить будущую свободу Польши от самого Наполеона, которого Костюшко считал деспотом. Фуше, ведший переговоры с польским патриотом, почтительнейше вопрошал императора, что же сказать Костюшко. «Скажите ему, что он дурак!» — ответил император. Он решил обойтись собственными силами, не надеясь уже на всеобщее восстание в Литве и Белоруссии против царской России.

Началась борьба с русскими. Выйдя из Варшавы, Наполеон атаковал русских. После нескольких стычек 26 декабря 1806 г. произошла битва при Пултуске (на реке Нареве). Русскими командовал генерал Беннигсен. Александр относился к нему с той смесью антипатии и боязни, как вообще ко всем убийцам Павла (хотя все они были только его сообщниками

в этом убийстве), но назначил его за неимением более подходящего человека. Французскими войсками командовал маршал Ланн. Сражение окончилось без явного перевеса в ту или иную сторону, и, как всегда в таких случаях бывает, обе стороны рапортовали своим государям о победе. Ланн донес Наполеону, что русские с тяжелыми потерями отброшены от Пултуска, а Беннигсен донес Александру, что он разбил самого Наполеона (которого и в помине не было ни в Пултуске, ни даже в далекой окружности от Пултуска).

Но французы уже по этому сражению увидели, что им придется иметь дело не с пруссаками, павшими духом, а со свежими, стойко борющимися русскими войсками.

Наполеон расположился зимними лагерями в Польше, подтягивая из Франции подкрепления. К русской армии тоже подходили новые силы из внутренних губерний.

Всего в Польше у Наполеона было около 105 тысяч человек, из них около 30 тысяч были расположены гарнизонами в городах и оставлены на всякий случай заслоном между Торном и Грауденцем против возможного движения из Мемеля, хотя у Фридриха-Вильгельма почти никаких сил не было. Беннигсен располагал 80—90 тысячами. Обе стороны искали встречи.

Она произошла 8 февраля 1807 г. при г. Эйлау (точнее Прейсиш-Эйлау) в восточной Пруссии. Наполеон лично командовал французской армией.

Битва при Эйлау, одна из самых кровопролитных битв того времени, превосходящая в этом отношении почти все сражения, до тех пор данные Наполеоном, кончилась вничью. Беннигсен потерял больше трети армии. Огромные потери были и у Наполеона. Русская артиллерия в этом сражении оказалась гораздо многочисленнее французской, и не все маршалы вовремя подошли к месту действия. Почти весь корпус маршала Ожеро был истреблен русским артиллерийским огнем. Сам Наполеон с пехотными полками стоял на кладбище Эйлау, в центре схватки, и чуть не был убит русскими ядрами, падавшими вокруг него. На его голову сыпались поминутно ветки деревьев, обламываемые пролетавшими ядрами и пулями. Наполеон всегда считал, что главнокомандующий не должен рисковать своей жизнью без самой крайней необходимости. Но тут, под Эйлау, он видел, что снова, как под Лоди, как на Аркольском мосту, наступила именно эта крайняя необходимость. Но там, под Лоди или под Арколе, нужно было броситься первому на мост, чтобы этим порывом и жестом увлечь замявшихся гренадер за собой, под Эйлау же требовалось заставить свою пехоту стоять терпеливо часами под русскими ядрами и не бежать от огня.

Наполеон и окружавшие его видели, что только личное присутствие императора удерживает пехоту в этом ужасающем положении. Император остался неподвижно на месте, отдавая новые и новые приказания через тех редких адъютантов, которым удавалось уцелеть при приближении к тому страшному месту, где стоял окруженный несколькими ротами пехоты Наполеон. У его ног лежало несколько трупов офицеров и солдат. Пехотные роты, вначале окружавшие императора, постепенно истреблялись русским огнем и заменялись подходившими егерями, гренадерами гвардии и кирасирами. Наполеон отдавал приказания хладнокровно и дождался в конце концов удачной атаки всей французской кавалерии на главные силы русских. Эта атака спасла положение. Кладбище Эйлау осталось за французами, центр боя перенесся в другие места громадного пространства, где происходило сражение.

Когда мрак ночи окутал поле, французы считали себя победителями, потому что Беннигсен отошел. Наполеон в своих бюллетенях говорил о победе. Но, конечно, он первый понимал, что никакой настоящей победы он в этот кровавый день не одержал, хотя и потерял большое количество людей. Он знал, что русские потеряли гораздо больше, чем он (хотя, впрочем, вовсе не половину своей армии, как утверждали французы). Но Наполеон понимал, что Беннигсен сохранил еще грозное, очень боеспособное войско и нисколько не считает себя побежденным, а, напротив, тоже трубит о своей победе.

«В течение четырех месяцев мы не могли добиться никакого результата с русскими, и господь знает, когда мы их настигнем!» — так писал Коленкур, герцог Виченцский, вовсе не склонный, вообще говоря, терять бодрость духа. На парижской бирже после Эйлау сразу пали все государственные облигации. Вдали от Франции, лицом к лицу с русской армией, которая нанесла ему ничуть не менее жестокий удар, чем сама от него получила, Наполеон должен был готовиться к решающей схватке. Неудача или даже новая нерешительная битва вроде второго Эйлау могла стать началом всеевропейского восстания против завоевателя.

5

Стояла зима, холодная, туманная, нужно было расположиться лагерями в дотла разоренной Польше и восточной Пруссии. Госпитали были переполнены тяжело ранеными после Эйлау. С полей битв на много километров вокруг шли миазмы от десятков тысяч разложившихся и неубранных трупов, вынуждая уходить подальше.

Наполеон решил выжидать наступления весны для возоб-

новления военных действий. Непрерывно лично контролируя и ревизуя самые далекие пункты громадного района, он посещал госпитали, следил за подвозом провианта, комплектовал поредевшие ряды своей армии новыми силами — подходившими из Франции новобранцами. Император принимал во внимание, что русские почти у себя дома, в двух шагах от своих границ, а он отдален от Франции всей толщей,— правда, побежденных, почти покоренных,— тайно ненавидевших его европейских государств. Необходимые жизненные припасы приходилось получать издалека. Местные жители, вконец разграбленные войсками, сами умирали голодной смертью, бродили вокруг французских лагерей с женами и детьми, выпрашивая подаяние.

Наполеон не желал проводить эту зиму в комфорте одного из занятых им городов, в Познани, в Бреславле или в роскошном варшавском дворце. Ему хотелось личным примером подбодрить солдат в этом тяжелом походе. «Я не снимал ни разу сапог в течение 15 дней... Мы — среди снега и грязи, без вина, без водки, без хлеба, едим картошку и мясо, делаем долгие марши и контрмарши, без всяких удобств, бьемся обыкновенно штыковым боем или под картечью, раненых везут в открытых санях на расстоянии 50 лье... Мы ведем войну изо всех сил и во всем ее ужасе»,— так писал император с этих зимних стоянок своему брату Жозефу, которого он назначил королем неаполитанским.

Месяцы невольного военного затишья были для Наполеона временем самой кипучей деятельности. Почти каждые 3—4 дня прибывали курьеры из Парижа, из Амстердама, из Милана, из Неаполя, из Берлина с докладами министров, с реляциями маршалов и наместников, с донесениями послов. Самодержавно правя несколькими большими государствами, Наполеон всегда оставлял за собой окончательное решение по всем существенным вопросам. Жил он то в амбаре (в Остероде), то в крестьянской избе и там читал бумаги и диктовал приказы и резолюции. В течение дня он писал приказ об усилении таможенного надзора и подписывал с изменениями устав института для офицерских дочерей, делал выговор голландскому королю, другому своему брату, Людовику, или требовал от баварского короля усилить надзор в Тироле. Приказывал испанским Бурбонам увеличить прибрежную охрану и, одновременно следя за литературой, гневался на нелепые, по его мнению, литературные взгляды журнала «Mercure de France» и приказывал министру полиции Фуше немедленно *переменить* все литературные мнения этого журнала, а уж кстати подыскать нового редактора, и чтобы новый редактор был умный. Он осведомлялся и о шелковом производстве в Лионе и почему

позволяют парижским актрисам государственного театра интриговать друг против друга и этим вредить делу. Приказывал изгнать из Парижа г-жу Сталь за либеральный образ мыслей и проверял отчеты и доклады министерства финансов и обнаруживал в них ошибки и неточности. Увольнял и назначал чиновников в Италии, отдавал распоряжения о бдительном наблюдении за Австрией и австрийскими военными приготовлениями и назначал ревизии в города и села Пруссии.

Все эти бесчисленные и разнохарактерные дела решались Наполеоном ясно, точно, без всяких замедлений, и он не только решал те дела, которые ему присылались министрами, генералами, послами, но и сам ставил новые вопросы и срочно приказывал разработать соответствующие доклады. Курьеры летели сломя голову в указанном направлении, и приказание исполнялось. Все это делалось Наполеоном одновременно с главными его трудами по дипломатической и военной подготовке наступающей весенней кампании.

Наполеону блистательно удалось то, к чему он стремился уже с конца 1806 г.: он побудил султана турецкого, объявившего России войну, к более энергичным действиям. Он написал султану (в марте 1807 г.) письмо, очень ловко составленное, а перед тем искусно сумел поссорить султана Селима и с Англией, так что Селим повел себя гораздо энергичнее. Это отвлекало часть русских сил от Вислы и Немана, где должна была решиться участь кампании. Вел Наполеон некоторое время и переговоры с укрывавшимся в Кенигсберге прусским двором. Его условия показались слишком жестокими Фридриху-Вильгельму III, который после Эйлау несколько воспрянул духом. Переговоры были прерваны королем по настоянию Александра. А 26 апреля король лично повидался с Александром в Бартенштейне и стал совсем непримирим: он выставил условия, на которые Наполеон ни за что не пошел бы даже после тяжкого поражения.

Наполеон не признавал, что на войне могут быть мелочи, и поэтому все взвесил, все предусмотрел, зная, от каких мелочей иногда зависит исход боя в решительный момент. Новые солдаты, новая артиллерия, огнеприпасы подходили в императорские лагери и распределялись самим Наполеоном по корпусам. Он в свое время издал ряд постановлений и заключил целую серию договоров, по которым пополнялась теперь его армия немцами, итальянцами, голландцами.

Европа в тот момент до такой степени была запугана, что Наполеон делал решительно все, что заблагорассудится, даже с теми державами, которые вовсе ни с ним и ни с кем вообще не воевали. Так, например, работая над пополнением армии к предстоящему новому столкновению с русскими войсками,

Наполеон установил, что от Испании можно потребовать около 15 тысяч человек (не имея, впрочем, на то ни малейших прав или оснований, тем более что Испания вовсе и не состояла в войне ни с Пруссией, ни с Россией). Немедленно в Мадрид летит бумага, в которой Наполеон обращает внимание испанского министра дона Годоя на то, что эти 15 тысяч человек, «абсолютно бесполезные» сами по себе, ему, Наполеону, напротив, были бы очень полезны. Этот аргумент (других не было, да и быть не могло) показался испанскому правительству настолько убедительным, что требуемые 15 тысяч испанцев были немедленно отправлены к Наполеону в восточную Пруссию, а отчасти на север Германии. К маю 1807 г. у Наполеона в распоряжении было восемь маршалов, в корпусах которых числилось 228 тысяч человек, да еще около 170 тысяч стояли в оккупированной Пруссии, пока не привлеченные к участию в начинавшейся весенней кампании. Дела с провиантом весной поправились. 26 мая сдался маршалу Лефевру Данциг после сравнительно продолжительной осады, и там было найдено огромное количество провианта и запасов всякого рода.

Близилась развязка. Русская армия, за эти месяцы (после Эйлау) также пополненная численно, была гораздо хуже снабжена, чем великая армия Наполеона. Злоупотребления происходили, конечно, и во французской армии; преследуя воров и взяточников, спекулянтов и подрядчиков, недобросовестных финансистов и скупщиков, Наполеон все-таки в этой борьбе победы не одержал, и во Франции даже говорили, что эти воры только усмехаются, когда при них называют императора «непобедимым». Только что говорилось, как трудно жилось французам в этой разоренной стране зимой 1807 г.; русским жилось, вне всякого сравнения, еще хуже. Русские солдаты голодали, холодали, умирали.

Александр I страшился нового Аустерлица. В русских правящих и придворных кругах давно уже возникла мысль о необходимости напрячь не только материальные, но и все духовные силы русского народа и воодушевить его к великой борьбе. Курьезнейшие последствия имела эта мысль. На предмет одушевления народа обратились к синоду. Синод — неизвестно, по чужому ли внушению или под наитием собственного наплыва мыслей,— решился на странный поступок, повергший тогда многих в полное недоумение. Появилось послание ко всем православным христианам от их духовных пастырей, в котором сообщалось, что Наполеон есть предтеча антихриста, что он — исконный враг веры христовой, создатель еврейского синедриона, что он в свое время отрекся от христианства и предался Магомету (это был намек на Египет и Сирию), что

войну с Россией он затеял и ведет с прямой и главной целью разрушить православную церковь.

Таково было главное содержание этого изумительного документа, который читался во всех церквах России с церковного амвона. Не успела эта идеологическая подготовка России к борьбе с антихристовым воинством должным образом развернуться, как уже пробил решительный час.

С начала мая, по приказу Наполеона, все части, находившиеся в городах и деревнях, выступили в лагери, и вскоре армия была в полной боевой готовности. Не зная этого, Беннигсен решил начать наступление в начале июня. Его очень торопил приехавший к армии Александр I, основываясь на преувеличениях самого же Беннигсена, который, приукрашивая свое первоначальное повествование о битве под Эйлау, довел, наконец, царя до убеждения, будто Наполеону был нанесен 8 февраля страшный удар и что теперь, когда зима кончилась и дороги стал проходимыми, не следует терять времени.

Наступление русской армии началось уже 5 июня: по приказу Беннигсена Багратион напал на корпус маршала Нея, выдвинутый впереди всех по направлению к русскому расположению, а казачий атаман Платов перешел через реку Алле. Ней с боем стал отходить; против него действовали и ему в общем угрожали до 30 тысяч человек — гораздо больше, чем было у него. Одновременно последовало наступление русских войск и в других пунктах.

Наполеон думал начать наступление на русскую армию 10 июня. Внезапное наступление русских заставило его сейчас же составить новый план. Немедленно прибыв на место действия, он с удивлением увидел, что русские вдруг, по непонятной причине, остановились, прекратив преследование корпуса Нея, и, постояв меньше двух суток, неожиданно повернули обратно. Быстро сосредоточив в один кулак шесть корпусов и, кроме того, свою гвардию (в общей сложности больше 125 тысяч человек), Наполеон отдал приказ маршалам об общем контрнаступлении на русских. У Беннигсена в этот момент было по одним подсчетам 85, а по другим — около 100 тысяч годных к бою солдат. В окрестностях Гейльсберга Беннигсен остановился на укрепленной позиции, и здесь произошла 10 июня битва, длившаяся несколько часов. Французский авангард потерял убитыми и ранеными около 8 тысяч человек, русские — около 10 тысяч. Наполеон направил два корпуса на Кенигсбергскую дорогу, и в результате этого маневра Беннигсен отступил к Бартенштейну, на северо-восток. Беннигсен был ранен в бою. Сражение при Гейльсберге, по мысли Беннигсена, должно было несколько задержать Наполеона, но император направил главные свои силы через Эйлау

прямо на Кенигсберг. Он предвидел, что Беннигсен попытается спасти этот главный город восточной Пруссии. И действительно, в три часа ночи 14 июня маршал Ланн заметил, что русская армия, накануне вошедшая в местечко Фридланд, готовится оттуда перейти на западный берег реки Алле и выступить по направлению к Кенигсбергу. Немедленно маршал Ланн открыл огонь.

Так завязалась громадная битва 14 июня 1807 г., кончившая эту войну. Ланн послал адъютантов известить Наполеона. Император сейчас же отдал приказ всем своим войскам идти к месту боя и туда же помчался сам. Он открыл губительную ошибку Беннигсена, который, торопясь перейти через реку, сосредоточил значительную массу своей армии в излучине реки Алле, где она была сдавлена. Маршал Ней получил опасное поручение — врезаться в массу русских войск. Русские (особенно кавалергарды под начальством Кологривова) защищались очень храбро, и часть корпуса Нея, построенного для атаки чрезвычайно плотно, была истреблена при атаке. Французы с боем вошли во Фридланд, разрушив мосты через реку Алле. Наполеон лично руководил боем. Когда над его головой пролетела бомба и стоявший рядом солдат быстро нагнулся, то император сказал испуганному солдату: «Если б эта бомба была предназначена для тебя, то даже если бы ты спрятался на 100 футов под землю, она нашла бы тебя». Несмотря на храбрость русских войск, роковая ошибка главнокомандующего Беннигсена погубила их окончательно: русские войска должны были бросаться в реку, чтобы уйти от огня французской артиллерии. Часть их побежала вдоль реки, часть сдалась в плен, но сдавшихся оказалось немного, потонувших было гораздо больше. Почти вся русская артиллерия попала в руки Наполеона. После утраты своей артиллерии и страшных потерь (больше 25 тысяч убитыми, ранеными и пленными) Беннигсен быстро отступил к реке Прегель, теснимый французами. Единственный шанс спасения от полного истребления заключался в бегстве. Сейчас же после битвы при Фридланде маршал Сульт вошел в Кенигсберг, где захватил огромные боевые запасы, хлеб, одежду,— все это как раз только что было привезено с моря англичанами, не предвидевшими такой близкой катастрофы. Армия Наполеона подошла к Неману 19 июня, через пять дней после битвы под Фридландом. Остатки русской армии успели переправиться через реку. Наполеон стоял на границе Русской империи, у Тильзита.

19 июня вечером на аванпосты французской кавалерийской дивизии, стоявшей на берегу Немана, явился под белым парламентерским флагом русский офицер из отряда Багратиона,

просивший передать маршалу Мюрату письмо от русского главнокомандующего Беннигсена. Беннигсен предлагал заключить перемирие. Мюрат немедленно переслал письмо императору. Наполеон изъявил согласие. Кровопролитная борьба окончилась.

6

До последней минуты Александр не считал своего дела проигранным. Еще 12 июня, когда в Тильзите были получены известия о битве при Гейльсберге, кончившейся тяжкими потерями и отступлением русской армии, брат царя Константин Павлович настойчиво советовал Александру, и в очень резких выражениях, немедленно мириться с Наполеоном. «Государь,— вскричал Константин,— если вы не хотите мира, тогда дайте лучше каждому русскому солдату заряженный пистолет и прикажите им всем застрелиться. Вы получите тот же результат, какой даст вам новая (и последняя!) битва, которая откроет неминуемо ворота в вашу империю французским войскам». Александр решительно воспротивился. Он выехал из Тильзита навстречу русским резервам вечером 14 июня, как раз когда русская армия погибала у Фридланда в волнах Алле, а уже с утра 15-го в Тильзит стали приходить первые известия о происшедшей катастрофе: что треть русской гвардии истреблена под Фридландом, что войска, геройски сражаясь, все же утомлены и не хотят больше воевать, что Беннигсен потерял голову и не знает, что делать. Слухи сменились самыми точными сведениями: русскую армию постиг под Фридландом почти такой же страшный разгром, как в 1805 г. под Аустерлицем; Наполеон с великой армией может немедленно начать вторжение в Россию. В верхах русской армии царила полная паника.

Знаменитый впоследствии партизан Денис Давыдов, наблюдавший армию сейчас же после Фридланда, писал: «Я прискакал 18 июня в главную квартиру, которую составляла толпа людей различного рода. Тут были англичане, шведы, пруссаки, французы-роялисты, русские военные и гражданские чиновники, разночинцы, чуждые службе и военной и гражданской, тунеядцы, интриганы,— словом, это был рынок политических и военных спекулянтов, обанкротившихся в своих надеждах, планах и замыслах... Все были в полной тревоге, как будто через полчаса должно было наступить светопреставление».

Беннигсен просил у Александра позволения заключить перемирие. Александр на этот раз смирился...

Получив русское предложение, Наполеон, как мы уже говорили, тотчас же согласился. Воевать с Россией дальше не имело для него никакого смысла: для подобного предприятия

требовалась иная подготовка. Пруссия была разгромлена вконец, а Россия могла согласиться принять континентальную блокаду и войти тем самым в политическую систему, которую возглавлял Наполеон. Больше ему пока от Александра ничего не было нужно.

22 июня Александр отправил генерала князя Лобанова-Ростовского к Наполеону в Тильзит, где после сражения при Фридланде поселился французский император. Наполеон начал разговор с Лобановым с того, что подошел к столу, где была разложена географическая карта, и, показав на Вислу, сказал: «Вот граница обеих империй; по одну сторону должен царствовать ваш государь, а по другую сторону — я». Этим Наполеон показал, что он намерен стереть Пруссию с лица земли и поделить при этом Польшу.

Александр отсиживался пока в Шавлях. В эти грозные дни, пока не вернулся князь Лобанов с подписанным перемирием, Александр переживал нечто похуже того, что ему пришлось испытать после Аустерлица. Наполеон мог через полторы недели быть в Вильне. «Мы потеряли страшное количество офицеров и солдат; все наши генералы, а в особенности лучшие, ранены или больны,— признавался Александр.— Конечно, Пруссии придется круто, но бывают обстоятельства, среди которых надо думать преимущественно о самосохранении, о себе и руководиться только одним правилом — благом государства». Самосохранение (sa propre conservation), как выразился Александр в разговоре с князем Куракиным в Шавлях, заставило Александра круто, в 24 часа после того, как он узнал о Фридланде, изменить всю свою политику и решиться на мир и, если понадобится, даже на союз с Наполеоном. Пропадет ли при этой внезапной русской перемене Пруссия окончательно или от нее останется территориальный обрубок, это — дело второстепенное.

Придворные, собравшиеся в Шавлях вокруг царя, трепетали, как осиновый лист, боясь нападения наполеоновского авангарда.

Порыв восторга охватил Александра и его окружающих, когда они узнали о согласии Наполеона на перемирие и на мир. Немедленно же Александр I приказал уверить французского императора, что он, Александр, горячо желает тесного союза с Наполеоном и что только франко-русский союз может дать всему свету счастье и мир. Ратифицировав акт перемирия, он сообщил о желательности личного свидания с Наполеоном.

Александр Павлович не мог больше оттягивать объяснения с Фридрихом-Вильгельмом III, который до последней минуты уповал на своего друга. Царь и объяснил ему все, как было. Король послал просьбу Наполеону о перемирии. Он хотел отря-

дить во французскую императорскую квартиру в Тильзит патриотически настроенного министра Гарденберга. Но Наполеон так бешено закричал, когда осмелились назвать это имя, и так затопал ногами, что больше о Гарденберге и не заикались. Королю дали понять, что пощады не будет.

25 июня 1807 г. во втором часу дня состоялась первая встреча обоих императоров. Чтобы Александру не пришлось ехать на французский, завоеванный, берег Немана, а Наполеону — на русский, на самой середине реки был утвержден плот с двумя великолепными павильонами. На французском берегу была выстроена вся наполеоновская гвардия, на русском — небольшая свита Александра.

Тот же прославившийся впоследствии русский партизан Денис Давыдов был очевидцем этого исторического события, и его показание вводит нас во все переживания свидетелей тильзитской встречи так, как не может сделать никакой историк.

«Дело шло о свидании с величайшим полководцем, политиком, законодателем, администратором и завоевателем, поразившим... войска всей Европы и уже два раза нашу армию и ныне стоявшим на рубеже России. Дело шло о свидании с человеком, обладавшим даром неограниченно господствовать над всеми, с коими он имел дело, и замечательным по своей чудесной проницательности...

...Мы прибежали на берег и увидели Наполеона, скачущего во всю прыть между двумя рядами своей старой гвардии. Гул восторженных приветствий и восклицаний гремел вокруг него и оглушал нас, стоявших на противном берегу; конвой и свита его состояли по крайней мере из четырехсот всадников... В эту минуту огромность зрелища восторжествовала над всеми чувствами... Все глаза обратились и устремились на противоположный берег реки, к барке, несущей этого чудесного человека, этого невиданного и неслыханного полководца со времен Александра Великого (Македонского) и Юлия Цезаря, коих он так много превосходит разнообразием дарований и славою покорения народов просвещенных и образованных» [1].

Денис Давыдов уже по цензурным условиям не мог в своих воспоминаниях передать, как не только он, но и большинство русского офицерства смотрели в тот день на Александра, который, по его словам, «прикрывал искусственным спокойствием» свое волнение. Но мы и без Давыдова хорошо знаем это из многочисленных позднейших свидетельств.

В русских военных кругах на Тильзитский мир сохранился взгляд как на гораздо более постыдное событие, чем аустерлицкое или фридландское поражение. И в данном случае позднейшая либеральная дворянская молодежь сошлась в воззрениях с непосредственными участниками этих войн.

В стихотворении Пушкина (1824 г.) Александру I является видение Наполеона:

Таков он был, когда в равнинах Аустерлица
Дружины севера гнала его десница,
И русский в первый раз пред гибелью бежал,
Таков он был, когда с победным договором
И с миром и с позором
Пред юным он царем в Тильзите предстоял.

Только после революции у нас стали правильно печатать этот текст; почти во всех старых изданиях вводилось смягчение («с миром иль с позором»), искажавшее мысль Пушкина.

Так или иначе, чаша, которую предстояло испить Александру, оказалась не так горька, как он мог ожидать. Как только оба императора высадились одновременно на плоту, Наполеон обнял Александра, и они ушли в павильон, где немедленно и началась продолжавшаяся почти два часа беседа. Ни тот, ни другой император не оставил систематического изложения этого разговора, но несколько фраз сделались потом известными, а общий смысл этой беседы, конечно, отразился в подписанном спустя несколько дней мирном трактате. «Из-за чего мы воюем?» — спросил Наполеон. «Я ненавижу англичан настолько же, насколько вы их ненавидите, и буду вашим помощником во всем, что вы будете делать против них»,— сказал Александр. «В таком случае все может устроиться и мир заключен»,— ответил Наполеон.

Король Фридрих-Вильгельм весь этот час и пятьдесят минут, пока императоры сидели в павильоне на плоту, находился на русском берегу Немана, все надеясь, что его позовут тоже. Наполеон допустил его к свиданию лишь на следующий день и обошелся с ним так презрительно, как только возможно. Расставаясь, французский император пригласил Александра к обеду, а короля прусского не пригласил, еле кивнул ему головой и повернулся к нему спиной. 26 июня Александр, по приглашению Наполеона, переехал в Тильзит, и свидания между императорами с этих пор происходили каждый день. Сначала Наполеон никого из своих министров не допускал к переговорам. «Я буду вашим секретарем, а вы моим секретарем»,— сказал он Александру. Обнаружилось, с первых же слов Наполеона, поистине отчаянное положение Пруссии. Наполеон просто предлагал ее поделить: все к востоку от Вислы пусть берет себе Александр, а к западу — Наполеон. С королем Фридрихом-Вильгельмом он вообще не желал разговаривать и не столько говорил с ним о делах в тех редких случаях, когда вообще допускал его к себе, сколько делал ему резкие выговоры и бранил его. «Подлый король, подлая нация, подлая армия, держава, которая всех обманывала и которая *не заслуживает существования»*,— так

говорил Наполеон Александру о его друге, которому русский царь в свое время столь трогательно клялся в вечном союзе и любви над гробом Фридриха II. Александр в ответ ласково и учтиво улыбался и только просил французского императора все же кое-что от Пруссии оставить, несмотря на все эти ее предосудительные качества.

В полной панике прусский король решился буквально на все. Он решил пустить в ход красоту своей жены и экстренно выписал в Тильзит королеву Луизу, слывшую замечательной красавицей. Именно ее Наполеон и считал в начале войны с Пруссией своим врагом, именно ее-то и приказал грубо ругать в газетах. Но при прусском дворе надеялись на смягчение гнева сурового победителя при личном свидании и в доверительной беседе с красавицей. Луизе наскоро внушили, о чем просить; на многое не надеялись, зная, как мало влияли на Наполеона даже те женщины, которыми он увлекался. Было устроено свидание во дворце в Тильзите. Королеве внушали, чтобы она выпросила хотя бы возвращение г. Магдебурга и еще кое-каких территорий. Наполеон вошел во дворец на свидание прямо с верховой прогулки, в простом егерском мундире, с хлыстом в руке, а королева встретила его в самом торжественном и пышном своем туалете. Свидание их продолжалось очень долго с глазу на глаз. Когда, наконец, король Фридрих-Вильгельм, не выдержав позорнейшего своего положения пред лицом наблюдавших его придворных, отважился войти, интимное собеседование императора с королевой было прервано, никаких результатов Луиза еще не успела добиться... «Если бы король прусский вошел в комнату немного позже, мне бы пришлось уступить Магдебург»,— говорил потом шутя Наполеон своим маршалам.

Пруссии были оставлены «Старая Пруссия», Померания, Бранденбург и Силезия. Все остальное и на западе и на востоке было у нее отнято. Наполеон при этом постарался совсем растоптать национальное самолюбие Пруссии, вставив в 4-ю статью Тильзитского договора, что он возвращает названные четыре провинции, т. е. не стирает окончательно Пруссию с лица земли «из уважения к его величеству императору всероссийскому». Все владения Пруссии к западу от Эльбы вошли в образованное теперь Наполеоном новое королевство, Вестфальское, в состав которого Наполеон включил еще и Великое герцогство Гессенское, а вскоре и Ганновер. Это новое королевство Наполеон отдал младшему своему брату Жерому Бонапарту. Из отнятых у Пруссии польских земель (Познанской и Варшавской областей) было создано Великое герцогство Варшавское, куда в качестве великого герцога Наполеон назначил своего нового союзника, саксонского короля. Александр I (по

настоянию Наполеона) получил из польских владений небольшой Белостокский округ. Между Наполеоном и Александром был заключен тайный (пока) оборонительный и наступательный союз. Тем самым Россия обязывалась принять к исполнению декрет Наполеона о континентальной блокаде.

8 июля 1807 г. был окончательно подписан унизительный для Пруссии и всей Германии Тильзитский мир.

Празднества и смотры в Тильзите продолжались до вечера 8 июля.

Оба императора в течение всего этого времени были неразлучны, и Наполеон всячески стремился подчеркнуть свое полное расположение к бывшему врагу, а нынешнему союзнику. Когда 9 июля Наполеон и Александр произвели вместе смотр французской и русской гвардии и затем, расцеловавшись перед войсками и массой собравшихся у Немана зрителей, расстались, то в этот момент еще никто, кроме обоих императоров и их ближайших сановников, не знал огромной перемены, которая произошла в мировой ситуации за эти несколько тильзитских дней.

Глава X

ОТ ТИЛЬЗИТА ДО ВАГРАМА
1807—1809 гг.

1

Из Тильзита, встречаемый по всей Германии знаками рабоденного преклонения, Наполеон проехал в Париж. Казалось, он достиг теперь такой недосягаемой вершины могущества, до которой никогда не добирался ни один властитель в истории. Самодержавный император громадной Французской империи, заключавшей в себе Бельгию, западную Германию, Пьемонт, Генуя, король Италии, протектор (т. е. фактический самодержец) громадной части германских земель Рейнского союза, к которому теперь присоединилась и Саксония, повелитель Швейцарии,— Наполеон точно так же самодержавно, как в своей империи, повелевал и в Голландии и в Неаполитанском королевстве, где королями он посадил своих братьев Людовика и Жозефа, и во всей средней и части северной Германии, которую он под названием Вестфальского королевства отдал третьему брату, Жерому, и в значительной части бывших земель Австрии, которые он отнял у Австрии и отдал своему вассалу, баварскому королю, и в северной части европейского побережья, где Гамбург, Бремен, Любек, Данциг, Кенигсберг были заняты его войсками, и в Польше, где вновь созданная армия находилась в подчинении у маршала Даву и где считался правителем вассал и слуга Наполеона саксонский король, которого Наполеон назначил туда великим герцогом.

Наполеону принадлежали сверх того Ионические острова, г. Каттаро и часть Адриатического побережья Балканского полуострова. Пруссия, сведенная к малой территории, урезанная в праве своем содержать армию, подавленная наложенными на нее разнообразными контрибуциями, трепетала от каждого слова Наполеона; Австрия молчала и покорялась; Россия была в тесном союзе с Французской империей. Только одна Англия продолжала борьбу.

По приезде в Париж из Тильзита Наполеон провел с помощью министра финансов Годэна и начальника казначейства Мольена ряд обширных реформ по реорганизации финансов, прямого и косвенного обложения и т. д. Результатом было то, что доходы империи (750—770 миллионов), беспощадно выкачиваемые из французского и порабощенных народов, полностью покрывали расходы, даже уже считая наперед расходы на содержание армии во время войны. Это — характерная черта наполеоновских финансов: расходы на войну он считал «обыкновенными» расходами, а вовсе не чрезвычайными. Государственный кредит был так прочен, что учрежденный при Наполеоне (и теперь существующий с тем самым статутом) Французский банк платил за вклады не 10%, как еще в 1804 и 1805 гг., а 4%. Италия, числившаяся «самостоятельным» от Франции королевством, платила Франции ежегодно 36 миллионов франков золотом. Эту сумму щедрый «король Италии» Наполеон великодушно дарил ежегодно императору французов Наполеону. Что касается расходов по управлению Италией, то они покрывались исключительно из итальянских же доходов. Наместником Италии с титулом вице-короля был пасынок Наполеона Евгений Богарне. Нечего и говорить, что французская армия, стоявшая в Италии, содержалась за счет Италии. Подобные же взносы делали и французскую армию на свой счет содержали и другие страны, где прямо или косвенно владычествовал Наполеон. Выжимая золото контрибуциями и всякими поборами из покоренных стран, Наполеон установил во Франции регулярную чеканку золотой монеты, и монета пускалась в коммерческое обращение. Упорядочение финансов, начатое им еще в эпоху Консульства, было завершено в 1807 г., по возвращении из Тильзита.

Он хотел одновременно предпринять и ряд мер по поднятию французской промышленности, но здесь дело оказалось сложнее; предполагаемые им меры должны были осуществляться в неразрывной, теснейшей связи с проведением континентальной блокады. Вскоре после возвращения из Тильзита Наполеон стал обдумывать грандиозное политическое предприятие, без которого, по его мнению, реализация блокады Англии была немыслима. И лишь начав это предприятие, он развернул широкую деятельность в области экономики. Поэтому мы прежде должны будем ознакомиться с началом этого нового дела, а именно — попыткой завоевания Пиренейского полуострова, а потом уже перейдем к анализу последствий континентальной блокады для отдельных общественных классов империи и для всей наполеоновской политики.

Следует заметить, что в осенние месяцы 1807 и зимой 1808 г. между императором и его маршалами, императором и его ми-

нистрами, императором и самыми близкими к нему сановниками стало, еще пока очень скрыто и для посторонних неявственно, обозначаться некоторое расхождение. Двор Наполеона утопал в роскоши; старая и новая знать, старая и новая крупная буржуазия соперничали друг с другом в блеске пиров, банкетов, балов; золото лилось рекой, иностранные принцы, вассальные короли, приезжавшие на поклон, подолгу жили в столице мира и тратили громадные суммы. Это был какой-то непрерывный блестящий праздник, волшебная феерия в Тюильри, в Фонтенбло, в Сен-Клу, в Мальмезоне.

Никогда при старом режиме не было такого блеска и такой громадной толпы залитых бриллиантами царедворцев обоего пола. Но все они знали, что в далеком кабинете дворца, куда не долетают звуки веселья, часто стоит, склонившись над географической картой Пиренейского полуострова, их властитель и что многим из беспечно танцующих придется, по велению императора, внезапно распроститься со всей роскошью, в которой они купаются, и опять стоять под ядрами и пулями. И во имя чего?

Уже после Аустерлица очень многим из сподвижников Наполеона казалось, что нужно, наконец, поставить точку, что Франция достигла небывалого могущества, о котором едва ли могла мечтать. Конечно, все население империи безропотно повиновалось Наполеону; крестьяне пока еще выносили рекрутские наборы, торговцы (кроме купечества приморских городов) и особенно промышленники радовались расширению рынков сбыта и торговых возможностей. Впрочем, сановники и маршалы, которые начали призадумываться после Тильзита, не опасались, что строю грозит внутренняя революция. Им известно было, что рабочие предместья крепко сдавлены наполеоновской рукой. Они боялись другого: их пугали чудовищные размеры наполеоновских владений.

Бесконтрольная, абсолютно ничем не ограниченная власть императора над колоссальным конгломератом стран и народов, от Кенигсберга до Пиреней (и, фактически, уже за Пиренеями), от Варшавы и Данцига до Неаполя и Бриндизи, от Антверпена до северо-западных Балканских гор, от Гамбурга до острова Корфу, начинала смущать приближенных. Даже самое поверхностное знание истории и даже искусственно заглушаемый голос инстинкта говорили им, что подобные мировые монархии крайне недолговечны и являются не только в высшей степени редким, но и в высшей степени хрупким созданием игры исторических сил. Они сознавали (и потом говорили), что все сделанное Наполеоном, от начала его карьеры до Тильзита, больше походило на диковинную сказку, чем на историческую действительность. Но многие из них — не один только Талейран —

полагали, что продолжать дальше вписывать новые сказки в скрижали истории будет все труднее и опаснее.

Наполеон был неслыханно щедр к своим ближайшим военным и гражданским помощникам. После Тильзита он подарил маршалу Ланну миллион франков золотом, Нею — около 300 тысяч ежегодной и пожизненной ренты; маршалу Бертье подарил полмиллиона золотом да еще 405 тысяч ежегодной ренты; прочих маршалов и многих генералов и офицеров одарил тоже очень широко. Министров Годэна, Мольена, Фуше, Талейрана одарил меньше, чем маршалов, но тоже очень щедро. Все офицеры гвардии и армии, принимавшие фактическое участие в боях, получили также вознаграждение, многие получили хорошие пенсии, раненые получили втрое больше, чем не раненые. Эта щедрость не стоила, впрочем, французской казне ни одного франка: помимо огромных контрибуций, которые должны были уплачивать побежденные страны победительнице-Франции, Наполеон налагал (часто на отдельные города и корпорации) на те же страны еще особые поборы, простиравшиеся до десятков миллионов (40 миллионов с Вестфальского королевства, был образован земельный фонд Ганновера ценностью в 20 миллионов, 30—35 миллионов с Польши и т. д.), которые шли в личное бесконтрольное его распоряжение. Выдавая из этих сумм огромные награды своим приближенным, все, что оставалось, Наполеон складывал в те «подвалы Тюильри», где у него лично, по его собственным словам, в 1812 г. было 300 миллионов франков (золотом). Суммы на содержание его двора, его официальный цивильный лист (25 миллионов) — все это было ничтожно сравнительно с бесконтрольными суммами, поступавшими в его распоряжение совершенно независимо от государственного бюджета. Горе побежденным! «Война должна кормить себя сама»,— говорил Наполеон. Этот принцип строго проводился при Первой империи.

Таким образом, у Наполеона в руках и оказался совсем особый ежегодно правильно поступающий в его распоряжение многомиллионный доход с завоеванных земель. Этими деньгами он и оделял самой щедрой рукой свою армию и своих сановников. Но все эти колоссальные награды, посыпавшиеся на маршалов и генералов, пробуждали в них стремление спокойно пользоваться всеми этими богатствами и почестями. Ведь вся жизнь идет и пройдет в почти непрерывных войнах!

Все знали, что Наполеон, едва вернувшись из Тильзита, начал готовить армию для похода на Португалию через Испанию. Решительно не понимали, если не все, то очень многие, зачем это делается. Тут следует снова напомнить о континентальной блокаде, потому что отныне ни одно сколько-нибудь

важное действие Наполеона нельзя уяснить себе, если хоть на минуту забыть о континентальной блокаде.

Задавшись целью экономически задавить Англию при помощи континентальной блокады, Наполеон был совершенно последователен: он не мог доверять ни династии Браганца в Португалии, ни династии Бурбонов в Испании, не мог поверить, что обе эти династии станут исправно и сознательно разорять вконец свои страны, воспрещая крестьянам, хуторянам, помещикам продавать англичанам мериносовую шерсть и преследуя ввоз дешевых машинных английских фабрикатов в Испанию и Португалию. Ясно было, что они, беспрекословно приняв берлинский декрет Наполеона о блокаде, будут тайно, под рукой, попустительством, снисходительностью к контрабанде и тысячей других способов нарушать этот декрет. А при колоссальной береговой линии Пиренейского полуострова, при полном владычестве английского флота и в Бискайском заливе, и во всем Атлантическом океане, и в Средиземном море, при наличности на самой территории Пиренейского полуострова английской крепости Гибралтара было ясно, что ни о каком фактическом проведении блокады и речи быть не может, пока Наполеон не является полным владыкой Португалии и Испании. И для него принципиальный вопрос был решен бесповоротно: все берега Европы, и южные, и северные, и западные, должны быть под непосредственным французским таможенным надзором. Кто этого не желает, того нужно убрать с дороги. Испанские Бурбоны унижались перед ним и лгали ему: они не могли и не хотели изгнать англичан и фактически воспрепятствовать английской торговле. То же делала и Браганцская династия в Португалии, которая тоже раболепствовала перед Наполеоном до полного забвения человеческого достоинства, а на блокаду все-таки старалась смотреть сквозь пальцы.

Между тем Англия, оставшись после Тильзита без союзников, твердо решилась усилить борьбу. В начале сентября 1807 г. английская эскадра бомбардировала Копенгаген, так как были слухи, что Дания примкнет к континентальной блокаде. Наполеон пришел в ярость, когда узнал об этом событии. Это ускорило его решение завоевать Португалию и Испанию. В октябре 1807 г. армия в 27 тысяч человек под командой маршала Жюно двинулась по приказу Наполеона через испанскую территорию на Португалию. За этой армией почти вслед была отправлена и другая, в 24 тысячи человек, под начальством генерала Дюпона. Кроме того, Наполеон послал туда около 5 тысяч кавалерии (драгун, гусар и егерей). Португальский принц-регент обратился за защитой к Англии. Он боялся Наполеона, но не меньше боялся и англичан, которые могли с моря так же легко разрушить Лиссабон, как они перед этим разрушили Копенгаген.

Испанию Наполеон поставил во вторую очередь: ему хотелось приняться за нее, когда уже все будет покончено с Португалией; тогда начать покорение Испании будет легко, имея две базы: одну — в южной Франции, а другую — в Португалии. Император даже не потрудился дипломатически известить Испанию о том, что его войска пройдут через испанскую территорию. Он просто велел маршалу Жюно, перейдя границу, послать об этом извещение в Мадрид. Там смиренно приняли известие.

При дворе Наполеона великий канцлер империи Камбасерес осмелился почтительнейше возражать против начинавшегося предприятия. Напротив, Талейран всецело одобрял императора. Талейран после Тильзита, в августе 1807 г., ушел в отставку. Поводом были замечания Наполеона о взятках и вымогательствах, в чем очень грешен был Талейран, а причиной — то, что Талейран, уже издалека чуя катастрофичность мировой политики Наполеона, решил постепенно отдалиться от активной роли. Тем не менее он остался при дворе в больших чинах и почестях. Теперь он желал вновь вкрасться в милость к Наполеону и поддакивал всему, что только затевал император, хотя лично считал уже тогда испанское предприятие очень трудным и чреватым опасными последствиями.

Французская армия под начальством Жюно пошла по испанской территории прямо на Португалию. Дорога для солдат оказалась очень трудной, плохо устроенной, пустынной, провианта не было. Французы грабили крестьян, те мстили, где могли, подкалывая отстающих. После похода, длившегося больше шести недель, Жюно вошел (29 ноября 1807) г. в Лиссабон. Королевская семья за два дня до того села на английский корабль и бежала из своей столицы.

Наступила очередь Испании.

2

Положение в Испании было следующее: на престоле сидел Карл IV, слабый и глупый человек, всецело находившийся под влиянием своей жены и ее фаворита, дона Годоя. Король, королева и Годой находились в непримиримой вражде с наследником престола Фердинандом, на которого в эти годы (1805, 1806, 1807) испанское дворянство и испанская буржуазия возлагали большие надежды. Расстройство финансов и администрации, беспорядки во всех областях внутренней политики, мешавшие и торговле, и сельскому хозяйству, и некогда развитой, а теперь слабой промышленности, объединили и буржуазию и дворян в одном настроении: им казалось, что, низвергнув фаворита старого двора, Годоя, можно «возродить» Испанию. Очень попу-

лярна была идея о женитьбе наследника испанского престола Фердинанда на какой-нибудь родственнице Наполеона: породнившись с могущественным императором, можно было (как думали) получить большую опору и поддержку в проведении реформ и, сохраняя самостоятельность, быть спокойными во всех вопросах внешней политики. Фердинанд официально просил у Наполеона руки его племянницы. Наполеон отказал.

Замысел французского императора был другой: он пожелал низвергнуть с престола династию и посадить на испанский трон кого-нибудь из своих братьев или маршалов. В течение зимы и весной 1808 г. новые и новые войска Наполеона переходили через Пиренеи и вливались в Испанию. Уже в марте у него было сосредоточено там до 100 тысяч человек. Уверенный в своей силе, он решил действовать. Он очень ловко воспользовался обострением раздоров в испанской королевской семье. Маршал Мюрат с французской армией в 80 тысяч человек пошел на Мадрид. Сначала Карл IV, его жена и Годой решили бежать из столицы, но уже в Аранжуэце они были задержаны возмутившимся народом. Годой был схвачен, избит и заключен в тюрьму, а короля заставили отказаться от престола в пользу Фердинанда. Случилось это 17 марта 1808 г., а уже через шесть дней, 23 марта, Мюрат вошел в испанскую столицу. Но Наполеон не признал Фердинанда и вытребовал как нового, так и старого короля и всю семью испанских Бурбонов к себе, во Францию, в г. Байонну. Он взял на себя роль верховного судьи, который окончательно рассудит и решит, кто прав. К 30 апреля 1808 г. король испанский Карл IV, жена его, новый король Фердинанд VII, дон Годой собрались в Байонне. Но Наполеон потребовал, чтобы *все* принцы королевского дома явились тоже к нему в Байонну. Мадрид возмутился: замысел Наполеона становился ясен — коварно заманив в Байонну *всю* династию испанских Бурбонов, объявить ее низложенной, арестовать, а Испанию под тем или иным предлогом присоединить к Франции. 2 мая в Мадриде вспыхнуло восстание против занявших город французских войск. Маршал Мюрат утопил это восстание в крови, но это было только началом страшного пожара народной войны в Испании.

Получив известие об этом событии, Наполеон, прибывший в Байонну одновременно с испанской королевской семьей, после бурной сцены в его присутствии, когда Карл IV замахнулся палкой на Фердинанда, вдруг объявил свою волю: он потребовал, чтобы как Карл IV, так и Фердинанд отказались от испанского престола и формально предоставили ему, Наполеону, право распорядиться Испанией по своему произволу. Это было сделано: они все — и Карл IV, и Фердинанд, и королева — были в руках французских жандармов и войск. После этого Наполеон

объявил им, что, радея об их личном благоденствии и спокойствии, он их уже не отпустит назад в Испанию, а отошлет короля и королеву в Фонтенебло, а Фердинанда и других принцев испанского Бурбонского дома — в Валансэ, в замок князя Талейрана. Это и было тотчас исполнено. А спустя несколько дней, 10 мая 1808 г., Наполеон приказал своему брату Жозефу, королю неаполитанскому, переехать в Мадрид и быть отныне королем испанским. Маршалу же Мюрату, которого он перед этим сделал герцогом Клеве-Бергским (в западной Германии), было приказано переехать в Неаполь и быть отныне королем неаполитанским.

Император был доволен сверх меры: так все прошло, казалось, ловко и гладко, так наивно испанские Бурбоны сами полезли в ловушку, так безболезненно удалось приобрести Пиренейский полуостров.

И вдруг совершенно неожиданно не только для Наполеона, но для всей Европы, безмолвно и боязливо следившей за новыми насилиями завоевателя, в Испании вспыхнул пожар лютой, непримиримой крестьянской партизанской борьбы против французских завоевателей.

Здесь впервые Наполеон столкнулся с врагом совсем особого рода, с которым он до сих пор дела не имел и которого он недолго имел случай наблюдать пока только в Египте и в Сирии. Перед ним стоял озлобленный астурийский крестьянин, вооруженный ножом, сьерраморенский пастух в лохмотьях, со ржавым ружьем, каталонский ремесленник-рабочий, с железным жгутом и длинным кинжалом. «Оборванцы!» — презрительно сказал о них Наполеон. Ему ли, владыке Европы, от которого бежали русская, австрийская, прусская армии с артиллерией и кавалерией, с царями и фельдмаршалами, ему ли, слово которого разрушало старые державы и воздвигало новые, было бояться этого «испанского отребья»?

Но ни он сам и никто в мире не знал тогда, что именно эти «оборванцы» начнут первые рыть ту пропасть, в которую суждено было рухнуть великой наполеоновской империи.

Когда в 1808 г. Наполеон затеял и осуществил свое испанское предприятие, то он все время имел в виду прямой исторический пример, который, казалось, мог внушить большой оптимизм. В самом деле, ровно за 100 лет до Наполеона один из его предшественников на французском троне, король Людовик XIV, посадил на испанский престол своего внука Филиппа и этим водворил в Испании отрасль своей Бурбонской династии. Филипп и был родоначальником «испанских Бурбонов». Испанцы приняли нового короля и новую династию в те времена и удержали их на престоле, хотя пол-Европы тогда пошло войной против Людовика XIV с целью удалить Филиппа. Почему же

теперь Наполеону, который вне всяких сравнений могущественнее Людовика XIV, может не удаться подобная же комбинация? Почему он не может водворить в Испании династию «испанских Бонапартов»? И притом ему вовсе и не придется воевать с Европой, как пришлось Людовику XIV: Европа уже разгромлена и покорена, а с Россией — союз.

Ошибка Наполеона заключалась в том, что он соблазнился чисто внешней аналогией. Он не захотел понять коренного отличия между воцарением Филиппа Бурбона в Испании в 1700 г. и воцарением Жозефа Бонапарта в 1808 г. Французское купечество, французские судовладельцы, французские авантюристы из дворян с восторгом приветствовали воцарение Филиппа, рассчитывая (как и сам Людовик XIV), что отныне громадные колониальные владения Испании станут французским достоянием. Но тогда они жестоко ошиблись: испанские плантаторы и купцы единодушно воспротивились проникновению французского капитала в испанские колонии. Филипп V с сокрушением должен был отказать своим соотечественникам-французам в приравнении их в правах к испанцам. Испания не сделалась в экономическом отношении данницей Франции, и только поэтому Филипп V и испанские Бурбоны удержались на престоле. Теперь же Жозеф Бонапарт под пышной мантией испанского короля являлся простым наместником Наполеона, его приказчиком по осуществлению на Пиренейском полуострове континентальной блокады и по планомерному превращению Испании в предмет всесторонней эксплуатации, и исключительно в интересах французской буржуазии. Ведь в Испании знали, что уже начиная с брюмерского переворота 1799 г. Наполеона осыпали жалобами и петициями и суконные и полотняные фабриканты и другие промышленники Франции, наметившие программу, которую всецело принял Наполеон: 1) Испания должна стать монопольным рынком сбыта французских фабрикатов; 2) Испания должна поставлять драгоценную, тогда единственную в мире по своим качествам, шерсть мериносов *только* на французские мануфактуры; 3) Испания (особенно Андалузия) должна быть использована для разведения тех сортов хлопка, которые нужны французским текстильщикам и которые Наполеоном воспрещено покупать у англичан. Эта программа соединялась неразрывно с планом полного прекращения торговли Испании с Англией, куда так много и по такой дорогой цене сбывалось шерсти и откуда так много и так дешево закупалось товаров для испанского потребления.

Следовательно, для скотоводов, для шерстобитов, для суконщиков, для всех вообще промышленников Испании, для всего крестьянства, так или иначе, прямо или косвенно связанного с добычей шерсти и производством сукон, и в тех частях Испа-

нии, где феодальные отношения еще держались, а особенно там, где они уже слабели,— для всего землевладельческого дворянства, связанного с Англией и с колониальным, плантаторским хозяйством, подчинение Наполеону означало почти полное разорение. В частности, сейчас же прекращалась возможность сноситься с тогдашними американскими богатейшими владениями Испании, с ее заморскими владениями вообще (например, с Филиппинами на востоке Индийского океана), так как Англия *немедленно* объявляла войну и отбирала все заморские колонии у всякой европейской державы, как только эта держава входила прямо или косвенно в орбиту наполеоновской политики. Все эти экономические интересы разных классов страны, грубейшим образом нарушенные вторжением Наполеона, и были той экономической почвой, на которой возник пожар национально-освободительного движения против всемогущего завоевателя. Восставшие крестьяне и ремесленники Испании оказались способными выдерживать, казалось бы, непосильную борьбу. Но пока все обстояло как будто благополучно. Арестованные испанские Бурбоны разъехались по назначенным им местам ссылки под надзор полиции — в Фонтенебло и в Валансэ, Жозеф Бонапарт въехал в Мадрид.

Правда, уже докладывали императору о некоторых мелких неприятностях, например, о том, что испанские крестьяне осмеливаются партиями по нескольку человек ночью подкрадываться к французским бивуакам и стрелять, и когда их ловят и расстреливают, то перед казнью они только молчат или презрительно ругаются. Докладывали и о том, что когда 2 мая, при подавлении восстания в Мадриде, маршал Мюрат в упор расстреливал толпу, то эта толпа не рассеялась без остатка сразу, но, убегая, скрывалась в домах и из окон продолжала стрелять по французам; когда французы вбегали в дома, чтобы схватить стреляющих, то испанцы, выпустив все патроны, кололи ножами, били кулаками, кусались и дрались, пока держались на ногах, и французы выбрасывали их из окон домов на мостовую, на штыки своих товарищей лишь после самой отчаянной борьбы. Французы с первых же своих шагов в Испании натолкнулись на бесчисленные чуть не ежедневные проявления самой неистовой фанатической ненависти к завоевателям. Французский отряд вступает в деревню. Все пусто, жители ушли в лес. В одной избе застают молодую мать с ребенком и находят там же припасы. Подозревая недоброе, офицер, раньше чем позволить солдатам есть, спрашивает у женщины, не отравлены ли продукты. Получив успокоительный ответ, он приказывает ей самой отведать первой эту пищу. Не колеблясь, крестьянка ест. Не довольствуясь этим, он приказывает ей покормить этой пищей ребенка. Мать сейчас же исполняет требуемое. Тогда некоторые

солдаты принимаются за еду, а спустя короткое время и мать и ребенок, и поевшие солдаты умирают в мучениях. Ловушка удалась.

В первое время подобные эпизоды еще поражали французов, но вскоре все это стало бытовым явлением, и уже никто ничему в испанской войне не изумлялся. Не смущали эти странности пока и Наполеона. Он не скоро понял характер этой войны.

Однако уже с середины лета сказалось, что некоторые из побежденных держав начинают с большими надеждами глядеть на разгорающееся за Пиренеями пламя. Пошли слухи о вооружении Австрии... За три года, прошедшие после Аустерлица, Австрия отдохнула и оправилась. И при дворе в Вене, и в дворянстве, и среди купечества росли надежды на возможность выбиться, наконец, из-под пяты Наполеона. Заметим, что как и в России, в Австрии, в Венгрии, в Чехии дворянство больше всего страшилось продолжения наполеоновского владычества, так как боялось, что Австрии будет так или иначе навязан Наполеоновский кодекс и старый феодальный уклад рухнет.

Наполеон почувствовал необходимость продемонстрировать крепость франко-русского союза, чтобы обеспечить себя от всяких внезапностей со стороны Австрии, пока он справится с пиренейскими «мятежниками».

«Его императорское величество быстро приведет к разуму дикую испанскую чернь»,— почтительно писали в европейских газетах. «Кажется, разбойник, наконец, сам наткнулся на нож»,— шептали меж собой потихоньку многие читатели этих газет в Пруссии, в Австрии, в Голландии, в Италии, в ганзейских городах, в Вестфальском королевстве, в государствах Рейнского союза, но они не смели еще верить в осуществление своих собственных упований. При этих-то настроениях вдруг было объявлено, что осенью (1808 г.) французский и русский императоры встретятся в Эрфурте.

3

Эту демонстрацию крепости франко-русского союза Наполеон замышлял уже давно. Но в середине июля 1808 г. случилось неожиданное событие, которое заставило Наполеона ускорить свидание с Александром. Генерал Дюпон, шедший на завоевание южной Испании и вторгшийся уже в Андалузию, занявший г. Кордову и продвигавшийся дальше, оказался в громадной выжженной солнцем равнине без продовольствия, окруженный бесчисленными партизанами из крестьян, со всех сторон нападавшими на его отряд. И 20 июля недалеко от Байлена Дюпон сдался со своим отрядом. Конечно, это еще не знаменовало освобождения Испании от французов, но впечатление,

произведенное на Европу этой капитуляцией, было громадным. Непобедимые войска Французской империи потерпели хотя частичное, но бесспорное поражение. Узнав об этом событии, Наполеон впал в гнев и предал Дюпона военному суду. У Наполеона было своеобразное представление о том, что нравственно, а что безнравственно: «Наибольшая из всех безнравственностей (la plus grande des immoralités) — это браться за дело, которое не умеешь делать»,— заявлял он. А если за дело военного командования берется неспособный генерал, то эта «безнравственность» превращается уже в прямое тягчайшее преступление. И Дюпон погиб в его мнении навсегда.

Наполеон сразу почувствовал серьезное политическое значение байленской катастрофы. Он хотя и прикидывался спокойным, упирая на то, что байленская потеря — совершенный пустяк в сравнении с ресурсами, которыми владеет его империя, но понимал отлично, как это событие должно подействовать на Австрию, которая стала вооружаться с удвоенной энергией. Австрия видела, что у Наполеона неожиданно оказался не один фронт, а два, и что этот новый южный испанский фронт будет отныне очень ослаблять его на Дунае. Чтобы удержать Австрию от войны, нужно было дать ей понять, что Александр I вторгнется в австрийские владения с востока, пока Наполеон, его союзник, будет с запада идти на Вену. Для этого и была главным образом затеяна эрфуртская демонстрация дружбы обоих императоров.

Александр I переживал трудное время после Тильзита. Союз с Наполеоном и неизбежные последствия этого союза — разрыв с Англией — жестоко задевали экономические интересы и дворянства и купечества. Фридланд и Тильзит считались не только несчастьем, но и позором.

Александр надеялся, поверив обещаниям Наполеона, что, приобретя благодаря франко-русскому союзу со временем часть Турции, он успокоит этим придворную, гвардейскую, общедворянскую оппозицию. Но время шло, а никаких шагов со стороны Наполеона, направленных в эту сторону, предпринято не было; мало того, до Петербурга начали доходить слухи, будто Наполеон подстрекает турок к дальнейшему сопротивлению в той войне, которую они вели в это время против России. В Эрфурте оба участника франко-русского союза надеялись рассмотреть поближе доброкачественность карт, при помощи которых каждый из них ведет свою дипломатическую игру. Оба союзника обманывали друг друга, оба это знали, хотя еще пока и не вполне, оба не доверяли друг другу ни в чем и оба нуждались друг в друге. Александр считал Наполеона человеком величайшего ума; Наполеон признавал дипломатическую тонкость и хитрость Александра. «Это настоящий византиец»,— говорил

французский император о русском царе. Поэтому при первой встрече в Эрфурте 27 сентября 1808 г. они с жаром обнялись и расцеловались публично и не переставали проделывать это две недели подряд, ежедневно и неразлучно показываясь на смотрах, парадах, балах, пирах, в театре, на охоте, на верховых прогулках. Публичность была самым главным в этих объятиях и поцелуях: для Наполеона эти поцелуи утратили бы всю свою сладость, если бы о них не узнали австрийцы, а для Александра — если бы о них не узнали турки.

Александр за год, прошедший между Тильзитом и Эрфуртом, удостоверился в том, что Наполеон только поманил его обещанием отдать ему «Восток», а себе взять «Запад»; ясно было, что он не только не позволит царю занять Константинополь, но что даже Молдавию и Валахию Наполеон предпочел бы оставить в руках турок. С другой стороны, царь видел, что Наполеон за целый год после Тильзита не удосужился убрать свои войска даже из той части Пруссии, которую он возвратил прусскому королю. Что касается Наполеона, то для него самым главным делом было удержать Австрию от выступления против Франции, пока ему, Наполеону, не удастся покончить с разгоревшейся в Испании партизанской войной. А для этого Александр должен был обязаться активно действовать против Австрии, если Австрия решится выступить. И вот этого-то прямого обязательства Александр не хотел ни дать, ни выполнить. Наполеон согласен был наперед отдать за эту русскую военную помощь Александру Галицию и даже еще владения у Карпат. Впоследствии самые выдающиеся представители как славянофильской, так и национально-патриотической школы русской историографии горько упрекали Александра в том, что он не пошел на эти предложения Наполеона и пропустил случай, который уже никогда более не повторялся. Но Александр подчинился после слабых попыток сопротивления тому сильному течению в русском дворянстве, которое видело в союзе с Наполеоном, дважды разгромившим русскую армию (в 1805 и 1807 гг.), не только позор (это бы еще куда ни шло), но и разорение. Анонимные письма, напоминавшие Александру о том, чем кончил Павел, его отец, который тоже вступал в дружбу с Наполеоном, были достаточно убедительны.

И все-таки Александр боялся Наполеона и рвать с ним ни за что не хотел. По указанию и приглашению Наполеона, желавшего наказать Швецию за ее союз с Англией, Александр еще с февраля 1808 г. вел со Швецией войну, которая кончилась отторжением от Швеции всей Финляндии до реки Торнео и присоединением ее к России. Александр знал, что даже и этим он не успокоил раздражения и беспокойства русских помещиков, для которых интересы своего кармана стояли бес-

конечно выше всяких территориальных государственных экспансий на бесплодном севере. Во всяком случае приобретение Финляндии было для Александра тоже аргументом в пользу того, что с Наполеоном рвать сейчас и опасно и невыгодно.

В Эрфурте Талейран впервые предал Наполеона, войдя в тайные сношения с Александром, которому советовал сопротивляться наполеоновской гегемонии. Талейран впоследствии мотивировал свое поведение будто бы заботой о Франции, которую безумное властолюбие Наполеона влекло к гибели. «Русский государь цивилизован, а русский народ не цивилизован, французский государь не цивилизован, а французский народ цивилизован. Нужно, чтобы русский государь и французский народ вступили между собой в союз»,— такой льстивой фразой старый интриган начал свои тайные переговоры с царем.

О Талейране говорили, что он во всю свою жизнь «продавал тех, кто его покупал». В свое время он продал Директорию Наполеону, теперь в Эрфурте продавал Наполеона Александру. Впоследствии он продал Александра англичанам. Он только англичан никому не продал, потому что только они его не купили (хотя он им несколько раз предлагал себя по самой сходной цене). Здесь неуместно углубляться в мотивы Талейрана (получившего потом от Александра деньги, хотя и не в таком большом количестве, как он рассчитывал). Для нас тут важно отметить две черты: во-первых, Талейран яснее других видел уже в 1808 г. то, что более или менее смутно, неясно начинало тревожить, как уже было сказано, многих маршалов и сановников; во-вторых, Александр понял, что наполеоновская империя не так прочна и несокрушима, как это могло показаться. Он стал противиться наполеоновскому домогательству по вопросу о военном выступлении России против Австрии в случае новой франко-австрийской войны. Во время одного из таких споров Наполеон швырнул об землю свою шляпу и стал в бешенстве топтать ее ногами. Александр в ответ на эту выходку заявил: «Вы резки, а я упрям... Будем разговаривать, будем рассуждать, а иначе я уеду».

Союз остался формально в силе, но отныне рассчитывать на него Наполеон не мог. В большой тревоге ждали в России, благополучно ли окончится свидание в Эрфурте: не арестует ли Наполеон Александра, как он это сделал всего четыре месяца назад с испанскими Бурбонами, заманив их в Байонну. «Никто уже и не надеялся, что он вас отпустит, ваше величество»,— откровенно (и к большой досаде Александра) проговорился один старый прусский генерал, когда Александр возвращался из Эрфурта. С внешней стороны все было превосходно: в течение всего эрфуртского свидания вассальные короли и другие монархи, составлявшие свиту Наполеона, не переставали умиляться сер-

дечной взаимной любви Наполеона и царя. Но сам Наполеон, проводив Александра, был угрюм. Он знал, что вассальные короли не верят в крепость этого союза и что Австрия тоже не верит. Нужно было покончить с испанскими делами как можно скорее.

4

В Испании у Наполеона было 100 тысяч человек. Он приказал, чтобы еще 150 тысяч в спешном порядке вторглись в Испанию. Крестьянское восстание разгоралось с каждым месяцем. Испанское слово «гверилья», «маленькая война», неправильно передавало смысл происходящего. Эта война с крестьянами и ремесленниками, с пастухами овечьих стад и погонщиками мулов беспокоила императора гораздо сильнее, чем другие большие кампании. После рабски смирившейся Пруссии испанское яростное сопротивление казалось особенно страшным и неожиданным. И все-таки Наполеон даже и не подозревал, до чего дойдет этот испанский пожар. На генерала Бонапарта это еще могло бы повлиять отчасти отрезвляющим образом, но на императора Наполеона, победителя Европы, «бунт нищих оборванцев» уж повлиять не мог.

Не уверенный в помощи Александра и почти убежденный, что Австрия выступит против него, Наполеон поздней осенью 1808 г. помчался в Испанию. Он был полон гнева на непокорных, грязных, безграмотных испанских «мужиков». За это время англичане уже успели сделать высадку и вытеснили французов из Лиссабона. Португалия стала не французской, а английской базой. Французы владели только северной Испанией, до реки Эбро, в других местах их уже почти не было. У испанцев была уже армия, вооруженная английскими ружьями. Наполеон перешел в наступление против испанской армии. При Бургосе 10 ноября 1808 г. он нанес испанцам страшное поражение; в ближайшие дни произошло еще два сражения, и испанская армия была, казалось, совсем уничтожена. Наполеон 30 ноября двинулся на Мадрид, защищаемый сильным гарнизоном. Интересно, что на усмирение Испании Наполеон привел (в кадрах своей армии) «польский легион», который он велел создать еще в 1807 г., захватив Польшу. Поляки с отчаянной храбростью рубили, по его приказу, испанцев, как бы не думая о той позорной роли, которую они играли, подавляя национально-освободительное движение испанского народа. Наполеон сказал полякам, что они еще должны заслужить, чтобы он пожелал воскресить Польшу,— вот поляки и заслуживали себе отечество, отнимая у испанцев их отечество. 4 декабря 1808 г. Наполеон вошел в Мадрид. Столица встретила завоевателя гробовым молчанием.

Наполеон сейчас же объявил Испанию и столицу на военном положении и учредил военно-полевые суды. Затем император выступил против англичан. Генерал Мур был разбит и убит во время преследования остатков английской армии французами.

Казалось, опять погибнет испанское дело. Но чем хуже шли дела восставшего населения, тем яростнее становилось его сопротивление.

Город Сарагосса был осажден французами и держался несколько месяцев. Наконец маршал Ланн взял ее внешние укрепления и ворвался в город 27 января 1809 г. Но тут произошло нечто такое, чего не бывало ни при какой осаде: каждый дом превратился в крепость; каждый сарай, конюшню, погреб, чердак нужно было брать с бою. Целых три недели шла эта страшная резня в уже взятом, но продолжавшем сопротивляться городе. Солдаты Ланна убивали без разбора всех, даже женщин и детей, но и женщины и дети убивали солдат при малейшей их оплошности. Французы вырезали до 20 тысяч гарнизона и больше 32 тысяч городского населения. Маршал Ланн, лихой гусар, ничего на свете не боявшийся, побывавший уже в самых страшных наполеоновских битвах, не знавший, что такое означает слово «нервы», и тот был подавлен видом этих бесчисленных трупов, вповалку лежавших в домах и перед домами, этих мертвых мужчин, женщин и детей, плававших в лужах крови. «Какая война! Быть вынужденным убивать столько храбрых людей или пусть даже сумасшедших людей! Эта победа доставляет только грусть!» — сказал маршал Ланн, обращаясь к своей свите, когда все они проезжали по залитым кровью улицам мертвого города.

На Европу осада и гибель Сарагоссы произвели потрясающее впечатление, и больше всего на Австрию, Пруссию, на другие германские государства. Волновало, смущало, стыдило сравнение между поведением испанцев и рабской покорностью немцев.

Однако захватническое хищничество наполеоновской монархии не могло надолго оставить в бездействии буржуазию покоренных стран. Пробужденная Наполеоном к жизни, избавленная от феодально-крепостнического уклада, вытолкнутая на арену свободного капиталистического развития, буржуазия покоренной Европы вынуждена была искать новых путей, чтобы избавиться в свою очередь от тех экономических тисков, в которые зажала ее политика Наполеона.

Пути эти открывались по мере развития национально-освободительного движения против Наполеона. Отдельные вспышки этого движения были в 1803, 1809 и 1810 гг., а в 1813 г. оно разгоралось могучим пожаром во всех странах, оказавшихся под гнетом наполеоновского правления.

Наполеон в 1806 г. и до разгрома Пруссии показал, как он будет относиться к малейшим попыткам возрождения духа национального протеста в немецком народе. Теперь, после Тильзита Наполеон считал возможным проделывать все, что ему заблагорассудится не только в Баварии или в государствах Рейнского союза, но и в Гамбурге, и в Данциге, и в Лейпциге, и в Кенигсберге, и в Бреславле, и вообще во всей Германии.

Наполеон не знал, что в Берлине Фихте в своих лекциях делает туманные патриотические намеки, не знал, что в германских университетах образуются студенческие кружки, еще не смеющие прямо говорить о восстании против всеобщего поработителя, но одушевленные тайной и глубокой ненавистью к нему. Он не очень учитывал, что германская буржуазия в вассальных странах, хоть и радуется введению Наполеоновского кодекса, крушению феодализма, находит наложенное политическое и финансовое французское иго, сопряженное с «налогом кровью», т. е. с рекрутскими наборами для пополнения французской великой армии, слишком тяжелым, слишком уж дорогой платой. Всего этого он не знал или не хотел знать.

В Эрфурте немецкие монархи, немецкие аристократы и аристократки вели себя, по выражению одного наблюдателя, как лакеи и горничные у сердитого барина, который, однако, если вовремя поцеловать у него ручку, бывает иногда щедр на подарки. Первый поэт Германии, Гете, домогался аудиенции, и когда Наполеон наконец принял его в Эрфурте (забыв, впрочем, пригласить сесть старого поэта) и изволил милостиво одобрить «Вертера», то Гете был в полном восторге. Словом, верхи Германии, с которыми только и имел непосредственные отношения Наполеон, ничуть не проявили и тогда и намека на протест. Народ молчал и повиновался. Но зато известия из Австрии становились все тревожнее.

В Австрии учитывали, что Наполеон на этот раз сможет драться лишь одной рукой, потому что другая у него занята; на ней повис страшный испанский груз. В Австрии знали, что Наполеон ни за что Испанию не оставит, что для него это уже не только каприз деспота, а нечто другое, что он увяз там надолго. И знали не только это: понимали и причину. Континентальная блокада в это время все усиливалась новыми дополнительными декретами, новыми полицейскими мерами и новыми политическими актами французского императора. Отказаться от Пиренейского полуострова теперь, когда там уже появились англичане, значило отказаться от континентальной блокады, т. е. от основной пружины всей наполеоновской политики.

5

Измена, или подозреваемая измена, взяточника Талейрана и шпиона Фуше, этих низменных, по мнению Наполеона, негодяев, его не так занимала, конечно, как готовящаяся война с Австрией. Но он учел то и другое и бросил в январе 1809 г. Испанию на усмотрение маршалов, которые без него теряли половину своей военной ценности, и на произвол своего брата, испанского короля Жозефа, который и без него и при нем никогда никакой ценности собой не представлял. Приехав в Париж, он приказал сановникам и министрам собраться во дворце и тут 28 января 1809 г. с яростью стал кричать на Талейрана. Эта была та знаменитая сцена, когда он начал свою речь к Талейрану криком: «Вы — вор, мерзавец, бесчестный человек, вы бы предали вашего родного отца!», а кончил это приветствие словами: «Почему я вас до сих пор не повесил на решетке Карусельской площади? Но есть, есть еще время это сделать! Вы — грязь в шелковых чулках!» Зная уже кое-что об измене Талейрана (отставленного еще в 1807 г.), он, конечно, не знал всего, иначе он расстрелял бы Талейрана немедленно. Но ему было не до того, чтобы распутывать интриги маститого взяточника. Война с Австрией стояла перед ним неотступной угрозой.

Раздавленная только что учиненным военным погромом Испания опять вспыхнула перебегающим по всей стране и не погасающим огнем крестьянских и городских восстаний. Неуловимый, неустрашимый, из земли появляющийся и под землю уходящий народ продолжал задерживать в Испании половину великой армии, 300 тысяч человек лучшего наполеоновского войска. Но другая половина спешно готовилась императором к новой тяжелой войне с Австрией. Он приказал произвести во Франции новый досрочный набор, который дал ему 100 тысяч человек. Кроме того, он велел подчиненным ему государствам Германии выставить еще 100 тысяч солдат и отдать их ему для войны. Это было беспрекословно исполнено. Затем он выделил больше 110 тысяч старослужилых солдат, на которых мог особенно положиться, и 70 тысяч из старых солдат отправил в Италию, где тоже нужно было ждать нападения австрийцев.

Итак, у него к весне 1809 г. было в руках несколько больше 300 тысяч солдат, которых он мог бросить против Австрии. Но и Австрия собирала все свои силы. Австрийский двор, аристократия, среднее дворянство — инициаторы этой войны — были единодушны; даже венгерское дворянство было на сей раз вполне верно «короне»: нужно было защищать и укреплять общее священное для них благо — крепостное право, которое было так страшно урезано географически и расшатано политически в трех войнах 1796—1797, 1800 и 1805 гг., когда была разгромле-

на австрийская армия и лучшие земли монархии Габсбургов отошли к Франции. Промышленная буржуазия, которая выигрывала от континентальной блокады, была еще (если не считать Чехии) сравнительно очень незначительна в Австрийской монархии; буржуазия торговая и вся потребительская масса страдали от блокады. Война, затеянная австрийским двором в 1809 г., была популярнее, чем любая из трех предшествовавших войн с Наполеоном. «Луч солнца блеснул, наконец, из Испании»,— повторяли в Австрии и в Германии на все лады...

Весь мир замер в ожидании. Наполеон с тремя лучшими маршалами, Даву, Массена и Ланном, стоял в боевой готовности. Он ждал, чтобы Австрия «напала» первая, потому что это давало ему лишний аргумент в важном начатом в Эрфурте, но не оконченном споре с Александром: он еще надеялся на выступление России против Австрии.

14 апреля 1809 г. австрийский эрцгерцог Карл, лучший австрийский генерал, вторгся в Баварию. «Через два месяца я заставлю Австрию разоружиться и тогда, если будет нужно, совершу снова путешествие в Испанию»,— сказал Наполеон, уезжая на войну.

Он, конечно, мало полагался на 100 тысяч подневольных немцев, которые численно составляли теперь треть его армии, он знал, какие великолепные, закаленные в боях корпуса остались в Испании и какие потери ветеранами несет там французская армия. И не только он это знал. Австрийцы действовали на этот раз с небывалой смелостью и силой. Первое большое сражение произошло при Абенсберге в Баварии. Австрийцы были отброшены, потеряв при этом больше 13 тысяч человек. Но дрались они очень храбро, гораздо лучше, чем при Арколе, чем при Маренго, чем при Аустерлице. Вторая битва — при Экмюле 22 апреля — кончилась новой победой Наполеона. Эрцгерцог Карл был отброшен за Дунай, понеся тяжкие потери. Затем маршал Ланн, завершая маневр, приступом взял Регенсбург. Наполеон, руководивший осадой, в разгаре боя был ранен в ногу. С императора сняли сапог, сделали наскоро перевязку, и он сейчас же велел посадить себя на лошадь и строго воспретил говорить о своей ране, чтобы не смутить солдат. Въезжая во взятый Регенсбург, он, улыбаясь, отдавал честь приветствовавшим его полкам, скрывая страшную боль. Эти бои под Экмюлем и Регенсбургом стоили австрийцам еще около 50 тысяч человек убитыми, ранеными, пленными, пропавшими без вести. В пять дней Наполеон выиграл пять кровопролитных битв.

Перейдя через Дунай и продолжая преследовать отступавшего Карла, Наполеон нагнал его в Эберсберге и здесь снова разбил его и отбросил. Наполеон при этом сжег город, при-

чем часть населения (австрийцы утверждали, что половина населения) сгорела живьем. «Мы шли по месиву из жареного человеческого мяса»,— говорит о прохождении французской кавалерии через развалины Эберсберга генерал Савари, герцог Ровиго. В этой покрывавшей улицы каше даже вязли копыта лошадей. Это произошло 3 мая. 8 мая Наполеон уже снова, как в 1805 г., ночевал во дворце австрийского императора в Шенбрунне, а 13 мая бургомистр Вены поднес императору ключи от австрийской столицы. Кампания, казалось, идет к быстрому концу. Но Карл, спасая армию, успел перебросить ее через венские мосты на левый берег Дуная, после чего сейчас же сжег мосты. Наполеон решился на необычайно трудную операцию. Примерно в половине километра от венского (правого) берега на Дунае начинается отмель, ведущая к острову Лобау. Наполеон решил навести понтонный мост до этой отмели, переправить туда главные силы своей армии, поредевшей от битв и от оставления гарнизонов по пути, а затем уже без труда переправиться с этого острова через узенький рукав реки, отделяющий Лобау от левого (северного) берега Дуная. 17 мая переправа на Лобау совершилась. Затем Наполеон велел навести понтонный мост через узкий рукав, с острова на левый берег. Первым переправился корпус Ланна, вторым — корпус Массена. Оба маршала заняли две близлежавшие деревушки, Асперн и Эсслинг. И тут-то уже перешедшие корпуса и двигавшиеся за ними другие части французской армии подверглись нападению эрцгерцога Карла. Разгорелась яростная битва, и, когда Ланн с кавалерией бросился рубить отступавших в полном порядке австрийцев, вдруг подломился мост, соединявший правый (венский) берег с островом, и французская армия внезапно лишилась непрерывно до той минуты подвозимых снарядов. Наполеон велел Ланну немедленно отступить. Отступление совершалось с боем, с большими потерями. Во время боя в маршала Ланна попало ядро, раздробившее и почти оторвавшее обе ноги. Он умер на руках Наполеона, на глазах которого во второй раз увидели слезы. Французская армия ушла обратно на Лобау, и сколько бы Наполеон ни утешал себя тем, что французы потеряли в этой битве всего 10 тысяч человек (а на самом деле гораздо больше), эрцгерцог Карл — 35 тысяч (на самом деле около 27 тысяч), но факт поражения и отступления был на этот раз налицо. Это произошло 21 и 22 мая.

Бежавшие из Вены австрийский двор и правительство ликовали и готовились к возвращению в столицу. Сам эрцгерцог Карл, талантливый и серьезный человек, не только не хвастался одержанной победой, но и раздражался всеми этими преувеличениями. Но во всяком случае это было уже не снятие осады с Акра в 1799 г. и даже не Эйлау в 1807 г. Третья по счету

наполеоновская неудача была гораздо значительнее, поражение гораздо яснее. Наполеон знал, что в Германии прусский майор Шилль начал вдруг со своим гусарским полком нечто вроде партизанской войны против французов; что тирольский крестьянин Андрей Гофер ведет такую же партизанскую войну в тирольских горах; что очень неспокойно в Италии; что в Испании, хотя он там оставил около 300 тысяч солдат, лучшую часть великой армии, лютая борьба возгорелась с новой силой. Известие о битве под Эсслингом, об императоре, который якобы пойман, заперт на острове Лобау (так говорили в Европе, принимая свое желание за действительность), должно было вдохнуть новые силы во всех поднимавшихся отовсюду бойцов.

Наполеон не терял, однако, хладнокровия и бодрости. Казалось, единственное, что его огорчило в эти грозные дни, — это смерть маршала Ланна, но вовсе не проигрыш битвы. Он знал, что австрийские потери огромны под Эсслингом, что и в первую часть кампании, еще до Вены, австрийцы потеряли свыше 50 тысяч — гораздо больше, чем французы. Он рассчитывал, усиливая армию, разрабатывая дальнейшие планы войны и в то же время внимательно читая ежедневно поступавшие со всех концов его необъятной империи донесения. С любопытством он узнал, что папа Пий VII и его кардиналы проповедуют, будто Эсслингская битва есть кара божия всемирному угнетателю, тирану, обидчику и притеснителю церкви. Наполеон, несмотря на хлопоты, хорошо запомнил и принял к сведению поведение официального божьего наместника. Тревожные вести доходили до Наполеона из Англии в течение всего лета 1809 г. В Англии снарядили экспедицию с целью создать диверсию на севере Бельгии. 40 тысяч солдат и 30 тысяч моряков приняли участие в этой экспедиции, направившейся на остров Вальхерен. На короткое время англичанам удалось овладеть Флиссингеном, но в конце концов ничего из этой экспедиции не вышло, и после тяжелых потерь англичане отплыли обратно.

Наполеон то ездил в Вену, в Шенбрунн, то возвращался на остров Лобау. Он быстро вдохнул в солдат уверенность в близкой победе; в середине июня армия отдохнула, получила подкрепления, остров Лобау был великолепно укреплен. Император теперь окончательно удостоверился, что эрцгерцог Карл, все время бездействовавший, в самом деле не в состоянии напасть и что теперь только от него, Наполеона, зависит, когда дать решительный бой.

Окончив эти спешные военные дела и имея несколько дней для отдыха, Наполеон прежде всего обратил внимание на римского первосвященника. Пию VII пришлось горько раскаяться в той проницательности и особенно в той поспешности, с которой он усмотрел праведную длань господню в битве под Эсслин-

гом. Еще 17 мая 1809 г., т. е. до этой битвы, появился декрет Наполеона, объявлявший, что г. Рим и все владения папы вообще отныне присоединяются к Французской империи.

«Дано нами, в нашем императорском лагере в Вене. Наполеон». Так кончался этот декрет, отнимавший у римских пап то владение, которое, по знаменитому, хотя и подложному документу, сфабрикованному папами в средних веках, римский император Константин еще в начале IV в. будто бы «подарил» папе Сильвестру I.

Теперь же, после декрета, французы 10 июня окончательно заняли Рим, и папство лишилось всего, чем владело около полуторы тысяч лет. Папа был взят под стражу и увезен в Савону, на юг Франции.

Расправившись с папой, Наполеон приступил к последним военным приготовлениям. 2, 3 и 4 июня император перевел новые корпуса на остров Лобау и туда же велел перевезти больше 550 артиллерийских орудий. 5 июля Наполеон приказал начать переправу с острова Лобау на левый берег. Кроме прежней, пополненной армии, у него был теперь и еще подтянутый из Италии корпус Макдональда. Битва началась 5 июля 1809 г., и началась не так, как ждал эрцгерцог Карл, и не там, где можно было с бо́льшим вероятием ее ждать. У Наполеона было твердое правило: не делать того, чего может ждать враг. У французов было около 550—560 пушек, у австрийцев — несколько больше 500. Артиллерия с обеих сторон была прекрасно снабжена снарядами. Переправа массы войск через Дунай была совершена исключительно организованно. Битва была необычайно жестокой, и 5-го, а особенно 6 июля были моменты, опасные для Наполеона. Он находился в центре боя; маршалы Даву, Макдональд, Массена, начальник артиллерии генерал Друо действовали с такой отчетливостью, как редко бывает в таких колоссальных боях. После страшной канонады «колонна Макдональда», 26 батальонов в «каре», сторона которого равнялась тысяче метров, неся огромные потери, прорывает центр австрийской армии. За ней следуют резервы. Далее, на севере маршал Даву, направленный императором на село Ваграм, расположенное на высотах, с боем вошел в село, и вся австрийская армия была вслед за тем разгромлена. К вечеру 6 июня 1809 г. все было кончено. Австрийцы были отброшены. Не все бежали врассыпную, часть их сохранила строй. Конечно, разгром, который потерпела австрийская армия под Ваграмом, был ужасающим, не меньше, чем под Аустерлицем. Австрийцы потеряли в этот второй день убитыми, ранеными и пленными около 37 тысяч человек. Но и французские потери были велики, хотя и меньше, чем потери побежденных. В этом смысле победа была куплена дорого.

В течение почти всей следующей недели продолжалось преследование разбитой австрийской армии. Наполеон двигался вслед за кавалерией, добивавшей отдельные австрийские части. Когда 11 июля он вступил в г. Цнайм, ему доложили, что у него испрашивает аудиенции князь Лихтенштейн, только что приехавший генерал-адъютант императора Франца. Франц просил о перемирии. Наполеон согласился, но на очень тяжких условиях: все те части Австрии, куда проник к моменту перемирия хоть небольшой отряд французов, очищаются немедленно австрийцами и остаются в залог в руках французов, пока не будет заключен окончательный мир. Лихтенштейн согласился на все условия.

Начались переговоры. На многое готов был павший духом император Франц, проклинавший теперь тех, кто его толкал полтора года на эту страшную борьбу, которая по кровопролитию далеко превзошла все войны, какие вела Австрия за всю свою историю после Тридцатилетней войны в XVII в. Со страхом вспоминали, как Наполеон наказал папу еще до Ваграмского боя. Что же он сделает с Австрией после Ваграма?

Притязания Наполеона оказались гораздо больше, чем после Аустерлица. Он потребовал уступки новых австрийских земель: Каринтии, Крайны, Истрии, Триеста и Триестской области, громадных земельных урезок на западе и северо-западе австрийских владений, части Галиции, контрибуции в 134 миллиона флоринов золотом. Австрийцы долго торговались, умоляли, хитрили. Победитель был неумолим. Он только сбавил контрибуцию и согласился взять 85 миллионов, да сделал некоторые ничтожные территориальные уступки с запрошенного. Все это время переговоров он жил в Шенбрунне. В Вене и во всей оккупированной Австрии наблюдалась полная покорность. Вспыхнувшие было после Эсслинга надежды теперь погасли и в Австрии и в Германии. Наполеон вставил в подготовлявшийся мирный трактат еще запрещение Австрии держать армию больше 150 тысяч человек. Франц и на это согласился.

12 октября Наполеон производил перед своим дворцом в Шенбрунне смотр гвардии. На эти смотры обычно приезжало и приходило (особенно в праздничные дни) много публики посмотреть на Наполеона, возбуждавшего всюду самое ненасытное любопытство. Наполеон допускал публику на смотры; вообще Вена ему нравилась своей полной покорностью. Смотр 12 октября уже приходил к концу, когда какой-то хорошо одетый молодой человек успел пробраться между лошадьми свиты и с прошением в левой руке подошел к лошади, на которой сидел император. Его схватили раньше, чем он успел выхватить длинный, отточенный кинжал.

Наполеон по окончании смотра пожелал видеть арестованного. Он оказался саксонским студентом Штапсом из Наумбурга. «За что вы хотели меня убить?» — «Я считаю, что пока вы живы, ваше величество, моя родина и весь мир не будут знать свободы и покоя».— «Кто вас подучил?» — «Никто».— «Вас учат этому в ваших университетах?» — «Нет, государь». — «Вы хотели быть Брутом?» Студент, по-видимому, не ответил, потому что Наполеон потом говорил, что Штапс как будто не очень хорошо знал, кто такой был Брут. «А что вы сделаете, если я вас отпущу сейчас на свободу? Будете ли опять пытаться убить меня?» Штапс долго молчал, прежде чем ответить: «Буду, ваше величество». Наполеон тоже помолчал и вышел в глубокой задумчивости. Военно-полевой суд собрался вечером. Штапс был расстрелян на другой день.

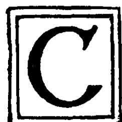
Через два дня после этого происшествия, о котором Наполеон запретил говорить и печатать, 14 октября 1809 г., австрийский император Франц I наконец решил подписать Шенбруннский мирный трактат, так урезывавший его владения и так непомерно усиливавший всеевропейского диктатора.

Сотней тысяч погибших людей, разорением страны, многомиллионной контрибуцией, потерей чуть не трети лучших частей своих территорий и нескольких миллионов населения, усилением зависимости от победителя заплатила Австрийская империя за отчаянную, но неудачную попытку свергнуть наполеоновское иго.

Глава XI

ИМПЕРАТОР И ИМПЕРИЯ В ЗЕНИТЕ МОГУЩЕСТВА 1810—1811 гг.

1



Сейчас же после подписания Шенбруннского мира Наполеон выехал из Вены и спустя несколько дней снова, как после Египта, как после Маренго, как после Аустерлица, как после Тильзита, въехал с триумфом в свою столицу.

Необъятная империя еще больше раздалась вширь; верные вассалы были щедро вознаграждены; дерзость непокорных жестоко наказана; папа лишен владений; тирольские повстанцы рассеяны; партизаны майора Шилля расстреляны по приказу Наполеона прусским военным судом; из Англии приходят вести о разорении, о самоубийствах и банкротствах купцов и промышленников, о недовольстве в народе. Значит, континентальная блокада как будто оправдывает возложенные на нее надежды.

Казалось, мировая империя — в зените блеска, мощи, богатства и славы.

Наполеон знал, что он только силой покорил Европу и только страхом держит ее. Но Англия не сдается; русский император явно лукавит, ничем не помог ему в только что окончившейся войне и только прикидывался, будто воюет с Австрией; испанцев истребляют, уничтожают массами, но они продолжают сопротивляться и борются с неукротимой яростью, и на них попрежнему нисколько не влияют никакие Ваграмы, никакие новые победы императора, никакой обновленный и усилившийся престиж мирового победителя.

Вокруг Наполеона были преданные ему маршалы, вроде Жюно, или умные честолюбцы, вроде Бернадотта, или тонкие аристократические изменники, вроде Талейрана, или исполнители, вроде Савари, готовые по первому знаку Наполеона расстрелять родного отца, или холодные, жестокие проконсулы и сатрапы, вроде Даву, которые способны были, не задумавшись,

сжечь Париж, если бы для пользы службы им это показалось нужным, или честолюбивые, самолюбивые, бездарные, сварливые императорские братья и сестры, которых он сделал королями и королевами, но которые не переставали на что-то жаловаться и с кем-то ссориться и причинять императору только хлопоты и раздражение.

Предстоит еще много войн, в этом Наполеон не сомневался, как не сомневался никто во Франции, и что уже отлита пуля, которая его убьет, это тоже было весьма возможно. Наполеон великолепно различал, что он делает во Франции и для Франции, для «старых департаментов», в качестве французского государя, от того, что он делает в качестве императора Запада, короля Италии, протектора Рейнского союза и т. д. и т. д. Первое он считал прочным, имеющим долгую жизнь, второе держится, пока он жив. Нужна династия, нужен наследник, которого Жозефина уже не даст; следовательно, необходима другая жена.

Теперь, когда регенсбургская пулевая рана и отточенный кинжал Штапса настойчиво напомнили, на какой хрупкой нити держится все созданное Наполеоном, вопрос о династии сделался для него особенно важным. Томы и томы написаны французскими историками о Жозефине, о ее жизни и приключениях, о ее разводе, о ее глубоком обмороке, когда Наполеон впервые сказал ей внезапно, что он должен развестись с ней и жениться на другой, о волнениях самого императора. Для нас этот эпизод интересен лишь как звено в цепи политических событий, развернувшихся после Ваграма. Поэтому будем кратки в рассказе об этих событиях.

Если Наполеон любил когда-нибудь женщину страстно и неповторимо, то, конечно, это была Жозефина в первые годы после выхода ее замуж за него, бывшего моложе ее на шесть лет. Никогда и никого он так уже не любил, даже графиню Валевскую, не говоря уже о других женщинах, с которыми вступал в короткую или более длительную связь. Но это было давно, в 1796, в 1797 гг., когда он писал Жозефине из своего итальянского похода пламенные, дышащие страстью письма. Наполеон не расстался с ней, когда узнал, что у нее были в его отсутствие увлечения, и хотя утратил прежнее пламенное, страстное чувство, однако все-таки любил ее. Шли годы, мужа своего она сильно побаивалась. Он категорически воспретил ей даже ходатайствовать перед ним за кого бы то ни было и, отказывая просителю, не забывал прибавить: «Ясно, что он никуда не годится, если за него хлопочет императрица». Он ненавидел даже эту самую слабую форму вмешательства женщин в государственные дела и вообще в дела.

Что Жозефина была весьма пуста и ни о чем не умела

думать, кроме платьев, бриллиантов, балов и иных развлечений, против этого он не возражал. Говорили же в тогдашних светских кругах, что если Наполеон подвергает всяким гонениям г-жу Сталь, то не столько за ее либеральный образ мыслей и оппозиционный дух, — это бы он еще мог извинить, но за то, что она умна и начитана, а уж этого качества, неприличного, по его убеждению, для женщин, он никак простить не мог. С *этой* точки зрения Жозефина его никак не могла раздражать. Спора нет, что источники и биографы правы, когда в один голос утверждают, что не с легким сердцем Наполеон решился на развод.

«У политики нет сердца, а есть только голова», — сказал он Жозефине в ноябре 1809 г., когда готовилось проведение формального развода. Он продолжал ее любить, они целые дни были вместе. Наступило 15 декабря 1809 г., когда в присутствии всех высших сановников империи и всей императорской семьи протокол развода был подписан. Они расстались, но в ближайшие дни Наполеон ежедневно писал ей самые любящие письма в Мальмезон, куда она удалилась в подаренный ей дворец.

Римскому папе предложено было подтвердить развод от имени католической церкви, которая в этих делах очень медлит и упирается. За Пия VII сделали это, однако, с предельной быстротой, чуть ли не с обратной почтой, другие: уж очень влиятельный был проситель.

Вскоре был собран торжественный синклит сановников, которые, обсудив вопрос, постановили просить его величество во имя блага империи взять себе другую жену. Большинство из них, несомненно, искренне сочувствовало намерению императора. С одной стороны, они были в своем материальном благополучии тесно связаны с империей и хотели продолжения империи Бонапартов, боясь реставрации королевства Бурбонов, и только в появлении на свет прямого наследника императорского престола видели упрочение «новой Франции». А с другой стороны, все они, даже изменник Талейран до своей опалы, всегда мечтали о тесном сближении Наполеона с какой-либо из двух больших держав: Австрией или Россией, сближении не только политическом, но и династическом. Это дало бы передышку от бесконечных войн и вечно возникающих опасностей. Одни (во главе с Фуше) хотели, чтобы Наполеон женился на русской великой княжне Анне Павловне, сестре Александра, другие предпочитали в качестве невесты дочь австрийского императора Франца, эрцгерцогиню Марию-Луизу. Сам Наполеон, как только развод был оформлен, сейчас же приступил к выбору невесты.

Тут ход его мыслей оказался крайне быстр и вполне ясен: смотрины невест должны были быть короткими, по существу

дела долгих поисков быть не могло. На свете, кроме великой Французской империи, есть три великих державы, о которых стоит еще говорить: Англия, Россия и Австрия. Но с Англией — война не на жизнь, а на смерть. Остаются Россия и Австрия; Россия, бесспорно, сильнее Австрии, которую он же, Наполеон, только что страшно разбил уже в четвертой (за 13 лет) войне против нее. Значит, нужно начинать с России, где были две великие княжны, сестры Александра. Какую именно брать, это было дело третьестепенное, ведь все равно Наполеон ни одной из них никогда не видел. Но Екатерину Павловну поспешили с предельной быстротой заблаговременно выдать замуж за Георга Ольденбургского. Неофициально французскому послу в Петербурге было поручено запросить царя относительно оставшейся Анны.

В декабре 1809 и январе 1810 г. большое волнение происходило при русском дворе. В Петербурге Александр I не переставал в самых льстивых выражениях уверять французского посла Коленкура, что лично он очень желал бы видеть свою сестру женой Наполеона, но что, по мнению императрицы матери (Марии Федоровны), Анна слишком еще молода, ей всего 16 лет и т. д. А в Павловске Мария Федоровна изо всех сил противилась этому браку, и значительная часть двора ее поддерживала. Ненависть всего дворянства и особенно крупных землевладельцев-аристократов к Наполеону росла с каждым годом, по мере того как усиливались строгости континентальной блокады.

28 января 1810 г. Наполеон собрал во дворце торжественное совещание высших сановников по вопросу о разводе и о новом браке. Часть сановников во главе с великим канцлером Камбасересом, королем неаполитанским Мюратом и министром полиции Фуше высказалась за великую княжну Анну Павловну, другие — за австрийскую эрцгерцогиню Марию-Луизу, дочь императора Франца I. Сам Наполеон, уже, по-видимому, раздраженный уклончивостью русского двора, явно дал понять, что он склоняется в пользу австрийской невесты. Совещание не вынесло определенного решения.

Спустя 9 дней из Петербурга пришли известия, что мать великой княжны хотела бы несколько отсрочить брак своей дочери с Наполеоном, так как Анна Павловна еще слишком молода. В тот же день австрийский посол в Париже, Меттерних, был запрошен, согласен ли австрийский император дать Наполеону в жены свою дочь Марию-Луизу? И тут же, без размышлений (обо всем уже было передумано, пока шло русское сватовство), Меттерних заявил, что Австрия согласна отдать юную эрцгерцогиню, хотя до той поры никаких официальных разговоров об этом не было (да и быть не могло). Сейчас же,

вечером 6 февраля, в Тюильрийском дворце был собран новый совет сановников, который и высказался уже единогласно за австрийский брак.

На другой день, 7 февраля 1810 г., уже был изготовлен брачный договор. Над текстом много не пришлось работать: взяли из архива и просто переписали брачный договор, составленный при женитьбе предшественника Наполеона на французском престоле, короля Людовика XVI, на другой австрийской эрцгерцогине, Марии-Антуанетте, которая приходилась родной теткой нынешней невесте Наполеона, Марии-Луизе.

Тотчас по составлении брачного договора он был отправлен на ратификацию австрийскому императору. Франц I моментально ратифицировал, и сообщение об этом пришло в Париж 21 февраля, а уже 22 февраля маршал Бертье, начальник главного штаба, выехал в Вену с любопытной миссией: изображать собой жениха, т. е. самого Наполеона, во время торжественного обряда бракосочетания, который должен был произойти в Вене.

В Вене известие об этих внезапных решениях Наполеона было принято с радостью. После страшных поражений и потерь 1809 г. этот брак представлялся чем-то вроде спасения. Маленькие неприятности и неувязки, как раз происшедшие в эти дни венского ликования, были обойдены молчанием. Например, именно в разгаре торжеств, предшествовавших свадьбе, Наполеон приказал расстрелять вождя тирольских инсургентов, взятого, наконец, в плен. Андрей Гофер, перед тем как раздался залп (его расстреляли в г. Мантуе), успел крикнуть: «Да здравствует мой добрый император Франц!» Но добрый император Франц, за которого Гофер сложил голову, запретил упоминать имя темного тирольского крестьянина, который своей чрезмерной преданностью и неуместным патриотизмом мог навлечь неудовольствие Наполеона на всю Австрию.

11 марта 1810 г. в Вене, в соборе, окруженном массой народа, при самом торжественном церемониале, в присутствии всей императорской австрийской фамилии, всего двора, всего дипломатического корпуса, сановников, генералитета состоялось бракосочетание 18-летней эрцгерцогини Марии-Луизы с императором Наполеоном. Невеста никогда в глаза не видала жениха, она его даже и в день свадьбы не видела, потому что он, как сказано, счел излишним самому обеспокоиться хотя бы для такого исключительного случая, как собственная свадьба, личной поездкой в Вену. Но с этим в Вене примирились. Маршал Бертье и эрцгерцог Карл *вдвоем* с достоинством проделали все те манипуляции, которые подобало проделать жениху. Читатель, несомненно, несколько удивится и спросит: как это возможно двум лицам изображать отсутствующего жениха? Удивлялись и современники, не искушенные в деталях царственных

свадеб. Бертье был послан Наполеоном в Вену изображать собой императора Наполеона и формально просить руки Марии-Луизы, а эрцгерцог Карл, по просьбе и прямому приглашению Наполеона, должен был явиться в церковь, и здесь Бертье вручил ему Марию-Луизу, которую эрцгерцог Карл (тоже, как до той поры Бертье, изображая собой Наполеона) повел к алтарю и стоял с ней рядом во время богослужения, после чего новая французская императрица была отправлена с подобающими почестями и свитой во Францию. При проезде через вассальные страны (например, Баварию) ей всюду давали почувствовать, что она — супруга повелителя Европы. Наполеон встретил ее недалеко от Парижа, по дороге в Компьен. Тут только супруги в первый раз в жизни увидели друг друга.

В Европе это событие произвело огромное впечатление и дебатировалось на все лады. «Теперь — конец войнам, Европа обрела равновесие, откроется счастливая эра», — говорили купцы ганзейских городов, уверенные, что Англия, окончательно лишившись опоры в Австрии на континенте, должна будет мириться. «Он будет воевать через несколько лет с той из двух держав, где ему не дадут сразу невесты», — говорили дипломаты еще после первого совещания французских сановников.

При неустойчивом общемировом положении было ясно, что всякое укрепление союза Наполеона с Россией грозит самому существованию Австрийской монархии, а всякое сближение Наполеона с Австрией сильно развязывает ему руки по отношению к России. Некоторые австрийские аристократы, вроде старого князя Меттерниха (отца австрийского посла в Париже), плакали слезами счастья, когда узнали о готовящемся браке; сын, известный уже тогда Клементий Меттерних, не скрывал своей радости. «Австрия спасена», — повторяли в императорском дворце в Шенбрунне.

В Петербурге была смутная тревога. Мария Федоровна была в восторге, что «чудовищу Минотавру» брошена на съедение не ее дочь, а дочь австрийского императора. Но Александр I, Румянцев, Куракин и даже ярые враги французского союза были обеспокоены. Им казалось, что Австрия окончательно входит в фарватер наполеоновской политики и что на континенте Россия осталась одинокой лицом к лицу с ненавистным завоевателем Европы.

Тотчас после брака Наполеон усиленно взялся за систематическое проведение своей экономической политики.

2

Без понимания экономической политики Наполеона не может быть ни вполне ясного представления, на чем держалась

его империя, ни отчетливого ответа на вопрос, почему она пала. Континентальная блокада была лишь составной частью того экономического законодательства, которое создал Наполеон.

Экономическая политика Наполеона вполне соответствовала его общей политике. Превращаясь в результате захватнических войн из императора французов в императора Запада, стремясь расширить свои владения до Египта, Сирии, Индии, он и в области экономической политики решительно подчинял эти «новые департаменты» интересам «старых департаментов», т. е., другими словами, той Франции, которую он застал 18 брюмера, когда сделался самодержцем. Какая же разница была между «старыми» и «новыми» департаментами колоссальной империи? Разница была огромная. «Старые департаменты» были *сознательно* и планомерно поставлены Наполеоном в положение эксплуататорской силы, а «новые» — в положение эксплуатируемых, и для этого нужно было насильственно задержать экономическое развитие завоеванных стран.

У Наполеона была налицо буквально с первого же года его правления совершенно выработанная доктрина, без малейших изменений продержавшаяся до конца его царствования: есть экономические интересы «национальные» и есть интересы всего остального человечества, которые должны быть не то что подчинены, а просто принесены в жертву национальным. Где же границы этой «нации»? На севере—Бельгия; на востоке—даже не Рейн, а граница старой Франции, отделявшая ее от левобережной Германии; на западе—Ламанш и океан; на юге—Пиренеи. Насколько Наполеон стремился расширять границы своего государственного могущества, настолько он старался сузить понятие «национальных» интересов, ограничить географические пределы этой привилегированной страны, «старой Франции», поскольку речь шла об интересах экономических. И это весьма понятно: и то и другое стремление теснейшим образом были между собой связаны в умах крупной французской промышленной и торговой буржуазии, интересы которой Наполеон поставил во главу угла своей грабительской по отношению к другим странам политики; именно эти интересы, т. е. интересы крупной французской буржуазии, он и назвал «национальными».

Уже Бельгия и левобережная Германия, прочно завоеванные, нераздельно присоединенные, разделенные на департаменты, являлись «ненациональными», т. е. попросту конкурентами французской буржуазии, которых можно и должно было сломить, а их земли сделать поприщем для деятельности французского капитала. Нечего уж говорить о позднее присоединенных Пьемонте, Голландии, ганзейских городах, иллирийских провинциях. Вся завоеванная империя—своя собственная, по-

скольку можно от нее требовать рекрутов, налогов, содержания войска и т. д., но *чужая,* поскольку нужно стараться, чтобы бельгийские, немецкие, голландские металлурги, текстильные и водочные фабриканты не смели конкурировать с французами как в старой Франции, так и у себя дома, т. е. на своей родине, завоеванной Наполеоном.

Нечего и говорить о тех завоеваниях, которые, по наполеоновским соображениям, сохраняли фикцию *отдельного* существования от Франции: Италия, где Наполеон был королем, Швейцария, где он был «медиатором», Рейнский союз (Бавария, Саксония, Вюртемберг, Баден и т. д.), где он был «протектором», Вестфальское королевство, т. е. конгломерат средне- и северогерманских государств, куда он посадил королем своего брата Жерома, Польша, куда он посадил своего вассала, саксонского короля, и т. д. и т. д.— все это должно было быть рынком сбыта или рынком сырья для французской промышленности. Сажали в тюрьму за попытку провезти украдкой в Италию какое-нибудь техническое изобретение, нужное для итальянской промышленности; это было строго воспрещено «королем Италии» Наполеоном во имя интересов французских промышленников, покровительствуемых французским императором Наполеоном. Зорко следил Наполеон за точным проведением своей политики: не пускал золингенские ножи во Францию, в Голландию, в Италию; воспрещал ввоз саксонских сукон в Вестфалию; обложил запретительными пошлинами вывоз шелка-сырца из Италии и Испании, так как нужно было обеспечить сырьем лионских фабрикантов; взыскивал особые пошлины с товаров, которые идут из Иллирии не по странам, подчиненным Наполеону непосредственно, а через вассальные страны. Эти приказы, запреты, указания, выговоры тучами ежедневно летели из императорского кабинета по всей Европе. Эта политика обогащала и усиливала крупную французскую буржуазию и укрепляла владычество Наполеона во Франции, но, конечно, раздражала, разоряла, угнетала промышленную и торговую буржуазию и всю потребительскую массу во всех областях необъятной империи, кроме «старых департаментов». Наполеон, создавая империю Запада, в хозяйственном отношении оставался узко национальным французским государем, продолжателем Людовиков XIV и XV, реализатором многих идей Кольбера. Во имя классовых интересов французской промышленной буржуазии он расширял несколько лет подряд колоссальное здание мировой монархии. Совершенно ясно, что при насильственном подавлении производительных сил порабощаемых им стран гигантское сооружение не могло не рухнуть, если бы даже не было испанского народного восстания, московского пожара, предательства Мармона под Парижем, опоздания Груши

под Ватерлоо,— словом, если бы даже политическая и стратегическая картина гигантской борьбы, которую вел Наполеон всю свою жизнь, сложилась в последние годы его царствования не так, как она сложилась в действительности.

Неправильно было бы думать, что Наполеон был только покорным исполнителем воли крупной буржуазии, призвавшей его к власти и в основном обеспечивавшей его диктатуру. Интересы крупной буржуазии он ставил, конечно, во главу угла всей своей внутренней и внешней политики. Но вместе с тем он стремился самую буржуазию подчинить своей воле, заставить ее служить государству, в котором видел «самоцель», и это экономическое порабощение Европы, о котором мы только что говорили, Наполеон установил, главным образом, в интересах французского буржуазного государства. С этим, конечно, отдельные слои буржуазии примириться не могли и против этого вели молчаливую фактическую войну нарушениями стеснительных для них постановлений, беззаконными операциями вроде скупок, искусственного вздувания цен и т. д.

И здесь нельзя не вспомнить очень тонкое и проницательное высказывание Маркса, которое он сделал в «Святом семействе» и без которого анализ причин, сокрушивших великую империю Наполеона, был бы неясен.

«Не революционное движение вообще сделалось 18 брюмера добычей Наполеона...,—писал Маркс,—добычей Наполеона стала *либеральная буржуазия»* [1]. «Правда, Наполеон понимал уже истинную сущность *современного государства*; он уже понимал, что государство это имеет своей основой беспрепятственное развитие буржуазного общества, свободное движение частных интересов и т. д. Он решился признать эту основу и взять ее под свою защиту. Он не был мечтательным терростом. Но в то же время Наполеон рассматривал еще *государство* как *самоцель»*, а буржуазию «исключительно лишь как казначея и своего *подчиненного,* который не вправе иметь свою *собственную волю.* Он *завершил терроризм, поставив* на место *перманентной революции перманентную войну.* Он удовлетворил до полного насыщения эгоизм французской нации, но требовал также, чтобы дела буржуазии, наслаждения, богатство и т. д. приносились в жертву всякий раз, когда это диктовалось политической целью завоевания. Деспотически подавляя либерализм буржуазного общества — политический идеализм его повседневной практики,— он не щадил равным образом и его существеннейших *материальных* интересов, торговли и промышленности, как только они приходили в столкновение с его, Наполеона, политическими интересами. Его презрение к промышленным дельцам было дополнением к его презрению к *идеологам.* И в области внутренней политики он боролся против бур-

жуазного общества как против противника государства, олицетворенного в нем, Наполеоне, все еще в качестве абсолютной самоцели. Так, например, он заявил в государственном совете, что не потерпит, чтобы владельцы обширных земельных угодий по произволу возделывали или не возделывали их. Тот же смысл имел и его план—путем передачи в руки государства *гужевого транспорта* подчинить торговлю государству. Французские купцы подготовили то событие, которое впервые потрясло могущество Наполеона. Парижские биржевики путем искусственно созданного голода заставили Наполеона отложить русский поход почти на два месяца и таким образом перенести его на слишком позднее время года» [2].

Таков среди многочисленных высказываний Маркса о Бонапарте социологический и психологический анализ политики и личности Наполеона в этом месте «Святого семейства». Маркс дает здесь замечательное указание того, как историк, анализируя классовую почву, из которой выросла данная политика, не должен забывать в то же время о личностях, конкретных руководителях этой политики, их характере, их индивидуальных особенностях. Когда Маркс говорит о «либеральной буржуазии», ставшей «добычей» Наполеона, он имеет в виду ликвидацию Наполеоном политических принципов либеральной буржуазии, считавшей идеалом государства конституционную монархию, присвоение Наполеоном-диктатором всей полноты государственной власти, ликвидацию каких бы то ни было «свобод», под знаком которых началась буржуазная революция 1789 г. Маркс подчеркивает, что буржуазный либерализм, олицетворявшийся в конституции 1791 г., был сначала раздавлен в процессе революционной борьбы террористической диктатурой Комитета общественного спасения, а потом попытка оживить и укрепить его при Директории была не менее круто ликвидирована бонапартистским переворотом 18 брюмера. И в том и в другом случае делалось нужное для капиталистического развития дело, и буржуазия до поры до времени поддерживала диктатуру якобинцев, необходимую для окончательного сокрушения феодальных порядков, и диктатуру Наполеона как форму власти, способную укрепить господство капитала и наиболее дееспособную для ведения завоевательных войн.

Наполеон, правя фактически именно так, как требовали интересы крупной буржуазии, в то же время ничуть ее не уважал, называл плутократию «наихудшей из всех аристократий» и склонен был повторять свой афоризм: «Богатство в настоящее время—это плод воровства и грабежа» (le fruit du vol et de la rapine).

Диктатура Наполеона, действуя в интересах французского буржуазного государства в целом, стремясь расширить его мо-

гущество за счет соседних наций, во имя этого часто шла наперекор стремлениям и потребностям отдельных слоев буржуазного общества. Эта диктатура рассматривала буржуазию как бездонный денежный мешок, обязанный служить, в его же собственных интересах, очередным политическим целям. Политически неразвитая часть буржуазии, оберегая свои сундуки, не раз противилась Наполеону, и Маркс отмечает, в частности, как перед началом русского похода между Наполеоном и французской буржуазией выявилось крупное расхождение, выяснившее, скажем кстати, сокрушающую трещину не только в империи Наполеона, но и в том капиталистическом хозяйстве, которое строилось под его покровительством. Вот почему, говоря о причинах падения наполеоновской империи, необходимо помнить об этих обстоятельствах.

3

Еще раньше чем начался последний акт великой исторической трагедии, еще когда все трепетало и безмолвствовало перед всесильным властелином, у ног которого во прахе лежали цари и с которым продолжали на всем континенте бороться только испанские оборванные крестьяне и ремесленники, на империю налетело первое дуновение грядущей бури: разразился экономический кризис. Это произошло в 1811 г., и человек, стоявший тогда как будто в центре мировых событий, не мог понять истинного смысла этого шквала. Этот кризис разразился уже во втором, обостренном фазисе континентальной блокады, о котором нужно сказать хоть несколько слов.

Блокада в 1810—1811 гг. была не та, что в 1806 г., в эпоху первого, определившего ее, берлинского декрета, и ее создатель тоже был уже не совсем тот человек, который подписал в Потсдамском дворце декрет 21 ноября 1806 г.

Со второй половины 1809 г., после Ваграма и Шенбруннского мира, резко усиливаются в императоре Наполеоне два убеждения, которые начали в нем складываться после Аустерлица, вполне отчетливо выявились после Иены и занятия Берлина и стали определять все его поведение после Фридланда и Тильзита: первое убеждение заключалось в том, что Англию можно «поставить на колени», исключительно разоряя ее континентальной блокадой; второе убеждение выражалось словами «я все могу» и логически пополнялось мыслью: «а следовательно, я могу осуществить и континентальную блокаду, хотя бы для этого потребовалось превратить весь континент во Французскую империю». Победитель делал, что хотел. Аттила в V в. брал себе насильственно в жены приглянувшуюся ему дочь какого-нибудь из бесчисленных мелких князьков полуди-

ких германских племен, а Наполеону по первому его требованию прислали в Париж дочь австрийского императора, принцессу из самой надменной, гордящейся своей древностью династии, да еще все считали это большим счастьем для того конгломерата территориальных обломков, в которые была превращена Наполеоном Габсбургская держава.

При таком рабском повиновении континента справиться с оставшимся врагом — Англией — казалось вполне возможным. Других врагов не должно поминать; «нищие канальи», как называл Наполеон испанцев, в счет не шли, т. е. он не хотел удостаивать их чести считать неприятелями. Он делал вид, что с ними уже не воюют, разбив их снова наголову в 1809—1810 гг., а просто приказывает их ловить и расстреливать. Этой иллюзией ему не очень долго пришлось себя тешить: партизанская война, гверилья, продолжалась. Но и тут император видел первопричину зла в англичанах, посылавших в Испанию помощь уже не только оружием, но и целыми отрядами.

Англия, и только Англия, стоит на дороге. Смертельный поединок между Наполеоном и Англией мог кончиться лишь гибелью одного из противников. Но тщетно Наполеон пытался превратить свой поединок в борьбу всего европейского континента против Англии. Блокада больно (и чем дальше, тем больнее) била одним концом по Англии, а другим по континенту. Наполеон *знал* это, но именно это-то и приводило его уже не в смущение, как до Тильзита, уже не в беспокойство и раздражение, как после Тильзита, а в нескрываемое бешенство.

Гнев его в эти годы направлялся прежде всего против тайных нарушителей континентальной блокады,— явных, открытых ослушников не было на всем континенте Европы, если не считать испанского повстанческого правительства, образовавшегося на самом юге Пиренейского полуострова. Расправа была короткая. Контрабандистов расстреливали, конфискованные английские товары сжигали, мирволящих контрабанде монархов Наполеон сгонял прочь с престола.

В 1806 г. Наполеон назначил королем Голландии своего младшего брата Людовика. Новый король понимал, что полное прекращение торговых связей с Англией грозит голландской торговой буржуазии, сельскому хозяйству, торговому мореплаванию полнейшим разорением и что с Голландией эта хозяйственная катастрофа случится гораздо раньше, чем с другими, потому что с тех пор, как англичане отняли у нее все ее колонии (именно после установления над ней французского владычества), Голландия в значительной степени зависела в своих торговых оборотах от сбыта в Англию водок, сыров, тонкого полотна и от получения из Англии колониальных товаров. Все это заставляло Людовика Бонапарта смотреть сквозь

пальцы на контрабандную торговлю голландского побережья с англичанами.

После нескольких грозных выговоров Наполеон лишил своего брата престола, Голландское королевство объявил уничтоженным, а Голландию присоединил в 1810 г. особым декретом к Французской империи и разделил ее на департаменты, куда и назначил префектов.

Донесли ему, что ганзейские города — Гамбург, Бремен и Любек — недостаточно строго борются с контрабандой и что его представитель в Гамбурге, Бурьен, берет взятки за попустительство. Наполеон немедленно отставил Бурьена, а ганзейские города тоже присоединил к Французской империи.

Он выгонял маленьких немецких самодержцев, имевших владения на берегу моря, не потому, что они в чем-либо провинились, а потому, что доверял только себе самому. Изгнал он герцога Ольденбургского и присоединил Ольденбург к своим владениям, хотя это и вызвало большое недовольство императора Александра, с которым Ольденбурский был в родстве.

Континентальная блокада тяжко сказывалась на потребительской массе всей Центральной Европы и, кроме того, вконец разоряла торговую буржуазию и судовладельцев ганзейских городов и всего морского побережья северной Германии. Даже в совсем задавленной цензурными строгостями печати покоренных стран это иногда обиняком проскальзывало. «Политические статьи, печатающиеся в Германии, всегда будут требовать внимания со стороны французского правительства [3],— докладывалось министру полиции в 1810 г.,— немец любит политические рассуждения, он читает с жадностью свои многочисленные газеты, ежемесячники, альманахи и календари, не говоря уже о брошюрах, драмах и романах, в которых ловкие авторы умеют представить Рейнский союз как рабство, союз Франции и Австрии как результат взаимного истощения, Англию как непобедимую страну, русских как наследников всемирной монархии». Неладно, с цензурной точки зрения, обстоит дело и с Голландией, вконец разоренной континентальной блокадой, потому что она, можно сказать, и жила главным образом морской торговлей. В Голландии тоже наблюдается тот же порок, как и в северной Германии: «в ней слишком много газет» [4],— читаем мы в другом докладе по полиции.

Но с газетами Наполеону справиться было совсем легко,— этим он никогда не затруднялся. Гораздо замысловатее было осуществить полностью блокаду на деле.

Трудности затеянного дела обступали Наполеона со всех сторон: оказалось, что найти для всего колоссального побережья Европы несколько десятков тысяч таможенных чиновников, жандармов, полицейских и вообще чиновников всякого

рода и всякого ранга, которые честно, неподкупно и ретиво исполняли бы свои обязанности, было гораздо труднее, чем расправиться с мирволящим королем или плутующим наместником. За кофе, за какао, за сахар, за перец, за пряности европейская потребительская масса платила в пять, в восемь, в двенадцать раз больше, чем до блокады,— и она получала эти товары, хотя и не в прежнем количестве. За красящее индиго, за хлопок, без которого останавливались мануфактуры, французские, саксонские, бельгийские, чешские, прирейнские бумагопрядильщики и ситценабивщики платили в пять и в десять раз дороже,— и они получали эти товары, хотя тоже и не в таком количестве, как прежде. Куда же шла эта чудовищная искусственная прибыль? Во-первых, в карманы английских судовладельцев и контрабандистов, и, во-вторых, в карманы наполеоновских таможенных чиновников и жандармов. Когда дежурному объездному пикету или таможенному чиновнику предлагали за то, чтобы они согласились одну ночь спокойно проспать, сумму, равную их жалованию за пять лет, или когда жандарму за то, чтобы он погулял в течение трех часов подальше от данного прибрежного места, предлагали тонкого сукна на 500 франков золотом и сахарного песка на другие 500 франков, то соблазн оказывался слишком велик.

Наполеон это знал и видел, что на этом фронте ему победить будет труднее, чем при Аустерлице, Иене или Ваграме. Он назначал и посылал ревизоров и контролеров, и постоянных и чрезвычайных, но и их подкупали. Он смещал и отдавал под суд, но заместитель продолжал дело смещенного и осужденного и только старался быть осторожнее. Тогда император придумал новую меру. Начались повальные обыски уже не только в прибрежных городах, и селах, но и далеко в центре Европы, в магазинах, складах, конторах. Конфисковались все товары «английского происхождения», причем обязанность доказывать неанглийское их происхождение возлагалась на владельцев этих товаров. В панике разоряемые владельцы наиболее подозрительных в данном случае колониальных продуктов старались доказать, что эти товары американского, а не английского происхождения. И действительно, американцы делали в это время золотые дела, покрывая своим флагом и сбывая привозимые на их судах английские товары.

Тогда Наполеон трианонским запретительным тарифом 1810 г. сделал легальную торговлю колониальными продуктами невозможной, откуда бы они ни происходили. И вот по всей Европе запылали костры: не веря таможенным чиновникам, полиции, жандармам, властям крупным и мелким, начиная от королей и генерал-губернаторов и кончая ночными сторожами и конными стражниками, Наполеон приказал *публично сжи-*

гать все конфискованные товары. Толпы народа угрюмо и молчаливо, по свидетельству очевидцев, глядели на высокие горы ситцев, тонких сукон, кашемировых материй, бочек сахара, кофе, какао, цибиков чая, кип хлопка и хлопковой пряжи, ящиков индиго, перца, корицы, которые обливались и обкладывались горючим веществом и публично сжигались [5]. «Цезарь безумствует»,— писали английские газеты под впечатлением слухов об этих зрелищах. Наполеон решил, что только физическое уничтожение всех этих привозных сокровищ может сделать контрабанду в самом деле убыточным предприятием и распространить риск не только на тех, кто берется в глухую ночь выгрузить в укромном местечке, под утесом на пустынном берегу, привезенный товар, но и на богатых купцов Лейпцига, Гамбурга, Страсбурга, Парижа, Антверпена, Амстердама, Генуи, Мюнхена, Варшавы, Милана, Триеста, Венеции и т. д., которые перекупают, спокойно сидя у себя в конторе, этот контрабандный товар уже из третьих и четвертых рук.

Некоторая часть буржуазии как Французской империи, так и вассальных стран сумела выкачивать громадные прибыли и в этих условиях, она продолжала в общем похваливать континентальную блокаду и одобрять все меры императора против тайного подвоза английских товаров. В особенности были довольны металлурги. Но уже среди текстильных фабрикантов раздавались наряду с похвалами и жалобы: без хлопка все-таки нельзя было делать ситцы, без индиго все-таки нельзя было красить материи.

Что касается буржуазии торговой и ремесленников, занятых производством предметов роскоши, то здесь ропот был еще сильнее: с грустью вспоминали те недолгие месяцы Амьенского мира 1802—1803 гг., когда тысячи богатых англичан хлынули в Париж и разом раскупили чуть ли не все изделия столичных ювелиров и чуть ли не весь бархат и шелк на лионских складах. Жаловались на бесконечные войны, разорявшие былых европейских клиентов. Еще больше роптала вся потребительская масса, жестоко переплачивавшая на кофе, сахаре, да и на мануфактурах, избавленных от английской конкуренции и поэтому вздорожавших.

При этой-то обстановке и разразился торгово-промышленный кризис 1811 г.

4

Уже поздней осенью 1810 г. стало наблюдаться сокращение сбыта французских товаров, и это явление, быстро прогрессируя, охватило всю империю и особенно «старые департаменты», т. е., другими словами, Францию в точном смысле этого

слова. Промышленники и торговцы почтительнейше жаловались на то, что блокада бьет по карману не только англичан, но начинает бить и их, что у них нет сырья, что, эксплуатируя побежденные народы (петиционеры выражались несравненно мягче и изящнее), его императорское величество уменьшил во всей Европе покупательную силу потребителя, а произвольными конфискациями товарных складов и разгулом беззакония и самоуправства военных и таможенных властей (они и тут выражались вовсе не так, а гораздо ласковее) император может подорвать возможность нормального кредита, без которого ни промышленность, ни торговля существовать не могут.

Кризис усиливался с каждым месяцем. У владельцев целого ряда бумаготкацких, прядильных и ситцевых мануфактур, Ришар-Ленуара, например, у которого перед кризисом 1811 г. работало 3600 прядильщиков и прях, 8822 ткача, 400 ситценабивщиков, в общем больше 12 тысяч человек,— в 1811 г. не осталось бы и пятой части этого количества, если бы Наполеон не велел выдать ему экстренную субсидию в $1^1/_2$ миллиона франков золотом. Но банкротства быстро следовали за банкротствами. В марте 1811 г. Наполеон распорядился выдать амьенским фабрикантам 1 миллион субсидии и сразу на 2 миллиона закупил товаров в Руане, Сен-Кантене и Генте. Огромные субсидии были ассигнованы и Лиону. Но все это было только каплей в море.

Среди документов, которые автор этой книги нашел в Национальном архиве Франции и которые характеризуют грандиозное развитие кризиса, наибольшее впечатление производят документы, подводящие общие итоги. Министр внутренних дел сообщил Наполеону 19 апреля 1811 г.: «Рабочие большей части промыслов жалуются, что они без работы. Уверяют, что большое количество рабочих беспрерывно эмигрирует». В Руане безработица была такая страшная и разорение фабрикантов так очевидно, что Наполеон вынужден был ассигновать 15 миллионов на поддержку погибающих мануфактур.

Сановники осмелели. Управляющий Французским банком прямо доложил 7 мая 1811 г. императору, что покоренные страны слишком разорены и что до их покорения французские товары сбывались в большем количестве, чем после их покорения; что в Париже ремесленники, занятые выделкой предметов роскоши, голодают; что потребление и внутри и вне страны круто сократилось... Наполеон давал субсидии, но ничуть не смягчал блокады. Английские товары (а все колониальные продукты подводились под английские) конфисковались по-прежнему. Летняя ярмарка в Бокэре в 1811 г. была прямо уничтожена внезапным налетом полиции, конфисковавшей «целую улицу» складов сахара, пряностей, индиго и т. д.

Наполеон, кроме многомиллионных ссуд и субсидий фабрикантам, прибег в 1811 г. к гигантским заказам за счет казны: так, он произвел колоссальные закупки шерстяных материй для армии, дал громадные заказы лионским шелковым и бархатным мануфактурам для дворцов, приказывал всем подвластным ему европейским дворам делать закупки в Лионе и достиг того, что если в июне 1811 г. в Лионе работало в шелковой промышленности всего 5630 станков, то в ноябре работало 8000. Зима была трудная. Глухое брожение в этот период проявлялось как на рабочих окраинах Парижа, так и в других промышленных центрах. Не все успевали подслушать полицейские шпионы, не обо всем удалось по душе разговориться в рабочих предместьях провокаторам, во всяком случае в 1811 г. среди рабочего населения было, конечно, далеко не так благополучно, как это пытаются изобразить современники и позднейшие историки. Наполеон часто говорил, что единственная революция, которая может быть опасна,— это «революция пустого желудка». «Наполеон неоднократно говорил мне,— пишет министр Наполеона Шапталь в своих воспоминаниях,— что он боится народных восстаний, когда они вызываются недостатком работы» [6]. «У рабочего нет работы... он может восстать; я боюсь этих восстаний, вызываемых отсутствием хлеба; я бы меньше боялся сражения против армии в 200 тысяч человек» [7],— повторял Наполеон.

До больших выступлений рабочей массы в столице и провинции не дошло, хотя признаки раздражения, нетерпения, уныния, иногда и отчаяния отмечались и полицейскими и частными наблюдателями.

Если в экономическом кризисе 1811 г. заключался урок, то Наполеон поспешил учесть его совершенно определенным образом; пока континентальная блокада не сломит Англию, пока моря не откроются для французов, пока не прекратится бесконечная война, положение французской торговли и промышленности всегда будет шатким и всегда возможно повторение кризиса. Значит, блокаду нужно завершить, и если для этого придется взять Москву, нужно взять Москву.

Наполеон крепко запомнил, что лионские шелкоделы частично объясняли кризис сбыта «внезапным» прекращением заказов из России, вызванным новым русским таможенным тарифом, подписанным императором Александром в декабре 1810 г. и облагавшим высокими пошлинами предметы роскоши, т. е. шелк, бархат, дорогие вина,— все то, что шло в Россию из Франции.

Это Наполеон тоже поставил Александру в тот счет, который нарастал уже давно, с Эрфурта. И в течение всего 1811 года у Наполеона крепло убеждение, что этот счет будет ликвидирован и может быть ликвидирован только в Москве.

Как отнесся Наполеон к этим тревожным симптомам ненормального экономического положения империи?

Кризис назревал давно, и император следил за его приближением. До сих пор Наполеону приходилось встречаться с критическим положением государственных финансов, с начинающейся «инфляцией», с необходимостью выпускать бумажки без золотого обеспечения, наконец, с плутовскими махинациями крупных финансистов, которые стремились опутать казну разными сомнительными займами и ростовщическими обязательствами. Так было в самые первые годы его владычества (1799—1800), так было в 1805 и в начале 1806 г. Но с этими затруднениями Наполеон всегда справлялся. То он привозил с войны золотые миллионы контрибуции; то он налагал под разнообразными предлогами тяжелые налоги и поборы на население побежденных стран независимо от контрибуции, которую ему уплачивали правительства этих стран; то, наконец, просто отнимал у финансистов многое из того, что они успели заполучить. Так было, например, в 1806 г. Едва вернувшись после аустерлицкой кампании в Париж, в конце января 1806 г., Наполеон потребовал отчета о состоянии финансов и усмотрел, что знаменитый миллионер и хищник Уврар и стоявшая около него финансовая компания, действовавшая под фирмой «Объединенные негоцианты», очень хитроумными комбинациями и тонкими, юридически ловкими приемами опутали казну и причинили ей колоссальные убытки. Наполеон приказал Уврару и представителям «Объединенных негоциантов» явиться во дворец и тут объявил им без особых предисловий и околичностей, что просто приказывает им отдать все наворованное ими за последнее время. Уврар пробовал было прельстить Наполеона предложением новых «интересных для казны» комбинаций, которые его величество, наверное, примет, но его величество не скрыл, что наиболее интересной для казны комбинацией он считает немедленное заключение Уврара и его товарищей в Венсенский замок и отдачу их под уголовный суд. «Объединенные негоцианты» отнеслись к этому мнению императора с полным вниманием и, хорошо зная нрав собеседника, сочли его аргументацию исчерпывающей: в ближайшее же время они отдали казне 87 миллионов франков золотом, не настаивая при этой прискорбной для них операции ни на каких уточнениях, ни бухгалтерских, ни юридических. «Я заставил дюжину мошенников вернуть награбленное»,— так сообщал Наполеон об этом случае в одном письме к своему брату, тогда неаполитанскому, позднее испанскому королю Жозефу.

Валюта стояла прочно, золота в казне было достаточно, система финансовой и экономической эксплуатации как всех завоеванных частей империи, так и всей вассальной Европы в

пользу «старых департаментов», т. е. в пользу Франции в точном смысле слова, оправдывала себя, казалось, много лет подряд.

И вдруг зловещий треск прошел по колоссальному зданию: Наполеон на опыте 1811 г. понял, насколько труднее бороться с общим экономическим кризисом, чем с временными финансовыми затруднениями, и насколько легче ликвидировать неполадки в казначействе, чем найти и, главное, уничтожить дефекты во всей экономической системе, в организации всей хозяйственной жизни колоссальной державы. Здесь уже не могли помочь ни контрибуции, ни хватанье за горло финансовых хищников, ни образцовая отчетность и строгость контроля, ни все совершенство бюрократической машины, созданной Наполеоном. Разразившийся в 1811 г. кризис был прежде всего (но далеко не исключительно) кризисом сбыта тех товаров, которые главным образом и составляли предметы торговли и промышленности, обогащавшие Францию. Кому было сбывать знаменитые ювелирные изделия парижских мастерских? Кому было продавать дорогую мебель, над выделкой которой работало чуть не три четверти населения Сент-Антуанского предместья? Или драгоценные, дорогие сорта кожаных изделий, производством которых кормились Сен-Марсельское предместье и колоссальный рабочий квартал Муффтар? Или великолепные женские наряды и мужские костюмы, выделкой и продажей которых занимались бесчисленные портняжные мастерские мировой столицы? Как могли держаться на высоте цены на лионский шелк и бархат, на седанские высшие сорта сукон, на тончайшее полотняное белье, выделываемое в Лилле, Амьене, Рубе, на валансьенские кружева?

Все эти французские предметы роскоши выделывались не только для внутреннего рынка, но для всего мира, а весь мир для французских товаров оказывался очень сокращенным: Англия отпала, Америка, как Северная, так и Южная, отпала, богачи-плантаторы с Антильских и Маскаренских островов отпали. Вообще отпали все покупатели (богатейшие и многочисленные) изо всех стран, отделенных от европейского континента «соленой водой», потому что на «соленой воде» безраздельно владычествовали англичане. Но неблагополучно обстояло дело и с европейским континентом. Завоеванные Наполеоном страны разорялись дотла, побежденным странам, даже если они и не были непосредственно завоеваны, навязывали континентальную блокаду, которая лишала их валюту покупательной силы. С тех пор как русские помещики не могли сбывать в Англию сельскохозяйственное сырье, исчезло и то английское золото, которым они оплачивали парижские товары: русский рубль упал после Тильзита до 26 копеек. У поляков, австрийцев, у

итальянской аристократии произошло то же самое. В государствах западной, южной, центральной, а в конце концов и северной Германии происходил тот же процесс быстрого материального оскудения феодально-помещичьего класса не только вследствие подчинения континентальной блокаде, но и вследствие потрясения, а во многих местах и уничтожения крепостничества.

И дело было не только в оскудении феодально-крепостнического класса в Европе. Новая буржуазия, появлявшаяся вместе с наступавшим развитием промышленного капитализма, шла своей дорогой, росла, крепла, усиливалась в завоеванных Наполеоном странах и во всей зависимой и полузависимой от него Европе, и никакими ухищрениями не удавалось подавить промышленное развитие всей западной и отчасти центральной Германии, Богемии (как тогда называлась чешская часть Австрии), Бельгии, части Силезии, которые являлись самыми промышленными частями Европы. Эта конкуренция (не говоря уже о сильно развивавшейся английской контрабанде) вытесняла даже и такие французские товары, которые никак не могли назваться предметами роскоши. Но для шерстяных и грубых сортов полотняных изделий, для металлургии, для сбыта предметов обыденного потребления оставался в той или иной степени внутренний рынок «старых департаментов», куда французский император не пускал других своих же подданных: ни бельгийцев, ни немцев, ни итальянских шелкоделов и никого вообще. Однако и тут была налицо одна обширная отрасль производства, особенно и издавна покровительствуемая Наполеоном, которая страдала не только (и не столько) от сокращения сбыта, сколько от страшного вздорожания сырья. Это была хлопчатобумажная индустрия. В результате запрещения ввоза колониальных товаров хлопок стал цениться чуть ли не на вес золота. Возник жестокий кризис сырья, который заставил в 1811 г. фабрикантов резко сократить производство. Перед лицом кризиса, перед угрозой растущей безработицы и голода в рабочих кварталах столицы, Лиона, Руана, а также и разорения винодельческих южных департаментов Наполеон пошел на некоторое отступление от правил блокады. Он позволил выдавать лицензии (в ограниченном количестве), именные удостоверения, разрешающие ввоз во Францию на определенную сумму «запрещенных товаров», с тем чтобы (данным лицом) на эту же сумму были проданы за границу французские товары. Эти лицензии стоили очень дорого ввиду злупотреблений полиции, выдававшей их, и все-таки считались необыкновенно выгодными для покупателей.

Эта уступка показывает, насколько обеспокоен был Наполеон кризисом 1810—1811 гг. Правда, особенно большой матери-

альной пользы англичанам французские лицензии принести не могли, но все-таки это было определенное отступление от принципа. Как мера борьбы против кризиса лицензии лишь в слабой степени могли способствовать усилению сбыта. Еще меньше значения могли в этом смысле иметь требования, предъявленные Наполеоном к его двору, к высшим сановникам: он требовал, чтобы при дворе одевались как можно роскошнее и наряднее, чтобы как можно чаще меняли туалеты и т. д. Эти распоряжения императора не могли обеспечить обильный сбыт громадной отрасли производства предметов роскоши, хотя придворная жизнь при Наполеоне даже и до 1811 г. была необычайно богата, а после этих распоряжений императора стало хорошим тоном швырять деньги парижским ювелирам и лионским шелкоделам, устраивать пиры на сотни приглашенных, где шампанское и другие дорогие вина лились рекой, менять мебель на более дорогую и изысканную, рядить в драгоценные кружева не только себя, но и прислугу, заказывать роскошные кареты и т. д. Сам Наполеон в 1811 г. сделал также целый ряд очень больших и дорогих заказов парижским и лионским промышленникам и ремесленникам для казенных зданий и дворцов.

Теперь, в 1811 г., как и раньше, в 1806 г., во время несравненно менее острого и менее продолжительного затора в торгово-промышленных делах, Наполеон придерживался давно высказанного им принципа: «Моя цель не в том, чтобы предупредить банкротство негоциантов, государственных финансов не хватило бы на это, а в том, чтобы помешать закрытию той или иной мануфактуры». И если министр внутренних дел оказал вспомоществование, то Наполеон требует, чтобы министр оправдывал произведенный расход так: «Я дал взаймы деньги этой мануфактуре, у которой столько-то рабочих, потому что ей грозило остаться без работы».

К зиме 1811/12 г. кризис стал медленно ослабевать. Однако Наполеон понимал, что ни одна причина кризиса 1811 г. не устранена, что кризис в скрытом, тлеющем состоянии будет продолжаться; понимал он и то, что именно война с Англией и сопряженная с ней континентальная блокада мешают радикальному улучшению экономики империи. Чтобы прекратить блокаду, нужно было сначала добиться, чтобы Англия сложила оружие. Больше чем когда-либо он считал теперь ускорение победы над Англией главным средством к упрочению своей империи и вне и внутри. И больше чем когда-либо он был убежден, что огромный прорыв в блокаде уже сделан англичанами, что Александр с ним лукавит и его обманывает, что английские товары из России по всей необъятной западной границе, через Пруссию, Польшу, Австрию, через тысячи пор и отверстий просачиваются в Европу и что это сводит к нулю континентальную

блокаду, т. е. уничтожает единственную надежду «поставить Англию на колени». Наполеона извещали и предупреждали со всех сторон, что английская контрабанда проникает не только в подчиненную ему Европу, но и во Францию, т. е. «старые департаменты» его колоссальной империи, и что пробирается эта контрабанда с «северного побережья» материка Европы [8].

Его взор, прикованный к Лондону, постоянно в течение всей его жизни отвлекаемый то к Альпам, то к Вене, то к Берлину, то к Мадриду и упорно снова устремлявшийся на Лондон, как только наступала передышка в континентальных войнах, теперь снова стал переходить с Лондона на самую далекую европейскую столицу.

«Северное побережье» — под властью лукавого византийца, русского царя... Отказаться от борьбы с Англией, от близкой уже победы, от сокрушения британского экономического могущества или схватить Александра за горло и заставить его вспомнить тильзитские обязательства? Так начал ставиться вопрос для Наполеона уже в 1810 г.

Уже с 1810 г. Наполеон приказал доставить ему книги с информацией о России, ее истории и ее особенностях.

Судя по отрывочным высказываниям императора и скудным данным, шедшим от окружения императора, Наполеон уже с осени 1810 г. стал свыкаться с мыслью, что англичанам, этому упорному, неуловимому, наседающему врагу, которого не удалось победить ни в Каире, ни в Милане, ни в Вене, ни в Берлине, ни в Мадриде, можно нанести окончательный, сокрушительный удар только в Москве. Эта мысль крепла в Наполеоне с каждым месяцем.

Великая армия в Москве — это значит покорность Александра, это — полное, безобманное осуществление континентальной блокады, следовательно, победа над Англией, конец войнам, конец кризисам, конец безработице, упрочение мировой империи, как внутреннее, так и внешнее. Кризис 1811 г. окончательно направил мысли императора в эту сторону. Впоследствии в Витебске, уже во время похода на Москву, граф Дарю откровенно заявил Наполеону, что ни армия, ни даже многие в окружении императора не понимают, зачем ведется эта трудная война с Россией, потому что из-за торговли английскими товарами во владениях Александра воевать не стоило. Но для Наполеона такое рассуждение было неприемлемо. Он усматривал в последовательно проведенном экономическом удушении Англии единственное средство окончательно обеспечить прочность существования великой созданной им монархии. И вместе с тем он ясно видел, что союз с Россией подламывается не только вследствие разногласий из-за Польши и не только из-за беспокоящей и раздражающей Александра окку-

пации части прусских владений и захватов на севере Германии,— но прежде всего потому, что Россия возлагает очень много надежд на Англию в будущем, как и Англия возлагает свои надежды на Россию. Но непосредственный удар нанести Англии он не может. Значит, нужно ударить по России.

Кровавый призрак новой колоссальной вооруженной борьбы стал подыматься на мировом горизонте.

Глава XII

РАЗРЫВ С РОССИЕЙ
1811—1812 гг.

1

После Эрфурта Александр вернулся в Петербург еще с намерением поддерживать франко-русский союз и не выходить из фарватера наполеоновской политики, по крайней мере в ближайшем будущем. Когда будет написана научная и детальная социально-экономическая и политическая история России начала XIX в., тогда вероятно, будущий исследователь много внимания уделит и очень много страниц посвятит этим любопытным годам — от Эрфурта до нашествия Наполеона в 1812 г. В эти четыре года мы видим сложную борьбу враждебных социальных сил и течений, определивших историческую закономерность как появления фигуры Сперанского, так и его крушения.

По-видимому, вопрос о введении некоторых реформ в управление Российской империи выдвигался достаточно настойчиво условиями того времени. Толчков, способствовавших сознанию необходимости реформы, было достаточно: Аустерлиц, Фридланд, Тильзит. Но, с другой стороны, страшные поражения в двух больших войнах, которые велись Россией в 1805—1807 гг. против Наполеона, окончились, что бы там ни говорилось о тильзитском позоре, сравнительно выгодным союзом со всемирным завоевателем и затем в скором времени приобретением огромной Финляндии. Значит, причин для очень глубоких, коренных реформ, даже хотя бы для таких, какие после иенского разгрома наметились для Пруссии, русский царь не усматривал. Тут и пришелся необыкновенно кстати ко двору Сперанский. Умный, ловкий и осторожный разночинец вернулся из Эрфурта, куда он ездил в свите Александра, в полном восторге от Наполеона. Крепостного права Сперанский никак, даже отдаленно, не трогал,— напротив, убедительно доказывал, что оно совсем не рабство. Православной церкви тоже никак не трогал,— напротив, говорил ей много комплиментов при всяком удобном случае. На какое-либо ограничение самодержавия он и подавно не только не посягал, но,

наоборот, в царском абсолютизме видел главный рычаг затеянных им преобразований. А преобразования эти как раз и были предназначены для того, чтобы обратить рыхлую полувосточную деспотию, вотчину семьи Гольштейн-Готторпов, присвоивших себе боярскую фамилию вымерших Романовых, в современное европейское государство с правильно действующей бюрократией, с системой формальной законности, с организованным контролем над финансами и администрацией, образованным и деловым личным составом чиновничества, с превращением губернаторов из сатрапов в префектов,— словом, он желал насадить на русской почве те же порядки, которые, по его представлению, превратили Францию в первую страну в мире. Сама по себе эта программа ничуть не противоречила мыслям, чувствам, желаниям Александра, и царь несколько лет подряд поддерживал своего любимца. Но и Александр и Сперанский рассчитали без хозяина. Родовитая знать и руководимый ею среднедворянский слой учуяли врага, сколько бы он ни прикрывался умеренностью и благонамеренностью. Они поняли инстинктом, что Сперанский стремится феодально-абсолютистское государство сделать буржуазно-абсолютистским и создать формы, которые по существу несовместимы с существовавшим в России феодально-крепостным укладом и дворянским строем политического и общественного быта.

Дружной фалангой пошли они против Сперанского. Не случайно, а органически реформаторская работа Сперанского связывалась в их глазах с приверженностью руководящего министра к франко-русскому союзу, к дружбе с военным диктатором Франции и Европы; не случайно, а органически в умах русской знати ассоциировались попович, который вводит экзамены для чиновников и хочет вытеснить дворянство из государственной машины, чтобы передать эту машину разночинцам, кутейникам и купцам, и французский завоеватель, который разоряет это же русское дворянство континентальный блокадой и к которому на поклон ездил в «Эрфуртскую орду» царь со своим фаворитом. Такова была твердая линия придворно-дворянской оппозиции в Петербурге и Москве в 1808—1812 гг., и эта оппозиция направлялась одинаково резко и против внутренней и против внешней политики царя и его министра.

Уже это обстоятельство лишало франко-русский союз должной прочности. В русских аристократических салонах порицали отнятие Финляндии у Швеции, потому что это было сделано по желанию Наполеона, и не хотели даже получить Галицию, если для этого требовалось помогать в 1809 г. ненавистному Бонапарту против Австрии. Всячески старались показать холодность французскому послу в Петербурге Коленкуру, и чем ласковее и сердечнее был с ним царь, тем демонстративнее обна-

руживали свою неприязнь аристократические круги как «нового» Петербурга, так и особенно старой Москвы.

Но с конца 1810 г. Александр перестал противиться этому побеждающему течению. Во-первых, тильзитские речи Наполеона о распространении русского влияния на Востоке, в Турции, оказывались только словами, и это разочаровывало Александра; во-вторых, Наполеон все не выводил войск из Пруссии и, главное, вел какую-то игру с поляками, не покидая мысли о восстановлении Польши, что грозило целости русских границ и отторжением Литвы; в-третьих, протесты и неудовольствия Наполеона по поводу неисполнения в точности условий континентальной блокады принимали очень оскорбительные формы; в-четвертых, произвольные аннексии одним росчерком пера целых государств, практикуемые Наполеоном так охотно в 1810—1811 гг., беспокоили и раздражали Александра. Непомерное могущество Наполеона само по себе висело вечной угрозой над его вассалами, а на Александра после Тильзита смотрели (и он это знал) как на простого вассала Наполеона. Иронизировали над маленькими подачками, которые Наполеон давал Александру и в 1807 г., «подарив» ему прусский Белосток, и в 1809 г., подарив царю один австрийский округ на восточной (галицийской) границе; говорили, что Наполеон так обращается с Александром, как прежние русские цари со своими холопами, жалуя им в награду за службу столько-то «душ».

Когда не удалась женитьба Наполеона на великой княжне Анне Павловне, то во всей Европе впервые стали говорить о приближающейся резкой размолвке между обоими императорами. Женитьба Наполеона на дочери австрийского императора истолковывалась как замена франко-русского союза франко-австрийским.

Есть точные указания, что впервые не только размышлять вслух о войне с Россией, но и серьезно изучать этот вопрос Наполеон начал с января 1811 г., когда ознакомился с новым русским таможенным тарифом. Этот тариф очень повышал пошлины на ввоз в Россию вин, шелковых и бархатных материй и других предметов роскоши, т. е. как раз тех товаров, которые являлись главными предметами французского импорта в Россию. Наполеон протестовал против этого тарифа; ему ответили, что плачевное состояние русских финансов вынуждает к подобной мере. Тариф остался. Жалобы на слишком легкий пропуск в Россию колониальных товаров на мнимонейтральных, а на самом деле английских судах все учащались. Наполеон был уверен, что русские тайком выпускают английские товары и что из России эти товары широко распространяются в Германии, Австрии, Польше и, таким образом, блокада Англии сводится к нулю.

Александр тоже думал о неизбежности войны, искал союзников, вел переговоры с Бернадоттом, прежде наполеоновским маршалом, теперь наследным принцем шведским и врагом Наполеона. 15 августа 1811 г. на торжественном приеме дипломатического корпуса, прибывшего поздравить Наполеона с именинами, император, остановившись около русского посла князя Куракина, обратился к нему с гневной речью, имевшей угрожающий смысл. Он обвинял Александра в неверности союзу, в неприязненных действиях. «На что надеется ваш государь?» — спросил он угрожающе. Наполеон предложил затем Куракину немедленно подписать соглашение, которое улаживало бы все недоразумения между Россией и Французской империей. Куракин, оробевший и взволнованный, заявил, что у него нет полномочий для такого акта. «Нет полномочий? — крикнул Наполеон.— Так потребуйте себе полномочий!.. Я не хочу войны, я не хочу восстановить Польшу, но вы сами хотите присоединения к России герцогства Варшавского и Данцига... Пока секретные намерения вашего двора не станут открытыми, я не перестану увеличивать армию, стоящую в Германии!» Оправданий и объяснений Куракина, отвергавшего все эти обвинения, император не слушал, а говорил и повторял на все лады свои мысли.

После этой сцены уже никто в Европе не сомневался в близкой войне.

Наполеон постепенно превращал всю вассальную Германию в обширный плацдарм для будущего нашествия.

Одновременно он решил принудить к военному союзу с собой как Пруссию, так и Австрию — две державы на континенте, которые еще числились самостоятельными, хотя фактически Пруссия была в полном политическом рабстве у Наполеона. Этот военный союз должен был непосредственно предшествовать нападению на Россию.

2

Очень трудные времена переживала Пруссия в годы, когда над ней тяготело наполеоновское иго, но все-таки даже в первые моменты после Тильзита, в 1807—1808 гг., там не было такой хронической паники, как после Ваграма и австрийского брака Наполеона. В первые годы под влиянием Штейна и «партии реформ» в Пруссии было если не полностью уничтожено крепостное право, то очень значительно надломлены почти все его юридические основания. Были проведены и еще некоторые реформы.

Но вот пламенный патриот Штейн, слишком открыто восторгавшийся испанским восстанием, обратил на себя внимание

наполеоновской полиции: было перехвачено одно его письмо, показавшееся Наполеону неблагонамеренным, и император приказал королю Фридриху-Вильгельму III немедленно изгнать Штейна из Пруссии. Король в знак усердия не только сейчас же выполнил приказ, но и конфисковал имущество опального государственного деятеля.

Дело реформ в Пруссии замедлилось, но не прекратилось. Шарнгорст, военный министр, Гнейзенау и их помощники работали, поскольку это было возможно, над реорганизацией армии. По требованию Наполеона, Пруссия не могла иметь армию больше чем в 42 тысячи человек, но разными ловкими мероприятиями прусское правительство умудрялось, призывая на короткий срок, давать военное обучение большой массе. Таким образом, раболепно исполняя волю Наполеона, покоряясь, льстя, унижаясь, Пруссия под шумок все же готовилась к отдаленному будущему и не теряла надежды на выход из того отчаянного, невозможного положения, в которое ее поставили страшный разгром 1806 г. и Тильзитский мир 1807 г.

Когда вспыхнула война Наполеона с Австрией в 1809 г., была одна отчаянная, судорожная, произведенная на индивидуальный риск и страх попытка с прусской стороны освободиться от угнетения: майор Шилль с частью гусарского полка, которой он командовал, начал партизанскую войну. Он был разбит и убит, его товарищи, по приказу Наполеона, судимы прусским военным судом и расстреляны. Король был вне себя от страха и ярости против Шилля, но Наполеон пока удовольствовался этими казнями и униженными заверениями Фридриха-Вильгельма. После нового разгрома Австрии при Ваграме, после Шенбруннского мира и женитьбы Наполеона на Марии-Луизе пропали последние надежды на спасение Пруссии: Австрия, казалось, всецело и бесповоротно вошла в орбиту наполеоновской политики. Кто же мог помочь, на что надеяться? На начавшуюся ссору Наполеона с Россией? Но ссора эта развивалась очень медленно, и на силу России уже не возлагалось теперь, после Аустерлица и Фридланда, прежних упований.

С самого начала 1810 г. ходили зловещие слухи о том, что Наполеон намерен без войны, простым декретом, уничтожить Пруссию, либо разделив ее на части (между Французской империей, Вестфальским королевством Жерома Бонапарта и Саксонией, которая была в вассальной зависимости от Наполеона), либо изгнав оттуда династию Гогенцоллернов и заменив ее кем-нибудь из своих родственников или маршалов. Когда 9 июня 1810 г. простым декретом Наполеон присоединил Голландию и затем превратил ее в девять новых департаментов Французской империи, когда таким же легким способом были присоединены к Франции Гамбург, Бремен, Любек, герцогства

Лауэнбург, Ольденбург, Сальм-Сальм, Аренберг и целый ряд других владений, когда занявший все северное побережье Германии, от Голландии до Гольштейна, маршал Даву в качестве единственного утешения для присоединяемых заявил в официальном воззвании к ним: «Ваша независимость ведь была только воображаемой»,— тогда король прусский стал ожидать последнего часа своего правления. *Его* независимость ведь тоже была лишь «воображаемой», и он знал, что еще в Тильзите Наполеон категорически заявил, что не стер Пруссию с карты Европы *только* из любезности к русскому царю. А теперь, в 1810—1811 гг., отношения с царем у Наполеона быстро портились и уже ни о каких «любезностях» и речи не было. Не постеснялся же Наполеон в конце 1810 г. ни с того, ни с сего, среди полного мира, прогнать герцога Ольденбургского из его владений и присоединить Ольденбург к своей державе, хотя сын и наследник этого герцога был женат на родной сестре Александра, Екатерине Павловне.

Пруссия в 1810—1811 гг. ждала гибели. Боялся не только король Фридрих-Вильгельм III, никогда храбростью не отличавшийся, но притихли и те либерально-патриотические ассоциации, вроде Тугендбунда, которые в то время отражали стремление части молодой германской буржуазии избавиться от чужеземного угнетателя и затем создать новую, «свободную» Германию. Тугендбунд был не единственной, а лишь самой заметной из этих нелегальных ассоциаций; он тоже приумолк и приуныл в 1810, а особенно в 1811 и в начале 1812 г. Очень уж безнадежным казалось положение. Министр Гарденберг, некогда стоявший за сопротивление и за это, по требованию Наполеона, удаленный от прусского двора, теперь покаялся формально и в письменной форме довел до сведения французского посла Сен-Марсана о полной перемене в своих убеждениях. «Только от Наполеона зависит наше спасение»,— писал Гарденберг генералу Шарнгорсту. Сам Гарденберг в мае 1810 г. обратился к французскому послу со следующей униженной просьбой: «Пусть его императорское величество удостоит высказаться о том участии, которое я мог бы принять в делах. Это даст существенное доказательство возвращения королю доверия и милостей императора».

Наполеон смилостивился и позволил Фридриху-Вильгельму назначить Гарденберга государственным канцлером. Это произошло 5 июня, а уже 7 июня 1810 г. новый прусский канцлер писал Наполеону: «Глубоко убежденный, что Пруссия может возродиться и обеспечить свою целость и свое будущее счастье, только следуя честно вашей системе, государь... я сочту для себя высшей славой заслужить одобрение и высокое доверие вашего императорского величества. Остаюсь

с глубочайшим почтением, государь, смиреннейшим и покорнейшим слугой вашего императорского величества. Барон фон Гарденберг, государственный канцлер прусского короля».

Контрибуция платилась аккуратно, континентальная блокада выполнялась пунктуально, король трепетал и пресмыкался, Гарденберг льстил и унижался, и все-таки Наполеон не уводил своих войск из прусских крепостей и не давал никаких успокоительных обещаний. Немудрено, после всего сказанного, что когда Наполеон, готовясь к войне с Россией, вдруг потребовал, чтобы Пруссия ему в этом активно помогла войсками, то и это было сделано, хотя и после серьезных колебаний. Но Наполеон покончил с колебаниями одним ударом. 14 ноября 1811 г. он дал маршалу Даву инструкцию: по первому знаку войти в Пруссию и занять ее всю французской армией. 24 февраля 1812 г. в Париже было подписано соглашение, по которому Пруссия обязывалась принимать участие на стороне Наполеона во всякой войне, которую он будет вести.

Тотчас же после этого Наполеон обратился к Австрии.

Здесь дело устроилось тоже без особых затруднений. После Ваграма и Шенбруннского мира австрийское правительство было терроризовано, а после брака Наполеона с Марией-Луизой Меттерних и другие руководящие деятели Австрии решили, что плыть в наполеоновском фарватере выгодно и можно получить от победителя кое-какие компенсации взамен потерянных провинций. Наполеон мог ударить на Австрию с запада и с севера — из Баварии и Саксонии, с юга — из Иллирийских провинций, т. е. из Карниолии, Каринтии, из королевства Италии; Наполеон мог явиться и с северо-востока — из Польши (из Галиции). Его империя и его вассалы отовсюду сдавливали и окружали Австрию.

Страх нашествия и надежды на милости всемогущего зятя делали императора Франца таким же покорным слугой Наполеона, каким был запуганный Фридрих-Вильгельм III. Из Вены тоже, кроме рабской лести, Наполеон в эти годы уже ничего не слышал. Когда императрица Мария-Луиза родила в 1811 г. сына, наследника наполеоновской империи, то в Вене вышла в свет и вызвала умиление двора любопытная гравюра, изображавшая богоматерь с лицом Марии-Луизы с младенцем Христом на руках, у которого было лицо новорожденного «римского короля», а в облаках сверху виден был сам бог Саваоф с физиономией Наполеона. Не было, словом, той пошлости, такого курьеза и несообразности, которые не пускались бы в ход, если дело шло о том, чтобы лишний раз выразить парижскому властелину свои чувства рабского преклонения, религиозного почитания и истерического восторга.

Инстинкт и разум говорили тем, кто обладал более широким интеллектом и политическим чутьем, например, тому же Меттерниху, что великая империя Наполеона — явление недолговечное. Но, с другой стороны, в 1810—1812 гг. даже и очень скептических людей начинало охватывать сознание полной невозможности немедленной успешной борьбы против Наполеона.

Англия со своими колониями и морями еще держалась, но и оттуда все чаще приходили вести о банкротствах, о разорении, о безработице, о грозящей революции — словом, о начинающемся удушении Англии континентальной блокадой. Испанские нищие пастухи при появлении французских отрядов бежали в горные ущелья и леса и оттуда продолжали борьбу. Но Австрия не могла и не хотела вести подобную борьбу. Россия? Но она была явно слабее Наполеона; позорно разбитая под Аустерлицем при тщетной попытке помочь Австрии, она предала Пруссию в Тильзите. Что бы ни было впоследствии, а сейчас нужно идти с Наполеоном. И когда Наполеон, уже принудив в феврале 1812 г. Пруссию подписать с ним союзный договор против России, потребовал того же от Австрии, то в Вене, не колеблясь и даже не очень торгуясь о будущей награде, пошли навстречу желанию французского императора.

14 марта 1812 г. в Париже был подписан франко-австрийский договор, по которому Австрия обязывалась выставить в помощь Наполеону 30 тысяч солдат. Наполеон гарантировал отнятие у России Молдавии и Валахии, занятых тогда русскими войсками. Кроме того, австрийцам гарантировалось обладание Галицией или соответствующие по ценности иные территориальные компенсации.

Эти два «союза», с Пруссией и Австрией, были нужны Наполеону не столько для пополнения великой армии, сколько для отвлечения части русских сил к северу и к югу от той прямой дороги Ковно — Вильна — Витебск — Смоленск — Москва, по которой должно было направляться его наступление.

Пруссия обязалась выставить для предстоящей войны в распоряжение Наполеона 20 тысяч, Австрия — 30 тысяч человек. Сверх того, Пруссия обязывалась предоставить Наполеону для его армии (в счет погашения части своих неоплатных долгов французскому императору, из которых Пруссия никак не могла выйти) 20 миллионов килограммов ржи, 40 миллионов килограммов пшеницы, больше 40 тысяч быков, 70 миллионов бутылок спиртных напитков.

Дипломатическая подготовка войны была закончена уже ранней весной. Есть сведения о том, что плохой урожай 1811 г. привел к голоду некоторые места Франции в конце зимы и весной 1812 г., что кое-где в деревне были волнения на этой

почве, а кое-где ожидались, и есть указания, что это задержало выступление Наполеона в поход на полтора-два месяца. Скупки и спекуляции хлебом усиливали тревогу и раздражение в деревне, и это неспокойное положение тоже замедлило выступление Наполеона. Маркс отметил это явление в «Святом семействе» и правильно заключил, что скупщики своими спекуляциями способствовали неудаче русского похода и первому потрясению Французской империи. Тут же нужно заметить, что рекрутский набор, который уже в течение последних шести лет (после аустерлицкой кампании) проходил очень туго, на этот раз (1811 и начало 1812 г.) дал особенно большое число уклоняющихся. Они убегали в леса, прятались, отсиживались. Экономические тяготы от непрерывных войн и поборов (особенно от бесконечной испанской войны) начали уже раздражать крестьянские массы, что и выражалось ростом числа уклоняющихся от набора. Даже собственническое крестьянство начинало обнаруживать недовольство, жаловалось на бесконечные наборы, лишающие хозяина дешевых батрацких рук.

Наполеон вынужден был организовать особые летучие отряды, которые должны были охотиться по лесам за уклоняющимися и насильно приводить их в воинские части. В результате репрессивных мер рекрутский набор перед войной 1812 г. в общем дал все-таки то, на что Наполеон рассчитывал.

Военная и дипломатическая подготовка к концу весны 1812 г. была Наполеоном в основном и отчасти в деталях закончена. Вся вассальная Европа покорно готова была выступить против России. Испанию император решил расчленить: в 1811 г. он оторвал от владений своего брата, назначенного им же испанского короля Жозефа Бонапарта, богатую, наиболее промышленную большую провинцию Каталонию, присоединил ее к Франции непосредственно и разделил на четыре департамента. Этому акту, обогащавшему французскую торговлю, император придал вид наказания испанцев за их «мятеж». Но «мятеж» продолжался как в новых каталонских департаментах Французской империи, так и в остальной Испании, тоже занятой французскими войсками, хотя и считавшейся еще номинально «самостоятельной» под властью короля Жозефа Бонапарта. В Испании были оставлены маршалы Сульт, Мармон, Сюше с большими войсковыми частями, достаточными, по мнению Наполеона, чтобы отразить натиск англичан, сражавшихся на полуострове под предводительством Веллингтона, и испанских партизан, «гверильясов», продолжавших уже четыре года свою отчаянную борьбу.

Оставалась еще в тылу Англия. Но тут, казалось, непосредственной опасности тоже не было: не говоря уже о критическом внутреннем положении страны, о разорении ее континенталь-

ной блокадой, о безработице, о громадном движении рабочих против машин (и о разрушении машин в целых промышленных округах),— кроме всего этого, благодаря искусной политике, давшей ряд торговых привилегий и допустившей ряд изъятий из своего торгового законодательства в пользу американцев, Наполеон также способствовал тому, что между Соединенными Штатами и Англией вспыхнула война.

Она была объявлена президентом Соединенных Штатов 15 июня 1812 г., как раз за девять дней до вступления Наполеона на русскую территорию. Войной с Америкой Англия была ослаблена в ее борьбе против Французской империи.

Тыл был обеспечен, путь — свободен, военных сил в руках Наполеона было в несколько раз больше, чем во всех предшествовавших войнах; перед ним стоял враг, которого он уже несколько раз бил.

Дипломаты предвидели катастрофу. Но подавляющее большинство из них, начиная с самых умных, как Меттерних, с самых осторожных, как Гарденберг, с самых ненавидящих Наполеона, как Жозеф де Местр, считали, что катастрофа будет гибельной именно для России, на которую шла такая гроза, какой не знала вся ее история со времен татарского нашествия.

Армия, необходимая Наполеону для похода, уже тогда определялась в полмиллиона человек, не считая тех 50 тысяч, которые Наполеон должен был получить из Австрии и Пруссии. Из этого полумиллиона больше 200 тысяч должны были выставить другие вассалы — Италия, Иллирия, Вестфальское королевство, Бавария, Вюртемберг, Баден, Саксония, все остальные государства Рейнского союза, великое герцогство Варшавское; 90 тысяч поляков служило в наполеоновской армии. Бельгия, Голландия, ганзейские города считались не в числе вассалов, а в составе Французской империи.

Слушая все эти предположения, баварский генерал Вреде все-таки осмелился робко заметить, что не лучше ли воздержаться от войны с Россией. «Еще три года, и я — господин всего света»,— ответил Наполеон.

3

В 6 часов утра 9 мая 1812 г. Наполеон в сопровождении императрицы Марии-Луизы выехал из дворца Сен-Клу (близ Парижа) и отправился к великой армии, которая уже шла разными дорогами через германские страны, устремляясь к Польше и постепенно сосредоточиваясь на Висле и Немане. 16 мая император въехал в Дрезден в сопровождении саксонского короля, который еще накануне выехал ему навстречу. В Дрездене

собрались короли и великие герцоги вассальных государств приветствовать своего верховного повелителя. Среди многих других монархов прибыл в Дрезден также король прусский Фридрих-Вильгельм III, прибыл также император австрийский Франц с императрицей. 15 дней пробыл Наполеон в Дрездене, окруженный своими раболепными вассалами. В его присутствии они все (включая и его тестя, императора австрийского) стояли с обнаженными головами: один Наполеон был в своей знаменитой треугольной шляпе. Обращение Наполеона с ними было в общем благосклонное, т. е. он их милостиво брал за ухо, и от такой императорской ласки они были вне себя от восторга, шутя дразнил их, иногда достойнейших похлопывал по спине, иным делал очень резкие и публичные выговоры, но в Дрездене это случалось редко. Лесть на этот раз была такой непомерной, безудержной, вне всяких масштабов и рамок, что в разгаре этих дрезденских торжеств кто-то вслух высказал уже нечто вроде гипотезы о божественной природе всемирного завоевателя. Всех, коронованных и некоронованных, немцев и не немцев, составлявших его свиту в Дрездене, Наполеон считал рабами и холопами, смертельно его боящимися, и никогда в искренность их не верил; но поведение свиты в Дрездене доказывало ему их уверенность в его победе над Россией в начинающейся войне.

Эта уверенность царила в тот момент везде: и в Европе, и в Америке, и во дворцах, и в кабинетах крупных промышленных дельцов, и за купеческими прилавками. Только по-прежнему ждала своего часа Англия, и по-прежнему, ни на что не обращая внимания, не желая знать ни о каких 600-тысячных полчищах и не признавая французского Цезаря, яростно боролись испанские крестьяне и испанская городская голытьба, плевавшая в лицо наполеоновским офицерам, когда ее со скрученными за спиной руками вели расстреливать. Только Англия и Испания не были представлены на этих великолепных дрезденских торжествах, парадах и приемах, на этой любопытнейшей выставке человеческого раболепия, низкопоклонства и панической запуганности.

Эта общая уверенность в победе Наполеона, казалось, была твердо обоснована. На Россию шли несметные полки превосходно организованной армии; во главе этих полчищ стоял полководец, военный гений которого ставили выше гения Александра Македонского, Ганнибала, Цезаря и который уже до 1812 г. одержал гораздо больше побед, крупных и мелких, чем все эти герои всемирной истории. «Союз» Наполеона с Австрией и Пруссией, его владычество над Европой усиливали численно его полчища и обеспечивали тыл. Перед Наполеоном была Россия, выставившая на свою защиту втрое меньшую армию. Этой

армией командовали генералы, которых неоднократно уже били и Наполеон и его маршалы. Сам он считал, что у русских нет ни одного дельного полководца, кроме князя Багратиона, и во всей Европе о русских генералах все единодушно держались такого же мнения.

Уверенность самого Наполеона в этот момент не знала пределов. Нужно заметить, что его высказывания заметно менялись в течение 1812 г. В Смоленске он говорил одно, наблюдая из Кремля пожар Москвы — другое, во время отступления великой армии — третье. Но тогда, в самом начале похода, между Дрезденом и переходом через Неман, он явно обращался мыслью к любимому предмету своих мечтаний — к Востоку, к завоеванию Индии, к тем планам, от которых он отказался 20 мая 1799 г., когда приказал своей армии снять осаду с крепости Акр и идти из Сирии обратно в Египет: «Александр Македонский достиг Ганга, отправившись от такого же далекого пункта, как Москва... Предположите, что Москва взята, Россия повержена, царь помирился или погиб при каком-нибудь дворцовом заговоре, и скажите мне, разве невозможен тогда доступ к Гангу для армии французов и вспомогательных войск, а Ганга достаточно коснуться французской шпагой, чтобы обрушилось это здание меркантильного величия» (Англии).

Так говорил он Нарбонну, одному из приближенных, с которым иногда беседовал довольно откровенно. Этому свидетельству можно поверить, если от мемуарной литературы обратиться к бесспорным документам. Редко когда дипломатическая деятельность Наполеона в Турции, в Персии, в Египте была такой кипучей, как именно в 1811—1812 гг. Именно в эти годы по Сирии, по Египту разъезжал с официальной миссией и тайными поручениями Наполеона французский консул Нерсиа, который должен был произвести нужные разведки для будущей новой французской экспедиции в эти места. Из Египта и Сирии тоже должно было в своё время начаться подсобное движение к Индии, то движение, которое оборвалось под Акром в 1799 г. Интересно отметить, что из Дрездена Наполеон послал в Вильну к Александру, будто бы для последней попытки сохранить мир, того самого графа Нарбонна, с которым делился мыслями о походе на Индию после предполагаемой победы над Россией («из Москвы — к Гангу»). Впрочем, Нарбонн хорошо знал свою инструкцию — задержать пустыми переговорами возможное нападение русских на Варшаву. Конечно, из миссии Нарбонна ничего не вышло и не могло выйти. Война была решена Наполеоном бесповоротно. 400-тысячная армия уже двигалась через восточную Пруссию к Неману и ждала лишь сигнала к вторжению в Россию.

Из Дрездена Наполеон выехал в Познань, где пробыл не-

сколько дней. Польское дворянство приветствовало его на этот раз еще с бо́льшим энтузиазмом, чем в 1807 г.: во-первых, на этот раз в самом деле поляки могли надеяться на восстановление Польши в старых пределах или по крайней мере на отторжение от России Литвы и Белоруссии, а во-вторых, их уже нисколько не беспокоил вопрос о наделении крестьян землей. Уже и речи о положении польских крестьян не поднималось (они были «освобождены» без земли в 1807 г.). Не было также речи об освобождении крестьян Литвы и Белоруссии. Значит, польский дворянский энтузиазм по отношению к Наполеону мог проявляться совершенно беззаветно.

Но нетерпеливый, раздражительный, весь уже охваченный военной заботой, с раннего утра до поздней ночи занятый работой, император был не очень доволен разряженной, завитой и напудренной шляхтой, демонстрировавшей наперерыв свою преданность и обожание. «Господа, я бы предпочел видеть вас в сапогах со шпорами, с саблей на боку, по образцу ваших предков при приближении татар и казаков; мы живем в такое время, когда следует быть вооруженными с ног до головы и держать руку на рукоятке шпаги»,— так обратился он к знати, встретившей его под предводительством познанского епископа Горжевского 28 мая 1812 г. Польские дворяне поспешили принять эту речь императора за приветствие. Благовоспитанностью Наполеон никогда не блистал, а особенно когда шел походом.

Из Познани Наполеон выехал в Торн, оттуда — в Данциг, где пробыл четыре дня, пропуская новые и новые бесконечные эшелоны войск; из Данцига отправился в Кенигсберг, где провел пять дней (с 12 по 17 июня) в непрерывной работе по управлению армией и по организации ее снабжения. 20 июня он был уже у Гумбиннена, а 22 июня — в Литве, в Вильковышках, где и подписал свой приказ по великой армии:

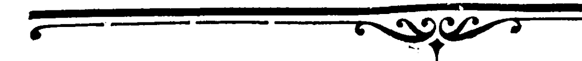
«Солдаты, вторая польская война начата. Первая кончилась во Фридланде и Тильзите. В Тильзите Россия поклялась в вечном союзе с Францией и клялась вести войну с Англией. Она теперь нарушает свою клятву. Она не хочет дать никакого объяснения своего странного поведения, пока французские орлы не перейдут обратно через Рейн, оставляя на ее волю наших союзников. Рок влечет за собой Россию: ее судьбы должны совершиться. Считает ли она нас уже выродившимися? Разве мы уже не аустерлицкие солдаты? Она нас ставит перед выбором: бесчестье или война. Выбор не может вызвать сомнений. Итак, пойдем вперед, перейдем через Неман, внесем войну на ее территорию. Вторая польская война будет славной для французского оружия, как и первая. Но мир, который мы заключим, будет обеспечен и положит конец гибельному влиянию, которое Россия уже 50 лет оказывает на дела Европы».

Воззвание Наполеона воспринималось как официальное объявление войны.

Через два дня после этого воззвания, в ночь на 24 июня 1812 г. (12 июня ст. ст.), Наполеон приказал начать переправу через Неман, и 300 поляков 13-го полка первые переправились на ту сторону реки. В тот же и в ближайшие дни вся старая гвардия, вся молодая гвардия, потом кавалерия Мюрата, а за ними один маршал за другим со своими корпусами непрерывной чередой переходили на восточный берег Немана. Ни одной души на всем необозримом пространстве за Неманом до самого горизонта французы не увидели, после того как скрылись из вида еще утром 24 июня сторожевые казаки. «Перед нами лежала пустыня, бурая, желтоватая земля с чахлой растительностью и далекими лесами на горизонте»,— вспоминает один из участников похода, и картина показалась уже тогда «зловещей».

Наполеон не замечал никаких зловещих признаков. Как всегда во время войны, он был гораздо оживленнее и бодрее. Начиналась самая грандиозная из бывших до сих пор его войн, и, судя по тому, как он к ней готовился, он сам это вполне понимал. Могло случиться, что эта война была бы последней из *его европейских войн и первой из азиатских;* могло случиться и так, что на первый раз пришлось бы кончить поход в Смоленске и отложить продолжение (т. е. Москву и Петербург) на следующий год. Эти две гипотезы он предвидел: о Ганге и Индии он говорил с Нарбонном, об остановке в Смоленске — с маршалами.

Окруженный маршалами и огромной свитой, предшествуемый всей кавалерией, Наполеон шел прямой дорогой на Вильну, нигде не встречая и признаков сопротивления.



Глава XIII

НАШЕСТВИЕ НАПОЛЕОНА НА РОССИЮ 1812 г.

1

Начиная любую из своих беспрерывных войн, Наполеон всегда интересовался прежде всего: 1) неприятельским полководцем и 2) организацией неприятельского командования вообще. Силен ли главнокомандующий? Обладает ли он абсолютной самостоятельностью в своих действиях? Эти два вопроса первостепенной важности прежде всего интересовали Наполеона.

В данном случае на оба эти вопроса Наполеон, казалось бы, мог дать себе самый удовлетворительный ответ. У русских только один настоящий хороший генерал — Багратион, но он на вторых ролях. Хуже Багратиона Беннигсен, «неспособный», говорил о нем Наполеон,— Беннигсен, разбитый наголову при Фридланде, но все-таки человек упорный и решительный, доказавший свою твердость не тем, что в свое время задушил Павла, но тем, как стойко выдержал кровавый день под Эйлау. Но Беннигсен тоже на вторых ролях. Кутузов? Наполеон, разбивший Кутузова под Аустерлицем, все-таки никогда не презирал Кутузова, считая его хитрым и осторожным вождем. Но Кутузов не у дел. Главнокомандующего, Барклая де Толли, военного министра, для суждения о котором у Наполеона не было материала, он склонен был считать не очень превышающим обычный уровень русских генералов, которых в массе Наполеон оценивал весьма не высоко. На второй вопрос ответ мог быть дан еще более оптимистический. Никакого настоящего единоначалия в русской армии не было, организация командования была ниже всякой критики. Да и не могло быть иначе, потому что Александр был при армии и вмешивался в распоряжения Барклая. Наполеон это хорошо знал, еще двигаясь к Вильне, и иронически высказал это в самой Вильне генерал-адъютанту Балашову, которого Александр послал в первый и последний раз предлагать Наполеону мир: «Что все они делают? В то

время как Фуль предлагает, Армфельд противоречит, Беннигсен рассматривает, Барклай, на которого возложено исполнение, не знает, что заключить, и время проходит у них в ничегонеделании!»

Это место в рассказе Балашова о его беседе с Наполеоном заслуживает полного доверия, потому что подтверждается и другими показаниями. В общем же записка русского министра полиции генерала Балашова, которого Александр послал к Наполеону с предложением мира при первом известии о переходе французов через Неман, напечатанная с рукописи Тьером в XIV томе его «Истории Консульства и Империи» и почти дословно по тексту Тьера воспроизведенная в знаменитой высокохудожественной сцене «Войны и мира», должна быть принимаема с большой осторожностью, особенно те места, где Балашов будто бы намекнул Наполеону на Испанию и упомянул о Полтаве. Министр русской полиции не блистал никогда безупречной правдивостью, и более чем вероятно, что он присочинил эти свои героические намеки уже позднее. С этим всегда надо считаться историкам. Есть целая книга (Герстлетта), называющаяся «Остроумие на лестнице» (Der Treppenwitz der Geschichte), специально посвященная таким позднее присочиненным остроумным «историческим» словам и выходкам, которые на самом деле никогда не происходили, но пришли в голову лишь впоследствии, когда уже человек простился со своим собеседником и, «спускаясь по лестнице», придумал, как бы хорошо бы сказать еще то-то и то-то. Во всяком случае, войдя в Вильну на четвертый день после перехода через Неман без всякого сопротивления, встреченный с самым верноподданническим почтением местной польской знатью и зная подавляющее превосходство своих сил, Наполеон ответил Балашову полным отказом, и более чем вероятно, что тон этого отказа был действительно резким и оскорбительным.

В Вильне Наполеон пробыл полных 18 дней, и это впоследствии военные историки считали одной из роковых его ошибок. Но и в Вильне, как еще раньше в Дрездене, Наполеон поджидал подходившие к нему новые и новые армейские части. В общем из 685 тысяч человек, которыми располагал Наполеон для войны с Россией, 235 тысяч он должен был оставить пока во Франции и в вассальной Германии, а через границу переправил лишь 420 тысяч человек. Но и эти 420 тысяч подходили и переправлялись лишь постепенно. Уже в Вильне Наполеону доложили о первой серьезной неприятности: о массовом падеже лошадей, для которых не хватало корма. Была и другая неприятность: поляки в Литве и Белоруссии не выставили достаточных военных сил. Уже в Вильне Наполеон стал гораздо больше, чем при переходе через границу, и несравненно больше, чем в

Дрездене, понимать особенности и трудности затеянного дела. И это тотчас же отразилось на его политике: к великому разочарованию поляков, он не присоединил к Польше Литвы (под Литвой подразумевались тогда Литва и Белоруссия), а создал для Литвы особое временное управление. Это означало, что он не хочет предпринимать ничего, что могло бы в данный момент помешать миру с Александром. Уже тут начала проявляться двойственность настроений и планов Наполеона в отношении исхода предпринятого им похода. По-видимому, он допускал, что война закончится полной покорностью Александра и превращением России в послушного вассала, нужного для дальнейшей борьбы против Англии в Европе, а может быть, и в Азии. По мере развития событий он склонялся больше к тому, что война эта превратится просто в «политическую войну» — так и говорил он о ней немного спустя,— войну кабинетов, как выражались в XVIII в., в нечто вроде дипломатической дискуссии, продолжаемой при помощи нескольких «жестов оружием», после чего обе стороны приходят, наконец, к какому-нибудь общему соглашению. Конечно, коренной из всех его ошибок была ошибка, происшедшая от полного незнания и непонимания русского народа. Не только он, но и буквально никто в Европе не предвидел, до каких высот героизма способен подняться русский народ, когда дело идет о защите родины от наглого, ничем не вызванного вторжения. Никто не предвидел, что русские крестьяне обратят весь центр своей страны в сплошную выжженную пустыню, но ни за что не покорятся завоевателю. Все это Наполеон узнал слишком поздно.

По мере того как обнаруживались трудности затеянного похода, в уме Наполеона явно тускнело первое воззрение на эту войну и выдвигалось второе. Полководец знал, что хотя у него под рукой 420 тысяч человек, а у русских нет и 225 тысяч, но что его армия далеко не равноценна во всех своих частях. Он знал, что положиться он может лишь на французскую часть своей армии (всего великая армия насчитывала 355 тысяч подданных Французской империи, но среди них далеко не все были природные французы), да и то не на всю, потому что молодые рекруты не могут быть поставлены рядом с закаленными воинами, побывавшими в его походах. Что же касается вестфальцев, саксонцев, баварцев, рейнских, ганзейских немцев, итальянцев, бельгийцев, голландцев, не говоря уже о подневольных «союзниках» — австрийцах и пруссаках, которых он потащил для неведомых им целей на смерть в Россию и из которых многие ненавидят вовсе не русских, а его самого, то едва ли они будут сражаться с особенным жаром. Хорошо зная военную историю, он помнил, что не очень-то усердно бились в рядах древней персидской армии те бесчисленные представители

покоренных персидскими царями племен, которых Ксеркс погнал против греков. На поляков Наполеон несколько больше надеялся, потому что поляки защищали свое собственное дело. Но и тут, как сказано, он ожидал большей помощи (в чисто количественном отношении).

Наполеон знал о растерянности в русском штабе и, еще находясь в Вильне, получил сведения о том, что первоначальная мысль защищаться на Двине в укрепленном лагере в Дриссе оставлена, так как Барклай боялся обхода этого лагеря и неизбежной капитуляции, что русская армия двумя колоннами отступает в глубь страны. Колонна Барклая отступает на Витебск быстрее, колонна Багратиона на Минск — медленнее. Наполеон с главными силами двинулся на Барклая. Но Барклай ускорил темп перехода и приказал начальнику своего арьергарда Остерману-Толстому задерживать, по мере сил, наступающих французов. Это и было исполнено в боях под Островно 25 и 26 июля. Таким образом, войдя в Витебск, Наполеон уже не застал Барклая, который спешил теперь к Смоленску. В эти же июльские дни маршал Даву двигался из Вильны в Минск, получив задачу отрезать путь отхода Багратиона и уничтожить его раньше, чем тому удастся соединиться с Барклаем. Но, к счастью для Багратиона, бездарный в военном отношении (и во всех прочих отношениях) младший брат Наполеона, вестфальский король Жером Бонапарт, преследовавший Багратиона по дороге Гродно — Минск, не сумел выполнить ничего из того, что ему было приказано, опоздал со своим корпусом, и когда 23 июля начался бой к югу от Могилева между Даву и Багратионом, то Багратион очень успешно отразил ряд атак и, повернув на Смоленск, продолжал свое отступление, уже почти не тревожимый неприятелем.

Получив сведения о битве под Могилевом и о переходе Багратиона через Днепр у Нового Быхова, Барклай решил соединиться с Багратионом у Смоленска и двинулся туда через Рудню. Наполеон сделал уже все приготовления к большой битве под Витебском, в которой он думал уничтожить Барклая, и вдруг 28 июля, выехав на позиции, убедился, что русская армия ушла дальше на восток. Это было для императора большим разочарованием. Новый Аустерлиц под Витебском мог бы разом, как ему представлялось, кончить войну и побудить Александра к миру. Солдаты были измучены страшной жарой и трудными переходами. Жара была такая, что побывавшие в Египте и Сирии старослуживые утешали молодых только тем, что в Египте бывало еще жарче. Фуража не хватало. В некоторых эскадронах со времени выхода из Вильны пало больше половины лошадей. Вместе с тем в армии появились признаки разложения, мародерство приняло необычайные размеры.

2

Приходилось идти дальше и дальше за Барклаем и Багратионом, которые шли разными путями, направляясь к Смоленску. Пришлось выдвинуть к Двине два корпуса на крайний левый (т. е. северный) фланг наступающей на Смоленск армии, на петербургское направление, где действовал корпус Витгенштейна. Пришлось выделить несколько дивизий на правый (южный) фланг, чтобы отразить спешившие из Турции русские войска, освободившиеся после внезапного заключения русско-турецкого мира. Но все-таки у Наполеона для предстоящей в Смоленске битвы войска было гораздо больше, чем у русских. После столкновения под Красным (14 августа) с дивизией Неверовского, с замечательной стойкостью выдержавшей натиск превосходных сил Нея и Мюрата и потерявшей при этом треть своего состава, Наполеон подошел к Смоленску. Багратион поручил генералу Раевскому задержать французов, и в последовавших столкновениях корпус Раевского сражался с таким упорством, что маршал Ней чуть не попал в плен. Багратион настаивал на том, что без большой битвы отдавать Смоленск нельзя. До «большой битвы» дело не дошло. Главные силы русских армий подошли было сначала к Смоленску, но затем начали отход на восток. Барклай не решился, однако, сдать город без боя, хотя он и считал это нужным. В 6 часов утра 16 августа Наполеон приказал начать общую бомбардировку и штурм Смоленска. Разгорелись яростные бои, длившиеся до 6 часов вечера. Французы заняли предместья Смоленска, но не центр города. Корпус Дохтурова, защищавший город вместе с дивизией Коновницына и принца Вюртембергского, сражался с изумлявшей французов храбростью и упорством. Вечером Наполеон призвал маршала Даву и категорически приказал на другой день, чего бы это не стоило, взять Смоленск. У него появилась уже раньше, а теперь окрепла надежда, что этот смоленский бой, в котором участвует якобы вся русская армия (он знал о состоявшемся наконец соединении Барклая с Багратионом), и будет той решительной битвой, от которой русские до сих пор уклонялись, отдавая ему без боя огромные части своей империи. 17 августа бой возобновился. Русские оказывали геройское сопротивление, солдат приходилось и просьбами и прямо угрозами отводить в тыл: они не желали исполнять приказов об отступлении [1].

После кровавого дня наступила ночь. Бомбардировка города, по приказу Наполеона, продолжалась. И вдруг раздались среди ночи один за другим страшные взрывы, потрясшие землю; начавшийся пожар распространился на весь город. Это русские взрывали пороховые склады и зажигали город: Барклай дал приказ об отступлении. На рассвете французские разведчики

донесли, что город оставлен войсками, и Даву без боя вошел в Смоленск.

Трупы людей и лошадей валялись по всем улицам. Стоны и вопли тысяч раненых оглашали город: они были брошены на произвол судьбы. Часть города еще пылала. Наполеон медленно проезжал со свитой по улицам Смоленска, вглядываясь в окружающее, делая распоряжения о тушении пожаров, об уборке начавших разлагаться трупов и громко стонавших раненых, о подсчете найденных припасов. Наблюдатели передают, что он был угрюм и не разговаривал со свитой. Войдя после этой верховой прогулки по городу в дом, где ему была наскоро приготовлена квартира, император бросил свою саблю на стол и сказал: «Кампания 1812 г. окончена». Но от мысли остановиться в Смоленске, прочно устроить тыл в Польше, Литве, Белоруссии, подтянуть подкрепления из Европы и возобновить движение на Москву или на Петербург весной 1813 г., от идеи разделить русскую войну на два похода пришлось отказаться там же, в Смоленске. Русские опять ускользнули. Наполеон не знал о тех трудностях, которые все в большей и большей степени возникали для Барклая при каждом его новом приказе об отступлении, не знал о громких обвинениях русского главнокомандующего в измене, о смятении и растерянности русского двора. Он видел только одно: генеральной битвы нет как нет, нужно идти дальше, на восток, на Москву. А между тем чем больше он углубляется на восток, тем труднее становится закончить эту борьбу миром, простым дипломатическим соглашением. О полной, подавляющей победе над Россией Наполеон в Смоленске уже не думал. Многое ему теперь представилось совсем в другом свете, чем за три месяца до того, когда он переходил через Неман.

Дело было не только в том, что его армия наполовину уменьшилась вследствие необходимости обеспечить огромную коммуникационную линию и склады гарнизонами, от сражений, мелких, частичных, но упорных и кровопролитных, от страшной жары, усталости и болезней. Он видел и другое. Русские солдаты сражались ничуть не хуже, чем под Эйлау. Русские генералы оказывались и помимо Багратиона вовсе не такими уж бездарными, как он склонен был думать, когда разговаривал с Балашовым в Вильне. Наполеон вообще очень верно оценивал способности людей, а вернее всего именно военные способности. И он не мог не признать, что, например, Раевский, Дохтуров, Тучков, Коновницын, Неверовский, Платов вели порученные им отдельные очень трудные операции так, как не стыдно было бы вести любому из его лучших маршалов. Наконец, общий характер, который принимала война, давно уже начинал беспокоить его и окружающих.

Русская армия, последовательно отступая, опустошала всю

местность. Тут, в Смоленске, была сделана попытка предать огню уже не села и деревни, а весь город, большой торговый и административный центр. Это указывало на желание вести непримиримую борьбу с завоевателем. Наполеон помнил, как в прежних войнах убежавший из Вены австрийский император приказывал городским властям беспрекословно исполнять все французские приказания, а убежавший из Берлина прусский король выражал в личном письме упование, что его императорскому величеству в Потсдамском дворце жить будет удобно.

Здесь же крестьяне покидают насиженные места, жгут свои избы и запасы; предается огню целый город; и по всем признакам и народные массы, и военный министр Барклай, и князь Багратион, и стоявший за ними и над ними Александр смотрят на происходящую войну, как на борьбу не на жизнь, а на смерть... Наполеон в те дни, которые он провел в Смоленске, был погружен в многочасовые молчаливые размышления. Не трогая сразу всей остановившейся в Смоленске армии, Наполеон послал Мюрата с кавалерийскими корпусами вслед за Барклаем, который теперь принял командование над всей русской армией (Багратион с момента их соединения стал его подчиненным) и отступал по Московской дороге. Затем туда же двинулись Ней и Даву. 18 и 19 августа произошли бои у Валутиной горы и Лубина, в результате которых из-за бездарности Жюно, сбившегося с пути при своем движении на фланг армии Барклая, последняя ушла дальше на восток, понеся потери в 7 тысяч человек, но меньше, чем французы.

В ночь на 24 августа Наполеон вышел из Смоленска со своей гвардией и двинулся к Дорогобужу. Но Барклай снялся с лагеря и пошел дальше на восток. Теперь из Дорогобужа он ушел, не желая даже и начинать арьергардных стычек ввиду очень невыгодных топографических условий. Он отступал на Вязьму, Гжатск, Царево-Займище, а Наполеон со всеми войсками, выведенными из Смоленска, шел за ним по пятам по опустошаемой русской армией дороге.

Всякий раз, когда русские задерживались где-нибудь хоть немного, Наполеон начинал мечтать о генеральной битве... Так было в Дорогобуже, в Вязьме, в Гжатске. «Министр (Барклай) ведет гостя прямо на Москву»,— со злобой писали из штаба Багратиона в Петербург.

Страх, непреодолимый и все усиливающийся страх, охватывал постепенно некоторую часть высших слоев русского общества. Неужели погибло все? Неужели так, без сопротивления, и сдать Россию? Почему не докончили битвы под Смоленском? Почему ушли? Не изменник ли немец Барклай?

Александр I сам подрывал по мере сил авторитет Барклая. Так, он с явным одобрением лично передал генералу Роберту

Вильсону, комиссару английского правительства, слова, сказанные атаманом Платовым Барклаю после эвакуации Смоленска: «Вы видите,— я одет только в плащ. Я никогда больше не надену русского мундира, так как это стало теперь позорным» [2].

Александр I переживал самые мучительные дни своей жизни. Придворные были в панике. Растерянность возрастала. Мещанство и крестьянство говорили разное и о царе и о Наполеоне. С Наполеоном дело уже давно было неясно. В 1807 г. до июня он был с церковного амвона провозглашен предтечей антихриста, а в разговорах — самим антихристом и истребителем христианской веры, с июня того же 1807 г. антихрист стал внезапно, без малейших переходов и объяснений, другом и союзником русского царя. Теперь он снова оказался антихристом и пол-России завоевал почти без сопротивления. Гибель Смоленска навела уныние. «Раздразнили царь и царский брат Константин мужика сердитого»,— говорили в эти первые месяцы войны в народе. Но чего именно хочет «сердитый мужик», было загадочно. Однако с первых же дней все более и более разгоралась в русском народе вражда, чувство обиды, жажда мести, жгучее желание отплатить вторгшемуся насильнику и грабителю. Все эти чувства, усиливаясь с каждым днем, и породили грозное всенародное сопротивление, погубившее великую армию завоевателя. В дворянстве опасения были гораздо сознательнее, определеннее и сильнее, чем в «простом» народе. Победа Наполеона грозила в их глазах уже не только продолжением и упрочением блокады, но и потрясением основ крепостного права. Хотя на самом деле Наполеон не только не пытался уничтожить крепостное право в занятых им областях, но и всякое самостоятельное покушение крестьян избавиться собственными силами от гнета своих помещиков беспощадно подавлял силой оружия. И все же отдать Москву без боя казалось царю и дворянству невозможным, да и солдаты не очень понимали смысл отступления. Когда русская армия, отступив от Гжатска, пришла в Царево-Займище (29 августа), у нее уже был новый главнокомандующий. Александр сменил Барклая и назначил Кутузова, которого давно терпеть не мог, но других более подходящих генералов теперь не было. На Багратиона полагались меньше, да и фамилия у него тоже, как и у Барклая, была нерусская.

Кутузов знал, конечно, что Барклай прав, что Наполеона погубят (если вообще что-нибудь его погубит) отдаленность от базы, невозможность длительной, годами или даже долгими месяцами длящейся войны в нескольких тысячах километров от Франции, в пустынной, скудной, враждебной громадной стране, недостаток продовольствия, непривычный климат. Но еще более точно Кутузов знал, что отдать Москву без генеральной битвы не позволят и ему, несмотря на его русскую фамилию, как

не позволили сделать это Барклаю. И он решил дать эту битву, ненужную, по его глубочайшему убеждению, как он дал в свое время, тоже против своего убеждения, аустерлицкое сражение. Излишняя стратегически, она была неизбежна морально и политически. Для Наполеона смена Барклая, ставшая ему тотчас известной через лазутчиков, была сигналом, что русские решились, наконец, на генеральное сражение.

Утром 4 сентября он приказал Мюрату и Нею двинуться из Гжатска в Гриднево. Русская армия замедлила отступление и остановилась. Ее арьергард опирался на несколько укреплений. Наиболее выдвинутым навстречу наступающим французам был редут, устроенный русскими у деревушки Шевардино. Наполеон, прибыв с гвардией в село Гриднево, сейчас же занялся изучением простиравшейся перед ним равнины, где наконец остановилась русская армия. Ему доложили, что Шевардинский редут занят многочисленными силами. В подзорную трубу далеко за полувысохшей речонкой Колочей виднелись расположения русской армии. Лазутчики донесли вечером 4 сентября в императорский штаб, что русская армия остановилась и заняла свои позиции уже за два дня перед тем и что близ деревни, виднеющейся вдали, также сооружены укрепления. На вопрос, как называется деревня, лазутчики ответили: *«Бородино»*.

3

Бородинская битва много раз приковывала к себе внимание и историков, и военных специалистов, и великих художников слова, и великих живописцев. Судьба наполеоновской империи переломилась не на Бородинском поле, а во время всего этого русского похода: Бородино было лишь одним из актов трагедии, но не всей трагедией. Даже и весь русский поход не был еще концом, а лишь началом очень пока далекого конца.

Воображение современников и потомства всегда приковывалось к Бородинскому полю с его тысячами трупов, которых долгие месяцы никто не убирал.

Приблизился миг, которого Наполеон не переставал ожидать и о котором он не переставал мечтать еще в Дрездене, а потом на Немане, в Вильне, в Витебске, в Смоленске, в Вязьме, в Гжатске. Подойдя теперь к месту, где суждено было разразиться одному из самых страшных побоищ, какие только были до тех пор в истории человечества, Наполеон имел в своем непосредственном распоряжении в три с половиной раза (приблизительно) меньше сил, чем в первый момент своего вторжения в Россию.

Болезни и трудности похода, дезертирство, мародерство, необходимость подкреплять далекие фланги и тылы на рижском и петербургском направлениях, с одной стороны, и на юге против

войска, идущего из Турции,— с другой, необходимость все более и более серьезно обеспечивать гарнизонами колоссальную линию сообщений от Немана до Шевардина — все это страшно уменьшило великую армию. Наполеон в момент, когда он подошел к Шевардинскому редуту, имел 135 тысяч солдат и артиллерию в 587 пушек. У русских было 103 тысячи регулярных войск и 640 орудий, 7 тысяч казаков и около 10 тысяч ратников ополчения. Русская артиллерия качественно не уступала французской, а количественно превосходила ее. Слишком много пало лошадей у Наполеона, и далеко не все пушки он мог подтянуть от Могилева, Витебска и Смоленска к Московской дороге.

Во время Бородинского сражения ставка Наполеона находилась в деревне Валуево.

Наполеон был совершенно уверен в победе, и начало дела только укрепило его уверенность. 5 сентября он приказал атаковать Шевардинский редут. Мюрат отбросил часть русской кавалерии, а генерал Компан после артиллерийской подготовки с пятью пехотными полками пошел штурмом на Шевардино и после упорного штыкового боя взял редут. Французы с удивлением рассказывали поздно вечером, что русские канониры не бежали, хотя имели эту возможность, когда атакующие ворвались в редут, а упорно сражались и были переколоты на месте. На рассвете 6 сентября Наполеон сел на лошадь и почти не слезал с нее весь день. Он боялся, что русские, стоявшие в нескольких километрах от Шевардина, уйдут после падения этого редута. Но опасения его были напрасны: Кутузов стоял на прежних позициях. Император так боялся нового отступления русских без генерального боя, что только потому и отверг предложение Даву, клонившееся к обходу левого фланга русской армии крупными силами (со стороны Утицы), так как этот маневр мог спугнуть Кутузова, и он мог уйти.

После Смоленска и окончательного решения не растягивать войну на два года, а кончить все в один год, главной, непосредственной целью для Наполеона было войти в Москву и из Москвы предложить царю мириться. Но как ни жаждал Наполеон овладеть Москвой, он ни за что не хотел получить ее без боя: истребление русской армии, т. е. генеральная битва под Москвой,— вот чего нужно было достичь какой угодно ценой, а не гоняться за Кутузовым, если тот вздумает уйти за Москву, к Владимиру или к Рязани, или еще дальше. Оттого-то Барклай и Кутузов и не хотели сражения, что Наполеон его очень хотел. Но Барклай теперь молчал, обязанный после Царева-Займища беспрекословно повиноваться Кутузову, а Кутузов тоже молчал, не имея сил взять на себя страшную ответственность и уйти без боя, бросив Москву на произвол судьбы, хотя и спасая этим армию.

Наполеон в течение всего этого дня, 6 сентября, следовавшего за взятием Шевардинского редута, не начинал битвы. Он приказал дать солдатам основательно отдохнуть, выдать усиленные рационы, составлял и детализировал планы действий на следующий день, уточнял индивидуальные приказы маршалам и генералам, толпой сопровождавшим императора в его разъездах. И он сам, и они, и простые солдаты постоянно поглядывали в сторону видневшегося издали русского расположения: не ушел ли Кутузов. Но все было неподвижно: русские войска оставались на месте.

Наполеон был простужен, но в течение всего этого хлопотливого дня не показывал ни малейших признаков утомления.

Наступила ночь. Армия улеглась рано, так как было известно, что бой начнется на рассвете. Наполеон почти не ложился, несмотря на физическое и умственное напряжение в течение всего дня. Он скрывал свое волнение, но на этот раз ему это плохо удавалось; он разговаривал с адъютантами, но они видели, что он не слушает их. Он все выходил из палатки посмотреть, горят ли огни в русском лагере. Солнце едва встало, как Наполеон дал приказ двинуться на русских, и вице-король Италии Евгений Богарне со своим корпусом бросился согласно императорской диспозиции на деревню Бородино на левом фланге. Даву, Ней, Мюрат один за другим устремились со своими корпусами на Багратионовы флеши у села Семеновского в центре. Раздался такой оглушительный и уже не прекращающийся грохот артиллерии с обеих сторон, что даже люди, побывав под Эйлау и под Ваграмом, ничего подобного не слыхали.

В течение всего этого долгого еще теплого сентябрьского дня Наполеон, судя по свидетельству очевидцев, пережил смену двух настроений. На рассвете, когда солнце только начало всплывать над линией горизонта, он весело воскликнул: «Вот солнце Аустерлица!» И это настроение длилось все утро. Казалось, русских начинают постепенно и неуклонно выбивать из их позиций. Но и в эти часы первого, могущественного натиска французов на Шевардинский редут, в ставку, откуда император наблюдал битву, уже начали поступать довольно тревожные известия, перемежаясь с радостными и победоносными. Так, императору уже в ранние утренние часы доложили, что один из его лучших генералов, командир 106-го линейного полка Плозонн, ворвался со своим полком в деревню Бородино, выбил оттуда русских егерей, которые совершенно истребили часть его полка, убив Плозонна и многих его офицеров. Правда, подоспела помощь, и французы заняли Бородино. Но обстоятельства гибели Плозонна показывали, что русские дерутся в этот день ожесточенно. Затем примчался адъютант с известием, что

наступление маршала Даву развивается успешно, но за ним — другой, сообщивший, что лучшая дивизия корпуса Даву, генерала Компана, попала под страшный огонь, что Компан ранен, его офицеры ранены или перебиты, что сам маршал Даву, поспешивший на помощь, штурмовал русские батареи, обстреливавшие Компана, взял их, и опять русские канониры (как за два дня до того в Шевардине) были перебиты на своих пушках, так как стреляли до последней минуты, и одно из их ядер убило лошадь под маршалом Даву, а сам маршал контужен и упал без сознания.

Не успел император выслушать и отдать новые приказания, как ему доложили, что маршал Ней ворвался с тремя дивизиями во флеши, защищаемые русскими гренадерами, и хотя удерживает эти Багратионовы флеши, но русские не перестают яростно атаковывать. Новый адъютант принес известие, что дивизия Неверовского выбила Нея. Спустя некоторое время Ней восстановил положение, но князь Багратион продолжал на этом участке отчаяннейшую борьбу. Одна из важнейших флешей, взятая было французами (генералом Резу), подверглась яростной штыковой атаке, причем французы были выбиты с огромными потерями. Мюрат в конце концов отбил эту флешь с новыми огромными потерями.

Наполеону доносили настойчиво и из разных пунктов, что потери русских гораздо больше, чем французов, что русские не сдаются, а гибнут до последнего в тех контратаках, которыми они стремятся восстановить положение. Чтобы развернуть действия кавалерии, приходилось брать со страшными усилиями небольшие возвышенности и неровности, пересекающие почти посередине огромное поле сражения. И эти естественные препятствия дорого стоили французам. Корпус Раевского, неся огромные потери, причинил Нею и Мюрату такой урон, что оба маршала подтягивали сюда буквально все части, какие только могли подтянуть. Семеновский овраг и местность у оврага несколько раз переходили из рук в руки. Наконец маршалы отправили адъютантов к Наполеону просить подкрепления; они ручались за выигрыш сражения, если вовремя взять у Багратиона Семеновский овраг и Семеновское.

Наполеон отправил им на помощь одну дивизию, но отказался дать больше. Он видел по неслыханному ожесточению боя, что Ней и Мюрат ошибаются и что русские корпуса, по их мнению готовые уйти с поля, не уйдут, а французские резервы будут истрачены до наступления решающего момента. А решающий момент все не наступал. Днем дивизия генерала Морана взяла штурмом батарею Раевского, расположенную между деревней Бородино и Семеновским, но русские части штыковым натиском выбили французов и снова заняли эту батарею.

Потери русских были огромны, но батарея была отнята у Морана, а сам Моран пал на поле битвы.

Известие о том, что русские снова овладели большой батареей, Наполеон получил почти одновременно с другим: именно, что Багратион делает отчаянные усилия вырвать у Нея и Мюрата три флеши, которыми они овладели с таким трудом.

Страшный бой против Багратиона завязался из-за Семеновских флешей. В течение нескольких часов флеши переходили из рук в руки. На одном этом участке гремело больше 700 орудий — 400 выдвинутых тут по приказу Наполеона и больше 300 с русской стороны. И русские и французы вступали тут неоднократно в рукопашный бой, и сцепившаяся масса обстреливалась иногда картечью без разбора, так как не успевали вовремя уточнить обстановку.

Маршалы, пережившие этот день, с восторгом говорили до конца своей жизни о поведении русских солдат у Семеновских флешей. Французы не уступали им. Именно тут раздался предсмертный крик Багратиона навстречу французским гренадерам, под градом картечи бежавшим в атаку со штыками наперевес, не отстреливаясь: «Браво! Браво!» Спустя несколько минут сам князь Багратион, по мнению Наполеона, лучший генерал русской армии, пал смертельно раненный и, под градом пуль, с трудом был унесен с Бородинского поля.

Была середина дня. Настроение Наполеона быстро и окончательно изменилось. Дело было не в его простуде, на чем так настаивали его старые биографы, а в том, что он, получив повторную и настоятельную просьбу Нея и Мюрата прислать им подкрепления, дать наконец гвардию, не видел возможности сделать это не только потому, как он тогда сказал, что не может рисковать гвардией в нескольких тысячах километров от Франции, но и по другой ближайшей причине: русская кавалерия, и в том числе казаки под начальством Уварова и Платова, произвела внезапно с целью диверсии нападение на обозы и на ту дивизию, которая еще утром участвовала во взятии деревни Бородино. Русская конница была отогнана, но эта попытка окончательно сделала невозможным пустить в бой всю гвардию: создалось чувство необеспеченности в глубоком расположении французских войск. В три часа дня Наполеон приказал повести снова атаку на батарею Раевского. Редут был взят французами после повторных ужасающих штурмов. Наполеон лучше всех своих маршалов мог взвесить и оценить страшные потери, известия о которых стекались отовсюду к нему.

День склонялся к вечеру, когда император узнал важные вести: князь Багратион пал, пораженный насмерть, оба Тучковы убиты, корпус Раевского почти истреблен, русские отчаянно обороняясь, отходят наконец от Семеновского. Наполеон при-

близился к Семеновскому. В один голос все, кто к нему подъезжал и с ним говорил, передают, что они просто не узнавали императора. Угрюмый, молчаливый, глядя на горы трупов людей и лошадей, он не отвечал на настоятельнейшие вопросы, на которые никто, кроме него, не мог ответить. Его впервые наблюдали в состоянии какой-то мрачной апатии и как будто нерешительности.

Уже совсем стемнело, когда по отступавшим медленно и в полном порядке русским войскам начали палить около 300 выдвинутых французских орудий. Но ожидаемого окончательного эффекта это не производило: солдаты падали, а бегства не было. «Им еще хочется, дайте им еще»,—в таких выражениях Наполеон отдавал приказ вечером усилить огонь. Русские отходили, но отстреливались. Так застала ночь обе стороны.

Когда Кутузову представили ночью первые подсчеты и когда он увидел, что половина русской армии истреблена в этот день, 7 сентября, он категорически решил спасти другую половину и отдать Москву без нового боя. Это не помешало ему провозгласить, что Бородино было победой, хоть он и был удручен. Победа моральная была бесспорно.

А в свете дальнейших событий можно утверждать, что и в стратегическом отношении Бородино оказалось русской победой все-таки больше, чем французской.

И когда Наполеону в ночь после битвы доложили, что 47 его генералов убиты или тяжело ранены, что несколько десятков тысяч солдат его армии лежат мертвые или раненые на поле битвы, когда он лично убедился, что ни одно из данных им до сих пор больших сражений не может сравниться по ожесточению и кровопролитию с Бородином, то (хотя это тоже не помешало ему провозгласить Бородино своей победой) он, одержавший на своем веку столько настоящих, бесспорных побед, не мог, конечно, не понимать, что если Лоди, или Риволи, или битву под пирамидами, или истребление турецкой армии под Абукиром, или Маренго, или Аустерлиц, или Иену, или Фридланд, или Ваграм можно назвать победами, то для Бородина нужно придумать какое-нибудь иное определение. Он ждал, что Кутузов даст под самыми стенами Москвы новое сражение, но на этот раз Кутузов настоял на своем. Наполеон не знал о военном совете в Филях, но по целому ряду безошибочных признаков понял уже через два дня после Бородина, что город решено отдать без нового боя.

За отступавшим Кутузовым по пятам шел Мюрат с кавалерией. 9 сентября Наполеон вошел в Можайск; на другой день принц Евгений, вице-король Италии, вошел в Рузу. В солнечное утро 13 сентября Наполеон выехал со свитой на Поклонную гору и не мог сдержать своего восхищения: его, как и сви-

ту, поразила красота зрелища. Колоссальный, блиставший на солнце город, простиравшийся перед ним, был для него местом, где он даст, наконец, своей армии отдохнуть и оправиться, и прежде всего послужит тем залогом, который непременно заставит Александра пойти на мир. Страшные бородинские картины сразу были заслонены этим зрелищем и этими перспективами.

4

В течение дня 14 сентября русская армия непрерывным потоком проходила через Москву и выходила на Коломенскую и Рязанскую дороги. По пятам шел король неаполитанский Мюрат с кавалерией. Милорадовичу, командовавшему авангардом, удалось добиться обещания Мюрата дать русским войскам спокойно пройти через город. Русский арьергард под командованием Раевского вечером остановился при деревне Вязовке, в шести верстах от Коломенской заставы. В это время, пройдя через город по Арбату, французская кавалерия дошла своими передовыми постами до села Карачарова.

16 сентября армия Кутузова, пройдя через Москву, двинулась дальше по Рязанскому тракту, и, переночевав в лагере при деревне Кулаковой, она незаметно для Наполеона на следующий день, сделав поворот направо, двинулась вверх вдоль реки Пахры и 19-го заняла позицию на левом ее берегу при селе Красной Пахре на Старой Калужской дороге. Единственный путь сообщения Наполеона—Смоленская дорога—был перехвачен русской конницей.

Уже у Дорогомиловской заставы до Наполеона стали доходить странные слухи, шедшие из гвардии: из Москвы ушли почти все жители, она пуста, никакой депутации с ключами от города, которой ждал император, нет и не будет. Слухи подтвердились.

15 сентября Наполеон въехал в Кремль. И уже накануне поздно вечером вспыхнули первые пожары. Но ни размеров, ни значения того, что началось, еще нельзя было предугадать даже приблизительно.

С утра 16 сентября пожары усилились. Днем они еще не были так заметны. Но в ночь с 16-го на 17-е поднялся сильнейший ветер, который продолжался не ослабевая больше суток. Море пламени охватило центр близ Кремля, Замоскворечье, Солянку, огонь объял почти разом самые отдаленные друг от друга места.

Наполеон, когда ему доложили о первых пожарах, не обратил на них особенного внимания, но когда 17 сентября утром он обошел Кремль и из окон дворца, куда бы ни посмотрел, видел бушующий огненный океан, то, по показаниям графа Сегюра, доктора Метивье и целого ряда других свидетелей,

император побледнел и долго молча смотрел на пожар, а потом произнес: «Какое страшное зрелище! Это они сами поджигают... Какая решимость! Какие люди! Это — скифы!» Между тем пожар стал не только грозить самому Кремлю, но часть Кремля (Троицкая башня) уже загорелась, из некоторых ворот уже нельзя было выйти, так как пламя относило ветром в их сторону. Маршалы настойчиво стали просить императора немедленно переехать в загородный Петровский дворец. Наполеон не сразу согласился, и это чуть не стоило ему жизни. Когда он со свитой наконец вышел из Кремля, искры падали уже на него и на окружающих, дышать было трудно: «Мы шли по огненной земле под огненным небом, между стен из огня»,—говорит один из сопровождавших Наполеона.

Страшный пожар бушевал еще и 17 и 18 сентября, но уже к вечеру стал ослабевать. Утих ветер, пошел дождь. Пожары продолжались еще и в следующие дни, но это было уже совсем не то, что гигантская огненная катастрофа 15—18 сентября, истребившая значительную часть города.

У Наполеона не было ни малейших сомнений относительно причин этой совершенно неожиданной катастрофы: русские сожгли город, чтобы он не достался завоевателю. И то, что Ростопчин увез все пожарные трубы и приспособления для тушения огня, и одновременное возникновение пожаров в разных местах, и показания некоторых людей, схваченных по подозрению в поджогах, и свидетельства некоторых солдат, будто бы видевших поджигателей с факелами, — все его в этом убеждало. Ростопчин впоследствии, как известно, то хвастал своим участием в пожаре Москвы, то отрицал это участие, то опять хвастал и кокетничал своим неистовым патриотизмом, то опять отрицал (даже в специальной брошюре). Нас тут, по характеру этой работы, интересуют, конечно, не объективные реальные причины пожара (о чем высказан был целый ряд суждений и догадок), а исключительно те последствия, которые пожар имел для умонастроения Наполеона и для развития дальнейших событий.

Наполеон, по единодушным отзывам, и в Петровском дворце и в Кремле, куда он вернулся, когда пожары стали стихать, переживал дни самой тяжелой тревоги. Им овладевало иногда бешенство, и тогда солоно приходилось окружающим; иногда он долгими часами хранил мертвое молчание. Энергия не покидала его. Из Москвы он продолжал управлять своей необъятной империей, подписывал декреты, указы, назначения, перемещения, награды, увольнения чиновников и сановников; в Москве, как и всегда, он старался во все вникать, занимался и главным, и второстепенным, и третьестепенным. Как курьезную иллюстрацию вспомним, что тот подробный статут, по которо-

му до настоящего времени неизменно живет и управляется главный французский государственный театр («Французская комедия»), подписан Наполеоном в Москве и так до сих пор и называется «московским декретом».

Но главная, грозная забота стояла перед императором неотступно. Что делать дальше? Пожар Москвы не лишил его всех московских запасов, у него еще остались уцелевшие магазины. Но фуражировки вне города не удавались; солдаты мародерствовали и пропадали без вести; дисциплина явно расшатывалась. Оставаться зимовать в Москве было, конечно, возможно, и некоторые из маршалов и генералов это советовали, но Наполеон верным инстинктом чуял, что не так прочна его великая империя и не так надежны его «союзники», чтобы ему надолго оставлять Европу и зарываться в русские снега. Идти за Кутузовым, который со своей армией не подавал никаких признаков жизни? Но Кутузов может отступать хоть до Сибири и дальше. Лошади падали уже не тысячами, а чуть ли не десятками тысяч. Колоссальная коммуникационная линия была обеспечена очень слабо, хотя Наполеон и должен был разбросать по пути немало отрядов и этим подорвал могущество своей великой армии. А главное—пожар Москвы, завершивший долгую серию пожаров, которыми встречали завоевателя города и села России при его следовании за Барклаем и Багратионом от Немана до Смоленска и от Смоленска до Бородина, непонятный, загадочный выезд чуть ли не всего населения старой столицы, картина Бородинского боя, который (как признал Наполеон в конце жизни) был *самым страшным* изо всех данных им сражений,—все это явно указывало, что на этот раз его противник решил продолжать борьбу не на жизнь, а на смерть.

Оставался один выход—дать понять Александру, что Наполеон согласен на самый снисходительный, самый легкий, самый почетный и безобидный мир. Заключить мир, находясь в Москве, сохраняя еще позу победителя, выбраться из России с армией благополучно—вот все, на что он мог теперь рассчитывать; он готов был удовольствоваться словами и обещаниями Александра, готов был к уступкам. Уже и речи никакой не могло быть о подчинении, о вассалитете Александра. Но как дать знать Александру, с которым после оскорбительного отказа в Вильне, переданного Наполеоном царю через генерала Балашова, никаких сношений не было и быть не могло? Наполеон сделал три попытки довести до сведения царя о своих миролюбивых намерениях.

В Москве проживал генерал-майор Тутолмин, начальник Воспитательного дома. Он просил французское военное начальство об охране дома и питомцев, оставшихся в Москве. Наполеон велел его вызвать и много и горячо говорил ему о чудо-

вищности сожжения Москвы, о преступном варварстве Ростопчина, о том, что никакой обиды Москве и мирному населению он, император, не причинил бы. На просьбу Тутолмина о дозволении написать рапорт о Воспитательном доме императрице Марии Наполеон не только позволил, но вдруг неожиданно прибавил: «Я прошу вас при этом написать императору Александру, которого я уважаю по-прежнему, что я хочу мира». В тот же день, 18 сентября, Наполеон приказал пропустить через французские сторожевые посты чиновника Воспитательного дома, с которым Тутолмин послал свой рапорт.

Наполеон не получил ответа. Но он даже не выждал времени, когда мог бы получить ответ, и решил сделать вторую попытку. Еще более случайно, чем генерал Тутолмин, в Москве задержался против своей воли один богатый барин, некий Яковлев, отец Александра Ивановича Герцена. Он обратился за защитой и покровительством к французам, о нем было доложено маршалу Мортье, который раньше встречался с Яковлевым в Париже, а маршал доложил о нем Наполеону. Император велел представить ему Яковлева. В «Былом и думах» Герцен передает о разговоре императора с его отцом: «...Наполеон разбранил Ростопчина за пожар, говорил, что это вандализм, уверял, как всегда, в своей непреодолимой любви к миру, толковал, что его война—в Англии, а не в России, хвастался тем, что поставил караул к Воспитательному дому и к Успенскому собору, жаловался на Александра, говорил, что он дурно окружен, что мирные расположения его неизвестны императору». После нескольких фраз еще: «...Наполеон подумал и вдруг спросил: „Возьметесь ли вы доставить императору письмо от меня? На этом условии я велю вам дать пропуск со всеми вашими".—„Я принял бы предложение в. в., ...но мне трудно ручаться"». Наполеон написал письмо Александру с предложением мира и вручил его Яковлеву, давшему честное слово, что сделает все, чтобы вручить письмо Александру. В этом письме, очень примирительно написанном, есть одна любопытная и характерная для Наполеона строчка: «Я веду войну с вашим величеством без всякого озлобления». Наполеону, по-видимому, казалось, что после всего происшедшего не он вызывает чувство озлобления, а он сам вправе чувствовать озлобление!

Ответа и на это письмо не последовало. Тогда Наполеон сделал третью и последнюю попытку предложить мир.

4 октября он послал в лагерь Кутузова, в село Тарутино, маркиза Лористона, бывшего послом в России перед самой войной. Наполеон хотел, собственно, послать генерала Коленкура, герцога Виченцского, тоже бывшего послом в России еще до Лористона, но Коленкур настойчиво советовал Наполеону этого не делать, указывая, что такая попытка только укажет

русским на неуверенность французской армии. Наполеон раздражился, как всегда, когда чувствовал справедливость аргументации спорящего с ним; да и очень он уж отвык от спорщиков. Лористон повторял аргументы Коленкура, но император оборвал разговор прямым приказом: «Мне нужен мир; лишь бы честь была спасена. Немедленно отправляйтесь в русский лагерь».

Приезд Лористона на русские форпосты вызвал целую бурю в главной квартире Кутузова. Кутузов хотел выехать на форпосты для беседы с Лористоном. Но уже тут обнаружилось, что среди кутузовского штаба есть русские патриоты, гораздо более пылкие, чем он сам, и несравненно более оскорбленные потерей Москвы. Это были английский официальный агент при русской армии Вильсон, бежавший из Рейнского союза граф Винценгероде, герцог Вюртембергский, герцог Ольденбургский и ряд других иностранцев, ревниво следивших за каждым шагом Кутузова. К ним присоединился и ненавидевший Кутузова Беннигсен, в свое время донесший царю, что вовсе не было надобности сдавать Москву без нового боя. От имени русского народа и русской армии (представляемой в данном случае вышеназванными лицами) Вильсон явился к Кутузову и в очень резких выражениях заявил главнокомандующему, что армия *откажется повиноваться ему, Кутузову, если он посмеет выехать на форпосты говорить с глазу на глаз с Лористоном.* Кутузов выслушал это заявление и не изменил своего решения. Кутузов принял Лористона в штабе, отказался вести с ним переговоры о мире или перемирии и только обещал довести о предложении Наполеона до сведения Александра. Царь не ответил. У Наполеона оставалось другое средство: поднять в России крестьянскую революцию. Но на это он не решился. Да и совершенно невозможно было ждать, что, беспощадно подавляя французской военной силой не то что попытки восстания, а малейшие признаки неповиновения крестьян помещичьей власти в Литве, Наполеон вдруг явится освободителем русских крестьян.

Лютое беспокойство овладело верхами дворянства после занятия Москвы Наполеоном, и Александру доносили, что не только среди крестьян идут слухи о свободе, что уже и среди солдат поговаривают, будто Александр сам тайно просил Наполеона войти в Россию и освободить крестьян, потому, очевидно, что сам царь боится помещиков. А в Петербурге уже поговаривали (и за это был даже отдан под суд некий Шебалкин), что Наполеон—сын Екатерины II и идет отнять у Александра свою законную всероссийскую корону, после чего и освободит крестьян. Что в 1812 г. происходил ряд крестьянских волнений против помещиков, и волнений местами серьезных,— это мы знаем документально.

Наполеон некоторое время явственно колебался. То вдруг приказывал искать в московском архиве сведения о Пугачеве (их не успели найти), то окружающие императора делали наброски манифеста к крестьянству, то он сам писал Евгению Богарне, что хорошо бы вызвать восстание крестьян, то спрашивал владелицу магазина в Москве француженку Обэр-Шальмэ, что она думает об освобождении крестьян, то вовсе переставал об этом говорить, начиная расспрашивать о татарах и казаках.

Наполеон все-таки приказал доложить ему об истории пугачевского движения. Эти мысли о Пугачеве показывают, что он очень реально представлял себе возможные последствия своего решительного выступления в качестве освободителя крестьян. Если чего и боялись стихийно, «нутром», русские дворяне, то не столько континентальной блокады, сколько именно потрясения крепостного права в случае победы Наполеона, причем они могли мыслить это потрясение или так, как им подсказывал пример Штейна и Гарденберга в Пруссии (после иенского разгрома Прусской монархии), т. е. в виде реформы «сверху» уже после заключения мира, что тоже было для них совсем неприемлемо, или в виде новой грандиозной пугачевщины, вызванной Наполеоном во время войны в форме всенародного крестьянского восстания, стремящегося открытым, революционным путем низвергнуть рабство.

Наполеон не захотел даже приступить к началу реализации последнего плана. Для императора новой буржуазной Европы мужицкая революция оказалась неприемлемой даже в борьбе против феодально-абсолютистской монархии и даже в такой момент, когда эта революция являлась для него единственным шансом возможной победы.

Также мимолетно подумал он, сидя в Кремле, о восстании на Украине, о возможном движении среди татар. И все эти планы также были им отвергнуты. В высшей степени характерно, что и в современной нам Франции новейшая историография похваливает Наполеона за эту твердость консервативных его настроений среди московского пожарища.

Вот что говорит автор новейших громадных восьми томов исследований, посвященных внешней политике Наполеона, Эдуард Дрио: «Он думал поднять казанских татар; он приказал изучить восстание пугачевских казаков; у него было сознание существования Украины... Он думал о Мазепе... Поднять революцию в России — слишком серьезное дело! Наполеон не без боязни остановился перед грозной тайной степей... Он был не творцом революций, но их усмирителем; у него было желание порядка; никто никогда больше, чем он, не обладал чувством и как бы инстинктом императорской власти, у него было что-то вроде физического отвращения к народным движениям...

Он остался императором, без компромиссов, без низости»[3]. При всем своем французском патриотизме историк Наполеона с особенным жаром хвалит своего героя за то, что тот предпочел в 1812 г. какие угодно бедствия, лишь бы не воззвать к революции, как с ударением и внушительностью подчеркивает правобуржуазный и благоговейный поклонник Наполеона в 1927 г., ударившийся в 1937—1938 гг., кстати будь сказано, в самую оголтелую реакцию.

В тот октябрьский день, когда в московском Петровском замке Наполеон колебался, издать ли декрет об освобождении крепостных крестьян, или не издавать, в нем шла сильная борьба. Для 25-летнего генерала, только что покорившего контрреволюционный Тулон, для друга Огюстена Робеспьера, для сторонника Максимилиана Робеспьера, даже позже уже для автора Наполеоновского кодекса колебаний по вопросу о том, оставлять ли крестьян в руках Салтычих обоего пола, быть не могло. Что русское крепостное право гораздо более похоже на рабство негров, чем на крепостничество в любой из разгромленных им феодально-абсолютистских держав Европы, Наполеон очень хорошо знал; шпионов в России он содержал целую тьму и информацию имел весьма полную и разнообразную. Но революционного генерала уже давно не было, а по залам Петровского замка, украдкой наблюдаемый дежурными адъютантами, ходил в раздумье взад и вперед его величество Наполеон I, божьей милостью самодержавный император французов, король Италии, фактический верховный сюзерен и хозяин всего европейского континента, зять императора австрийского, отправивший на гильотину или сгноивший в тюрьмах и ссылке многих людей, которые тоже были в свое время друзьями Максимилиана и Огюстена Робеспьеров и имели мужество остаться верными своим убеждениям.

Декрет об освобождении крестьян, если бы он был издан Наполеоном и введен в действие во всех губерниях, занятых войсками Наполеона, дойдя до русской армии, сплошь крепостной, державшейся палочной дисциплиной,—такой декрет мог бы, как это казалось некоторым из наполеоновского окружения, всколыхнуть крестьянские миллионы, разложить дисциплину в царских войсках и прежде всего поднять восстание, подобное пугачевскому. Ведь все-таки Россия была единственной страной, где всего за какие-нибудь 35—36 лет до прихода Наполеона пылала грандиозная крестьянская война, очень долгая, со сменой побед и поражений, со взятием больших городов (восставшие в известные моменты располагали лучшей артиллерией, чем царские войска), победоносно прошедшая по колоссальной территории, несколько месяцев сряду потрясавшая все здание русской империи. О германском крестьянском восста-

нии Наполеон мог узнать только по документам, которым от роду было около 300 лет, а о русской пугачевщине ему могли рассказать, по личным воспоминаниям, даже и не очень старые люди. Ведь крепостная жизнь русских крестьян ничуть не изменилась ни в главном, ни в деталях. На смену Салтычихе, бросавшей крестьян на горящие уголья, пришли Измайловы и Каменские с застенками и гаремами, и даже всероссийские невольничьи рынки, где можно было покупать крепостных людей оптом и в розницу, детей отдельно от родителей, остались те же, что при Екатерине: Нижний Новгород на севере и Кременчуг на юге. Разница заключалась лишь в том, что опорой крестьянского восстания была бы на этот раз французская армия, стоявшая в самом сердце страны.

Теперь уже точно известно, как страшно боялось русское дворянство в 1812 г. восстания крестьян. Мы только что упоминали, какие слухи ходили по деревням, какие вспышки уже происходили там и сям, как беспомощно чувствовали себя власти перед наступающей внутренней грозой; мы знаем, каким гробовым молчанием народной толпы был встречен бледный, как смерть, Александр, когда он подъехал к Казанскому собору сейчас же после получения в Петербурге известий о бородинских потерях и о вступлении французского императора в Москву.

Что удержало руку Наполеона? Почему он не решился даже попытаться привлечь на свою сторону многомиллионную крепостную массу? Гадать много не приходится, он сам объяснил это. Он впоследствии заявил, что не хотел «разнуздать стихию народного бунта», что не желал создавать положения, при котором «не с кем» было бы заключить мирный договор. Словом, император новой буржуазной монархии чувствовал себя все-таки гораздо ближе к хозяину крепостной полуфеодальной романовской державы, чем к стихии крестьянского восстания. С первым он мог очень быстро столковаться, если не сейчас, то впоследствии, и знал это хорошо по тильзитскому опыту; а со вторым он даже и не хотел вступать в переговоры. Если французские буржуазные революционеры летом и ранней осенью 1789 г. боялись движения крестьян во Франции и страшились углубления этого движения, то что же удивительного, если буржуазный император не был расположен в 1812 г. вызвать на сцену тень Пугачева?

5

Отвергнув мысль поднять крестьянское движение в России, отказавшись одновременно от зимовки в Москве, Наполеон должен был немедленно решить, куда из Москвы направиться. Что Александр не идет ни на какие переговоры, это было

уже вполне ясно после молчания царя в ответ на предложения, сделанные сначала через Тутолмина, потом через Яковлева и наконец через Лористона.

Идти на Петербург? У Наполеона эта мысль явилась прежде всего. В Петербурге после сдачи Москвы царила паника: там начинали уже складывать вещи и уезжать. Больше всех торопилась и ужасалась Мария Федоровна, мать Александра, ярая ненавистница Наполеона. Она хотела скорого заключения мира. Константин хотел того же. Аракчеев оробел и тоже очень хотел мира. Движение Наполеона на Петербург могло бы, конечно, усилить эту панику, но это движение оказалось невозможным. Люди, правда, несколько поотдохнули и подкормились в Москве, но лошадей было так мало, что некоторые маршалы советовали даже бросить часть пушек.

В Москве не нашли ни сена, ни овса, а фуражировка в ближайшей разоренной дотла местности наталкивалась на жестокое сопротивление крестьян и ничего дать не могла. Кроме того, настроение всей французской армии было не таково, чтобы можно было предпринимать новый далекий поход к северу. Внезапное нападение части кутузовской армии на Мюрата, стоявшего в наблюдательной позиции на реке Чернишне перед Тарутиным, где находился Кутузов, заставило Наполеона поторопиться с решением. Нападение, произведенное 18 октября, развернулось в сражение и кончилось тем, что Мюрат был отброшен за село Спас-Купля. Правда, это было лишь второстепенным столкновением, но оно показало, что Кутузов после Бородина усилился и нужно ждать дальше его инициативы. В действительности же Тарутинское сражение было дано против желания Кутузова, и Беннигсен был в гневе против главнокомандующего, не пожелавшего дать ему нужных сил.

Наполеон принял, наконец, решение. Оно не было неожиданным, оно казалось самым естественным, раз пришлось отказаться от похода на Петербург. Император решил, оставив в Москве маршала Мортье с 10-тысячным гарнизоном, идти на Кутузова со всей остальной армией по Старой Калужской дороге. Он знал, что Кутузов пополнил свою армию, но он и сам за это время получил некоторые подкрепления, и у него было больше 100 тысяч человек, в том числе 22 тысячи отборных солдат и офицеров гвардии. Наполеон дал приказ, и 19 октября из Москвы двинулась по Старой Калужской дороге вся французская армия, кроме корпуса маршала Мортье.

Бесконечная вереница разнообразнейших экипажей и повозок с провиантом и с награбленным в Москве имуществом следовала за армией. Дисциплина настолько ослабла, что даже маршал Даву перестал расстреливать ослушников, которые под разными предлогами и всяческими уловками старались подло-

жить в повозки ценные вещи, захваченные в городе, хотя лошадей не хватало даже для артиллерии. Выходящая армия с этим бесконечным обозом представляла собой колоссально растянувшуюся линию. Достаточно привести часто цитируемое наблюдение очевидцев: после целого дня непрерывных маршей к вечеру 19 октября армия и обоз, идя по широчайшей Калужской дороге, где рядом свободно двигалось по восемь экипажей, еще не вышла полностью из города.

Наполеон своим военным глазом сразу оценил всю опасность подобного обоза для армии, всю трудность охранить эту бесконечную линию от внезапных налетов неприятельской конницы и *не решился* отдать нужное повеление, хотя в первый момент и хотел это сделать. Армия уже была не та. После пережитого, ясно сознавая свое критическое положение, понимая, что дальше предстоят очень трудные дни, армия держалась уже не столько дисциплиной, сколько чувством самосохранения в чужой, враждебной стране. Если личное обаяние Наполеона и не уменьшилось в глазах старых французских солдат, то представители покоренных народов могли подать дурной пример: никакие чувства к Наполеону их не сдерживали.

Бесконечно растянувшаяся линия войск и обоза была первым и сильнейшим его впечатлением. Быть может, еще более сильным было сознание упадка дисциплины.

И тут он внезапно круто изменил весь свой план, тот план, с которым за несколько часов до того выехал из Москвы.

Он решил не нападать на Кутузова. Новое Бородино, даже если бы и кончилось победой, уже не могло изменить главного, т. е. того, что ему в тот момент казалось главным: оставления Москвы. Он предвидел впечатление, которое произведет в Европе уход из Москвы, и страшился этого впечатления. Но раз решив уклониться от боя с Кутузовым, Наполеон сейчас же начал приводить в исполнение новый план: повернуть со Старой Калужской дороги вправо, обойти расположение русской армии, выйти на Боровскую дорогу, пройти не тронутыми войной местами по Калужской губернии на юго-запад, двигаясь к Смоленску. От дальнейшей войны Наполеон еще не отказывался: спокойно дойдя через Малоярославец, Калугу до Смоленска, можно было зимовать или в Смоленске, или в Вильне, или предпринять еще что-нибудь. Но прежде всего нужно было уже окончательно оставить Москву. Вечером 20 октября Наполеон послал из своей главной квартиры в селе Троицком маршалу Мортье приказ: немедленно присоединиться со своим корпусом к армии, а перед выступлением взорвать Кремль.

Приказание о взрыве Кремля было лишь частично исполнено. В суматохе внезапного выступления у Мортье не было времени как следует заняться этим делом. «Я никогда не делаю

бесполезных вещей»,—сказал как-то Наполеон по поводу клеветы, будто он велел задушить в тюрьме Пишегрю. Но в данном случае взрыв Кремля был, бесспорно, не только варварским, но и совершенно бесполезным делом. Это было как бы ответом на молчание Александра относительно трех предложений мира.

Итак, армия, исполняя повеление Наполеона, вдруг повернула со Старой Калужской дороги на Новую, и уже 23 октября бо́льшая часть ее прибыла в Боровск. Малоярославец был занят частями дивизии генерала Дельзона. Разгадав план Наполеона, Кутузов решил загородить Новую Калужскую дорогу. На рассвете 24 октября генерал Дохтуров и за ним Раевский атаковали Малоярославец, занятый накануне Дельзоном. В результате постепенного накопления сил с обеих сторон произошла кровопролитная битва, длившаяся весь день. Восемь раз Малоярославец переходил из рук в руки. В восьмой раз взятый французами Малоярославец к вечеру остался за ними, но потери с обеих сторон были тяжкие. Одними только убитыми французы потеряли около 5 тысяч человек. Город сгорел дотла, загоревшись еще во время боя, так что много сотен человек, русских и французов, погибло от огня на улицах, много раненых сгорело живьем.

На другой день рано утром Наполеон с небольшой свитой выехал из села Городни осмотреть русские позиции, как вдруг на эту группу всадников налетели казаки с пиками наперевес. Два маршала, бывшие с Наполеоном (Мюрат и Бессьер), генерал Рапп и несколько офицеров сгрудились вокруг Наполеона и стали отбиваться. Польская конница (легкая кавалерия) и подоспевшие гвардейские егеря спасли императора и всю эту кучку, окружавшую его. Опасность немедленной смерти или плена была так велика, что едва ли улыбка, во все время этого инцидента не сходившая с уст Наполеона, была искренней. Но ее все видели, и о ней с восторгом все говорили в этот день и позже: для этого-то император и улыбался. Вечером он приказал гвардейскому доктору Ювану изготовить и дать ему пузырек с сильным ядом на случай опасности попасть в плен.

Осмотрев позиции, Наполеон открыл в Городне военный совет. Малоярославец доказал, что если Наполеон не хочет нового Бородина, то русские сами его ищут, и что без нового Бородина императору в Калугу не пройти.

Весь военный совет был того же мнения, к которому пришел в конце концов и сам Наполеон. Нужно отказаться от мысли дать генеральный бой, следовательно, остается идти к Смоленску по Смоленской дотла разоренной дороге, и идти как можно скорее, пока русские не заняли оставленный беззащитным Можайск и не преградили отступления. Выслушав генералов и

маршалов, Наполеон заявил было им, что он откладывает свое решение и что ему кажется предпочтительнее дать Кутузову генеральный бой и прорваться в Калугу. Колебания Наполеона кончились 26 октября, когда он узнал, что русские отбросили конницу Понятовского от Медыни.

Но Кутузов не желал боя и не искал его.

После битвы у Малоярославца Кутузов твердо решил предоставить Наполеону отступать, не оказывая на него сколько-нибудь энергичного давления. Когда иностранцы (немцы и англичане), бывшие, по воле Александра, в кутузовском штабе в качестве соглядатаев за главнокомандующим, начинали слишком уж назойливо приставать к старому фельдмаршалу, укоряя его в недостатке энергии, он внезапно выпускал когти и давал им понять, что отлично понимает их игру и отдает себе ясный отчет, почему они так боятся «преждевременного» окончания войны России с Наполеоном.

6

Наполеон приказал отступать к Смоленску, и 27 октября началось отступление из Боровска на Верею, Можайск, Дорогобуж, Смоленск. Армия шла длиннейшей, растянутой линией, и на этот раз, по приказу Наполеона, сжигались все деревни, села, усадьбы, через которые проходили войска. Но, начиная от Можайска, и сжигать было почти нечего: так страшно были разорены эти места еще в добородинский период войны. Город Можайск был выжженной пустыней. Когда проходили мимо Бородинского поля, где по-прежнему, никем не тронутые и неубранные, гнили тысячи русских и французских трупов, Наполеон велел как можно скорее оставить это место: страшное зрелище подавляюще действовало на солдат, особенно теперь, когда они чувствовали, что война проиграна.

Когда подходили к Гжатску (дело было 30 октября), начались первые морозы. Это было некоторой неожиданностью: по справкам, которые еще до вторжения были даны Наполеону, морозы в этой полосе России в 1811 г. начались лишь в конце декабря. Зима в 1812 г. наступила необычайно рано и оказалась исключительно холодной. Кутузов шел следом за отступающим неприятелем. Казаки сильно тревожили французов нападениями: перед Вязьмой русская регулярная кавалерия напала на французскую армию, но Кутузов явственно избегал большого сражения, хотя его со всех сторон толкали на это. Для Кутузова все дело было в уходе Наполеона из России, а для английского агента Вильсона и для целой массы немцев и французов-эмигрантов уход Наполеона из России был не концом, но только началом дела: им важно было избавиться от Наполеона,

а это было возможно лишь при его полном поражении, плене или смерти. Иначе—так им казалось—в Европе все останется по-прежнему, и Наполеон будет все так же владычествовать до Немана. Но Кутузов не уступал на этот раз. По мере усиления морозов, потери обозов, там и сям отбиваемых казаками и русскими партизанами — Фигнером, Сеславиным, Давыдовым, — французская армия катастрофически быстро таяла.

Когда 6 ноября армия прибыла в Дорогобуж, то под ружьем годных к бою в ней насчитывалось только около 50 тысяч человек.

Наполеон переносил все трудности похода, как всегда, стараясь своим примером подбодрить солдат. Он часами шел по сугробам и под падающим снегом, опираясь на палку, разговаривая с шедшими рядом солдатами. Он еще не знал тогда, будет ли зимовать и вообще надолго ли останется в Смоленске. Но, придя в Дорогобуж, Наполеон получил из Франции сведения, ускорившие его решение покинуть Смоленск.

Диковинные сообщения привез ему в Дорогобуж курьер из Парижа. Некий генерал Малэ, старый республиканец, давно сидевший в парижской тюрьме, умудрился оттуда бежать, подделал указ сената, явился к одной роте, объявил о будто бы последовавшей в России смерти Наполеона, прочел подложный указ сената о провозглашении республики и арестовал министра полиции Савари, а военного министра ранил. Переполох длился два часа, Малэ был узнан, схвачен, предан военному суду и расстрелян вместе с 11 людьми, которые ни в чем не были повинны, кроме того, что поверили подлинности указа: Малэ все это затеял один, сидя в тюрьме.

На Наполеона этот эпизод (при всей несуразности) произвел сильное впечатление. Чуялось, что его присутствие в Париже необходимо. Там же, в Дорогобуже, а затем в Смоленске, куда он прибыл 9 ноября, Наполеон узнал, что Чичагов с южной русской армией, пришедшей из Турции, устремляется к Березине, чтобы отрезать ему отступление. Он узнал также о тяжких потерях корпуса вице-короля Евгения при столкновении с казаками. Наконец, узнал он и о том, что Витебск занят частями армии Витгенштейна. Оставаться в Смоленске было немыслимо: нужно было перейти Березину раньше, чем русские отрежут переправу, иначе Наполеону и остатку его армии грозил плен.

Морозы усиливались. Уже при выходе из Смоленска люди так ослабели, что, свалившись, не могли подняться и замерзали. Вся дорога была устлана трупами. Из Москвы не взяли с собой теплых зимних вещей: это было роковым упущением еще в начале похода. Пришлось бросить бóльшую часть обоза, часть артиллерии, целые эскадроны должны были спешиться, так как конский падеж все усиливался.

Партизаны и казаки все смелее и смелее нападали на арьергард и на отстающих. Выходя из Москвы, Наполеон имел около 100 тысяч человек, выходя 14 ноября из Смоленска, он имел армию всего в 36 тысяч в строю и несколько тысяч отставших и постепенно подходивших. Теперь он сделал то, на что не решился, выходя из Москвы: он велел сжечь все повозки и экипажи, чтобы была возможность тащить пушки. 16 ноября под Красным русские напали на корпус Евгения Богарне, и французы понесли большие потери. На другой день сражение возобновилось. Французы были отброшены, потеряв за два дня около 14 тысяч человек, из которых около 5 тысяч убитыми и ранеными, остальные сдались в плен. Но этим бои под Красным не кончились. Ней, отрезанный от остальной армии, после страшных потерь—из 7 тысяч было потеряно четыре—был с остальными тремя прижат к реке почти всей кутузовской армией. Ночью он переправился через Днепр севернее Красного, причем, так как лед был еще тонок, много людей провалилось и погибло. Ней с несколькими сотнями человек спасся и пришел в Оршу.

Наполеон делал много усилий для поддержания дисциплины, для организации снабжения, но недостаточно заботился о своих сообщениях на минском направлении. Еще в Дубровке он узнал, что польские части, которым он велел еще в начале похода охранять Могилев и Минск, не исполнили своего задания; генерал Домбровский, получив приказ двигаться к Борисову, не оказал помощи генералу Брониковскому, и Минск 16 ноября был занят Чичаговым. В Минске в руки русских попали огромные склады продовольствия, собранные тут герцогом Бассано (Марэ) по повелению Наполеона и на которые Наполеон рассчитывал. Начиналась оттепель.

Положение стало совсем отчаянным. С севера, с Двины, к Березине, через которую должен был перейти Наполеон, приближался Витгенштейн; маршалы Удино и Виктор не могли его задержать. С юга шел Чичагов, направлявшийся к Борисову на Березине. 22 ноября Чичагов вошел в Борисов, вытеснив оттуда Домбровского.

Наполеон побледнел, когда ему доложили об этом. Отряды Платова и Ермолова—авангардные части Кутузова—были уже в двух, если не в одном переходе от французов. Грозили окружение и капитуляция. Наполеон немедленно приказал искать другого места, где можно было бы навести мосты.

В Борисове был постоянный мост, и когда в императорском штабе узнали о потере этой переправы, то самые мужественные растерялись. Наполеон очень быстро овладел собой. После доклада генерала Корбино он решил переправиться у Студянки, севернее Борисова, где польскими уланами был найден

брод. В этом месте река Березина не имеет и 25 метров в ширину, но берега ее по обе стороны покрыты на большом пространстве илистой грязью, так что в общем нужно было строить мост почти в три раза длиннее, чем ширина реки. Наполеон искусным маневром обманул Чичагова. Он сделал вид, будто все-таки хочет переправиться у Борисова. Маршал Удино 23 ноября разбил и отбросил к Борисову начальника чичаговского авангарда графа Палена и, преследуя Палена, вынудил Чичагова очистить только что занятый Борисов. Но Чичагов оставался вблизи, а с севера спешил Витгенштейн. Переправляться здесь Наполеон не хотел и не мог. Целым рядом маневров ему удалось внушить Чичагову мысль, что переправа состоится в Борисове или ниже Борисова, а сам Наполеон уже 26 ноября на рассвете был у Студянки. Сейчас же французские саперы, работая по пояс в воде, посреди плавающих льдин, стали наводить два понтонных моста, и уже вскоре после полудня началась переправа корпуса Удино. Переправа происходила 26 и 27 ноября. Русские на правом берегу пытались недалеко от места переправы атаковать переправившиеся уже части, но французские гвардейские кирасиры произвели контратаку и отбросили генерала Чаплица. Витгенштейн запоздал к месту боя, Чичагов оказался обманутым Наполеоном, и остатки французской армии спаслись от плена. Военный русский историк, генерал Апухтин, говорит: «Трудно винить Чичагова и Витгенштейна, заведомо ничтожных полководцев, в том, что у них не хватило мужества вступить в единоборство с Наполеоном».

Переправа происходила в порядке, и почти вся французская армия успела перейти благополучно, как вдруг к мостам бросилось около 14 тысяч отставших солдат, преследуемых казаками. Эта масса в панике кинулась, не слушая команды, на мосты, и последняя регулярная часть корпуса маршала Виктора, еще не успевшая перейти, оружием отбрасывала эту толпу. Уведомленный казаками о переправе у Студянки, Кутузов сейчас же известил Чичагова. В это время один из мостов, по которому шла артиллерия, подломился, и когда его наскоро починили, подломился снова. Если бы Чичагов подоспел, катастрофа была бы окончательной. Но он умышленно или неумышленно опоздал, и Наполеон с остатком армии вышел на правый берег. Бóльшая часть отставших (около 10 тысяч из 14), которую регулярный корпус Виктора не пустил на мосты, осталась на берегу и была отчасти изрублена казаками, отчасти взята в плен. Наполеон после переправы сейчас же велел сжечь мосты; если бы не это, то все отставшие могли бы тоже успеть спастись, но военная необходимость повелевала лишить русских переправы, а гибель 10 тысяч человек,

отставших и не успевших перейти по мостам, императора не остановила. Он считал нужными людьми только тех, которые оставались в рядах, а ушедший из рядов, все равно по какой причине — по болезни или из-за отмороженной руки, или ноги,— переставал в его глазах быть равноценным бойцу, и что с ним дальше случится, не очень занимало императора. Наполеон заботился о больных и раненых только там, где эта забота не могла повредить боеспособным солдатам. В данном случае сжечь мосты требовалось как можно скорее, он их и сжег без малейшего колебания.

И сам Наполеон, и его маршалы, и многие военные историки, как прежние, так и новые, считали и считают, что как военный случай березинская переправа представляет собой замечательное наполеоновское достижение. Другие видят в этом, главным образом, удачу, происшедшую от ошибок и растерянности Чичагова и Витгенштейна, от путаницы, внесенной Александром, который из Петербурга, помимо Кутузова, посылал генералам план окружения Наполеона, тот план, который Кутузов считал нелепым. В 1894 г. появилось специальное исследование русского военного историка Харкевича «Березина», считающееся и теперь образцовым. По Харкевичу выходит, что Кутузов даже и не хотел исполнять план Александра и нарочно не спешил к Березине, имея возможность попасть туда вовремя. Внимательное изучение всей документации, исходящей как от самого Чичагова, так и от Ермолова, Дениса Давыдова и даже от самого Кутузова, заставило меня признать, что мнение Харкевича опровергнуть очень трудно. Так же как и Апухтин, Харкевич считает, что страх, панический страх перед Наполеоном так сдавил и парализовал Витгенштейна и Чичагова, что они не сделали того, что должны были со своей стороны сделать. Действия же Наполеона Харкевич считает вполне целесообразными.

Так или иначе, остатки французской армии спаслись и шли к Вильне. Но временная оттепель (из-за которой и пришлось строить на Березине мосты) вдруг сменилась страшным холодом. Температура упала до 15, потом до 20, 26, 28 градусов по Реомюру, и люди чуть не ежеминутно валились десятками и сотнями. Их обходили, мертвых, полумертвых, ослабевших, смыкали ряды и шли дальше. Ничего более ужасного не было за время этого бедственного отступления. Никогда до этих самых последних дней не было таких нестерпимых морозов. Кутузов шел почти по пятам. Его армия тоже страшно страдала от холода, хотя была несравненно лучше одета, чем французская. Достаточно сказать, что в момент, когда Кутузов, пополнив после Бородина свою армию, выступил в октябре из Тарутина и пошел сначала к Малоярославцу, а потом

вслед за Наполеоном, у него было больше 97 тысяч человек, а в Вильну в середине декабря он привел меньше 27 500 человек. И притом из 662 орудий, с которыми он вышел из Тарутина, Кутузов дорогой потерял 425, так что у него осталось около 200. Так бедственны и трудны были условия этих бесконечных зимних переходов в на редкость лютую зиму.

Тут же нужно прибавить, что только нападений со стороны главной кутузовской армии серьезно опасался Наполеон. Казаки, конечно, крайне осложняли положение отступающей французской армии, нападая на обозы, тревожа арьергарды, но, разумеется, самостоятельных сражений казаки затевать с французскими частями не могли. В боях под Красным они играли большую, но подсобную, а не главную роль; что касается партизан, то их французы боялись все же меньше, чем казаков. Партизанских отрядов было несколько: Давыдова, Фигнера, Дорохова, Сеславина, Вадбольского, Кудашева и еще два-три. Французы их не признавали регулярной армией и в плен почти не брали, расстреливали. Но и партизаны тоже в плен брали мало, предпочитая уничтожать. Особенной неумолимостью славился Фигнер. Партизанами были офицеры, солдаты, которых отпустило начальство, добровольцы. О партизанах французы в своей мемуарной литературе почти ничего не говорят, тогда как о казаках говорят очень много и единодушно признают огромный вред, который подвижная, неуловимая казачья конница причиняла отступающей армии своими внезапными налетами, после которых мгновенно исчезала. Партизаны нападали на совсем расстроенные части и приканчивали их.

Вот картина с натуры, рисуемая знаменитым партизаном Денисом Давыдовым: «Наконец, подошла старая гвардия, посреди коей находился и сам Наполеон... Мы вскочили на коней и снова явились у большой дороги. Неприятель, увидя шумные толпы наши, взял ружье под курок и гордо продолжал путь, не прибавляя шагу. Сколько ни покушались мы оторвать хоть одного рядового от этих сомкнутых колонн, но они, как гранитные, пренебрегая всеми усилиями нашими, оставались невредимы; я никогда не забуду свободную поступь и грозную осанку сих всеми родами смерти испытанных воинов. Осененные высокими медвежьими шапками, в синих мундирах, белых ремнях, с красными султанами и эполетами, они казались маковым цветом среди снежного поля... Все наши азиатские атаки не оказывали никакого действия против сомкнутого европейского строя... колонны двигались одна за другой, отгоняя нас ружейными выстрелами и издеваясь над нашим вокруг них бесполезным наездничеством. В течение этого дня мы еще взяли одного генерала, множество обозов и до

700 пленных, но гвардия с Наполеоном прошла посреди толпы казаков наших, как стопушечный корабль перед рыбачьими лодками».

Партизаны в этот день, заметим, соединились с казаками, только потому им и удалось взять 700 человек. Но они были прекрасными лазутчиками и доставляли часто драгоценную информацию Кутузову и его генералам. Тут нужно сказать и о народной войне 1812 г. в России.

В России «народная война» выражалась в несколько иных формах, чем в Испании, хотя по ожесточению она напомнила Наполеону испанцев.

В России ожесточение народа против вторгшегося неприятеля росло с каждым месяцем. Уже в начале войны для русского народа стало вполне ясно только одно: в Россию пришел жестокий и хитрый враг, опустошающий страну и грабящий жителей. Чувство обиды за терзаемую родину, жажда мести за разрушенные города и сожженные деревни, за уничтоженную и разграбленную Москву, за все ужасы нашествия, желание отстоять Россию и наказать дерзкого и жестокого завоевателя — все эти чувства постепенно охватили весь народ. Крестьяне собирались небольшими группами, ловили отстающих французов и беспощадно убивали их. При появлении французских солдат за хлебом и за сеном крестьяне почти всегда оказывали яростное вооруженное сопротивление, а если французский отряд оказывался слишком для них силен, убегали в леса и перед побегом сами сжигали хлеб и сено. Это-то и было страшнее всего для врага.

В России крестьяне иногда составляли отряды, нападавшие на отдельные части солдат, особенно при отступлении армии Наполеона, хотя и не было таких случаев, как в Испании, где бывало так, что крестьяне, без помощи испанской армии, сами окружали и принуждали к сдаче французские полки. Но в России крестьяне охотно вступали добровольцами в организованные партизанские отряды, всячески помогали им, служили проводниками, доставляли русским войскам провиант и нужные сведения.

Но больше всего русский народ проявлял свое твердое желание отстоять родину своей неукротимой храбростью в отчаянных боях под Смоленском, под Красным, под Бородином, под Малоярославцем, в более мелких сражениях и стычках. Французы видели, что если в России против них не ведется точно такая же народная война, как в Испании, то это прежде всего потому, что испанская армия была вконец уничтожена Наполеоном и были долгие месяцы, когда только крестьяне-добровольцы и могли сражаться, а в России ни одного дня не было такого, когда бы русская армия была совсем уничто-

жена. И народное чувство ненависти к завоевателю и желание выгнать его из России могли проявляться более всего организованно в рядах регулярной армии. Мы знаем из документов, что крестьяне Тамбовской губернии *плясали от радости*, когда их в рекрутском присутствии забирали в войска в 1812 г., тогда как в обыкновенное время рекрутчина считалась самой тяжелой повинностью.

И эти люди, плясавшие от радости, когда их забирали в солдаты, потом, в кровопролитных битвах, сражались и умирали подлинными героями.

После выступления французов из Москвы, после сражения под Малоярославцем, после наступления морозов и усиления расстройства французской армии, за которой следом шла армия Кутузова, и наступило это явление, которое сначала называлось современниками «действиями партизанских отрядов», а потом стало называться «народной войной». Партизаны Фигнер, Давыдов, Сеславин, Кудашев, Вадбольский и др. были офицерами регулярной русской армии, получившими разрешение и поручение образовать дружины охотников (из солдат регулярной армии и из добровольцев) и тревожить отступающих французов внезапными нападениями на обозы, на отставшие части и вообще на те пункты, где эти небольшие (в несколько сот человек) «партии» могли бы выступить с надеждой на успех. В этих партизанских отрядах были солдаты, были казаки, были призванные уже во время войны ополченцы, были добровольцы из крестьян.

Обо всем этом я говорю подробно в своей книге «Нашествие Наполеона на Россию».

После Березины французская армия уменьшилась не только вследствие страшных морозов, но и потому, что дивизия Партуно, которому Наполеон приказал для отвода глаз Чичагову оставаться у Борисова, подверглась нападению главных сил Кутузова, и от его 4 тысяч солдат уже через два дня сражения осталось немногим больше половины, которые и капитулировали, окруженные со всех сторон.

В Вильне остатки французской армии были уже у порога спасения от грозящей гибели. Они подошли к городу в самом невообразимом состоянии, измученные холодом и усталостью. Некоторые части сохранили боеспособность: недалеко от Вильны Ней и Мэзон развили сильный артиллерийский огонь против наседавших русских, и преследование ослабело на несколько дней.

При входе в Вильну произошло смятение и даже столкновение между солдатами разных частей, искавшими крова и пищи и начавшими немедленно разграбление складов и магазинов. С 10 по 12 декабря армия шла в Ковно, преследуемая

казаками, которых она еще могла отгонять. Кутузов с главными силами был еще в нескольких переходах от Вильны. Не задерживаясь в Ковно, остатки армии перешли через замерзший Неман. Страшный московский поход кончился. Из 420 тысяч человек, перешедших границу в июне 1812 г., и 150 тысяч, постепенно подошедших еще из Европы впоследствии, теперь, в декабре того же года, остались небольшие разбросанные группы, в разбивку переходившие обратно через Неман. Из них потом уже в Пруссии и Польше удалось организовать отряд общей сложностью около 30 тысяч человек (преимущественно из тех частей, которые оставались все эти полгода на флангах и не ходили в Москву). Остальные были или в плену, или погибли. Но в плену оказалось, по самым оптимистическим расчетам, не больше 100 тысяч человек. Остальные погибли в сражениях, а больше всего от холода, голода, усталости и болезней во время отступления.

Еще за неделю до выхода армии из русских пределов, 6 декабря 1812 г., в местечке Сморгони Наполеон в сопровождении Коленкура, Дюрока и Лобо и польского офицера Вонсовича уехал от армии, передав командование Мюрату.

Его отъезду предшествовало объяснение с маршалами, которые сначала попробовали почтительно противоречить, но Наполеон заявил им, что считает теперь армию вне опасности попасть в плен, которой она подверглась до Березины, и что, по его мнению, маршалы и без него доведут ее до союзной Пруссии, т. е. до Немана. Его же присутствие необходимо в Париже, потому что никто там без него не сможет экстренными рекрутскими наборами организовать новую, по крайней мере 300-тысячную армию, с которой нужно будет весной встретить возможных врагов. Аргументом против его отъезда было опасение, что без него отступающее войско, пережившее столько ужасов, окончательно распадется, так как только присутствие императора давало ему еще силы.

Наполеон был совершенно спокоен, объясняясь с маршалами. Что он покидает армию не из трусости, что личная его жизнь сейчас уже вне опасности, а он, не мигнув глазом, много раз встречал в их же присутствии реальную и прямую опасность,— это они знали. Не волновался он, когда говорил с ними и об этой страшной затеянной им и проигранной войне и погубленной великой армии; конечно, печально, но ведь это скорее несчастье, чем ошибка: климат очень подвел и т. п. Но тут же он охотно признал, что были ошибки и с его стороны: например, слишком затянувшееся пребывание в Москве. Вообще же и тени смущения или расстройства духа Наполеон при этой беседе не обнаруживал. Он категорически требовал от маршалов временно сохранить втайне факт его отъезда. Важ-

но было не только предупредить окончательный упадок духа среди солдат в течение нескольких дней, которые им еще оставалось пройти до Немана, но еще важнее было проехать по Германии раньше, чем там узнают правду о гибели великой армии и о том, что император проезжает без охраны.

В одном маршалы не сомневались — что император едет создавать и непременно создаст новую армию, что сделает он это очень скоро и что еще много раз он поведет их и эту будущую армию под картечь.

Выйдя его провожать, маршалы наблюдали, как он усаживается с Коленкуром в сани; он был так же спокоен, как спустя четыре месяца, когда шел уже из Франции во главе новых корпусов на усмирение восставшей Европы. Среди провожавших маршалов были люди, побывавшие во всех бесчисленных битвах Наполеона, от первого завоевания Италии до конца русского похода, и они полагали, что все-таки ничего страшнее Бородина до сих пор им видеть не приходилось. Они не предвидели Лейпцига. Сани, исчезнувшие в снежной мгле декабрьского вечера, уносили человека, твердо решившегося не уступать ни одного клочка земли в завоеванной им Европе без самой отчаянной борьбы.

Глава XIV

ВОССТАНИЕ ВАССАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА И «БИТВА НАРОДОВ». НАЧАЛО КРУШЕНИЯ «ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ» 1813 г.

1

В 12 суток, сначала в санях, потом в экипаже, Наполеон промчался по Польше, Германии, Франции и утром 18 декабря 1812 г. явился в Тюильрийский дворец. Он ехал, соблюдая строжайшее инкогнито, понимая опасность этих критических дней: в истинных чувствах немцев к себе он не обманывался. Коленкур, сопровождавший его в этом путешествии, говорит о совершенном спокойствии Наполеона, его бодрости, энергии и готовности к дальнейшей борьбе. С ним император, между прочим, тоже говорил о только что окончившейся войне 1812 г. «Я ошибся, но не в цели и не в политической уместности этой войны, а в способе ее ведения. Нужно было остаться в Витебске. Александр теперь был бы у моих ног». Но весь тон его разговоров с Коленкуром был таков, каков мог бы быть, например, у шахматного гроссмейстера, проигравшего партию и анализирующего свои ошибки в антракте между только что проигранной партией и предстоящей новой, которую следует постараться выиграть. Не только ни малейшего сознания ужаса всего происшедшего и сознания подавляющей огромной личной ответственности в этих разговорах нет, но не наблюдается даже и следа просто дурного расположения духа, которое так часто бывало в нем заметно в 1810—1811 гг., когда он стоял на вершине могущества и успеха. Война была настолько его стихией, что когда он готовил ее или вел, он всегда производил впечатление человека, живущего полной жизнью, дышащего полной грудью, а вся его забота уже с того момента, когда он сел с Коленкуром в сани, была посвящена предстоящей войне и ее дипломатической и технической подготовке. Только ли с русскими придется продолжать войну? Восстанет ли Европа, и какая страна начнет восстание, и можно ли (и как именно)

предупредить это? Сколько месяцев потребуется на создание новой армии?

По дороге он остановился в Варшаве и вызвал к себе своего посланника при короле саксонском, аббата Прадта. Он и Прадта удивил своим спокойствием. Именно ему-то император и сказал при свидании свои знаменитые слова: «От великого до смешного только один шаг, и пусть судит потомство». Но тут же прибавил, что скоро вернется на Вислу с 300-тысячной армией, и «русские дорого заплатят за свои успехи, которыми они обязаны не себе, а природе». Кто же не имел неудач! «Правда, подобных никто не испытывал, но они должны были быть пропорциональны моему счастью; да, впрочем, они скоро будут заглажены».

Прибыв в Париж, как сказано, 18 декабря, Наполеон сразу увидел большой упадок духа в населении. Давно уже ходившие зловещие слухи были как раз за два дня до приезда Наполеона в столицу подтверждены знаменитым 29-м бюллетенем, в котором император довольно откровенно говорил о русском походе и его конце. Траур сотен тысяч семейств делал общественную атмосферу особенно подавленной.

В ближайшие дни Наполеон принял своих министров, Государственный совет и сенат. Он сурово и презрительно отозвался о растерянности властей во время октябрьской истории с генералом Малэ, требовал отчета в их поведении, но о русском походе говорил вскользь, не удостаивая подробными объяснениями.

Прежняя лесть, прежнее низкопоклонство встретили его среди сановников и царедворцев. Президент сената Ласепед в своем всеподданнейшем усердии просил о совершении обряда коронования над полуторагодовалым наследником «в виде символа непрерывности правления». Сенат при этом в полном составе согнулся в три погибели перед сидевшим на троне императором. Наполеон в своем отчете коснулся войны с Россией, и тут ясно обнаружилось, что он опять тешит себя иллюзией, от которой, казалось, совсем избавился, когда приказал Мортье взорвать Кремль: иллюзией, будто можно еще и теперь заключить с Александром мир, разыграв партию вничью.

«Война, которую я веду, есть война политическая. Я ее предпринял без вражды, и я хотел избавить Россию от тех зол, которые она сама себе причинила. Я мог бы вооружить против нее часть ее собственного населения, провозгласив освобождение крестьян... *Много деревень меня об этом просили, но я отказывался от меры, которая обрекла бы на смерть тысячи семейств»*. Через головы своих сенаторов Наполеон с этими словами обращался к русским помещикам и к «первому» из русских помещиков (как определял впоследствии русских

царей брат Александра I Николай Павлович) — царю. Наполеон требовал от царя и помещиков теперь благодарности за то, что избавил их от пугачевщины, как будто он когда-нибудь хотел прибегнуть к этому оружию. Все эти приемы сановников и высших учреждений, вся эта комедия раболепной лжи, с одной стороны, высокомерной и нетерпеливой ответной лжи — с другой, т. е. с высоты императорского трона,— все это, конечно, было лишь обстановочной частью, нужной для отвода глаз Франции и Европе. Две главные задачи императору казались первостепенными: во-первых, создать армию, во-вторых, обеспечить если не помощь, то нейтралитет Австрии, а поскольку это возможно — и Пруссии.

Первая задача была разрешена быстро. Еще будучи в России, Наполеон распорядился призвать досрочно набор 1813 г., и теперь, весной 1813 г., обучение новобранцев подходило к концу. Их с трудом набрали 140 тысяч человек. Еще в 1812 г. Наполеон приказал образовать «когорты национальной гвардии» и теперь включил их всех в армию (будто бы по их желанию, хотя национальная гвардия формировалась лишь для охраны порядка внутри империи). Это дало еще 100 тысяч человек. В июне 1812 г. Наполеон оставил до 235 тысяч во Франции и в вассальной Германии. Теперь можно было и на них рассчитывать. Наконец, несколько тысяч (как потом оказалось, около 30 тысяч) все-таки спаслось из России, так как корпуса, оставленные Наполеоном на северном (рижско-петербургском) направлении и на южном (гродненском), пострадали значительно меньше, чем те части, которые побывали при Бородине, а потом проделали все двухмесячное отступление от Москвы до Немана.

Все это давало императору надежду иметь к весне 1813 г. армию даже не в 300, а в 400—450 тысяч человек. Он предвидел, что подсчет может оказаться слишком оптимистическим, но во всяком случае, что очень большая армия будет в его распоряжении и очень скоро, он не сомневался. Боевые припасы, артиллерию, саперный материал, всю материальную часть вообще — все это, конечно, нужно было усиленно готовить, восстановлять, пополнять. Наполеон работал с утра до вечера над вопросами снаряжения и обучения армии.

Если Александр I пренебрег теперь, весной 1813 г., миролюбивыми нотками в речи Наполеона к сенату, как он пренебрег осенью 1812 г. письмами, переданными через Тутолмина, Яковлева и Лористона, то у Наполеона была теперь полнейшая уверенность, что он встретит русских на Висле и наголову их разобьет. Он знал, что и Кутузову зима 1812 г. обошлась очень недешево, хотя и не знал тогда, что Кутузов потерял за два месяца следования от Тарутина до Немана две трети своей

прежней 100-тысячной армии, больше двух третей своей артиллерии. При безобразных дорогах, при крепостнических порядках быстро пополнить эти потери боеспособным человеческим материалом и восстановить артиллерию Кутузов, по мнению Наполеона, не сможет. Не повторяя ошибки вторжения, можно было спокойно ждать русских у Вислы и Немана и разбить их там.

Но тут выдвинулась сама собой другая грозная проблема: будут ли русские одни? Уже в декабре 1812 г. прусский генерал Иорк, числившийся (так как Пруссия была в «союзе» с Наполеоном) под командой маршала Макдональда, внезапно перешел на сторону русских. Правда, перетрусивший король Фридрих-Вильгельм поспешил от Иорка отречься, но Наполеон знал, что король находится в таком положении, когда его могут низвергнуть русские, если он не перейдет на их сторону, так же как могут низвергнуть его собственные подданные. Понимал Наполеон и то, что абсурдно ждать, чтобы раздавленная им Пруссия не сделала попытки освободиться от его владычества, если русская армия войдет в страну.

Кутузов был против продолжения войны. И не только потому, что не видел для России никакого смысла в том, чтобы своей кровью освобождать Пруссию и германские страны, но и по той более простой очевидной причине, что предвидел страшнейшие трудности при новой войне с Наполеоном, принимая во внимание небольшую и истощенную русскую армию. Но Александр был совершенно непримирим. Он исходил из того соображения, что дать Наполеону передышку — значило оставить всю Европу по-прежнему в его власти, а угрозу на Немане сделать постоянной и неизбежной. И если русская армия, уже вошедшая в пределы Пруссии, получит подкрепления, то ясно, что прусский король будет вынужден поднять оружие против французского императора.

Наполеону перестало нравиться также поведение Австрии. Его тесть, император Франц, и Меттерних, уже тогда главный руководитель австрийской политики, заключили «перемирие» с Россией, с которой Австрия числилась с 1812 г. в войне (в качестве «союзницы» Наполеона), и было ясно, что, невзирая на новое родство, австрийский император рассматривал положение, в которое попал его зять Наполеон, как неожиданную улыбку судьбы, как залог близкого избавления от страшного ига, под которым жила Австрия после Ваграма и Шенбруннского мира.

В это трудное время французский император вспомнил, что еще в 1809 г., заняв Рим, он взял под стражу римского папу и перевез его в Савону, а в 1812 г., отправляясь в Москву, велел перевезти его в Фонтенебло. Считалось при этом, что стража —

это почетный конвой, а императорский дворец в Фонтенебло — не заключение, а пребывание в гостях у его величества. Папа не переставал протестовать и против отнятия у него г. Рима (который был подарен Наполеоном новорожденному сыну, «римскому королю») и против плена. Неожиданно Наполеон явился в гости к своему узнику. Дело было 19 января 1813 г. Нужно было хоть католиков как-нибудь примирить с собой: с 1809 г. они втихомолку роптали на императора. Но из всех любезностей, которыми обменялись Наполеон и папа, ничего реального не вышло.

Наполеон заставил Пия VII подписать новый конкордат, но Рима не отдал (новый конкордат в общем был повторением акта 1802 г.). Не удавались Наполеону уступки. Он и не любил и не умел их делать. Эти никчемные заигрывания с папой в январе 1813 г. кончились тем, что, узнав о враждебных советах, которые дает папе кардинал ди Пьетро, Наполеон вдруг арестовал ди Пьетро и выслал его из Фонтенебло.

Характерной фразой обмолвился император по поводу этого неудачного примирения с папой: «Оставим на время Рим... Этот номер положен в урну и выйдет из нее только после моей большой победы на Эльбе или на Висле». В том-то и дело, что, как сейчас увидим, в течение всего этого 1813 года и дальше Наполеон не переставал срывать все переговоры с врагами, все надеясь на большую победу. Счастье слишком долго ему служило. Сравнительно со всей его жизнью, при сопоставлении со всеми неслыханными делами, которые ему удалось сделать, начиная со взятия Тулона в 1793 г. и кончая созданием мировой державы, силы которой он повел в 1812 г. через Неман, война 1812 г. все-таки была одиноким черным пятном на громадном фоне успехов.

Пруссия готова была отпасть: король просил у Наполеона освобождения хоть некоторых пунктов от постоя французских войск, просил о 94 миллионах франков, которые французская казна была ему должна за содержание французских войск, и получил отказ. Англия не могла мириться с французским завоеванием Испании, а Наполеон, открывая 14 февраля 1813 г. Законодательный корпус, прямо заявил: «Французская династия царствует и *будет* царствовать в Испании». Меттерних пожелал узнать (в марте) условия, на которых Наполеон согласился бы заключить всеобщий мир, и не смог добиться ясного ответа. Все это — точь-в-точь как с папой: большая победа на Висле или Немане все решит. В своей речи 14 февраля Наполеон ручался, что вся территория империи останется неприкосновенной, что герцогство Варшавское останется в прежнем виде. Меттерних, в тот момент еще не желавший рвать с Наполеоном, говорил французскому послу в Вене, Отто, что

Наполеон этим заявлением делает невозможным мир ни с Россией, ни с Англией, ни с Пруссией.

Австрийские представители побывали и в Лондоне у Кэстльри и в Калише у Александра. И там и тут им ответили одинаково: если Наполеон не идет решительно ни на какие уступки, тогда пусть война решит вопрос. Наконец прусский король формально примкнул к Александру и заключил с ним союз. В ответ на это Наполеон объявил еще новый рекрутский набор. Саксония, Бавария, Вюртемберг, Баден оставались еще покорными.

2

15 апреля 1813 г. Наполеон выехал к своей армии в Эрфурт и двинулся против русских и пруссаков. Снабжена была армия очень хорошо. В течение всех первых месяцев 1813 г. Наполеон, просиживая дни над созданием и организацией армии, посвящал часть своих ночей на упорядочение финансов, и теперь армия ни в чем не нуждалась и могла за все платить звонкой монетой,— важно было не разорять и не раздражать жителей германских стран, пока еще «союзных», т. е. покорных.

200 тысяч у него были уже вполне готовы; почти такие же резервы были собраны или продолжали формироваться. Перед самым началом кампании умер Кутузов, и в момент начала военных действий фактического главнокомандующего у русских и пруссаков не было. С первых же шагов начались успехи Наполеона. Русские были вытеснены из Вейсенфельса. Затем произошли 1 и 2 мая бои у Вейсенфельса и под Лютценом. Победа Наполеона была полная. В бою под Вейсенфельсом находившийся в свите Наполеона маршал Бесьер, оказавшийся вместе с императором несколько впереди рядов старой гвардии, был убит ядром, разорвавшим ему грудь. «Смерть приближается к нам»,— сказал Наполеон, глядя, как мертвого маршала завертывали в плащ, чтобы унести с поля битвы. Сражение под Лютценом было очень упорным и кровопролитным. Наполеон лично скакал с одного фланга на другой, руководя всеми операциями боя. Александр и Фридрих-Вильгельм были недалеко от места боя, но не принимали в нем участия. Русские и пруссаки были отброшены с поля сражения, союзники потеряли около 20 тысяч, но и французы немногим меньше. Спустя несколько дней Наполеон был уже в Дрездене.

После победы Наполеона под Лютценом Меттерних брался восстановить мир между Наполеоном и союзниками и гарантировать вместе с тем союз Наполеона с Австрией на таких основаниях: Наполеон отказывается от герцогства Варшавско-

го, от протектората над Рейнским союзом, от ганзейских городов и от Иллирии. Все остальное (т. е. вся империя с Бельгией, вся Италия, Голландия, Вестфальское королевство Жерома Бонапарта) остается по-прежнему за Наполеоном. Наполеон отказался. «Я не хочу вашего вооруженного посредничества,— сказал Наполеон посланцу венского двора генералу фон Бубна,— вы хотите удить рыбу в мутной воде. Нельзя приобретать (новые) провинции, проливая только розовую воду. Вы начнете с того, что потребуете у меня Иллирию, а потом вы потребуете Венецианскую область, потом Миланскую землю, потом Тоскану и этим все-таки заставите меня сражаться с вами. Лучше с этого теперь и начать. Да, если вы хотите получить от меня земли, то вам нужно будет проливать кровь». Он решил воевать и воевать дальше, ничего не уступая. В Гамбурге обнаружилось движение против Наполеона. Император послал туда Даву, чтобы наказать ганзейские города за их борьбу против полиции и французских таможенных чиновников, губивших торговлю слишком строгим исполнением блокады. Наполеон приказал маршалу Даву расстрелять некоторых гамбургских сенаторов, расстрелять вожаков антифранцузского движения, расстрелять некоторых офицеров, арестовать 500 влиятельнейших граждан из тех, которые известны своей неблагонадежностью, и конфисковать все их имущество.

Отдав эти распоряжения, Наполеон вышел с гвардией из Дрездена и присоединился к армии, шедшей на восток к Бауцену (на Шпрее). На дороге из Дрездена в Бреславль с ним были четыре корпуса — Нея, Мармона, Удино, Бертрана. У союзников командовали Витгенштейн, Барклай де Толли, Милорадович и Блюхер. Битва под Бауценом началась 20 мая и кончилась вечером 21-го. Нея Наполеон направил на север в обход правого фланга противника, но Ней, пренебрегая советами своего начальника штаба, Жомини, не прибыл своевременно на поле сражения. Союзники отступили в порядке.

Битва была почти такая же кровопролитная, как под Лютценом. С той и другой стороны было потеряно вместе около 30 тысяч человек убитыми и ранеными. Победа оставалась опять за Наполеоном, и он намеревался, преследуя отступающих русских и пруссаков, идти прямо на Берлин. Союзники отступали с боем, задерживая преследование. Под Герлицем 22 мая Наполеон напал на арьергард отступавших и отбросил их. Сражение уже кончалось, неприятель отступал. Дюрок подошел вечером к Наполеону, поговорил с ним, потом отошел и сказал с грустью Коленкуру: «Друг мой, наблюдаете ли вы за императором? Вот он теперь опять одерживает победы после неудач, это и был бы как раз случай воспользоваться уроками несчастья. Но вы видите, он не изменился. Он нена-

сытно ищет битв... Конец всего этого не может быть счастливым».

Эта была последняя минута жизни маршала. Ядро ударило в дерево, около которого стоял Наполеон, и рикошетом попало в Дюрока. Он еще успел сказать императору, что желает ему победы и заключить мир. «Прощай,— ответил Наполеон,— может быть, мы скоро увидимся».

Смерть Дюрока, одного из немногих, кого Наполеон любил и кому верил, сильно его поразила. Он машинально сел на пень; осколки снарядов прусского арьергарда ложились вокруг него, но он так задумался, что не скоро покинул этот пень. В течение всей этой кампании 1813 г. он очень часто подвергал себя опасности, и, главное, без всякой нужды, чего никогда до сих пор с ним не бывало и что противоречило его мнению о месте главнокомандующего в бою. У свиты даже составилось впечатление, что он в 1813 г. тайно искал смерти, но скрывал это. В течение почти всего преследования отступавших, но энергично отстреливавшихся русских и пруссаков он был в авангарде, в самом опасном месте, без малейшей военной надобности лично там присутствовать.

После Бауцена и нескольких дней преследования отступавших союзников враждующие стороны приняли посредническое предложение Австрии, инспирированное Меттернихом, и заключили перемирие. 4 июня 1813 г. в Плейсвице договор о перемирии был подписан.

Ни союзники, ни Наполеон, подписывая перемирие, не желали, чтобы оно превратилось в мир, хотя обе стороны и согласились на предложение Меттерниха послать своих представителей в Прагу для переговоров. Союзники знали, что Наполеон, который еще до Лютцена и Бауцена не шел ни на какие уступки, подавно не пойдет на них теперь, после двух побед; со своей стороны, если Александр согласился на перемирие, то потому, что Барклай де Толли прямо заявлял, что армии нужно оправиться после испытанных поражений, привести себя в порядок и получить подкрепления. Наполеон согласился на перемирие тоже для того, чтобы получить подкрепление и окончательно раздавить союзников. Подписывая это перемирие, он сделал роковую ошибку, потому что перемирие пошло на пользу его врагам, а не ему, и было одной из причин, побудивших Австрию выйти из своей посреднической роли и примкнуть к союзникам.

Любопытно, что союзники совсем ничего не поняли в этой роковой для Наполеона ошибке, хотя много лет спустя их генералы (как русские, так и прусские и шведский наследный принц Бернадотт) утверждали, будто с самого начала перемирия искусно им воспользовались и очень были ему рады. У нас есть неопровержимое свидетельство подполковника Владимира

Ивановича Левенштерна, ближайшего наблюдателя настроений в штабах союзной армии: он утверждает, что «в войске союзников, в Пруссии, в германских странах, всюду, где звучал немецкий язык», это перемирие «оплакивалось как величайшее несчастье». И Левенштерн со справедливой иронией восклицает: «О, мудрость человеческая!» Эти немецкие записки Левенштерна («Denkwürdigkeiten eines Livländers») — один из драгоценнейших и беспристрастнейших документов по истории 1813 г., о которой столько раз сознательно или неумышленно лгали и французские, и прусские, и русские, и австрийские, и шведские мемуаристы.

Итак, перемирие было подписано. Но не верил Наполеон в серьезность шансов на заключение такого мира, к которому он стремился. А другого он твердо решил не подписывать.

Все или ничего. С этим лозунгом Наполеон начал великую борьбу 1813 г. и с этим лозунгом продолжал ее. Даже на острове Св. Елены, проиграв все, потеряв личную свободу, император никогда не выражал ни малейшего раскаяния в совершенной ошибке, потому что для него это поведение вовсе не было ошибкой. «Если бы я был не собой, а своим собственным внуком,— иронически говаривал он,— я мог бы возвратиться побежденным и царствовать после потерь». И еще несколько раз он пояснял свою мысль, говоря о разнице между собой и монархами, царствующими по наследственному праву.

После ужасов московского похода, приведших в подавленное состояние почти все население Франции, Париж встретил Наполеона беспрекословным повиновением. Он так же встретил бы его и подавно, если бы после блестящей весенней кампании 1813 г. он вернулся, сохранив все колоссальные свои владения, и без далекой балканской, ненужной Иллирии, пожертвовав только Варшавским герцогством и Рейнским союзом, где он даже и правил не лично, а через вассалов, которые вовсе не входили в состав его империи. Но он знал, что эти уступки, этот отказ от мысли доделать мировую империю означали бы и экономическую и политическую победу Англии. Та задача, которую он считал своей, оставалась бы невыполненной, французская торговля и промышленность были бы дальше бессильны бороться с английской, кризис 1811 г. стал бы хроническим явлением, безработица тоже, «революция пустого желудка», не боящаяся пуль, свила бы себе прочное гнездо в рабочих центрах, в столице и провинции, а буржуазии он, верный, могучий ее вождь в экономической борьбе против Англии, стал бы просто не нужен. Во имя чего французская буржуазия и дальше переносила бы его неслыханный деспотизм? А править иначе он и не хотел и органически не мог. Вот что заставило Наполеона — как раз в те самые дни, когда Мет-

терних выбивался из сил, чтобы убедить его отказаться от Гамбурга, Бремена и Любека,— послать туда Даву с жестокими приказами о расстрелах и конфискациях. Вот что побуждало его думать не о мире и возвращении в Париж, но о походе снова на Вислу и Неман, вот что сделало переговоры в Праге пустой комедией. Ему говорили об уступке Гамбурга, а он думал о Немане; ему предлагали отказаться от Иллирии, а он все еще не отзывал из Турции, Персии, Сирии, Египта своих агентов и разведчиков, которых послал туда перед походом на Россию. Спор этот могли решить только пушки, а не дипломатические тонкости.

Австрийская дипломатия, в сущности, не хотела ни окончательной победы Наполеона над коалицией, ни окончательной победы коалиции над Наполеоном, которая дала бы гегемонию русскому царю. Меттерних желал склонить Наполеона к уступкам, и, приехав в Дрезден, где жил император, явился во дворец 28 июня 1813 г.

Наполеон начал с угроз, прямо обвиняя Австрию в том, что она под предлогом посредничества готовится примкнуть к коалиции. «Объяснитесь: вы хотите воевать со мной? Значит, люди неисправимы! Уроки им ни для чего не служат! Русские и пруссаки, несмотря на жестокий опыт, осмелев после успехов последней зимы, дерзнули пойти против меня,— и я их побил. Вы тоже хотите получить в свою очередь? Хорошо, вы получите свое. Я вам назначаю свидание в Вене в октябре!»

Меттерних почтительно, но очень твердо возразил, что ничего подобного Австрия не имеет в виду, а хочет прочного мира. И тут же перечислил условия: все остается при Наполеоне, если он уступит Иллирию, Гамбург, Бремен и Любек, герцогство Варшавское и откажется от звания протектора Рейнского союза. Наполеон пришел в бешенство. «Я знаю ваш секрет! Вы, австрийцы, хотите всю Италию, ваши друзья русские хотят Польшу, пруссаки — Саксонию, англичане — Бельгию и Голландию... и если я уступлю сегодня, вы у меня всего этого потребуете завтра! Но для этого будьте готовы мобилизовать миллионы людей, пролить кровь нескольких поколений и вести переговоры у подножия Монмартра!»

Меттерних ответил, что ничего подобного от него не требуют, что мир, который ему предлагается, это почетный, славный мир. Наполеон выдвинул тогда такой аргумент: даже малейшая уступка его унизит. «Ваши государи, рожденные на троне, не могут понять чувств, которые меня воодушевляют. Они возвращаются побежденными в свои столицы, и для них это все равно. А я солдат, мне нужна честь, слава, я не могу показаться униженным перед моим народом. Мне нужно оставаться великим, славным, возбуждающим восхищение!»

На это Меттерних ответил, что если так, то война никогда не кончится, а вся Европа и Франция тоже утомлены войной и нуждаются в мире. «Государь, я только что проходил мимо ваших полков; ваши солдаты — дети. Вы произвели несколько преждевременных наборов и призвали в войска едва лишь сформировавшиеся возрасты. Когда это поколение будет уничтожено нынешней войной, произведете ли вы следующий досрочный набор? Призовете ли еще более молодых?»

Наполеон побледнел от ярости, вспоминает Меттерних, и швырнул на землю свою шляпу. «Вы не военный, у вас нет души солдата, какая есть у меня, вы не жили в лагере, вы не привыкли презирать свою и чужую жизнь, когда это нужно. Что для меня значит 200 тысяч человек?» Наполеон был в одном из тех припадков гнева, когда говорил циничнейшие вещи, стремясь оскорбить противника. «Наконец, французы, кровь которых вы тут защищаете, не могут так уж жаловаться на меня. Я потерял, правда, в России 200 тысяч человек; в том числе было 100 тысяч лучших французских солдат; о них я, действительно, жалею. Что касается остальных, то это были итальянцы, поляки и главным образом немцы!» При последнем слове он сделал пренебрежительный жест. «Допустим,— ответил Меттерних,— но согласитесь, государь, что это не такой аргумент, который следует приводить, говоря с немцем».

Разговор, конечно, ни к чему не привел после подобных заявлений. Наполеон стал издеваться над тем, что Австрия преувеличивает свои военные силы, и на просьбу Меттерниха позволить ему взять на себя дипломатическое посредничество на указанных условиях, Наполеон вскричал: «А, вы настаиваете! Вы все-таки хотите мне диктовать законы! Ах, Меттерних! — в гневе кричал император.— Скажите, сколько Англия вам заплатила, чтобы заставить вас играть эту роль против меня? Хорошо, пусть будет война! Но до свидания, увидимся в Вене!»

Когда Меттерних откланялся и вышел в зал, то маршалу Бертье, спросившему о результатах переговоров (сам Бертье страстно желал мира и считал условия вполне приемлемыми и почетными), Меттерних сказал: «Клянусь вам, ваш повелитель потерял рассудок!»

Несмотря на эту сцену (где, между прочим, Наполеон заявил, что он оказал Австрии милость и снисхождение, взяв в жены Марию-Луизу, и что это была с его стороны ошибка), Наполеон, ничем не обязываясь официально, согласился в конце концов на австрийское посредничество. Пока по приглашению Меттерниха русский, прусский и австрийский уполномоченные съезжались к 12 июля 1813 г. в Прагу и время тянулось за бесплодными переговорами, армия Наполеона укреплялась, но общее политическое положение явно расшатывалось. Между

прочим пришел ряд известий о французских поражениях и неудачах в Испании. Англичане и испанские гверильясы оттеснили французские войска к Пиренеям. Битва при Виттории кончилась полной победой английского главнокомандующего лорда Веллингтона.

Наполеон, зная наперед, что из пражских переговоров ничего не выйдет, да и не желая, чтобы что-нибудь вышло, тянул дело. Русский и прусский уполномоченные и сам Меттерних оскорблялись и раздражались проволочками. Они с 12 июля сидели в Праге, а французы все не являлись и всячески затрудняли переговоры.

Впрочем, после разговора Меттерниха с Наполеоном австрийские колебания кончились. Меттерних прямо сказал французскому представителю Нарбонну, что если пражское совещание не соберется до конца перемирия, т. е. до 10 августа, то Австрия примкнет к коалиции.

Ничего из всех этих бесплодных переговоров не вышло. Наполеон отдал наперед приказ графу Нарбонну: 1) тянуть дело и не начинать совещаний; 2) если уж они начнутся, то не идти ни на какие уступки; соблюсти дипломатический принцип, выраженный в латинской формуле: «кто чем владеет,— пусть у того и остается».

Нарбонн, Коленкур, Фуше, Савари, Бертье, почти все маршалы убеждали императора заключить мир. Все было напрасно. Савари, министр полиции, которого Наполеон сделал герцогом Ровиго, осмелился сказать императору, что народ измучен бесконечными войнами и, чего доброго, может наконец обозлиться даже и на своего обожаемого монарха. На это министру полиции велено было молчать и «не вмешиваться в то, чего он не знает».

10 августа кончилось перемирие, а 11 августа Меттерних заявил, что Австрия объявляет Наполеону войну.

Ликование в Лондоне и в русско-прусском лагере было полное. Силы коалиции теперь явно превышали силы Наполеона.

3

Приближалась развязка кампании 1813 г. Наборы за наборами следовали и в России, и в Пруссии, и в Австрии. Подтягивались резервы, напрягались все силы. Англия снова широко раскрывала свою казну и не скупилась на золото для подкрепления коалиции, как не скупилась она и на усиление армии Веллингтона в Испании. У коалиции была теперь армия с резервами численностью почти в 850 тысяч у Наполеона (тоже с резервами) — около 550 тысяч.

Главнокомандующим всех союзных сил был назначен австрийский фельдмаршал Шварценберг. Его Наполеон не боял-

ся нисколько. У русских не было уже ни Кутузова, ни Багратиона, а остальных русских генералов в их массе французский император после 1812 г. все-таки не стал уважать больше, чем прежде. Его мнение о некоторых участниках Смоленска и Бородина было довольно высоким, но в общем главный русский штаб Наполеон ставил очень низко. Он считал сплошь нелепыми, например, действия русского командования во время его отступления от Москвы, твердо убежден был и не переставал до конца жизни повторять, что только необъятные пространства, пожар Москвы, страшные морозы, его собственная ошибка, заключавшаяся в занятии Москвы и долгой стоянке там, привели поход к неудаче, а русские генералы, русские стратеги и тактики будто бы ничего не сумели сделать, чтобы воспользоваться хоть сколько-нибудь толково счастливейшими для них обстоятельствами. Русских же солдат теперь, в 1813 г., он ставил еще выше, чем ставил их уже после Эйлау, в 1807 г., выше, чем всех других солдат враждебных армий.

Что касается пруссаков, то у них, как и у австрийцев и у русских, Наполеон не видел сколько-нибудь страшных для себя соперников в военном искусстве. Но он знал, что, по совету Бернадотта, бывшего наполеоновского маршала, а теперь, в 1813 г., в качестве шведского наследного принца — врага Наполеона, Александр I и союзные монархи упросили явиться к ним на помощь генерала Моро, талантливого полководца, которого в 1804 г. привлекли и обвинили по делу о заговоре против Наполеона и которого Наполеон выслал тогда из Франции. Моро с тех пор проживал в изгнании в Америке. Непримиримый враг Наполеона, Моро прибыл в лагерь Александра как раз к возобновлению военных действий после провала попытки мирных переговоров в Праге. «Не нападайте на те части армии, где сам Наполеон, нападайте только на маршалов»,— таков был первый совет, данный генералом Моро Александру и его союзникам. Нужно сказать, что, судя по всему, неладно было на душе у генерала Моро, хоть он и утешал себя соображением, что сражается не против Франции, а против ее деспота. Русский генерал князь Репнин был свидетелем потрясающей сцены. Моро встретился с одним французским пленным, старым солдатом, и заговорил с ним. Тот узнал французского полководца, теперь помогающего врагам Франции. Солдат отступил от Моро на несколько шагов и вскричал: «Да здравствует республика!» В бывшем республиканском генерале солдат видел теперь изменника, с которым не захотел разговаривать. Александр I осыпал генерала Моро знаками величайшего внимания и почтения, непременно хотел предоставить ему первую роль. Русский император считал, что, во-первых, только один Моро и может быть достойным противником Наполеона по своим стратегиче-

ским дарованиям, а во-вторых, что присутствие Моро в союзном стане может поселить некоторые колебания во французской армии, так как у Моро до тех пор была репутация безупречного республиканского генерала, без вины запутанного в дело Жоржа Кадудаля и изгнанного Наполеоном. Но для французской солдатской массы в этот момент слова: Франция, империя, император, родина, сливались в единое целое, которое противопоставлялось неприятелю, интервентам, роялистам, эмигрантам; и расчет царя был неправилен. Морально генерал Моро перестал существовать для наполеоновских солдат, как только он прибыл в неприятельский лагерь. Александр хотел, чтобы Моро стал главнокомандующим всех союзных армий вместо Шварценберга. Сам Моро предлагал, чтобы главнокомандующим числился Александр, а он, Моро, был бы начальником штаба и фактически верховным руководителем. Но случилось все иначе.

Первая большая битва по возобновлению кампании произошла при Дрездене 27 августа 1813 г. Наполеон одержал здесь одну из блестящих побед. Убитыми, ранеными, пленными союзники потеряли около 25 тысяч человек, а Наполеон — около 10 тысяч. Союзная армия частями отступила в порядке, а некоторые корпуса бежали с поля битвы, преследуемые по пятам кавалерией. С обеих сторон действовала артиллерия, и вся битва происходила при неумолкаемом грохоте 1200 орудий. В разгаре боя, когда левое крыло союзников было уже совершенно разгромлено, Наполеон в центре взял на себя непосредственное руководство артиллерийским огнем. На небольшой возвышенности Ронникс он заметил в неприятельском расположении группу всадников, на которую прежде всего и велел одной из своих батарей направить огонь. В центре этой группы всадников оказался император Александр, а рядом — генерал Моро, впервые тут выступивший в качестве руководителя союзных войск. И одно из первых ядер, пущенных в эту группу по приказу Наполеона, раздробило генералу Моро обе ноги. Он скончался несколько дней спустя. Во французской и в союзной армии была распространена легенда, будто Моро был убит ядром, которое лично выпустил, подойдя к батарее, Наполеон, разглядев и узнав в подзорную трубу «изменника». Так или иначе, разгром частей союзной армии, сражавшихся у Дрездена, был полный, и сразу же лишиться Моро, наилучшего своего стратега, было для союзников дополнительным тяжким ударом.

Союзники, разбитые под Дрезденом, несколькими дорогами отступали к Рудным горам. В следующие дни маршалы Мармон, Виктор, Мюрат, Сен-Сир, генерал Вандамм, преследуя союзников, взяли еще несколько тысяч русских, пруссаков и австрийцев в плен. Но Вандамм слишком увлекся преследова-

нием и оторвался от главных сил авангарда; 29 и 30 августа в битве при Кульме Вандамм был разбит, ранен и взят в плен с частью своего отряда.

Это приободрило растерявшихся было после Дрездена союзников. Упорствовать, не мириться с Наполеоном после поражений — это был тоже один из советов, который Моро успел дать союзникам перед своей внезапной гибелью. Союзники видели, что если военный гений Наполеона не изменился, то солдаты у него уже не те. 18- и 19-летние юноши не могли заменить те непобедимые, железные легионы, с которыми он воевал в Египте, в Сирии, с которыми он завоевал Европу, даже те войска, с которыми ходил в Москву и костями которых он усеял поля сражений. Наполеон тоже это знал. Он видел перед собой и еще одну трудность. Собственное его классическое правило, вошедшее потом во все учебники стратегии и тактики, гласило что секрет военного искусства заключается в том, чтобы быть сильнее неприятеля в нужный момент в нужном месте. И сам же он теперь, когда все зависело от этой кампании в Саксонии, нарушал это правило. Где был Даву, один из лучших его маршалов, с большим отрядом? Расстреливал купцов в Гамбурге. Где были значительные отряды пехоты, артиллерии, кавалерии, которые так пригодились бы Наполеону для близившейся решительной битвы? В Данциге, в северной Германии, в южной и средней Италии, в Испании. Созвать их к себе значило бы самому разрушить великую империю, державшуюся теперь исключительно силой этих гарнизонов, не собирать их значило тоже разрушить империю, потерпев неминуемое поражение от союзников, у которых теперь, после смерти Моро, нет хороших генералов, но почти вдвое больше солдат, чем у него.

Безвыходные, глубокие противоречия обступали Наполеона. Дорога на Берлин оказалась затрудненной. Бернадотт с шведской армией и Бюлов с частью прусской отбросили французские дивизии, где было очень много баварских, саксонских и других германских вассалов Наполеона, которые с каждым днем становились все ненадежнее, дезертировали сотнями и просто не хотели сражаться против других немцев ради неведомых им целей Наполеона. Маршал Удино был отброшен 23 августа у Гроссберена от путей наступления на Берлин. Макдональд потерпел поражение на реке Кацбах, на путях в Силезию. Мюрат 4 сентября напал и обратил в бегство Блюхера, но не уничтожил его корпуса. Маршал Ней потерпел 6 сентября неудачу при Денневице. На немецких солдат своей армии Наполеон теперь уже не мог никак положиться: Ней только потому должен был отойти, что саксонцы, бывшие у него в отряде, массой бежали без всякого прямого повода. Наполеон был недоволен и маршалами. «Генералы и офицеры утомлены войной, и у

них нет той подвижности, которая заставляла их делать великие дела»,— писал он военному министру Кларку 8 сентября 1813 г., приказывая озаботиться укреплением и снабжением прирейнских крепостей.

Сентябрь кончился без решающих событий, но и Наполеон и союзники желали еще до зимы сразиться в генеральном бою. Национально-освободительное движение все больше и больше охватывало Германию. Появились добровольческие партизанские отряды, организованные Тугендбундом и другими патриотическими ассоциациями. Молодая буржуазия, студенчество Пруссии, Саксонии, государств Рейнского союза, Вестфалии увлекались теперь идеей освобождения Германии от иноземного завоевателя.

Наполеон усиленно готовился к осенней кампании. Но он уже наперед учитывал, что если даже он будет победителем, то война не окончится немедленно: ведь он твердо решил не идти ни на какие уступки и понимал, что и союзники со своими громадными резервами, даже если потерпят поражение, не захотят признать себя побежденными. И вот он сделал новое распоряжение: призвать под знамена в империи еще 280 тысяч молодых людей, причем из этого числа 160 тысяч призывников 1815 г., т. е. совсем почти подростков. Предсказание Меттерниха осуществлялось: почти дети уже направлялись в казармы.

С первых же чисел октября начались сложные маневрирования враждебных армий с отдельными мелкими стычками, атаками и отступлениями. Деятельность Наполеона, направляющего, контролирующего, изобретающего ежедневно новые и новые уловки и военные хитрости, была в эти роковые для него дни изумительная.

Русские в это время вторглись в Вестфальское королевство Жерома Бонапарта, и король бежал. Бавария отпала от союза с Наполеоном и примкнула к коалиции. Наполеону нужно было скорее дать генеральный бой и победить. Он так говорил, но не мог не понимать зловещего смысла того факта, что вассалы независимо от результатов грядущих боев уже стали изменять ему.

16 октября 1813 г. на равнине у Лейпцига началась величайшая из битв на протяжении всей наполеоновской эпопеи, «битва народов», как ее тогда же назвали в Германии. Наполеон на лейпцигских полях три дня — 16, 18 и 19 октября — сражался с коалицией, состоявшей из русских, австрийцев, пруссаков и шведов. В собственной его армии были, кроме французов, поляки, саксонцы, голландцы, итальянцы, бельгийцы, немцы Рейнского союза. К началу битвы у Наполеона было 155 тысяч, у союзников — 220 тысяч человек. Когда спустилась ночь, обе стороны в общем не дрогнули, и сражение оказа-

лось не решенным. Потери Наполеона за этот первый день составляли почти 30 тысяч человек, потери союзников — около 40 тысяч.

Ждали следующего дня. Подкрепления прибывали всю ночь и к Наполеону и к союзникам. Но Наполеон получил ко второму дню битвы подкрепление в 15 тысяч, а к союзникам подошла северная армия Бернадотта и Беннигсена с 110 тысячами человек. Рано утром Наполеон объезжал вчерашнее поле битвы в сопровождении Мюрата. Мюрат указал ему, что со времени Бородина не было такой массы убитых. Наполеон думал в эти утренние часы 17 октября об отступлении, но в конце концов решил остаться. Он велел привести к себе взятого накануне в плен австрийского генерала Мервельдта. Он заговорил с ним о мире с Австрией. Мервельдт сказал, что он знает, что Австрия и сейчас хочет мира и что если Наполеон согласился бы «для счастья всего света и Франции» на мир, то мир сейчас бы мог быть заключен.

Весь день 17 октября прошел в уборке раненых, в приготовлениях к продолжению битвы. Наполеон после долгих колебаний решил отойти к линии реки Заале. Но он не успел привести это намерение в исполнение, как разгорелось на рассвете 18 октября новое сражение. Соотношение сил еще более круто изменилось в пользу союзников. Потеряв 16 октября около 40 тысяч человек, они получили огромные подкрепления 17-го и в ночь на 18-е, и в битве 18 октября у них было почти в два раза больше войск, чем у Наполеона. Битва 18 октября была еще страшнее, чем та, которая происходила 16-го, и тут-то, в разгаре боя, вдруг вся саксонская армия (подневольно сражавшаяся в рядах Наполеона) внезапно перешла в лагерь союзников и, мгновенно повернув пушки, стала стрелять по французам, в рядах которых только что сражалась. Но Наполеон продолжал бой с удвоенной энергией, несмотря на отчаянное положение.

Когда смерклось и бой стал утихать, снова обе стороны остались друг против друга, и опять не было решительной развязки. Но в ночь с 18 на 19-е она наступила. Наполеон после новых страшных потерь и измены саксонцев уже не мог больше держаться. Он решил отступать. Отступление началось ночью и продолжалось весь день 19 октября. Наполеон с боем отступал из Лейпцига и за Лейпциг, теснимый союзниками. Бои были необычайно кровопролитны вследствие того, что на улицах города и предместий и на мостах теснились густые толпы отступавших войск. Наполеон приказал, отступая, взорвать мосты, но саперы по ошибке взорвали их слишком рано, и около 28 тысяч человек не успели перейти, в том числе поляки. Их начальник, маршал Понятовский, командир польского корпуса,

утонул раненый, пытаясь переплыть верхом реку Эльстер. Преследование, впрочем, скоро прекратилось. Наполеон ушел со своей армией и двинулся по направлению к Рейну.

Общие потери французов за 16—19 октября были равны по крайней мере 65 тысячам человек, союзники тоже потеряли около 60 тысяч. Долгие еще дни страшные вопли тяжелораненых оглашали лейпцигские поля и разложение трупов наполняло окрестности невыносимым зловонием. Не хватало рабочих рук, чтобы очистить поле, и медицинского персонала, чтобы подать помощь искалеченным и раненым.

4

Наполеон отступал от Лейпцига к границам Франции, к той черте, которая отделяла ее от германских государств до начала наполеоновских завоеваний, к линии Рейна. Во французской живописи неоднократно этот именно момент и события начала 1814 г. служили темами для художников, причем в центре их внимания был Наполеон. Гениальная кисть Мейссонье уловила настроение императора. Он едет на боевом коне между своими гренадерами и угрюмо к чему-то присматривается, чего не видят глаза гренадер. В эти дни конца октября и начала ноября 1813 г., между концом кампании в Саксонии и началом кампании во Франции, в этом человеке совершалась огромная и несомненно мучительная борьба, о которой он не говорил с окружавшей его свитой, ехавшей за ним между поредевшими рядами конных гренадер старой гвардии, но которая отражалась на его суровом лице и в угрюмых глазах.

Впервые Наполеон должен был понять, что великая империя рушилась, что распался пестрый конгломерат стран и народов, который он столько лет старался огнем и мечом спаять в единую империю. Вот с ним распрощался Мюрат, его маршал, его начальник кавалерии, герой многих битв, которого он сделал сам королем неаполитанским. Мюрат уехал в Неаполь, и Наполеон знал, что он уехал для измены и уже тайно перешел на сторону коалиции, чтобы сохранить свой трон. Вот назначенный им в Испанию брат его, король Жозеф, вытесняется англичанами и испанскими повстанцами с Пиренейского полуострова. Из Касселя уехал другой брат его, король вестфальский Жером. В Гамбурге Даву осажден русскими и пруссаками. Власть французов в Голландии шатается. Англия, Россия, Австрия, Пруссия не успокоятся, пока не сведут Францию к прежним границам. Великой империи, созданной им, наступает конец, она растаяла.

У него еще было около 100 тысяч человек, из них 40 тысяч вполне вооруженных, остальных еще нужно было вооружить и вводить в кадры. У него еще были гарнизоны и в Данциге,

и в Гамбурге, и разбросанные там и сям в еще покорных ему частях Европы — в общем от 150 до 180 тысяч человек. Юноши-призывники 1815 г., взятые в войска в 1813 г., поспешно обучались в лагерях.

Наполеон еще не складывал оружия. Он думал о новой предстоявшей стадии борьбы, и когда заговаривал с маршалами, прерывая свое угрюмое молчание, то делал это затем, чтобы отдать новые распоряжения. Он решил теперь отпустить папу в Рим; он позволил испанскому королю Фердинанду VII, которого держал в плену пять лет, вернуться в Испанию.

Понадобились 125 тысяч потерянных обеими сторонами людей на лейпцигском поле, и главное понадобилось отступление от Лейпцига, чтобы Наполеон наконец примирился с мыслью, что уже не поправить ему одним ударом всего, что случилось, не загладить Бородина, московского пожара, гибели великой армии в русских снегах, отпадения Пруссии, Австрии, Саксонии, Баварии, Вестфальского королевства, не ликвидировать Лейпцига, испанской народной войны, не сбросить Веллингтона с англичанами в море. Еще в июне, июле, августе этого страшного 1813 года он мог кричать на Меттерниха, топать на него ногами, спрашивая, сколько он денег получил от англичан, оскорблять австрийского императора, провоцировать Австрию, срывать мирные переговоры, впадать в бешенство от одной мысли об уступке Иллирии на юге или ганзейских городов на севере, продолжать жечь английские конфискованные товары, расстреливать гамбургских сенаторов,— словом, вести себя так, будто он вернулся в 1812 г. из России победителем и будто речь идет теперь, в 1813 г., лишь о наказании взбунтовавшейся Пруссии. Но после Лейпцига, приближаясь к границам старой Франции, ведя следом за собой несметные полки врагов, он должен был перестроить все эти навыки своей политической мысли. Речь шла о вторжении неприятеля во Францию, о защите своих территорий.

По пути к Рейну ему пришлось еще при Ганау (30 октября) пробиваться с оружием в руках сквозь баварско-австрийские отряды, и когда 2 ноября 1813 г. император вошел в Майнц, то при нем было лишь около 40 тысяч боеспособных солдат. Остальные вошедшие в Майнц толпы безоружных, изнуренных, больных людей, тоже еще числившихся в армии, можно было смело не считать.

В середине ноября Наполеон был в Париже. Кампания 1813 г. кончилась, и начиналась кампания 1814 г. Подводя итоги, Франция могла видеть, что за полумиллионом (приблизительно) погибшей великой армии 1812 г. следовала гибель новых сотен тысяч, набранных и истребленных в 1813 г.

А война свирепела все сильнее и сильнее, и орудия преме-

ли уже у границ Франции. В стране опять возник экономический кризис вроде того, который существовал в империи в первой половине 1811 г. Но на этот раз не было и не могло быть попыток смягчить безработицу правительственными субсидиями, не было и надежд на скорое прекращение безработицы. В 1813 г., пока Наполеон воевал в Германии, парижская полиция стала замечать (и отмечать в своих сообщениях) явление, о котором говорили, правда сдержанно, уже в 1811 г.: рабочие явно роптали, раздражались, начинали произносить, по донесениям полиции, «мятежные слова».

Подавленные долгим железным гнетом военного деспотизма и почти не выступавшие организованно уже больше 18 лет (с жерминаля и прериаля 1795 г.), рабочие предместья начинали роптать по мере обострения нужды и безработицы. Но все же и в 1813 г. дело не дошло не только до восстания в рабочих кварталах столицы, не только до выступлений, напоминающих хоть отдаленно жерминаль и прериаль, но даже до крупных демонстраций. И не только потому, что шпионаж был доведен до совершенства еще при Фуше и поддерживался при его преемнике Савари, герцоге Ровиго, и не только потому, что наружная полиция была представлена в изобилии и конные патрули разъезжали по городу, и особенно по Сент-Антуанскому и Сен-Марсельскому предместьям, по улице Муффтар, по кварталу Тампль, и днем и ночью. Не потому также, что не было причин к самым горьким, к самым раздраженным чувствам рабочей массы против правительства. Эти причины были. Наполеон — автор «рабочих книжек», ставивших рабочего человека в положение прямой зависимости,— ведь эти книжки отдавали рабочего в полную власть хозяина; Наполеон, ежегодно требовавший налога крови сначала взрослых сыновей, а потом 18-летних юношей и хоронивший их сотнями тысяч на далеких полях мировых побоищ; Наполеон, удушивший даже и тень какой бы то ни было возможности для рабочего отстаивать себя от эксплуатации хозяев,— не имел никаких прав на расположение со стороны рабочих масс.

Но теперь, когда к французским границам приближалось, как в начале революции, вражеское нашествие, когда это вражеское нашествие шло затем, чтобы восстановить господство аристократии и посадить на престол Бурбонов, среди рабочих царили растерянность и недоумение. Образ залитого кровью деспота, ненасытного властолюбца вдруг куда-то отодвинулся. На сцену выступила опять ненавистная роялистская нечисть, эти эмигранты-изменники. Они снова идут на Францию и на Париж и, прячась в обозе иноземного нашествия, уже наперед мечтают о восстановлении дореволюционного строя и изрыгают хулу на все, что было сделано революцией.

Что же делать? Восстать в тылу Наполеона и этим облегчить врагам подчинение Франции их воле и водворение Бурбонов?

Рабочая масса не восстала в конце 1813 г. и в начале 1814 г., хотя за все наполеоновское царствование ей не приходилось так страдать, как в это время.

Настроение буржуазии было иное. Промышленники в большинстве своем еще готовы были поддерживать Наполеона. Они знали лучше других, чего желает и ждет Англия и как трудно будет бороться им с английской конкуренцией вне и внутри страны, если Наполеон потерпит поражение. Крупная торговая буржуазия, финансисты, биржа давно уже жаловались на невозможность жить и работать при непрерывной войне и при произволе, возведенном в систему. Давно уже начал катастрофически сокращаться внешний рынок; теперь не менее катастрофически сократился и внутренний рынок. Деньги были, но они «прятались»: это явление наблюдалось самыми разнообразными свидетелями. Денежные тузы уже утратили надежду на то, что в наполеоновское царствование когда-либо прекратятся войны, а после катастрофы великой армии в России, и особенно после провала пражских мирных переговоров и Лейпцига, мысль о неизбежном поражении императора не позволяла и мечтать о сколько-нибудь устойчивом кредите, о торговых сделках и больших заказах и закупках. Нетерпение, горечь, уныние, раздражение охватили эту (очень значительную) часть буржуазии. Она быстро отходила от Наполеона.

Что касается деревни, то там Наполеон еще мог бы найти опору. Непрерывными рекрутскими наборами, всей массой физических и материальных издержек Наполеон опустошил французскую деревню, и все же масса собственнического крестьянства (кроме Вандеи) особенно страшилась политических перемен, которые несло с собой нашествие. Для крестьянства в его подавляющей массе Бурбоны означали возрождение феодализма, с властью сеньеров, с несвободой земли, с отнятием как церковных, так и конфискованных у эмигрантов земельных имуществ, раскупленных участками буржуазией и крестьянами в эпоху революции. Под страхом лишиться с таким трудом завоеванного права на безраздельное владение своими участками земли крестьянство готово было и дальше терпеть все последствия завоевательной, грабительской внешней политики Наполеона. Наполеон оказывался для деревни более терпим, чем старый феодальный строй, который несли с собой Бурбоны.

Наконец, была еще небольшая, но влиятельная кучка: старая и новая аристократия. Старая (даже часть ее, служившая Наполеону), конечно, была всегда ближе к Бурбонам, чем к нему. Новая — маршалы, графы, герцоги, бароны, созданные

Наполеоном, щедро осыпанные золотом и всяческими императорскими милостями,— тоже далеко не единодушно поддерживала императора. Они были просто утомлены той жизнью, которую должны были вести. Они жаждали использовать свои огромные материальные ресурсы как полагается подлинным аристократам: пожить в почете и с комфортом, относя свои недавние военные подвиги в область приятных воспоминаний. «Вы не желаете больше воевать, вам хочется погулять в Париже»,— раздраженно сказал император в 1813 г. одному из своих генералов. «Да, ваше величество, я ведь так мало в своей жизни гулял в Париже!» — с горечью ответил тот. Жизнь на бивуаках, среди вечных опасностей, под картечью, а главное, в вечной грандиозной азартной игре со смертью так измучила и утомила их, что самые храбрые и стойкие, как Макдональд, Ней, Ожеро, Себастьяни, Виктор, самые преданные, как Коленкур или Савари, начинали прислушиваться к намекам и инсинуациям Талейрана и Фуше, которые уже давно во мраке и под шумок терпеливо и осторожно готовили измену.

Таково было положение, таковы были настроения, когда, проиграв 16—19 октября в Лейпциге так блистательно начатую весной кампанию 1813 г., Наполеон явился в ноябре в Париж и стал подготовлять новые силы, с которыми должен был встретить двигавшееся на Францию нашествие европейских народов.

5

«Пойдемте бить дедушку Франца»,— говорил маленький римский король, повторяя со всей серьезностью трехлетнего ребенка фразу, которой научил его Наполеон, обожавший своего сына. Император неудержимо смеялся, слушая эти слова, которые ребенок повторял, как попугай, не понимая их смысла. Между тем дедушка Франц, по мере приближения союзных армий к берегам Рейна, был в очень большой и все возраставшей нерешительности. И не только он, но и его руководитель и вдохновитель, министр Меттерних.

Дело было не в семейных отношениях, конечно, не в том, что Наполеон был женат на дочери австрийского императора и что наследником наполеоновского престола являлся родной внук Франца I. Были другие причины, которые заставляли австрийскую дипломатию смотреть далеко не так прямолинейно на желательный результат войны, как смотрели, например, англичане или Александр I, или прусский король Фридрих-Вильгельм III. Для Англии Наполеон был самым непримиримым и самым опасным из всех врагов английской державы, каких только она имела за свою полуторатысячелетнюю исто-

рию. При нем между Францией и Англией сколько-нибудь длительного мира быть не могло. Для Александра он был оскорбителем, личным, но и помимо того единственным монархом, который мог восстановить Польшу при ближайшем удобном случае. А что Наполеон, если останется на престоле, найдет и военные и дипломатические возможности наносить своим противникам страшные удары, Александр в этом нисколько не сомневался.

Еще в большей (и гораздо большей) степени этот же мотив руководил и прусским королем. Фридрих-Вильгельм III, которого, можно сказать, силой заставили в марте 1813 г. выступить против Наполеона, не переставал с момента этого решения буквально обмирать от страха вплоть до самого Лейпцига. Он устраивал сцены Александру, особенно после неудач — после Лютцена, после Бауцена, после Дрездена: «Вот я опять на Висле!» — в отчаянии повторял он. Его и Лейпциг не очень успокоил. Этот панический, похожий на суеверие страх перед Наполеоном был тогда очень распространен. Даже после Лейпцига, после потери почти всех завоеваний с истощенной, отчасти уже ропщущей Францией в тылу, Наполеон казался настолько страшен, что Фридрих-Вильгельм III без ужаса не мог и помыслить о том, как по окончании войны и по уходе союзников, ему, прусскому королю, придется снова жить рядом с таким соседом, как Наполеон.

У Австрии не было всех этих мотивов, какие были у Англии, у Александра, у Фридриха-Вильгельма, считавших, что если на этот раз коалиция оставит Наполеона на престоле, то все кровопролития 1812 и 1813 гг. окажутся абсолютно бесполезными. Меттерних вовсе не желал, чтобы Россия осталась без должного противовеса на западе. Ему хотелось, чтобы в Европе остался Наполеон, уже не страшный для Австрии, но очень неприятный для России в качестве возможного союзника Австрии.

Меттерних и Франц I снова решили попробовать договориться с Наполеоном. И вот Меттерниху, который мог очень сильно пугать союзников угрозой выхода Австрии из коалиции, удалось вынудить у Англии, России и Пруссии согласие снова предложить Наполеону мирные переговоры на таких условиях: он отказывается от завоеваний (и без того потерянных) и прекращает войну; ему остается Франция в тех границах (с очень малыми изменениями), которые она получила по Люневильскому миру 1801 г. Союзные монархи находились во Франкфурте. Меттерних пригласил бывшего во Франкфурте задержавшегося там французского дипломата Сент-Эньяна, и в присутствии лорда Эбердина, представителя Англии, и Нессельроде, представителя России, который тут же объявил, что пере-

дает также мнение Гарденберга, канцлера Пруссии, наполеоновскому дипломату было поручено отправиться к императору и передать ему мирное предложение союзных держав.

Люневильский мир 1801 г. был в свое время результатом победоносной войны. Наполеону оставалась, следовательно, великая держава, которую он создал в 1801 г., после французских побед при Маренго и при Гогенлиндене. Уже на самом краю пропасти, после страшных катастроф 1812 и 1813 гг., под непосредственной угрозой вторжения союзников во Францию, неожиданно явился шанс на спасение. Наполеон оставался повелителем первоклассной державы.

Сент-Эньян прибыл в Париж 14 ноября 1813 г. с предложениями союзных держав.

Наполеон не хотел сразу высказаться. Он был погружен в самую кипучую, лихорадочную деятельность по новым наборам, по всесторонней подготовке новой войны. Нехотя, с оговорками он согласился начать переговоры и одновременно еще больше усилил энергию по подготовке новой армии.

«Погодите, погодите,— говорил он, ни к кому не обращаясь и неустанно шагая по своему кабинету,— вы скоро узнаете, что я и мои солдаты, мы не забыли наше ремесло! Нас победили между Эльбой и Рейном, победили изменой... Но между Рейном и Парижем изменников не будет...»

Эти слова разносились по Франции и по Европе.

Никто из знавших Наполеона не верил в успех мирных предложений союзников. Ежедневно новые и новые формирования проходили перед испытующим взором императора и направлялись на восток, к Рейну. Близился конец великой трагедии.

Глава XV

ВОЙНА ВО ФРАНЦИИ И ПЕРВОЕ ОТРЕЧЕНИЕ НАПОЛЕОНА 1814 г.

1

Наполеон и в 1814 г., как и во время борьбы с Европой в 1813 г., всецело уповал на оружие, и только на оружие. Но он понимал, что теперь, после Лейпцига и накануне вторжения неприятеля во Францию, нет никакой возможности повести себя так, как он вел себя в июле и августе 1813 г., когда он вполне сознательно и планомерно сорвал пражские переговоры. Тогда ему предлагали оставить не только Францию, но и все завоевания, кроме Иллирии, ганзейских городов, еще кое-каких пунктов в Германии, и все его права и титулы, кроме звания протектора над Рейнским союзом. Он сорвал переговоры, потому что надеялся одним ударом покончить с враждебной коалицией.

Теперь, конечно, предложения были хуже, но все-таки он знал, что и крестьянство, и рабочие, и торговая и финансовая буржуазия, и весь огромный созданный им бюрократический слой общества, и — что было очень важно — верхи армии во главе с маршалами,— словом, весь народ, все его классы, за единичными исключениями, утомлены войнами до последней степени и жаждут мира. Поэтому, не отвергая прямо условий, привезенных к нему в Париж из Франкфурта Сент-Эньяном, Наполеон в течение почти двух месяцев (считая с 15 ноября 1813 г., когда условия были ему доставлены) делал вид, будто он тоже хочет мира, но всевозможными способами затягивал дело. Он надеялся (и имел полное к тому основание), что союзники сами нарушат свои условия и вина в возобновлении войны падет не на него. Он понимал, что, кроме Австрии, никакая из держав, воевавших с ним, не хотела бы видеть продолжения его царствования и что в частности Англия не может считать себя удовлетворенной, пока Антверпен остается в руках Наполеона. А по условиям, присланным ему из Франкфурта с Сент-Эньяном, вся Бельгия (а не только один Антверпен)

оставалась в составе Французской империи. Не мог он не знать и того, что чем больше сам он будет тянуть дело, тем больше шансов, что министр иностранных дел Англии лорд Кэстльри откажется от тех условий, на которые в начале ноября согласился во Франкфурте под давлением Меттерниха английский представитель лорд Эбердин.

Но пока нужно было делать вид, что на этот раз он, Наполеон, ничуть не противится мирным переговорам и если требует опять новобранцев, то вовсе не для войны, а для подкрепления своих мирных намерений. «Ничто с моей стороны не препятствует восстановлению мира,— выслушали сенаторы тронную речь 19 декабря 1813 г.— Я знаю и разделяю чувства французов, я говорю *французов*, потому что нет из них ни одного, который желал бы получить мир ценой чести. С сожалением я требую от этого благородного народа новых жертв, но эти жертвы диктуются самыми благородными и дорогими интересами народа. Я принужден был усилить свои армии многочисленными наборами: нации ведут переговоры с безопасностью для себя только тогда, когда они развертывают все свои силы». Было ясно, что он мира не хочет. «Пусть будущие поколения не скажут о нас: они пожертвовали первейшими интересами страны: они признали законы, которые Англия тщетно старалась навязать Франции».

Так кончалась эта тронная речь в ответ на сделанные уже больше месяца тому назад мирные предложения держав.

110 тысяч новобранцев были призваны в декабре 1813 г. Затевался и новый набор. Наполеон послал во все концы Франции сенаторов, которые должны были усилить энергию властей на местах по части: 1) наборов и 2) взимания обычных и экстренных налогов на содержание армии.

Уже в январе 1814 г. стало известно, что неприятельские армии перешли, наконец, через Рейн и нашествие разливается по Эльзасу и Франш-Конте, что Веллингтон на юге из Испании перешел через Пиренеи и вторгся в южную Францию...

«Я не боюсь признать,— сказал император собравшимся сенаторам, которых назначил для этого объезда Франции,— я не боюсь признать, что я слишком много воевал; я создал громадные планы, я хотел обеспечить за Францией господство над всем светом. Я ошибся, эти проекты не были соразмерны с численной силой нашего населения. Следовало призвать все население целиком к оружию, но я признаю, что прогресс общественного быта, смягчение нравов не позволяют обратить всю нацию в солдат». Сенаторы, если бы они не разучились за время царствования Наполеона пользоваться даром слова, могли бы возразить императору, что он скромничает, что

он именно и обратил уже всю нацию, кроме женщин, детей и стариков, в солдат. «Я ошибся, я и должен страдать,— продолжал император.— Франция ничем не погрешила, она мне щедро дала свою кровь, она не отказала мне ни в одной жертве». Свое же личное самопожертвование он усматривал в том, что заключает мир и отказывается от «самого большого честолюбия, какое когда-либо было». «Во имя счастья моего народа я пожертвую величием, которое могло бы осуществиться лишь такими усилиями, каких я не хочу более требовать».

Редко когда Наполеон говорил так откровенно, как в этот раз. Но сенаторам он верил очень мало. Сегодняшние рабы, завтрашние изменники — вот к чему, по-видимому, сводилось его суждение о них. В измене Талейрана он уже не сомневался. Еще после Лейпцига, в ноябре 1813 г., едва вернувшись в Париж, он на одном из общих приемов остановился возле Талейрана: «Зачем вы тут? — закричал он ему.— Берегитесь, ничего нельзя выиграть, борясь против моего могущества. Я объявляю вам, что если бы я опасно заболел, то вы умерли бы до меня».

Но он не расстрелял Талейрана, как того некоторое время опасался старый дипломат, а в январе 1814 г. Наполеон даже предложил ему вместе с Коленкуром ехать для переговоров и грозно поднял кулак, когда тот отказался.

Не верил он и Фуше. Но в этот момент он и маршалам перестал верить. Он верил только солдатам, не тем совсем юным мальчикам, которых он оторвал от их семейств в последние два года, а старослуживым. Но мало их уже оставалось, их кости разбросаны были и около Рима, и около Мадрида, и недалеко от Иерусалима, и между Москвой и Березиной, и возле Лейпцига. Ему пришлось спешно созвать уцелевших старых солдат из Испании, из Голландии, из Италии. И все-таки он хотел битв, а не мирных переговоров.

Впрочем, теперь, после двух месяцев проволочек и после уже состоявшегося вторжения во Францию, убедившись в страшной усталости страны, в широких размерах дезертирства вновь призванных во Франции возрастов, союзники уже утвердились на том, что они предложат Наполеону границы Франции, какие страна имела в 1790 г., т. е. без Бельгии, без Голландии, без Савойи, без той части левого берега Рейна, которая была присоединена в эпоху революционных войн. Это было меньше того, что они предлагали в ноябре 1813 г. На этот новый мир они все были согласны, даже лорд Кэстльри, лично прибывший в главную квартиру союзников.

Мирный конгресс собрался в Шатильоне. Конечно, из этих переговоров ровно ничего не вышло.

«Я так взволнован гнусным проектом (мирного договора), который вы мне прислали, что я считаю себя уже обесчещенным тем, что нам его предлагают,— писал Наполеон своему представителю на Шатильонском конгрессе, Коленкуру, который сообщал ему, что это последняя надежда сохранить императорский престол и предупредить воцарение Бурбонов при помощи союзных армий.— Вы все говорите о Бурбонах, но я предпредпочел бы видеть во Франции Бурбонов с разумными условиями (мира), чем принять гнусные условия, которые вы мне посылаете!»

Война, и только война, должна была решить все. Шатильонский конгресс ровно ни к чему не привел и разошелся. Но это было уже в разгаре отчаянной борьбы, которую вел Наполеон против союзников.

В ночь с 24 на 25 января 1814 г. Наполеон должен был выехать к армии. Регентшей империи он назначил свою жену, императрицу Марию-Луизу. В случае смерти Наполеона на императорский престол должен был немедленно вступить его трехлетний сын, римский король, при продолжающемся регентстве матери. Наполеон так любил это маленькое существо, как он в своей жизни никогда никого не любил. Знавшие Наполеона даже и не подозревали в нем вообще способности до такой степени к кому бы то ни было привязываться. Барон Меневаль, один из личных секретарей Наполеона, говорит, что был ли занят император у своего стола, писал ли, читал ли у камина,— ребенок не сходил с его колен, не хотел покидать его кабинета, требовал, чтобы отец играл с ним в солдатики. Он один во всем дворце нисколько не боялся императора и чувствовал себя в кабинете отца полным хозяином. 24 января Наполеон весь день провел у себя в кабинете за срочными делами, которые нужно было устроить перед отъездом на эту решающую войну, перед грозной боевой встречей со всей Европой, поднявшейся против него. Ребенок со своей деревянной лошадкой был, как всегда, около отца, и так как ему, по-видимому, надоело наблюдать возню Наполеона с бумагами, то он стал дергать отца за фалды сюртука, требуя внимания к себе. Император взял его на руки и стал подкидывать кверху и ловить. Маленький римский король был в полнейшем восторге и без счета целовал отца. Но наступил вечер, и его унесли спать. В три часа утра дежурившая в эту ночь в детской спальне няня увидела неожиданно вошедшего потихоньку («à pas de loup») Наполеона, не знавшего, что за ним наблюдают. Войдя, он неподвижно постоял около кровати спавшего глубоким сном ребенка, долго глядел на него, не спуская глаз, и вышел. Через минуту он уже был в экипаже и мчался к армии. Больше он уже никогда не видел своего сына.

Подготовка новобранцев не была закончена, наборы продолжались, готовых к бою солдат у Наполеона и его маршалов оказалось всего около 47 тысяч человек, а у вторгшихся союзников — около 230 тысяч да почти столько же шло разными дорогами им на подмогу. Маршалы почти все — даже Ней — пали духом. Только Наполеон был бодр, оживлен и старался вдохнуть и в них бодрость. «Он казался энергичным, помолодевшим»,— передавали очевидцы.

Уже на другой день по прибытии в Витри, 26 января, Наполеон, стянув к себе силы маршалов, выбил части Блюхера из Сен-Дизье. Оттуда, выследив движение корпуса Блюхера, Наполеон двинул свои силы против него и против русского корпуса Остен-Сакена и 31 января при Бриенне, после упорного боя, одержал новую победу. Это необыкновенно подняло дух приунывших перед прибытием Наполеона солдат.

Тотчас после поражения Блюхер поспешил к Бар-сюр-Об, где были сосредоточены главные силы Шварценберга. Союзники располагали силами в 122 тысячи человек между Шомоном и Бар-сюр-Об.

У Наполеона в этот момент было несколько больше 30 тысяч, но он решил не отступать, а принять бой. Битва при Ла Ротьере началась рано утром 1 февраля и длилась до 10 часов. Наполеон после этого боя, никем не преследуемый, перешел через реку Об и вошел 3 февраля в г. Труа.

Сражение при Ла Ротьере оставило у французов впечатление почти выигранной битвы: так успешно шла защита Наполеона против сил, в четыре-пять раз превосходивших его армию. Но положение все-таки оставалось крайне опасным, подкреплений подходило мало и поступали они медленно. Ней, Макдональд, Бертье, Мармон считали, что единственное спасение императорского трона — в мирных переговорах, а когда конгресс в Шатильоне остался безрезультатным, то маршалы совсем пали духом.

Но Наполеон, по мере возрастания опасностей, становился все энергичнее. Еще в 1812 г. маршалы видели некоторое как бы отяжеление, утомление Наполеона, ослабление его военного гения. Но теперь, в феврале и марте 1814 г., они глазам своим не верили: перед ними опять был генерал Бонапарт, молодой герой Италии и Египта. Как будто и не бывало 15 лет царствования, непрерывных кровавых войн, самодержавного управления колоссальной империей и вассальной Европой. Он поддерживал дух маршалов, бодрость солдат, успокаивал оставшихся в Париже министров. 10 февраля, после нескольких быстрых переходов, он напал на стоявший у Шампобера корпус Олсуфьева и разбил его наголову. Больше 1500 русских

было перебито, около 3 тысяч (вместе с самим Олсуфьевым) было взято в плен, остальные бежали.

Наполеон вечером сказал своим маршалам: «Если завтра я буду так счастлив, как сегодня, то в 15 дней я отброшу неприятеля к Рейну, а от Рейна до Вислы — всего один шаг».

На другой день он повернул от Шампобера к Монмирайлю, где стояли русские и пруссаки. Битва при Монмирайле, происшедшая 11 февраля, кончилась новой блестящей победой Наполеона. Неприятель потерял из 20 тыс., сражавшихся под союзными знаменами в этот день, около 8 тысяч человек, а Наполеон меньше 1 тысячи. Союзники поспешно отступали с поля битвы. Немедленно после этого Наполеон устремился к Шато-Тьери, где стояло около 18 тысяч пруссаков и около 10 тысяч русских. «Я нашел свои сапоги итальянской кампании»,— воскликнул Наполеон, вспомнив свои молниеносные победы 1796 г.

Военные критики находят кампанию 1814 г. одной из самых замечательных частей наполеоновской эпохи с точки зрения стратегического творчества императора.

Битва при Шато-Тьери 12 февраля кончилась новой большой победой Наполеона. Если бы не ошибочное движение и опоздание маршала Макдональда, дело кончилось бы полным истреблением сражавшихся у Шато-Тьери союзных сил. 13 февраля Блюхер разбил и отбросил маршала Мармона. Но 14 февраля подоспевший на помощь Мармону Наполеон разбил снова Блюхера в битве при Вошане. Блюхер потерял около 9 тысяч человек. К Наполеону подходили подкрепления, а союзники потерпели ряд поражений, и все-таки положение императора оставалось критическим; у союзников в наличии сил было гораздо больше, чем у него. Но эти неожиданные, ежедневно следующие одна за другой победы Наполеона так смутили союзников, что числившийся главнокомандующим Шварценберг послал в лагерь Наполеона адъютанта с просьбой о перемирии. Новые две битвы — при Мормане и при Вильневе, тоже окончившиеся победой французов,— побудили союзников к этому неожиданному шагу — просьбе о перемирии. Наполеон отказал посланцу Шварценберга (графу Парру) в личном свидании, а письмо Шварценберга принял, но отложил свой ответ.

«Я взял от 30 до 40 тысяч пленных; я взял 200 пушек и большое количество генералов»,— писал он Коленкуру и заявлял при этом, что может примириться с коалицией только на основании оставления за Францией ее «естественных границ» (Рейн, Альпы, Пиренеи). На перемирие он не согласился.

18 февраля произошла новая битва при Монтеро, и опять союзники потеряли убитыми и ранеными 3 тысячи, а пленными — 4 тысячи человек и были отброшены.

Наполеон, по отзывам даже неприятельских наблюдателей и мемуаристов, превзошел самого себя в этой, казалось, совсем безнадежной кампании 1814 г. Но солдат было мало, а маршалы (Виктор, Ожеро) были утомлены до последней степени и делали ряд ошибок, поэтому Наполеон не мог использовать полностью свои неожиданные в тот момент и блестящие победы. Наполеон гневно и нетерпеливо выговаривал маршалам и торопил их. «Какие жалкие оправдания вы мне приводите, Ожеро! Я уничтожил 80 тысяч врагов с помощью новобранцев, которые были еле одеты... Если ваши 60 лет вас тяготят, сдайте командование!..» «Император никак не желал понять, что не все его подчиненные — Наполеоны»,— говорил потом, вспоминая об этом времени, один из его генералов.

Шварценберг собрал военный совет, спросил мнения императора Александра, прусского короля, австрийского императора и было решено снова предложить Наполеону перемирие.

К Наполеону был послан один из знатнейших в Австрии владетельных князей, Лихтенштейн, с новым предложением о перемирии. Было ясно, что союзники серьезно встревожены и что некоторые из них очень хотели бы кончить поскорее, и кончить компромиссом.

Наполеон на этот раз не отказал посланцу коалиции в приеме. Лихтенштейн говорил очень примирительно, уверял Наполеона, что союзники действительно хотят мириться и не желают сажать Бурбонов на французский престол, но и из этого свидания ничего не вышло. Наполеон в разгаре своих блистательных успехов, разгромив, как он представлял себе тогда, в ряде сражений чуть не половину союзных армий (80 тысяч из 200), уповал на свое совершеннейшее искусство, благодаря которому снова и снова побеждал сильнейшего неприятеля.

Талейран и другие давно и деятельно вели из Парижа тайные сношения с союзниками, готовя реставрацию Бурбонов. Союзники к Бурбонам относились очень сдержанно и даже самые непримиримые (например, Александр) удовольствовались бы воцарением сына Наполеона, трехлетнего римского короля, лишь бы сам Наполеон отрекся от престола. Но теперь даже и об отречении императора уже не говорили. Известен такой факт, когда один французский аристократ, старый барон де Гуо, родом из г. Труа, подал Александру I петицию, в которой просил о помощи Бурбонам. Александр ответил, что ничего решительно еще не постановлено союзниками относительно смены династии Бонапарта династией Бурбонов, и предостерег петиционеров (Гуо был не один) от таких опаснейших шагов, как их петиция. Прошло несколько дней. Наполеон вошел в г. Труа, Гуо был арестован, предан военно-полевому суду и расстрелян.

Александр I несколько позже удивлялся, что нигде в деревнях Франции не обнаруживается желания освободиться от Наполеона. Напротив, крестьяне в Вогезских горах, в Лотарингии — на юге — у Юры даже начали нападать на отставших солдат союзников и обнаруживали к вторгнувшемуся неприятелю определенную ненависть. Тут действовал и протест против грабежа крестьянского имущества войсками противника, действовал и страх, что союзники везут «в своих фургонах» реставрацию Бурбонской династии и восстановление сеньериальных, дореволюционных порядков. Наполеон быстро учуял это. «Нужно драться с решимостью 1793 г.»,— писал он маршалам.

Но и союзники, несмотря на поражения, еще не падали духом. Слишком много было поставлено на карту. Эти изумительные следующие одна за другой блестящие победы уже совсем погибавшего, казалось, Наполеона и заставляли их с тревогой думать о том, что же будет, если этот человек, которого они единодушно и уж давно считали первым полководцем всемирной истории, останется на престоле, отдохнет, соберется с новыми силами? Кто справится с ним тогда, через год, через два?

У императора к началу марта было уже больше 75 тысяч человек, из них 40 тысяч он выставил заслонами против отступившего Шварценберга, а с 35 тысячами устремился против Блюхера, который чуть не погиб во время преследования его Наполеоном и спасся только вследствие оплошности коменданта Суассона, сдавшего город.

Но, спасшись от плена, Блюхер не ушел от сражения: 7 марта Наполеон настиг его у Краонна и разбил; после тяжких потерь Блюхер бежал к г. Лаону. Попытки Наполеона выбить его из лаонской позиции (9, 10 марта) не удались. От Блюхера на время он отделался, хоть и не прикончил его, как замышлял. Но в это время маршалы Удино и Макдональд, которым он дал 40 тысяч солдат и приказал следить за Шварценбергом, австрийским главнокомандующим, были отброшены в район Прованса.

9 марта в г. Шамоне представители союзных держав заключили между собой новый договор, по которому обязались, во-первых, требовать от Наполеона возвращения Франции к границам до 1792 г. и полного освобождения Голландии, Италии, Испании, Швейцарии и всех германских государств и не слагать оружия, пока они этого не добьются; во-вторых, Россия, Австрия и Пруссия обязуются для достижения этой цели выставить каждая по 150 тысяч солдат, а Великобритания обязуется отныне давать союзникам ежегодную субсидию на эту войну в 5 миллионов фунтов стерлингов.

Союзники просто не знали даже приблизительно, когда и как им удастся сломить отчаянное сопротивление Наполеона, по-прежнему не желавшего и слышать о границах империи, которые ему предлагались.

Между тем его маршалы терпели неудачу за неудачей. На юге Веллингтон с англичанами, перейдя Пиренеи, шел на Бордо, отбросив маршалов Сульта и Сюше. Шварценберг развивал свои успехи против Макдональда и Удино.

Не успев отдохнуть и не дав отдохнуть своей армии после боя у Лаона, Наполеон бросился на вошедший в Реймс 15-тысячный русско-прусский отряд под начальством русского генерала графа Сен-При (француза, эмигрировавшего в эпоху революции). Битва при Реймсе (13 марта) кончилась разгромом русско-прусского отряда, истреблением половины состава и смертью самого Сен-При.

Но все эти новые победы не могли уже изменить ничего, раз союзники твердо решили не отступать от своих условий, а Наполеон столь же твердо решил их не принимать: лучше потерять решительно все, потерять престол, чем получить империю в старых границах.

По приказу Наполеона, Коленкур объявил на заседании мирного конгресса в Шатильоне представителям Англии, России, Пруссии и Австрии, что Наполеон отвергает окончательно их условия и требует, чтобы в его империю по-прежнему входили левый берег Рейна, города Кельн и Майнц, по-прежнему входили бы Антверпен и Фландрия, Савойя и Ницца. Тогда переговоры были прерваны.

17 марта в лагерь союзников прибыл и был принят Александром граф Витроль агент Бурбонов и эмиссар от Талейрана. Витролю удалось проникнуть из Парижа сквозь войска Наполеона и русские аванпосты к союзникам. Он привез им известие, что, по мнению Талейрана, союзникам нужно спешить в Париж, а не гоняться за Наполеоном, что в Париже их будто бы ждут и что едва они явятся туда, как можно будет провозгласить низложение Наполеона и восстановление Бурбонов в лице Людовика XVIII (так уже давно, заблаговременно, стал называть себя граф Прованский, брат казненного во время революции Людовика XVI).

К ужасу Витроля обнаружилось, что Александр, стойко желая низложения Наполеона, вовсе не считает, что союзники должны вмешиваться в вопрос о преемнике и что он, русский царь, считает неплохим исходом даже, например, республику. Витроль ушам своим не верил, слыша это. «Вот до чего мы дожили, о боже!» — восклицает Витроль, описывая это свидание.

По-видимому, на Александра произвело большое впечатление

известие, что война начинает приобретать характер защиты новой, послереволюционной Франции от вторжения иноземцев, желающих восстановить старый строй с Бурбонами во главе, и так как он понимал, насколько это обстоятельство усиливает позицию все еще страшного, все еще победоносного Наполеона, то Александр и хотел поставить Францию, и особенно «чернь» (la vile populace) в Париже не перед дилеммой: Наполеон или Бурбоны, а перед совсем другой дилеммой: Наполеон или республика. Это было ловким тактическом шагом. В узенькую царедворческую, легитимистскую эмигрантскую голову Витроля все это войти и уместиться не могло, оттого он так и удивился французскому республиканизму русского самодержца. Что Бурбоны и все их Витроли абсолютно ничего не понимают в настроениях Франции, в этом Александр всегда был твердо убежден, но совет Талейрана, переданный через Витроля вместе с его не подписанной и умышленно безграмотно написанной записочкой, Александр очень охотно принял к сведению. Рискуя головой потому что Витроля могли схватить по дороге наполеоновские жандармы, а по записочке, несмотря на другой почерк и на грамматические ошибки, могли добраться до автора, Талейран настойчиво советовал Александру и союзникам идти прямо на Париж, даже оставляя у себя в тылу и на фланге не разбитого еще Наполеона. Риск был несвойственен Талейрану, осторожному изменнику, но он прекрасно знал, до какой степени в Париже и за Парижем, в городе и в войске, царят растерянность и неуверенность.

20 марта произошла битва при Арси-сюр-Об между Наполеоном, у которого в тот момент на поле сражения было около 30 тысяч человек, и союзниками (Шварценберг), у которых было до 40 тысяч в начале битвы и до 90 тысяч к концу. Хотя Наполеон считал себя победителем и действительно отбросил неприятеля на нескольких пунктах, но на самом деле битву должно считать не решенной по ее результатам: преследовать Шварценберга с его армией после сражения Наполеон не мог, он перешел обратно через реку Об и взорвал мосты. Наполеон потерял в сражении при Арси-сюр-Об 3 тысячи человек, союзники до 9 тысяч, но достигнуть разгрома союзных армий Наполеону, конечно, на этот раз не удалось.

Союзники боялись народной войны, всеобщего ополчения, вроде того, которое в героические времена Французской революции спасло Францию от интервентов и от реставрации Бурбонов...

Александр, Фридрих-Вильгельм, Франц, Шварценберг и Меттерних успокоились бы, если бы подслушали, о чем разговаривали вечером после битвы при Арси-сюр-Об Наполеон с генералом Себастьяни. «Ну что, генерал, что вы скажете о про-

исходящем?» — «Я скажу, что ваше величество несомненно обладаете еще новыми ресурсами, которых мы не знаем».— «Только теми, какие вы видите перед глазами, и никакими иными».— «Но тогда почему ваше величество не помышляете о том, чтобы поднять нацию?» — «Химеры! Химеры, позаимствованные из воспоминаний об Испании и о Французской революции. Поднять нацию в стране, где революция уничтожила дворян и духовенство и где я сам уничтожил революцию!»

Наполеон правильно понимал дело: убивая так долго всякое воспоминание о революции, всякий признак революционного духа, он не мог теперь, даже отчаянно борясь за Париж, если б даже хотел, позвать себе на помощь Французскую революцию, которую он так долго и так успешно топтал и душил.

Этот разговор Наполеона с генералом Себастьяни происходил как раз спустя три дня после разговора Александра с Витролем: Наполеон считал *химерой* всенародное ополчение в духе 1792 г., когда это кончилось провозглашением республики, а его непримиримый враг Александр именно и хотел лишить Наполеона всякой опоры во французском народе, выдвигая идею восстановления республики.

3

После битвы при Арси-сюр-Об Наполеон попытался зайти в тыл союзников и напасть на сообщения их с Рейном, но союзники уже окончательно решили идти прямо на Париж. Из случайно перехваченных русскими казаками писем императрицы Марии-Луизы и министра полиции Савари к Наполеону Александр убедился, что настроение в Париже такое, что народного сопротивления ждать нельзя и что приход союзной армии в Париж сразу решит всю войну и кончит ее низвержением Наполеона.

Окончательно союзники на это решились под влиянием Поццо ди Борго, корсиканца родом, давнего и смертельного врага Наполеона и поэтому друга и приближенного Александра. Поццо ди Борго в лагере союзников после битвы при Арси-сюр-Об, когда пришла весть, что Наполеон стремится разрушить тыл союзной армии, заявил, что «цель войны — в Париже. Пока вы будете думать о сражениях, вы рискуете быть разбитыми, потому что Наполеон всегда будет давать битвы лучше, чем вы, и потому что его армия, хотя и недовольная, но поддерживаемая чувством чести, даст себя перебить до последнего человека, пока Наполеон около нее. Как бы ни было потрясено его *военное* могущество, оно еще велико, очень велико, больше вашего могущества. Но его *политическое* могущество уничтожено. Времена изменились. Военный деспотизм был

принят как благодеяние на другой день после революции, но погиб теперь в общественном мнении... Нужно стремиться кончить войну не военным способом, а политическим... Коснитесь Парижа только пальцем, и колосс Наполеон будет низвергнут, вы этим сломаете его меч, который вы не в состоянии вырвать у него». Что Бурбонов страна совершенно забыла, в этом Поццо ди Борго был уверен и высказал это союзникам, которые, впрочем, и без него склонялись к этому мнению. Союзники были согласны с ним в том, что после низвержения Наполеона Бурбоны станут «возможны». О республике Александр уже не считал нужным говорить: он видел, что и без разговоров на эту неприятную тему можно обойтись и покончить с Наполеоном. Решено было рискнуть: воспользоваться тем, что Наполеон был далеко (он обходил их тыл с целью именно задержать их далеко от Парижа), и идти прямо на Париж, ставя ставку на измену в Париже, которая отдаст им столицу раньше, чем император успеет явиться лично.

Путь загораживали только маршалы Мармон и Мортье и генералы Пакто и Амэ; у них в общей сложности было около 25 тысяч человек. Наполеон с главными силами был далеко в тылу союзников. Битва при Фер-Шампенуазе 25 марта кончилась победой союзников над маршалами. Они были отброшены к Парижу, 100-тысячная армия союзников подошла к столице.

Уже 29 марта императрица Мария-Луиза с маленьким наследником, римским королем, выехала из Парижа в Блуа.

У французов для защиты Парижа было около 40 тысяч человек. Настроение в Париже было паническое, в войсках тоже наблюдался упадок. Александр не желал кровопролития под Парижем и вообще разыгрывал великодушного победителя. «Париж, лишенный своих защитников и своего великого вождя, не в силах сопротивляться; я глубоко убежден в этом»,— сказал царь М. Ф. Орлову, уполномочивая его прекращать бой всякий раз, когда явится надежда на мирную капитуляцию столицы. Ожесточенный бой длился несколько часов; союзники потеряли в эти часы 9 тысяч человек, из них около 6 тысяч русских, но, угнетенный страхом поражения, под влиянием Талейрана, маршал Мармон 30 марта в 5 часов вечера капитулировал.

Наполеон узнал о неожиданном движении союзников на Париж в разгаре боев, которые он вел между Сен-Дизье и Барсюр-Об. «Это превосходный шахматный ход. Вот, никогда бы я не поверил, что какой-нибудь генерал у союзников способен это сделать»,— похвалил Наполеон, когда 27 марта узнал о происходящем. Специалист-стратег сказался в нем прежде всего в этой похвале.

Он сейчас же бросился с армией к Парижу.

30 марта в ночь он прибыл в Фонтенебло и тут узнал о только что происшедшем сражении и капитуляции Парижа.

Он был полон всегдашней энергии и решимости. Узнав о случившемся, он молчал с четверть часа и затем изложил Коленкуру и генералам, бывшим около него, новый план. Коленкур поедет в Париж и предложит от имени Наполеона Александру и союзникам мир на тех условиях, какие они ставили в Шатильоне. Затем Коленкур под разными предлогами проведет в поездках из Парижа в Фонтенебло и обратно три дня, за эти три дня подойдут все силы, какие еще есть (от Сен-Дизье), с которыми Наполеон только что оперировал в тылу союзников, и тогда союзники будут выброшены из Парижа. Коленкур заикнулся: а может быть, не в виде военной хитрости, но *на самом деле* предложить мир союзникам на шатильонских условиях? «Нет, нет! — возразил император.— Довольно и того, что был момент колебаний. Нет, шпага все покончит. Перестаньте меня унижать!»

Сейчас же Коленкур отправился в Париж, а Наполеон снова принялся за кипучую работу по подготовке битвы, которая должна была разразиться через 3—4 дня. Ему важно было, чтобы в эти 3—4 дня союзники не предприняли каких-либо решительных политических мероприятий и не внесли бы этим смуту в умы и не склонили на свою сторону колеблющихся. Для этого-то он и придумал комедию с предложением мира на шатильонских условиях (которые с презрением отверг окончательно за две недели перед тем).

Но уже ничего нельзя было предотвратить. Роялистские радостные манифестации, встретившие въезд союзных монархов в Париж, апатия и покорность подавляющей части населения — все это показывало, что столица примет то правительство, какое ей навяжут.

Союзные монархи издали прокламацию, в которой заявляли, что вести переговоры с Наполеоном не будут, но что они признáют то правительство и то государственное устройство, которое французская нация себе выберет. Из переговоров Коленкура с союзниками при этих условиях ровно ничего не могло выйти. Александр прямо сказал Коленкуру, что Франция не хочет уже Наполеона и утомлена им. Шварценберг с горечью напомнил, что Наполеон 18 лет подряд потрясал весь свет и что при нем покоя никому и никогда не будет и быть не может, что Наполеону не переставали предлагать мир, оставляя ему империю, и он сам не шел ни на какие уступки, а теперь поздно. Шварценберг, говоря это, не знал, что и сейчас Наполеон не идет ни на какие уступки, а послал Колен-

кура лишь бы провести в разговорах три дня, пока к Фонтенебло подойдет армия.

Вернувшись в Фонтенебло, Коленкур застал такую картину: войска стягивались к ставке императора, и он рассчитывал 5 апреля иметь 70 тысяч в своем распоряжении и с ними двинуться на Париж.

Утром 4 апреля Наполеон произвел смотр войскам и, обратясь к ним, сказал: «Солдаты, неприятель, опередив нас на три перехода, овладел Парижем. Нужно его оттуда выгнать. Недостойные французы, эмигранты, которым мы имели слабость некогда простить, соединившись с неприятелем, надели белые кокарды. Подлецы! Они получат заслуженное ими за это новое покушение! Поклянемся победить или умереть, отплатить за оскорбление, нанесенное отечеству и нашему оружию!» — «Мы клянемся!» — закричали ему в ответ. Но когда Наполеон вошел во дворец Фонтенебло после смотра, то здесь он застал иное настроение. Печально, молча, понурившись, стояли перед ним маршалы, и никто не решался заговорить. Тут были Удино, Ней, Макдональд, Бертье, герцог Бассано.

Наполеон вызвал их на объяснения, и они сказали ему, что вовсе не надеются на победу, что Париж весь, без различия мнений, трепещет от ужаса, ожидая нападения императора на союзников, вошедших в город, потому что это нападение будет знаменовать гибель населения и гибель столицы, что союзники отомстят за Москву и сожгут Париж, что трудно будет заставить солдат сражаться на развалинах Парижа. «Ступайте отсюда, я вас позову и скажу свое решение»,— сказал Наполеон. Он оставил при себе лишь Коленкура, Бертье и герцога Бассано. Он гневно жаловался на колебания и робость маршалов, на отсутствие преданности к нему. Через несколько минут он заявил маршалам, что отказывается от престола в пользу своего сына, маленького римского короля, при регентстве Марии-Луизы, что если союзники согласны на этих условиях заключить мир, то война кончена, и что он отправляет с этим предложением Коленкура в Париж для переговоров с союзниками. Тотчас же после этого он прочел им следующий, тут же составленный им документ, в котором говорилось, что так как союзные державы провозгласили, что император Наполеон — единственное препятствие к восстановлению мира в Европе, то император Наполеон, верный своей присяге, объявляет, что он готов уйти с престола, покинув Францию и даже жизнь для блага отечества, блага, неразрывно связанного с правами его сына, правами регентства императрицы и законами империи.

Маршалы горячо одобрили этот акт. Прочтя эту бумагу император взял перо и вдруг раньше чем подписать сказал· «А может быть мы пойдем на них? Мы их разобьем!» Но мар-

шалы молчали. Ни один не поддержал этих слов. Наполеон подписал бумагу и вручил ее депутации, которую отправлял в Париж: Коленкуру, Нею и Макдональду.

Много событий за эти дни произошло в Париже. Талейран наскоро собрал часть сенаторов, в которых был уверен, заставил их вотировать низвержение династии Наполеона и призвание Бурбонов, и, главное, маршал Мармон изменил Наполеону и отступил со своим корпусом в Версаль, передавшись тем самым на сторону Талейрана и возглавляемого им (по желанию союзников) «временного правительства».

Александр сначала колебался; и он и австрийский император Франц не очень протестовали бы против воцарения трехлетнего «Наполеона II», но роялисты, окружавшие союзных монархов, настояли на том, чтобы предложение Наполеона было отвергнуто. Колебания союзников прекратились, когда им стало известно об измене Мармона. Теперь, после ухода главных сил, бывших непосредственно в распоряжении Наполеона, его нападение на Париж становилось невозможным, и союзники решили предоставить престол Бурбонам. «Убедите вашего повелителя в необходимости подчиниться року,—сказал Александр, прощаясь с Коленкуром.—Все, что только будет возможно сделать для почета (Наполеону), будет сделано»,— и он снова назвал Наполеона «великим человеком».

Прощаясь с Коленкуром, союзники просили его побудить Наполеона отречься от престола, не ставя условий; императору обещали сохранение его титула и отдавали ему в полное владение остров Эльбу на Средиземном море, настоятельно просили не откладывать акта отречения. Союзники и роялисты во главе с перешедшим на их сторону (уже вполне открыто) князем Талейраном несколько побаивались гражданской войны и солдатской массы, в которой по-прежнему обнаруживалось полное повиновение Наполеону. Официальное отречение Наполеона могло предотвратить опасность смуты. Решение сената ни малейшего морального веса в этом случае не имело. Сенаторов считали лакеями Наполеона, которые с полной готовностью предали своего барина и поступили на службу к новым господам. «Этот презренный сенат,—вскричал маршал Ней, говоря с Алексадром,— всегда торопился повиноваться воле человека, которого он теперь называет тираном! По какому праву сенат возвышает теперь свой голос? Он молчал тогда, когда обязан был говорить: как он позволяет себе говорить теперь, когда все повелевает ему молчать?»

Только слово самого Наполеона могло окончить всю тягостную неопределенность, освободить от старой присяги солдат, офицеров, генералов, чиновников. Так полагали и французы всех партий и союзники.

4

Вечером 5 апреля Коленкур, Ней и Макдональд вернулись из Парижа в Фонтенебло. Выслушав их рассказ о свидании с Александром и с союзниками и их советы подчиниться неизбежному, Наполеон сказал, что у него еще есть войска, что солдаты верны ему. «Впрочем, мы увидим. До завтра». Отпустив их, он велел позвать снова к себе Коленкура. «О, люди, люди. Коленкур!—сказал он в этой долгой ночной беседе.—Мои маршалы стыдились бы повести себя так, как Мармон, они говорят о нем с негодованием, но им досадно, что он их так опередил по пути почестей. Они хотели бы, не покрывая себя, правда, позором, получить те же права на благорасположение Бурбонов...» Он долго говорил об изменившем ему в этот решительный час Мармоне. «Несчастный не знает, что его ждет. Его имя опозорено. Поверьте мне, я не думаю о себе, мое поприще кончено или близко к концу. Впрочем, какое же удовольствие мог бы я теперь иметь в том, чтобы царствовать над сердцами, которые мною уже утомлены и готовы отдаться другим!.. Я думаю о Франции... Ах, если бы эти дураки не предали меня, ведь я в четыре часа восстановил бы ее величие, потому что, поверьте мне, союзники, сохраняя свое нынешнее положение, имея Париж в тылу и меня перед собой, погибли бы! Если бы они вышли из Парижа, чтобы избежать этой опасности, они бы уже туда не вернулись... Этот несчастный Мармон сделал невозможной эту прекрасную развязку... Конечно, было бы средство продолжать войну и подняться. Со всех сторон до меня доходят вести, что крестьяне в Лотарингии, в Шампани, в Бургони уничтожают отдельные группы неприятельских солдат... Бурбоны явятся, и бог знает, что за ними последует... Бурбоны— это внешний мир, но внутренняя война. Посмотрите, что они через год сделают со страной!.. Впрочем, в данный момент нужен не я, нужно что-то другое. Мое имя, мой образ, моя шпага—все это наводит страх. Нужно сдаваться. Я позову маршалов, и вы увидите их радость, когда я их выведу из затруднения и разрешу им поступить, как Мармон, не утрачивая при этом чести».

Он высказал Коленкуру в эту ночь то, о чем, конечно, давно думал сам. Прежде всего в тот момент бросалось в глаза страшное, неимоверное утомление этим кровавым царствованием, этой непрерывной и бесконечной пляской смерти, этими гекатомбами трупов, этим принесением в жертву целых поколений для явно недостижимой цели.

«Я хотел дать Франции власть над всем светом»,—открыто признавал Наполеон в 1814 г. Он не знал тогда, что возникнет в отдаленном потомстве целая школа патриотических

французских историков, которые будут стараться доказывать, что Наполеон, собственно, всю жизнь не нападал на других, а только защищался и что в сущности он, вступая в Вену, Милан, Мадрид, Берлин, Москву, этим только хотел защитить «естественные границы» и на Москва-реке «защищал» Рейн. Сам Наполеон до этого объяснения не додумался. Он был гораздо откровеннее.

Не знал он еще и тех точных подсчетов, которые совсем недавно закончил на основании всех официальных и неофициальных архивных данных современный исследователь Альбер Мейнье: по этим подсчетам общее число французских граждан, убитых и пропавших без вести за время наполеоновского владычества в сражениях и походах, равно одному миллиону с небольшим (471 тысяча убитых, зарегистрированных тогда же официально, и 530 тысяч пропавших без вести и о которых никогда уже не было слышно). В эту цифру, конечно, не входят, например, тяжелораненые и искалеченные, которые умерли от ран не тотчас же на поле битвы, а несколько позже, в военных госпиталях.

Эти подсчеты Мейнье касаются не всей наполеоновской империи, а только «старой Франции», «старых департаментов», т. е. даже не той страны, которую Наполеон застал при своем вступлении во власть 18 брюмера 1799 г. (потому что не подсчитаны Бельгия, Пьемонт и другие завоевания, сделанные при революции и самим Наполеоном до 18 брюмера), но исключительно Франция старых дореволюционных границ. И подсчитаны не все войны Наполеона, а лишь те, которые он вел начиная с 1800 г. (значит, нет цифр, относящихся к первому завоеванию Италии в 1796—1797 гг., к завоеванию Египта, к походу в Сирию). Что из 26 миллионов населения, считая с женщинами и детьми, «старых департаментов» в его войнах перебито и уничтожено больше одного миллиона взрослых мужчин,—этого с такой точностью Наполеон мог не знать, но опустошенные наборами деревни он видел, и поля своих бесчисленных битв он тоже видел. Он иногда старался успокоить других (сам он беспокоился этим очень умеренно), указывая на то, что в его войнах солдат, набранных в его армию из вассальных и «союзных» стран, всех этих немцев, швейцарцев, итальянцев, бельгийцев, голландцев, поляков, иллирийцев и т. д., погибает гораздо больше чем французов.

Но гибель трех или четырех миллионов иностранцев, сражавшихся в рядах наполеоновских армий, была плохим утешением при гибели миллиона «чистых» французов (о миллионах же убитых, пропавших без вести и искалеченных врагов он совсем никогда не заикался).

Теперь, в эту долгую ночь, часть которой он проходил взад

и вперед по великолепным залам роскошного и угрюмого дворца Фонтенебло, Наполеон, подводя итоги перед Коленкуром, высказал лишь один основной вывод: он утомил Францию, страна изнемогла; может быть, и плохи Бурбоны, может быть, и недолго им придется оставаться на престоле, но сейчас нужен не он, нужно что угодно другое. Ему в эти апрельские дни передали, что парижское купечество, крупная буржуазия хоть и не встретили союзников с такими восторгами, как дворяне-роялисты, но что и купцы громко говорят, что они измучены и разорены войнами.

Он почти не ложился в эту ночь. Настало утро 6 апреля 1814 г. Он велел созвать маршалов и сказал им: «Господа, успокойтесь! Ни вам, ни армии не придется больше проливать кровь. Я согласен отречься. Я бы желал для вас, так же как для моей семьи, обеспечить престолонаследие за моим сыном. Я думаю, что эта развязка была бы для вас еще выгоднее, чем для меня, потому что вы жили бы тогда под властью правительства, соответствующего вашему происхождению, вашим чувствам, вашим интересам... Это было бы возможно, но низкая измена лишила вас положения, которое я хотел бы за вами обеспечить. Если бы не уход 6-го корпуса (Мармона), мы бы достигли и этого и еще другого, мы могли бы поднять Францию. Но вышло по-иному. Я покоряюсь своей участи, покоритесь и вы вашей. Примиритесь с тем, чтобы жить при Бурбонах, и верно служите. Вы хотели покоя—вы получите его. Но, увы! Пусть будет богу угодно, чтобы я ошибся в своих предчувствиях, но мы не были поколением, созданным для покоя. Мир, которого вы желаете, скосит на ваших пуховых постелях скорее и больше людей из вашей среды, чем скосила бы война на бивуаках».

Наполеон взял затем лист бумаги и прочел им следующее: «Так как союзные державы провозгласили, что император Наполеон есть единственное препятствие к установлению мира в Европе, то император Наполеон, верный своей присяге, объявляет, что он отказывается за себя и за своих наследников от трона Франции и от трона Италии, потому что нет той личной жертвы, даже жертвы жизнью, которую он не был бы готов принести в интересах Франции». Он сел за стол и подписал. Маршалы были взволнованы. Они целовали его руки, осыпая его привычной лестью, которой награждали его во время царствования. Сейчас же Коленкур с двумя маршалами повез этот документ в Париж.

Александр и союзники ожидали развязки с большой тревогой. Получив документ об отречении, они были в полном восторге. Александр подтвердил, что остров Эльба будет дан Наполеону немедленно в полное державное обладание, что римский

король, сын Наполеона, и Мария-Луиза получат самостоятельные владения в Италии.

Все было кончено.

5

В этот момент Наполеон обратился мыслью к тому, о чем думал, несомненно, уже много раз во время своей блестящей со стратегической точки зрения, но политически безнадежной по самому существу дела кампании 1814 г. Уже и в 1813 г. маршалы, генералы, офицеры, свита, даже солдаты гвардии замечали, что император без нужды подвергает себя смертельной опасности и делает это не так, как, например, в прежних войнах: на Аркольском мосту в 1796 г. или на городском кладбище в Эйлау в 1807 г., т. е. не тогда, когда это нужно было по тем или иным военным соображениям, а совершенно напрасно.

Например, как уже было отмечено еще в 1813 г., после гибели Дюрока император сел на пень и некоторое время сидел неподвижно, являясь как бы живой мишенью для летавших вокруг осколков снарядов. В 1814 г. эти странные поступки стали учащаться, и ошибиться в их значении было уж невозможно. Когда, например, в битве при Арси-сюр-Об 20 марта Наполеон направился—опять-таки совсем без цели—к такому месту боя, которое по его же приказу было очищено от солдат, так как там невозможно было держаться, то генерал Эксельманс бросился за императором, чтобы удержать его, а маршал Себастьяни сказал Эксельмансу то, о чем все давно знали: «Оставьте же его, ведь вы видите, что он делает это нарочно: он хочет покончить с собой!» Но ни картечь, ни ядра его не брали.

На самоубийство Наполеон всегда смотрел как на проявление слабости и малодушия, и, очевидно, при Арси-сюр-Об и во многих предыдущих аналогичных случаях в 1813 и 1814 гг. он как бы хитрил с самим собой, ища смерти, но смерти не от своей собственной руки, стремясь к замаскированному самоубийству.

Но 11 апреля 1814 г., через пять дней после отречения, когда уже во дворце Фонтенбло начались сборы к выезду его на остров Эльбу, Наполеон, простившись с Коленкуром, с которым много времени проводил в эти дни, ушел в свои апартаменты и, как потом обнаружилось, достал пузырек с раствором опиума, лежавший у него в походном несессере, с которым он никогда не расставался. Как мы уже видели, Наполеон еще в 1812 г., после сражения у Малоярославца, где ему грозила опасность попасть в плен, приказал доктору Ювану дать ему сильно действующий яд на всякий случай и получил этот пузырек с опиумом, который и не вынимал из несессера полтора года.

Теперь, в Фонтенебло, он его вынул и выпил все содержимое.

Начались страшные мучения. Коленкур, чуя недоброе, вошел к Наполеону, принял это за внезапную болезнь и хотел бежать за доктором, бывшим во дворце. Наполеон просил никого не звать и даже гневно приказал ему не делать этого. Спазмы были так сильны, что Коленкур все же вырвался, выбежал из комнаты и разбудил доктора, того самого Ювана, который и дал Наполеону после Малоярославца опиум. Доктор, увидя пузырек на столе, сейчас же понял в чем дело. Наполеон начал жаловаться на то, что яд слаб или выдохся, и стал повелительно требовать у доктора, чтобы он немедленно дал нового опиума. Доктор убежал из комнаты, сказав, что никогда такого преступления не сделает во второй раз.

Мучения Наполеона продолжались несколько часов, так как он отказался принять противоядие. Он категорически требовал скрыть от всех происшедшее: «Как трудно умирать! Как легко было умереть на поле битвы! Почему я не был убит в Арси-сюр-Об!»—вырвалось у него среди страшных конвульсий.

Яд не подействовал смертельно, и Наполеон с тех пор не повторял уже попытки самоубийства и никогда не вспоминал о своем покушении.

Сборы постепенно заканчивались. По условиям с союзниками, император мог взять с собой на остров Эльбу один батальон своей гвардии.

20 апреля 1814 г. все сборы были окончены. Экипажи для Наполеона, его небольшой свиты и для комиссаров держав, которые должны были провожать его на остров Эльбу, уже стояли у дворца.

Наполеон пожелал проститься со своей гвардией. Гвардейцы выстроились в парадном дворе дворца, в том самом громадном дворе, который теперь так известен путешественникам, осматривающим дворец Фонтенебло, и который с тех пор и получил свое историческое название «Двор прощания» (La cour des adieux).

Впереди стояла с офицерами и генералами старая гвардия, сзади—молодая гвардия. Когда император вышел, солдаты сделали на караул, знаменосец преклонил знамя старой гвардии к ногам Наполеона:

«Солдаты, вы мои старые товарищи по оружию, с которыми я всегда шел по дороге чести, нам теперь нужно с вами расстаться. Я мог бы дальше остаться среди вас, но нужно было бы продолжать жестокую борьбу, прибавить, может быть, к войне против иноземцев еще войну междоусобную, и я не мог решиться разрывать дальше грудь Франции. Пользуйтесь покоем, который вы так справедливо заслужили и будьте

счастливы. Обо мне не жалейте. У меня есть миссия, и чтобы ее выполнить, я соглашаюсь жить: она состоит в том, чтобы рассказать потомству о великих делах, которые мы с вами вместе совершили. Я хотел бы всех вас сжать в своих объятиях, но дайте мне поцеловать это знамя, которое вас всех собой представляет...».

Наполеон дальше не мог говорить. Его голос пресекся. Он обнял и поцеловал знаменосца и знамя, быстро вышел и, простившись с гвардией, сел в карету. Кареты умчались при криках гвардии: «Да здравствует император!» Многие гвардейцы плакали, как дети.

«Грандиознейшая героическая эпопея всемирной истории окончилась—он простился со своей гвардией»,—так писали впоследствии об этом дне английские газеты.

Но на самом деле эта 20-летняя эпопея, начавшаяся в декабре 1793 г. в Тулоне, вовсе еще не окончилась в апреле 1814 г. в Фонтенебло.

Наполеону суждено было еще поразить изумлением свет, который казалось, именно он в течение двацати лет отучил уже чему бы то ни было удивляться.

Глава XVI

СТО ДНЕЙ
1815 г.

1

Приступая к рассказу о самом необычайном из всех событий жизни Наполеона, прежде всего нужно отметить следующее. Бесспорно, что в первое время по прибытии на Эльбу он не имел никаких планов, считал свою политическую жизнь законченной и намеревался, как обещал, писать историю своего царствования. По крайней мере в первые полгода пребывания на острове он производил такое впечатление. Он был спокоен и ровен. Проехав через южные департаменты, где роялисты встречали его самым враждебным образом и где в иные моменты даже жизнь его могла быть в опасности, Наполеон 3 мая 1814 г. прибыл на остров Эльбу. Теперь он оказался на уединенном острове, среди чужого мирного населения, которое встретило своего нового государя с большим почтением.

Ровно за три года до прибытия на остров Эльбу Наполеон, весной 1811 г., принимал в своих Тюильрийских чертогах баварского генерала Вреде, и когда Вреде почтительно заикнулся о том, что лучше бы воздержаться от подготовлявшегося уже почти открыто нашествия на Россию, Наполеон резко прервал его словами: «Через три года я буду господином всего света».

Теперь, через три года после этого разговора, «великая империя» исчезла, и перед Наполеоном был остров в 223 квадратных километра, с тремя небольшими городами, с несколькими тысячами жителей.

Судьба привела Наполеона очень близко к месту его рождения: остров Эльба находится приблизительно в 50 километрах от Корсики. До апреля 1814 г. Эльба принадлежала герцогству Тосканскому, одному из вассальных итальянских владений Наполеона. Теперь, при падении, этот остров и отдали Наполеону в полное обладание.

Наполеон знакомился со своим владением, принимал жителей, делал распоряжения, устраивался, казалось, надолго. К нему приезжали время от времени родные, побывали его мать, Летиция, и сестра, княгиня Полина Боргезе. Приезжала графиня Валевская, с которой у Наполеона завязались близкие отношения в Польше в 1807 г. и которая его продолжала любить всю жизнь. Жена его, Мария-Луиза, с маленьким сыном не приехала: отец, австрийский император, не пускал ее, и сама она не очень-то стремилась посетить своего супруга. Французские биографы Наполеона порицают обыкновенно императрицу за ее равнодушие и измену мужу, забывая, очевидно, что когда Наполеон вытребовал ее себе в жены в 1810 г., то ни он и никто вообще не полюбопытствовали даже и спросить ее, желает ли она этого брака. Достаточно было бы вспомнить, как она перед этим событием писала в январе 1810 г. (из Офена, в Австрии) в письме к близкой подруге: «Со времени развода Наполеона я разворачиваю «Франкфуртскую газету» с мыслью найти там имя его новой супруги и сознаюсь, что откладывание причиняет мне беспокойство. Я вверяю свою участь божественному провидению... Но если моя несчастная судьба того захочет, то я готова пожертвовать личным своим благополучием во имя государства». Так смотрела в 1810 г. будущая невеста и жена императора на грозившее ей сватовство. Ясно, что падение империи Наполеона для нее лично было почти равносильно освобождению от плена.

Не приехала к нему и первая жена, которую он когда-то так страстно любил и потом отверг. Жозефина скончалась в своем дворце в Мальмезоне близ Парижа через несколько недель после прибытия императора на остров Эльбу, 29 мая 1814 г. Угрюм и молчалив несколько дней подряд был Наполеон, узнав эту новость.

Так тихо и однообразно шли первые месяцы его пребывания на Эльбе. Ничем и ни перед кем не выдавал он своих внутренних переживаний. Долгими часами он бывал в глубочайшей задумчивости.

По-видимому, уже с осени 1814 г. и особенно с ноября—декабря этого года Наполеон стал внимательно выслушивать все, что ему сообщалось о Франции и о Венском конгрессе, который начал тогда свои заседания. Осведомителей было немало. И из Италии, от ближайшего пункта которой (г. Пьомбино) остров Эльба отделяется лишь 12 километрами, и непосредственно из Франции к нему поступали сведения, ясно показывающие, что реставрированные Бурбоны и их окружающие ведут себя еще неосторожнее, еще нелепее, чем можно было ожидать.

Талейран, умнейший из всех, кто изменил Наполеону и содействовал реставрации Бурбонов в 1814 г., сказал о них с пер-

вых же их шагов: «Они ничего не забыли и ничему не научились». Ту же мысль выразил и Александр I в разговоре с Коленкуром: «Бурбоны и не исправились и неисправимы».

Сам король, старый больной подагрик Людовик XVIII, был человеком осторожным, но брат его, Карл Артуа, и вся свора эмигрантов, вернувшаяся с Бурбонами, и дети этого Карла Артуа, герцог Ангулемский и герцог Беррийский, вели себя так, как если бы никакой революции и никакого Наполеона никогда не существовало. Они всемилостивейше соглашались забыть и простить прегрешения Франции, но с тем условием, что страна покается и вернется к прежнему благочестию и прежним порядкам. При всем их безумии они скоро убедились, что абсолютно невозможно ломать учреждения, основанные Наполеоном, и все эти учреждения остались в неприкосновенности: и префекты в провинции, и организация министерств, и полиция, и основы финансового обложения, и кодекс Наполеона, и суд — словом, решительно все создания Наполеона, и даже орден Почетного легиона остался, и весь уклад бюрократического аппарата, и устройство армии, устройство университетов, высшей и средней школы, и конкордат с папой — словом, остался наполеоновский государственный аппарат, но только вместо самодержавного императора наверху сидел «конституционный» король.

Самую конституцию короля заставили дать, и прежде всего настаивал на этом Александр I, убежденный, что без конституции Бурбоны и вовсе не продержатся. Эта конституция давала избирательные права лишь маленькой кучке очень богатых людей (одной сотне тысяч из 28—29 миллионов населения).

Приверженцы полной реставрации старого строя, «ультрароялисты», были в бешенстве по поводу этой конституции. Почему узурпатор столько лет правил с диктаторской властью, а законный божьей милостью король ограничен в своих правах? Были они недовольны и многим другим. С первых же дней они не переставали кричать о том, что их земли, некогда конфискованные при революции и распроданные с публичных торгов крестьянам и буржуазии, должны быть им возвращены. Конечно, никто не осмелился этого сделать, но уже самые разговоры внушали крестьянам сильное беспокойство и страшно волновали деревню.

Духовенство всецело стояло на стороне вернувшихся дворян-эмигрантов и даже с церковного амвона проповедовало, что крестьян, некогда купивших конфискованные земли, постигнет божий гнев и их пожрут собаки, как библейскую Иезавель.

Вернувшиеся дворяне вели себя очень нагло. Были случаи избиения крестьян, причем избитый не мог в суде найти управы на обидчика. Те, кто был поумнее при дворе

Людовика XVIII, с отчаянием видели, что творится в деревне и как волнуют деревню слухи об отнятии земли, но поделать ничего не могли.

Что касается буржуазии, то здесь дело обстояло так. В самый первый момент падения империи буржуазия в главной своей массе ощутила даже облегчение: явилась надежда на прекращение бесконечных войн, на оживление торговли, на прекращение наборов (в последние годы империи буржуазия уже не могла ставить вместо своих сыновей нанятых заместителей, как прежде, так как людей уже не хватало); явилась также надежда на прекращение произвола, вредившего делам. Даже крупная промышленная буржуазия уже перестала в 1813—1814 гг. смотреть на империю, как на необходимое условие своего благополучия.

Но прошло несколько месяцев после падения империи и отмены континентальной блокады, и широкие слои торгово-промышленной буржуазии подняли вопль: правительство Бурбонов на первых порах не смело и помыслить о решительной таможенной борьбе против англичан, так много содействовавших падению Наполеона. Если кто из буржуазии принял Бурбонов с известным сочувствием и сравнительно дольше сохранял к ним симпатии, то это была интеллигенция—люди свободных профессий, адвокаты, доктора, журналисты, и т. д. После железного деспотизма Наполеона—умереннейшая конституция, данная Людовиком XVIII, казалась им необычайным благом. Увеличилось количество газет, брошюр, книг, о чем при Наполеоне и речи быть не могло. Но эта образованная масса, воспитанная на просветительной литературе и свободомыслии XVIII в., очень скоро стала раздражаться засилием, проявленным духовенством и при дворе Бурбонов, и в администрации, и в общественной жизни. Гонения на все, напоминающее вольтерьянский дух, было поднято со всех сторон. Фанатики юродствовали особенно в провинции, где новые чиновники назначались кое-где по выбору и рекомендации церкви.

С каждым месяцем Бурбоны и их приближенные все более и более расшатывали свое положение. Бессильные восстановить старый строй, уничтожить гражданские законы, данные революцией и Наполеоном, бессильные даже только прикоснуться к зданию, сооруженному Наполеоном, они провоцировали своими словами, своими статьями, своей ярой агитацией, своим дерзким поведением как крестьянство, так и буржуазию. Их угрозы и провокации лишали устойчивости все политическое положение. Особенно взволнована была деревня.

Было и еще одно обстоятельство, имеющее большое значение. Солдатская масса почти вся, а офицерство в значительной степени относились к Бурбонам, как к навязанному извне необ-

ходимому злу, которое нужно молча и терпеливо переносить. По мере того как шло время, отходили в прошлое страшные раны и увечья, и непрерывная долголетняя бойня, и ужасы отступления из России. Все это бледнело и забывалось, а выступали воспоминания о воителе, водившем их к неслыханным победам, покрывшем их навеки славой. Для них он был не только прославленным героем, величайшим полководцем и властелином полумира,—он оставался для них в то же время своим братом-солдатом, маленьким капралом, помнившим их по имени, дергавшим их за уши и за усы в знак своего благоволения. Им всегда казалось, что Наполеон их точно так же любит, как они его. Ведь император очень успешно всегда поддерживал и укреплял в них эту иллюзию.

Офицерство по отношению к Бурбонам было не так враждебно настроено, как солдаты. По крайней мере часть их, бесспорно, была страшно утомлена войнами и тоже искала покоя. Но Бурбоны, во-первых, не доверяя офицерству политически, а во-вторых, не имея нужды в содержании таких больших кадров, уволили сразу очень много офицеров в отставку, переведя их на половинную пенсию. Другие, оставшиеся на службе, со злобой и презрением относились к новым, молодым офицерам из роялистского дворянства, которых им часто сажали на шею в качестве начальства. Раздражало солдат и офицеров также белое знамя, введенное Бурбонами взамен трехцветного, бывшего при революции и при Наполеоне. Для наполеоновских солдат белое знамя было знаменем изменников-эмигрантов, которых они встречали и били в былые годы, когда нужно было отразить натиск интервентов. Теперь под этим знаменем пришли и водворились при помощи русских, австрийских и прусских штыков эти самые контрреволюционные изменники, желающие к тому же, как пишут из деревни, отнять у крестьян землю...

«Где он? Когда он снова явится?» Этот вопрос встал в казарме и в деревне раньше, чем где бы то ни было в других слоях населения.

Наполеон знал это. Он знал и другое. Через Италию, наконец, просто через газеты до него доходили известия и о том, что делается на Венском конгрессе. Он следил за тем, как государи и дипломаты делят его огромное наследство и никак поделить не могут, как его завоевания, отнятые у Франции, возбуждают жадность и ссорят бывших союзников. Он видел, что Англия и Австрия решительно выступают против России и Пруссии и по вопросу о Саксонии и по вопросу о Польше. Прежнего единства действий европейских держав, положившего в 1814 г. конец великой империи Наполеона, ожидать было нельзя...

В декабре 1814 г., гуляя около своего дворца в Порто-Феррайо (главном городе острова Эльбы), Наполеон вдруг

остановился около гренадера, стоявшего на часах. Это был солдат из того батальона старой гвардии, который последовал с разрешения союзников на Эльбу за императором. «Что, старый ворчун, тебе тут скучно?» — «Нет, государь, но я не очень развлекаюсь». Наполеон вложил ему в руку золотую монету и отошел, вполголоса сказав: «Это не всегда будет продолжаться».

Дошло ли до кого-нибудь известие об этом случае или о двух-трех вырвавшихся у Наполеона аналогичных словах,—мы не знаем. Знаем только, что и Меттерних, и Людовик XVIII, и английский кабинет очень забеспокоились по поводу слишком близкого пребывания Наполеона у берегов Франции. Были разговоры о переводе его куда-нибудь подальше. Он продолжал казаться страшным даже и на своем маленьком острове. Ходили слухи, что к нему хотят подослать убийц. Чем больше нелепостей делали Бурбоны и их сторонники во Франции, тем больше беспокоились государи и дипломаты в Вене. Но с острова Эльбы стали приходить одновременно также и самые успокоительные известия, противоречившие тревожным слухам. Император почти не выходит из своих комнат, он очень спокоен, он вполне примирился со своей участью, он разговаривал очень милостиво с английским представителем Кемпбелем и сказал ему, что его теперь ничто не интересует, кроме его маленького острова.

Вечером 7 марта 1815 г. в Вене в императорском дворце происходил бал, данный австрийским двором в честь собравшихся государей и представителей европейских держав. Вдруг в разгаре празднества гости заметили какое-то смятение около императора Франца: бледные, перепуганные царедворцы поспешно спускались с парадной лестницы; было такое впечатление, будто во дворце внезапно вспыхнул пожар. В одно мгновение ока все залы дворца облетела невероятная весть, заставившая собравшихся сейчас же в панике оставить бал: только что примчавшийся курьер привез известие, что Наполеон покинул Эльбу, высадился во Франции и, безоружный, идет прямой дорогой на Париж.

2

Уже к началу февраля 1815 г. у Наполеона стало складываться решение вернуться во Францию и восстановить империю. Он никогда и никому не рассказал, как он пришел к этому решению. Может быть, только в самом конце 1814 и в первый месяц 1815 г. в нем созрело убеждение, что вся армия, а не только его гвардия, к нему относится по-прежнему и что рядом с маршалами, которые его убеждали в апреле 1814 г. в не-

обходимости отречения, существуют маршалы вроде Даву, генералы вроде Эксельманса, офицеры, как отставные, так и на действительной службе, которые с презрением и ненавистью смотрят на Бурбонов и вполне разделяют чувства солдатской массы. Убедился он и в том, что даже многие из тех маршалов, которые жаждали покоя и были утомлены непрерывными войнами и с готовностью стали служить Бурбонам, теперь раздражены и недовольны королем Людовиком XVIII, его братом и его племянниками. Знал он и хорошо учитывал настроение крестьян, всю ту тревогу, которая росла в деревне. Одно сообщение ускорило его решение.

В середине февраля ему пришлось побеседовать с одним молодым чиновником еще наполеоновских времен, Флери де Шабулоном, явившимся на Эльбу с информацией от проживавшего во Франции бывшего наполеоновского министра иностранных дел Марэ, герцога Бассано. Герцог Бассано поручил Флери де Шабулону подробно рассказать императору о росте всеобщего недовольства, о безобразиях дворян-эмигрантов, вернувшихся в свои деревни, о том, что армия почти сплошь считает в душе своим законным государем только Наполеона, а короля Людовика XVIII и прочих членов бурбонской семьи и знать не хочет. Доклад был обстоятельный. Наполеон очень много знал, впрочем, еще до прибытия этого эмиссара от герцога Бассано. Так или иначе, но после этого разговора он решился.

В это время у него гостила его мать, Летиция, женщина умная, твердая, мужественная, которую Наполеон уважал больше чем кого-либо из своей семьи. Он открыл ей первой свое решение. «Я не могу умереть на этом острове и кончить свое поприще в покое, который был бы недостоин меня,—сказал он ей.—Армия меня желает. Все заставляет меня надеяться, что, увидя меня, армия поспешит ко мне. Конечно, я могу встретиться с офицером, который верен Бурбонам, который остановит порыв войска, и тогда я буду кончен в несколько часов. Этот конец лучше, чем пребывание на этом острове... Я хочу отправиться и еще раз попытать счастья. Каково ваше мнение, мать?» Летиция была так потрясена неожиданным вопросом, что не могла сразу ответить: «Позвольте мне быть минутку матерью, я вам отвечу после». И после долгого молчания ответила: «Отправляйтесь, сын мой, и следуйте вашему назначению. Может быть, вас постигнет неудача и сейчас же последует ваша смерть. Но вы не можете здесь оставаться, я это вижу со скорбью. Будем надеяться, что бог, который вас сохранил среди стольких сражений, еще раз сохранит вас». Она крепко обняла сына, сказав это.

Сейчас же после разговора с матерью Наполеон призвал

своих генералов, которые последовали за ним в свое время на остров Эльбу: Бертрана, Друо и Камбронна. Бертран и Камбронн приняли известие с восторгом, Друо — с сомнениями в успехе. Но сам Наполеон сказал ему, что он теперь не намерен ни воевать, ни править самодержавно, он хочет сделать французский народ свободным. Это было характерно для той новой политической программы, с которой Наполеон начинал свое предприятие если не с целью ее осуществить, то с целью ее использовать в тактическом смысле.

Сейчас же он дал приказания и инструкции генералам. Он ехал не завоевывать Францию оружием, а просто намерен был явиться во Францию, высадиться на берегу, объявить о своих целях и потребовать себе обратно императорский престол. Так велика была его вера в обаяние своего имени; ему казалось, что страна должна была сразу, без боя, без попытки сопротивления, пасть к его ногам. Следовательно, отсутствие у него вооруженных сил не могло послужить препятствием. А для того, чтобы его не могли арестовать и прикончить раньше, чем кто-нибудь узнает о его прибытии, и раньше, чем хотя один настоящий солдат его увидит, у Наполеона под рукой были люди. Во-первых, при нем находилось 724 человека, которых было вполне достаточно для ближайшей личной охраны, нужной лишь в первый момент; из них 600 человек гренадер и пеших егерей старой гвардии и больше сотни кавалеристов. Затем в его распоряжении оказалось больше 300 солдат расположенного здесь с давних пор 35-го полка, посланного в свое время им же для охраны острова. Их всех—около 1100 человек, Наполеон решил взять с собой. Для переезда у него оказалось несколько небольших судов.

Все приготовления происходили в глубокой тайне. Наполеон приказал своим трем генералам, чтобы все было готово к 26 февраля. В этот день в г. Порто-Феррайо после полудня 1100 солдат были внезапно в полном вооружении направлены в порт и посажены на суда. Они понятия не имели о том, зачем их посадили на суда и куда собираются везти, ни одного слова им раньше не было сказано, но конечно, еще до начала посадки они догадались и с восторгом приветствовали императора, когда он появился в порту в сопровождении трех генералов и нескольких офицеров старой гвардии.

Мать Наполеона неутешно рыдала, прощаясь с сыном.

Солдаты, офицеры, генералы и Наполеон заняли свои места на суденышках, и в семь часов вечера маленькая флотилия при попутном ветре отплыла на север.

Первая опасность заключалась в постоянно круживших вокруг острова Эльбы английских и французских королевских военных фрегатах. Эти суда находились тут на всякий случай, для

наблюдения за островом. Один французский военный корабль прошел так близко, что офицер с корабля даже перекинулся несколькими словами в рупор с капитаном наполеоновского брига. «Как здоровье императора?»—спросил офицер. «Очень хорошо»,—ответил капитан. Встреча этим только и кончилась,—солдаты были спрятаны, и с королевского корабля никто ничего не заметил. По счастливой случайности англичан не встретили вовсе. Плаванье продолжалось почти трое суток, так как попутный ветер несколько ослабел.

В три часа дня 1 марта 1815 г. флотилия причалила к французскому берегу, остановилась в бухте Жуан, недалеко от мыса Антиб; император вышел на берег и немедленно приказал начать высадку. Прибежавшая таможенная стража, увидев Наполеона, сняла шапки и громко приветствовала его. Наполеон послал Камбронна с несколькими солдатами в г. Канн за припасами. Припасы были доставлены немедленно, после чего Наполеон двинулся со своим отрядом на север, через провинцию Дофинэ, предварительно бросив на берегу четыре пушки, которые он взял с собой из Порто-Феррайо. Он решил идти горными дорогами. Одновременно он приказал отпечатать в типографии г. Грасс свои воззвания к французской армии и к народу. И Канн и Грасс уже были в его власти без всякой попытки сопротивления. Не задерживаясь, он двинулся дальше через деревушку Сернон и через Динь и Гап на Гренобль.

Командир войск, стоявших в Гренобле, главном городе департамента, решил было сопротивляться, но солдаты громко, не стесняясь, говорили, что они сражаться с императором не будут ни за что. Буржуазия в Гренобле казалась встревоженной и смущенной, часть дворян осаждала власти, умоляя сопротивляться, часть же их бежала врассыпную из города.

7 марта в Гренобль пришли высланные спешно против Наполеона войска—два с половиной линейных пехотных полка с артиллерией и один гусарский полк.

Наполеон уже подходил к Греноблю. Приближалась самая критическая минута. О сражении против всех этих полков, снабженных к тому же артиллерией, не могло быть и речи. Королевские войска могли бы расстрелять его и его солдат издали, даже не потеряв ни одного человека,—ведь у Наполеона не было *ни одного орудия*.

7 марта утром Наполеон прибыл в деревню Ламюр. Впереди в отдалении виднелись войска в боевом строю, загораживавшие дорогу и имевшие задачу взорвать мост у Пэнго. Наполеон долго смотрел в подзорную трубу на выдвинутые против него войска. Затем он приказал своим солдатам взять ружье под левую руку и повернуть дулом в землю. «Вперед!»—скоман-

довал он и пошел впереди прямо под ружья выстроенного против него передового батальона королевских войск.

Начальник этого батальона поглядел на своих солдат, обратился к адъютанту командира гарнизона и сказал ему, указывая на своих солдат: «Что мне делать? Посмотрите на них, они бледны, как смерть, и дрожат при одной мысли о необходимости стрелять в этого человека». Он велел батальону отступить, но они не успели. Наполеон приказал 50 своим кавалеристам остановить приготовившийся отступать батальон. «Друзья, не стреляйте!—кричали кавалеристы.—Вот император!» Батальон остановился. Тогда Наполеон подошел вплотную к солдатам, которые замерли с ружьями наперевес, не спуская глаз с приближавшейся к ним твердым шагом одинокой фигуры в сером сюртуке и треугольной шляпе. «Солдаты пятого полка! — раздалось среди мертвой тишины.—Вы меня узнаете?»—«Да, да, да!»—кричали из рядов. Наполеон расстегнул сюртук и раскрыл грудь. «Кто из вас хочет стрелять в своего императора? Стреляйте!» Очевидцы до конца дней своих не могли забыть тех громовых радостных криков, с которыми солдаты, расстроив фронт, бросились к Наполеону.

Солдаты окружили его тесной толпой, целовали его руки, его колени, плакали от восторга и вели себя как бы в припадке массового помешательства. С трудом их можно было успокоить, построить в ряды и повести на Гренобль.

Все войска, высланные для защиты Гренобля, полк за полком, перешли на сторону Наполеона. Полковник Лабедойер, командир полка, стоявшего в самом Гренобле с 7 марта, не хотел ждать прихода Наполеона, а собрал свой полк на главной площади, крикнул перед фронтом: «Да здравствует император!»—и вместе с полком вышел навстречу Наполеону. Лабедойер сделал это, еще не зная даже, что случилось в Ламюре. Наполеон въехал в Гренобль, сопровождаемый перешедшими на его сторону полками и толпой крестьян, вооруженных вилами и старыми ружьями. В город помогли ему войти местные ремесленники-каретники.

В Гренобле ему представились власти и начальствующие лица всех ведомств, кроме немногих, бежавших из города. На этих приемах Наполеон повторял, что он окончательно решил дать народу свободу и мир, что прежде он действительно слишком «любил величие и завоевания», но теперь он уже поведет иную политику. Он подчеркнул, что и в прошлом «ему нужно извинить искушение сделать Францию владычицей над всеми народами». Еще характернее было его указание, повторяемое им с не меньшей настойчивостью, что он пришел спасти крестьян от грозящего им со стороны Бурбонов восстановления феодального строя, пришел обеспечить крестьянские земли от по-

кушений со стороны дворян-эмигрантов. Он твердо заявил, что хочет пересмотреть данное им самим государственное устройство и сделать империю конституционной монархией, *настоящей* монархией с представительным образом правления; этим самым он откровенно признавал, что существовавший при нем Законодательный корпус был чем угодно, но только не *настоящим* представительным учреждением. Он обещал полное прощение всем, кто встанет на его сторону, и утверждал, что сам же, отрекшись от престола, советовал своим приближенным служить Бурбонам и освободил их от присяги ему, императору. «Но Бурбоны показали», что они «несовместимы с новой Францией».

Приказав окрестным полкам явиться в Гренобль и сделав им смотр, он уже с шестью полками и довольно значительной артиллерией двинулся из Гренобля прямой дорогой на Лион. Отовсюду к нему стекались по пути крестьянские делегации. Впереди шел отряд в 7 тысяч солдат с 30 орудиями. Наполеон с остальным войском задержался на лишний день в Гренобле и выступил, разослав ряд приказов и распоряжений. Он снова чувствовал себя настоящим повелителем Франции. Теперь он мог принять в случае надобности сражение с королевскими войсками, но он по-прежнему твердо был убежден, что ни единого выстрела ему сделать не придется и что вообще никаких королевских войск во Франции нет и никогда не было, а есть войска его, наполеоновские, императорские, которым пришлось по несчастному случаю пробыть 11 месяцев под чужим белым знаменем.

Толпы крестьян, и толпы огромные, исчисляемые свидетелями в 3—4 тысячи человек, шли за Наполеоном и его армией, стекаясь к нему по пути, провожая его от села к селу и сменяясь в каждом новом пункте новыми толпами, одна толпа крестьян как бы передавала его другой толпе, принося припасы, предлагая всякую помощь. Толпы, меняясь в составе, не уменьшались в числе. Ничего подобного даже и сам Наполеон при всей своей самоуверенности все-таки не ожидал. Он уже нисколько не сомневался, что через несколько дней будет в Париже. Что могло остановить его? Запертые ворота городов? Но и в Гренобле роялисты пробовали перед своим бегством из города запереть ворота. «Я только постучал об эти ворота своей табакеркой, и они открылись»,— так выразился об этом Наполеон. Он даже преувеличил свои усилия, говоря это, ему и табакеркой постучать не пришлось—ворота были распахнуты настежь, как только он приблизился. Триумфатором, предшествуемый и сопровождаемый стройными полками, Наполеон шел прямо на Лион, по пути отдавая приказы, рассылая эстафеты, получая донесения, назначая новых командиров и сановников.

3

Вечером 5 марта королю Людовику XVIII доложили о только что пришедшей (по тогдашнему сигнальному телеграфу) невероятной новости — о высадке Наполеона. Париж в этот момент еще не знал ничего, король велел прежде всего скрыть телеграмму. Только 7 марта позволено было напечатать в газетах о высадке. Впечатление было потрясающее. Сначала никто понять не мог, как умудрился Наполеон, во-первых, спокойно проплыть эту часть Средиземного моря сквозь два стерегущих остров Эльбу флота, а во-вторых, как его, безоружного или с несколькими провожатыми, не схватили тотчас по высадке. Правительство было сначала в полной уверенности, что ликвидация неприятного инцидента не затянется: разбойник Бонапарт, очевидно, сошел с ума, потому что не сумасшедший никогда бы не решился на подобный поступок.

Однако полиция в Париже сразу усмотрела один беспокойный признак: революционеры, якобинцы, безбожники, все эпигоны Великой революции, бывшие на учете и замечании, совершенно определенно радовались происшедшему событию, радовались возвращению деспота, который задушил в начале своей карьеры революцию и так долго продолжал душить ее приверженцев. В Париже еще не знали тогда о новой политической платформе, с которой вернулся Наполеон, о его гренобльских речах, о «свободе», которую он обещает.

Но в Париже в этот первый момент наблюдалась и растерянность, особенно среди состоятельной буржуазии. Боялись прежде всего новой войны и нового разорения торговли. Либералы-конституционалисты видели в возможной победе Наполеона возвращение военного деспотизма и конец даже той форме участия в управлении государством, какую они надеялись выработать при Бурбонах.

Кто был в полной панике — это роялисты, особенно дворяне-эмигранты, вернувшиеся в 1814 г. с Бурбонами. Они совершенно потеряли голову в моральном смысле слова и с нескрываемым ужасом готовились потерять ее в буквальном, физическом смысле. Что с ними сделает корсиканский людоед? Окровавленная тень герцога Энгиенского неотступно стояла перед глазами Бурбонов и их двора в эти дни.

И все-таки король отказывался пока верить в серьезность опасности. Новые и новые известия говорили о движении Наполеона через горы на Гренобль. Еще не знали о том, что случилось в Ламюре, но что войска ненадежны, это было вполне ясно. Маршалы и генералы пока устояли, офицеры, может быть, тоже не перейдут на сторону императора, но солдаты парижского гарнизона даже не скрывали своей радости.

Решено было противопоставить Наполеону человека, который после императора был, может быть, наиболее популярным в армии: маршала Нея. Маршал Ней, казалось, вполне искренно присоединился к Бурбонам, он больше всех убеждал Наполеона в 1814 г. в необходимости отречения. С другой стороны, сам Наполеон дал ему и маршальский жезл, а потом и герцогский титул, и княжеский титул, и, что было для него еще почетнее в глазах солдат, император дал ему название «храбрейший из храбрых». Если бы такой человек согласился взять на себя командование, может быть, солдаты пойдут за ним даже против Наполеона?

Нея вызвали к королю. Ней был решительно против наполеоновского предприятия, от которого он, кроме зла для Франции, ничего не ожидал. Горячий рубака, вспыльчивый солдат, он под влиянием той подобострастной лести, с которой его упрашивали король и весь двор Бурбонов, воскликнул, ручаясь за всех солдат: «Я привезу его пленником, в железной клетке». Но раньше еще, чем маршал Ней выступил, пришли новые ужасные для Бурбонов известия: войска переходят на сторону императора без боя, провинция за провинцией, город за городом падают к его ногам без тени сопротивления, творится что-то, чего никак нельзя было ожидать.

Нужно было удержать во что бы то ни стало Лион, второй после Парижа город Франции по богатству, по числу жителей, по политическому значению. Туда отправился королевский брат граф Артуа, наиболее ненавистный из Бурбонов, с наивной надеждой воспламенить лионских рабочих чувством преданности к Бурбонам. Прибыл туда и маршал Макдональд, на которого Бурбоны тоже полагались, как на Нея. Макдональд забаррикадировал мосты, произвел наспех еще некоторые оборонительные работы и вздумал устроить смотр войскам и при этом показать им королевского брата графа Артуа.

Уже все было готово для этой торжественной демонстрации, как вдруг к Макдональду явился один генерал и сказал, что лучше бы королевского брата поскорее отвезти в более безопасное место. Макдональд собрал на смотр три полка гарнизона, сказал перед фронтом речь, где упоминал о грозящей новой войне с Европой в случае торжества Наполеона, и предложил им приветствовать графа Артуа, посланного королем, криком «Да здравствует король!», чтобы этим подтвердить их верность Бурбонам. Мертвое молчание было ответом.

В полной панике граф Артуа бежал со смотра и сейчас же с предельной скоростью покинул Лион. Макдональд сам остался, чтобы руководить работами по обороне. Солдаты работали угрюмо и нехотя. Один сапер подошел к маршалу и укоризнен-

но сказал ему: «Лучше бы вы нас повели к нашему государю, к императору Наполеону». Маршал ничего не ответил.

«Да здравствует император! Долой дворян!» — этим криком крестьяне, войдя в лионское предместье Ла Гильотиер, оповестили город о приближении императорского авангарда.

Действительно, наполеоновские гусары и кирасиры уже вступали в город. Макдональд со своими войсками пошел навстречу, все еще рассчитывая дать сражение. Но едва его полки (впереди шли драгуны) увидели кирасир, как с криком «Да здравствует император!» бросились прямо к ним. Разом, в одну минуту, все части, бывшие в распоряжении маршала, смешались с войсками Наполеона в одну общую массу. Чтобы не попасть в плен к своим же солдатам, Макдональд ускакал прочь и бежал из города.

Спустя полчаса после этой сцены Наполеон, окруженный свитой, вступил в Лион, доставшийся ему, как и все прочие города, без единого выстрела. Это произошло 10 марта, через девять дней после его высадки в бухте Жуан.

На следующий день (11 марта) Наполеон принимал парад лионской дивизии, специально присланной сюда и пополненной королевским правительством, чтобы сражаться против возвратившегося императора. «Все мосты, набережные, все улицы были полны людей, мужчин, стариков, женщин, детей», — рассказывает Флери де Шабулон, ехавший в свите за Наполеоном. Люди теснились к лошадям свиты, «чтобы видеть его, слышать его, ближе рассмотреть, коснуться его одежды. Царило чистейшее безумие». Непрерывные оглушительные крики «Да здравствует император!» часами гремели вокруг. Как ни была велика самоуверенность Наполеона, но подобных неслыханных триумфов он, судя по вырывавшимся у него словам, все-таки не ожидал.

Принимая городские власти Лиона, Наполеон подтвердил то, о чем уже много раз говорили и в Гренобле, и до и после Гренобля: он даст Франции свободу внутри и мир извне. Он прибыл, чтобы сохранить и укрепить принципы Великой революции, он понимает, что времена изменились, и отныне он удовольствуется одной Францией и не будет думать о завоеваниях. В Лионе он уже подписал акт, объявлявший уничтоженной палату пэров и палату депутатов, т. е. учреждения, действовавшие по конституции, данной Бурбонами, аннулировал все назначения по судебному ведомству, произведенные Бурбонами, и назначил новых судей. Большинство префектов он оставил на их местах, — это были за немногими исключениями его собственные префекты, которых и не могли и не решились сменить в 1814 г. Бурбоны.

В Лионе он уже формально восстановил свое владычество,

низложив с престола династию Бурбонов и уничтожив данную ими конституцию. Во главе почти 15 тысяч войск он двинулся из Лиона дальше, держа путь на Париж. «Мои орлы полетят с колокольни на колокольню и усядутся на соборе Нотр-Дам»,—говорил он, повторяя мысль, которую высказал в своем воззвании к солдатам еще в первый момент после высадки.

Наполеон шел, по-прежнему не встречая препятствий, с триумфом войдя в Макон, в села и деревни между Лионом и Маконом, между Маконом и Шалоном на Соне. Но раньше, чем достигнуть Шалона, должна была произойти решающая встреча с маршалом Неем. Наполеон знал Нея, любил его сердце и совсем не уважал его голову. Он видел Нея в боях, помнил Нея у Семеновских флешей в день Бородина, никогда не забывал, что делал Ней, командуя арьергардом отступавшей из России великой армии. В тот момент, когда он шел из Макона и ему доложили, что маршал Ней со своей армией расположился в Лон-ле-Сонье и загородил дорогу, Наполеон уже не страшился боя. С 15 тысячами солдат он и не то еще предпринимал на своем веку, но он не хотел кровопролития, ему важно было овладеть страной без единой человеческой жертвы, потому что более убедительной политической демонстрации в свою пользу он не мог и придумать.

Маршал Ней прибыл в Лон-ле-Сонье 12 марта. У него было четыре полка, и он поджидал еще подкреплений. Он был в тот момент убежден в правоте своих действий: ему представлялось, что единственным спасением для Франции в 1814 г. было отречение императора. Отрекшись, Наполеон сам разрешил маршалам остаться на службе при Бурбонах. Теперь нарушив свой договор с державами, Наполеон покинул Эльбу и хочет снова занять престол, что неизбежно повлечет за собой войну с Европой. Ней искренно считал, что он прав, борясь против императора. Он знал, что на него возложены теперь все надежды короля Людовика XVIII, всецело ему доверившегося.

Но солдаты угрюмо молчали, когда он, их любимец, пытался говорить с ними. Он собрал офицеров и солдат и произнес речь, в которой напоминал, как он, не щадя себя, всю жизнь служил императору, но заявил, что теперь восстановление империи повлечет неисчислимые беды для Франции, и прежде всего войну со всей Европой, которая ни за что не примирится с Наполеоном. Он добавил, что сейчас же отпустит из своего отряда тех, кто почему-либо не желает сражаться, и пойдет вперед с остальными. Молчание и офицеров и солдат было ему ответом. Раздраженный и обеспокоенный, вернулся он в свою ставку.

В ночь с 13 на 14 марта маршала разбудили известием, что артиллерийская часть, которая должна была прийти к нему в

подкрепление из Шалона, взбунтовалась и перешла вместе со своим эскортом (кавалерийским эскадроном) на сторону Наполеона. Затем на рассвете и утром непрерывно сыпались новые и новые известия о городах, прогоняющих роялистские власти и присоединяющихся к императору, о движении самого императора к Лон-ле-Сонье. В момент жестоких колебаний, начавших обуревать его душу, окруженный мрачными, явно не желающими ни говорить с ним, ни отвечать ему солдатами и избегающими его взгляда офицерами, Ней получил записку, привезенную в его лагерь верховым ординарцем от Наполеона: «Я вас приму так, как принял на другой день после сражения под Москвой. Наполеон»,—прочел маршал в записке.

Колебания маршала Нея кончились. Он приказал полковым командирам сейчас же собрать и выстроить полки. Выйдя перед фронтом, он выхватил шпагу из ножен и прокричал громким голосам: «Солдаты! Дело Бурбонов навсегда проиграно. Законная династия, которую выбрала себе Франция, восходит на престол. Императору, нашему государю, надлежит впредь царствовать над этой прекрасной страной». Крики «Да здравствует император! Да здравствует маршал Ней!» заглушили его слова. Несколько роялистских офицеров сейчас же скрылись. Ней им не препятствовал. Один из них тут же сломал свою шпагу и горько упрекнул Нея. «А что же, по-вашему, было делать? Разве я могу остановить движение моря своими двумя руками?»—ответил Ней.

Крайне любопытно, что внезапно перейдя на сторону Наполеона, маршал Ней немедленно стал исполнять вполне точный (как всегда) приказ императора о ближайших движениях отряда, стоявшего в Лон-ле-Сонье. Наполеон прислал этот приказ заблаговременно, еще ничего не зная о переходе Нея на его сторону, но твердо убежденный, что Ней не поднимет против него оружия.

В Париже почти одновременно узнали и о въезде Наполеона в Лион, и о дальнейшем его движении на север, и о переходе Нея с войском на его сторону.

Бежать! Это было первой мыслью королевского двора. Бежать без оглядки от смертельной опасности, бежать от Венсенского рва, где гниет труп герцога Энгиенского. Столпотворение в умах было невообразимое. Король Людовик XVIII сначала противился мысли о бегстве, ему это казалось и позором и потерей престола. Но тогда что же предпринять? Дело дошло до серьезного обсуждения такого стратегического плана: король сядет в карету и со всеми сановниками, со всей своей семьей, с высшим духовенством выедет за город, у заставы все эти экипажи остановятся и будут ждать идущего на столицу узурпатора. Узурпатор, увидя седовласого легитимного монарха,

гордого своим правом и бестрепетно своей собственной особой заграждающего вход в столицу, несомненно, устыдится своего поведения—и повернет обратно. Не было той бессмыслицы, которая не предлагалась бы в этой панике теми голосами, которые и в спокойном-то состоянии были не очень хитры на выдумку.

Правительственная и близкая к правящим сферам парижская пресса от крайней самоуверенности перешла к полному упадку духа и нескрываемому страху. Типичной для ее поведения в эти дни была строгая последовательность эпитетов, прилагавшихся к Наполеону по мере его наступательного движения от юга к северу. Первое известие: «Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан», Второе известие: «Людоед идет к Грассу». Третье известие: «Узурпатор вошел в Гренобль». Четвертое известие: «Бонапарт занял Лион». Пятое известие: «Наполеон приближается к Фонтенебло». Шестое известие: «Его императорское величество ожидается сегодня в своем верном Париже». Вся эта литературная гамма уместилась в одних и тех же газетах, при одной и той же редакции на протяжении нескольких дней.

Оставалась еще одна слабая надежда, но и она вскоре угасла. В Париже знали, что Наполеон не принимает никаких мер предосторожности, что, например, при своем торжественном вступлении в Лион он ехал впереди свиты и армия и лошадь его шагом ступала среди огромной массы со всех сторон окружавшего и приветствовавшего его народа. Ничего не стоило одним ударом кинжала спасти династию Бурбонов. И в Париже, говорят нам свидетели, «тайные агенты вмешивались в толпу, чтобы вложить кинжал в руки нового Жака Клемана» (убившего в 1589 г. короля Генриха III). Будущему убийце обещали открыто большую награду, ссылаясь при этом на то, что такое деяние будет законнейшим и не подлежащим суду актом, так как Венский конгресс объявил Наполеона врагом человечества и поставил его вне закона.

Но Жака Клемана в короткие оставшиеся дни найти не успели.

В ночь с 19 на 20 марта Наполеон со своим авангардом вошел в Фонтенебло. Уже в 11 часов вечера 19 марта король со всей семьей бежал из Парижа по направлению к бельгийской границе.

На другой день, 20 марта 1815 г., в 9 часов вечера Наполеон, окруженный свитой и кавалерией, вступил в Париж.

Несметная толпа ждала его во дворце Тюильри и вокруг дворца.

Когда еще с очень далекого расстояния стали доноситься на дворцовую площадь с каждой минутой усиливавшиеся и

наконец превратившиеся в сплошной, оглушительный радостный вопль крики несметной толпы, бежавшей за каретой Наполеона и за скакавшей вокруг кареты свитой, другая огромная толпа, ждавшая у дворца, ринулась навстречу. Карета и свита, окруженные со всех сторон несметной массой, не могли дальше двинуться. Конные гвардейцы совершенно тщетно пытались освободить путь: «Люди кричали, плакали, бросались прямо к лошадям, к карете, ничего не желая слушать»,—говорили потом кавалеристы, окружавшие императорскую карету. Толпа, как обезумевшая (по показанию свидетелей), бросилась к императору, оттеснив свиту, раскрыла карету и при несмолкаемых криках на руках понесла Наполеона во дворец и по главной лестнице дворца наверх, к апартаментам второго этажа.

После самых грандиозных побед, самых блестящих походов, после самых огромных и богатых завоеваний никогда его не встречали в Париже так, как вечером 20 марта 1815 г. Один старый роялист говорил потом, что это было самое настоящее идолопоклонство.

Едва только толпу с трудом уговорили выйти из дворца и Наполеон очутился в своем старом кабинете (откуда за 24 часа до этого вышел бежавший король Людовик XVIII), как тут же принялся за дела, обступившие его со всех сторон.

Невероятное совершилось. Безоружный человек без выстрела, без малейшей борьбы в 19 дней прошел от Средиземного побережья до Парижа, изгнал династию Бурбонов и воцарился снова.

Но он лучше всех знал, что опять, как и в первое свое царствование, не мир он принес с собой, а меч, и что потрясенная его внезапным появлением Европа на этот раз сделает все, чтобы помешать ему собрать свои силы.

4

Наполеон торжественно обещал, начиная свое новое царствование, дать Франции свободу и мир, откровенно и громогласно сознавшись тем самым и многократно это повторяя и в Гренобле, и в Лионе, и в Париже, что в свое первое царствование он не давал Франции ни свободы, ни мира. Свободолюбивый и миролюбивый Наполеон — это, конечно, должно было звучать в ушах Франции и Европы так же, как если бы сказали «холодный огонь» или «горячий лед».

При своем громадном, быстром и ясно взвешивающем уме Наполеон хорошо понимал, что если он без всякой борьбы, голыми руками в несколько дней отвоевал обратно французский престол, то это произошло не потому, что сразу все пленились размерами той свободы и надежностью того мира, которые он

сулил своим подданным. Внешнего мира Бурбоны пока не нарушили и не собирались нарушить. Следовательно, от них отвернулись по другой причине. Он очень ясно понимал, что его успех вызван в очень значительной степени его обещаниями крестьянству, т. е. подавляющему большинству нации.

«Бескорыстные люди меня привели в Париж. Унтер-офицеры и солдаты сделали все. Народу и войску я обязан всем»,— повторял Наполеон несколько раз в первый вечер после своего приезда в Тюильри 20 марта 1815 г., согласно свидетельству находившегося при нем Флери де Шабулона.

«Крестьяне кричали: Да здравствует император! Долой дворян! Долой попов! Они следовали за мной из города в город, а когда не могли идти дальше, то их заменяли другие эскортировать меня, и так до Парижа. После провансальцев—дофинцы, после дофинцев—лионцы, после лионцев—бургундцы составляли мой кортеж, и истинными заговорщиками, которые приготовили мне всех этих друзей, были сами Бурбоны»,—так рассказывал Наполеон о своем шествии в первые дни после водворения в Тюильри.

Но крестьян, по крайней мере отчасти, удовлетворить было легко: для них Наполеон был символом полного уничтожения феодализма и обеспечения крестьянской собственности на землю. Правда, крестьяне еще хотели, чтобы не было войн и наборов, и чутко прислушивались, когда император говорил о своей будущей мирной политике. Но этот вопрос о мире был во всяком случае не первым по важности. Важным был другой вопрос: Наполеон понимал, что после 11 месяцев конституционной монархии Бурбонов и некоторой свободы прессы городская буржуазия ждет от него хотя бы какого-нибудь минимума свобод; ему нужно было поскорее иллюстрировать ту программу, которую он развивал, двигаясь к Парижу и разыгрывая революционного генерала. «Я явился, чтобы избавить Францию от эмигрантов»,—сказал он в Гренобле.—«Пусть берегутся священники и дворяне, которые хотели подчинить французов рабству. *Я их повешу на фонарях»,*—заявил он в Лионе.

Он получил целый ряд адресов от старых якобинцев, уцелевших каким-то образом в провинции от преследований в его первое царствование; они теперь приветствовали его как представителя революционной активности против Бурбонов, монархов, дворян, священников. В Тулузе по городу весь день носили бюст императора Наполеона с пением Марсельезы и с криками «Аристократов на пику!». К маршалу Даву, любимцу Наполеона, которого он назначил сейчас же по своем возвращении военным министром, обращались из провинции с просьбой, чтобы император ввел террор 1793 г. И сам Наполеон знал очень хорошо это настроение. Уже ночью 20 марта, как только

его внесли на руках во дворец, он сказал графу Моле: «Я нашел всюду ту же ненависть к попам и дворянству, и притом такую же сильную, как в начале революции».

Но так же как в 1812 г. в Кремле он побоялся иметь союзником русскую крестьянскую революцию, так в 1815 г. в Тюильри он испугался помощи со стороны жакерии и революционного террора. Он не позвал к себе на помощь ни «Пугачева» тогда, ни «Марата» теперь, и это не было случайностью. Тот класс французского общества, который победил в эпоху революции и главным представителем и укрепителем победы которого являлся Наполеон, т. е. крупная буржуазия, был единственным классом, стремления которого были Наполеону близки и понятны. Именно в этом классе он хотел чувствовать свою опору, в его интересах готов был вести борьбу. И как в 1812 г. он чувствовал себя ближе к врагу, к Александру I, чем к крестьянской массе России, так в 1815 г. он не желал даже во имя борьбы с вражескими полчищами звать на помощь революцию. «Я не хочу быть королем жакерии», — сказал Наполеон типичному выразителю буржуазных чаяний в этот момент, Бенжамену Констану. Император велел позвать его во дворец вскоре после своего нового воцарения именно по вопросу либеральной государственной реформы, которая удовлетворила бы буржуазию, доказала бы новоявленное свободомыслие императора Наполеона и вместе с тем утихомирила бы поднявших голову якобинцев.

Очень интересно отметить, что Наполеон отлично сознавал и тогда и впоследствии, что только революционный подъем мог бы помочь ему в этот момент, а вовсе не умеренно-либеральные конституционные узоры: «Моя система защиты ничего не стоила, потому что средства были слишком не в уровень с опасностью. Нужно было бы снова начать революцию, чтобы я мог получить от нее все средства, какие она создает. Нужно было взволновать все страсти, чтобы воспользоваться их ослеплением. Без этого я не мог уже спасти Францию», — говорил он, вспоминая о 1815 г. И знаменитый военный историк и теоретик генерал Жомини совершенно в этом случае согласен с императором. Отказавшись даже от попытки вызвать к жизни 1793 год и могучие силы, которые сам же он признал за революцией, Наполеон велел отыскать где-то спрятавшегося либерала и теоретика-публициста Бенжамена Констана и привести во дворец. Прятался Бенжамен Констан потому, что еще всего только за один день до въезда Наполеона в Париж он печатно называл возвращение императора общественным бедствием, а самого Наполеона именовал Нероном.

Бенжамен Констан предстал перед «Нероном» не без трепета и к восторгу своему узнал, что его не только не расстре-

ляют, но предлагают ему немедленно изготовить конституцию для Французской империи.

6 апреля Констана привели к императору, а 23 апреля конституция была готова. Она была странно окрещена: «Дополнительный акт к конституциям империи». Наполеон хотел, чтобы этим была установлена преемственность между первым и вторым его царствованием. Бенжамен Констан просто взял хартию, т. е. конституцию, данную королем Людовиком XVIII в 1814 г., и сделал ее несколько либеральнее. Сильно был понижен избирательный ценз для избирателей и для избираемых, но все-таки, чтобы попасть в депутаты, нужно было быть богатым человеком. Несколько больше обеспечивалась свобода печати. Уничтожалась предварительная цензура, преступления печати могли отныне караться лишь по суду. Кроме избираемой палаты депутатов (из 300 человек), учреждалась другая — верхняя палата, которая должна была назначаться императором и быть наследственной. Законы должны были проходить через обе палаты и утверждаться императором.

Наполеон принял этот проект, и новая конституция была опубликована 23 апреля. Наполеон не очень сопротивлялся либеральному творчеству Бенжамена Констана. Ему хотелось только поотложить выборы и созыв палат, пока не решится вопрос о войне, а там, если будет победа, видно будет, что делать и с депутатами, и с прессой, и с самим Бенжаменом Констаном. До поры до времени эта конституция должна была успокоить умы. Но либеральная буржуазия плохо верила в его либерализм, и императора очень просили ускорить созыв палат. Наполеон после некоторых возражений согласился и на 25 мая назначил «майское поле», когда должны были быть оглашены результаты плебисцита, которому император подверг свою новую конституцию, должны были быть розданы знамена национальной гвардии и открыться заседания палаты.

Плебисцит дал 1 552 450 голосов за конституцию и 4800 против. Церемония раздачи знамен (фактически она произошла не 26 мая, а 1 июня) была величественной и волнующей; тогда же, 1 июня, открылись заседания вновь избранной палаты (называвшейся, как прежде, Законодательным корпусом).

Всего полторы недели заседали народные представители, а Наполеон был ими уже недоволен и обнаруживал гнев. Он был абсолютно не способен ужиться с каким бы то ни было ограничением своей власти и даже с признаком чьего-либо независимого поведения. Палата выбрала своим председателем Ланжюине, умеренного либерала, бывшего жирондиста, которого Наполеон не очень жаловал. Еще и оппозиции никакой в этом нельзя было усмотреть — Ланжюине определенно пред-

почитал Наполеона Бурбонам,— а император уже сердился и, принимая всеподданнейший и очень почтительный адрес от Законодательного корпуса, сказал: «Не будем подражать примеру Византии, которая, теснимая со всех сторон варварами, стала посмешищем потомства, занимаясь отвлеченными дискуссиями в тот момент, когда таран разбивал ворота города». Он намекал на европейскую коалицию, полчища которой со всех сторон устремились к пределам Франции.

Он принял адрес народных представителей 11 июня, а на другой день, 12 июня, выехал к армии, на последнюю в его жизни гигантскую схватку с Европой.

Уезжая к армии, Наполеон хорошо понимал, что он оставляет в тылу людей весьма ненадежных и что дело не столько в либералах собравшейся 11 июня палаты, сколько в человеке, которого он сейчас же по возвращении своем с острова Эльбы опять сделал министром полиции. Жозеф Фуше ухитрился перед самым въездом Наполеона в Париж вызвать против себя гнев Бурбонов и опалу, и этот искусный прием доставил ему место министра, как только Наполеон вошел в Париж. Что Фуше способен на всякую интригу, подлость и измену, это Наполеону было очень хорошо известно. Но, во-первых, в Вандее было неспокойно, а Фуше знал, как никто, вандейские инсуррекции и умел, как никто, с ними бороться, а во-вторых, император надеялся на ссору Фуше с Бурбонами. Вместе с тем, как и в первое свое царствование, используя полицейские и провокаторские таланты Фуше, Наполеон учредил особое, совсем уже засекреченное, наблюдение за самим Фуше. Наблюдателем за Фуше он назначил Флери де Шабулона, того самого, который приезжал тайком к императору на остров Эльбу. Флери де Шабулон однажды разоблачил какие-то тайные махинации между Фуше и Меттернихом. Правда, Фуше отвертелся от опасности, но Наполеон все-таки заключил (дело было еще в мае) разговор с ним следующими словами: «Вы изменник, Фуше! Мне бы следовало приказать вас повесить!» На что Фуше, за свою долгую службу при Наполеоне уже несколько привыкший к таким оборотам беседы, отвечал с низким поклоном, изогнувшись в три погибели: «Я не разделяю этого мнения вашего величества».

Но что же было делать? И палата смирится, и Фуше будет верен и обезврежен, если удастся победить союзников. А если не удастся, то не все ли равно, кто похоронит империю: либеральные депутаты или неверные министры?

Наполеон полагался на Даву, которого оставил на правах генерал-губернатора Парижа и военного министра, полагался на старого убежденного республиканца Карно, который прежде ни за что не хотел служить деспоту, задушившему респуб-

лику, а теперь, в 1815 г., сам предложил Наполеону свои услуги, считая Бурбонов наихудшим злом.

Наполеон твердо знал, что и рабочие предместья (голодавшие в 1815 г. еще больше, чем весной 1814 г.) не восстанут у него в тылу, так же как они не восстали ни в 1814 г., ни еще раньше, в 1813 г.,— и тоже по той самой причине, по какой Карно пошел к нему теперь на службу и якобинцы приветствовали его высадку в бухте Жуан. Он понимал, что и рабочие, и Карно, и якобинцы в провинции сейчас смотрят на него не как на императора, защищающего свой престол от другого монархического претендента, но как на вождя войск послереволюционной Франции, который отправляется оборонять территорию от интервентов и от Бурбонов, идущих восстановлять старый строй. Этот военный вождь был к тому же в глазах всего света, и друзей и врагов, неподражаемым мастером и художником в деле войны, гениальнейшим из всех когда-либо существовавших до того времени великих полководцев, виртуозом военной стратегии и тактики. Страна и стоявшая перед ней Европа замерли в ожидании.

5

Эта последняя в жизни Наполеона война являлась всегда предметом страстных споров и обильно была использована не только научной, но и художественной литературой. О ряде фатальных случайностей, вырвавших у Наполеона уже совсем будто бы готовую победу, говорит почти вся литература.

С точки зрения научного, реалистического анализа событий этот вопрос о случайностях может иметь разве только военно-технический интерес. Если даже, не вникая и не критикуя, принять без малейших возражений, с полной готовностью тезис, что не будь таких-то случайностей, Наполеон выиграл бы битву под Ватерлоо, то все равно главный результат всей этой войны был бы тот же самый: империя погибла бы, потому что Европа только начинала развертывать все свои силы, а Наполеон уже окончательно истощил и свои силы и военные резервы.

Из 198 тысяч, которыми располагал Наполеон 10 июня 1815 г., более трети было разбросано по разным местам страны (в одной только Вандее на всякий случай пришлось оставить до 65 тысяч человек). У императора для предстоящей кампании было непосредственно в руках около 128 тысяч при 344 орудиях в составе гвардии, пяти армейских корпусов и резерва кавалерии. Кроме того, имелась чрезвычайная армия (национальная гвардия и пр.) в 200 тысяч человек, из которых половина не обмундированных, а третья часть не была вооружена.

Если бы кампания затянулась, то он, используя организационную работу своего военного министра Даву, мог бы собрать с величайшими усилиями еще около 230—240 тысяч человек. А как же кампания в случае побед Наполеона могла не затянуться, когда англичане, пруссаки, австрийцы, русские выставили уже сразу около 700 тысяч человек, а к концу лета выставили бы еще 300 тысяч и к осени еще дополнительные силы? Они рассчитывали в общем выставить больше миллиона бойцов.

Коалиция совершенно непоколебимо решила покончить с Наполеоном. После первого испуга и упадка духа все правительства держав, представители которых заседали на Венском конгрессе, обнаружили необычайную энергию. Все попытки Наполеона завести с какой-нибудь державой сепаратные переговоры были отклонены, Наполеон был объявлен вне закона как «враг человечества».

Достаточно напомнить, даже оставляя в стороне второстепенные державы, что после Ватерлоо немедленно во Францию вторглись армии: австрийская (230 тысяч человек), русская (250 тысяч человек), прусская (310 тысяч человек), английская (100 тысяч человек). Составляться эти армии начали с большой поспешностью тотчас после получения известий о высадке Наполеона на юге Франции.

Кроме ненависти к захватчику и завоевателю, кроме ужаса перед страшным полководцем и вечным победителем, на этот раз на Александра, Франца, Фридриха-Вильгельма, Меттерниха, лорда Кэстльри (очень обеспокоенного как раз в это время настроениями рабочих и буржуазно-реформистскими течениями в своей стране),— на всю эту реакционную правящую верхушку Европы действовала еще и тревога по поводу новых «либеральных» замашек вернувшегося Наполеона. Красный платок, которым обматывал свою голову Марат, был для европейских правителей более страшен, чем императорский золотой венец Наполеона. В 1815 г. им показалось, что Наполеон именно собирается «воскресить Марата» для общей борьбы. Наполеон на это не только не решился, а больше всего этого боялся, но в Вене, Лондоне, Берлине и Петербурге так померещилось. И это еще более усилило и без того непримиримую вражду к завоевателю.

Когда Наполеон прибыл к армии, он был встречен с необычайным энтузиазмом. Английские лазутчики не могли прийти в себя от удивления и доносили начальнику английской армии Веллингтону, что обожание Наполеона в армии дошло до размеров умопомешательства. С этими свидетельствами согласуются и показания других иностранных соглядатаев, присматривавшихся к настроениям во Франции. Ни Веллингтон, ни

его шпионы не разглядели в настроениях солдат еще и другой черты, которой не было до сих пор в наполеоновских армиях,— это подозрительности и недоверия солдат к генералам и маршалам. Солдаты помнили, как маршалы в 1814 г. изменяли императору. Слепо веря Наполеону, они хотели, чтобы он поступил с «изменниками» так же, как в свое время Конвент с подозрительными генералами. Гильотина для изменников в генеральских галунах! Но Наполеон на это не шел, маршалы и генералы оставались на своих местах, он не решился на революционный террор ни в тылу, ни на фронте, хотя сам и проговорился, что это удвоило бы его силы.

Присутствие императора ободряюще подействовало на солдат: они уверились, что генералы и маршалы под хорошим надзором и можно не опасаться внезапного предательства с их стороны, в чем солдатская масса не всех, но некоторых из них подозревала.

Перед Наполеоном были англичане и пруссаки, первыми из всех союзников явившиеся на поле битвы. Австрийцы тоже спешили к Рейну. Еще в самом начале после нового воцарения Наполеона король неаполитанский Мюрат, усидевший на престоле в 1814 г. и молчаливо признанный пока в королевском звании Венским конгрессом, внезапно (дело было в марте 1815 г.), как только узнал о высадке императора, перешел на его сторону, объявил войну австрийцам, но был разбит, раньше чем сам Наполеон выступил против коалиции, так что теперь, в середине июня, Наполеон не мог рассчитывать даже на эту частичную диверсию, которая могла бы отвлечь часть австрийской армии. Но австрийцы еще были далеко. Прежде всего нужно было отбросить англичан и пруссаков. Веллингтон с английской армией стоял в Брюсселе, в Бельгии; Блюхер с пруссаками — разбросанно на реке Самбре и Маасе, между Шарлеруа и Льежем.

14 июня Наполеон начал кампанию вторжением в Бельгию. Он быстро двинулся в промежуток, который отделял Веллингтона от Блюхера, и бросился на Блюхера. Французы заняли Шарлеруа и с боем перешли через реку Самбру. Но операция Наполеона на правом фланге несколько замедлилась: генерал Бурмон, роялист по убеждениям, давно подозреваемый солдатами, бежал в прусский лагерь. Солдаты после этого стали еще подозрительнее относиться к своему начальству. Блюхеру этот инцидент показался благоприятным признаком, хотя он и отказался принять изменившего Наполеону генерала Бурмона и даже велел передать изменнику, что считает его «собачьими отбросами» (Блюхер выразился еще энергичнее). Наполеон, когда ему доложили об измене Бурмона, вандейца и роялиста, сказал: «Белые всегда останутся белыми».

Наполеон велел маршалу Нею еще 15 июня занять селение Катр-Бра на Брюссельской дороге, чтобы сковать англичан, но Ней, действуя вяло, опоздал это сделать. 16 июня произошло большое сражение Наполеона с Блюхером при Линьи. Победа осталась за Наполеоном; Блюхер потерял больше 20 тысяч человек, Наполеон — около 11 тысяч. Но Наполеон не был доволен этой победой, потому что если б не ошибка Нея, который задержал без нужды 1-й корпус, заставив его напрасно совершить прогулку между Катр-Бра и Линьи, он мог бы при Линьи уничтожить всю прусскую армию. Блюхер был разбит и отброшен (в неизвестном направлении), но не разгромлен.

17-го числа Наполеон дал передохнуть своей армии. Военные критики укоряют его, что он даром потерял драгоценный день и этим дал возможность разбитому Блюхеру привести свои войска в порядок. Около полудня Наполеон отделил от всей армии 36 тысяч человек, поставил над ними маршала Груши и велел ему продолжать преследование Блюхера. Часть кавалерии Наполеона преследовала англичан, которые накануне пытались у Катр-Бра сковать французов, но страшный летний ливень размыл дороги и прекратил преследование. Сам Наполеон с главными силами соединился с Неем и двинулся на север, по прямому направлению на Брюссель. Веллингтон со всеми силами английской армии занял позицию в 22 километрах от Брюсселя, на плато Мон-Сен-Жан, южнее деревни Ватерлоо. Лес Суаньи, севернее Ватерлоо, отрезал ему путь отхода к Брюсселю.

Веллингтон укрепился на этом плато. Его идея была ждать Наполеона на этой очень сильной позиции и продержаться, чего бы это ни стоило, до той поры, пока Блюхер успеет, оправившись от поражения и получив подкрепления, придти к нему на помощь.

Лазутчики один за другим доносили в английскую ставку, что, невзирая на размытые ливнем дороги, Наполеон безостановочно движется прямо к Мон-Сен-Жанскому плато. Если удастся продержаться до прихода Блюхера — победа; если не удастся — разгром английской армии. Так ставился для Веллингтона вопрос еще с полудня 17 июня, когда начальник штаба Блюхера, генерал Гнейзенау, дал ему знать, что Блюхер, как только оправится, поспешит к нему.

К исходу дня 17 июня Наполеон подошел со своими войсками к плато и вдали в тумане увидел английскую армию.

6

У Наполеона было приблизительно 72 тысячи человек, у Веллингтона — 70 тысяч в тот момент, когда утром 18 июня

1815 г. они стали друг против друга. Оба ожидали подкреплений и имели твердое основание ждать их: Наполеон ждал маршала Груши, у которого имелось не больше 33 тысяч человек; англичане ждали Блюхера, у которого после поражения, испытанного им при Линьи, осталось около 80 тысяч человек и который мог появиться с готовыми к бою 40—50 тысячами.

Уже с конца ночи Наполеон был на месте, но он не мог начать атаку на рассвете, потому что прошедший дождь так разрыхлил землю, что трудно было развернуть кавалерию. Император объехал утром свои войска и был в восторге от оказанного его приема: это был совсем исключительный порыв массового энтузиазма, не виданного в таких размерах со времен Аустерлица. Этот смотр, которому суждено было быть последним смотром армии в жизни Наполеона, произвел на него и на всех присутствующих неизгладимое впечатление.

Ставка Наполеона была сначала у фермы дю Кайю. В $11^1/_2$ часов утра Наполеону показалось, что почва достаточно высохла, и только тогда он велел начать сражение. Против левого крыла англичан открыт был сильный артиллерийский огонь 84 орудий и начата атака под руководством Нея. Одновременно французами была предпринята более слабая атака с целью демонстрации у замка Угумон на правом фланге английской армии, где нападение встретило самый энергичный отпор и натолкнулось на укрепленную позицию.

Атака на левом крыле англичан продолжалась. Убийственная борьба шла полтора часа, как вдруг Наполеон заметил в очень большом отдалении на северо-востоке у Сэн-Ламбер неясные очертания двигающихся войск. Он сначала думал, что это Груши, которому с ночи и потом несколько раз в течение утра был послан приказ спешить к полю битвы. Но это был не Груши, а Блюхер, ушедший от преследования Груши и после очень искусно исполненных переходов обманувший французского маршала, а теперь спешивший на помощь Веллингтону. Наполеон, узнав истину, все-таки не смутился; он был убежден, что по пятам за Блюхером идет Груши и что когда оба они прибудут на место боя, то хотя Блюхер приведет Веллингтону больше подкреплений, чем Груши приведет императору, но все-таки силы более или менее уравновесятся, а если до появления Блюхера и Груши он успеет нанести сокрушительный удар англичанам, то сражение после подхода Груши будет окончательно выиграно.

Направив против Блюхера часть конницы, Наполеон приказал маршалу Нею продолжать атаку левого крыла и центра англичан, уже испытавшего с начала боя ряд страшных ударов. Здесь наступали в плотном боевом построении четыре дивизии корпуса д'Эрлона. На всем этом фронте закипел крово-

пролитный бой. Англичане встретили огнем эти массивные колонны и несколько раз ходили в контратаку. Французские дивизии одна за другой вступили в бой и понесли страшные потери. Шотландская кавалерия врубилась в эти дивизии и изрубила часть состава. Заметив свалку и поражение дивизии, Наполеон лично примчался к высоте у фермы Бель-Альянс, направил туда несколько тысяч кирасир генерала Мильо, и шотландцы, потеряв целый полк, были отброшены.

Эта атака расстроила почти весь корпус д'Эрлона. Левое крыло английской армии не могло быть сломлено. Тогда Наполеон меняет свой план и переносит главный удар на центр и правое крыло английской армии. В $3^{1}/_{2}$ часа ферма Ла-Хэ-Сэнт была взята левофланговой дивизией корпуса д'Эрлона. Но этот корпус не имел сил развить успех. Тогда Наполеон передает Нею 40 эскадронов конницы Мильо и Лефевр-Денуэтта с задачей нанести удар правому крылу англичан между замком Угумон и Ла-Хэ-Сэнт. Замок Угумон был, наконец, в это время взят, но англичане держались, падая сотнями и сотнями и не отступая от своих главных позиций.

Во время этой знаменитой атаки французская кавалерия попала под огонь английской пехоты и артиллерии. Но это не смутило остальных. Был момент, когда Веллингтон думал, что все пропало,— а это не только думали, но и говорили в его штабе. Английский полководец выдал свое настроение словами, которыми он ответил на доклад о невозможности английским войскам удержать известные пункты: «Пусть в таком случае они все умрут на месте! У меня уже нет подкреплений. Пусть умрут до последнего человека, но мы должны продержаться, пока придет Блюхер»,— отвечал Веллингтон на все встревоженные доклады своих генералов, бросая в бой свои последние резервы.

Но Наполеон не ждал пехотных резервов. Он послал в огонь еще кавалерию, 37 эскадронов Келлермана. Наступил вечер. Наполеон послал наконец на англичан свою гвардию и сам направил ее в атаку. И вот в этот самый момент раздались крики и грохот выстрелов на правом фланге французской армии: Блюхер с 30 тысячами солдат прибыл на поле битвы. Но атаки гвардии продолжаются, так как Наполеон верит, что вслед за Блюхером идет Груши! Вскоре, однако, распространилась паника: прусская кавалерия обрушилась на французскую гвардию, очутившуюся между двух огней, а сам Блюхер бросился с остальными своими силами к ферме Бель-Альянс, откуда перед этим и выступил Наполеон с гвардией. Блюхер этим маневром хотел отрезать Наполеону отступление. Уже было восемь часов вечера, но еще достаточно светло, и тогда Веллингтон, весь день стоявший под непрерывными убийствен-

ными атаками французов, перешел в общее наступление. А Груши все не приходил. До последней минуты Наполеон ждал его напрасно.

Все было кончено. Гвардия, построившись в каре, медленно отступала, отчаянно обороняясь, сквозь тесные ряды неприятеля. Наполеон ехал шагом среди охранявшего его батальона гвардейских гренадер. Отчаянное сопротивление старой гвардии задерживало победителей. «Храбрые французы, сдавайтесь!» — крикнул английский полковник Хелькетт, подъехав к окруженному со всех сторон каре, которым командовал генерал Камбронн, но гвардейцы не ослабили сопротивления, предпочли смерть сдаче. На предложение сдаться Камбронн крикнул англичанам презрительное ругательство. На других участках французские войска, и особенно у Плансенуа, где дрался резерв — корпус Лобо,— оказали сопротивление, но в конечном итоге, подвергаясь атакам свежих сил пруссаков, они рассеялись в разных направлениях, спасаясь бегством, и только на следующий день, и то лишь частично, стали собираться в организованные единицы. Пруссаки преследовали врага всю ночь на далекое расстояние.

7

25 тысяч французов и 22 тысячи англичан и их союзников легли на поле битвы убитыми и ранеными. Но поражение французской армии, потеря почти всей артиллерии, приближение к границам Франции сотен тысяч свежих австрийских войск, близкая перспектива появления еще новых сотен тысяч русских — все это делало положение Наполеона совсем безнадежным, и он это сознал сразу, удаляясь от ватерлооского поля, на котором кончилось его кровавое поприще. Изменил ли Груши, своим опозданием погубивший французскую армию, или только случайно ошибся и сбился с дороги, вел ли себя Ней во время кавалерийской атаки против англичан, как герой (мнение Тьера) или как сумасшедший (мнение Мадлена), стоило ли ждать полудня или нужно было начинать бой на рассвете, чтобы покончить с англичанами до прихода Блюхера,— все эти и тысяча других вопросов, связанных с битвой при Ватерлоо, занимали больше ста лет историков, занимали (и очень страстно) современников этого сражения. Но эти вопросы, нужно тут же отметить, очень мало занимали в этот первый момент ум самого Наполеона. Внешне он был спокоен и очень задумчив во все время пути от Ватерлоо до Парижа, но лицо его не было таким угрюмым, как после Лейпцига, хотя теперь в самом деле все было для него потеряно, и потеряно безвозвратно.

Любопытна данная им спустя неделю после Ватерлоо оценка сокровенного смысла этого сражения: «Державы не со мной ведут войну, а с революцией. Они всегда видели во мне ее представителя, человека революции».

В этой оценке он всецело сошелся со всеми ближайшими поколениями свободомыслящей Европы, от которых был так далек во всех других воззрениях. Достаточно вспомнить, как волновала всегда Герцена картина художника, изобразившего встречу и взаимные поздравления Веллингтона и Блюхера ночью на поле Ватерлооской битвы. «Наполеон додразнил другие народы до дикого бешенства отпора,— пишет Герцен,— и они стали отчаянно драться за свои рабства и своих господ. На этот раз военный деспотизм был побежден феодальным... Я не могу равнодушно пройти мимо гравюры, представляющей встречу Веллингтона с Блюхером в минуту победы под Ватерлоо. Я долго смотрю на нее всякий раз, и всякий раз внутри груди делается холодно и страшно». Веллингтон и Блюхер «приветствуют радостно друг друга. И как им не радоваться. Они только что своротили историю с большой дороги по ступицу в грязь, и в такую грязь, из которой ее в полвека не вытащат... Дело на рассвете... Европа еще спала в это время и не знала, что судьбы ее переменились». Герцен винил при этом самого Наполеона, который «додразнил» европейские народы до бешенства своим произволом и презрением к их интересам и их достоинству; сам Наполеон об *этой* стороне дела всегда молчал, она его нисколько не занимала. Но что разгромленная им так много раз феодально-абсолютистская аристократия взяла под Ватерлоо до известной степени свой реванш, что послереволюционная Франция как-то тоже отступила вместе со старой гвардией 18 июня 1815 г., это императору было, судя по его словам, вполне ясно.

Замечательно, что он уже сразу после Ватерлоо говорил обо всей своей грандиозной эпопее и об этом только что наступившем ее конце как будто из какого-то отдаления, а не как центральное действующее лицо.

С ним совершилась сразу крутая перемена. Он приехал после Ватерлоо в Париж не бороться за престол, а сдавать все свои позиции. И не потому, что исчезла его исключительная энергия, а потому, что он, по-видимому, не только понял умом, но ощутил всем существом, что он свое дело — худо ли, хорошо ли — сделал и что его роль окончена. Еще когда за 15 месяцев до того он, уже держа перо в руках, чтобы подписать в Фонтенебло свое первое отречение, вдруг поднял голову и сказал своим маршалам: «А может быть, нам пойти на них? Мы их разобьем!» — ему казалось, что роль его не кончена. Даже еще три месяца назад, в марте этого же 1815 г., он сде-

лал то, чего никто во всемирной истории не делал,— он был тогда еще полон веры в себя и свое предназначение.

Теперь — все потухло сразу и навеки. Он, после Ватерлоо, ни разу не переживал такого отчаяния, как 11 апреля 1814 г., когда принял яд. Но он потерял всякий интерес и вкус к деятельности, он просто ждал, что с ним сделают грядущие события, в подготовке которых он уже решил не принимать никакого участия.

Он прибыл в Париж 21 июня, созвал министров. Карно предлагал потребовать у палат провозглашения диктатуры Наполеона. Даву советовал просто объявить перерыв сессии и распустить палату. Наполеон отказался это сделать. Палата в это время тоже собралась и, по предложению снова появившегося на исторической сцене Лафайета, объявила себя нераспускаемой.

Наполеон впоследствии сказал, что от одного его слова зависело, чтобы народная масса перерезала всю палату, и многие депутаты, пережившие эти дни, подтвердили его слова. Но опять-таки: он для этого должен был противопоставить Лафайету «Марата», либералам, желавшим воскресить 1789 г., противопоставить 1793 г., буржуазии противопоставить плебейскую массу, которая спасла Францию от монархической Европы за четверть века до той поры. Ни до, ни после Ватерлоо Наполеон не захотел на это пойти.

Любопытнейшие известия приходили непрерывно из рабочих предместий 21, 22, 23 июня: там громко, собираясь большими толпами, высказывались решительно против отречения императора, требовали продолжения военной борьбы против надвигавшегося вражеского нашествия.

В течение всего 21 июня, почти всей ночи с 21 на 22 июня, в течение всего дня 22 июня в Сент-Антуанском и Сен-Марсельском предместьях, в квартале Тампль по улицам ходили процессии с криками: «Да здравствует император! Долой изменников! Император или смерть! Не нужно отречения! Император и оборона! Долой палату!» Но Наполеон уже не хотел бороться и не хотел царствовать.

В Париже происходили совещания встревоженных финансистов, членов торговой палаты, банкиров; паническое настроение биржи не поддавалось описанию. Наполеон ясно мог видеть, что буржуазия покидает его, что он ей не нужен и кажется опасным. Ему изменил тот класс, на который он в течение всего своего царствования опирался, и он окончательно отказался от продолжения борьбы.

22 июня он отрекся вторично от престола в пользу своего маленького сына (бывшего еще с весны 1814 г. с матерью у своего деда, императора Франца). Его второе царствование,

продолжавшееся сто дней, кончилось. На этот раз Наполеон не мог надеяться, что державы согласятся пожертвовать Бурбонами в пользу его сына.

Громадная толпа собралась тогда вокруг Елисейского дворца, где остановился Наполеон после возвращения из армии. «Не нужно отречения! Да здравствует император!» — кричали собравшиеся. Дело дошло до того, что буржуазия центральных кварталов столицы стала серьезнейшим образом беспокоиться и ждать революционного взрыва. Революция, да еще такая, которая может провозгласить диктатором Наполеона, стала мерещиться даже трезвой бирже и пугать ее. Как только разнесся слух об отречении императора, государственная рента моментально круто пошла в гору: буржуазия гораздо легче примирялась с грядущей перспективой вступления в город англичан, пруссаков, австрийцев и русских, чем с начинавшимся как будто политическим вмешательством в дело рабочих предместий столицы, желавших сопротивляться нашествию. Узнав 22-го вечером, что Наполеон выехал в Мальмезон и что отречение его решено им бесповоротно, толпы стали медленно расходиться.

Участие и настроение отдельных групп рабочих объяснялось, между прочим, отчасти и тем, что летом в Париже всегда, кроме оседлого рабочего населения, находились пришедшие из департаментов многие десятки тысяч строительных рабочих, занятых постройкой домов и мощением улиц: каменщики, плотники, столяры, слесари, маляры, кровельщики, обойщики, землекопы и т. п. Они шли из деревень в столицу на отхожие промыслы, на летний строительный сезон. Они были гораздо более связаны с деревней, чем постоянные парижские рабочие. И поэтому они ненавидели Бурбонов двойной ненавистью — и как рабочие и как крестьяне, а в Наполеоне видели верный залог избавления от Бурбонов. Эта масса не хотела успокоиться, не хотела примириться с отречением Наполеона. Она избила до полусмерти на улице несколько хорошо одетых людей, в которых заподозрила роялистов-«аристократов», потому что они отказались кричать с толпой: «Не нужно отречения!» Эти народные толпы беспрестанно сменяли друг друга. «Никогда народ, тот самый народ, который платит и сражается, не обнаруживал к императору больше привязанности, чем в эти дни»,— пишет свидетель того, что происходило в Париже не только *до* отречения, но и после него, 23, 24, 25 июня, когда тысячные толпы все еще не хотели примириться с совершившимся.

Из Мальмезона отрекшийся император выехал 28 июня. Он направился к берегу Атлантического океана. У него созрело решение сесть на один из фрегатов, стоявших в порту Рошфор,

и отправиться в Америку. Два фрегата были, по приказу морского министра, предоставлены для этого путешествия в распоряжение императора. Когда 3 июля в 8 часов утра Наполеон прибыл в Рошфор, фрегаты были готовы, но выйти в море было нельзя: английская эскадра тесно блокировала гавань. Наполеон стал ждать. Он явно медлил и сам с отъездом. Романтическое поколение 20 и 30-х годов даже создало гипотезу, что «к славе императора недоставало только мученичества», что наполеоновская легенда была бы не так полна и не так величава, если бы в памяти человечества не остался навсегда этот образ нового Прометея, прикованного к скале, и что Наполеон сознательно не захотел иного конца своей эпопеи. Никогда после сам он не дал удовлетворительного объяснения своему поведению в эти дни. Ему предлагали вывезти его не на одном из фрегатов, а на небольшом судне тайно. Он не пожелал. В г. Рошфоре узнали о присутствии императора, и каждый день под его окнами стояла часами толпа в несколько тысяч человек, кричавшая: «Да здравствует император!» Наконец 8 июля он переехал на борт одного из своих двух фрегатов и вышел в море. Фрегат остановился у большого острова Экс, лежавшего несколько северо-западнее Рошфора, но дальше выйти не мог, так как английская эскадра замыкала все выходы в океан...

Наполеон вышел на берег. Его сейчас же узнали. Матросы, солдаты, рыбаки, все окрестное население сбежалось к фрегату. Солдаты стоявшего там гарнизона просили, чтобы император произвел им смотр. Наполеон это сделал к величайшему их восторгу. Он осмотрел и укрепления острова, некогда выстроенные тут по его приказу.

Когда он вернулся на борт фрегата, оказалось, что из Парижа фрегатам прислан приказ только в том случае выйти в море, если поблизости нет английской эскадры. Но англичане стояли у выхода из бухты в боевой готовности...

Наполеон тотчас же принял решение. При императоре находились герцог Ровиго (Савари), генерал Монтолон, маршал Бертран и Лас-Каз, офицеры великой армии, фанатически преданные Наполеону. Император отправил на крейсировавшую вокруг английскую эскадру Савари и Лас-Каза для переговоров, не пропустит ли эскадра французские фрегаты, которые отвезут Наполеона в Америку? Не получено ли распоряжение по этому поводу? Принятые капитаном Мэтлендом на корабле «Беллерофон», они натолкнулись на вежливый, но решительный отказ. «Где же ручательство,— сказал Мэтленд,— что император Наполеон не вернется снова и не заставит опять Англию и всю Европу принести новые кровавые и материальные жертвы, если он теперь выедет в Америку?» На это Савари

отвечал, что есть огромная разница между первым отречением в 1814 г. и нынешним, вторым отречением, что теперь он отрекся совершенно добровольно, хотя мог еще оставаться на престоле и продолжать войну и после Ватерлоо; что император решительно и навсегда удаляется в частную жизнь. «Но если так, то почему император не обратится к Англии и не ищет в Англии убежища?» — возразил Мэтленд. Из дальнейшего разговора, однако, посланные Наполеона не уловили никаких обещаний, ни даже главного слова: будет ли Англия считать Наполеона пленником или нет.

Когда они вернулись на свой фрегат и когда матросы и офицеры обоих французских судов узнали, что император может попасть в руки англичан, экипаж бурно взволновался. Капитан другого фрегата, Понэ, заявил генералу Монтолону: «Я только что совещался с моими офицерами и всем моим экипажем. Я говорю, следовательно, и от своего и от имени всех». После такого вступления он изложил свой план: его фрегат «Медуза» ночью нападет на «Беллерофон» и затеет с ним бой. Это займет и отвлечет англичан на два часа; конечно, «Медуза» по истечении этих двух часов погибнет, но за эти два часа другой фрегат, «Заале», на котором находится император, успеет проскользнуть и выйти в океан, так как остальная английская эскадра стоит далеко от «Беллерофона», а те суда, которые находятся близко, очень малы и задержать фрегат «Заале» не смогут. Матросы и офицеры «Медузы» выразили полную готовность погибнуть, чтобы спасти императора.

Наполеон, которому доложили об этом предложении, сказал Монтолону, что не согласен принять такую жертву; что он теперь уже не император, а для спасения частного человека жертвовать французским фрегатом со всем его личным составом нельзя. Наполеон покинул фрегат «Заале» и перебрался на остров Экс. И там несколько молодых офицеров брались украдкой на небольшом судне вывезти императора.

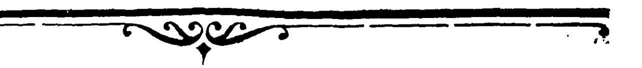
Но Наполеон уже решил свою судьбу. Лас-Каз снова отправился к капитану Мэтленду и сообщил ему, что Наполеон решился доверить свою участь Англии. Мэтленд утверждал, не беря на себя никаких обязательств, конечно, что императору будет оказан приличный и достойный прием.

15 июля 1815 г. Наполеон сел на бриг «Ястреб», который должен был перевезти его на «Беллерофон». На нем был всегдашний любимый его мундир гвардейских егерей и треугольная шляпа. Матросы «Ястреба» выстроились во фронт, командир брига рапортовал императору. Матросы кричали: «Да здравствует император!» «Ястреб» подошел к «Беллерофону». Капитан Мэтленд встретил императора низким поклоном на нижней ступеньке лестницы. Поднявшись на борт, Наполеон увидел

весь выстроенный перед ним экипаж английского военного корабля, и Мэтленд представил ему свой штаб.

Наполеон сейчас же ушел в лучшее помещение на корабле, предоставленное ему Мэтлендом.

Самый могучий, упорный и грозный враг, какого Англия имела за все свое историческое существование, был в ее руках.



Глава XVII

ОСТРОВ СВ. ЕЛЕНЫ
1815—1821 гг.

1

Еще в одно из самых первых после Васко де Гама португальских путешествий в южные части Атлантического океана в начале XVI в. был открыт под $15^1/_2°$ южной широты небольшой совершенно пустынный островок. Открыт он был 21 мая 1501 г., как раз в тот день, когда католическая церковь праздновала память св. Елены, отсюда остров и получил свое название. Остров принадлежал некоторое время (в XVII в.) голландцам и окончательно был отнят у них англичанами в 1673 г. Английская Ост-Индская компания тогда же устроила здесь стоянку для судов, направляющихся из Англии в Индию и обратно.

Сюда-то и решило английское правительство отправить Наполеона, как только получило известие о том, что император находится на борту «Беллерофона». Самый близкий берег (африканский) находится почти в 2 тысячах километрах от острова; расстояние от Англии до острова для тогдашнего парусного флота измерялось, приблизительно, $2^1/_2$—3 месяцами пути. Это географическое положение острова Св. Елены и повлияло больше всего на решение английского кабинета. После *Ста дней* Наполеон казался еще страшнее, чем до этого последнего акта своей эпопеи. Возможное новое появление Наполеона во Франции могло вызвать новое восстановление империи и новую всеевропейскую войну.

Уже вследствие своего положения на океане и отдаленности от суши остров Св. Елены гарантировал невозможность возвращения Наполеона.

Романтическая поэзия и французская патриотическая историография впоследствии рассказывали об этом острове как о месте, специально выбранном англичанами, чтобы поскорее уморить своего пленника. Это неверно. Климат острова Св. Елены очень здоровый. В самом жарком месяце средняя дневная температура — около 24° по Цельсию, в самом холодном меся-

це — около $18^1/_2°$, а средняя годовая температура 21°. Теперь там больших лесов сравнительно мало, но 100 лет тому назад на острове их было еще много. Питьевая вода очень вкусная и здоровая, орошение острова обильное, много травы и густых кустарников, зарослей, где водится дичь. Весь остров занимает 122 квадратных километра и базальтовыми темнозелеными почти отвесными скалами как бы подымается из океана.

Когда Наполеону объявили о том, что его местопребыванием будет остров Св. Елены, он протестовал, заявив, что с ним не имеют права обращаться, как с военнопленным. С «Беллерофона» он пересел на фрегат «Нортумберлэнд», который после $2^1/_2$ месяцев плавания и привез 15 октября 1815 г. пленного императора на остров, где ему суждено было окончить свои дни.

Наполеона сопровождала в изгнание очень небольшая свита, так как английское правительство отказало большинству домогавшихся следовать за императором на остров Св. Елены. С ним были маршал Бертран с женой, генерал граф Монтолон с женой, генерал Гурго и Лас-Каз со своим сыном. Был также его слуга Маршан и кое-кто еще из прислуги (корсиканец Сантини и пр.). Сначала Наполеону предоставили помещение не очень удобное, потом более поместительный дом в части острова, называемый Лонгвудом.

До апреля 1816 г. главное начальство над островом принадлежало адмиралу Кокбэрну, а с апреля 1816 г. до самой смерти Наполеона губернатором был Гудсон Лоу. Этот Лоу был тупым и ограниченным служакой, боявшимся всего на свете, а больше всего — своего пленника. Лоу был подавлен чувством ответственности, страхом, что Наполеон снова бежит. Вместе с тем по инструкции, данной губернатору, Наполеон пользовался свободой, выходил и выезжал куда угодно, совершал верховые прогулки, принимал или не принимал кого ему заблагорассудится. Наполеон с самого начала был в непримиримо неприязненных отношениях с Гудсоном Лоу. Он почти вовсе отказывался принимать губернатора, не отвечал на приглашения к обеду на том основании, что они были адресованы генералу Бонапарту (Англия была с Наполеоном в войне с 1803 г., когда он еще не был императором).

Были на острове также представители держав: Франции, России, Австрии. Наполеон принимал иногда путешественников англичан и неангличан, которых по пути в Индию или в Африку (или из Индии и Африки в Европу) заносило на остров Св. Елены.

Был прислан и размещен в единственном городке Джемстоуне, расположенном далеко от Лонгвуда, целый отряд войск

для охраны острова. Любопытно, что и офицеры и солдаты гарнизона на острове обнаруживали к Наполеону, смертельному врагу Англии, не только почтение, но иногда какое-то сентиментальное чувство. Солдаты передавали ему букеты цветов, просили у наполеоновской свиты, как милости, чтобы им позволено было украдкой на него взглянуть. Офицеры, даже спустя много лет, выражали, говоря о пленнике, из-за которого им пришлось прожить несколько лет на пустынном острове, чувство симпатии.

Это наконец обратило на себя внимание комиссаров держав, живших для наблюдения за Наполеоном на острове: «Что более всего удивительно,— заявлял граф Бальмэн, представитель Александра I,— это влияние, которое этот человек, пленник, лишенный трона, окруженный стражей, оказывает на всех, кто к нему приближается... Французы трепещут при виде его и считают себя совершенно счастливыми, что служат ему... Англичане приближаются к нему только с благоговением. Даже те, которые его стерегут, ревностно ищут его взгляда, домогаются от него одного словечка. Никто не осмеливается держать себя с ним на равной ноге».

Маленький двор Наполеона, последовавший за ним на остров Св. Елены и поселившийся с ним в Лонгвуде, ссорился и интриговал точь-в-точь, как если бы все они были еще в Тюильрийском дворце в Париже. Лас-Каз, Гурго, Монтолон, Бертран обожали Наполеона, заявляли, что он для них бог, и ревновали друг к другу. Генерал Гурго даже раз вызвал на дуэль Монтолона, и только гневный окрик императора положил конец ссоре. Наполеон под разными предлогами даже отправил спустя три года Гурго в Европу, так он ему надоел своим обожанием и невозможным характером. Лишился он и Лас-Каза, которого Гудсон Лоу выжил с острова в 1818 г. Лас-Каз записывал беседы с Наполеоном, а многое Наполеон и просто диктовал ему, и из всей литературы воспоминаний, относящихся к острову Св. Елены, конечно, эти записи наиболее любопытный памятник. Когда Лас-Каз должен был уехать, у Наполеона уже не оказалось такого подходящего и такого образованного секретаря, и о последних годах жизни императора мы поэтому знаем гораздо меньше.

2

Не придирки Гудсона Лоу, досадные и мелочные, но все же не могущие оскорбить Наполеона сколько-нибудь серьезно, тем более что он вовсе и не пускал к себе губернатора, не климат острова, здоровый и ровный, не материальные условия жизни, бывшие ничуть не хуже, чем, например, у самого губернатора,

порождали ту угрюмую тоску, которой Наполеон никогда не делился со своим маленьким двором, но которую они все очень хорошо замечали. По-видимому, его больше всего убивала праздность. Он очень много читал, катался верхом, ходил, диктовал Лас-Казу. Но перейти к такому существованию после привычки к неустанной работе, к 15-часовому, а иногда 18-часовому рабочему дню, к которому он привык за всю свою жизнь, было для него непереносимо.

Свое настроение он скрывал. Он старался быть разговорчивым и оживленным с окружающими, часто и сам, по-видимому, отвлекался этим от своей тоски. Переносил он свое положение стоически.

Уже во время долгого морского переезда на «Нортумберлэнде» он начал диктовать Лас-Казу свои воспоминания. Он продолжал это делать и на острове вплоть до отъезда Лас-Каза. Разговоры с Лас-Казом, разговоры с Монтолоном, с Гурго, продиктованные им и им просмотренные «Письма с Мыса», которые по его поручению (но без его подписи) напечатал потом Лас-Каз,—все эти источники дают понятие не об объективной исторической истинности фактов, о которых идет там речь, но о том, какое представление об этих фактах желал Наполеон внушить потомству.

Из всех записей разговоров с Наполеоном, из всех воспоминаний, заслуживающих сколько-нибудь доверия (т. е., точнее говоря, из воспоминаний Лас-Каза, Монтолона и Гурго, потому что Антомарки и О'Мира никакого доверия не заслуживают), можно извлечь очень много для истории так называемой «наполеоновской легенды», но очень мало ценных и убедительных материалов для характеристики самого Наполеона и для истории его владычества. «Наполеоновская легенда», сыгравшая впоследствии такую активную историческую роль, стала строиться задолго до Виктора Гюго и Гейне, до Гете и Цедлица, до Пушкина и Лермонтова, до Бальзака и Беранже, до Мицкевича и Товянского и до целого легиона поэтов, публицистов, политических деятелей и историков, мысль и чувство которых, а больше всего воображение, упорно обращались и надолго приковывались к этой гигантской фигуре, показавшейся Гегелю после Иены олицетворением «мирового духа», двигателем истории человечества. Создаваться легенда начала уже на острове Св. Елены.

Но в этой моей работе речь идет исключительно о Наполеоне, а вовсе не об истории «наполеоновской легенды».

Итак, материалы, порожденные пребыванием императора на острове Св. Елены, дают очень мало. «Бог» изрекал непогрешимые глаголы, а верующие записывали. Обожание, влюбленность, религиозное почитание — не такие чувства, которые

способствуют критическому анализу. Говорил Наполеон с окружающими не для них, конечно, а для потомства, для истории. Мог ли он тогда быть очень твердо уверен, что его династии суждено еще раз царствовать во Франции, мы не знаем, но беседовал он с окружающими так, как если бы имел в виду этот будущий факт. Однажды он прямо высказал мысль, что его сын еще будет царствовать.

Полны специального интереса, конечно, все его обильные замечания (и диктанты), касающиеся его войн и военного искусства других знаменитых полководцев и военного дела вообще. В каждом слове чувствуется первоклассный мастер, знаток и любитель предмета. «Странное искусство — война; я сражался в 60 битвах и уверяю вас, что из них всех я не научился ничему, чего бы я не знал уже в своей первой битве»,— сказал он однажды. Из полководцев он высоко ставил Тюренна, Конде. Наполеон считал себя, без сомнения, величайшим полководцем во всемирной истории, хотя не выразил этого ни разу точными словами. С особенной гордостью он говорил об Аустерлице, Бородине и Ваграме, а также о первой (итальянской, 1796—1797 гг.) своей кампании и о предпоследней (1814 г.). Разгром австрийской армии под Ваграмом он считал одним из лучших своих стратегических достижений. Если бы Тюренн или Конде были при Ваграме, то они тоже сразу увидели бы, в чем ключ позиции, как увидел это Наполеон, «а Цезарь или Ганнибал не увидели бы»,— прибавлял император. «Если бы при мне для помощи в моих войнах находился Тюренн, я был бы властелином всего света»,— утверждал он. Самой лучшей армией Наполеон называл ту армию, в которой каждый офицер знает, что делать при данных обстоятельствах.

Однажды он выразил сожаление, что не был убит при Бородине или в Кремле. Иногда, говоря об этом, он называл не Бородино, а Дрезден, еще охотнее Ватерлоо; о «Ста днях» он вспоминал с гордостью и говорил о «народной любви» к нему, проявившейся и при высадке в бухте Жуан и после Ватерлоо.

Он не переставал сожалеть, что покинул завоеванный им Египет и что, сняв осаду с Акра, вернулся из Сирии в 1799 г. По его мнению, ему следовало остаться на Востоке, завоевать Аравию, Индию, быть восточным императором, а не западным. «Если бы я взял Акр, я бы пошел на Индию. Кто владеет Египтом, тот будет владеть и Индией»,— повторял он (в этом утверждении, заметим, с ним совершенно сходится новейшая стратегия). Об английском владычестве в Индии он говорил, что если бы он даже с малым отрядом добрался до Индии, то выгнал бы англичан оттуда. Он много и часто говорил о Ватерлоо и считал, что если бы не совсем непредвиденные случайности и если бы у него были прежние, убитые в предшествующих вой-

нах, маршалы Бессьер, Ланн, если бы при нем был Мюрат,— исход сражения был бы другой. Ему особенно тяжело было вспомнить, что эта последняя его битва выиграна именно англичанами.

Что вторжение в Испанию было первой его ошибкой («испанская язва»), а русский поход 1812 г.— второй и самой роковой, это он теперь признавал, хотя снисходительно (к себе) говорил о «недоразумении», вовлекшем его в поход на Москву. Но он ничуть не отказывался от своей ответственности. Наполеон считал, что когда он, прибыв в Дрезден в 1812 г., узнал, что Бернадотт, ставший шведским наследным принцем, не намерен помогать ему против России и что султан турецкий заключает с Россией мир, то ему следовало тут же отказаться от нашествия. Войдя в Москву, ему надо было бы сейчас же из нее выйти и, догнав Кутузова, уничтожить русскую армию. «Эта роковая война с Россией, в которую я был вовлечен по недоразумению, эта ужасающая суровость стихии, поглотившей целую армию... и затем вся вселенная, поднявшаяся против меня!» Не чудо ли (продолжал он), что он, император, мог еще так долго сопротивляться и что не раз конечная победа в этой борьбе против вселенной склонялась на его сторону?

То, что в Тильзите он отказался от своей первоначальной мысли стереть Пруссию как самостоятельное государство с лица земли, он считал одной из своих ошибок. Австрию, как он теперь признавал, он тоже хотел уничтожить в 1809 г., но помешала неудача его в битве под Эсслингом, так что после Ваграма все-таки Австрия хоть и много потеряла, но продолжала существовать.

Несколько раз возвращался он мыслью к казни герцога Энгиенского, но никакого раскаяния по этому поводу не обнаруживал, а высказывался в том духе, что снова бы это повторил, если бы пришлось начинать сначала. Интересно, что долгое, 20-летнее всеевропейское страшное кровопролитие, в центре которого он находился и решающую роль в котором он, по собственному представлению, играл, ни в малейшей степени не вспоминалось им как нечто печальное, тяжелое, способное омрачить душу хоть на один миг. Да, совершенно верно, он стремился к завоеваниям, но у него вообще было это пристрастие: он «слишком любил войну».

Маленькая девочка Бетси Балькомб, дочь одного англичанина, проживавшего в качестве подрядчика на острове Св. Елены, пользовалась ласковой благосклонностью Наполеона, который захотел учить ее французскому языку и позволил бегать к нему и болтать с ним. И когда она, уже прирученная им, и другая маленькая девочка, Лэджи, спросили императора однажды, правда ли, что он ест людей (как они слышали о

том еще в Англии), то он со смехом стал уверять их, что действительно ест людей и всегда ими питался... Его рассмешило, что ребенок Лэджи понял слова взрослых, очевидно, слишком буквально: в переносном значении эти слова доходили до него задолго до знакомства с маленькой Балькомб и ее подругой, но никогда ничего, кроме презрительного пожатия плеч, в нем не порождали.

После отдаления Жозефины, после смерти Ланна под Эсслингом, после смерти Дюрока под Герлицем на свете оставалось еще одно существо, которое на своем веку любил Наполеон: это был его маленький сын, живший еще с 1814 г. вместе со своей матерью, императрицей Марией-Луизой, у деда, австрийского императора Франца. Наполеон еще в 1816 г., в начале своего пребывания на острове Св. Елены, высказывал убеждение, что его сын еще будет царствовать, так как во Франции отныне можно опираться только «на массы», значит: или республика, или популярная, «народная» монархия. А популярной династией может быть лишь династия, избранная народной волей, т. е. Бонапарты.

И с той же внешней непоследовательностью, которая не дала ему возможности в 1815 г. стать во главе широкого массового движения против Бурбонов, дворян, священников, он и на острове Св. Елены продолжал одобрять свое тогдашнее поведение.

Непоследовательность тут была внешняя, происходившая от неточного понимания вещей: монархия Наполеона была не «народная», а буржуазная, и для своего сына он мечтал тоже о государстве, опирающемся не на волю и интересы плебейских широких трудящихся масс, а на волю и интересы буржуазии. «Чем мне эти люди обязаны? Я нашел их в бедности и оставляю их в бедности!» — вырвалось у него раз после Ватерлоо, когда толпа строительных рабочих окружила дворец и требовала, чтобы Наполеон остался на престоле.

И тому же графу Монтолону Наполеон и тогда, в Париже, и на острове Св. Елены повторял, что если бы он захотел использовать революционную ненависть против дворян и духовенства, которую он застал при своей высадке в 1815 г., то он прибыл бы в Париж в сопровождении «двух миллионов крестьян»; но он не желал предводительствовать «чернью», потому что его «возмущала (по его выражению) самая мысль об этом».

Ясно, что он остался при тех же настроениях, какие не раз нами отмечались. Но вдруг — к самому уже концу, под явным впечатлением известий, приходивших на остров Св. Елены из Европы через газеты и устные сообщения о германском революционном брожении, о студенческих волнениях, об освободительных течениях в Германии и т. д.,— император круто переменил фронт и заявил (дело было уже в 1819 г.) тому же

Монтолону нечто диаметрально противоположное своим прежним высказываниям. «Я должен был бы основать свою империю на поддержке якобинцев». Потому что якобинская революция — это вулкан, посредством которого можно легко взорвать Пруссию. А как только революция победила бы в Пруссии, ему казалось, что вся Пруссия была бы в его власти и в его руки попала бы вся Европа («моим оружием и силой якобинизма»). Правда, когда он говорил о будущей или возможной революции, мысль его не шла дальше мелкобуржуазного «якобинизма» и не предполагала социального переворота. Якобинская революция начинала представляться ему порой уже союзницей, которую он напрасно оттолкнул.

3

Последний большой разговор с Монтолоном — о якобинцах и революции — происходил 10 марта 1819 г. и был одной из последних его бесед со свитой.

Реже и глуше, смутнее и отрывочнее становились уже в это время известия об императоре.

Не было уже Лас-Каза, высланного Гудсоном Лоу, не было Гурго, которого убедил уехать сам император. Был некоторое время и тоже вскоре уехал ирландский доктор О'Мира, игравший при случае роль соглядатая и доносивший губернатору о том, что творится в Лонгвуде. Из оставшихся был доктор Антомарки, присланный семьей Наполеона из Европы, невежественный врач (и лживый мемуарист), которого Наполеон в конце концов перестал даже и на глаза к себе пускать. Бертран, Монтолон, несколько человек слуг — вот кто больше всех в эти последние два года видел Наполеона.

Уже в 1819 г. он болел все чаще и чаще. В 1820 г. болезнь усилилась, а в начале 1821 г. английский врач Арнотт, допущенный Наполеоном, нашел положение довольно серьезным, но все-таки были большие промежутки улучшения, когда Наполеон выходил гулять. К концу 1820 г. утомление стало заметнее. Он начинал фразу и не кончал ее, впадая в глубокое раздумье. Он стал молчалив, тогда как до конца 1820 г. его диктанты и его воспоминания о своем царствовании, сообщенные двум доверенным лицам — Лас-Казу до 1818 г. и графу Монтолону отчасти в те же годы, а отчасти с 1818 до 1820 г. включительно,— занимают в записях Лас-Каза два огромных фолианта (в последних изданиях), а в записях Монтолона восемь томов (в издании 1847 г.),—и это не считая особой двухтомной книги воспоминаний того же Монтолона специально о пребывании императора на острове Св. Елены.

С конца 1820 г. он уже реже катался в коляске. Верхом он уже давно перестал выезжать.

В марте 1821 г. страшные внутренние боли стали повторяться и учащаться. Император, по-видимому, уже давно догадался, что это — рак, болезнь наследственная в их роду, от которой в возрасте всего лишь 40 лет умер его отец, Карло Бонапарте.

Следует, кстати, заметить, что в последние 15—20 лет в медицинских журналах во Франции и Германии несколько раз высказывалось мнение, будто последней болезнью Наполеона был вовсе не рак, а особая тропическая болезнь, зародыш которой был захвачен им еще в молодости, во время похода в Египет и Сирию, развившаяся, когда он попал в тропики.

5 апреля доктор Арнотт уведомил свиту Наполеона в лице маршала Бертрана и графа Монтолона, что положение больного крайне серьезно. Когда боли несколько ослабевали, Наполеон старался поддержать бодрость в окружающих. Он острил над своей болезнью: «Рак — это Ватерлоо, вошедшее внутрь».

13 апреля он приказал графу Монтолону писать под его диктовку завещание, которое 15 апреля переписал и подписал своей рукой. Там между прочим содержатся те строки, которые теперь красуются на мраморной доске в парижском Дворце инвалидов, в соборе, где с 1840 г. находится саркофаг с останками императора: «Я желаю, чтобы мой прах покоился на берегах Сены, среди французского народа, который я так любил». Мармона, Ожеро, Талейрана и Лафайета он назвал в этом завещании изменниками, которые два раза помогли врагам Франции одержать победу: Ожеро — очевидно, за резкую ссору с ним в апреле 1814 г., Лафайета — за оппозицию в палате в июне 1815 г. Эти два суровых приговора не были впоследствии санкционированы даже самыми горячими приверженцами императора, но за Мармоном и Талейраном эта квалификация утвердилась. Большинство остальных пунктов завещания касалось денежных сумм, назначенных разным лицам: Бертрану — полмиллиона, слуге Маршану — 400 тысяч, другим, служившим ему на острове,— по 100 тысяч каждому, столько же Лас-Казу и многим генералам и сановникам, оставшимся во Франции, по лично ему известным своей преданностью, и т. д. А главную часть своих имуществ, в общей сумме до 200 миллионов франков золотом, он завещал: половину — «офицерам и солдатам», сражавшимся под его знаменем, а другую половину — местностям Франции, пострадавшим от нашествий 1814 и 1815 гг. Есть и пункт, посвященный англичанам и Гудсону Лоу: «Я умираю преждевременно, убитый английской олигархией и ее наемником. Английский народ не замедлит отомстить за меня». Сыну он завещал никогда не выступать против Франции и помнить девиз: «Все для французского народа».

Он был совершенно спокоен, диктуя, а потом лично перепи-

сывая это завещание. Спустя три дня он продиктовал Монтолону письмо, которым тот должен был уже после его смерти уведомить губернатора о случившемся и требовать от англичан доставления всей свиты и слуг с острова Св. Елены в Европу.

В четыре часа ночи 21 апреля он вдруг стал диктовать Монтолону проект переустройства национальной гвардии во Франции в целях наиболее рационального ее использования при обороне территории от неприятельского нашествия.

2 мая доктор Арнотт, Шорт и Майкельс сказали свите, что смерть совсем уже близка. Мучения так усилились, что в ночь на 5 мая он в полубреду бросился с постели и, конвульсивно сдавив с необычайной силой Монтолона, упал с ним на пол. Его уложили, и он уже не приходил больше в сознание, а лежал несколько часов подряд неподвижно, с открытыми глазами и не стонал. Он, впрочем, и раньше во время самых страшных приступов боли почти не стонал, а только метался. В комнате Наполеона — одни у постели, другие у дверей — собрались его свита и служители. Наполеон шевелил губами, но почти ничего нельзя было расслышать явственно; на океане свирепствовал в этот день страшнейший шторм, вырывавший с корнем деревья, снесший несколько домов на острове и сотрясавший всю Лонгвудскую усадьбу.

Губернатор острова Гудсон Лоу и офицеры английского гарнизона, узнав о начале агонии, прибыли спешно и находились в других комнатах дома. Последние слова, которые удалось расслышать стоявшим близко от постели, были: «Франция... армия... авангард...».

Перед вечером, в шесть часов, 5 мая 1821 г. Наполеон скончался.

Плачущий слуга Маршан принес сохранявшуюся у него старую шинель, в которой Наполеон был 14 июня 1800 г., в день битвы под Маренго, и накрыл его тело. После этого вошли губернатор и офицеры и низко поклонились покойнику. Затем были впущены Бертраном и Монтолоном и комиссары держав, которые теперь в первый раз за все годы своего пребывания на острове вошли в дом императора, не допускавшего их к себе.

Через четыре дня гроб вынесли из Лонгвуда. В похоронном шествии, кроме свиты и служителей, принял участие весь гарнизон в полном составе, а также все матросы и морские офицеры, все гражданские чиновники с губернатором во главе и почти все население острова. Когда гроб опускали в могилу, раздался гром пушечных салютов: англичане отдали мертвому императору последнюю воинскую почесть.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1

С Наполеоном I связано историческое явление, получившее название «бонапартизм». Классики марксизма с большим вниманием останавливались на этом явлении, и их высказывания вполне гармонируют друг с другом и дополняют друг друга. Они, многократно останавливаясь на бонапартизме, имели в виду эпоху и Наполеона I и Наполеона III, справедливо признавая родоначальником этой политической системы именно первого французского императора.

Но в то время как Наполеон I, стремясь утвердить диктатуру крупной буржуазии, боролся не только с якобинцами, но (особенно в начале своего правления) и с роялистами, желавшими реставрации полуфеодальной монархии, «старого режима»,— Наполеон III основывал свою империю именно как боевое орудие буржуазии (и преимущественно крупной буржуазии) против рабочего класса и против демократических течений мелкой буржуазии.

Чтобы в пределах нашей темы коснуться бонапартизма в эпоху первого Наполеона, необходимо уяснить, какую роль сыграл Наполеон I в судьбах Французской буржуазной революции конца XVIII в.

Не только старая, но и современная буржуазная историография называет Наполеона завершителем революции.

Это, конечно, не так. Он действительно взял от революции, использовал то, что она сделала для развития экономической деятельности крупной французской буржуазии, и потушил революционную бурю. Следовательно, его ни в какой степени нельзя считать «завершителем» революции, а с полным правом необходимо считать ее ликвидатором. Окончание революции диктатурой Наполеона знаменовало прежде всего победу крупнобуржуазных элементов над ремесленным пролетариа-

том, над малоимущей мелкобуржуазной массой, над той плебейской стихией, которая в 1789—1794 гг., до 9 термидора, сыграла такую великую революционную роль. При этом собственническое крестьянство, интересы которого от попыток феодальной реставрации ограждал Наполеон, всецело поддержало, со своей стороны, его диктатуру.

Наполеон, расстреливающий якобинцев, самодержавный монарх, обративший республики, окружавшие Францию, в королевства и раздавший их своим братьям, зятьям и маршалам,— этот бесспорный исторический образ не имеет ничего общего с титулом завершителя революции. И только фальшивая идеализация Наполеона может это отрицать. Ликвидация демократии, установление самой беспредельной личной власти, и все это с прямой целью охраны интересов имущих классов и установления владычества над всей Европой,— вот что было налицо в деятельности первого Бонапарта, и отрицать это можно, только отказавшись от исторической правды во имя продолжения и подкрепления «наполеоновской легенды», уже принесшей так много страшного зла в прошлом именно потому, что она рассчитана была на малосознательную, колеблющуюся массу.

В конечном счете эта легенда, начиная особенно с 30-х годов XIX в., всегда служила социальной и политической реакции.

Не признавать огромных и разнообразных дарований Наполеона, исключительных размеров этой колоссальной исторической фигуры было бы, конечно, нелепо.

Читатель этой книги найдет в ней, между прочим, некоторые очень положительные отзывы, например, Маркса и Энгельса о военном гении Наполеона, о влиянии его завоеваний на феодальную Европу. Еще больше таких отзывов интересующийся найдет при систематическом чтении полного собрания сочинений Маркса и Энгельса. Но они совершенно беспристрастно отмечают не только ту прогрессивную роль, которую Наполеону объективно пришлось сыграть в истории человечества, но и его значение как основоположника *реакционного бонапартизма*, задавившего ростки политической свободы во Франции.

Маркс и Энгельс пережили Вторую империю, но им, конечно, и этого жестокого эксперимента не требовалось, чтобы отчетливо понять, до какой степени бонапартизм, как система внутренней и внешней политики, может быть в обстановке быстро развивающегося в XIX в. капиталистического строя *только* реакционным и может держаться *только* на безудержном насилии, на систематическом обмане масс и, при удобном случае, на военных авантюрах.

2

В области внешней политики завоевательные, империалистские устремления, диктовавшиеся интересами крупной французской буржуазии, толкнули Наполеона на Европу, а разлагающийся полуфеодальный европейский мир не мог успешно противиться первым натискам великого полководца, каким буквально с первых же шагов оказался Наполеон. Вместе с тем подчинение, которому подвергал Наполеон завоеванные народы, подняло волну национально-освободительного движения, так же как удары, которые наносила английской экономике политика Наполеона, сказались на усилении и упрочении революционных настроений в английском рабочем классе.

Военная теория и практика Наполеона сыграли огромную роль в разрушении феодализма и абсолютизма крепостнической Европы. Эта теория и практика были порождены буржуазной революцией, создавшей те возможности, которыми Наполеон умело воспользовался. Не он, а революция сделала возможными и неизбежными массовые движения, тактику рассыпного строя в соединении с густыми колоннами, грандиозные размеры армий, сознательность солдат, новые принципы рекрутского набора; но именно он, и не кто другой, гениально показал, как всем этим можно пользоваться, чего можно достигнуть, а Энгельс, глубоко изучавший его походы, утверждал, что и вообще понимать-то, осмысливать, просто сознательно воспринимать все эти изменения научил впервые Наполеон. В этой военной области он оказался тогда несравненным, гораздо более великим, чем во всех других областях своей деятельности.

Наполеон, по мнению Энгельса, неизмеримо превосходил не только предшественников своих, но и современных генералов, пытавшихся учиться у него и подражать ему в этом труднейшем искусстве: «...историческая заслуга Наполеона заключается в том, что он нашел единственно правильное тактическое и стратегическое применение колоссальных вооруженных масс, появление которых стало возможно лишь благодаря революции, и эту стратегию и тактику довел до такой степени совершенства, что современные генералы, в общем и целом, не только не в состоянии превзойти его, но в своих самых блестящих и удачных операциях лишь пытаются подражать ему» [1].

Считая, что военная система была усовершенствована Наполеоном, Энгельс признает двумя ее «осями» «массовые масштабы применения средств наступления — живая сила, кони и орудия — и подвижность этих наступательных средств» [2].

Энгельс считал вообще Наполеона великим полководцем, даже в тех походах, которые кончились неудачей. «Два самых замечательных примера наступательных операций и прямых атак, применявшихся в строго оборонительных кампаниях, име-

ли место в двух замечательных походах Наполеона — в походе 1814 г., который закончился его ссылкой на Эльбу, и в походе 1815 г., который окончился поражением при Ватерлоо и сдачей Парижа. В обеих этих необычных кампаниях полководец, действовавший исключительно в целях обороны подвергшейся нашествию страны, атаковывал своих противников во всех пунктах и при всяком удобном случае; всегда будучи в целом значительно более слабым, нежели противник, он каждый раз умел оказываться сильнее его и обычно побеждал в данном пункте атаки» [3]. Оба похода, 1814 и 1815 гг., были проиграны Наполеоном по причинам, «совершенно не зависевшим» от планов или их выполнения Наполеоном, а, главным образом, вследствие огромного превосходства сил соединенной Европы и невозможности «для одной нации, истощенной войнами в течение четверти столетия, сопротивляться нападению всего вооружившегося против нее мира» [4]. Об Аустерлице Энгельс говорит, что несравненный военный гений Наполеона, проявившийся в этой битве, и его «...coup d'œil [проницательность], с которой он открыл их промах... и молниеносная быстрота в завершении катастрофы — все это стоит выше всякой похвалы и достойно всяческого восхищения. Аустерлиц представляет чудо стратегии, он не будет забыт до тех пор, пока существуют войны» [5].

«В Европе есть много хороших генералов,— товаривал Наполеон,— но они хотят смотреть на много вещей разом, а я смотрю лишь на одно — на массы (неприятеля) и стремлюсь их уничтожить». Неподражаем Наполеон был также в использовании победы, в умении довершить разгром неприятеля дальнейшим преследованием. Прусский военный историк граф Иорк фон Вартенбург, автор известного двухтомного исследования о Наполеоне как полководце, называет приказ Наполеона маршалу Сульту 3 декабря 1805 г. (на другой день после Аустерлица) содержащим «в кратких словах всю науку о преследовании, изложенную наиболее авторитетным источником». Наполеон был непревзойденным в свое время мастером в умении держать в своих руках и заставлять маневрировать не только в период подготовки сражений, но и на поле битвы громадные войсковые массы, заставляя их выполнять внезапные, не предусмотренные никем новые построения.

Ученые историки-стратеги, писавшие о Наполеоне специальные исследования или только попутно говорившие о нем, признают, что Наполеон использовал и осмыслил именно те новые, небывалые возможности в военном деле, которые создала Французская революция, что, гениально использовав это наследство, он стал тогда и величайшим теоретиком послереволюционных методов ведения войны. *Война большими массами*, война с

большими резервами, какие только была способна дать мощь крупного буржуазного государства, война с действительным использованием громадных материальных средств и людских формирований тыла — все это выявилось при Наполеоне в полной мере. Компактные массы великой армии, предводимые им, оказывались, по его же слову, сильнее неприятеля «в данный момент в нужном месте».

Наполеон знал карту и умел обращаться с картой, как никто, он превосходил в этом своего начальника штаба и ученого картографа маршала Бертье, превосходил в этом всех полководцев, до него гремевших в истории, и в то же время карта никогда не связывала его, и когда он отрывался от нее, выезжал в поле, воодушевляя войска своими обращениями, раздавая приказы, ворочая громадными густыми колоннами, то и здесь он оказывался на своем, т. е. на первом и недосягаемом, месте. Его приказы, его письма к маршалам, отдельные его изречения до сих пор имеют значение как бы основных трактатов по вопросу о крепостях, об артиллерии, об устройстве тыла, о фланговых движениях, об обходах, о самых разнообразных предметах военного дела.

Правда, кроме, может быть, Александра Македонского, никогда ни один из прославленных полководцев не был поставлен так длительно в такие выгодные условия, как Наполеон: он не только соединял в своем лице неограниченного монарха с главнокомандующим, но и царствовал над богатейшими странами мира. Цезарь сначала долго воевал в качестве полководца, которому управляющий государством сенат предоставил завоевывать новую провинцию, а в последние годы жизни вел упорную и долгую войну, гоняясь за войсками враждебной партии. Никогда не воевал он пользуясь всеми силами римской державы и в качестве ее полновластного правителя. Ганнибал был полководцем, зависевшим от скупого и интригующего сената купеческой республики. Тюренн и Конде зависели от капризов французского двора, Суворов зависел сначала от не симпатизировавшей ему Екатерины, потом от полусумасшедшего Павла и от австрийского гофкригсрата. Густав-Адольф Шведский, Карл XII Шведский, Фридрих II Прусский были, правда, неограниченными монархами, но очень уж скудны были людские резервы и материальные средства небольших бедных стран, которыми они владели.

Что касается Наполеона, то лишь его первые подвиги и завоевания (Тулон, Италия, Египет, сирийский поход) совершились, когда он имел над собой правительство, которому он, впрочем, и тогда уже не повиновался, а с 1799 г. он сам был неограниченным властителем Франции и всех стран, прямо или косвенно ей подчиненных. И среди этих стран были также

и такие, которые в экономическом отношении считались передовыми на континенте: сама Франция, Голландия, прирейнская Германия. Неограниченным властителем после 18 брюмера Наполеон был целых 15 лет, а, например, Юлий Цезарь после перехода через Рубикон — всего около пяти лет, из которых первые два целиком были заняты междоусобной борьбой дробившей силы государства.

И материальных сил, и средств, и времени, и возможностей Наполеону было отпущено для игры его военного гения больше, чем кому бы то ни было из его предшественников по военному искусству. Но, бесспорно, и самый гений его оказался более могучим, чем у кого бы то ни было из них.

Наполеон, со своей оригинальной манерой выражаться, уподоблял комплекс качеств хорошего полководца квадрату, где основание и высота всегда равны: под основанием он тут понимает характер, смелость, мужество, решимость, а под высотой — ум, интеллектуальные качества. Если характер сильнее ума, то полководец увлечется и пойдет дальше, чем нужно. Если ум сильнее характера, то у него, напротив, недостанет мужества осуществить свой план. Полное единоначалие он считал абсолютно необходимым в армии, если эта армия уже наперед не решила терпеть поражения: «Один плохой главнокомандующий лучше, чем два хороших». И сам он, если не считать осады и взятия Тулона в 1793 г., никогда ни в одной из своих войн не имел ни равноправного товарища, ни, подавно, старшего над собой.

Коснемся лишь очень немногих частностей.

Наполеон ниспроверг то преклонение перед штыковым боем, которое после Суворова сделалось таким общепринятым, хотя сам Суворов вовсе не отрицал значения артиллерии. «Теперь сражения решаются огнем, а не рукопашной схваткой»,— категорически заявил император в своем сочинении о полевых укреплениях. Продолжая применять тактику армий Французской революции, в первых своих войнах он бросал вперед подвижные «линии» стрелков, которые при поддержке артиллерии подготовляли основной удар, расчищали путь штурмующим колоннам. Он зорко следил сам и строго внушал своим маршалам и вице-королю Италии, Евгению Богарне, что недостаточно просто обучить солдата стрельбе, нужно добиться, чтобы он стрелял с предельной меткостью. Но, с другой стороны, никогда не следует, по мнению Наполеона, слишком долго оставлять армейских пехотных стрелков без артиллерийской поддержки: если против них действует неприятельская артиллерия, то они легко могут в конце концов пасть духом и подвергнуться разгрому, а, подтягивая артиллерию, он рекомендовал делать это возможно энергичнее, потому что только массовое действие

артиллерийского огня может иметь сколько-нибудь серьезное значение. В наполеоновских битвах артиллерия играет громадную, а иногда и просто решающую роль; известно, например, дело под Фридландом, где 40 крупных орудий Сенармона, поддерживавших корпус Виктора, внесли еще в начале боя страшнейшее смятение в русские ряды и принудили русскую армию начать гибельное для нее беспорядочное отступление через г. Фридланд и через реку Алле.

Надо отметить, что начиная с 1807 г. Наполеон все больше и чаще применяет новую тактику и новые боевые порядки, действуя слишком уж массивными, а потому и слишком уязвимыми построениями, чего он не делал в первую половину своей военной карьеры; пока у него не поредели ряды старых солдат революционных армий и ветеранов Египта, Маренго, Аустерлица, он не прибегал к этому преувеличенному уплотнению боевых масс.

Неправильно ходячее мнение, будто Наполеон не придавал значения крепостям противника. Он только требовал и воспитывал своих маршалов и генералов в убеждении, что не взятие крепостей противника, но уничтожение живой силы его полевой армии решает войну. Но, конечно, и тут он обнаруживал изумительную гибкость и умение считаться с неповторяющимся своеобразием обстановки.

Когда в 1805 г. он увидел, что взятием Ульма он уничтожит главные силы австрийской армии, то именно на осаду этой крепости он и направил все усилия и главный удар.

Второстепенное значение, которое он придавал крепостям, логически связано с тем воззрением на инициативу, которое так характерно для Наполеона. «Начинай поход обдуманно, но, начав, до самой последней крайности борись за то, чтобы инициатива действий осталась за тобой».

Кончился страшный день 8 февраля 1807 г. под Эйлау. Армия Наполеона, как и армия русская, испытала такие потери, что в некоторых полках осталось по батальону, а в некоторых и батальона не было. Наполеон уходит на ночь в свою палатку и пишет своему другу Дюроку записку, в которой неясными намеками признает свою неудачу. Но вот наступает тусклый рассвет зимнего дня, и оказывается, что Беннигсен не только отступил, но что он сильно отступил. Значит, инициатива осталась за Наполеоном. Значит, вчера была победа. И император сейчас же начинает именовать Эйлау своей победой, хотя он знал отлично, что русские еще далеко не сломлены. У Беннигсена не хватило выдержки и упорства, он оробел и отступил первый, и инициативу он у Наполеона не вырвал, хотя на поле битвы на каждые три русских трупа приходилось кое-где два, кое-где и все три французских.

Инициатива в общем ведении войны, в выборе места и времени битвы, в первых тактических действиях перед битвой и в начале битвы должна оставаться в руках главнокомандующего. Но, давая маршалам до сих пор восхищающие специалистов своей ясностью приказы перед началом боя, Наполеон никогда не стеснял их детальными мелочными указаниями, к чему так склонны были современные ему главнокомандующие старой школы — и австрийские, и прусские, и английские, и (в гораздо, впрочем, меньшей степени) русские.

Он приказывал маршалам стремиться к выполнению такой-то задачи на таком-то участке и указывал, для какой общей стратегической цели должна служить эта реализация, а уж как маршал осуществит эту цель — это дело его разумения. Но в бою Наполеон оставался центром, мозгом армии. Осуществляя свои задания, маршалы были в постоянных сношениях с императором, осведомляя его о ходе действий, прося у него подкреплений, держа его в курсе непрерывно изменяющейся обстановки.

Сам Наполеон, критикуя спустя почти пять месяцев после сражения под Аустерлицем донесение Кутузова Александру об этой битве, писал, что вся громадная французская армия так же управлялась императором и так же была готова исполнить любой его приказ, как отдельный батальон управляется своим майором.

Самое трудное для современников и для потомства было понять, как сохраняет Наполеон эту руководящую роль, не подавляя личной инициативы своих маршалов и главных генералов. Но, конечно, эта их частная, исполнительная, так сказать, инициатива вполне подчинялась общей, верховной власти, всем управляющей инициативе императора и в конце концов приучала их там, где поблизости Наполеона не было, отказываться от самостоятельных решений при слишком большом риске. Больших, совсем самостоятельных полководцев среди них было немного: Даву, Массена, отчасти Ожеро. Остальные большей частью были превосходными, талантливыми исполнителями, и их самостоятельность была именно только относительной и условной, как исполнителей. Наполеон с горечью признавал это, когда у него вырывались восклицания: «Не могу же я быть одновременно повсюду!»

Когда он вел бои в 1814 г. на подступах к Парижу, ему недоставало не только 300 тысяч отборных солдат, которые отчасти уже с 1808 г. легли костьми, отчасти готовились лечь в Испании, и не только французских войск, продолжавших занимать еще некоторые города Германии и некоторые части Италии, но ему недоставало и Массена, который так долго и тщетно истощал себя в бесконечной испанской войне, и Даву,

который в это время сидел, осажденный врагами, в Гамбурге, и Мюрата, не пришедшего из Неаполя. И своих лучших солдат и своих испытанных помощников он разбросал по разным концам своей необъятной империи, и в роковой час многих из них не оказалось около него. *Не только в этом, но также и в этом* была одна из причин конечного поражения и в 1814 и в 1815 гг.

Но пока они все были с ним и пока великая армия не была на безнадежно долгий срок разделена на две части, причем одна из этих частей сражалась и погибла в далекой Испании, он долго чувствовал себя несокрушимым самодержавным повелителем Европы.

Превосходный подбор исполнителей особенно сказывался в той новой практике глубоких обходных движений, теоретиком которой стал на основании изучения наполеоновских войн Жомини. Именно Наполеон показал, что обход неприятельской армии только тогда имеет смысл, когда, во-первых, достигает тыла противника и перерезает в его тылу неприятельские линии сообщений, во-вторых, когда этот обход приводит *к сражению, в котором обходящие колонны принимают участие.*

Другой теоретик наполеоновских времен, фон Бюлов, считал, что достаточно только угрожать сообщениям. Но Жомини, именно опираясь на наполеоновское военное творчество, настаивал на сражении, которым непременно должен кончиться удачный и целесообразный обход. Наполеон считал, что при обходе сам обходящий, если не поторопится, рискует подвергнуться контр-маневру и атаке неприятеля. Выросшие в боях Наполеона его маршалы выполняли операции обходов иногда с идеальной точностью и быстротой и почти всегда с полной удачей.

Где неприятель с главными силами замыкался в крепости или в укрепленном лагере, там Наполеон приступал к осаде и, в случае отказа неприятеля сдаться,— к штурму. При этом, если доходило до штурма, то в случае победы Наполеон был беспощаден. Когда в 1806 г. Блюхер пробовал защищаться на улицах Любека, то после французской победы, по весьма, впрочем, старой традиции, город был разграблен дочиста и многие жители перебиты. Таких образчиков беспощадности в наполеоновских войнах было немало. Когда турецкая армия, прекрасно вооруженная (в 12 тысяч человек), в июле 1799 г. высадилась в Египте и заперлась в Абукирской крепости, где к ней прибавилось еще три тысячи человек, Наполеон увидел перед собой страшное препятствие: законченному им завоеванию Египта грозила очень большая опасность. Турки быстро возвели прекрасные укрепления; осадой их было взять нельзя, так как с моря им могли помогать англичане. Наполеон решился на фронтовую атаку, штурм в лоб, чего бы это ни стоило. Приказ

был им отдан в два часа ночи 25 июля 1799 г. Ланн и Мюрат первые ворвались в крепость со своими отрядами, за ними — главные силы. Вся турецкая армия была переколота и перерезана на месте. «Эта битва — одна из прекраснейших, какие я только видел,— от всей высадившейся неприятельской армии не спасся ни один человек»,— сообщал Наполеон под свежим впечатлением через два дня после штурма. Однако фронтальные атаки дорого стоили не только врагам, но и французам, и Наполеон прибегал к ним только тогда, когда не видел другого исхода.

Высоко ценя индивидуальную храбрость, ловкость и специфическое искусство боя отдельных лиц, Наполеон не верил, чтобы рассыпной строй каких-нибудь лихих наездников (вроде мамелюков или казаков) мог продержаться против больших компактных масс дисциплинированной европейской армии, хотя и допускал, что при столкновениях малыми кучками такие индивидуально превосходные наездники могли оказаться сильнее, и действительно были сильнее. Что в конечном счете массы решают все,— эту истину Наполеон не переставал повторять. Искусство полководца, во-первых, в том, чтобы уметь добывать, вооружать и быстро обучать большие батальоны, создавать массовые армии; во-вторых, в том, чтобы к моменту нанесения решающего удара они оказались в нужном пункте полностью; в-третьих, в том, чтобы, начиная битву, *уметь не щадить* эти большие батальоны, если это нужно для выигрыша сражения; в-четвертых, в том, чтобы, собрав эту массу, никогда не избегать и не отсрочивать битву, а *искать* скорейшей решительной развязки едва только есть шансы победить; в-пятых, и это самое трудное, находить в неприятельском расположении тот пункт, на который нужно направить решающий удар. Наполеон говорил, что роль счастья, роль случая на войне существенна, но истинно великие дела все-таки зависят от личных качеств полководца, от работы ума, знаний, способности к методическим действиям, от дара комбинаций, от изобретательности и находчивости. «Не гений мне внезапно открывает по секрету, что мне нужно сказать или сделать в каких-либо обстоятельствах, неожиданных для других, а рассуждение и размышление»,— сказал как-то сам Наполеон. Не потому Александр Македонский, Цезарь, Ганнибал, Густав-Адольф стали велики, что им служило счастье: нет, счастье им служило потому, что они были великие люди и умели овладевать счастьем. Так говорил Наполеон уже в самом конце своей жизни.

Его военный гений, заключающийся в умении использовать все средства при осуществлении цели, несмотря на отдельные случаи ошибок и признаки утомления, по единодушным

отзывам стратегов и тактиков, изучавших его историю, в общем нисколько не ослабел в 1813—1814 гг. сравнительно с лучшими годами его карьеры. Даже в 1815 г., когда у него было гораздо меньше сил, чем у врагов, когда политическое положение было безнадежно, когда сам он чувствовал длительное физическое недомогание, он составил не менее талантливый стратегический план уничтожения неприятельских армий по частям, чем тот, который так великолепно удался ему в первом его итальянском походе, в 1796 г. И блистательное начало осуществления этого плана (поражение Блюхера у Линьи) и продолжение дела (битва при Ватерлоо, когда исключительно только случайно удавшийся вовремя приход Блюхера спас Веллингтона от неминуемого и страшного разгрома) — все это показало, что действительный мастер военного искусства еще был налицо.

Но уже не было чего-то другого, того, что, по мнению самого Наполеона, важнее всего на свете для полководца, даже важнее гения,— не было уверенности в конечном успехе, было сознание, что его время прошло. «Уже не было моего прежнего доверия к себе»,— говорил он Лас-Казу о ватерлооской кампании.

К потере доверия к себе привели его ошибки, которые были прежде всего ошибками политическими. Грандиознейшие, неосуществимые политические задачи завоевания всего мира влекли за собой губительные отступления Наполеона от собственных стратегических правил.

Взять хотя бы технику завоевания: как совместить военную оккупацию уже раньше завоеванной наполеоновской колоссальнейшей всеевропейской империи с оккупацией русских областей и с охраной путей к Москве? Откуда было взять при этих условиях нужные силы для дальнейших битв, для завоевания России? Как выполнить собственное же правило: всегда быть сильнее неприятеля в нужный момент в данном пункте? Как умудриться быть одновременно победителем в битвах недалеко от Мадрида и в битвах между Смоленском и Москвой?

В своих грандиозных военных предприятиях Наполеон старался не отступать от основного своего принципа: крепко охранять свои сообщения. Именно поэтому так страшно ослабели его средства в московском походе еще задолго до отступления. Из 420 тысяч человек, которые у него были в июне 1812 г. близ Немана и с которыми он перешел границу и начал вторжение в глубь России, он пошел уже всего с 363 тысячами, остальные должны были ограждать фланги к северу и к югу от линии нашествия. В Витебск Наполеон пришел уже не с 363 тысячами, а с 229 тысячами человек; к Смоленску он подошел со 185 тысячами; после битвы у Смоленска и оставления

там гарнизона он подошел из Смоленска к Гжатску с 156 тысячами человек; к Бородинскому полю он привел 135 тысяч, а в Москву с ним вошло 95 тысяч человек. Не только смерть от неприятельского оружия, от болезней, от климата, но и колоссальная коммуникационная линия пожрала великую армию. О 220 тысячах человек, которых Наполеон даже и к Неману не подвел, а должен был разбросать по своей необъятной всеевропейской империи, даже и говорить нечего, так же как о 200 тысячах с лишком, сражавшихся в Испании.

Но вместе с тем, говорил он Лас-Казу, бывают моменты, когда нужно сжечь все корабли, подтянуть все силы для решительного удара и сокрушительной победой уничтожить противника; для этого приходится рискнуть даже и временным ослаблением коммуникационной линии. «В кампании 1805 г., когда я сражался в середине Моравии, Пруссия готова была напасть на меня, и отступление в Германию было невозможно. Но я победил при Аустерлице. В 1806 г. ... я видел, что Австрия совсем готова броситься на мои сообщения, а Испания готова вторгнуться во Францию, перейдя через Пиренеи. Но я победил при Иене». Еще опаснее были обстоятельства во время войны 1809 г. «Но я победил при Ваграме». Наполеон говорил, что каждая война должна быть «методической», т. е. глубоко продуманной войной, и только тогда она имеет шансы на удачу. Он решительно опроверг установившуюся мысль, что нашествия Чингис-хана и Тамерлана были просто стихийным, беспорядочным движением: «Эти завоевательные войны,— сказал он как-то графу Монтолону,— велись правильно и основательно; предприятия (Чингис-хана и Тамерлана) соответствовали их силам и средствам и только потому и удавались». К слову замечу, что позднейшие историки-ориенталисты совершенно подтверждают это мнение Наполеона о монгольских завоеваниях.

Много раз и по разным поводам Наполеон говорил, что все военное искусство заключается в умении сосредоточить в нужный момент и в нужном месте больше сил, чем есть в этот момент в этом месте у противника. Когда член Директории Гойе, говоря о войне 1796—1797 гг., как-то сказал Наполеону: «Вы часто, имея меньше сил, разбивали неприятеля, который был сильнее»,— то Наполеон отрицал это, говоря, что он лишь старался с молниеносной быстротой бросаться на разрозненные силы врага и по частям, поочередно, бить их, но что именно поэтому во всяком отдельном таком нападении он в тот момент оказывался сильнее, хотя общее количество солдат у неприятеля во всей армии было и больше, чем общее количество солдат у Бонапарта.

Он много заботился о «духе» своей армии. Наполеон реши-

телью подтвердил произведенное еще революцией изгнание телесных наказаний из армии и, разговаривая с англичанами, всегда недоумевал, как они не гнушаются пускать в ход плеть в войсках. «Чего же можно ожидать от людей обесчещенных? Как может быть чуток к чести тот, кого в присутствии товарищей подвергают телесным наказаниям? Вместо плети я управлял честью... После битвы я собирал солдат и офицеров и спрашивал их о наиболее отличившихся». Награждал он чинами тех из отличившихся, которые умели читать и писать, а неграмотных приказывал усиленно («по пяти часов в день») учить грамоте, после чего и производил их в унтер-офицерский, а дальше в офицерский чин. За серьезные провинности Наполеон расстреливал беспощадно, но, вообще говоря, он гораздо больше полагался на награды, чем на наказания. А награждать — и деньгами, и чинами, и орденами, и публичным чествованием — он умел с совершенно неслыханной щедростью. «Неужели вы думаете, что можно заставить людей сражаться, действуя на них рассуждениями? — воскликнул он на заседании Государственного совета в 1801 г. (14 флореаля) во время обсуждения вопроса об учреждении ордена Почетного легиона.— Они (эти рассуждения — *Е. Т.*) годны только для ученого в кабинете. Солдат дерется из-за славы, отличий, наград. Армии республики совершили великие дела потому, что они состояли из сыновей крестьян и фермеров, а не из навербованных наемников, у них были не дворянские офицеры, а новые офицеры, и у них было честолюбие».

Сознательно, обдуманно и с блистательным успехом Наполеон приготовил себе, таким образом, из материала, созданного революцией, дееспособнейшее и могучее орудие, которое в руках искусного мастера и должно было проявить себя неслыханными в военной истории достижениями.

Сам он ценил в себе основное, по его мнению, качество, которое, как он утверждал, важнее всего и незаменимее всего: железная воля, твердость духа и та особенная храбрость, которая состоит не в том, чтобы в критический миг броситься со знаменем в руке брать Аркольский мост или простоять несколько часов под русскими ядрами на городском кладбище под Эйлау, а в том, чтобы взять на себя целиком самую страшную, самую тяжелую ответственность за решение. Выигрывает сражение не тот, кто придумал план битвы или нашел нужный выход, а тот, кто взял на себя ответственность за его выполнение.

По утверждению всех военных авторитетов, изучавших Наполеона, он был одинаково велик и как тактик, т. е. в искусстве выигрывать битвы, и как стратег, т. е. в искусстве выигрывать войны, и как дипломат — в искусстве навязать цели-

ком свою волю разбитому врагу, не только сломить окончательно его дух и его способность к сопротивлению, но и заставить его зафиксировать в трактате то, что желательно победителю. У него все эти три способности сливались в одно неразрывное и гармоничное целое. Когда генеральная битва выиграна, нужно пустить Мюрата с кавалерией для преследования и окончательного уничтожения бегущих. А когда Мюрат сделал свое дело, нужно, чтобы выигрыш битвы превратился в выигрыш войны, т. е. нужно продолжать и закончить преследование врага за «зеленым столом» — дипломатическими формулировками и требованиями.

Наполеон обыкновенно, начиная войну, стремился как можно скорее, молниеносным наступлением, одним-двумя сокрушающими ударами, повергнуть противника и заставить его просить мира.

Это дало повод Клаузевицу определить наполеоновский способ ведения войны как совершенно новое явление в истории, как приближение войны «к своему абсолютному совершенству». Клаузевиц пишет: «...со времени Бонапарта, сперва на одной стороне, затем на другой [6], война снова стала делом всего народа. Она приобрела совершенно другую природу или, точнее говоря, война сильно приблизилась к своей действительной природе, к своему абсолютному совершенству. Энергия ведения войны была значительно усилена вследствие увеличения средств, широкой перспективы возможных успехов и сильного возбуждения умов. Целью же военных действий стало *сокрушение противника;* остановиться и вступить в переговоры стало возможным только тогда, когда противник был повержен и обессилен» [7]. Однако эта глубокая оценка наполеоновского способа ведения войны в целом, данная Клаузевицем в связи с изучением вопроса «о размерах политической цели войны и напряжения», должна быть дополнена указанием, что сам Наполеон различал два вида войны (война наступательная и война оборонительная), не проводя между ними резкой грани, в зависимости от характера той или другой конкретной войны, обусловливаемой политической обстановкой и соотношением сил. В примечаниях к труду генерала Ронья, изданному в 1816 г., Наполеон писал: «Всякая наступательная война является войной вторжения, всякая хорошо веденная война является методической войной. Оборонительная война не исключает наступления, равно как и наступательная война не исключает обороны, хотя ее целью и является переход через границу и вторжение в неприятельскую страну».

Дав краткий очерк походов величайших полководцев, Наполеон считал «излишним приводить какие-либо замечания относительно так называемых систем военного искусства».

Однако, как и все великие полководцы, он, конечно, стремился *разбить и добить врага.*

Приведенное мнение Клаузевица является односторонним: Жомини, например, нигде его не высказывает. Кстати, следует заметить, что, признавая большие качества за трудами Клаузевица, Энгельс именно для изучения Наполеона предпочитал все-таки Жомини. Вот, например, что писал Энгельс Иосифу Вейдемейеру (12 апреля 1853 г.): «Жомини в конце концов является все же их лучшим (наполеоновских походов — *Е. Т.*) историком, а самородный гений Клаузевиц, несмотря на некоторые прекрасные вещи, мне не совсем по вкусу» [8].

3

Наполеон беспощаден был к тем ненавистным ему «якобинцам», которые хотели блага революционных завоеваний распространить и на плебейские массы.

Ограждение собственности, всякой собственности, в том числе и той земельной, парцеллярной, т. е. мелкой и мельчайшей крестьянской собственности, которая так расширилась при революции,— вот что стало одной из главных основ наполеоновской внутренней политики, хотя, как отметил еще Маркс в «Святом семействе», он и интересы отдельных групп буржуазии старался подчинить интересам своей империи. «Не-собственники»,— например, рабочие Парижа, рабочие Лиона, рабочие Амьена и Руана — были беспокойным для него элементом, но он был достаточно умен, чтобы не считать единственной защитой от них патрули и пикеты, жандармерию и идеальный по дееспособности и ловкости шпионаж, созданный Фуше. Он пытался оказывать сопротивление волнам безработицы, которые выгоняли в 1811 г. на улицы тысячи голодных рабочих. В этом он тоже искал оправдания как континентальной блокады, так и жестокой экономической эксплуатации и монополизации всех завоевываемых стран во имя французского сбыта и во имя дешевизны сырья французской промышленности.

Главными мотивами наполеоновской экономической политики были: желание сделать французскую промышленность главенствующей на земном шаре и неразрывно с этим связанное стремление изгнать Англию со всех европейских рынков. Но в области отношений между рабочим и работодателем Наполеон не только сохранил полностью и ввел в свое систематизированное законодательство эксплуататорский закон Ле Шапелье, запрещающий даже отдаленную видимость рабочих стачек; но сделал еще новый шаг по этому пути угнетения и эксплуатации рабочего, введя «рабочие книжки».

Как же случилось, что рабочие даже в самые критические моменты не восставали против императора? Как случилось, что в 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821 гг. так часто судьи реставрированной бурбонской монархии отправляли рабочих и в Париже и в провинции в тюрьму на долгие месяцы за «мятежные крики»: «Да здравствует император!»?

Ответ на это я старался дать в своей книге: объяснение заключается в том, что рабочие инстинктом понимали, что буржуазный послереволюционный строй, представленный императором, все-таки, невзирая ни на что, для них выгоднее, чем затхлое дворянско-феодальное старье, которое везли к ним фургоны, ехавшие вслед за армиями союзников.

В оседлой рабочей массе столицы, населявшей Сент-Антуанское, Сен-Марсельское предместья, кварталы Тампль и Муффтар, еще не были забыты героические дни революции. Но на Наполеона во время Ста дней даже и наиболее верные революционным преданиям смотрели все-таки как на меньшее из двух зол, считая наибольшим злом феодальную реставрацию.

Если во Франции в борьбе против угрожавшей реставрации старого строя Наполеон был представителем новой, промышленной, экономически прогрессивной эры, то естественной делалась революционизирующая роль его завоеваний в разрушении устоев феодальной Европы.

Во всех высказываниях Маркса и Энгельса подчеркивается значение прогрессивного толчка, данного Наполеоном. «Наполеон разрушил Священную Римскую империю и сократил в Германии число мелких государств путем образования более крупных. Он принес с собой в завоеванные страны свой кодекс законов, который был бесконечно выше всех существовавших кодексов и в принципе признавал равенство» [9]. По мнению Энгельса, Наполеона не поняли ни немецкие крестьяне, ни немецкие бюргеры, которые раздражались дороговизной кофе, сахара, табака и т. д., хотя та же континентальная блокада была причиной начала их собственной промышленности... «К тому же это не были люди, способные понять великие планы Наполеона. Они проклинали Наполеона за то, что он отнимал у них сыновей для войн, которые затевались на деньги английской аристократии и буржуазии; они прославляли как своих друзей именно те классы англичан, которые были действительными виновниками этих войн...» [10].

«Режим террора, который сделал свое дело во Франции, Наполеон применил *в других странах в форме войны,* и этот «режим террора» в Германии был крайне необходим» [11].

В статье против Бакунина (14 февраля 1849 г.) мы читаем: «Но без насилия и неумолимой беспощадности ничто в исто-

рии не делается, и если бы Александр, Цезарь и Наполеон отличались таким же мягкосердечием, к которому ныне апеллируют панслависты в интересах своих ослабевших клиентов, что стало бы тогда с историей!» [12]

Маркс и Энгельс находили даже (именно по поводу бездарного ведения с обеих сторон восточной войны 1853—1855 гг.), что наполеоновская решительность была «гуманнее», чем действия бездарных эпигонов.

Вот что они писали по поводу осады Севастополя: «Поистине Наполеон Великий, этот «убийца» стольких миллионов людей, с его быстрым, решительным и сокрушительным способом ведения войны, был образцом гуманности по сравнению с нерешительными, медлительными «государственными мужами», руководящими этой русской войной...» [13]

Не снижая революционизирующей роли наполеоновских завоеваний для Европы, Энгельс ничуть не закрывает глаза на то, как Наполеон все больше и больше сам начинает к концу обращаться в монарха «божьей милостью». Величайшей ошибкой Наполеона было «то, что Наполеон вступил в союз со старыми антиреволюционными династиями, женившись на дочери австрийского императора, что, вместо того чтобы уничтожить всякие следы старой Европы, *он, наоборот, старался вступить с ней в компромисс* (курсив наш — *Е. Т.*), что он добивался чести быть первым среди европейских монархов и поэтому по возможности уподоблял свой двор их дворам...» [14] То, что он тоже стал преклоняться перед «принципом легитимности», и погубило его в конечном счете, по мнению Энгельса.

Разгром всех континентальных монархий, произведенный Наполеоном, был результатом титанической борьбы, которая в конце концов истощила его силы, потому что на стороне Европы, экономически отставшей от наполеоновской Франции, оказалась Англия, экономически далеко опередившая наполеоновскую Францию, а вместе с тем стратегически недоступная для прямых ударов Наполеона вследствие владычества английского флота на морях.

Наполеон сразу увидел, что этот враг — самый страшный. Он хотел победить этого врага на Востоке, из Египта и Сирии; он собирался победить этого врага в Лондоне, из Булонского лагеря. Когда ни та, ни другая попытка не удалась, он хотел изгнать английские товары не обилием, качеством и дешевизной французских товаров, что было невозможно, а штыками и ружьями, солдатами и таможнями, и изгнать со всего континента Европы. Чтобы разорить Англию, было мало, однако, уничтожить только ее промышленность, нужно было подорвать и торговлю и торговое мореплавание и свести к нулю значение британских колоний. Наполеон и на это пошел, воспретив ввоз

сахара, хлопка, индиго, индонезийского чая, кофе, пряностей. Континентальная блокада для своего завершения логически требовала беспрекословного подчинения всей Европы и России воле Наполеона, т. е. всемирной монархии, к которой он явно шел уже после Аустерлица, прикрывая (довольно прозрачно) свои стремления термином «император Запада». После Тильзита эти стремления обозначались все яснее и яснее. На этом пути он не мог не погибнуть, и он погиб.

4

Все попытки представить Наполеона безгрешным, добрым гением, слетевшим на землю исключительно для благодеяний роду человеческому, все усилия объяснить непрерывное двадцатилетнее кровопролитие исключительно необходимостью «защищаться», все старания (особенно этим отличаются французские историки) обелить некоторые черные дела, неразрывно связанные с именем Наполеона, совершенно бесплодны. Наполеон сам, кстати, никогда этими черными воспоминаниями не тревожился. Он так, по-видимому, искренне раз навсегда отождествил себя с Францией, что у него наперед было готово оправдание всему тому, что он делал; благо Франции, величие Франции, безопасность Франции — вот что в его глазах оправдывало все, что он делал.

Какой класс народа фактически он понимал преимущественно под Францией, я уже сказал выше: класс крупной буржуазии, а отчасти также собственническое крестьянство.

Но, переходя от «моральной» (или «морализующей») стороны к интеллектуальной, можно понять лорда Розбери, который сказал, что «Наполеон до бесконечности раздвинул то, что до его появления считалось крайними пределами человеческого ума и человеческой энергии». Другой англичанин, профессор Холленд Роз, отнюдь не увлекающийся Наполеоном, относящийся ко многому в нем отрицательно, тоже считает его «стоящим в первом ряду бессмертных людей» по тем неслыханно громадным и разнообразнейшим дарованиям, которыми наделила его природа, и по тому месту, которое он занял во всемирной истории. «Наполеон умел в одно мгновение решать участь целых материков, обнаруживая при этом как настоящую гениальность, так и неуклонность в достижении намеченной цели» [15].

В нем не было жестокости как страсти, но было полнейшее равнодушие к людям, в которых он видел лишь средства и орудия. И когда жестокость, коварство, вероломный обман представлялись ему необходимыми, он их совершал без малейших колебаний. Его холодный ум подсказывал ему, что при

прочих равных условиях, если это возможно, всегда выгоднее достигнуть цели без жестокости, чем при ее помощи. Он и действовал всегда сообразно с этим правилом там (но только там), где, по его разумению, позволяли условия. Цели, и именно самые главные, которые он себе ставил после Тильзита, а особенно после Ваграма, были часто фантастическими и невыполнимыми, но в стремлении к их осуществлению его ум давал ему разнообразнейшие указания, выискивал неожиданные средства, контролировал неустанно и главное и детали и не терялся в этих деталях. Он умел как-то, вопреки поговорке, разом видеть и лес, и деревья, и даже сучья и листья на деревьях.

Власть и слава — вот были личные основные его страсти, и притом власть даже больше, чем слава. Озабоченность, зоркая требовательность, всегдашняя предрасположенность к подозрительности и раздражению были ему свойственны в высшей степени. Обожание окружающих, доходившее до размеров суеверия, окружало его так долго, что он к нему привык и относился как к чему-то должному и совсем обыкновенному. Но и это обожание он расценивал больше всего с точки зрения той реальной пользы, которую из него можно извлечь. Не любовь, а страх и корысть — главные рычаги, которыми можно воздействовать на людей,— таково было его твердое убеждение. Только для своих солдат он делал отчасти исключение. Однажды, в годы его владычества над Европой, на его внезапный вопрос, как отнесутся люди к известию о его смерти, придворные льстецы стали расписывать будущую глубокую скорбь, а император насмешливо оборвал их и сказал, что Европа испустит вздох облегчения, воскликнет: «Уф!»

Что его солдаты его обожают, это он знал очень хорошо, и хотя солдат он даже и отдаленно так не любил, как они любили его, но всегда им верил.

Смерти он не боялся. Когда его тело после кончины обмывали, на нем нашли какие-то следы ран, о которых ничего не знали до тех пор (кроме следа от штыкового удара при штурме Тулона в 1793 г. и пулевой раны в ногу при Регенсбурге в 1809 г.). Очевидно, он в свое время скрыл об этих других ранениях, чтобы не смутить солдат в бою, и обошелся тогда помощью ближайшего окружения, которому и велел молчать. В своей посмертной вечной славе он был вполне уверен. Свою изумительную жизнь он объяснял больше всего совсем особыми, исключительными условиями, совпадение которых может встретиться раз в тысячелетие. «Какой роман моя жизнь!» — сказал он однажды Лас-Казу на острове Св. Елены.

Его исчезновение с исторической арены произвело на современников впечатление внезапно прекратившегося, долго бушевавшего урагана неслыханной ярости. Социально-экономиче-

ское развитие уже до Наполеона ослабило в тогдашнем европейском мире много старых, державшихся столетиями политических скреп феодализма, разрушило базис под многими юридическими и государственно-правовыми надстройками, продолжавшими по инерции существовать, превратило в гниль много зданий с древними и пышными фасадами. Ураган, который разразился и потом бушевал над Европой столько лет и в центре которого стоял Наполеон, разрушил и снес прочь много этих гнилых сооружений. Они упали бы, конечно, и без Наполеона, но он ускорил эту неизбежную ликвидацию. Смертоносное искусство, в котором он оказался таким мастером и специалистом, облегчило ему эту историческую задачу.

После Наполеона дворянско-феодальные пережитки могли в Западной Европе еще просуществовать известное время, но уже, за некоторыми исключениями, лишь в виде гальванизированного трупа. Революция 1830 г. во Франции, революция 1848 г. в Германии и Австрии в этом смысле значительно подвинули дело уборки исторического мусора. В России первый крупный шаг к этому (уничтожение крепостного права) был сделан лишь в 1861 г., и был сделан нехотя, со скрежетом зубовным, с откровенным стремлением дворянского большинства отнять вынужденную обстоятельствами уступку, что не удалось, или умалить ее, что удалось полностью.

Однако вместе с тем следует признать, что сам Наполеон сделал очень и очень многое, чтобы облегчить феодальной Европе борьбу с ним и победу над ним. Чем больше бывший генерал французского революционного правительства заслонялся французским императором, а французский император — вселенским монархом, тем нерешительнее становился Наполеон в деле освобождения народов от феодальных пут (Польша в 1807—1812 гг., где он освободил крестьян, не наделив их землей и этим фактически оставив их в кабале; Россия в 1812 г.), тем — параллельно с этим — он делался категоричнее и настойчивее в деле подчинения своему личному произволу и народов и правительств и тем решительнее поэтому при первой же возможности Европа поднялась на борьбу против всемирного угнетателя.

И в избавлении от Наполеона видели в 1813—1814 гг. свое спасение не одни только обломки дворянско-феодального класса. Буржуазия покоренных Наполеоном стран жаждала теперь сбросить путы, которые наложил на нее Наполеон и которые мешали ей развернуться. Буржуазия завоеванных Наполеоном земель очень хорошо понимала и больно чувствовала, как Наполеон планомерно и беспощадно эксплуатирует эти земли в интересах исключительно французской буржуазии. Правда, когда национально-освободительное восстание против Напо-

леона окончилось низвержением наложенного им ига, то воспользовалась этой победой непосредственно не буржуазия, а та же феодально-абсолютистская реакция, но это уже произошло от относительной слабости и политической неорганизованности буржуазного класса тогдашней Европы.

Таким образом, в 1813, 1814, 1815 гг. против Наполеона боролся также и тот класс европейского общества, который некогда восторгался «гражданином первым консулом», якобы носителем революционных освободительных идей, каким его считали многие еще в промежуток времени между 18 брюмера и провозглашением империи.

Его экономическая политика в покоренных странах и не могла иметь другого конечного результата. Этого он до конца и не хотел понять и органически не мог понять. Бронзовый император в лавровом венце, со скипетром в одной руке и державой в другой, стоящий в центре Парижа на вершине своей колоссальной Вандомской колонны, отлитой из взятых им пушек, как бы напоминает, до какой степени он упорно при жизни цеплялся за безумную мысль держать в своей руке Европу, а если можно, то и Азию, и держать так же крепко, как на памятнике он сжимает символический шар державы, эту геральдическую эмблему всемирной монархии. Но мировая империя рухнула, длительное существование было суждено лишь тем делам Наполеона, которые обусловлены и подготовлены были еще до его воцарения детерминирующими, глубокими социально-экономическими причинами. А в памяти человечества навсегда остался образ, который в психологии одних перекликался с образами Аттилы, Тамерлана и Чингис-хана, в душе других — с тенями Александра Македонского и Юлия Цезаря, но который по мере роста исторических исследований все более и более выясняется в его неповторяемом своеобразии и поразительной индивидуальной сложности.

О НАПОЛЕОНОВСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Наполеоновская историография поистине колоссальна. Из существующих библиографий тому читателю, который хотел бы продолжать изучение какой-либо стороны деятельности Наполеона, можно порекомендовать как самую новую и полную труд Кирхейзена [1], который дает много тысяч названий отдельных книг (не говоря уже о статьях).

Книги о Наполеоне в первые десятилетия после его смерти носили в подавляющем большинстве случаев характер патриотических славословий. Эта литература явилась реакцией после той тучи памфлетов против Наполеона, пасквилей, апокрифических сказаний и т. д., которыми были ознаменованы первые годы реставрации Бурбонов и которые писались роялистами, ненавидевшими «узурпатора». В противовес этим памфлетам и стали появляться такие мемуары, как многотомное сочинение герцогини д'Абрантес, как воспоминания Шапталя, книга Лас-Каза и т. д., а параллельно с этой мемуарной литературой начали выходить в свет и первые опыты систематической обработки истории наполеоновского правления.

Из этих ранних работ о Наполеоне много шума наделала и действительно дала большой и искусно обработанный материал знаменитая «История Консульства и Империи», написанная Адольфом Тьером и занимающая 20 томов. Она до сих пор в некоторых частях (например, в подробнейшем фактическом описании всех наполеоновских сражений) не утратила своего значения. Но написана она с откровенно «патриотической» точки зрения: во всех своих войнах, в которых успех был на его стороне, Наполеон прав. Тьера назвали «историком успеха». Он (чрезвычайно, впрочем, мягко) порицает Наполеона только за те войны, которые тот проиграл. Написана она в общем в восторженных тонах. Это исключительно политико-дипломатическая и военная история. Экономики Тьер не знает и

даже не подозревает, что она нужна для понимания истории. Его труд имел громадное влияние и читался нарасхват, чему способствовал блеск изложения.

Многотомная книга Вальтер Скотта о Наполеоне, одна из первых по времени больших книг о нем, тоже написана с внешней стороны блестяще. Знаменитый романист написал свою работу для самой широкой публики. Тон — английско-патриотический, враждебный Наполеону. Документация довольно слабая и поверхностная. Вообще это книга хоть и многотомная, но — для занимательного чтения, не больше. Успех ее был чрезвычайно велик и в Англии и вне Англии; она была переведена на все европейские языки. В середине XIX в. «наполеоновская легенда» настолько прочно овладела историографией Франции, что на книгу Вальтер Скотта там смотрели как на кощунственное произведение.

Вальтер Скотт хотел своей книгой как бы ответить Байрону, в 1822 г., за два года до своей кончины, прославлявшему победы Наполеона, который, «не родившись царем, влек царей за своей колесницей». Консервативный романтик Вальтер Скотт не прощал Наполеону этих ударов, нанесенных им феодальному миру.

Книга Вальтер Скотта вызвала, к слову замечу, любопытный отзыв Гегеля.

13 октября 1806 г., накануне битвы под Иеной, но когда город уже был занят Наполеоном, Гегель писал Нитгаммеру: «Я видел, как через город на рекогносцировку проехал император, эта мировая душа» (diese Weltseele).

Знаменитый философ впоследствии уже не говорил так о Наполеоне и склонен был считать его «бичом божьим», но книга Вальтер Скотта с ее благочестивыми обывательскими рассуждениями о Французской революции и об Империи возмутила его. Вальтер Скотт пишет, что «небо» послало революцию и Наполеона за грехи Франции и Европы. Гегель на это возражает, что если справедливое небо так распорядилось, то значит сама-то революция была справедлива и необходима, а вовсе не преступна. «Поверхностная голова!» (Seichter Kopf!) — заключает он свое замечание о Вальтер Скотте [2].

Между тем документация росла неудержимо. Постоянно появлялись новые и новые мемуары о Наполеоне и его эпохе. Французским правительством изданы были 32 громадных тома (in-quarto) писем, приказов и декретов, лично продиктованных Наполеоном. За этим изданием последовали добавочные. Монографическая литература о его походах, отдельных битвах, о его законодательстве, дипломатии, администрации ширилась и во Франции, и в Германии, и в Италии, и в Англии.

Романтическая школа выдвинула в историографии особое

направление, которое «героям» приписывало руководящую роль в истории человечества. Книга Томаса Карлейля «Герои и героическое в истории» имела очень большое влияние, и это влияние крайне резко и крайне вредно, конечно, отразилось на литературе о Наполеоне. Уж если кто в самом деле мог ввести в соблазн историков «героического» направления, то, конечно, прежде всего Наполеон.

Первым серьезным протестом в наполеоновской историографии против этого совершенно ненаучного подхода к вопросу была книга полковника Шарраса о кампании 1815 г., изданная в период Второй империи в Брюсселе в 1858 г. Шаррас — французский эмигрант, враг бонапартизма. О Шаррасе Маркс в 1869 г. писал, что он «открыл атаку на наполеоновский культ». Ведет борьбу с «наполеоновской легендой» французский историк Эдгар Кине, который стремится доказать, что идея «великой империи» чужда Франции, что ее происхождение итальянское, что она скрывается в глубине мысли всех крупных деятелей Италии. Пятитомная книга Пьера Ланфрэ, начавшая выходить в 1867 г. и выдержавшая 11 изданий, написана в очень враждебном Наполеону тоне. Она была не только протестом против «героической» школы в наполеоновской историографии, но и выражением борьбы против удушающего официального культа традиций Наполеона: писалась эта книга и первые томы ее вышли в свет при Второй империи. Ланфрэ ненавидел обоих Наполеонов: и дядю, историю которого он писал, и племянника, в царствование которого он сам жил и действовал. Наполеон I для Ланфрэ — себялюбивый деспот, угнетатель народов, душитель свободы, тиран, залитый кровью человечества. Увлекшись правильным по существу желанием бороться против восторженных преувеличений господствующего направления в наполеоновской историографии, Ланфрэ впал в конце концов в ту же ошибку, что и его противники: он необычайно преувеличивал историческую (решающую будто бы все) роль Наполеона — роль, по его мнению, не положительную, а отрицательную.

Но все равно, методологически он так же впадает в наивность и ненаучные преувеличения, как его бесчисленные противники «героической» школы.

После конца Второй империи в интересующей нас области историографии начинаются новые течения. С одной стороны, в самые первые годы Третьей республики, когда еще была опасность восстановления империи Бонапартов, республикански настроенные историки продолжали борьбу против наполеоновской легенды. Книга Юнга была одним из таких проявлений этой борьбы. С другой стороны, большое впечатление (на университетских преподавателей истории особенно)

произвел появившийся тогда же пятый том «Происхождения современной Франции» Ипполита Тэна. Реакционный историк Французской революции, под прямым впечатлением испуга и злобы по отношению к Коммуне 1871 г. так извращенно изложивший историю людей и событий первой революции, относится к Наполеону как к наследнику и продолжателю итальянских кондотьеров XIV, XV, XVI вв., жившему войной и для войны. Он не порицает нисколько Наполеона за то, что тот задушил революцию и уничтожил республику.

Тогда же, в 70—80-х годах, стала выходить, а в 900-х годах была закончена восьмитомная работа Альбера Сореля «Европа и французская революция», последние четыре тома которой посвящены Наполеону. Сорель писал после франко-прусской войны 1870—1871 гг., и его патриотическое усердие выдвинуло тезис, который до сих пор и остался господствующим во французской наиболее влиятельной историографии: Франция ни на кого не нападает, а только защищается, отстаивая свои «естественные границы», т. е. Альпы и Рейн. Войны Наполеона, в сущности, только по своему внешнему виду наступательные, а на самом деле они оборонительные. Много литературного блеска, исследовательских изысканий, ловкой адвокатской казуистики и дипломатического лукавства потратил Альбер Сорель (дипломат по подготовке и по службе) для доказательства правильности своего недоказуемого и даже неправдоподобного тезиса. Но попутно работа Сореля выяснила много важных и интересных явлений наполеоновской истории, и в смысле фактического рассказа она может быть очень полезна. Тон по отношению к Наполеону — довольно восторженный и приподнятый.

Еще больший шаг по пути нового оживления «наполеоновской легенды» и фальшивого апофеоза императора сделал Артур Леви, написавший в 1894 г. огромную курьезную книгу, специально посвященную личной характеристике Наполеона (Napoléon intime). Оказывается, что император являлся собранием всех моральных совершенств, и если был, действительно, у покойника один недостаток, то разве только излишняя доброта к людям и безудержное великодушие. Нравственные красоты этого якобы кроткого друга человечества, мягкого добряка, благодушного и миролюбивого филантропа еле-еле уместились на 650 страницах книги этого восторженного биографа... Карикатурные, нелепые преувеличения и все эти лживые несообразности Артура Леви нисколько не помешали этой книге со всеми ее фантазиями иметь огромный успех и в ученых, и полуученых, и совсем неученых слоях читающей публики.

Отчасти до, а больше всего после Артура Леви и поощренный его успехом выступил Фредерик Массон в 1890-х и

1900-х годах с многочисленными томами о Наполеоне, о коронации Наполеона, о семье Наполеона, об армии Наполеона, о дворе Наполеона и т. д. Эти детальные архивные исследования, тоже написанные в духе обожания, осветили немало чисто фактических проблем, но какого-нибудь общего взгляда, какого-нибудь, пусть даже неправильного, одностороннего, но обобщающего, теоретического подхода спрашивать и ожидать от Массона не приходится.

Гораздо серьезнее Массона Альбер Вандаль — самый талантливый продолжатель и последователь Сореля. В разгаре франко-русского дипломатического сближения, в 1890—1897 гг., один за другим вышли три тома его исследования «Наполеон и Александр», где он излагает историю франко-русских войн и франко-русского союза в эпоху Наполеона I. Точка зрения в основном сорелевская: Наполеон в сущности не виноват в войнах с Россией, как и вообще он ни в каких войнах не повинен. Да и вообще может ли Наполеон в чем-нибудь быть повинным? По-видимому, для Альбера Вандаля это неясно. По крайней мере во втором своем большом двухтомном исследовании «Возвышение Бонапарта», вышедшем в 1902 г., через пять лет после окончания первой работы, излагая с присущим ему блеском (в литературном отношении он пишет лучше не только Сореля, но и Тэна) историю переворота 18 брюмера, Вандаль находит, что Бонапарт не повинен в установлении деспотического режима и вообще во всем без исключения, что он сделал до и после государственного переворота. Тон напряженно-восторженный, такой, какого даже у старых историков, даже у Тьера, не было. Но обилие умело расположенных фактов, дающих широкую и яркую картину гибели Директории и ее предшествующей агонии, делает это исследование достойным изучения. За первые же десять лет после своего появления эта большая двухтомная работа (540+600 страниц) вышла в 18 изданиях.

Война 1914—1918 гг. и послевоенное время отразились очень значительно на наполеоновской историографии. С одной стороны, резко обострился барабанно-шовинистический дух ее. Один за другим появлялись большие и малые, специальные и популярные томы о войнах Наполеона и о его деятельности. Еще можно назвать ряд книг Дрио (редактора специального журнала «Revue des études napoléoniennes», посвященного истории Наполеона). В этих больших монографиях Дрио имеется много частичных фактических поправок и дополнений к прежним материалам. Последние книги Дрио проникнуты духом самого крайнего шовинизма и реакции.

Вообще крутое обострение буржуазной реакции после Версальского мира сказалось соответствующим образом на книгах,

посвященных внутренней деятельности Наполеона и его общеисторическому значению. В этом смысле характерны (я называю лишь самые новые книги, и притом только такие, которые могут представить хоть какой-нибудь самостоятельный фактический интерес) такие работы, как двухтомный «Наполеон» Луи Мадлена (вышел в 1934 г.), или два больших тома того же Мадлена «Консульство и Империя», вышедшие в 1933 г., или книга Бэнвиля. Что касается двухтомного специального исследования Обри «Св. Елена», вышедшего в 1935 г., то оно дает много ценного для истории последних лет Наполеона. Подводящая итоги многочисленным монографиям Эдуарда Дрио его новая трехтомная книга «Наполеон Великий», вышедшая в 1930 г., превосходит работы Бэнвиля и Мадлена большим обилием фактического материала. С 1936 г. начала выходить в свет рассчитанная на двенадцать томов «История Консульства и Империи» Луи Мадлена. Тон автора благоговейно-восторженный.

В конце 1934 г. вышла книга о Наполеоне известного исследователя Мейнье, составившего себе имя, между прочим, вышедшей еще в 1928 г. работой о 18 брюмера. Называется эта новая его книга (1934 г.) так: «За и против Наполеона». Мейнье сначала вкратце излагает то, что могут сказать и сказали о Наполеоне враги его, а затем излагает заслуги Наполеона перед Францией. Общий вывод оказывается всецело в пользу Наполеона. Самое появление книги Мейнье — характерное явление для общего апологетического направления современной наполеоновской историографии. Гораздо более объективна и научна книга Лефевра, вышедшая в серии «Peuples et civilisations» в 1932 г.

Таковы были главные течения во французской наполеоновской историографии за 100 лет. Я назвал лишь несколько особенно заметных и оказавших влияние общих трудов о Наполеоне. В списке, которым я заканчиваю свою книгу, я указываю еще на несколько монографий об отдельных сторонах его жизни и деятельности.

Что касается наполеоновской историографии в других странах Европы, то в общем она шла за французской. Назовем Фурнье и огромное, законченное в 1934 г., девятитомное исследование Кирхейзена, того самого швейцарского ученого, который предварительно составил уже упомянутую мною лучшую библиографию о Наполеоне. Конечно, самые масштабы обеих биографий несоизмеримы: в своих огромных девяти томах Кирхейзен дает детальное изложение, и каждый из этих томов чуть ли не вдвое больше любого тома книги Фурнье. Оба этих немецких исследования, из которых второе основано на громадном количестве данных, изданных и неизданных, отлича-

ются спокойным изложением и научностью тона и подхода к материалу. Англичане дали очень большое количество исследований по отдельным вопросам истории Наполеона; из общих обзоров удачнее других книга Холлэнда Роза. Огромный девятый том всемирной «Новой истории», издаваемой Кембриджским университетом, посвящен истории Наполеона. Это самый полный из общих обзоров эпохи. Дельный общий обзор эпохи Наполеона советский читатель найдет и в первых двух томах «Истории XIX века» Лависса и Рамбо (Соцэкгиз, 1938 г.).

Экономическая история наполеоновской эпохи в общем оставалась до последнего времени очень мало разработанной, несмотря на обильнейшие неизданные материалы по экономической истории Первой империи, хранящиеся в Национальном архиве. Кроме работы Пауля Дармштеттера, моих работ о континентальной блокаде во Франции и Европе и об экономической жизни Италии в царствование Наполеона, книги Ролоффа о колониальной политике Наполеона, новейшей книги Сентуайяна о том же предмете, труда шведского ученого Гекшера о континентальной блокаде (основанного, как оговаривается Гекшер, в значительной мере на материалах моей монографии) и кроме еще очень немногих частичных исследований, почти ничего сколько-нибудь систематического в области разработки экономической истории наполеоновской империи не сделано.

Итальянская экономика в царствование Наполеона на основании неизданных документов Миланского и других архивов составила предмет вышедшего в 1928 г. в Париже моего специального тома «Le blocus continental en Italie» («Континентальная блокада в Италии»).

В самом конце 1936 г. вышла книга Луи Вилла «Революция и Империя», том II (подзаголовок — «Наполеон»). Это полезный критико-библиографический справочник, дающий как бы общий очерк того, что сделано в науке по истории Наполеона. Но Вилла не очень хорошо знает историю покоренных Наполеоном стран. Изложение истории Наполеона у самого автора очень уж схематичное и совсем беглое, напоминающее скорее учебник. Библиография у Вилла очень полная.

Строго научное исследование истории Наполеона неминуемо даст пересмотр целого ряда устоявшихся, весьма популярных, но ничуть не ставших от этого правильными взглядов на цели и результаты наполеоновской деятельности и прежде всего должно вызвать интенсивную разработку неизданных архивных материалов по экономике империи.

Живым марксистским популярным очерком наполеоновской эпохи, поскольку речь идет о Пруссии, является работа Франца Меринга «Zur preussischen Geschichte, I. Vom Mittelalter bis Jena, II. Von Tilsitt bis Reichsgründung» («К истории

Пруссии, I. От средних веков до Иены, II. От Тильзита до основания Империи»), последнее, наиболее полное издание 1930 г. В первом томе страницы 292—380, а во втором томе страницы 1—218 посвящены истории Пруссии при Наполеоне. Написаны эти страницы с литературной стороны очень увлекательно. Эта работа полемически заострена против патриотических выдумок и плоскостей прусско-шовинистической и гогенцоллернско-монархической историографии. Владычество Наполеона в Германии Меринг, как и Энгельс, считает «историческим прогрессом» для этой страны.

Книга Меринга в сущности одна из немногих пока марксистских работ, посвященных наполеоновской эпохе.

Можно отметить также книгу Шульца (страницы, посвященные Наполеону в его «Blut und Eisen»), книгу Лауфенберга (о положении Гамбурга при французской оккупации). О Гамбурге и вообще об экономическом положении Германии при Наполеоне на основании неизданных документов, оставшихся неизвестными авторам этих работ, я говорю в моем исследовании «Deutsch-französische Handelsbeziehungen zur Napoleonischen Zeit». Berlin, 1914 («Германо-французские торговые отношения во времена Наполеона»).

Косвенным доказательством проявившегося в Европе и Америке интереса к анализу деятельности Наполеона советскими историками могут послужить, во-первых, многочисленные переводы моей книги о Наполеоне на иностранные языки и, во-вторых, отзывы, рецензии, критические разборы, отклики, вызванные изданиями этой работы в Англии, США, Франции, Швеции, Норвегии, Италии и Польше.

1936 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

I

МАРКС — ЭНГЕЛЬС — ЛЕНИН О НАПОЛЕОНЕ *

Общие характеристики. Маркс и Энгельс: т. IX, с. 372; т. X, с. 42. Маркс: т. XI, ч. 2, с. 332. Энгельс: т. II, с. 47, 86, 553; т. XXI, с. 186. Ленин: т. XXII, с. 401. *Исторические параллели: а) Древний мир.* Маркс и Энгельс: т. VII, с. 212; *b) Кромвель.* Маркс и Энгельс: т. VII, с. 7. Маркс: т. VIII, с. 398. Энгельс: т. II, с. 351; *с) Луи-Наполеон.* Маркс и Энгельс: т. VIII, с. 252, 253, 254; т. X, с. 49, 348—349. Маркс: т. VIII, с. 37, 38, 39, 78; с. 323—325, 368, 398, 405—413, 415 («18-е брюмера Луи-Бонапарта»); т. XI, ч. 1, с. 27, 507; т. XI, ч. 2, с. 113—115 (статья «Историческая параллель»); с. 330—333 («Quid pro quo»); т. XII, ч. 1, с. 262—263, 382, 383, 409; т. XIII, ч. 1, с. 30; т. XXII, с. 304—305, 428. Энгельс: т. XXI, с. 302, 303, 310; *d) Тьер.* Маркс: А., т. III (VIII), с. 263, 433.

Наполеон и французская буржуазная революция. Маркс и Энгельс: т. VII, с. 388; т. X, с. 348—349. Маркс: т. VIII, с. 323—324; т. XII, ч. 1, с. 315; т. XV, с. 169 (конспект книги Бакунина); А., т. III (VIII), с. 321, 395; Энгельс: т. V, с. 8, 12, 137; т. XVI, ч. 2, с. 17, 21, 73, 404; т. XXVIII, с. 220; Ленин: т. XXII, с. 400. *13-е вандемьера* (1795). Маркс и Энгельс: т. VI, с. 207. Маркс: т. XXIII, с. 116. *18-е фрюктидора* (1797). Маркс и Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 582. Маркс: т. XI, ч. 2, с. 558. *18-е брюмера* (1799). Маркс: т. III, с. 151, 152; т. VIII, с. 398; т. XI, ч. 2, с. 592. Энгельс: т. V, с. 137; т. VIII, с. 488; т. XIV, с. 261; т. XV, с. 512; т. XXI, с. 302. Ленин: Сб. XII, с. 63. *Плебисцит 1799 — 1800 гг.* Энгельс: т. XXI, с. 310. *Наполеон и буржуазия.* Маркс: т. III, с. 105; т. VIII, с. 324, 405, 408. Энгельс: т. XIV, с. 259, 261; т. XV, с. 510, 512.

Диктатура Наполеона. Маркс и Энгельс: т. VII, с. 212; т. IX, с. 69, 669; т. X, с. 597. Маркс: т. I, с. 354—355; т. XXII, с. 227. Энгельс: т. II, с. 394; т. V, с. 10; т. VIII, с. 488; т. XVI, ч. 2, с. 404. Ленин: т. XIX, с. 181; т. XXI, с. 190; т. XXII, с. 287, 301—302, 309, 400, 401; т. XXVI, с. 347; Сб. XXIX, с. 113, 117, 119, 123.

---

* Римские цифры после «Маркс и Энгельс», «Маркс» и «Энгельс» указывают на соответствующие тома сочинений Маркса и Энгельса, изд. ИМЭЛ (с сокращением «А» — «Архив Маркса и Энгельса»); после «Ленин» — на II и III изд. сочинений В. И. Ленина. Римские цифры с предшествующим сокращением «Сб.» означают «Ленинские сборники».

Династические интересы Наполеона. Маркс: т. I, с. 355; т. XII, ч. 2, с. 74; А., т. III (VIII), с. 395. Энгельс: т. V, с. 10, 256.

Внутренняя политика Наполеона. *Централизм и бюрократия.* Маркс: т. VIII, с. 404—405, 409—410; т. XI, ч. 2, с. 638—639 (статья «Бурьенн»); А., т. III (VIII), 35, 321, 417, 443. Энгельс: т. VIII, с. 488; т. XVI, ч. 2, с. 92; т. XXVII, с. 489. Ленин: Сб. XIV, с. 321. Социально-экономическая политика. Маркс: т. III, с. 10, 152; т. VIII, с. 5, 73, 324, 408, 410. Энгельс: т. XXVIII, с. 67. *Церковь и религия.* Маркс: т. VIII, с. 410. Энгельс: т. XIV, с. 655; т. XVI, ч. 2, с. 292. *Печать.* Маркс: т.VII,с. 237. Энгельс:т. II, с. 47; т. XVI, ч. 1, с. 168. Ленин: Сб. XXIX, с. 349. *Крестьянство.* Маркс: т. VIII, с. 73, 406—411; т. XI, ч. 1, с. 492; т. XIII, ч. 2, с. 320; А., т. III (VIII), с. 337—339. Энгельс: т. VI, с. 529—530; т. XV, с. 405. Ленин: т. XI, с. 368; Сб. XIX, с. 296.

Кодекс Наполеона. Маркс и Энгельс: т. VI, 309; т. VII, с. 227. Маркс: т. I, с. 207; т. III, с. 114; т. VIII, с. 409; т. XI, ч. 1, с. 28; т. XI, ч. 2, с. 628; т. XXIII, с. 441. Энгельс: т. II, с. 17; т. V, с. 8; т. VI, с. 5, 6, 530; т. VII, с. 406; т. XI, ч. 2, с. 306; т. XIV, с. 109; т. XV, с.643;т. XVI,ч. 1, с. 49, 168, 504; т. XXVII, с. 183; т. XXVIII, с. 259. *Наполеон и буржуазная семья.* Маркс: т. VIII, с. 406. Энгельс: т. XVI, ч. 1, с. 49, 67.

Внешняя политика Наполеона. Маркс: т. VIII, с. 324; А., т. III (VIII), с. 321—323. Энгельс: т. XII, ч. 1, с. 219; т. XVI, ч. 1, с. 265. Ленин: Сб. XII,с.408—409. *Континентальная блокада.* Маркс и Энгельс: т. IV, с. 36. Маркс: т. XI, ч. 1, с. 80, 354; т. XII, ч. 1, с. 160—162. Энгельс: т. V, с. 11, 522—523; т. XV, с. 571; т. XVI, ч. 2, с. 20. *Тильзитский мир.* Маркс и Энгельс: т. X, с. 724. Маркс: т. XIII, ч. 2, с. 96; т. XXIV, с.390; т. XXVI,с. 69; А.,т. I (VI), с. 377; т. III (VIII), с. 281. Энгельс: т. XII, ч. 1, с. 240, 242, 244; т. XVI, ч. 2, с. 19, 20, 248. Ленин: т. XXII, с. 310, 327—328, 377, 395, 399—400. *Австрия.* Маркс: т. XII, ч. 1, с. 356. Энгельс: т. V, с. 250, 255, 256; т. XI, ч. 2, с. 26; т. XII, ч. 1, с. 241; т. XIII, ч. 1, с. 168; т. XVI, ч. 1, с. 463; т. XVI, ч. 2, с. 18, 21. *Англия.* Маркс и Энгельс: т. IX, с. 287, 495; т. X, с. 599. Маркс: т. XII, ч. 1, с. 356; т. XII, ч. 2, с. 223; т. XXII, с. 305. Энгельс: т. V, с. 9, 11—12, 14; т. VIII, с. 432—433. *Германия.* Маркс и Энгельс: т. IV, с. 36, 176; т. VI, с. 35, 252; т. X, с. 34. Маркс: т. V, с. 263; т. XI, ч. 1, с. 530; т. XI, ч. 2, с. 118; т. XII, ч. 2, с. 74; т. XIII, ч. 2, с. 9; т. XV, с. 155 (Бакунин); т. XXIV, с. 390; т. XXVI, с. 69, 80; А., т. I (VI), с. 377; т. III (VIII), с. 281. Энгельс: т. II, с. 17, 68—69, 71; т. V, с. 8—10; 12, 13, 16, 18, 143, 522—523; т. VI, с. 5; т. VII, с. 406; т. VIII, с. 453; т. XI, ч. 2, с. 40; т. XII, ч. 2, с. 25; т. XIII, ч. 2, с. 110, 175, 209—212; т. XVI, ч. 1, с. 206, 244—245, 457, 465; т. XVI, ч. 2, с. 17, 18, 19, 20—21, 248, 404. Ленин: т. XXII, с. 287, 327—328, 377, 408, 409; Сб. XI, с. 49—51. *Иллирийские провинции.* Маркс: т. XI, ч. 1, с. 115, 116—118. *Испания.* Маркс и Энгельс: т. IX, с. 495; т. X, с. 718, 722—723, 724—728, 735, 754, 758 (статьи «Революционная Испания»). Маркс: т. XV, с. 155 (Бакунин). Энгельс: т. V, с. 12; т. XVI, ч. 2, с. 21, 404. Ленин: Сб. XXIX, с. 217. *Италия.* Маркс: т. XI, ч. 1, с. 80, 114—115; т. XII, ч. 1, с. 383; т. XII, ч. 2, с. 55. Энгельс: т. V, с. 12; т. VIII, с. 453; т. XVI, ч. 2, с. 404. *Персия.* Ленин: Сб. XXIX, с. 349. *Польша.* Маркс и Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 578. Маркс: т.XIII,ч.1,с.192; Энгельс: т.V,с.12. *Россия.* Маркс и Энгельс, т. VI, с. 252; т. X, с. 61, 599. Маркс: т. XII, ч. 1, с. 368. Энгельс: т. VIII, с. 453; т.XVI,ч. 2,с. 17, 18, 19, 20—21. Ленин: т. XX, с. 324—325. *Турция.* Маркс и Энгельс: т. X, с. 9. Энгельс: т. XII, ч. 1, с. 240; т. XVI, ч. 2, с. 19, 20, 21. *Швеция.* Маркс и Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 584—585, 586—589. Энгельс: т. XVI, ч. 2, с. 19. *Наполеон и национальный вопрос.* Энгельс: т. XVI, ч. 1, с. 452. Ленин: т. XX, с. 277, 325; Сб. XXIX, с. 113, 117; Сб. XXX, с. 271.

ВОЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАПОЛЕОНА

Наполеон о войне. Маркс и Энгельс: т. X, с. 186. Маркс: т. IX, с. 713. Энгельс: т. XI, ч. 1, с. 256.

Наполеоновская система ведения войны. Маркс и Энгельс: т. X, с. 206—207, 445. Маркс: т. XI, ч. 2, с. 331. Энгельс: т. VIII, с. 453, 456, 459, 461 (обусловленность системы ведения войны экономическим развитием), 464; т. XI, ч. 1, с. 256; т. XI, ч. 2, с. 94, 398 — 401, 489, 572; т. XIII, ч. 2, с. 33, 57, 63, 168; т. XIV, с. 172; т. XXV, с. 183. Ленин: Сб. XII, с. 419, 423. *Принцип массовых движений (тактика и стратегия).* Энгельс: т. XIII, с. 451, 457, 464. *Подвижность армии.* Энгельс: т. VIII, с. 457—458, 459; т. XI, ч. 2, с. 17, 400. *Роль атаки в наполеоновской тактике.* Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 553, 554, 555. *Военные ошибки Наполеона.* Маркс и Энгельс: т. X, с. 348 (Лейпциг), 613 (Бородино); т. XI, ч. 2, с. 610 (кампания 1814 г.). Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 462—463. *Ведение горной войны.* Энгельс: т. XI, ч. 1, с. 174—175; т. XI, ч. 2, с. 24—25.

Военно-исторические параллели. *Наполеон и полководцы древнего мира.* Энгельс: т. VII, с. 212; т. XI, ч. 2, с. 554. *Наполеон и революционные войны.* Энгельс: т. VIII, с. 448—452. *Наполеоновская система ведения войны в сравнении со старой (прусско-австрийской) системой.* Маркс и Энгельс: т. XII, ч. 2, с. 340. Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 23—25, 153, 158, 399; т. XII, ч. 2, с. 25; т. XXI, с. 186—187, 189. *Наполеон и Блюхер.* Энгельс: т. XXII, с. 235. *Наполеон и Веллингтон.* Маркс и Энгельс: т. X, с. 42. Энгельс: т. XXI, с. 188—189, 198. *Наполеон и Радецкий.* Энгельс: т. VIII, с. 453—455. *Наполеон I и Наполеон III.* Маркс и Энгельс: т. X, с. 50, 347—348. Маркс: т. XXIV, с. 385. Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 304, 306, 317—318, 323—324. *Войны Наполеона и Крымская война.* Маркс и Энгельс: т. X, с. 38, 39, 186, 192, 206, 207, 209, 210, 226, 227.

Наполеон и последующее развитие военного дела. Энгельс, т. VIII, с. 453, 455—456, 457; т. XI, ч. 2, с. 400, 489; т. XXI, с. 363; т. XXV, с. 183—184.

Наполеоновская армия. Маркс и Энгельс: т. X, с. 611, 614, 620. Маркс: т. VIII, с. 411; т. XI, ч. 1, с. 114. Ленин: Сб. XIV, с. 111. *Социальный состав.* Энгельс: т. VII, с. 406; т. XII, ч. 2, с. 125. *Комплектование и обучение.* Маркс и Энгельс: т. X, с. 309, 547; т. XII, ч. 2, с. 333. Энгельс: т. VIII, с. 450, 468; т. XI, ч. 2, с. 489, 490; т. XII, ч. 2, с. 509; т. XV, с. 208; т. XXI, с. 282; т. XXIV, с. 14. *Меры дисциплинарного воздействия.* Маркс: т. XI, ч. 1, с. 241. *Личное влияние Наполеона на армию.* Маркс и Энгельс: т. VIII, с. 253. Энгельс: т. XII, ч. 2, с. 125; т. XXII, с. 235. *Военная психология.* Маркс и Энгельс: т. X, с. 68, 741. Маркс: т. XII, ч. 2, с. 398. Энгельс: т. XII, ч. 2, с. 506; т. XXVII, с. 491. Ленин: Сб. XII, с. 382—383. *Вооружение и материальное снабжение.* Маркс и Энгельс, т. X, с. 216, 445; т. XI, ч. 2, с. 400—401. Энгельс; т. XII, ч. 2, с. 42, 439. *Отдельные роды оружия: Пехота.* Маркс и Энгельс: т. X, с. 620; Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 489. *Кавалерия.* Маркс и Энгельс: т. X, с. 621. Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 422, 451, 452, 460—463, 464; т. XII, ч. 2, с. 523; т. XIV, с. 128. *Артиллерия.* Маркс и Энгельс: т. X, с. 621. Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 422, 423, 432, 434, 435. *Фортификация.* Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 36, 42, 511. *Военный флот.* Маркс и Энгельс: т. X, с. 61; Маркс: т. XI, ч. 1, с. 114. Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 522; т. XXII, с. 164. *Формирование армии.* Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 407, 489, 572. *Старая гвардия.* Маркс и Энгельс: т. X, с. 613. *Маршалы.* Маркс и Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 600; Маркс: т. XI, ч. 1, с. 493. Энгельс: т. VIII, с. 453; т. XII, ч. 2, с. 506; т. XXII, с. 234. *Бернадотт.* Маркс и Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 582—590 (статья). Маркс: т. XXII, с. 170, 226—227. Энгельс: т. XVI, ч. 2, с. 19; т. XXII, с. 230—232. *Бертье.* Маркс: т. XI, ч. 2, с. 591—593 (статья). *Бессьер.* Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 547, 563,

565; т. XXII, с. 231. *Евг. Богарнэ*. Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 12, 547; т. XXII, с. 231; Маркс и Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 585. *Даву*. Маркс и Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 584, 599; Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 547, 551, 563—565, 632, 635; Маркс: т. XI, ч. 2, с. 577, 593; Маркс и Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 599; т. XXII, с.230; т. XXVII, с. 491. *Ланн*. Маркс: т. XI, ч. 2, с. 576, 577. Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 551, 552, 563, 564; Маркс и Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 584. *Макдональд*. Энгельс: т. XI, ч. 1, с. 174; т. XI, ч. 2, с. 11, 12, 13—14, 25, 435, 547; Маркс и Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 601, 607, 608, 609, 610. *Мармон*. Маркс и Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 604, 605, 607, 608, 609, 610, 611. Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 567. *Массена*. Маркс и Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 585. Маркс: т. XI, ч. 2, с. 592, 593; Энгельс: т. XI, ч. 1, с.174; т. XII, ч. 1, с. 234; т. XXII, с. 232. *Мюрат*. Маркс и Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 584, 599. Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 451, 461, 560, 563, 565, 636. Маркс: т. XI, ч. 1, с. 48, 451. *Ней*. Маркс и Энгельс: т. X, с. 737; т. XI, ч. 2, с. 609, 610. Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 14, 422, 464, 632, 635, 636; т. XXII, с. 230. *Ожеро*. Маркс: т. XI, ч. 2, с. 558—559 (статья). *Савари*. Энгельс: т. XXI, с. 191. *Сульт*. Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 563, 564, 565, 566, 567, 594—596.

Наполеоновские войны. Маркс и Энгельс: т. X, с. 620. Энгельс: т. V, с. 8—9, 18; т. VIII, с. 432—433, 462; т. XI, ч. 2, с. 29; т. XV, с. 571. *Осада Тулона* (1793 г.). Энгельс: т. VIII, с. 450. *Итальянские кампании* (1794—1801). Маркс и Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 582; т. XII, ч. 2, с. 340. Маркс: т. XI, ч. 2, с. 330, 558, 592; т. XXII, с. 428. Энгельс: т. VIII, с. 451, 459 (1796 г.); т. XI, ч. 2, с. 19, 22, 76—77, 323; т. XII, ч. 1, с. 232, 233—235. *Наполеоновские походы в Альпах*. Энгельс: т. XI, ч. 1, с. 173—175, 177—178; т. XI, ч. 2, с. 11—14; т. XII, ч. 1, с. 223 (переход через Сен-Бернар). *Переход Суворова через Альпы*. Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 13 («Этот переход был самым выдающимся из всех современных альпийских переходов» — Энгельс). *Отдельные сражения и операции в Италии*. *Арколе* (1796 г.). Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 323. Кастильоне (1796 г.). Маркс и Энгельс: т. XII, ч. 2, с. 332, 340. Маркс: т. XI, ч. 2, с. 558; Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 323. *Осада Мантуи* (1796—1797). Маркс: т. XI, ч. 2, с. 223. Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 22, 76, 81; т. XIII, ч. 2, с. 63, 84; т. XV, с. 363. *Маренго* (1800 г.). Маркс: т. XI, ч. 2, с. 592; Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 11, 23; т. XII, ч. 1, с. 223; т. XXI, с. 186. *Экспедиция в Египет*. Маркс и Энгельс: т. IV, с. 115. Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 460; т. XIV, с. 128.

Кампании 1805—1807 гг. Маркс и Энгельс: т. X, с. 183; т. XI, ч. 2, с. 584, 599. Маркс: т. XI, ч. 2, с. 576. Энгельс: т. XIII, ч. 1, с. 168; т. XIII, ч. 2, с. 63. *Отдельные сражения*: *Аустерлиц* (1805 г.). Маркс и Энгельс: т. X, с. 611; т. XI, ч. 2, с. 584. Маркс: т. XI, ч. 2, с. 118. Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 560—565 (статьи «Аустерлиц»); т. XII, ч. 2, с. 25; т. XVI, ч. 2, с. 19; т. XXI, с. 191; т. XXII, с. 230, 233. Иена (1806 г.). Маркс и Энгельс: т. X, с. 206—207, 226, 611. Маркс: т. XI, ч. 2, с. 558, 559. Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 37; т. XIII, ч. 1, с. 168; т. XIII, ч. 2, с. 57, 67; т. XIV, с. 384; т. XV, с. 643; т. XVI, ч. 1, с. 244, 465; т. XVI, ч. 2, с. 357; т. XXI, с. 186; т. XXII, с. 230. *Прейсиш-Эйлау* (1807). Маркс и Энгельс: т. X, с. 192. Маркс: т. XI, ч. 2, с. 559, 569, 576. Энгельс: т. XXII, с. 230—231. *Фридланд* (1807). Маркс: т. XI, ч. 2, с. 577. *Осада Данцига* (1806—1807). Маркс: т. XI, ч. 2, с. 576. Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 22, 76; т. XIII, ч. 2, с. 84.

Война 1809 г. Маркс и Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 585—586. Маркс: т. XI, ч. 2, с. 592—593. *Отдельные сражения*: *Регенсбург*. Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 317. *Асперн*. Маркс и Энгельс: т. X, с. 348, 632. Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 547—552 (статья «Асперн»), 555. *Ваграм*. Маркс и Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 585. Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 435, 462; т. XII, ч. 2, с. 25; т. XXII, с. 231—232. *Абенсберг и Зекмюль*. Энгельс: т. VIII, с. 454 (маневр Наполеона у Абенсберга и Зекмюля — «гениальнейший из всех наполеоновских маневров»); т. XI, ч. 2, с. 94—95, 462. *Вальхернская экспедиция*. Энгельс:

т. XI, ч. 1, с. 256. *Тирольское восстание* (1809). Маркс: т. XV, с. 155. Энгельс: т. V, с. 16; т. XI, ч. 1, с. 177; т. XI, ч. 2, с. 23.

Война в Испании. Маркс и Энгельс: т. VII, с. 337; т. X, с. 48, 68, 611, 674, 724, 729, 730—731, 737—739, 742—744. Маркс: т. XXII, с. 60; Энгельс: т. VIII, с. 453, 457; т. XI, ч. 1, с. 177, 286; т. XII, ч. 2, с. 575; т. XXI, с. 189; т. XIII, ч. 2, с. 174, 175, 182, 210, 269. *Отдельные сражения*: Байлен (1808). Маркс и Энгельс: т. X, с. 384, 729. *Оканья* (1809). Маркс и Энгельс: т. X, с. 742. Бадахоз (1812). Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 566—568 (статья). Бидассоа (1813). Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 594—597 (статья).

Война 1812 г. Маркс и Энгельс: т. X, с. 183, 215—217, 348; т.XI, ч. 2, с. 588; т. XII, ч. 2, с. 340—341, 355. Маркс: т. XI, ч. 1, с. 531; т. XI, ч. 2, с. 569—570 (статья «Барклай-де-Толли»), 577, 593. Энгельс: т. VIII, с. 453, 455, 457; т. XI, ч. 2, с. 410; т. XII, ч. 1, с. 240; т. XIII, ч. 2, с. 210; т. XVI, ч. 2, с. 20; т. XXI, с. 186; т. XXIII, с. 75; т. XXV, с. 183—184. Ленин: Сб. XIV, с. 111. *Отдельные сражения*: *Смоленск*. Маркс и Энгельс: т. XII, ч. 2, с. 352. Маркс: т. XI, ч. 2, с. 570. *Бородино*. Маркс и Энгельс: т. X, с. 192, 613; т. XII, ч. 2, с. 352. Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 422, 434, 464, 572, 631—637 (ст тья).

Войны 1813—1815 гг. Маркс и Энгельс: т. VII, с. 214; т. XI, ч. 2, с. 600—613 (статья «Блюхер»). Энгельс: т. V, с. 9—10, 11, 18; т. XI, ч. 2, с. 37, 38, 42, 451—452, 553; т. XVI, ч. 1, с. 452; т. XVI, ч. 2, с. 9, 20—21; т. XXII, с. 235. *Война 1813—1814 гг*. Маркс и Энгельс: т. X, с. 547; т. XI, ч. 2, с. 600—612; т. XII, ч. 2, с. 355. Маркс: т. XI, ч. 2, с. 559, 570, 577. Энгельс: т. VIII, с. 453, 455, 475; т. XI, ч. 2, с. 39, 40, 553; т. XII, ч. 1, с. 224, 237; т. XIII, ч. 2, с. 205, 270; т. XXII, с. 234—235. *Люцен* (1813). Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 192, 298, 452. *Бауцен* (1813). Маркс и Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 600. Маркс: т. XI, ч. 2, с. 570. *Кацбах* (1813). Маркс и Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 601. *Лейпциг* (1813). Маркс и Энгельс: т. X, с. 348; т. XI, ч. 2, с. 602—604. Маркс: т. XI, ч. 2, с. 559, 570. Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 461; т. XXII, с. 234—235. *Сто дней* (1815). Маркс: т. XI, ч. 2, с. 559, 639. Энгельс: т. VIII, с. 467; т. XI, ч. 2, с. 553; т. XIII, ч. 1, с. 393; т. XXII, с. 235; т. XIII, ч. 2, с. 87. *Линьи* (1815). Энгельс: т. XI, ч. 2, с. 464. *Ватерлоо* (1815). Маркс и Энгельс: т. VII, с. 342; т. XI, ч. 2, с. 612. Энгельс: т. VIII, с. 467; т. XI, ч. 2, с. 452, 460, 462, 464, 548, 553, 555, 612; т. XII, ч. 2, с. 542; т. XIII, ч. 1, с. 393; т. XXI, с. 189; т. XXII, с. 235.

Падение Наполеона. Маркс и Энгельс: т. VII, с. 214; т. IX, с. 510. Маркс: т. XI, ч. 2, с. 593. Энгельс: т. V, с. 18; т. XXIV, с. 216.

Наполеоновская легенда. Маркс: т. VIII, с. 37—38, 323, 325, 406—407, 411; т. XIII, ч. 1, с. 313; А, т. III (VIII), с. 337—339. Энгельс: т. II, с. 86, 191, 462—463; т. XVI, ч. 2, с. 441. Ленин: Сб. XIX, с. 296.

Бонапартизм. Маркс: т. XII, ч. 2, с. 267; А., т. III (VIII), с. 393. Энгельс: т. XII, ч. 1, с. 233; т. XIII, ч. 1, с. 69—70; т. XV, с. 139, 405; т. XVI, ч. 1, с. 47; т. XXVIII, с. 9; А., т. I (изд. 1924), с. 349. Ленин: т. XX, с. 362 («Ищут Наполеона»); т. XXIII, с. 222; Сб. XII, с. 409; Сб. XXIX, с. 117.

Историография Наполеона. Маркс и Энгельс: т. X, с. 610—611 (высказывания о военной истории вообще). Маркс: т. III, с. 152; т. XI, ч. 2, с. 330 (о Клаузевице); т. XIII, ч. 1, с. 313 (о Шаррасе); т. XXII, с. 226 (о работах, посвященных Бернадотту); т. XXVI, с. 7; А., т. III (VIII), с. 15, 287, 389 (о Тьере). Энгельс: т. II, с. 86 (о воспоминаниях Иммермана); т. VIII, с. 488 (о бонапартистских и либеральных фальсификаторах истории); т. XI, ч. 2, с. 23—25 (о Бюлове); т. XII, ч. 2, с. 506 (о французских историках); т. XXI, с. 162 и 191 (о Непире, Тьере, Соути и Севари); т. XXV, с. 183 (о Жомини, Клаузевице и др.); т. XXII, с. 319 (о Шаррасе). Ленин: Сб. XXX, с. 267, 269, 271.

Высказывания Наполеона. Маркс и Энгельс: т. IX, с. 69, 706, 713; т. X, с. 522, 741; т. XI, ч. 2, с. 613. Маркс: т. I, с. 354; т. III, с. 10, 151;

т. XI, ч. 2, с. 258; т. XII, ч. 1, с. 363, 382—383; т. XII, ч. 2, с. 74, 398; т. XXVI, с. 34. Энгельс: т. II, с. 47; т. V, с. 256; т. XI, ч. 1, с. 175—256; т. XI, ч. 2, с. 14, 23—25, 537; т. XII, ч. 2, с. 439; т. XIII, ч. 1, с. 168; т. XIV, с. 128; т. XVI, ч.1, с. 265; т. XVI, ч. 2, с. 24. Ленин: т. VIII, с. 191; т. XXVII, с. 401.

Упоминания о Наполеоне. Маркс и Энгельс: т. IV, с. 115, 125, 143, 337; т. VI, с. 29, 171, 224, 297; т. VII, с. 283, 305; т. IX, с. 510; т. X, с. 318, 386, 554; т. XI, ч. 2, с. 578. Маркс: т. I, с. 241, 531; т. III, с. 13, 674; т. V, с. 261, 365; т. XI, ч. 1, с. 451, 455; т. XI, ч. 2, с. 109, 110, 617; т. XII, ч. 1, с. 358, 359; т. XII, ч. 2, с. 16, 266; т. XV, с. 179; т. XXI, с. 278; т. XXII, с. 1, 96, 165, 304; т. XXIII, с. 139, 227; т. XXIV, с. 385, 580; т. XXVI, с. 76, 157; А., т. III (VIII), с. 205. Энгельс: т. II, с. 42, 553; т. VIII, с. 471; т. XI, ч. 2, с. 21, 33, 47, 307, 490, 538; т. XV, с. 28; т. XVI, ч. 1, с. 461.

II

АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЛЕГШИЕ В ОСНОВУ КАК ЭТОЙ КНИГИ, ТАК И ДРУГИХ РАБОТ АВТОРА О НАПОЛЕОНЕ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИМ В ДАННОЙ КНИГЕ

Ленинград

1) Рукописное отделение Гос. краснознаменной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина: архив Н. К. Шильдера (в том числе «Беседа императора Александра I с Кутузовым», «Опись донесениям и письмам 1812 г.», «Сведения, полученные от выехавших из Москвы», «Papiers interceptés par l'armée russe en 1812», «Записки и заметки современников о 1812 г.», «Дрисские записки А. С. Шишкова»); архив К. А. Военского (в числе прочего: «Ковно в 1812 году», «Дневник в уездном ковенском училище», «Воспоминания французского офицера»); архив Михайловского-Данилевского («Записка о движении французских войск в 1812 г.», «Сведения о 1812 г. по духовной части»); «Записки Бутурлина» (франц. текст); «Записки кн. Голицына»; бумаги Рунича; бумаги Воронцова («Précis des principaux événements qui ont eu lieu depuis 1807. Présenté le 8 Août 1812 par le comte de Nesselrode à S. M. L'empereur Alexandre»); «Записки неизвестного о сдаче Москвы».

2) ЦГИАЛ, ф. 1286, оп. 2, 1812 г., ед. хр. 159. «Дело об ослушании крестьян, купленных надворным советником Яковлевым».

3) Архив Института литературы Академии наук (ИРЛИ): архив Кутузова.

Париж

1) Национальный архив. Серии: AF IV и F[12] (реестры протоколов Главного торгового совета и Главного совета мануфактур), а также несколько десятков картонов, не обозначенных в Etat sommaire; AD XVIII, N 108; F[12], № 535. Папки: F[7] 3452—3463 и F[18] 415—416—417—418 (документы Управления по делам печати).

2) Архив Министерства иностранных дел. Correspondance, Milan, N 60, 61, 62, 63; Correspondance, Gênes, N 179; Mêmoires et documents, N 12, Venise, N 37.

3) Национальная библиотека: ряд брошюр начала XIX в. по политическим и экономическим вопросам.

Лион

Архив **Лионской торговой палаты: Procès-verbaux des délibérations.** 1812—1815.

Марсель

Архив департамента устьев Роны: М.— 14 (2, 3, 4, 5, 18, 34).

Милан

Государственный архив. Серия Ministero delle finanze 512—514, 520—525, 527—532.

Лондон

1) Record Office F. O. 56, № 5, C. O. 118, № 3, 12.

2) Британский музей. Ряд брошюр начала XIX в. по политическим и экономическим вопросам (точное наименование их см. Тарле Е. В. Континентальная блокада, т. I. М., 1913).

Гаага

Голландский государственный архив. Консульские донесения, Frankryk, т. XXXIV.

Гамбург

Государственный архив (напечатано впервые: Тарле Е. В. Континентальная блокада, т. I. М., 1913, стр. 708—714).

Кроме того, были обследованы архивы департаментов Нижней Сены и Нижней Роны; работа велась в рукописном отделении Королевской библиотеки в Гааге, в Kommerz-Bibliothek в Гамбурге и в Берлинской королевской библиотеке.

III

ЛИТЕРАТУРА

ОБЩИЙ ОТДЕЛ

1. Библиография

Литература о Наполеоне и его эпохе по существу необозрима. Ни на одну другую историческую тему не выпущено такого количества книг и журнальных статей. До сих пор не существует сколько-нибудь удовлетворительного обзора всей этой литературы: претендовавшие на полноту охвата библиографии Кирхейзена и Лумброзо остались незаконченными.

Lumbroso A. Saggio di una bibliografia ragionata per servire alla storia dell'epoca napoleonica (в словарном порядке). Modena, 1894—1896, 5 vol.: vol. 1. A — Azuni; vol. 2. B — Barlow; vol. 3. Barluzzi — Bazzoni; vol. 4. Be — Benoist — Lamothe; vol. 5. Benoist — Bernays.

Davois G. Bibliographie napoléonienne française jusqu'en 1908. Vol. 1—3. P., 1908—1911. 3 vol.: vol. 1. A — E. 1909. 231 p.; vol. 2. 1910. 272 p.; vol. 3. N—Z. 1911. 249 p.

Сводка крупнейшего немецкого «наполеоноведа» Ф. Кирхейзена, появившаяся еще в 1902 г. (Napoleons Bibliographie. Eine systematische Zusammenstellung in kritischer Sichtung. Berl.— Lpz., 188 S.* Наполеону специально посвящена тут вся первая часть, стр. 1—28), с 1908 г. начала выходить в расширенном виде (Bibliographie des napoleonischen Zeitalters einschliesslich von Vereinigten Staaten von Amerika), но не продвинулась дальше первой части второго тома (1. Bd. Berl., 1908. XLVIII, 412 S.; II, 1. Bd. Napoleon und seine Familie; Memoiren, Briefwechsel, Biographien. Berl., 1912. III, 208 S.).

В отношении же официальной документации большим подспорьем является вышедший в 1933 г. 122-й том каталога Парижской национальной библиотеки, где под словом «Napoléon» приведены 473 номера изданий сочинений и переписки Наполеона (стр. 757—840, из которых стр. 757—766 приходятся на алфавитный указатель).

Для документации эпохи в целом основное значение будет иметь библиографический указатель, пока доходящий лишь до начала XIX в.— Monglond A. La France révolutionnaire et impériale. Annales de bibliographie méthodique et description des livres illustrés. После томов I (1789—1790), II (1791—1793) и III (1794—1796) вышли тома IV (Grenoble 1935. VIII, 615 p.) и V (там же, 1938. 1514 col.), уже непосредственно относящийся к эпохе Наполеона (1797—1799 и 1800—1802 гг.).

Рецензии на вновь выходящие работы и обзоры текущей литературы см. в журналах: «Revue historique», «Revue d'histoire moderne» (с 1926 г.), «Journal of modern history» (обстоятельные тематические библиографические обзоры), «Revue historique de la Révolution française» (с 1910 г.), «Révolution française» (с 1881 г.).

См. также библиографию в общих трудах: Houssaye, Driault (предисловие и библиографические приложения), Bainville, Villat, а также Cambridge modern history, Vol. IX.

2. Сочинения Наполеона и его переписка

Полное собрание сочинений (œuvres complètes) Наполеона вышло первоначально в 5 томах (P., 1822); издание, осуществленное в 1852 г. по распоряжению Наполеона III, насчитывает 35 томов.

Избранные сочинения (œuvres choisies) после первого издания в 1808—1813 гг. выпускались в свет много раз (1827, 1829, 1840, 1853, 1865). Имеются более новый четырехтомник и два однотомника: œuvres littéraires, publiées d'après les originaux et les meilleurs textes, avec une introduction, des notes historiques et littéraires et un index par T. Martel. Vol. 1—4. P., 1883; Mémoires et œuvres de Napoléon, précédés d'une étude littéraire par T. Martel. P., 1910. XXVII, 471 p.; Napoléon, textes choisis et commentés par E. Guillon. P., 1915. 316 p.

Ср. также Chuquet A. Ordres et apostilles de Napoléon (1799—1815). Vol. 1—4. P., 1911—1912 (сюда вошло 6876 документов), дополнением к чему служат изданные тем же Шюкэ: Inédits napoléoniens. Vol. 1—2. P., 1915—1920. 2 vol.:vol. 1. 510 p.; vol. 2. 525 p. «Воззвания и приказы» вышли также в пятитомном издании Александра Келлера (Keller).

Современные издания ранних литературных произведений Наполеона см. в литературе к первой главе.

На русском языке имеются следующие сочинения Наполеона: «Правила, мысли и мнения Наполеона о военном искусстве, военной истории и военном деле», собраны Ф. Каузлером. Пер. Я. Леонтьева. Ч. 1—2. СПб., 1844; «Записки Наполеона о походах Тюреня и Фридриха Великого». Пер. К. Полевым. М., 1836. 411, IX стр.; «Военные правила Напо-

* Одновременно вышла на французском и английском языках.

леона». Пер. Ю. Н. Ершова. СПб., 1848. Кроме того, неоднократно переводилась «История войн Юлия Цезаря». М., 1836, 1865; 1866.

Переписка Наполеона («Correspondance de Napoléon») была издана во время Второй империи в 32 томах (1858—1869). Это издание восполняют:

Lettres curieuses omises par le Comité de publications, publiées par A. du Casse. P., 1887. 216 p.; Lettres, ordres et décrets de Napoléon I en 1812—1813—1814, non insérés dans la «Correspondance», recueillis et publiés par vicomte de Grouchy. P., 1897. 99 p.; Lettres inédites de Napoléon (an VIII—1815), publiées par L. Lecestre. Vol. 1—2. P., 1897 (1225 писем); Lettres inédites de Napoléon I, collationnées sur les textes et publiées par L. de Bretonne. Vol. 1—2. P., 1898. XVI, 611 p. (1505 писем за время с 11 января 1793 г. по 7 марта 1816 г.); Dernières lettres inédites de Napoléon I, collationnées sur les textes et publiées par L. de Bretonne. Vol. 1—2. P., 1903 (2326 писем за время с 11 декабря 1793 г. по 9 июня 1815 г.); Supplément à la correspondance de Napoléon I. L'empereur de la Pologne. Publié par A. Skalkowski. P., 1908. 52 p.; Lettres de l'empereur Napoléon du 1-er août au 18 octobre 1813, non insérées dans la Correspondance, publiées par X (capitaine G. Fabry). P., 1909. II, 260 p. (748 писем); Correspondance inédite de Napoléon I, conservée aux Archives de la guerre, publiée par E. Picard et L. Tuetey. Vol. 1—5. P., 1912—1925. 5 vol.: vol. 1 (1804—1807). 1912; vol. 2 (1808—1809). 1912; vol. 3. (1809—1810). 1913; vol. 4. (1811). 1913; vol. 5 (1812). 1925; B a i l l e t J. De quelques lettres inédites de Napoléon I. Orléans, 1925.

Личную переписку Наполеона (письма к Жозефине и Марии-Луизе) см. ниже, в литературе к главе II.

3. Мемуары

К более старым мемуарам членов семьи Наполеона (Жерома, Иосифа и Люсьена Бонапартов, Евгения Богарне), его маршалов и генералов («Переписка» Даву, вышедшая в Париже в 4 томах в 1885 г., ср. B o n n a l H. Vie militaire du maréchal Ney. Vol. 1—3. P., 1910—1914; воспоминания Бертье, Мармона, Дюма, Коленкура, Груши, Нея, Макдональда, Массена, Раппа, Сульта), гражданских сановников (Фуше, Годэна, Тибодо, Меневаля, Мольена, Фэна, де Баранта, Бурьенна (Старый русский перевод: Записки Бурьенна... о Наполеоне... Т. 1—5. СПб., 1834—1836), Шапталя, Форнеля), светских дам, возглавлявших салоны (m-me de Staël, m-me Récamier, m-me de Chasteney), приближенных императора (камердинер Констан, мамелюк Рустан) прибавилась следующая документальная литература:

Мемуары герцогини д'Абрантес, когда-то (1834—1835) изданные в 18 томах, вышли новым изданием (A b r a n t è s L. d'. Mémoires. Vol. 1—2. P., 1923. 2 vol.: vol. 1. Les coulisses du Consulat; vol. 2. Bonaparte intime. Notices, notes et commentaires par Albert Meyrac).

В самое последнее время вышло еще более краткое извлечение из этих мемуаров:

A b r a n t è s L. d'. Souvenirs sur Napoléon. Recueillis par M.-P. Joubert. Préface de H. Malo. P., 1937. 234 p.

Эти мемуары были в свое время переведены: «Записки герцогини Абрантес, или исторические воспоминания о революции, директории, консульстве и Наполеоне». Т. 1—16. М., 1835—1839.

B a r r è s J. B. Souvenirs d'un officier de la Grande Armée. P., 1923. XIX, 331 p.

B i a l, colonel. Les carnets du colonel Bial. Mémoires, souvenirs militaires de guerre de la Révolution et de l'Empire (1792—1814), publ. d'après le manuscrit original par G. Soulié. Brive, 1926. 311 p.

Caulaincourt A. Mémoires. Introduction et notes de J. Hanoteau. Vol. 1—3. P., 1933. 3 vol.: vol. 1. L'ambassade de Saint-Pétersbourg. 584 p.; vol. 2. La campagne de Russie. 412 p.; vol. 3. L'agonie de Fontainebleau. 496 p.

Gervais, capitaine. A la conquête de l'Europe. Souvenirs d'un soldat de la Révolution et de l'Empire. Publ. par L. Henry Coullet. P., 1939. 318 p.

Guitard E. F. Les campagnes militaires de Napoléon. Souvenirs militaires du Premier Empire. Mémoires du grenadier de la garde (1809—1815), publ. par E. H. Guitard. P., 1934. 62 p.

Kielmansegge. Memoiren über Napoleon. Auf Grund des Originalmanuskripts herausg. v. G. Aretz. Dresden, 1927. XXXV, 381 S.

Lettres de grognards le l'épopée napoléonienne, publ. par E. Fairon et H. Heuse. P., 1936. ill. (1183 письма).

Mémoires de la reine Hortense, publ. par le prince Napoléon avec notes de J. Hanoteau. Vol. 1—3. P., 1927.

Noguès A. Mémoires (1777—1853). P., 1922. 312 p.

Ségur Ch. Mémoires d'un aide-de-camp de Napoléon. P., 1918.

Souvenirs du mameluck Ali sous l'empereur Napoléon. Introduction de G. Michaut. P., 1926. 320 p.

Ср. также: Ciampini R. Napoléone visto dai contemporanei: Roederer. Chaptal. Bourienne. Gourgaud. Torino, 1929. 346 p.

4. Жизнеописания Наполеона и общие работы о его эпохе

Vie de Napoléon, rétablie d'après les textes, lettres, proclamations, écrits par lui-même. P., 1930. 407 p.

Duhourceau F. Bonaparte peint par lui-même. Préface de Sainte-Beuve. P., 1937. 324 p.

Афанасьев Г. Е. Наполеон I. Киев, 1898. 94 стр. (Вошло во 2-й том «Исторических и экономических статей». Киев, 1908).

Ланфре П. История Наполеона I. Пер. под ред. А. Афанасьева-Чужбинского. Т.1—5. СПб., 1870—1877 (на французском языке эта работа Lanfrey выходила в течение 1867—1875 гг.).

Слоон В. Новое жизнеописание Наполеона I. Пер. с англ. В. Л. Ранцова. Т. 1—2. СПб., 1895—1896. (иллюстр. приложение к «Вестнику иностранной литературы») (английский подлинник — Sloane W. M. Life of Napoleon Bonaparte. Vol. 1—2. N. Y., 1906).

Сорель А. Европа и французская революция. Пер. с франц. с предисл. Н. И. Кареева. Т. 5—8. СПб., 1906—1908.

Трачевский А. С. Наполеон I. СПб., 1900. 112 стр. (Биограф. библ. Павленкова).

Тьер А. История Консульства и Империи. Пер. с франц. Ч. 1—5. СПб., 1846—1849 (20 томов французского подлинника — Thiers A. Histoire du Consulat et de l'Empire — выходили от 1845 до 1862 г.).

Aubry O. Napoléon. P., 1936. 384 p.

Bainville J. Napoléon. P., 1931. 590 p. (Aperçu de bibliographie napoléonienne, p. 585—590).

Дополнением к этой книге служит:

Bainville J. Vie de Napoléon. Les débuts.— Le consulat.— L'empire.— La fin. Texte inédit. P., 1935. 64 p., ill.

Bourgignon L. Napoléon Bonaparte d'après Arnault-Aulard Chateaubriand. Vol. 1—2. P., 1936 (вполне может заменить более старую книгу Peyre R. Napoléon I et son temps. Vol. 2. P., 1896, которую

украшает почти полтысячи гравюр. Эти издания являются лучшими источниками для наглядной иконографии Наполеона).

Brice R. Le secret de Napoléon. P., 1936. 304 p. (имеется английский перевод).

Cluzel P. Napoléon. P., 1939. 160 p.

Driault E. L'immortelle épopée du drapeau tricolore. Napoléon le Grand (1769—1821). Vol. 1—3. Le Chesnay, 1930. 3 vol.: vol. 1. Bonaparte. La France nouvelle; vol. 2. «L'empereur»: l'Europe nouvelle; vol. 3. L'homme du peuple: sous le signe des trois couleurs (1930) (библиография в предисловии и в конце каждой главы).

Fisher U. A. Napoleon. Oxford, 1913. 256 p.

Fournier A. Napoléon I. Eine Biographie. 2. umgearbeitete Aufl. Bd. 1—3. Wien, 1904—1906. (1 изд. 1886—1889; имеется английский перевод в 2 томах).

Kircheisen F. Napoleon I., sein Leben und seine Zeit. Mit Abbildungen, Faksimilien, Karten und Plänen. Bd. 1—9. München—Lpz., 1911—1934 (первый том вышел в русском пер. M., 1913. 361 стр.).

Kircheisen F. Napoleon I. Ein Lebensbild. Bd. 1—2. Stuttgart, 1927—1929. 2 Bde.: Bd. 1. (1769—1805). 1927. VIII, 371 S. Bd. 2. (1806—1821). 1929. VI, 431 S. (имеются французские и английские переводы).

Lacour-Gayet L. Napoléon, son œuvre, sa vie, son temps. P., 1921. 588 p.

Lefebvre G. Napoléon. P., 1935. 607 p. («Peuples et civilisations». Histoire générale, publ. sous la direction de L. Halphen et Ph. Sagnac. XIV).

Ludwig E. Napoléon. Berl.— Wien, 1925. 695 S. (имеется английский перевод).

Mac Nair Wilson R. Napoleon. The portrait of a king. Lond., 1937. XII, 433 p.

Madelin L. Napoléon. P., 1934. 450 p.

Madelin L. Histoire du Consulat et de l'Empire. Vol. I.—XVI P., 1937—1954. 16 vol.

Maggiolini A. V. Da Valmy à Waterloo. Vol. 1—2. Bologna, 1939. 412, 500 p.

Pariset G. Le Consulat et l'Empire (1799—1815). P., 1921. 444 p. (Histoire de la France contemporaine, publiée sous la direction d'E. Lavisse. Vol. 3).

Rose J. H. The life of Napoleon. 11 ed. Lond., 1934. 636 p. (1 изд. 1901).

Saint-Georges de Bouhelier. Napoléon. Grandeurs et misères. P., 1938. 575 p.

Silvagni U. Napoleone Bonaparte e i suoi tempi. Vol. 1—2. Roma, 1894—1895 (Приложены неизданные письма Наполеона).

Stendhal. Napoléon I. Vie de Napoléon.— Mémoires de Napoléon. P., 1930.

Villat L. La Révolution et l'Empire. Vol. 2. Napoléon (1799—1815). P., 1936. CX, 358 p.; библиогр. введение, стр. XI—CXVII.

5. Основные сборники статей

Lumbroso A. Attraverso la Revoluzione e il primo Impero. Torino, 1907. VIII, 498 p.

Pariset G. A. Etudes d'histoire révolutionnaire et contemporaine. P., 1929. XXXII, 328 p.

Rose J. H. Napoleonic studies. 3 ed. Lond., 1914. XII, 398 p.

Rose J. H. Revolutionary and napoleonic aera. Lond., 1938. VI, 388 p.

ЛИТЕРАТУРА К ОТДЕЛЬНЫМ ГЛАВАМ

Глава I. Молодые годы Наполеона Бонапарта

Napoléon inconnu. Papiers inédits (1786—1793), publ. par F. Masson et G. Biagi, accompagnés des notes sur la jeunesse de Napoléon (1769—1793) par. F. Masson. Vol. 1—2. P., 1895 (опубликовано 70 рукописей).

Napoléon inconnu. Papiers inédits (1786—1793), publ. par F. Masson, autographes par F. Masson et G. Biagi. P., 1907. XV, 581 p. (52 рукописи, частично вошедшие в предшествующую публикацию).

Le discours de Lyon, par le lieutenant N. Bonaparte. Introduction d'E. Driault. P., 1929. 104 p.

Le souper de Beaucaire, par le capitaine N. Bonaparte. Introduction d'E. Driault. P., 1929. 48 p.

Le souper de Beaucaire, par N. Bonaparte, présenté par J. Bainville. P., 1930. 47 p.

Д ж и в и л е г о в А. К. Армия Великой французской революции и ее вожди. М.— Пг., 1923. 218 стр.

B o i s M. Napoléon Bonaparte, lieutenant d'artillerie à Auxonne, vie militaire et privée, souvenirs. P., 1898. 352 p.

C h u q u e t A. La jeunesse de Napoléon. Vol. 1—3. P., 1897—1899. 3 vol.: vol. 1. Brienne. 1897. 494 p.; vol. 2. La Révolution. 1898. 388 p.; vol. 3. Toulon. 1899. 532 p.

C o l i n J., capitaine d'artillerie. L'éducation militaire de Napoléon. P., 1900. X, 507 p.

D u c c i R. Prima eta di Napoleone. Firenze, 1833. 195 p.

G e r s h o y L. The French revolution and Napoleon. N.-Y., 1935. XII, 576 p. (библ. стр. 535—560).

G o d e c h o t J. Les commissaires aux armées sous le directoire. Vol. 1—2. P., 1938.

H a z e n Ch. D. French revolution and Napoleon. N.-Y., 1917. 385 p.

M a d e l i n L. La jeunesse de Bonaparte. P., 1937. 359 p. (Histoire du Consulat et de l'Empire).

M a d e l i n L. L'ascension de Bonaparte. P., 1937. 392 p. (Histoire du Consulat et de l'Empire).

M a r c a g g i J. B. La génèse de Napoléon, sa formation intellectuelle et morale jusqu'au siège de Toulon. P., 1902. 445 p.

N a s i c a T. Mémoires sur l'enfance et la jeunesse de Napoléon jusqu'à l'âge de 23 ans, précédés d'une notice historique sur son père avec une carte représentant l'arbre généalogique de la famille Bonaparte. 5 éd. P., 1863. XII, 238 p. (1 éd. 1852).

S m i t h G. B. The French revolution and Napoleon (1789—1815). Lond., [1938]. 240 p.

V a n d a l A. L'avènement de Bonaparte. Vol. 1—2. P., 1902—1907. (с тех пор множество переизданий). Русский перевод: В а н д а л ь А. Возвышение Бонапарта. СПб., 1905.

W i l k i n s o n S. The rise of general Bonaparte. Oxford, 1930. 189 p.

Глава II. Итальянская кампания

Наполеон I. Избранные произведения. Т. 1. М., 1941. VIII, 352 стр. (Итальянская кампания 1796—1797 гг).

Б а с к а к о в В. И. Революционные войны. II. Походы 1796—97 гг. Бонапарта в Италии. Книга 2. Приготовления к открытию кампании. СПб., 1904. 328 стр. Книга III. Театр войны. СПб., 1904. 212 стр.

К л а у з е в и ц К. Итальянский поход Наполеона Бонапарта 1796 года. М., 1939. 232 стр.

Agnelli G. La bataglia al ponte di Lodi e l'inizio della settimana napoleonica lodigiana.— Archivio di storia lombardo, vol. 60, [1933], p. 1—73.
Bourgin G., Godechot J. L'Italie et Napoléon (1796—1814). P., 1936. 79 p. (Cahiers de la Révolution française. IV).
Bouvier F. Bonaparte en Italie (1796). P., 1899. XI, 745 p. (библ.); 2 éd. 1902.
Camon H., général. La première manœuvre de Napoléon. P., 1938. XII, 152 p.
Ferrero G. Aventure Bonaparte en Italie (1796—1797). P., 1936. VI, 294 p.
Meynier A. Les coups d'Etat du Directoire. Le 18 fructidor an V. P., 1927. 218 p. библ.
Phipps R. W. The armies of the First French Republic and the rise of the marshals of Napoleon I. The army of Napoleon I. * The army of Italy 1796/1797; Paris and the army of the interior, 1792—1797; The coup d'Etat of Fructidor september 1797. Lond., 1935. 337 p.
Pometta E. Il Bonaparte ed i Baliaggi ticinesi (1797 — 1803). Le origini storiche di Bellinzona. Bellinzona, 1927. 92 p.

Глава III. Завоевание Египта и поход в Сирию

Антюхина В. Англо-французская борьба за Индию в эпоху Наполеона I.— «Учен. зап. Ленингр. гос. унив., серия истор. наук», вып. 3, 1939, стр. 257—277.
Баторский А. А. Проекты экспедиций в Индию, предложенных Наполеоном Бонапарте императорам Павлу и Александру I в 1800 и 1807—1808 гг. СПб., 1886. 104 стр.
Amato A. Abukir. Nelson e l'Inghilterra in lotta nella spedizione d'Africa. Milano, 1936. 253 p.
Charles-Roux F. L'Angleterre et l'expédition française en Egypte. Vol. 1—2. Le Caire, 1925. (библ. т. 1, стр. XV—XXIV).
Charles-Roux F. Bonaparte, gouverneur d'Egypte. Avec 25 gravures hors texte et une carte. P., 1936. 385 p. (библ. стр. 377—380).
Douin G. La flotte de Bonaparte sur les côtes d'Egypte. Les prodromes d'Aboukir. Le Caire, 1922. IV, VII, 152 p.
Guitry P. G. L'armée de Bonaparte en Egypte] (1798—1799). P., 1898. XXI, 375 p.
Homsy G. Le général Jacob et l'expédition de Bonaparte en Egypte. Marseille, 1921.
Lokke C. L. France and the colonial question. A study of contemporary French opinion (1763—1801). N.-Y., 1932. 254 p.
Pastre J. L. Bonaparte en Egypte. P., 1932. 255 p.
Phipps R. W. The armies of the First French Republic and the rise of the marshals of Napoleon I. Vol. 5. The armies on the Rhine, in Switzerland, Holland, Italy, Egypt and the coup d'état of Brumaire, 1797 to 1799. N.-Y. Oxford, U. P., 1939. 479 p.

Глава IV. Восемнадцатое брюмера

Ратиани Ю. Промышленность и внешняя торговля Франции после 18 брюмера.—«Учен. зап. Ленингр. гос. унив., серия истор. наук», вып. 3, 1939, стр. 210—230.
Aubry O. Le roman de Napoléon. Brumaire. P., 1938.

* Первая часть этой работы, вышедшая под тем же общим заголовком еще в 1926 г., посвящена Северной армии.

Aulard F. A. Les causes du 18 brumaire. In: Aulard F. A. Etudes et leçons sur la révolution française, 2-me série. P., 1898, p. 187—212.
Meynier A. Les coups d'Etat du Directoire. III. Le 18 brumaire an VIII et la fin de la République. P., 1928. 182 p. (библ.).

Глава V. Первые шаги диктатора

Тарле Е. Печать во Франции при Наполеоне I. Пг., 1922. 55 стр. (См. наст. изд., т. 4.— *Ред.*)
Трачевский А. Наполеон I. Первые шаги и консульство. 1769—1804. М., 1907. XVI, 314 стр.
Aulard F. A. L'établissement du Consulat à vie. In: Aulard F. A. Etudes et leçons sur la révolution française. 2-me série. P., 1898, p. 253—283.
Aulard F. A. Le lendemain du 18 brumaire. In: Aulard F. A. Etudes et leçons sur la révolution française, 2-me série. P., 1898, p.213—252.
Aulard F. A. Paris sous le Consulat. Recueil de documents pour l'histoire de l'esprit public à Paris. Vol. 1—4. P., 1903—1909.
Charpentier J. Napoléon et les hommes de lettres de son temps. P., 1935. 256 p.
Driault E. Nouvelle Europe; la politique extérieure du premier consul (1800—1803). P., 1910. VI, 481 p. (библ.).
Hauterive E. La contre-police royaliste en 1800. P., 1931. 224 p.
Hue G. Un complot de police sous le Consulat: la conspiration de Céracchi et Aréna. P., 1909.
Madelin L. De Brumaire à Marengo. P., 1938. 350 p. (Le consulat et l'empire).

Глава VI. Маренго. Упрочение диктатуры. Законодательство первого консула

Витмер А. Н. Влияние французских военных учреждений конца прошлого столетия на ход революционных войн и критический разбор кампании 1800 года в Италии до сражения при Маренго. СПб., 1864. 178 стр.
Салейль Р. Французский гражданский кодекс и исторический метод. Пер. с франц.— «Журн. минист. юстиции», 1905, № 8, стр. 191—240.
Саньяк Ф. Гражданское законодательство французской революции (1789—1804). Пер. с франц. О. А. Старосельской-Никитиной. М., 1928. 374 стр. (Французский подлинник этой работы Sagnac'а вышел в 1898 г.).
Сорель А. Историко-культурное значение французского гражданского кодекса. Пер. с франц.— «Журн. минист. юстиции», 1905, № 6, стр. 152—194.
Шенвиц Ф. Кодекс Наполеона. Его характер и причины распространения. Варшава, 1911. 82, VI стр.
Юшкевич В. А. Наполеон I на поприще гражданского правоведения и законодательства. 2 изд. М., 1905. 104 стр.
Campana J., lieutenant. Marengo, étude raisonnée des opérations militaires... d'après la correspondance et les mémoires de Napoléon. P., 1900. 216 p.
Cugnac J. La campagne de Marengo. P., 1904. XI, 252 p.
Deutsch H. C. The genesis of Napoleonic imperialism. Cambridge, Mass., 1938. 460 p. (Harvard historical studies. Vol. XLI).

Gachot E. La deuxième campagne d'Italie (1800). P., 1899. VI, 240 p.
Madelin L. La France du Directoire. P., [1922]. VII, 281 p.
Pittaluga V. La battaglia di Marengo. Vol. 1—2. Alessandria, 1900.

Глава VII. Начало новой войны с Англией и коронация Наполеона

Александренко В. Н. Наполеон I и Англия.— «Варшав. унив. изв.», 1905, № 9, стр. 1—81.
Редкин А. Участие России в расторжении Амьенского мира (май — сент. 1803 г.).— «Русская старина», 1898, февр., стр. 333—365.
Botté M. Napoléon aux camps de Boulogne. La côte de fer et les flotilles. P., 1909. 300 p.
Coquelle P. Napoléon et l'Angleterre (1803—1815). P., 1904. IV, 295 p.
Dupont M. Le tragique destin du duc d'Enghien. P., 1938.
Gorino M. I concordati di Napoleone. Rieti, 1930. 136 p.
Latreille A. Napoléon et le Saint-Siège (1801—1808). P., 1935. XXXVIII, 626 p.
Lumbroso A. Histoire et inventaire du «Portefeuille»: documents sur l'affaire du duc d'Enghien et sur la machine infernale du 3 nivôse. Rome, 1902. 78 p.
Nicolay F. Napoléon au camp de Boulogne, d'après les nombreux documents inédits. P., 1907. II, 456 p.
Rezzi G. Il primo conflitto tra Napoleone e la Santa Sede. Torino, 1927. 194 p. (использован наполеоновский архив Ватикана).

Глава VIII. Разгром третьей коалиции

Михайловский-Данилевский А. И. Описание первой войны императора Александра с Наполеоном в 1805 г. СПб., 1844. VIII, 291 стр.
Alombert P. C., Colin J. La campagne de 1805 en Allemagne. Vol. 1—5. P., 1902—1904.
Guerrini D. La campagna Napoleonica del 1805. Vol. 1—2. Torino, 1908.
Schöben L. P. Der Feldzug um Ulm im Jahre 1805. Bonn, 1910.

Глава IX. Разгром Пруссии и окончательное подчинение Германии

Беннигсен Л. Записки о войне с Наполеоном 1807 года. СПб., 1900. 268 стр.
Клаузевиц К. 1806 год. [Война Наполеона против Пруссии]. М., 1937. 193 стр. 2 схемы (приложен перевод отрывков из «Записок» Наполеона).
Леттов-Форбек О. История войны 1806 и 1807 гг. Пер. с нем. Н. Фохта. Т. 1—4. Варшава, 1895—1898.
Михайловский-Данилевский А. И. Описание второй войны императора Александра с Наполеоном в 1806 и 1807 гг. СПб., 1846. VIII, 426 стр.
Орлов Н. А. Очерк трехнедельного похода Наполеона против Пруссии в 1806 г. СПб., 1856. VIII, 236 стр. (карты).
Bretel H. Etude sur la bataille d'Iéna. P., 1910.
Foucart P. Campagne de Pologne, novembre—décembre 1806—janvier 1807. (Pultusk et Golymin), d'après les archives de la guerre. Vol. 1—2. P., 1882.

Foucart P. Campagne de Pologne 1806, d'après les archives de la guerre. Vol. 1—2. P., 1887—1890.

Gentz Fr. von. D'Ulm à Jéna. Correspondance inédite du chevalier de Gentz avec F. J. Jackson, ministre de la Grande Bretagne à Berlin (1804—1806). P., 1921. 336 p.

Grenier P. Etude sur 1807. Manœuvres d'Eylau et Friedland. P., 1901. 125 p.

Houssay H. Jéna et la campagne de 1806. P., 1912; idem. 21 éd. P., 1918. LXIII, 275 p. (новое издание с предисл. L. Madelin).

Глава X. Тильзита до Ваграма

1. Внешняя политика и войны

Трачевский А. С. (ред.). Дипломатические сношения России с Францией в эпоху Наполеона I. Сб. РИО, т. 70 (ч. I: 1800—1802); т. 72 (ч. II: 1803—1804); т. 82 (ч. III: 1805—1806); т. 88 (ч. IV: 1807—1808).

Политическая переписка императора Наполеона с генералом Савари. 1807 г. Извлечено из парижских архивов министерства иностр. дел и национ.— Сб. РИО, т. 83.

Посольство гр. П. А. Толстого в Париже в 1807 и 1808 гг. Сб. РИО, т. 89.

Баскаков В. И. Войны империи. Походы 1809 года Наполеона в Германии и Австрии. Книга I. Приготовления к открытию кампании. СПб., 1904. XLVI, 462 стр.

Баскаков В. И. 1809. Из истории войны Франции против Австрии. Тактика французских войск ко времени войны. СПб., 1903. 35 стр.

Станкевич А. Е. Критический разбор кампании 1809 г. Военно-историч. исследов. [От занятия французами Вены до Ваграма]. СПб., 1861. XVI, 475 стр.

Сухотин Н. Н. Наполеон. Австро-французская война 1809 года. СПб., 1885. XII, 222 стр.

Щолоков П. И. Регенбургская операция. М., 1933. 53 стр. (литогр.)

Balagny D. E. Campagne de l'empereur Napoléon en Espagne (1808—1809). Vol. 1—5. P., 1903—1909. 5 vol.: vol. 1. Durango, Burgos, Espinosa. P., 1902. 500 p.; vol. 2. Tudela, Somosierra, Madrid. P., 1903. 719 p.; vol. 3. Napoléon à Chamartin. La manœuvre de Guadarrama. P., 1903. 707 p.; vol. 4. La course de Benavente. La poursuite de la Corogne. P., 1906. 555 p.; vol. 5. Almaraz. Ucles. Départ de Napoléon. P., 1909. 571 p.

Butterfield H. The peace tactics of Napoleon (1806—1808). Lond., 1929. VIII, 396 p.

Camon H., général. La manœuvre de Wagram. Nancy-P., 1926. 77 p.

Conard P. Napoléon et Catalogne. La captivité de Barcelone (février 1808 — janvier 1810). P., 1910.

Dard E. Napoléon et Talleyrand. P., 1935. XX, 420 p.

Driault J. E. Napoléon et l'Europe. Austerlitz, la fin du Saint-Empire (1804—1806). P., 1912. VI, 492 p. (библ.)

Driault J. E. Napoléon en Italie (1800—1812). P., 1906. IV, 687 p. (Etudes napoléoniennes).

Driault J. E. La politique orientale de Napoléon: Sebastiani et Gardane (1806—1808). P., 1904. 410 p. (Etudes napoléoniennes) (извлечения на русском языке появились в «Русской старине» за 1904—1905 гг.).

Driault J. E. Napoléon et Europe. Tilsit, France et Russie sous le Premier Empire, la question de Pologne (1806—1809). P., 1917. VIII, 491 p. (библ.).
Figier A. Napoléon et l'Espagne (1799—1808). Vol. 1—2. P., 1929. 2 vol.: vol. 1. XLIV, 406 p.; vol. 2. 495 p.
Geoffray de Grandmaison Ch. A. L'Espagne et Napoléon (1804—1809). P., 1908. XIII, 520 p.
Langsam W. C. The Napoleonic wars and German nationalism. N.-Y., 1930. 241 p.
Lemmi F. L'età napoleonica. Milano, 1938. X, 611 p.
Lumbroso A. Napoleone e il Mediterraneo. Genova, 1934. XVI, 334 p.
Mowat R. Diplomacy of Napoleon. Lond., 1924. 323 p.
Olden P. H. Napoleon und Talleyrand. Tübingen, 1927. 118 S.
Saski, commandant. Campagne de 1809 en Allemagne et en Autriche. Vol. 1—3. P., 1909. 3 vol.: vol. 1. Organisation et mesures militaires prises par l'empereur. 595 p.; vol. 2. Thann, Abensberg, Landshut, Eckmühl, Ratisbone. 394 p.; vol. 3. Neumarkt, Ebersberg, Vienne, Essling. 412 p.
Verhaegen P. La Belgique sous la domination française (1792—1814). Vol. 4—5. Bruxelles, 1930—1935.

2. Континентальная блокада и экономическая политика Наполеона

Тарле Е. В. Континентальная блокада. М., 1913. VIII, 740 стр. (См. наст. изд., т. 3.— *Ред.*)
Darmstädter P. Studien zur Napoleonischen Wirtschaftspolitik.— Vierteljahrsschrift für Wirtschaftsgeschichte. Bd. VI—VII, 1904—1905.
Fischer A. Napoléon et Anvers (1800—1811). Anvers, 1933. 322 p.
Heckscher E. The continental system. An economic interpretation. Oxford, 1922. XVI, 420 p. (bibliogr. note: p. 373—386).
Lumbroso A. Napoleone I e l'Inghilterra, saggio sulle origine del blocco continentale e sulle sue consequenze economiche, con una apendice di documenti e con una bibliografia relativa alla lotta economica tra la Gran Bretagne e la Francia. Roma, 1897. XIV, 515 p.
Saintoyant J. La colonisation française pendant la période napoléonienne. P., 1931. 509 p.
Tarlé E. Le blocus continental et le royaume d'Italie. La situation économique d'Italie sous Napoléon I. P., 1927. XII, 577 p.
Tarlé E. Deutsch-französische Wirtschaftsbeziehungen zur Napoleonischen Zeit. Berl., 1914. 143—202 S.
Tarlé E. Napoléon I et les intérêts économiques de la France.— «Revue des études napoléoniennes», 1926, p. 117—137.
Tarlé E. L'union économique du continent européen sous Napoléon. P., 1932.
Wolff O. Die Geschäfte des Herrn Ouvrard. Frankfurt a. M., 1933. 348 S.

Глава XI. Император и империя в защите могущества

1. Наполеон и Франция

Aulard F. A. Paris sous le premier Empire. Vol. 1—3. P., 1912—1923. 3 vol.
Driault E. Napoléon et Europe. Le grand Empire (1809—1812). P., 1924. X, 424 p. (библ.).

Geoffroy de Grandmaison Ch. A. Napoléon et les cardinaux noirs (1810—1814). P., 1895. IV, 291 p.
Lenzac de Laborie L. Paris sous Napoléon. Vol. 1—8. P., 1905—1913. 8 vol.
Madelin L. La France de l'Empire. P., 1926. IV, 331 p.
Thiry J. Rôle du Sénat de Napoléon dans l'organisation militaire de la France impériale (1800—1814). P., 1932. VIII, 427 p.

2. Наполеон как полководец

Драгомиров М. И. Наполеон и Веллингтон. Киев, 1912. 40 стр.
Жомини Г. Военная и политическая жизнь Наполеона. Пер. с франц. 2 изд. Ч. 1—6. СПб., 1838—1842.
Левицкий Н. А. Полководческое искусство Наполеона. М., 1938. 277 стр.
Меринг Ф. Очерки по истории войны и военного искусства. 3 изд. М., 1938, стр. 210—410.
Camon H. La bataille napoléonienne. P., 1899. 58 p.
Camon H. Génie et métier chez Napoléon. P., 1930. VI. 135 p.
Camon H. La guerre napoléonienne. Vol. 1—3. P., 1903. 3 vol.: vol. 1—2. Précis des campagnes. 1903. XI, 275 p.; vol. 3. Les systèmes d'opérations. Théorie et technique. 1907. 372 p.
Camon H. Quand et comment Napoléon a conçu son système de bataille. P., 1935. XVI, 316 p.
Freytag von Loringhoven. Die Heerführung Napoleons in ihrer Bedeutung für unsere Zeit. Berl., 1910. XX, 470 S.
Giehrl. Der Feldherr Napoleon als Organisator. Betrachtungen über seine Verkehrs-und Nachrichtenmittel, seine Arbeits- und Befehlsweise. Berl., 1911. V, 181 S.
Hart B. H. (Liddell). The ghost of Napoleon. Lond., 1933. 199 p.
Head Ch. O. Napoleon and Wellington. Lond., 1939. 286 p.
Houssaye H. Napoléon — homme de guerre. P., 1904. 66 p.
Jomini H. Histoire critique et militaire des guerres de la Révolution de 1792 à 1801. 3 éd. Vol. 1—15. P., 1819—1824.
Oman C. Studies in the Napoleonic wars. Lond., 1929. VIII, 244 p.
Scala E. Napoleone I. L'uomo, l'Italiano, lo stratega. Torino, 1926. 184 p.
York von Wartenburg. Napoleon als Feldherr. Bd. 1—2. Berl., 1901.

3. Наполеон, его маршалы и армия

Derrécagaix V. Le maréchal Bertheir. Vol. 1—2. P., 1904—1905.
Dupont M. Murat, cavalier, maréchal de France, prince et roi. P., 1934. 349 p.
Friguet-Despreaux, colonel. Le maréchal Mortier, duc de Trévise. Vol. 1—2. P., 1913—1921.
Lacroix D. Les maréchaux de Napoléon. P., 1896. 430 p.
Lort de Sérignan. Napoléon et les grands généraux de la Révolution et de l'Empire. P., 1914. 315 p.
Lort de Sérignan. Soldats de la Révolution et de l'Empire. P., 1914. 332 p.
Macdonnell A. G. Napoleon and his marshals. Lond., 1934. 368 p.
Masson F. Cavaliers de Napoléon. P., 1921. III, 371 p. ill.
Morvan J. Le soldat impérial (1800—1814). P., 1904. 2 vol.: vol. 1. VII, 520 p.; vol. 2. 525 p.

Six G. Dictionnaire biographique des généraux et amiraux français de la Révolution et de l'Empire (1792—1814). Vol. 1—2. P., 1934.
Zurlinden E. A. Napoléon et ses maréchaux. Vol. 1—2. P., 1911. 2 vol.

4. Наполеон и семья Бонапартов

Aretz G. (Kuntze-Dolton, Kircheisen). Napoleon und die Seinen. Bd. 1—2. München, 1914—1922. 2 Bde.: Bd. 1. 1914. VIII, 410 S.; Bd. 2. 1922. 352 S.
Augustin-Thierry A. Madame Mère. P., 1939. 320 p.
Kunstler C. La vie privée de l'Impératrice Joséphine. P., 1939. 255 p.
Lacretelle P. Secrets et malheurs de la reine Hortense. P., 1936. 250 p.
Larrey F. H. Madame mère (Napoleonis mater), essai historique. Vol. 1—2. P., 1892.
Levy A. Napoléon intime. P., 1894. XII, 656 p.
Lumbroso A. Napoleone, la sua corte, la sua famiglia. Roma, 1911. IV, 153 p.
Masson F. Napoléon et sa famille. Vol. 1—13. P., 1897—1919.
Wencker-Wildberg F. Das Haus Napoleon. Geschichte eines Geschlechts. Stuttgart, 1939. 342 S.

5. Наполеон в личной жизни

Массон Ф. Наполеон и женщины. М., 1899. 202 стр.
Œuvres amoureuses de Napoléon d'après ses lettres d'amour à Joséphine, avec une introduction et des notes du bibliophile P. André. P., 1911. 352 p. (228 писем Наполеона Жозефине и 70 писем Жозефины дочери; с давнишнего издания этой же самой переписки когда-то был сделан русский перевод: «Наполеон. Письма к Жозефине». Т. 1—2. СПб., 1833—1834).
Lettres de Napoléon à Joséphine, réunies et préfacées par L. Cerf. P., 1929. XI, 11, 188 p.
Lettres inédites de Napoléon à Marie-Louise. Ecrites de 1810 à 1814. Avec introduction et notes par L. Madelin. P., 1935. XI, 270 p.
Aretz G. Die Frauen um Napoleon. Dresden, 1921. 492 S., ill.
Aubry O. Napoléon et l'amour. P., [1938]. 87 p.
Aubry O. Le Roi de Rome. P., 1932. 468 p.
Aubry O. Le roman dans l'histoire: le grand amour caché de Napoléon — Marie Walewska. P., 1925. 316 p.
Aubry O. La trahison de Marie-Louise. P., 1933. 125 p.
Aubry O. Vie privée de Napoléon. P., 1938. 442 p.
Bertaut J. Marie-Louise. P., 1939.
Bourgoing J. Le cœur de Marie-Louise. Marie-Louise, impératrice des français (1810—1814). P., 1938. 248 p.
Masson F. Napoléon chez lui: la journée de l'empereur aux Tuileries. P., 1894 (русск. пер.: Массон Ф. Наполеон в придворной и домашней жизни. СПб., 1897).

Глава XII. Разрыв с Россией

1. Наполеон и Европа

Askenazy S. Napoléon et la Pologne. Trad. du polonais. P., 1926. 405 p.
Brunn G. Europe and the French imperium 1799—1814. N.-Y., Lond., 1938. XIV, 280 p. (библ. стр. 251—272).

Fisher H. A. Studies in Napoleonic statesmanship. Germany. Oxford, 1903. X, 392 p. (библ. в конце глав).

Guillon E. Napoléon et la Suisse (1803—1815). D'après documents inédits des Affaires étrangers. P., 1910. VI, 370 p.

Handelsman M. Instructions et dépêches des résidents de France à Varsovie. Vol. 1—2. Cracovie, 1914.

Handelsman M. Napoléon et la Pologne d'après les documents des archives du Ministère des affaires étrangères. P., 1908. IV, 208 p.

Madelin L. La Rome de Napoléon; la domination française à Rome de 1809 à 1814. P., 1906. 727 p.

Mendelssohn S. Die Polenfrage im Zeitalter Napoleons I und Alexander I mit besonderer Berücksichtigung der zeitgenössischen Quellen (1795—1815). Berl., 1929. VII, 135 S.

Toreno. Historia del levantamiento, guerra y revolucion de España. Madrid, 1926. LIV, 534 p.

2. Наполеон и Александр

Дипломатические сношения России и Франции, по донесениям послов Александра I и Наполеона (1808—1812). Т. 1—7. СПб., 1905—1908. (введение на русском языке, публикуемые документы на французском). Ср. также Сб. РИО, т. 21, где помещены бумаги И. А. Чернышева и А. Б. Куракина за 1810—1812 гг. и отчет о делах 1810 г. М. М. Сперанского.

Вандаль А. Наполеон и Александр I. Франко-русский союз во время Первой империи. Пер. с франц. В. Шиловой. Т. 1—3. СПб., 1910—1913. 3 т.: т. 1. От Тильзита до Эрфурта. 1910. II, 534 стр.; т. 2. Второй брак Наполеона. Упадок союза. 1911. 590 стр.; т. 3. Разрыв франко-русского союза. 1913. 609 стр. (на французском языке эта работа впервые увидела свет в 1891—1896 гг.).

Герье В. И. Император Александр I и Наполеон.— «Чтения в Общ. истории и древностей российских при Москов. унив.», 1912, кн. 4.

Дживилегов А. К. Александр I и Наполеон. М., 1915. VIII, 302 стр.

Ефимов Д. И. Отношения императоров Александра I и Наполеона I перед началом Отечественной войны 1812 г. СПб., 1878. 38 стр.

Коленкур. Из записной книжки Наполеонова посла, 1809—1811.— «Русский архив», 1908, апрель, стр. 465—475; май, стр. 5—38.

Попов А. Н. Сношения России с европейскими державами перед войной 1812 г. СПб., 1876. 425 стр. (новое издание. М., 1905).

Романовский В. Наполеон и Александр I до и после войны 1812 г. М., 1912. 106 стр.

Rüter P. Die Türkei, England und das russisch-französische Bündnis (1807—1812). Emsdetten, 1935. 113 S.

Глава XIII. Нашествие Наполеона на Россию

Дубровин Н. Отечественная война в письмах современников (1812—1815). СПб., 1888 (приложен библиограф. указатель книг и статей, относящихся к описанию Отечественной войны).

Васютинский А. М., Дживилегов А. К. и др. Французы в России. 1812 г. по воспоминаниям современников-иностранцев. Ч. 1—3. М., 1912. 3 т.

Затворницкий Н. М. Наполеоновская эпоха. Библ. указатель. Вып. 1—2. СПб., 1914—1915. 2 т.

Клаузевиц К. 1812 год. [Поход в Россию]. Пер. с нем. А. К. Рачинского. М., 1937. 242 стр.

Левицкий Н. А. Война 1812 года. М., 1938. 40 стр.

Отечественная война и русское общество (1812—1912). Ред. А. К. Дживилегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета. Т. 1—7. М., 1911—1912. 7 т.

Пасенко В. Отечественная война в литературе на иностранных языках (1812—1830). Материалы для библиограф. указателя.— «Библиограф. известия», 1913, № 1, стр. 71—78; № 2, стр. 148—159; № 3, стр. 240—251.

Тарле Е. В. Нашествие Наполеона на Россию. М., 1938. 284 стр. (См. настоящий том.— *Ред.*).

Харкевич В. Березина. 1812 г. Военно-историческое исследование. СПб., 1893. VIII, 210 стр.

Харкевич В. 1812 год в дневниках, записках и воспоминаниях современников. Вып. 1—4. Вильна, 1900—1907. 4 т.

Wilson R. Narrative of events during the invasion of Russia by Napoleon Bonaparte and the retreat of the French army. 1812. Lond., 1860. 412 p.

Глава XIV. Восстание вассальной Европы против Наполеона и «битва народов». Начало крушения «Великой империи»

Битва народов под Лейпцигом 1813 года. Пер. с нем.: В кн.: Двенадцатый год. М., 1912, стр. 5—104.

Левицкий Н. А. Лейпцигская операция 1813 года. М., 1934. 71 стр.

Л[ейхтенбергский] Г. Н. Принц Евгений-Наполеон Богарнэ во главе великой армии. (16) января — 19 апреля (1 мая) 1813 года. СПб., 1905. 114, 252 стр.

Bac F. Le retour de la Grande Armée. P., [1939]. 366 p.

Carlowitz W. J. Die Völkerschlacht bei Leipzig vom 16—19 Oktober 1813. Lpz., 1913. 188 S.

Grouard A. Stratégie napoléonienne. La campagne de 1813 et les lignes intérieures. P., 1897.

Lefevre de Behaine F. X. La campagne de France. Vol. 1—2. P., 1913—1933. 2 vol.: vol. 1. Napoléon et les alliés sur le Rhin. 1913. XVII, 565 p.; vol. 2. La défense de la ligne du Rhin (13/XI—1/I 1814). 1933. 415 p.

Pflugk-Hartung J. Leipzig, 1813. Aus den Akten des Kriegsarchivs des grossen Generalstabes. Gotha, 1913. XVIII, 452 S.

Ussel J. Etudes sur l'année 1813. Vol. 1—2. P., 1907—1912. 2 vol

Vallentin B. Napoleon und die Deutschen. Berl., 1926. 96 S.

Глава XV. Война во Франции и первое отречение Наполеона

Beardsley E. M. Napoléon: the fall. L., 1918. 220 p.

Driault E. Napoléon et Europe. La chute de l'Empire; la légende de Napoléon (1812—1815). P., 1927. VI, 481 p. (библ.).

Fain A. J., baron. Souvenirs de la campagne de France (manuscrit de 1814); nouvelle éd., publ. avec une préface par G. Lenotre. P., 1914. XVIII, 260 p.

Fournier A. Der Congress von Chatillon. Die Politik im Kriege von 1814. Eine historische Studie. Wien, Prag, 1900. X, 397 S.

Houssaye H. 1814. 42 éd. P., 1903. VIII, 653 p. (1 изд. 1888).

Lefevre de Behaine F. X. La campagne de France. L'invasion décembre 1813 — janvier 1814. P., 1933. 477 p.

Scott F. D. Bernadotte and the fall of Napoleon. Cambridge (Mass.), 1935. 132 p.

Thiry I. La chute de Napoléon I. Vol. 1—2. P., 1938—1939. 2 vol.: vol. 1. La campagne de France. 1938; vol. 2. La première abdication.— L'agonie de Fontainebleau. 1939.

Глава XVI. Сто дней

Наполеон на борту Нортумберленда, по неизданным документам.— «Русская старина», 1905, № 9, стр. 685—704.

Шаррас Ж. Ф. История кампании 1815 года. Ватерлоо. СПб., 1868. VIII, 544 стр.

Aron R. Victoire à Waterloo. P., 1937. 248 p.

Becke A. F. Napoleon and the Waterloo. Lond., 1936. XV, 320 p.

Borjane H. Napoléon au bord du «Northumberland». Témoignages réunis et traduits. P., 1936. XVI, 254 p.

Burral G. L'épopée de Waterloo. Narration nouvelle des Cent-Jours et de la campagne de Belgique en 1815. P., 1895. 328 p.

Bustelli G. L'enigma di Ligny e di Waterloo. Vol. 1—5. Cesena, 1889—1899.

Cauvin C. Le retour de l'île d'Elbe. Digne, 1920.

Chuquet A. Le départ de l'île d'Elbe. P., 1921.

Clausewitz C. Geschichte des Feldzugs von 1815 in den Niederlanden und Frankreich. Bd. 1—2. Posen-Bromberg, 1837—1838.

Grouard A. Stratégie napoléonienne. La critique de la campagne de 1815. P., 1904. XIV, 270 p.

Gruyer P. Napoléon, roi de l'île d'Elbe. P., 1936. 251 p.

Houssaye H. 1815. [Vol. 1—3]. P., 1898—1905. 3 vol.: vol. 1. La Première Restauration; le retour de l'île d'Elbe; les Cent jours. 1893. (45 éd. 1904), II, 642 p.; vol. 2. Waterloo. 1898. 512 p. (26 éd. 1899); vol. 3. La seconde abdication.— La terreur blanche. 1905. 604 p.

Lenient E. Etudes historiques et stratégiques. La solution des énigmes de Waterloo. P., 1915. XVI, 583 p.

Maitland F. L., Home G. Napoléon au bord du «Bellerophon». Souvenirs. P., 1934. 244 p.

Pesme G. Les dernières heures de Napoléon avant l'exil. Bordeaux, 1936. 68 p.

Piccimini A. Napoleone all'isola d'Elbi. Suoi studi e progetti siderurgici espositi in alcuni documenti inediti. Genova, 1935. 111 p.

Глава XVII. Остров Св. Елены

Gonnard Ph. Sainte-Hélène.— «Revue des études napoléoniennes», 1912, juillet. (Обзор литературы, вышедшей после 1899 г. Три основные рубрики: A. Источники; B. Исследования; C. Что остается сделать).

Новое издание «Мемориала»: Mémorial de Sainte-Hélène. Avant-propos d'A. Maurois. Texte établi et commenté par J. Prévost. P., 1936.

Бальмен де, гр. Из бумаг русского пристава при Наполеоне I на острове Св. Елены (1816—1820).— «Русский архив», 1868, стр. 462—474, 659—734, 1924—1984; 1869, стр. 647—731, 765—838.

Abbatucci S., Mets A. Napoléon. Les derniers moments, la vraie figure du dr. Antommarchi et l'énigme pathologique de Sainte-Hélène. Anvers, 1938. 140 p.

Aubry O. Napoléon et son temps. P., 1936. 288 p.

Brice R. Les espoirs de Napoléon à Sainte-Hélène. P., 1938. 304 p.

Frémeaux P. Dans la chambre de Napoléon mourant. P., 1910.

Frémeaux P. Les derniers jours de l'empereur. P., 1908. 424 p

Lumbroso A. La leggenda e la sotira dei tempi moderni. Di che male e morto Napoleone? Genova, 1924. 11 p.

Rosebery A. P. lord. Napoléon; the last phase. Lond., 1900. VI, 261 p. (переизд. в 1904, 1916, 1918, 1922, имеется франц. перев.).

Заключение

Историки о Наполеоне

Dechamp J. Sur la légende de Napoléon. P., 1931. 276 p. (библ., стр. 251—264).

Driault E. La vraie figure de Napoléon. P., 1928.

Dutcher G. M. Tendencies and opportunities in Napoleonic studies. Reports of the American historical association. Washington, 1914, p. 1—181 (в 1917 г. эта работа вышла в Париже на французском языке в издании «Revue des études napoléoniennes»).

Geoffroy de Grandmaison Ch. A. Napoléon et ses récents historiens. P., 1896. IX, 347 p.

Gonnard Ph. Les origines de la légende napoléonienne, l'œuvre historique de Napoléon à Sainte-Hélène. P., 1906. 388 p.

Meynier A. Napoléon jugé par nos contemporains.— «Revue d'histoire moderne», 1928—1930.

Meynier A. Pour et contre Napoléon. Le procès historique de l'empereur. P., 1934. 79 p.

Shorter Gh. K. Napoleon in his own defence; being a reprint of certain letters written by Napoleon from St. Helena to lady Clevering. With notes and essay on Napoleon as a man of letters. Lond., 1910.

Ср. также один из разделов библиографического введения к указанной выше книге: Villat L. Napoléon. P., 1936, p. XI—XLVIII: Le développement des études napoléoniennes.

С начала века почти непрерывно издавались исторические журналы, посвященные специально Наполеону: «Revue napoléonienne», vol. 1—11, Turin 1901—1913 (A. Lumbroso); «Napoleone. Rivista storica». 1914—1918; «Revue des études napoléoniennes» (E. Driault). P., с 1912 г.

Нашествие Наполеона на Россию

ПРЕДИСЛОВИЕ

Новое издание моей книги, посвященной истории нашествия Наполеона на Россию в 1812 г., выходит во время борьбы русского народа против попытки презренного и жестокого врага истребить русский народ и овладеть его достоянием. Гитлеровская банда, только террором держащаяся сейчас у власти в оккупированных ею странах Европы, замыслила тем же способом сломить дух и сопротивление русского народа. В самых необузданных мечтах своих великий завоеватель, пришедший в Россию в 1812 г. с целью покорить и поработить ее, не задавался такими чудовищно жестокими и в то же время нелепыми целями, как те, которые ставят перед собой тупые и гнусные палачи гитлеровской шайки *.

Никогда за всю новую историю русскому народу не приходилось до той поры обороняться от такого могучего агрессора, как Наполеон. И Россия повергла в прах напавшего на нее великана.

Много пришлось претерпеть русскому народу от наполеоновского нашествия, но речи не может быть о каком бы то ни было сопоставлении поведения наполеоновской армии на русской земле со всеми бесчисленными злодеяниями подлой гитлеровской орды. Начать с того, что никогда решительно Наполеон не ставил себе такой безмерно гнусной задачи, как физическое истребление русского народа, как захват всей его территории, присвоение всего имущества неприятеля. Во всех его действиях проглядывала совершенно определенная цель: не делать ничего такого, что затруднило бы для Александра заключение мира. Даже в момент наибольшего своего могущества, войдя в Вильну, Наполеон не пожелал исполнить давнишнее желание своих союзников-поляков и отдать им Литву,— именно затем, чтобы не слишком раздразнить и обидеть Россию. Он издавал

* Данное предисловие написано к изданию 1943 г.— *Ред.*

суровые приказы против мародерства и против каких бы то ни было насилий над мирным населением. Конечно, эти приказы (особенно с третьего месяца войны) очень мало исполнялись, но все-таки до самого конца похода солдаты наполеоновской армии знали, что производить грабеж открыто нельзя, начальство не велит. Если бы Наполеону сказали, что какой-нибудь из его маршалов издал приказ вроде приказа генерала фон Рейхенау от 15 октября 1941 г. об убийстве населения занятых мест и о планомерном истреблении всех русских художественных и исторических ценностей, то он подумал бы, конечно, что этот маршал окончательно сошел с ума. Характерно, что, по единодушным свидетельствам русских современников, наибольшими грабителями из всего состава наполеоновской армии оказывались немцы, особенно же баварцы, пруссаки, вюртембержцы и саксонцы. Итальянцы грабили гораздо меньше, а наиболее дисциплинированными и меньше всех обижавшими население показали себя французы, в особенности императорская гвардия. Любопытно с этим фактом сопоставить тот вполне установленный факт, что в Великой Отечественной войне наиболее гнусные, поистине чудовищные злодеяния над мирными жителями творили именно «отборные» немецкие дивизии: офицеры дивизии «СС» приказывали закапывать в землю живыми матерей с их детьми (по свидетельству немецких же пленных). При Наполеоне малейшая тень подозрения в сколько-нибудь неблаговидном поступке влекла за собой немедленное изгнание солдата из гвардии. При гитлеровщине был торжественно провозглашен лозунг «фельдмаршалом» Герингом: «Я делаю ставку на негодяя!» По этому принципу отборные «гвардейские» части гитлеровской армии и составлялись из наиболее оголтелых, озверелых, потерявших всякий человеческий облик мерзавцев.

И в основных целях нашествия и в характере действий неприятеля на русской территории существует огромная разница между войной 1812 г. и Великой Отечественной войной. Между колоссом, возглавлявшим «великую армию» в 1812 г., и трусливым фашистским дегенератом, который посылает свою банду на смерть, лично пребывая в уютном берхтесгаденском бомбоубежище,— нет и не может быть ни малейшего сходства, как бы этого сходства «фюрер» ни жаждал.

В одном отношении война 1812 г. походит на Великую Отечественную войну: пламенный патриотизм и героизм русского народа готовят захватчикам такое же страшное поражение. На этот раз к чувству вражды по отношению к врагу примешивается еще и чувство ненависти, беспредельного презрения, доходящего до гадливости, чувство омерзения, заставляющее смотреть на подлых немецко-фашистских извергов, как на гряз-

ных животных, как на своего рода чумных крыс, подлежащих беспощадному уничтожению.

Не только к французам в 1812 г., но и ни к одному из врагов своих, с которыми приходилось сталкиваться ему за все его тысячелетнее историческое существование, русский народ не питал подобных чувств, потому что никогда у него не было более гнусного, растленного, омерзительно грязного во всех отношениях противника.

И вместе с тем никогда не было такого полнейшего единодушия и стремления уничтожить врага, посягнувшего на нашу землю, и, добавим, такого полного доверия к верховному руководству, ведущему нашу героическую армию к великой победе.

Русская победа 1812 г. спасла Европу,— «в бездну повалила тяготеющий над царствами кумир»,— как сказал Пушкин.

Наша грядущая победа освободит землю от гнусной немецкой чумы, смрадным дыханием своим пытающейся отравить человечество!

Глава I

ПЕРЕД СТОЛКНОВЕНИЕМ

1

роза двенадцатого года еще спала... Еще Наполеон не испытал великого народа, еще грозил и колебался он,— так писал Пушкин о том времени, исчерпывающая характеристика которого очень трудна, столько разнообразнейших явлений одновременно осаждают память историка.

Из всех войн Наполеона война 1812 г. является наиболее откровенно империалистской войной, наиболее непосредственно продиктованной интересами захватнической политики Наполеона и крупной французской буржуазии. Еще война 1796—1797 гг., завоевание Египта в 1798—1799 гг., вторичный поход в Италию и новый разгром австрийцев как-то прикрывались словами о необходимости борьбы против интервентов. Даже Аустерлицкая кампания изображалась наполеоновской прессой как «самозащита» Франции от России, Австрии и Англии. Даже разгром и порабощение Пруссии в 1806—1807 гг. являлись для среднего французского обывателя справедливой карой прусскому двору за дерзкий ультиматум, посланный Фридрихом-Вильгельмом III «миролюбивому» императору Наполеону, которому жить не дают беспокойные соседи. О четвертом разгроме Австрии в 1809 г. Наполеон и подавно не переставал говорить как о войне «оборонительной», вызванной австрийскими угрозами. Только о вторжении в Испанию и Португалию принято было помалкивать. Все эти фантазии и лживые выдумки в 1812 г. никого уже не обманывали во Франции, да и в ход почти вовсе не пускались.

Заставить Россию экономически подчиниться интересам французской крупной буржуазии и создать против России вечную угрозу в виде вассальной, всецело зависимой от французов Польши, к которой присоединить Литву и Белоруссию,— вот основная цель. А если дело пойдет совсем гладко, то до-

браться до Индии, взяв с собой уже и русскую армию в качестве «вспомогательного войска».

Для России борьба против этого нападения была единственным средством сохранить свою экономическую и политическую самостоятельность, спастись не только от разорения, которое несла с собой континентальная блокада, уничтожившая русскую торговлю с англичанами, но и от будущего расчленения: в Варшаве не скрывали, что одной Литвой и Белоруссией поляки не удовлетворятся и что надеются со временем добраться при помощи того же французского цезаря до Черного моря. Для России при этих условиях война 1812 г. явилась в полном смысле слова борьбой за существование, обороной от нападения империалистского хищника. Отсюда и общенародный характер великой борьбы, которую так геройски выдержал русский народ против мирового завоевателя.

Чем была война 1812 г. в общей исторической системе, в последовательном видоизменении революционных и наполеоновских войн? Нельзя не вспомнить здесь ту отчетливую схему, прямо подводящую к ответу на поставленный вопрос, которую дает В. И. Ленин: войны Французской революции, которые велись против интервентов во имя защиты революционных завоеваний, обращаются с течением времени в завоевательные войны Наполеона, а эти завоевательные, грабительские империалистские войны Наполеона в свою очередь порождают национально-освободительное движение в угнетенной Наполеоном Европе, и теперь уже войны европейских народов против Наполеона являются национально-освободительными войнами.

Война 1812 г. была самой характерной из этих империалистских войн. Крупная французская буржуазия (особенно промышленная) нуждается в полном вытеснении Англии с европейских рынков; Россия плохо соблюдает блокаду,— нужно ее принудить. Наполеон делает это первой причиной ссоры. Той же французской буржуазии, на этот раз и промышленной и торговой, необходимо заставить Александра I изменить декабрьский таможенный тариф 1810 г., неблагоприятный для французского импорта в Россию. Наполеон делает это вторым предметом ссоры. Чтобы создать себе нужный политический и военный плацдарм против России, Наполеон стремится в том или ином виде создать для себя сильного, но покорного ему вассала на самой русской границе, организовать в тех или иных внешних формах Польское государство,— третий повод к ссоре. В случае удачи затеваемого похода на Москву Наполеон говорит то об Индии, то о «возвращении через Константинополь», т. е. о завоевании Турции, и уже заблаговременно посылает (в 1810, 1811, 1812 гг.) агентов и шпионов в Египет, в Сирию, в Персию.

Далее, сулила ли эта завоевательная империалистская война, хотя бы в виде побочного, второстепенного (с точки зрения Наполеона) результата, освобождение русских крестьян?

Ни в коем случае. Гадать тут не приходится. Наполеон сейчас же после похода — еще даже не успел кончиться кровавый год — категорически признал, что никогда и не помышлял об освобождении крестьян в России. Он знал, что их положение хуже, чем положение крепостных в других европейских странах. Он даже говорил о русских крестьянах, пользуясь термином *«рабы»*, а не *«крепостные»*. Но он не только не пытался склонить в свою сторону симпатии русского крестьянства декретом об уничтожении крепостного права, но боялся, как бы ответом на его грабительское нашествие не явилась крестьянская революция в России. Он не хотел рыть пропасть между собой и помещичьим царем и помещичьей Россией, потому что он не нашел в России (так ему казалось и так он говорил) «среднего класса», т. е. той буржуазии, без которой он, буржуазный император, просто не мыслил перехода феодальной или полуфеодальной страны в колею нового строя, нужного для развития новых социально-экономических отношений. Ведь он вполне сознательно всюду искал этот «средний класс» и на нем стремился основать новую государственность. Русскую буржуазию он хотел найти и не успел, не сумел, все равно почему, но не нашел. А не найдя, отказался вообще от какого-либо активного вмешательства в русскую внутриполитическую жизнь, потому что из двух других сил, с которыми ему оставалось считаться, помещичья Россия была ему, несмотря ни на что, близка, а крестьянская революция страшна. Он застал русское крестьянство в цепях и ушел, даже и не попробовав к ним прикоснуться, напротив, например в Белоруссии в Литве, укреплял эти цепи.

Такое поведение Наполеона было вовсе не случайным. Мысли и настроения свои по этому поводу он ничуть не скрывал, хотя его ясные и точные высказывания относятся лишь к периоду, когда поход окончился. Но нам именно с этого и нужно начать, чтобы вполне уяснить его воззрения.

В тронном зале Тюильрийского дворца, на заседании сената 20 декабря 1812 г., говоря о только что кончившемся походе на Россию, Наполеон сказал: «Война, которую я веду против России, есть политическая: я ее вел без враждебного чувства. Я хотел бы Россию избавить от бедствий, которые она сама на себя навлекла. Я мог бы вооружить наибольшую часть ее населения против ее же самой (против России — *Е. Т.*), провозгласив свободу рабов. Большое количество деревень меня об этом просило. Но когда я узнал грубость нравов этого многочисленного класса русского народа, я отказался от этой меры, которая

предала бы смерти, разграблению и самым страшным мукам много семейств» [1]. Эти слова Наполеона не нуждаются в пояснениях. Мы не находим ничего похожего на «многочисленные» прошения деревень ни в одном исходящем за время русского похода от французов и от самого Наполеона свидетельстве, ни в одном письме, ни в одном даже беглом указании. Ясно, что это один из тех политических выгодных вымыслов, перед которыми Наполеон никогда не останавливался. Но ясно и другое: он отлично понимал, что, освобождая крестьян, он *мог* бы вооружить их этим против крепостнического русского правительства. Знал, но не хотел, боялся к этому оружию прибегнуть. Не душителю революции, не императору божьей милостью Наполеону I, которому Александр еще перед самым нашествием писал: «государь, брат мой», не «брату» Александра I, не зятю Франца Австрийского было освобождать русских крестьян.

Да и что другое мог он сказать, будучи тем, кем он в это время был? Ведь в тот же день, в том же тронном зале, принимая вслед за сенатом Государственный совет, Наполеон хвалил это учреждение за монархические чувства, говорил «о благодеяниях монархии», громил «идеологию», «принцип восстания», «народное верховенство» и с целомудренным порицанием поминал якобинцев, «режим людей крови» [2].

Эту новую выдумку о русских крестьянах, просивших его об освобождении, он повторяет и в письме к брату, вестфальскому королю Жерому, от 18 января 1813 г.: «Большое количество обитателей деревень просили у меня декрета, который дал бы им свободу, и обещали взяться за оружие в помощь мне. Но в стране, где средний класс малочислен, и когда испуганные разрушением Москвы, удалились люди этого класса (без которых было невозможно направлять и удерживать в должных границах движение, раз уже сообщенное большим массам), я почувствовал, что вооружить население рабов — это значило обречь страну на страшные бедствия; у меня и мысли о том не было» [3].

Завоевателем, а не освободителем вступил Наполеон в Россию. Не об уничтожении крепостного права думал он, а о том, чтобы погнать потом в случае удачи эту крепостную массу в качестве «вспомогательных войск» (его собственное выражение) на Гималаи и за Гималаи, в Индию. Но относительно русского народа он так же жестоко заблуждался, как и относительно испанского.

2

Когда впервые стал сколько-нибудь явственно вырисовываться на европейском горизонте призрак войны обеих империй? Говорить об этой войне, задумываться о ней дипломаты

стали впервые с начала 1810 г., а большинство лишь с конца того же года.

Но подспудные течения подмывали франко-русский союз уже давно. Напомним в нескольких словах о предшествующих столкновениях России с Наполеоном.

Под Аустерлицем 2 декабря 1805 г. Наполеон нанес страшное поражение австрийским и русским войскам,— но уже и там французы очень хорошо видели разницу между поведением русских солдат и несравненно менее стойким и мужественным поведением австрийцев. В 1807 г. русские войска, посланные царем спасать Пруссию от окончательного покорения, сразились с Наполеоном сначала в кровавой битве под Эйлау (8 февраля 1807 г.), где исход сражения остался нерешенным, а затем в битве под Фридландом (14 июня 1807 г.), где Наполеон остался победителем. Александр I тогда же заключил с Наполеоном не только мир, но и союз. Это произошло уже в ближайшие дни после Фридланда, во время личного свидания Наполеона с Александром в г. Тильзите. Этих тяжелых уроков Александр не забывал. Он знал, что в России (и особенно в русской армии) широко распространено недовольство «позорным Тильзитским миром». Дело было не только в позоре. Наполеон заставил Александра примкнуть к так называемой «континентальной блокаде», т. е., другими словами, Россия обязывалась ничего у англичан не покупать, ничего англичанам не продавать, не допускать англичан в Россию и объявить Англии войну. От этой меры, придуманной Наполеоном для удушения и разорения Англии, русские землевладельцы и купцы тяжело страдали, русская торговля совсем упала, государственные финансы России оказались в самом тяжелом положении. Франко-русский союз, оформленный в Тильзите в 1807 г., дал первую трещину уже в 1808 г., во время сентябрьского свидания обоих императоров в Эрфурте, и эта трещина очень серьезно расширилась в 1809 г., во время войны Наполеона с Австрией. Остановимся пока на этих двух годах: 1807—1809.

Александр, в панике после фридландского разгрома, решился не только на мир, но на самую крупную и решительную перемену, вернее, на полный переворот во всей своей политике.

Не наша задача давать тут полную характеристику Александру как человеку и правителю. Этот человек в своей жизни несколько раз менялся. Наследником он был одним, после убийства Павла — другим, перед Аустерлицем — третьим, после Аустерлица — четвертым, после Тильзита — пятым. А еще сколько предстояло изменений в 1814 г.! Сколько еще в годы Голицына и Аракчеева! И не просто менялись его настроения: менялись его отношение к людям, его воззрения на людей, его отношение к жизни, проявления его характера. Кто-то из его

современников выразился так: Александр, как Будда по индийским сказаниям, проходит всю жизнь через разные «преображения», «становления», разные «аватары», поэтому у него и является всякий раз совсем новое лицо. Нас тут интересует его «преображение» перед войной 1812 г. и во время этой войны. Кем он был тогда? Каковы были его стремления? Александр умел держать себя в руках, как ни один из русских царей и как вообще очень редко какой-либо из самодержцев в любой стране.

В 1805 г., как известно, он потерпел позорнейший разгром под Аустерлицем, и притом решительно ни на кого нельзя было свалить вину: все знали, что сам царь вопреки воле Кутузова повел армию на убой и, когда все провалилось, публично расплакался и убежал с кровавого поля. Но враг был так опасен, дворянство, окружавшее царя, настолько ненавидело и опасалось этого врага, что Александру, можно сказать, многое отпустили из его аустерлицкого греха, за то что он все-таки не заключил с Наполеоном мира, а через год после Аустерлица выступил снова против «врага рода человеческого». На этот раз война оказалась затяжной и еще более кровопролитной. Как будто улыбнулась надежда смыть аустерлицкий позор, который так болезненно переживался именно потому, что после суворовских и румянцевских побед Александр начал свое царствование с этого страшного поражения. Пултуск, Эйлау с очень большими натяжками все-таки могли, в особенности для помещичьей провинциальной публики, сойти за победы. Но вот наступает весна 1807 г.: Гейсберг и Фридланд. Новое поражение, да еще на этот раз такое, которое разразилось у самой русской границы. В русской главной квартире полная паника. И Александр просит перемирия, посылает князя Лобанова-Ростовского к Наполеону немедленно после страшного фридландского поражения.

Происходит свидание на неманском плоту. Оба императора обнимаются, целуются, мигом заключают не только мир, но и союз. Уже в самом Тильзите среди всех этих торжеств и братаний начались неприятности. Офицерство не очень скрывало, что ему стыдно за себя и за царя, что Тильзит хуже и позорнее Аустерлица. Затем нехорошо вышло и с королем и королевой прусскими. Александр их предал и продал, так говорила вся Европа, именно говорила, а не писала и не печатала: при Наполеоне Европа вообще не весьма много писала и совсем мало печатала. За прощальным обедом королева Луиза стала горько выговаривать Александру, так коварно поступившему, и вдруг разрыдалась, и это произвело тогда впечатление на общественное мнение. Конечно, дело было не в затемнении «рыцарского» образа царя, не в коварном нарушении «клятвы у гроба Фрид-

риха II», когда меньше чем за два года до Тильзита Александр поклялся Фридриху-Вильгельму III и Луизе в вечном союзе и в дружбе. Все эти сентиментальности были не так уж важны. Даже и не то было самое беспокойное и неприятное, что пришлось любезничать и целоваться с этим самым Бонапартом, который в 1804 г. так грубо и публично в своей ноте напомнил Александру I об убийстве Павла (когда Александр вздумал было протестовать против казни герцога Энгиенского). В политике цари и не то еще переносят. Важнее всего было то, что дворянская Россия, в представлении европейских правительств изображавшая «общественное мнение» России, решительно негодовала по поводу Тильзитского мира. Александр вернулся после Тильзита не только с израненным самолюбием, но и с ощущением незримой угрозы, над ним нависшей.

Дворянство ни за что не хотело ни континентальной блокады, приносившей землевладению и экспортной торговле России громадные убытки, ни дружбы с ненавистным Наполеоном, в чьем образе оно продолжало видеть порождение Французской буржуазной революции и угрозу своему владычеству. Дворянство было недовольно. А Александр знал из истории русских царей XVIII в. и из истории своего отца, что́ бывало с российскими самодержцами, когда дворянство начинало очень на них сердиться. И все-таки царь крепился, таил в себе раздражение, таил беспокойство, таил все те чувства, которые потом получил возможность высказывать. Он вовсе не был безвольным. У него был характер, и в иных случаях очень твердый. Он умел долго и упорно желать и ждать. Широкого, зрелого государственного ума у него никогда не было, и, например, чудовищную, злодейскую бессмыслицу военных поселений выдумал он сам, а вовсе не Аракчеев. И уже выдумав что-нибудь, царь ни перед чем не останавливался, чтобы провести в жизнь свою выдумку,— ни перед гнусностью, ни перед жестокостью. Чтобы отстоять, например, те же свои военные поселения, он готов был, как известно, «уставить виселицами» всю дорогу от Петербурга до Чудова.

Из Тильзита он вернулся с одним определенным планом, осуществление которого должно было, по его мнению, не только загладить все поражения и весь позор двух проигранных войн, но и покрыть его славой, не меньшей, а большей, чем слава Екатерины. В осуществимость этого плана, по-видимому, никто, кроме него, не верил, но тем упорнее он за это держался. Это была мысль о широких территориальных приобретениях в Турецкой империи: Молдавия, Валахия, может быть, Константинополь. Наполеон поманил его этим во время тильзитских переговоров, когда оба императора совещались вдвоем целыми ночами, когда Наполеон «отдавал» Александру Тур-

цию, а Александр обязывался «отдать» Наполеону Европу. Наполеон уже тогда, конечно, думал обмануть Александра и дать ему несравненно меньше, чем обещал, и уже во всяком случае ни минуты не думал об уступке Константинополя.

Но Александр был не из тех, кого легко обмануть. Во всяком случае не из тех, кого долго можно обманывать. «Александр слишком слаб, чтобы управлять, и слишком силен, чтобы быть управляемым»,— сказал о нем хорошо его знавший Сперанский. Можно сказать о нем и так: он был недостаточно глубок и гибок, чтобы обмануть Наполеона, но и слишком хитер и тонок, чтобы Наполеон мог его надолго обмануть.

Финляндию, на завоевание которой (с целью покарать англофильскую Швецию) указал ему Наполеон, царь в 1808 г. в самом деле заполучил. Но этого ему было мало. А больше Наполеон не давал.

Александр уже давно, уже с Аустерлица, никому не доверял и знал, что его не уважают («считают дурачком», как он выразился сам впоследствии). Ожидая нападения со стороны Наполеона, он не мог не знать одного: нового Тильзита ему не простят. И далекая Сибирь, куда он собирался «отступать», была для него в самом деле более приемлема и безопасна, чем Зимний дворец, в случае если бы он опять смалодушествовал, как там, на тильзитском плоту. И он сообразил, что настоящий личный для него риск — это преждевременное прекращение войны. Во всяком случае страшнее самой тяжелой войны был бы лично для него мир, заключенный с победившим неприятелем.

Русский царизм был, по определению классиков марксизма, жандармом Европы. После 1812 г. Александр сделал Россию общепризнанным руководителем сил мировой реакции, когда русская дипломатия деятельно старалась подавить революцию на всем земном шаре до Перу, Боливии и Мексики включительно. Но даже если мы коснемся первого времени царствования Александра, которое потом по сравнению с последним периодом стало называться «дней Александровых прекрасное начало», то и в эти годы, кончившиеся нашествием Наполеона, Александр очень охотно выступал «рыцарем без страха и упрека», борющимся за троны и алтари против дерзновенной революции. В 1805 г., летом и ранней осенью, перед началом кампании, именно Александр стремился дать войне характер всеевропейской интервенции во французские дела и окончить ее восстановлением династии Бурбонов. Так понимала вся Европа это стремление царя придать начинавшейся кампании 1805 г. огромные общеевропейские размеры. В Тильзите скрепя сердце ему пришлось от этой роли отказаться. Но когда с 1810 г. его беспокойному и порой довольно проницательному уму начало представляться, что есть возможность сбросить тильзитское иго

и во всяком случае примириться с дворянской оппозицией, снова повернув руль политики в противоположную от Тильзита сторону, то Александр не мог долго колебаться. Все его прошлое, все его интимные настроения и убеждения толкали его на этот путь.

Но почему в 1810 г. стала намечаться политическая возможность такого нового поворота руля?

3

Когда в начале 1810 г. Наполеон выбирал себе невесту (из двух кандидаток), в дипломатических кругах говорили: он будет вскоре воевать с той державой, которая не даст ему своей принцессы. Анну Павловну ему не дали, Марию-Луизу Австрийскую он получил в тот же час, как ее потребовал. Но торговая буржуазия, например гамбургское купечество, судила более оптимистично и менее проницательно: «Теперь, наконец, он прекратит свои войны, Европа обретет мир». Так толковали в Гамбурге. Представлялось, что после нового разгрома, который претерпела Австрия от Наполеона в 1809 г., и после женитьбы его на дочери австрийского императора власть французского императора на континенте Европы так укрепилась, что Англия долго не продержится и пойдет на любой мир, чтобы избавиться от ожидающего ее банкротства, которое неминуемо при дальнейшем проведении континентальной блокады. Но не так судил сам Наполеон. Для него «австрийский брак» был крупнейшим обеспечением тыла, в случае если придется снова воевать с Россией. Как и всем политическим комбинациям в этот период своего царствования, сближению с Австрией Наполеон придавал прежде всего стратегическое значение. Он ясно сознавал, что главное оставшееся дело — сокрушение Англии — немыслимо, пока балтийское, беломорское, черноморское побережья не заперты для английских товаров по крайней мере так же прочно, как береговые части Французской империи, и еще яснее он видел, что без нового и решительного разгрома русских военных сил эта цель абсолютно недостижима. Мало того, недостижима и полная обеспеченность его бесконтрольной власти над северным европейским побережьем, недостижимо покорение Испании, нельзя ждать полного отказа от всех надежд на национальное освобождение в германских странах.

И вот с 1810 г. начинается эта знаменитая политика «движущейся границы», собственно не начинается, а лишь усиливается: Наполеон простыми декретами присоединяет к своей империи новые и новые земли, наводняет прусские крепости войсками, и острие его могущества все ближе и ближе продвигается на восток, к России. В то же время усиливаются жесто-

кие преследования против нарушителей континентальной блокады.

Безмолвие царило в устрашенной Европе.

Современники утверждали, что позднейшим поколениям очень трудно понять политическую атмосферу тогдашней Европы. Князь П. А. Вяземский, друг Пушкина, писал впоследствии: «Наполеон... был равно страшен и царям, и народам. Кто не жил в эту эпоху, тот знать не может, догадаться не может, как душно было жить в это время. Судьба каждого государства, почти каждого лица более или менее, так или иначе, не сегодня, так завтра зависела от прихотей тюльирийского кабинета, или от боевых распоряжений наполеоновской главной квартиры. Все были как под страхом землетрясения или извержения огнедышащей горы... Никто не мог ни действовать, ни дышать свободно» [4].

Присоединение Голландии к Французской империи в июне 1810 г., перевод трех французских дивизий с юга Германии на север ее, к Балтийскому морю, в августе 1810 г., посылка из Французской империи 50 тысяч ружей в герцогство Варшавское и артиллерийского полка в занятый французами Магдебург — все эти грозные признаки приближающейся новой бури русская дипломатия ставила в прямую связь с «австрийским браком» и австрийским союзом Наполеона [5]. Россия становилась Наполеону не нужна, его власть над Европой получала новую точку опоры в Вене.

Во второй половине 1810 г. началось уже, как выражается Нессельроде, «проведение трианонского тарифа вооруженной рукой»,— и всюду в Европе запылали костры, на которых сжигались английские товары. России было предложено принять такие же меры, но русское правительство это отвергло, так как этим нарушались «независимость и интересы» России. В декабре 1810 г. Наполеон присоединил к своей империи ганзейские города — Гамбург, Бремен, Любек — и уж, кстати, всю территорию между Голландией и Гамбургом, в том числе герцогство Ольденбургское. Сестра Александра Екатерина была женой сына и наследника герцога Ольденбургского. Александр протестовал. Но Наполеон «прибавил новое оскорбление», приказав своему министру герцогу де Кадору даже не принять русской ноты протеста. Наконец, в декабре 1810 г. последовало издание нового русского тарифа, в котором повышались пошлины на предметы роскоши и на вина, т. е. как раз на товары, ввозимые в Россию из Франции.

Отношения между обоими императорами с тех пор не переставали резко ухудшаться.

Чем больше Наполеон наводнял войсками Польшу и Пруссию вопреки условиям Тильзитского мира об эвакуации их из

Пруссии, чем более придирчиво и зорко наблюдал он за исполнением правил блокады, тем теснее тайные упования русского правительства связывались с Англией.

В докладе, представленном Наполеону 7 апреля 1810 г. министром иностранных дел герцогом де Кадором, император прочел: «Британский кабинет не потерял надежды сблизиться с Россией, а также с турками, и таким путем обеспечить себе на Балтийском море, в Архипелаге и на Черном море более полезные для своих мануфактур ресурсы, чем те, которые дало бы переходящее перемирие, даже если бы оно открыло временно порты Франции, Германии, Голландии и Италии» [6].

Герцог де Кадор опасается, что это может удаться англичанам: вокруг Александра происходит борьба «интересов», и Англия «обещаниями, посулами выгод, соблазнительными гарантиями» может много сделать. «Продажность петербургского двора никогда не подвергалась сомнениям. Эта продажность была открытой в царствования Елизаветы, Екатерины, Павла. Если же в нынешнее царствование она не так публична, если у нас есть в России несколько друзей, недоступных английским предложениям, как, например, граф Румянцев, князья Куракины и очень небольшое число других, то не менее справедливо и то, что большинство царедворцев отчасти по привычке, отчасти из привязанности к императрице-матери, отчасти из досады на уменьшение своих доходов вследствие изменившегося денежного курса, отчасти под влиянием подкупа являются тайными сторонниками Англии».

Герцог де Кадор в этом секретном своем докладе откровенно сознается, что трудно воспрепятствовать возможному сближению Англии с Россией: «Как достигнуть перерыва на всех пунктах тайных сношений Англии и России, когда взаимные интересы, более или менее насущные, заставят оба двора возобновить эти сношения?». Нужно сказать, что этот министр Наполеона — Шампаньи, получивший титул герцога де Кадора,— был только послушнейшим орудием воли своего повелителя и свою миссию видел в том, чтобы подыгрываться и повторять все, что соответствовало страстям и мыслям императора. Так, он ставит себе в заслугу, что его предшественники стремились заключить мир с Англией, а он, герцог де Кадор, стоит за продолжение войны. А для этого нужно закончить завоевание Испании, и тогда заперты все порты Европы. «В Кадисе, ваше величество, будете в состоянии порвать или укрепить связи с Россией». От Кадиса до Петербурга английские суда и товары никуда не должны быть допущены.

В декабре 1810 г., после опубликования нового русского тарифа, о войне между обеими империями заговорили в самых разнообразных слоях европейских народов.

В первый раз в переписке с любимой сестрой Екатериной Павловной Александр 26 декабря 1810 г. пишет: «По-видимому, кровь еще должна будет проливаться, по крайней мере я сделал все, что было человечески возможно, чтобы этого избежать». Дело идет о лишении Петра Ольденбургского (а следовательно, и сына его Георга, мужа Екатерины Павловны) его герцогства, захваченного Наполеоном. Больше он ничего не говорит в письме, но очень многозначительно прибавляет список вопросов, о которых он намерен беседовать с сестрой лично [7]. Он собирался тогда в Тверь, где она жила, и действительно явился туда в марте 1811 г. В этом списке вопросов почетное место занимают именно военные вопросы: устройство армии, увеличение ее численности, резервы и т. д. Если в грубом по существу и грубо обставленном захвате Ольденбурга со стороны Наполеона можно было предполагать, кроме желания обеспечить надзор за морскими берегами северной Германии, еще желание лично задеть Александра, то Александр это именно так и понял. А главное, он стал понимать, что эта провокация не обойдется без продолжения, если Наполеон уже нашел необходимым его оскорблять.

Очень многозначительный разговор имел Александр с наполеоновским послом Коленкуром в мае 1811 г. Наполеон как раз тогда сменил Коленкура именно за то, что Коленкур всецело стоял за сохранение мира с Россией и считал, что Наполеон умышленно и неосновательно придирается к царю.

Прощаясь с Коленкуром в середине мая 1811 г. (Коленкур выехал из Петербурга 15 мая), Александр сказал ему между прочим: «Если император Наполеон начнет войну, то возможно и даже вероятно, что он нас побьет, но это ему не даст мира. Испанцы часто бывали разбиты, но от этого они не побеждены, не покорены, а ведь от Парижа до нас дальше, чем до них, и у них нет ни нашего климата, ни наших средств. Мы не скомпрометируем своего положения, у нас в тылу есть пространство, и мы сохраним хорошо организованную армию. Имея все это, никогда нельзя быть принужденным заключить мир, какие бы поражения мы ни испытали. Но можно принудить победителя к миру. Император Наполеон после Ваграма поделился этой мыслью с Чернышевым; он сам признал, что он ни за что не согласился бы вести переговоры с Австрией, если бы она не сумела сохранить армию, и при большем упорстве австрийцы добились бы лучших условий. Императору Наполеону нужны такие же быстрые результаты, как быстра его мысль; от нас он их не добьется. Я воспользуюсь его уроками. Это уроки мастера. Мы предоставим нашему климату, нашей зиме вести за нас войну. Французские солдаты храбры, но менее выносливы, чем наши: они легче падают духом. Чудеса

происходят только там, где находится сам император, но он не может находиться повсюду. Кроме того, он по необходимости будет спешить возвратиться в свое государство. Я первым не обнажу меча, но я вложу его в ножны последним. Я скорее удалюсь на Камчатку, чем уступлю провинции или подпишу в моей завоеванной столице мир, который был бы только перемирием». Коленкур, правда, слишком иногда идеализирует Александра. Но в данном случае его показание весьма правдоподобно. Вообще надо иметь в виду, что мемуары Коленкура были написаны уже позже и ряд моментов мог получить ретроспективно иное освещение.

Коленкур страшился войны с Россией. Вернувшись в Париж 5 июня 1811 г., он тотчас же был принят Наполеоном и передал ему эти слова царя. Коленкур настаивал на том, что нужно пожертвовать мыслью о восстановлении Польши во имя сохранения мира и союза с Россией. Он утверждал вместе с тем, что Россия первая ни в коем случае не начнет войны. Наполеон возражал. Как всегда, и в эту свою пору Наполеон, ни одним звуком не упоминая о крестьянстве, о крепостном праве в России и т. д., стал излагать Коленкуру свои соображения: что дворянство русское — класс развращенный, гнилой, своекорыстный, недисциплинированный, неспособный к самопожертвованию и после первых же неудачных битв, после первых же шагов нашествия дворяне испугаются и заставят царя подписать мир. Коленкур категорически возражал: «Вы ошибаетесь, государь, насчет Александра и русских. Не судите о России по тому, что вам другие о ней говорят, не судите русскую армию по тому, какой ее видели после Фридланда, раздавленную и обезоруженную. Будучи под угрозой уже год, русские приготовились и укрепились; они высчитали все шансы. Они учли даже возможность своих больших поражений. Они подготовились к защите и сопротивлению до крайности». Наполеон слушал и переводил разговор на другое — на свою великую армию, неисчерпаемые средства своей мировой монархии, говорил о своей непобедимой гвардии, о том, что сколько свет стоит, ни у одного полководца не было в распоряжении таких огромных сил, таких великолепных во всех отношениях войск. Коленкур указывал на несправедливые требования: Россия должна с полнейшей точностью выполнять тягостные и разорительные для нее условия континентальной блокады, тогда как сам Наполеон их нарушает во имя интересов казны и французской промышленности, давая лицензии, т. е. разрешения, для торговли с Англией отдельным купцам и финансистам. Наполеон пропускал мимо ушей все эти аргументы Коленкура. «Да одна хорошая битва покончит с этой прекрасной решимостью вашего друга Александра и со всеми его фортифика-

циями, сделанными из песка»,— заявил Наполеон. Коленкур с чувством, близким к отчаянию, видел, что ему ровно ничего не удается сделать и что полная уверенность в победе, возраставшая в Наполеоне с каждым месяцем, по мере того как развертывались его грандиозные приготовления, мешает ему сколько-нибудь серьезно отнестись к опасениям и предостережениям. Русско-французские отношения были в самом деле запутаны: Александр I и главная масса дворянства в 1811 г. уже не так боялись Наполеона, как ему это было бы желательно. А Наполеон, так долго и так удачно разрубавший все гордиевы узлы политики своим мечом, не хотел понять, почему на этот раз он должен отказаться от этого способа, если его меч так силен и так остро отточен, каким еще никогда не был до сих пор. Все усилия Наполеона сосредоточивались на двух задачах: во-первых, завершить подготовку к войне так, чтобы меньше всего оставить на долю случая, чтобы сделать победу совершенно обеспеченной и неизбежной, и, во-вторых, если Россия не пойдет на все уступки и войну можно будет начать, устроить так, чтобы ответственность за войну легла на Александра, а не на него, Наполеона.

Генерал-адъютант граф Шувалов был принят Наполеоном в Сен-Клу 13 (1) мая 1811 гг. «Я не хочу воевать с Россией. Это было бы преступлением, потому что не имело бы цели, а я, слава богу, не потерял еще головы и еще не сумасшедший... Неужели могут думать, что я пожертвую, быть может, 200 тысячами французов, чтобы восстановить Польшу? Впрочем, я не могу воевать: у меня 300 тысяч человек в Испании. Я воюю в Испании, чтобы овладеть берегами. Я забрал Голландию, потому что ее король не мог воспрепятствовать ввозу английских товаров, я присоединил ганзейские города по той же причине, но я не коснусь ни герцогства Дармштадтского, ни других, у которых нет морских берегов. Я не буду воевать с Россией, пока она не нарушит Тильзитский договор» [8],— так начал Наполеон. Он и продолжал в таком же духе, делая вид, что не верит миролюбию Александра, и перемежая свои жалобы угрозами: «Русские войска храбры, но я быстрее собираю свои силы. Проезжая, вы увидите двойное против вашего количество войска. Я знаю военное дело, я давно им занимаюсь, я знаю, как выигрываются и как проигрываются сражения, поэтому меня нельзя испугать, угрозы на меня не действуют». И тут же он указывает Шувалову на выгоды дружбы с ним, на выгоды тильзитской политики: «Сравните войну, которая была при императоре Павле, с теми, которые были потом. Государь, войска которого были победоносны в Италии, обзавелся после этого только долгами. А император Александр, проиграв две войны, которые вел против меня, приобрел Фин-

ляндию, Молдавию, Валахию и несколько округов в Польше». Шувалов вынес такое впечатление, что Александру следует немедленно решать, хочет ли он мира или войны с Наполеоном.

Летом 1811 г. Александр считает войну вероятной. Переписываясь с сестрой все о том же ольденбургском событии, в котором Екатерина Павловна непосредственно была заинтересована, Александр говорит, что он смотрит на это дело безнадежно: «Чего можно разумно ожидать от Наполеона? Разве он такой человек, чтобы отказаться от приобретения, если только его не принудят силой оружия? И есть ли у нас средства силой оружия заставить его это сделать?» Но у Александра есть надежда, можно сказать, инстинктивная уверенность, что мировое наполеоновское владычество не может быть прочным: «Мне кажется более разумным надеяться на помощь от времени и даже от самих размеров этого зла, потому что я не могу отделаться от убеждения, что это положение вещей не может длиться, что страдание во всех классах как в Германии, так и во Франции столь велико, что по необходимости терпение должно иссякнуть». Правда, Александр уповает еще и на помощь божию, проявляемую в экстренных случаях путем цареубийства (конечно, не в Петербурге, а в Париже), и с большой симпатией пишет о некоем молодом человеке, который, по слухам, выстрелил недавно в Наполеона и потом застрелился. И царь надеется, что молодой человек «найдет подражателей» [9]. Вообще, «так или иначе это положение вещей должно окончиться», повторяет он снова.

Наконец дело дошло до открытой враждебной демонстрации. 15 августа 1811 г. с обычным торжественным церемониалом праздновался день именин Наполеона. Одним из актов этого торжества был, как всегда, парадный прием в большом тронном зале Тюильрийского дворца всех дипломатических представителей. Император сидел на троне, когда появились с низкими поклонами послы и посланники в раззолоченных мундирах, осыпанных орденскими звездами. Русский посол князь Куракин был в первом их ряду.

Наполеон сошел с трона и, подойдя к Куракину, завязал разговор. Старик Куракин, екатерининский вельможа, обладавший всеми тайнами придворного искусства, не пользовался полным доверием Александра и существовал в Париже больше для представительства. Настоящими представителями царя в Париже были скорее советник посольства Нессельроде и полковник Чернышев, чем старый князь. Но тут, на торжественной аудиенции дипломатического корпуса, конечно, фигурировал именно Куракин. При неимоверной роскоши наполеоновского двора и всей придворной и великосветской жизни

в тогдашнем Париже старый екатерининский царедворец старался не ударить лицом в грязь и не уступать никому во внешнем блеске своего обихода. Разговор императора с послом очень быстро принял весьма напряженный характер. Наполеон стал обвинять царя в военных приготовлениях и в воинственных намерениях. Он объявил, что не верит, будто царь обижен на него за присоединение Ольденбурга. Дело в Польше. «Я не думаю о восстановлении Польши, интересы моих народов этого не требуют. Но если вы принудите меня к войне, я воспользуюсь Польшей как средством против вас. Я вам объявляю, что я не хочу войны и что я не буду с вами воевать в этом году, если вы на меня не нападете. Я не питаю расположения к войне на севере, но если кризис не минет в ноябре, то я призову лишних 120 тысяч человек; я буду продолжать это делать два или три года, и если я увижу, что такая система более утомительна, чем война, я объявлю вам войну... и вы потеряете все ваши польские провинции. По-видимому, Россия хочет таких же поражений, как те, что испытали Пруссия и Австрия. Счастье ли тому причиной, или храбрость моих войск, или то, что я немножко понимаю толк в военном ремесле, но всегда успех был на моей стороне, и, я надеюсь, он и дальше будет на моей стороне, если вы меня принудите к войне». Зная, какие надежды возлагаются его противниками на Испанию, Наполеон спешит уверить Куракина, что у него со временем будет в действующей армии 700 тысяч человек, «которых будет достаточно, чтобы продолжать войну в Испании и чтобы воевать с вами». И у России не будет союзников. Тут Наполеон откровенно разоблачает, зачем он навязал Александру после Тильзита прусский Белосток, а после 1809 г. австрийский Тарнополь. «Вы рассчитываете на союзников, но где они? Не Австрия ли, у которой вы похитили в Галиции 300 тысяч душ? Не Пруссия ли, которая вспомнит, как в Тильзите ее добрый союзник Александр отнял у нее Белостокский округ? Не Швеция ли, которая вспомнит, что вы ее наполовину уничтожили, отобрав у нее Финляндию? Все эти обиды не могут быть забыты, все эти оскорбления отомстятся,— весь континент будет против вас!»

Куракин около сорока минут не мог вставить ни одного слова. Послу едва удалось промолвить, что Александр остается верным другом и союзником Наполеона. «Слова!» — возразил Наполеон и снова начал жаловаться на происки Англии, которая ссорит Россию с Францией.

Наполеон наконец предложил выработать новые соглашения. Куракин отвечал, что у него нет для этого полномочий. «Нет полномочий? Так напишите, чтобы вам их прислали».

Послы вассальной и полувассальной Европы с напряжен-

ным вниманием слушали эти долгие, публично бросаемые в лицо послу обвинения. Прием кончился. Во все концы Европы полетели известия о неминуемом нападении Наполеона на Россию.

В ноябре 1811 г. Александр уже не может себе позволить отлучиться из Петербурга, чтобы съездить к сестре: «Мы здесь постоянно настороже: все обстоятельства такие острые, все так натянуто, что военные действия могут начаться с минуты на минуту. Мне невозможно удалиться от центра моей администрации и моей деятельности; мне нужно ждать более благоприятного момента, или же война и вовсе помешает мне» [10].

В конце ноября 1811 г. русский посол князь Куракин не сомневался в неизбежности нападения Наполеона на Россию и сообщал канцлеру Румянцеву о целом ряде распоряжений Наполеона по военной и административной части, которые прямо указывали на близкое начало военных действий. Мечта сохранить мир должна быть оставлена: «Не время уже нам манить себя пустою надеждою, но наступает уже для нас то время, чтоб с мужеством и непоколебимою твердостию достояние и целость настоящих границ России защитить» [11].

С Куракиным при французском дворе стали обходиться небрежно и даже просто невежливо. Старик просил инструкций на случай предстоящего разрыва и боялся быть задержанным в Париже в случае войны.

4

В начале 1812 г. Наполеону удались два казавшиеся ему очень важными, но по существу не весьма для него затруднительные дела: заключение военных союзов с Пруссией и с Австрией против России.

Король Фридрих-Вильгельм III дошел к тому времени до последней степени запуганности. Он трепетал, как осиновый лист, перед своим страшным победителем. Король приказывал своим министрам раньше, чем делал их министрами, справляться в Париже, угодны они Наполеону или не угодны. Наполеон не уводил из Пруссии войск, напротив, вводил новые, держал гарнизоны в ее крепостях, обращался с прусским королем, как с проштрафившимся фельдфебелем, унижая его по всякому поводу и даже вовсе без повода. А король Фридрих-Вильгельм III умел трусить. Это было единственное, что он умел делать. Никогда ни один из наполеоновских маршалов или родных братьев, рассаженных Наполеоном на разные европейские престолы, не обнаруживал такого низкопоклонства, такой панической боязни перед императором, как именно прусский король.

Еще осенью 1811 г. Наполеон дал понять Фридриху-Вильгельму III, что ему предоставляется на выбор или вступить в тесный военный союз с Наполеоном для общей войны против России, или распрощаться со своей короной, так как в случае отказа маршал Даву уже имеет инструкции занять Берлин и покончить с существованием прусского государства. Положение было очень ясное и безвыходное, особенно принимая во внимание позицию Австрии.

Дело в том, что руководитель австрийской политики Меттерних определенно решил, что Австрия должна принять участие в готовящейся войне, и именно на стороне Наполеона. В конечной победе Наполеона Меттерних тогда не сомневался и уже вперед учитывал богатые милости от французского императора. Но даже и в случае неудачи Наполеона все равно обе стороны, Россия и Франция, так будут ослаблены войной, что Австрия всегда будет в состоянии выгодно продать свою помощь тому, кому захочет. И уже 17 декабря 1811 г. в Париже между Наполеоном и австрийским послом Шварценбергом состоялось соглашение, на основании которого спустя некоторое время и был заключен франко-австрийский военный союз. Австрия обязывалась выставить против России вспомогательный корпус в 30 тысяч человек, который поступал под верховное командование Наполеона, а Наполеон соглашался вернуть Австрии Иллирийские провинции, которые он у нее отнял по Шенбруннскому миру 1809 г. Но Австрия получала эти провинции лишь после окончания войны Наполеона с Россией, и притом Австрия обязывалась уступить Галицию восстановляемой Наполеоном Польше.

Все колебания прусского короля после этого кончились. Ему было дано знать, что Наполеон, сверх всего, обещал Австрии отдать Прусскую Силезию в случае, если Пруссия не заключит с ним военного союза против России. Итак, предстояло близкое расчленение и конечная гибель государства или полнейшее подчинение его воле Наполеона. Король решился.

24 февраля 1812 г. Пруссия заключила союзный трактат с Наполеоном. Она обязалась выставить вспомогательный корпус в 20 тысяч человек, который должен был постоянно пополняться (в случае убыли) и всегда быть равным своей первоначальной численности. Пруссия также брала на себя обязательство предоставлять французским военным властям овес, сено, спиртные напитки и т. п. в определенных огромных количествах. За это прусский король выпросил у Наполеона обещание пожаловать Пруссии что-нибудь из отвоеванных русских земель. Вот что гласит этот любопытный пункт: «В случае счастливого исхода войны против России, если, несмотря на желания и надежды обеих высоких договаривающихся сторон, эта война будет

иметь место, его императорское величество (Наполеон — *Е. Т.*) обязуется доставить прусскому королю территориальное вознаграждение, чтобы возместить жертвы и убытки, которые (прусский — *Е. Т.*) король понесет во время войны». В бумагах Михайловского-Данилевского к копии этого договора приложена интересная справка: «По заключении союза с Францией, направленного против России, король потребовал от французского правительства в случае успешного исхода кампании уступки Курляндии, Лифляндии и Эстляндии. Когда Марэ, герцог Бассано, доложил императору о притязаниях Пруссии, Наполеон по этому поводу зло заметил: «А клятва над гробом Фридриха?» [12]. Это он вспоминал о сентиментальной комедии с клятвами в вечной любви и дружбе, разыгранной Александром I, Фридрихом-Вильгельмом III и королевой прусской Луизой в октябре 1805 г. в потсдамском мавзолее.

В то, что австрийцы в самом деле будут очень серьезно сражаться против русских, не все верили. Ланжерон, спеша в Россию к началу войны, прямо писал Воронцову из Бухареста 22 мая 1812 г.: «Шварценберг командует 30 тысячами австрийцев, этот выбор мне не страшен, потому что он не ненавидит нас, и я не думаю, чтобы эти 30 тысяч много и усердно сражались бы против нас».

Но другие не были так оптимистичны.

Из «Подробной описи собственноручным письмам» Александра к Барклаю де Толли мы узнаем о намерении царя «отразить усилия Австрии против России подкреплением славянских народов и доставлением им возможности соединиться с недовольными венгерцами». Царем даже был намечен уже человек для «приведения в действие сего плана» — адмирал Чичагов [13].

Самая мысль об этом основана, между прочим, на круглом невежестве насчет истинных взаимоотношений между «славянскими народами», входившими в состав Австрии, и венгерцами, но эта идея очень характерна: она показывает, что Александр в апреле 1812 г., как только узнал о договоре между Австрией и Наполеоном, отнесся с самыми серьезными опасениями к этому факту.

Итак, приходилось считаться с участием Австрии и Пруссии в предстоящей войне. Захочет Наполеон идти на Киев,— у него крепко усилен правый фланг помощью Австрии. Захочет идти на Петербург через Ригу и Псков,— у него усилен левый фланг участием Пруссии. Захочет идти на Смоленск и Москву,— пруссаки и австрийцы будут и на левом и на правом флангах оттеснять русские войска от линии центрального движения великой армии.

Положение становилось все труднее, дела принимали все более угрожающий характер. Но все равно в апреле — мае

1812 г. уже никакие уступки Александра предупредить войну не могли и даже не могли приостановить движение отдельных частей наполеоновских армий от Рейна, от Эльбы, от Дуная, от Альпийских гор, от Северного моря, медленно, но непрерывно двигавшихся к Неману.

Были налицо некоторые обстоятельства, которые поддерживали дух Александра и его приближенных. Во-первых, уже в апреле, а потом в мае Меттерних под большим секретом и окольными путями дал знать, что Австрия не весьма серьезно смотрит на свое участие в предстоящей войне. Она даже не выставит и полных 30 тысяч и вообще не пойдет дальше известных, очень близких к австрийско-русской границе пределов. Эти тайные переговоры продолжались и потом, уже во время войны: Меттерних таким путем устраивал для Австрии на всякий случай тайную перестраховку. Во-вторых, к большому своему счастью, царь удостоверился в эти весенние месяцы 1812 г., что шведы будут не на стороне Наполеона, а на стороне России, и, значит, можно будет не тратить и не раздроблять военных сил для защиты Финляндии и северных подступов к Петербургу с суши и с моря.

К началу лета объявились и еще новые благоприятные обстоятельства.

5

С первых же дней 1812 г. обе стороны уже не сомневались в близости войны. Неожиданное дело о шпионаже еще более обострило отношения.

Русское правительство узнало не все, но очень многое о французской великой армии.

Александр Иванович Чернышев, который потом был при Николае I военным министром, начинал тогда свою карьеру. Он был уже полковником и флигель-адъютантом, хотя ему было всего 28 лет. Прикомандированный к русскому посольству в Париже, Чернышев несколько раз ездил курьером с письмами Александра к Наполеону и с письмами Наполеона к Александру. Наполеону Чернышев сумел понравиться своей тончайшей лестью и уменьем подавать умно и кстати реплики в разговорах о военном деле, о чем так любил говорить французский император. Вкрадчивый царедворец, молодой блестящий красавец, абсолютно беспринципный карьерист, впоследствии жестокий палач декабристов, всегда возбуждавший нравственное омерзение даже в видавшем всякие виды придворном окружении трех императоров, которым он успел за свою долгую жизнь понравиться, Чернышев знал, как подойти к каждому из этих трех так не похожих друг на друга людей: к Александру, к На-

полеону, к Николаю. А больше ему ничего никогда и не требовалось. Ласка Наполеона открыла Чернышеву доступ во все салоны Парижа и дала связи в верхах французской бюрократии. С начала 1811 г. Чернышев обзавелся знакомством с Мишелем, служившим в главном штабе французской армии и давно уже сносившимся с русским посольством. Каждое 1-е и 15-е число месяца французский военный министр представлял императору так называемый «Отчет о состоянии» всей французской армии со всеми изменениями в численности ее отдельных частей, со всеми переменами в ее расквартировании, с учетом всех последовавших за полмесяца новых назначений на командные посты и т. д. Эти отчеты попадали в руки Мишеля на несколько коротких часов. Мишель наскоро снимал копии и доставлял их Чернышеву за соответствующее вознаграждение. Так у них и шло дело вполне благополучно и организованно больше года, с января 1811 по февраль 1812 г. Но от императорской тайной полиции укрыться было трудно даже при всей ловкости Чернышева и всей осторожности Мишеля. Что-то показалось тайной полиции неладным, и в феврале 1812 г., когда Чернышева не было дома, у него произвели тщательный обыск, конечно неофициальный. Обыскали и одного курьера на границе. Обыски дали такие результаты, что у Наполеона уже сомнений никаких не осталось в истинной роли полюбившегося ему русского полковника. Наполеон, почти окончательно к этому времени решивший, что война с Россией неизбежна, ни в каком случае не мог и не хотел порывать с Александром теперь же. Ему необходимо было иметь в своем распоряжении еще 3—4 месяца, и материал был задержан. Чернышев после этого тайного, деликатного, но все же очень зловещего по своему значению и по своим результатам домашнего обыска предпочел не очень засиживаться на берегах Сены. Он почтительнейше откланялся в Тюильрийском дворце и уехал в Россию. Перед отъездом из Парижа он сжег все бумаги, которые могли бы дать императорской тайной полиции ответ на вопрос, неотступно стоявший перед нею со времени этого февральского ловко завуалированного обыска: измена доказана, Чернышев имел доступ к секретнейшим документам, но кто предатель? Случай дал разгадку тайны. Торопясь с отъездом, Чернышев забыл приказать поднять ковры в своих комнатах. Как только он уехал, французская полиция явилась в дом. Под одним из ковров около камина было найдено письмо, писанное рукой Мишеля, каким-то образом туда завалившееся. Мишель был немедленно арестован, судим и публично гильотинирован 2 мая 1812 г. Суд над ним и еще тремя обвиняемыми был нарочно сделан гласным: Наполеон хотел представить народу дело так, что именно Россия стремится напасть на Францию и подсылает шпионов.

Итак, хотя у русского правительства в начале войны были лишь сравнительно давние сведения — от февраля 1812 г.,— но за четыре месяца эти полные и богатейшие сведения в общем не могли еще окончательно устареть. А о передвижениях и переменах, происшедших во французской армии за самое последнее время, русское командование кое-что знало от других своих агентов, помельче и незаметнее, сидевших и в Париже, и в Германии, и в особенности в Польше.

Наполеон был весьма раздражен раскрывшимся шпионажем. Министр иностранных дел герцог Бассано написал 3 марта 1812 г. очень ядовитое письмо русскому послу князю Куракину: «Его величество был тягостно огорчен поведением графа Чернышева. Он с удивлением увидел, что человек, с которым император всегда хорошо обходился, человек, который находился в Париже не в качестве политического агента, но в качестве флигель-адъютанта русского императора, аккредитованный (личным — *Е. Т.*) письмом к императору, имеющий характер более интимного доверия, чем посол, воспользовался этим, чтобы злоупотребить тем, что наиболее свято между людьми. Его величество император жалуется, что под названием, вызывавшим доверие, к нему поместили шпионов, и еще в мирное время, что позволено только в военное время и только относительно врага; император жалуется, что шпионы эти были выбраны не в последнем классе общества, но между людьми, которых положение ставит так близко к государю. Я слишком хорошо знаю, господин посол, чувство чести, которое вас отличало в течение всей вашей долгой карьеры, чтобы не верить, что и вы лично огорчены делом, столь противным достоинству государей. Если бы князь Куракин,— сказал император,— мог принять участие в подобных маневрах, я бы его извинил: но другое дело — полковник, облеченный доверием своего монарха и так близко стоящий к его особе. Его величество только что дал графу Чернышеву большое доказательство доверия, имея с ним долгую и непосредственную беседу; император был тогда далек от мысли, что он разговаривает с шпионом и с агентом по подкупу» [14].

Моральное негодование Наполеона против шпионажа не мешало ему в это самое время содержать массу шпионов в России. Не помешало также уже с апреля — мая озаботиться изготовлением фальшивых русских ассигнаций для потребностей будущего похода.

Но, подготовляя все силы к нашествию, Наполеон не мог пока ускорить надвигавшийся разрыв.

Были налицо некоторые явления во внутренней жизни Франции, которые мешали Наполеону начать войну раньше. К числу этих причин прежде всего нужно отнести затрудне-

ния с хлебом, в некоторых департаментах весьма значительные. В Нормандии поднялись голодные восстания, которые приходилось подавлять оружием. Начались обширные и небывало смелые спекуляции скупщиков, наживавшихся на народном бедствии. Наполеоновская администрация не могла сразу остановить сумасшедший рост цен на хлеб. Маркс впоследствии писал, что буржуазия Франции этими своими спекуляциями способствовала задержке похода на Россию, а тем самым содействовала и конечной неудаче затевавшейся войны.

Я нашел в корреспонденции Наполеона интересное и авторитетнейшее подтверждение мысли Маркса о серьезном значении весеннего хлебного кризиса 1812 г. во Франции. Наполеоновская пресса замалчивала этот кризис, но Маркс с обычным своим чутьем исторической правды уловил из беглых указаний случайных источников истинные размеры явления. Цитируемое мною письмо, еще не было опубликовано, когда Маркс сделал свое замечание. Вот что писал Наполеон своему министру мануфактуры и торговли графу Колэну де Сюсси в Париж из села Глубокого 19 июля 1812 г., в разгар русской кампании: «Я с удовольствием вижу, что трудные времена прошли; мы тогда перенесли жестокое испытание. Я этим обязан отчасти ложным сведениям, которые были мне даны министерством внутренних дел. Если бы я слушал их чиновников, я бы еще более запоздал с запрещением вывоза хлеба, и мы уже не совладали бы с кризисом» [15].

В конце февраля 1812 г. тон Куракина меняется. Ему начинает казаться, что Наполеон еще не решился на войну, еще колеблется и что следует с русской стороны сделать все зависящее, чтобы избежать грозного столкновения, которого русский посол явно страшился. Но спустя два месяца, 23 апреля 1812 г., прежний пессимизм вполне овладевает Куракиным: «Все заставляет думать, что война уже давно решена в мыслях императора французов» [16].

27 (15) апреля большая аудиенция была дана Куракину Наполеоном. Куракин просил об эвакуации войск из Пруссии. «Где у людей в Петербурге головы, если они думают, что можно достигнуть исполнения желаний, действуя на меня угрозами?» — воскликнул Наполеон (хотя Куракин никаких угроз не высказывал). Куракин говорил о колоссальных вооружениях Наполеона, о его «союзе» с Пруссией, явно враждебном России. Наполеон или не слушал и говорил свое, или повторял свой решительный отказ.

Именно в этой аудиенции Куракин услышал из уст самого Наполеона, что и Австрия вступила в союз с Наполеоном.

На другой день после аудиенции у императора Куракин посетил министра иностранных дел герцога Бассано. Куракин

шел почти на все уступки: Россия берет назад протест по поводу герцогства Ольденбургского и начнет переговоры о компенсации в пользу герцога (от чего она до сих пор отказывалась); Россия вносит в тариф 1810 г. специальные оговорки, ставящие французскую торговлю в исключительное положение, в изъятие из правил этого тарифа. Но Россия по-прежнему требует эвакуации Пруссии во имя условий Тильзитского договора, и, наконец, Россия отстаивает свое право торговать с нейтральными державами.

Все эти переговоры уже ни к чему привести не могли. Куракин потребовал выдачи ему паспорта для отъезда. Его водили довольно долго, пока выдали требуемое. Герцог Бассано, уже после отъезда Наполеона из Парижа, все еще хотел внушить Куракину мысль, что войны, может быть, не будет. Это делалось по приказу Наполеона, который всеми мерами хотел предупредить вторжение русских войск в Варшавское герцогство или в Пруссию.

Наполеон крайне возмущался требованием эвакуации Пруссии, называл это дерзким ультиматумом, а так как он все равно уже бесповоротно решил воевать, то ухватился за этот «ультиматум» как за доказательство, что не он, а царь первый перешел в наступление. Но ему хотелось оттянуть начало войны до июня. Поэтому нужно было пустить в ход кое-какие проволочки, завести мнимые переговоры и т. д. Одновременно хорошо было бы, чтобы свой человек посмотрел, что делается в Вильне, в русской армии. И вот Наполеон призывает своего генерал-адъютанта графа Нарбонна и посылает его в Вильну.

Граф Нарбонн, видный аристократ, бывший министр Людовика XVI, был тонок и хитер. Но перехитрить Александра ему не удалось.

6

21 апреля 1812 г. Александр выехал из Петербурга к армии. В самый день его отъезда канцлер Румянцев пригласил к себе французского посла Лористона. «Он мне сказал от имени своего властелина,— пишет Лористон маршалу Даву,— чтобы я передал императору Наполеону, что и в Вильне, как и в Петербурге, он (Александр — *Е. Т.*) будет его другом и самым верным его союзником; что он не хочет войны и сделал бы все, чтобы ее избежать; что его путешествие в Вильну обусловлено приближением французских войск к Кенигсбергу и предпринято затем, чтобы помешать генералам сделать какое-нибудь движение, которое могло бы вызвать разрыв» [17].

Впечатления, которые вынес Нарбонн из этой разведывательной (под предлогом переговоров) поездки в Вильну к Александру, сводились к следующему [18]. Русская армия ни в коем слу-

чае не начнет первая военных действий, не перейдет через Неман, не займет Мемеля, Александр не заключил никакого договора с Англией, но сделает это при первом же пушечном выстреле. Вообще, если бы повести переговоры, то Александр уступил бы по *всем* пунктам «за исключением одного, который считает необходимым император (Наполеон — *Е. Т.*)». Во всех русских проектах наблюдается «большая неуверенность», происходящая оттого, что они не знают намерений Наполеона. По трем очень важным вопросам Нарбонн не сумел дать правильные сведения. Он полагал, что сражение будет дано немедленно после вторжения Наполеона в Россию. С Швецией, по его сведениям, еще договора у России нет, хотя Швеция, «по-видимому», против Наполеона. Наконец, он считал, что мир России с Турцией еще далек.

На самом же деле с Швецией о главном было уже договорено, и Александр имел твердую уверенность, что Бернадотт, называвшийся наследным принцем, но фактически уже бывший шведским королем, ни в коем случае не выступит против России. Мир с Турцией был заключен вскоре после того, как Нарбонн побывал у Александра. Если мы вспомним, что в конце жизни на острове св. Елены Наполеон прямо признавал свою ошибку в том, что он пошел на Россию, несмотря на соглашение Александра с Швецией и несмотря на мир России с Турцией, то поймем, до какой степени существенно было бы Наполеону в эти решающие дни твердо *знать*, что эти два события несомненны и реальны. И еще не доглядел Нарбонн, что Александр, идя на все уступки до вторжения, не сможет быть таким сговорчивым после вторжения: «Император Александр, по-видимому, готов к тому, чтобы проиграть две или три битвы, но он прикидывается, будто он решился, если понадобится, продолжать биться в Татарии» [19]. Мы узнаем здесь формулу, которую Александр не переставал повторять с некоторыми чисто стилистическими видоизменениями в течение всего 1812 г.

Что скрывается под намеком Нарбонна в его донесении маршалу Даву относительно неуступчивости Александра в *единственном* пункте, который Наполеон считает необходимым, об этом мы узнаем из инструкции, которую Нарбонн получил из Парижа перед своей поездкой: «В конце концов между нами и Россией есть единственный вопрос, который важен: это вопрос о нейтральных и об английской торговле... Американские суда, которые приходят в русские порты, это суда английские, и они плавают за английский счет». Инструкция снабжает Нарбонна аргументами, в случае если Александр будет спорить: если бы эти суда были в самом деле американскими, то Англия их преследовала бы и хватала, а не защищала бы на море, как она это делает. Это главный пункт разногласия, а относительно вос-

становления Польши пусть Александр успокоится: «Его величество (Наполеон — *Е. Т.*) не думает о Польше. Он имеет в виду только французские интересы». Рекомендовалось Нарбонну также «не скрывать огромных сил» Наполеона: 400 тысяч человек на Висле, два корпуса в Берлине, один в Кельне, один в Майнце и «при первом пушечном выстреле» будут призваны 200 тысяч по набору будущего 1813 г. Эта инструкция, помеченная 3 мая 1812 г., уже поручает Нарбонну хорошенько высмотреть, пока он будет в России, все, что касается русской армии, политических настроений в Литве и т. д.

Интересно отметить, что Наполеон, посылая графа Нарбонна к Александру, не только имел в виду получить случайные, может быть, и очень интересные военные сведения о России и русской армии, но также рассчитывал на него еще в одном отношении: дело было в начале мая; русские силы уже были возле Немана: нужно было воспрепятствовать им первым начать военные действия. Поэтому Нарбонну поручается вести самые мирные речи. Если же это не поможет и русские перейдут через Неман, тогда он должен притвориться удивленным и все-таки вести переговоры с Александром и постараться даже заключить перемирие и вообще добрыми словами остановить движение (русской армии — *Е. Т.*) и дать его величеству (Наполеону — *Е. Т.*) время прибыть на место». Приказывая составить эту инструкцию, Наполеон считал нужным дать понять своему посланцу, что собеседник у него будет не простой. «Его величество поручает мне,— пишет министр иностранных дел,— рекомендовать вам быть очень сдержанным, соблюдать меру и осторожность и не терять из виду, что вы имеете дело с человеком тонким и подозрительным». Мы видели, что опасения Наполеона оказались напрасными: Россия ни в коем случае не собиралась первой начать военные действия. Мы видели также, что весь отчет Нарбонна о свидании с Александром, пересланный им через маршала Даву Наполеону, не заставил Наполеона отказаться от вторжения. Он успокоился: война начнется, как он желал, его переходом через Неман. Русские растерянно ждут. Сейчас же после вторжения будет новый Аустерлиц.

Александр не только опасался вымолвить графу Нарбонну хоть одно слово, которое походило бы на капитуляцию перед Наполеоном, но он считал даже самое присутствие Нарбонна в Вильне компрометирующим. Нарбонн приехал в Вильну 18 мая, говорил в этот день с царем, потом, 19 мая, снова говорил с царем, у которого и обедал. Но 20 мая утром к нему ни с того ни с сего пришли граф Кочубей, Нессельроде и еще кое-кто из царской свиты *«с прощальными* визитами». Он вовсе не собирался уезжать, когда ему принесли с царской кухни много великолепных, вкуснейших съестных припасов и вин *«на дорогу»*. Только

он приготовился удивиться этой новой непрошенной любезности, как все эти странности разъяснились: к графу Нарбонну явился курьер, почтительно уведомивший его сиятельство, что лошади для него «*уже* готовы» и в шесть часов вечера он может уехать из Вильны.

Нарбонну оставалось только прямым путем отправиться из Вильны к Наполеону в Дрезден. После его доклада о предстоящей войне заговорили уже с абсолютной уверенностью.

7

Большинство дипломатов Европы верило в победу Наполеона. Но были налицо и такие факторы, которые если не уравнивали шансы, то все же должны были серьезно учитываться обеими сторонами.

Во-первых, Испания. Правы были те современники, которые утверждали, что начиная с 1808 г. Наполеон всегда мог бороться лишь одной рукой, потому что значительная часть сил оставалась в Испании. Вдумаемся хотя бы в тот факт, что когда Наполеон подошел к Бородину, то вся бывшая при нем армия была вдвое меньше той его армии, которая тогда же, осенью 1812 г., дралась и погибала в Испании.

Среди перехваченных в 1812 г. у французов бумаг была одна, относившаяся к 1810 г., доносившая Наполеону о бесконечной резне в Испании: «У Франции более 220 тысяч войска в Испании, а французы господствуют только в тех пунктах, где стоят их войска. Не заметно никакого улучшения в общественном мнении; никакой надежды на успокоение умов, на привлечение вождей, на покорение народа. Новые силы еще идут к Пиренеям... 300 тысяч человек будут еще пущены в ход и, может быть, погибнут в этой губительной войне. И, по мнению людей самых осведомленных, самых преданных, наиболее решившихся содействовать целям императора, ему не удастся покорить полуостров со всеми силами своей империи» [20].

Так обстояло дело и в 1808 и в 1810 гг., так оно было и в 1812 г.

Вторым обстоятельством, менее важным по существу, чем «испанская язва», но тоже облегчавшим положение России, был неожиданный поворот в шведской политике. Наполеоновский маршал Бернадотт (князь Понте-Корво) был избран наследным принцем шведским. Любопытно, что в Швеции его избрали в 1810 г., думая этим угодить Наполеону, хотя на самом деле эти два человека уже давно не терпели друг друга и Наполеон был только раздражен, когда это избрание состоялось. Умный, ловкий, смелый, честолюбивый Бернадотт, как и многие другие маршалы Наполеона, начал службу в маленьких

чинах в начале Французской революции, и когда он в 1844 г. скончался (уже будучи королем шведским, Карлом XIV), то к величайшему конфузу всего шведского двора, при его бальзамировании на его руке оказалась вытравленная надпись: «Смерть королям!» Очевидно, он не предвидел, что ему суждено будет сделаться основателем королевской династии.

Бернадотт сейчас же после появления своего в Швеции начал сближаться с Александром. В этом ему помогала и значительная часть шведской аристократии, возмущенная самоуправством Наполеона, который простым распоряжением отнял у Швеции так называемую шведскую Померанию, которой шведы владели с XVII в. Александр обещал также способствовать Швеции в приобретении Норвегии»[21].

Для России запастись нейтралитетом, а особенно дружбой и союзом с Швецией было поистине очень важно. Слишком живо стояло у всех в памяти, как в 1790 г., в разгар войны с турками, неожиданно в Финском заливе появился шведский флот и в Петербурге был слышен грохот морской артиллерии.

Бернадотт, наследный принц шведский, уже давно забыл, что он был когда-то наполеоновским маршалом, и никогда не вспоминал, что он был когда-то солдатом Французской революции. Для него Александр был другом, Наполеон—врагом, правда, очень сильным, но все-таки не таким опасным, каким мог бы стать Александр. От Наполеона Швецию охраняло море, на котором, как и на всех морях вообще, господствовали англичане. А от Александра, да еще после присоединения Финляндии к России, Бернадотта ничто не охраняло. И Бернадотт занял решительно дружескую позицию по отношению к России еще весной 1812 г. Бернадотт знал, что Наполеон очень раздражен этим. Он предупреждал русского посланника в Стокгольме Сухтелена, что и ему, Бернадотту, и Александру грозит смерть от подосланных из Парижа убийц. Однако Бернадотт предлагал уже наперед военную помощь России, если русские дела пойдут очень плохо[22].

Много помог делу сближения России с Швецией один из самых близких в это время к Александру людей — Армфельд. Энергичный, очень неглупый, страстно ненавидевший Наполеона, перекочевавший к русскому двору и необычайно быстро сблизившийся с Александром, швед Армфельд играл в Петербурге перед взрывом войны 1812 г. очень большую роль. Что он очень много способствовал важному соглашению между Россией и Швецией — и подготовке этого дела и завершению его,— это признали оба шведских представителя в 1811 и 1812 гг. (Шенбуш, а за ним его преемник в петербургском дипломатическом корпусе Левенгольм). Армфельд, подталкивая Александра к разрыву с Наполеоном, в то же время не скрывал

от себя слабых сторон всего русского государственного организма: «Я веду открытую войну с господами министрами насчет всего, что касается администрации, финансов и таможни... Надо быть здесь, на месте, надо войти в постоянные сношения со здешними чиновниками, чтобы удостовериться в том, как страна эта отстала от остального мира; русские чиновники, это собрание медведей, или полированных варваров. Фридрих II говорил, что Швеция на сто лет отстала от века; Россия по-моему отстала на тысячу лет,— так писал он в доверительных письмах из Петербурга.— В России не существует законов, которым бы подчинялись» [23].

Армфельд, замечу тут же, деятельнейшим образом вел интригу против Сперанского и способствовал больше всех внезапной немилости и ссылке Сперанского.

26 (14) апреля 1812 г. в г. Эребро, в Швеции, была вполне закончена эта крайне важная дипломатическая миссия: русский посланник Сухтелен и шведский наследный принц Бернадотт обменялись ратификацией соглашения. Отныне Россия могла не бояться внезапного нападения с севера, когда ей придется бороться с Наполеоном на западной границе или в центре, на московских путях.

Третьим благоприятным для России обстоятельством был мир с Турцией.

Поездка графа Нарбонна в Вильну имела довольно неожиданные последствия, и притом крайне вредные для Наполеона, на другом конце Европы, в Бухаресте, где в это время шли мирные переговоры между Турцией и Россией. Русским уполномоченным был Кутузов, турецким — великий визирь. Кутузов изо всех сил спешил подписать мир, который освободил бы русскую дунайскую армию и позволил бы ей вовремя явиться между Днепром и Неманом для участия в грозной битве. Турки после шестилетней войны с Россией были истощены, но все-таки еще могли держаться, тем более что знали о готовящемся нападении на Россию со стороны Наполеона. Если что смущало великого визиря, то разве лишь опасение, что никакой войны между Россией и Наполеоном не будет, что состоится примирение, и тогда Россия все силы направит на Турцию. При этих условиях Кутузов очень ловко использовал известие о поездке Нарбонна в Вильну: турки удостоверились, что дело идет именно к примирению России с Наполеоном, потому что зачем бы иначе Наполеону было снова начинать переговоры с царем. 22 мая в Бухаресте был подписан мир между Россией и Турцией, и мир, довольно выгодный для России: границей была объявлена река Прут, Бессарабия оставалась за Россией, на Кавказе «исправлялась граница» тоже в пользу России. От Молдавии и Валахии Россия отказывалась, и обе провинции оставались в руках

Турции. Но самое главное, бесценное преимущество этого Бухарестского мира заключалось в том, что освобождалось несколько десятков тысяч русских солдат, воевавших против Турции; теперь их можно было направить на русско-австрийскую границу против австрийского вспомогательного корпуса Шварценберга, который должен был вторгнуться в Россию одновременно с войсками самого Наполеона. Неожиданно быстро последовавшее подписание русско-турецкого мира сильно подрывало ценность австрийской помощи Наполеону. Наполеон был в ярости, называл турок болванами, и это еще был один из самых вежливых эпитетов, которыми он их награждал после Бухарестского мира.

Таковы были те сравнительно благоприятные условия, которые, казалось, давали России надежду на успешность обороны от страшного противника. Но все-таки в Петербурге при дворе, в высшем дворянстве царило смятение.

Мы можем лишь в общих чертах восстановить картину этих настроений, потому что знаем о них больше всего от иностранцев. Русские современники мало писали об этом, а русские историки долгое время считали своим долгом давать вместо правдивого беспристрастного анализа какую-то торжественно-театральную постановку с целью возвеличения патриотического духа именно в «высших» классах русского общества в годину нашествия. На самом же деле и Бернадотт в Швеции, и германские монархи, и датский двор получали одно донесение за другим от своих официальных представителей и неофициальных наблюдателей, и все эти донесения подчеркивали, что и сам царь обеспокоен в высшей степени и, главное, вокруг него раздражены и встревожены очень многие. Одни думают — и их меньшинство,— что царь погубил Россию, рассорившись с Наполеоном, а другие — и этих большинство — являются непримиримейшими врагами Наполеона, сочувствуют надвигающейся войне, но почти единодушно считают, что Александру не справиться с идущей на Россию грозой и что хорошо бы царя как-нибудь устранить за его ненадобностью и слабостью и заменить кем-нибудь более подходящим. Иностранцы (швед Левенгольм, например) ушам своим не верили, слушая все пересуды и раздраженные речи, громко, как ни в чем не бывало, произносившиеся в петербургских аристократических салонах весной 1812 г.

Сперанский был брошен царем на съедение именно этим влиятельным аристократам, видевшим слабость царя и подозревавшим царя в том, что он может в решительный момент струсить и снова покориться Наполеону. Мнимая «измена» ненавистного дворянству Сперанского, считавшегося приверженцем союза с Наполеоном, была выдуманным поводом к расправе

с государственным секретарем. Но ссылка Сперанского не обезоружила тех, кто продолжал не доверять царю. Тот же Левенгольм подчеркивает, что сам царь знает, до какой степени ему не доверяют.

При этих-то настроениях Александр неожиданно выехал со своей свитой в Вильну, к армии. Спасался ли он от раздражающих и угнетающих петербургских нареканий и сплетен? Считал ли, что этот отъезд к армии положит конец дворянским опасениям, будто он, царь, уже готов смириться? Во всяком случае на первых же порах ему пришлось в Вильне принять нежданно-негаданно наполеоновского генерал-адъютанта графа Нарбонна и перед лицом всей Европы провозгласить в последний раз — это он понимал очень хорошо — свое отношение к назревающим событиям. Мы уже видели, чем окончилась поездка Нарбонна в Вильну.

С очень смешанными чувствами дворянство России следило за приближением страшной грозы. Тут была и радость, что порвано с «тильзитским рабством», что конец разорительной континентальной блокаде, конец подозрительным антидворянским новшествам Сперанского, тут был и страх перед грозным, непобедимым завоевателем,— и в то же время какая-то инстинктивная уверенность в победе.

С поразительной проницательностью старый граф Воронцов, русский посол в Лондоне, за три недели до перехода Наполеона через Неман предсказывает исход войны. Если бы не пожелтевшая бумага, рыжие чернила и другие несомненные признаки, то положительно можно было бы усомниться в подлинности этого документа.

«Вся Европа ждет с раскрытыми глазами событий, которые должны разыграться между Двиной, Днепром и Вислой. Я боюсь только дипломатических и политических событий, потому что военных событий я нисколько не боюсь. Даже если начало операций было бы для нас неблагоприятным, то мы всё можем выиграть, упорствуя в оборонительной войне и продолжая войну отступая. Если враг будет нас преследовать, он погиб, ибо чем больше он будет удаляться от своих продовольственных магазинов и складов оружия и чем больше он будет внедряться в страну без проходимых дорог, без припасов, которые можно будет у него отнять, окружая его армией казаков, тем больше он будет доведен до самого жалкого положения, и он кончит тем, что будет истреблен нашей зимой, которая всегда была нашей верной союзницей» [24]. И когда уже началось отступление русских армий, старый граф пишет новое письмо своему сыну Михаилу Семеновичу Воронцову, генерал-майору в багратионовских войсках, убеждая русских военачальников не падать духом: «пусть имеют терпение», «пусть не падают духом

из-за нескольких поражений», «нужно иметь упорство и твердость Петра Великого». Уже то именно, что старый граф собственноручно писал эти письма, а не диктовал их, не желая, по-видимому, чтобы в Лондоне узнали, о чем он пишет сыну, показывает все значение, которое он придавал своим советам. Он явно страшился, как бы царь не пал духом, и, разумеется, хотел, чтобы его сын довел до сведения Александра эти советы.

Но далеко не все ему подобные сохранили его уверенность, когда узнали о вторжении. Правда и то, что, сидя в Лондоне, легче было сохранить хладнокровие, чем сидя в Вильне.

8

19 мая 1812 г. утром Наполеон с императрицей, сопутствуемый частью императорского двора, выехал в Дрезден. Говорилось, что он едет в Дрезден для смотра великой армии на Висле, но все знали, что он едет на войну с Россией. Бесконечный поезд императорских карет быстро двигался через Германию на Майнц, Вюрцберг, Бамберг. Знаки рабского почтения и полной покорности встречали императора. Вассальные германские государи без шляп, согнувшись в три погибели, приветствовали императора на его остановках, но население тихо и молчаливо теснилось по пути, и в громадной свите императора кое-кто успел приметить угрюмые взгляды исподлобья. Наполеон и сам в свои светлые минуты не мог не сознавать, что не лжет его верный генерал Рапп, командующий в Данциге и доносящий о всеобщей ненависти немцев к завоевателю. Германия 1812 г. уже не была той, которую раздавил Наполеон в 1806—1807 гг. и которую продолжал топтать в 1808, 1809 и в следующие годы. С внешней стороны, казалось, перемен не было никаких. Правда, уже в 1809 г., когда Наполеон был занят войной с Австрией, на севере Германии произошли одна-две отчаянные попытки восстания, но они не нашли поддержки и тотчас же были затоплены в крови. С тех пор французский гнет уже не встречал организованного отпора. В 1810 г. Наполеону вздумалось присоединить к империи ганзейские торговые города и уже заодно все побережье Северного моря от Голландии. Сказано — сделано. Вздумалось произвести еще кое-какие аннексии — сделано. Вздумалось наводнить Пруссию войсками, несмотря на полный мир с нею,— сделано. Но в эти годы происходили большие сдвиги в жизни германского народа. Былые симпатии, возбужденные введением Наполеоновского кодекса, тускнели и исчезали, и чисто захватнический, грабительский империалистский характер наполеоновских завоеваний делался для большинства очевидным. Германия должна быть колонией для сбыта французских товаров; германская промышленность

есть враг французской промышленности и поэтому должна быть стеснена. Германский народ должен управляться наполеоновскими наместниками вроде короля Жерома Бонапарта, которому была отдана вся центральная и часть северной Германии (Вестфальское королевство), или вроде баварского или саксонского королей, или князей Рейнского союза, или же на германских престолах должны сидеть запуганные рабы из прежних династий вроде Фридриха-Вильгельма III в Пруссии. Наполеон уже знал о пробуждении глухого протеста в Германии, о появлении Тугендбунда, организации патриотически настроенных студентов. Подозрительным оком он глядел на это, но испугать его начинавшееся движение не могло.

И уже во всяком случае теперь, в мае 1812 г., двигаясь триумфатором по Германии, ежедневно догоняя и перегоняя свои бесчисленные войска, устремляющиеся к востоку, чувствуя себя в полном смысле слова диктатором европейского континента, Наполеон мог еще с досадой вспомнить об испанских оборванцах, которые осмеливаются презирать все его могущество и нисколько не расположены сдаваться, но тревожиться тем, что студенты в Лейпциге или Геттингене поют в тавернах патриотические песни, или тем, что какой-то ему тогда неизвестный профессор Фихте читает подозрительные лекции, Наполеон счел бы в этот момент смешным. Короли, герцоги, князья Германии соперничали в лести и низкопоклонстве и мечтали лишь о том, чтобы властелин дозволил им отправиться в Дрезден, куда он сам устремлялся. Когда в 1810 г. в парижском соборе Нотр-Дам праздновалась вторично свадьба Наполеона с Марией-Луизой (в первый раз эта церемония происходила в Вене, причем Наполеона «по доверенности» замещал в церкви его маршал Бертье), то шлейф Марии-Луизы несли одновременно пять королев, и тогда в Европе исподтишка острили, что короли завидуют королевам и горюют, что у самого Наполеона нет тоже шлейфа, который можно было бы за ним нести общими усилиями. Теперь, весной 1812 г., подобострастие, запуганность, низкопоклонство проявлялись еще более постыдно, чем в 1810 г.

Король и королева саксонские выехали из Дрездена далеко навстречу приближавшемуся Наполеону.

Гремели пушечные салюты, шпалеры войск и толпы народа запрудили все площади и улицы, когда повелитель Европы въехал в столицу вассальной Саксонии.

В Дрезден прибыл на поклонение своему всемогущему зятю также император австрийский Франц I вместе со своей женой. Король прусский специально просил у Наполеона разрешения также явиться в Дрезден, и когда Наполеон всемилостивейше разрешил, король мигом явился.

Наполеон держал себя с ними в Дрездене милостиво. Правда, все эти монархи при разговоре с ним почтительно обнажали голову, а он оставался в шляпе, иногда он забывал пригласить их сесть, не всем и не сразу давал руку, но на эти мелочи принято было внимания не обращать. В общем же он был благосклонен, ни на кого из них не кричал, никого не лишил престола, и вернулись они по своим столицам из Дрездена благополучно.

Эти дрезденские торжества, этот огромный съезд вассальных монархов — все это имело смысл грандиозной антирусской демонстрации. Здесь-то и услышал Наполеон доклад графа Нарбонна, прискакавшего из Вильны в Дрезден.

Простившись со своими коронованными вассалами, оставив Марию-Луизу и весь свой двор в Дрездене, Наполеон выехал к великой армии, несколькими потоками устремлявшейся к Неману. Он держал путь на Познань, Торн, Данциг, Кенигсберг Инстербург, Гумбинен. На рассвете 21 июня он прибыл в местечко Вильковышки, в нескольких километрах от Немана. 22 июня по его приказу началось движение от Вильковышек к реке. В авангарде великой армии шел 3-й полк конных егерей.

Есть с десяток различных показаний о численности великой армии, перешедшей через Неман. Наполеон говорил о 400 тысячах человек, барон Фэн, его личный секретарь,— о 300 тысячах, Сегюр — о 375 тысячах, Фезанзак — о 500 тысячах. Цифры, даваемые Сент-Илером (614 тысяч) и Лабомом (680 тысяч), явно принимают во внимание и резервы, оставшиеся в Германии и в Польше. Большинство показаний колеблется между 400 и 470 тысячами. Цифра 420 тысяч — цифра, на которой останавливаются чаще всего показания, говорящие именно о переходе через Неман; 30 тысяч австрийцев корпуса Шварценберга в войне участвовали, но через Неман не переходили. В главных силах Наполеона числилось около 380 тысяч человек, на обоих флангах (у Макдональда на северном, рижском, направлении и у Шварценберга на южном) — в общей сложности 60—65 тысяч.

Затем в течение июля и августа на русскую территорию было переброшено еще около 55 тысяч человек, наконец, уже в разгаре войны, еще корпус маршала Виктора (30 тысяч человек) и для пополнения потерь маршевые батальоны (около 70 тысяч человек).

О составе этой армии и ее особом характере я говорю в следующей главе. Здесь отмечу лишь, что большинство показаний современников и очевидцев сходятся на том, что настроение большей части армии в момент перехода через Неман было бодрое. В победе мало кто сомневался, а люди повосторженнее говорили вслух об Индии, куда они пойдут после победы

над русскими, о золотых слитках и кашемировых тканях Дели и Бенареса.

Наполеон мчался между бесконечными движущимися шпалерами своих войск, окруженный свитой, нагоняемый эстафетами и курьерами, диктуя и рассылая приказы, обгоняя корпус за корпусом, торопя начатое.

Полумиллионная армия мельком, мимолетно видела тучную приземистую фигуру в сером сюртуке и треугольной шляпе, устремляющуюся к востоку то в карете, то на арабской лошади таким аллюром, каким не могли, конечно, передвигаться кавалерийские массы, и это мимолетное для каждого отряда великой армии видение, как передают в своих воспоминаниях очевидцы, возбуждало тогда во многих самое страстное и неутолимое любопытство. Куда он гонит эту несметную вооруженную массу? Каковы точные цели этого человека, воля которого царит над Европой?

Если, говоря об Александре, мы должны были сделать оговорку и подчеркнуть, что он менялся и в 1812 г. был не таким, каким был раньше или позже, то не в меньшей степени это следует учитывать, анализируя Наполеона.

Еще с первой своей большой войны — завоевания Италии в 1796 г.— Наполеон, по собственным словам, «разучился повиноваться» — повиноваться людям. Но с 1807 г., с Тильзита, он стал терять способность повиноваться также обстоятельствам и считаться с ними. «Я теперь все могу»,— сказал он вскоре после Тильзита своему брату Люсьену. Политика? Политику, по его мнению, делают большие батальоны, а у кого же больше батальонов, чем у него? Экономика? Ее тоже он думает сломить большими батальонами: нужно только завоевать Европу и подчинить окончательно Россию, и ни одного килограмма товаров англичане нигде не продадут, обанкротятся и задохнутся. Люди — дети и рабы, и с ними можно делать что угодно, а их цари и короли не только рабы, но и лакеи и всегда будут лизать руку, которая их бьет, и всегда предпочтут роль наполеоновских приказчиков и главноуправляющих его владениями и поместьями всякой другой роли, пока, опять-таки пока, «большие батальоны» будут в распоряжении их грозного барина.

Было, правда, одно непонятнейшее исключение, над которым давно уже с недоумением останавливался Наполеон,— это Испания. Испанцы плюют на французских офицеров, ведущих их на расстрел. Наполеон поставил перед ними дилемму: покорность или смерть, но испанцы плюют и на смерть. Тогда, именно потому, что он уже разучился считаться с обстоятельствами, еще вовсе не добившись завоевания Испании, зная, что ему придется, начиная войну с Россией, оставить в Испании больше 200 тысяч отборного войска,— Наполеон решил... вербо-

вать насильно этих самых испанцев в великую армию, направляющуюся к Неману. Мы увидим дальше, что из этого вышло.

Это лишь один из показателей того, какой сдвиг произошел к 1812 г. в психологии Наполеона. Мудрено ли, что он до конца дней никак не мог понять всей исторической невозможности того, что он стал считать вполне достижимой целью? Мудрено ли, что когда уже все было кончено, он в доверительных беседах на острове Св. Елены продолжал считать, очевидно, очень скромным и безобидным свой идеал (точнее, то, что он на острове Св. Елены находил целесообразным выдавать за свой идеал): удайся поход 1812 г., он, Наполеон, совсем успокоился бы, уже не воевал бы, объезжал бы свои владения, помогал бы страждущим, наводил бы порядок и справедливость и т. д. Словом, абсолютная его власть над Европой — это было, так сказать, программой-минимум, которую он до конца жизни считал еще очень скромной и умеренной!

На самом деле в июне 1812 г. по пути от Дрездена до Вильковышек, сделав только что в Дрездене генеральный смотр своим низкопоклонным трепещущим вассалам, приветствуемый восторженными кликами французских частей своей полумиллионной армии на всем пути, Наполеон мечтал о несравненно большем, но не говорил своей армии того, что сказал в доверительной беседе графу Нарбонну. И эта таинственность оставляла в душе тех, кто спустя многие годы вспоминал об этом времени, самое сильное и волнующее впечатление. Офицерство знало, что на этот раз даже чины императорского штаба, даже маршалы получили лишь самые краткие, самые общие инструкции и что основная цель войны толкуется чуть ли не каждым маршалом по-своему и по-разному. Ни в одной из бесчисленных войн Наполеона этого ощущения полной неизвестности и загадочности затеянного дела у армии не было. Когда спустя шесть недель в Витебске граф Дарю осмелился в глаза Наполеону сказать, что никто во французской армии не понимает, зачем ведется эта война, то он был совершенно прав, и недаром Наполеон промолчал тогда. И все-таки теперь, когда несметные силы стройными блестящими рядами двигались к Неману, даже и неизвестность манила.

Если мы спустя 130 лет, зная все то, чего не знали современники, попытаемся восстановить и точно сформулировать цели Наполеона, то при всех усилиях законченный, логический и твердо обоснованный ответ не получится, а только простое сопоставление нескольких одинаково достоверных и часто противоречащих одно другому высказываний единственного лица, которое могло бы этот ответ дать. Вот приезжает в Дрезден из Вильны граф Нарбонн. Император Наполеон немедленно его принимает и выслушивает. Так как Нарбонн именно затем и

посылался в Вильну, чтобы из его миссии ничего не вышло, то император переходит к более для него интересному предмету разговора. «Теперь пойдем на Москву, а из Москвы почему бы не повернуть в Индию? Пусть не рассказывают Наполеону, что от Москвы до Индии далеко! Александру Македонскому от Греции до Индии тоже было не близко, но ведь это его не остановило? Александр Македонский достиг Ганга, отправившись от такого же далекого пункта, как Москва... Предположите, Нарбонн, что Москва взята, Россия повержена, царь пошел на мир или погиб при каком-нибудь дворцовом заговоре, и скажите мне, разве невозможен тогда доступ к Гангу для армии французов и вспомогательных войск, а Ганга достаточно коснуться французской шпагой, чтобы это здание меркантильного величия Англии обрушилось». Значит, основные объекты начинающейся войны — Москва и Индия? Но нет! Тут же, в те же дни, Наполеон говорит, что царь вынуждает его к войне своим «ультиматумом» (об очищении Пруссии от французских войск), что цель войны — образумить царя и отклонить его от возможного сближения с Англией и что эта война чисто «политическая», т. е. затевается для определенной дипломатической цели; едва эта цель будет достигнута, Наполеон готов будет мириться. Такая же сбивчивость, такие же разноречия и в определении ближайшей стратегической цели: завоевать Литву и Белоруссию и на этом кончить кампанию 1812 г. и в Витебске ждать просьбы царя о мире? Или идти на Москву и тут ждать этой просьбы? Есть положительные высказывания Наполеона и о первом варианте и о втором. Мудрено ли, что великая армия от маршалов до кашеваров не знала, зачем ее ведут в Россию, когда сам император в точности никак не мог сформулировать ответа на этот вопрос.

Впоследствии, в ноябре 1812 г., в боях под Красным, казаки отбили часть обоза маршала Даву, и среди других бумаг и планов там оказались карты Турции, Средней Азии и Индии, «так как Наполеон проектировал нашествие на Индостан сделать одним из условий мира с Александром». Это обстоятельство подтвердил в разговоре с английским генералом Вильсоном сам Александр, утверждая, что, отвергнув мир с Наполеоном, он, царь, спас для англичан Индию...[25]

Армия Наполеона прошла Германию и вскоре вошла в Польшу. «Освобождение» Польши было одним из лозунгов, но на самом деле это было лишь одной из обстановочных деталей начинающейся войны. Польша прежде всего должна была быть резервом для пополнения новыми рекрутами великой армии. А что дальше с ней сделает Наполеон, в самом ли деле подарит ей русскую Литву и Белоруссию, это видно будет. Обязательств на себя Наполеон никаких не брал.

Прибыв в помещичий дом в Вильковышках, Наполеон написал 22 июня воззвание к великой армии: «Солдаты, вторая польская война начата. Первая кончилась во Фридланде и Тильзите. В Тильзите Россия поклялась в вечном союзе с Францией и клялась вести войну с Англией. Она теперь нарушает свою клятву. Она не хочет дать никакого объяснения своего странного поведения, пока французские орлы не удалятся обратно через Рейн, оставляя на ее волю наших союзников. Рок влечет за собой Россию, ее судьбы должны совершиться. Считает ли она нас уже выродившимися? Разве мы уже не аустерлицкие солдаты? Она нас ставит перед выбором: бесчестье или война. Выбор не может вызвать сомнений. Итак, пойдем вперед, перейдем через Неман, внесем войну на ее территорию. Вторая польская война будет славной для французского оружия, как и первая. Но мир, который мы заключим, будет обеспечен и положит конец гибельному влиянию, которое Россия уже 50 лет оказывает на дела Европы».

Это воззвание и было объявлением войны России: никакого другого объявления войны Наполеон не сделал. 23 июня Наполеон и со свитой и один ездил по берегу Немана. Строились три моста, постройка третьего закончилась в 12-м часу ночи с 23 на 24 июня. Четвертый мост, около Ковно, также мог быть использован для переправы.

В ночь на 24 июня 1812 г. Наполеон приказал начать переправу. Жребий был брошен.

«В первом часу пополуночи за рекой Неманом можно было слышать постоянный и необычайный шум и движение. Весь город слышал это, и несомненно все догадывались, что такое движение производил марш большого войска; был слышен бой барабанов и несколько ружейных выстрелов выше Ковно... Совершенно неожиданно в шестом часу утра авангард войск французских и польских вошел в город и выстроился на плацу» [26], так узнало Ковно о вторжении Наполеона. Всю ночь с 24 на 25 июня, весь день и ночь 25, 26, 27 июня четырьмя непрерывными потоками наполеоновская армия по трем новым мостам и четвертому старому — у Ковно, Олитта, Мереча, Юрбурга — полк за полком, батарея за батареей, непрерывным потоком переходила через Неман и выстраивалась на русском берегу.

«Мой друг, я перешел через Неман 24-го числа в два часа утра. Вечером я перешел через Вилию. Я овладел городом Ковно. Никакого серьезного дела не завязалось. Мое здоровье хорошо, но жара стоит ужасная» [27],— таково было первое известие о начале великой войны, которое Наполеон послал из Ковно императрице 25 июня 1812 г.

«В день 12 (24) июня 1812 г. восстала жестокая буря: Наполеон, почитающий себя непобедимым и думая, что настало

время снять с себя личину притворства, прервал все переговоры, доселе продолжавшиеся, дабы выиграть время... Шестнадцать иноплеменных народов, томящихся под железным скипетром его властолюбия, привел он на брань против России» [28],— писал Барклай де Толли.

Наполеон стоял у одного из мостов, здороваясь с бесконечно проходившими полками. Перейдя со старой гвардией через реку, он без свиты помчался к соседнему лесу.

Нигде никого не было. Пустынные поля, песок, лес и опять лес, тянущийся, сколько может охватить глаз. Мертвое молчание, ни души, ни признаков человеческого жилья, по всему горизонту угрюмая, темная, беспредельная лесная гуща — таковы были первые впечатления великой армии на русской территории.

Глава II

ОТ ВТОРЖЕНИЯ НАПОЛЕОНА ДО НАЧАЛА НАСТУПЛЕНИЯ ВЕЛИКОЙ АРМИИ НА СМОЛЕНСК

1

В Вильно, поздно вечером 24 июня, Александр узнал на балу, данном в его честь, о переходе Наполеона через русскую границу. На другой день, 25 июня, в десять часов вечера он призвал бывшего в его свите министра полиции Балашова и сказал ему: «Ты, наверно, не ожидаешь, зачем я тебя позвал: я намерен тебя послать к императору Наполеону. Я сейчас получил донесение из Петербурга, что нашему министерству иностранных дел прислана нота французского посольства, в которой изъяснено, что как наш посол князь Куракин неотступно требовал два раза в один день паспортов ехать из Франции, то сие принимается за разрыв и повелевается равномерно и графу Лористону просить паспортов и ехать из России. Итак, я хотя весьма слабую, но вижу причину в первый еще раз, которую берет предлогом Наполеон для войны, но и та ничтожна, потому что Куракин сделал это сам собой, а от меня не имел повеления». Александр прибавил: «Хотя, впрочем, между нами сказать, я и не ожидаю от сей посылки прекращения войны, но пусть же будет известно Европе и послужит новым доказательством, что начинаем ее не мы». В два часа ночи царь вручил Балашову письмо для передачи Наполеону и велел на словах в разговоре с французским императором прибавить, что «если Наполеон намерен вступить в переговоры, то они сейчас начаться могут, с условием одним, но непреложным, т. е. чтобы армии его вышли за границу; в противном же случае государь дает ему слово, доколе хоть один вооруженный француз будет в России, не говорить и не принять ни одного слова о мире».

Балашов выехал в ту же ночь и уже на рассвете прибыл к аванпостам французской армии в местечко Россиены. Французские гусары проводили его сначала к Мюрату, а потом к Даву, который весьма грубо, невзирая на протест, отнял у Балашова

письмо Александра и послал его с ординарцем к Наполеону. На другой день Балашову было объявлено, чтобы он передвигался вместе с корпусом Даву к Вильне. Только 29 июня Балашов попал, таким образом, в Вильну, а на другой день, 30 июня, к нему пришел камергер Наполеона граф Тюренн, и Балашов явился в императорский кабинет. «Кабинет сей был та самая комната, из которой пять дней тому назад император Александр I изволил меня отправить» [1].

Для изложения беседы Балашова с Наполеоном у нас есть только один источник — рассказ Балашова. Но, во-первых, записка Балашова писана им явно через много лет после события, во всяком случае уже после смерти Александра I, может быть, даже незадолго до смерти самого Балашова; на обложке рукописи было написано: «29 декабря 1836 года», а Балашов скончался в 1837 г. Во-вторых, придворный интриган и ловкий карьерист, министр полиции, привыкший очень свободно обходиться с истиной, когда это казалось кстати, Александр Дмитриевич Балашов явственно «стилизовал» впоследствии эту беседу, т. е. особенно свои реплики Наполеону (о том, что Карл XII выбрал путь на Москву через Полтаву; о том, что в России, как в Испании, народ религиозен, и т. п.). Это явная выдумка. Не мог Наполеон ни с того ни сего задать Балашову совершенно бессмысленный вопрос: «Какова дорога в Москву?» Как будто в его штабе у Бертье давно уже не был подробно разработан весь маршрут! Ясно, что Балашов сочинил этот нелепый вопрос, будто бы заданный Наполеоном, только затем, чтобы поместить — тоже сочиненный на досуге — свой ответ насчет Карла XII и Полтавы. Точно так же не мог Наполеон сказать: «В наши дни не бывают религиозными», потому что Наполеон много раз говорил, что даже и во Франции много религиозных людей, и в частности он убежден был в очень большой религиозности и в силе религиозных суеверий именно в России. А выдумал этот вопрос сам Балашов опять-таки исключительно затем, чтобы привести дальше свой тоже выдуманный ответ, что, мол, в Испании и в России народ религиозен. С этими оговорками и отбросив выдумки, можно все-таки принять на веру почти все, что Балашов приписывает в этой беседе самому Наполеону, потому что это вполне согласуется с аналогичными, вполне достоверными высказываниями Наполеона в другое время и в беседах с другими лицами.

У Балашова было два свидания с Наполеоном в этот день, 30 июня 1812 г.: одно — тотчас после императорского завтрака, второе — за обедом и после обеда. «Мне жаль, что у императора Александра дурные советники,— так начал Наполеон.— Чего ждет он от этой войны? Я уже овладел одной из его прекрасных провинций, даже еще не сделав ни одного выстрела и не зная

ни он, ни я, почему мы идем воевать». Балашов отвечал, что Александр хочет мира, что Куракин по своей воле, никем не уполномоченный потребовал свой паспорт и уехал и что никакого сближения у России с Англией нет. Наполеон раздраженно возражал, доказывая, что Александр оскорбил его, требуя увода его войск из Пруссии, и т. д. «В сие время форточка у окна отворилась от ветра. Наполеон подошел к окну, потому что мы все ходили по комнате оба, и ее наскоро затворил. Но когда она опять растворилась, а он был в довольно разгоряченном виде, то, не заботясь ее более затворять, вырвал ее из своего места и бросил в окно».

Наполеон говорил о том, что он вовсе не собирался воевать с Россией, что он даже все свои личные экипажи послал было в Испанию, куда хотел отправиться. «Я знаю, что война Франции с Россией не пустяк ни для Франции, ни для России. Я сделал большие приготовления, и у меня в три раза больше сил, чем у вас. Я знаю так же, как и вы сами, может быть, даже лучше, чем вы, сколько у вас войск. У вас пехоты 120 тысяч человек, а кавалерии от 60 до 70 тысяч. Словом, в общем меньше 200 тысяч. У меня втрое больше». Дальше Наполеон спросил, как не стыдно Александру приближать к себе гнусных и преступных людей — Армфельда, Штейна, «негодяя, выгнанного из своего отечества» (Наполеон забыл прибавить, что именно он сам и приказал прусскому королю изгнать Штейна за то, что Штейн сочувствовал испанцам и стремился к освобождению Пруссии от наполеоновского ига). Около Александра — «Беннигсен, который, говорят, имеет некоторые военные таланты, каких, впрочем, я за ним не знаю, но который обагрил свои руки в крови своего государя». Эти последние слова «своего государя» были написаны Балашовым и потом выскоблены, им ли самим или кем другим — неизвестно, но выскоблены плохо, прочесть было возможно [2]. Что это действительно сказал Наполеон, не может быть никакого сомнения: Наполеон уже не в первый раз в жизни корил публично Александра в убийстве отца.

Дальше Наполеон плохо скрыл свое раздражение по поводу отступления Барклая от Вильны. Ему хотелось, чтобы Барклай оставался на месте, а он бы мог разгромить его немедленно, и это бы очень устроило Наполеона. «Я не знаю Барклая де Толли, но, судя по началу кампании, я должен думать, что у него военного таланта немного. Никогда ни одна из ваших войн не начиналась при таком беспорядке... Сколько складов сожжено, и почему? Не следовало их устраивать или следовало их употребить согласно их назначению. Неужели у вас предполагали, что я пришел посмотреть на Неман, но не перейду через него? И вам не стыдно? Со времени Петра I, с того вре-

мени, как Россия — европейская держава, никогда враг не проникал в ваши пределы, а вот я в Вильне, я завоевал целую провинцию без боя. Уж хотя бы из уважения к вашему императору, который два месяца жил в Вильне со своей главной квартирой, вы должны были бы ее защищать! Чем вы хотите воодушевить ваши армии, или, скорее, каков уже теперь их дух? Я знаю, о чем они думали, идя на Аустерлицкую кампанию, они считали себя непобедимыми. Но теперь они наперед уверены, что они будут побеждены моими войсками».

Балашов, возражая, сказал: «Так как ваше величество разрешает мне говорить об этом предмете, я осмеливаюсь решительно предсказать, что страшную войну предпринимаете вы, государь! Это будет война всей нации, которая является грозной массой. Русский солдат храбр, и народ привязан к своему отечеству...» Наполеон снова прервал его и стал опять говорить о своих силах: «Я знаю, что ваши войска храбры, но мои не менее храбры, а у меня их бесконечно больше, чем у вас». Наполеон стал грозить, что он пройдет до русских пустынь, что, если нужно, он сделает и две и три русские кампании. Он восторгался поляками, их пылом, их патриотизмом. «Как вы будете воевать без союзников, когда, даже имея их, вы никогда ничего не могли поделать? Например, когда Австрия была с вами, я должен был ждать нападений в самой Франции на разных пунктах. Но теперь, когда вся Европа идет вслед за мной, как вы сможете мне сопротивляться?» — «Мы сделаем, что можем, государь».

Несколько переменив тему, Наполеон тогда начал упрекать Александра в том, что он сам, уклонившись от тильзитской политики, от дружбы с ним, Наполеоном, «испортил свое царствование»: царь получил бы не только Финляндию, но получил бы Молдавию и Валахию, а со временем «он получил бы герцогство Варшавское, не теперь, о нет! но со временем». Эта фраза в устах Наполеона необычайно характерна для него вообще и для его отношений к Польше в частности. Сам он только что восторгался перед Балашовым энтузиазмом и преданностью поляков, их готовностью проливать кровь за него. И тут же он готов их предать и выменять на те или иные выгоды от возможной в будущем дружбы с Александром. На отдельных людей и на целые народы Наполеон смотрел исключительно как на пешки в своей игре. Это у него всегда выходило так непосредственно, что, вероятно, он очень удивился бы, если бы Балашов указал ему на весь цинизм и всю ошеломляющую бессовестность его слов о Варшавском герцогстве. Но ни Балашов и никто из его собеседников никогда и не думали выражать его величеству истинных чувств, которые нередко возбуждала в них его откровенность. И уж во всяком случае в Балашове

в тот момент неожиданные слова Наполеона могли возбудить только разве злорадное чувство по отношению к полякам, которые в это же время оглашали улицы Вильны криками «Виват цезарь!» и благословляли небо, ниспославшее им великого освободителя отчизны.

И снова Наполеон стал гневно жаловаться на Александра, который осмеливается окружать себя его, Наполеона, врагами, да еще не русскими, а иностранцами.

К концу этой первой аудиенции разговор пошел о предметах незначащих. Наполеон осведомлялся о здоровье канцлера Румянцева, о Кочубее. Для чего-то Наполеон прикинулся, будто не помнит фамилии Сперанского, с которым был лично знаком еще от самого свидания в Эрфурте, т. е. с сентября 1808 г. «Скажите, пожалуйста, почему удалили... этого, который у вас был в вашем государственном совете... Как его зовут?.. Спи... Спер... я не могу вспомнить его имени!» — «Сперанский»,— подсказал Балашов.— «Да!» — «Император был им недоволен».— «Однако это не вследствие измены?» — «Я не предполагаю этого, государь, так как о подобных преступлениях было бы неминуемо опубликовано».— «В таком случае это какое-нибудь злоупотребление, может быть воровство?» Зачем Наполеону понадобилось ломать эту комедию, неизвестно. Он не только, разумеется, помнил фамилию Сперанского, но, несомненно, знал все, что было известно по делу Сперанского самому Балашову. Конечно, он знал и то, что именно этот самый Балашов в качестве министра полиции и отправлял Сперанского в ссылку из Петербурга. О сановниках Александра, о всех придворных интригах Петербурга и Павловска Наполеон имел от своих шпионов самую детальную информацию.

За обедом, к которому был приглашен Балашов, присутствовали, кроме императора, еще маршалы Бертье и Бессьер, и Коленкур, герцог Вичентский. После обеда серьезный разговор возобновился. «Боже мой, чего же хотят люди? — воскликнул Наполеон, говоря об Александре.— После того как он был побит при Аустерлице, после того как он был побит под Фридландом,— одним словом, после двух несчастных войн,— он получает Финляндию, Молдавию, Валахию, Белосток и Тарнополь, и он еще недоволен... Я не сержусь на него за эту войну. Больше одной войной — больше одним триумфом для меня...» И опять начались возмущенные нападки на Штейна, Армфельда, Винценгероде, которыми окружил себя Александр. «Скажите императору Александру, что так как он собирает вокруг себя моих личных врагов, то это означает, что он хочет мне нанести личную обиду и что, следовательно, я должен сделать ему то же самое. Я выгоню из Германии всю его родню из Вюртемберга, Бадена, Веймара, пусть он готовит им убежище в России... Ан-

глия не даст денег России, у нее самой денег нет. Швеция и Турция при удобном случае все-таки еще нападут на Россию. Генералов хороших у России нет, кроме одного Багратиона. Беннигсен не годится: как он себя вел под Эйлау, под Фридландом! А теперь он еще постарел на пять лет, он всегда был слаб, делал ошибку за ошибкой, что же будет теперь?» И дальше снова (уже вторично) об убийстве Павла, о том, что Александр «знает преступления» Беннигсена. «Я слышу, что император Александр сам становится во главе командования армиями? Зачем это? Он, значит, приготовил для себя ответственность за поражение. Война — это мое ремесло, я к ней привык. Для него это не то же самое. Он — император по праву своего рождения; он должен царствовать и назначить генерала для командования. Если тот поведет дело хорошо — наградить, если плохо — наказать, уволить. Лучше пусть генерал будет нести ответственность перед ним, чем он сам перед народом, ибо и государи тоже несут ответственность, этого не следует забывать». «Потом,— пишет Балашов,— походив немного, подошел он к Коленкуру и, ударив его легонько по щеке, сказал: «Ну, что же вы ничего не говорите, старый царедворец петербургского двора?.. Готовы ли лошади генерала? Дайте ему моих лошадей, ему предстоит долгий путь!»

На этом кончилась аудиенция Балашова. Он уехал и не знал о той сцене, которая разыгралась сейчас же после его отъезда там же, в кабинете императора. Об этой сцене нам рассказывает Сегюр. Он, кстати, передает, очевидно, со слов одного из присутствовавших маршалов в несколько ином виде шутку, произнесенную императором во время разговора с Балашовым: «Впрочем, император Александр имеет друзей даже в моей императорской главной квартире,— сказал Наполеон, и, указывая Балашову на Коленкура, прибавил: «Вот рыцарь вашего императора. Это — русский во французском лагере». Коленкур страшно обиделся на эту шутку, передает Сегюр, и едва Балашов вышел, как Коленкур с большим волнением спросил у Наполеона, за что он его оскорбил. Коленкур с жаром говорил, что он — француз, хороший француз, что он это доказал и еще докажет. И тут же Коленкур, который, будучи послом в Петербурге, не переставал заботиться об укреплении франко-русского союза, а потом уже, после своей отставки, все время старался убедить Наполеона отказаться от войны с Россией,— теперь высказал уже разом все, что у него накипело на душе. Да и не могло его не потрясти и не взволновать все, что только что произошло в его присутствии: с выходом Балашова из комнаты, где император все время старался как можно больнее уязвить Александра, исчезла последняя слабая надежда предотвратить опаснейшую авантюру. Коленкур сказал, что он докажет импе-

ратору, что он, Коленкур, хороший француз, именно тем, что будет повторять, что эта война неполитична, опасна, что она погубит армию, Францию, самого императора; что, впрочем, так как император его оскорбил, то он уйдет от императора и просит дать ему дивизию в Испании, «где никто не хочет служить» и где он, Коленкур, будет как можно дальше от императора, оскорбившего его [3]. Наполеон пробовал его успокоить, но напрасно. Он ушел не помирившись. На другой день Наполеон прекратил ссору, во-первых, дав формальный приказ Коленкуру остаться и, во-вторых, обласкав и утешив его. Это сильное волнение Коленкура едва ли было вызвано одной лишь шуткой Наполеона. То ли еще терпел от него Коленкур на своем веку! Мы знаем теперь из позднейших показаний и самого Коленкура и окружающих, что не только в эти первые дни рокового похода, но и гораздо раньше у него было ощущение разверзающейся под ногами пропасти в связи с начавшейся войной.

2

Балашов вернулся и доложил Александру о разговоре с Наполеоном.

Итак, война была решена окончательно и бесповоротно.

Александр после некоторого колебания решил никакого торжественного манифеста о войне не опубликовывать. Был только отдан приказ по войскам 13 (25) июня 1812 г., объявляющий о вторжении Наполеона и начале войны.

В необнародованном тогда проекте манифеста о войне с Наполеоном [4] Александр говорил о «тяжких узах», которые «добровольно» он возложил на себя во имя сохранения мира, и прежде всего обращался к полякам, увещевая их не верить Наполеону и подумать о рабстве, которое их ждет, если они поддадутся ему: «Кто не ведает о порабощении всех стран западных, под игом французского императора страждущих? Кто не испытал, что под названием новоустановленных царств французский император ищет только новых данников и новых жертв для окровавленного алтаря своей славы?» Дальше указывалось на отказ Наполеона ратифицировать соглашение о Польше, говорилось о занятии Германии французскими войсками и постепенном приближении их к русским границам, об отнятии у герцога Ольденбургского всех его владений, что явилось, пишет Александр, личным оскорблением для царя, связанного родством с ольденбургскими герцогами. Наконец, манифест переходит и к самому главному: «Стремясь уравнять нас в разорении и обессилении с властями, ему повинующимися, он требовал, чтобы мы прекратили всякую торговлю под предлогом, якобы нейтральные суда, к портам нашим пристающие, служи-

ли средством к распространению английской промышленности и ее селений, в Восточной и Западной Индии находящихся». Александр отвергает обвинение, будто бы он дозволял торговлю с Англией, напротив, поминает о своих «строгих мерах» против торговли с англичанами.

Но «никакой договор и никакое даже кривое истолкование обязательств наших с Францией не принуждали нас к пагубному уничтожению всякой морской торговли». И это было бы тем более «безрассудно», что сам французский император позволяет у себя торговать с нейтральными государствами и даже дает некоторым частным лицам разрешение торговать с Англией. Точно так же неосновательны претензии Наполеона относительно русского тарифа 1810 г. «Сие наглое притязание предписывать образ внутренних учреждений державам столь само собою неприлично, что не заслуживает пространнейших доводов к опровержению».

И, несмотря на все это, продолжает манифест, Александр все же хотел пойти на всевозможные уступки, даже на изменения в тарифе в пользу французской промышленности и торговли французскими винами, даже на всякий отказ от протеста по делу герцога Ольденбургского. Только оставалось требование очищения вновь занятой (Восточной) Пруссии и Померании от французских войск и желание оставить за собой право «нейтральной торговли, для самого существования империи нашей необходимой... Непостижимо казалось непричастному злоумышленности духу нашему, чтобы французский император, в слезах и стенаниях столь многих народов обвиняемый, решился еще раз попрать всякое уважение к суду божию, к мнению Европы и целого мира, к собственным выгодам своей империи и в плату за неслыханную умеренность напасть на государство, ничем его не оскорбившее. Мы еще не переставали надеяться, что рука его упадет при таковых страшных помышлениях, когда он ворвался в пределы империи нашей с военной силой».

Таков был этот неопубликованный проект манифеста. Но редактированием заниматься было некогда. Разведка доносила, что Наполеон от Немана двинулся прямой дорогой на Вильну и что впереди идет Мюрат с кавалерией. Решено было немедленно уходить из Вильны в «укрепленный лагерь» в Дриссе, устроенный по мысли состоявшего в свите царя генерала Фуля.

Одной из самых странных и курьезных фигур в окружении Александра в момент вторжения неприятеля в Россию был, бесспорно, генерал Фуль (не Пфуль, как иногда неверно произносят и пишут, а именно Фуль — Phull). Ученый генерал, теоретик, создававший при начале всякой войны обширнейшие, точно разработанные планы, из которых никогда ничего не вы-

ходило, Фуль начал свою карьеру в прусских войсках. Когда в 1806 г. началась война Пруссии с Наполеоном, то Фуль, бывший докладчиком по делам главного штаба при прусском короле Фридрихе-Вильгельме III, составил по обыкновению самый непогрешимый план разгрома Наполеона. Война началась 8 октября, а уже 14-го, ровно через шесть дней, Наполеон и маршал Даву в один и тот же день уничтожили всю прусскую армию в двух одновременных битвах, при Иене и при Ауэрштадте. В этот страшный час прусской истории Фуль изумил всех: он стал хохотать, как полоумный, издеваясь над погибшей прусской армией за то, что она не выполнила в точности его план. Слова «как полоумный» применил к Фулю в данном случае наблюдавший его Клаузевиц [5]. После этого краха он перешел на русскую службу. Он поселился в Петербурге и тут стал преподавать военное искусство императору Александру. Александр уверовал в гениальность своего учителя и взял с собой на войну 1812 г. этого раздраженного, упрямого, высокомерного неудачника, не выучившегося за шесть лет пребывания в России ни одному русскому слову и презиравшего русских генералов за незнание, как ему казалось, стратегической науки.

По совету Фуля, Александр, не спросив ни Барклая, ни Багратиона, приказал устроить «укрепленный лагерь» в местечке Дриссе на Двине. По мысли Фуля, этот лагерь, где предполагалось сосредоточить до 120 тысяч человек, мог по своему срединному положению между двумя столбовыми дорогами воспрепятствовать Наполеону одинаково как идти на Петербург, так и на Москву. И когда Наполеон внезапно перешел через Неман, русской армии было велено отступать на Свенцяны, а оттуда в Дриссу.

«Дрисский лагерь мог придумать или сумасшедший, или изменник»,— категорически заявили в глаза Александру некоторые генералы посмелее, когда армия с царем и Барклаем во главе оказалась в Дриссе. «Русской армии грозит окружение и позорная капитуляция, Дрисский лагерь со своими мнимыми «укреплениями» не продержится и нескольких дней»,—утверждали со всех сторон в окружении Александра.

Находившийся в небольших чинах при армии Барклая Клаузевиц, осмотревший и изучивший этот лагерь как раз перед вступлением туда 1-й русской армии, делает следующий вывод: «Если бы русские сами добровольно не покинули этой позиции, то они оказались бы атакованными с тыла, и, безразлично, было бы их 90 или 120 тысяч человек, они были бы загнаны в полукруг окопов и принуждены к капитуляции».

Нелепый план Фуля, плохое подражение Бунцловскому лагерю Фридриха II, был, конечно, оставлен уже спустя несколько дней после вторжения Наполеона, но существенный вред эта

фантазия бездарного стратега успела все-таки принести. Согласно идее таких «укрепленных лагерей», обороняющийся должен действовать непременно при помощи двух разъединенных армий: одна защищает лагерь и задерживает осаждающего неприятеля, а другая, маневрируя в открытом поле, тревожит осаждающих атаками и т. д. Русская армия и без того уже самой природой литовско-белорусского Полесья была разделена на две части, к тому же совершенно неизвестно было, куда и какими дорогами двинется Наполеон. А пока носились с планом дрисской защиты, эти разделенные две русские армии и подавно не делали и не могли делать никаких усилий для своего соединения. На несколько дней засела 1-я русская армия в этом лагере на левом берегу Двины, напротив местечка Дриссы, в сотне километров от Динабурга (Двинска) вверх по течению Двины.

Царь, по свидетельству очевидцев, прибыл в Вильну с твердым убеждением в пригодности плана Фуля. Однако все были против плана Фуля. Но никто ничего толкового не предлагал, кроме Барклая де Толли, которого слушали мало. Он советовал отступать, не идти на верный проигрыш генеральной битвы у границы. Александр и его свита явно преуменьшали численность французской армии, накапливавшейся у Вислы и Немана. Они знали манеру Наполеона запугивать врагов своей непреодолимостью, и некоторые этим объясняют недоверие Александра к слухам об огромных размерах великой армии. Но, помимо этого, приближенные Александра не могли не принять во внимание и громадных сил, которые Наполеон должен был оставить в Испании, по-прежнему неукротимо пятый год против него борющейся. Знали и о гарнизонах, которые Наполеон вынужден был разбросать по необъятной империи, тянущейся от Антверпена и Амстердама до Балканского хребта, от Гамбурга, Бремена и Любека до Неаполя, от Калабрии, Апулии и Данцига до Мадрида. Однако с первых дней войны эти утешительные иллюзии должны были исчезнуть и надежды стали сменяться растерянностью.

Как мы увидим дальше, едва войдя в Дрисский лагерь, русская армия стала готовиться к немедленному уходу из этой западни, а царь перестал не только разговаривать с Фулем, с которым раньше не разлучался, но даже смотреть на Фуля.

В момент вторжения Наполеона русские войска были разбросаны на пространстве в 800 верст. Некоторые уверяют, что Барклай де Толли сначала думал о сражении, но тут же пришлось от этой мысли отказаться: численность наполеоновских войск, вступивших в Россию, оказалась гораздо большей, чем предполагали в русском штабе и при дворе.

У Багратиона было в конце июня 1812 г. шесть дивизий,

а Наполеон направил против него почти вдвое — 11 дивизий. У Барклая было 12 дивизий, а Наполеон двинул против него около 17 [6].

Первоначальный план, по свидетельству генерала графа Толя, заключался в том, чтобы действовать наступательно, и только «непомерное превосходство его (Наполеона — *Е. Т.*) сил, сосредоточившихся на Висле между Кенигсбергом и Варшавой, и некоторые политические обстоятельства» побудили переменить план, «положено было вести войну оборонительную», потому что из 360—400 тысяч (считая уже с донским войском и с гвардией), которые были в тот момент в России, непосредственно Наполеону противопоставить можно было всего лишь, уже считая с армией Тормасова, 220 тысяч человек [7]. Да и то эта цифра была лишь на бумаге.

Решено было отступать. «Правда, что с таким предположением должно было пожертвовать некоторыми нашими провинциями, но из двух неизбежных зол надлежало избрать легчайшее, потерять на время часть, нежели навсегда целое». Последние слова графа Толя показывают, в какой тревоге находились двор и генералитет, выжидая в Вильне окончательного решения Наполеона.

Эта первая потеря русской государственной территории привела в смятение ближайшее окружение Александра.

«Как? В пять дней от начала войны потерять Вильну, предаться бегству, оставить столько городов и земель в добычу неприятелю и, при всем том, хвастать началом кампании! Да чего же недостает еще неприятелю? Разве только того, чтобы без всякой препоны приблизиться к обеим столицам нашим? Боже милосердный! Горючие слезы смывают слова мои!»

Так писал государственный секретарь Шишков в первые дни войны [8]. Так ощущали приближенные царя потерю Вильны. Уже поэтому можно было предвидеть, как будет дальше восприниматься потеря других русских земель.

Наполеон полагал, переходя Неман, что русская действующая непосредственно против него армия равна приблизительно 200 тысячам человек. Он ошибался. На самом деле, если исключить южную армию (генерала Тормасова), которому противостоял австрийский корпус Шварценберга, вот какими силами располагало русское командование в день вторжения Наполеона: в армии Барклая (1-й армии) было 118 тысяч человек; в армии Багратиона (2-й армии) — 35 тысяч человек, в общем — 153 тысячи. При отступлении к Дриссе, к Бобруйску, к Могилеву, к Смоленску в эти армии вливались гарнизоны и пополнения, и это первоначальное число возросло бы до 181 800 человек, если бы не пришлось выделить для охраны петербургских путей армию (генерала Витгенштейна) в 25 тысяч человек и

если бы не потери в боях (7 тысяч человек). За вычетом этих двух цифр из 181 800 получается 149 800 человек, которые должны были бы оказаться в Смоленске 3 августа, когда, наконец, Барклай и Багратион соединились. Но на самом деле оказалось в Смоленске всего-навсего 113 тысяч человек, т. е. на 36 800 человек меньше, чем можно было бы ожидать. Болезни, смертность от болезней, отставание съели эту огромную массу. Размеры этой убыли смущают генерал-квартирмейстера Толя, и он в своих воспоминаниях склонен даже поэтому несколько усомниться в точности первоначальной цифры; по его мнению, в момент вторжения Наполеона обе русские армии вместе (Багратиона и Барклая) были равны не 153 тысячам человек, но тысяч на 15 меньше [9]. Во всяком случае огромная убыль больными и отсталыми в русской армии не подлежит никакому сомнению. Дезертирство литовских уроженцев из русской армии в этот период войны было, и по русским и по французским свидетельствам, значительным.

Так или иначе, в Смоленске оказалось всего 113 тысяч человек для защиты не Смоленска, а России.

Как обстояло дело с артиллерией?

Оборудование русской армии артиллерией было сравнительно удовлетворительно.

Реорганизация артиллерии, проводившаяся Аракчеевым (с 1806 г.), привела к тому, что уже в 1808 г. русская армия имела в своем составе 130 рот с 1550 орудиями, а к началу войны с Наполеоном в 1812 г.—133 роты с 1600 орудиями. Тогда же, во время войн с Наполеоном, с 1805 по 1812 г. были введены некоторые технические усовершенствования в оборудовании лафетов, передков и ящиков, продержавшиеся, замечу к слову, в России почти без дальнейших изменений до 1845 г., хотя в Европе артиллерийское дело очень быстро развивалось в это время [10]. Можно сказать, что за всю первую половину XIX в. никогда русская артиллерия не была до такой степени близка к французской по своей боеспособности, как именно в 1812, 1813, 1814 гг. Это соотношение с тех пор уже не переставало изменяться в невыгодную для России сторону, пока дело не дошло до севастопольского разгрома.

В общем русские войска к моменту перехода Наполеона через Неман были, относительно говоря, лучше снабжены артиллерией, чем великая армия: у русских приходилось на каждую тысячу солдат приблизительно семь орудий, а Наполеон имел на каждую тысячу солдат не более четырех орудий. Конечно, абсолютное число орудий при этом расчете у него все-таки было больше, чем у русских, но это происходило оттого, что его армия в начале войны была гораздо больше русской. А когда численность обеих армий уравновесилась (в дни Бородина), то

на стороне русской артиллерии обозначился даже некоторый перевес. Что касается организации управления артиллерией, создания специальных артиллерийских бригад в каждой дивизии и т. д., то все это было заимствовано в 1806—1812 гг. от наполеоновской армии (Наполеон завершил свои главные преобразования в области артиллерии в 1805 г.).

Каждая русская пехотная дивизия состояла из 18 батальонов и имела в общем 10 500 человек. Каждый пехотный полк состоял из двух батальонов линейных и одного запасного, обучавшегося в тылу. Кавалерийский полк состоял из шести эскадронов и одного запасного. Кавалерия была равна 48 тысячам человек. Артиллерия делилась на роты, и каждая из них была равна 250 человекам. Всего в России весной 1812 г. было 133 артиллерийских роты. По подсчетам графа Толя, общее количество войск, которыми располагала Россия в начале кампании 1812 г., считая уже и Кавказскую линию, и Грузию, и Крым с Херсонской губернией, было равно 283 тысячам пехоты, 14 тысячам кавалерии, 25 тысячам артиллерии и, сверх того, 30 тысячам донских казаков и гвардии, охранявшей Петербург. У Наполеона, не считая войск, стоявших гарнизонами во всех странах его громадной империи, и кроме нескольких сот тысяч, воевавших в Испании, было к началу кампании под руками 360 тысяч пехоты, 70 тысяч кавалерии и 35 тысяч артиллерии. Сюда не входят вспомогательные части «союзных» с Наполеоном Австрии и Пруссии [11].

О численности армий, непосредственно действовавших против наступающего Наполеона, сказано выше.

Слабой стороной русской армии была невежественность части офицерского и даже генеральского состава, хотя, конечно, не следует забывать и группы передового офицерства, из которой вышли и некоторые будущие декабристы. В 1810 г. Россия отказалась от старой, фридриховской военной системы и ввела французскую систему, но последствия этой перемены едва ли могли за два года сказаться решающим образом. Другой слабой стороной была варварски жестокая, истинно палочная и шпицрутенная дисциплина, основанная на принципе: двух забей, третьего выучи. Аракчеевский принцип, всецело поддерживаемый царем, принцип плацпарадов и превращения полка в какой-то кордебалет, с вытягиванием носков и т. п., уже вытеснял (но еще не вполне успел вытеснить к 1812 г.) суворовскую традицию — подготовки солдата к *войне*, а не к «высочайшим» смотрам. Третьей слабой стороной было неистовое хищничество: не только воровство разных «комиссионеров» и прочих интендантских чинов, но казнокрадство не всех, конечно, но многих полковых, ротных, батальонных и всяких прочих командиров, наживавшихся на солдатском довольствии, кравших

солдатский паек. Тяжка, вообще говоря, была участь солдата, так тяжка, что бывали случаи самоубийств солдат именно по окончании войн, так как на войне легче приходилось иной раз, чем во время мира; увечья и смерть в бою казались краше, чем выбивание челюстей и смерть при проведении сквозь строй в мирное время. На войне зверство начальников не проявлялось так, как во время мира.

Конечно, нельзя рисовать все исключительно черной краской: офицеры не все были ворами и зверями, и среди них были такие, которые хорошо относились к солдатам, были и генералы, обожаемые солдатами, вроде Багратиона, Кульнева, Коновницына, Раевского, Неверовского. И еще два обстоятельства не следует упускать из вида: еще Герцен настойчиво утверждал, что офицерство и генералитет при Александре были в среднем все-таки более гуманны к солдату, чем в николаевские времена, после декабрьского восстания, а помимо всего в грозную годину, о которой тут идет речь, даже палач Аракчеев временно присмирел.

Барклай вышел из Вильны 26 июня и пошел по направлению к Дрисскому укрепленному лагерю. Но уже когда он выходил из Вильны, и он сам, и Александр, и все окружающие царя были убеждены, что этот Дрисский лагерь — вздорная выдумка бездарного и нагло самоуверенного Фуля.

8 июля Александр прибыл в Дриссу и принялся объезжать лагерь во всех направлениях. Александр был от природы органически лишен понимания войны и военного дела. У Романовых, начиная с Павла, это было прочной родовой чертой, передававшейся по наследству. Быть может, именно оттого-то они все (и больше всех Александр I, Николай I, Константин и Михаил Павлович) так страстно и были привязаны к фронтовой шагистике, к парадам, что стратегия настоящей войны была им чужда и непонятна.

В грозных условиях, в которых царь оказался, он очень присмирел. Это уже не был тот самоуверенный и легкомысленный офицер, который вопреки воле Кутузова повел на убой и на позор русскую армию под Аустерлицем. Тут, разъезжая вокруг Дриссы в критические летние дни 1812 г., царь, как говорят нам очевидцы, молчал и больше вслушивался в речи Мишо, Барклая, Паулуччи и вглядывался в их лица. И речи и лица этих людей говорили одно и то же: Дрисский лагерь — бессмысленная выдумка тупого немца, и нужно бежать из этой ловушки без оглядки, не теряя времени.

Сам Александр, для которого Фуль до сих пор был многочтимым авторитетом в вопросах стратегии и тактики, защищать своего профессора дальше не умел и не хотел. Нужно было думать прежде всего о личном спасении.

Барклай со стотысячной армией вступил в Дриссу 10 июля, а уже 16 июля со всеми войсками, бывшими в Дриссе, со всем обозом, со всеми запасами и с самим царем покинул Дрисский лагерь и пошел по направлению к Витебску. Первой большой остановкой на этом пути был Полоцк. И в Полоцке решилась благополучно головоломная задача, которая еще от Вильны, а особенно от Дриссы, стояла неотступно перед русским штабом: как отделаться от царя? Как поделикатнее и наиболее верноподданно убрать Александра Павловича подальше от армии?

Уж довольно было того, что успел напутать и напортить царь в эти первые дни войны.

Только после перехода Наполеона через Неман решено было соединить 1-ю армию (Барклая) со 2-й (Багратиона). Александр, как всегда, обнаруживал абсолютную неспособность к военному делу. Он не доверял Барклаю, но не доверял и Багратиону и не понимал, что до соединения армий Багратион стремится только как можно искуснее и с наименьшими потерями от наседающих французов спасти маленькую армию, которую ему дали. Он корил Багратиона за то, что тот «не успел» предупредить маршала Даву и не занял «вовремя» Минска. «Вот Багратион, кажется, не Барклай, но что сделал!» — сказал царь по этому поводу с упреком, сидя сам еще в нелепом Дрисском лагере и не понимая, что Багратион хотел *уйти* от Даву (и блестяще выполнил это), а вовсе не подвергаться верной гибели в Минске.

Царя нужно было обезвредить и притом по возможности безотлагательно.

Еще перед выходом из Дриссы находившийся при царе государственный секретарь Шишков оказал русской армии эту очень важную услугу. Шишков видел, что пребывание Александра в армии просто гибельно для России. Но как убрать царя, человека очень обидчивого и злопамятного? А ведь тут даже и не нужно было быть очень обидчивым, чтобы обидеться... «Зная образ мыслей его, что присутствие свое в войсках он почитает необходимо нужным и не быть при них вменяет себе в бесславие, мог ли я на мои слова и представления столько понадеяться, что они преодолеют в нем собственное его предубеждение и силу славолюбия?» Шишков со многими заговаривал об этом щекотливом деле, и все с ним соглашались, но никто не решался предложить царю покинуть армию. «Некоторые даже утверждали, что если кто сделает ему такое предложение, то он сочтет его преступником и предателем». В полное отчаяние привели Шишкова слова в проекте приказа царя по армии: «Я всегда буду с вами и никогда от вас не отлучусь». Шишков тогда решился. Он прямо посоветовал царю исклю-

чить эти слова, а затем ему удалось привлечь к исполнению своего намерения Балашова и Аракчеева.

Убеждая Александра всевозможными доводами в необходимости уехать из армии, Аракчеев, Балашов и Шишков в том коллективном письме, которое они решились подать императору, не могли, разумеется, привести самого существенного аргумента, т. е., что Александр страшно мешает своим присутствием, вмешиваясь в военные дела, смущая и раздражая генералов, разъезжая со свитой болтунов, нашептывателей и тунеядцев вокруг Дриссы. Авторы письма так боялись грозного нашествия, что уже махнули рукой на не совсем придворный свой образ действий: просить царя убраться подальше и не путаться под ногами Барклая и Багратиона в этот страшный миг русской истории. Но все-таки облечь эту невежливость необходимо было в сколько-нибудь приемлемую форму. Потрудились они втроем немало: черновик их письма занимает четыре страницы большого формата, мелко исписанные [12]. Курьезен один из приводимых ими резонов: «Примеры государей, предводительствовавших войсками своими, не могут служить образцами для царствующего ныне государя императора, ибо на то были побудительные причины. Петр Великий, Фридрих Второй и нынешний наш неприятель Наполеон должны были делать то: первый — потому, что заводил регулярные войска; второй — потому, что все его королевство было, так сказать, обращено в воинские силы; третий — потому, что не рождением, по случаем и счастием взошел на престол. Все сии причины не существуют для Александра Первого».

Царь мог бы принять за насмешку это сопоставление его особы с Петром, Фридрихом и Наполеоном, если бы не знал, что все три автора далеки от иронии. Но при своем бесспорном уме и тонкости царь сообразил, что если уж эти трое тоже рекомендуют ему помочь армии своим отсутствием, то упираться было бы нелепо.

«Если государю императору угодно будет ныне же, не ожидая решительной битвы, препоручить войска в полное распоряжение главнокомандующего и самому отбыть от оных...» — робко настаивали три сановника.

Умная сестра Александра Екатерина Павловна со своей стороны понимала, что ни малейшей пользы от присутствия царя в армии нет, а вред может быть очень большой. Александр даже жаловался, что сестра гонит его из армии: «Если я хотела выгнать вас из армии, как вы говорите, то вот почему: конечно, я считаю вас таким же способным, как ваши генералы, но вам нужно играть роль не только полководца, но и правителя. Если кто-нибудь из них дурно будет делать свое дело, его ждут наказание и порицание, а если вы сделаете ошибку, все обру-

шится на вас, будет уничтожена вера в того, кто, являясь единственным распорядителем судеб империи, должен быть опорой...»[13] и т. д. Словом, хорошо бы царю упражнять свои способности где-нибудь не в армии, а в любом другом месте.

И Александр покинул армию.

Когда гофмаршал граф Толстой (дело было в Полоцке, уже при отступлении из Дриссы) отвел в сторону Шишкова и шепнул ему на ухо: «Знаешь ли, что к ночи велено приготовить коляски, ехать в Москву?», то Шишков, по собственному своему признанию, «едва мог словам его поверить, радость моя была неописанна, теплейшая молитва пролилась из уст моих к подателю всех благ, творцу небесному».

Возблагодарив горячо творца неба и земли за то, что наконец царь согласился убраться из армии, Шишков сел составлять манифест к русскому народу. Царь ехал в Москву и поручил ему это дело. Шишков и другие были так счастливы, как если бы пришло известие о победе. Они, по-видимому, считали отсутствие царя первым условием для успешной обороны против вторгшегося неприятеля[14], и в манифесте, составленном для царя, Шишков предусмотрительно обещал, что «мы» будем вообще в разных концах государства. Уточнения были бы опасны, очевидно, потому, что царь в других местах был, по внутреннему убеждению Шишкова, не столько полезен, сколько вреден. Верноподданнейший автор трактата «О старом и новом слоге» очень ловко в этом смысле прикрыл свои истинные опасения величавыми старинными речениями своего проекта манифеста.

3

Барклай остался единоличным распорядителем судеб 1-й армии. Он приказал отступать на Витебск. Начальником его штаба был назначен А. П. Ермолов, генерал-квартирмейстером — полковник Толь.

Много было споров вокруг вопроса о «плане Барклая». Есть (очень, правда, немногие) показания, говорящие как будто о том, что Барклай де Толли с самого начала войны — и даже задолго до войны — полагал наиболее правильной тактикой в борьбе с Наполеоном использовать огромные малолюдные, трудно проходимые пространства России, заманить его армию как можно дальше и здесь спокойно ждать ее неизбежной гибели.

Гораздо больше есть положительных свидетельств, в том числе исходящих от самого Барклая, что он отходил только вследствие полной невозможности задержать наседающую на него великую армию и что при малейших шансах на успешное сопротивление он с готовностью принял бы генеральный бой.

Но и все эти якобы непререкаемые свидетельства тоже не решают вопроса. Ведь при том страшном давлении, которое испытывал военный министр и командующий 1-й армией, Барклай, от 24 июня, когда Наполеон вторгся в Россию, до 29 августа, когда в Цареве-Займище Барклай окончательно узнал о назначении на его место Кутузова,— он и не мог высказаться иначе, чем он высказывался. Он *должен* был подчеркивать, что отступает лишь по случайным причинам, а на самом деле будто бы рвется в бой и только ищет позицию получше. Он должен был бы так говорить все равно, даже если бы на самом деле принципиально не хотел никаких боев, а всецело проводил тактику отхода и заманивания врага в глубь страны. В его штабе начальником был Ермолов, друг и тайный корреспондент Багратиона. А что Багратион направо и налево честит Барклая и немцев-изменников,— об этом Барклаю было очень хорошо известно. Что его подозревает в измене и московский генерал-губернатор Ростопчин, что это повторяют хором приведенные в полную панику помещики, трепещущие, как бы Наполеон не отменил крепостное право на занимаемой им территории,— и это Барклай знал.

Таким образом, эти громогласные (и ни к чему реальному не ведущие) высказывания о желании дать бой были лишь слабыми попытками самозащиты, и ничего на них обосновывать нельзя.

Военные критики не склонны считать Барклая очень крупным полководцем и в уровень с Кутузовым и Багратионом его не ставят.

Вот мнение очевидца, участника войны 1812 г., обер-квартирмейстера 6-го корпуса Липранди, автора замечательной критики военной литературы о 1812 г., с анализом которого очень считались всегда специалисты: «Я смею заключать, что, как до Смоленска, так и до самой Москвы, у нас не было определенного плана действия. Все происходило по обстоятельствам. Когда неприятель был далеко, показывали решительность к генеральной битве и, по всем соображениям и расчетам, думали наверное иметь поверхность (одержать верх — *Е. Т.*), но едва неприятель сближался, как все изменялось, и опять отступали, основываясь также на верных расчетах. Вся огромная переписка Барклая и самого Кутузова доказывает ясно, что они не знали сами, что будут и что должны делать» [15].

При этом следует, однако, учитывать и определенную целеустремленность в действиях Барклая. Все-таки Липранди забывает, что отступление от Дриссы было маршем-маневром, знаменовавшим переход к новому оперативному плану: к соединению обеих русских армий. Великая заслуга Барклая не в том, что он перед войной и в начала войны говорил о замани-

вании неприятеля в глубь страны. Многие говорили об этом задолго до начала войны: и шведский наследный принц Бернадотт, и даже бездарный Фуль, и другие. Еще Наполеон сказал, что выигрывает битвы не тот, кто предложил план, а тот, кто взял на себя ответственность за его выполнение и выполнил его. Даже если признать, что до Витебска у Барклая были колебания, то от Витебска Барклай шел намеченным путем с большой моральной отвагой, не обращая внимания ни на какие препятствия и противоборствующие течения. Позднейшая военная критика подвергла осуждению некоторые действия Барклая во время отступления, усмотрела непоследовательность в его (не осуществившемся) намерении дать битву при Царево-Займище и т. д., но, например, самую позицию, намеченную Барклаем при Царево-Займище, нашла все-таки более выгодной сравнительно с бородинской позицией. Эту мысль высказывает и Маркс в своей коротенькой (в две страницы), но очень содержательной статье о Барклае, написанной им в 1858 г. для «New American Cyclopedia» [16]. Но Маркс правильно отмечает, что с начала войны отступление русской армии стало «делом не свободного выбора, а суровой необходимости».

У Барклая оказалось достаточно силы воли и твердости духа, чтобы при невозможном моральном положении, когда его собственный штаб во главе с Ермоловым тайно агитировал против него в его же армии и когда командующий другой армией, авторитетнейший из всех русских военачальников, Багратион, обвинял его довольно открыто в измене,— все-таки систематически делать то, что ему повелевала совесть для спасения войска. Агитация против Барклая шла сверху. От своих генералов и полковников солдаты научились говорить вместо «Барклай де Толли» — «Болтай да и только»; от начальства они узнали, что Ермолов будто бы просил царя «произвести его, Ермолова, в немцы», потому-де, что немцы получают награды; сверху вниз шли слухи, что состоящий при Барклае Вольцоген — наполеоновский шпион. Все это еще до Смоленска делало положение крайне трудным. Доверие к главнокомандующему явно было подорвано, и каждый новый этап отступления усиливал зловещую молву о Барклае.

Трудно ему было отбиваться от нападений Багратиона еще и потому, что за ним не было ни геройского поприща, ни блестящей репутации в армии, не лежало на нем и отблеска сияния суворовской славы, не было железного характера, словом, не было всего того, что в избытке было у Багратиона. Трудолюбивый военный организатор, по происхождению шотландец, которого ошибочно часто называют немцем, понравившийся Александру исполнительностью и ставший военным министром, осторожный стратег, инстинктивно нащупавший верную такти-

жу, Барклай нашел в себе гражданское мужество идти против течения и до последней возможности стоять на своем.

Граф Толь, генерал-квартирмейстер 1-й армии (Барклая), в своих замечательных воспоминаниях, обработанных и изданных генералом Бернгарди, утверждает, что в начале войны в Вильне решительно никто в русском штабе и понятия не имел о той роли, какую сыграют в этой войне колоссальные пространства России. Это выявилось само собой уже в процессе войны [17]. Отступление же диктовалось с самого начала нежеланием Барклая рисковать русской армией. Барклай страшился уничтожения армии в первые же дни войны. Свидетельство графа Толя, генерал-квартирмейстера в штабе Барклая, уже само по себе имело бы для нас решающее значение, если бы даже оно не подтверждалось рядом таких же неопровержимых показаний, включая сюда и документы, исходящие от самого Барклая. Не «скифский план» искусственного заманивания противника, а отход под давлением превосходных сил — вот что руководило действиями Барклая в первые месяцы войны. О «скифском плане» стали говорить уже на досуге, когда не только война 1812 г. окончилась, но когда уже и войны 1813—1815 гг. давно отошли в область прошлого. Первым вспомнил о скифах сам Наполеон в 1812 г., как увидим дальше.

В дальнейшем мы ознакомимся в главных чертах с тем, как документы рисуют нам настроения крестьян, дворян, купечества в разгаре и в конце нашествия. Очень скудна и случайна эта документация, но несравненно еще скуднее та, которая относится к первым неделям и месяцам войны.

Тем не менее можно считать твердо установленным следующее. Дворянство в массе своей с первого дня вторжения Наполеона питало лютый страх, что завоеватель, постепенно продвигаясь в глубь страны, будет освобождать крестьян от крепостного права и подымать их на помещиков. Это был стародавний страх, который давал себя чувствовать уже в 1806—1807 гг. Ростопчин докладывал царю об этих опасениях дворянства еще в войну 1806—1807 гг. и уверял, что народ в России толкует о Бонапарте, как об освободителе от крепостничества. Конечно, в 1812 г., когда впервые Наполеон вел против царя войну на русской территории, эти опасения должны были в огромной степени обостриться. Дальше в своем месте будет сказано, как французские власти сразу же стали высылать, по просьбе польских помещиков, карательные команды в «бунтующие» деревни для усмирения крестьян.

Но всего этого ни в Петербурге, ни в Москве и нигде вообще в коренной России не знали. Занятая Литва и часть Белоруссии были отрезаны, все, что там творилось, стало известно лишь впоследствии.

А пока, в эти грозные месяцы, когда Наполеон, казалось, неудержимо и успешно стремится к своей цели и идет на Москву, сметая на своем пути все препятствия, и в высшем столичном дворянстве в Петербурге и в Москве и в огромной толще среднего, поместного дворянства страх перед возможным декретом об освобождении крестьян, который издаст Наполеон, неотступно стоял перед душевладельцами, и каждая новая весть об отступлении русской армии приводила их в отчаяние. Для дворянского, наиболее тогда активного и политически влиятельного класса, бесспорно, для большинства этого класса ненавистный Барклай, ответственный виновник бесконечных отступлений, был изменником или в лучшем случае позорным трусом еще с первых дней войны.

Вот почему упорный, безнадежный раздор между Барклаем де Толли, с одной стороны, и Петром Ивановичем Багратионом, с другой,— был не просто ссорой двух генералов, расхождением во мнениях двух стратегов. За этой борьбой со страстным вниманием следили все, кто стоял близко к штабам, а когда об этой борьбе узнал московский генерал-губернатор Ростопчин, то через его посредство и широкие дворянские круги приняли в ней страстное участие. Князь Багратион был тогда в расцвете своих сил и на вершине своей военной репутации. О нем заговорили впервые уже давно, в годы суворовских войн, и знали, что Багратион и Кутузов были любимцами Суворова, его учениками и помощниками, и что из них двоих именно Багратион воспринял полнее всего суворовскую тактику. О Багратионе ходили бесчисленные рассказы и легенды. У него была необыкновенная способность сохранять полнейшее спокойствие в самых, казалось бы, отчаянных обстоятельствах и брать на себя такие выступления, когда на один шанс сохранения жизни приходилось 99 потери ее. Это очень хорошо знали и солдаты, которые обожали Багратиона, как они не обожали никого, кроме Кутузова, после смерти Суворова, и начальство, которое этими свойствами Багратиона пользовалось неоднократно. Кутузов, когда ему нужно было в ноябре 1805 г., при отступлении к Ольмюцу, спасти русскую армию от капитуляции, выдвинул против всех полчищ Наполеона ничтожный отряд с Багратионом во главе, обрекая этот отряд на истребление, лишь бы выгадать нужное время. И Багратион блистательно исполнил поручение, сам только каким-то случаем спасшись от смерти. Таких событий в карьере Багратиона было сколько угодно. Он и от других требовал героизма. Служить при нем, в его штабе, считалось опасной, но высокой честью, и туда стремились попасть, хотя все знали, что багратионовские адъютанты на свете долго не заживаются.

К числу свойств этого человека, и таких, с которыми он ни-

когда не умел справляться, относилась его гневливость. Не то, чтобы Багратион был вспыльчивым в обычном смысле слова, напротив, он поражал всех своим величавым спокойствием, несловоохотливостью, восточной сдержанностью и сановитостью в обхождении. Но когда он находил предмет, казавшийся ему достойным его гнева и борьбы, то он не знал меры в своем раздражении, не сдерживал — и не хотел сдерживать — силы своих ударов и не всегда соразмерял в гневе свои удары с действительными требованиями борьбы.

Вот что говорит в своем большом специальном военно-историческом исследовании всех действий Багратиона от начала войны 1812 г. до Смоленска профессор Академии генерального штаба Иностранцев: «Среди сотрудников Суворова князь Багратион занимал первое место, и потому, конечно, действия его армии... должны были служить особенно характерным выражением искусства и системы его великого учителя... Характерной чертой князя Багратиона как полководца является глубокое понимание превосходства духа над материей, унаследованное им от его великого учителя».

Неустанная заботливость о солдате, идущая параллельно с предъявлением ему требований величайшего напряжения сил, уменье привлекать к себе сердца людей и владеть ими, высокое гражданское мужество, выражавшееся неоднократно в принятии решений, расходившихся с указаниями свыше, быстрота и твердость в выполнении, искусная организация форсированных маршей — вот главные характерные черты Багратиона, по мнению Иностранцева, этого наиболее глубокого (и наиболее овладевшего архивным материалом) специалиста, анализировавшего подробнейшим образом, не только день за днем, но час за часом, все военные действия и распоряжения Багратиона от Немана до Смоленска.

Никого не удивило бы, если бы, например, Александр в начале войны 1812 г. назначил его главнокомандующим. Но Александр этого не сделал. С другой стороны, царь боялся обидеть Багратиона назначением Барклая де Толли. С характерной для Александра половинчатостью и нерешительностью он назначил обоих: Барклая — командующим 1-й армией, Багратиона — командующим 2-й, причем каждый из них оказался независимым в своих действиях от другого. Это лукавое решение, очень запутывавшее все дела, дополнялось еще одной существенной чертой: 1-я армия (Барклая) была в два с лишним раза больше 2-й (багратионовской).

Началось нашествие, и тут между обоими командующими возникла та безнадежная ссора, о которой я выше упоминал. Багратион смотрел на тактику Барклая, как на тактику ошибочную. Он рвался в бой, но со своими ничтожными силами он

не мог, не губя своей армии, противостать огромным силам Наполеона, а все его призывы к Барклаю оставались безрезультатными. Неистовый гнев Багратиона возрастал и возрастал, потому что при отсутствии поддержки со стороны Барклая он принужден был и сам тоже отступать, а это он считал гибелью для России.

Еще не прошло и полных пяти дней с момента вторжения Наполеона на русскую территорию, как уже обнаружился полный раздор между обоими главными командирами русских армий.

«Но, государь, очень уже неприятно видеть, что князь Багратион, вместо того чтобы исполнять немедленно приказы вашего величества, теряет свое время на излишние рассуждения, да еще, сообщая их генералу Платову, запутывает голову этому генералу»,— так писал Барклай де Толли царю 17 июня 1812 г., видя, что Багратион решительно не желает повиноваться его приказам. Барклай знал, к своей величайшей досаде, что Багратион нисколько не верит, будто приказы из штаба 1-й армии идут от самого царя. Багратион не хуже Барклая понимал, что это лишь очень прозрачная хитрость со стороны Барклая и что пишет приказы не царь, а Барклай.

Багратион был в состоянии почти непрерывного раздражения. Он ненавидел Барклая и не верил ему. Уже с первых дней войны Багратион без ярости не может говорить о Барклае. Нельзя воспроизвести в печати всех слов, какие он пускает в оборот в своем письме от 15 (3) июля, писанном к Ермолову, начальнику штаба Барклая и личному другу Багратиона: «Стыдно носить мундир, ей-богу, я болен... Что за дурак... Министр Барклай сам бежит, а мне приказывает всю Россию защищать. Пригнали нас на границу, растыкали, как шашки, стояли, рот разиня, загадили всю границу и побежали... Признаюсь, мне все омерзело так, что с ума схожу... Прощай, Христос с вами, а я зипун надену». Он несколько раз в эти дни и недели отступления, последние недели своей жизни, грозил уйти в отставку, надеть зипун и солдатскую сумку, стать солдатом, надеть сюртук, сбросить «опозоренный» Барклаем русский мундир и т. д. Позднейшая военная критика не согласилась с Багратионом, и если иной раз высказывалось мнение, что, может быть, Барклай должен был дать генеральный бой под Смоленском, то во всяком случае отступление его от Вильны до Смоленска признается вполне правильным и логичным. «Я ни в чем не виноват,— писал Багратион Аракчееву 8 июля (26 июня) 1812 г.,— растянули меня сперва, как кишку, пока неприятель ворвался к нам без выстрела, мы начали отходить неведомо за что. Никого не уверишь ни в армии, ни в России, чтобы мы не были проданы. Я один всю Россию защищать не могу. Первая

армия тотчас должна идти к Вильне непременно, чего бояться? Я весь окружен и куда продерусь, заранее сказать не могу». Багратион хотел, чтобы Аракчеев повлиял на Александра, и он даже хочет пугнуть царя внутренними восстаниями: «Я вас прошу непременно наступать... а то худо будет и от неприятеля, а может быть, и дома шутить не должно. И русские не должны бежать. Это хуже пруссаков мы стали... но вам стыдно... Я не имею покоя и не вижу для себя, бог свидетель, рад все сделать, но надобно иметь и совесть и справедливость. Вы будете отходить назад, а я все пробивайся. Если фигуру мою не терпят, лучше избавь меня от ярма, которое на шее моей, а пришли другого командовать. Но за что войска мучить без цели и без удовольствия».

Багратион срывал свой гнев на Барклае. Не мог же он писать самому царю, чтобы тот не мешал ему! Ведь что спасло Багратиона от грозившей ему неминуемой капитуляции? Не только грубые ошибки бездарного Жерома Бонапарта, короля вестфальского, но и собственный блестящий стратегический талант русского полководца. Багратион получает в Слуцке известие, что к Бобруйску направляются громадные неприятельские силы. Не теряя ни одной минуты, форсированным маршем Багратион спешит к Бобруйску, чтобы успеть миновать опасное место, хотя знает, что Александр этого не желает и раздражен этим отходом. 14 июля Платов, по приказу Багратиона, имел удачное дело против французских конных егерей при местечке Мир, отбросил их и разгромил часть их полка. Это несколько задержало преследование и дало главным силам Багратиона возможность сравнительно более спокойно совершить свой отход. Вот, наконец, миновав страшнейшую опасность, спасши свою армию, спасши обозы, совершив дело, которое при таких условиях никто в тогдашней Европе, кроме разве самого Наполеона, не мог бы сделать, Багратион приходит в Бобруйск и здесь получает «рескрипт» Александра: царь (и до того времени зливший, смущавший и всячески сбивавший с толку Багратиона) изволит делать ему *выговор* за то, что Багратион не пошел в Минск, куда идти, по мнению Багратиона, не было никакого смысла и, главное, никакой возможности. В том же рескрипте царь давал и новые советы на будущее время, столь же несерьезные и ненужные. И опять Багратион, к счастью, как увидим дальше, не послушался. 25, 26, 27 июля Багратион, пройдя к Новому Быхову, перешел со всей своей спасенной им армией через Днепр.

4

В течение десяти жарких и томительных июльских дней Барклай шел от Дриссы через Полоцк к Витебску, последова-

тельно получая донесения от лазутчиков и от разведки, что Наполеон с главными силами тоже идет на Витебск. Если бы при Барклае была вся армия, которой он располагал на Дриссе, то и в таком случае можно было опасаться, что против 100 тысяч русских Наполеон приведет в Витебск от 150 до 200 тысяч человек. Но ведь у Барклая не было даже и полных 75 тысяч человек: он должен был выделить из своих 100 тысяч целую четверть (25 тысяч человек) для усиления Витгенштейна, охранявшего опасную дорогу на Петербург.

Тревога в Петербурге была большая, и придворная аристократия не очень задерживалась в том году в столице. Панически трусила мать Александра, вдова Павла I, императрица Мария Федоровна. Она все куда-то собиралась, укладывалась, наводила справки о максимально безопасных местах и т. д. Лишь когда Александр приехал в Петербург, где благоразумно и просидел всю войну, Мария Федоровна несколько поуспокоилась. В такой же тревоге находился и цесаревич Константин Павлович. Но он больше возлагал свои надежды не на бегство, а на скорейший мир с Наполеоном. Впрочем, Константин еще пока был «при армии», т. е. путался в штабе, давал советы, раздражал Барклая до того, что молчаливый и сдержанный Барклай начинал несправедливо нападать на своих адъютантов за невозможностью выругать от души назойливого цесаревича, который не только своей надменной курносой физиономией, но и нелепостью мышления напоминал своего отца Павла Петровича.

Итак, нужно было защищать Петербург с его правительственными учреждениями, с царской семьей. Такова была задача, возложенная Барклаем на Витгенштейна.

Генерал Витгенштейн был полководцем очень посредственным и нерешительным, к тому же ответственная роль защитника Петербурга сильно его подавляла. Еще в первые дни войны он имел неудачное столкновение с французами и предпринял вынужденное отступление к Друе. В войсках Витгенштейна было много отрядов ополчения. Но ведь ополченцы нисколько не уступали регулярным войскам в храбрости, упорстве, ненависти к врагу. Вот характерный случай. Витгенштейн приказывает пехоте отступить. И вот что произошло, по словам очевидца: «Регулярные войска тотчас же повиновались, но ополчение никак не хотело на то согласиться. «Нас привели сюда драться,— говорили ратники,— а не для того, чтоб отступать!» Сие приказание было повторено вторым и даже третьим адъютантом, но ополчение не хотело и слышать этого. Храбрые ратники, незнакомые еще с воинской подчиненностью, горели только желанием поразить нечестивого врага, пришедшего разорять любезную их родину».

Дело дошло до того, что сам командующий северным фронтом Витгенштейн должен был примчаться уговаривать ополченцев. Не стрелять же было в них? Обратимся снова к рассказу очевидца: «Наконец, приезжает и сам генерал. «Ребята,— говорит он,— не одним вам драться с неприятелем! Вчера мы его гнали, а сегодня моя очередь отступить. Позади вас поставлены пушки; если вы не отойдете, то нельзя будет стрелять».— «Изволь, батюшка,— отвечали они: — что нам заслонять пушки, а от неприятеля не отступим!»

В конце концов Витгенштейн кое-как уломал их. Ополченцы «отошли с досадой, говоря генералу: ты велел — ты и отвечай». После артиллерийского огня двинули и ополчение на французов. «Ратники подобно разъяренным львам бросились на неприятелей и не замедлили нанести им знатную потерю».

Мы увидим дальше, что ополченцы, влившиеся в армию Кутузова, нисколько не уступали ополченцам, которыми располагал Витгенштейн. Это были крестьяне, часто уже немолодые, взятые от сохи буквально иногда за несколько дней, в лаптях или рваных сапогах, в сермяге вместо мундира и шинели, с пиками вместо сабель и ружей, завидовавшие солдатам регулярных частей, которые шли в бой вооруженными, но сражавшиеся не хуже их.

У Витгенштейна в распоряжении было 25 тысяч человек. Против Витгенштейна шел маршал Удино (герцог Реджио). У маршала Удино было около 28 тысяч человек, хотя Наполеон распорядился с начала вторжения, чтобы у него было 37 тысяч, потому что, по мысли императора, Удино должен был, соединившись с Макдональдом, осаждавшим Ригу, угрожать Петербургу. Удино занял Полоцк и пошел к северу, стремясь, согласно уговору с Макдональдом, обойти Витгенштейна с севера и, отбросив его к югу, т. е. к левому флангу центральной наполеоновской армии, уничтожить весь витгенштейновский корпус и открыть себе дорогу на Петербург. Из этого, однако, ничего не вышло. Макдональд не выполнил ни одного из всех тех действий, какие были уговорены между ним и Удино, а раздробил свои силы между осадой Риги и г. Динабургом, куда благополучно вошел, но где и застрял. Знаменитый наполеоновский маршал, который за всю свою долгую боевую жизнь был побежден только один раз — и побежден в Италии самим Суворовым,— не потому оказался тут несостоятельным, что сробел перед Витгенштейном, который как стратег и тактик был в сравнении с ним ничтожной величиной, но дело было в том, что Макдональд совсем не верил своим войскам. Наполеон дал ему 32 500 человек, из которых две трети были пруссаки, а в остальной трети — почти все вест-

фальцы и баварцы и только немного поляков. Из всех этих войск усердствовали одни пруссаки.

В первый, самый тяжкий и опасный для России период войны прусские генералы, вторгшиеся в Россию под общим командованием и в составе корпуса маршала Макдональда, дрались, что называется, не за страх, а за совесть, потому что уповали, как и сам благочестивый их монарх Фридрих-Вильгельм III, получить от Наполеона в награду значительную часть русской территории — именно, весь Прибалтийский край. Русские сначала думали, что пруссаки участвуют в войне только для вида, чтобы не раздражить Наполеона, и что по-настоящему биться с русскими они не станут, но, к своему удивлению, они поняли, что ошиблись. «По предположению, довольно вероятному, что прусские подданные принужденно будут вовлечены в неприятельские противу нас действия, можно было надеяться на слабое их противу войск наших сопротивление, а потому старался я оказывать некоторые виды приязненности в отношении Пруссии, думая поддержать усердие их к нам, но как довольно удостоверился я, что при нападении неприятеля на отряды командуемых мною войск и при сильном сопротивлении и поражении пруссаки дерутся даже отчаянно», то и решено было наложить в рижском порту эмбарго на прусские суда, там находящиеся[18]. Пруссаки не только исправнейшим образом убивали русских солдат, но и «под метелочку», как выразился один очевидец, ограбили весь край, который они занимали в 1812 г. Но едва Наполеон ушел из России, пруссаки немедленно переметнулись на сторону России.

Не полагаясь на баварцев и вестфальцев своего корпуса, Макдональд бездействовал. Удино остался без поддержки и, желая обойти Витгенштейна, сам оказался обойденным. Между Клястицами и Якубовым он встретился с Витгенштейном, и встретился как раз тогда, когда целую треть своего отряда должен был отделить для охраны мостов через Дриссу, а другую треть под начальством генерала Вердье отправил к Себежу. 30 июля Витгенштейн имел успех в столкновении с сильно ослабленным таким образом маршалом Удино и отбросил маршала с его позиции обратно к Полоцку. Арьергардом Витгенштейна командовал генерал Кульнев, который и пустился преследовать отступающего маршала. Кульнев, подобно Н. Н. Раевскому, Багратиону, Неверовскому, Кутузову, был одним из очень немногих генералов, достигавших полной власти над солдатами без помощи зуботычин, палок и розог. Один из главных участников завоевания Финляндии, Кульнев так великодушно, по-рыцарски вел себя по отношению к побежденным, что его памяти посвящено несколько очень теплых

строф в национальной финляндской поэме Рунеберга «Рассказы прапорщика Штоля», в которой воспевается сопротивление финляндского народа царскому завоеванию. Но была у Якова Петровича Кульнева одна слабая сторона: он необычайно увлекался в битве и действовал нередко очертя голову, безумно рискуя и своей и чужой жизнью. В бою под Клястицами 30 июля не его начальник Витгенштейн, а именно он, Кульнев, был победителем Удино, взял почти весь обоз маршала и 900 пленных. Увлекшись на другой день преследованием французов, Кульнев со своими 12 тысячами, которые отделил ему для этого Витгенштейн, бросился за отступающим маршалом. Неосторожно подавшись вперед, он натолкнулся на остановившийся внезапно и быстро построенный вновь в боевой порядок отряд Удино. Кульнев попал между двух огней и был отброшен с тяжкими потерями. Его отряд потерял около 2 тысяч человек и восемь орудий. Когда разбитый отряд уже отступал под огнем французских батарей, Кульнев, передают очевидцы, «печально шел в последних рядах своего арьергарда», подвергаясь наибольшей опасности обстрела. Французское ядро ударило в него и оторвало обе ноги. Смерть последовала почти моментально. Разбив Кульнева, отряд маршала Удино все-таки вернулся в Полоцк и здесь с этих пор, т. е. со 2—3 августа, долго стоял в бездействии. Корпус Витгенштейна тоже не подавал особых признаков жизни, довольствуясь больше обсервационной, чем непосредственно активной ролью. А Макдональд по-прежнему казался бесцельно им мобилизованным между Ригой и Динабургом.

Наполеон узнал обо всех происшествиях на северном фланге уже будучи в Витебске. Он был всем этим очень раздражен и недоволен. Он узнал, конечно, что никакой настоящей победы, о которой трубили в Петербурге и в Англии, Витгенштейн над маршалом Удино не одержал. Но не в этом было дело. Император должен был примириться с тем, что и никакой существенной помощи оба его действующие на севере маршала, Удино и Макдональд, ему уже не окажут и что серьезной диверсии на Петербург русские могут не бояться.

В свою очередь и в Петербурге стало вполне ясно, что решающие действия разыграются не на петербургских, а на смоленских путях и, может быть, на московских.

Барклай и Багратион, теснимые неприятелем, отступали на Витебск и Могилев при страшной жаре, полуголодные, по целым дням не видя свежей воды. Отступление обеих русских армий было очень тяжелым. Был иной раз плох офицерский состав. Храбрости среди офицеров было сколько угодно, но иногда неосторожность, небрежность, неуменье найтись в труд-

ную минуту мешали и Барклаю и Багратиону, не всегда давали им возможность быть твердо уверенными в том, что их приказы будут выполнены.

Интендантская часть была поставлена из рук вон плохо. Воровство царило неописуемое. Вот вступает в Поречье отходящая от французов армия Барклая (дело было в конце июля). Обнаруживается, что нечем накормить лошадей. А где же несколько тысяч четвертей овса, где 64 тысячи пудов сена, которые должны находиться, по провиантским бумагам, в магазинах Поречья и за которые казна уже уплатила все деньги? Оказывается, как раз только что провиантский комиссионер распорядился все это сжечь, полагая, по своим стратегическим соображениям, что Наполеон может захватить Поречье. Ермолову это показалось подозрительным, он потребовал справки: когда велено было закупить и свезти весь этот овес и все сено в магазины Поречья? Оказалось, что всего две недели тому назад. А так как перевозочных средств было очень мало (почти все подводы были уже взяты армией), то в такой короткий срок свезти все было никак нельзя. Наглая ложь комиссионера выяснилась вполне: он, конечно, и не думал ничего покупать и свозить, а просто сжег пустые магазины и этим аккуратно свел баланс в отчетной ведомости. Ермолов, обнаружив это, сказал Барклаю, что «за столь наглое грабительство достойно бы, вместе с магазином, сжечь самого комиссионера» [19]. Но к этой мере не прибегли. Да и было бы бесполезно: нельзя же было сжечь все провиантское ведомство в полном личном составе. И поплелись дальше некормленные лошади, таща артиллерию и голодных всадников.

Очень плоха была и медицинская часть. Врачей было ничтожное количество, да и те были плохи. Организация помощи раненым решительно никуда не годилась.

«Большая часть раненых офицеров и солдат остается после первой перевязки без подания дальнейшей помощи» [20],— констатирует главный медицинский инспектор русской армии Вилье уже в первые дни войны. Потом дело пошло не лучше, а еще гораздо хуже. Раненные около Витебска в начале июля только 7 августа прибывают в Вязьму без всякой даже самой примитивной медицинской помощи: «Многие из них от самого Витебска привезены не перевязанные, ибо при них было только двое лекарей, а в лекарствах и перевязках — совершенный недостаток, многих черви едят уже заживо» [21],— так пишет министр внутренних дел Козодавлев Александру 19 (7) августа, т. е., значит, еще до прибытия новых тысяч и тысяч, раненных при обороне при оставлении Смоленска.

Так отступали отделенные друг от друга обе небольшие русские армии, преследуемые наседающими французами.

Наполеон гнался за победой, за новым Аустерлицем, которого он не нашел на Немане, который ускользнул от него в Вильне.

5

Всего только спустя час после ухода русских войск из Вильны туда явился Наполеон с авангардом. Мост, зажженный ушедшими русскими, еще горел. Наполеон сел на складной стул возле горевшего моста и стал расспрашивать. Он продолжал эти расспросы и во дворце, откуда незадолго выехал Александр и где теперь поселился он сам. Чаще всего он спрашивал, почему русские не дали ему сражения и где они предполагают остановиться. Когда один из опрошенных (редактор «Курьера литовского») сказал, что у русских армия в 300 тысяч человек, то Наполеон сейчас же возразил, что это ложь, и протянул ему разорванный в клочки, но найденный и склеенный французами рапорт начальника штаба Барклая де Толли самому Барклаю; из этого документа явствовало, что продовольствия для всей армии Барклая отпускалось на 92 тысячи человек[22]. Даже предполагая, что у Багратиона не меньше сил, Наполеон мог вывести заключение, что у русских для непосредственной борьбы с ним есть не более 185 тысяч человек. На самом деле, как мы видели, было еще меньше. А он не мог не знать, что у Багратиона меньше войск, чем у Барклая, потому что при армии Барклая — сам царь и армия Барклая должна защищать Дрисский лагерь и Петербургскую дорогу. Но раньше чем двинуться против русских, Наполеон должен был заняться в Вильне рядом неотложных дел.

«Мой друг, я в Вильне и очень занят. Мои дела идут хорошо, неприятель был очень хорошо обманут... Вильна — очень хороший город с 40 тысячами жителей. Я поселился в довольно хорошем доме, где немного дней тому назад жил император Александр, очень тогда далекий от мысли, что я так скоро войду сюда» [23],— так писал Наполеон императрице Марии-Луизе вскоре после вступления в город.

В Вильне он пробыл с 28 июня по 16 июля 1812 г. Польское дворянство чествовало его, как только могло. Его называли спасителем и отцом польского отечества, воскресителем Польши из мертвых и т. д. И далеко не сразу Наполеон мог всецело отдаться военным неотложным делам.

Жомини считает величайшей ошибкой, какую Наполеон совершил за всю свою жизнь, то обстоятельство, что он так долго просидел в Вильне. По мнению этого военного историка, который проделал войну 1812 г. в качестве бригадного генерала в наполеоновской армии, если бы Наполеон, не задержи-

ваясь в Вильне, пошел прямо к Минску, он не дал бы ускользнуть Багратиону, настиг бы и уничтожил его.

Но очень уж много разнообразнейших забот обступило Наполеона со всех сторон. Нужно было устраивать Литву, организовывать ее гражданское правление; нужно было вести тонкую, сложную политику, не давая никаких *точных* обещаний полякам (насчет присоединения Литвы к Польше), чтобы не затруднять этим всегда возможного мира с царем; нужно было зорко следить за обостряющимся положением в Испании; нужно было, ничего не давая самой Литве, организовать планомерное выкачивание из этой страны хлеба, сена, овса и новобранцев.

«Я люблю поляков на поле битвы,— это храбрый народ; но что касается их законодательных собраний, их «свободного вето», их сеймов, когда они заседали верхом на лошади, с саблей в руках, то *этого* я не хочу»,— заявил Наполеон графу Нарбонну еще перед переходом через Неман.

Он так и поступал с поляками в Вильне: ровно никаких гарантий им не давал, держал очень двусмысленные речи насчет будущего «воскрешения» Польши и присоединения к ней Литвы, но очень нетерпеливо и надменно требовал провианта и людей.

Все эти заботы бледнели перед другой тревогой, которой еще не было в душе Наполеона, когда он переходил через Неман, но которая, появившись в Вильне, уже не покидала императора в продолжение всей войны.

В первые же дни июля Наполеон стал отдавать себе отчет в тяжелых сторонах континентального климата при русском бездорожье; маршалы писали ему об этом в Вильну. «У нас тут была большая жара, теперь же очень сильные дожди, которые создают нам затруднения и приносят нам большой вред» [24],— пишет император жене 2 июля.

Болезни угрожающе косили ряды армии уже с первых дней похода. В виде примера достаточно сказать, что при выступлении Наполеона из Вильны даже из немногих отборных полков, стоявших в самом городе, 3 тысячи больных и раненых солдат великой армии были оставлены в Вильне, и в самом конце июля Наполеон узнал, что они находятся в совсем отчаянном положении, что у них нет даже соломы, на которую можно было бы лечь, и что в складах не осталось никаких запасов [25]. Он написал суровый приказ в Вильну герцогу Бассано. Конечно, ни малейших реальных результатов от этого приказа не получилось.

Но хуже всего, даже хуже болезнетворной жары, было неожиданное, в высшей степени тяжелое положение с продовольствием людей и кормом для лошадей. Быстрота движения

армии, за которой не мог угнаться обоз, породила голод и мародерство.

У Наполеона были заготовлены колоссальные магазины, обильнейший обоз, но все эти бесконечные фуры не могли угнаться за быстро двигавшейся армией, и, еще не войдя даже в пределы России, солдаты, лишенные регулярной выдачи довольствия и фуража, стали грабить население. Еще шли по земле «союзника», по Пруссии, а уже обозы отстали, и, как пишет очевидец и участник войны Росс, последовал «странный приказ: всем полкам запастись на три недели фуражом и провиантом... И вот, по деревням и дворам... отправлены были команды с офицерами во главе, с поручением вытребовать, забрать и привезти в свои полки все необходимое. Эти команды всюду натыкались на другие, отправленные с той же целью. Никто не принимал отказа, ибо никто не смел вернуться с пустыми руками, а потому происходил просто насильственный дележ добытого. Таким образом быстро опустошены были всякие припасы из амбаров, житниц... Отпирали конюшни, впрягали вьючный скот, грузили фураж и провиант, прихватывали кстати убойный скот, привязывали его к телегам — и марш в полк! Этот приказ, столь быстро выполненный, до такой степени начисто обобрал жителей той местности, что они со всей силой почувствовали войну еще до ее начала» [26]. Все это творилось в Пруссии, союзной стране, до начала войны. В России, стране неприятельской, церемонились несравненно меньше.

Не только далеки были заготовленные в Пруссии гурты быков, не только отставали обозы, но и полковые пекарни и кухни не успевали использовать муку и мясо, когда припасы в начале кампании еще были налицо. Наполеон гневался: «Передайте генералу Жомини,— писал император 22 июля своему начальнику штаба Бертье,— что нелепо говорить, что нет хлеба, когда есть 500 квинталов муки на каждый день; что, вместо того чтобы жаловаться, нужно вставать в четыре часа утра и самому отправляться на мельницы и в провиантскую часть и заставлять, чтобы изготовляли 30 тысяч рационов хлеба в день; но что если он будет только спать и плакать, то он ничего не получит; что император, у которого много занятий, сам ежедневно посещает провиантскую часть» [27]. Но скоро ни муки, ни мяса, ни овса, ни сена долгими днями уже ниоткуда не получалось. И мародерство снова выступило на первый план.

Сложнейшие заботы обступали Наполеона. Он раздражался не только медленностью движения больших обозов великой армии из Пруссии в Литву, но и еще не менее тревожным обстоятельством, которое начало проявляться уже с начала похода.

Ни в одной наполеоновской войне, за исключением итальянской кампании 1796—1797 гг. и завоевания Египта в 1798—1799 гг., войска не грабили так бесцеремонно и не опустошали так занятую местность, как в 1812 г. в России.

Уже 2 июля, через каких-нибудь восемь дней после вторжения в русские пределы, Наполеон подписал суровый приказ по армии: арестовывать всех солдат, уличенных в грабеже и мародерстве, предавать их военно-полевому суду и в случае обвинительного приговора расстреливать немедленно. Но даже частые расстрелы, перед чем никогда не останавливался маршал Даву, не помешали продолжающимся непрерывным грабежам со стороны войск 1-го корпуса французской армии, занявшей Минскую губернию; о других корпусах нечего и говорить. Но еще больше, чем эти солдатские грабежи, разоряли Минскую, Витебскую, Виленскую, Гродненскую, Смоленскую губернии официальные поборы и реквизиции, налагаемые французскими властями. Приказом от 1 июля Наполеон учредил в Вильне правящую комиссию Литвы, и эта комиссия должна была управлять Литвой и Белоруссией, т. е. попросту организовать насильственное отнятие как у помещиков, так и у крестьян всех припасов (прежде всего хлеб, солому, сено и овес), нужных для великой армии. Комиссия действовала беспощадно и привела в состояние полной нищеты всю громадную область, где она эти полгода, с конца июня по декабрь 1812 г., «правила».

Немного припасов французам удалось получить на русских складах. Русская армия отступала так быстро из Вильны, что не успевала забирать по пути и по сторонам от своего движения накопленные там припасы. Например, в Вилейке в руки генерала Кольбера попало 2 тысячи квинталов муки, от 30 до 40 тысяч рационов сухарей и много овса. Наполеон был в восхищении от этой находки, которая пришлась как нельзя более кстати: лошади во французской кавалерии падали тысячами от отсутствия овса, а сухари и мука тоже далеко не во всех частях великой армии оказывались в изобилии [28].

Этот случай был не единичен.

В Старом Лепеле французы нашли 750 мешков муки и 327 тонн сухарей [29]. В Орше Наполеон нашел огромные склады.

Но не всегда от этих находок было много толку: армия быстро двигалась к Витебску, а перевозочных средств не хватало. Только что Наполеон радовался, что в Орше нашлось огромное количество муки, а уже 21 июля император раздражается и пишет генералу Груши запрос, почему он не присылает эту муку в Глубокое, где сосредоточивается центр великой армии. «Мы в величайшей нужде» [30].

Дисциплина в великой армии совсем не походила на обычную дисциплину наполеоновских войск, так восхищавшую военных людей разных наций.

Один из ограбленных, виленский помещик Эйсмонт, вздумал как-то заикнуться о том, как, «по словам библии», бесчисленное войско фараона погибло в пучине Красного моря. Но это сравнение успеха не имело: «Когда я сие мое замечание сообщил некоторым последователям Наполеона, то едва не сделался жертвой моей откровенности, ибо один из сумасбродных выпул полуаршинный кинжал и бросился ко мне, закричав: «Умри, не верующий в могущество земного бога и его непостижимый порядок...» И вот от сих пор научился я молчать» [31].

Грабили, по единодушным отзывам литовцев и потом русских, больше всего баварцы, пруссаки, рейнские немцы, хорваты (из итальянского корпуса вице-короля Евгения). Императорская гвардия почти совсем не грабила. Но это не удивительно: она получала несравненно больше продовольствия, чем остальная армия.

Самая армия была не та, что прежде. В ней не было прежних волонтеров, она была даже не чисто французская, а какая-то громадная всеевропейская. Дисциплина, как сказано, не походила на ту, которая всегда царила в наполеоновских войсках. И это замечали более опытные французские офицеры постарше с первых же дней похода, они предвидели много бед и не переставали с тревогой повторять, что армия грабит, мародерствует, отстающих, дезертирующих — масса и что дело может от этого страшно пострадать.

«Но уже сказано было, что в этой кампании ничего не будет делаться так, как делалось в прежних кампаниях» [32],— это характерное замечание мы находим в рукописи одного пленного французского генерала, начальника штаба 3-й кирасирской дивизии.

Никогда еще Наполеону не приходилось в самые первые дни войны выслушивать столько докладов о дезертирах, об отстающих, о солдатах, покидающих ночью полк, чтобы образовывать грабительские мародерские шайки. Дело дошло до того, что император приказал своему начальнику штаба Бертье передать маршалу Нею повеление: «Разослать отряды кавалерии под начальством офицеров главного штаба, чтобы изловить отставших, многие из них совершают преступления и кончают тем, что попадают в руки казаков» [33]. И этот приказ пришлось отдать 4 июля, т. е. ровно через десять дней после открытия кампании. Грабеж, конечно, не прекратился, а продолжался под видом «питания от квартирохозяев».

Французы составляли на этот раз меньшинство в наполео-

оновской армии. Большинство же состояло из немцев, итальянцев, голландцев, португальцев, испанцев, иллирийских славян, хорватов, швейцарцев.

Тут были люди, от души ненавидевшие Наполеона как поработителя их отечества, и шли они на войну исключительно из страха. Дезертирство для многих из них было пламенной, любимой мечтой с первого же момента вступления на русскую территорию. Конечно, другие в их среде шли, надеясь на личное обогащение, на повышение, на те выгоды, которые так щедро сыпались всегда на наполеоновскую армию во время и после всякого похода.

Но, конечно, убийственно провалилась идея Наполеона забирать в свою армию также и испанцев только потому, что они «числились» подданными Жозефа Бонапарта.

Интересно отметить, что Наполеон отлично знал, что, например, образовывать полки сплошь из испанцев — хотя бы при французах-офицерах — дело рискованное. «Такие полки пробуют сформировать, но на них не рассчитывают» [34],— писал он еще перед нашествием на Россию графу Дарю. Он предпочел вливать понемногу испанцев в чисто французские батальоны. Но и это плохо удалось: испанцы всюду оставались испанцами, ненавидящими Наполеона.

Испанцы, силой забранные в армию, не только не хотели отдавать свою жизнь для завоевания России, но норовили и тут продолжать свою бесконечную, непримиримую войну не против русских, а против французов. Вот сцена еще из того периода войны, когда наполеоновская армия быстро продвигалась в глубь России. Рассказывает французский лейтенант Куанье, дело происходит по пути из Вильны в Витебск: «Один сгоревший лес лежал вправо от нашего пути, и когда мы с ним поровнялись, я увидел, что часть моего батальона пустилась как раз туда, в этот сожженный лес. Я скачу галопом, чтобы вернуть их назад. Каково же было мое удивление, когда вдруг солдаты оборачиваются ко мне и начинают в меня стрелять... Заговорщики были из солдат Жозефа... (брата Наполеона, испанского короля), все без исключения испанцы. Их было 133; ни один француз не замешался среди этих разбойников». На другой день испанцы были схвачены французским кавалерийским отрядом. Полковник решил расстрелять не всех, а половину. Началась лотерея: часть вынимаемых билетиков была белая, часть черная. 62 человека, вынувшие черные билеты, были тут же, на месте, расстреляны, остальных полковник помиловал [35].

Подобные эпизоды показывали чрезвычайно ясно, до какой степени забота Наполеона о *количестве* солдат великой армии повредила ее *качеству*.

6

Находясь в Вильне, Наполеон должен был одновременно обдумать и предпринять две операции: против Багратиона, отступавшего со 2-й армией (45 тысяч человек) к Несвижу, и против Барклая, который уже 26 июня вышел из Вильны со своей 1-й армией (около 100 тысяч человек) по направлению к Дрисскому укрепленному лагерю на Двине.

Наиболее трудным было положение Багратиона, и Наполеон сразу же велел двинуть против него большие силы. По его приказу в погоню за Багратионом вышел из Вильны маршал Даву с 50 тысячами человек. Даву шел через Ошмяны на Минск, обходя Багратиона и отрезая отступление. Своему брату, вестфальскому королю Жерому Бонапарту, у которого было около 16 тысяч человек, Наполеон велел идти на Новогрудок, предупреждая движение туда Багратиона, который 29 июня еще был у Немана. Багратиону грозила капитуляция или полнейшее истребление.

В два часа ночи 1 июля Наполеон послал маршалу Даву следующий приказ: «Сегодня уже нет сомнения, что Багратион прошел из Беженца на Гродно, из Гродно прошел в шести лье от Вильны и направился в Свенцяны. Я организовал три сильные колонны для того, чтобы его преследовать. Все три будут под вашим начальством»[36]. Даву находился в этот момент в Ошмянах.

Положение Багратиона казалось отчаянным. У него было около 40 тысяч человек, так как целых две дивизии были уже при начале преследования отброшены на Волынь. За ним гнались маршал Даву с 70 тысячами, Понятовский с 35 тысячами, король вестфальский Жером Бонапарт с 16 тысячами, Груши с 7 тысячами и Латур-Мобур с 8 тысячами. Французские показания (Бельфора и др.) говорят нам, что если из этих 136 тысяч вычесть отставших, больных, мародеров, даже 46 тысяч человек, то все же останется 90 тысяч свежего, великолепно вооруженного войска с обильной кавалерией. И все-таки Багратион ушел. Французские командиры сваливали вину один на другого. Отбиваясь с обычным своим мастерством и упорством от наседавшего на него Даву, Багратион бросился к югу и здесь мог бы погибнуть, если бы Жером Бонапарт пришел вовремя и перерезал ему путь. Но Багратиону удалось уйти раньше, чем сомкнулись французские клещи.

Маршал Даву, преследуя Багратиона, занял Могилев, занял Оршу и двинулся дальше. Столкнувшись с корпусом Раевского и наблюдая казачьи разъезды Платова, посланные Багратионом к Могилеву для маскировки собственного его отступления со всей 2-й армией, Даву замедлил движение и тут сделал

убийственную ошибку, послав за Багратионом корпус Жерома Бонапарта, вестфальского короля, наиболее бездарного из всех бездарных братьев Наполеона. Для Багратиона уйти от Жерома, сбить его с толку и замести все свои следы было, что называется, вопросом жизни и смерти. Он ушел от страшной опасности. Если бы Даву стал быстро и круто теснить и догонять его со всеми своими силами, катастрофа 2-й русской армии была бы очень возможна, и во всяком случае благополучное соединение Багратиона с армией Барклая в Смоленске было бы немыслимым.

Уже 5 июля для Наполеона стало вполне очевидно, что его брат Жером упустил Багратиона и что вся эта операция в первом своем фазисе провалилась, но еще и теперь малейшая ошибка Багратиона могла его погубить. Что Жером напортил и напутал столько, сколько было в его силах, это императору стало ясно: «Сообщите вестфальскому королю,— разгневанно диктовал он Бертье,— что я крайне недоволен тем, что он не отдал все свои легкие войска князю Понятовскому для преследования Багратиона, чтобы тревожить его корпус и остановить его движение... Скажите ему, что невозможно маневрировать хуже, чем он это делал. Этого мало. Скажите ему, что все плоды моих маневров и прекраснейший случай, какой только представился на войне, потеряны вследствие этого странного забвения первых правил войны» [37].

Наполеон 6 июля дает новую директиву: «Нужно либо заставить Багратиона идти в Могилев, либо отбросить его в Пинские болота. И в том и в другом случае французские части могут войти в Витебск раньше Багратиона, и Багратион окажется отрезанным». Одновременно Наполеон приказом от 6 июля подчинил Жерома со всеми его корпусами маршалу Даву [38].

7 июля надежды Наполеона оживились: прибыли сведения. «Багратион в Новогрудке, преследуемый со всех сторон»,— писал император вице-королю Евгению Богарне из Вильны. Но это было ошибочно. Багратион снова ушел.

7 июля Багратион послал секретный приказ полковнику Грессеру, стоявшему с отрядом в Борисове: «Узнав, что неприятель должен находиться в Минске, предписываю вам, как скоро он приблизится в 30 верстах, не ожидая другого повеления, заклепать все пушки, бросить их в воду и самим с вверенной вам командой отступить в Бобруйск» [39].

Наполеон вскоре уже окончательно понял, что Багратиона не удалось окружить, и, вероятно, убедился, что Багратион — не генерал Мак и не похож на прусских генералов и что этот русский командующий, несмотря ни на что, приведет в Смоленск свою армию в полной боевой готовности.

Наполеон вновь и вновь гневно обрушился на своего бездарного брата, злополучного Жерома: «То, что вы не были осведомлены о том, сколько Багратион оставил на Волыни, что вы не знали, сколько дивизий при нем находится, что вы даже не стали его преследовать и что он мог совершить свое отступление так спокойно, как если бы никого позади него не было,— все это противно всем военным правилам» [40].

Багратион, стоя в Несвиже, вечером 10 июля узнал, что маршал Даву со своим корпусом уже вошел в Минск, что король вестфальский Жером Бонапарт наступает на него из Новогрудка и что одновременно появились французские разъезды и на его левом фланге. Значит, грозят обход, окружение и капитуляция. 10 июля Багратион пришел в Слуцк, а из Слуцка пошел, все ускоряя темп отступления, к Бобруйску, куда и прибыл 18 июля. Все время ему грозила страшная опасность: маршал Даву занял последовательно Свислочь, Минск, Оршу и явно ставил себе целью отрезать Багратиону путь к дальнейшему отступлению. 19 июля Багратион, еще находясь в Бобруйске, узнал, что маршал Даву подходит уже к Могилеву. Багратион очень скоро после первого известия получил и другое — что Даву уже занял Могилев. Он тогда отрядил Раевского, дав ему 15 тысяч человек, против Даву. 23 июля началась битва между деревнями Дашковкой и Салтановкой. Бой, очень упорный, продолжался с перерывами весь день и стоил французам потери $3^1/_2$ тысяч, а Раевскому $2^1/_2$ тысяч человек. Раевский отступил, но это сражение дало возможность Багратиону 26 июля беспрепятственно добраться до Нового Быхова и перейти там Днепр. Такова рассказанная в нескольких словах история страшных дней, когда Багратион спас свою армию от капитуляции. Остановимся теперь на некоторых подробностях этого отступления Багратиона. За ним все время шел в качестве арьергарда конный отряд под начальством Платова. В этом отряде, кроме сборных казачьих и кавалерийских частей, находилась также гренадерская дивизия М. С. Воронцова. В Слуцке 13 июля Багратион узнал тревожнейшие факты. Даву выслал кавалерию по прямому пути на Бобруйск, а на другой день, 14-го, начальник арьергарда Платов донес ему, что большие французские силы напирают на арьергард и что с 28 июня ему приходится ежедневно выдерживать бои.

Дело в том, что еще 8 июля Даву занял Минск и пошел оттуда к Березине. Багратион со своими 45 тысячами человек оказался вновь в очень критическом положении. Он отступал, очень растянув свою армию, по узким дорогам между болотами. Когда Наполеон узнал о положении армии Багратиона, он воскликнул: «Они у меня в руках!» В этот момент он, очевидно, забыл, что сам же называл Багратиона лучшим генера-

лом русской армии. Даву провел в Минске четыре дня. Багратион искусным маневром забрал сильно к югу, достиг Березины у г. Бобруйска, перешел в Бобруйске через Березину и пошел к Днепру. Днепр он хотел перейти у Могилева, но, узнав по дороге, что Могилев уже занят войсками Даву, вышедшими из Минска, отошел с боем, уничтожив при этом, по признанию Сегюра, целый полк легкой кавалерии французов, затем приказал Раевскому задерживать всеми силами, до последней возможности, Даву у местечка Дашковки, а сам двинулся к Новому Быхову, где и перешел Днепр 25 июля. Другая часть его войск перешла Днепр у Старого Быхова.

23 июля Раевский с одним (7-м) корпусом в течение десяти часов выдерживал при Дашковке, затем между Дашковкой, Салтановкой и Новоселовым упорный бой с наседавшими на него пятью дивизиями корпусов Даву и Мортье. Когда в этой тяжкой битве среди мушкетеров на один миг под градом пуль произошло смятение, Раевский, как тогда говорили и писали, схватил за руки своих двух сыновей, и они втроем бросились вперед [41]. Николай Николаевич Раевский был, как и его прямой начальник Багратион, любимцем солдат. Поведение под Дашковкой было для него обычным в тяжелые минуты боя. Это не мешало Николаю I впоследствии оставить без малейшего внимания все ходатайства старого генерала за своего зятя, декабриста Волконского. Войско Раевского ничуть не уступало своему командиру. Вот что доносил скупой на похвалы Раевский своему начальнику Багратиону после битвы между Салтановкой и Дашковкой: «Я сам свидетель, что многие офицеры и нижние чины, получив по две раны и перевязав их, возвращались в сражение, как на пир. Не могу довольно выхвалить храбрости и искусства артиллеристов: все были герои».

Итак, корпус Раевского в течение всего дня упорно выдерживал у местечка Дашковки натиск маршала Даву, давая время всей армии Багратиона идти к переправе через Днепр. 24 июля утром Багратион послал приказ Раевскому идти к Новому Быхову и дальше по мосту через Днепр. К удивлению и к счастью Раевского, Даву не преследовал его. Французский маршал был убежден именно вследствие упорства боя с Раевским, что Багратион идет к Могилеву и примет генеральное сражение, и стал сосредоточивать свои силы у Могилева. Весь этот маневр Багратиона и был рассчитан на то, чтобы внушить французам мысль, что он идет к Могилеву и там примет генеральный бой. И первые по времени военные критики и историки похода, лично не бывшие в этот период в штабе Багратиона, как, например, Клаузевиц, находившийся в армии Барклая, пишут, что Багратион пошел к Смоленску

«после тщетной попытки пробиться через Могилев»[42]. Эта «тщетная попытка» все-таки на несколько дней обманула Даву.

На левом берегу Днепра Багратион уже вышел из французских клещей. Маршал Даву только спустя сутки узнал о переходе Багратиона на левый берег Днепра, о чем и донес немедленно императору. Наполеон был очень недоволен этим неожиданным спасением Багратиона от неминуемого, казалось, разгрома и плена или полного уничтожения. Правда, несмотря на все ошибки Жерома (отставленного за бездарность и вернувшегося обратно в свое Вестфальское королевство), несмотря на опоздание и задержку самого Даву в Минске, все-таки частично повеление Наполеона Даву исполнил: багратионовская армия не была допущена к Витебску и только в Смоленске могла соединиться с армией Барклая. Но этот успех казался Наполеону не весьма большим утешением при сопоставлении с теми первоначальными надеждами, которыми он был так полон, когда узнал, что маленькая армия Багратиона отброшена к югу, отрезана от главных русских сил и что ей предстоит переправа через две параллельные реки: Березину и Днепр.

Во всяком случае следовало немедленно извлечь пользу из того обстоятельства, что Багратион ушел, а армия Барклая, т. е. главная русская действующая армия, предоставлена собственным силам.

Почти одновременно с известием о переходе Багратиона на левый берег Днепра в Вильну к Наполеону пришла и другая весть: оказалось, что 18 июля Барклай со всем войском внезапно покинул укрепленный лагерь в Дриссе и пошел к Витебску.

7

Как только было решено оставить Дрисский лагерь, Барклай 14 июля вышел из Дриссы и 18 июля прибыл в Полоцк. Отсюда он решил идти на Витебск, чтобы предупредить занятие этого города Наполеоном. В Витебск Барклай со своей (1-й) армией пришел 23 июля, занял город и расположился лагерем. У него была мысль подождать тут Багратиона и, как он говорил, дать сражение движущейся на Витебск великой армии. Чтобы задержать французов в их движении на Витебск, Барклай выслал навстречу французскому авангарду 4-й пехотный корпус под начальством графа Остермана-Толстого. Остерман пошел по дороге из Витебска к Бешенковичам, но, едва пройдя 12 верст от Витебска, он наткнулся на головную часть французской кавалерии. Русские гусары опрокинули французов и, увлекшись преследованием, налетели на конную бригаду французов, которая перебила многих из них и

отбросила остальных. Этот бой произошел у местечка Островно, в 26 верстах от Витебска, 25 июля. На помощь отброшенным русским гусарам подоспели главные силы Остермана-Толстого. Подойдя к Островну, Остерман-Толстой увидел перед собой густую массу кавалерии: это был сам Мюрат, шедший впереди великой армии со своей конницей. Завязался упорный бой, который длился с переменным успехом весь день 25 июля. Остерману дали знать, что дивизия генерала Дельзонна, посланная вице-королем Евгением, грозит обойти его правый фланг, и почти в то же самое время, когда он это узнал, два французских полка из двух бригад Русселя и Жанино стремительным наступлением отбросили три русских батальона. Остерман-Толстой отступил, отстреливаясь. Сопротивление отряда Остермана было бы сломлено, если бы Барклай, узнав о том, что произошло под Островном, не поспешил выслать подкрепление под начальством Коновницына. К концу ночи и на рассвете с 25 на 26 июля к разбитым полкам Остермана подошла пехотная дивизия Коновницына, и 26 июля бой возобновился с удвоенной силой, на этот раз уже в 8 верстах за Островном, около деревни Какзвачино.

Конечно, Коновницын, так же как Остерман, должен был только задержать французов, чтобы дать время Багратиону подойти к Витебску, где Барклай решился было дать генеральное сражение. Эту самую тяжкую роль — задерживать подавляющие силы врага, изображать живой заслон, наперед предназначенный к уничтожению, без малейших шансов на победу,— Петр Петрович Коновницын и его солдаты исполнили в кровавый день 26 июля 1812 г. так же успешно, как накануне Остерман и как, спустя несколько дней, уже на путях к Смоленску, Неверовский и Раевский. Коновницын, как и многие другие дельные военные люди, подвергся немилости при Павле I, был изгнан из армии и восемь лет провел без дела в медвежьем углу, в глухой деревне. Только в 1806 г. ему удалось снова поступить на службу и затем отличиться в 1808—1809 гг. при завоевании Финляндии. Служившие с ним говорили, что был он необычайным добряком и при отступлении русской армии до Москвы сплошь и рядом позволял своим солдатам брать с собой желающих уехать со своим добром жителей, так что его полки походили издали на какие-то движущиеся таборы. С солдатами он обходился по-товарищески, подобно тому как генерал Кульнев. Такое обхождение было решительно не в духе тогдашних армейских порядков, и только необычайная храбрость, толковость и распорядительность спасали его от новой отставки.

Прибыв на смену Остерману-Толстому, Коновницын рано утром 26 июля подвергся нападению с двух сторон: Евгения

Богарне и Мюрата. С восьми часов утра до трех часов дня Коновницын выдерживал неравный бой под сильным артиллерийским огнем и при упорных кавалерийских атаках мощного врага. Около трех часов дня Мюрат и Евгений Богарне вытеснили Коновницына из его позиций, и он начал отступление. В этот момент на место действия прибыл сам Наполеон. Он сейчас же отменил решение Мюрата и Евгения Богарне дать отдых французским войскам, очень потрепанным и утомленным семичасовым боем, и приказал сейчас же начать преследование уходящего Коновницына. Медленно, с непрерывным боем, отряд Коновницына, теснимый огромными силами Наполеона, продолжал свое отступление до самой ночи. Так он дошел до деревни Комарово, куда подоспело новое подкрепление от Барклая и к поздней ночи 26 июля остатки отряда Остермана; остатки отряда Коновницына и это последнее подкрепление под начальством командира 3-го корпуса Тучкова подошли наконец к армии Барклая и стали в окрестностях Витебска, на правом берегу реки Лучосы.

Отряды Остермана и Коновницына, устлав своими трупами дорогу от Островна до Лучосы, свое дело сделали: они дали целых два дня лишних Барклаю и Багратиону для окончательных решений.

Целый день 26 июля Барклай в сопровождении своего начальника штаба Ермолова и офицеров свиты объезжал свои позиции. Целый день он ждал известий и от Коновницына, надолго ли еще хватит сил задерживать наседающих французов, и от Багратиона, есть ли надежда на то, что он прорвется через Могилев к Витебску. Ночь принесла ответ на оба вопроса: поздним вечером 26 июля пришли с Остерманом и Коновницыным те солдаты и офицеры, которые спаслись при истреблении их отрядов при Островне и при Какзвачине во время отступления к Витебску, а в предрассветные часы наступившего 27 июля в лагерь Барклая примчался курьером от Багратиона князь Меншиков: Багратион извещал, что ему не удалось пробиться через Могилев и что он узнал о том, что маршал Даву предпринимает движение к Смоленску.

Еще за несколько часов до приезда Меншикова с известием от Багратиона Барклаю доложили, что к Витебску внезапно явился сам Наполеон со старой гвардией. Из русского лагеря можно было уже увидеть вечером огни, горевшие в расположении французской гвардии на опушке леса перед Витебском. Барклаю пришлось немедленно принять решение.

Весь день перед этим начальник штаба Ермолов не переставал убеждать Барклая, что давать Наполеону бой на витебских позициях значит идти почти на верный проигрыш сражения и, следовательно, на уничтожение русской армии. И это

Ермолов доказывал, думая, что приход Багратиона еще вполне возможен. Теперь, с утра 27 июля, следовало решаться на бой в этих же невыгодных условиях без Багратиона. Барклай решил уйти из Витебска к Смоленску, оставив лишь в 5 верстах от Витебска 3 тысячи пехоты, 4 тысячи кавалерии, 40 орудий под общим начальством графа Палена. Это опять-таки был лишь заслон, который должен был хотя бы не надолго задержать Наполеона, если бы он пожелал немедленно пуститься по дороге из Витебска в Смоленск.

Бесшумно, при потушенных огнях, русская армия снялась ночью 27 июля с лагеря и ушла.

Как воспринимались эти события, предшествовавшие приходу Барклая в Витебск, во французской армии? Как дополняют французские показания эту картину борьбы до прихода Барклая и Наполеона в Витебск? Французские показания гораздо ярче рисуют геройское сопротивление русского арьергарда, чем русские документы. Вот что они говорят.

Наполеон, выйдя из Вильны, шел прямой дорогой через Глубокое и Бешенковичи на Витебск вслед за отступающим Барклаем.

Двинув армию из Глубокого через Бешенковичи на Витебск, Наполеон уже в пути стал обнаруживать твердую уверенность в близости великого часа генеральной битвы: он знал, что Берклай с главными русскими силами в Витебске и что Багратион, вероятно, с ним соединится. 25 июля в Бешенковичах Наполеон узнал о попытке Багратиона прорваться 23 июля к Могилеву и о том, что Даву отбросил русских.

Уверенность, что в Витебске будет дан бой, что Барклай не отступит, не только не поколебалась, но укрепилась в императоре. «Мы накануне больших событий; предпочтительно, чтобы они не были заранее возвещены и чтобы о них узнали одновременно с результатами» [43],— писал Наполеон 25 июля из Бешенковичей своему министру иностранных дел герцогу Бассано в Вильну.

Наполеон до того жаждал генеральной битвы под Витебском, что еще в походе, по пути к Витебску, приказывал Мюрату и вице-королю Евгению не препятствовать отдельным отрядам русской армии соединиться с главными русскими силами: «Если неприятель хочет сражаться, то для нас это большое счастье... Поэтому нет неудобства в том, чтобы предоставить ему соединить свои силы, потому что иначе это могло бы для него послужить предлогом, чтобы не драться» [44],— так распорядился император в четыре часа утра 26 июля, выступая из Бешенковичей в Витебск.

«Послезавтра мы даем сражение, если неприятель удержится

в Витебске»,— писал Наполеон того же 26 июля герцогу Бассано в Вильну.

25 июля французы двинулись на Витебск. Ночь с 25 на 26-е Наполеон провел в палатке между Бешенковичами и Витебском. Страшная жара продолжалась, солдаты шли «в пылающей пыли», ветераны великой армии вспоминали Египет и сирийские пустыни. Лето стояло неслыханно жаркое. «Мы задыхаемся»,— писал Наполеон императрице.

Барклай отступал к Витебску. Генерал Дохтуров с арьергардом отбивался от наседавшего на него Мюрата. Русские шли в Островно. Здесь, как доложили Наполеону, не доходя нескольких километров до местечка, 25 июля 8-й гусарский полк французской кавалерии увидел идущих впереди по тому же направлению каких-то солдат. Так как шли по дороге в Бешенковичи, куда разом явились со всевозможных сторон не знавшие друг друга до сих пор части разноплеменной великой армии, то мюратовские гусары спокойно подвигались шагах в полутораста за неизвестными солдатами, думая, что это свои, как вдруг неизвестные открыли стрельбу и загремели пушечные выстрелы. Это и был русский арьергард, которому приказано было по мере возможности задерживать неприятеля. Битва продолжалась до самого Островна, куда с боем и подошли русские и французы. В лесу, окружающем Островно, граф Остерман, который начальствовал над арьергардом, держался, по признанию французов, с необыкновенным упорством. Только когда к Мюрату подоспели шедшие за ним из Бешенковичей к Островну войска вице-короля Евгения, русские стали отступать. Мюрат и Евгений пошли за ними. Но на следующий день, 26 июля, к вечеру русские снова остановились: к Остерману подошли дивизии Коновницына и вскоре затем — Палена. Битва в лесу возобновилась. Русские трижды бросались в атаку и трижды опрокидывали отдельные части французской армии. В одной из этих атак был истреблен хорватский батальон войск Евгения, жестоко пострадали и кавалеристы Мюрата. Паника охватила французов: без приказа артиллеристы стали поворачивать орудия, часть пехоты бросилась бежать, за ней некоторые кавалерийские части. Наконец, Мюрату удалось восстановить положение, и бои в лесах продолжались. Потери французов были относительно очень велики. Вселяло тревогу и то, что ведь это были явственно лишь арьергардные, задерживающие бои, а между тем часть французской армии и 25 и 26 июля была несколько раз близка к самому настоящему поражению. 26-го вечером на место действия в эти леса, простиравшиеся от Островна до Витебска, явился сам Наполеон, за ним — главные силы его армии. Русские уже подошли к Витебску и стали входить в город. Французские

передовые эшелоны поздно вечером прибыли к опушке леса, близко подступающего к равнине, где стоит Витебск. Наполеону поставили палатку у выхода из леса на равнину. Ночью император глядел на множество огней вокруг города и в самом городе.

Всю ночь там, вдали, у русских, все было освещено, все было в непрерывном движении. И трудно было уловить значение того, что там происходит. Что сделает Барклай? Будет ли он биться под Витебском? Произойдет ли завтра, 27 июля, или послезавтра, 28-го, новый Аустерлиц, который по своему значению затмит Аустерлиц австрийский, великую победу Наполеона над этими самыми русскими в 1805 г.?

Настало утро 27 июля. Движение вокруг города и в городе не прекращалось. Русские не атаковали Наполеона, а Наполеон решил, со своей стороны, напасть не 27, а 28 июля. Ему казалось даже выгодным, что Барклай на день, очевидно, решил отсрочить битву. В течение всего дня вышедшие из Бешенковичей французские войска непрерывным потоком вливались в армию, окружавшую Наполеона. Не прекращались отдельные мелкие стычки, то начиналась, то замирала, то снова начиналась перестрелка. Мюрат произвел с небольшим отрядом атаку на русскую кавалерию и был отброшен. С той и с другой стороны осталось несколько десятков трупов. Были еще кое-какие мелкие стычки. Но уже в 11 часов утра Наполеон приказал прекратить все это бесполезное молодечество. Он занялся более серьезным делом: изучением позиции завтрашнего генерального боя и осмотром подходивших в течение всего дня новых и новых французских частей. Когда армия располагалась на ночь, император, прощаясь с Мюратом, сказал, что завтра в пять часов утра он начнет генеральное сражение. В расположении русской армии горели огни, как накануне. Наполеон пошел в свою палатку, Мюрат уехал к аванпостам своей кавалерии, выдвинутым ближе всего к городу и к русскому расположению.

На рассвете к Наполеону прибыл ординарец с эстафетой от Мюрата: ночью Барклай ушел...

Надежды Наполеона на быструю развязку снова рушились. На этот раз он уже совсем, казалось, держал победу в руках, и снова она ускользнула, и самые верные, самые на этот раз бесспорные расчеты рассеялись, как дым.

8

Наполеон твердо знал, что с чисто военной, тактической точки зрения необходимо, не задерживаясь в Витебске, броситься за Барклаем и за уходящим к Смоленску Багратионом

и не дать соединиться им в Смоленске и что осталось всего 5—6 дней, когда этого возможно достигнуть. «Но жара так сильна и армия так велика, что император рассудил, что должно дать ей несколько дней для отдыха» [45].

Неоднократно с решительной настойчивостью, по крайней мере раз пять за время пребывания в Витебске, Наполеон требует, чтобы точно узнали, сколько именно дивизий у Багратиона. «Для меня по-прежнему загадка, четыре или шесть дивизий у Багратиона» [46],— раздраженно жалуется он 2 августа 1812 г. Но недаром в арьергарде у Багратиона действовала казачья кавалерия Платова: французская кавалерийская разведка так и не прорвала эту завесу.

Этот долгий, необыкновенно знойный летний день 28 июля 1812 г. принес великой армии немало разочарований, а ее вождю и его свите много невеселых забот и недоумений.

Сначала Наполеон не хотел верить Мюрату. Он не допускал, чтобы русская армия могла так бесшумно сняться ночью с лагеря и бесследно скрыться. Император велел подходить к покинутому русскому лагерю со всеми предосторожностями, боясь засады и внезапного нападения. Мертвое молчание царило в русском лагере. Французы приблизились,— лагерь был совершенно пуст. Ни людей, ни вещей — ничего не оказалось. Вошли в город: ни одного человека на улицах. Даже в домах остались далеко не все жители. Оставшиеся не только ровно ничего не знали о пути, по которому ушла русская армия, но понятия не имели вообще о факте ее внезапного исчезновения.

В течение нескольких часов кавалерийские отряды, разосланные Наполеоном, рыскали по всем дорогам около Витебска и, измученные неслыханной жарой и томимые жаждой, вернулись во вторую половину дня одни за другими, ничего точного не узнав. Пески, в которых тонули ноги лошадей, жгучая пыль, тучей носившаяся вокруг и ослеплявшая их, полное отсутствие воды — все это делало разведки мучительным и бесплодным занятием. Правда, один из отрядов увидел вдали какую-то русскую часть и даже пробовал сразиться с ней. Но был ли это арьергард барклаевской армии или просто отряд, посланный Барклаем только для отвода глаз от истинного пути отступления, узнать было невозможно.

Нужно было решить, что делать дальше.

Наполеон по получении рапорта об этих безрезультатных разведках приказал вечером того же дня, 28 июля, явиться Мюрату, вице-королю Италии Евгению Богарне и начальнику императорского штаба князю Невшательскому, маршалу Бертье. Не то, чтобы это был военный совет,— Наполеон не любил военных совещаний и решения свои принимал единолично, но в

эту кампанию он иногда, в особо затруднительных случаях, спрашивал предварительно мнения некоторых из своего окружения. Так было и на этот раз. Началось с маленькой неприятности для Мюрата, короля неаполитанского. Дело в том, что кавалерийский отряд, натолкнувшийся на предполагаемый русский арьергард, затеял атаку, был сейчас же сильно помят и отброшен русскими и вернулся без нескольких людей и лошадей. И Мюрат, который, сделавшись королем неаполитанским, продолжал бояться Наполеона точь-в-точь так, как в те далекие времена, когда служил у него еще простым полковником, скрыл от императора эту небольшую деталь утренних поисков, и Наполеон узнал об этом помимо него. Происшествие было ничтожное, но тоже не способствовало улучшению настроения императора.

Главной задачей оставалось все то же: что все это значит? Где и когда Барклай примет бой? Что он пошел к Смоленску, это было ясно. Что он пошел туда через Рудню, об этом Наполеон тоже догадывался, несмотря на отсутствие точных данных. Но не в этом было дело. Если Барклай ушел к Смоленску, чтобы там соединиться с ускользнувшим от Даву Багратионом, то, может быть он именно в Смоленске, наконец, остановится. Логика говорила за то, что это будет именно так: в Витебске Барклаю пришлось бы сражаться без Багратиона, в Смоленске ему можно будет сражаться, имея рядом с собой Багратиона и его армию. Но Наполеон не сразу пришел к этому умозаключению. Напротив, и у императора сначала созрело совсем другое решение: русская армия будет бесконечно отступать, линии сообщения французов и без того непомерно растянуты, нужно тут, в Витебске, прервать эту странную, ни на что не похожую кампанию, ведущуюся так, как никакая война до сих пор не велась с тех далеких времен, когда скифы заманивали своими бесконечными отступлениями в свои пустынные, безводные, жгучие степи вторгшуюся неприятельскую армию. Скифы владели две тысячи лет тому назад лишь частью той необъятной территории, которая принадлежит их наследникам, русским. Не унаследовали ли русские не только их территорию, но и их стратегию и тактику? Мы увидим, что Наполеон впоследствии снова вспомнил о скифах, глядя из окна Кремля на бушующий огненный океан. Если русская армия отступает по слабости — это одно, но если с определенными стратегическими намерениями — это совсем другое. Никогда не делай того, что враг желает, чтобы ты сделал. Это было одним из постоянных правил поведения Наполеона. Император закончил совещание торжественным заявлением, что он намерен окончить в Витебске кампанию 1812 г., организовать завоеванные Литву с Белоруссией, укрепиться на своих позициях, пополнить армию и ждать мирных

переговоров с Александром, устроившись прочно, спокойно, надолго в завоеванной огромной стране.

Для Витебска, как и для всей Белоруссии, наступило бедственное время.

«В самом деле,— спрашивает свидетель, переживший эти дни,— что должно было почувствовать при вшествии Наполеона в Витебск?.. Горящие вокруг селения и предместья города, улицы, устланные ранеными и мертвыми, поля, умащенные человеческой кровью и усеянные множеством трупов, грабеж, насильствования и убийства обезоруженных жителей — представило картину, превосходящую всякое описание. В самой глуши лесов не можно было найти безопасного пристанища: изверги почитали за особое удовольствие отыскивать сокрывшихся, с коими поступали самым бесчеловечным образом. Несмотря на все таковые поступки, никто не смел жаловаться, это было запрещено. Один витебский помещик, ограбленный донага, причем жена и дочь его от страха помешались в уме, осмелился, однакоже, представить французскому правительству в Витебске вместе с жалобою своею два трупа крестьян его, убитых французами, но вместо должного удовлетворения получил только следующий ответ: если ты сделаешь еще подобное представление, то будешь сам расстрелян».

Понятовский со своим корпусом стоял в Могилеве, Даву — в Орше, Мюрат — в Витебске, Ней — между Оршей и Витебском, старая и молодая гвардия и Евгений с итальянской армией — в Витебске, в Бобруйске — Домбровский.

Правый, южный, фланг этих сил прикрывался войсками Шварценберга, австрийского «союзника». Левый фланг, упиравшийся в подступы к Риге и шедший к северу по линии Рига — Динабург (Двинск), находился под командой маршала Макдональда, в корпус которого полностью были включены прусские войска. При таком расположении громадных сил великой армии можно было чувствовать себя очень уверенно. Но решение, на котором остановился Наполеон 28 июля вечером, не продержалось больше двух суток. «Наполеона мог погубить только Наполеон»,— этот часто повторявшийся после Ватерлоо в 1815 г. афоризм редко когда был так ярко иллюстрирован, как в Витебске в последние дни июля 1812 г.

Император жил в Витебске день, другой, третий, четвертый. Свита, гвардия видели, что он чем-то раздражен и недоволен. И вот, не созывая нового совета, он стал сам заговаривать о своем решении со свитой. Генералы сначала думали, что он хочет, чтобы его переубедили. Но они ошибались. Новое решение было уже принято: оно было диаметрально противоположно тому, которое он торжественно объявил своим маршалам 28 июля.

Упорная мысль кончить войну в этом, а не в будущем году

имела непреодолимую власть над его душой. Кончить же ее в этом году можно было только одним способом: разгромить русскую армию.

Значит, нужно догнать Барклая и, если еще возможно, разбить его до встречи с Багратионом. Если Барклай встретился уже с Багратионом — разбить их обоих.

Крупная неприятность постигла Наполеона, пока он сидел в Витебске. 2 августа пришла эстафета с правого, южного фланга: войска Тормасова разбили генерала Рейнье. Погибли три французских батальона, но самым важным последствием было то, что Наполеон уже на другой день после получения этого известия написал австрийскому командующему вспомогательным корпусом князю Шварценбергу, что он, император, отказывается от своей первоначальной мысли включить австрийский корпус в состав непосредственного центра великой армии, так как уже не надеется, что генералу Рейнье удастся без помощи Шварценберга удерживать напор Тормасова [47].

Таким образом, через месяц и четыре дня, уже на Бородинском поле, Наполеон лишился в результате своего собственного распоряжения тех 30 (по крайней мере) тысячи солдат, которые мог привести к нему еще в Витебске князь Шварценберг.

В Витебске, говорят нам очевидцы, Наполеон писал и диктовал по сто писем в день, руководя всеми делами своей необъятной империи, занимаясь и дипломатией, и страшной, бесконечной, лютой войной с испанцами, и непосредственными сложнейшими заботами по затеянному им гигантскому предприятию в России.

Голова его оставалась свежа, и почти беспредельная работоспособность и живой интерес ко всему, что происходит во всех областях жизни его огромной империи, не покидали его ни на один день.

Среди бесчисленных и настоятельных забот, во-первых, о пропитании армии, во-вторых, об организации преследования Багратиона, идущего к Смоленску, в-третьих, о политическом устройстве Литвы, в-четвертых, о войне в далекой Испании, где дела шли все хуже и хуже, в-пятых, о передвижениях гарнизонов в Бремене, в Голландии, центральный вопрос неотступно стоял перед императором и, несмотря на все многообразие и интенсивность его умственной жизни, заслонял и покрывал собою все: устраиваться на зиму или идти дальше?

В первых числах августа Наполеон объявил маршалам, что он пойдет на Смоленск.

Мнения маршалов о новом внезапном решении императора были весьма различны. Всецело на стороне продолжения активного преследования русской армии был Мюрат, который с первой минуты, едва только убедившись на рассвете 28 июля в

уходе русских, стоял за немедленную погоню. Наполеон сказал ему в тот день: «Мюрат, первая русская кампания окончена... В 1813 г. мы будем в Москве, в 1814 г.— в Петербурге. Русская война — это трехлетняя война». Мюрат этому не поверил. Не в духе наполеоновской стратегии были многолетние войны. Да и Наполеон хорошо сознавал: как воевать годами так далеко от покоренной, но ненавидящей Европы с сомнительными «союзниками» на флангах и давать время России вооружиться и приготовиться к дальнейшей обороне? Кошмар испанской войны, вот уже полных четыре года неистово свирепствующей на Пиренейском полуострове и истребляющей там одну его армию за другой, тоже неотступно преследовал Наполеона. Каждый курьер привозил ему в Витебск известия о том, что в Испании его дела идут хуже и хуже, что испанский народ борется, убивает и умирает, но даже и не помышляет о капитуляции. Затевать новую трехлетнюю войну в России, когда в Испании не видно конца войне, было крайне затруднительно. Все это было понятно приближенным императора, и когда Наполеон все-таки объявил о своем новом решении, Бертье, Дюрок, Дарю, Коленкур — в прямую противоположность Мюрату — высказались против нового наступления. Редко когда они осмеливались так определенно и настойчиво не соглашаться со своим повелителем. И все же маршалы, несмотря на то, что с ними не было Даву (он находился в Орше), на этот раз решились на непривычное дело — осмелились быть откровенными. Почтительно, но твердо генерал и обер-гофмаршал Дюрок настаивал, что русские явно заманивают великую армию в глубь страны, что там ее ждет гибель. Бертье его поддержал. Они оба говорили императору об ужасающем падеже лошадей, об отсутствии корма, о дезорганизации в снабжении армии провиантом, о нищей, умышленно разоряемой русскими войсками стране, о бесконечных пространствах, о неслыханной африканской жаре, от которой падают и люди и лошади. Обер-гофмаршал Дюрок упорно указывал па зловещее значение того факта, что император Александр не просит мира. Наполеон ответил, что он отдает себе отчет в опасностях, которые сопряжены с движением в глубь России, но что он кончит поход 1812 г. в Смоленске. Дюрок не сдавался. Он утверждал, что и в Смоленске русские не будут просить мира.

И Бертье, и Дюрок, и Коленкур говорили, кроме того, о ненадежности подневольных австрийских и немецких «союзников», которые пошли в поход из-под палки, дерутся против русских из-под палки и перейдут на сторону русских, едва только императорская палка отдалится от их спины. Наполеон на это возразил, что, если пруссаки изменят ему, он прервет войну с Россией, обратится на запад, против Пруссии, и тогда Пруссия расплатится за всех — и за себя и за русских.

Первое большое совещание прошло в этих бесплодных разговорах. Император в конце концов раздраженно вскричал: «Я слишком обогатил моих генералов, они думают об удовольствиях, об охоте, о катанье по Парижу в своих великолепных экипажах! Война им уже опротивела». Маршалы молчали, но еще не сдавались. Люди военные, они не смели продолжать спор с императором всякий раз, когда он обрывал их этими язвительными попреками в личной изнеженности, в том, что он, император, их осыпал богатствами, а они вот стали ему неохотно служить.

Но в Витебском лагере был человек другого положения, чем они. Это был государственный секретарь, главный интендант великой армии, граф Дарю, лучше кого бы то ни было знавший дела снабжения. Он знал, что из 22 тысяч лошадей углубляющейся в Россию армии (не считая войск, остающихся на правом и на левом флангах) за время похода от Вильны до Витебска уже пало не более, не менее как 8 тысяч. Он знал, что и лошади и люди очень плохо снабжены, а дальше, при быстрых маршах, пойдет и еще хуже, потому что обозы решительно не поспевают за движением войск и не могут поспеть, а страна — это разоренная, погорелая, ограбленная пустыня. Все это граф Дарю хорошо знал и не скрывал от Наполеона.

Он высказал своему монарху еще и многое другое. Из-за чего ведется эта тяжелая и далекая война? «Не только ваши войска, государь, но мы сами тоже не понимаем ни целей, ни необходимости этой войны». Проникновение английских товаров в Россию и желание императора создать Польское королевство — это недостаточные мотивы. Так высказал Дарю все то, что было на душе у Дюрока и Бертье, но чего они не смели выразить ясно.

Тяжеловесный бюрократ-сановник, упрямый, холодный, здравомыслящий человек, Дарю коснулся разом нескольких болезненных пунктов. Его выступление, можно сказать, было с глазу на глаз, потому что нечего считать начальника императорского штаба, робкого, покорного, беспрекословного Бертье, который, правда, всецело стоял на стороне Дарю, но от этого ни Дарю не было легче спорить с Наполеоном, ни Наполеону не было труднее спорить с Дарю. Другие маршалы отсутствовали при этой беседе, а беседа продолжалась восемь часов подряд. Наполеон тем более был раздражен словами Дарю, что не сознавать их серьезности и основательности никак не мог.

Дарю настаивал, что эта война непонятна, а потому и непопулярна во Франции, «не народна». Выводы Дарю вытекали из этой предпосылки: нужно заключить мир. Чем дальше шел спор с упорным, угрюмым, сдержанным, бесстрашным Дарю, тем в большее раздражение впадал император. Его взорвало то,

что Дарю повторил совет Дюрока: ждать мира в Витебске, потому что ни в Смоленске, ни в Москве нет более серьезных шансов дождаться мира, чем в Витебске. «Я хочу мира, но чтобы мириться, нужно быть вдвоем, а не одному. Александр молчит». Наполеон тут открыто высказал мысль, которая уже не раз приходила в голову его окружению. Мы знаем, что всем им казалось, когда еще Наполеон стоял в Вильне и когда он шел потом по Литве и Белоруссии, что за первым визитом Балашова в императорский лагерь последует и второй, а может быть, и третий его визит. И всякий раз эти «переговоры на ходу» будут становиться все благоприятнее для Наполеона, потому что испуганные русские будут делаться все уступчивее по мере продвижения великой армии в глубь страны. Но первая поездка Балашова оказалась и последней. Русские молча отступали, молча сжигали все за собой и разоряли свою страну, молча отдали врагу огромную территорию, но и тени чего-либо похожего на желание мириться не обнаруживали. Совсем бы иначе был принят Балашов в Витебске. Но Балашов не приезжал. «Что же делать? — возражал Наполеон графу Дарю.— Оставаться в Литве, где нужно или совсем разорить страну и этим ее настроить против себя, или за все платить, чтобы содержать армию, и где нужно будет строить крепости, чтобы продержаться, или идти дальше?» Куда идти? В Москву. «Заключение мира ожидает меня у Московских ворот». Он понимает, что Александр не хочет мириться до генерального сражения. «Если нужно, я пройду до Москвы, до святого города Москвы, в поисках этого сражения, и я выиграю это сражение». После такой проигранной битвы Александр уже сможет заключить мир, не подвергая себя бесчестию. «Но если и тогда Александр будет упорствовать, хорошо, я начну переговоры с боярами или даже с населением этой столицы: это население значительно, объединено и, следовательно, просвещенно; оно сообразит свои интересы, оно поймет свободу» [48]. Что понимал император под этими словами? Можно ли в этих словах усматривать хоть намек на освобождение крепостных? Конечно, нет, не мог же он считать «просвещенными» и объединенными в столице русских крепостных крестьян. Он мог иметь в виду только крупную буржуазию, интересам которой он подчинял всю Францию, на чем он совершенно сознательно и планомерно строил свое владычество в покоренных странах. Ни разу император вместо этих фантазий о переговорах с «боярами» и с «просвещенным населением» святого города Москвы не вымолвил в этом восьмичасовом споре, в этой, вернее, беседе вслух с самим собой, самого главного: *ни разу* он не сказал, что объявит русских крестьян свободными от крепостного ига, ни разу не упомянул даже, что пригрозит этим Александру или «боярам», если те будут

упираться. Он хотел прежде всего переговоров с Александром, если не удастся с Александром, то с «боярами», если не удастся с дворянами, то с московской «просвещенной» буржуазией. На этом в Витебске кончались, и не могли не кончиться, предположения императора. Накаких надежд на поддержку крестьянства Наполеон не возлагал и не мог возлагать, потому что для этого нужно было прежде объявить крестьянство свободным, а этого Наполеон не хотел ни в Витебске, когда еще могли быть надежды на мир с царем и с дворянством, ни, как увидим, даже в Москве, когда эти надежды исчезли окончательно.

Слышал что-то Наполеон и о традиционном духе соперничества, некоторой оппозиции, который существовал в Москве относительно Петербурга, и в этом долгом разговоре с Дарю император безмерно преувеличил значение этой московской дворянской фронды, этих ворчливых выходок членов московского Английского клуба против петербургского двора и петербургских сановников: «Москва ненавидит Петербург, я воспользуюсь этим соперничеством, последствия подобного соревнования неисчислимы». Очевидно, великосветские шпионы Наполеона, с давних пор доносившие ему обо всем, что делается и говорится в обеих русских столицах, придавали преувеличенное значение тому, что они подслушали среди резких на язык московских бар и опальных бюрократических тузов, проживавших в Москве. Выслушав все это, Дарю продолжал возражать, потому что эта аргументация Наполеона (которой император явно стремился убедить самого себя) нисколько его не успокоила. Дарю обратил внимание Наполеона на то, что до сих пор «война была для его величества игрой, в которой его величество всегда выигрывал». Но теперь от дезертирства, от болезней, от голодовки великая армия уже уменьшилась на одну треть. «Если уже сейчас тут, в Витебске, не хватает припасов, то что же будет дальше?» — говорил Дарю. Фуражировки не удаются: «Офицеры, которых посылают за припасами, не возвращаются, а если и возвращаются, то с пустыми руками». Еще на гвардию хватает мяса и муки, но на остальную армию не хватает, и в войсках ропот. Есть у великой армии и громадный обоз, и гурты быков, и походные госпитали, но все это остается далеко позади, отстает, решительно не имея возможности угнаться за армией. И больные и раненые остаются без лекарств, без ухода. Нужно остановиться. Теперь после Витебска, уже начинается коренная Россия, где население будет встречать завоевателя еще более враждебно: «Это — почти дикие народы, не имеющие собственности, не имеющие потребностей. Что у них можно отнять? Чем их можно соблазнить? Единственное их благо — это их жизнь, и они ее унесут в бесконечные пространства». Бертье поддерживал это мнение и поддакивал Дарю, но

не очень отваживался на самостоятельные речи. В этом долгом разговоре, где император явственно больше спорил со своим внутренним голосом, тайно говорившим ему то самое, что вслух говорил Дарю, Наполеон вдруг с большой горячностью стал вспоминать о шведском походе времен Петра Великого. «Я хорошо вижу, что вы думаете о Карле XII!» — воскликнул он, хотя никто и не помышлял говорить ему о Карле XII. Это он сам вспомнил, конечно, о шведском короле, о своем прямом предшественнике в деле нашествия на Россию, и, как во всем этом роковом разговоре, император и в данном случае возражал не Дарю, а самому себе. Пример Карла XII, рассуждал Наполеон, ничего не доказывает: шведский король не был достаточно подходящим человеком для подобного предприятия. Наконец, нельзя из одного случая (т. е. из гибели шведов) выводить общее правило: «не правило рождает успех, но успех создает правило, и если он, Наполеон, добьется успеха своими дальнейшими маршами, то потом из его нового успеха создадут новые принципы»,— так он говорил. Привычка не считаться ни с какими прецедентами, диктовать истории, а не учиться у нее, уверенность, что никакие общие мерки и правила в применении именно к нему лично не имеют ни малейшей силы и смысла, так и сквозят в каждом слове Наполеона. Да, знаменитый шведский полководец погиб, но он сам виноват: зачем, будучи «только» Карлом XII, он взялся за дело, которое под силу только одному Наполеону и больше никому?

Разговор кончился.

В следующие дни император все еще не давал ни окончательного приказа о выступлении всей армии из Витебска, ни повеления об устройстве на долгое пребывание в Витебске.

Наполеон, не созывая совещаний, заговаривал с генералами гвардии, с отдельными маршалами о ближайших планах. Большинство уже было за наступление. Очевидец Сегюр приписывает это отчасти внутреннему их убеждению, отчасти желанию угодить властелину, подольститься,— ведь все уже знали о желании императора,— отчасти же, наконец, просто привычке к солдатскому, без рассуждений, повиновению высшей воле. Да и очень уже неприветливой и голодной казалась эта витебская стоянка: чем больше частей великой армии, далеко опередивших свой обоз, сходилось вокруг маленького разоренного города, тем голодней становилось жить солдатам, тем больше падало ежедневно лошадей в кавалерии и в артиллерии. Во многих частях ели почти только одну овсяную кашу. Дизентерия свирепствовала.

Уже решив дело, император медлил и как будто ждал толчка.

Толчок последовал. 10 августа императору донесли, что генерал Себастиани подвергся внезапному нападению со стороны

русской кавалерии и потерпел урон; дело Себастиани произошло около Инкова. Сразу воскресла надежда на то, что русские остановились где-то около Днепра, на левом берегу реки.

Наполеон немедленно отдал приказ по великой армии: выступить с витебских стоянок и идти на русских.

Наполеон предупредил Даву еще 10 августа, что он рассчитывает перейти через Днепр у Рассасны, где он велел навести четыре моста, и что он перейдет на левый берег реки с 200 тысяч человек. Император не скрыл от Даву тяжких потерь своей армии в сражениях с русскими отрядами, задерживающими движение.

12 августа первые части наполеоновской армии вышли из Витебска. 13 августа, идя вслед за другими частями, старая гвардия во главе с императором двинулась на восток. Император ночевал 15 августа на бивуаке в Бояринцеве. Тут к нему стали поступать одна за другой вести об отчаянном сопротивлении Неверовского [49].

Завоеватель вошел в коренную, центральную Россию. Пожар охватывал старое жилье русского народа. Смоленск, столько раз задерживавший в минувшие века врагов, шедших на Россию, древний город, двести лет не видевший под своими стенами неприятеля, готовился к встрече самого грозного врага, и его башням и стенам суждено было рухнуть от таких ударов, каких они никогда еще не испытывали.

Глава III

БОЙ ПОД СМОЛЕНСКОМ

1

В час ночи 13 августа Наполеон выехал из Витебска. Ночь с 13-го на 14-е он провел в походной палатке близ Рассасны. 14 и 15 августа у местечка Рассасны император со всеми корпусами своей армии перешел на левый берег Днепра, а Ней и Мюрат бросились на отряд Неверовского, стоявший на дороге от Ляд к Смоленску. Неверовский, отчаянно сопротивляясь, теряя людей, медленно отступал к Смоленску. Багратион приказал задерживать неприятеля сколько возможно.

Прикрываясь лесами и сложно маневрируя с целью скрыть от русских свой маршрут, Наполеон быстрыми переходами хотел идти к Смоленску левым берегом Днепра, но Неверовский с солдатами своей 27-й дивизии помешал этому и задержал его.

15 августа маршал Ней с боем вошел в Красное и от Красного пошел к Смоленску, задерживаемый упорным сопротивлением небольшого отряда Неверовского.

Вытесненный и из местечка Ляды и из Красного, Неверовский, отчаянно обороняясь от французских сил, по крайней мере в пять раз превышавших его отряд, отступал к Смоленску. Французский очевидец (граф Сегюр) говорит о «львином отступлении» Неверовского. У Неверовского была такая манера обучения солдат: он перед боем сам водил их посмотреть позицию и растолковывал смысл предстоящего. Солдаты Неверовского сражались во время этого убийственного отступления с полнейшим пренебрежением к опасности, каждый шаг отступления был устлан русскими трупами. «Русские всадники казались со своими лошадьми вкопанными в землю... Ряд наших первых атак кончился неудачей в двадцати шагах от русского фронта; русские (отступавшие) всякий раз внезапно поворачивались к нам лицом и отбрасывали нас ружейным огнем»,— так писали французы об этой отчаянной обороне.

Истребленный на пять шестых, отряд Неверовского вошел в Смоленск.

Багратион маневрировал у Смоленска, изнывая от палящей жары, не имея возможности ни кормить, ни поить людей и лошадей, ни укрепиться где-нибудь в ожидании неприятеля, который — дивизия за дивизией — проходил уже через Рудню, устремляясь за русской армией. «Я не имею ни сена, ни овса, ни хлеба, ни воды, ни позиции»,— писал Багратион Ермолову 10 августа (29 июля) в главный штаб Барклая, соединиться с которым Багратиону пришлось уже 3 августа. Барклай со своей армией уже успел пройти по этим местам: «...два дни пробывшая здесь первая армия все забрала и все съела... Неприятель может из Рудни занимать нас фальшиво, а к Смоленску подступить; тогда стыдно и нехорошо!» Багратион требует, чтобы Барклай «по пустякам армию не изнурял». Он просит: «поручить другому, а меня уволить» [1].

Багратион решительно не хотел оставаться с Барклаем, «министром», как он его нарочно величает: «...со мной поступают так неоткровенно и так неприятно, что описать всего невозможно. Воля государя моего. Я никак вместе с министром не могу. Ради бога пошлите меня куда угодно, хотя полком командовать в Молдавию или на Кавказ, а здесь быть не могу; и вся главная квартира немцами наполнена так, что русскому жить невозможно и толку никакого нет. Ей-богу, с ума свели меня от ежеминутных перемен... Армия называется, только около 40 тысяч, и то растягивает, как нитку, и таскает назад и вбок». Он решительно требует его уволить. «Я думал, истинно служу государю и отечеству, а на поверку выходит, что я служу Барклаю. Признаюсь, не хочу»,— так писал Багратион Аракчееву (т. е., конечно, царю) 10 августа.

Барклай под влиянием раздраженных укоров Багратиона, под влиянием своего начальника штаба Ермолова, под впечатлением лихого кавалерийского налета Платова на генерала Себастиани (в Инкове), где удалось взять в плен несколько сот французов и часть обоза, решил предупредить нападение на Смоленск и сам двинул было авангард в Рудню, но почти сейчас же отменил приказ. Он вообще стал как будто временно «терять голову» (выражение о нем Клаузевица). 13 и 14-го его армия бесполезно «дергалась» то в Рудню, то из Рудни. 15-го вечером Барклаю донесли, что погибающий отряд Неверовского отброшен к Смоленску. Нужно было немедленно бросить все и спешить к городу.

По словам Барклая де Толли, Наполеон подходил к Смоленску с армией в 220 тысяч человек, а выставить против него непосредственно Барклай мог лишь 76 тысяч, потому что Багратион со своей армией должен был защищать путь на Дорогобуж.

Барклай ошибался: у Наполеона было в тот момент 180 тысяч человек.

В своем «Оправдании», написанном через несколько лет после события[2], Барклай находит все свои действия безукоризненными и вместе с тем утверждает, что он хотел дать генеральную битву Наполеону, «став на выгодную позицию» как раз в Цареве-Займище, где он узнал о том, что смещен со своей должности. «Изобразив здесь истину во всей наготе ее, я предаю строгому суду всех и каждого дела мои; пусть всяк, кто хочет, укажет лучшие меры, кои бы можно было изыскать и принять к спасению отечества в столь критическом и ужасном для него состоянии; пусть после сего ненависть и злословие продолжают изливать яд свой, я отныне не страшусь и не уважаю их... Пред недоверчивыми ежели еще не оправдаюсь, то оправдает меня время...» — читаем мы в заключительной части его записки.

Ахшарумов, давший первое официальное описание войны 1812 г. (вышедшее в свет в августе 1813 г. «по высочайшему повелению»), утверждает, что в тот момент, когда под Смоленском соединились наконец обе армии и Багратион подчинился Барклаю де Толли, общая численность русской армии была равна 110 тысячам человек, а против нее шел Наполеон, ведя за собой фронт от Витебска до Дубровны численностью в 205 тысяч. Эти 110 тысяч были «главнейший оплот государства, главнейшая преграда стремлению Наполеона овладеть Российским полсветом и с тем вместе последнею свободою всех народов». Против Барклая шел «полководец, 20 лет воюющий! — любимец счастия, 20 лет побеждающий!»[3] Ахшарумов преувеличивает: у Наполеона под Смоленском к моменту бомбардировки было около 180 тысяч.

Узнав, что большие силы неприятеля посланы Наполеоном в обход Смоленска, к востоку — северо-востоку от Смоленска на Дорогобуж, Багратион немедленно двинулся туда, чтобы занять Дорогобуж и не дать возможности неприятелю перерезать большую Московскую дорогу. Войск у него было мало, но главное, что его тревожило, это убеждение, что Барклай сдаст Смоленск. С постоялого двора Волчейки (за Смоленском) 17(5) августа он отправил записку Барклаю: «...побуждаюся я покорнейше просить ваше высокопревосходительство не отступать от Смоленска и всеми силами стараться удерживать нашу позицию... Отступление ваше от Смоленска будет со вредом для нас и не может быть приятно государю и отечеству».

Багратион велел корпусу Раевского идти из Смоленска навстречу наступающим французам. Впереди Раевского должна была идти 2-я гренадерская дивизия, но, к удивлению, эта ди-

визия три часа подряд не трогалась с места, и Раевский поэтому ждал и терял драгоценнейшее время. Загадка объяснилась без всякой таинственности. Предоставим слово Ермолову: «Дивизией начальствовал генерал-лейтенант принц Карл Мекленбургский. Накануне он, проведя вечер с приятелями, был пьян, проснулся на другой день очень поздно и тогда только мог дать приказ о выступлении дивизии. После этого винный откуп — святое дело, и принц достоин государственного напитка»[4]. Принц Мекленбургский знал, что Багратион не может его за этот подвиг расстрелять: ведь он — царский родственник, а потому и незачем отказывать себе в развлечениях. Как раз в это время узнали, что французская армия напала в Красном 15 августа на корпус Неверовского, разбила его, отбросила от Красного, и Неверовский, с боем отступая, спасаясь от полного уничтожения, послал Багратиону рапорт, прося немедленной подмоги. Подмога запоздала.

Остатки разгромленного отряда Неверовского влились в 13-тысячный отряд Раевского, которому была поручена защита Смоленска.

2

Уже 15 августа остатки отряда Неверовского встретились с подкреплением, которое привел Раевский.

К ночи и Раевский и Неверовский увидели бесконечную линию костров на горизонте. Сомнений быть не могло: это сам Наполеон со всей армией расположился на ночлег, явно по прямому пути устремляясь к Смоленску. Да и неизвестно было — ночлег ли это, или еще ночью он снимется с лагеря и пойдет на город.

Что было делать? У Раевского было всего 13 тысяч человек, у Наполеона в момент нападения на Смоленск было около 182 тысяч. Раевский не имел ни приказа, ни полномочия защищать Смоленск; русская армия уже начала свое дальнейшее отступление от Смоленска к Москве. Раевский решил защищаться.

16 августа с утра Наполеон уже стоял пред стенами Смоленска, и тогда же Раевский был осведомлен, что Багратион, узнав о решении Раевского, спешит к нему на помощь. «Дорогой мой, я не иду, а бегу, желал бы иметь крылья, чтобы скорее соединиться с тобою!» К вечеру Багратион уже был недалеко от Смоленска. Туда же начал подвигаться и Барклай.

16 августа Наполеон подошел к Смоленску и поселился в помещичьем доме в деревне Любне. План его заключался в том, чтобы корпуса Даву, Нея и Понятовского штурмовали и взяли Смоленск, а в это же время корпус Жюно, обойдя Смоленск, вышел бы на большую Московскую дорогу и воспрепятствовал

отступлению русской армии, если бы Барклай захотел снова уклониться от боя и уйти из Смоленска по направлению к Москве.

В шесть часов утра 16 августа Наполеон начал бомбардировку Смоленска, и вскоре произошел первый штурм. Город оборонялся в первой линии дивизией Раевского. Сражение шло, то утихая, то возгораясь, весь день. Но весь день 16 августа усилия Наполеона овладеть Смоленском были напрасны. Настала ночь с 16 на 17 августа. Обе стороны готовились к новой смертельной схватке. Ночью по приказу Барклая корпус Раевского, имевший громадные потери, был сменен корпусом Дохтурова. В четыре часа утра 17 августа битва под стенами Смоленска возобновилась, и почти непрерывный артиллерийский бой длился 13 часов, до пяти часов вечера того же 17 августа. В пять часов вечера весь «форштадт» Смоленска был объят пламенем и стали загораться отдельные части города. Приступ за приступом следовал всякий раз после страшной канонады, служившей подготовкой, и всякий раз русские войска отбивали эти яростные атаки. Настала ночь с 17 на 18 августа, последняя ночь Смоленска. В ночь с 17 на 18-е канонада и пожары усилились. Вдруг среди ночи русские орудия умолкли, а затем французы услышали страшные взрывы неслыханной силы: Барклай отдал приказ армии взорвать пороховые склады и выйти из города. Войска под Смоленском сражались с большим одушевлением и вовсе не считали себя побежденными в тот момент, когда пришел приказ Барклая об оставлении города. Но Барклай видел, что Наполеон стремится здесь, в Смоленске, принудить его наконец к генеральному сражению, повторить Аустерлиц на берегах Днепра, среди развалин горящего Смоленска, в то время когда Багратион с частью армии идет к Дорогобужу и явно не успеет прийти на поле битвы.

Из Смоленска нужно было уйти, промедление грозило неминуемой гибелью. Он знал, что скажут о нем, но не видел другого выхода; впрочем, судьба Барклая уже все равно была решена.

Обстоятельства гибели Смоленска произвели очень сильное впечатление на французов.

Весь долгий летний день шла канонада Смоленска, и повторные штурмы не прекращались. Остатки почти истребленной дивизии Неверовского примкнули к корпусу Раевского. Держаться было неимоверно трудно, но русские войска держались. Наступал уже вечер, и пожары в разных частях города стали гораздо заметнее, картина погибающего города сделалась особенно зловещей. «Опламененные окрестности, густой разноцветный дым, багровые зори, треск разрывающихся бомб,

гром пушек, кипящая ружейная пальба, стук барабанов, вопль, стоны старцев, жен и детей, весь народ, упадающий на колени с возведенными к небу руками,— вот что представлялось нашим глазам, что поражало слух и что раздирало сердце, говорит очевидец Иван Маслов.— Толпа жителей бежала от огня, не зная куда... Полки русских шли в огонь, одни спасали жизнь, другие несли ее на жертву. Длинный ряд подвод тянулся с ранеными. В глубокие сумерки вынесли из города икону смоленской богоматери, унылый звон колоколов сливался с треском падающих зданий и громом сражения». Наступила ночь. Смятение и ужас происходящего еще усилились.

В два часа ночи 18 августа, после взрыва пороховых складов, казаки проскакали по улицам Смоленска, оповещая об отступлении русской армии и приглашая тех, кто хочет уходить из города, собираться немедленно, пока еще не зажжен днепровский мост. Часть населения, кто в чем был, бросилась за уходящими русскими войсками, часть осталась. В четыре часа утра маршал Даву вошел в город. К продолжавшимся пожарам прибавились немедленно начавшиеся грабежи со стороны солдат наполеоновской армии, больше всего поляков и немцев; французы, голландцы, итальянцы грабили, судя по всем показаниям, гораздо меньше. Около двух тысяч человек, выбежавших на улицу из горевших домов, бросились в собор, где и укрылись. Многие там прожили больше двух недель.

Уже на рассвете 18 августа, когда Наполеон перед Смоленском проснулся, думая, что в этот день произойдет наконец генеральная битва, и ему в ответ показали на заднепровскую даль и на густые массы движущихся от Смоленска к востоку войск, он понял, что отступающий Барклай снова ушел от битвы и что Смоленск отныне, с точки зрения русского командования, только заслон, который должен несколько задержать преследование.

Еще накануне, глядя в подзорную трубу на русские войска, входившие в Смоленск, Наполеон с радостью воскликнул: «Наконец, я их держу в руках!»

Но русская армия опять выскользнула из его рук.

Русские войска бились под Смоленском так, что даже в самых беглых, самых деловых, сухих французских отчетах и воспоминаниях авторы то и дело отмечают удивительные эпизоды. Так называемое Петербургское предместье Смоленска уже давно пылало ярким пламенем. Смоленск уже был покинут русскими, и в горевший город разом через несколько крайних улиц вступали французские войска. Русский арьергард под предводительством генерала Коновницына и полковника Толя отчаянно оборонялся, продолжая задерживать неприятеля. Русские стрелки рассыпались по садам и в одиночку били в

наступающую густую французскую цепь и в прислугу французской артиллерии. Русские не хотели оттуда уходить ни за что, хотя, конечно, знали о неминуемой близкой смерти. «В особенности между этими стрелками выделился своей храбростью и стойкостью один русский егерь, поместившийся как раз против нас, на самом берегу, за ивами, и которого мы не могли заставить молчать ни сосредоточенным против него ружейным огнем, ни даже действием одного специально против него назначенного орудия, разбившего все деревья, из-за которых он действовал, но он все не унимался и замолчал только к ночи, а когда на другой день по переходе на правый берег мы заглянули из любопытства на эту достопамятную позицию русского стрелка, то в груде искалеченных и расщепленных деревьев увидали распростертого ниц и убитого ядром нашего противника, унтер-офицера егерского полка, мужественно павшего здесь на своем посту» [5],— говорит французский артиллерийский полковник Фабер дю Фор.

С удивлением констатировали очевидцы, что под Смоленском солдаты так жаждали боя, что начальникам приходилось *шпагой* отгонять их там, где они слишком уж безрассудно подставляли себя под французскую картечь и штыки. Вот показание сухого, деловитого И. П. Липранди: «С рассветом... началась перестрелка в цепи стрелков, расположенных вне города. Перестрелка эта все более и более усиливалась, по мере сгущения французской передовой цепи. В 10 часов приехал Барклай де Толли и остановился на террасе Малаховских ворот... Вправо от помянутых ворот за форштатом расположен был Уфимский полк. Там беспрерывно слышны были крики «ура!», и в то же мгновение огонь усиливался. В числе посланных туда с приказанием — не подаваться вперед из предназначенной черты, был послан и я с подобным же приказанием. Я нашел шефа полка этого генерал-майора Цыбульского в полной форме. верхом в цепи стрелков. Он отвечал, что не в силах удержать порыва людей, которые после нескольких выстрелов с французами, занимающими против них кладбище, без всякой команды бросаются в штыки. В продолжение того времени, что генерал-майор Цыбульский мне говорил это, в цепи раздались «ура!» Он начал кричать, *даже гнать стрелков своих шпагою назад* (курсив всюду мой — *Е. Т.*), но там, где он был, ему повиновались, и в то же самое время в нескольких шагах от него опять слышалось «ура!» и бросались на неприятеля. *Одинаково делали и остальные полки* этой дивизии... в первый раз здесь сошедшиеся с французами...» «Ожесточение, с которым войска наши, в особенности пехота, сражались под Смоленском... невыразимо. Нетяжкие раны *не замечались* до тех пор, пока получившие их не падали от истощения сил и течения крови» [6].

Смоленская трагедия была особенно страшна еще и потому, что русское командование эвакуировало туда большинство тяжело раненных из-под Могилева, Витебска, Красного, не говоря уже о раненых из отрядов Неверовского и Раевского. И эти тысячи мучающихся без медицинской помощи людей были собраны в той части Смоленска, которая называется Старым городом. Этот Старый город загорелся, еще когда шла битва под Смоленском, и сгорел дотла при отступлении русской армии, которая никого не могла оттуда спасти. Французы, войдя в город, застали в этом месте картину незабываемую. «Сила атаки и стремительность преследования дали неприятелю лишь время разрушить мосты, но не позволили ему эвакуировать раненых; и эти несчастные, покинутые таким образом на жестокую смерть, лежали здесь кучами, обугленные, едва сохраняя человеческий образ, среди дымящихся развалин и пылающих балок. Многие после напрасных усилий спастись от ужасной стихии лежали на улицах, превратившись в обугленные массы, и позы их указывали на страшные муки, которые должны были предшествовать смерти. Я дрожал от ужаса при виде этого зрелища, которое никогда не исчезнет из моей памяти. Задыхаясь от дыма и жары, потрясенные этой страшной картиной, мы поспешили выбраться за город. Казалось, я оставил за собою ад» [7],— говорит полковник Комб.

«Мой друг! Я в Смоленске с сегодняшнего утра. Я взял этот город у русских, перебив у них 3 тысячи человек и причинив урон ранеными в три раза больше. Мое здоровье хорошо, жара стоит чрезвычайная. Мои дела идут хорошо» [8],— писал Наполеон 18 августа императрице.

Лживые бюллетени и официальные известия Наполеона, конечно, не давали понятия о действительности.

Для публики, для Парижа, для Европы можно было, конечно, писать все, что угодно. «Жара — крайняя, много пыли, и нас это несколько утомляет. У нас тут была вся неприятельская армия; она имела приказ дать тут сражение и не посмела. Мы взяли Смоленск открытой силой. Это очень большой город, с солидными стенами и фортификациями. Мы перебили от 3 до 4 тысяч человек у неприятеля, раненых у него втрое больше, мы нашли тут много пушек; несколько дивизионных генералов убито, как говорят. Русская армия уходит, очень недовольная и обескураженная, по направлению к Москве» [9],— так сообщал Наполеон своему министру герцогу Бассано о взятии Смоленска. Но сам император и его штаб нисколько подобной словесностью не обманывались. «Продиктовав это письмо, его величество немедленно бросился на постель»,— гласит характерная приписка, сделанная отправителем эстафеты, чтобы объяснить герцогу Бассано отсутствие собственноручной

императорской подписи. Наполеон был страшно утомлен не только жарой и не только пылью, а всем, что его окружало в Смоленске.

Итальянский офицер Чезаре Ложье со своей частью из корпуса вице-короля Италии Евгения Богарне проходил через Смоленск на другой день после взятия города французами. В своих воспоминаниях [10] он пишет: «Единственными свидетелями нашего вступления в опустошенный Смоленск являются дымящиеся развалины домов и лежащие вперемежку трупы своих и врагов, которых засыпают в общей яме. В особенно мрачном и ужасном виде предстала перед нами внутренняя часть этого несчастного города. Ни разу с самого начала военных действий мы еще не видали таких картин: мы ими глубоко потрясены. При звуках военной музыки, с гордым и в то же время нахмуренным видом проходили мы среди этих развалин, где валяются только несчастные русские раненые, покрытые кровью и грязью... Сколько людей сгорело и задохлось!.. Я видел повозки, наполненные оторванными частями тел. Их везли зарывать... На порогах еще уцелевших домов ждут группы раненых, умоляя о помощи... На улицах встречаем в живых только французских и союзных солдат... Они отправляются шарить по улицам, надеясь отыскать что-нибудь пощаженное огнем. Потушенный теперь пожар истребил половину зданий: базар, магазины, бóльшую часть домов... И вот среди этих груд пепла и трупов мы готовимся провести ночь с 19-го на 20-е». В соборе лежали вповалку мертвые, умирающие, раненые, здоровые, мужчины, старики, женщины, дети. «Целые семьи, покрытые лохмотьями, с выражающими ужас лицами, в слезах, изнуренные, слабые, голодные, сжались на плитах вокруг алтарей... Все дрожали при нашем приближении... К несчастью, большинство этих несчастных отказывается даже от помощи, которую им предлагают. Я до сих пор еще вижу с одной стороны умирающего старика, простершегося во весь рост, с другой — хилых детей, прижавшихся к грудям матерей, у которых пропало молоко» [11].

Врачебную помощь бесчисленным раненым и брошенным в городе русским почти не оказывали: хирурги не имели корпии и делали в Смоленске бинты из найденных в архивах старых бумаг и из пакли. Доктора не появлялись часто целыми сутками. Даже привыкшие за 16 лет наполеоновской эпопеи ко всевозможным ужасам солдаты были подавлены этими смоленскими картинами.

До нашествия Наполеона в г. Смоленске было 15 тысяч жителей. Из них осталось в первые дни после занятия города французами около *одной* тысячи. Остальные или погибли, или, бросив все, бежали из города куда глаза глядят, или вошли

добровольно в состав отступившей из города русской армии [12].

Багратион с гневом отнесся к отходу Барклая от Смоленска. Его письмо к Ростопчину от 14 августа из деревни Лушки полно негодования: «Я обязан много генералу Раевскому; он командовал корпусом, дрался храбро... дивизия новая... Неверовского так храбро дралась, что и не слыхано. Но подлец, мерзавец, тварь Барклай отдал даром преславную позицию. Я просил его лично и писал весьма серьезно, чтобы не отступать, но я лишь пошел к Дорогобужу, как (и он) за мною тащится... клянусь вам, что Наполеон был в мешке, но он (Барклай) никак не соглашается на мои предложения и все то делает, что полезно неприятелю... Я вас уверяю, что приведет Барклай к вам неприятеля через шесть дней... Признаюсь, я думаю, что брошу Барклая и приеду к вам, я лучше с ополчением московским пойду».

Багратион рвался в бой, хотя тут же, в этих же письмах, признает, что у нас всего 80 тысяч (по его счету), а Наполеон сильнее [13]. «Отнять же команду я не могу у Барклая, ибо нет на то воли государя, а ему известно, что у нас делается».

Чем больше подробностей о поразительном поведении русских солдат в Смоленске доходило до Багратиона, тем более возрастала его ярость: «Больно, грустно, и вся армия в отчаянии, что самое опасное место понапрасну бросили». Он убежден, что Смоленск можно было отстоять: «Войска наши так дрались и так дерутся, как никогда. Я удержался с 15 тысячами более 35 часов и бил их, но он не захотел остаться и 14 часов. Это стыдно и пятно армии нашей, а ему самому, мне кажется, и жить на свете не должно. Ежели он доносит, что потеря великая, неправда. Может быть, около 4 тысяч, не более, но и того нет. Хотя бы и десять,— как быть, война». Русские войска были великолепны под Смоленском, это мы знаем и из французских источников. «Артиллерия наша, кавалерия моя истинно так действовали, что неприятель стал в пень...» Барклай перед битвой дал Багратиону честное слово, что не отступит, и нарушил его. «Таким образом воевать не можно, и мы можем неприятеля скоро привести в Москву»,— писал 19 августа Багратион царю («Аракчееву» для царя). Багратион требует собрать 100 тысяч под Москвой: «или побить, или у стен отечества лечь, вот как я сужу, иначе нет способа». Его больше всего беспокоят слухи о мире: «Чтобы помириться,— боже сохрани! После всех пожертвований и после таких сумасбродных отступлений мириться! Вы поставите всю Россию против себя, и всякий из нас за стыд поставит носить мундир... война теперь не обыкновенная, а национальная, и надо поддержать честь свою... Надо командовать одному, а не двоим...

Ваш министр, может быть, хороший по министерству, но генерал не то что плохой, но дрянной, и ему отдали судьбу всего нашего отечества... Министр самым мастерским образом ведет в столицу за собой гостя». Злят и беспокоят Багратиона и немцы, в изобилии кружащие вокруг главного штаба: «Большое подозрение подает всей армии флигель-адъютант Вольцоген. Он, говорят, более Наполеона, нежели наш, и он все советует министру». Багратион считает, что при отступлении от Смоленска русские потеряли более 15 тысяч человек (т. е., значит, почти в четыре раза больше, чем в самой битве): «Я не виноват, что министр нерешим, трус, бестолков, медлителен и все имеет худые качества. Вся армия плачет и ругает его насмерть». Багратион требует подкреплений и чтобы «перемешать» милицию с кадровыми войсками, а иначе, «ежели одних пустят, плохо будет». «Ох, грустно, больно,— кончает Багратион,— никогда мы так обижены и огорчены не были, как теперь... Я лучше пойду солдатом в суме воевать, нежели быть главнокомандующим с Барклаем».

3

На рассвете 19 августа маршал Ней прошел окольным путем, миновав пылавшее смоленское (Петербургское) предместье и вышел из города. Разведчики донесли ему, что русская армия, которая вышла из Смоленска 19 августа, отступает не по Петербургской, а по Московской дороге. Ней двинулся сейчас же вслед за русскими, послав разведки на обе эти дороги. Около Валутиной горы Нея задержал русский арьергард. Произошла битва, длившаяся целый день 19 августа. Русские сопротивлялись очень упорно. Французы потеряли 7 тысяч человек, русские — около 6 тысяч. При наступлении темноты артиллерийская перестрелка смолкла. Ночью Барклай снялся с позиций и ушел на восток; отступление русских продолжалось.

Эта битва при Валутине, кончившаяся отступлением русских, показалась французам, по свидетельству графа Сегюра, слишком дорого купленной победой. Яростное сопротивление русского арьергарда в течение целого дня, очень большие потери, понесенные при этом французами, смерть в конце битвы одного из лучших генералов Наполеона — Гюдэна, наконец невозможность для маршала Нея начать после битвы преследование отступающих русских полков — все это очень мало походило на те победы, которые Ней и другие маршалы привыкли на своем веку одерживать во всех концах Европы. Ведь русские перестали вечером отстреливаться только после

того, как Ней первый прекратил огонь, и тогда только начали свое дальнейшее отступление. Ней очень хорошо понимал, что это значит. Битву при Валутиной горе нельзя было рассматривать как победу, это была скорей стратегическая неудача французской армии.

Наполеон был в Смоленске, когда ему доложили о конце битвы под Валутиной и принесли его любимца Гюдэна умирающим. Конечно, это было только арьергардное дело, и поле битвы осталось за французами, русские продолжают отступать, но Наполеон, как и маршал Ней, тоже хорошо понял смысл происшедшего. «Было почти столько же славы в поражении русских, как в нашей победе»,— сказал бывший около императора граф Сегюр. Этот-то признак и был самым зловещим, и он уже не в первый раз тревожил императора. Разве русские бежали хоть один раз с тех пор, как началась война? Разве еще до Смоленска битву под Красным и отступление Неверовского можно было не для публики и не в бюллетенях, а всерьез назвать победой великой армии? Разве где-нибудь, кроме Испании, случалось так, чтобы люди *в одиночку*, укрываясь за кустами, отстреливались от целой роты и чтобы против одинокого, окруженного врагами солдата нужно было выдвигать пушку и стрелять в него ядрами, как пришлось это сделать с русским егерем после взятия Смоленска? А сколько таких егерей погибло до Смоленска и в самом Смоленске! Судя по всем показаниям, битвы под Смоленском, взятие и гибель Смоленска, сражение под Валутиной уже после Смоленска — все это породило крайне сложные настроения в вожде великой армии.

Корпус генерала Жюно Наполеон заранее отправил в обход Смоленска с целью воспрепятствовать Барклаю и Багратиону соединиться на Московской дороге при возможном отступлении русских от Смоленска. Наполеон сделал это, зная, что обе русские армии соединятся либо в Смоленске, либо сейчас же к востоку от Смоленска на Московской дороге. Но генерал Жюно, заняв передовыми патрулями село Преображенское, в двух километрах от того места, где он переправился через Днепр, дал войскам роздых, его патрули были врасплох застигнуты русскими, а главные силы Жюно были задержаны согласно плану Багратиона упорной битвой при деревне Синявине. Когда Жюно вышел наконец через болота на Московскую дорогу, он опоздал,— соединенная русская армия уже ушла, направляясь к Дорогобужу. Снова Аустерлиц, ускользнувший в Витебске, ускользнул теперь от Наполеона между Смоленском и Дорогобужем. Король неаполитанский Мюрат был в бешенстве и, передавая генералу Жюно резкий выговор императора, прибавил от себя: «Вы недостойны быть в армии Наполеона послед-

ним драгуном». На этом надломилась карьера, а вскоре и жизнь генерала Жюно. Он не вынес опалы и немилости императора, сошел с ума спустя несколько месяцев и вскоре после сумасшествия скончался.

В три часа ночи 19 августа Наполеон прибыл на поле, где днем происходило сражение. Тут он подробно расспросил о всем происходившем и приказал представить ему раненного штыком и взятого в плен генерала Тучкова 3-го. Поведением Жюно он был возмущен до крайности, о чем и приказал ему передать. Затем Наполеон принялся раздавать награды отличившимся на поле Валутинской битвы. Награды раздавал он лично и с необычайной щедростью, требовал, чтобы сами солдаты называли отличившихся товарищей, и солдаты и офицеры были осыпаны милостями, чинами, орденами, и громовое «Да здравствует император!» прокатывалось по рядам. Все это должно было поднять дух.

Но, вернувшись в Смоленск, Наполеон вскоре послал адъютанта за своим пленником, генералом Тучковым 3-м. Это был первый прямой шаг Наполеона к миру — шаг, оставшийся, как и все последующие, совершенно безрезультатным. «Вы, господа, хотели войны, а не я,— сказал он Тучкову, когда тот вошел в кабинет.— Какого вы корпуса?» — «Второго, ваше величество».— «Это корпус Багговута. А как вам приходится командир 3-го корпуса Тучков?» — «Он мой родной брат». Наполеон спросил Тучкова 3-го, может ли он, Тучков, написать Александру. Тучков отказался. «Но можете же вы писать вашему брату?» — «Брату могу, государь». Тогда Наполеон произнес следующую фразу: «Известите его, что вы меня видели и я поручил вам написать ему, что он сделает мне большое удовольствие, если доведет до сведения императора Александра сам или через великого князя, или через главнокомандующего, что я ничего так не хочу, как заключить мир. Довольно мы уже сожгли пороха и пролили крови. Надо же когда-нибудь кончить». Наполеон прибавил угрозу: «Москва непременно будет занята и разорена, и это будет бесчестьем для русских, потому что для столицы быть занятой неприятелем — это все равно, что для девушки потерять свою честь». Наполеон спросил еще Тучкова, может ли кто-нибудь, например сенат, помешать царю заключить мир, если сам царь этого пожелает. Тучков ответил, что сенат не может этого сделать. Аудиенция кончилась. Наполеон велел возвратить шпагу пленному русскому генералу и отправил его во Францию, в г. Мец, а письмо Тучкова 3-го к его брату с изложением этого разговора было передано Тучковым маршалу Бертье, который послал его в главную квартиру Барклая; Барклай переслал письмо царю в Петербург. Ответа никакого не последовало.

4

Наполеону снова приходилось решать трудную задачу. Каковы были итоги смоленской операции?

Отчаянная битва перед городом, бомбардировка Смоленска, пожары, взрыв пороховых складов, уход последних русских сил, оборонявших Смоленск, и присоединение их к армии Барклая, отступавшей по Московской дороге. И дальше — битва под Валутиной, где пал Гюдэн и где русские снялись с места и ушли только после того, как умолкла артиллерия Нея. И Ней, который всегда и всюду был очень смел, тут не осмелился их преследовать. Нужно было подвести итоги всем этим фактам. Что означает прежде всего планомерное сожжение Смоленска, бегство большинства жителей, превращение губернского города в дымящиеся, окровавленные развалины? Ответ мог быть только один: не может быть и речи о том, чтобы русские теперь просили мира. Люди, которые уничтожают уже не только свои деревни, но и свои большие города, совсем не похожи на тех, кто ищет скорейшего примирения. В Витебске еще была слабая надежда на приезд парламентера от Александра, но среди развалин догорающего Смоленска эта надежда улетучилась. Балашов вторично не приедет...

С 27-летнего возраста Наполеон всегда был на всех войнах главнокомандующим и от своего штаба и своих генералов не ждал и не получал никаких советов по вопросам, выходящим из рамок непосредственной тактики. Их дело было исполнять, а не высказывать свои мнения о целях войны. Но в *этой* войне все было по-другому. Неясная тревога овладевала свитой и штабом все сильней и сильней. Уже в Витебске был тяжелый и долгий разговор с графом Дарю. После нескольких часов почтительного спора Дарю умолк, но было ясно, что Наполеон нисколько его не переубедил и что замолчал главный комиссар продовольствия великой армии единственно потому, что этикет не позволял никому при беседе с его величеством иметь последнее слово.

Теперь в Смоленске, симптомы стали многозначительнее и тревожнее. Был разговор с королем неаполитанским, зятем императора, начальником всей кавалерии, Мюратом. Мюрат, храбрец, лихой кавалерист, Мюрат вдруг стал просить императора остановиться в Смоленске, отказаться от похода на Москву.

Разговор начался при свидетелях, продолжался без свидетелей, но Мюрат потом не скрыл того, что произошло у них с императором с глазу на глаз. Мюрат долго умолял Наполеона остановиться. Император возражал, говорил, что «честь, слава, отдых» — все это будет найдено в Москве, и только в Москве. Мюрат бросился тогда на колени перед Наполеоном, говоря: «Москва нас погубит». Он сам был так потрясен этой сценой,

что в тот же день в разгаре бомбардировки Смоленска, когда русские батареи, отвечая неприятелю, стали осыпать ядрами его стоянку, он подался вперед и слез с лошади. Генерал Бельяр стал настойчиво просить его уйти, но Мюрат, не скрывая, что он ищет смерти, резко отказался. Тогда Бельяр сказал ему, что из-за него вся его свита тут же погибнет. «Ну, так уходите прочь вы все и оставьте меня тут одного!» — раздраженно закричал Мюрат. Свита единогласно отказалась уйти, и только тогда Мюрат с явной злобой покинул опасное место.

Повлияла ли все-таки эта сцена с Мюратом на императора или ужасающий вид горящего Смоленска с его уничтоженными складами и разрушенными бомбардировкой домами заставил его снова пересмотреть свое решение, неизвестно, но после объезда нескольких покрытых трупами и ранеными улиц города Наполеон произнес: «Первая русская кампания окончена» (в другой редакции: «Война 1812 года окончена»). Однако колебание это оказалось мимолетным.

Наполеон, конечно, знал, что Мюрат далеко не одинок в своем убеждении и что критика его предначертаний происходит втихомолку не только в главном штабе и в свите, но и среди рядового офицерства и даже среди солдат. Слишком велико было разочарование, когда вместо спокойных квартир, обильной пищи после долгих голодных маршей, вместо основательного отдыха в большом русском городе, великая армия нашла дотла разоренное место, начисто выгоревшие значительные части города, неслыханный, неустранимый и непрекращающийся смрад от тысяч и тысяч всюду — в домах, на улицах, в садах — гниющих под жгучим солнцем трупов, непрерывные вопли бесчисленных раненых, валяющихся тут же, рядом с трупами. Фуражиры возвращались из окрестностей, не добыв ни хлеба, ни сена, падеж лошадей усиливался, а по ночам французские солдаты видели с окраин разрушенного города далекие зарева горевших деревень.

В ночь с 24 на 25 августа Наполеон выступил из Смоленска. Весь день он шел следом за русской армией по опустошенной дороге. Вдали по обе стороны пути виднелись зарева пожаров сжигаемых деревень и стогов. 26 августа император был в Дорогобуже, 27-го вечером — в Славкове, 28-го он ночевал в помещичьем доме в Рубках, не доходя Вязьмы.

«Всюду мы косили зеленые хлеба на корм лошадям и по большей части находили везде полное разорение и дымящиеся развалины. До сих пор мы не нашли в домах ни одного русского, и, когда мы приблизились к окрестностям Вязьмы, мне стало ясно, что неприятель умышленно завлекает нас как можно дальше в глубь страны, чтобы застигнуть нас и уморить голодом и холодом. Пожары пылали не только на пути главной армии, но

виднелись в разных направлениях и на больших пространствах. Ночью весь горизонт был покрыт заревом»,— пишет Пион, артиллерийский офицер великой армии, в августе 1812 г. Утром 29 августа Наполеон был в Вязьме. Русская армия безостановочно уходила на восток. «Я тут нахожусь в довольно красивом городе,— писал Наполеон Марии-Луизе из Вязьмы,— тут 30 церквей, 15 тысяч жителей и много лавок с водкой и другими полезными для армии предметами» [14]. В ночь на 1 сентября император выступил из Вязьмы и в два часа ночи прибыл в Велищево. Жара прекратилась, прошли дожди. «У нас уже осень, а не летнее время,— пишет император жене.— Пыль прибило к земле, армии стало легче продолжать свой бесконечный путь».

Деревни, села, скирды сена и соломы, все запасы сжигались в этот период войны отступающей русской армией. В стороне, в местах, лежащих подальше от столбовой дороги отступления, французы находили, к великой своей радости, и скот, и дома, и жителей. За Смоленском, в Пологом, 24 августа корпус Евгения Богарне увидел «совсем необычайное событие в окрестностях Прудищ — пасущийся на полях скот, деревенских жителей, дома, оставшиеся в стороне от движения войск и, следовательно, уцелевшие». Офицеры и солдаты были отправлены к местным жителям, чтобы «в мирных выражениях попросить у них пищи на сегодня и несколько голов рогатого скота». Все обошлось благополучно, и солдаты «хорошо отдохнули». Но это было именно довольно исключительным событием: если у русских не хватало времени очень уж далеко отходить от главной линии движения, чтобы жечь деревни и запасы, расположенные вдали, то ведь и у французов, преследовавших русскую армию и стремившихся принудить ее к генеральной битве, тоже не было времени производить слишком далекие фуражировки.

Наполеон был молчалив на пути от Смоленска к востоку. Молчала и ехавшая за ним свита, молчали маршалы. С кем ему было говорить? С Коленкуром? С вице-королем Евгением? С Мюратом? С Бертье? С любимым другом Дюроком? Он вел их в Москву, а они не скрывали от него, что «Москва — это гибель». Все они говорили ему об этом. Преданный Бертье не говорил, но думал об этом же, и Наполеон это знал.

«Да здравствует император!» — кричала старая гвардия всякий раз, когда он к ней подъезжал. Эти у него ничего никогда не спрашивали, но зато и совета никакого дать не могли. Они только отдавали ему по первому требованию свою жизнь.

Глава IV

ОТ СМОЛЕНСКА ДО БОРОДИНА

1

Когда 18 июля из Полоцка Александр I уехал, наконец от армии, с ним уехала и его большая свита, а в свите тот самый А. С. Шишков, который, как мы видели, немало усилий потратил на дело удаления царя из армии. Шишков убедил царя, что ему необходимо появиться в первопрестольной Москве, чтобы воодушевить народ. На самом деле мы знаем из личных записок самого Шишкова, предназначенных не для печати, что ему казался более всего существенным не столько вопрос, *куда* поедет царь, сколько самый отъезд его, ибо вреднее, чем в действующей армии, присутствие Александра Павловича нигде быть не могло. «Несколько дней уже перед сим бродило у меня в голове размышление, что, может быть, положение наше приняло бы совсем иной вид, если бы государь оставил войска и возвратился через Москву в Петербург». Но, конечно, царю этого нельзя было прямо так и высказать, и Шишков говорил о том, что царю нужно спешить именно в Москву, древнюю, священную столицу, и т. д. Но вышло все несравненно лучше, чем кто-либо ждал. В Москву Александр со свитой прибыл уже вечером 23 июля, на пятый день после отъезда из армии. Был при нем, конечно, и Аракчеев, который еще в Полоцке на слова Шишкова и Балашова, что отъезд царя есть средство к спасению отечества, ответил текстуально так: «Что мне до отечества! Скажите мне, не в опасности ли государь, оставаясь далее при армии?» Для Аракчеева отъезд царя из армии был прежде всего спасением своей собственной аракчеевской шкуры от непосредственной военной опасности. Трусость Аракчеева, так же как и жестокое отношение к солдатам, имела истинно патологические размеры. Теперь он на время присмирел. Выбивание челюстей и выдирание усов у солдат, а также прогон их «сквозь тысячу человек

двенадцать раз» приходилось отложить до более подходящего времени.

Потрясающие известия о грозном враге, который, ломая сопротивление, прямиком идет на Москву, давно уже держали столицу в напряженнейшем положении. Появление Александра в Москве сильно оживило настроение столицы. 27 июля в Кремле состоялось собрание дворянства и отдельно собрание купечества. Это были допущенные представители обоих сословий, не выбранные, но приглашенные во дворец. Купечество Москвы выразило готовность (и приняло соответственные решения) прийти на помощь отечеству пожертвованиями (до 10 миллионов рублей). Дворянство Московской губернии постановило выставить из крепостных своих крестьян «до *80 тысяч»* ратников и дать казне 3 миллиона. От «мещан и разночинцев» также поступили заявления о предоставлении ратников. Сверх того, отдельные большие богачи и магнаты из дворян (вроде графа Мамонова) обязались выставить, обмундировать и вооружить за свой счет целые полки. Началось формирование общенародного ополчения. Подъем духа в народе был огромный. Не страх, а гнев был преобладающим чувством. Очевидцы единодушно показывают, что все классы на этот раз в этот страшный миг слились в общем чувстве. Лучше смерть, чем покорность вторгшемуся насильнику! Крестьяне, мещане, купцы, дворянство — все наперерыв хотели выразить свою готовность идти на смертную борьбу против Наполеона.

Характерно, что наиболее далеки от этого народного подъема были официальные представители власти. Московский главнокомандующий Ростопчин, согласно его собственным запискам, занят был в это время совсем иными вопросами. До него дошло, что кое-кто из дворян намерен спросить государя на заседании в Кремле, каковы наши силы, какие у нас есть средства для защиты и т. д. Это, очевидно, показалось Ростопчину неуместным парламентаризмом, как ему казалось все, сверх восклицания «ура». И он поспешил предупредить вопрошателей. «Намерение было дерзкое, неуместное и опасное при тогдашних обстоятельствах; но насчет исполнения его, то я вовсе не испугался, зная, что указанные господа столь же храбры у себя дома, сколько трусливы вне его. Я преднамеренно и неоднократно говорил при всех, что надеюсь представить государю зрелище собрания дворянства верного и что я буду в отчаянии, если кто-либо из неблагонамеренных людей нарушит спокойствие и забудется в присутствии своего государя, потому что такой человек прежде окончания того, что хотел бы сказать, начнет весьма далекое путешествие. Дабы сообщить более вероятия таким моим речам, я приказал поставить невдалеке от дворца две повозки, запряженные почтовыми лошадьми, и подле их прохаживаться двум

полицейским офицерам, одетым по-курьерски. Если кто-либо из любопытных осведомлялся, для кого назначены эти повозки, отвечали: а для тех, кому прикажут ехать. Эти ответы и весть о появлении повозок дошли до собрания, и фанфароны во все продолжение собрания не промолвили слова и вели себя, как подобает благонравным детям». Так подготовился Ростопчин к возможным интерпелляциям, по собственным его словам [1].

Зато совсем не подготовилось правительство к непосредственной организации ополчения. Это ополчение должно было постепенно пополнять убыль в армии, но вооружить его было нелегко.

Уже отъехав от армии и будучи в Москве, Александр убедился, что в России нечем вооружить московское ополчение. И не только царь, но и военный министр Барклай этого не знал. «Распоряжения Москвы прекрасны, эта губерния мне предложила 80 тысяч человек. Затруднение в том, как их вооружить, потому что, к крайнему моему удивлению, у нас нет более ружей, между тем как в Вильне вы, казалось, думали, что мы богаты этим оружием. Я покамест сформирую много кавалерии, вооруженной пиками. Я распоряжусь дать их (пики — *Е. Т.*) также пехоте, пока мы не достанем ружей»,— такое неприятное открытие изложил Александр Барклаю в письме из Москвы 26 июля.

Ружей настолько не хватало, что, по высочайшему повелению, состоявшемуся в том же июле 1812 г., велено было не приводить в действие предложенного вологодским дворянством сбора ополчения (по 6 душ от каждой сотни), а вместо этого прислать от всей Вологодской губернии всего 500 человек звероловов-охотников с их охотничьими ружьями.

Вообще же ополченцев вооружали чем попало. Новороссийский генерал-губернатор «дюк де Ришелье» (герцог Ришелье) сообщил министру полиции 26 июля 1812 г.: «Ополченцев приходится вооружить как кто может».

Вооружать пиками людей, посылаемых драться с наполеоновской армией, значило вовсе никак их не вооружать. В первую голову было велено собрать ополчение в шести губерниях: Тверской и Ярославской (по 12 тысяч), Владимирской, Рязанской, Калужской и Тульской (по 15 тысяч от каждой из этих последних четырех губерний). В общем это составило 84 тысячи человек, а Московская губерния выставила 32 тысячи. Итак, собралось пока ополчение в 116 тысяч человек. Но ружей всетаки не достали. «Я назначил сборные пункты,— вспоминает Ростопчин,— и в 24 дня ополчение это было собрано, разделено по дружинам и одето: но так как недостаточно было ружей, то их (ополченцев — *Е. Т.*) вооружили пиками, бесполезными и безвредными».

2

В ночь на 31 июля царь выехал из Москвы и направился в Петербург, куда прибыл 3 августа.

Невеселые вести посыпались на него в ближайшие дни из армии. Для публики можно было всячески выказывать ликование по поводу «победы» Витгенштейна над Удино и умалчивать о том, что на другой день эта победа сменилась поражением и смертью Кульнева. Для публики можно было настаивать на успехах генерала Тормасова, одержанных над генералом Рейнье (на южном фронте), но Александр знал, что за этим успехом последовало полное затишье, что у Тормасова не хватило уменья и сил развить свой успех. Правда, утешительным было то, что австрийские «союзники» Наполеона явно вели себя двусмысленно и Шварценберг, очевидно, вовсе и не желал серьезно угрожать Тормасову. Но во всяком случае важнее всего было движение Наполеона от Витебска на Смоленск.

Паника среди аристократии, в царском окружении, в царской семье росла не по дням, а по часам. Первые, еще темные, неясные слухи о падении Смоленска ее усиливали. Ермолов, Багратион, Беннигсен громко говорили, что если так дальше вести дело, то Москва погибла. Но кого же назначить вместо Барклая? Страх дошел до того, что царю стали в глаза говорить всю правду, забывая об этикете. И хотя больше всех об этом говорила его родная сестра, но царю от этого смягчающего обстоятельства было не легче. «Ради бога,— заклинала брата Екатерина Павловна,— не берите командования на себя, потому что необходимо без потери времени иметь вождя, к которому войско питало бы доверие, а в этом отношении вы не можете внушить никакого доверия. Кроме того, если бы неудача постигла лично вас, это оказалось бы непоправимым бедствием вследствие чувств, которые были бы возбуждены» [2].

Между тем из армии приходили такие вести, которые не позволяли дольше медлить с решением вопроса о главнокомандующем.

Положение Барклая в армии после падения Смоленска сделалось просто невозможным. В Дорогобуже все корпусные командиры явились к цесаревичу Константину и заявили ему о дурном состоянии армии, о неравной борьбе, «в особенности если армией будет продолжать командовать Барклай де Толли». После этого Константин, никогда не блиставший избытком мужества, явился к Барклаю просить о паспорте для отъезда из армии. Барклай пробовал переубедить Констанина, но тот все-таки уехал, заявив, что он хорошо знает положение и что он едет в Петербург, чтобы заставить своего брата заключить мир [3].

Конечно, отъезд Константина был немедленно использован

против Барклая. Делу был придан такой оборот, будто Барклай «выслал» цесаревича из армии, а Константин «является в самом лучшем свете, несмотря на свое предосудительное поведение, так как говорят, что генерал его захотел удалить за то, что он громко высказывал правду» [4].

Но хуже всего для Барклая была яростная борьба Багратиона против него, необычайно обострившаяся.

Отношения между Багратионом и Барклаем после выхода из Смоленска с каждым днем отступления становились все напряженнее. Багратион стал в самом деле обращаться с Барклаем как с подозреваемым в измене. Наконец 28 августа Багратион получил рескрипт царя о назначении Кутузова вместо Барклая. В тот же самый день, войдя в Максимовку, он пишет следующее письмо Барклаю, который был тут же, в армии, но с которым князь Багратион предпочел не переговариваться, а переписываться: «Милостивый государь Михаил Богданович! По мнению моему, позиция здесь никуда не годится, а еще хуже, что воды нет. Жаль людей и лошадей. Постараться надобно идти в Гжатск. Но всего лучше там присоединить Милорадовича и драться уж порядочно. Жаль, что нас завели сюда и неприятель приблизился. Лучше бы вчера подумать и прямо следовать к Гжатску, нежели быть без воды и без позиции; люди бедные ропщут, что ни пить, ни варить каши не могут. Мне кажется, не мешкав, дальше идти, арьергард усилить пехотой и кавалерией и уже далее Гжатска ни шагу. К тому месту может прибыть новый главнокомандующий. Вот мое мнение; впрочем, как вам угодно. Посылаю обратно план, который снят фальшиво, ибо торопились снимать. С истинным почтением ваш покорный слуга кн. Багратион». Багратион до такой степени не может осилить своей ненависти, что он уже злорадно объявляет Барклаю об отставке как о чем-то само собой разумеющемся и, к счастью, уже случившемся. *«Нас завели... План снят фальшиво...»* — Барклай и без этих выражений знал, как Багратион его называет.

В это же время — и явно демонстративно — Багратион выслал из своей армии, подозревая в шпионстве, состоявшего при ней подполковника Лезера. Собственно, из очень неясного, как обыкновенно у Багратиона, не весьма литературно написанного сопроводительного письма к Ростопчину можно понять следующее: Барклай поместил этого Лезера к Багратиону, чтобы тот доносил ему о Багратионе, а Багратион полагает, что этот Лезер исполняет также шпионские обязанности в пользу французов: «Сей подноситель подполковник Лезер находился при вверенной мне армии по отношению министра военного для употребления должности полицейской... Наконец выходит, что господин сей Лезер более нам вреден, нежели полезен, почему и счел

за нужное немедленно отправить к вашему сиятельству, прося вас всепокорнейше приказать за ним присматривать и не давать никакого способа иметь переписку с родственниками своими или с кем ни на есть» [5].

Вся эта история с Лезером кончилась уже через три дня после отставки Барклая, но началась, когда Барклай еще был главнокомандующим.

17 августа князь Волконский привез Александру письмо от графа Шувалова, писанное из армии еще 12 августа, т. е. до падения Смоленска. Письмо было самого тревожного и печального свойства: «Если ваше величество не даст обеим армиям одного начальника, то я удостоверяю своей честью и совестью, что все может быть потеряно безнадежно... Армия недовольна до того, что и солдат ропщет, армия не питает никакого доверия к начальнику, который ею командует... Продовольственная часть организована наихудшим образом, солдат часто без хлеба, лошади в кавалерии несколько дней без овса; вина в этом исключительно главнокомандующего, который часто так плохо комбинирует марши, что главный интендант ничего не может поделать. Генерал Барклай и князь Багратион очень плохо уживаются, последний справедливо недоволен. Грабеж производится с величайшей наглостью... Неприятель свободно снимает жатву, и его продовольствие обеспечено». Ермолов хорош, но при таком начальнике ничем помочь не может: «Нужен другой начальник, один над обеими армиями, и нужно, чтобы ваше величество назначили его, не теряя ни минуты, иначе Россия погибла» [6].

Александр решился. В тот же день, 17 (5) августа, собрался комитет, составленный по повелению Александра из следующих лиц: председателя Государственного совета Салтыкова, генерала Вязмитинова, Лопухина, Кочубея, Балашова и Аракчеева. Рассмотрев рапорт как самого Барклая, так и Багратиона и других лиц, комитет приступил к обсуждению вопроса о новом главнокомандующем. Вопрос был щекотливый. Не только в дворянстве обеих столиц, но и в армии и даже в солдатской армейской массе давно говорили о Кутузове. Но все члены комитета знали, что царь терпеть не может Кутузова и Кутузов отвечает ему полной взаимностью. С семи часов вечера до половины одиннадцатого эти царедворцы никак не могли решиться поднести государю императору необходимую пилюлю. Наконец решились. Они так волновались, что протокол вышел не очень грамотным. Впрочем, кроме Балашова и графа Кочубея, остальные члены комитета и в хладнокровном состоянии не грешили особым педантизмом в своих отношениях к русской грамматике. Вот что гласила резолютивная часть протокола: «После сего рассуждая, что назначение общего главнокомандующего

армиями должно быть основано: во-первых, на известных опытах в военном искусстве, отличных талантах, на доверии общем, а равно и на самом старшинстве, почему единогласно убеждаются предложить к сему избранию генерал-от-инфантерии князя Кутузова». Александр, впрочем, наперед знал, что именно так и произойдет, и наперед примирился. Он утвердил решение комитета в дни, когда пришли известия о боях под Смоленском и об отступлении Барклая.

Кутузова уже в июле дворяне избрали (с большими и демонстративными овациями) начальником петербургского ополчения. «Между тем все в один голос кричали, что место его не здесь, что начальствовать он должен не мужиками Петербургской губернии, но армией, которую сберегая, Барклай отдает Россию... Имя его (Барклая — *Е. Т.*) сделалось ненавистным, никто из прямо русских не произносил его хладнокровно; иные называли его изменником, другие сумасшедшим или дураком, но все соглашались в том, что он губит нас и предает Россию» [7].

Таковы были дворянские настроения в августе 1812 г.

Вот как Александр мотивировал свое поведение в сложном вопросе о внезапном назначении нового главнокомандующего. Он констатировал всеобщее раздражение против Барклая и признал основательность этого чувства, так как, по его мнению, «министр» обнаружил нерешительность и «беспорядочность в ведении своего дела», а кроме того, раздоры между Барклаем и Багратионом все усиливались и усиливались. Поэтому (сообщает царь сестре) он предложил «маленькому комитету» выбрать нового главнокомандующего. Комитет решил избрать Кутузова. Он не мог не утвердить этой кандидатуры, потому что «в общем, Кутузов в большом фаворе среди публики как тут (в Петербурге — *Е. Т.*), так и в Москве» [8].

3

Михаилу Илларионовичу Голенищеву-Кутузову было в этот момент 67 лет. В дни отечественной войны ему пришлось навсегда связать свое имя с одним из величайших событий русской и всемирной истории и навсегда остаться в памяти людей истинным представителем русского народа в самую страшную минуту существования России.

При дворе, среди аристократии, Кутузов, хотя и потомок старого дворянства, всегда был чужаком; если бы даже не было так широко и твердо известно, что царь его терпеть не может, то и тогда ни Воронцовы, ни Шереметевы, ни Волконские, ни Строгановы вполне «своим» его бы никогда не признали. В большие генералы он вышел еще при Румянцеве и Суворове. Два

раза он был тяжело ранен и в полном смысле слова был на волосок от смерти. Глаз у него выбила турецкая пуля в битве под Алуштой, когда ему было еще 29 лет. Суворов был в восторге от его поведения во время штурма Измаила и называл его своей правой рукой и тогда же назначил его комендантом Измаила. В 1805 г. Кутузов считался главнокомандующим австрийской и русской армий и всеми силами и средствами противился желанию Александра дать генеральную битву Наполеону. Битва под Аустерлицем была дана и проиграна. С тех пор Александр очень не взлюбил Кутузова, и когда однажды Кутузова перед ним оправдывали тем, что ведь Кутузов старался удержать царя от битвы под Аустерлицем, то Александр ядовито сказал: «Слишком мало удерживал». Кутузов был очень умен, очень хитер и тонок. Он сказал раз, сказал два: Наполеон поколотит русских и австрийцев, если дать ему битву. Его не послушали, царю угодно было ломать себе шею. Кутузов умел быть вместе с тем ловким царедворцем, прекрасно вникал в военные и всякие иные интриги, очень ценил власть, почести, блеск, успехи. Александра Павловича он не только не любил, но и не уважал. Чувство родины у него было очень глубокое, и особенно оно обострилось в 1812 г. Его способности как стратега были бесспорны и общепризнаны. Вместе с тем он был и дипломатом замечательным и несколько раз оказывал на этом поприще ценнейшие услуги.

Суворов ставил его много выше других своих соратников. «Хитер, хитер! Умен, умен! Никто его не обманет»,— говорил о Кутузове Суворов. Но не только хитрость и ум ценил в нем знаменитый его начальник. Именно на основании донесения Суворова Екатерина II писала Кутузову 25 марта 1791 г.: «...отличная ваша храбрость... при взятье... города и крепости Измаила... при котором вы... оказали новые опыты искусства и неустрашимости, преодолев под сильным огнем неприятельским все трудности, взошли на вал, овладели бастионом и когда превосходный неприятель принудил вас остановиться, вы, служа примером мужества, удержали место, превозмогли сильного неприятеля, утвердились в крепости и продолжали... поражать врагов...» [9]

Громадные стратегические способности, личная несокрушимая, спокойная храбрость, очень большой военный опыт на командных постах, широчайшая популярность Кутузова в населении и армии — все это ставило старого генерала на совершенно исключительное место в данный момент.

Кутузова совсем незачем «причесывать» под Суворова: он велик именно тем, что у него была своя самостоятельная историческая роль — и он блистательно сыграл ее. И как стратег, и как тактик он был вполне своеобразен. Стратегия и тактика

Кутузова, победившие Наполеона в 1812 г., были не суворовские, а *кутузовские*, потому что и Суворов не мог бы в 1812 г. действовать так, как он действовал на Рымнике или под Измаилом, или под Варшавой.

Конечно, в Кутузове было много и лукавства и уменья играть людьми, когда ему это было нужно, и близкие к нему это очень хорошо понимали. «Можно сказать, что Кутузов не говорил, но играл языком: это был другой Моцарт или Россини, обвораживавший слух разговорным своим смычком... Никто лучше его не умел одного заставить говорить, а другого — чувствовать, и никто тоньше его не был в ласкательстве и в проведении того, кого обмануть или обворожить принял он намерение». Этот «тончайший политик» не любил делиться славой... «Тех, кого он подозревал в разделении славы его, невидимо подъедал так, как подъедает червь любимое или ненавистное деревцо...» — так отзывается о нем человек, ежедневно его видевший и имевший с ним постоянные деловые сношения в 1812 г., дежурный генерал Маевский. «...Надо было еще поймать минуту, чтобы заставить его выслушать себя и кое-что подписать. Так он был тяжел для слушания дел и подписи своего имени в обыкновенных случаях» [10].

Но в том-то и дело, что в *необыкновенных* случаях Кутузов бывал всегда на своем месте. Суворов нашел его на своем месте в ночь штурма Измаила; русский народ нашел его на своем месте, когда наступил *необыкновенный* случай — 1812 год.

Только черты сибаритства, лени, лукавства и бросались в глаза людям, которые или не хотели, или просто не способны были углубляться в анализ очень сложной натуры, большого ума, очень крупных военных дарований Кутузова. Что мог, например, понимать в Кутузове веселый, легкомысленный француз на русской службе Ланжерон? «Кутузов уехал,— пишет Ланжерон Воронцову из Бухареста накануне вторжения Наполеона в Россию,— он нас растрогал при отъезде. Он был очень любезен и очень тронут. Пусть господь даст ему фельдмаршальский жезл, покой, тридцать женщин и пусть не дает ему армию» [11]. Ланжерон не понимал огромной услуги, только что оказанной Кутузовым России заключением мира с турками, которых Наполеон изо всех сил подстрекал не мириться, и еще меньше этот французский белый эмигрант и карьерист мог понять и предвидеть, какую роль суждено сыграть Кутузову при раскатах страшной грозы, идущей на Россию с запада. А ведь Ланжерон был далеко не одинок в своем взгляде на Кутузова. И вместе с тем многие, кто до того честил Кутузова придворной лисой и старым сатиром, растерянно обращали к нему взоры летом 1812 г. и чаяли от него, и только от него, спасения.

В ум и находчивость Кутузова верили не только в широких

кругах дворянского общества и не только в купечестве. Его популярность была огромной и в армии. Конечно, это не было то почти суеверное чувство, с которым солдаты относились к Суворову, да и манера обхождения с солдатами у Кутузова была совсем иная. Суворов, легендарный герой, волшебник, подставляющий поминутно лоб пулям и дразнящий картечь, которая его «не берет», Суворов, всегда и всех побеждающий, был обожаем своими солдатами. Фельдмаршал, который бегает в одной рубахе по лагерю, вызывает солдат драться с ним на кулачки, отказывается в 70 лет надеть теплую шинель, пока не пришлют зимнюю одежду его солдатам,— этот Суворов, конечно, не мог не занимать в душе солдата совсем исключительного положения. Кутузов на это положение и не претендовал. Но отблеск суворовской славы лежал на нем, как лежал и на Багратионе; выбитый глаз напоминал о том, за что Суворов любил Кутузова, а затем Кутузов умел по-простому, добродушно поговорить с солдатом. Суворовские выходки и фамильярности, которые привлекали к Суворову сердца солдат, никак не подходили к старому, рыхлому, тяжеловесному, тучному фельдмаршалу Кутузову. Говоря с солдатом, он делался таким же немудрящим, простым, чисто русским человеком, как сам солдат, сердечным и благожелательным дедушкой. Его любили и ему верили в армии, как никому другому после смерти Суворова. Багратиона тоже любили, но это было иное: немногословный, по-восточному сдержанный и вместе с тем способный на сильные чувства и самое бурное их выражение, боевой герой, не уступавший Суворову в личном мужестве, Багратион все-таки никогда не пользовался такой широкой популярностью, как Кутузов, не был таким «своим» для солдата, как Кутузов, хотя непосредственное окружение (и офицерское и солдатское) и полки, близко к Багратиону стоявшие, любили и уважали его самым искренним и горячим образом.

Кутузов, явившись в Царево-Займище, сейчас же назначил Барклая командиром той части армии, какой Барклай командовал до Смоленска, а Багратиона — начальником той самой армии, какой он до сих пор командовал.

Кутузов очень хорошо сознавал, с каким гигантом ему придется иметь дело, и у нас есть немало тому доказательств.

Офицер Данилевский употребил однажды некоторые смелые выражения против Наполеона. Кутузов прервал его и строго заметил: «Молодой человек, кто дал тебе право издеваться над одним из величайших людей? Уничтожь неуместную брань!» [12]. Это характерно для отношения Кутузова к своему противнику.

И все-таки он не терял надежды одолеть, если не «разбить», то перехитрить Наполеона; одолеть его, используя все — и вре-

мя и пространство. Это не значило, конечно, что он отказывался от активной военной борьбы с Наполеоном. Но эту борьбу он хотел вести с наименьшей затратой живых сил русского народа. Среди провожавших Кутузова, когда он после своего назначения отъезжал из Петербурга к армии, был его племянник, к которому фельдмаршал благоволил. «Неужели вы, дядюшка, надеетесь разбить Наполеона? — спросил он.— Разбить? Нет, не надеюсь разбить! А обмануть — надеюсь!»

Чем больше мы углубимся в анализ и слов и действий Кутузова, тем яснее для нас станет, что он *еще меньше, чем до него Барклай*, искал генеральной битвы с Наполеоном под Москвой, как не искал он ни единой из битв, происшедших после гибели Москвы, как не искал он ни Тарутина, ни Малоярославца, ни Красного, ни Березины. Барклай бывал иной раз растерян, метался, говорил о переходе в наступление. Кутузов, репутация и авторитет которого были несравненно прочнее, вел себя спокойнее, чем его предшественники, и свою идею «золотого моста» Наполеону, т. е. изгнания его из России без излишнего кровопролития, проводил последовательно. В конечном счете эта тактика привела к истреблению вторгнувшейся армии, и он планомерно исполнял свой план, начав его гениальным маршем на Тарутино и продолжая фланговым «параллельным» преследованием вплоть до изгнания врага из России. Но все-таки трудно было его положение и до и после Бородина, и много пришлось ему хитрить. И исследователь даже искренно любящий и почитающий этого великого русского человека, решительно обязан подвергать самой настойчивой и внимательнейшей критике каждое слово, особенно каждый официальный документ, исходящий от Кутузова, и прежде всего обязан в каждом случае спрашивать себя: *кому* и *зачем* пишет Кутузов.

Разница между Кутузовым и Барклаем была в том, что Кутузов знал: Наполеона погубит не просто *пространство, а пустыня*, в которую русский народ превратит свою страну, чтобы погубить вторгшегося врага. Барклай все расчеты строил на том, что Наполеон, непомерно растянув линию сообщений, ослабит себя. А Кутузов рассчитывал на то, что русский крестьянин скорее сожжет свой хлеб и свое сено и свое жилище, чем продаст врагу провиант, и что в этой выжженной пустыне неприятель погибнет.

Никому, и в том числе и ему, не позволят сдать Москву без боя. Это он знал твердо, и с этим обязательством он и получил верховное командование над армией. «Кутузов, наверное, не дал бы Бородинского сражения, в котором, по-видимому, не ожидал одержать победы, если бы голос *двора, армии, всей России* его к этому не принудил. Надо полагать, что он смотрел на это сражение как на неизбежное зло. Он знал русских и умел

с ними обращаться»,— так говорит Клаузевиц, который не любил Кутузова, но многое в нем угадывал, хотя до конца его понять никогда не мог.

Когда 29 августа отступающая русская армия пришла в Царево-Займище и тут узнала, что Александр сменил Барклая и назначил главнокомандующим князя Кутузова, Барклай был потрясен и унижен этим актом. «Если бы я руководим был слепым, безумным честолюбием, то, может быть, ваше императорское величество изволили бы получать донесения о сражениях, и, невзирая на то, неприятель находился бы под стенами Москвы, не встретя достаточных сил, которые были бы в состоянии ему сопротивляться»,— писал Барклай царю.

Барклай тяжело переживал ряд непрерывных обид до Царева-Займища, и вдруг новое, страшное оскорбление, этот внезапный удар в Цареве-Займище. Спустя девять дней после отставки, на другой день после Бородина, Барклай сказал Ермолову: «Вчера я искал смерти и не нашел ее». Ермолов, записавший эти слова, прибавляет: «Имевши много случаев узнать твердый характер его и чрезвычайное терпение, я с удивлением видел слезы на глазах его, которые он скрыть старался. Сильны должны быть огорчения».

В труднейшем положении оказался Кутузов. Встреча, молебен, смоленская чудотворная богородица, «как с этакими молодцами отступать?» и т. д.— все это с одной стороны, а с другой — немедленный его приказ отступать из Царева-Займища на Гжатск и далее. С одной стороны: «Москва — это еще не Россия», «лучше потерять Москву, чем армию и Россию», и т. д.— все эти афоризмы Кутузова, а с другой — ряд изумительных фактов, кричаще противоречивых: «Настоящий мой предмет есть спасение Москвы»,— заявляет он Тормасову. Только что войдя с армией в Гжатск и уже распорядившись о дальнейшем отступлении, он пишет Ростопчину, который в страшной тревоге и волнении хочет добиться ответа о предстоящей участи Москвы: «Не решен еще вопрос: потерять ли армию, или потерять Москву? По моему мнению, с потерей Москвы соединена потеря России». Это — до Бородина. А после Бородина, с одной стороны, военный совет в Филях, оборванный Кутузовым словами: «Приказываю отступление», т. е. приказываю отдать Москву неприятелю, а с другой — в тех же Филях, в тот же день, но до совещания, когда Ермолов заметил, что удержаться на этих позициях нельзя (и что, значит, нужно уходить за Москву и отдать ее), Кутузов, пишет Ермолов, «взял меня за руку, ощупал пульс и сказал: «Здоров ли ты?» [13], т. е. самую мысль отдать Москву без нового боя он считал как бы безумием. Словом, никто до последней минуты не мог при всех усилиях понять, чего же хочет Кутузов.

Но все его действия показывали, что если отдать Москву совсем без битвы никак нельзя и что нужно решиться на генеральное сражение, то после Бородина другого сражения он категорически не хотел давать и не дал. Он путал и противоречил себе, но все это для того, чтобы показать прежде всего солдатам, что он ни за что не хочет отдавать Москву, а если вот отдал ее в последний момент, то исключительно по совсем уже внезапным, каким-то непреодолимым препятствиям, а он мол, сам до последней минуты убежден был, что Москву нельзя сдавать. И он этого достиг. Доверие армии к Кутузову, насколько можно судить по единодушным показаниям свидетелей, после сдачи Москвы ничуть не пошатнулось. Когда он, придя в Мамоново, 12 сентября отдал приказ: «Небезызвестно каждому из начальников, что армия российская должна иметь решительное сражение под стенами Москвы», то он, конечно, с умыслом вводил армию в заблуждение относительно своих намерений. Уже в Филях 13 сентября, щупая пульс Ермолова, он твердо знал, что завтра, 14 сентября, он пройдет через Москву и завтра же в нее войдет французская кавалерия. Все его слова, выходки, приказы были орудием пропаганды, блистательно доказавшим свою пригодность. Да, он не немец, он не изменник Барклай, он русский человек и ни за что не хотел уходить, да что же поделаешь, если божья воля? А больше ничего Кутузову и не требовалось, только чтобы был сделан именно такой общий вывод... И даже на совете в Филях, где решалась участь Москвы, Кутузов предоставил Барклаю первому произнести речь о необходимости оставить Москву, и когда Барклай сказал: «Овладение Москвой приготовит гибель Наполеону», то Кутузов только присоединился к этим словам.

4

Настроение народа и прежде всего крестьян, настроение армии, как солдат, так и командного состава, было таково, что если Кутузов мог с успехом воспротивиться второму генеральному бою, то не дать даже и одного генерального сражения было для него просто невозможно. «Тот, кто предложил бы сдать Москву без выстрела, несомненно прослыл бы за изменника в глазах всего народа». Это — свидетельство (одно из тысячи), говорящее о настроениях в армии и в народе к моменту приезда Кутузова к армии.

Когда отступающая русская армия двигалась от Гжатска к Можайску, к ней явились в подкрепление около 15 тысяч под начальством Милорадовича и 10 тысяч человек московской милиции под начальством графа Маркова. Получив это подкрепление, Кутузов окончательно решил остановиться и принять бой.

Жребий был брошен. Русская армия остановилась и повернулась лицом к наступающему Наполеону [14].

Затруднения обступали Кутузова со всех сторон. Провиантские хищники просто морили голодом армию, воруя уже 100 процентов отпускаемых сумм и сваливая отсутствие сухарей на «отбитие неприятелем».

Провиантское дело было поставлено в русской армии в дни перед Бородином и во время отступления от Бородина к Москве из рук вон плохо. Солдаты питались неизвестно чем, офицеры и генералы, у которых были деньги, бывали сыты, у кого не было денег, голодали, как солдаты. «Наш генерал (Милорадович) не имеет сам ни гроша, и часто бывает, что он, после сильных трудов, спрашивает поесть. Но как чаще всего у нас нет ничего, то он ложится и засыпает голодный без упрека и без ропота» [15].

Так приходилось голодать на походе Милорадовичу, равному по чину Барклаю де Толли, преемнику Багратиона по командованию багратионовской армией после Бородина (при отступлении).

Кутузов, новый главнокомандующий, подходил уже с армией к Колоцкому монастырю, до Шевардинской битвы осталось ровно три дня, до Бородина — пять дней, а солдаты голодают, армии нечего есть. Кутузов принужден выпрашивать, чтобы из Москвы прислали продовольствие, и уговаривает Ростопчина прислать чего-нибудь поесть солдатам, потому что все успехи могут быть сорваны «недостатками» [16].

Каждый день уносил сотни и сотни лошадей во французской армии, но и в русской положение на походе и до и после Бородина было в этом отношении отчаянным: «Мы продолжаем отступать, неизвестно почему, мы теряем людей в арьергардных боях и окончательно губим нашу кавалерию, которая еле двигается. Мой полк благодаря этому животному, Сиверсу, свелся к 400 человекам, другие полки не лучше. Словом, несмотря на наилучшие пожелания и не будучи из числа тех, которые видят все в черном свете, я предвижу, что через пятнадцать дней мы совсем лишимся кавалерии»,— так писал 10 сентября, на четвертый день после Бородина, князь Васильчиков раненому Михаилу Семеновичу Воронцову.

У нас есть еще много бесспорных документов, резко противоречащих голословному и вскользь брошенному слишком оптимистическому мнению Клаузевица об удовлетворительном будто бы состоянии продовольствования русской армии в период ее отступления. Правда и то, что у французов дело обстояло в общем еще хуже. Но «безотносительно» русская армия была далека от сытости. И тем не менее русское войско сохранило и порядок, и дисциплину, и боевой дух.

Голод и всякие лишения били русских солдат сильнее, чем наполеоновские пули и картечь. «Причины же умножения в армии больных должно искать в недостатке хорошей пищи и теплой одежды. До сих пор бóльшая часть солдат носит летние панталоны, и у многих шинели сделались столь ветхи, что не могут защищать их от сырой и холодной погоды»,— доносил 12/24 сентября главноуправляющий медицинской части в армии Вилье Аракчееву [17]. А вообще говоря, Вилье был очень склонен к казенному оптимизму.

5

28 августа Наполеон с гвардией вошел в село Семлево. На другой день корпус Даву и кавалерия Мюрата двинулись на Вязьму. Жара стояла нестерпимая; солдаты французской армии буквально дрались за глоток мутной воды из болота. Русский арьергард под начальством Коновницына поджег все склады провианта в Вязьме. Когда французский авангард подходил к Вязьме, весь город пылал, охваченный пожарами со всех концов. Русский арьергард с боем отступал от Вязьмы. Французы, почти ничего не найдя в сгоревшей Вязьме, разыскали в окрестностях несколько богатых барских усадеб, но там все уже было расхватано казаками, неустанно рыскавшими вокруг русской армии и недалеко от французского авангарда. Со времени выхода из Литвы и вступления в чисто русские губернии добывание продуктов, фуражировки по деревням делались для французов все труднее и труднее. Крестьяне не желали входить ни в какие мирные переговоры и торговые сделки с французами. Они убегали в леса, пряча или сжигая продукты. А после Смоленска это явление стало принимать прямо грозные для «великой армии» размеры.

В Гжатске, за четыре дня до Бородина, Наполеон приказывал маршалу Бертье, своему начальнику штаба: «Напишите генералам, командующим корпусами армии, что мы ежедневно теряем много людей вследствие недостаточного порядка в способе добывания провианта. Необходимо, чтобы они согласовали с начальниками разных частей меры, которые нужно принять, чтобы положить предел положению вещей, угрожающему армии гибелью; число пленных, которых забирает неприятель, простирается до нескольких сотен ежедневно; нужно под страхом самых суровых наказаний запретить солдатам удаляться». Император приказывает, отправляя фуражиров, давать им «достаточную охрану против казаков и крестьян» [18].

Войдя в Гжатск, Наполеон приказал 2 сентября в три часа дня сделать всеобщую перекличку боевых сил, находившихся в Гжатске и в непосредственной близости. Оказалось 103 тыся-

чи пехоты, 30 тысяч кавалерии и 587 орудий. Но еще продолжали подходить отставшие части.

В Гжатске Наполеон пишет Марии-Луизе, отвечая, очевидно, на ее письмо о рисунках Дэнона (к истории наполеоновских войн): «Я доволен, что рисунки Дэнона о моих кампаниях тебя развлекают. Ты находишь, что я подвергался многочисленным опасностям. Вот уже девятнадцать лет, как я веду войны, и я дал много сражений и проводил много осад в Европе, в Азии, в Африке. Я поспешу кончить эту войну, чтобы поскорей тебя увидеть...» [19]

Пробыв в Гжатске 2 и 3 сентября, император выступил с гвардией из Гжатска 4-го числа в час ночи.

Наполеон шел ускоренным маршем, очень тесня арьергард Кутузова, явно желая либо принудить нового главнокомандующего к генеральной битве, либо на плечах русской отступающей армии войти в Москву. Наполеон шел за Кутузовым, непрерывно встречая жестокое сопротивление русского арьергарда.

Уже на другой день после приезда своего к армии в Царево-Займище Кутузов приказал, к общему удивлению, отступать. Тяжелое это было отступление. Арьергардом командовал генерал Коновницын, на него непрерывно наседали большие кавалерийские силы французов. Но 2 сентября драгунам и казакам удалось отбросить баварскую кавалерию, напиравшую на Коновницына, и это улучшило положение, по крайней мере, на сутки.

Кутузов с Барклаем и Багратионом, прикрываемый удачным и упорным сопротивлением Коновницына, подошел 3 сентября к Колоцкому монастырю и тут начал укрепляться. Он поручил обследование позиции полковнику Толю. Позиция, выбранная по повелению Кутузова полковником Толем для битвы, была вынужденной позицией по той простой причине, что Наполеон с главными силами уже не выпускал в сущности из своего кругозора арьергарда кутузовской армии и Коновницын должен был отступать с почти непрерывным боем. Другими словами, Кутузов должен был или ускорить темп отступления и бросить Коновницына совсем на произвол судьбы, хотя и тогда Наполеон, разгромив вконец Коновницына, все-таки погнался бы, тоже ускорив темп марша, за Кутузовым, нагнал бы его где-нибудь около Можайска или восточнее Можайска и все равно заставил бы принять бой; или Кутузов должен был сделать то, что он сделал: остановиться около Колоцкого монастыря, укрепить позицию, какая тут случилась, вобрать в свои главные силы, в свою остановившуюся армию весь теснимый французами арьергард Коновницына и уж тут ждать Наполеона. Эта позиция имела свои и выгодные и невыгодные стороны. Некоторые

из военных историков и прямых участников и очевидцев Бородинского боя утверждают, что она была совсем плоха, но пришлось ее принять [20]. Они явно сгущают краски.

Итак, Наполеон шел за Коновницыным, не выпуская его из почти непрерывного боя. И вдруг императору донесли, что впереди — редут. Наполеон полагал, что это было с военным расчетом поставленное против него передовое укрепление. Позднейшие военные писатели настаивают, что этот редут при деревне Шевардино должен был составлять один из укрепленных пунктов той позиции, которая была предложена Толем для предстоящей генеральной битвы, но что при окончательном осмотре позиции было решено бросить этот Шевардинский редут и, отодвинув несколько к востоку левый (багратионовский) фланг остановившейся русской армии, прикрыть его Семеновским рвом и укреплениями, которые наскоро и были возведены. Так были созданы Семеновские, или *«Багратионовы»,* флеши, полевые укрепления, которым суждено было сыграть колоссальную роль в великой битве. Но Наполеон появился перед Шевардинским редутом в ночь на 5 сентября, когда операция очищения багратионовской армией шевардинской позиции еще не была закончена и в редуте и вокруг редута еще оставались небольшие не успевшие уйти русские части. Несколько французских конных атак было отбито защитниками редута. Подоспевшие две французские дивизии (пехотные) и три полка 3-й дивизии отбросили дивизию Неверовского, занимавшую подступы к редуту, и пошли штурмом на Шевардинский редут. Русские защитники редута встретили французские войска, т. е. свою неминуемую смерть, криком «ура» и штыковой контратакой. Они все были перебиты. Шевардино было поручено защищать князю Горчакову, располагавшему для этой цели 11 тысячами человек. Наполеон направил на Шевардинский редут больше 35 тысяч отборных войск, в числе которых были великолепные три дивизии из корпуса маршала Даву. Не довольствуясь этим, Наполеон уже в разгаре Шевардинского боя подослал атакующей колонне подкрепление. После яростного боя, продолжавшегося весь день, 5 сентября вечером и редут и деревня Шевардино были взяты французами. Артиллеристы продолжали стрелять до последней минуты, а когда ворвались в ретраншаменты французы, они не бежали, хотя имели полную к тому возможность, но вступили в рукопашную и были переколоты у своих орудий. К ночи Багратион послал Неверовскому (дивизия которого почти полностью погибла в этот день) подкрепление, и упорные бои вокруг Шевардина возобновились. Лишь незадолго до полуночи Багратион получил приказ от Кутузова прекратить сопротивление и отойти от непосредственных окрестностей Шевардина к позициям левого фланга русской армии.

Поздно ночью кончился этот бой, настолько неравный, что французы понять не могли, как он мог так долго продолжаться. Все умолкло у Шевардина; спотыкаясь о трупы, густо устилавшие все подступы к редуту, французы в глубокой темноте вернулись в Валуево и Гриднево.

Пока шел этот многочасовой бой, Наполеон принимал донесения разведчиков и не спускал подзорной трубы с далекого русского расположения. Еще утром он пришел к заключению, что подходящим пунктом для прорыва русской позиции является левый фланг русской армии и независимо от этого еще деревня, далеко выдвинувшаяся впереди русского центра. Он уже накануне узнал и название этой деревни: Бородино.

Битва под Шевардиным была, с точки зрения некоторых военных критиков и наблюдателей, «ненужным и безуспешным сражением», потому что неприятель завладел редутом и защищавшими его батареями. Так отзывался об этом деле и Роберт Вильсон, английский комиссар с весьма неопределенными *формально*, но чрезвычайно конкретными функциями *по существу*, пребывавший в штабе Кутузова. Он наблюдал за Кутузовым по двум отдельным заданиям: со стороны английского правительства и со стороны императора Александра, и свои донесения о действиях и словах фельдмаршала посылал в Петербург по двум адресам: английскому послу лорду Каткэрту и императору Александру. В свободное от этих основных занятий время он следил и за самим императором Александром и держал английское правительство в курсе своих наблюдений. Александр мало доверял Кутузову, британский кабинет тоже не доверял Кутузову и еще меньше доверял самому Александру. Тильзитский урок еще был очень свеж в памяти, и неожиданных поступков от царя можно было очень и очень ожидать. Сэр Роберт Вильсон, умный и зоркий наблюдатель, прекрасно справлялся со своими сложнейшими задачами, и нам еще не раз придется обращаться к его письмам, донесениям и, наконец, к его систематическим позднейшим воспоминаниям о 1812 годе.

Шевардиным Вильсон был недоволен. И русские генералы не очень были довольны. Стало ясно, что Наполеон теперь обрушится на левый фланг, потому что этот левый фланг именно и прикрывался Шевардинским редутом. Левое крыло было самым слабым по численности войск. Но им командовал Багратион: Кутузов знал, что это удваивает силу левого фланга.

К вечеру 5 сентября русский арьергард, которым командовал генерал Коновницын, опять был атакован французами у монастыря на Колоче и отброшен к селу Бородино.

Наполеон шел на русскую армию тремя густыми колоннами. Впереди левой колонны шел корпус Понятовского, правой командовал вице-король Италии Евгений, по середине происходило движение главных сил во главе с Наполеоном, в свите которого были Мюрат, Ней, Жюно. Тут была и вся гвардия.

Около деревни Валуево императорский штаб остановился.

Наполеон сидел поздно вечером 5 сентября в своей палатке, когда к нему явился Коленкур, только что побывавший на Шевардинском редуте. «Ни один пленный не был нами взят»,— донес он, и удивленный Наполеон спрашивал, неужели эти русские решили победить или умереть. Ему отвечали, что русские, привыкшие сражаться с турками, которые приканчивают своих пленников, скорее предпочитают дать себя перебить, чем сдаться в плен [21]. Наполеону ответили в чисто царедворческом духе, чтобы несколько подорвать значение геройского поведения русских защитников Шевардина. Отвечавшие ему знали, что ссылка на турок совершенный вздор: русские солдаты очень мало интересовались своей судьбой в плену. Они просто отважно защищали свои позиции, в чем французы убеждались на протяжении всей войны.

Наполеон совсем мало спал в эту ночь. То ему казалось, что русские огни тухнут, то слышался отдаленный шум и гул в русском лагере, и то же опасение, как в течение всей этой войны, овладевало императором: не уйдут ли русские под покровом ночи? Наполеон, исходя из опыта Шевардинского сражения, решил, что готовящийся генеральный бой должен быть прежде всего артиллерийским, а не штыковым и не ружейным боем. Штык и ружье должны были играть не первостепенную, а второстепенную роль.

Едва рассвело, император в сопровождении свиты и маршалов выехал на осмотр позиций. Целый день 6 сентября он не сходил с коня и каждые несколько минут вскидывал глаза на русский лагерь. Там шло какое-то движение, и все время оттуда доносился далекий гул. В середине дня французы узнали, что Кутузов объезжает войска, что по лагерю проносят вывезенную из Смоленска икону смоленской богородицы. К вечеру все стало стихать.

В этот день Наполеон, подъехав к Шевардинскому редуту и, по-видимому, желая проверить полученное накануне известие, спросил у генерала своей свиты, который был у Шевардина: «Сколько вчера взято в плен русских?» — «Они не сдаются в плен, государь!» — «Не сдаются? Хорошо, так мы будем их убивать!» — сказал Наполеон и поехал дальше. Этот краткий разговор передается многими свидетелями, в том числе офицерами лейб-гвардии казачьего полка, сообща составившими историю своего полка на основании записей очевидцев.

Весь день 6 сентября прошел в приготовлениях. Вечером перед полками читалось воззвание Наполеона: «Солдаты, вот битва, которой вы так желали! Впредь победа зависит от вас! Она нам необходима, она нам даст изобилие, хорошие зимние квартиры, быстрое возвращение на родину. Поведите себя так, как под Аустерлицем, под Фридландом, под Витебском, под Смоленском, и пусть самое отдаленное потомство говорит о вашем поведении в этот день. Пусть о вас скажут: он был в великой битве под стенами Москвы!»

Читался этот приказ Наполеона и в другой редакции на рассвете 7 сентября: «Солдаты! День, которого вы так желали, настал. Неприятельская армия, которая бежала перед вами, теперь стоит перед вами фронтом. Вспомните, что вы — французские солдаты! Выигрыш этого сражения открывает перед вами ворота древней русской столицы и даст нам хорошие зимние квартиры. Враг обязан будет своим спасением только поспешному миру, который будет славным для нас и наших верных союзников! Дано в главной квартире перед Можайском 7 сентября 1812 г. Наполеон».

К вечеру 6 сентября приехал курьером из далекой Испании полковник Фавье, адъютант маршала Мармона, дравшегося там с испанцами и англичанами. Невеселые вести привез Фавье: в битве под Арапилем французы, армия которых, расположенная в Испании, была в два раза больше той, которая стояла сейчас перед Бородинским полем, потерпели новую неудачу...

Стемнело. Император велел своей армии ложиться спать,— завтра дело должно было начаться перед рассветом. Он ушел в палатку, но ни сам не спал как следует и ни Коленкуру, ни Раппу не давал заснуть. Каждые час-полтора он выходил посмотреть: не ушел ли Кутузов? Горят ли огни у Семеновского, у Бородина и на фланге Багратиона, между Утицей и Семеновским оврагом? Огни горели, Кутузов не снимался с места. Император был простужен и чувствовал себя плохо. Он начинал говорить с адъютантами и не доканчивал фразы. Задавал вопрос и сейчас же его сам забывал и не слушал ответа. Он внезапно спросил дежурного генерала Раппа, позванного в палатку: «Верите ли вы в завтрашнюю победу?» — «Без сомнения, ваше величество, но победа будет кровавая». Тут Наполеон невольно выдал, играя цифрами, свою мысль не пускать завтра в ход ни гвардию, ни часть кавалерии, т. е. уберечь от битвы около 50 тысяч человек из 130, которые составляли тут его войско: «У меня 80 тысяч, я потеряю 20 тысяч, а с 60 тысячами войду в Москву. К нам там присоединятся отставшие, потом и маршевые батальоны, и мы будем сильнее, чем до сражения».

Он о многом говорил, стараясь побороть и физическое недомогание и душевное волнение, которое ему не удавалось скрыть. В постель он не ложился. Уже светало.

Вдруг в палатку явился ординарец от маршала Нея. Маршал спрашивал повеления, начинать ли бой, так как уже пробило пять часов утра. Русские стоят на месте. Наполеон вскричал: «Наконец, мы их держим! Вперед! Откроем ворота Москвы!» Через полчаса он уже был на взятом накануне Шевардинском редуте, в это время позади русского далекого лагеря стало подыматься солнце. «Вот солнце Аустерлица!» — воскликнул император.

Глава V

БОРОДИНО

1

Во всемирной истории очень мало битв, которые могли бы быть сопоставлены с Бородинским боем и по неслыханному до той поры кровопролитию, и по ожесточенности, и по огромным последствиям.

Наполеон уничтожил в этом бою почти половину русской армии и спустя несколько дней вошел в Москву, и, несмотря на это, он не только не сломил дух уцелевшей части русского войска, но не устрашил и русского народа, который именно после Бородина и после гибели Москвы усилил яростное сопротивление неприятелю.

Какие силы стояли друг против друга на Бородинском поле, когда занималась заря 7 сентября (н. ст.) 1812 г., одного из наиболее кровавых дней в истории человечества?

Русская армия под верховным начальством Кутузова располагала перед Бородинским сражением следующими силами. Правым крылом и центром командовал Барклай де Толли. Правым крылом непосредственно командовал Милорадович, в расположении которого было два пехотных корпуса: 2-й и 4-й (19 800 человек) и два кавалерийских — 1-й и 2-й (6 тысяч человек), а в общем — 25 800 человек. Центром непосредственно командовал Дохтуров, у которого был один пехотный и один кавалерийский корпус (в общей сложности 13 600 человек). Резерв центра и правого крыла состоял в непосредственном распоряжении самого Кутузова (36 300 человек), а всего на этом правом крыле и в центре с резервами было 75 700 человек. Вся эта масса войск (правое крыло и центр) носила название «1-й армии», потому что ядром ее была прежняя 1-я армия Барклая. Левым крылом командовал Багратион, и так как ядром войск этого левого крыла была та «2-я армия», которой командовал Багратион до Смоленска, то и все левое крыло, сражавшееся под Бородином, называлось по старой памяти «2-й армией», а Багратион — «вторым главнокомандующим».

Левое крыло состояло из двух пехотных корпусов (22 тысячи человек) и одного кавалерийского — 3800 человек, в общем же у Багратиона было 25 тысяч человек, а резервы багратионовского левого крыла насчитывали 8300 человек. Следовательно, у Багратиона в общей сложности было к началу боя 34 100 человек, т. е. в $2^1/_2$ раза меньше, чем в 1-й армии. Кроме этих регулярных войск с резервами, составлявших в общем 110 800 человек, к русской армии под Бородином присоединились 7 тысяч казаков и 10 тысяч ратников (смоленского и московского ополчения). В общем у Кутузова под ружьем было (без казаков) 120 800 человек. В его артиллерии было 640 орудий. Эти цифры даются во многих источниках. Однако цифра, даваемая Толем, несколько меньше: «В сей день российская армия имела под ружьем линейного войска с артиллерией 95 тысяч, казаков 7 тысяч, ополчения московского 7 тысяч и смоленского 3 тысячи. Всего под ружьем 112 тысяч человек; при сей армии 640 орудий артиллерии».

Энгельс в своей маленькой статье о Бородинской битве, основанной главным образом, как он сам указывает, на мемуарах Толя, признает, что русская артиллерия в бородинский день была сильнее французской и стреляла более тяжелыми ядрами (6—12 фунтов против 3—4 фунтов) [1]. Исправная работа Тульского и Сестрорецкого заводов и получение нового вооружения из Англии помогли русской армии в борьбе против технически, казалось бы, лучше снабженного противника. Во всяком случае в 1812 г. не наблюдалось ничего похожего на позорную техническую отсталость русских войск сравнительно с французскими во время Крымской кампании 1854—1855 гг.

К Бородину, по преувеличенным русским подсчетам, Наполеон привел пять пехотных корпусов: 1-й, 3-й, 4-й, 5-й и 8-й, четыре кавалерийских корпуса, старую и молодую гвардию. В пехотных корпусах было в общей сложности 122 тысячи человек, в четырех кавалерийских — 22 500 человек, в старой гвардии — 13 тысяч, в молодой гвардии — 27 тысяч человек. В общем у него было, по данным и исчислениям русского штаба, 185 тысяч человек и более тысячи орудий. 1-м корпусом, самым большим из пяти корпусов (48 тысяч человек), командовал маршал Даву, 3-м — маршал Ней (20 тысяч человек), 4-м — вице-король Италии Евгений Богарне (24 тысячи человек), 5-м — князь Понятовский (17 тысяч человек), 8-м — генерал Жюно, герцог д'Абрантес (13 тысяч человек). Всей кавалерией командовал король неаполитанский Иоахим Мюрат (22 500 человек). Ближайшим начальником всей гвардии, как старой, так и молодой, считался сам император Наполеон (40 тысяч человек), он же — главнокомандующий всей великой армии. Но непосредственно командиром старой гвардии

был маршал Мортье, а командиром молодой гвардии — Лефевр, герцог Данцигский.

На самом же деле, по подсчетам участника и историка событий 1812 г. Клаузевица, принятым теперь военной историографией, когда Наполеон подошел к Смоленску, у него было 182 тысячи человек, а когда он подошел к Бородинскому полю, у него было 130 тысяч и 587 орудий. Остальные 52 тысячи были потеряны для бородинского сражения: 36 тысяч Наполеон потерял в боях под Смоленском, на Валутиной горе, в мелких боях и стычках от Смоленска до Шевардина, а также больными и отставшими [2], 10 тысяч отправил в подкрепление витебского гарнизона, 6 тысяч оставил в Смоленске.

Цифры эти даются также французскими военными историками похода, у которых после критической проверки собственно и взял их Клаузевиц.

2

Битва началась с нападения дивизии Дельзонна на деревню Бородино. Деревня была в расположении правого крыла русской армии, которым командовал Барклай. Французы вытеснили из деревни стоявших там егерей, и на берегу реки Колочи произошла очень жаркая схватка. Барклай велел сжечь мост через Колочу. Деревня осталась за французами, но это стоило очень больших потерь не только русским егерям, но и пехоте Дельзонна.

С пяти часов утра самый яростный бой завязался на левом крыле русской армии, где у семеновского оврага стоял Багратион.

Наполеон направил сюда Даву, Мюрата и Нея, которому был подчинен корпус Жюно. Первые атаки были отбиты русской артиллерией и густым ружейным огнем. Маршал Даву упал, контуженный в голову, лошадь под ним была убита. В первых же атаках на позиции Багратиона у французов было перебито очень много начальников — несколько генералов и полковых командиров. Укрепления вокруг Семеновского, так называемые «Багратионовы флеши», были сделаны наспех и с технической стороны очень неудовлетворительно, но защита была такой яростной, что об эти флеши с пяти часов утра до $11^1/_2$ безуспешно и с ужасающими потерями разбивались все отчаянные нападения французов. Наполеон приказал уже к семи часам утра выдвинуть почти 150 орудий и громить этим огнем Багратионовы флеши. После долгой артиллерийской подготовки Ней, Даву и Мюрат с огромными силами (один Мюрат бросил на флеши три кавалерийских корпуса) бросились на Семеновский овраг и на флеши. Подавляющие силы налетели на дивизию Ворон-

цова, опрокинули и смяли ее, налетели на дивизию Неверовского, смяли и ее тоже. Дивизия Воронцова была истреблена почти полностью, и сам Воронцов был ранен и выбыл из строя. Неверовский сопротивлялся отчаянно, и его батальоны не раз бросались в штыковой бой против напиравшей громадной массы французов.

Мюрат, Ней, Даву послали к Наполеону за подкреплением. Но он отказал, выражая неудовольствие тем, что флеши еще не взяты.

Тогда на этом месте закипел кровопролитнейший бой. Багратион и французские маршалы несколько раз отбивали друг у друга покрытые трупами людей и лошадей Семеновские флеши. Для людей, наблюдавших в эти страшные часы князя Багратиона, хорошо знавших его натуру, помнивших всю его карьеру, в которой самое изумительное было то, что он каким-то образом прожил до сорока семи лет, не могло быть сомнений, что на этот раз третьего решения быть не может: или флеши останутся в руках Багратиона, или он сам выбудет из строя мертвым или тяжело раненным.

Наполеон тоже не мог и не хотел отступить от своего намерения, твердо решив сначала прорвать русское построение с его левого фланга, а потом направить все усилия на центр.

На Багратионовы флеши император направил уже не 130 и не 150, как до сих пор, а 400 орудий, т. е. больше двух третей всей своей артиллерии.

Велено было идти на новый общий штурм флешей. Багратион решил предупредить врага контратакой.

«Вот тут-то и последовало важное событие,— говорит участник боя Федор Глинка.— Постигнув намерение маршалов и видя грозное движение французских сил, князь Багратион замыслил великое дело. Приказания отданы, и все левое крыло наше по всей длине своей двинулось с места и пошло скорым шагом в штыки». Русская атака была отброшена, и Даву отвечал контратакой. Французские гренадеры 57-го полка с ружьями наперевес, не отстреливаясь, бросились на флеши. Они не отстреливались, чтобы не терять момента, и русские пули косили их. «Браво, браво!» — с восторгом перед храбростью врага крикнул навстречу 57-му полку князь Багратион.

Град картечи ударил с французской батареи в русских защитников флешей.

В этот момент в Багратиона попал осколок ядра и раздробил берцовую кость. Он еще силился скрыть несколько мгновений свою рану от войск, чтобы не смутить их. Но кровь лилась из раны, и он стал молча медленно валиться с лошади. Его успели подхватить, положили на землю, затем унесли. То, чего он опасался, во избежание чего пересиливал несколько секунд страш-

ную боль, случилось: «В мгновение пронесся слух о его смерти, и войско невозможно удержать от замешательства... одно общее чувство — отчаяние! — говорит участник битвы Ермолов.— Около полудня (уже после исчезновения Багратиона — *Е. Т.*) 2-я армия (т. е. все левое крыло, бывшее под начальством Багратиона — *Е. Т.*) была в таком состоянии, что некоторые части ее, не иначе как отдаля на выстрел, возможно было привести в порядок» [3].

Сейчас после атаки 2-й армии, отброшенной контратакой французов, Федор Глинка увидел у подошвы пригорка раненого генерала. Белье и платье на нем были в крови, мундир расстегнут, с одной ноги снят сапог, голова забрызгана кровью, большая кровавая рана выше колена. «Лицо, осмугленное порохом, бледно, но спокойно». Его сзади кто-то держал, обхватив обеими руками. Глинка узнал его. Это и был «второй главнокомандующий», смертельно раненный Багратион. Окружающие видели, как он, будто забыв страшную боль, молча вглядывался в даль и как будто вслушивался в грохот битвы. «Ему хочется разгадать судьбу сражения, а судьба сражения становится сомнительной. По линии разнеслась страшная весть о смерти второго главнокомандующего, и руки у солдат опустились» [4]. Багратиона унесли, и это был критический, самый роковой момент битвы. Дело было не только в том, что солдаты любили его, как никого из командовавших ими в эту войну генералов, исключая Кутузова. Они, кроме того, еще и верили в его непобедимость. «Душа как будто отлетела от всего левого фланга после гибели этого человека»,— говорят нам свидетели.

Ярое бешенство, жажда мести овладели теми солдатами, которые были непосредственно в окружении Багратиона. Когда Багратиона уже уносили, кирасир Адрианов, прислуживавший ему во время битвы (подававший зрительную трубу и пр.), подбежал к носилкам и сказал: «Ваше сиятельство, вас везут лечить, во мне уже нет вам надобности!» Затем, передают очевидцы, «Адрианов в виду тысяч пустился, как стрела, мгновенно врезался в ряды неприятелей и, поразив многих, пал мертвым».

В позднейшем донесении генерала Сен-При императору Александру взятие французами Багратионовых флешей и редутов тоже объясняется тяжкой раной Багратиона и исчезновением его, смертельно раненного, с поля. У русских было в начале нападения на Семеновское всего 50 орудий, у французов же с самого начала больше сотни [5]. Чем больше свирепела борьба вокруг флешей, тем больше французских орудий подъезжало к маршалам, а русских к Багратиону. Атакуемые французами пункты так быстро переходили из рук в руки, что артиллерия обеих сторон не всегда успевала приноровиться и иногда об-

стреливала по нескольку минут своих. Перед гибелью Багратиона и последним штурмом Багратионовых флешей этот небольшой участок поля битвы обстреливался 400 французскими орудиями и 300 русскими. Теперь Наполеон повернул эти орудия против батареи Раевского, стоявшей в центре позиций.

3

Левое крыло было сломлено. Багратион погиб. Кутузову доносили с разных пунктов битвы о тяжких потерях. Были убиты два генерала братья Тучковы, Буксгевден, Кутайсов, Горчаков. Солдаты дрались с поразительной стойкостью и падали тысячами.

«В это время кавалерийские атаки беспрерывно сменялись одна другой и были столь сильны, что войска сходились целыми массами, и потеря с обеих сторон была ужасная; лошади из-под убитых людей бегали целыми табунами» [6],— пишет очевидец генерал Никитин.

Как и под Смоленском, раненые до последней возможности терпели муки и не уходили из строя, не слушаясь офицеров, которые отправляли их в лазарет. Командный состав ничуть не уступал в этот день солдатам.

Принц Евгений Вюртембергский, находившийся в русской армии в день Бородина, передает поразивший его случай: генерал Милорадович приказал своему адъютанту Бибикову отыскать в разгаре битвы Евгения Вюртембергского и передать, чтобы Евгений ехал к Милорадовичу. Мы знаем из всех свидетельств, что артиллерийский грохот в течение всего этого дня был ужасающий, больше, чем при Эйлау, больше, чем при Ваграме, больше, чем в любой битве всей наполеоновской эпопеи. Даже ружейные выстрелы не были слышны, совершенно терялись в этом оглушительном орудийном громе и треске. Очевидно, Бибиков не мог прокричать Евгению то, что было велено, и он поднял руку, показывая, где находится Милорадович. В этот момент ядро оторвало у него руку. Бибиков, падая с лошади, поднял другую руку и показал снова, куда только что показывал [7].

После взятия флешей вторым центральным моментом Бородинской битвы стала борьба за так называемую курганную батарею, или батарею Раевского, стоявшую в центре русского фронта, между левым и правым крылом. После взятия деревни Бородино французами русские егеря выбили их, но затем сами были выбиты. Бородино осталось за французами, и тогда вице-король Италии Евгений перешел через реку Колочу и повел атаку на курганную батарею. Эта центральная батарея Раевского уже с 10 часов утра подвергалась ряду последовательных атак.

Генерал Бонами штурмовым натиском овладел батареей Раевского, но был выбит оттуда русскими. Второй раз он овладел ею и второй раз был выбит. Начальник штаба 6-го корпуса Монахтин получил две раны штыком и успел еще крикнуть солдатам перед третьим натиском французов, указывая на батарею: «Ребята, представьте себе, что это — Россия, и отстаивайте ее грудью!» В этот момент пуля попала ему в живот, и Монахтина унесли с поля битвы. (Этот полковник, тяжко израненный, прожил еще несколько дней. Узнав, что Кутузов велел оставить Москву неприятелю, Монахтин сорвал со своих ран все повязки и вскоре скончался.)

Ермолов выбил дивизию Брусье из батареи Раевского и от подступов к батарее. Раненный, исколотый штыками генерал Бонами был взят в плен. Наполеон приказал во что бы то ни стало отобрать батарею Раевского.

С двух часов дня Наполеон велел занять артиллерией те позиции вокруг Семеновских флешей, которые были отняты французами после гибели Багратиона. Страшный артиллерийский огонь с этого пункта косил русские войска. Ядра рыли землю, сметая людей, лошадей, зарядные ящики, орудия. Разрывные гранаты выбивали по десятку человек каждая. А одновременно уже не только с бывших Багратионовых флешей, но и с правого фланга французская артиллерия била по батарее Раевского и по отходившим от батареи русским войскам. Никогда до этого дня русские солдаты и командный состав не проявляли такого полнейшего пренебрежения к опасностям, к витавшей вокруг них и косившей их огненной смерти. Барклай (явно для всех искавший смерти в этот день) поехал вперед, к месту, где страшнее всего был огонь, и остановился там. «Он удивить меня хочет!» — крикнул Милорадович солдатам, перегнал Барклая еще далее по направлению к французским батареям, остановился именно там, где скрещивался французский огонь слева (от взятых уже французами Багратионовых флешей) с огнем справа (от позиций вице-короля), слез с лошади и, сев на землю, объявил, что здесь он будет завтракать. Такое отчаянное молодечество было вообще свойственно Милорадовичу.

Солдаты бросались вперед, часто не ожидая приказа. Вот показание очевидца, рисующее наступление второй легкой роты гвардейской артиллерии в тот момент, когда эту роту двинули вперед в самое страшное место, в сердцевину побоища. «Люди роты были гораздо веселее под этим сильным огнем, чем в резерве, где их даром били».

Русская артиллерия отвечала убийственным огнем. Но французский огонь все более и более свирепел: становилось очевидно, что Наполеон решил, во-первых, добиться взятия бата-

реи Раевского, а затем кончить дело победой в артиллерийском поединке, расстроить огнем русскую армию и обратить ее в бегство. Но ничего из этого не выходило. Русская армия отодвигалась в полном порядке.

Платов с казаками и командир 1-го кавалерийского корпуса Уваров с кавалерией произвели по приказу Кутузова в самом почти тылу Наполеона большую диверсию, которая на несколько часов спасла батарею Раевского. Платов и Уваров перешли через Колочу, обратили в бегство французскую кавалерийскую бригаду, стоявшую довольно далеко от центра битвы и вовсе не ожидавшую нападения, и атаковали пехоту в тылу Наполеона. Однако атака была отбита с потерями для русских. Уварову велено было отступать, Платов был отброшен. И все-таки этот рейд русской кавалерии не только задержал конечную гибель батареи Раевского, но и не позволил Наполеону удовлетворить хоть отчасти вторую просьбу Нея, Мюрата и Даву о подкреплении. Наполеон отвечал на эту просьбу словами, что он не может на таком расстоянии от Франции отдавать свою гвардию, что он «еще недостаточно ясно видит шахматную доску». Но одной из причин отказа императора маршалам явилось, бесспорно, чувство некоторой необеспеченности тыла после дерзкого, смутившего французов налета Уварова и Платова.

Тотчас после отбития налета Платова и Уварова Наполеон велел вице-королю Евгению и части кавалерии Мюрата во что бы то ни стало штурмовать и взять батарею Раевского. Последовала атака, встреченная отчаянным сопротивлением русских. Раненые солдаты не уходили из строя, ожесточение было с обеих сторон неистовое, битва шла на самой батарее и между батареей и тем местом, где утром стоял Багратион: теперь левый русский фланг был уже сильно отодвинут сначала Коновницыным, который сменил смертельно раненного Багратиона, и потом Дохтуровым, сменившим Коновницына.

В начале четвертого часа русские защитники батареи на три четверти были перебиты, остальные отброшены. Батарея осталась за французами.

Но русские не уходили с поля битвы, и их артиллерия не умолкала. Русские ядра уже начали падать вблизи от императора и летать над его головой. Наполеон тогда приказал выдвинуть ближе к русскому огню несколько новых батарей гвардейской артиллерии. Но прошло несколько времени, и русские ядра снова начали летать над Наполеоном и его свитой. Некоторые ядра на излете подкатывались к ногам Наполеона. «Он их тихо отталкивал, как будто отбрасывал камень, который мешает во время прогулки»,— говорит дворцовый префект де Боссэ, бывший в эти часы в свите Наполеона. Угрюмое настроение и

плохо скрываемое беспокойство императора не проходили, и ни гибель Багратиона и взятие Семеновских флешей, ни победа над редутом Раевского нисколько не улучшали его настроение. Никому не рассказал Наполеон о том, что он чувствовал, когда кровавый день стал наконец потухать и солнце начало скрываться за тучами. И Боссэ, и маршалы, и свита, и непрерывно подлетавшие галопом с отчетами и за приказами адъютанты — все видели мрачное и суровое лицо властелина, но никого он не удостоил откровенности.

Наблюдал Наполеона в этот момент и французский гвардейский полковой врач доктор де ла Флиз. «Русские хотели отнять взятые редуты, но они оставили только груды тел, пораженных нашей картечью. Во все время сражения Наполеон не садился на лошадь. Он шел пешком со свитой офицеров и не переставал следить за движением на поле битвы, ходя взад и вперед по одному направлению. Говорили, что он не садился на лошадь оттого, что был нездоров. Адъютанты беспрестанно получали от него приказания и отъезжали прочь. Позади Наполеона стояли гвардия и несколько резервных корпусов. Мы были выстроены в боевой порядок, оставаясь в бездействии и выжидая приказаний. Полковая музыка разыгрывала военные марши, напоминавшие победные поля первых походов революции: «Allons, enfants, de la patrie!» (Марсельезу), когда дрались за свободу. Тут же эти звуки не воодушевляли воинов, и некоторые старшие офицеры посмеивались, сравнивая обе эпохи. Я отдал лошадь свою солдату и пошел вперед к группе офицеров, стоявших за спиной императора. Перед нами расстилалось зрелище ужасного сражения. Ничего не было видно за дымом из тысячи орудий, гремевших беспрерывно. В воздухе подымались густые облака одно за другим вслед за молниями выстрелов. По временам у русских взлетали ракеты, должно быть, сигналы, но значение их для меня было непонятно. Бомбы и гранаты лопались в воздухе, образуя беловатое облачко; несколько пороховых ящиков взлетели на воздух у неприятеля, так что земля вздрогнула. Такого рода случаи гораздо реже встречаются у нас, нежели у русских, потому что ящики у них дурного устройства. Я несколько придвинулся к императору, который не переставал смотреть в трубку на поле сражения. Он одет был в свою серую шинель и говорил мало. Случалось, что ядра подкатывались к его ногам: он сторонился, так же как и мы, стоявшие позади» [8].

Очевидцы не могли никогда забыть бородинских ужасов. «Трудно себе представить ожесточение обеих сторон в Бородинском сражении,— говорит основанная на показаниях солдат и офицеров «История лейб-гвардии Московского полка».— Многие из сражавшихся побросали свое оружие, сцеплялись

друг с другом, раздирали друг другу рты, душили один другого в тесных объятиях и вместе падали мертвыми. Артиллерия скакала по трупам, как по бревенчатой мостовой, втискивая трупы в землю, упитанную кровью. Многие батальоны так перемешались между собой, что в общей свалке нельзя было различить неприятеля от своих. Изувеченные люди и лошади лежали группами, раненые брели к перевязочным пунктам, покуда могли, а выбившись из сил, падали, но не на землю, а на трупы павших раньше. Чугун и железо отказывались служить мщению людей; раскаленные пушки не могли выдерживать действия пороха и лопались с треском, поражая заряжавших их артиллеристов; ядра, с визгом ударяясь о землю, выбрасывали вверх кусты и взрывали поля, как плугом. Пороховые ящики взлетали на воздух. Крики командиров и вопли отчаяния на десяти разных языках заглушались пальбой и барабанным боем. Более нежели из тысячи пушек с обеих сторон сверкало пламя и гремел оглушительный гром, от которого дрожала земля на несколько верст. Батареи и укрепления переходили из рук в руки. Ужасное зрелище представляло тогда поле битвы. Над левым крылом нашей армии висело густое черное облако от дыма, смешавшегося с парами крови; оно совершенно затмило свет. Солнце покрылось кровавой пеленой; перед центром пылало Бородино, облитое огнем, а правый фланг был ярко освещен лучами солнца. В одно и то же время взорам представлялись день, вечер и ночь».

Стремясь ускорить разгром и бегство русских, Наполеон приказал кавалерии (кирасирам и уланам) ударить на русскую пехоту, на корпус графа Остермана. Тяжко контуженный, Остерман выбыл из строя одним из первых, но его пехотинцы встретили атаку французской кавалерии таким огнем, что атакующие дрогнули. В этот момент на помощь пехотинцам подоспели свежие гвардейские полки (кавалергарды и конный полк), и французы были отброшены. Но затем последовал новый общий штурм батареи Раевского, французская кавалерия (саксонцы) ворвалась на батарею с тыла, а пехота вице-короля Евгения бросилась на батарею густыми массами прямо в лоб. Последовало страшное побоище, русские штыками сбрасывали в ров взбиравшуюся пехоту. В плен на этот раз не брали ни с той, ни с другой стороны. Забравшись на батарею, французы перекололи всех, кого нашли там еще в живых. Это был последний большой акт Бородинской битвы. Артиллерия продолжала греметь. Отдельные частичные конные атаки отбивались русскими. Так, польская кавалерия Понятовского была отброшена с тяжкими потерями. Речи не было не только о бегстве русской армии, но даже об ее отступлении, несмотря на страшно поредевшие ряды.

Наступал вечер. Величайшая битва всей наполеоновской эпопеи шла к концу, но как назвать этот конец? Это не было ясно ни Наполеону, ни маршалам. Они на своем веку видели столько настоящих, блистательных побед, как никто до них не видел, но *как* назвать победой то, что произошло только что в этот кровавый день 7 сентября? Бюллетень можно было написать какой угодно. Вот что писал, например, Наполеон императрице Марии-Луизе, своей жене, на другой день после битвы: «Мой добрый друг, я пишу тебе на поле Бородинской битвы, я вчера разбил русских. Вся их армия в 120 тысяч человек была тут. Сражение было жаркое; в два часа пополудни победа была наша. Я взял у них несколько тысяч пленных и 60 пушек. Их потеря может быть исчислена в 30 тысяч человек. У меня было много убитых и раненых» [9].

Но ведь никаких «тысяч пленных» Наполеон тут не взял: пленных было всего около 700 человек. А письма к Марии-Луизе были тоже своего рода маленькими «бюллетенями», рассчитанными на широкую огласку, и церемониться с истиной в них так же не приходилось, как и в больших бюллетенях.

Чувство победы решительно никем не ощущалось. Маршалы разговаривали между собой и были недовольны. Мюрат говорил, что он не узнавал весь день императора, Ней говорил, что император забыл свое ремесло.

С обеих сторон до вечера гремела артиллерия и продолжалось кровопролитие, но русские не думали не только бежать, но и отступать. Уже сильно темнело. Пошел мелкий дождь. «Что русские?» — спросил Наполеон.— «Стоят на месте, ваше величество».— «Усильте огонь, им, значит, еще хочется,— распорядился император.— Дайте им еще!»

Угрюмый, ни с кем не разговаривая, сопровождаемый свитой и генералами, не смевшими прерывать его молчания, Наполеон объезжал вечером поле битвы, глядя воспаленными глазами на бесконечные груды трупов. Император еще не знал вечером, что русские потеряли из своих 112 тысяч не 30 тысяч, а около 58 тысяч человек; он не знал еще и того, что и сам он потерял больше 50 тысяч из 130 тысяч, которые привел к Бородинскому полю. Но что у него убито и тяжко ранено 47 (не 43, как пишут иногда, а 47) лучших его генералов, это он узнал уже вечером. Французские и русские трупы так густо устилали землю, что императорская лошадь должна была искать места, куда бы опустить копыто меж горами тел людей и лошадей. Стоны и вопли раненых неслись со всех концов поля. Русские раненые поразили свиту: «Они не испускали ни одного стона,— пишет один из свиты, граф Сегюр,— может быть, вдали от своих они меньше рассчитывали на милосердие. Но истинно то, что они казались более твердыми в перенесении боли, чем французы».

На 58 тысяч убитых и тяжко раненных, потерянных русской армией, пленных русских оказалось всего 700 человек... «Самое страшное из всех моих сражений — это то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские оказались достойными быть непобедимыми»,— так говорил Наполеон уже незадолго до своей смерти.

4

Бородино оказалось в конечном счете великой моральной победой русского народа над всеевропейским диктатором. Именно на бородинских полях начато было то неимоверно трудное дело низвержения Наполеона, которому суждено было завершиться лишь спустя три года на равнине Ватерлоо. Наполеон вечером первый отвел свои войска с поля битвы, еще до приказа Кутузова об отходе. Отступала русская армия от Бородина до Москвы и дальше в полном порядке. А самое главное — и тени упадка духа не было в русских войсках. Ненависть и чувство мщения были сильнее, чем до Бородина. Эти чувства, конечно, владели не всеми, но являлись бесспорно господствующими. Тут разноречий между очевидцами нет. Официальную версию о «великой победе под Москвой» французская историография заимствовала из предназначавшихся для французской публики победоносных реляций императора. Ненавидевшие Кутузова царь и его окружение, со своей стороны, охотно приняли версию о поражении русской армии под Бородином. В этой придворной атмосфере создавались реляции таких людей, как Винценгероде. «Что бы ни говорили, но последствия достаточно доказывают, что сражение (Бородинское — *Е. Т.*) было проиграно. Армия, а особливо левый фланг, понесли чрезвычайную потерю. Одна из причин, послуживших к проигрышу сражения, произошла, как меня уверяли, от беспорядка, поселившегося в артиллерийском парке, после того как убили графа Кутайсова; недостаток был также и в амуниции, и не знали, где ее взять»,— так писал Винценгероде Александру 13 сентября 1812 г. из села Давыдовки (близ Тарутина). Ту же мысль высказывает царю в более скупых выражениях и Роберт Вильсон (из Красной Пахры) в письме от 13 сентября. Эти же тенденции отразились в работах таких военных теоретиков, как Клаузевиц или Жомини. Но интересно то, что о «поражении» заговорили уже немного спустя, когда сдана была Москва. В *первый момент*, вечером после битвы, сами *участники* боя вовсе не считали себя побежденными. Напротив! Был момент, когда поверили, будто Кутузов завтра будет наступать.

Но потери оказались в самом деле неслыханными, ужасающими.

Темнота окончательно сгустилась над долиной побоища, и неумолкавшие стоны и вопли раненых, брошенных на поле и французами и русскими, неслись оттуда всю ночь. И всю ночь горели огни на всех пригорках, к которым отошел штаб Кутузова и куда собирались уцелевшие части русской армии. «Мрачную ночь, следовавшую после кровопролитного боя, употребили на то, чтобы с помощью лагерных огней, расставленных на высотах и служивших точками соединения, расположить наши войска в другую позицию» [10],— пишет Барклай де Толли. Всю ночь подходили и подползали к этим сигнальным огням измученные, израненные люди; всю ночь и все утро шли первые, приблизительные подсчеты потерь. От этих подсчетов зависело то решение, которое немедленно обязан был принять Кутузов.

Утром общая картина была ясна. Действительность оказалась страшнее самых худших опасений.

Самым кровавым сражением всей наполеоновской эпопеи считалась до Бородина битва при Эйлау 8 февраля 1807 г., и ни с какой другой битвой Бородино современники вообще и не сравнивали. Но очевидцы даже и этого сравнения не допускали. Вот что писалось через три дня после Бородина: «Все говорят, что сражение при Прейсиш-Эйлау не может иметь с ним (Бородинским боем — *Е. Т.*) никакого сравнения, потому что все поле покрыто трупами» [11].

«Под Бородином русских выбыло из строя около 58 тысяч человек, половина сражавшейся армии. От гренадерской дивизии Воронцова из 4 тысяч человек уже к трем часам дня осталось 300 человек. В Ширванском полку из 1300 человек осталось 96 солдат и трое офицеров» [12]. Были батальоны и роты, истребленные почти целиком. Были и дивизии, от которых осталось в конце концов несколько человек. Были корпуса, больше походившие по своей численности уже не на корпуса, а на батальоны. Но у нас все-таки, повторяем, есть ряд показаний, что вечером 7 сентября, когда ночная темнота оборвала бой, а русская армия осталась стоять на поле битвы, *никто* ни среди солдат, ни среди командного состава *не считал* сражение проигранным. Напротив, громко говорили о победе, о завтрашнем наступлении на французов... и тут лишний раз оправдалось старое изречение: побежденным бывает только тот, кто чувствует и признает себя побежденным.

Русская армия, половина которой осталась лежать на Бородинском поле, и не чувствовала и не признавала себя побежденной, как не чувствовал и не признавал этого и ее полководец. Он видел то, чего никакие Винценгероде, Клаузевицы и

Жомини видеть и понять не могли: Бородино окажется в конечном счете великой русской победой.

Не чувствовал себя побежденным и русский народ, в его памяти Бородино осталось не как поражение, а как доказательство, что он и в прошлом умел отстоять свою национальную независимость от самых страшных нападений, умеет это делать в настоящем и сумеет это сделать и в будущем.

Глава VI

ПОЖАР МОСКВЫ

1

Немного отойдя от поля битвы, откуда несся непрерывный тысячеголосый хор стонов и воплей раненых, брошенных обеими сторонами на произвол судьбы, и откуда уже начало доноситься зловоние от разлагающихся трупов, французская и русская армии несколько часов простояли в бездействии. Шли подсчеты и проверка подсчетов, выяснение результатов побоища.

Один корпусный командир за другим, один адъютант за другим являлись к Кутузову, и то, что они ему докладывали, было так страшно, что старый фельдмаршал тогда же окончательно решил сдать Москву, не пытаясь уже задержать Наполеона. Точнее сказать, он увидел, что теперь ему позволят сдать Москву без новой битвы. 6-й, 7-й, 8-й корпуса были почти полностью уничтожены. Другие части понесли значительные потери. Вместе с тем Кутузов узнал, что наполеоновская гвардия совсем цела, так как не принимала участия в битве. Днем 8 сентября Кутузов также узнал, что Наполеон обходит своим правым крылом левый русский фланг. Задерживаться дальше, не давая битвы, становилось просто невозможным, а биться сейчас было тоже невозможно. Кутузов решил отступать на Москву. Новые и новые дополнительные сведения градом сыпались в течение всего этого дня.

Утром 8 сентября фельдмаршал велел армии отходить от Бородина по прямой линии Московской дороги. Это было началом гениально задуманного и блистательно выполненного Кутузовым марша-маневра на Тарутино, который является одной из главных исторических заслуг фельдмаршала.

Кутузов отступал от Бородина на Можайск, Землино, Лужинское, Нару, Вязёмы, Мамоново.

На другой день после Бородина, 8 сентября, в 12 часов дня Наполеон приказал Мюрату со своей кавалерией идти за рус-

скими. На правом фланге от Мюрата шел корпус Понятовского, направляясь к Борисову, на левом — вице-король Италии Евгений, направляясь к Рузе, а за Мюратом в почти непосредственной близости шли по той же столбовой Московской дороге, прямо на Можайск, корпус Нея, корпус Даву, на некотором расстоянии молодая гвардия и наконец старая гвардия с самим Наполеоном. Остальные войска шли позади старой гвардии.

То, что произошло с тысячами раненых в Смоленске, повторилось в более грандиозных размерах после Бородина. Множество брошенных на произвол судьбы русских и французов сгорело живьем. «Страшное впечатление,— по словам очевидца, офицера великой армии,— представляло по окончании боя поле Бородинского сражения при полном почти отсутствии санитарной службы и деятельности. Все селения и жилые помещения вблизи Московской дороги были битком набиты ранеными обеих сторон в самом беспомощном положении. Селения погибали от непрестанных, хронических пожаров, свирепствовавших в районе расположения и движений французской армии. Те из раненых, которым удалось спастить от огня, ползали тысячами у большой дороги, ища средств продолжать свое жалкое существование» [1]. Вооруженные крестьяне уже начали беспощадно расправляться с отстающими французами. Конечно, попадавшихся в руки французских отрядов русских крестьян, подозреваемых в нападениях, немедленно приканчивали без всякого суда.

Ожесточение в народе росло не по дням, а по часам в эти роковые дни, и фельдмаршал должен был с этим так или иначе считаться. Не сразу решился он сказать о сдаче Москвы.

В эти же шесть дней, 8—14 сентября, между отходом от Бородина и занятием Москвы французами, Кутузов не переставал делать вид, что он хочет дать новое сражение и только ищет позиции, и не переставал говорить слова, которым сам не придавал значения.

«Кутузов никогда не полагал дать сражение на другой день, но говорил это из одной политики. Ночью я объезжал с Толем позицию, на которой усталые воины наши спали мертвым сном, и он (Толь — *Е. Т.*) донес, что невозможно думать идти вперед, еще менее защищать с 45 тысячами те места, которые заняты были 96 тысячами, особенно когда у Наполеона целый гвардейский корпус не участвовал в сражении. Кутузов все это знал, но ждал этого донесения и, выслушав его, велел немедленно отступать»,— так говорит ординарец Кутузова князь Голицын, всю ночь после Бородина объезжавший кровавое поле.

Мюрат с кавалерией теснил русский арьергард, «опрокидывая его на армию», по выражению Винценгероде, а на третий день после Бородина, 9 сентября (28 августа), пришли известия, что Наполеон велел вице-королю Евгению пойти с

четырьмя пехотными дивизиями и 12 кавалерийскими полками в Рузу; другими словами, правому флангу отступающей русской армии грозил обход [2].

Кутузову все-таки, по-видимому, казалось нужным что-то такое сделать, чтобы хоть на миг могло показаться, что за Москву ведется вооруженная борьба. Вдруг ни с того ни с сего, когда Милорадович отступал с арьергардом под жестоким давлением главных французских сил, 13 сентября приходит бумага от Ермолова. В этой бумаге, по повелению Кутузова, во-первых, сообщается, что Москва будет сдана, а, во-вторых, «Милорадовичу представляется почтить древнюю столицу *видом сражения* под стенами ее». «Это выражение взорвало Милорадовича,— говорит его приближенный и очевидец А. А. Щербинин.— Он признал его макиавеллистическим и отнес к изобретению собственно Ермолова. Если бы Милорадович завязал дело с массою сил наполеоновских и проиграл бы оное, как необходимо произошло бы, то его обвинили бы, сказав: «Мы вам предписали только маневр, только вид сражения» [3].

Современники ровно ничего не могли понять в этом полнейшем противоречии между одновременными словами и поступками Кутузова после Бородина. «Не понимаю, как это несчастное сражение могло хотя на минуту обрадовать вас. Хотя, по словам лиц, в нем участвовавших (некоторых я встречала), это не потерянное сражение, однако-же на другой день всем ясны были его последствия. В Москве напечатали известия, дошедшие до нас, в которых говорилось, что после ужасного кровопролития с обеих сторон ослабевший неприятель отступил на восемь верст, но что для окончательного решения битвы в пользу русских на следующий день, 27-го (8-го сентября), сделают нападение на французов, дабы принудить их к окончательному отступлению, каково и было официальное письмо Кутузова к Ростопчину, которое и поместили в печатном известии. Вместо всего этого 27-го (8 сентября) наши войска стали отступать, и доселе не известна причина этого неожиданного отступления. Тут кроется тайна. Быть может, мы ее когда-нибудь узнаем, а может, и никогда; но что верно и в чем мы не можем сомневаться, это в существовании важной причины, по которой Кутузов изменил план касательно 27-го числа (8 сентября), торжественно им объявленный вечером 26-го числа (7 сентября)»,— писала М. И. Волкова своей подруге В. И. Ланской.

Но вот уже русская армия, т. е. то, что от нее осталось после Бородина, стала подходить почти вплотную к Москве. Следовало немедленно и окончательно высказать громогласно, что Москва будет отдана Наполеону без новой битвы. Кутузов не очень был уверен в своих генералах. Беннигсен, навязанный ему Александром, уже от самого Бородина не переставал, щеголяя

патриотическими фразами, указывать на недопустимость сдачи Москвы. От Ермолова, неискреннего, двуличного, всегда с камнем за пазухой, никогда не симпатизировавшего фельдмаршалу, трудно было ждать большой поддержки. Коновницын, Дохтуров в этом случае были на стороне Беннигсена. Барклай мог бы быть поддержкой, но в эти дни Барклай был полон горечи и обиды. Он только своей жене писал искренне в эти дни, после отставки, и с поля Бородинской битвы и после сдачи Москвы. Но, к его негодованию, кто-то перехватывал его письма. «Я не понимаю, что это значит, что тебе не отдали письма, которое я тебе написал вечером после сражения 26-го (т. е. Бородина) и отправил с тем же фельдъегерем, который вез письмо Кутузова к его жене. Я не понимаю, как можно задерживать семейные письма. Это гнусности, которые следует прибавить ко многим другим, какие делаются». В письмах к жене Барклай утверждает, что только он спас армию до Бородина, что в тот момент, когда его сменили, он стоял на выгоднейшей позиции и готов был сразиться с наступавшими французами. Последующие письма к жене (дошедшие и до потомства) он посылал через английского комиссара, бывшего при Кутузове, и поэтому уж не стеснялся. «Единственная милость, которую я умоляю оказать мне,— это быть избавленным от пребывания здесь (в армии — *Е. Т.*), все равно каким способом...» [4] «...Если не постараются загладить вину — и большую вину — по отношению ко мне,— я решил более не рисковать быть убитым, чтобы за это только навлекать на себя унижения» [5].

Вошли в деревню Фили. В четвертом часу дня 13 сентября 1812 г. в избе крестьянина деревни Фили Севастьянова Кутузов приказал командующим крупными частями генералам собраться на совещание. Прибыли Беннигсен, Барклай де Толли, Платов, Дохтуров, Уваров, Раевский, Остерман, Коновницын, Ермолов, Толь и Ланской. Милорадовича не было: он неотлучно был при арьергарде, наблюдавшем за наседающими французами. Кутузов предложил на обсуждение вопрос: принять ли новое сражение, или отступить за Москву, оставя город Наполеону? Тут же он высказал и свою скрываемую до сих пор мысль: «Доколе будет существовать армия и находиться в состоянии противиться неприятелю, до тех пор сохраним надежду благополучно довершить войну, но когда уничтожится армия, погибнут Москва и Россия». Беннигсен высказался за битву, Барклай — за отступление. Дохтуров, Уваров, Коновницын поддержали Беннигсена. Ермолов тоже поддержал его с ничего не значащими чисто словесными оговорками. Протокола не велось, и не ясно, как в точности высказывались Платов, Раевский, Остерман и Ланской. Совет продолжался всего час с небольшим. Фельдмаршал, по-видимому, довольно неожиданно для присут-

ствующих вдруг оборвал заседание, поднявшись с места, и заявил, что приказывает отступать.

У нас есть еще одно показание о совете в Филях, оно идет кружным путем — из Англии. В Англии с напряженнейшим интересом ждали более точных известий о Бородине. Одним из самых обстоятельных и первых пришедших в Англию отчетов было письмо, полученное графом С. Р. Воронцовым, сын которого участвовал и был ранен в битве. «Бородинский день не был решительным ни для той, ни для другой армии. Потери должны быть одинаковы с обеих сторон. И потеря русской армии чувствительна вследствие количества офицеров, выбывших из строя, что необходимо влечет за собою дезорганизацию полков». Из этого письма мы узнаем некоторые детали о военном совете в Филях. Там говорится, что Остерман спросил Беннигсена, ручается ли он за успех в случае новой битвы под Москвой, на что Беннигсен ответил, что, не будучи сумасшедшим, нельзя на такой вопрос ответить утвердительно [6]. На этом совете Кутузов между прочим сказал: «Вы боитесь отступления через Москву, а я смотрю на это как на провидение, ибо это спасает армию. Наполеон — как бурный поток, который мы еще не можем остановить. Москва будет губкой, которая его всосет» [7]. Но когда фельдмаршал закончил совещание, встав и объявив: «Я приказываю отступление властью, данной мне государем и отечеством»,— и вышел вон из избы, он был подавлен тем, что только что сделал,— это было ясно всем, наблюдавшим его.

В остальные часы этого дня, после совещания, Кутузов ни с кем не говорил. Вернувшись вечером к себе в избу на ночлег, Кутузов не спал. Несколько раз за эту ночь слышали, что он плачет. Не только в тот момент у него не было никакой настоящей поддержки в ближайшем окружении (солидарность с ним Барклая была отрицательным, а не положительным условием в этом отношении), но уже по поведению Ермолова, который за несколько часов до совета был за отступление, а потом переметнулся на сторону Беннигсена, фельдмаршал понимал, конечно, что попал в то положение зачумленного, в котором был Барклай до Царева-Займища. Зная людей, Кутузов едва ли и рассчитывал на то, что кто-нибудь его поддержит перед тем главным и самым сильным из его врагов, который находился в петербургском Зимнем дворце. Но никто даже из не любивших его не приписывал его потрясенного состояния в этот момент мотивам личной боязни или личного стыда; все его дальнейшее поведение показало, что он делал дальше то, что считал нужным, действовал гораздо самостоятельнее, чем когда-либо в жизни, и меньше всего боялся раздражать царя. Окружающие объясняли его ночные слезы болью за Москву и страхом за Россию, по-

тому что на одно его высказывание, что потеря Москвы не есть еще потеря России, его свита вспоминала несколько его прежних утверждений, что гибель Москвы равносильна гибели России. «По моему мнению, с потерей Москвы соединена потеря России»,— все знали эти слова Кутузова, написанные им 30 августа в письме к Ростопчину еще из Гжатска. Было о чем подумать в эту бессонную ночь.

Уже в сумерках 13 сентября армии стало известно о решении фельдмаршала; об этом ей сообщили генералы, бывшие в Филях на совещании. «Уныние было повсеместное»,— пишет очевидец. Рядовое офицерство и солдаты были совсем сбиты с толку всеми этими категорическими заявлениями главнокомандующего о том, что Москва ни за что не будет сдана, и внезапным результатом военного совета в Филях. «Я помню, когда адъютант мой Линдель привез приказ о сдаче Москвы, все умы пришли в волнение: бо́льшая часть плакала, многие срывали с себя мундиры и не хотели служить после поносного отступления, или лучше, уступления Москвы. Мой генерал Бороздин решительно почел приказ сей изменническим и не трогался с места до тех пор, пока не приехал на смену его генерал Дохтуров.

С рассветом мы были уже в Москве. Жители ее, не зная еще вполне своего бедствия, встречали нас как избавителей; но узнавши, хлынули за нами целою Москвою! Это уже был не ход армии, а перемещение целых народов с одного конца света на другой» [8],— так пишет человек, лично переживавший эти настроения.

Авангард русской армии 12 сентября остановился у Поклонной горы, в двух верстах от Дорогомиловской заставы. В Москве, откуда непрерывным потоком тянулись экипажи и обозы и ехали и шли тысячи и тысячи жителей, покидая город,— хотя все еще распространялись слухи, что Кутузов готовит новую битву,— в Москве лишь очень немногие знали о решении, принятом 13 сентября в деревне Фили на совещании генералов.

Начальствующие лица получили информацию, что основных мнений, точных практических предложений на военном совете было высказано три: что Беннигсен предложил дать новую битву Наполеону и этим попытаться спасти Москву, что Барклай предложил отступать к г. Владимиру, несколько человек говорили об отступлении к Твери, чтобы воспрепятствовать возможному движению Наполеона на Петербург. Знали уже, что Кутузов заявил в конце совета, что сражения он не даст, а отступит, предоставив Москву Наполеону. Но отступить он решил не на север, а на старую Калужскую дорогу. Русским войскам сообразно с этой волей главнокомандующего было приказано пройти улицами Москвы и выйти через Коломенскую заставу. С раннего утра 14 сентября русская армия непрерывным мар-

шем проходила через столицу. На рассвете первые эшелоны уходящей русской армии один за другим вступали в Москву и по Арбату и нескольким параллельным Арбату улицам проходили к юго-восточной части города, направляясь к Яузскому мосту.

Испуганное, растерянное, молчаливое население, точнее, те кто не мог или еще не успел выехать, толпились по краям улиц и площадей и смотрели на уходящее войско. Солдаты шли угрюмо, не разговаривая, глядя в землю. Очевидцы говорят, что некоторые в рядах плакали.

Первые части отступающей русской армии еще только всходили на Яузский мост, когда командовавший арьергардом генерал Милорадович получил известие, что французская кавалерия вступает в Москву через Дорогомиловскую заставу.

Милорадович командовал арьергардом отступавшей от Бородина армии, и генерал Капцевич, полк которого был самым задним в арьергарде, с трудом уходил от наседавшего Мюрата. Милорадович получал от Капцевича одно за другим известия, что неприятель стремится отрезать арьергард от города. Другими словами, 2 кавалерийским корпусам, 10 казачьим полкам и 12 орудиям конной артиллерии грозил плен. Милорадовичу удалось снестись с Мюратом, и, уверив того, что народ в Москве будет отчаянно биться вместе с войсками, если французы не дадут русской армии спокойно пройти через Москву, Милорадович задержал на четыре часа Мюрата в 7 верстах от Москвы, и арьергард вошел в Москву и прошел через нее спокойно.

Все это дало возможность многим тысячам и тысячам жителей покинуть Москву, но не спасло ни арсенала, где «прекрасные новые ружья достались неприятелю», ни магазинов и складов хлеба, сукон и всякого казенного для армии довольствия [9]. Все это досталось неприятелю.

Два батальона московского гарнизона, вливаясь уже в самом городе в отступающую мимо Кремля главную армию, уходили с музыкой. «Какая каналья велела вам, чтобы играла музыка?» — закричал Милорадович командиру гарнизона генерал-лейтенанту Брозину. Брозин ответил, что по уставу Петра Великого, когда гарнизон оставляет крепость, то играет музыка. «А где написано в уставе Петра Великого о сдаче Москвы? — крикнул Милорадович.— Извольте велеть замолчать музыке!» [10]

Русская армия непрерывным потоком проходила через Москву. Кутузов посмотрел на свою молчаливую свиту и сказал: «Кто из вас знает Москву?» Вызвался только один, состоявший при нем ординарцем 20-летний князь Голицын. «Проводи меня так, чтобы, сколько можно, ни с кем не встретиться» [11]. Кутузов ехал верхом от Арбата по бульварам до моста через Яузу, через

который уходила армия, а за нею несметные массы населения. И здесь-то ждала его именно та встреча, которой он менее всего мог желать. Ростопчин был на мосту, стараясь навести порядок. Свидание было сухое, Ростопчин начинал говорить, но Кутузов не отвечал, а приказал скорее очистить мост для прохода войск. Он пересел в дрожки. «По выезде из Москвы светлейший князь велел оборотить лицом к городу дрожки свои и, облокотя на руку голову, поседевшую в боях, смотрел с хладнокровием на столицу и на войска, проходившие мимо него с потупленным взором, они в первый раз, видя его, не кричали ура» [12].

День и ночь и следующий день бесконечные людские потоки устремлялись из Москвы через Яузский мост. Кутузов вел русскую армию на юг, к Красной Пахре, а от Красной Пахры — на старую Калужскую дорогу. Когда вечером в деревне Уопе он сидел и пил чай, окруженный крестьянами, и когда они с ужасом показали ему на зарево пылающей вдали Москвы, Кутузов, ударив себя по шапке, сказал: «Жалко, это правда, но подождите, я ему голову-то проломаю...» [13]

Бегство из Москвы, и бегство массовое, шло уже несколько дней подряд. В Москве все заставы были запружены населением, бегущим уже после первых слухов о результатах Бородинской битвы и об отступлении русской армии к Можайску. Толпы народа, растерянные, потрясенные идущей на них грозой, теснились целыми днями на улицах. Одни считали, что Москва погибла, другие верили до последней минуты, что Кутузов даст еще одно сражение под стенами столицы. Десятки и десятки тысяч людей бежали из Москвы, окружая армию, опережая армию, разливаясь людскими реками по всем дорогам, идя и без дороги, прямиком по пашне. Долгими днями продолжалось это бесконечное бегство. Все дороги к востоку от Москвы по всем направлениям на десятки верст были покрыты беглецами. Население громадной столицы превратилось в скитающихся без пристанища кочевников. Вот что творилось утром 20 сентября в нескольких верстах от Рязани: «Только мы выехали на равнину, то представилось нам зрелище единственное и жалостное: как только мог досягать взор, вся Московская дорога покрыта была в несколько рядов разными экипажами и пешими, бегущими из несчастной столицы жителями; одни других выпереживали и спешили, гонимые страхом, в каретах, колясках, дрожках и телегах, наскоро, кто в чем мог и успел, с глазами заплаканными и пыльными лицами, окладенные детьми различных возрастов. А и того жалостнее: хорошо одетые мужчины и женщины брели пешие, таща за собой детей своих и бедный запас пропитания; мать вела взрослых, а отец в тележке или за плечами тащил тех, которые еще не могли ходить, всяк вышел наскоро, не приготовясь, быв застигнут нечаянно, и брели без

цели и большей частью без денег и без хлеба. Смотря на эту картину бедствия, невозможно было удержаться от слез. Гул от множества едущих и идущих был слышен весьма издалека и, сливаясь в воздухе, казался каким-то стоном, потрясающим душу... А по другим трактам — Владимирскому, Нижегородскому и Ярославскому — было то же, если не более...» [14]

2

Вся тяжесть оставления Москвы именно в эти дни, когда еще не начался пожар столицы, обострила до крайности пламенную ненависть к Кутузову со стороны человека, которого фельдмаршал не любил и не уважал, но который в этот момент казался ответственным перед людскими массами, терявшими имущество, терявшими жизнь, терявшими в паническом бегстве и сумятице детей.

Этим человеком был Федор Васильевич Ростопчин, московский генерал-губернатор. Его бешенство против Кутузова не знало меры; он всячески его порочил и писал на него доносы царю. 14 сентября 1812 г. он попал в невозможное и позорно нелепое положение прежде всего в глазах несчастных беглецов, и ему понадобилось найти козла отпущения. И он убил в этот день человека, которого он принес в жертву во имя спасения самого себя.

Федору Васильевичу Ростопчину в 1812 г., когда он был назначен «главнокомандующим в Москве» (или в просторечии генерал-губернатором), было уже без малого 50 лет. Он вышел в люди при Павле, который сделал его министром, в первые десять лет царствования Александра был в отставке, в 1810 г. стал камергером, а в 1812 г.— московским «главнокомандующим». Это был человек быстрого и недисциплинированного ума, остряк (не всегда удачный), крикливый балагур, фанфарон, самолюбивый и самоуверенный, без особых способностей и призвания к чему бы то ни было. Когда нашествие Наполеона стало явственно и близко угрожать Москве, Ростопчин взял на себя роль своеобразного демагога-патриота. Он стал издавать особые «афишки», которые разносились, рассылались и развешивались на улицах. Писал он эти афишки бойким языком с лихими мнимонародными вывертами. Пошлость этих произведений заключалась в их очевиднейшей надуманности, искусственности и неискренности. Дома с женой, офранцуженной католичкой, он говорил только по-французски, со своими друзьями тоже говорил по-французски, русской литературы он совсем не знал, и хотя умер в 1826 г., нет никаких признаков, чтобы он подозревал, например, о существовании Пушкина или Жуковского. И этот-то великосветский барин вздумал прикинуться каким-то бойким московским мастеровым, да еще

таким, который разговаривает не натощак, а уже успев слегка подвыпить. Ни малейшего впечатления его нелепые афишки на народ не производили.

Выдумывал он и еще разные столь же нелепые затеи. Возился он, например, в это время с некиим Леппихом, проходимцем, прибывшим из Германии и уверявшим, что он может выстроить воздушный шар, на котором подымется над французской армией. Намекалось, что можно так и Наполеона самого при случае изничтожить.

Леппихом и его шаром очень интересовался и царь. У нас есть позднейшее показание, исходящее от Аракчеева, о том, что царь будто бы хотел этой затеей несколько успокоить, отвлечь и развлечь умы, но что сам будто бы в эту шарлатанскую проделку не верил [15]. Но Ростопчин во всяком случае верил в Леппиха. Сам шарлатан, сам авантюрист в душе, Ростопчин с полной симпатией отнесся к находчивому немцу, который пресерьезно уверял его записочками изо дня в день, что вот-вот еще немного нужно потерпеть и еще денег дать, и шар того и гляди полетит. А тогда — конец Бонапарту. У Леппиха была к Наполеону антипатия не только за нашествие на Россию: в 1811 г. он предлагал свой шар в Париже Наполеону, но тот приказал выслать Леппиха вон из пределов Французской империи. В Москве ему больше повезло.

Французы так и называли Леппиха «механик-шарлатан». Они нашли в доме Ростопчина документы, показывающие, что граф верил Леппиху и, по-видимому, платил ему очень много. Леппих, например, коротенькой записочкой от 30 июля 1812 г. требует у Ростопчина 12 тысяч рублей. Сохранилось также письмо Леппиха, уже от 24 августа (ст. ст.), за два дня до Бородина («изобретатель» все еще не достиг ровно ничего): «Ваше сиятельство не можете представить, сколько встретил я затруднений, приготовляя баллон к путешествию. Но зато вот уже завтра непременно полетит». Ростопчин в особой афишке уведомлял московский народ: «Здесь мне поручено от государя было сделать большой шар, на котором 50 человек полетят, куда захотят, и по ветру и против ветра, а что от сего будет — узнаете и порадуетесь. Если погода будет хороша, то завтра или послезавтра ко мне будет маленький шар для пробы. Я вам заявляю, чтобы вы, увидя его, не подумали, что это от злодея, а он сделан к его вреду и погибели». Выманив достаточно казенных денег, Леппих как-то бесследно улетучился даже без помощи шара, который, конечно, никуда от земли не отлучался и отлучиться не мог, потому что его и не было. Московский народ на эту шарлатанскую проделку с шаром (как и на афишки Ростопчина) не обращал, по всем заявлениям очевидцев, никакого внимания.

Ростопчин обнаруживал в дни перед Бородином и после Бородина кипучую деятельность: то хватали и публично наказывали плетью или розгами людей, заподозренных в том, что они — иностранные шпионы, то делались официальные успокоительные сообщения о том, что Бонапарту в Москве не быть, то вывозилась часть казенного имущества. Правда, Ростопчин оправдывался потом заявлениями Кутузова, что до последней капли крови будут драться под Москвой и Москвы не сдадут. Беспокоился Ростопчин не только по поводу Наполеона. Ростопчин был одним из тех русских высших сановников, для которого слово «Россия» и слова «крепостное право» сливались воедино, в одну вполне неразрывную двуединую сущность. Он уже давным-давно, еще с 1806 г., не переставал предупреждать Александра, что Наполеон — смертельный враг именно потому, что «сословие слуг» в России связывает с его именем какие-то надежды. Он и в 1807 г. предварял, что основная цель русской «черни» — истребление благородного дворянства. И теперь, в 1812 г. в Москве, он боялся бунта, выискивал агитаторов-«мартинистов», выслал из Москвы почт-директора Ключарева, подозревал купцов-старообрядцев в тайных симпатиях к Наполеону. Наконец энергично ухватился за дело Верещагина. Для характеристики плачевного состояния исторических изысканий о 1812 г. приводим повторяющуюся с давних пор (и теперь повторяемую) нелепую версию, почитаемую за истину.

Купеческий сын Верещагин (так обыкновенно излагается дело) «перевел на русский язык два газетных сообщения о Наполеоне, а именно: письмо Наполеона к прусскому королю и речь Наполеона к князьям Рейнского союза в Дрездене». На самом деле Наполеон и письма такого к королю не писал и с речью к князьям Рейнского союза не обращался. Да и не мог говорить такой вздор (в Дрездене!) и не мог писать какой-то нелепый набор фраз прусскому королю («вам объявляю мои намерения, желаю восстановления колонии, хочу исторгнуть из политического ее (!) бытия» и т. д.). Ведь эти две странные, курьезно безграмотные «прокламации» *никогда* ничего общего с Наполеоном не имели, а сочинены (как Верещагин в конце концов и признал) самим Верещагиным. Мы знаем, что он не только сообщил эти свои произведения товарищу своему Мешкову, но, по-видимому, размножил их и разослал.

Таким образом, должно признать, что это было либо поступком умственно ненормального человека, либо преступным по замыслу, хотя и вполне бессмысленным по выполнению действием.

В архивных делах я нашел и полную (рукописную) копию этих двух документов и вместе с тем любопытное указание на то, что списки с этого «перевода» Верещагина попадали и в про-

винцию. «4 июля 1812 г.,— доносит 15 июля саратовский прокурор министру юстиции,— в Саратове появились списки будто с письма французского императора князьям Рейнского союза, в котором, между прочим, сказано, что он обещается через шесть месяцев быть в двух северных столицах». Следствие обнаружило, что «сей пасквильный список» получен 2 июля из Москвы саратовским купцом Архипом Свиридовым от его сына, служившего в Москве приказчиком у купцов Быковских, торгующих бумажным товаром. Этих списков было несколько: «все те списки, у кого таковые были, полицией тотчас отобраны и воспрещено иметь оные». Но так как вслед за тем в «Московских ведомостях» было опубликовано об аресте Верещагина и Мешкова, то эта статья газеты и объявлена всем жителям столицы [16]. Верещагин и Мешков были арестованы и сидели в Москве в тюремном замке. Трагедия разыгралась 14 сентября, в день бегства Ростопчина из его московского дворца.

Возня с шаром Леппиха, афишки, устные беседы, шумиха с высылкой (абсолютно ни в чем не повинного) почт-директора Ключарева — все это не заслоняло от глаз Ростопчина надвигающегося по Смоленской дороге страшилища. Что делать?.. Ростопчин то возмущался «барынями», убегающими из Москвы, то под рукой поощрял начинающуюся эвакуацию. По-видимому, он в самом деле был убежден, что русская армия остановит Наполеона. Он ликовал когда произошла смена Барклая Кутузовым. Изредка он заговаривал, что в самом крайнем случае лучше сжечь Москву, чем отдать ее Наполеону.

Ровно за три недели до вступления французов в Москву граф Ростопчин писал Багратиону (24 августа 1812 г.): «Я не могу себе представить, чтобы неприятель мог прийти в Москву. Когда бы случилось, чтобы вы отступили к Вязьме, тогда я примусь за отправление всех государственных вещей и дам на волю каждого убираться, а народ здешний, по верности к государю и любви к отечеству, решительно умрет у стен московских, а если бог ему не поможет в его благом предприятии, то, следуя русскому правилу: *не доставайся злодею,* обратит город в пепел, и Наполеон получит вместо добычи место, где была столица. О сем недурно и ему дать знать, чтобы он не считал на миллионы и магазины хлеба, ибо он найдет уголь и золу». Но народу он говорил не о сожжении Москвы, а о том, что французам Москвы не видать.

Ростопчин писал в своих афишках: «Я жизнию отвечаю, что злодей в Москве не будет, и вот почему: в армиях 130 тысяч войска славного, 1800 пушек и светлейший князь Кутузов истинно государев избранный воевода русских сил и надо всеми начальник, у него сзади неприятеля генералы Тормасов и Чичагов, вместе 85 тысяч славного войска, генерал Милорадович из Калуги

пришел в Можайск с 36 тысячами человек пехоты, 3800 кавалерии и 84 пушками и т. д. А если мало этого для погибели злодея, тогда уж я скажу: Ну, дружина московская! пойдем и мы, поведем 100 тысяч молодцов, возьмем иверскую божию матерь да 150 пушек и кончим дело все вместе». Чувствуя явно, что хватил через край, московский генерал-губернатор к концу афишки как бы несколько смутился: «Прочитайте! Понять можно все, а толковать нечего!» Народ не «толковал», а просто ни одному слову этих балаганных зазываний не верил. Никак не удавалось графу, говорившему по-французски правильнее, чем по-русски, прикинуться разбитным раешником или веселым ряженым святочным дедом.

Не довольствуясь своими афишками, Ростопчин повадился, в духе доброго калифа Гаруна-аль-Рашида арабских сказок, гулять запросто пешком по Москве и, заговаривая с «народом», т. е. с купцами и одетыми попроще в русское платье людьми, лгать им напропалую о том, что русские дела идут великолепно и что злодею (т. е. Наполеону) никогда в Москве не быть. Но он тут убедился, что среднего москвича среднему генералу никак не удастся обмануть. «Мое присутствие привлекало много лиц из купечества и простого народа, с которым я заговаривал запросто, сообщая им какие-нибудь добрые вести, которые они потом шли распространять по городу. Надо быть весьма осторожным с этими людьми,— не без грусти прибавляет Ростопчин,— потому что никто не обладает бо́льшим запасом здравого смысла, как русский человек, и они часто делали такие замечания и вопросы, которые затруднили бы и дипломата, наиболее искусившегося в словопрениях». Это и не мудрено. Московские «бородачи», которых Ростопчин так хвалит за патриотизм и за здравый смысл, конечно, не могли в самом деле принимать за чистую монету все легкомысленные бравады и небылицы, которые им преподносил генерал-губернатор. Он, ненавистник французов, ближе был — некоторыми чертами, по крайней мере, своей психики — к худшему типу марсельца, южного француза, к болтуну, хвастуну, говоруну, легкомысленному вралю, чем к среднему москвичу, до которого ежедневно тысячами путей доходили вести, одна тревожнее другой, о страшной грозе, идущей на родину, о несущемся на Москву урагане, путь которого озаряется пожарами, охватившими чуть не пол-России. Генерал-губернаторское бойкое и хвастливое устное лганье с прибауточками имело, конечно, так же мало успеха, как и его печатные разухабистые выходки. Все это было ни к чему. Русский народ действительно любил свою родину, и что общего могло быть у него с этим легкомысленным барином, клубным остряком, лучше всего чувствовавшим себя в Париже, где он и прожил потом почти до самой смерти?

Ростопчин в нелепых своих печатных балагурствах категорически обещал, что французы в Москву не придут. Выдуманный им «московский мещанин Карнюшка Чихирин», тот самый, который, «выпив лишний крючок», «рассердился и разругал скверными словами всех французов», давал Москве следующие уверения, обращаясь к злодею Бонапарту: «Ну, как же тебе к нам забраться? Не только Ивана Великого, да и Поклонной во сне не видать!.. Не наступай, не начинай, а направо кругом да домой ступай! И знай из роду в род, каков русский народ!» И вот Наполеон стоит со свитой на Поклонной горе и смотрит на Москву, а он, Ростопчин, должен бежать из Москвы без оглядки. Положение генерал-губернатора было трудное.

Ростопчин был вне себя, узнав о совете в Филях и о бесповоротном решении Кутузова.

Из Москвы начиналось повальное бегство; последнее воззвание Ростопчина было понято как сигнал к всенародному ополчению, к битве у Поклонной горы. Узнав, что никакой битвы не будет, раздраженная, растерянная народная толпа сгущалась около генерал-губернаторского дома. Настала ночь, последняя ночь перед сдачей Москвы. Но и ночь не принесла покоя.

В 11 часов вечера 13 сентября, накануне вступления французов в Москву, к Ростопчину явились герцог Ольденбургский и принц Вюртембергский. Они явились к Ростопчину со странной просьбой: чтобы он отправился к Кутузову и убедил бы его не сдавать Москву неприятелю. Ростопчин довольно резонно посоветовал им самим это сделать, тем более что один из них приходится царю двоюродным братом, а другой — дядей. «Принцы сообщили мне, что они ходили к князю Кутузову, но что он спал и их не впустили. После многих сожалений и строгих осуждений князя Кутузова они ушли, оставив меня проникнутого горестью и пораженного оставлением Москвы».

На другой день в 10 часов утра Ростопчин велел подать себе экипаж. Но его уже поджидали, бежать из Москвы оказалось не так просто. Толпа людей, очень большая, с раннего утра стояла у дворца. Человек, который теперь покидал Москву на произвол судьбы, уверял месяцами эту толпу, что он сюда злодея не пустит. И вот злодей сегодня войдет в Москву, а Ростопчин трусливо убегает!

«Озлобленная чернь бросилась к генерал-губернаторскому дому, крича, что ее обманули, что Москву предают неприятелю. Толпа возрастала, разъярялась все более и стала звать к ответу генерал-губернатора. Поднялся громкий крик: «Пусть выйдет к нам! Не то доберемся до него!» Ростопчин вышел к народу, который «встретил его сердитыми восклицаниями»,— так говорит об этом моменте Каролина Павлова со слов, конеч-

но, своего отца К. Яниша и других москвичей, переживших это время.

Около дворца и уже поданного экипажа запахло кровью. Ростопчин сразу сообразил, чья кровь может спасти его. Он велел привести Верещагина из тюрьмы и предложил народу расправиться с ним. Но народ молчал. Ростопчин тогда велел двум унтер-офицерам убить Верещагина и, отвлекши внимание толпы трупом убитого, умчался из Москвы.

О своем деянии Ростопчин в таких выражениях доносил, спустя полтора месяца, министру юстиции: «Что касается до Верещагина, то изменник сей и государственный преступник был пред самым вшествием злодеев наших в Москву предан мною столпившемуся пред ним народу, который, видя в нем глас Наполеона и предсказателя своих несчастий, сделал из него жертву справедливой своей ярости». Тут Ростопчин так же лжет, как он лгал и дальше в течение всей своей жизни о своем преступлении; только в своих записках он сказал правду о том, кто убил Верещагина: «Приказав привести ко мне Верещагина и Мутона и обратившись к первому из них, я стал укорять его за преступление, тем более гнусное, что он один из всего московского населения захотел предать свое отечество. Я объявил ему, что он приговорен сенатом к смертной казни и должен понести ее, и приказал двум унтер-офицерам моего конвоя рубить его саблями. Он упал, не произнеся ни одного слова. Тогда, обратившись к Мутону, который, ожидая той же участи, читал молитву, я сказал ему: «Дарую вам жизнь, ступайте к своим и скажите им, что негодяй, которого я наказал только что, был единственным русским, изменившим своему отечеству».

Он тут не лжет в главном, т. е. не отрицает, что вовсе не народ, а он, Ростопчин, убил Верещагина, но и тут не признался, конечно, в мотиве личной трусости, толкнувшем его на это. «Психология» этого убийства не очень сложна: Ростопчин в день вступления французов в Москву оказался перед лицом оставшихся (да и выехавших) в позорном и смешном положении: не говоря уже о его нелепых, пошло-хвастливым языком написанных «афишках», ведь и официальные его печатные и устные заверения до последнего часа, что Москва «ни за что» не будет сдана, вся эта шумиха патриотических слов, все самохвальство — все это возбуждало теперь против него, нелепого, легкомысленного генерал-губернатора, справедливое негодование московских жителей. Ему нужно было прикинуться, будто Москва в самом деле ни за что не была бы сдана, но вот в последнюю минуту вдруг «оказалось», что Москва погибает из-за внутренней измены, из-за Верещагина.

Пока толпа терзала и топтала труп убитого по приказу Ростопчина Верещагина, сам Ростопчин поспешил подобру-поздо-

рову убраться из города под защиту армии Кутузова, уже выходившей из города. Тут-то и произошла та встреча Ростопчина с Кутузовым у Яузского моста, о которой я упоминал выше.

Сам Ростопчин в своих воспоминаниях рассказывает явную небылицу, будто при этой встрече Кутузов ему сказал: «Могу вас уверить, что я не удалюсь от Москвы, не дав сражения». А он, Ростопчин, будто бы «ничего не отвечал ему, так как ответом на нелепость может быть только какая-нибудь глупость». Не говоря уже о том, что никто вообще, ни в частности князь Голицын, бывший тут же, ничего подобного не слышал (а князь Голицын — свидетель, которому свойственно было говорить правду, как Ростопчину свойственно было лгать), вся сцена вообще абсолютно неправдоподобна: Ростопчин был для Кутузова совсем незначащей величиной, и оправдываться перед ним, да еще нелепыми обещаниями, фельдмаршалу было решительно не к чему, а, как мы знаем из других показаний, Ростопчин что-то спросил у Кутузова, но тот ровно ничего ему не ответил и не обратил на него никакого внимания. Кутузов, когда бывал раздражен, умел и самого Александра Павловича осадить при всей своей царедворческой ловкости. Стал ли бы он церемониться с Ростопчиным, человеком без малейших боевых заслуг, только что еле ускользнувшим от возмущенного и обманутого им народа и во всю прыть примчавшимся искать спасения тут где-нибудь, неподалеку от дрожек фельдмаршала? Еще для Ростопчина не настал момент, когда он мог писать Кутузову злобно-оскорбительные письма.

Уцелевшие бородинские бойцы, многие еще не оправившиеся от ран, еле волоча ноги, другие исхудалые, худо кормленные, угрюмо глядя в землю, молча проходили мимо фельдмаршала. Беглецы из города принесли к вечеру известие, что французы уже заняли Кремль.

3

9 сентября Наполеон был в Можайске. Его простуда все еще не проходила. Только 12 сентября он вышел из Можайска. Он догонял армию, которая безостановочно двигалась к Москве. Авангард уже подходил к Поклонной горе, когда император догнал его. Это было 13 сентября.

Ночь с 13 на 14 сентября Наполеон провел в селе Вязёмах. Ночью и утром французский авангард проходил мимо Вязём по дороге в Москву. Даст ли Кутузов бой на возвышенностях, окружающих Москву, было еще не ясно для императорского штаба. Мы видели, впрочем, что до конца совета в Филях это и для русского штаба было не очень ясно.

Верхом, в сопровождении свиты, очень медленным аллюром, предшествуемый разведчиками, Наполеон утром 14 сентября

ехал к Поклонной горе. Маршалы следовали поодаль; раздражение и обида против императора, не давшего им гвардию, чтобы довершить бородинскую победу, у них еще не проходили. Наполеон с ними, впрочем, мало и заговаривал в эти дни, а, по придворному этикету, начинать разговор с его величеством по собственной инициативе не полагалось.

Было два часа дня, когда Наполеон со свитой въехал на Поклонную гору, и Москва сразу открылась их взорам. Яркое солнце заливало весь колоссальный, сверкавший бесчисленными золочеными куполами город. Шедшая за свитой старая гвардия, забыв дисциплину, тесня и ломая ряды, сгущалась на горе, и тысячи голосов кричали: «Москва! Москва! Да здравствует император!» И опять: «Москва! Москва!» Въехав на холм, Наполеон остановился и, не скрывая восторга, воскликнул тоже: «Москва!» Очевидец и соучастник граф Сегюр заметил тут, что и маршалы сразу забыли свою обиду и, «опьяненные энтузиазмом славы», бросились к императору с поздравлениями: «Вот наконец этот знаменитый город!» Наполеон сказал: «Пора, пора!» Наполеон даже в этот миг упоения победой и гордыней не забывал, чего стоило добраться до этой великой европейско-азиатской красавицы.

Ни Милан, ни Венеция, ни Александрия и Каир, ни Яффа, ни Вена, ни Берлин, ни Лиссабон, ни Мадрид, ни Варшава, ни Амстердам, ни Рим, ни Антверпен — ни одна столица, куда входили победителями его войска, не имела в его глазах и в глазах его армии такого огромного политического значения, как эта древняя русская Москва, соединительное звено Европы и Азии, ключ к мировому владычеству. В Москве император ждал просьбы смирившегося Александра о мире, армия ждала теплых квартир, изобильного провианта, всех удобств и всех наслаждений огромного города после мучительного похода с его полуголодными рационами, отсутствием питьевой воды, палящим зноем, постоянными стычками с упорным и храбрым врагом.

Люди, пережившие эти часы на Поклонной горе, генералы ли свиты и гвардии, простые ли гвардейцы, говорили потом, что для них это была кульминационная точка похода 1812 г.; они готовы были поверить, что сопротивление русского народа сломлено и что подписание перемирия, а затем и мира вопрос дней.

Солнце начало между тем склоняться к западу. Мюрат с кавалерией уже вошел в город и параллельным потоком несколько левее Мюрата в Москву вливался корпус итальянского вице-короля Евгения. Наполеон хотел принять депутацию от города тут, на Поклонной горе, и знал, что Мюрат и Евгений прежде всего, войдя в соприкосновение с московскими властями и московским населением, должны прислать эту депутацию с ключами от города. Но никакой депутации не являлось. Эта

странность стала понемногу предметом разговора между свитскими генералами и офицерами, а потом и между гвардейцами. Вдруг совсем невероятная новость распространилась сначала в гвардии, а потом в свите и дошла немедленно до Наполеона: никакой депутации от жителей не будет, потому что никаких жителей в Москве нет. Москва покинута всем своим населением. Это известие показалось Наполеону настолько диким, настолько невозможным, что он в первую минуту просто не поверил ему. Наконец Наполеон решил покинуть Поклонную гору, и он подъехал со свитой к Дорогомиловской заставе. Затем он приказал графу Дарю подойти к нему: «Москва пуста! Какое невероятное событие! Следует войти туда. Ступайте и приведите мне бояр!» У Наполеона, по-видимому, осталось впечатление от докладов его шпионов, что высшие аристократы в России называются и формально «боярами», вроде того как в Англии лордами.

Однако Дарю, съездив в город, никаких «бояр» оттуда не привел. Он только подтвердил, что город пуст, жители исчезли. «Но таково было упорство Наполеона, что он упрямился и ждал еще. Наконец один офицер, решив понравиться или будучи убежден, что все, желаемое императором, должно было совершиться, проник в город, захватил пять или шесть бродяг, довел их, подталкивая их впереди себя своей лошадью, до самого императора и изобразил, что это он привел депутацию. По первому же ответу этих несчастных Наполеон увидел, что перед ним — только жалкие поденщики»,— говорит очевидец, тоже обожающий Наполеона, но наиболее из всех этих обожателей правдивый, граф Сегюр [17].

Этот нелепый маскарад мог, конечно, только разозлить и оскорбить Наполеона: «О, русские не знают еще, какое впечатление произведет на них взятие их столицы!» — воскликнул он. Некоторое время он не двигался от заставы. Он ждал известий от Мюрата, который должен был первым подойти к Кремлю и занять его.

Мюрат со своим штабом и кавалерией вступил в Москву в середине дня. Еще накануне между ним и Милорадовичем состоялось соглашение: Мюрат, начальник французского авангарда, обязывался не беспокоить уходящую через город русскую армию, Милорадович, начальник русского арьергарда, обязывался не предпринимать со своей стороны никаких враждебных действий. Поэтому Мюрат не побоялся растянуть свою конницу по бесконечно длинному и узкому Арбату, хотя в случае сопротивления русским легко было нанести страшные потери этому растянутому узкому строю и решительно задержать его движение вперед. Все было тихо, глухо, мертво. Кое-где на углах пересекающих Арбат переулков стояло по нескольку чело-

век. Французы передавали потом, что им странно и дико было ощущать себя среди громадного города, двигаясь мимо окон и дверей бесчисленных домов бесконечных улиц, как в пустыне. Угадывалось, что люди не спрятались, а что эти дома и дворы пусты, что никого в городе нет. На самом деле несколько тысяч человек (подсчетов сколько-нибудь точных не было и быть не могло) разного люда осталось в Москве. Тут были, во-первых, просто не успевшие бежать или не имевшие к тому никаких материальных средств и возможностей, во-вторых, иностранцы (французы, швейцарцы, итальянцы, поляки, немцы), надеявшиеся на благосклонность победителя, в-третьих, русские солдаты, отчасти дезертиры, отчасти случайно, по своей вине или без вины, застрявшие в Москве. Но эти несколько тысяч человек тонули и исчезали в пустоте огромного мертвого города.

Кавалерия шла осторожно, опасаясь засады, внезапного нападения ждали на каждом углу. Но молчание царило и час и другой, пока бесконечными потоками французская армия вливалась в город. Только когда головной отряд кавалерии Мюрата подошел к Кремлю, оттуда из-за запертых ворот раздалось несколько выстрелов. Французы ядром выбили ворота и картечью перебили нескольких человек, там оказавшихся. До сих пор не выяснено, что это были за люди. Трупы их были куда-то выброшены, и установлением их личности никто не занялся. Когда французы ворвались в крепость, то один из защитников с необычайной яростью бросился на французского офицера, стараясь задушить его, и зубами прокусил ему руку. Он был убит, как и остальные. Конечно, подобный эпизод не мог задержать французов перед Кремлем. Крепость была занята.

Перед вечером Наполеону было дано знать и от Мюрата, и от Понятовского, и от Евгения, что город занят французскими войсками без сопротивления. Было уже поздно, и Наполеон решил провести эту первую ночь в Москве (с 14 на 15 сентября) не в Кремле, а в одном из брошенных домов у Дорогомиловской заставы, где он находился со свитой после того, как покинул Поклонную гору. Император был очень мрачен. «Какая страшная пустыня!» [18] — воскликнул он, глядя на мертвые улицы. Совсем не так он въезжал во все европейские столицы и в столицу африканскую, Александрию. Еще перед его отходом ко сну в дом, занятый им, явились один за другим несколько адъютантов и ординарцев. Они прибыли из разных далеких одна от другой частей города, а между тем докладывали об одном и том же: в городе начинаются пожары. Наполеон далеко не сразу уразумел истинный смысл и размеры того явления, о котором ему докладывали. У него сначала составилось такое представление, что это солдаты его армии, рассеявшись по городу, гро-

мят брошенные дома и по их неосторожности возникают пожары. Он призвал маршала Мортье, которого назначил в этот день военным губернатором Москвы, и грозно приказал ему немедленно прекратить грабежи, о которых уже начали доходить до него многочисленные сведения. «Вы мне отвечаете своей головой за это!» — прибавил император.

Он еще не успел заснуть, когда в третьем часу ночи ему сообщили, что горит уже центральный квартал, Гостиный двор, средоточие московской торговли, и что загораются дома, куда никто из французских солдат не только не входил, но где и поблизости еще никаких французов не было. Бушевал ветер, искры сыпались густым огненным дождем и зажигали соседние здания. Взошло солнце, и при дневном свете вместо зарева пожаров над городом носились клубы дыма.

Когда Наполеон проезжал утром 15 сентября из Дорогомилова в Кремль, где решил поселиться, Москва со своими великолепными дворцами и храмами поразила его почти так же, как с Поклонной горы. Эти впечатления разделяли с ним его маршалы и, насколько можно судить из случайно дошедших документов, также все люди армии. Вот, например, первые впечатления очевидца, офицера интендантского ведомства наполеоновских войск, которые мы узнаем из его позднейшего письма, писанного в Москве 15 октября (и перехваченного казаками). Он пишет о вступлении французов в Москву, т. е. о событии, бывшем за месяц до того: «Мы вошли в город с надеждой найти там жителей и отдохнуть от дурных бивуаков, но там никого не было, кроме французов и иностранцев, которые не хотели уходить вслед за русскими. Все было спокойно, и ничто не предвещало ужасных событий, которые должны были последовать. При входе в Москву меня охватило удивление, смешанное с восхищением, потому что я ожидал увидеть деревянный город, как многие о том говорили, но, напротив, почти все дома оказались кирпичными и самой изящной и самой новой архитектуры. Дома частных лиц похожи на дворцы, и все было богато и великолепно. Нас поместили в очень хорошей квартире» [19].

О ярких и в общем положительных впечатлениях, произведенных Москвой в самые первые дни ее оккупации, говорит также первое письмо, которое Наполеон написал императрице из Москвы на третий день после вступления своего в столицу: «Город так же велик, как Париж. Тут 1600 колоколен и больше тысячи красивых дворцов, город снабжен всем. Дворянство уехало отсюда, купцов также принудили уехать, народ остался... Неприятель отступает, по-видимому, на Казань. Прекрасное завоевание — результат сражения под Москвой» [20].

Почему Наполеон думал тогда, что «народ» остался, неизвестно. Вскоре он убедился, что и «народа» в Москве почти во-

все нет, если не считать прячущихся по углам в разных частях необъятного города, в общем кучку в несколько тысяч человек.

Французы буквально не могли поверить своим глазам, бродя по громадной столице и видя, что она пуста. Зловещее и дикое это было впечатление. «Вступая вслед за пехотой, я проходил через громадные площади и улицы. Я заглядывал в окна каждого дома и, не находя ни одной живой души, цепенел от ужаса. Изредка мы встречали (французские — *Е. Т.*) кавалерийские полки, мчавшиеся во весь опор по улицам и также никого не находившие»,— читаем мы показания одного французского артиллериста. Далеко не все понимали все значение этого странного, неслыханного явления. «Я громко заявлял, что город покинут жителями; теперь еще я без смеха не могу вспомнить, каким наставительным тоном мне отвечал капитан Лефрансэ: «Подобным образом больших городов не покидают. Эти канальи попрятались, мы их разыщем, и они будут перед нами стоять на коленях!»

Но эти первые впечатления французской армии уже с утра 15 сентября стали очень быстро вытесняться грозным событием, с часу на час принимавшим совсем неслыханные, по истине чудовищные размеры. Пожары, начавшиеся еще с вечера 14 сентября, охватили уже полгорода и продолжали усиливаться.

Загорелся прежде всего винный двор, был взорван пороховой магазин, сгорел Новый Гостиный двор, Ряды, потом разом в нескольких местах дома, церкви, «особливо сожжены все фабрики...» «Эти пожары продолжались целых шесть суток, так что нельзя было различить ночи от дня. Во все же сие время продолжался грабеж». Французские солдаты, а за ними и французские мародеры вбегали в дома и тащили все, что уцелело от огня. Брали белье, шубы, даже женские салопы. «Нередко случалось, что идущих по улицам обирали до рубахи, а у многих снимали только сапоги, капоты или сюртуки. Если же найдут какое сопротивление, то с остервенением того били, и часто до смерти». Кое-кто из солдат прибегал и к пыткам, особенно пытали церковных служителей, так как были убеждены, что они куда-то припрятали церковное золото и серебро. «Французы даже купцов и крестьян хватали для пытки, думая по одной бороде, что они попы». Схваченных на улице заставляли работать, носить за собой мешки с награбленными вещами, а также копать огороды, «таскать с дороги мертвых людей и лошадей» [21].

По донесению (от 19 сентября) очевидца генерала Тутолмина, оставшегося в Москве, пожары начались 14 сентября вечером, через несколько часов после вступления конницы Мюрата в город, а уже на следующий день, пишет Тутолмин импе-

ратору Александру, пожары «были весьма увеличены зажигателями... Жестокости и ужасов пожара я не могу вашему императорскому величеству достаточно описать: вся Москва была объята пламенем при самом сильном ветре, который еще более распространял огонь, и к тому весьма разорен город» [22].

Ростопчин, конечно, активно содействовал возникновению пожаров в Москве, хотя к концу жизни, проживая в Париже, издал брошюру, в которой отрицал это. В другие моменты своей жизни он гордился своим участием в пожарах, как патриотическим подвигом.

Вот официальное донесение пристава Вороненки в Московскую управу благочиния: «2 (14) сентября в 5 часов пополуночи... (граф Ростопчин — *Е. Т.*) поручил мне отправиться на Винный и Мытный дворы, в комиссариат... и в случае внезапного вступления неприятельских войск стараться истреблять все огнем, что мною исполняемо было в разных местах по мере возможности в виду неприятеля до 10 часов вечера...» [23]

Что и независимо от распоряжений Ростопчина могли найтись люди, которые остались в Москве и с риском для жизни решили уничтожить все, лишь бы ничего не досталось врагу,— это тоже более чем вероятно. Наконец, безусловно очень много пожаров возникло при хозяйничанье солдат французской армии в покинутых домах и лавках, где были найдены огромные запасы спиртных напитков. Пьянство уже с первых дней во французском войске шло невообразимое.

4

В течение всего дня 15 сентября пожар разрастался в угрожающих размерах. Весь Китай-город, Новый Гостиный двор у самой Кремлевской стены были охвачены пламенем, и речи не могло быть, чтобы их отстоять. Началось разграбление солдатами наполеоновской армии лавок Торговых рядов и Гостиного двора. На берегу Москвы-реки к вечеру 15 сентября загорелись хлебные ссыпки, а искрами от них был взорван брошенный русским гарнизоном накануне большой склад гранат и бомб. Загорелись Каретный ряд и очень далекий от него Балчуг около Москворецкого моста. В некоторых частях города, охваченных пламенем, было светло, как днем. Центр города с Кремлем еще был пока не затронут, или, точнее, мало затронут. Большой Старый Гостиный двор уже сгорел. Настала ночь с 15 на 16 сентября, и все, что до сих пор происходило, оказалось мелким и незначительным по сравнению с тем, что разыгралось в страшные ночные часы.

Ночью Наполеон проснулся от яркого света, ворвавшегося в окна. Офицеры его свиты, проснувшись в Кремле по той же

причине, думали спросонок, что это уже наступил день. Император подошел к одному окну, к другому; он глядел в окна, выходящие на разные стороны, и всюду было одно и то же: нестерпимо яркий свет, огромные вихри пламени, улицы, превратившиеся в огненные реки, дворцы, большие дома, горящие огромными кострами. Страшная буря раздувала пожар и гнала пламя прямо на Кремль, завывание ветра было так сильно, что порой перебивало и заглушало треск рушащихся зданий и вой бушующего пламени. В Кремле находились Наполеон со свитой и со старой гвардией, и тут же был привезенный накануне французский артиллерийский склад. Был в Кремле и пороховой склад, брошенный русским гарнизоном вследствие невозможности вывезти его. Другими словами, пожар Кремля грозил полной и неизбежной гибелью Наполеону, его свите, его штабу и его старой гвардии. А ветер все свирепел, и направление его не менялось. Уже загорелась одна из кремлевских башен. Нужно было уходить из Кремля, не теряя ни минуты. Наполеон, очень бледный, но уже взяв себя в руки после первого страшного волнения при внезапном пробуждении, молча смотрел в окно дворца на горящую Москву. «Это они сами поджигают. Что за люди! Это скифы»,— воскликнул он. Затем добавил: «Какая решимость! Варвары! Какое страшное зрелище!»

Свита обступила императора; маршал Мортье, делавший все возможное, чтобы отстоять Кремль, категорически заявил, что императору нужно немедленно уходить из Кремля, иначе ему грозит смерть от огня. Наполеон медлил. Еще накануне, войдя впервые во дворец, он сказал, обращаясь к свите: «Итак, наконец, я в Москве, в древнем дворце царей, в Кремле!» Он знал значение Кремля в русской истории и не хотел покидать его, только сутки, да и то неполные, пожив в нем. Но рассуждать было нельзя: пожар с каждой минутой грозил объять дворец и отрезать все выходы. Стало светать, а положение все ухудшалось, уже дышать становилось трудно от гари и дыма, отовсюду проникавших во дворец. «Это превосходит всякое вероятие,— сказал Наполеон, обращаясь к Коленкуру.— Это война на истребление, это ужасная тактика, которая не имеет прецедентов в истории цивилизации... Сжигать собственные города!.. Этим людям внушает демон! Какая свирепая решимость! Какой народ! Какой народ!» [24]

Маршалы и свита единодушно возобновили свои просьбы, чтобы император немедленно покинул дворец. Уже повторялась версия, что русские не только организованно подожгли Москву, но что в особенности они решили направить все усилия на дворец, чтобы покончить с Наполеоном. Вице-король Италии Евгений, пасынок и любимец Наполеона, и маршал Бертье пали на колени, убеждая императора покинуть Кремль. Со всех сторон

доносились громкие крики: «Кремль горит!» Император решил перейти в Петровский дворец, тогда стоявший еще вне городской черты, среди чащи и пустырей.

Он вышел из дворца в сопровождении свиты и старой гвардии, но все чуть было не погибли при этой попытке спасения. Вице-король, Сегюр, Бертье, Мюрат шли рядом с императором. Они навсегда запомнили этот выход из Кремля. Вот знаменитое показание графа Сегюра: «Нас осаждал океан пламени: пламя запирало перед нами все выходы из крепости и отбрасывало нас при первых наших попытках выйти. После нескольких нащупываний мы нашли между каменных стен тропинку, которая выходила на Москву-реку. Этим узким проходом Наполеону, его офицерам и его гвардии удалось ускользнуть из Кремля. Но что они выиграли при этом выходе? Оказавшись ближе к пожару, они не могли ни отступать, ни оставаться на месте. Но как идти вперед, как броситься в волны этого огненного моря? Те, которые пробегали по городу, оглушенные бурей, ослепленные пеплом, не могли распознать, где они, потому что улицы исчезали под дымом и развалинами. Однако приходилось спешить. С каждым мигом вокруг нас возрастал рев пламени. Единственная извилистая и кругом пылающая улица являлась скорее входом в этот ад, чем выходом из него. Император, не колеблясь, пеший, бросился в этот опасный проход. Он шел вперед сквозь вспыхивающие костры, при шуме трескающихся сводов, при шуме от падения горящих бревен и раскаленных железных крыш, обрушивавшихся вокруг него. Эти обломки затрудняли его шаги... Мы шли по огненной земле, между двумя стенами из огня. Пронизывающий жар жег нам глаза, которые, однако, приходилось держать открытыми и устремленными на опасность. Удушающий воздух, пепел с искрами, языки пламени жгли вдыхаемый нами воздух, дыханье наше становилось прерывистым, сухим, коротким, и мы уже почти задыхались от дыма...» Наполеона и его свиту спасли случайно встретившиеся солдаты, мародерствовавшие поблизости.

Император переселился в Петровский замок. Еще двое суток, 17-го и 18-го, бушевал пожар, уничтоживший около трех четвертей города. Пожары продолжались, и собственно редкий день пребывания французов в Москве обходился совсем без пожара. Но это уже нисколько не походило на тот грандиозный огненный океан, в который превратили Москву великие пожары 14 — 18 сентября, раздувавшиеся неистовой бурей несколько дней и ночей сряду. Наполеон все время был в самом мрачном состоянии духа. «Это предвещает нам большие несчастья»,— сказал он, глядя на развалины и дымящийся мусор, в который обратились самые богатые части города. И не только

в неожиданном исчезновении завоеванной добычи было дело. Император ясно понял, что теперь заключить мир с Александром будет еще труднее, чем было до сих пор. Он еще не знал тогда, что мир с Россией для него не только труден, но невозможен, и что война, которую он считал со взятием Москвы оконченной, для русского народа после гибели Москвы только еще начинается.

Величайший английский поэт был потрясен пожаром Москвы и на всю жизнь сохранил это первое впечатление. Обращаясь к Наполеону, Байрон писал: «Вот башни полудикие Москвы перед тобой в венцах из злата горят на солнце... Но увы! то солнце твоего заката!»

Сам Наполеон уже в конце жизни в беседе с доктором О'Мира говорил о пожаре Москвы, о том, как громадные валы крутящегося пламени, как волны разъяренного огненного океана то вздымались к пылавшему небу, то снова низвергались вниз. Но он не сразу оценил все результаты этой катастрофы, не предугадал далеких еще пока последствий своего кровавого нашествия на Россию, не предвидел, что пылающая Москва подожжет всю порабощенную и раздавленную им Европу.

Свита и части армии, которые вышли во время пожара к Петровскому дворцу, целыми часами глядели на пылавшую Москву. «Это было устрашающее зрелище,— говорит очевидец-француз,— этот пылающий город. Ночью видна была линия огня, больше чем в милю длиною. Казалось, это — вулкан со многими кратерами. В течение трех дней, пока продолжался пожар, мы оставались в Петровском дворце. На четвертый день мы вернулись в город и увидели там только развалины и пепел. Кремль сохранился...»

В эти дни и в ближайшие шел повальный грабеж домов и лавок. Не было возможности удержать солдат, и немало их сгорело и задохнулось,— не все успевали выбежать вовремя из горевших зданий. Но все-таки некоторые склады муки и иного продовольствия уцелели. Французов поражала роскошь внутреннего убранства многих домов, исключительной работы мебель, которую они нашли в немногих, случайно уцелевших от пожара барских особняках. «Очень печально теперь проходить по улицам, заваленным обломками, и притом не видеть ни одного жителя»,— пишет этот очевидец [25].

Вот показание одного из оставшихся в Москве от 30 сентября: «Опустошение и пожары продолжаются... Своевольства столь велики, что были наказываемые, но теперь сам Себастиани приносящим жалобы признается, что он не в силах их удержать. Все французы ежедневно пьяны после обеда, и жители их убивают, тогда их зарывают ночью. Но число сих жертв невелико... Французы опечалены и ожесточены, что не требу-

ют у них мира, как Наполеон обещал при занятии Москвы, а потому разорением и грабежами думают к миру их понудить... У жителей отнимают рубашки и сапоги, мучат их разными работами, не кормя. Иногда они умирают от голода и усталости. Удивительно, что у самих французов бегут ежедневно по сто и более солдат, за ними нет никакого присмотра, и они не слушают начальников. Ежедневно расстреливают их за неповиновение».

Расстрелы поджигателей, или, вернее, тех, кого угодно было счесть поджигателями, начались уже на второй день пожаров, а 24 сентября 1812 г. в доме князя Долгорукова начал действовать военно-полевой суд под председательством генерала Мишеля, командира 1-го гренадерского полка гвардии. Назывался этот военно-полевой суд военной комиссией. На первый раз судили 26 человек, из коих расстреляли 10, а относительно прочих 16 сделано любопытнейшее в своем роде постановление: «Военная комиссия, уважив, что они не довольно изобличены, осуждает их к тюремному заключению». Первые 10 были столь же «не довольно изобличены», и почему сделано было такое отличие, непонятно. Судились кузнецы, портные, маляры («живописцы»), лакеи, солдаты. Из лиц других классов — пономарь Кассианов, поручик Московского полка Игнатьев (расстрелян). Расстрелы продолжались и в следующие дни. Происходили очень часто и простые убийства, производимые солдатами-грабителями под предлогом самозащиты при сопротивлении арестуемых «поджигателей». Сам Наполеон признает (как увидим дальше) в своем письме к Александру, писанном 20 сентября, что он успел уже расстрелять 400 «поджигателей». Вот иллюстрация с натуры: «По улицам много валяется мертвых лошадей и людей, на Тверском бульваре много есть повешенных и расстрелянных разных людей с надписью: «зажигатели Москвы» [26].

Наполеону доносили о неистовых грабежах, которыми занималась его армия, особенно баварцы, вестфальцы, итальянцы. Он знал, что и в чисто французских частях немало людей занимается грабежом. Что вместо зимних квартир, которые он обещал своей армии, перед нею обгорелые остатки большого города, дымящееся пожарище — это ему тоже было уже ясно. Как в Европе отнесутся к пожару Москвы? Как посмотрят там на эту *удачу* русских, вырвавших у императора буквально из рук его добычу?

Письмо Наполеона к императрице Марии-Луизе, как всегда, «стилизует» событие. Вот это письмо, написанное 18 сентября; оно писалось среди бушующего пожара. Великий город горит, как необъятный костер. «Мой друг, я тебе писал из Москвы. Я не имел понятия об этом городе. Он заключал в себе

пятьсот таких же прекрасных дворцов, как Елисейский дворец, меблированных на французский лад с невероятной роскошью, несколько императорских дворцов, казармы, великолепные госпитали. Все это исчезло, огонь пожирает это вот уже четыре дня. Так как все небольшие дома граждан деревянные, то они загораются, как спички. Губернатор и сами русские в ярости за свое поражение зажгли этот прекрасный город. Двести тысяч обитателей в отчаянии, на улице, в несчастье. Однако для армии остается достаточно, и армия нашла тут много всякого рода богатств, так как в этом беспорядке все подвергается разграблению. Для России эта потеря огромна, ее торговля испытает от этого большое потрясение. Эти негодяи довели свою предосторожность до того, что увезли или уничтожили пожарные насосы» [27]. И в этот же день император приписывает в 8 часов вечера: «Осталась только треть домов. Солдат нашел достаточно провизии и товаров, у него есть припасы, значительное количество французской водки». Этот искусственный оптимизм с постоянным повторением «мои дела хороши» был рассчитан для парижского двора и для Европы. Император знал очень хорошо со времени пожара и гибели Москвы, что дела его вовсе не идут так, как он рассчитывал и рекламировал теперь перед Европой.

Мир! Немедленный мир с Александром — вот что становится для Наполеона первой и главнейшей целью после московского пожара. И тут-то ждала его наиболее роковая неудача всей его исторической карьеры.

5

Около 11 сентября по Петербургу прокатились первые слухи о Бородине, об одержанной Кутузовым «большой победе». Счастливое известие, пришедшее как раз к царским именинам, держало двор и всю столицу в радостном возбуждении около двух дней. Но вскоре явился курьер, посланный Ростопчиным к царю 13 сентября с извещением о сдаче Москвы, а через три дня явился курьер с коротеньким извещением и от самого Кутузова. Уже никаких сомнений в том, что роковое событие произошло, не могло остаться.

Только 16 сентября, т. е. через девять дней после Бородинского боя и через два дня после вступления неприятеля в столицу, Кутузов послал Александру извещение об этом. Он объясняет оставление Москвы ослаблением армии после Бородина. «Осмеливаюсь всеподданнейше донести вам, всемилостивейший государь, что вступление неприятеля в Москву не есть еще покорение России» [28].

После этого лаконического письма фельдмаршал умолк.

С 16 вплоть до 29 сентября, 13 дней, Кутузов ни строки не написал Александру, и тот, «не скрывая своего беспокойства и уныния в с.-петербургской столице», особым письмом настойчиво просил фельдмаршала писать через каждые двое суток [29]. Правда, за эти дни молчания Кутузов дал возможность царю услышать устный доклад.

С подробными известиями об оставлении Москвы Кутузов послал в Петербург к Александру некоего полковника Мишо, француза и сардинского дворянина, поступившего на русскую службу после того, как Сардинское королевство было завоевано Бонапартом. Мишо 20 сентября 1812 г. явился к Александру и тут имел с ним разговор, который сам он изложил спустя семь лет, в 1819 г., Михайловскому-Данилевскому, получившему тогда поручение написать историю войны 1812 г. и собиравшему материалы. Излагает Мишо свою беседу в том слащаво-верноподданническом стиле, в котором тогда принято было говорить об Александре, и даже наименование ему дает, какое следовало по установленному казенному образцу: «Наш ангел». Читая показание Мишо об этом разговоре, следует конечно, делать поправку и на царедворчески умильные украшения стиля, и на выдумки с целью выставить собственное свое остроумие и находчивость, и даже просто на забывчивость: за такие семь лет, как от 1812 до 1819 г., многое позволительно было помнить не в совершенной точности. «Вы мне привезли печальные известия, полковник?» — «К несчастью, очень печальные: оставление Москвы».— «Как? Мы проиграли битву? Или мою древнюю столицу сдали без сражения?» — «Государь, так как окрестности Москвы, к несчастью, не представляют никакой позиции, на которой можно было бы рискнуть дать сражение с силами, меньшими, чем у противника, фельдмаршал Кутузов счел лучшим сохранить для вашего величества армию, потеря которой, не приведя к спасению Москвы, могла бы иметь самые большие последствия...» — «Вошел ли неприятель в город?» — «Да, государь, и город теперь превращен в пепел, я оставил его весь в пламени». При этих словах, пишет Мишо, слезы потекли из глаз царя. Дальше Александр спросил, в каком настроении армия, как повлияло на ее дух оставление Москвы. И здесь Мишо в качестве истинного француза старого режима, придворного каламбуриста и остряка пишет о том затейливом обороте фразы, который он будто бы пустил в ход в ответ на вопрос Александра о духе русской армии. На самом деле все это, конечно, выдумано через семь лет, на досуге. Посмел ли бы маленький человек, эмигрант-полковник, прикармливаемый в России, да еще в такой трагический момент, когда царь перед ним плачет, вдруг начинать ни с того, ни с сего какие-то словесные выверты и прибегать к юмористическим за-

гадкам! «Государь,— будто бы сказал Мишо,— позволите ли говорить с вами откровенно, как честный военный?»— «Я всегда этого требую, а в эту минуту особенно. Я вас прошу, ничего от меня не скрывайте, говорите откровенно!» — «Государь, мое сердце исходит кровью, но я должен перед вами признать, что я оставил всю армию от начальника до последнего солдата в ужасающем страхе, в испуге...» — «Что вы мне говорите, Мишо? Как? Откуда может родиться этот страх? Мои русские впали в уныние вследствие несчастья?» — «Никогда, государь, они боятся только того, чтобы ваше величество по доброте сердца не дали себя убедить, что нужно заключить мир. Они горят желанием сражаться и доказать вам, пожертвовав своей жизнью, и доказать своей храбростью, как они вам преданы!» — «Ах, полковник, вы облегчаете мою душу, вы меня успокаиваете! Ну, возвращайтесь к армии, скажите моим храбрецам, скажите моим добрым подданным всюду, где вы будете проезжать, что, когда у меня не будет более ни одного солдата, я сам стану во главе моего дорогого дворянства и моих добрых крестьян и использую все средства моей империи (а их больше, чем мои враги думают); но что если в велениях божьего промысла сказано, что моя династия должна перестать царствовать на прародительском троне, тогда, использовав все средства, какие будут в моей власти, я отращу себе бороду вот до сих пор,— и он указал на свою грудь,— и буду есть картофель с последним из моих крестьян в глубине Сибири, скорее чем подпишу стыд моего отечества и моих добрых подданных, жертвы которых я умею ценить. Провидение нас испытывает; будем надеяться, что оно нас не покинет». И царь прибавил: «Полковник Мишо, не забудьте того, что я вам тут говорю; может быть, когда-нибудь мы вспомним об этом с удовольствием. Наполеон или я, или он, или я, мы уже не можем больше царствовать вместе! Я его узнал, он меня больше не обманет».

Если из этой фразы исключить и не весьма правдоподобно звучащую интимность по адресу Мишо о том, как «мы» (т. е. они вдвоем: царь да Мишо) об этом «вспомним» и т. д., то зерно истины все-таки может быть из всего этого разговора выявлено вполне, тем более что у нас есть и другие аналогичные показания: Александр твердо решил в этот момент продолжать войну против Наполеона до самых последних пределов возможного.

Что Мишо, вообще говоря, охотно привирает в своем свидетельстве, явствует еще из слов, будто бы Александр только от него первого узнал об оставлении Москвы. Между тем мы знаем (но Мишо этого документа не знал,— иначе он, конечно, воздержался бы от лжи), что Александр сам засвидетельство-

39*

вал о получении им первого известия о сдаче Москвы от Ростопчина с курьером, посланным еще 13 сентября через Ярославль. Мы это знаем из рескрипта, привезенного в ставку Кутузова князем Волконским. Александра тогда болезненно поразило это донесение Ростопчина. «Я отправляю... князя Волконского, дабы узнать от вас о положении армии и о побудивших вас причинах к столь несчастной решимости»,— так кончался упомянутый рескрипт к Кутузову, хорошо передающий отношение царя к главнокомандующему.

Растерянность при петербургском дворе, в царской семье, в дворянстве, в купечестве была очень большая. Не пойдет ли Наполеон из Москвы в Петербург?

Сестра царя Екатерина Павловна, находившаяся в Ярославле, заклинала брата не заключать мира. «Москва взята... Есть вещи необъяснимые. Не забывайте вашего решения: никакого мира,— и вы еще имеете надежду вернуть свою честь... Мой дорогой друг, никакого мира, и если бы вы даже очутились в Казани, никакого мира» [30],— так писала царю его сестра при первом известии о вступлении Наполеона в древнюю столицу.

Александр поспешил ответить сестре, что он и не думает о мире. «Удостоверьтесь, что мое решение бороться более непоколебимо, чем когда-либо. Я скорее предпочту перестать быть тем, чем я являюсь, но не вступать в сделку с чудовищем, которое составляет несчастие всего света... Я возлагаю мою надежду на бога, на восхитительный характер нашей нации и на мое постоянство в решимости не подчиняться ярму» [31].

Конечно, естественное чувство оскорбленного самолюбия, раздражение и гнев могли быть и у Александра. Но истинный смысл твердого поведения царя после такого страшного удара, как потеря Москвы, объясняется прежде всего, как уже замечено в первой главе этой работы, также обстоятельствами, в которых находился Александр перед лицом высшей аристократии и дворянства, широких кругов генералитета и офицерства (особенно гвардейского), купечества, связанного в той или иной степени с экспортной торговлей. Он знал, что нового Тильзита ему не простят, он прекрасно понимал еще задолго до войны, что если уж война затеется, то ему нужно или выйти из нее с честью, или потерять престол. А он хорошо знал по примерам отца и деда, что в Петербурге люди, теряя престол, обыкновенно на свете долго не заживаются. Ведь в то самое время, когда Александр в Петербурге говорил полковнику Мишо и писал сестре, что он ни в каком случае мира с Наполеоном не заключит, в Москве в кремлевских царских аппартаментах Коленкур говорил Наполеону об этой невозможности для Александра заключить мир. Еще за полтора года до пожара Москвы Александр имел разговор с наполеоновским послом

Коленкуром, и Наполеон знал об этом разговоре. Коленкур, герцог Виченцский, пользовавшийся большим доверием и фавором у Александра, так передает его слова: «Скажите императору Наполеону, что земля тут трясется подо мною, что в моей собственной империи мое положение стало нестерпимым вследствие его (Наполеона — *Е. Т.*) нарушения трактатов. Передайте ему от моего имени это честное и последнее заявление: раз уже начнется война,— ему, Наполеону, или мне, Александру, придется потерять свою корону» [32]. Это не было фразой, а вполне соответствовало глубокому убеждению царя, да едва ли расходилось и с объективной истиной. Это говорилось в 1811 г.

И вот теперь, после гибели Москвы, родная сестра Александра написала ему именно то, о чем он еще до войны сам заявил Наполеону через Коленкура. Царя незачем было и убеждать в том, что для него самого было давным-давно ясно. Александр понимал: ему простят, что он сидит в Петербурге, когда русская армия истребляется на Бородинском поле, ему простят гибель Смоленска, гибель Москвы, потерю пол-России, но мира с Наполеоном не простят. Настал момент решать, кому из двух потерять корону: Наполеону или Александру.

Таковы были настроения царя после гибели Москвы. Они еще усилились, когда Александр учел, что творится вокруг. Настроения народа были несравненно более искренними и непосредственными.

Выехав из Епифани 17 сентября в три часа ночи, купец Маракуев видел «к стороне Москвы сильное зарево, но мало похожее на зарево обыкновенное, а к концу горизонта весь воздух казался как бы раскаленным докрасна столбом, который простирался от земли до неба и казался как бы колеблющимся или дрожащим... Смотря на это, не можно было выразить тех чувств, какие были тогда в душе. Страх, жалость и ужасная неизвестность приводили в какое-то оцепенение».

«Страх» и «жалость» не выражают того впечатления, которое пожар произвел на крестьян, о чем единогласно свидетельствуют нам сохранившиеся документы.

Когда в октябре генерал Лористон, посол Наполеона, жаловался Кутузову на «варварское» отношение русских крестьян к французам, то старый фельдмаршал в извинение и объяснение этого факта сказал, что русские крестьяне относятся к французам так, как их предки относились к монголам. Лористон был недоволен этим сравнением цивилизованной армии его величества императора и короля с полчищами Чингисхана, но оно очень точно передает психологию русского крестьянина, видящего, как огромная вооруженная орда ворвалась в его отечество и не перестает терзать, грабить, жечь и обливать

его кровью. «Татарское разорение» — именно так вспоминали долго подмосковные крестьяне наполеоновское нашествие.

После Бородина и гибели столицы стремление уничтожить захватчиков сделалось всенародным в полном смысле слова. Ставка Наполеона на устрашение России была бита.

6

Мы видели, что Александр поспешил категорически заверить сестру, что мира с Наполеоном он не заключит ни в каком случае.

Однако Екатерина Павловна не успокаивалась. 19 сентября она снова пишет брату: «Мне невозможно далее удерживаться, несмотря на боль, которую я должна вам причинить. Взятие Москвы довело до крайности раздражение умов. Недовольство дошло до высшей точки, и вашу особу далеко не щадят. Если это уже до меня доходит, то судите об остальном. Вас громко обвиняют в несчастье, постигшем вашу империю, во всеобщем разорении и разорении частных лиц, наконец, в том, что вы погубили честь страны и вашу личную честь. И не один какой-нибудь класс, но все классы объединяются в обвинениях против вас. Не входя уже в то, что говорится о том роде войны, которую мы ведем, один из главных пунктов обвинений против вас — это нарушение вами слова, данного Москве, которая вас ждала с крайним нетерпением, и то, что вы ее бросили. Это имеет такой вид, что вы ее предали. Не бойтесь катастрофы в революционном роде, нет. Но я предоставляю вам самому судить о положении вещей в стране, главу которой презирают. Нет ничего такого, что люди не могли бы сделать, чтобы восстановить честь, но при желании всем пожертвовать для отечества говорят: «К чему это поведет, когда все изничтожается, портится вследствие неспособности начальников?» Мысль о мире, к счастью, не всеобщая мысль, далеко не так, потому что чувство стыда, возбужденное потерей Москвы, порождает желание мести. На вас жалуются и жалуются громко. Я думаю, мой долг сказать вам это, дорогой друг, потому что это слишком важно. Что вам надлежит делать,— не мне вам это указывать, но спасите вашу честь, которая подвергается нападениям. Ваше присутствие может расположить к вам умы; не пренебрегайте никаким средством и не думайте, что я преувеличиваю; нет, к несчастью, я говорю правду, и сердце от этого обливается кровью у той, которая стольким вам обязана и желала бы тысячу раз отдать жизнь, чтобы вывести вас из того положения, в котором вы находитесь» [33].

В своем ответе на это письмо Александр старается реабилитировать себя по крайней мере в глазах сестры. Слишком

уж, очевидно, оскорбило и взволновало Александра ее письмо. Быть может, за всю его жизнь никто его в прямых обращениях к нему так больно не задел, как Наполеон в 1804 г., попрекнув царя очень прозрачно (в официальной ноте) отцеубийством, и как теперь Екатерина Павловна, укоряя его в предательстве по отношению к Москве и в потере личной чести. Ответ Александра последовал уже 30 сентября [34].

«Что люди несправедливы к тому, кто находится в несчастии, что его обвиняют, что его терзают,— это дело самое обыкновенное. Я никогда не делал себе никаких иллюзий в этом отношении, я был уверен, что это со мной случится, едва только судьба будет ко мне неблагосклонна... Несмотря на неохоту утомлять кого бы то ни было подробностями, которые меня касаются, неохоту, которая еще бесконечно увеличивается, когда я нахожусь в несчастье, искренняя привязанность, которую я к вам питаю, заставляет меня превозмочь это чувство, и я вам изложу дела так, как я на них смотрю.

Что может делать человек больше, чем следовать своему лучшему убеждению? Оно-то мной только и руководило. Оно заставило меня назначить Барклая командующим 1-й армией на основании репутации, которую он себе составил во время прошлых войн против французов и против шведов. Это убеждение заставило меня думать, что он по своим познаниям выше Багратиона. Когда это убеждение еще более увеличилось вследствие капитальных ошибок, которые этот последний сделал во время нынешней кампании и которые отчасти повлекли за собой наши неудачи, то я счел его менее чем когда-либо способным командовать обеими армиями, соединившимися под Смоленском. Хотя и мало довольный тем, что мне пришлось усмотреть в действиях Барклая, я считал его менее плохим, чем тот (Багратион — *Е. Т.*), в деле стратегии, о которой тот не имеет никакого понятия. Словом, у меня тогда, по моему убеждению, лучшего никого не было... Царю сказали, что Барклая и Багратиона считают одинаково неспособными командовать такими большими массами и что в армии хотят Петра Палена.

Не говоря уже о вероломном и безнравственном характере и о преступлениях этого человека, вспомните только, что он уже 18—20 лет не видел неприятеля... Как я мог положиться на него, и где доказательство его военного таланта? В Петербурге я нашел, что все умы настроены в пользу назначения старого Кутузова главнокомандующим. Это был общий крик: то, что я знал об этом человеке, меня сначала отталкивало от него, но когда письмом от 5 августа Ростопчин меня известил, что вся Москва желает, чтобы Кутузов командовал, так как находят, что Барклай и Багратион оба к этому неспособны, а в это же время, как нарочно, Барклай делал одну глупость

за другой у Смоленска, я не мог поступить иначе, как уступить общим желаниям, и я назначил Кутузова. Я и теперь думаю, что при обстоятельствах, в которых мы находились, я не мог поступить иначе, как выбрать между тремя генералами, одинаково мало способными к главному командованию, того, за кого высказывался общий голос.

Я перехожу теперь к пункту, который ближе всего меня касается: к моей личной чести... Я не могу думать, что в вашем письме ставится вопрос о той личной храбрости, которую имеет каждый солдат и которой я не придаю никакой цены. Впрочем, если уж я должен иметь унижение останавливаться на этом предмете, я вам сказал бы, что гренадеры полков Малороссийского и Киевского могли бы удостоверить, что я умею держаться под огнем так же спокойно, как и всякий другой. Но, еще раз, я не думаю, что в вашем письме идет речь об этой храбрости, и я предполагаю, что вы хотели сказать о храбрости моральной — о единственной, которой в выдающихся положениях можно придавать некоторую цену. Может быть, если бы я остался при армии, мне удалось бы вас убедить, что у меня тоже есть доля ее. Но чего я не могу понять, это что вы, которая в своих письмах в Вильну хотели, чтобы я уехал из армии, вы, которая в письме от 5 августа, доставленном Вельяшевым, говорите мне: «ради бога, не берите на себя командования...», устанавливая таким образом, как факт, что я не могу внушать никакого доверия,— я не понимаю, что вы хотите сказать в вашем последнем письме словами: «Спасайте вашу честь... ваше присутствие может примирить с вами умы». Понимаете ли вы под этим мое присутствие в армии? И как примирить эти два столь противоречивых мнения?»

Дальше Александр говорит, что он, назначив Кутузова, отказался от мысли ехать в армию отчасти из-за советов сестры, отчасти «вследствие воспоминания о том, что наделал придворный характер этого человека под Аустерлицем». Тут царь имеет в виду поведение Кутузова перед роковой битвой 2 декабря 1805 г. Тогда, в 1805 г., у царя, правда, не хватило ума и хитрости, чтобы распознать игру Наполеона, который прикидывался испуганным, чтобы подманить русских к нападению и этим вконец погубить их, и Наполеон царя обманул, но зато Кутузова царь понял. Он понял, что Кутузов единственный, кто вполне разгадал игру Наполеона, и он хотя и советовал не начинать битвы, но слишком слабо советовал, слишком легко уступил, не предостерег. Царь не мог никогда простить Кутузову его поведения в то время, так ясно обнаружившего военную бездарность самого Александра, мечтавшего о славе великого полководца. Переходя далее к своему положению после Бородина, царь говорит, что, не будучи в армии, он не мог вос-

препятствовать «губительному отступлению» после Бородина, решившему участь Москвы.

Александр, заметим мимоходом, тут снова лишний раз обнаруживает свое глубокое, истинно дилетантское непонимание военного дела. Он думает (а может быть, прикидывается), что, не будь «неспособного» Кутузова, можно было бы после Бородина дать Наполеону новое сражение сейчас же и победить его.

Кончается письмо уверением, что он, по мере сил, от всего сердца служит отечеству. «Что касается таланта,— может быть, у меня недостаток его, но ведь он не приобретается: это — благодеяние природы, и никто никогда себе его не достал сам. Обслуживаемый так плохо, как я, нуждаясь во всех областях в нужных орудиях, руководя такой огромной машиной, в таком страшном критическом положении, и притом против адского противника, соединяющего с самой ужасной преступностью самый замечательный талант, и который распоряжается всеми силами целой Европы и массой талантливых людей, сформировавшихся за 20 лет революции и войны,— не удивительно, что я испытываю поражения».

Нет другого письма к его сестре, и тем более к кому бы то ни было другому, в котором царь так полно высказал бы свои воззрения на эту войну и свое настроение. Он за всю жизнь не переживал более критического времени, чем между Бородином и Тарутином, если не считать времени между тем моментом, когда граф Пален сообщил ему, что император Павел хочет его, Александра, арестовать, и тем ночным часом, когда тот же Пален вошел к нему и заявил, что император Павел только что перестал существовать. «Довольно ребячиться, ступайте царствовать!» — сказал ему тогда «вероломный и безнравственный» Пален, о котором с такой ненавистью пишет Александр сестре в только что приведенном письме. Этих слов он Палену никогда не простил. «Спасайте вашу честь»,— сказала царю Екатерина Павловна в сентябре 1812 г., и ей он простил. При тех сложнейших и крайне загадочных отношениях, какие были между этими братом и сестрой, ей он всегда все прощал...

Александр между прочим дает здесь вполне отрицательную оценку трем лучшим генералам своей армии — Барклаю, Багратиону и Кутузову — и сохраняет полное при этом молчание о четвертом бессменном кандидате в главнокомандующие — о Беннигсене. А между тем, если учесть слова Александра о «губительности» отступления после Бородина, которые полностью совпадают с воззрением Беннигсена, то будет достаточно ясно, что Александр, конечно, предпочел бы в качестве преемника Барклая вовсе не «неспособного» Кутузова, а именно

Беннигсена, которого ведь он уже раз и сделал главнокомандующим (в войну 1807 г.), несмотря на то, что Беннигсен столь же «вероломно» и «безнравственно» совершил «преступление» в ночь с 11 на 12 марта 1801 г. в Михайловском дворце, как и Пален. Только горькая необходимость, полное сознание своей собственной беспомощности могли заставить Александра назначить главнокомандующим Кутузова, который был ему ненавистен.

«Вас обвиняют в неспособности» [35],— написала Александру в ответ на эти излияния злая и умная сестра. В том беспомощном положении, в котором находился царь, нечего было и думать о борьбе против ненавистного одноглазого «старого сатира», засевшего в Тарутине с армией. Нужно было покориться и ждать. Александр покорился.

Судьба армии и России перешла в руки Кутузова.

Глава VII

РУССКИЙ НАРОД И НАШЕСТВИЕ

1

В кратком анализе событий 1812 г. совсем немыслимо было бы пытаться дать сколько-нибудь полную картину внутреннего положения России в год наполеоновского нашествия. Мы тут постараемся на нескольких немногих страницах выяснить в самом общем виде, какое впечатление произвели события на разные классы русского народа. Начать нужно, конечно, с основного вопроса, имеющего огромную историческую важность: как отнеслось к нашествию подавляющее большинство народа, т. е. тогдашнее крепостное крестьянство — помещичьи, государственные, удельные крестьяне?

На первый взгляд, казалось бы, перед нами странное явление: крестьянство, ненавидящее крепостную неволю, протестующее против нее ежегодно регистрируемыми статистикой убийствами помещиков и волнениями, поставившее под угрозу вообще весь крепостнический строй всего 37—38 лет до того в восстании Пугачева,— это самое крестьянство встречает Наполеона как лютого врага, не щадя сил, борется с ним, отказывается делать то, что делали крестьяне во всей завоевываемой Наполеоном Европе, кроме Испании, т. е. отказывается вступать в какие бы то ни было торговые сделки с неприятелем, сжигает хлеб, сжигает сено и овес, сжигает собственные избы, если есть надежда сжечь забравшихся туда французских фуражиров, деятельно помогает партизанам, проявляет такую неистовую ненависть к вторгшейся армии, какой нигде и никогда французы не встречали, кроме той же Испании. Между тем у нас есть определенные сведения, что еще в 1805—1807 гг., да и в начале нашествия 1812 г., в русском крестьянстве (больше всего среди дворовых слуг и вблизи городов) бродили слухи, в которых представление о Наполеоне связывалось с мечтаниями об освобождении. Говорилось о мифическом письме, которое

будто бы французский император послал царю, что, мол, пока царь не освободит крестьян, до той поры будет война и миру не бывать. Каковы же причины, приведшие к такому резкому повороту, к такому решительнейшему изменению во взглядах?

После всего, что было сказано выше, незачем повторять, что Наполеон вторгся в Россию в качестве завоевателя, хищника, беспощадного разорителя и ни в малейшей степени не помышлял об освобождении крестьян от крепостной неволи. Для русского крестьянства защита России от вторгшегося врага была в то же время обороной своей жизни, своей семьи, своего имущества.

Начинается война. Французская армия занимает Литву, занимает Белоруссию. Белорусский крестьянин восстает, надеясь освободиться от панского гнета. Белоруссия была в июле и августе 1812 г. прямо охвачена бурными крестьянскими волнениями, переходившими местами в открытые восстания. Помещики в панике бегут в города — в Вильну к герцогу Бассано, в Могилев к маршалу Даву, в Минск к наполеоновскому генералу Домбровскому, в Витебск к самому императору. Они просят вооруженной помощи против крестьян, умоляют о карательных экспедициях, так как вновь учрежденная Наполеоном польская и литовская жандармерия недостаточно сильна, а французское командование с полной готовностью усмиряет крестьян и восстанавливает в неприкосновенности все крепостные порядки. Таким образом, уже действия Наполеона в Литве и Белоруссии, занятых его войсками, показывали, что он не только не собирался помогать крестьянам в их самостоятельной попытке сбросить цепи рабства, но что он будет всей своей мощью поддерживать крепостников-дворян и железной рукой подавлять всякий крестьянский протест против помещиков. Это согласовалось с его политикой: он считал польских и литовских дворян основной политической силой в этих местах и не только не желал их отпугивать, внушая их крестьянам мысль об освобождении, но и подавлял своей военной силой огромные волнения в Белоруссии.

«Дворяне этих губерний Белоруссии... дорого заплатили за желание освободиться от русского владычества. Их крестьяне сочли себя свободными от ужасного и бедственного рабства, под гнетом которого они находились благодаря скупости и разврату дворян. Они взбунтовались почти во всех деревнях, переломали мебель в домах своих господ, уничтожили фабрики и все заведения и находили в разрушении жилищ своих мелких тиранов столько же варварского наслаждения, сколько последние употребили искусства, чтобы довести их до нищеты. Французская стража, исходатайствованная дворянами для защиты от своих крестьян, еще более усилила бешенство народа,

а жандармы или оставались равнодушными свидетелями беспорядков, или не имели средств, чтобы им помешать» [1] — таково, например, показание А. Х. Бенкендорфа (тогда полковника в отряде Винценгероде). Таких показаний немало.

Маршал Сен-Сир, проделавший кампанию 1812 г., прямо говорит в своих воспоминаниях, что в Литве уже определенно начиналось движение крестьян: они выгоняли помещиков из усадеб. «Наполеон, верный своей новой системе, стал защищать помещиков от их крепостных, вернул помещиков в их усадьбы, откуда они были изгнаны», и дал им своих солдат для охраны от крепостных. Крестьянское движение, которое уже кое-где (в западных губерниях) стало принимать очень резко выраженный характер, было беспощадно удушено самим Наполеоном и в Литве, и в Белоруссии.

2

Конечно, классовая борьба, борьба крепостного крестьянства против помещиков, не прекращалась и в 1812 г., как она не прекращалась ни на один год, ни на один месяц и до и после 1812 г. Но изгнание врага из пределов России сделалось для русского крестьянства первоочередной задачей во всю вторую половину 1812 г.

Хищник, вторгшийся в русские пределы, нес крестьянам не свободу, а новые тяжелые цепи. И русское крестьянство это очень хорошо поняло и по достоинству оценило.

Если русское крепостное крестьянство очень скоро удостоверилось, что от Наполеона ждать освобождения не приходится, то отсюда не следует, что в 1812 г. в России не было вовсе крестьянского движения против крепостного права. Оно, бесспорно, было, но не связывало в подавляющем большинстве своих надежд с нашествием. И в архивах и в печатных источниках иногда очень глухо, с нарочитой беглостью и неясностью встречаются указания, намеки, краткие рассказы. Я попытаюсь привести несколько фактов, относительно которых удалось найти ясные, конкретные данные.

Общее впечатление такое: крестьяне в 1812 г. то в одном, то в другом месте восставали против помещиков, как и в предшествующие и последующие годы. Но наличие неприятельской армии в стране, конечно, не усиливало, а, напротив, ослабляло движение против помещиков. Беспощадно грабящий неприятель решительно отвлекал внимание крестьян от помещиков, и мысль о грозящей гибели России, о порабощении всего русского народа иноземным хищником и насильником все более выступала на первый план. Нужно к этому прибавить, что и помещики очень сильно присмирели в 1812 г. и со своей сто-

роны старались не раздражать и не очень обижать крепостных. Очень многие из помещиков просто убегали из своих деревень в столицы и в губернские города, и о них в оставленных поместьях ничего не было слышно, а приказчики и управляющие тоже вели себя без «господ» совсем не так, как всегда. Необходимо тут же отметить, что народ и в деревнях и в Москве часто негодовал на то, что «господа» убегают от неприятеля, вместо того чтобы оказать сопротивление. Чувство родины разгорелось в народе в особенности после гибели Смоленска. Армия Наполеона нигде решительно, даже в Египте, даже в Сирии, не вела себя так необузданно, не убивала и не истязала население так нагло и жестоко, как именно в России. Французы мстили за пожары деревень, сел и городов, за сожжение Москвы, за непримиримую вражду со стороны русского народа, которую они ощущали от начала до конца в течение всего своего пребывания в России.

Разорение крестьян проходившей армией завоевателя, бесчисленными мародерами и просто разбойничавшими французскими дезертирами было так велико, что ненависть к неприятелю росла с каждым днем.

Рекрутские наборы в России следовали один за другим и встречались народом не только безропотно, но с неслыханным и невиданным прежде одушевлением.

Интересно проследить обстоятельства всех наборов, вплоть до набора 12 декабря 1812 г. Тогда было повелено собрать во всем государстве по восьми человек рекрут с каждых пятисот человек.

Это был, считая с ополченскими наборами, фактически уже третий «общий» набор (по крайней мере для некоторых губерний).

В обычное время это была ненавистная и страшная рекрутчина, теперь, после гибели Москвы, набор возбуждал в народе совсем другие чувства, которым изумлялись и которыми восхищались очевидцы. «В Тамбове все тихо... До нас доходит лишь шум, производимый рекрутами. Мы живем против рекрутского присутствия, каждое утро нас будят тысячи крестьян: они плачут, пока им не забреют лба, а сделавшись рекрутами, начинают петь и плясать, говоря, что не о чем горевать, что такова воля божья. Чем ближе я знакомлюсь с нашим народом, тем более убеждаюсь, что не существует лучшего...» — так писала 30 сентября 1812 г. М. А. Волкова своей подруге В. И. Ланской. Тамбову и Тамбовской губернии в это время не угрожало никакой опасности, но раздражение и чувство обиды за разоряемую и унижаемую Россию были налицо и проявлялись в этих самых людях, которые жили в нужде и крепостной неволе. Современники и очевидцы не могут иной раз этому достаточ-

но надивиться, но самый факт удостоверяют категорическим образом. Мы знаем, как вели себя под Смоленском, при Бородине, под Малоярославцем те рекруты, которые «пели и плясали» от радости, когда их брали в солдаты. Они-то и заставили Наполеона поставить русских по личному мужеству в боях выше всех народов, с которыми ему пришлось сражаться. А с каким народом ему не приходилось сражаться?

Таковы были наиболее характерные настроения 1812 г. Но при существовании крепостного строя, разумеется, не могли местами не обнаружиться и другие течения.

Конечно, Наполеон явно фантазировал и преувеличивал, когда говорил о «многочисленных деревнях», просивших его освободить их, но, несомненно, не могло не быть единичных попыток такого обращения к нему, пока еще не все крестьяне удостоверились, что Наполеон и не думает об уничтожении помещичьей власти и что пришел он как завоеватель и грабитель, а вовсе не как освободитель крестьян.

Были там и сям проявления крестьянского движения против помещиков, и я приведу несколько данных об этом, потому что без этого картина 1812 г. была бы неверна и неполна.

Но читатель должен твердо помнить о следующем. Во-первых, не протесты крестьян против помещиков, без чего не обходился буквально *ни один год* за все время существования крепостного права, а именно относительная *редкость* этого явления характерны для годины наполеоновского нашествия. Во-вторых, даже при волнениях или восстаниях крестьян, и именно в двух наиболее серьезных случаях (в Тверской губернии и в пензенском ополченском лагере), налицо оказывалось единодушное патриотическое, антифранцузское настроение. Это настолько характерно, настолько знаменательно для описываемого времени, что я приведу эти факты с некоторыми уточнениями. В-третьих, наконец,— и это самое главное,— все эти волнения крестьян в 1812 г. были буквально каплей в море сравнительно с гигантским подъемом чувства гнева к иноземному хищнику, разорителю и оскорбителю России, которое так непреодолимо охватило многомиллионную народную массу и сделалось могучим двигателем победы над страшным врагом.

Крестьяне Московской губернии «говорили дерзости проезжающим и могли бы зайти далее, если бы за ними не было бдительного надзора», — пишет М. И. Волкова своей подруге Ланской, рассказывая о днях, предшествовавших гибели Москвы. Волкова даже жалеет, что все так ругают Ростопчина, в ее глазах он имеет большую заслугу: «он охранил чернь, которая везде легкомысленна», «охранил» эту «чернь» от «вероломных намерений» Наполеона. Чем же он достиг этого?

А вот именно тем, что до последней минуты уверял, будто Москва не будет сдана. Народ не успел взбунтоваться, потому что о сдаче Москвы узнали одновременно со вступлением французского авангарда через Дорогомиловскую заставу. За эту ложь во спасение многие дворяне вроде Волковой прощали Ростопчину все его грехи.

Все это не вылилось в сколько-нибудь сильное, организованное движение. Уже после Смоленска, а особенно к моменту занятия Наполеоном Москвы, когда окончательно стало ясно, что завоеватель и не думает об освобождении крестьян, даже и эти отдельные проявления крестьянского движения почти прекратились. Нужно сказать, что и по размерам и по характеру крестьянское движение в Литве и Белоруссии, вызванное обманчивыми надеждами на Наполеона, было гораздо более бурным, чем в губерниях коренной России. Как сказано, оно было там задавлено свирепыми усмирениями со стороны самого Наполеона.

Весной 1812 г. в Вологодской губернии началось длительное дело крестьян, проданных помещицей Щербининой надворному советнику Яковлеву. Крестьяне отказались повиноваться Яковлеву, во-первых, ссылаясь на незаконность этой сделки и приводя в доказательство, что будто они должны были остаться в роду графов Воронцовых (Щербинина была урожденная Дашкова и племянница С. Р. Воронцова), а сверх того крестьяне указывали на то, что Яковлев гонит крестьян на свои вятские и пермские заводы. Дело тянулось весь 1812 и часть 1813 г.; правительство не решалось пустить в ход оружие, пока Наполеон был в России. Только в июне 1813 г. был послан в «бунтующую вотчину» Башкирский полк, который стрелял в крестьян и убил 24 человека, переранил гораздо больше и восстановил «порядок». Часть крестьян укрылась в вологодских лесах и лишь постепенно вернулась домой. Несколько зачинщиков (или, как выражаются документы, *начинщиков*) было отдано под суд и приговорено к 200 ударам кнута. К сожалению, из бумаг не видно, ни сколько именно человек было осуждено, ни сколько из осужденных выжило после наказания. Известно, что даже и 100 ударов было более чем достаточно для умерщвления наказуемого. Стрельба и усмирение произошли лишь в июне 1813 г.[2] То же неповиновение и по тем же причинам оказали Яковлеву крестьяне Череповецкого уезда Новгородской губернии.

Только из нескольких неясных слов в кратком протоколе заседания комитета министров мы узнаем о «неповиновении» заводских (приписанных к заводам) крестьян Пермской губернии; что это «неповиновение» охватило 20 тысяч человек; что посылалась воинская команда и т. д.[3] Зачинщики взяты были

под стражу. Что с ними дальше было, неизвестно. В июне 1812 г. «неповиновение» «совершенно прекратилось».

К сожалению, эти известия именно осенью 1812 г. были особенно скупы. Вот образчик: «В Бельском уезде крестьяне восстали непослушанием против своего помещика Лыкошина, его убили, начальник отряда Дебич, по исследовании, двоих велел расстрелять, деревню сожгли, и тем восстановлено послушание» [4].

Были волнения и в Тверской губернии, и комитет министров в заседании 24 сентября 1812 г. слушал дело «о взбунтовавшихся крестьянах Волоколамского уезда и об одном священнике, который соучаствовал с ними». Крестьяне «вышли из повиновения», «разграбили господское имение, хлеб, скот, лошадей, убили крестьянина деревни Петраковой из пистолета».

Во всей окрестности крестьяне тоже взбунтовались, и губернатор должен был обратиться к генералу Винценгероде, командующему войсками в Тверском округе. Комитет министров, заслушав дело, положил: «Барону Винценгероде предписать, чтобы он на место к взбунтовавшимся крестьянам отрядил достаточную команду и, изыскав начинщиков возмущения, в страх другим велел их повесить» [5]. К счастью, Винценгероде разобрался в деле и не только никого не повесил, но выяснил гнуснейшее поведение помещиков и их приказчиков, сознательно подводивших крестьян под обвинение в государственной измене. Посланный им генерал-майор Бенкендорф донес следующее (донесение на французском языке, конечно, потому что русского языка Винценгероде не знал): «Позвольте мне говорить с вами без обиняков. Крестьяне, которых губернатор и другие власти называют возмутившимися, вовсе не возмутились. Некоторые из них отказываются повиноваться своим наглым приказчикам, которые при появлении неприятеля, так же как и их господа, покидают этих самых крестьян, вместо того чтобы воспользоваться их добрыми намерениями и вести их против неприятеля... Имеют подлость утверждать, будто некоторые из крестьян называют себя французами. Они избивают, где только могут, неприятельские отряды, отправляют в окружные города своих пленников, вооружаются отнятыми у них ружьями и защищают свои очаги... Нет, генерал, не крестьян нужно наказывать, а вот нужно сменить служащих людей, которым следовало бы внушить хороший дух, царящий в народе» [6]. Слух о возмущении крестьян — лживая выдумка. «*Я отвечаю за это своей головой*» (подчеркнуто в тексте). «Я пользуюсь крестьянами для получения известий о неприятеле»,— так кончает Бенкендорф свое донесение.

Крестьянские настроения в 1812 г. нашли свое отражение в выступлениях крестьян, только что одетых в ополченскую форму, но от этого не переставших быть крестьянами.

Осенью 1812 г. в Пензенской губернии сформировалось ополчение в составе четырех пехотных полков, одного конного и артиллерийской роты. Каждый полк был численностью в 4 тысячи человек. Ополчение здесь, как и всюду, заметим, в 1812 г., удивляло начальников своими быстрыми успехами в деле воинского обучения: «Усердие к пользе отечества производило чудеса»,— пишет очевидец, офицер этого ополчения Шишкин в своих воспоминаниях «Бунт ополчения в 1812 г.». Ополчение было готово выступить лишь к 10 (22) декабря, т. е. когда Россия уже была очищена от неприятеля совершенно и когда начинался заграничный поход. Совершенно неожиданно в ополчении вспыхнул бунт. Ратники требовали, чтобы их привели к присяге. Не забудем, что среди множества слухов, носившихся в воздухе в 1812 г., была и весть, будто всех присягнувших ополченцев по окончании войны уже не вернут в крепостное состояние, а объявят свободными. Более чем вероятно, что требование привода к присяге в данном случае и было вызвано этим слухом. Взбунтовался 3-й полк ополчения и в полном вооружении вышел на площадь,— стоял он в городке Инсаре. Полк разгромил квартиру полковника, квартиры офицеров, запер офицеров, полковника избили до крови, так же как майора и других. Выбрав себе из своей среды начальника, солдаты собрались покончить с офицерами. Жители Инсара подверглись также нападениям со стороны разбушевавшихся ратников, и часть их разбежалась из города. Ратники овладели городом и перевели офицеров в тюрьму. Офицеров обвиняли в том, что они скрывали царский указ о присяге и что они не берут дворян в ополчение, а берут крестьян, тогда как царь велел брать дворян. Перед тюрьмой ратники воздвигли три виселицы и объявили офицерам, что всех их перевешают. На четвертый день в город вступили посланные из Пензы войска с артиллерией, и восставшие ратники сдались. Одновременно в других полках этого же пензенского ополчения происходили волнения, но в более слабой форме. Военный суд присудил прогнать сквозь строй, к кнуту, каторжным работам, к ссылке на поселение и к отдаче *навсегда* в солдаты в дальние сибирские гарнизоны в общей сложности более 300 человек. «Три дня лилась кровь виновных ратников, и многие из них лишились жизни под ударами палачей»,— пишет очевидец Шишкин, к сожалению, не уточняя в этом месте свое повествование. Остальные (за вычетом этих 300 с лишком) участники восстания были отправлены в поход и уже в походе получили «всемилостивейшее прощение».

Необычайно характерна для всей политической атмосферы 1812 г. цель заговора ратников, выяснившаяся на военном суде (потому что это был заговор, и условлено было всем полкам выступить в один день — 9 декабря): «Цель мятежников заключала в себе безрассудное намерение людей, погруженных в невежество: они хотели, истребив офицеров, отправиться целым ополчением к действующей армии, явиться прямо на поле сражения, напасть на неприятеля и разбить его, потом с повинной головой предстать пред лицо монарха и в награду за свою службу выпросить себе прощение и вечную свободу из владения помещиков». Несмотря на то что репрессии были весьма свирепы, несмотря на пытки («строгие меры при допросах»,— пишет благонамеренный Шишкин), ратники не назвали инициатора движения: «Кто был первый, у которого родилась такая нелепая мысль, кто был первый, принявший на себя исполнение дерзкого намерения, того никакие розыски, никакие строгие меры не могли открыть, это осталось навсегда глубокой тайной».

В этом пензенском ополчении бродили мысли и стремления, наиболее характерные для крепостной массы в год нашествия Наполеона, и именно во вторую половину войны, когда уже всякие легенды об освобождении из рук вторгшегося завоевателя крестьянством были окончательно отброшены: изгнать неприятеля из отечества и за это получить свободу по воле царя, которого отделяют от народа дворяне-помещики, скрывающие благодетельные царские указы. Чувство мести к иноземному завоевателю, ненависть к помещичьему классу, монархическая легенда о народолюбивом царе — все это смешалось воедино и породило инсарское движение 1812 г.

Если о восстании полка в Инсаре мы имеем сведения от очевидца Шишкина, то об одновременном выступлении другого полка пензенского ополчения в Саранске нам дает понятие секретное донесение пензенского губернского прокурора министру юстиции, сохранившееся в архиве [7]. В Саранске движение не приняло таких решительных форм, как в Инсаре. Ополченцы «азартно кричали», что их посылает не царь, а дворяне и что их по пути морят голодом. Было подобное же выступление и в Чембаре, причем в Чембаре ополченцы покорились лишь после стрельбы в них со стороны присланного на усмирение воинского отряда. Было убито при этом пять человек и ранено 23, а уже 24 декабря начала свои действия комиссия военного суда [8].

Некоторые уточнения относительно жертв расправы мы находим в архивном деле: оказывается, что засечено до смерти из числа приговоренных к кнуту и шпицрутенам было в Инсаре 34 человека, в Чембаре — 2, а затем попозже еще 2 из чембар-

ских осужденных и 4 из инсарских, а в каторгу пошло 43 человека. Но ни сроков каторги, ни того, куда пошло большинство из 300 арестованных, мы из дела не узнаем.

Мы видим, что ополченцы связывали неразрывно мысль об освобождении от крепостной неволи с мыслью об освобождении родины от вторгнувшегося врага.

Ожесточение, которое было почти незаметно, пока Наполеон не пошел из Витебска на Смоленск, которое стало резко проявляться после гибели Смоленска, которое уже обратило на себя всеобщее внимание после Бородина, во время марша «великой армии» от Бородина до Москвы,— теперь, после пожара столицы, дошло среди крестьян до крайней степени. Крестьяне вокруг Москвы не только не вступали, несмотря на все зазывания и посулы, в торговые сношения с французами, но ожесточенно убивали тех фуражиров и мародеров, которые попадали им живыми в руки.

Когда казаки вели пленных французов, крестьяне бросались на конвой, стремясь отбить и лично уничтожить пленных.

Когда фуражировки сопровождались большим конвоем, крестьяне сжигали свои запасы (выгорали целые деревни) и убегали в леса. Застигнутые отчаянно оборонялись и погибали. Французы крестьян в плен не брали, а иногда, на всякий случай, даже еще только приблизясь к деревне, начинали ее обстреливать, чтобы уничтожить возможность сопротивления.

Партизанское движение, начавшееся, как увидим дальше, сейчас же после Бородина, достигло огромных успехов только благодаря деятельнейшей добровольной, усердно оказываемой помощи со стороны русского крестьянства. Но неутолимая злоба к захватчикам, разорителям, убийцам и насильникам, неизвестно откуда пришедшим, проявлялась больше всего в том, как шли в 1812 г. на военную службу и как сражались потом русские крестьяне.

Народный характер этой войны мог проявиться сразу же в организованных формах, в армии. В Испании народная война приняла совсем иные формы, потому что там долго не налаживалась организация армейских единиц, но по неукротимой ненависти к иноземным насильникам и грабителям, по жажде отдать свою жизнь для уничтожения жестокого и хищного врага, по крепкому сознанию своей внутренней правоты русский народ в своей борьбе против Наполеона ничуть не уступал испанскому.

Дальше, при описании отступления великой армии, я говорю подробно о партизанской войне, об участии в ней крестьян. О подвигах Четвертакова, упорно и ожесточенно боровшегося со своим крестьянским отрядом против французских кавалери-

стов, о Герасиме Курине, который со своими односельчанами очистил Богородский уезд от мародеров, я говорю дальше также о геройском поведении старостихи Василисы и других партизан, вышедших из рядов крестьянства. Это были позднейшие партизаны. Но следует отметить, что уже и в первую половину войны, когда и главный пионер партизанского движения Денис Давыдов не выступал еще со своим предложением, крестьянская масса уже начинала партизанскую борьбу. Степан Еременко, рядовой Московского пехотного полка, раненый и оставленный в Смоленске, бежал из плена и организовал из крестьян партизанский отряд в 300 человек. Самусь собрал вокруг себя около 2 тысяч крестьян и совершал смелые нападения на французов. Крестьянин Ермолай Васильев собрал и вооружил отнятыми у французов ружьями и саблями отряд в 600 человек. Никто не позаботился систематически, внимательно сохранить для истории память об этих народных героях, а сами они не гнались за славой. Крестьянка деревни Соколово Смоленской губернии Прасковья, оборонявшаяся *одна* от шести французов, убившая вилами трех из них (в том числе полковника), изранившая и обратившая в бегство трех остальных, так и осталась для потомства Прасковьей, без фамилии. Шестеро неприятелей были вооружены с ног до головы — у нее, кроме вил, ничего в руках не было.

Прасковья во главе небольшой группы крестьян и крестьянок энергично нападала на отряды, высылавшиеся французами для реквизиции хлеба и сена в Духовщинском уезде Смоленской губернии.

С этой «кружевницей Прасковьей» связан эпизод, о котором уже спустя много времени в России узнали из рассказов генерала Жомини, швейцарца по происхождению, бывшего при Наполеоне губернатором г. Смоленска, а впоследствии перешедшего на русскую службу и прославившегося в качестве военного теоретика и историка наполеоновских войн. Когда при отступлении «великой армии» Наполеон, войдя в Смоленск в ноябре 1812 г., узнал о том, что запасов нет, он в гневе велел немедленно судить и расстрелять интенданта Сиоффа и отдать под суд другого интенданта, Вильбланша. Первого осужденного расстреляли. Но второй спасся: Жомини сообщил императору, что интендантство не так виновато, потому что крестьяне здесь особенно дерзко нападают на французских фуражиров и истребляют их, и тут же доложил императору о неуловимой предводительнице Прасковье и ее поразительных действиях, и тогда Наполеон отменил суд над Вильбланшем.

По единодушным отзывам французов, решительно нигде, кроме одной Испании, крестьянство в деревнях не оказывало им такого ожесточенного сопротивления, как в России. «Каж-

дая деревня превращалась при нашем приближении или в костер, или в крепость»,— так писали впоследствии французы.

Непримиримая ненависть тысяч и тысяч крестьян, стеной окружившая великую армию Наполеона, подвиги безвестных героев — старостихи Василисы, Федора Онуфриева, Герасима Курина,— которые, ежедневно рискуя жизнью, уходя в леса, прячась в оврагах, подстерегали французов,— вот то, в чем наиболее характерно выразились крестьянские настроения в 1812 г. и что оказалось губительным для армии Наполеона.

Именно русский крестьянин уничтожил великолепную, первую в мире кавалерию Мюрата, перед победоносным натиском которой бежали все европейские армии; и уничтожил ее русский крестьянин, заморив голодом ее лошадей, сжигая сено и овес, за которыми приезжали фуражиры Наполеона, а иногда сжигая и самих фуражиров.

Именно русский крестьянин создал ту благоприятную обстановку, среди которой могли развиться действия Давыдова и других партизан. И прежде всего это именно он, русский крестьянин, изумлял своим героизмом Наполеона и его маршалов, погибая и в отряде Раевского, и в отряде Неверовского, и с Дохтуровым в Смоленске, и с Багратионом при Бородине и сгорая живьем в Малоярославце, потому что, повторяю, русская армия сражалась в 1812 г. так, как сражаются лишь только в народной войне.

А война против вторгшегося Наполеона была истинно народной войной. Наполеон подсчитывал в своей стратегии количество своих войск и войск Александра, а сражаться ему пришлось с русским народом, о котором Наполеон позабыл. Рука-то народа и нанесла величайшему полководцу всемирной истории непоправимый, смертельный удар.

По показанию не только Николая Ивановича Тургенева, но и других людей поколения декабристов, русские крестьяне после изгнания неприятеля из России считали, что своей геройской борьбой против Наполеона они «заслужили свободу» и что получат ее от царя. Однако на деле они получили от Александра I не свободу, а единственную посвященную им строчку в манифесте 30 августа 1814 г., где царь «всемилостивейше» благодарил все сословия и давал всем сословиям разные льготы. Вот что гласила эта единственная строка, где речь идет о награде для крестьянства:

«Крестьяне, верный наш народ, да получат мзду свою от бога».

Русское крестьянство, сражалось ли оно в двенадцатом году в мундирах или в зипуне, стяжало себе бессмертную славу.

Представители национальных меньшинств и отдельных групп не уступали коренному русскому населению в желании защищать общее отечество.

Донские казаки, башкиры, татары, уральские казаки, народы Кавказа сражались, судя по всем отзывам, замечательно стойко и мужественно. Герой Багратион достойно представлял Грузию. Калмыки (составившие Ставропольский калмыцкий полк) прославились своей храбростью в 1812 г.: их «летучие отряды» особенно отличились во вторую половину войны, при преследовании отступавшего неприятеля.

Башкиры так полюбились Платову, что он из двухсот особенно отличившихся башкирских наездников образовал особый отряд, и 27 июля 1812 г. у Молева-Болота этот отряд совершил первую свою блестящую атаку на французов.

О евреях Денис Давыдов несколько раз очень настойчиво говорит как о таком элементе населения западных губерний, на который вполне можно было положиться. То же самое повторяет, и совершенно независимо от Дениса Давыдова, изданный правительством уже в 1813 г. «Сборник» записей и воспоминаний об Отечественной войне: «Надлежит сознаться, что евреи не заслуживают тех упреков, коими некогда отягощаемы были почти всем светом... потому что, несмотря на все ухищрения безбожного Наполеона, объявившего себя ревностным защитником евреев и отправляемого ими богослужения, остались приверженными к прежнему своему (русскому) правительству и в возможнейших случаях не упускали даже различных средств доказать на опыте ненависть и презрение свое к гордому и бесчеловечному утеснителю народов...» Денис Давыдов был очень огорчен, когда один храбрец из его отряда, представленный им к Георгию, не мог получить этого ордена исключительно вследствие своего еврейского вероисповедания.

3

Переходя от эксплуатируемого класса к эксплуататорам, от крепостных крестьян к помещикам, к дворянам-душевладельцам, мы видим, что они встретили вторжение Наполеона с разными чувствами.

В первой главе этой работы я упомянул о той вражде, с которой дворянская масса (и особенно аристократическая ее верхушка) относилась к Наполеону. Не говоря уже о последствиях континентальной блокады, свежий пример мог пугать русский помещичий класс. Ведь если после разгрома Пруссии, после Тильзита король Фридрих-Вильгельм III принужден был так сильно расшатать и частично даже отменить крепостные порядки, то не вздумает ли Александр то же самое сотво-

рить и с Россией, которая тоже потерпела поражение под Фридландом и тоже опозорилась в Тильзите? Когда обнаружилось, что этому не бывать, когда удалось даже скромного реформатора Сперанского убрать в Сибирь, крепостники успокоились. Но если их вполне устраивало положение 1811 и первой половины 1812 г., если они радовались ссоре обоих императоров и дипломатическому расхождению, то совсем другое все-таки ощущение возникло, когда страшная военная опасность стала проникать в глубь России. Страх обуял очень многих. Не только ярая ненавистница Наполеона — императрица-мать Мария Федоровна — вдруг стала плакать, ежеминутно собираться куда-то выехать и предлагать царю «преклониться перед волей божьей» и поскорее мириться с Наполеоном, но страх обуял и значительную часть двора и всю дворянскую массу. А что если Наполеон издаст декрет об освобождении крестьян? Что если он возбудит «пугачевщину», во сто крат более страшную, чем та, что была в 1773—1774 гг.? Знали, что крестьяне давно уже прослышали о Наполеоне.

Еще в декабре 1806 г., когда началась новая кровопролитная война с Наполеоном, граф Ростопчин напомнил Александру, что дворянство — «единственная подпора отечества...» — «Сие знаменитое сословие...— продолжал Ростопчин,— жертвует всем отечеству и гордится лишь титлом россиян... Но все сие усердие, меры и вооружение, доселе нигде не известные, обратятся в мгновение ока в ничто, когда толк о мнимой вольности подымет народ на приобретение оной истреблением дворянства, что есть во всех бунтах и возмущениях единая цель черни, к чему она ныне еще поспешней устремится по примеру французов и быв к сему уже приуготовлена пещастным просвещением, коего неизбежные следствия суть гибель законов и царей...» Ростопчин обращает внимание царя на то, что «сословие слуг уже ждет Бонапарта, дабы быть вольными» [9].

Что если «сословие слуг» восстанет? Эта мысль тревожила в 1812 г. почти все дворянство.

«Войска мало, предводители пятятся назад, научились на разводах только, а далее не смыслят... Французы распространяются всюду и проповедуют о вольности крестьян, то и ожидай всеобщего (восстания — *Е. Т.*), при этаком частом и строгом рекрутстве и наборах ожидай всеобщего бунта против государя и дворян и прикащиков, кои власть государя подкрепляют... теперь надобно молчать и ожидать, как придет всеобщее резанье»,— так кручинился старый крепостник Поздеев, поспешивший убраться подальше от французов в Вологду и оттуда изливавший свою грусть в письме к Разумовскому (21 сентября 1812 г.) и к С. С. Ланскому (19 сентября). Он не верит, что

дело обойдется без большого крестьянского восстания. «Ибо где теперь безопасность? Потому ли и мужики наши, по вкорененному Пугачевым и другими молодыми головами желанию, ожидают какой-то вольности; хотя и видят разорение совершенное, но очаровательное слово «вольность» кружит их, ибо мало смыслящих, а прочее все число так, как и во всех состояниях, глупые и невежды».

Поздеев был не одинок в своих опасениях.

«...Но, кажется, ближние и доверенные советники государя... решили вести войну оборонительную и впустить неприятеля в границы наши. Те, кои не знают немецкой тактики и судят по здравому рассудку, весьма сим огорчаются... боятся также, что когда он приблизится к русским губерниям и объявит крестьян вольными, то может легко сделаться возмущение, но что до этого Фулю, Армфельду и прочим!» — так писала средняя помещица-крепостница еще до начала войны, и эта боязнь все усиливалась и усиливалась в дворянстве, по мере того как «немец» Барклай «отдавал» Наполеону одну губернию за другой [10].

Но все эти опасения скоро стали рассеиваться. «Я вам сообщаю новое доказательство, что слово «вольность», на коей Наполеон создал свой замысел завоевать Россию, совсем в пользу его не действует. Русских проповедников свободы нет, ибо я в счет не кладу ни помешанных, ни пьяных, коих слова остаются без действия»,— писал Ростопчин министру полиции Балашову 12 июля (30 июня) 1812 г.

«Не нужно скрывать от себя,— читаем в письме, полученном С. Р. Воронцовым в Англии после Бородина и занятия Москвы,— что неприятель, идя на Москву, имел две цели. Одна из них — возбудить некоторое движение среди крестьян, и другая — принудить к миру, угрожая столице.

Он обманулся и в том и в другом. Народ проявил повсюду выдающийся национальный дух. Он сам уничтожает свое имущество, лишь бы не отдать его неприятелю, против которого он вооружился» [11].

Крупный купец, ростовский городской голова Маракуев в своих «Записках» дает характерную картину дворянских и крестьянских настроений южных губерний: «В Харькове под конец ярмарки получено печальное известие о взятии неприятелем Смоленска. Бывшие в то время в Харькове военные именно утверждали, что Москва не устоит, что, выключая Смоленск, нет до самой Москвы такой позиции, где бы можно было с выгодой противустать неприятелю. Все таковые рассказы только умножали общее уныние. А глупые афишки Ростопчина, писанные наречием деревенских баб, совершенно убивали надежду публики... Малороссиянская чернь с внутренним удовлетворе-

нием принимала успехи французов: в ней еще не угас крамольный дух польский. Но дворяне не отделяли себя от нас и мыслили и действовали как истинные сыны отечества». «Польский дух» был, конечно, тут ни при чем: «чернь», то есть крепостные Украины, недавно только закрепощенные Екатериной, ненавидели польских панов уже никак не меньше, чем русских, и для них нашествие Наполеона в этот его первый период ассоциировалось не с восстановлением Польши, а с крушением крепостного права. «Нельзя умолчать о неудовольствии публики на главнокомандующего армией Барклая де Толли... отступление армии нашей приписывали не иному чему, как явной его измене, между тем как князь Багратион был обожаем публикой: на него они совершенно во всем надеялись...»

Помещики и исправники «вооружили крестьян и начали систематично и искусно действовать против общего врага. Не повторялось более явлений, происходивших в Белоруссии. Мы вступили в недра коренной России. Дворяне, священники, купцы, крестьяне — все были одушевлены одним духом... Повсюду мы встречали только самое геройское самопожертвование...» [12]

Это показание очевидца подтверждается многими другими.

Многие из наиболее просвещенной передовой части этого класса судили не как крепостники Ростопчин или Поздеев, а как Николай Иванович Тургенев.

Декабристы, вышедшие из этого и из ближайшего к этому поколения дворянства, утверждали, что именно победа 1812 г. сделала в их глазах не только крепостное право, но даже и дальнейшее существование самодержавного деспотизма явлением совсем непереносимым в моральном отношении.

Наполеон вышел из пределов России. Но борьба с ним не только не кончилась, а еще разгоралась, и что выйдет из затеваемого Александром заграничного похода, было неизвестно, но пережитая только что гроза заставила кое-кого из самых передовых дворян заговорить о необходимости смягчить условия крепостного права. «Что касается до меня, — пишет какой-то, судя по всему, большой барин, близкий к верхам, в частном письме к Лонгинову,— о увольнении крестьян, я, хотя не якобинец, признаюсь, что думаю, непременно мало-помалу это сделать. Теперь есть случаи начать в Польше, конфисковав имения всех тех, кои против нас служили, раздать эти имения генералам и офицерам нашим бедным и изувеченным, и раздав оным поставить таксу, выше которой бы с крестьян не брать и чтоб они были вольны. Дареному коню в зубы не смотрят, новые помещики были бы довольны и важная часть крестьян вышла бы из теперешнего несчастнейшего положения» [13].

Автор письма сравнивает Пруссию (куда только что вступила русская армия), где после учиненного Наполеоном разгрома

в 1806—1807 гг. пало крепостное право, с положением крестьян в России и русской Польше: «Вот здесь в Пруссии, в части, которая давно уже от Польши взята, мужики уже не крепостные и общее состояние гораздо лучше нежели в нашей Польше. Говорили, что часть Польши, доставшаяся нам, счастливее тех, кои принадлежат Пруссии и Австрии. Что совершенная ложь. Правда, что помещикам и шляхтам лучше (и они-то дрянь и неблагодарные), потому что они так же дерут с мужиков, как при дурацкой их республике, но крестьянам гораздо хуже».

4

Купечество, тот «средний класс», который Наполеон рассчитывал найти в Москве, обнаружило дух полной непримиримости к завоевателю, хотя Ростопчин в Москве очень подозрительно относился к купцам-раскольникам и полагал, что они в душе ждут чего-то от Наполеона. Во всяком случае никаких торговых дел с неприятелем (очень этого домогавшимся) купцы не вели, ни в какие сделки с ним не входили и вместе со всем населением, которое только имело к тому материальную возможность, покидали места, занятые неприятелем, бросая дома, лавки, склады, лабазы на произвол судьбы. Московское купечество пожертвовало на оборону 10 миллионов рублей — сумму по тому времени огромную. Были значительные пожертвования деньгами от купечества также и других губерний.

Пожертвования были очень значительные. Но если часть купечества очень много потеряла от великого разорения, созданного нашествием, то другая часть много выиграла.

Многие купеческие фирмы «жить пошли после француза». Мы уж не говорим о таких взысканных фортуной удачниках, как Кремер и Бэрд (знаменитый потом фабрикант), разжившихся на поставках ружей, пороха и боеприпасов.

На чрезвычайном заседании комитета министров 9 сентября было решено выписать из Англии пороху 40 тысяч пудов и 50 тысяч ружей. Выписку этих вещей брали на себя коммерции советник Кремер и заводчик Бэрд. Цена за пуд пороха была ими поставлена 29 рублей (серебром), за каждое ружье — 25 рублей [14]. Цены эти были очень и очень хорошие — не для казны, но для получивших этот заказ на поставку.

Но и «средние» подрядчики, доставлявшие армии сено, овес, хлеб, сукно, кожу, «охулки на руку не клали» и жили с армейскими «комиссионерами» и «комиссарами» (интендантами) в дружбе, любви и совете. По военному времени торговаться много с поставщиками и подрядчиками не приходилось, проверять их счета было некогда. Генерал Ермолов только помечтал «сжечь» уличенного им вора-интенданта. О «сожжении» или хо-

тя бы уголовном преследовании купцов-поставщиков речь могла идти лишь в совсем исключительных случаях (да и то уже тогда, когда война давно окончилась).

Справедливые нарекания посыпались в 1812 г. на купечество за громадный и внезапный рост цен на все товары вообще и на предметы первой необходимости в частности. Знаменитые, всегда и всеми авторами цитируемые стихи применимы были не только к Петербургу, где они возникли: «Лишь с Англией разрыв коммерции открылся, то внутренний наш враг на прибыль и пустился. Враги же есть все те бесстыдные глупцы, грабители людей, бесчестные купцы» и т. д.

Эти стишки сложены (о чем иногда забывается) не по поводу войны с Наполеоном, а в предшествующие годы, в годы континентальной блокады, но истинную популярность приобрели они в 1812 г., когда все вздорожало в совершенно неслыханных размерах. Дело было не только в полном прекращении ввоза товаров из-за границы, но и в огромных закупках и заготовках для армии и в обширных спекуляциях на этой почве. К этому нужно прибавить разорение занятой неприятелем территории, уничтожение промышленных предприятий, истребление посевов и урожая. В Смоленске, в Москве, в Вязьме, в Гжатске, в Можайске все фабрики без исключения были уничтожены огнем или дотла разграблены. Рабочих в тогдашней России числилось около 150 тысяч человек (в 1814 г.— 160 тысяч). Рабочие были большей частью крепостными и работали на фабриках своих помещиков или на предприятиях купцов, которым помещики передавали крестьян на определенные сроки, часть же рабочих была и вольнонаемной. И те и другие в большинстве случаев были тесно связаны с деревней, и когда пришла гроза двенадцатого года, рабочие занятых неприятелем мест разбежались по деревням. Очень сильно спекулировали и на предметах вооружения. Спекуляция эта получила новый толчок после посещения Москвы царем. До приезда царя в Москву и до его патриотических воззваний и объявления об ополчениях сабля в Москве стоила 6 рублей и дешевле, а после воззваний и учреждения ополчений — 30 и 40 рублей; ружье тульского производства до воззваний царя стоило от 11 до 15 рублей, а после воззваний — 80 рублей; пистолеты повысились в цене в пять-шесть раз. Купцы видели, что голыми руками отразить неприятеля нельзя, и бессовестно воспользовались этим случаем для своего обогащения,— так свидетельствует несчастный Бестужев-Рюмин, который не успел в свое время выехать из Москвы, попал в наполеоновский «муниципалитет», старался там (конечно, без существенных результатов) защитить жизнь и безопасность оставшейся кучки русских, а в конце концов после ухода французов был заподозрен в измене, подвергся преследованию и нареканиям.

Уже в декабре московские купцы стали подавать правительству заявления об убытках от нашествия. Реестры при этом составлялись очень подробные. Начинались многие эти заявления одной и той же курьезной формулой, очевидно, пущенной в ход каким-нибудь грамотеем-приказным, зарабатывавшим по купечеству на составлении просьб и иных бумаг: «Известный всем неприятель, вторгнувшись в Москву, пожег в ней домы и купеческие ряды, в числе которых сгорело на великотысячную сумму и моего разного товара» [15]. Последствий эти прошения (как общее правило) не имели.

Есть свидетельства о денежных пожертвованиях в 1812 г. и от дворянства, но в большинстве случаев нельзя принимать за чистую монету все эти помещичьи заявления о пожертвованиях, приносимых на алтарь отечества. Вот, например, помещики Невельского уезда Витебской губернии заявили (уже после войны), что они ставили продовольствие для русских войск из чистейшего патриотизма и не желают получать за это деньги, но скептический витебский губернатор Лешерн фон Герцфельд доносит сенату: «Они (помещики — *Е. Т.*), описывая, что все исполняли единственно из верноподданнической ревности, между прочим нечувствительно ведут, чтобы им за перевозку овса и каких-то других предметов сделали уплату, а также уволили бы и от взноса податей, которых, может быть, больше следует с них взыскать, нежели сколько получить им от казны за поставленные ими припасы. Следственно, мысли их стремятся к тому, чтобы под видом верноподданнического пожертвования приобресть себе сугубое вознаграждение» [16]. Вчитываясь в подобные документы, мы часто замечаем, куда «нечувствительно ведут» некоторые патриотические заявления.

Конечно, были и мелкие, обыденные, житейские интересы и узколичные помышления, и как курьезен иногда бывает этот калейдоскоп действительной жизни, когда читаешь некоторые документы! Вот перед нами письмо, помеченное из лагеря в Тарутине 30 сентября 1812 г. Москва уже сдана и сгорела. Наполеон в Кремле. Генерал Лавров пишет в Петербург Аракчееву: «Должно, наконец, отдать справедливость русским, что они ни в каком положении не унывают; пламенное их усердие непременно. По истине вам скажу, что не слыхал ни одного человека, жалующегося о потере своей, всякий стремится к одному предмету, дабы Россию избавить от нашествия вражия. Умы до такой степени воспламенены, что генералы, офицеры, солдаты и мужики лучше согласятся погребстись под развалинами отечества своего, нежели слышать о мире... При помощи всевышнего отмстим неприятелю — вот цель всех наших желаний — и потом поедем на отдых. А между тем сделайте одолжение, милостивейший благодетель мой, попросите Гурьева, дабы он пред-

писал, что всемилостивейше пожалованная мне земля в Козельском уезде отдапа была калужской казенной палатой, которая, кажется, и по сие время не извещена».

Это простодушное «а между тем» с прямым переходом от Наполеона, у которого нужно вырвать Россию, к калужской казенной палате, у которой нужно вырвать «пожалованное» имение, очень типично и для класса, к которому принадлежал автор письма, и для момента. Ведь он явно одинаково искренен и в желании победить Наполеона и в усилиях сломить сопротивление калужской казенной палаты.

Кстати отмечу, раз уже упомянуто имя Аракчеева, еще и следующее: Аракчеев, никогда даже и на сотню верст не приблизившийся ни к одному опасному месту за всю войну, хотя он был генералом и состоял на действительной службе, отличался, кроме исключительной трусости, еще необычайным своекорыстием и постоянно затруднял власти жалобами и ябедническими бумагами, имеющими целью избавить его, «как новгородского помещика», от каких-либо вызывавшихся войной чрезвычайных расходов и платежей.

Конечно, воровавшие интендантские чиновники и грабившие казну помещики находили себе в Петербурге стойкого покровителя в лице Аракчеева. Характернейшую историю передает нам в своих записках сурово-правдивый Сергей Григорьевич Волконский, будущий декабрист, который служил в 1812 г. под начальством генерала Винценгероде, старавшегося по мере сил бороться против всех этих казнокрадов: «Но вопль чиновников, которым препятствовал Винценгероде делать закупы по фабулезным (сказочным — *Е. Т.*) ценам, и таковой же вопль господ помещиков, которые как тогда, так и теперь и всегда будут это делать, кричать о патриотизме, но из того, что может поступить в их кошелек, не дадут ни алтына,— этот вопль нашел приют в Питере, и на эти жалобы, хотя в выражениях весьма учтивых, от графа Аракчеева был прислан Винценгероде запрос. Имея рыцарские чувства, Винценгероде, получив его, вспылил, не отвечал графу, но, написав письмо прямо государю, приказал мне немедленно отправиться с этим письмом в Петербург». Князь Волконский тотчас отправился к царю и был им принят.

Дело было в октябре 1812 г. Александр предложил ему три вопроса, и Волконский так, по трем пунктам, и излагает вопросы царя и свои ответы: «1) Каков дух армии? Я ему отвечал: Государь! От главнокомандующего до всякого солдата все готовы положить свою жизнь к защите отечества и вашего императорского величества. 2) А дух народный? На это я ему отвечал: Государь! Вы должны гордиться им: каждый крестьянин — герой, преданный отечеству и вам. 3) А дворянство? Го-

сударь, сказал я ему: я стыжусь, что принадлежу к нему. Было много слов, а на деле ничего».

Таковы были впечатления правдивого и беспристрастного свидетеля. Не менее интересна развязка дела с жалобой Винценгероде: Александр I, отлично понимая, что Винценгероде совершенно прав и что Аракчеев — покровитель воров и казнокрадов, стал на сторону Аракчеева. «Вот тебе письмо к Винценгероде, он поймет меня и убедится, что имею полное уважение и доверие к нему, но в ходе дел административных надо давать им общий ход...» Что означает эта умышленно темная фраза? А вот что: пусть Винценгероде не тревожится неприятными для него бумагами и пусть впредь «кладет их под красное сукно». То есть, значит, пусть не обращает внимания на запросы Аракчеева. Это — с одной стороны. А с другой стороны — царь *тут же* прибавил, заканчивая разговор с князем Волконским: «Чрез несколько часов потребует *тебя* для отправления граф Алексей Андреевич (Аракчеев— *Е. Т.*),— ты *не говори, что я тебя требовал к себе и что ты получил от меня конверт для вручения Винценгероде*». Эти слова подчеркнуты самим С. Г. Волконским, который прибавляет: «Я указываю на эти последние слова, как на странный факт того, что государь себя подчинял какой-то двуличной игре с Аракчеевым и как доказательство силы Аракчеева у государя».

Волконскому не суждено было передать эту странную беседу с царем генералу Винценгероде: пока он ехал из Петербурга в действующую армию, Винценгероде был взят в плен и, как читатель увидит дальше, чуть было не расстрелян Наполеоном. Но все равно — ясно, что ни Винценгероде и никто из подобных ему борцов за интересы казны ни малейшей поддержки со стороны царя не имели и помещики могли и впредь спокойно продавать русской армии продукты по «фабулезным ценам», чувствуя за собой прочную защиту в лице «новгородского помещика» Аракчеева. Ни с этим «новгородским помещиком», ни с другими помещиками вообще Александр Павлович никогда не считал благоразумным ссориться, хотя очень хорошо понимал, что Винценгероде прав в своих действиях, а князь Волконский искренен в своих общих отзывах.

У Аракчеева пред глазами были высокие образцы для подражания.

Наиболее резкий контраст героическому самопожертвованию народных масс являло то, что происходило в верхах. Ограничимся одним, но зато особо показательным примером.

Царский брат цесаревич Константин Павлович, укрывшись от войны в Петербурге, времени даром не терял. Он представил в Екатеринославский полк 126 лошадей, прося за каждую 225 рублей. «Экономический комитет ополчения сомневался, от-

пустить ли деньги, находя, что лошади оных не стоят». Но государь приказал, и Константин получил 28 350 рублей сполна, а затем лошади были приняты: «45 сапатых застрелены немедленно, чтобы не заразить других, 55 негодных велено продать за что бы то ни было, а 26 причислены в полк». Это было единственной «услугой», оказанной отечеству Константином Павловичем в 1812 г. В. И. Бакунина в своих интимных заметках говорит по поводу этого поступка Константина, что «язык недостаточен», чтобы приискать «название истинно выразительное» для подобных деяний; «надобно изобрести новые», достаточно «выразительные» слова, чтобы восславить Константина Павловича так, как он того заслуживает[17].

5

Несмотря на постепенно все возраставшее в народе чувство ненависти к врагу, несмотря на отсутствие сколько-нибудь приметных оппозиционных настроений в дворянском классе русского общества, правительство было в 1812 г. неспокойно. Бедственное начало войны, нелепый Дрисский лагерь немца Фуля, где чуть было не погибло все русское войско, погоня французской армии за Барклаем и Багратионом, гибель Смоленска — все это очень волновало умы и в дворянстве, и в купечестве, и в крестьянстве (особенно затронутых нашествием в сопредельных с ними губерниях). Слухи о том, что сам Багратион считает Барклая предателем, что по армии шныряет немец Вольцоген, немец Винценгероде и другие, придавали особенно зловещий смысл этому бесконечному отступлению Барклая и щедрой отдаче неприятелю чуть не половины Российской империи. Сдача и гибель Москвы довели раздражение до довольно опасной точки. Мы видели, в каких выражениях и в каком тоне предостерегала царя его сестра Екатерина Павловна.

Александр был в тревоге, и в такой же тревоге были в этот критический момент окружающие его. Балашову, министру полиции, уже давно не правились некоторые проявления слишком, так сказать, рассуждающего патриотизма. «Кто это вам позволил, господа?» — так он приветствовал дворян, приезжавших в столицу повергнуть свои чувства «к подножию престола». Так же был настроен и Ростопчин, готовивший, как мы видели, фельдъегерские тройки для слишком активных московских патриотов в июле 1812 г. Корпус жандармов тогда еще не существовал, дело политического выслеживания было поставлено довольно кустарным способом, любители и добровольцы играли значительную роль. Министерство полиции во главе с Балашовым, петербургская полиция во главе с французом Жаком де

Сангленом, министр внутренних дел Козодавлев, конкурирующий с Балашовым и де Сангленом, Ростопчин, которого они все ненавидели и который их не терпел,— все эти власти занимались, во-первых, подсиживаньем друг друга, во-вторых, собиранием придворных и великосветских сплетен, в-третьих, перехватыванием чужих писем.

Россия полна была наполеоновскими шпионами обоего пола и всех мастей, и эти шпионы преспокойно сидели в Петербурге, в Москве, в Одессе, в Риге, в Кронштадте вплоть до нашествия, а многие остались и после нашествия и служили верой и правдой Наполеону, когда он был в Москве. Никого из них все эти русские полицейские следопыты не уследили, а между тем сколько было возни с организацией этой слежки! И в какой хаос пришло это дело при военной грозе 1812 г.! Приведу документальные примеры.

Владелец большой суконной и шерстобитной фабрики в селе Бондарях, Тамбовского уезда, француз Лионн был заподозрен в шпионстве в пользу Наполеона. Опасаясь возмущения патриотически настроенных рабочих, центральные и местные власти заботились не столько о том, чтобы обезвредить шпиона, сколько о том, чтобы прикрыть самый факт шпионажа и не довести его до сведения рабочих. Министр внутренних дел писал тамбовскому губернатору: «Весьма опасно, чтобы огласка не довела крестьян-фабричных до возмущения и до остановки работ на фабрике».

После гибели Москвы, когда правительство было особенно неспокойно, оно даже совершило в области расследования внутреннего шпионажа некоторые необдуманные поступки, на которые люди, в этой сфере имевшие и дар и призвание, взирали с большим неодобрением и опасениями. Тут мы наталкиваемся на нечто вроде порицания ученого знатока и специалиста против увлекающихся дилетантов, которые, не изучив техники дела, думают, что можно все взять одними лишь порывами и широкими стремлениями.

В самом деле. Сидит в Нижнем-Новгороде переехавший из занятой Москвы помощник директора Московского почтамта Рунич, тот самый, который впоследствии искоренял безбожие в Петербургском университете. И вдруг он получает известие из Петербурга, что оттуда циркулярно предложено губернаторам требовать от губернских почтмейстеров подозрительные письма для перлюстрации. Он в смятении. Для многоопытного Дмитрия Павловича Рунича перлюстрация — это не ремесло, которому можно наскоро и кое-как выучиться, но одно из изящных искусств, требующее любовного культивирования, и нельзя первого встречного губернатора к нему подпускать, потому что могут получиться гибельные последствия.

«...Освидетельствование корреспонденции и наблюдение за оною производилось всегда чрез один только почтамт посредством особых чиновников, при перлюстрации употребляемых, и сие делалось так тайно и с толикою осторожностью, что самые экспедиции разбора и отправления почт не ведали того, чья именно корреспонденция наблюдается и какие письма перлюстрации подвергаются»,— с горечью и достоинством жалуется Рунич своему министру Козодавлеву. И до сих пор результаты были блестящие: «В доказательство того, что операция сия весьма скрытно производилась, представить можно то, что в течение многих лет самые перлюстрированные письма получавшим оные не подавали малейшего повода к сомнению или подозрению, и правительство чрез внушенную в публике доверенность к почтовому департаменту имело всегда в руках своих средства к таким открытиям, которые при самых усерднейших исследованиях оставались иногда скрытыми. По уважению сих истин и быв удостоверен, что поручение о наблюдении за корреспонденцией, сделанное почтовым конторам, совершенно подорвать может издавна утвердившуюся доверенность публики к почтовому департаменту, ибо губернские конторы ни средств для сего потребных не имеют, да и самое выполнение почтмейстерами предписаний господ губернаторов подвергнуться может огласке, и, следовательно, те лица, за коими наблюдение производиться будет, сделает осторожными, я имею справедливый повод думать, что под сим предлогом и непозволительное даже злоупотребление весьма легко вкрасться может» [18].

Эта «внутренняя доверенность» публики к почтамту, которую так ценил Рунич, в самом деле, судя по позднейшим его сетованиям, стала исчезать и заменяться самой «злокачественной» осторожностью со стороны лиц, пишущих письма.

Вообще же помощник московского почт-директора Рунич прямо говорил своему начальнику министру внутренних дел Козодавлеву, что он смотрит на перлюстрацию писем как на главную свою обязанность по службе. Он только скорбит, что нет у людей уже прежней их доверчивости: все пишут о семейных делах и разных личных расчетах, да еще повадились отправлять по нескольку писем в одном большом пакете на безопасное чье-нибудь имя. Вот тут и следи! «Без сомнения, или по недоверчивости к почтовому месту или с другим каким видом это делается». Словом, никакого чистосердечия у отправителей писем нет, и это крайне затрудняет дело. Если на ком может взгляд остановиться с надеждой, то разве на некоем «Кр.» (приведены только две первые буквы). Он, можно сказать, сам по себе ходячий почтамт. «По связям его со всеми знатными здешними домами и лицами, великому обращению в свете и, можно сказать, особой любезности он имеет (такие — *Е. Т.*) средства узнавать

и мнения частные и общие слухи, что никто с ним в сем случае поравняться не может». Но, конечно, на «Кр.» надейся, а сам не плошай. «Но, несмотря на то, я не оставлю усугубить всех усилий моих, чтобы открыть подобный сему канал чрез перлюстрацию и особливо счастливым почту себя, если успех в том соответствовать будет и желаниям вашего превосходительства и усердному во всех отношениях стремлению моему» [19] и т. д.

Хотя настроение народа было таково, что не было ни малейшей надобности поднимать искусственными мерами вражду к неприятелю, но правительство все же старалось через посредство синода мобилизовать духовенство на дело патриотической проповеди. Наполеоновская армия забирала церковную утварь, пользовалась церковными зданиями как квартирами и нередко как конюшнями. Это давало главное содержание антифранцузской церковной проповеди.

Наполеон приказал широко распространять через лазутчиков и всех вообще, что он не преследует православной веры. Польский переводчик (переводящий с французского слово «император» словом «цесарь») выразил это так: «Что говорят попы о прибытии французов, известно ли им, что Наполеон не сделает войны вере, но только своим неприятелям? Известно ли, что цесарь строго приказал почитать церкви, монастыри, архимандритов и попов?» Эта наполеоновская контрагитация имела чрезвычайно мало успеха, и об осквернении церквей поминалось с возмущением еще долгие годы после нашествия.

Нужно сказать, что в оккупированных местностях оставшееся духовенство, чтобы получить право на богослужение, входило в деловые сношения с неприятельскими властями. Священник Мурзакевич в Смоленске даже встретил однажды Наполеона «с крестом», выйдя ему навстречу, и за это и за другие действия того же порядка подвергся преследованиям после ухода французов. Были и еще подобные случаи в других местах, но от обвинения в измене духовенство все же в конце концов избавилось. Сложнее было положение православного духовенства в Литве и Белоруссии, относительно которых в течение всей войны была общая молва о том, что эти земли навсегда уже отойдут к восстанавливаемой Наполеоном Польше.

Варлаам, архиепископ могилевский, получил 25 июля 1812 г. от маршала Даву приказ привести население Могилева к присяге на верность Наполеону. Архиепископ явился с соответствующей свитой в кафедральный собор и здесь привел народ к требуемой присяге и отслужил молебен с поминовением имени «великодержавного государя французского императора и италийского короля великого Наполеона и супруги его императрицы и королевы Марии-Луизы». То же самое произошло во всех

церквах могилевской епархии. Любопытно, что секретарь консистории Демьянович, впоследствии обличавший Варлаама, не советовал Варлааму присягать и приводить к этой присяге по весьма удобопонятной причине: «... поелику французы еще не совершенно овладели Белорусской страной», а другой позднейший обличитель Варлаама, иеромонах Орест, не только тоже приводил к присяге на верность Наполеону, но даже доносил на тех духовных лиц, которые отказывались это делать.

И Варлаам, и Орест, и духовенство, за ними пошедшее, все они были, как и многие, вполне убеждены в конечной победе Наполеона, в отторжении западных губерний от России и хотели полной покорностью по отношению к грозному завоевателю спасти православную епархию от грозившего натиска со стороны католической церкви. Лучше Даву, чем ксендз-официал Маевский, грозивший православному архиепископу; лучше Наполеон, чем римский папа. Так оправдывал Варлаам свой поступок, если не этими словами, то подобной аргументацией по существу [20].

Говоря о духовенстве в 1812 г., необходимо отметить еще одну любопытную подробность, прямо относящуюся к деликатной и затейливой проблеме об антихристе. Дело в том, что еще во вторую войну с Наполеоном, зимой и ранней весной 1807 г., синод счел политичным широко поставить с церковного амвона проповедь о том, что Наполеон есть предтеча антихриста. В народе для краткости Наполеона тогда стали именовать просто антихристом, так как «предтеча» — слово трудное и невразумительное. Потом, когда после битвы при Фридланде был внезапно заключен не только мир, но и теснейший дружественный союз между благоверным православным царем и этим самым антихристом, когда оба они публично обнимались и лобызались на тильзитском плоту, когда антихрист получил от царя ленту Андрея Первозванного, а царь получил от антихриста звезду Почетного легиона, то синод приказал духовенству в самом спешном порядке умолкнуть и ни о каких предтечах не сметь отныне и думать. Умолкли. Но как быть теперь, в 1812 г., когда Наполеон повел себя в таком отчетливо выраженном антихристовом стиле: оскверняет церкви, разоряет Россию, жжет Смоленск, жжет и грабит Москву? Очень уж соблазнительно было вспомнить об антихристе, тем более что Наполеон, как сказано, уже в 1807 г. вплоть до Тильзита был по этой части в сильнейшем подозрении. И вот эта проповедь снова сама собой кое-где началась уже с конца лета 1812 г. Но положительно не везло духовенству с этой темой! Опять пришлось ее оборвать, и притом по самой простой причине: в России тогда и в крестьянстве, и в мещанстве, и в купечестве, и среди православных, и среди раскольников было не-

мало начитанных в писании людей, которых называли начетчиками и которые превосходно знали и Евангелие и Библию и Апокалипсисом интересовались в особенности. Эти начетчики нередко в религиозных спорах сбивали с толку и ставили в тупик не только священников, но и архиереев. Они-то и заставили духовенство продумать до конца эту проповедь о появлении антихриста. Получилось нечто неладное, несуразное и даже определенно вредное.

Дело в том, что в конце концов спохватились: если в самом деле народ в России удостоверится, что Наполеон есть антихрист, то может махнуть рукой на сопротивление, так как ведь антихристу именно и предсказана полная победа и затем тысячелетнее благополучное царствование, а что потом, в 2812 г., антихристу придется круто, так ведь дожидайся этого благоприятного времени! И вот пастырям рекомендуется снять с Наполеона этот выгодный для него навет, будто он — антихрист. Пусть не хвастается: вовсе он не антихрист! «Да не смущается сердце ваше, не унывайте, не думайте, чтоб это был антихрист, особенный человек греха, предреченный в священном писании, что он явится в последние времена... Много в прошедшем времени было таких, о коих также думали, будто они — антихристы, но думали все напрасно.. Итак, не думайте вопреки священному писанию и здравому рассудку, что будто Наполеона Бонапарта яко антихриста победить не можно, но он не что иное, как обманщик, воюющий не силой, а хитростью...»

Мы уже отметили, что и без этой агитации настроение народа было непримиримо враждебным по отношению к внешнему врагу, и ненависть против него бушевала ярким пламенем. Правительство все-таки не прекращало полицейских наблюдений.

Но все эти ухищрения политической и иной полиции, добровольных и казенных агентов и сыщиков, почтовых шпионов и перлюстраторов были совершенно бесполезны уже начиная с октября 1812 г., с битвы при Тарутине и с ухода Наполеона из Москвы. Если Александру простили его явную неспособность, его удаление в безопасный Петербург на все время войны,— словом, простили все только за решимость ни за что не мириться с Наполеоном,— то едва начала выясняться грозящая вражеской армии гибель, едва, еще не веря себе, стали замечать, что Бородино и гибель Москвы оказались вовсе не поражением и концом России, а, напротив, губительными ударами, нанесенными врагу, затих на время ропот и на самого царя и на царское окружение. Об этом именно моменте и писал Пушкин в сожженной им, к несчастью, главе «Евгения Онегина»:

Гроза двенадцатого года
Настала — кто тут нам помог?

Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?

. . . .

Но бог помог — стал ропот ниже...

Царское правительство с Тарутинской битвы могло уже не беспокоиться. Грозный кризис миновал для него благополучно.

А Тарутино было еще только зарницей, предвещавшей грандиозные события, оно было лишь первым симптомом грядущего освобождения России от неприятельского нашествия и совсем пока неясным еще предвестием полного истребления великой армии.

Глава VIII

ТАРУТИНО И УХОД НАПОЛЕОНА ИЗ МОСКВЫ

1

Сейчас же после пожара Москвы у Наполеона на первый план выступают две задачи: первая и самая важная — непременно добиться здесь же, в Москве, мира; вторая — предохранить от окончательного разграбления солдатами то, что еще из съестных запасов и одежды могло уцелеть в Москве от пожара и вместе с тем (одно с другим было неразрывно связано) спасти расшатанную дисциплину в своей пестрой по составу армии. Обе задачи оказались совершенно невыполнимыми.

Пожар уже утихал в некоторых частях города (в центре), но еще свирепствовал на окраине, когда Наполеон переехал из Петровского замка обратно в Кремль. Тут ему в самый день возвращения в Кремль сообщили, что генерал-майор Тутолмин, начальник Воспитательного дома, просит поставить стражу возле этого учреждения для охраны оставшихся в Москве питомцев. К полной неожиданности, Наполеон не только удовлетворил ходатайство Тутолмина, но и велел 18 сентября пригласить его в Кремль.

Наполеон так начал разговор с Тутолминым 18 сентября:

«Я бы желал поступить с вашим городом так, как я поступал с Веной и Берлином, которые и поныне не разрушены; но россияне, оставившие сей город почти пустым, сделали беспримерное дело. Они сами хотели предать пламени свою столицу и, чтобы причинить мне временное зло, разрушили созидание многих веков... Я никогда подобным образом не воевал. Воины мои умеют сражаться, но не жгут. От самого Смоленска я более ничего не находил, как пепел» [1].

В разговоре Наполеон был очень милостив. Говорил о преступности Ростопчина, которому всецело приписывал поджоги. Выяснилось, что генерал-губернатор велел увезти все пожарные трубы, и в этом Наполеон усматривал одну из главных улик.

Были и другие: действительные или мнимые показания людей, судившихся в качестве поджигателей. Тутолмин на вопрос императора, не желает ли он еще о чем-нибудь просить, попросил позволения написать рапорт Марии Федоровне, высшей начальнице всех воспитательных домов в России. Наполеон не только позволил, но еще предложил Тутолмину добавить, что он, Наполеон, почитает по-старому Александра и желал бы заключить мир. Тутолмин все это написал в тот же день и отправил с чиновником своего ведомства, которого по именному повелению императора пропустили через передовые посты французской армии.

Уже эта первая попытка была совсем не похожа на обычный образ действий Наполеона, и уже она одна давала понять, что Наполеон чувствует себя не весьма уверенно.

В самом деле, Наполеон всю свою игру вел, рассчитывая на упадок духа и слабость царя и на то, что не сегодня — завтра побежденный Кутузов пришлет к нему парламентера под белым флагом, подобно тому как в июне 1807 г., после Фридланда, к нему явился парламентер от Беннигсена. Но Бородино не было Фридландом. Никакой парламентер не явился. Между тем, если бы Александр согласился теперь на мир, то престиж Наполеона, занявшего Москву и из Москвы диктующего мир России, был бы необычайно упрочен в глазах всей Европы. Какой это был бы мир? Если бы Александр откликнулся сразу, то Наполеон — мы это знаем документально — намерен был требовать отторжения Литвы, подтверждения блокады, союза с Францией. Если бы Александр откликнулся на последующие две попытки, то Наполеон ничего бы не требовал. «Лишь бы честь была спасена», «спасайте честь»,— говорил он, отправляя в октябре Лористона. Но царь не ответил ни на одну из трех попыток.

Вторая попытка была произведена Наполеоном, когда еще невозможно было даже по расчету времени надеяться получить ответ от Александра: ровно через два дня после беседы с Тутолминым. Связана эта попытка с именем Ивана Алексеевича Яковлева, отца А. И. Герцена. Об этой попытке мы знаем из французских источников, из первых страниц герценовского «Былого и дум» и из полного текста письма Наполеона к Александру, отправленного через Яковлева. Застрял в Москве этот Яковлев, богатый московский барин и оригинал, случайно: слишком долго собирался выехать. Семья очутилась в трудном положении, и Яковлев обратился за покровительством к маршалу Мортье. Маршал был знаком с Яковлевым по Парижу и доложил о нем Наполеону; тот велел Яковлеву явиться. Герцен говорит, со слов отца, об этом свидании в первой главе «Былого и дум»: «...Наполеон разбранил Ростопчина за пожар, говорил, что это вандализм, уверял, как всегда, в своей непреодолимой люб-

ви к миру, толковал, что его война в Англии, а не в России, хвастался тем, что поставил караул к Воспитательному дому и к Успенскому собору, жаловался на Александра, говорил, что он дурно окружен, что мирные расположения его (т. е. Наполеона — *Е. Т.*) не известны императору. Отец мой заметил, что предложить мир скорее дело победителя. «Я сделал, что мог, я посылал к Кутузову, он не вступает ни в какие переговоры и не доводит до сведения государя моих предложений. Хотят войны, не моя вина — будет им война».

Тут надо заметить, что Яковлев что-то, очевидно, спутал, рассказывая сыну впоследствии о свидании. Наполеон к Кутузову еще ни разу не обращался, когда говорил с Яковлевым: посылка Лористона произошла после разговора с Яковлевым.

Наполеон сначала было отказал Яковлеву в пропуске. Но когда Яковлев стал настойчиво просить, «Наполеон подумал и вдруг спросил: „Возьметесь ли вы доставить императору письмо от меня? На этом условии я велю вам дать пропуск со всеми вашими".— „Я принял бы предложение в. в., ... но мне трудно ручаться". „Даете ли вы честное слово, что употребите все средства лично доставить письмо?"— „Обязуюсь своею честью, государь"».

Наполеон написал 20 сентября письмо Александру, и Яковлев повез его. Письмо было доставлено Александру. Его полный текст напечатан в официальном издании корреспонденции Наполеона [2].

Это письмо интересно и в политическом и в психологическом отношении. Наполеон хочет и остаться в позе бесспорного, но великодушного победителя и облегчить царю трудную задачу пойти на переговоры указанием на почти полную невиновность его, Наполеона, в разорении половины России и гибели Москвы. Стремление настроить царя примирительно сквозит особенно в конце письма. Но и начало очень характерно: «Прекрасный и великолепный город Москва уже не существует. Ростопчин сжег его. 400 поджигателей арестованы на месте преступления. Все они объявили, что поджигали по приказу губернатора и директора полиции; они расстреляны. Огонь, по-видимому, наконец прекратился. Три четверти домов сгорело, одна четвертая часть осталась. Это поведение ужасно и бесцельно. Имелось ли в виду лишить его (Наполеона — *Е. Т.*) некоторых ресурсов? Но они были в погребах, до которых огонь не достиг. Впрочем, как уничтожить один из красивейших городов целого света и создание столетий, только чтобы достигнуть такой малой цели? Это — поведение, которого держались от Смоленска, только обратило 600 тысяч семейств в нищих. Пожарные трубы города Москвы были разбиты или унесены...» Наполеон дальше указывает, что в добропорядочных столицах его не так принимали: там оставляли

администрацию, полицию, стражу, и все шло прекрасно. «Так поступили дважды в Вене, в Берлине, в Мадриде». Он не подозревает самого Александра в поощрении поджогов, иначе «я не писал бы вам этого письма». Вообще «принципы, сердце, правильность идей Александра не согласуются с такими эксцессами, недостойными великого государя и великой нации». А между тем, добавляет Наполеон, в Москве не забыли увезти пожарные трубы, но оставили 150 полевых орудий, 60 тысяч новых ружей, 1600 тысяч зарядов, оставили порох и т. д.

Любопытны последние строки, показывающие поразительное ослепление Наполеона, полное его нежелание стать на точку зрения противника. После всего, что он в России сделал, начиная от перехода через Неман и кончая Москвой, он пишет: «Я веду войну против вашего величества без враждебного чувства». Он так «великодушен», что «одна записка от вашего величества, до или после последнего сражения, остановила бы мой поход, и я бы даже хотел иметь возможность пожертвовать выгодою занятия Москвы. Если ваше величество сохраняет еще некоторый остаток прежних своих чувств по отношению ко мне, то вы хорошо отнесетесь к этому письму. Во всяком случае, вы можете только быть мне благодарны, за отчет о том, что делается в Москве». Подписано: «Наполеон».

Это письмо, где нет прямого предложения мира, является на деле предложением мира.

Как на донесение Тутолмина, так и на это личное письмо Наполеона Александр не ответил.

Тревога среди маршалов росла. До каких пор сидеть в Москве? Близились холода. Никаких «ресурсов» в московских погребах, о чем писал Наполеон Александру, солдаты не нашли, если понимать под «ресурсами» съестные припасы, но зато нашли они там очень много спиртных напитков: спирта, водки, ликеров, вин. Пьянство шло неимоверное, а хлеба было по-прежнему очень мало, овса и сена почти вовсе не было, лошади падали в Москве тысячами, чуть ли не больше, чем на походе. Ни фальшивые привезенные с собой русские ассигнации, ни настоящие не помогали делу; русские крестьяне не вступали с французами ни в какие разговоры. И, главное, дисциплина французской армии расшатывалась неимоверно. Солдаты, уже не только немецкие, польские, итальянские, но и часть французских, превращались в простых грабителей, но все-таки если у французов дисциплина более или менее сохранялась, то в немецких и итальянских частях она развалилась окончательно.

«Жесточайшие истязатели и варвары из народов, составлявших орду Наполеонову, были поляки и баварцы»,— утверждает А. Н. Оленин в «Собственноручной тетради», напечатанной в «Русском архиве» за 1868 г.

Таких показаний немало. Жаловались и на пруссаков, и на вестфальцев, которых наши крестьяне именовали «беспальцами», и на итальянцев. Жалоб на природных французов было, определенно, меньше.

Жители Москвы отличали французов от других народов наполеоновской армии: «Французы *настоящие* — добрые, ведь их по мундиру и по разговору узнаешь, редко кого обидят; зато уж эти новобранцы всякие у них да немчура никуда не годилась» [3]. Старая гвардия почти вовсе не принимала участия в грабеже.

Дезертирства из стоявшей в Москве армии не было по той причине, что французских солдат, отдалявшихся от своих форпостов, русские крестьяне ловили и убивали. Но с флангов, особенно с северного, вести шли неутешительные.

Вот что сообщил в зашифрованном докладе Наполеону Марэ, герцог Бассано, из Вильны. Дело было в сентябре 1812 г., когда оставленная в Вильне армия только что прочла победоносный бюллетень о Бородинской битве. Эта армия имела еще и продовольствие, и до морозов еще было далеко,— все казалось вполне благополучно. «Маршал Сен-Сир... не надеется уже на баварцев: немногие, сколько их у него осталось, поражены болезнью или упадком духа или охвачены манией дезертирства» [4].

С южного фланга приходили известия о более чем сомнительном поведении австрийских «союзников». Их двойная игра становилась вполне ясной.

Плохо было и по всей коммуникационной линии, даже в Могилеве, в Минске, в Витебске. Страшно ослабив «великую армию» оставлением гарнизонов, Наполеон не мог все-таки считать, что его колоссальная коммуникационная линия в безопасности.

В неофициальном письме от 26 октября 1812 г. витебский интендант французской армии Пасторэ писал своему коллеге, виленскому интенданту Биньону: «Французский император дал мне для управления 12 округов, но русский император нашел уместным управлять 8 из них лично или через своих генералов, и, что хуже всего, он не оставляет меня в покое и в остальных округах. Витгенштейн, которого вы, конечно, знаете, в 6 лье от меня, и на днях казаки в третий раз явились позавтракать в предместье Витебска...» [5]

Приходилось Наполеону думать и о покоренной, но ненавидящей его Европе, которая знает, что в России решается и ее участь, и которая все упования возлагает на два народа, не желающие пойти под иго завоевателя: на русский и на испанский.

Испанские дела — это не закрывающаяся вот уже четыре года, всегда кровоточащая страшная рана на теле завоеванной великой империи — приковывала внимание Наполеона все время. 16 октября он приказывает послать два миллиона франков в Пор-

тугалию, два миллиона во французскую армию, сражающуюся на севере Испании, полмиллиона — армии, сражающейся в центре Испании, полмиллиона — в Каталонию. Этот приказ не дошел по назначению: его забрали казаки, отбившие портфель с бумагами вместе с одним французским обозом [6].

Власть в Москве была организована Наполеоном так: военным губернатором был назначен маршал Мортье, Дюронель — комендантом крепости и города, Лессепс — «интендантом города Москвы и Московской провинции», т. е. гражданским начальником Москвы и окрестностей. Лессепс «выбрал», а Наполеон утвердил 22 человека из русского населения, которые и получили название муниципалитета. Эти люди, против своей воли назначенные, боящиеся прослыть изменниками, решительно никакой власти, конечно, не имели. Лессепс обратился к жителям Москвы с воззванием на французском и на русском языках. Начиналось оно так (я привожу тот русский текст, который был тогда обнародован):

«Провозглашение. Жители Москвы! Несчастия ваши жестоки, но его величество император и король хочет прекратить течение оных. Страшные примеры вас научили, каким образом он наказывает непослушание и преступление. Строгие меры взяты, чтобы прекратить беспорядок и возвратить общую безопасность. Отеческая администрация, избранная из самих вас, составлять будет ваш муниципалитет, или градское правление. Оное будет пещись об вас, об ваших нуждах, об вашей пользе...» и т. д. Лессепс обещал полную безопасность для жизни и охрану имущества всем гражданам Москвы, «ибо такая воля величайшего и справедливейшего из всех монархов». Он предлагал в конце этого любопытного документа повиноваться властям и обещал, что при соблюдении этого условия «слезы» москвичей «перестанут литься».

Ровно никакого действия эта бумага, конечно, не возымела.

Нищие, запуганные, ютившиеся где попало русские, оставшиеся в Москве, подвергались на каждом шагу насилиям со стороны солдат. Не проходило ночи без нескольких убийств, остававшихся совершенно безнаказанными. Смрад от неубранных гниющих в домах и на дворах трупов заражал воздух. Но не только русские трупы валялись по домам и дворам. Из позднейших свидетельств мы знаем, что ожесточение русских, оставшихся в Москве, неоднократно выражалось в том, что они подстерегали напившихся и потому бессильных французов и убивали их, если обстановка позволяла надеяться на безнаказанность.

Все это сильно беспокоило и отвлекало мысли императора в те без малого пять недель, которые он провел в Москве.

Чем больше выяснялись результаты московских пожаров,

тем серьезнее и настоятельнее перед Наполеоном вставал вопрос о необходимости где угодно искать зимние квартиры, но только не в Москве.

В подсчетах, сделанных тотчас после ухода французов, где перечислены были как сгоревшие улицы так и уцелевшие, а также и многие дома, дается такой окончательный итог: из 30 тысяч домов, бывших в Москве перед нашествием, после выхода Наполеона из города оставалось «навряд ли 5 тысяч» [7].

Наполеоновские чиновники произвели такой же подсчет еще раньше русских, и общий результат приблизительно тот же.

Но Москва была Наполеону еще нужна политически: Европа должна была знать, что Наполеон вынудил Александра подписать мир именно в Москве. Необходимо было сохранить позу победителя, а для этого нужно было дождаться ответа царя на посланное через Яковлева письмо.

Заботы о порядке в городе и в армии, прием курьеров с бумагами из Европы и из занятых местностей России — все это не могло отвлечь мысли Наполеона от главной его тревоги. Почему нет ответа? Обманул ли Яковлев? А если он доставил письмо, то почему Александр не отвечает? Уже прошло время, которое было бы нужно для ответа. Но ответа не было. Наполеон терял дни, золотые дни прекрасной, солнечной, теплой осени, стоявшей в 1812 г. во всей средней полосе России, и у нас есть доказательства, что он не хуже маршалов понимал опасность дальнейшего пребывания в Москве, *если* придется продолжать войну. Что-то следовало предпринять. Удобнее всего было приписать молчание Александра тому, что Яковлев, вероятно, не мог или не хотел доставить письмо. Наполеон решился на новый шаг, несравненно более важный, чем разговор с Тутолминым или письмо, данное Яковлеву. Этому предшествовало одно серьезное совещание с маршалами. Несколько дней он был в раздраженном состоянии, по пустякам набрасывался на маршалов, гневался на свиту.

3 октября, после бессонной ночи, он приказал маршалам явиться в Кремль и заявил им: «Нужно сжечь остатки Москвы, идти через Тверь на Петербург, куда явится к армии и Макдональд...» Но маршалы упорно молчали. «Какой славой мы будем превознесены и что весь свет скажет, когда узнает, что мы в три месяца завоевали две большие северные столицы!» Маршалы возражали. Они считали этот план невыполнимым. «Идти навстречу зиме, на север» с уменьшившейся армией, имея в тылу Кутузова, немыслимо. Наполеон умолк. Он не очень и отстаивал этот план. Но в тот же день он позвал Коленкура. Он сначала повторил утреннее свое предположение относительно похода на Петербург. Коленкур продолжал свои возражения. Тогда Наполеон предложил ему ехать к Александру с предложением мира.

Коленкур снова стал противоречить, указывая, что это ни к чему не поведет и будет, напротив, очень вредно, потому что Александр убедится в трудном положении французов. «Хорошо,— круто оборвал его император,— в таком случае я пошлю Лористона». Лористон почтительно повторил то же самое, что говорил Коленкур. Но Наполеон прекратил спор прямым повелением немедленно ехать к Кутузову, просить пропуска для дальнейшей поездки Лористона в Петербург, к царю. «Мне нужен мир, он мне нужен абсолютно, во что бы то ни стало, спасите только честь». Императорский приказ прекращал всякие разговоры и возражения. Лористон отправился к Кутузову.

2

5 октября утром на русских аванпостах появился под белым флагом французский офицер с извещением, что прибыл генерал маркиз Лористон, желающий иметь свидание с фельдмаршалом Кутузовым.

Это известие породило необычайное волнение в русской главной квартире. Для того чтобы хорошо понять не только причину этого волнения, но и очень многое во всех событиях конца войны 1812 г., необходимо вдуматься в то разногласие, которое делило кутузовский штаб и лиц кутузовского окружения на два безнадежно непримиримых лагеря. Быть может, в данном случае это выражение неточно. Один человек не может составлять «лагерь». Кутузов был одинок, генералы-исполнители Дохтуров, Коновницын, Маевский в счет не идут, а против него были Беннигсен и Вильсон открыто, Ермолов, Платов и Толь тайно. И за спиной этого вражеского стана Кутузов всегда угадывал невидимое присутствие самого царя.

Сдача Москвы очень искусно была использована врагами Кутузова. Беннигсен дал несколькими путями знать в Петербург, что у русской армии были еще шансы отстоять столицу, но светлейший князь по слабости и робости не захотел. Барклай, тактику которого продолжал Кутузов, был обижен и раздражен именно тем, что Кутузов занял его место, и не думал поэтому поддерживать фельдмаршала. Талантливый, умный, но глубоко неискренний Ермолов переметнулся на сторону врагов Кутузова, но сделал это умно и осторожно.

В первые дни после Бородина перед Кутузовым еще робели и смирялись, но постепенно, по мере того как кружным путем приходили известия о возмущении Александра, о его вражде и полном недоверии к Кутузову, люди смелели и языки их развязывались.

Вместе с тем именно после Бородина стратегический талант Кутузова развернулся во всем блеске. Ни с кем не советуясь (он не доверял нисколько ни Беннигсену, ни Барклаю), Кутузов

приказал армии отступать от Москвы на Рязанскую дорогу. Выйдя на Рязанскую дорогу, Кутузов вдруг круто повернул к югу, вышел на старую Калужскую дорогу и пошел к Красной Пахре, а одновременно велел князю Васильчикову отправить казачью кавалерию (два полка) по прежнему, рязанскому, направлению, стремясь сбить с толку преследовавшего русскую армию от Москвы Мюрата. Несколько дней подряд (драгоценнейших дней для Кутузова) эти казаки прекрасно выполняли свою задачу, и только 22 сентября французы убедились, что идут по ложному следу, и повернули обратно. Уже 19-го вся кутузовская армия была в Подольске, а на другой день, отдохнув, продолжала свой путь круто к югу, к Красной Пахре, на старой Калужской дороге. Тут и закончился искусный, глубоко продуманный фланговый марш Кутузова с этим крутым поворотом почти на глазах обманутого противника с Рязанской на Калужскую дорогу, «бессмертный фланговый марш... решивший участь кампании» [8], как называет его один из участников дела.

Этим смелым передвижением Кутузов прикрыл Калугу и южные губернии от возможного движения туда Наполеона.

Однако эти распоряжения Кутузова подверглись очень злобной критике со стороны его (навязанного ему) начальника штаба Беннигсена. Дальше пошло еще хуже. Дело в том, что хотя и с сильным запозданием, но Мюрат открыл, конечно, военную хитрость Кутузова, заставившего французскую кавалерию даром терять время на Рязанской дороге, и, устремившись по Калужской дороге, стал теснить кутузовский арьергард. Принять сражение ни у Красной Пахры, ни в окрестностях Красной Пахры Кутузов не желал. Беннигсен со всеми своими приверженцами резко высказался против дальнейшего отступления к югу. В эту пору в штабе, кроме двух-трех человек, никто не понимал всего огромного и благого значения кутузовских передвижений, и фельдмаршал был совсем одинок. Беннигсен, Буксгевден, Платов и за ними их сторонники, ничего вначале не понимая в этом фланговом марше с Рязанской дороги на Калужскую, громко говорили о «бессмысленных мотаниях» старого фельдмаршала. Это не помешало им потом убеждать общество, что, собственно, и они тоже были за этот план.

Кутузов убеждал, что нужно отступить сильно южнее, например, к селу Тарутино, потому что чем ближе стать к Калуге, тем легче будет контролировать три дороги, ведущие из Москвы в Калугу, по каждой из которых в любой момент может двинуться Наполеон. Несмотря на всю ясность и целесообразность этого плана, Беннигсен с таким азартом принялся настаивать, что нужно оставаться и принять бой с Мюратом на Красной Пахре, что Кутузов вдруг раздраженно заявил, что на сей раз слагает с себя власть и предоставляет Беннигсену распоряжаться и отдаст

ему сейчас весь свой штаб, всех адъютантов, всю армию. «Вы командуете армией, а я только доброволец» [9],— заявил он Беннигсену и предложил ему немедленно искать позицию для боя с Мюратом тут, у Красной Пахры.

Беннигсен с 9 часов утра до полудня в сопровождении всего кутузовского штаба обыскивал окрестности, ничего не нашел и, вернувшись, признался, что сражаться тут невозможно. «В таком случае я беру снова на себя командование. Господа, попрежнему ко мне,— заявил Кутузов, обращаясь к генералам.— Петр Петрович, пишите диспозицию к отступлению»,— приказал он своему дежурному генералу Коновницыну. Русская армия двинулась тут же к югу, к селу Тарутино, и расположилась в селе и в окрестностях. Кутузов со всем штабом поместился в деревне Леташевке, в 5 верстах южнее Тарутина. Это было 4 октября.

Весь этот эпизод ясно показал, что Беннигсен и вся его (очень большая) враждебная Кутузову партия в штабе по существу вовсе не знают, как исправлять «ошибки» Кутузова, но кричат об этих «ошибках» исключительно с целью поскорее добиться смещения главнокомандующего. С другой стороны, этот прием Кутузова — уступка своей власти хотя бы на один день врагу Беннигсену — показывает, что в этот момент фельдмаршал еще не чувствовал себя в силах применить резкие меры, распорядиться своей беспредельной по закону властью так, как хотелось бы. Есть и еще признак, что в эти дни Кутузов решил терпеть то, чего дальше он не потерпел бы.

Мы видели, что Кутузов при встрече с Ростопчиным у моста в день ухода из Москвы не обратил на него и его слова никакого внимания. Теперь Ростопчин тоже осмелел и хоть и уехал, но решился учинить на прощанье фельдмаршалу дерзость. Ростопчин после сдачи Москвы больше двух недель слонялся по главной квартире Кутузова, и тот ни разу не пожелал его принять. Тогда генерал-губернатор написал фельдмаршалу небольшое по размерам письмецо, в которое постарался вложить как можно больше ядовитых оскорблений. Он упрекает, что столица «скоропостижно отдана вами злодею», что Кутузов велел у всех жителей Московской губернии забрать хлеба по два пуда с души и все сено и весь скот без остатка, «о чем я только что вчерашнего числа узнал, посторонним образом, хотя более полумесяца нахожусь при главной квартире, где наравне с армией лишен чести видеть лицо вашей светлости». С полной готовностью он подчеркивает, что проживает он около Кутузова нисколько не по доброй воле, а исключительно по возложенным на него от государя поручениям: «И коль скоро исполню оные, то поеду в местопребывание государя, удалясь от тех несчастных мест, где счастье войск и отечества зависит от подписи вашей». На-

писав все это, Ростопчин, очевидно, пожалел, что вышло мало. И он прибавил «постскриптум»: «Ваша светлость, рассудя за благо оставить и Московскую губернию так, как вы оставили Москву, должность моя командующего с выступлением войск окончилась, и я, не желая ни быть без дела, ни смотреть на разорение и Калужской губернии, ни слышать целый день, что вы занимаетесь сном, отъезжаю в Ярославль и в Петербург. Желаю как верноподданный и истинный сын отечества, чтобы вы занялись более Россией, войсками, вам вверенными, и неприятелем; я же, с моей стороны, благодарю вас за то, что не имею нужды никому сдавать ни столицы, ни губернии, и что я не был удостоен доверенности вашей». Кутузов ничего не ответил и все-таки не принял Ростопчина.

Ростопчин исчез, но неприязнь к старому фельдмаршалу не исчезла из его главной квартиры.

Наиболее враждебную позицию из штабных генералов занял Беннигсен, начальник штаба, навязанный Кутузову. Вот типичная сцена.

Дальнейший план Кутузова состоял в том (он не скрывал этого даже от своего юного ординарца князя Голицына), чтобы «выиграть время и усыпить елико можно долее Наполеона, не тревожа его из Москвы... Все, что содействовало к цели сей, было им предпочитаемо пустой славе» иметь успех в нападении на выдвинувшийся из Москвы наполеоновский авангард. Сообразно с этим Кутузов и распорядился занять позицию южнее, чем хотел Беннигсен. Он сидел на скамейке и диктовал соответствующие распоряжения, как вдруг приехал с левого фланга отступающей русской армии Беннигсен. Тут начался спор, который ничем положительно кончиться не мог не только потому, что оба собеседника ненавидели друг друга, но и потому, что Беннигсен ждал обещанного раньше Кутузовым нападения на французский авангард, и с этой точки зрения Беннигсен был прав, заявляя, что выбранная Кутузовым позиция невыгодна. А Кутузов, вовсе не думая на самом деле о нападении, со своей точки зрения, с точки зрения спокойного выжидания, тоже был прав. «Разговор продолжался долго,— вспоминает очевидец Голицын,— сперва рассуждали хладнокровно, потом Кутузов, рагорячившись и не имея что возразить на представление Беннигсена, сказал ему: «Ваша позиция под Фридландом была для вас хороша, ну, а что касается меня, я довольствуюсь вот этой позицией, и мы тут останемся, потому что командир тут я, и я за все отвечаю». Жестокое напоминание, как страшно Наполеон разгромил Беннигсена в 1807 г. под Фридландом, было принято Беннигсеном как убийственное оскорбление.

В своей небольшой статье о Беннигсене, писанной в 1858 г. для американского энциклопедического словаря, Маркс посвя-

щает поведению этого генерала в 1812 г. три строки, очень хорошо характеризующие его: «Во время кампании 1812 г. он развернул свою деятельность по преимуществу в главной квартире императора Александра, где интриговал против Барклая-де-Толли с целью занять его место» [10]. К этому можно было бы лишь прибавить еще одну строку: а с сентября 1812 г. интриговал в главной квартире Кутузова с целью занять место Кутузова.

3

Но не в Ростопчине и не в Платове, и не в Буксгевдене, и даже не в Беннигсене были главные затруднения для Кутузова; они, конечно, не могли надеяться, что им самостоятельно удастся заставить царя сместить Кутузова, которому, несмотря ни на что, продолжали верить в стране и в армии.

Наиболее влиятельный враг Кутузова, к которому и царь прислушивался с очень большим вниманием, сидел тоже в его штабе. Это был уже помянутый не раз английский комиссар при русской армии генерал сэр Роберт Вильсон. Для Вильсона, для стоящего за Вильсоном английского посла в Петербурге, лорда Каткэрта, для стоящего за Каткэртом британского кабинета разногласия между Беннигсеном и Кутузовым вовсе не были только «генеральской ссорой», и они раньше всех уразумели, что кутузовская стратегия противоречит интересам великобританской политики. Прежде всего следует заметить, что Вильсон, тайно следивший за Кутузовым и доносивший на него царю, пользовался тем большим доверием Александра, что царь не терпел фельдмаршала и по существу был вполне солидарен с этим английским соглядатаем.

Да и трудно было бы Александру очень ссориться с Вильсоном. «Привезенные в город Кронштадт 50 тысяч английских ружей прикажите принять немедленно в артиллерийское ведомство»,— пишет царь Горчакову 3 октября 1812 г. А ведь из Англии шли не только ружья, но и золотые стерлинги, как всегда в таких случаях, когда англичанам нужно было при помощи чужих армий одолеть грозного врага. Роберт Вильсон знал, что можно многое себе позволить, и широко этим пользовался.

Устроившись в главной квартире, Роберт Вильсон немедленно начал деятельно вмешиваться в кипевшие вокруг Кутузова интриги. «Вашему величеству, конечно, известно, что с летами и здоровьем князя Кутузова нельзя ожидать деятельного начальства и что генерал Беннигсен ищет главного начальства»,— пишет он царю 27 сентября 1812 г. С Александром он усвоил себе какой-то особый тон. «Генерал Платов на одних квартирах со мной. Я надеялся, что ему дан будет отряд из 4 тысяч казаков и

четыре эскадрона гусар с шестью легкими пушками и, может быть, несколько егерей». Вильсон недоволен положением Платова: «Но я нахожу его после 42-летней и отличной службы... ныне без всякой команды... Он сильно чувствует свое уничижение, и я должен признаться, что я разделяю с ним его и очень надеюсь, что будет дано повеление о поручении ему, по крайней мере, тех казаков, кои следуют на подкрепление здешней армии, с присовокуплением Атаманского полка»,— в таком вот тоне Вильсон и дает Александру свои точные распоряжения по русской армии.

Вообще он держал себя хозяином и разговаривал с Кутузовым таким тоном, как если бы тот был не главнокомандующим действующей армии Российской империи, а каким-то выжившим из ума стариком, с которым следует говорить построже, чтобы он не дурил. Его наглость поддерживалась сознанием, что царь ненавидит Кутузова.

Останется ли в силе континентальная блокада, порождающая в Англии нищету и безработицу,— это было гнетущей, близкой заботой для англичан.

Аристократические английские друзья Семена Романовича Воронцова не скрывали от него, что рабочие раздражены и неспокойны. «Бирмингэмские рабочие горько жалуются, что у них нет работы» [11],— читаем мы в одном из таких писем, писанных в сентябре 1812 г. Это одна неприятность у английских друзей Воронцова, а другая, ими выражаемая, это — тревога, не удастся ли коварному корсиканцу помириться как-нибудь с Александром. И одно очень связано с другим.

Теперь, после всего сказанного о борьбе против Кутузова окружающих его людей, после всего упомянутого о Роберте Вильсоне читателю будет вполне понятна история поездки Лористона в русский лагерь.

4

Когда генерал Лористон появился наконец уже собственной персоной вечером 5 октября на русских аванпостах, это возбудило страшное волнение в кутузовском штабе. Прежде всех и больше всех взволновался еще утром этого дня английский комиссар Роберт Вильсон. С той полнейшей бесцеремонностью, которая была ему свойственна, он заявил Кутузову решительный протест против приема Лористона, о чем не преминул довести до сведения Александра. Сделал он это в такой форме, которая обличает уверенность, что ему всякая дерзость сойдет с рук: «Имею честь донести вашему величеству, что фельдмаршал Кутузов сообщил мне сегодня поутру о намерении своем иметь свидание с генерал-адъютантом Бонапарта на передовых постах. Я почел долгом своим сделать самые твердые и решительные

представления против такого намерения, исполнение коего не соответствовало бы достоинству вашего величества и не преминуло бы иметь вредное влияние, противное выгодам вашего величества, потому что послужило бы к ободрению неприятеля, к неудовольствию армии и к распространению недоверчивости в иностранных государствах». Другими словами, Роберт Вильсон не скрывал своего недоверия к самому Александру и грозил царю гневом Англии, если царь согласится на перемирие или, еще хуже, на мир с Наполеоном. В тот же день Вильсон донес обо всем и лорду Каткэрту, причем на письме есть такая странная пометка рукой Аракчеева: «Получено от государя 4 октября»[12]. Писано письмо 23 сентября (5 октября н. ст.), а 4 октября (16 октября н. ст.), значит, через 11 дней, оно уже было доставлено царю, прочитано им и передано для хранения Аракчееву. Было ли оно перехвачено? Сам ли Каткэрт передал его царю? Во всяком случае царь узнал, что прием Лористона есть «мера, преисполненная неблагопристойности и общественного вреда», и что Вильсон «в качестве генерала союзной державы» настоял на том, чтобы не сам фельдмаршал поехал на аванпосты к Лористону, а чтобы послал туда князя Волконского. Узнал Александр из этого письма и о том, что Кутузов-де в душе не питает таких враждебных чувств к Бонапарту, какие были бы Вильсону желательны, и что вообще его (Кутузова) «дряхлость всегда будет более или менее склонять его к желанию мира». Помогали Вильсону в его усилиях принц Ольденбургский и герцог Вюртембергский. Кутузов мог сколько угодно раздражаться наглым вмешательством всех этих иностранцев в дело, касавшееся мира или войны между Россией и Наполеоном, но поделать он тут ничего не мог.

Кутузов должен был принять Лористона если не в присутствии навязавшихся на это свидание Роберта Вильсона и герцога Вюртембергского, то все-таки так, чтобы Лористон, проходя в кабинет фельдмаршала, видел их обоих и с ними герцога Ольденбургского. Беседа Лористона с Кутузовым наедине продолжалась полчаса, после чего в кабинет позван был князь Волконский (отправившийся немедленно затем к Александру в Петербург). Когда Лористон уехал, фельдмаршал сообщил Вильсону содержание беседы. Лористон начал с жалоб на «варварские поступки крестьян с французами, попадающими в их руки». Фельдмаршал ответил: «Нельзя в три месяца сделать образованной целую нацию, которая, впрочем, если говорить правду, отплачивает французам той монетой, какой должно платить вторгнувшейся орде татар под командой Чингисхана». Лористон предлагал перемирие на основе какого-нибудь соглашения. Фельдмаршал ответил, что у него нет на это никаких полномочий. Лористон заявил затем, что Москву сожгли не французы.

Кутузов ответил, что он это знает, что это было сделано самими русскими, которые ценят Москву не менее всякого иного города в империи. Лористон сказал: «Вы не должны думать, что дела наши в отчаянном положении; армии наши почти равны. Вы ближе к своим подкреплениям и продовольствию, но и мы получаем подкрепления. Вы, может быть, получили неблагоприятные для нас известия из Испании?» На это фельдмаршал ответил, что он в самом деле слышал об этом от сэра Роберта Вильсона, который только что вышел из комнаты. Лористон сказал, что Вильсон имеет свои основания преувеличивать. Кутузов не согласился с этим. «В самом деле, мы имели неудачу, которой обязаны глупостям Мармона, и Мадрид временно занят англичанами, но дела наши скоро там поправятся, потому что туда идут уже большие корпуса войск». Когда Кутузов сказал Лористону, что русский народ смотрит на французов, как на татар, вторгшихся под начальством Чингисхана, а Лористон ответил: «Однако есть же некоторая разница», то фельдмаршал возразил, что русский народ никакой разницы не усматривает. С этим впечатлением и с сознанием полной бесплодности своей поездки Лористон и вернулся в Кремль к Наполеону.

Дезертирство из разноплеменной наполеоновской армии все усиливалось; особенно повальный характер оно имело в испанских полках, которые, ненавидя Наполеона лютой ненавистью, были принуждены идти с ним в Россию. Это были насильно завербованные испанцы из занятых французами частей Испании. На свое дезертирство они не могли не смотреть в подавляющем большинстве случаев как на свой долг перед далекой их родиной, истерзанной Наполеоном. Фуражировки не удавались французам. В одних местах фуражиров брали в плен казаки, мелькавшие днем и ночью около Тарутина и на московских дорогах; в других местах их избивали крестьяне, грабить которых они приходили, в третьих местах им удавалось запастись сеном, но лишь перебив или разогнав по лесам крестьян. Генерал барон Корф встретился на аванпостах с французским генералом Армандом. И встреча и разговор были «случайными». «Мы, право, очень устали от этой войны, дайте нам паспорт,— мы уйдем»,— сказал Арманд.— «...О, нет, генерал,— возразил Корф,— вы к нам пожаловали незваные, так и уходить вам нужно по французской манере, не откланиваясь».— «Но в самом деле,— продолжал Арманд,— не жалко ли, что две нации, уважающие одна другую, ведут истребительную войну? Мы принесем извинение в том, что были зачинщиками, и охотно согласимся помириться на прежних границах».— «Да,— сказал Корф,— мы верим, что вы научились в последнее время иметь к нам уважение, но могли бы вы и впредь, генерал, уважать нас, если бы мы вас допустили до того, чтобы уйти с оружием в руках?» Предложение

Арманда соответствовало, конечно, мысли Наполеона «помириться на прежних границах», но теперь после полного разорения колоссальных пространств России, после гибели городов и бесчисленных деревень, после уничтожения Москвы,— такое предложение звучало как новое оскорбление.

Как мы видели, Кутузов в самых первых своих словах, в самой первой передаче своей беседы с глазу на глаз с Лористоном решительно ничего не говорит о проклятиях потомства и пр., которые обрушатся на него, Кутузова, если он заключит перемирие. Все эти риторические украшения появились уже потом, на досуге. Но это ведь и не важно. Существенным было одно: Наполеон увидел, что и третья его попытка войти в переговоры с Александром явно осуждена на неудачу. Такие «случайные» встречи, как генерала Арманда с Корфом или Мюрата с Беннигсеном, а потом с Милорадовичем (6 октября), еще больше его в этом убеждали. «У нас народ страшен, он в ту же минуту убьет всякого, кто вздумает говорить о мирных предложениях»,— сказал Милорадович Мюрату.

И все-таки, предвидя, что скоро придется оставить Москву, Наполеону так хотелось подписать мир именно в Москве, сохраняя позу победителя, что он решил поторопить Александра с ответом: он знал, что Волконский сейчас же после свидания Лористона с Кутузовым повез рапорт об этом свидании от фельдмаршала к царю, а ответ все не приходил. 20 октября, т. е. через 15 дней после беседы Лористона с Кутузовым, к фельдмаршалу явился из французского лагеря полковник Бертэми с письмом от начальника императорского штаба маршала Бертье, князя Невшательского. Бертье спрашивал, получен ли ответ, и снова говорил о «восстановлении лучшего порядка», т. е. о мире. Кутузов ответил Бертье собственноручным письмом, в котором указывал на расстояния и трудности осеннего пути, задерживающие ответ Александра. Кутузов прибавил: «Трудно остановить народ, раздраженный всем, что он видел, народ, который уже триста лет не знал войны внутри государства, который готов, пожертвовать собой за отечество и не делает *различий* между тем, что принято и что не принято в *обыкновенных войнах*» [13].

Вильсон с большим озлоблением и нескрываемой тревогой отнесся к тому, что Кутузов опять вошел в сношения с французами и принял Бертэми. «Я знаю, что фельдмаршал не смеет, опасаясь жизнь свою подвергнуть опасности, начать какие-либо переговоры, и уверен, что император почел бы изменником всякого человека, который предложил бы ему о том; но впечатления от этих сношений вредны во внутренних, внешних, в политических и военных отношениях до такой степени, что от того могут произойти весьма важные бедствия, все сословия раздражены и

самые рассудительные больше всех встревожены»,— так писал Роберт Вильсон лорду Каткэрту вечером 20 октября из Тарусы. Вильсон ничуть не доверяет Кутузову, и он пишет с явной целью, чтобы Каткэрт довел об этом до сведения царя: что грозит революция и, кроме того, сепаратистское движение в земле Войска Донского. Вильсон, очевидно, проведал, что Наполеон в самом деле подумывал о сношениях с казаками. А главное — Кутузов не прочь от мира: «Нет сомнения, что фельдмаршал весьма расположен к ухаживанию за неприятелем, французские комплименты очень ему нравятся, и он уважает этих хищников, пришедших с тем, чтобы отторгнуть от России Польшу, произвести в самой России революцию и взбунтовать донцов как народ, к которому они имеют особое уважение и благорасположение которого желают снискать лаской». Вильсон заявляет, что хочет уехать из главной квартиры, «если фельдмаршал сохранит начальство над армией и если государь не запретит (Кутузову — *Е. Т.*) иметь такие личные сношения», настолько он, Вильсон, «раздражен таким поведением».

Все попытки Наполеона начать мирные переговоры на этом кончились. Александр ничего не ответил и на донесение Кутузова.

5

Выслушав отчет Лористона, Наполеон едва ли обманывался далее насчет возможности благоприятного результата переговоров. Уже то, что Кутузов не пустил Лористона в Петербург, не говоря уже о категорических заявлениях самого фельдмаршала, достаточно показывало, что с русской стороны нет и тени желания вступить в мирные переговоры, и все-таки Наполеон ждал и медлил. Собственно, в эти дни, от 6 октября, когда вернулся в Москву Лористон, до 14 октября, когда Наполеон уже начал делать распоряжения, ясно говорящие о близкой эвакуации, он уже вовсе не ждал ответа из Петербурга, да и не мог ответ прибыть раньше 18—19—20-го числа в самом лучшем случае. Состояние его было раздраженное. Целыми ночами он шагал по Кремлю, говорил о всевозможных новых планах и признавался графу Дарю в истинной причине своих колебаний. Как уйти? Как начать отступление ему, привыкшему только наступать и завоевывать? «Это покажется бегством! Это отзовется в Европе!» Стоит начать отступать, и подымутся со всех сторон опаснейшие войны. «Москва — это не военная позиция, это — политическая позиция». И, очевидно, вспомнив, как этот самый граф Дарю предупреждал его еще в Витебске, считая всю эту войну ненужной, Наполеон прибавил: «В политике никогда не нужно отступать, не нужно признаваться в ошибках, это лишает уважения».

Что вся эта война — сплошная ошибка, он теперь уже видел ясно. Он только не знал еще, до какой степени губительной оказалась эта ошибка для него и для его армии.

Дарю был того мнения, что нужно превратить Москву в укрепленный лагерь, зимовать здесь, подождать весной подхода подкреплений из Франции и Европы и возобновить тогда военные действия. Но маршалы были против этого плана. И Наполеон тоже. Он лучше Дарю учитывал, как опасно ему на шесть-семь месяцев «зарываться в русские снега», как шатко его держащееся исключительно насилием владычество над Европой. Итак, отступать, потому что ни мира в Москве не дождаться, ни зимовать в Москве нельзя. Еще ничего не говоря категорически, Наполеон начинает готовиться к выходу из Москвы.

14 октября Наполеон приказывает Бертье, чтобы тот повторил приказ императора: не пропускать дальше Смоленска ни одного французского артиллерийского парка, который откуда бы то ни было направлялся в распоряжение великой армии, и чтобы начиная с 17 октября ни один артиллерийский или кавалерийский отряд не направлялся в Москву, а оставался в Можайске, в Гжатске, в Вязьме (где застанет приказ). «Армия займет другое положение» [14]. С тех пор уже не прекращаются приказы, не менее многозначительные. Император приказывает эвакуировать раненых, кого возможно, из Московской области в Смоленск. Об этом он сообщает герцогу Бассано в Вильну 16 октября и ему же дает знать, что «возможно», что он расположится на зимние квартиры между Днепром и Двиной [15].

16 октября 1812 г. Наполеон писал Марии-Луизе из Москвы: «Если в эту зиму я не смогу вернуться в Париж, я приглашу тебя приехать повидаться со мной в Польшу».

Наполеон пытается испугать Александра перспективой новых больших подкреплений, которые должны со всех сторон спешить на усиление великой армии. 16 октября 1812 г. он пишет герцогу Бассано приказ: потребовать у прусского короля, у австрийского императора, у баварского короля, у вюртембергского короля присылки новых подкреплений, а также рекомендовать всем этим «союзным» монархам сообщать в их газетах удвоенные (против действительности) цифры этих новых подкреплений. Все это с целью показать, «какие большие возможности рекрутирования имеет император не только в своих владениях, но и у своих союзников» [16]. И в тот же день он приказывает, чтобы в Смоленск были отправлены быки, а главное — теплая одежда, так как наступают холода. «Прикажите, чтобы все другие дела были прерваны и чтобы все было направлено на доставление в Смоленск одежды» [17].

Но того же 16 октября Наполеон написал также и в Париж министру полиции герцогу Ровиго: «Вероятно, война затянется

на всю зиму, и только взятие Петербурга откроет глаза императору (Александру — *Е. Т.*). Москва уже не существует. Это в самом деле важная потеря для всей империи. Она по справедливости была центром и гордостью империи. Все офицеры русской армии, кажется, в отчаянии из-за московской катастрофы. Они приписывают ее сумасбродным и яростным страстям своего рода Марата, который был ее губернатором, Ростопчина. Я эвакуировал все мои госпитали, которые были тут в домах, посреди развалин. Я только укрепил Кремль, который теперь вне опасности неожиданных нападений. От двух до трех тысяч человек могут в нем продержаться некоторое время. Я тут поместил все мои боевые припасы и продовольствие». И тут Наполеон в первый раз говорит о выступлении из Москвы: «Я скоро двинусь, чтобы приготовить зимние квартиры и мои операции на будущий год... Все сообщения говорят, что пехота у неприятеля ничтожна. Меня уверяют, что нет и 15 тысяч старослуживых солдат. Второй и третий ряды состоят только из ратников милиции. Но неприятель усилил свою кавалерию. Он учетверил число своих казаков, страна наводнена ими, и это порождает для нас много мелких столкновений, очень тягостных». На этой фразе, много говорящей при всей ее нарочитой туманности, и кончается замечательное письмо Наполеона [18]. Тут уже, помимо намека на близкий уход из Москвы, есть признание о быстро возрастающей смелости казачьих нападений на эстафеты и транспорты, идущие в Москву.

У нас есть косвенное доказательство, что в эти дни, еще, например, 15 октября, т. е. перед Тарутинским боем, Наполеон не думал о таком уж скором уходе. В этот день он писал Марэ (герцогу Бассано): «До сих пор эстафеты счастливо доходили до меня, никакие инциденты не преграждали им путь. Однако трудно надеяться на продолжение этого счастья». А потому он требует, чтобы наиболее важные известия герцог Бассано посылал ему дважды и трижды. Ясно, что растянутая цепь наполеоновских сообщений все более и более оказывалась под угрозами русских казаков и партизан, но и распоряжение Наполеона о повторных отправлениях курьеров, а также содержащаяся в том же письме инструкция, как именно пересылать императору вырезки из газет, показывают, что он 15-го вовсе не помышлял еще, что уже 19 октября, через четыре дня, покинет навсегда русскую столицу [19].

Раненых, правда, уже несколько дней подряд эвакуировали из Москвы в Можайск, но нужен был какой-то окончательный толчок, чтобы покончить с последними колебаниями. Толчок воспоследовал. 18 октября 1812 г. Наполеон производил во дворе Кремля смотр дивизиям корпуса маршала Нея. Вдруг отдаленный грохот артиллерии поразил императора. Спустя короткое

время примчавшийся адъютант сообщил, что внезапно Кутузов вышел из Тарутина, напал на Мюрата и нанес ему поражение.

6

Гром пушек, донесшийся до Наполеона, в самом деле шел из расположения авангарда французской армии, стоявшего у речки Чернишны и находившегося под общим командованием короля неаполитанского Мюрата. Стоял этот авангард тут долго, с 24 сентября, в полном бездействии. Состоял он, в общем, из 20—22 тысяч человек. Кутузов его не трогал, со своей стороны Мюрат также не предпринимал никакого движения против Тарутина. Приезд Лористона был учтен как явный признак плохого положения французской армии. С этого момента Беннигсен, Ермолов, Багговут, Платов не переставали просить Кутузова дозволить им произвести нападение на Мюрата. Особенную энергию начали проявлять эти генералы после того, как генерал-квартирмейстер Толь произвел очень глубокую разведку и принес известие, что отряд Мюрата стоит очень беспечно, караульная служба никуда не годится, разведочная служба плоха, потому что лошади слабосильны — фуража не хватает. Кутузов не хотел сражения, даже второстепенного, но уступил, явно решив уже наперед не дать этой стычке развиться в большую битву. 16 октября Кутузов рассмотрел диспозицию, составленную Толем, и утвердил ее. Нападение на Мюрата было назначено на 17 октября, но Ермолова не могли разыскать, диспозицию ему не успели вовремя вручить, и на другой день, 17 октября, утром Кутузов никого на назначенных местах не нашел. Раздраженный вообще тем, что его заставляют делать ненужное, по его мнению, дело, Кутузов пришел в полное бешенство. Он разругал попавшихся ему двух офицеров последними словами. Один из них, подполковник Эйхен, оставил после этого кутузовскую армию, а другой, капитан Бродин, которого Кутузов назвал «только» канальей, остался. Ермолова Кутузов распорядился исключить со службы, но, когда гнев отошел, он отменил свое решение.

Это было, так сказать, прелюдией. На другой день, 18 октября, генерал Багговут атаковал левый фланг Мюрата, а Орлов-Денисов — правый. Общее руководство битвой взял на себя Беннигсен. Кутузов не показывался. Первый кавалерийский налет Орлова-Денисова был удачен: французы были опрокинуты, захвачены были орудия, но французы успели оправиться и встретили убийственным огнем два полка пеших егерей. При этом был убит и генерал Багговут, командовавший ими. Французы стали отступать, но в порядке. Беннигсен, полагая, что у него

под руками недостаточно войск, чтобы с надеждой на успех ударить на французов, попросил Кутузова дать ему помощь, но фельдмаршал отказал, и никакие просьбы Ермолова, Коновницына, Милорадовича не помогли. Мюрат отступал медленно и в порядке за речку Чернишну, к Спас-Купле, отстреливаясь от преследовавшего его Орлова-Денисова. Дело окончилось без какого-либо очень решительного результата, и все свелось к первоначальному успеху русских. Мюрат потерял $2^{1}/_{2}$ тысячи (по другим данным — около 3 тысяч), русские — около тысячи или 1200 человек. Конечно, победителями были русские: Мюрата все-таки вынудил отступить, и русские забрали 36 пушек, 50 зарядных ящиков и знамя. Клапаред и Латур-Мобур отогнали Платова, стремившегося отрезать отступление Мюрата на Спас-Куплю. Беннигсен потом ручался, что отряд Мюрата весь мог бы погибнуть, если бы по злостному капризу Кутузов не отказал дать подкрепление в нужный момент. Кутузов не только не дал, а даже приказал войскам отступить от Чернишны и вернуться на свои тарутинские позиции.

Беннигсен был вне себя от ярости. Почему Кутузов не помог, а позволил Мюрату отделаться очень легко и отойти в полном порядке? «Я не могу опомниться! Какие могли бы быть последствия этого прекрасного, блестящего дня, если бы я получил поддержку... Тут, на глазах всей армии, Кутузов запрещает отправить даже одного человека мне на помощь, это его слова. Генерал Милорадович, командовавший левым крылом, горел желанием приблизиться, чтобы помочь мне,— Кутузов ему запрещает... Можешь себе представить, на каком расстоянии от поля битвы находился наш старик! Его трусость уже превосходит позволительные для трусов размеры, он уже при Бородине дал наибольшее тому доказательство, поэтому он и покрыл себя презрением и стал смешным в глазах всей армии»,— так писал Беннигсен своей жене сейчас после Тарутина, 22 октября. Беннигсена возмутило не только нежелание Кутузова помочь в решительный момент, но и приказ фельдмаршала, чтобы Беннигсен немедленно после битвы отошел с войском на 12 верст назад, в исходную позицию. «Представляешь ли ты себе мое положение, что мне нужно с ним ссориться всякий раз, когда дело идет о том, чтобы сделать один шаг против неприятеля, и нужно выслушивать грубости от этого человека!» [20]

Кутузову, которого перед фронтом целовал Суворов, не приходилось оправдываться в «трусости». Он и вообще вовсе не думал оправдываться в своем поведении в день Тарутина. У него была своя твердая мысль, и ни с чем, кроме нее, он уже не считался.

Беннигсен был в негодовании, которое не слабело, а усиливалось с каждым днем: он ясно видел, что Кутузов умышлен-

но не помог ему и не позволил сделать Тарутинское сражение победой с серьезными результатами. Отношения между Беннигсеном и Кутузовым обострились до крайней степени. Беннигсен написал Кутузову после Тарутинской битвы: «Войска его императорского величества совершили сию победу с такой правильностью и порядком, какую можно видеть на одних только маневрах. Жаль, очень жаль, что ваша светлость слишком были далеко от места действия и не могли видеть вполне прелестной картины поражения»[21]. Кутузов учитывал эти выходки и не оставался в долгу. «Где этот дурак? Рыжий? Трус?» — кричал Кутузов, прикидываясь, будто забыл как нарочно нужную фамилию и силится вспомнить. Когда ему решились сказать, не Беннигсена ли он имеет в виду, фельдмаршал ответил: «Да, да, да!» Так было как раз в день Тарутинской битвы. Повторялась на глазах всей армии история Багратиона с Барклаем. Но Беннигсен по своей репутации, силе, способностям был гораздо слабее Багратиона, а Кутузов по всем своим ресурсам, по своему военному и моральному авторитету и популярности в широких массах русского народа был несравненно сильнее Барклая. Барклаю не под силу было бороться с оппозицией Багратиона, а Кутузов без особого труда покончил с Беннигсеном. Беннигсен известен был как бессовестнейший взяточник. В 1807 г. он в качестве главнокомандующего брал позорнейшим образом взятки с поставщиков, корыстно покровительствовал интендантским ворам и погубил русскую армию страшным поражением под Фридландом 14 июня 1807 г. Были слухи, что при нем солдаты в полном смысле слова умирали голодной смертью, а он, не имея раньше никакого состояния, стал богатейшим человеком, именно обворовав свою армию. При такой репутации не ему было тягаться с Кутузовым.

Беннигсен никак не мог справиться со своей яростной ненавистью к Кутузову. Он послал царю донос, превосходивший все, какие он до сих пор пересылал царю[22]. В армии говорили, будто Александр переслал этот донос фельдмаршалу. Так или иначе, результатом было то, что Кутузов приказал Беннигсену немедленно уехать из армии.

Сражение 18 октября, почему-то получившее название Тарутинского,— хотя село Тарутино оставалось далеко к югу от места боя,— кончившееся таким незначительным чисто военным результатом, имело большие политические и моральные последствия. В моральном отношении оно подняло дух русской армии: оно было *первым* чисто наступательным сражением за всю войну, притом успешным для русской стороны. В политическом отношении оно явилось последним, решающим толчком, заставившим Наполеона наконец выйти из Москвы.

Тарутинское дело было истолковано Наполеоном так: Кутузов чувствует себя достаточно сильным, и поэтому следует идти на юг раньше, чем русский главнокомандующий заградит туда дорогу.

Когда Наполеон тронулся из Москвы, у него было немного менее 110 тысяч человек. У Кутузова в Тарутине и возле Тарутина было в тот момент 97 112 человек. Артиллерия Наполеона значительно уменьшилась сравнительно с тем, что у него было еще под Бородином; много орудий пришлось побросать по дороге из-за невозможности тащить их: ведь даже у кавалерии лошадей не хватало, и целые кавалерийские части давно уже спешились. У Кутузова же в это время было 622 орудия. Наполеон не знал в точности сил своего противника, когда выступал из Москвы, но он был полон уверенности, что в случае столкновения в открытом поле перевес еще будет на его стороне.

Чтобы спасти престиж, Наполеон сначала задумал было оставить в Москве гарнизон в 8 тысяч человек и даже назначил генерала Мортье начальником этого гарнизона. В отместку Александру за то, что тот не ответил на три мирных предложения, Наполеон решил, уходя, взорвать Кремль. Мортье рассуждать не привык. Немедленно он приказал хватать оставшихся в Москве русских и в спешном порядке с помощью этой рабочей силы минировать Кремль с дворцами, с Иваном Великим, храмами и пр. Подкопы эти деятельно производились трое суток. Русских, отказавшихся рыть подкопы под Кремль, жестоко били.

В ночь на 19-е началось выступление французской армии из Москвы. Тянулись не только 100 тысяч войска (гарнизон Мортье в 8 тысяч человек остался 19-го в городе), но бесконечные фуры, телеги, переполненные доверху возы награбленного и увозимого из Москвы добра, шли пешком и ехали в экипажах тысячи всякого люда — иностранцы с женами и детьми, оставшиеся при вступлении французов и теперь уходившие, опасаясь мести со стороны русских.

Обоз был так огромен, армия растянулась в такую бесконечную линию, что Наполеон, пропуская мимо себя свою армию, тут же высказал мнение, что такое движение опаснее всего, но он еще не решился приказать бросить награбленную добычу, это он приказал сделать впоследствии.

Император шел на Калугу и вел армию прямо на Красную Пахру, подбирая по пути остатки отряда Мюрата. С дороги он послал приказ Мортье тотчас после взрыва Кремля выйти из Москвы и присоединиться к армии. Это оставление Мортье в

Москве на два дня явно имело целью замаскировать, хотя бы на первый момент, в глазах своей армии истинный смысл ухода из Москвы и сохранить, несмотря ни на что, позу победителя.

Так нужно было сделать и для Европы.

Давно уже Наполеон перестал писать жене о Москве. Он больше всего интересуется в письмах своим маленьким сыном, хвалит прекрасную солнечную погоду, делает распоряжения о награждении автора понравившейся императрице новой оперы, пишет о панораме, которую показывали в Париже, и т. д. «Мой добрый друг Луиза... Я очень рад, что ты довольна панорамой Антверпена. Было бы хорошо сделать панораму пожара Москвы... Пиши часто своему отцу, рекомендуй ему усилить корпус Шварценберга...» Император не очень уже доверял военному усердию своего подневольного австрийского союзника.

Еще раз он возвращается к пожару Москвы в тот самый день, когда решает окончательно выйти из города: 18 октября 1812 г. он говорит о безумии русских, которые «на столетия» разорили свою столицу: «Москва была городом тем более прекрасным и тем более удивительным, что она была почти единственным городом такой величины во всей этой огромной стране». В 7 часов утра 19 октября Наполеон покинул Москву вслед за армией. «Мой друг, я в дороге, чтобы занять зимние квартиры. Погода великолепна, но она не может длиться. Москва вся сожжена, и так как она не есть военная позиция, нужная для моих конечных целей, то я ее покидаю и уведу гарнизон, который я тут оставил. Мое здоровье хорошо, мои дела идут хорошо». Тут же он небрежно поминает о Тарутине: «Была стычка с казаками» [23].

Как только император и армия вышли из Москвы, последовали подготовленные взрывы.

19 октября был взорван винный двор и сгорел уцелевший до тех пор Симонов монастырь. Во французской армии заметно было какое-то непонятное сначала посторонним людям движение. Всю ночь двигались обозы, груженые фуры, непрерывно проходили все в одном направлении войска. Движение продолжалось и усиливалось 20 и 21 октября.

21 октября начались кремлевские взрывы, от которых в Москве затряслась земля. Взлетели на воздух здание Арсенала, часть кремлевской стены, начались пожары в Грановитой палате, в соборах, разрушены были частично Никольская башня и башни, выходящие в сторону реки, загорелись было соборы. Взрывы были такой страшной силы, что рушились стены построек не только в ограде Кремля, но и за Кремлем. К счастью, дождь подмочил фитили, и взрывы не принесли всего того вре-

да, на какой рассчитывал Наполеон. Иван Великий уцелел случайно: подмокли фитили в заложенной мине.

Кремль и площадь возле Кремля после каждого взрыва долго оглашались воплями и стонами израненных, полузадавленных, насмерть перепуганных людей.

Наполеоновская армия покидала московское пожарище. Ночью с 22 на 23-е раздались внезапно один за другим новые оглушительные взрывы. Население было в полной панике. Эти взрывы были так сильны, что в Китай-городе обвалились некоторые здания и даже на далеком расстоянии не только выбило в окнах стекла, но рушились и рамы [24].

Последний (пятый) взрыв кремлевских стен, взорванных в пяти местах, произошел на рассвете 23-го, и спустя несколько часов последние отряды маршала Мортье оставили город. Безначалие и усиленные грабежи происходили в Москве после ухода армии еще несколько часов [25].

«Я покинул Москву, приказав взорвать Кремль. Мне нужно было 20 тысяч человек, чтобы сохранить этот город. Будучи разрушенным, он только стеснял мои операции»,— писал Наполеон жене из села Фоминского, куда пришел 22 октября.

Взрывы не были слышны в далеком русском лагере, но их слышали казачьи разъезды, давно уже украдкой рыскавшие вокруг Москвы.

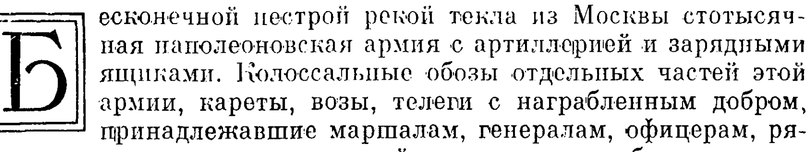
22 октября прапорщик языков с казачьим отрядом пробирался близ Москвы с целями разведки. Вдруг они услышали страшный грохот и треск, донесшийся из города. Языков решился на очень рискованный поступок: проникнуть в город насколько будет возможно, чтобы узнать о причине.

Маленький отряд въехал в Москву. Мертвое молчание поразило их. Не видя французов и ни души на улицах, они постепенно продвинулись к самому Кремлю, и тут они первые в России узнали потрясающую новость: Наполеон ушел.

Глава IX

ОТСТУПЛЕНИЕ ВЕЛИКОЙ АРМИИ. МАЛОЯРОСЛАВЕЦ И НАЧАЛО ПАРТИЗАНСКОЙ ВОЙНЫ

1



Бесконечной пестрой рекой текла из Москвы стотысячная наполеоновская армия с артиллерией и зарядными ящиками. Колоссальные обозы отдельных частей этой армии, кареты, возы, телеги с награбленным добром, принадлежавшие маршалам, генералам, офицерам, рядовым солдатам, и снова армейские казенные обозы и снова артиллерийские парки длинной лентой растянулись по дороге.

Когда после взрыва Кремля и поджога еще нескольких уцелевших зданий французские войска выходили из Москвы, — на шесть миль вокруг города «все горело, земля и небо казались в огне», — говорит участник похода французский провиантмейстер Пюибюск. Яркий, непрерывный, необъятный пожар несколько ночей подряд освещал дорогу наполеоновской армии. Зарево было и позади, и впереди, и по обеим сторонам большой Калужской дороги. Солдатам все время казалось, что горящее красное небо начинает опускаться на пламенеющие поля, леса, деревни, далекие церковные колокольни.

Знали, что Наполеон недоволен тем, что армия увозит с собой такое огромное количество дорогих, но ненужных для похода ценностей, и поэтому старались прикрыть ковры, драгоценные ткани, золотые и серебряные вещи корзинами, тюками с хлебом, мукой, отрубями и т. д. Но как раз этого рода предметы были крайней редкостью. Наполеон угадывал, конечно, эту маскировку, но он не решился тогда приказать бросить награбленные ценности тут же, в Москве, и лишить полуголодных солдат утешительного сознания, что они хоть со временем чем-либо вознаградят себя за все свои страдания. Они тогда еще не знали, что большинству из них придется оставить в России не только московскую добычу, но и свою жизнь. Наполеон шел на Калугу с тем, чтобы оттуда повернуть на Смоленск. Почему

Смоленск был для него таким обязательным этапом? Почему он решил не идти в южные, богатые губернии России?

Клаузевиц первый из военных писателей указал на полную неосновательность широко распространенного мнения, будто Наполеон сделал ошибку, отступая от Москвы на Смоленск, вместо того чтобы идти южными губерниями, обильными и уцелевшими. Клаузевиц просто отказывается понимать тех, кто это говорит. «Откуда мог он (Наполеон — *Е. Т.*) довольствовать армию помимо заготовленных складов? Что могла дать «неистощенная местность» армии, которая не могла терять времени и была вынуждена постоянно располагаться бивуаками в крупных массах? Какой продовольственный комиссар согласился бы ехать впереди этой армии, чтобы реквизировать продовольствие, и какое русское учреждение стало бы исполнять его распоряжения? Ведь уже через неделю вся армия умирала бы с голоду».

У Наполеона по смоленско-минско-виленской дороге были гарнизоны, были продовольственные склады и запасы, эта дорога была подготовленной, а на всем юге России у него ровно ничего приготовлено не было. Как бы ни были эти места «богаты», «хлебородны» и пр., все равно невозможно было организовать немедленно продовольствие для 100 тысяч человек, быстро двигающихся компактной массой в течение нескольких недель подряд. «Отступающий в неприятельской стране, как общее правило, нуждается в заранее подготовленной дороге... Под «подготовленной дорогой» мы разумеем дорогу, которая обеспечена соответствующими гарнизонами и на которой устроены необходимые армии магазины». Клаузевиц тут лишний раз обнаруживает строгий реализм своего мышления. Никто не умел так вскрывать пустоту общепринятых шаблонов, как этот крупнейший из военных мыслителей начала XIX в. Южные губернии могли быть в десять раз богаче Смоленска, но в Смоленске у Наполеона были готовые запасы, а на юге у него ровно ничего не было. И это решило дело.

Но, выходя из Москвы, Наполеон твердо решил идти на Смоленск не старой дорогой, а новой, через Калугу, потому что до Смоленска у него никаких складов все равно не было и этот старый тракт Москва — Смоленск был разорен дотла. При выборе же между двумя дорогами, где у него одинаково не было складов, но из которых на одной (Москва — Калуга — Смоленск) еще были «нетронутые деревни» (выражение маршала Даву), а другая была сплошной выжженной пустыней, Наполеон, конечно, остановился на Калужской дороге. «Идем в Калугу! И горе тем, кто станет на моем пути!» — таковы были его слова, когда 19 октября он выводил свою армию из Москвы.

Это обстоятельство подчеркивает значение проведенного

Кутузовым знаменитого марш-маневра на Тарутино: без этого маневра Кутузову было бы потом немыслимо поставить перед Наполеоном непреодолимый заслон южнее Малоярославца, заградивший французам путь в Калугу.

С момента получения известия, что Наполеон вышел из Москвы, Кутузов считал (и говорил), что Россия спасена. Его армия увеличивалась рекрутскими наборами, подходом подкреплений — и уже в середине октября была равна 85 тысячам человек, не считая казаков. Армия Наполеона пополнений имела гораздо меньше (хотя тоже имела их).

Фуража у русской конницы было довольно, французская конница же страшно сокращалась, лошади падали тысячами, французские фуражиры не только не могли достать сена или овса, но их самих ловили и избивали крестьяне. Кутузов с момента выхода Наполеона из Москвы не сомневался, что французы уйдут из России и что это произойдет даже и в том случае, если больше не будет ни одной стычки с французами, а потому и не нужно никаких стычек.

И вся остальная история войны — это безуспешная борьба Александра против кутузовской стратегии и тактики, борьба в которой притом почти весь штаб Кутузова был на стороне царя.

Забегая несколько вперед, остановимся на этом разногласии, как оно выявлялось вплоть до конца войны.

Против Кутузова были царь и Вильсон, т. е. царь и Англия, а за царем был почти весь кутузовский штаб; за Вильсоном и Англией была вся покоренная Наполеоном и жаждущая освобождения Европа.

Нам нужно в точности знать позицию обеих этих спорящих сторон, раньше чем мы обратимся к событиям, окончившим трагедию 1812 г. Именно события под Малоярославцем и выявили окончательно всю непримиримость Кутузова с точкой зрения царя и Вильсона.

Александр очень отрицательно отнесся к оставлению Москвы русской армией и корил этим Кутузова, писал ему холодные письма.

14 октября царь опять укорял фельдмаршала в бездействии, в том, что армия Наполеона еще в Москве, а Кутузов не делает никаких попыток ее тревожить, между тем Наполеон может грозить теперь и Петербургу: «На вашей ответственности останется, если неприятель в состоянии будет отрядить значительный корпус на Петербург для угрожения сей столице, в которой не могло остаться много войска, ибо с вверенной вам армией, действуя с решимостью и деятельностью, вы имеете все средства отвратить сие новое несчастие. Вспомните, что вы еще обязаны ответом оскорбленному отечеству в потере Москвы». Через неделю, 21 октября, курьер вновь мчится к Кутузову с укориз-

нами. Царь очень недоволен свиданием Кутузова с Лористоном и напоминает, что *никакие* предложения неприятеля не побудят его, Александра, «прервать брань и тем ослабить священную обязанность отомстить за оскорбленное отечество». Всегдашнее нерасположение царя к Кутузову быстро возрастает и начинает переходить в нечто, очень похожее на ненависть. Он резко обвиняет старого фельдмаршала в бездействии, упущениях, грубых ошибках. «С крайним сетованием,— пишет он (11 ноября),— вижу я, что надежда изгладить общую скорбь о потере Москвы пресечением врагу возвратного пути совершенно исчезла. Непонятное бездействие ваше после счастливого сражения перед Тарутином, чем упущены те выгоды, кои оно предвещало, и ненужное и пагубное отступление ваше после сражения под Малым Ярославцем до Гончарова уничтожили все преимущества положения вашего, ибо вы имели всю удобность ускорить неприятеля в его отступлении под Вязьмой и тем отрезать, по крайней мере, путь трем корпусам: Даву, Нея и вице-короля, сражавшихся под сим городом». Царь негодует дальше на то, что Кутузов, имея превосходную легкую кавалерию, плохо осведомлен о движениях Наполеона. Александр чует умысел в этой медлительности и апатии Кутузова. Кутузов не хочет догнать Наполеона и сразиться с ним, оттого он и толкует о «золотом мосте», который построил бы для неприятеля. Реально же случится то, что уходящий свободно и не преследуемый сколько-нибудь энергично Кутузовым Наполеон ударит на ждущих его впереди Чичагова и Витгенштейна, разобьет их и уйдет: «Ныне сими опущениями вы подвергли корпус графа Витгенштейна очевидной опасности, ибо Наполеон, оставя пред вами вышеупомянутые три корпуса, которые единственно вы преследуете, будет в возможности с гвардией своей усилить бывший корпус Сен-Сира и напасть превосходными силами на графа Витгенштейна». Для Кутузова уход Наполеона из России есть счастье, сравнительно с которым он, вероятно, считал неважным, поколотит ли попутно Наполеон Витгенштейна, или не поколотит, а для Александра 1812 год только тогда мог стать *концом*, а не началом дела, если бы сам Наполеон попал в плен. И поэтому он кончает письмо так: «Обращая все ваше внимание на сие столь справедливое опасение, я поминаю вам, что все несчастья, от сего проистечь могущие, останутся на личной вашей ответственности». Этим с точки зрения Александра несчастием, происшедшим оттого, что Наполеон ушел из России, оказались впоследствии и весь 1813 г., более кровавый, чем 1812, и 1814, и 1815 гг., а Кутузову, и не помышлявшему об «освобождении Европы», потому что он считал это делом самой Европы, было вовсе не нужно окружать и ловить Наполеона. Кутузов не хотел даже близкого соприкосновения с арьергардом отступавшего французского императора. Не хотел,

конечно, не из «трусости», а вследствие ненужности новых боев с его глубоко продуманной точки зрения. И Александр, хитрый, недоверчивый, ненавидящий Кутузова человек, издали, из Зимнего дворца, подозревал, что Кутузов лукавит, что он *не хочет* ловить Наполеона, что он хочет «портить» и «испортит» все, на что царь так надеялся, что он хочет подвести Чичагова и Витгенштейна под удар, под сражение с Наполеоном и не подаст им помощи в этом будущем роковом столкновении. Он писал резкие письма, угрожал главнокомандующему личной его ответственностью... Не помогло ничего. Когда ударил решительный час, когда очередной акт великой всемирно-исторической драмы начал разыгрываться на берегах Березины, Кутузов поступил именно так, как того боялся Александр, но как он сам считал нужным и целесообразным.

Одной из иллюстраций стратегической мысли Кутузова и явилось его поведение под Малоярославцем.

2

22 октября в Тарутине, в главной квартире Кутузова, было получено в 11 часов вечера известие с примчавшимся верховым от Дохтурова, что Наполеон идет на Малоярославец, но Кутузов медлил явиться на помощь Дохтурову, за что его резко упрекали впоследствии некоторые военные критики, бывшие вместе с тем участниками битвы под Малоярославцем. «Каким же образом армия из Тарутина, где было получено положительное известие 10-го (22-го) числа в 11 часов вечера о том, что Наполеон со всей армией идет на Малоярославец, явилась к угрожаемому пункту, долженствовавшему дать совершенно иной оборот войне, только через 38 часов, когда нужно было перейти только 28 верст?» — спрашивает один из очевидцев и участников боя [1]. Но Кутузов не хотел сражений, не хотел нового Бородина, считая его ненужным и при *всех* условиях вредным. Он уже в Тарутине хотел строить «золотой мост» Наполеону, не тратя напрасно людей. Кутузов знал, что своим фланговым «параллельным маршем» он вернее истребит живую силу противника. И ни Беннигсен при Тарутине, ни Дохтуров у Малоярославца, ни Вильсон в его собственной ставке, ни Александр из Петербурга — никто не мог сдвинуть его с этой позиции.

Под Малоярославцем Кутузов вел ту же тактику, как за шесть дней до того под Тарутином. Конечно, он знал, что пустить Наполеона в Калугу нельзя — и не потому даже, что он пойдет «южными губерниями»: более чем вероятно, что Кутузов не хуже Клаузевица и самого Наполеона понимал, что в конечном счете едва ли французская армия могла вовсе отказаться от «подготовленной» дороги и от смоленских продовольственных запасов. Но, овладев Калугой и забрав все, что там было

заготовлено для русской армии, Наполеон, как уже было нами сказано, в гораздо лучших условиях мог бы достигнуть Смоленска, и дорога Калуга — Смоленск несравненно лучше сохранила бы французское войско, чем дорога Москва — Смоленск.

Дохтуров по приказу Кутузова от 22 октября должен был идти к селу Фоминскому и напасть на французский отряд, который, по показаниям лазутчиков, был численностью в 10 тысяч человек. Но уже по пути туда Дохтуров, как сказано выше, узнал новые поразительные вести: во-первых, в Фоминском и около Фоминского не 10 тысяч, а громадное войско, едва ли не вся французская армия с Наполеоном во главе; во-вторых, французы уже заняли Боровск, т. е. город гораздо южнее Фоминского и уже по прямой дороге на Калугу. Значит, нужно было как можно поспешней, бросив направление на Фоминское, круто повернуть к югу и даже не на Боровск уже, а южнее Боровска и спешить к г. Малоярославцу, который находится между Боровском и Калугой; если провести прямую линию между Боровском и Калугой, то Малоярославец окажется приблизительно на одной трети этой линии к югу от Боровска и в двух с лишком третях этой линии к северу от Калуги. Ясно было, что нужно спешить к Малоярославцу наперерез Наполеону, пока он еще туда идет из Боровска. Но Дохтуров боялся Кутузова и послал к фельдмаршалу нарочного с этими новыми известиями и с просьбой о дозволении идти к Малоярославцу. Пока нарочный мчался к главнокомандующему и обратно, было упущено много времени. Шли всю ночь с малым роздыхом, но когда в четыре часа утра 23 октября русские егеря подошли к городу, к нему уже приближалась и сейчас же выбила егерей из предместья вся армия Наполеона. Восемь раз в этот день Малоярославец при неумолкавшей канонаде с двух сторон переходил из рук в руки. То русские французов, то французы русских штыковым боем выбивали из позиций и гнали из города. Дохтуров уже еле держался, когда в два часа к нему на помощь подошел Раевский со своим корпусом, а в четыре часа дня сам Кутузов со всей русской армией. Кутузов обошел город и занял позицию на дороге из Малоярославца в Калугу. Наступал вечер, французы, овладев при восьмом штурме городом, ждали генеральной битвы. Канонада умолкла. Город горел, оттуда неслись крики раненых, не успевших уползти от горевших зданий и с улиц, куда валились обломки пылавших домов и церквей. Французы не могли им помочь: город пылал так, что приблизиться к его центру и к некоторым окраинам нельзя было никоим образом.

Всю эту страшную ночь, глядя на зарево горевшего города, слушая вопли, оттуда несущиеся, крики французской армии и кое-где внезапно начинавшуюся и обрывавшуюся ружейную пальбу, русская армия ждала на другой день нового Бородина,

потому что присутствие здесь, в Малоярославце и около него, всей великой армии и самого Наполеона уже стало несомненным фактом. И вдруг рано утром последовал приказ фельдмаршала отступить от Малоярославца.

Чтобы дать этот приказ, Кутузову нужно было быть готовым выдержать ту молчаливую оппозицию, то плохо скрываемое раздражение и злобу в штабе и откровенные дерзости со стороны Роберта Вильсона и Беннигсена, наконец, те очередные презрительно сдержанные распекания из Петербурга от царя, с которыми ему приходилось сталкиваться все время. И он на это пошел. «Офицеры и войска вашего величества сражаются со всевозможной неустрашимостью, но я считаю своим долгом с прискорбием объявить, что они достойны иметь и имеют нужду в более искусном предводителе»,— вот в каких выражениях известил Роберт Вильсон царя о битве под Малоярославцем. Кутузов же, отступая, все-таки загородил Наполеону дорогу на Калугу. Собирался ли он дать битву, если бы Наполеон все-таки решил прорваться в Калугу, мы не знаем. Наполеон не решился, но с точки зрения людей кутузовского штаба, во главе которых стояли Вильсон, Беннигсен, Евгений Вюртембергский, Кутузов совершил новое преступление, отказавшись от мысли выбить Наполеона из Малоярославца и дать ему генеральную битву.

Уже совершенно точно в этот момент обозначилось, куда ведет свою линию Кутузов и в чем эта линия решительно отклоняется от линии Вильсона. Тут, в 3 верстах от Малоярославца, 25 октября, сидя в штабе отступившей русской армии, Вильсон в письме к Александру совершенно ясно и четко сформулировал две несогласные и непримиримые точки зрения: точку зрения исключительно русских интересов, представляемую фельдмаршалом, и точку зрения всего конгломерата боявшихся и ненавидящих Наполеона европейских стран во главе с Англией: «Лета фельдмаршала и физическая дряхлость могут несколько послужить ему в извинение, и потому можно сожалеть о той слабости, которая заставляет его говорить, что *«он не имеет иного желания, как только того, чтобы неприятель оставил Россию», когда от него зависит избавление целого света.* Но такая физическая и моральная слабость делают его неспособным к занимаемому им месту, отнимая должное уважение к начальству, и предвещают несчастье в то время, когда вся надежда и пламенная уверенность в успехе должны брать верх».

Кутузов вовсе не был полководцем без перспектив. Нет, но его перспективы были пошире, чем у его критиков.

Для Вильсона, т. е. для Англии, личная гибель Наполеона или его плен, после чего можно было надеяться на падение его империи,— только это и было единственно важным моментом. Для Кутузова же единственно важным было освободить Россию,

принеся наименьший ущерб русской армии. Он, конечно, был и умнее, и хитрее, и тоньше, и глубже злобствующего против него, поносившего его, доносившего на него Роберта Вильсона. И Кутузов отлично знал это и понимал, что́ такое в устах Вильсона «избавление целого света». Под Малоярославцем должна была, с точки зрения Вильсона, состояться новая попытка «избавления» лондонского купечества, ливерпульских судовладельцев, манчестерских ситценабивников от континентальной блокады, а Кутузов этим не интересовался, и одноглазый фельдмаршал опять обманул все вильсоновские ожидания.

Была непроходимая пропасть между тем, как смотрел на войну 1812 г. Кутузов и как смотрели на нее иностранцы, прежде всего англичане. «Несчастное отступление от нашей позиции выше Малоярославца... избавило неприятеля от неизбежной погибели и лишило Россию славы, а Европу выгоды кончить революционную войну,— пишет 31 октября Роберт Вильсон из села Спасского (т. е. из армии Кутузова) в Петербург британскому послу лорду Каткэрту,—...вся кровь, там пролитая, все затруднения, которые Россия впредь может испытать, падут на голову фельдмаршала Кутузова» [2]. Между тем, по словам того же Вильсона, советы Беннигсена, которым фельдмаршал не следует, «могли бы спасти вселенную»!

Кутузов думал о спасении России и вместе с тем отлично знал (и высказал это однажды в глаза Вильсону), что англичане заботятся вовсе не о «вселенной», а только и исключительно об Англии и об избавлении ее от континентальной блокады. И больше всего раздражало Вильсона, вероятно, именно то, что он знал, как верно «хитрая старая русская лиса» его понимает. Для Каткэрта было понятно, почему под Малоярославцем ведется «революционная война», и его корреспондент Вильсон не считает поэтому нужным даже и пояснить эти странные слова в своем письме. Наполеон, этот душитель революции, для них обоих был олицетворением выступившей на гребне революции французской крупной буржуазии, которая вот уже 20 лет почти, с 1793 г., воюет против Англии сначала в западной Германии, потом в Бельгии, потом в Голландии, потом в Италии, потом в Египте, потом в Сирии, потом в Австрии, потом снова в Германии, в Польше, в Испании, в Португалии, снова в Австрии и вот наконец в России. Это — революционная и послереволюционная французская промышленность и торговля, которая 20 лет подряд борется огнем и мечом против Лондона, Манчестера, Бирмингэма, Ливерпуля. Если бы спросить в марте, апреле, мае 1799 г. осажденного в жгучих песках Сирии, в турецкой крепости Акре, сэра Сиднея Смита, кто этот издали видный иногда с гласисов крепости человек в треуголке, кто это осаждает турок,— Сидней Смит, военный советник турецкого паши и душа

обороны Акры, ответил бы не колеблясь: «Французская революция», которая, если победит, собирается нагрянуть на Индию. Точно так же и сэр Роберт Вильсон на вопрос, кого это дряхлый Кутузов выпустил из рук под Малоярославцем, без колебаний пишет Каткэрту: «Французскую революцию», предводимую все тем же человеком в треуголке, который снова собирался, как 13 лет назад в Сирии, в случае победы идти на ту же Индию. В Англии ведь, раньше чем где-либо, узнали, о чем говорил Наполеон с графом Нарбонном перед переходом через Неман!

Вот почему Вильсон с Каткэртом горевали так о «вселенной», к спасению которой фельдмаршал оказался так равнодушен под Малоярославцем. «Поведение фельдмаршала приводит меня в бешенство»,— не перестает утверждать Вильсон [3]. Отчего бы не устроить под Малоярославцем нового Бородина? Отчего бы не уложить еще 60 тысяч человек?

Кутузову не в первый раз приходилось в 1812 г. наблюдать, с какой широкой щедростью иностранные союзники относятся к крови русских солдат. Он мог припомнить, например, любопытное письмо, которым удостоил его в ноябре 1805 г. австрийский император Франц. Дело было уже после того, как Наполеон разгромил одну австрийскую армию и готовился разгромить другую. Кутузов, выставляя обреченные на гибель заслоны, поспешно уходил к Ольмюцу, и плен, позор, разгром гнались за ним по пятам; у Наполеона было в три раза больше сил. И вот император Франц писал Кутузову: «Если бы непреодолимые силы заставили вас все-таки отступить, то вы должны отступать лишь шаг за шагом именно на Кремс... *где вы должны защищать, чего бы это вам ни стоило (Е. Т.)*, постройку нового моста, что потребует нескольких недель». Чего бы это ни стоило! Это стоило бы всего-навсего жизни 35 тысячам русских солдат, которые притом погибли бы даже не через «несколько недель», как полагали Франц и его придворный военный совет, а через несколько дней [4]. Но император Франц уже наперед мужественно махнул рукой на эту жертву: людей в России достаточно! Кутузов и тогда, в 1805 г., не обратил ни малейшего внимания на письмо Франца I, хотя ничем не обнаружил непочтительности к австрийскому союзнику, и теперь, в 1812 г., и не думал следовать настойчивым советам Роберта Вильсона. От слова не станется. Кутузов редко противоречил на словах, но еще реже повиновался на деле чужим советам и горячим убеждениям.

25 октября на рассвете Кутузов приказал русской армии отступить от Малоярославца к югу на $2^1/_2$ версты. Авангард Милорадовича отошел от города на самое ничтожное расстояние. Наполеон видел, что ему предстоит, если он по-прежнему намерен прорваться к Калуге, принять генеральный бой, не меньший по размерам, чем Бородино.

И он не решился.

В первый раз в своей жизни Наполеон отступил от ждавшей его генеральной битвы. В первый раз за эту кровавую русскую кампанию он повернулся спиной к русской армии, решился перейти из позиции преследующего в позицию преследуемого. Истинное отступление великой армии началось не 19 октября, когда Наполеон вывел ее из Москвы и повел на Калугу, а вечером 24 октября, когда он решил отказаться от Калуги и отступить назад, к Боровску.

Одну подробность мы должны при этом отметить.

В другом месте этой работы я приводил свидетельство о тамбовских крестьянах, плясавших от радости, что их забирают в солдаты и посылают сражаться с ненавистным вторгнувшимся врагом, а вот нелицеприятное показание маршала Бессьера о том, как эти взятые вчера от сохи новобранцы сражались против наполеоновской армии; это мнение он высказал именно тут, на военном совете, вечером в избе, откуда виден был горевший еще Малоярославец и где Наполеон молча выслушивал мнения собранных им маршалов. Бессьер настаивал на невозможности атаковать Кутузова в занятой им позиции: «И какая позиция? Только что мы узнали ее силу. И против каких врагов? Разве мы не видели вчерашнего поля битвы, разве не заметили, *с какой яростью русские рекруты, еле вооруженные, едва одетые, шли там на смерть!»* Бессьер решительно советовал отступить, не принимать боя со всей армией Кутузова, загородившей путь от Малоярославца к Калуге.

Наполеон последовал его совету.

25 октября на рассвете император поехал верхом к Малоярославцу. С ним была небольшая свита: маршал Бертье, генерал Рапп, несколько офицеров. Вдруг показался, летя в карьер прямо на Наполеона и его свиту, отряд казаков с копьями наперевес. С криком «ура!» они налетели на эту кучку всадников. Эти их крики и спасли Наполеона от неминуемой смерти или плена: его свита сначала издали не разглядела, кто это мчится на них, и приняла казаков за эскадрон французской кавалерии, и только крик казаков вывел ее из заблуждения. Человек 25 офицеров свиты сгрудились вокруг императора. Один казак налетел уже на Раппа и с размаху пронзил копьем лошадь генерала, но тут подоспели два французских эскадрона, и казаки повернули обратно, бросились на часть французского лагеря, а затем, увлекая за собой нескольких лошадей французской артиллерии, скрылись в лесу.

Наполеон казался вполне спокойным перед случайно избегнутой страшной опасностью. Он проехал в Малоярославец. Город был в развалинах, на улицах валялись обуглившиеся трупы нескольких тысяч людей. Это были жители Малоярославца, рус-

ские и французские раненые, живьем сгоревшие накануне при общем пожаре города. Малоярославец все еще горел в разных местах. Наполеон повернул из города в лагерь. Французской армии было велено сворачивать обратно на старую Калужскую дорогу, откуда она только что пришла. Вечером Наполеон призвал доктора Ювана и приказал ему изготовить и вручить немедленно ему, императору, флакон с ядом. Налет казаков был учтен Наполеоном. С этого момента император не расставался с флаконом: попасть в плен живым отныне уже более не грозило ему.

3

Наполеон отступал от Малоярославца на Боровск, Верею, Можайск. На этот раз он приказывал забирать у населения решительно все, что может пригодиться в походе, и беспощадно сжигать города, села и деревни, через которые будет отступать его армия. Правда, после первого прохождения по этим местам русской и следовавшей за ней наполеоновской армии сжигать там осталось очень мало, хотя, например, Боровск оказался уцелевшим. После того как Наполеон вышел из этого города в Верею, Боровск был сожжен до основания. Та же участь постигла Верею, где Наполеон имел лишь краткую стоянку. Тут, в Верее, он соединился с вышедшим из Москвы маршалом Мортье. Мортье привел с собой 8 тысяч солдат, из которых всего 2 тысячи сидели на лошадях, хотя почти весь этот отряд состоял из кавалеристов.

Тут, в Верее, Мортье доложил Наполеону, что перед уходом французов из Москвы его отряд захватил в плен генерала Винценгероде и состоявшего при нем ротмистра Нарышкина, которые отважились проникнуть в Москву будто бы в качестве парламентеров. Узнав о пленении Винценгероде, немца, перешедшего на русскую службу, Наполеон пришел в ярость. Именно иностранцам, англичанам и немцам, окружавшим Александра и Кутузова, он и приписывал злостное влияние, препятствующее заключению мира между ним и царем.

Наполеон приказал привести к себе обоих пленников, Винценгероде и Нарышкина. «Тогда-то,— пишет Нарышкин,— началась ужаснейшая сцена, какую самые старые французские офицеры не помнили, чтобы Наполеон когда-либо кому делал...» «Вы служите русскому императору?»— «Да, государь»,— отвечал Винценгероде.— «А кто вам позволил это? Вы негодяй! Итак, всюду я вас встречаю! Зачем вы явились в Москву? Вы явились шпионить!» — «Нет, государь, я доверился чести ваших войск».— «А какое вам было дело до моих войск? Вы негодяй! Взгляните, в каком состоянии Москва! Пятьдесят таких негодяев, как вы, довели ее до этого состояния! Вы склонили

императора Александра к войне против меня! Коленкур мне это сказал! Вы организовали избиение моих солдат на дороге! О, ваша судьба свершилась! Жандармы, возьмите его, пусть его расстреляют, пусть меня от него избавят. Борьба со мной — неравная борьба! Через шесть недель я буду в Петербурге! А что до вас касается,— то это покончено. Расстрелять его на месте! Или нет, пусть его судят! Если вы саксонец или баварец, то вы мой подданный, а я ваш государь. Тогда расстрелять его! Если это не так, тогда дело другое». Затем Наполеон обратился к Нарышкину: «Вы — Нарышкин, сын обер-камергера? О, с вами дело другое, вы храбрый человек, вы исполняете свой долг. Но почему же вы служите таким негодяям, как вот этот? Служите вашим русским людям!» К счастью для Винценгероде, он мог доказать, что он — пруссак, и это спасло его от немедленной смерти.

От са́мого Малоярославца до Смоленска отступающая французская армия, проходя разоренными, погорелыми городами и деревнями, сжигала все, что еще пока уцелело. «2 ноября мы опять пошли форсированным маршем,— пишет из Вязьмы Роберт Вильсон, бывший со штабом Кутузова.— Неприятельское движение видно было по непрерывной линии огня, пламени и дыма, которые продолжались на несколько верст».

Ожесточение усиливалось с обеих сторон. Крестьяне ловили отстающих французов и беспощадно их избивали, французы в свою очередь проявляли крайнюю жестокость. Когда Наполеон уже прошел с гвардией через Вязьму и пошел к Смоленску, Даву, Мюрату и Нею нужно было отбиваться от Милорадовича, Платова и Орлова, и лишь после прохода главных сил французских корпусов по окраинам горевшей Вязьмы русские вступили в город. И тут генерал Чичагов, несколько опередив главные русские силы, лишь случайно успел подскакать со своим отрядом к уже загоревшейся церкви и, разбив двери, освободить оттуда 300 русских раненых и пленных, которых неприятельские солдаты, уходя, заперли, прежде чем поджечь церковь. Картины полнейшего разорения, уничтожения дотла целых городов и деревень стояли перед глазами крестьян.

После Вязьмы мороза еще не было, но стало много холоднее. Милорадович и Платов шли за французским арьергардом, постоянно его тревожа, казачьи отряды и партизаны рыскали по флангам отступающей французской армии, захватывали обозы, рубили в нечаянных налетах отдалившиеся от главных сил отряды. «Сегодня я видел сцену ужаса, которую редко можно встретить в новейших войнах,— записывает Вильсон 5 ноября в 40 верстах от Вязьмы, по дороге к Смоленску:—2 тысячи человек, нагих, мертвых или умирающих, и несколько тысяч мертвых лошадей, которые по большей части пали от голода. Сотни

несчастных раненых, ползущих из лесов, прибегают к милосердию даже раздраженных крестьян, мстительные выстрелы которых слышны со всех сторон. 200 фур, взорванных на воздух, каждое жилище по дороге — в пламени, остатки всякого рода военной амуниции, валяющиеся на дороге, и суровая зимняя атмосфера — все это представляет по этой дороге зрелище, которое невозможно точно изобразить».

Уже между Москвой и Смоленском отступающая армия жила впроголодь. Вот картина с натуры. Пишет французский офицер уже из Смоленска 7 ноября 1812 г.: «...по три-четыре раза в день я переходил от крайних неприятностей к крайнему удовольствию. Нужно сознаться, что эти удовольствия не были очень деликатными: например, одним из живейших удовольствий было найти вечером несколько картофелин, которые нужно было есть без соли со сгнившим хлебом. Вы понимаете наше глубоко жалкое положение? Это длилось 18 дней. Выехав 16 октября из Москвы, я прибыл (в Смоленск — *Е. Т.).* 2 ноября». Ему велено было сопровождать 1500 человек раненых, которых эвакуировали из Москвы перед выступлением великой армии. Охранять этот обоз должны были около 300 солдат. По пути на них напали русские партизны и часть регулярных русских войск. Их обстреливали издали, но им удалось спастись, каким-то образом отразив атаку. «Мы решили стать в маленькое карре и скорее дать себя перебить до последнего человека, чем попасть в плен к крестьянам, которые убили бы нас медленно ударами ножа или каким-нибудь другим любезным способом».

Французы шли в Смоленск по дороге, «уже за три месяца перед тем опустошенной», как пишет один из участников похода, Балари, своей жене во Францию. Целый ряд таких писем, написанных в пути, был перехвачен казаками и находится теперь в наших архивах. В письмах, конечно, французские офицеры и солдаты не смели и сотой доли писать о всем том, что они переживали. Но и того, что они писали, более чем достаточно. «Мы прошли по самой дурной и опустошенной дороге, лошади, павшие в пути, тотчас же пожирались»,— пишет другой офицер своей матери, уже придя в Смоленск. «В нашей армии кавалерии уже нет, немного осталось лошадей, и те падают от голода и холода,— и еще до того как падут, их уже распределяют по кускам». Лейб-медик Наполеона доктор Ларрэй пишет жене: «Я еще никогда так не страдал. Египетский и испанский походы — ничто сравнительно с этим. И мы далеко еще не у конца наших бедствий... Часто мы считали себя счастливыми, когда получали несколько обрывков конской падали, которую находили по дороге». Если такова была жизнь сановника и любимого доктора самого императора, то можно легко себе представить, каково приходилось нижним чинам отступающей армии.

«Вся почти кавалерия идет пешком, не наберется на пятый полк и одной сотни конных»,— доносит французский инженер Монфор своему начальнику генералу Шаслу.

Голод приобретал катастрофические размеры для французской армии.

Уже в начале отступления французов, на переходе от Вязьмы до Смоленска, русский генерал Крейц, идя походом со своим полком, услышал какой-то шум в лесу, правее дороги. Въехав в лес, он с ужасом увидел, что французы ели мясо одного из своих умерших товарищей [5]. Дело было еще до морозов, до полного расстройства французской армии, до неслыханных бедствий, ждавших ее впереди. Это показание Крейца подтверждается рядом других аналогичных. «...Кроме лошадиного мяса, им есть нечего. По оставлении Москвы и Смоленска они едят человеческие тела...» [6]

«...Голод вынудил их не только есть палых лошадей, но многие видели, как они жарили себе в пищу мертвое человеческое мясо своего одноземца... Смоленская дорога покрыта на каждом шагу человеческими и лошадиными трупами» [7], — пишет Воейков престарелому поэту Державину 11 ноября из Ельни. Как видим, везде тут речь идет о начале отступления, о перегоне Москва — Смоленск. Что поедание трупов сделалось обыденным явлением в конце бедственного отступления, об этом свидетельств сколько угодно.

Но нам важно зафиксировать факт страшного голода именно в тот период, когда еще и морозов не было, а стояла прекрасная солнечная осень.

Именно голод, а не мороз быстро разрушил наполеоновскую армию в этот период отступления.

В интересных записках русского генерала Крейца, проделавшего всю кампанию, я нашел следующее свидетельство: «Несправедливо французские писатели обвиняют холод причиною гибели армии Наполеона. От Малого Ярославца до Вязьмы время было очень теплое; от Вязьмы до Смоленска были приморозки. Около г. Ельни выпал первый снег, но очень малый. Днепр однакоже покрылся прозрачною льдиною, по которой еще никто не смел ходить, кроме первого Нея. От Смоленска до Борисова холод был сильнее, но сносный, мы ночевали на поле без крыш». В Борисове генерал Крейц в первый раз ночевал под крышей. Это между прочим иллюстрирует, в каких условиях находилась и русская армия в этом походе. «От Борисова до Вильно морозы были весьма суровы, и здесь по большей части французы перемерзли. Они погибли больше от голода, изнурения, беспорядка, грабительств и потери всякой дисциплины, а кавалерия — от тех же причин и от весьма дурной и безрассудной ковки лошадей» [8].

Дисциплина в чисто французских частях пока еще держалась. Вот что писал пленный французский кирасирский генерал Опиа императору Александру спустя какой-нибудь месяц после конца отступления великой армии, беспристрастно описав ужасы отступления,— речь идет о суровом, для многих и многих крайне тягостном приказе Наполеона (между Вязьмой и Смоленском) сжечь все кареты, весь колоссальный обоз награбленных в Москве ценностей ввиду военной опасности тащить за собой все эти богатства: «Многие корпуса, многие генералы исполнили приказ в тот же день. Люди испытывали какое-то наслаждение в том, чтобы как можно строже исполнить свои обязанности по отношению к императору. Чем больше обстоятельства казались трудными и критическими, тем больше его любили и тем больше привязывались к нему, как единственному лоцману, который может спасти корабль» [9].

Но в немецких и итальянских, а отчасти польских отрядах упадок дисциплины проявлялся уже в самых грозных симптомах.

Отступающие французы влекли за собой несколько тысяч русских пленных, взятых с начала войны. Их почти вовсе перестали кормить. Велено было слабосильных пристреливать.

В одной только партии русских пленных, которых французы гнали от Москвы до Смоленска, было пристрелено 611 человек (из них 4 офицера). Пристреливали их как слабосильных [10]. Пленных убивали даже при малейшем признаке отставания. Их погибло, конечно, много тысяч человек. Трупы расстрелянных русских пленных постоянно встречались между трупами французов по дороге, на всем пути отступления наполеоновской армии.

Народная война, до сих пор олицетворяемая действиями регулярной армии и неорганизованными выступлениями крестьян, отныне приняла еще новую форму. Мы говорим о партизанском движении.

4

Нужно сказать, что мысль о партизанской войне подсказывалась прежде всего примером Испании. Это признавали и вожди русского партизанского движения.

Полковник Чуйкевич, писавший свои «Рассуждения о войне 1812 года» во время самой этой войны (хотя книга вышла в свет уже в марте 1813 г.), вспоминает и ставит в образец испанцев: «Быстрые успехи французского оружия в Испании происходили оттого, что жители сей страны, кипя мщением против французов, полагались излишне на личную свою храбрость и правость своего дела. Собранные наскоро ополчения противопоставлялись французским армиям и были разбиваемы врагами,

превосходившими их числом и опытностью. Сии несчастные уроки убедили мужественных испанцев переменить образ войны. Они великодушно решились предпочесть хотя долговременную, но верную в пользу их борьбу. Уклоняясь от генеральных сражений с французскими силами, они разделили свои собственные на части... часто прерывали сообщения с Францией, истребляли продовольствие неприятеля и томили его беспрерывными маршами... Тщетно французские полководцы переходили с мечом в руках из одного края Испании в другой, покоряли города и целые области. Великодушный народ не выпускал из рук оружия, правительство не теряло бодрости и осталось твердым в принятом единожды намерении: освободить Испанию от французов или погребсти себя под развалинами. Нет, вы не падете, мужественные испанцы!»

Русская народная война, как я уже имел случай заметить, была совсем не похожа на испанскую. Она велась больше всего русскими крестьянами уже в армейских и ополченских мундирах, но от этого она не становилась менее народной. Одним из проявлений народной войны было партизанское движение.

Вот как началась организация этого дела.

Еще за пять дней до Бородина к князю Багратиону явился подполковник Денис Давыдов, прослуживший у князя пять лет адъютантом. Он изложил ему свой план, заключавшийся в том, чтобы, пользуясь колоссально растянутой коммуникационной линией Наполеона — от Немана до Гжатска и далее Гжатска, в случае дальнейшего движения французов,— начать постоянные нападения и внезапные налеты на эту линию, на склады, на курьеров с бумагами, на обозы с продовольствием. По мысли Давыдова, небольшие конные отряды совершают внезапные налеты, причем, сделав свое дело, партизаны скрываются от преследования впредь до нового случая; они могли бы, кроме того, стать опорными пунктами и ячейками для сосредоточения и вооружения крестьян. Дело было перед Бородином, и, по словам Давыдова, «общее мнение того времени» было то, что, одержав победу, Наполеон заключит мир и вместе с русской армией пойдет в Индию. «Если должно непременно погибнуть, то лучше я лягу здесь; в Индии я пропаду со 100 тысячами моих соотечественников без имени и за пользу, чуждую моего отечества, а здесь я умру под знаменем независимости...» — так говорил Давыдов князю Багратиону. Об этом плане Багратион доложил Кутузову, но Кутузов был очень осторожен и к полетам героической фантазии не был склонен, однако разрешил дать Денису Давыдову 50 гусар и 80 казаков. Багратион был недоволен этой скупостью. «Я не понимаю опасений светлейшего,— говорил он, передавая Давыдову о слишком скромных результатах своего ходатайства,— стоит ли торговаться из-за нескольких

сотен человек, когда дело идет о том, что в случае удачи он может лишить неприятеля подвозов, столь ему необходимых, в случае неудачи он лишится только горсти людей. Как же быть, война ведь не для того, чтобы целоваться... Я бы тебе дал с первого же разу 3 тысячи, ибо не люблю ощупью дела делать, но об этом нечего и говорить: князь (Кутузов — *Е. Т.*) сам назначил силу партии; надо повиноваться» [11]. Багратион говорил это за пять дней до смертельной раны в бою, а после его смерти Давыдову и подавно нельзя было надеяться получить больше людей. Но, все равно, он пустился в путь и со своими 130 гусарами и казаками, обходя великую армию в тылу Наполеона.

Таково было очень скромное и пока совсем неприметное начало партизанской войны, бесспорно сыгравшей свою роль в истории 1812 г., и именно во вторую половину войны.

Не только кадровые офицеры становились организаторами партизанских отрядов. Были и такие случаи: 31 августа 1812 г. русский арьергард стал отходить с боем из Царева-Займища, куда уже входили французы. Под солдатом драгунского полка Ермолаем Четвертаковым была ранена лошадь, и всадник попал в плен. В Гжатске Четвертакову удалось бежать от конвоя, и он явился в деревню Басманы, лежавшую далеко к югу от столбовой Смоленской дороги, по которой шла французская армия. Здесь у Четвертакова возникает план той самой партизанской войны, который в те дни возник и у Давыдова: Четвертаков пожелал собрать из крестьян партизанский отряд.

Отмечу интересную черту: когда еще в 1804 г. крестьянину Четвертакову «забрили лоб», он бежал из полка, был пойман и наказан розгами. Но теперь он не только решил сам изо всех сил бороться с неприятелем, но и побудить к этому других. Крестьяне деревни Басманы отнеслись к нему недоверчиво, и он нашел лишь одного приверженца. Вдвоем они пошли в другую деревню. По пути они встретили двух французов, убили их и переоделись в их платье. Встретив затем (уже в деревне Задково) двух французских кавалеристов, они и тех убили и взяли их лошадей. Деревня Задково выделила в помощь Четвертакову 47 крестьян. Затем маленький отряд под предводительством Четвертакова перебил сначала партию французских кирасир численностью в 12 человек, потом отчасти перебил, отчасти обратил в бегство французскую полуроту численностью в 59 человек, отобрал экипажи. Эти удачи произвели громадное впечатление, и уж теперь деревня Басманы дала Четвертакову 253 человека добровольцев. Четвертаков, неграмотный человек, оказался прекрасным администратором, тактиком и стратегом партизанской войны. Тревожа неприятеля внезапными нападениями, умно и осторожно выслеживая небольшие французские партии и молниеносными нападениями истребляя их, Четвер-

такову удалось отстоять от мародерских грабежей громадную территорию вокруг Гжатска. Четвертаков действовал беспощадно, да и ожесточение крестьян было таково, что едва ли можно было бы их удержать. Пленных не брали, но ведь и французы расстреливали без суда, на месте, тех партизан, которые попадали в их руки. В деревне Семионовке крестьяне отряда Четвертакова сожгли 60 французских мародеров. Как вы видели, французы проделывали при случае подобное же.

О Четвертакове заговорили. По первому его требованию к его маленькому (300 человек) постоянному отряду присоединилось однажды около 4 тысяч крестьян, и Четвертаков предпринял не более и не менее как открытое нападение на французский батальон с орудиями, и батальон отступил. 4 тысячи крестьян после этого разошлись по домам, а Четвертаков со своим постоянным отрядом продолжал свое дело. Только когда опасность миновала и французы ушли, Четвертаков явился в ноябре 1812 г. в Могилев в свой полк. Генерал Кологривов и генерал Эммануэль, произведя расследование, убедились в замечательных достижениях Четвертакова, в огромной пользе, им принесенной. Витгенштейн просил Барклая наградить Четвертакова. Наградой был... «знак военного ордена» (не Георгия) [12]. Тем дело и кончилось. Для крепостного крестьянина путь к действительным отличиям был загражден, каковы бы ни были его подвиги.

Нужно сказать, что истинное историческое место партизан не раз подвергалось спорам. Сначала, по горячим следам, по свежей памяти, о делах Дениса Давыдова, Фигнера, Сеславина, Вадбольского, Кудашева и других говорилось с восторгом. Лихость и удаль молодецких набегов маленьких партий на большие отряды пленяли воображение. Потом наступила некоторая реакция. Генералы и офицеры регулярных войск, герои Бородина и Малоярославца, не очень охотно соглашались ставить на одну доску со своими товарищами этих удалых наездников, никому не подчинявшихся, неизвестно откуда налетавших, неизвестно куда скрывавшихся, отнимавших обозы, деливших добычу, но неспособных выдержать настоящий открытый бой с регулярными частями отступавшей французской армии. С другой стороны, атаман Платов и казачьи круги настаивали, что именно казаки составляли главную силу партизанских отрядов и что слава партизан есть в сущности слава одного только казачьего войска. Французы очень помогли укреплению этой точки зрения: они много говорили о страшном вреде, который принесли им казаки, и почти ничего не говорили (или говорили с некоторым пренебрежением) о партизанах. Справедливость требует признать, что партизаны принесли очень большую и несомненную пользу начиная с середины сентября и кончая Березиной, т. е. концом ноября.

Партизаны были великолепными и часто безумно смелыми разведчиками. Фигнер, прототип толстовского Долохова, в самом деле езживал во французский лагерь во французском мундире и проделывал это несколько раз. Сеславин в самом деле подкрался к французскому унтер-офицеру, взвалил его к себе на седло и привез в русскую ставку. Давыдов с партией в 200—300 человек действительно наводил панику и, обращая в бегство отряды в пять раз большие, забирал обоз, отбивал русских пленных, иногда захватывал орудия. Крестьяне гораздо легче и проще сходились и сносились с партизанами и их начальниками, чем с регулярными частями армии.

Преувеличения, допущенные некоторыми партизанами при описании своих действий, вызвали между прочим и слишком уж суровую оценку со стороны будущего декабриста князя Сергея Волконского, который и сам некоторое время командовал в 1812 г. партизанским отрядом: «Описывая партизанские действия своего отряда, я не буду морочить читателя, как это многие партизаны делают, рассказами о многих небывалых стычках и опасностях; и по крайней мере, добросовестностью моей, в сравнении с преувеличенными рассказами других партизанов, приобрету доверие к моим запискам» [13]. Совершенно верно, были преувеличения; но были за партизанами и бесспорные подвиги находчивости, бесстрашия, самоотвержения, и свое почетное место в истории Отечественной войны, в героической эпопее защиты родины от иноземного завоевателя партизаны заняли прочно.

Умел при случае прихвастнуть, но гораздо умереннее, и «поэт-партизан» Денис Давыдов. Но чувство правды все-таки брало у Дениса Давыдова верх, и его записки являются, что бы о них в свое время ни говорили враги лихого наездника, драгоценным источником для истории 1812 г., к которому, конечно, нужно относиться с серьезной критикой, но отбрасывать который нельзя ни в каком случае. Описывая ряд ратных подвигов и удалых предприятий партизанских отрядов, нападавших на тыл, на обозы, на отбившиеся небольшие отряды французской армии, он в то же время определенно говорит, что нападение партизан на большие части, например на гвардию Наполеона, им было решительно не под силу. «Меня нельзя упрекнуть, чтобы я уступил кому-либо во вражде к посягателю на независимость и честь моей родины... Товарищи мои помнят, если не слабые успехи мои, то по крайней мере, мои усилия, клонившиеся ко вреду неприятеля в течение Отечественной и заграничной войн; они также помнят мое удивление, мои восторги, возбужденные подвигами Наполеона, и уважение к его войскам, которое я питал в душе моей в пылу борьбы. Солдат, я и с оружием в руках, не переставал отдавать справедливость первому солдату веков и мира, я был обворожен храбростью, в какую бы она

одежду не облекалась, в каких бы краях она не проявлялась. Хотя Багратионово «браво», вырвавшееся в похвалу неприятеля среди самого пыла Бородинской битвы, отозвалось в душе моей, но оно ее не удивило»[14]. Таково было умонастроение Давыдова. Он вел себя по-рыцарски относительно пленных врагов. Этого нельзя сказать о многих других начальниках партизанских отрядов. Особой неумолимостью отличался Фигнер (погибший уже в войну 1813 г.).

Особенно важна была для партизан помощь крестьянства в самом начале партизанщины. Крестьяне Бронницкого уезда Московской губернии, крестьяне села Николы-Погорелого близ г. Вязьмы, бежецкие, дорогобужские, серпуховские крестьяне принесли весьма существенную пользу партизанским отрядам. Они выслеживали отдельные неприятельские партии и отряды, истребляли французских фуражиров и мародеров, с полной готовностью доставляли в партизанские отряды продовольствие людям и корм лошадям. Без этой помощи партизаны не могли бы и вполовину добиться тех результатов, которых они на самом деле добились.

Потом началось отступление великой армии, и началось оно с бессмысленного взрыва Кремля, что довело до бешенства гнев возвращающегося в Москву народа, нашедшего весь город в развалинах. На этот заключительный акт — взрыв Кремля — посмотрели как на злобное издевательство. Отступление сопровождалось планомерным, по приказу Наполеона, сожжением и городов и сел, через которые двигалась французская армия. Крестьяне, находя убитых русских пленных по обе стороны дороги, тут же приносили клятву не щадить врагов.

Но действия крестьян не ограничивались только помощью партизанским отрядам, поимкой и истреблением мародеров и отставших, не ограничивались борьбой с фуражирами и уничтожением их, хотя, заметим, это-то и было наиболее страшным, уничтожающим ударом, который нанесли русские крестьяне великой армии, заморив ее голодом. Герасим Курин, крестьянин села Павлова (близ г. Богородска), составил отряд крестьян, организовал их, вооружил отнятым у убитых французов оружием и вместе со своим помощником, крестьянином Стуловым, повел свой отряд на французов и в бою с французскими кавалеристами обратил их в бегство.

Крестьянки, озлобленные насилиями французов над женщинами, попадающими в их руки, действовали энергично и проявляли особенную жестокость по отношению к неприятелю. Слухи (вполне достоверные и подтвержденные) говорили о насилиях французов над женщинами, попадающимися в их руки. Старостиха Василиса (Сычевского уезда Смоленской губернии), бравшая в плен французов, лично перебившая вилами и косой нема-

ло французских солдат, нападавшая, как о ней рассказывали, на отставшие части обозов, не была исключением. Участие женщин в народной войне отмечается всеми источниками. О той же Василисе или о кружевнице Прасковье, действовавшей около Духовщины, ходили целые легенды, но трудно выделить в них истину, отделить историю от фантазии.

Официальная историография долго пренебрегала собиранием и уточнением фактов в области народной войны, останавливаясь почти исключительно на действиях регулярной армии и вождей партизан (хотя и о партизанах говорилось очень мало и бегло), а когда вымерли современники, стало подавно очень трудно собирать вполне достоверный фактический материал. Конечно, наступательные действия (вроде выступления Курина и Стулова или Четвертакова) были не слишком часты; чаще всего действия крестьян ограничивались организацией слежки за неприятелем, обороной своих деревень и целых волостей от нападения французов и мародеров и истреблением нападающих. И это было бесконечно губительнее для французской армии, чем любые, даже самые удачные для крестьян налеты, и не пожар Москвы, не морозы, которых почти и не было до самого Смоленска, а русские крестьяне, ожесточенно боровшиеся с врагом, нанесли страшный удар отступающей великой армии, окружили ее плотной стеной непримиримой ненависти и подготовили ее конечную гибель.

Выше я отметил опасения правительства и беспокойное его отношение к крестьянству в 1812 г. До чего эта лишенная в тот момент оснований нелепая трусость доводила высшее российское правительство, явствует из следующего приказа. Стоит близ г. Клина ротмистр Нарышкин с кавалерийским отрядом. Он, пользуясь горячим желанием крестьян помочь армии против неприятеля, раздает имеющееся у него в отряде лишнее оружие крестьянам, да крестьяне и сами вооружаются французским оружием, которое они снимают с убитых ими французов — фуражиров и мародеров. Вооруженные, таким образом, крестьянские маленькие партии, шаря возле Москвы, беспощадно убивали французов, пытавшихся из Москвы съездить поискать по окрестностям сена и овса для лошадей. Пользу эти крестьянские партизаны приносили, таким образом, огромную. И вдруг Нарышкин получает неожиданную бумагу свыше. Предоставим слово ему самому: «На основании ложных донесений и низкой клеветы, я получил приказание обезоружить крестьян и расстреливать тех, кто будет уличен в возмущении. Удивленный приказанием, столь не отвечавшим великодушному... поведению крестьян, я отвечал, что не могу обезоружить руки, которые я сам вооружил, и которые служили к уничтожению врагов отечества, и называть мятежниками тех, которые жертвовали своею жизнью для защи-

ты... независимости, жен и жилищ, и имя изменника принадлежит тем, кто, в такую священную для России минуту осмеливается клеветать на самых ее усердных и верных защитников» [15].

Таких случаев можно отметить множество. Есть ряд документальных доказательств того бесспорного факта, что правительство всячески мешало крестьянскому партизанскому движению и старалось по мере сил его дезорганизовать. Оно боялось давать крестьянам оружие против французов, боялось, чтобы это оружие не повернулось потом против помещиков. Боялся Александр, боялся «новгородский помещик» Аракчеев, боялся Балашов, боялся и сверхпатриот Ростопчин, больше всех запугивавший царя призраком Пугачева. К счастью для России, крестьяне в 1812 г. не повиновались этим приказам об их разоружении и продолжали борьбу с врагом до тех пор, пока захватчики окончательно не были изгнаны из России.

Партизанская война, крестьянская активная борьба, казачьи налеты — все это при усиливающемся недоедании, при ежедневном падеже лошадей заставляло французов бросать по дороге пушки, бросать часть клади с возов, а главное — бросать больных и раненых товарищей на лютую смерть, ожидавшую их, если только им не посчастливилось бы попасть в руки регулярной армии. Изнуренные небывалыми страданиями, полуголодные, ослабевшие войска шли по разоренной вконец дороге, обозначая свой путь трупами людей и лошадей. Около Можайска отступающая армия проходила мимо громадной равнины, пересеченной оврагом и речкой, с небольшими холмами, с развалинами и почернелыми бревнами двух деревень. Вся равнина была покрыта гниющими, разложившимися многими тысячами трупов и людей и лошадей, исковерканными пушками, ржавым оружием, валявшимся в беспорядке и негодным к употреблению, потому что годное было унесено. Солдаты французской армии не сразу узнали страшное место. Это было Бородино с его все еще не похороненными мертвецами. Ужасающее впечатление производило теперь это поле великой битвы. Шедшие на мучительные страдания и смерть в последний раз взглянули на товарищей, уже погибших.

Император с гвардией шел в авангарде. Выйдя из Вереи 28 октября, Наполеон 30-го был в Гжатске, 1 ноября — в Вязьме, 2 ноября — в Семлеве, 3-го — в Славкове, 5-го — в Дорогобуже, 7-го — в селе Михайлове и 8-го вступил в Смоленск. Армия входила вслед за ним частями с 8 по 15 ноября. В течение всего этого бедственного пути от Малоярославца до Смоленска все упования — и самого Наполеона и его армии — связывались со Смоленском, где предполагались продовольственные запасы и возможность сколько-нибудь спокойной стоянки и отдыха для

замученных, голодных людей и лошадей. Фельдмаршал двигался южнее, по параллельной линии, с поражавшей французов медленностью. Это «параллельное преследование», задуманное и осуществленное Кутузовым, и губило вернее всего наполеоновскую армию. Французский штаб этого, конечно, тогда не знал. Казалось, в Смоленске будет хороший отдых, солдаты смогут прийти в себя, опомниться от перенесенных ими страшных страданий, но оказалось другое. В мертвом, полуразрушенном, полусгоревшем городе отступающую армию ждал удар, сломивший окончательно дух многих ее частей: в Смоленске почти никаких припасов не оказалось.

С этого момента отступление окончательно стало превращаться в бегство, а все, что было перенесено от Малоярославца до Смоленска, должно было побледнеть перед той бездной, которая разверзлась под ногами великой армии уже после Смоленска и которая ее поглотила почти целиком.

Глава X

БЕРЕЗИНА И ГИБЕЛЬ ВЕЛИКОЙ АРМИИ

1

Наступали последние дни кровавой борьбы. От 17 ноября, когда французская армия тронулась из Смоленска, до вечера 14 декабря 1812 г., когда маршал Ней, во главе нескольких сот боеспособных солдат и нескольких тысяч безоружных, раненых, больных, с боем, преследуемый Платовым, перешел последним из французов через Неман и вышел на прусский берег, длилась агония наполеоновской армии, и перед ее верховным вождем вырастали все яснее и непреложнее неслыханные, устрашающие размеры понесенного им поражения. Французские солдаты и офицеры, которым удалось пережить эту войну и тяжелый путь отступления на первом этапе (Малоярославец — Верея — Вязьма — Смоленск), даже и представить себе не могли тех ужасов, которые пришлось им испытать на втором и последнем этапе (Смоленск — Красное — Березина — Вильно — Ковно).

К истории этих последних 27 дней великой войны мы теперь и обратимся.

Но начинать рассказ нужно с тех нескольких суток, которые Наполеон и его армия провели в Смоленске.

Смоленск не дал армии ни пищи, ни отдыха в тех размерах, которые можно было бы назвать сколько-нибудь удовлетворительными. В письмах на родину лица наполеоновской свиты пытаются отшутиться от этого смоленского тяжкого разочарования; но им это плохо удается: «Вы видите, что все наши приготовления к тому, чтобы провести зиму в Москве, оказались ненужными и что все наши надежды на удовольствия и на спектакли исчезли, но, однако, еще не совсем, потому что мы тащим за собой комическую труппу, и если она не останется на дороге, мы доставим себе удовольствие смотреть комедии там, где мы расположимся на зимние квартиры. Мы ничего совсем не знаем о том, где это будет возможно, это зависит от

событий и от движений неприятеля. Смоленск сохранился не лучше, чем Москва, он выгорел, конечно, до такой же степени, как и столица»,— так писал Дюрок в Париж камергеру Монтескиу из Смоленска 10 ноября 1812 г.[1]

В Смоленске не оказалось почти ничего из тех обильных запасов, на которые рассчитывали. Лошади пали почти все, потому что в Смоленске и вокруг Смоленска никакого фуража достать было невозможно. Скот, который был в свое время доставлен, съели те маршевые батальоны, которые с августа до начала октября проходили через Смоленск на подкрепление великой армии, стоявшей в Москве, и все-таки, если бы армия, придя в Смоленск, была хотя бы отдаленно похожа на одну из тех армий, с которыми Наполеон совершал свои прежние походы, смоленских запасов хватило бы,— правда, на очень и очень скудные рационы, но хватило бы на 15—20 дней по крайней мере. Однако пестрая, разноязычная масса голодных, озлобленных, совсем чужих друг другу людей, уже чующая над собой смертельную опасность, вступив в Смоленск, повела себя так, что и речи не могло быть о сколько-нибудь правильной, организованно проведенной выдаче рационов. Гвардия получала все, в чем нуждалась, и в таком изобилии, о котором остальные части не смели и думать. Озлобление против гвардии, вызванное завистью, охватывало все другие части армии, но так как гвардейцы сохранили полностью дисциплину, исправное оружие и товарищескую прочную связь, то вступать с ней в борьбу не приходилось, но зато другие части, потеряв всякое чувство дисциплины, бросились, как голодные дикие звери, на склады, разбили и растащили все, что там нашли, и никакие угрозы и окрики начальства не могли ничего с ними поделать.

Смоленские магазины перестали существовать чуть ли уже не на третий день. Дисциплина падала с ужасающей быстротой, озверение голодных германских, польских, итальянских солдат, а также уже и некоторых частей чисто французских (чего еще в Москве не замечалось) дошло до неслыханной степени. Французские офицеры в своих частных письмах утверждали, что в сумерках и в ночное время человеку, несущему хлеб, было опасно проходить по улицам Смоленска: нападут и убьют. Расстрелы уже не могли восстановить дисциплину. Испугать смертной казнью было трудно тех, кто ежедневно ждал смерти от голода, от истощения и от усталости. Беспощадная суровость Даву еще кое-как поддерживала дисциплину в его корпусе. Другим маршалам это удавалось очень плохо.

Смоленск обманул ожидания армии еще и в другом крайне существенном отношении. Отдых совсем не удался: в первые дни — ожесточенная борьба вокруг растаскиваемых магазинов, вокруг распределения найденных запасов по армейским частям,

а потом — тревога, слухи о надвигающихся русских (разъезды казаков), сборы к выступлению из города.

Наполеон входил в Смоленск, обуреваемый самыми сложными и грозными заботами. Он учитывал не только убийственные условия, в которых совершалось до сих пор отступление голодной армии, почти лишенной уже конных частей и бросавшей по дороге орудия за невозможностью их тащить. Он учитывал и то, что русские близко следовали за арьергардом, что у Колоцкого монастыря и дальше Даву должен был выдерживать бой и потерял в пути убитыми и ранеными до 10 тысяч человек.

Он знал, что 3 ноября вице-король Евгений и маршал Ней подверглись под Вязьмой нападению со стороны русского авангарда под начальством Милорадовича и что бой длился до ночи с 3 на 4 ноября и стоил много жертв французским корпусам и Евгения, и Нея, и Даву.

Уже на последних переходах перед Смоленском начался обильный снегопад, страшно затруднявших движение солдат, непривычных к снежной дороге. Холод давал себя чувствовать все больше и больше. В Смоленске отогреться в разрушенных жилищах было очень мудрено. Солдаты на площадях жгли кареты, телеги, ящики и жарили на огне мясо павших лошадей. В Смоленске уже стали учащаться случаи замерзания людей, отмораживания рук и ног.

Тревожные вести пришли к императору из далекой «мировой столицы». Курьер из Парижа привез в Дорогобуж известие о фантастическом «заговоре генерала Малэ». Этот Малэ, республиканский генерал, бежал из тюрьмы, где он сидел, объявил одной воинской части в Париже, будто император убит в России, арестовал министра полиции, ранил военного министра... Смятение, правда, продолжалось всего три часа, Малэ был арестован и расстрелян, все это казалось больше выходкой сумасшедшего, чем серьезным делом, но Наполеон был встревожен и раздражен. Ничего подобного он не предполагал возможным при том прочном, как ему казалось, порядке, который он установил еще с 1799 г. во Франции. Ясно было, что пора ему лично быть в Париже... Не хотел бы он задерживаться при этих условиях в Смоленске, даже если бы это от него зависело, а это от него не зависело. Всякая задержка грозила голодной смертью остаткам армии.

14 ноября, после пятидневного пребывания в Смоленске, Наполеон с гвардией вышел из города по направлению к Красному. За ним шли остатки корпусов вице-короля Евгения, Даву, Мюрата. За всей этой армией шел арьергард под начальством маршала Нея, а за Неем шли русские. Приблизились дни, когда Нею суждено было спасти отчаянной борьбой и искусным

маневрированием как самого Наполеона, так и те 30—35 тысяч бойцов и 30 тысяч больных, почти безоружных, усталых, уже не годных к серьезному бою солдат, которые плелись за вышедшей из Смоленска армией, направляясь вместе с ней через Красное и Дубровну в Оршу.

Волнение в русском штабе все возрастало, в Петербурге также: неужели Наполеон уйдет, неужели фельдмаршал в самом деле хочет лишить Россию славы окончательного сокрушения врага и не желает избавить Европу от железного ига, которое останется в полной силе, если завоеватель уцелеет, потому что он, вернувшись в свою империю, создаст новые легионы?

Фельдмаршал молчал. Ни Александр, ни Ермолов, ни Толь, ни Коновницын не узнали в эти дни его истинных намерений.

2

Положение Кутузова в тот момент, когда русская армия, задерживаемая арьергардом маршала Нея, с боем приближалась к Красному, с одной стороны, было, конечно, гораздо лучше, гораздо тверже, чем после сдачи Москвы и даже после Тарутина и Малоярославца. Победа над Наполеоном обозначилась уже вполне. Вторгшаяся армия, страшно уменьшенная, спешила поскорее выбраться из России, и все ее желания были устремлены лишь на то, как бы добраться до границы, не погибнуть от голода и холода. Но, с другой стороны, Кутузову становилось все затруднительнее вести свою стратегическо-политическую линию, выпроваживая Наполеона из России без ненужных кровопролитных сражений. Кутузов явно не верил в возможность для Наполеона полностью сохранить свою мировую империю после поражения в России и тратить русскую кровь для достижения и без того неизбежного и очевидного краха Наполеона не желал. Очень уж ясно выявлялась предумышленность в действиях старого фельдмаршала. Царь, который вообще никогда не верил ни одному слову Кутузова, подавно не верил ему теперь, когда со всех сторон говорили о непонятной нерешительности и «трусости» фельдмаршала.

Недоброжелательство и недоверие Александра к Кутузову, антипатия и неуважение Кутузова к Александру были, по-видимому, так велики, что и тот и другой совсем перестали сдерживаться и соблюдать меру.

Начинается отступление великой армии, уже произошли битвы под Тарутином, под Малоярославцем, наступает критический поворот в страшной войне, а Кутузов и царь все-таки находят время делать друг другу неприятности. Главнокомандующий пишет царю «рапорт»: «Генерал от кавалерии барон Беннигсен представляет за отличие в продолжение кампании

настоящей и за сражения 24 и 26 августа флигель-адъютанта вашего императорского величества полковника князя Голицына к возвышению в генерал-адъютанты. Оное представление подношу вашему величеству *без присовокупления моего мнения.* Фельдмаршал князь Кутузов, 26 октября 1812 г.».

Кутузов знал, конечно, что этого назначения Голицына хочет сам Александр, и Александр знал, что Кутузов это знает и не может не знать и что Кутузов именно потому и пишет свою оскорбительную бумагу. И царь отвечает ему: «Я предоставляю себе выбирать своих генерал-адъютантов». Но царь его боится и просит сообщить это Беннигсену, чтобы вышло, будто это выговор Беннигсену.

Такими вот колкостями Александр и Кутузов обменивались в течение всей войны.

Кутузов не мог отделаться от Александра Павловича, но от некоторых врагов помельче он освободился без особых церемоний. Я уже вскользь упомянул, как он выслал вон из армии графа Беннигсена, врага и клеветника, всячески за глаза поносившего и позорившего фельдмаршала. Если принять во внимание непрерывные доносы Беннигсена на Кутузова, посылаемые Александру, который вполне Беннигсену сочувствовал, то звучит довольно ехидной иронией коротенькое извещение, которым фельдмаршал уведомил царя о том, что выслал вон из армии (и именно за доносы царю) этого царского корреспондента: «По случаю болезненных припадков генерала Беннигсена и по разным другим обстоятельствам предписал я ему отправиться в Калугу и ожидать там дальнейшего назначения от вашего величества, о чем счастие имею донести» [2]. Какой курьезный смысл приобретает здесь эта шаблонная формула о «счастье»! Александр проглотил и эту обиду и даже не спросил, почему Кутузов счел Калугу подходящим курортом для «больного» Беннигсена.

Еще раньше уехал из армии Барклай, получивший от Кутузова уже 4 октября (22 сентября) позволение «за болезнью отлучиться». Он отъехал в Калугу и оттуда просил Александра «за милость» об увольнении ввиду «беспорядков, изнурения и безначалия, существующих в армии». Барклай был глубоко уязвлен и не мог служить с Кутузовым, не мог простить ему, что тот похитил у него его пост «и власть, и замысел, задуманный глубоко», как впоследствии говорили о Барклае и о Кутузове многие из пушкинского поколения.

«Великое дело сделано. Теперь остается только пожать жатву,— сказал Барклай, прощаясь со своим адъютантом Левенштерном.— Я передал фельдмаршалу армию сохраненную, хорошо одетую, вооруженную и не деморализованную... Фельдмаршал ни с кем не хочет разделить славы изгнания неприятеля

из империи». Барклай, уезжая из армии, сказал еще: «Народ, который бросит теперь, может быть, в меня камень, позже отдаст мне справедливость»[3]. Оба предсказания исполнились. В Калуге, куда он отправился из армии, «народ собрался толпою, и град камней посыпался в карету. Раздавались крики: «Смотрите, вот изменник!» Только строжайшее инкогнито спасло его от дальнейших оскорблений»[4]. Исполнилось и другое его предсказание. Величайший поэт русского народа признал заслугу Барклая и поклонился его тени, но до стихотворения Пушкина «Полководец» Барклай уже не дожил. Во всяком случае в тот момент отъезд Барклая принес облегчение Кутузову, почти так же, как и вынужденное удаление Беннигсена.

Но самый сильный враг остался. Роберт Вильсон, наблюдая действия Кутузова, уже прямо стал подозревать его в измене и мечтать о следствии над ним: «Я имел прискорбие опять видеть, что Бонапарт вырвался: несмотря на то, что мы отдыхали два дня и шли очень, очень медленно, мы обошли его. Много сделано, но все могло бы быть кончено. Я один из тех, которые думают, что морской устав должен бы иметь действие и над людьми военными. Почему от них не требуют доказательства, что они действовали самым лучшим образом? Мне кажется, что рано или поздно откроется, отчего и почему все это случается»,— так пишет Вильсон великобританскому послу Каткэрту.

Это было уже после разговора Кутузова с Вильсоном, когда Кутузов напрямик сказал, что стремится изгнать Наполеона из России, но что вовсе не видит особой необходимости для России тратить свои силы на конечное уничтожение Наполеона, потому что плоды такой победы пожнет Англия, а не Россия. Намекая на этот разговор, Вильсон пишет Каткэрту, что зато адмиралу Чичагову (который должен был загородить Наполеону выход из России) можно доверять вполне: «Я надеюсь, что адмирал не будет избегать неприятеля, но порядочно с ним сцепится. Я не имею ни малейшего опасения насчет политических спекуляций его»[5]. Последние слова — это прямой и очень злобный намек на Кутузова. Сместить Кутузова! Это была мечта Вильсона, вслух высказываемая, и, конечно, мечта лорда Каткэрта, мечта царя.

«Удобные случаи кончить сию войну были пропущены, хотя представлялись неоднократно,— жалуется Вильсон в письме к Александру 12 ноября 1812 г. из села Лапково за пять дней до начала сражений под Красным.— В теперешней позиции теряем мы день, сделав роздых без нужды; если мы останемся на месте другие 24 часа, Бонапарт восстановит свои коммуникации и, дойдя до Польши, будет страшным, имея до 100 тысяч войска. Он много потерпел от отрядов наших и от самой природы, но не был еще разбит. Напротив того, он мог увидеть, что и ослабев-

шее могущество его казалось страшным тому *генералу*, который предводительствует армиями вашего величества. В армии нет ни одного офицера, который не был бы в том уверен, хотя не все одинакового мнения касательно побудительных причин таковой бесполезной, безрассудной и дорого стоящей осторожности» [6].

Тут опять намек на «политические спекуляции» Кутузова. Но как ни мешал Кутузову Вильсон, как ни пытался его дискредитировать, фельдмаршал не мог Вильсона выслать вон из армии, как Беннигсена. Он должен был терпеть его.

Хуже было то, что в собственном штабе, среди преданных ему людей, Кутузов не встречал уже поддержки.

«Марш от Малоярославца до Днепра представлял беспрерывное противодействие Кутузова Коновницыну и Толю. Оба последние хотели преградить путь Наполеону быстрым движением на Вязьму. Кутузов хотел, так сказать, строить золотой мост расстроенному неприятелю и, не пущаясь с утомленным войском на отвагу против неприятеля, искусно маневрирующего, хотел предоставить свежим войскам Чичагова довершить поражение его, тогда как длинный марш ослабил бы неприятельское войско еще более»,— пишет очевидец, офицер квартирмейстерской части А. А. Щербинин, не отлучавшийся от главной квартиры Кутузова. Толь и Коновницын были в отчаянии. Кутузов *не хотел* нагнать Наполеона в Вязьме и медлил в селе Полотняные Заводы. «Петр Петрович, если мы фельдмаршала не подвинем, то мы здесь зазимуем!» [7] — вскричал, забыв всякую дисциплину, Толь, вбежав в канцелярию, где работал Коновницын со своими офицерами. Но в том-то и дело, что Кутузов вовсе не был «утомленным старичком, начавшим увлекаться комфортом», как называл его Щербинин и каким, несомненно, в минуту досады считали его Толь и Коновницын. Кутузов *не хотел* догонять Наполеона, и ничего с ним нельзя было поделать. Толь и Коновницын не интриговали, как Беннигсен и сэр Роберт Вильсон, они уважали Кутузова, но так же отказывались понять его тактику, как ненавидевшие фельдмаршала Беннигсен и царь.

Когда под Вязьмой произошло удачное для русских нападение на французский арьергард, Кутузов был всего в 6 верстах от Вязьмы с главными силами. «Он слышал канонаду так ясно, как будто она происходила у него в передней, но, несмотря на настояния всех значительных лиц главной квартиры, он остался безучастным зрителем этого боя, который мог бы иметь последствием уничтожение большей части армии Наполеона и взятие нами в плен маршала и вице-короля... В главной квартире все горели нетерпением сразиться с неприятелем; генералы и офицеры роптали и жгли бивуаки, чтобы доказать, что они более

ıе нужны; все только и ожидали сигнала к битве. Но сигнала ›того не последовало. Ничто не могло понудить Кутузова дей:твовать, он рассердился даже на тех, кто доказывал ему, до ;акой степени неприятельская армия была деморализована, он ıрогнал меня из кабинета за то, что, возвратясь с поля битвы, ı сказал ему, что половина французской армии сгнила... Кутуюв упорно держался своей системы действия и шел параллелью с неприятелем. Он не хотел рисковать и предпочел подвергıуться порицанию всей армии» [8],— говорит в общем хорошо отıосящийся к Кутузову генерал Левенштерн.

Он тоже не понимал основной мысли Кутузова, которая вела ı привела к гибели великую армию Наполеона без излишних кертв с русской стороны. Вильсон — тот уже понял Кутузова, ıо тем более его возненавидел, а с каждым этапом, приближавшим Наполеона к границе, с каждым освобождаемым от него участком русской земли авторитет Кутузова вырастал и в армии и в населении, и слишком короткими оказывались руки у царя, чтобы избавиться от фельдмаршала.

Двум очень большим испытаниям подверглась вера в Кутузова именно у тех, кто его искренне любил и почитал: у Дохтурова, Дениса Давыдова, Коновницына, Раевского, не говоря уже о не очень его любившем Толе. И случилось это именно, когда Наполеон вышел из Смоленска и начался заключительный акт отступления остатков великой армии. Первым испытанием были бои под Красным, вторым — Березина. В обоих случаях, по мнению ближайшего окружения Кутузова, старый фельдмаршал упустил Наполеона.

Весь кутузовский штаб после боев под Красным окончательно убедился, что Кутузов не хочет путем усиленных кровопролитных битв вызвать решительную развязку. «Я не имею претензии критиковать действия наших генералов во время трехдневного сражения под Красным, но не подлежит сомнению, что если бы они выказали более энергии, то ни Даву, ни вице-король и в особенности Ней не могли бы ускользнуть от них. Корф, Ермолов, Бороздин и Розен ничуть не воспользовались своим благоприятным положением»,— пишет Левенштерн и тут же приводит очень важное показание: «Генерал Корф, человек весьма прямой, громко высказал, что он исполнил буквально приказание фельдмаршала облегчить неприятелю отступление» [9].

В своих позднейших воспоминаниях Вильсон окончательно отрешается от явно несостоятельного укора Кутузову в трусости и прямо говорит о «тайной причине», влиявшей на поведение фельдмаршала под Красным. «Может показаться позднейшим временам невероятным, что было допущено, чтобы Наполеон при этих обстоятельствах ускользнул. Естественно пред-

положить, что была тут какая-то скрытая причина, которая влияла на поведение Кутузова, и что один только страх пред неудачей не мог бы довести до таких размеров малодушия».

«Сражение под Красным, носящее у некоторых военных писателей пышное наименование трехдневного боя, может быть по всей справедливости названо лишь трехдневным поиском голодных, полунагих французов; подобными трофеями могли гордиться ничтожные отряды вроде моего, но не главная армия. Целые толпы французов при одном появлении небольших наших отрядов на большой дороге поспешно бросали оружие» [10],— говорит партизан Денис Давыдов. 15, 16, 17, 18 ноября, в особенности же 17-го и 18-го, шли эти бои, в которых французы кое-где отступали в порядке, а кое-где поддавались панике и ударялись в бегство, бросая оружие. Наполеон с гвардией и с более или менее сохранившимися частями вовсе и не стремился под Красным удержать позиции: он хотел только вывести из боя то, что можно было. Он спешил к Березине. Уход из России, уход как можно более поспешный, один только мог сохранить хоть часть тех 30—40 тысяч бойцов, которые у него остались. Под Красным произошел своего рода отбор: погибли в бою или сдались в плен наименее боеспособные люди, которые просто не могли уже поспеть за уходящими частями.

Но все-таки характеристика, которую дает боям под Красным Денис Давыдов, не совсем справедлива. Кстати, это сражение, неизвестно почему, он называет, как и Левенштерн, «трехдневным», тогда как бои под Красным длились не три, а четыре дня и сражение стоило не только французам, но и русским немалых жертв.

Вот как начались эти четырехдневные бои.

Русская армия, двигаясь по-прежнему южнее и параллельно линии отступления Наполеона, на Смоленск за ним не пошла. а направилась от Ельни прямо к г. Красному, юго-западнее Смоленска, наперерез отступлению Наполеона от Смоленска к Березине. Тут 15, 16, 17 и 18 ноября и произошел ряд боев с французами. Еще 15 ноября схватка русского генерала Ожаровского с молодой гвардией была не совсем удачна для русских. 16-го, 17-го и 18-го Наполеон, маневрируя порой (именно 16-го) как бы в наступательном духе, на самом деле только и думал о выходе из боя. Он долго ждал Нея, но, не получая от него известий, приказал всей своей армии отступить от Красного.

Около Доброго, западнее Красного, уже стоял Тормасов. Штаб Кутузова хотел, чтобы быстро двинулись главные силы на помощь Тормасову, рассчитывая взять армию Наполеона в мешок. Кутузов не сделал этого, учитывая действительное состояние русской армии в этот момент.

Наполеон ушел к Орше и, уже войдя в Оршу, диктуя при-

казы, подсчитывая войска, не переставал говорить о Нее, о своем «храбрейшем из храбрых», как он его называл. Гибель маршала Нея с его 7—8 тысячами арьергарда казалась несомненной. Ведь оттого и затягивались так бои под Красным, что Наполеон все ждал, пока подойдет арьергард, но когда стало ясно, что Нею не выбраться уже из кольца русских войск, Наполеон махнул рукой на все, связанное с арьергардом, и отступил на Оршу.

Ней, командир арьергарда, покинул Смоленск последним 17 ноября. У него было около 7 тысяч (по другим данным, около 8500) бойцов, кроме того, небольшой отряд кавалерии (400—500 человек), и за ним тянулась безоружная масса больных и раненых (еще около 8 тысяч человек). Орудий у маршала было 12.

18 ноября Ней, еще не зная, что Наполеон ушел из Красного, пытался с боем прорваться сквозь соединенные русские силы — Милорадовича, Паскевича и князя Долгорукого. Нея отбросили обратно к лесу, откуда он вышел.

Русские были в тылу, русская пехота стояла по обе стороны, русские открыли артиллерийский огонь с флангов. Впереди был лес, запорошенный снегом, без дорог, за лесом — Днепр. Французские орудия были подбиты. Ней был сдавлен со всех сторон. Вдруг русский офицер явился перед Неем с предложением сдаться: «Фельдмаршал Кутузов не посмел бы сделать такое жестокое предложение столь знаменитому воину, если бы у того оставался хоть один шанс спасения. Но 80 тысяч русских перед ним, и если он в этом сомневается, Кутузов предлагает ему послать кого-нибудь пройтись по русским рядам и сосчитать их силы». Что Наполеон и маршалы уже ушли и находятся очень далеко, это Ней знал. Слова русского офицера звучали убедительно.

Есть несколько вполне схожих показаний об ответе, который дал Ней: «Императорский маршал в плен не сдается! Под огнем люди в переговоры не вступают!» По другой версии, он прервал речь офицера словами: «Вы, сударь, когда-нибудь слыхали, чтобы императорские маршалы сдавались в плен? Нет? Так извольте замолчать!» Ней сказал своим генералам: «Продвигаться сквозь лес! Нет дорог? Продвигаться без дорог! Идти к Днепру и перейти через Днепр! Река еще не совсем замерзла? Замерзнет! Марш!» — приказал Ней. Около 3 тысяч человек прошло за ним без дорог сквозь покрытый снегом лес к реке. Русские сначала потеряли их из вида и стали брать в плен те тысячи безоружных и раненых, которые плелись за арьергардом. Ней дошел до реки. Тонкий, еще хрупкий лед покрывал поверхность Днепра. «Вперед!» — крикнул маршал и первый вступил на ненадежный лед.

По этому льду еще никто из местных жителей не отваживался пройти. Ней прошел первый со своим корпусом.

Ней перешел Днепр, потеряв из 3 тысяч солдат и офицеров 2200 человек. Те солдаты его арьергарда, которые спаслись при этой переправе, рассказывали о том, как много их товарищей провалилось в полыньи и исчезло подо льдом на их глазах. Самое болезненное впечатление на перешедших через Днепр произвело оставление на берегу нескольких фур с ранеными, больными, с иностранцами и их женами и детьми, которые влачились от Москвы за отступавшей армией. Во время переправы Днепр оглашался воплями тонувших, провалившихся сквозь некрепкий лед, и нельзя было и думать переправлять тяжелые фуры. А вокруг и на том и на другом берегу рыскали казаки, то исчезая, то появляясь вновь. Вопли и мольбы, наконец, заставили офицеров попытаться переправить несколько фур, наполненных ранеными, женщинами и детьми. Но едва эти фуры спустились на замерзшую реку, как лед под ними подломился, и их всех поглотила холодная вода. С того берега Ней и успевшие переправиться солдаты слышали страшные вопли тонувших и рассказывали, что еще страшней была внезапная тишина, сменившая раздирающие душу крики погибающих в ледяной воде сотен людей. «Думали ли мы тогда, что еще позавидуем много раз тем, кто уже успокоился на дне Днепра?» — говорит один из солдат наполеоновской армии, переходивший Днепр с маршалом Неем.

Второй этап отступления ведь еще только начинался...

Ней и оставшиеся 800 бойцов пришли к Наполеону в Оршу. Наполеон молча сжал маршала в своих объятиях. Ней и дальше вызвался командовать в самом опасном месте: в арьергарде, а на этот арьергард наседали Платов с казаками и Милорадович с регулярной конницей. Один из активнейших участников преследования отступающих французов, русский генерал В. И. Левенштерн, дает такую оценку этому последнему фазису боев под Красным: «Ней сражался, как лев, но время побед для французов миновало... С наступлением ночи маршал Ней направился с слабыми остатками своего корпуса к Сырокоренью, и ему удалось, пройдя сквозь победоносную (русскую — *Е. Т.*) армию, перейти Днепр, который был покрыт тонким льдом. Этот подвиг будет навеки достопамятен в летописях военной истории. Ней должен бы был погибнуть, у него не было иных шансов к спасению, кроме силы воли и твердого желания сохранить Наполеону его армию».

18 ноября французский авангард на рассвете вошел в Оршу, а старая и молодая гвардия с Наполеоном вошла в Дубровну. Около часу дня 18 ноября Наполеон с гвардией уже выступил из Дубровны и 19-го вошел в Оршу. Отсюда он 20-го выступил

к Борисову, городу на левом берегу реки Березины, откуда он и думал начать по уцелевшему там мосту переправу на правый (западный) берег реки. Сколько было у Наполеона войск в этот наиболее критический момент отступления? Точного подсчета не сделали ни в Смоленске, ни в Орше. Даются очень отклоняющиеся одна от другой цифры: 90 тысяч человек, из них 35—40 тысяч боеспособных (во главе с почти нетронутой гвардией) и 50—55 тысяч безоружных, слабосильных, негодных к бою людей, только затруднявших движения Наполеона; дается и другая — минимальная — цифра: 55—60 тысяч человек, из которых 23—25 тысяч бойцов и 30—35 тысяч безоружных, больных, полузамерзших. Все показания сходятся на одном: у Наполеона было около 30—35 тысяч годных к бою людей, может быть, немного меньше или немного больше. Эти люди принадлежали больше всего к чисто французским частям. За ними тащились десятки тысяч итальянцев, немцев, поляков, голландцев, иллирийских славян, разноплеменных и разноязычных, не понимавших друг друга, ненавидевших друг друга и особенно свое начальство, рвущих друг у друга хлеб и те жалкие суррогаты пищи, которыми люди пытались утолить свой голод. Их засыпал снег, они мерзли, спотыкались и падали, голод и холод довели их до какого-то потемнения сознания. Они двигались, как автоматы, падали, замерзали, умирали молча, и товарищи шли мимо, даже не пытаясь им помочь. Вокруг носились казаки, налетали порой с криком «ура!» партизаны, били, кололи, рубили отстающих и обозников и скрывались, а иногда отрезывали целые отставшие части и принуждали к сдаче. Наполеон шел пешком в рядах старой гвардии, шел по глубокому снегу молча по нескольку километров.

Денис Давыдов оставил нам описание картины, всю жизнь стоявшей у него перед глазами: «...Подошла старая гвардия, посреди коей находился сам Наполеон... мы вскочили на коней и снова явились у большой дороги. Неприятель, увидя шумные толпы наши, взял ружье под курок и гордо продолжал путь, не прибавляя шагу. Сколько ни покушались мы оторвать хотя одного рядового от этих сомкнутых колонн, но они, как гранитные, пренебрегая всеми усилиями нашими, оставались невредимы; я никогда не забуду свободную поступь и грозную осанку сих, всеми родами смерти испытанных, воинов. Осененные высокими медвежьими шапками, в синих мундирах, белых ремнях, с красными султанами и эполетами, они казались маковым цветом среди снежного поля... Командуя одними казаками, мы жужжали вокруг сменявшихся колонн неприятельских, у коих отбивали отстававшие обозы и орудия, иногда отрывали рассыпанные или растянутые по дороге взводы, но колонны оставались невредимыми... Полковники, офицеры, урядники, многие

простые казаки устремлялись на неприятеля, но все было тщетно. Колонны двигались одна за другою, отгоняя нас ружейными выстрелами и издеваясь над нашим вокруг них бесполезным наездничеством... Гвардия с Наполеоном прошла посреди... казаков наших, как 100-пушечный корабль между рыбачьими лодками»[11].

Наполеон со своей гвардией приближался к смертельно опасному барьеру, который нужно было непременно взять или погибнуть.

Уже на третий день после выхода из Орши передовые разъезды его авангарда увидели перед собой мутную полосу воды. Перед ними простиралась довольно широкая река с очень илистыми берегами, еще не замерзшая, однако уже катившая первые небольшие льдины,— река, переправа через которую была бы нелегка даже и в обычное время, а при начавшемся замерзании переправа делалась еще труднее.

Это была Березина.

3

«Березина! Роковое имя, роковое место, где могли окончиться, но не окончились, а продлились еще на три года бедствия человечества! Место, где совершена была ужаснейшая ошибка, за которую Европа заплатила новыми сотнями тысяч жизней на полях Лютцена, Бауцена, Дрездена, Кульма, Лейпцига, Труа, Арси-сюр-Об, Линьи, Ватерлоо, новыми долгими годами разорения и военной грозы!» — так писали о Березинской переправе германские мемуаристы первой половины XIX в., когда еще не вымерло поколение, пережившее и перестрадавшее наполеоновскую эпопею. Наполеону удалось уйти — и всемирное побоище поэтому окончилось не в ноябре 1812 г., а только в июне 1815 г., когда Наполеон был окончательно побежден в кровавой последней своей битве при Ватерлоо. Под Березиной стратегический талант Наполеона развернулся во всю ширь и спас его от, казалось бы, неминуемой капитуляции. По мнению военных историков, вполне согласных в этом с Клаузевицем, Наполеон под Березиной не только «в полной мере спас свою честь, но даже приобрел новую славу». И все-таки, быть может, и наполеоновского гения не хватило бы в этих совсем отчаянных, совсем безвыходных обстоятельствах, если бы в русском лагере царила единая воля, или, точнее, если бы воля, от которой в русском лагере все зависело, в самом деле была направлена к тому, чтобы окружить и взять в плен французского императора.

Обратимся к тому, что можно было бы назвать «предысторией» огромной важности событий, разыгравшихся на берегах

Березины. Еще когда Кутузов, оставив Москву и перейдя на старую Калужскую дорогу, находился в Красной Пахре, туда явился Александр Иванович Чернышев, флигель-адъютант и любимец царя, и привез Кутузову план, выработанный военным окружением царя. И царь и его советники, начиная с этого же Чернышева, составляли свой план в том уютном царском кабинете Зимнего дворца, где Александр Павлович, собственно, и проделал всю кампанию двенадцатого года, т. е. царь сам никаких планов не составлял, а лишь «одобрял» планы царедворцев в эполетах. План был большой, разработанный и «неопровержимо» вел к тому, что Наполеон при отступлении будет окружен и взят в плен. Предполагалось, что он пойдет либо из Смоленска через Витебск, Бочейково и село Глубокое, и тогда его необходимо подстеречь на реке Уле, у местечка Чашников, или в другом месте берега этой реки, где Наполеон попытался бы перейти через Улу, либо, что было гораздо вероятнее, Наполеон предпочтет идти на Смоленск, Оршу, Борисов и Минск, где у него были заготовлены большие запасы продовольствия, и тогда подстеречь его должно у реки Березины, где он попытается через Борисово или иное место перейти реку. Река Ула, текущая на север и впадающая в Двину, и река Березина, текущая на юг и впадающая в Днепр, так близко протекают на известном протяжении одна от другой, что со стратегической точки зрения прохода между ними никак предполагать нельзя было.

Итак, на Уле или на Березине Наполеона должны встретить все военные силы России, какие там имеются (на северном фланге — Витгенштейн, на южном — Чичагов), и преградить ему возможность речной переправы; а так как с востока на запад, к Уле или к Березине, все равно, французов будет гнать главная русская армия Кутузова, то, следовательно, Наполеону останется только капитулировать. Таков был этот план в главных его чертах. Были разработаны и все подробности, и все выходило гладко и безошибочно. По крайней мере в Зимнем дворце план оказывался великолепным.

И вот тут-то, с момента, когда Чернышев привез этот план Кутузову, и начинает зарождаться березинская драма. Кутузов поступил в своем всегдашнем духе: он ничего не возразил по существу и направил соответственные распоряжения Витгенштейну и Чичагову, но он не одобрял этот план, не желал его осуществления и не верил в его осуществление. Он слегка, деликатно намекнул Александру насчет «трудностей» и сделал вид, будто принял план.

Однако царь очень хорошо понял натуру и отношение фельдмаршала к его царской особе. Царь не верил ни одному слову Кутузова и пустился на опаснейшее дело: за спиной и без ведо-

ма фельдмаршала он стал давать указания и советы (которые, исходя от царя, получали, конечно, значение повелений) как Витгенштейну, так и Чичагову. Получалась путаница, выходил разнобой и двоевластие, а кроме того, если у царя были люди, шпионившие за Кутузовым, то и у Кутузова были люди, державшие его более или менее в курсе того, что происходит в Зимнем дворце, в ставке Витгенштейна и в ставке Чичагова. Старый фельдмаршал все знал и учитывал, и если еще в Красной Пахре он не желал осуществления плана Александра, то теперь, когда наступила критическая минута, он его окончательно отвергал. И, конечно, вовсе не личные чувства руководили Кутузовым в его поступках в березинском деле. Это значило бы совсем не понимать Кутузова и подходить к очень большому человеку со слишком маленьким мерилом. Нет, Вильсон был более прав в своей оценке, чем Ермолов или Денис Давыдов, или ряд других наблюдателей и критиков: у Кутузова была определенная политическая цель, в которой он видел благо России, и эта цель заключалась, как уже сказано, в том, чтобы выгнать Наполеона из России, и ни шагу далее. Уничтожение вторгнувшейся армии было достигнуто Кутузовым, а больше ничего фельдмаршалу и не требовалось.

После всего, что было уже сказано, незачем останавливаться на радикально противоположной точке зрения царя. С этой царской точки зрения захватить в плен Наполеона и низвергнуть этим его с престола было важнее всего на свете. До царя уже доходило, как в Европе ждут именно этого решения.

В своем лондонском окружении русский посол в Англии, старый князь Воронцов, был решительно убежден, что Наполеон лично погибнет или, по крайней мере, попадет в плен, но ни в каком случае не окажется в Париже. «Кончилось тем, что стали бить этого тирана до тех пор, пока не будет разрушено все его колоссальное могущество, потому что я не вижу, как это чудовище избегнет смерти или плена» [12],— так писал старый Воронцов сыну 4 декабря 1812 г. Пометка на письме показывает, что письмо это дошло по назначению только 6 февраля 1813 г., т. е. когда не только Наполеон уже давно был в Париже, но когда уже полным ходом шли грандиозные приготовления французского императора к новой войне.

Воронцов, как и царь, не одобрял действий Кутузова.

Но Кутузов лучше всех знал, что ловить Наполеона, сидя в Зимнем дворце или в кресле перед камином в доме русского посольства в Лондоне, гораздо легче, чем сделать это на реке Березине. Он знал о страшных потерях русской армии, потерях и от боев, и от холода и голода. Правда, дух русской армии был выше всяких похвал, дисциплине подчинялись охотно, с готовностью, не из-за шпицрутенов. Все это было так, но численность

русской армии (именно после Красного, при наступлении морозов и исчезновении фуража) стала резко уменьшаться.

О присылке зимней одежды для солдат и ополченцев слышно было очень мало, и мерзли они люто в этом тяжелом пути.

О бедственном состоянии русской армии свидетельствует и Барклай.

Еще до перехода Наполеона через Березину и, следовательно, до перспективы его появления в Париже и организации новой армии Барклай уже не скрывал перед Александром, что русская армия не будет в состоянии в настоящем своем виде продолжать войну: «Ваша армия, государь, в дурном состоянии, потому что армия, в которой управление дезорганизовано, есть тело без души. Пока она еще действует в защиту отечества под влиянием патриотического народного духа, но после перехода через границу эта армия не будет соответствовать своему назначению, если она останется в нынешнем положении».

Кутузовский штаб говорил, что русская армия, которая шла по следам отступающего Наполеона, была так слаба, что истинное положение дел надо было утаивать «не только от неприятеля, но и от самих чиновников, в армии служащих». Вот численная сила русских войск ко времени занятия Вильны (к 10 декабря 1812 г.), по данным самого Кутузова.

В русской «главной армии» (т. е. той, которая шла от Тарутина до Вильны вслед за Наполеоном) оказалось к 10 декабря всего 27 464 человека и 200 орудий, а когда она выходила из Тарутина, в ней было 97 112 человек при 622 орудиях. Итак, за два месяца пути выбыло из строя 70 тысяч человек. Из них более или менее точному учету поддается только цифра в 60 тысяч: 48 тысяч больных лежали в госпиталях, 12 тысяч убиты в боях или умерли от ран и болезней. Правда, можно было надеяться к этой ничтожной цифре (27 464 человека) прибавить войска Витгенштейна (34 483 человека) и Чичагова (24 438 человек). Но эти армии Чичагова и Витгенштейна были для Кутузова не очень ясно учитываемой величиной, а уж в таланты обоих предводителей он и совсем мало верил.

При таких условиях «поймать» Наполеона не представлялось Кутузову делом весьма верным, и тактика фельдмаршала больше всего и вытекала из убеждения, что без определенного смысла проливать солдатскую кровь непозволительно.

Царь имел, конечно, в виду, что австрийские «союзники» Наполеона (т. е. Шварценберг со своим корпусом) не весьма стесняют Чичагова и что вообще эта «война» на южном фланге является скорее притворством и пародией на войну. Уже после открытия военных действий были известны очень успокоительные симптомы и сведения. Меттерних имел возможность дать знать Александру, что «настоящей» войны австрийцы против

русских вести не будут. Вот что писал генерал Тормасов генералу Сакену секретно еще 7 июля 1812 г. из Луцка: «В заключение поставляю обязанностью открыть вашему превосходительству, что по высочайшему удостоверению со стороны австрийской границы можем мы быть покойны, каковую важную тайну относительно безопасности нашей от австрийцев никому вверять не должно» [13]. Да и Наполеон уже с середины войны перестал верить в реальную помощь со стороны Австрии. Значит, Чичагов освобождался для своевременного активного участия в окружении и пленении Наполеона.

Витгенштейн на северном фланге был более связан. Весь конец лета и раннюю осень Витгенштейн простоял за Дриссой. Только когда к нему подошло петербургское ополчение, он начал действовать. 19 октября Витгенштейну удалось заставить Сен-Сира отступить от Полоцка, после чего русские заняли этот город, казаки же показались уже около Витебска. 30 октября Витгенштейн при Чашниках снова отбросил Сен-Сира к западу, причем были отброшены и подоспевшие на помощь Сен-Сиру войска маршала Виктóра, герцога Беллюнского. Затем, идя за отступающим Виктóром, Витгенштейн 6 ноября занял Витебск, а 14-го, когда Виктóр остановился у Смоленска (точнее — у Смольянцев), Витгенштейн снова отбросил его, взял пленных и несколько орудий.

И вот тут-то пресеклись сравнительно легкие подвиги Витгенштейна. Он знал, что именно нужно делать ему по диспозиции, заблаговременно ему сообщенной: идти дальше немедленно за Виктóром и принять участие в предстоявшем генеральном бою под Березиной, но непреодолимый страх перед встречей с Наполеоном сковал Витгенштейна. Полководец он был третьестепенный, и именно его-то и разгромил впоследствии, уже весной 1813 г., Наполеон в двух битвах — под Лютценом и Бауценом, когда, к несчастью русских войск, скончался Кутузов и Александр назначил Витгенштейна главнокомандующим. Милорадович тогда, после Бауцена, явился к Витгенштейну и сказал ему: «Благо отечества требует, чтобы вы были сменены», но теперь, под Березиной, и не думали сменять Витгенштейна. Он был предоставлен самому себе, и он «опоздал».

Но главная роль предназначалась не Витгенштейну, а Чичагову. Павел Васильевич Чичагов был адмиралом, побывал морским министром и пост командующего армией получил совершенно случайно. Еще в 1811 г. царь, который очень его любил, назначил его на несколько странный пост: «главнокомандующим Молдавией, Валахией и Черноморским флотом». Тут и застала его война 1812 г. В тот момент, когда ему пришлось выполнять дело колоссальной трудности («поймать» Наполеона), у Чичагова было под командой около 24½ тысяч человек. Го-

рячий человек, несколько фантазер, лишенный способности командовать большими массами, Чичагов навеки опозорил свою репутацию и свое историческое имя как раз на этой злосчастной для него Березинской переправе. Поколения русских детей знакомились по басне Крылова «Щука и кот» написанной специально по поводу Березины, с тем, как у щуки крысы хвост отъели, т. е. как *адмирал* потерпел на *сухом пути* неудачу. Поколения взрослых, учась истории, узнавали, как Чичагов испортил конец Отечественной войны, упустив Наполеона. Позднейшая военная историография, и русская и западноевропейская, смотрит на дело не так и «вину» раскладывает на трех лиц: Чичагова, Витгенштейна и Кутузова, но после всего сказанного выше незачем тут распространяться, что «вина» Кутузова не в том, что он не взял в плен Наполеона, которого он вовсе не хотел и не считал возможным взять в плен, но разве только в том, что он не высказался в этом смысле прямо и открыто.

Вот вкратце главные факты, которые нужно знать, чтобы отдать себе отчет в общем характере этого события.

16 ноября г. Минск, где огромные продовольственные и боевые запасы ждали Наполеона, был занят русскими войсками — авангардом армии Чичагова под начальством графа Ламберта. Наполеон узнал об этом уже через два дня, 18 ноября, еще до вступления в Оршу. Вскоре за тем Наполеона поразила весть, что Чичагов занял уже и Борисов. С этого момента Наполеон срочно рассылает приказы и Домбровскому, и Удино, и Виктóру, чтобы они как можно больше сил сосредоточили около Борисова [14], торопясь этим обеспечить себе переход по борисовскому мосту на правый берег Березины. Дееспособнее и удачнее всех оказался маршал Удино, которому Наполеон приказал двинуться на Борисов. Чичагов поручил графу Палену загородить путь Удино, но французский маршал наголову разбил отряд графа Палена, французская кавалерия бросилась на русскую пехоту и отбросила ее в лес около Борисова. Чичагов увел свою армию снова на правый берег, а французы вошли в Борисов. Остатки разбитого отряда графа Палена с трудом переправились несколько выше Борисова и уже на правом берегу соединились с Чичаговым.

25 ноября рядом искусных маневров и демонстраций Наполеону удалось отвлечь внимание Чичагова к Борисову и к югу от Борисова, и пока Чичагов стягивал туда свои силы, король неаполитанский Мюрат, маршал Удино и два видных инженерных генерала Эблэ и Шасслу поспешно строили два моста у Студянки.

В ночь с 25 на 26 ноября в Студянку вступила императорская гвардия, а на рассвете появился и Наполеон. Он приказал немедленно начать переправу. Под руками у него было в ту

минуту всего 19 тысяч бойцов. Переправа шла уже при перестрелке с отрядом генерала Чаплица, который первый заметил, что Наполеон уводит куда-то из Борисова свои войска. Наполеон велел занять прочно оба берега у наведенных мостов через Студянку. Весь день 26 ноября к нему подходили войска. В ночь с 26-го на 27-е Наполеон велел переправиться на правый берег маршалу Нею с остатками его корпуса и со всей молодой гвардией. Всю ночь и все утро 27 ноября продолжалась переправа, и французские батальоны один за другим переходили на правый берег. Во втором часу дня 27 ноября двинулась старая гвардия с Наполеоном. За старой гвардией пошли дивизии корпуса Викто́ра. Переправившаяся французская армия выстраивалась на правом берегу.

Вечером и ночью с 27 на 28 ноября на левый берег, еще не вполне оставленный всеми регулярными французскими войсками, стали прибывать огромные толпы безоружных и полубезоружных людей, отставших, больных, с отмороженными пальцами, а иногда и руками или ногами. За ними и вместе с ними стали переправляться обозы, а с обозами те несчастные иностранцы, вышедшие с французами из Москвы, которые еще уцелели во время отступления. Там было много женщин и детей. Они рвались к переправе, умоляли пропустить их поскорее, говорили о казаках, которые идут следом за ними, но их не пропустили. Наполеон приказал прежде всего переправить бойцов, а уж потом, если хватит времени, безоружных, раненых, женщин и детей, если же не хватит времени,— сжечь мосты.

Времени не хватило.

Бои 28 ноября были упорны, но они не сопровождались успехом для русских. Ни Чичагов, ни Витгенштейн не действовали так, как могли бы, принимая во внимание, что на правом берегу у Чичагова было 25 тысяч человек, а у Наполеона 19 тысяч, на левом же берегу у русских около 25—26 тысяч, а у маршала Викто́ра около 7—8 тысяч бойцов. В 9 часов утра 29 ноября при воплях и молениях тысяч раненых, безоружных и всех тянувшихся с обозами генерал Эблэ приказал сжечь оба построенные им и Шасслу моста. После этого казаки налетели на оставшуюся многотысячную, беспорядочную толпу оставленных, пошла рубка и стрельба.

Что же делали русские военачальники в эти решающие дни?

Чичагов уже утром 27 ноября узнал о необычайном движении около Студянки, он думал, что это лишь демонстрация с целью обмануть его, и весь этот день провел в деревне Забашевичи. Между тем после ухода французских войск (прежде стоявших в Борисове) к Студянке — для переправы — в Борисов

прибыл «опоздавший» Витгенштейн. Но явился он только со штабом, без армии...

Все было кончено: Наполеон с армией перешел по наведенным мостам через Березину раньше, чем трое русских генералов, которые должны были «завязать его в мешок», явились на место действия. Кутузов не только простоял два дня в Копысе, но и от Копыса до Березины делал такие частые дневки и привалы, каких даже он никогда не делал до сих пор. Он-то сам знал, зачем он это делает. А не отвечать на вопросы, на которые он не хотел ответить, старый фельдмаршал умел так, как никто.

4

Рассказав о Березинской переправе, я хочу теперь познакомить читателя хоть в нескольких словах с полемикой, возгоревшейся вокруг этого события. Эта полемика внесла некоторые важные уточнения.

В анонимной английской книге, переведенной в 1833 г. на русский язык с «посвящением» Чичагову, была предпринята решительная попытка оправдать адмирала [15]. Автор, называющий себя очевидцем и участником дела, утверждает, что Чичагов прибыл на правый берег Березины один, только с 15 тысячами пехоты и 9 тысячами кавалерии, а Витгенштейн появился на левом берегу, когда переправа уже совершилась. Что касается Кутузова, то его авангард был в это время только еще в Толочине, т. е. почти в 115 километрах к востоку от переправы, не говоря уже о главных силах Кутузова, бывших приблизительно в 150—160 километрах, в местечке Копысе.

Около Минска в руки французов попал отряд из 50 казаков, охранявший курьера, который вез Чичагову из Петербурга важные бумаги. Из перехваченных бумаг Наполеон узнал, что Александр требует соединения Чичагова с Витгенштейном у Березины. Но ни Витгенштейн, ни Чичагов, уже знавшие этот приказ, все равно не спешили его выполнить, и аноним, автор указанной книги (за которым явно стоит сам Чичагов), силится всеми способами доказать, что у Чичагова были разумные основания так терять время, как он его терял, например остановка на несколько дней в Минске объясняется «ковкой лошадей» и раздачей провианта и т. п. Но ведь подобных же оправданий и у Витгенштейна и у Кутузова было в запасе сколько угодно. Они просто все трое не желали встречи с Наполеоном и не встретились с ним.

С 21 ноября г. Борисов был занят русскими под начальством генерала Ламберта. Но маршал Удино бросился, как уже сказано, на Борисов, разбил наголову высланную против него диви-

зию Палена, отбросил русских от Борисова и занял город. Вот как дальше аноним (т. е. Чичагов) излагает события. Еще 23 ноября Чичагов не имел никакого понятия о том, где находится Витгенштейн, а между тем Наполеон с главными силами подходил к Березине и 24 ноября прибыл к высотам между Неманцом и Борисовом. К нему шел маршал Виктóр, отбиваясь от Витгенштейна. В битве у Смольянцев 15 ноября, удачной для русских, Витгенштейн отбросил Виктóра и взял пленных... После Смольянцев Витгенштейн почему-то потерял пять дней в бездействии. И тут, вдруг, Витгенштейн, вместо того, чтобы дальше идти за Виктóром на Радуличи, пошел по совсем другому направлению — на местечко Баран — и в решающий момент не оказался на месте. Целых четыре дня Чичагов после этого не получал никаких известий ни от Витгенштейна, ни от Кутузова, который продолжал оставаться в неподвижности, не трогаясь от Копыся.

«Кутузов с своей стороны, избегая встречи с Наполеоном и его гвардией, не только не преследовал настойчиво неприятеля, но, оставаясь почти на месте, находился все время значительно позади»,— говорит в своих «Записках» Денис Давыдов. Это не помешало Кутузову, сообщает далее Давыдов, писать Чичагову, будто он, Кутузов, уже «на хвосте неприятельских войск», и поощрять Чичагова к решительным действиям. Кутузов при этом пускался, по уверению Давыдова, на очень затейливые хитрости: он помечал свои приказы Чичагову задним числом, так что адмирал ничего понять не мог и «делал не раз весьма строгие выговоры курьерам, отвечавшим ему, что они, будучи посланы из главной квартиры гораздо позднее чисел, выставленных в предписаниях, прибывали к нему в свое время» [16]. А на самом деле Кутузов все оставался на месте в Копысе.

Эти неправильно датированные приказы Кутузова и полное его молчание одинаково выбивали из-под ног Чичагова всякую почву.

25 ноября Наполеон, как уже упоминалось, приказал частям своей армии, стоявшим в Борисове, делать большие демонстративные движения, выдвигать большую артиллерию, чтобы обмануть Чичагова (стоявшего на правом берегу) и чтобы заставить его думать, будто Наполеон перейдет реку у Борисова. Когда все уже совершилось, Наполеон сказал и за ним повторили это очень многие военные историки, что он обманул Чичагова, отвлекши его внимание от того места (Студянки), где Наполеон на самом деле решил переправиться через Березину.

«Этот глупый адмирал!» — так называл Чичагова Наполеон. Автор примечаний к анонимной английской книге, о которой я сказал выше, решительно протестует. «В чем состоит обман?» — с горечью спрашивает он. Все места возможной переправы

были учтены Чичаговым, но что же он мог поделать против наполеоновских сил, когда его так страшно подвели? Да, был обман, но не Наполеон обманул его, а Витгенштейн и Кутузов: «Поистине был обман. Первое — в надежде прибытия генерала Эртеля (присылки которого просил, но не добился Чичагов), второе — соединение генерала Витгенштейна (которое не состоялось), третье — преследование генерала Кутузова (который и не думал догонять и преследовать Наполеона)». Истребление части не переправившейся через Березину дивизии генерала Партуно и взятие в плен оставшейся части было плохим утешением.

На другой день после Березинской переправы Роберт Вильсон писал в Петербург лорду Каткэрту, конечно, для сообщения Александру, что в неудаче виноват не Чичагов, а Кутузов, нарочно потерявший четыре дня, прекративший преследование и не тревоживший тыл Наполеона в самый критический момент: «Я ни от кого не слышал, чтоб адмирал Чичагов заслужил неодобрение. Местное положение было таково, что не позволяло ему идти на неприятеля. Мы (т. е. Кутузов, в штабе которого пребывал Вильсон — *Е. Т.*) виноваты потому, что два дня были в Красном, два дня в Копысе, почему неприятель оставался свободным сзади, что есть немаловажная выгода, когда предстоит переходить через реку, имея перед собою неприятное ожидание найти две противные армии» [17] (Чичагова и Витгенштейна).

Но кто бы ни был виноват, вернуть упущенное, поправить непоправимое было нельзя. Наполеон ушел.

Взоры всех обратились к зрелищу окончательной агонии остатков великого полчища. Эта агония развернулась именно после Березины.

5

У очевидцев и участников дела с Березиной навсегда соединились в памяти: стратегическая победа Наполеона над русскими тогда, когда, казалось, ему грозила полная гибель, и вместе с тем страшная картина побоища уже после перехода императора с гвардией и остатками армии на западный берег реки.

«Видишь ли деревни Брилово и Стахово? Там Наполеон дал нам кровопролитнейший бой; сильные батареи с того отлогого берега прикрывали его переправу и целый день дрались на ней с переменным счастием. Здесь величайший из полководцев достигнул своей цели. Хвала ему!» Так пишет инженерный офицер армии Чичагова Мартос. Он дает и картину того, что увидел, когда вместе с Чичаговым подъехал к месту битвы уже после удавшейся Наполеону переправы и ухода его войск: «Ввечеру того дня равнина Веселовская, довольно пространная, представ-

ляла ужаснейшую, невыразимую картину: она была покрыта каретами, телегами, большею частью переломанными, наваленными одна на другую, устлана телами умерших женщин и детей, которые следовали за армией из Москвы, спасаясь от бедствий сего города или желая сопутствовать своим соотечественникам, которых смерть поражала различным образом. Участь сих несчастных, находящихся между двумя сражающимися армиями, была гибельная смерть; многие были растоптаны лошадьми, другие раздавлены тяжелыми повозками, иные поражены градом пуль и ядер, иные утоплены в реке при переправе с войсками или, ободранные солдатами, брошены нагие в снег, где холод скоро прекратил их мучения... По самому умеренному исчислению, потеря простирается до десяти тысяч человек...» Наряду с этими мрачными картинами сохранились и другие воспоминания очевидцев, рисующие порой великодушное, гуманное отношение русских войск к побежденному врагу. «Была ужасная метель, я заблудился и был совершенно один»,— пишет генерал Левенштерн. Лошадь принесла его, уже замерзавшего, к русским бивуачным огням. «В лесу, возле которого находился наш бивуак, было множество французов, приютившихся там на ночлег. Они вышли ночью из леса без оружия и пришли погреться к нашим кострам. Велико было наше удивление, когда мы увидели поутру вокруг каждого костра человек сорок или пятьдесят французов, сидевших в кружок на корточках и не выказывавших ни малейшего страха перед смертью. Добрый, прекрасный Карпенко велел разложить еще несколько костров. Тогда вышло из леса несколько тысяч французов, которые расположились возле огня. Карпенко беспощадно рубивший неприятеля, когда он стоял к нему лицом к лицу, продлил тут жизнь многим из этих несчастных» [18].

Русская армия тоже жестоко страдала в эти дни от лютых холодов: «После переправы через Березину настали страшные морозы. Я не мог проехать верхом более десяти минут, и так как снег не позволял долго идти пешком, я то садился на лошадь, то слезал с нее и разрешил моим гусарам проделывать то же самое. Я предохранял свои ноги от мороза, засовывая их в меховые шапки французских гренадер, коими была усеяна дорога. Мои гусары страшно страдали... Сумский полк насчитывал не более ста двадцати лошадей, годных идти в атаку... Наша пехота была видимо расстроена. Ничто не делает человека столь малодушным, как холод: когда солдатам удавалось забраться куда-нибудь под крышу, то не было никакой возможности выгнать их оттуда. Они предпочитали умереть. Рискуя сгореть, солдаты забирались даже в русские печи. Надобно было видеть все эти ужасы собственными глазами, чтобы поверить этому» [19],— так описывает русский гусарский генерал Левен-

штерн состояние русской армии, шедшей за отступающими французами. Это описание похоже на то, что мы знаем из французских свидетельств о состоянии в эти же дни остатков армии Наполеона... Обе армии, и преследуемых французов и идущих за ними русских, приближались к Вильне в ужасающем виде.

«Никогда еще человеческие бедствия не проявлялись в столь ужасающем виде. Все окрестные деревни были выжжены до основания, жители разбежались, нигде нельзя было найти продовольствия. Только одна водка поддерживала наши силы. Мы бедствовали не менее неприятеля»,— пишет Левенштерн. До Вильны добралось меньше одной трети русской армии, которая начала преследование Наполеона от Малоярославца. «Преследовать неприятеля было поручено казакам; русская армия не пошла далее Вильны. Ей необходим был отдых, так как она еле двигалась» [20].

Положение французской армии в это время было совсем катастрофическим.

Инженерный офицер армии Чичагова Мартос дает и дальнейшую картину того, что увидел на Березине: «Невольный ужас овладел нашими сердцами. Представьте себе широкую извилистую реку, которая была, как только позволял видеть глаз, вся покрыта человеческими трупами; некоторые уже начинали замерзать. Здесь было царство смерти, которая блестела во всем ее разрушении. Первый представившийся нам предмет была женщина, провалившаяся и затертая льдом; одна рука ее отрублена и висела, другой она держала грудного младенца. Малютка ручонками обвился около шеи матери; она еще была жива, она еще устремляла глаза на мужчину, который тоже провалился, но уже замерз, между ними на льду лежало мертвое дитя... Ветер и мороз были прежестокие, все дороги замело снегом, по ближнему полю шатались толпами французы. Одни кое-где разводили огонь и садились к нему, другие резали у лошадей мясо и глодали их кости, жарили его, или сырым; скоро показались люди замерзлые и замерзающие. Никогда сии предметы не изгладятся из моей памяти». Бесконечная дорога была сплошной «улицей мертвых тел». Русские раненые были здесь не в лучшем положении, чем французы: «Давно не помню я столь тягостного для себя дня. Деревушка была завалена нашими и французскими ранеными и пленными, коих так много увеличивалось, что и девать было почти некуда. Ужасно было видеть их: большие и малые, все вместе, мужчины и женщины, с обмотанными соломой ногами, прикрытые какими-то тряпками, без сапог, с отмороженными лицами, с побелевшими руками» [21].

Нестерпимый голод дошел в эти дни до последней крайности. Меня интересовали точные и правдивые данные о случаях

поедания человеческих трупов в начале отступления французской армии, и я подобрал и привел эти данные в соответствующем месте. Но загромождать свою книгу обильнейшими показаниями, касающимися того же предмета и относящимся к последнему месяцу отступления, а особенно к последним дням его, я считаю совершенно излишним. Это — факт, для времени конца отступления давно и точно установленный, общеизвестный и подтверждаемый многочисленными свидетельствами.

«Очевидные свидетели: г. Штейн, Муравьевы, Феньшау и пр., утверждают, что французы ели мертвых своих товарищей. Между прочим они рассказывали, что часто встречали французов в каком-нибудь сарае, забравшихся туда от холода, сидящих около огонька на телах умерших своих товарищей, из которых они вырезывали лучшие части, дабы тем утолить свой голод, потом, ослабевая час от часу, сами тут же падали мертвыми, чтобы быть в их очередь съеденными новыми едва до них дотащившимися товарищами»,— читаем в «Собственноручной тетради» Алексея Николаевича Оленина [22]. Таких свидетельств о состоянии французской армии в ноябре — декабре 1812 г. сколько угодно.

К голоду прибавилось новое страшное бедствие. Как раз после Березины начались большие морозы. До тех пор они не только не могли назваться очень суровыми, но, напротив, перемежались с днями потепления. Вспомним, что ведь и Днепр еще только был покрыт тонким слоем льда, когда маршал Ней совершил 18 ноября свою отчаянную и бедственную переправу. Наконец, 25—28 ноября именно потому и пришлось Наполеону наводить мосты и переходить по мостам через Березину, что река еще не замерзла.

Но вот с 28 ноября начались морозы, достигавшие 20—22—23 и даже 28 градусов по Реомюру и державшиеся до 12 декабря. По ночам дважды доходило до 30 градусов. Это новое бедствие окончательно сокрушило остатки наполеоновской армии. Люди, плохо одетые, не могли более двигаться, падали и замерзали. «День 8 декабря был самым роковым. Герцог Беллюнский (маршал Викто́р) явился один, весь арьергард покинул его, люди гибли от холода... Артиллерия погибла вследствие недостатка лошадей. Все погибло»,— читаем мы в донесении маршала Бертье Наполеону об этих последних днях пребывания французской армии в России. В корпусе Вреде до наступления больших холодов было 8 тысяч человек, а осталось от него только 2 тысячи человек. Маршал Ней составил из этого арьергард.

«Бо́льшая часть артиллерии приведена в негодность вследствие падежа лошадей и вследствие того, что у большинства канониров и фурлейтов отморожены руки и ноги... Дорога усеяна замерзшими, умершими людьми... Государь, я должен сказать вам

всю правду. Армия пришла в полный беспорядок. Солдат бросает ружье, потому что не может больше держать его; и офицеры и солдаты думают только о том, как бы защитить себя от ужасного холода, который держится все время на 22—23 градусах. Офицеры генерального штаба, наши адъютанты не в состоянии идти. Можно надеяться, что в течение сегодняшнего дня мы соберем вашу гвардию... Мы неминуемо потеряем значительную часть артиллерии и обоза... Неприятель преследует нас все время с большим количеством кавалерии, орудиями на санях и небольшим отрядом пехоты». Все это пишет начальник штаба маршал Бертье, князь Невшательский, Наполеону в рапорте, который я нашел впервые в архиве Государственного секретариата Наполеона I в Париже. Донесение помечено: «Вильна, 9 декабря, 5 часов утра».

А вот и другое донесение Бертье, найденное мною там же. Этот рапорт помечен уже Ковно и датирован 12 декабря 1812 г. «Меры, принятые для пребывания в Вильне, сведены на нет благодаря отсутствию дисциплины и преследованию со стороны неприятеля. Генерал Вреде принужден отступить. Король (Мюрат — *Е. Т.*) приказывает за ночь очистить город. Герцог Эльхингенский (маршал Ней — *Е. Т.*) вынужден сжечь всю артиллерию и весь обоз в полукилометре от Вильны. Мороз — 25 градусов».

Мороз буквально истребляет (и очень быстро) остатки французской армии; истощенные страшным длительным голодом и измученные переходами по глубокому снегу, люди погибают тысячами от холода. Изношенные лохмотья, в которые обратились их одежды, и рваные истоптанные сапоги не могут защитить от крепких морозов. «Мороз измучил всех, у большинства людей руки и ноги отморожены... Ваше величество знаете, что в полутора лье от Вильны есть ущелье и очень крутая гора; прибыв туда к 5 часам утра, вся артиллерия, ваши экипажи, войсковой обоз представляли ужасное зрелище. Ни одна повозка не могла проехать, ущелье было загромождено орудиями, а повозки опрокинуты... неприятель... обстреливал дорогу... Это и был момент окончательной гибели всей артиллерии, фур и обоза, герцог Эльхингенский (Ней — *Е. Т.*) приказал сжечь все это... Чрезвычайный мороз и большое количество снега завершили дезорганизацию армии, большая дорога была сплошь занесена снегом, люди теряли ее и падали в окружающие дорогу рвы и ямы». Бертье констатирует полную гибель той главной, центральной армии, которая шла с Наполеоном от Малоярославца до Березины и дальше: «Я принужден сказать вашему величеству, что армия в полнейшем беспорядке, как и гвардия, которая состоит всего из 400 или 500 человек; генералы и офицеры потеряли все, что у них было, у большинства

из них отморожены те или другие части тела, дороги усеяны трупами, дома наполнены ими». Порядок, дисциплина исчезли. «Вся армия представляет собой одну колонну, растянувшуюся на несколько лье, которая выходит в путь утром и останавливается вечером без всякого приказания; маршалы идут тут же, король (Мюрат — *Е. Т.*) не считает возможным остановиться в Ковно, *так как нет более армии...* В данную минуту, государь, с нами ведет войну не неприятель, а ужаснейшее время года, мы держимся только благодаря нашей энергии, но вокруг нас все замерзает и не в состоянии приносить никакой пользы. Посреди всех этих бедствий вы можете быть уверены, ваше величество, что все, что окажется в силах человеческих, будет сделано ради спасения чести вашего оружия. Двадцать пять градусов мороза и обильный снег, покрывающий землю, служат причиной бедственного состояния армии, более не существующей». У маршала Бессьера (герцога Истрийского — *Е. Т.*) «замерзло и умерло 11 офицеров и около тысячи солдат», а у него под командой, заметим, их и всего было до наступления морозов около 1200 человек.

Эти донесения Бертье по существу отчасти сходятся с тем его донесением, которое было перехвачено казаками и опубликовано в России уже вскоре после войны. Любопытно, что, даже по наблюдениям ненавидящего французов и Наполеона английского комиссара Вильсона, французские солдаты в это убийственное для них время отступления дошли до потери всех стимулов и чувств во имя одного только непосредственного инстинкта самосохранения, но «за одним только почетным для французов исключением: будучи взяты в плен, они никакими искушениями, никакими угрозами, никакими лишениями не могли быть доведены до того, чтобы упрекнуть своего императора как причину их бедствий и страданий. Они говорили все о «превратностях войны», о «неизбежных трудностях», о «судьбе», но *не* о вине Наполеона».

Маршалу Нею еще удалось в эти бедственные дни собрать между Березиной и Вильной кучку боеспособных людей и часами отстреливаться от русских. Но это было исключением.

Русское преследование ослабело в эти дни жесточайших морозов. Попасть в плен к регулярным русским войскам было мечтой погибающих французских солдат.

Вот сцена, зарисованная очевидцем.

Витгенштейн дал некоторый роздых своим войскам по пути от Полоцка. Солдаты уже уселись за щи и кашу. Сбившись в кучу, французы, сдававшиеся отряду в плен, голодные, полузамерзшие (как говорит очевидец этого происшествия), «устремили на пищу полумертвые глаза свои. Несколько русских солдат, оставя ложки свои, встали и сказали прочим товари-

цам: «Ребята, что нам стоит не поесть! Уступим наше горячее французам!» Вдруг все встали, а пленные французы тотчас бросились к пище, не могши скрыть своего удивления». Аналогичные случаи кое-где приводятся и в воспоминаниях солдат, офицеров и врачей наполеоновской армии.

Русская армия в последнее время войны сильно голодала. «Лишения, которым подвергались войска в переходе в особенности от Березины до Вильны, были ужасны. Как офицеры, так и солдаты постоянно нуждались в продовольствии».

Только казаки атамана Платова, которым удавалось иной раз отбить у французов или достать на стороне немного провианта, изредка позволяли, например, гвардейскому Финляндскому полку, по словам его историков, спасаться от мучений голода. Не было и речи о правильном подвозе провианта. «После перехода старые солдаты, несмотря на усталость, снимали ранцы и отправлялись в сторону, за несколько верст, добывать хлеба, зерна или чего съестного для себя и товарищей». Гвардейские офицеры по два, по три человека «отправлялись, подобно нижним чинам, в сторону за несколько верст добывать что попадется для своего и товарищей продовольствия. Подобные попытки часто сопряжены были с большими затруднениями». Эти «большие затруднения» заключались в том, что измученные страшным морозом, усталостью, не евшие по суткам солдаты и офицеры возвращались с отмороженными руками или ногами, а иногда и вовсе уже не возвращались, заплатив жизнью за тщетную попытку найти где-нибудь хоть кусок черствого хлеба.

Кутузов знал, как терпит армия, и знал, что солдаты настроены так, что забывают и холод и голод, думая только о довершении победы. Приучив их слепо верить всему, что он им скажет, он отдавал себе отчет в том, что не может тут же, на ходу, в этих ужасных условиях искоренить злоупотребления, от которых страдает русское войско, но вместе с тем видел всю необходимость двигаться и двигаться безостановочно, выпроваживая Наполеона из России. После Суворова никто не умел так говорить с солдатом, как Кутузов, и вот как он в эти голодные и холодные дни объяснялся с войсками.

«Главнокомандующий на походе, обгоняя колонны, иногда беседовал с солдатами. Подъехав однажды к лейб-гвардии Измайловскому полку, князь Кутузов спросил: «Есть ли хлеб?» — «Нет, ваша светлость».— «А вино?» — «Нет, ваша светлость».— «А говядина?» — «Нет, ваша светлость». Приняв грозный вид, князь Кутузов сказал: «Я велю повесить провиантских чиновников. Завтра навезут вам хлеба, вина, мяса, и вы будете отдыхать».— «Покорнейше благодарим!» — «Да вот что, братцы: пока вы станете отдыхать, злодей-то не дожидаясь вас, уйдет!»

В один голос возопили измайловцы: «Нам ничего не надо, без сухарей и вина пойдем его догонять!» Таков рассказ очевидца.

Сегюр, переживавший эти дни вместе с французской армией, утверждает, что через Березину с Наполеоном переправилось в общем, считая с безоружными, отставшими, ранеными, больными, около 60 тысяч человек, что уже на правом берегу, от Березины до Молодечно, к ним присоединилось еще до 20 тысяч войск (из корпусов, оставшихся на флангах), что из этой общей массы в 80 тысяч человек 40 тысяч погибли на пути от Березины до Вильны, а бо́льшая часть из этих 40 тысяч погибла именно между Молодечно и Вильной [23] и еще очень многим суждено было погибнуть между Вильной и Неманом. От Березины до Молодечно мороз был свирепым. Реомюр не показывал ни разу меньше 21 градуса ниже нуля, но во время перехода от Молодечно до Вильны мороз усилился. В Вильну вошли при 27 градусах мороза.

Описать, что творилось в эти дни отступления от Березины до Вильны и от Вильны до Ковно, никому из переживших этот путь не удалось. Они бросали рассказ, говоря, что словами нельзя передать все, что они видели. Дорога на десятки километров была усеяна валявшимися трупами. Кое-где солдаты делали себе берлогу из трупов товарищей, сложенных на крест, как укладываются бревна при постройке сарая или избы.

9 декабря первые толпы полузамерзших, изголодавшихся людей вошли в Вильну. Здесь сразу же, как в опьянении, они бросились разбивать и растаскивать склады, чтобы успеть насытиться и обогреться, пока их не отгонят и не вырвут у них куска те, кто войдут в город за ними. Уже на другой день первые русские отряды стали подходить к Вильне. Генерал Луазон, уцелевшая часть корпуса которого еще сохранила боеспособность, пробовал защищать Вильну, но у него из 15 тысяч человек только за три последних дня перед Вильной погибло от холода 12 тысяч. Примерно так же слаб был и отряд баварского генерала Вреде. Ней взял на себя командование отступлением из Вильны к Ковно, к Неману. Платов с казаками был уже в предместье Вильны. Ней двигался, отстреливаясь от наседавших казаков, от Вильны к Неману, устилая трупами солдат всю дорогу. Он вошел в Ковно 13-го в ночь и успел накормить там своих замученных солдат.

Вот путевые впечатления Дениса Давыдова, который 12 и 13 декабря ехал из Новых Трок в Вильну, куда ему приказано было явиться к Кутузову: «От Новых Трок до села Понари мы следовали весьма покойно. У последнего селения, там, где дорога разделяется на две, идущие одна на Новые Троки, другая на Ковно, груды трупов человеческих и лошадиных, множество повозок, лафетов и палубов едва давали мне возможность

следовать по этому пути; множество раненых неприятелей валялось на снегу или, спрятавшись в повозках, ожидало смерти от действия холода и голода. Путь мой был освещен заревом пылавших двух корчем, в которых горело много несчастных. Сани мои ударялись об головы, руки и ноги замерзших или почти замерзающих: это продолжалось во все время движения нашего от Понарей до Вильны. Сердце мое разрывалось от стонов и воплей разнородных страдальцев. То был страшный гимн избавления моей родины!» [24]

В Вильне, в Ковно до самых последних дней не знали о поражении Наполеона.

Еще 2 декабря 1812 г. в Ковно торжественно, с иллюминацией, праздновалась годовщина коронации Наполеона, а 6 декабря было получено известие о победе, якобы одержанной императором у реки Березины [25]. У русских будто бы взято 9 тысяч человек пленных, 12 пушек, победа это одержана над объединенными корпусами адмирала Чичагова и Витгенштейна. «Это известие объявлено в городе при барабанном бое, и на углах улиц об этом наклеены объявления; вечером город был иллюминован»,— читаем в дневнике одного ковенского обывателя [26].

Даже увидя с изумлением голодную обмерзшую, несчастную толпу французских солдат, не все сразу поняли окончательный и непоправимый разгром наполеоновской армии. Виленские, ковенские обыватели еще беспрекословно повиновались маршалу Нею. В Ковно были склады, и солдаты несколько подкрепились за немногие часы пребывания в городе.

На рассвете 14 декабря началась перестрелка с русским, очень, впрочем, незначительным отрядом, который подошел к Ковно и пытался воспрепятствовать переходу Нея через Неман. Часть русских перебросилась через замерзшую реку, чтобы встретить Нея огнем с того берега. Нею удалось их оттеснить. В течение дня он готовился к переходу. При нем было несколько тысяч человек, но не более одной — полутора тысяч боеспособных в лучшем случае.

Некоторые источники утверждают, что даже и 800 человек боеспособных у него не было. В восемь часов вечера 14 декабря 1812 г., уже переправив свой отряд на прусский берег, маршал Ней со свитой из нескольких офицеров последним перешел через мост.

Обо всех этих трагических событиях Наполеону докладывали уже в Париж: 6 декабря Наполеон в местечке Сморгони покинул армию, передав главное командование ее остатками королю неаполитанскому Мюрату.

Когда Наполеон в местечке Сморгони собрал маршалов и объявил им о своем намерении, некоторые из них слабо проте-

стовали только с той точки зрения, что отъезд императора окончательно развалит армию. Но армия и без того уже фактически не существовала, и этот аргумент отпал. Бегством для спасения лично себя Наполеон свой отъезд не считал, и маршалы не считали: армия шла к Вильне и Ковно, и Наполеон опередил ее лишь на 8 дней (он уехал 6-го, а последний эшелон ушел за Неман 14 декабря). И в эти восемь дней лично Наполеону ничто уже не грозило, и его присутствие ничего не могло изменить к лучшему. Отъезд же Наполеона был, с точки зрения военно-политической, необходим для скорейшего создания новой армии взамен только что погибшей: было ясно, что поражение, понесенное императором в России, подымет против него или всю Европу или часть ее и прежде всего Пруссию, куда не сегодня-завтра вступят русские войска.

Наполеон ехал в санях с Коленкуром, польским офицером Вонсовичем и одним мамелюком — слугой. Коленкур рассказал в своих воспоминаниях о полном спокойствии императора во время всего пути. Наполеона, по-видимому, очень мало взволновало все случившееся, и он всецело был поглощен заботами и соображениями о предстоящей уже новой грандиозной войне, о войне будущего 1813 г. Он ехал через Вильну, Ковно, Варшаву. В Варшаве он «казался иногда веселым и спокойным, даже шутил и сказал между прочим: «Я покинул Париж в намерении не идти войной дальше польских границ. Обстоятельства увлекли меня. Может быть, я сделал ошибку, что дошел до Москвы, может быть, я плохо сделал, что слишком долго там оставался, *но от великого до смешного — только один шаг* (курс. мой — *Е. Т.*), и пусть судит потомство» [27].

Так (по достоверным показаниям) беседовал Наполеон сейчас же после этой войны. Что *смешного* мог он найти в неслыханных ужасах, которыми был ознаменован финал его нашествия на Россию, осталось его тайной. Но сама эта фраза, чудовищная в устах всякого другого человека, была до такой степени в духе и в стиле Наполеона, так была похожа на него, что показалась естественной и ничьего негодования или хотя бы изумления тогда не возбудила. Эта фраза стала даже поговоркой.

Для Наполеона русский поход был только проигранной партией. Он был уже поглощен новой, готовившейся партией и обдумывал, как лучше ее выиграть.

Он не знал еще тогда, что рана, нанесенная ему русским народом, окажется неизлечимой и покончит его мировую империю.

6

Русский поход кончился. В течение второй половины декабря уцелевшие части отряда Макдональда и кучки отставших,

затерявшихся в литовских лесах, продолжали переходить в Пруссию. В общем несколько менее 30 тысяч человек оказалось в распоряжении сначала Мюрата, которому Наполеон, уезжая, передал верховное командование, а потом, после отъезда Мюрата, в распоряжении вице-короля Италии Евгения Богарне.

И это было все, что осталось от «великой армии», от 420 тысяч человек, перешедших по четырем мостам через тот же Неман 24 июня 1812 г., и от тех 150 тысяч человек, которые потом к этой армии постепенно присоединились.

10 декабря Платов с казаками вошел в Вильну, а вслед за ними вступил в Вильну и сам князь Кутузов со всем штабом и многочисленной свитой. Почти тотчас же стало известно, что и царь выезжает из Петербурга в Вильну, к армии.

В пути, из Полоцка, 9(21) декабря Александр писал Кутузову, что будет на другой день в Вильне и что не желает никаких встреч. «С нетерпением ожидаю я свидания с вами дабы изъявить вам лично, сколь новые заслуги, оказанные вами отечеству и, можно прибавить, Европе целой, усилили во мне уважение, которое всегда к вам имел. Пребываю навсегда вам доброжелательным. Александр» [28]. Редко когда царь до такой степени был раздражен на Кутузова и так твердо решил от него тем или иным способом отделаться, как именно в этот момент.

Александр прибыл 23 декабря в Вильну с Аракчеевым. Приходилось царю ломать комедию, всячески превозносить и награждать ненавистного Кутузова, символ победы, олицетворение торжества русского народа, избавления России от страшной опасности. Все это проделано было Александром для публики, для народа, и проделано с отличавшей царя выдержкой и уменьем соблюсти на людях приличие. Царь, который еще совсем недавно изливал свое истинное чувство к фельдмаршалу, написав по его адресу на одном раздражившем его докладе Кутузова (о Яшвиле и калужском ополчении) *«какое канальство»,* теперь нашел самые ласковые слова и самые нежные модуляции голоса, чтобы приветствовать спасителя России — так принято было теперь именовать Кутузова,— но более чем когда-либо царь и фельдмаршал в этот момент расходились в своих политических воззрениях, в своих взглядах на задачу дня.

Для Кутузова война с Наполеоном кончилась в тот момент, когда Ней со своими немногими спутниками перешел по неманскому мосту на прусский берег. Для Александра эта война только начиналась. Это было все то же безнадежное разногласие, которое несколько раз уже было нами отмечено выше. Спасли Россию; «спасать» ли Европу или остановиться,

примириться с Наполеоном и предоставить державам европейского континента бороться самим за свое освобождение от тирании завоевателя, а Великобритании — бороться самой за свое торгово-промышленное верховенство над земным шаром? «Да, спасать Европу и помогать Англии»,— отвечал на этот вопрос Александр. «Нет»,— отвечал Кутузов.

Александр до такой степени не понимал, в каком состоянии русские солдаты пришли в Вильну, что упорно предлагал, не останавливаясь, продолжать преследование. Тогда Кутузов категорически и уже в письменной форме заявил царю, что если русскую армию, не дав ей как следует отдохнуть, заставят пройти еще хоть немного дальше, то она просто перестанет существовать: «Признаться должно, если бы, не остановясь, продолжать еще движение верст на полтораста, тогда, может быть, расстройство дошло до такой степени, что надо было бы, так сказать, снова составлять армию».

Утром 24 декабря Александр (в Вильне) пригласил к себе Вильсона и благодарил его за его письма. «Вы всегда говорили мне правду, которую я не мог бы узнать другим путем. Я знаю, что фельдмаршал не сделал ничего, что он должен был сделать... Все его успехи были навязаны ему. Он разыграл некоторые из своих прежних турецких штучек, но московское дворянство поддерживает его и настаивает на том, что он первенствует в национальной славе этой войны. Через полчаса я поэтому должен («тут царь на минуту остановился»,— пишет Вильсон) дать этому человеку орден Георгия первой степени... Но я не буду просить вас присутствовать при этом, я бы чувствовал себя слишком униженным, если бы вы при этом находились. Но у меня нет выбора, я должен подчиниться повелительной необходимости. Во всяком случае я уже не покину вновь мою армию, и поэтому уже не будет дано возможности к продолжению дурного управления фельдмаршала» [29].

Что могли означать, как могли прозвучать в ушах ненавидящего Кутузова англичанина эти последние слова?

Конечно, Вильсон должен был понять так, что Кутузов останется главнокомандующим лишь по имени, а на деле руководить армией будет царь.

Вся эта сцена показывает, что ненависть к фельдмаршалу совсем заглушила в царе сознание унизительности для него, Александра, императора всероссийского, этих смиренных извинений перед английским агентом, извинений в том, что он вынужден дать Кутузову Георгия первой степени.

Такие чувства питал самодержец всероссийский к старому полководцу, настоящему вождю народа в этой ужасной войне, к человеку, который не только казался в этот миг, но и был в действительности живым олицетворением славы и

гордости русского народа, только что спасшего себя от грозного врага.

Но Георгий первой степени — это было пустое дело сравнительно с коренным разногласием. Кутузов говорил, что и русская армия погибла во время этого страшного зимнего похода, а не только наполеоновская; что от Тарутина до Вильны погибло две трети русской армии, вышедшей из Тарутина. Этот жалкий остаток армии был утомлен, плохо одет, еще хуже вооружен. Нельзя начинать с ним новую тяжкую войну против Наполеона, который, конечно, к весне выставит новую огромную свежую армию, создавать которую он и торопился, уезжая из Сморгони.

Да и сама Россия была глубоко и страшно разорена.

Уход французов не возбудил немедленно того чувства радости и избавления, о котором впоследствии говорилось и писалось. Печально встретила, например, Москва рождественские праздники в 1812 г. «Вчерашний праздник протек с особливой тишиной... Происшествия крайне стеснили дух жителей. Прошедшее тем памятнее, что последствия не изглажают оных, а опасности, в будущем представляющиеся, еще более опасными кажутся. Уборка мертвых тел все еще продолжается... Слухи же, что груды трупов зарыты, и неглубоко, в самой Москве и в окрестностях, страшат всякого насчет весны» [30]. Трупы гнили и в окрестностях Москвы и на Калужской дороге. Эпидемии вовсе не дожидались весны: в ноябре, декабре, январе смерть от заразных болезней беспощадно косила и армию и население.

И не только трудно и опасно было, по мнению Кутузова, затевать новую войну с Наполеоном, но и вовсе это не нужно. Русский народ отстоял себя, победил непобедимого, добыл себе бессмертную славу. Зачем освобождать и усиливать этим англичан и немцев, соседей, а потому возможных опасных врагов в будущем? Да и непохоже было, что немцы немедленно поднимутся против своего грозного угнетателя.

В Гумбинене, в Восточной Пруссии, куда постепенно подходили группы спасшихся из России французов, «вся площадь была покрыта крестьянскими повозками, стекавшимися со всех сторон возить французов за деньги». Сразу в Пруссии для французов явилось решительно все, что можно купить за деньги. А денег — монеты золотой и серебряной — в спасшейся войсковой казне Наполеона было еще сколько угодно. Немецкие крестьяне и в этот момент, в январе 1813 г., вели себя точь-в-точь так, как в 1806 и 1807 гг., когда Наполеон завоевал их отечество. Русский пример пока нисколько еще на них не подействовал. В Германии, впрочем, понимали и откровенно признавали эту разницу. Всюду распевалась песенка: «Ein, zwei, drei! Mit

Franzosen ist's vorbei! Die Deutschen haben sie fettgemacht, die Russen haben sie abgeschlagt!» (Раз, два, три! С французами покончено! Немцы их откормили, русские их перебили!)

Все эти слухи и известия, проникавшие в Вильну, тоже не могли очень одушевлять старого русского фельдмаршала на продолжение войны. Зачем проливать русскую кровь во имя интересов иностранцев, которые будут, может быть, впоследствии лить кровь внуков и правнуков тех русских солдат, которых теперь хотят погнать для освобождения Европы от Наполеона? Так думал не только Кутузов, но очень и очень многие. Но царю и Вильсону помогло отчасти то страшное раздражение против Наполеона, которое царило в России. Отомстить насильнику чего бы это ни стоило! Так сгоряча рассуждали тоже очень многие.

Очень характерно, например, что уже летом 1813 г., когда союзники начали было мирные переговоры с Наполеоном, в глуши русской провинции ни за что не хотели мира и уповали на испанцев, не желавших по-прежнему никаких разговоров о мире с Наполеоном.

Известия об успехах испанцев в борьбе против французов «производят здесь (в Туле — *Е. Т.*) всеобщую радость,— пишут из Тулы 4 августа 1813 г., как раз когда еще было в силе июньское перемирие союзников с Наполеоном.— Все вообще, полагая с сим извергом перемирие, да и самый мир непрочным и влекущим за собою пагубные следствия, нетерпеливо ожидают начатия военных действий, возлагая упование на могущество любезного своего отечества» [31].

«Россияне! Целые полсвета исторжены вами из челюстей чудовища, миллионами поглощавшего род человеческий, целые полсвета прославляют ваше геройское великодушие!» Таков был мотив, принятый в церковных проповедях во всей России в 1814 г., после падения наполеоновской империи, но который уже наперед, в декабре 1812 г., еще только учитывая далекие последствия только что кончившейся кампании, почти с буквальной точностью усваивали многие и в Москве, и в Петербурге, в усадьбах, и в губернских городах. Грядущее освобождение Европы считали уже достигнутым.

Противиться энергично и царю и этому довольно сильному течению в дворянстве и в армии Кутузов не решился, хотя и знал, на какой неправильный путь это течение начинает уносить Россию. А. С. Шишков, государственный секретарь, тот самый, который в свое время постарался избавить армию от присутствия Александра Павловича, теперь находился вместе с двором в Вильне. Он тоже боялся продолжения войны и тоже считал, что вовсе незачем России дальше воевать. Шишков, поговорив с Кутузовым и убедившись, что фельдмаршал держит-

ся точь-в-точь таких же убеждений, спросил его, естественно, почему же он более решительно не отстаивает своего мнения перед царем. Кутузов на это отвечал текстуально следующее (об этом повествует сам Шишков в своих «Записках»): «Я (т. е. Кутузов — *Е. Т.*) представлял ему (царю — *Е. Т.*) об этом, но, первое, он смотрит на это с другой стороны, которую также совсем опровергнуть не можно; и, другое, скажу тебе про себя откровенно и чистосердечно: когда он доказательств моих оспорить не может, то обнимет меня, поцелует, тут я заплачу и соглашусь с ним».

«Вы спасли не одну Россию, вы спасли Европу!» — сказал Александр 24 декабря, обращаясь к фельдмаршалу, который, окруженный огромной свитой своих генералов, явился к Александру поздравить его с днем рождения. Князь Кутузов принял это приветствие, в котором была явно начертана программа перенесения войны за границу, и принял миссию «спасения Европы», которую сам он вовсе и не считал нужным спасать.

12 января 1813 г. Кутузов издал воззвание к русской армии, начинающееся словами: «Храбрые и победоносные войска! Наконец, вы на границах империи! Каждый из вас есть спаситель отечества. Россия приветствует вас сим именем! Стремительное преследование неприятеля и необыкновенные труды, подъятые вами в сем быстром походе, изумляют все народы и приносят вам бессмертную славу...

...Перейдем границы и потщимся довершить поражение неприятеля на собственных полях его. Но не последуем примеру врагов наших в их буйстве и неистовствах, унижающих солдата... Будем великодушны, положим различие между врагом и мирным жителем. Справедливость и кротость в обхождении с обывателями покажут им ясно, что не порабощения их и не суетной славы мы желаем, но ищем освободить от бедствий и угнетений даже самые те народы, которые вооружились против России».

Заграничный поход начался. Пруссаки перешли на сторону России. Предстояли годы всеевропейского побоища, где больше всего было пролито именно русской крови. И только уже прощаясь с жизнью, старый фельдмаршал решился откровенно сказать, как он смотрит на это новое кровопролитие, на войну 1813 г., затеянную царем не только без всякой пользы для России, но в прямой вред русскому народу в будущем.

Дело было в г. Бунцлау, в прусской Силезии, в апреле 1813 г. Кутузов, тяжко больной, лежал уже на постели, с которой ему не суждено было встать. Не суждено ему было и начать военные действия против Наполеона, уже шедшего на русских и пруссаков со значительными силами.

27 апреля 1813 г. Кутузов умирал, и Александр I прибыл из Бунцлау к его смертному одру проститься с фельдмаршалом. За ширмами около постели, на которой лежал Кутузов, находился состоявший при нем чиновник Крупенников. И вот диалог, подслушанный Крупенниковым и дошедший до (гофмейстера) Толстого: «Прости меня, Михаил Илларионович!» — «Я прощаю, государь, но Россия вам этого никогда не простит» [32]. Царь не ответил ничего.

На другой день, 28 апреля 1813 г., князя Кутузова не стало.

Александр узнал уже в Дрездене о смерти старого фельдмаршала. «Болезненная и великая не для одних вас, но для всего отечества потеря! Не вы одни проливаете о нем слезы: с вами плачу я и плачет вся Россия. Бог, позвавший его к себе, да утешит вас тем, что имя и дела его остаются бессмертными. Благодарное отечество не забудет никогда заслуг его» [33],— так писал Александр вдове фельдмаршала, которая, впрочем, хорошо знала цену царским слезам по поводу смерти ее мужа.

Доверие к царю и высшему командованию, испытавшее такой страшный удар сначала в Смоленске, потом в Москве в конце лета и в начале осени 1812 г., восстановлялось крайне медленно. Убийственные последствия тяжкого заграничного похода стали сознаваться во всем значении весной и летом 1813 г., когда Наполеон во главе новой созданной им армии начал бить истощенные русские и прусские войска в кровопролитных сражениях при Лютцене, Бауцене, Дрездене. Протесты старого, уже тогда покойного, фельдмаршала Кутузова против продолжения войны с Наполеоном и перенесения ее за границу России приходили в эту бедственную для союзников первую половину 1813 г. на память всем тем, кто об этом знал, но и те, кто не знал, были встревожены и недовольны. Когда Москва узнала о том, что Наполеон разгромил под Дрезденом и отбросил союзную армию за Эльбу, тревога в столице, еще представлявшей собой сплошное пожарище, сделалась повсеместной. «Известия, дошедшие сюда из разных мест об отступлении войск наших за Эльбу, произвели страх и уныние... Если неизвестность о военных действиях наших продлится долее и не пресечется или победами, или занятием вторично Дрездена, то много беспокойства здесь будет. Самые дурно расположенные люди к государю и правительству суть раскольники и купцы; первые доказали сие делом, а последние словом»,— так писал Ростопчин 7 июня 1813 г.

Кутузов умер перед самым началом этих тяжелых для русских войск весенних и летних боев 1813 г. с Наполеоном, когда воззрения на то, нужно или не нужно России продолжать отчаянную борьбу без всяких дальнейших для себя выгод, стали

в умах очень многих и в самой армии приближаться к взглядам покойного фельдмаршала.

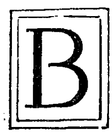
Настроения были в русской армии в это время разные... Когда союзники заключили с Наполеоном временное перемирие после его побед под Лютценом, Бауценом, Дрезденом в июне 1813 г., то вот какая сцена произошла при поездке Коленкура, герцога Виченцского, на русские аванпосты: «Русские устроили в честь герцога Виченцского празднество. Герцог провозгласил тост: «За русскую армию!» Русские офицеры ответили тостом: «За храбрую французскую армию»! и трижды осушили свои стаканы. Присутствовал тут и прусский генерал».

Но эти новые настроения и эти события выходят уже за хронологические рамки моей работы.

Кровопролитнейшие войны 1813, 1814, 1815 гг. не могут даже и в самом кратком виде тут рассматриваться. Агония наполеоновской мировой монархии длилась необычайно долго. Но смертельную рану всемирному завоевателю нанес русский народ в двенадцатом году.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1

ойна 1812 г. имела колоссальные последствия и оставила глубокий след во всемирной истории. Попытаемся в нескольких словах подвести главнейшие итоги. Попытаемся определить значение нашествия Наполеона как для Западной Европы, так и для России.

Для Европы исход войны двенадцатого года оказался сигналом к восстанию против наполеоновского владычества.

Нашествие Наполеона на Россию было самой откровенной «грабительской империалистской» войной самодержавного диктатора, твердо связавшего свое владычество с интересами французской крупной буржуазии. Наполеоновское владычество уже в 1803—1804 гг., но особенно с 1805 г., ощущалось во всех германских государствах и в Австрии как тяжелый экономический гнет, проводимый политикой открытого насилия, политикой завоеваний, произвольных отторжений территорий, приемами военно-полицейского террора, причем диктатор сознательно вредил, сознательно и целеустремленно препятствовал экономической деятельности вообще и техническому прогрессу в особенности во всех покоренных им странах средней и северной Европы. В Италии этот гнет ощущался уже с 1796, а особенно с 1800 г., с так называемого «вторичного завоевания» Бонапартом Италии. Наконец, с 1807 г. этот тяжкий гнет усилился в невероятной степени и в то же время он охватил и придушил экономическое развитие таких стран, которые до тех пор еще умудрялись отстаивать свою торговлю и промышленность. Присоединение Голландии к Французской империи, присоединение ганзейских городов, захват всех северогерманских княжеств, беспощадная по своей жестокости и одна из наиболее циничных по своей грабительской откровенности войн Наполеона — попытка захвата Португалии и Испании, арест римского папы и захват Рима, наконец, те приемы, которые

Наполеон стал применять с 1810 г. в деле реализации континентальной блокады,— все это ясно говорило буржуазии всех европейских стран, покоренных Наполеоном, что европейский континент быстро идет к тому, чтобы стать политически бесправным и экономически несостоятельным объектом для монопольной эксплуатации со стороны французской буржуазии.

Если в первые годы континентальной блокады жаловалась торговая буржуазия, то ликовала промышленная и делала на первых порах золотые дела, будучи избавленной от английской конкуренции. Потом начались жалобы и со стороны промышленников. Без английских колониальных продуктов, без хлопка, без индиго, без сахарного тростника (несмотря на все удачные опыты со свекловицей) обходиться было трудно. И вот тут-то, с 1810—1811 гг., и обнаружилось все подневольное положение буржуазии покоренных стран: Наполеон давал своим купцам, своим французским промышленникам «лицензии» (разрешения) покупать у англичан на известных условиях нужное колониальное сырье, а купцам и промышленникам покоренных стран воспрещал это делать. Злоба, обида за все унижения, сознание грядущего разорения — вот чувства, которые наполеоновская диктатура возбуждала в Европе накануне нашествия 1812 г.

Что касается крестьян южной и средней Европы, то они, некогда получившие в результате наполеоновских завоеваний и потрясения феодальной системы кое-где свободу от крепостного права, кое-где сильное ослабление крепостничества, теперь (в 1807—1812 гг.) ощущали «великую империю» как ненасытное чудовище, требующее «налога крови» и получающее этот налог путем жестоких и постоянных рекрутских наборов. Хвалился же Наполеон тем, что в русском походе погибло «всего» 50 тысяч «настоящих» французов, а остальные сотни тысяч были немцы, итальянцы, голландцы, поляки, испанцы, далматинцы и т. д. А если так, то стоит ли, вопрошал император, очень кручиниться? Этот «налог крови» в покоренных странах несли именно крестьяне и рабочие, привилегированные классы откупались, выставляя за себя заместителей.

Все эти тяжкие последствия установления в Европе наполеоновского владычества ощущались особенно болезненно из-за беспощадно сурового характера мер, которыми это владычество поддерживалось. Пресса в Европе была задавлена вполне, не было немца, итальянца, голландца и т. д., который мог бы спокойно существовать, если он имел несчастье возбудить подозрительность всесильной, вездесущей, всеведущей императорской полиции.

Вот почему, когда первые эшелоны русских войск перешли через границу в январе 1813 г. и явились в Пруссию, то разда-

лись сначала полушепотом, а вскоре очень громко радостные слова: «Русские освободители идут!» И этот клич на разных языках раздавался в течение всего 1813 г.

Конечно, в Пруссии, например, восстание 1813 г., обусловленное только что указанными причинами, было также подготовлено терпеливой и успешной работой Штейна, Гарденберга, Шарнгорста, Гнейзенау и других патриотически настроенных в лучшем смысле слова людей, но достоверно и то, что без 1812 г. едва ли Пруссия и вся Европа так скоро освободились бы от Наполеона. Послушаем фельдмаршала Гнейзенау, одного из самых значительных людей этого прусского движения против Наполеона. Он был человеком прямодушным и не льстил. Замечу кстати, что он и в 1826 г. (в письме к Дибичу) повторил точь-в-точь то свое глубокое убеждение, которое высказал тогда, когда освобождение Пруссии от Наполеона только что совершилось.

Летом 1814 г., уже после первого отречения Наполеона, Гнейзенау писал Александру: «Если бы не превосходный дух русской нации, если бы не ее ненависть против чуждого угнетения, если бы не благородное упорство ее возвышенного властителя, то цивилизованный мир погиб бы, подпав под деспотизм неистового тирана».

Так отзывался об освобождении Европы от Наполеона пруссак и немецкий патриот под свежим впечатлением той роли, которую сыграл русский народ в 1812, 1813 и 1814 гг.

Это особенно полезно припомнить теперь, когда в иностранных учебниках для средней школы повествуется об освобождении Пруссии в 1813 г. почти без упоминания о русском 1812 годе, а упоминается о 1812 годе главным образом лишь затем, чтобы пояснить, что если бы тогда не настала случайно морозная погода, то Россию поминай как звали.

Что касается Англии, то ее положение было иное. Политически она от Наполеона никогда не зависела, как зависел от него весь европейский материк, но, разумеется, континентальная блокада была покончена русской победой, и английские товары потоками хлынули во все страны Европы, так долго закрытые. Случилось именно то, что предвидел Кутузов, бывший не только замечательным стратегом, но и глубоким политиком, разговаривая с Вильсоном между Красным и Березиной: гибель Наполеона пошла на пользу больше всего именно Англии, а не какой-либо стране континента. Экономическое главенство Англии, обусловленное ее промышленной революцией XVIII в. и рядом других условий и не побежденное никакими отчаянными усилиями всемогущего Наполеона, пышно расцвело теперь на долгие десятилетия. В частности русский экспорт, русский импорт, русская валюта оказались в большой зависимости от Лон-

дона. Английские купцы держали себя после падения континентальной блокады в сношениях с русским правительством почти так же самоуверенно и независимо, как представитель их интересов сэр Роберт Вильсон в письмах к Александру и в разговорах с Кутузовым в 1812 г.

2

Для самой России последствия Отечественной войны были также огромны. Не морозы и не пространства России победили Наполеона: его победило сопротивление русского народа.

Русский народ отстоял свое право на независимое национальное существование и сделал это с такой неукротимой волей к победе, с таким истинным, презирающим всякую шумиху героизмом, с таким подъемом духа, как никакой другой народ в тогдашнем мире, кроме одного только испанского.

У русского народа оказалось больше физических сил и материальных возможностей, и наполеоновские полчища в шесть месяцев растаяли и погибли в России, а испанцы, несмотря на весь свой героизм (столь же бесспорный, как и героизм русский), не могли все-таки, несмотря на огромную помощь со стороны англичан, пять лет подряд избавиться от Наполеона и избавились от него опять-таки только в 1813 г. в прямой связи с последствиями русского двенадцатого года.

Русская народная война сказалась в героизме русских солдат на полях битв с Наполеоном, сказалась в вооруженных выступлениях крестьянства против завоевателя, в успешных усилиях русских крестьян заморить голодом великую армию; испанская народная война должна была выражаться в самостоятельных боевых предприятиях неорганизованных крестьянских масс. Героизма для этого требовалось очень много, но все-таки результаты не могли быть такими быстрыми и значительными, как если бы в Испании сохранились боеспособные организационные кадры. В Испании они возникли далеко не с начала борьбы; в России они от начала до конца существовали и наиболее целесообразно могли использовать подъем народного духа.

Победа двенадцатого года вызвала столько справедливой гордости, столько справедливой уверенности в себе, так потрясла сердца, вызвала такое лихорадочное возбуждение умов, что некоторые современники уверяли, будто после 1812 г. Россия стала какая-то «новая», вроде Москвы, которая делит свою историю «до француза» и «после француза».

С двенадцатым годом связан и первый революционный порыв новейшей русской истории — восстание 14 декабря 1825 г.,— и не только потому, что некоторые декабристы в две-

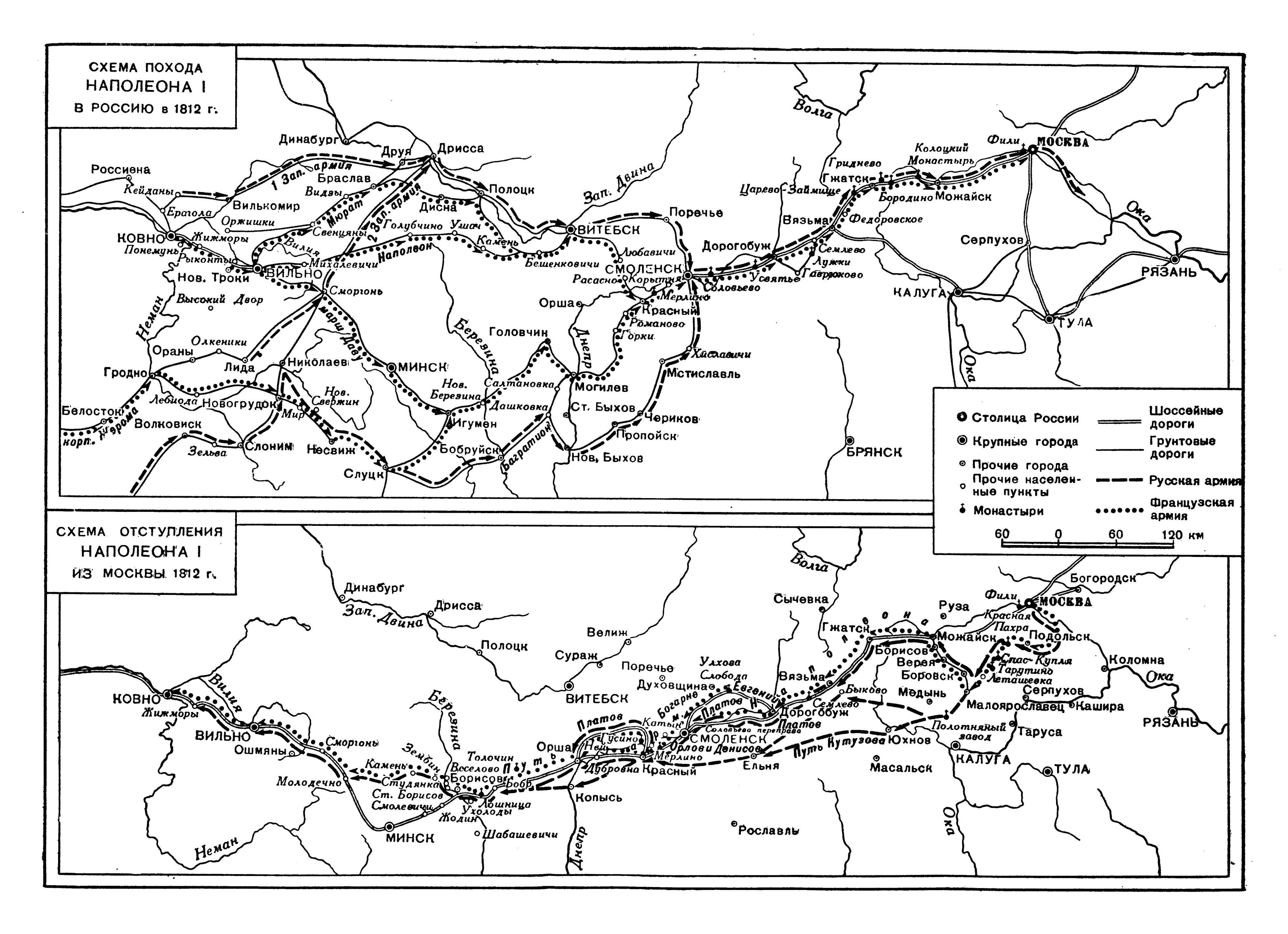


СХЕМА ПОХОДА
НАПОЛЕОНА I
В РОССИЮ в 1812 г.
Динабург
Друя
Дрисса
Россиена
Кейданы
Браслав
Видзы
Вилькомир
Ерагола
Оржишки
Свенцяны
Полоцк
Дисна
Голубчино
Ушач
Камень
ВИТЕБСК
Поречье
Зап. Двина
1 Зап. армия
2 Зап. армия
Мюрат
Наполеон
КОВНО
Жижморы
Понемунь
Рыконты
Вилия
Михалевичи
ВИЛЬНО
Нов. Троки
Бешенковичи
Любавичи
СМОЛЕНСК
Расасно
Корытня
Мерлино
Соловьево
Усвятье
Высокий Двор
Сморгонь
марш Даву
Орша
Красный
Романово
Горки
Неман
Ольченики
Ораны
Лида
Николаев
Гродно
МИНСК
Головчин
Березина
Днепр
Хиславичи
Мстиславль
Нов. Березина
Салтановка
Могилев
Нов. Свержин
Белосток
Лебиода
Новогрудок
Мир
Дашковка
Ст. Быхов
Игумен
Чериков
Волковиск
корп. Иерома
Зельва
Слоним
Несвиж
Бобруйск
Пропойск
Багратион
Нов. Быхов
Слуцк
Волга
Гриднево
Колоцкий Монастырь
Фили
МОСКВА
Гжатск
Царево-Займище
Бородино
Можайск
Вязьма
Федоровское
Дорогобуж
Семлево
Лужки
Гаврюково
Серпухов
Ока
РЯЗАНЬ
КАЛУГА
ТУЛА
БРЯНСК
Столица России
Крупные города
Прочие города
Прочие населенные пункты
Монастыри
Шоссейные дороги
Грунтовые дороги
Русская армия
Французская армия
60 0 60 120 км
СХЕМА ОТСТУПЛЕНИЯ
НАПОЛЕОНА I
ИЗ МОСКВЫ 1812 г.
Динабург
Дрисса
Зап. Двина
Полоцк
Велиж
Сураж
Поречье
ВИТЕБСК
Ухвала
Слобода
Духовщина
Богарне
Евгений
Платов
Катынь
Гусино
Нейвера
Орша
Толочин
Путь Наполеона
Березина
Зембин
Камень
Студянка
Веселово
Борисов
Ст. Борисов
Смолевичи
Бобр
Лошница
Уходы
Жодин
Шабашевичи
Копысь
Дубровна
Красный
Мерлино
Орлов и Денисов
СМОЛЕНСК
Соловьева переправа
Платов
Днепр
Рославль
Ельня
Путь Кутузова
Юхнов
Масальск
КОВНО
Жижморы
Вилия
ВИЛЬНО
Ошмяны
Сморгонь
Молодечно
МИНСК
Неман
Волга
Сычевка
Гжатск
Руза
Фили
МОСКВА
Богородск
Красная Пахра
Подольск
Можайск
Борисов
Верея
Боровск
Спас-Купля
Тарутино
Леташевка
Коломна
Ока
Вязьма
Быково
Медынь
Серпухов
Малоярославец
Кашира
РЯЗАНЬ
Семлево
Дорогобуж
Полотняный завод
Таруса
КАЛУГА
ТУЛА
Ока

надцатом году подняли оружие за Россию против Наполеона, как в 1825 г. они подняли оружие за Россию против Николая.

Двенадцатый год понимался молодыми поколениями 1812—1825 гг. и позднейшими как борьба за свободу, как избавление от того добавочного иноземного угнетения, от тех новых цепей, которые нес с собой в Россию Наполеон.

Могучий толчок, который победа дала русскому народу, отозвался на первом пробуждении революционного сознания. Ленинская точная формула: «декабристы разбудили Герцена», может навести и на другую мысль: «двенадцатый год — в своих ближайших последствиях — пробудил декабристов».

Но эта формулировка не имеет той точности, какую имеет формула Ленина, потому что мы должны говорить не только о 1812, но и о 1813, и о 1814, и о 1815 гг., когда война с Наполеоном продолжалась уже в Европе. Даже и годы после Ватерлоо, после 1815 г., должны быть приняты во внимание, потому что русские войска еще долго оставались во Франции.

Но именно победа двенадцатого года и повлекла за собой все эти последствия. Не только декабристы увязываются с двенадцатым годом,— давно была высказана мысль: «без двенадцатого года не было бы Пушкина». В таком виде эта мысль звучит парадоксально. Мы знаем, что великие поэтические гении родятся и процветают также и в эпохи национального унижения, а не только национального величия: Данте, Гете, Шиллер — достаточное тому доказательство, но что поэзия Пушкина отразила в себе также и радостное, гордое сознание могучей моральной силы родного народа, низвергшего «тяготеющий над царствами кумир», это бесспорно. Что без двенадцатого года Пушкин не был бы таким, каким он был, и говорил бы о России не так, как говорил о ней, когда уже подобно Петру «он знал ее предназначенье», это более чем вероятно.

Пушкин — это лишь один из примеров, которые тут можно привести. Вся русская умственная культура, русское национальное самосознание получили могучий толчок в грозный год нашествия.

«Не шумные толки французских журналов погубили Наполеона,— при нем и не было никаких толков. Его погубил поход 1812 года. Не русские журналы пробудили к новой жизни русскую нацию,— ее пробудили славные опасности 1812 года» [1],— писал Чернышевский.

Русское крепостничество продолжало существовать и после двенадцатого года; еще не было налицо всех социально-экономических условий, которые немедленно привели бы к его сокрушению, но ведь и Наполеон приходил в Россию, повторяем, не разбивать старые цепи, а, напротив, надеть на русский народ сверх старых еще и новые.

Русский народ не есть народ обыкновенный, заговорили передовые люди России (вроде В. Каразина) после двенадцатого года. В нашу эпоху русский народ повел все другие народы, населяющие наше великое государство, на борьбу по созданию первого в мировой истории социалистического строя, не знающего ни эксплуататоров, ни эксплуатируемых.

Но чтобы иметь возможность это сделать, нужна была полная национальная независимость, ничем не ограниченная свобода распоряжаться собой и своей страной. Это великое благо, это необходимейшее условие всякой плодотворной работы русский народ ревниво старался охранять в течение всей своей истории, по крайней мере с тех пор, как сознал себя народом.

Это испытали поляки в начале XVII в., шведы в начале XVIII в., Наполеон в начале XIX в. Из всех покушавшихся на самостоятельность России, конечно, самым грозным врагом был именно Наполеон, потому что со времен Александра Македонского и Юлия Цезаря не существовало еще такого чудовищного могущества, сосредоточенного в одних руках. Наполеону была подчинена необъятная империя, населенная самыми разнообразными богатыми, цивилизованными народами, власть его над ними была беспредельна, его великий военный гений считался и теперь считается первым, непревзойденным в истории человечества. И русский народ сокрушил этого великана.

Могут ли быть теперь великому русскому народу страшны фашистские хищники, поджигатели войн? «Затем ли свергнули мы льва, чтоб пред волками преклоняться?» — спрашивал Байрон после падения наполеоновской империи. Затем ли русский народ победил непобедимого гиганта, чтобы через 130 лет уступить свое достояние или право распоряжаться собою ничтожным в умственном и нравственном отношении пигмеям, сильным исключительно безнаказанностью, которую до поры до времени встречает их наглость?

«Читайте историю России, это очень полезное занятие!» — настойчиво и очень разумно советовал своим соотечественникам покойный германский публицист Максимилиан Гарден в 1918 г., когда немцы так успешно, как им казалось, распространились по Украине, Крыму и Кавказу. Он очень боялся результатов этого вторжения для немцев, но берлинская военная цензура не давала ему выражаться яснее. Об этом совете забыли гитлеровцы, которых ждет такой же позорный конец, как и империалистическую Германию Вильгельма II.

1938 г.

Французская революция и Англия

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗОНАНС НА РЕВОЛЮЦИЮ 10 АВГУСТА

Лето 1792 г. было переломным моментом в судьбах Французской революции и, в частности, в истории отношений монархической Европы и Англии к французскому перевороту. Конечно, нельзя понимать этот перелом так, что до 1792 г. принципиальное отношение монархических дворов к Французской революции было одно, а с 1792 г. оно внезапно изменило основной характер. Не только с момента, когда всю Европу облетела весть о штурме и взятии Бастилии восставшим народом, но уже после 17 июня 1789 г., после первого революционного акта третьего сословия, превратившего Генеральные штаты в Национальное общефранцузское собрание, европейские монархи так же, как правящая английская аристократия, нисколько не скрывали своего раздражения и страха перед лицом развертывавшихся во Франции событий. Не скрывали они также и своей уверенности в том, что эта внезапно налетевшая буря окажется кратковременной и прекратится так же быстро, как и возникла.

Затем началась «первая эмиграция», возглавленная королевским братом Карлом д'Артуа. Эти первые эмигранты, потянувшиеся из Франции после взятия Бастилии, а особенно после 5 и 6 октября 1789 г., уезжали, ничуть не сомневаясь в скором и победоносном своем возвращении, и па пограничные германские города, где они располагались, они смотрели не как па убежище, где должно укрыться для спасения жизни, а как па плацдарм, на котором удобнее всего развернуть силы для предстоящего нашествия на страну, охваченную «мятежом». Первая эмигрантская волна принесла с собой в 1789—1790 гг. окончательное подтверждение и укрепление при монархических дворах той мысли, что революция — слабое и скоропреходящее явление. Для усмирения революции Франции нужно военное положение и сто тысяч человек войска (cent milles hommes et la loi martiale) — заявила тогда Екатерина II. А она еще была наиболее умной и проницательной из всех тогдашних предста-

вителей монархической власти в Европе. Она все-таки читала Монтескье и, очевидно, из этого чтения, почерпнув мысль о происхождении французского дворянства от завоевавших Галлию франков, Екатерина поучала Гримма, своего корреспондента, что Французская революция — это восстание порабощенных некогда галлов против их покорителей — франков. Другие (вроде прусского короля Фридриха-Вильгельма II) и до этого не додумывались, и для них Французская революция была просто результатом слабости правительственной репрессии, растерянности короля, трусости военных властей, изменнической деятельности Неккера, коварства и предательства (из личных честолюбивых мотивов) со стороны герцога Филиппа Орлеанского и т. д.

Когда затем, в 1790 г., наступило некоторое внешнее успокоение в Париже и в провинции, то европейские правительства и правящий дворянский класс истолковали это явление как прямое доказательство, что революция выдохлась и что близится время, когда одним хорошо подготовленным ударом можно покончить со всем этим «бунтом», которому так неосторожно дали разрастись.

Наступила весна 1791 г. Разразились стачки рабочих разных специальностей в Париже,— и ответом был резко и откровенно враждебный стачечникам закон Ле-Шапелье. Получившая во Франции власть буржуазия впервые показала когти. Но на феодально-абсолютистскую Европу все эти и подобные этим события производили лишь одно впечатление, оказывали всегда лишь одно действие: наши враги «начинают между собой ссориться,— значит, нужно скорее ударить на них». Что, например, самого Ле-Шапелье следует повесить на той же перекладине, на которой будут висеть усмиряемые им стачечники, в этом ни для французских эмигрантов, ни для стоявших за ними европейских правительств, готовивших интервенцию, никаких сомнений не было. Да и в Тюильри пришли к окончательному заключению о необходимости ускорить интервенцию. Только неудача бегства королевской семьи, кончившегося арестом в Варение и возвращением в Париж, несколько отсрочила вторжение интервентов во Францию.

С поздней осени 1791 г. военные приготовления и дипломатические переговоры между Пруссией, Австрией, Пьемонтом, западно-германскими княжествами и городами продолжались непрерывно. Засевшие в Кобленце вожаки эмигрантов назначили уже на весну 1792 г. триумфальное свое возвращение, ликвидацию революции и беспощадную расправу с революционерами.

При этих-то условиях подготовлялось и произошло 29 декабря 1791 г. знаменитое заседание Законодательного собрания,

ускорившее наступление неизбежных событий: жирондистское министерство и жирондистская партия в Законодательном собрании громогласно заявили, что они считают войну не только неизбежной, но и желательной. «Война в настоящее время есть благодеяние для нации, и единственное бедствие, которого следует опасаться, заключалось бы в том, если бы войны не было!» — воскликнул истинный вождь жирондистов Бриссо. Напомним, что Робеспьер и близкие к нему члены Собрания не хотели войны. Но нас тут интересует другое. И в решающем заседании 29 декабря 1791 г., и в январе, феврале, марте 1792 г., когда окончательно решена была война, представители господствующей в тот момент жирондистской партии, с одной стороны, не перестают проповедовать неизбежность и благодетельность войны, а с другой стороны, силятся доказать, что предполагаемые враги вовсе не так страшны, как кажутся. Эро-де-Сешель утверждает, что в Бельгии произойдет революционный взрыв, который уничтожит австрийское владычество в этой стране. Другие, не уточняя, говорят о союзниках и друзьях, которых Французская революция имеет среди тех самых народов, которых «коронованные деспоты» собираются погнать на бойню с целью удушения свободы французского народа.

Что имели в виду ораторы и публицисты революции, когда весной и летом 1792 г. вели такие речи?

ОТНОШЕНИЕ К РЕВОЛЮЦИИ БУРЖУАЗНЫХ КЛАССОВ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ

Энтузиазм, возбужденный первыми революционными событиями 1789 г. среди передовой буржуазии в Бельгии, Голландии, западной, а отчасти и центральной Германии, северной Италии (с Тосканой включительно), не только не остыл, но значительно усилился в 1790 и 1791 гг. и ничуть не уменьшился в 1792 г. ни до, ни после формального начала войны Австрии и Пруссии, а затем и их союзников против Франции. Да и почему буржуазия сопредельных или близких к Франции стран могла бы «разочароваться» в революции, на знамени которой было начертано не только требование полнейшей социально-политической эмансипации буржуазии, но и уничтожение всех феодально-абсолютистских пут и препятствий к свободному развитию капитализма? Никакой «анархии», которой будто бы начала бояться в эту пору буржуазия Германии, Италии, Бельгии и т. д., во Франции не было. Напротив, именно в 1790 и 1791 гг. буржуазия западной Германии — это мы знаем документально — считала, что во Франции прочно утвердился новый конституционный строй, что великие потрясения 1789 г. привели к полной победе новых политических принци-

пов и уже не повторятся, что король искренне примирился с новыми условиями. Мы только что заметили, что монархи и аристократы в той же Германии, в той же северной Италии, в той же Австрии делали из этого факта относительного спокойствия, водворившегося в 1790 г. и продолжавшегося в 1791 г. (до бегства короля), совсем другие выводы: революция выдохлась — и именно поэтому нужно нанести ей окончательный удар. Но самый факт отсутствия анархии во Франции признавали оба лагеря — и феодально-дворянский, и буржуазный. На тайное, а может быть, и вполне открытое сочувствие буржуазии Бельгии, Германии, Голландии, Сардинского королевства (Пьемонта), Ломбардии, Тосканы французы в случае войны могли рассчитывать.

Эро-де-Сешель и его единомышленники имели основание говорить о друзьях революции, существующих в монархической Европе: именно буржуазию они имели в виду, и притом буржуазию почти всей континентальной Европы. Сложнее дело обстояло с Англией, а из континентальных стран — с Голландией. Тут в 1792 г., а еще больше в 1793 и 1794 гг., в некоторых (очень влиятельных) слоях буржуазии в самом деле произошел большой сдвиг.

В 1790 г. в Англии вышел в свет направленный против идей Французской революции резкий памфлет, принадлежавший перу одного из крупнейших английских политических деятелей этого времени — Эдмунда Бёрка. Этот памфлет был немаловажным симптомом отношения к революции правящих кругов Англии. Но его никак нельзя считать выражением настроений английской буржуазии. Однако было налицо одно крайне существенное обстоятельство, которое постепенно охлаждало революционные симпатии части английской буржуазии гораздо более, чем это мог бы сделать знаменитый памфлет Бёрка, невзирая на все его красноречие; и любопытно, кстати, отметить, что именно об этом обстоятельстве красноречивый Бёрк стыдливо умалчивает, как будто он об этом и слыхом не слыхал.

Мы говорим о рабовладельчестве и о негроторговле, т. е. о двух явлениях, с которыми теснейшим образом было связано материальное благополучие наиболее состоятельных и влиятельных слоев буржуазии Нанта, Марселя, Бордо во Франции, Амстердама, Саардама в Голландии, Ливерпуля, Плимута в Англии, чтоб уже не пересчитывать десятка других более мелких портовых и непортовых городов. Вопрос о торговле «черным товаром» и о владении этим товаром в колониях теснейшим образом увязывался с общим вопросом об экономическом использовании колоний, торговле колониальными товарами, обо всем торговом мореплавании.

Если мы вспомним, что в самой Франции в «столице жирондизма», т. е. в Бордо, велась в 1790, и в 1791, и в 1792, и в 1793 гг. оживленная агитация против уничтожения рабства негров, то для нас станет ясно, как обстояло дело в странах, экономически крепко связанных с колониями, вроде Англии или Голландии. Та часть буржуазии, которая загребала неслыханные барыши от непосредственного участия в поимке или скупке негров в Африке и в перепродаже их в Америке и на островах, должна была неминуемо переживать известную борьбу двух взаимоисключающих настроений: с одной стороны, Французская революция несла с собой лозунг уничтожения аристократических привилегий и передачу политической власти в руки буржуазии, а с другой стороны, из принципов Французской революции логически следовало уничтожение рабства в колониях и негроторговли. Но для того, чтобы яснее себе представить влияние, которое имел вопрос о рабстве на изменение настроений крупной английской буржуазии, нам необходимо рассмотреть это в связи с другими явлениями английской общественной жизни в 1792—1794 гг.

ОТНОШЕНИЕ АНГЛИЙСКОЙ БУРЖУАЗИИ К РЕВОЛЮЦИИ

Явно сочувственное отношение к Французской революции со стороны английской буржуазии, так заметно проявившееся в 1789 г., продолжалось и в 1790 и в 1791 гг. «Размышления о французской революции» Бёрка произвели впечатление и вызвали вначале одобрение лишь при дворе и в аристократических кругах. Бёрк, хотя и не был аристократом и не принадлежал к партии тори, стал сразу глашатаем и рупором тех и других, на всю Европу заявив об истинных чувствах правящей Англии к Французской революции. Бесспорно также — и это факт, который, к сожалению, никогда не отмечают историки,— что книга Бёрка имела больше всего успех не в Англии, а в странах континентальной Европы, и именно в придворных и дворянских кругах континента. Английский торгово-промышленный класс, который уже начинал свою долгую, упорную и труднейшую борьбу за избирательную реформу, вовсе не поддавался красноречивым возгласам Бёрка против Французской революции, одним ударом передавшей власть в государстве в руки буржуазии. А кроме того, не следует забывать, что еще в полном действии был англо-французский торговый договор 1786 г., принесший столько выгоды именно английскому купечеству, английским промышленникам, английским судовладельцам. Известное нарушение нормальных порядков на французских таможнях, вызванное взрывом революции, еще более

усилило выгодные для англичан последствия этого торгового договора: фактически англичане в 1789—1791 гг. ввозили во Францию все, что хотели, либо ничего не платя, либо платя очень низкие пошлины за ввозимый товар. Это также не располагало буржуазию Англии к особенно суровому негодованию против принципов и практических мероприятий Французской революции.

Но в 1792 г. отношение ее стало меняться, и за пределами Франции проникались сознанием, что революция вступает в какой-то новый фазис. Углубление и расширение революционного настроения во Франции сделалось очевидным еще после бегства короля, и расстрел манифестантов 17 июля 1791 г. не прекратил, а скорее усилил это явление. Зима 1791/92 г. прошла под знаком распространения жирондистских идей о революционной пропаганде за пределами Франции, о борьбе народов против всех отечеств деспотизма, о «братской помощи», которую французские революционеры могут и должны оказать нациям, которые поднимутся для борьбы против своих тиранов.

«ЛОНДОНСКОЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКОЕ ОБЩЕСТВО»

В Англии с самого начала 1792 г. обнаруживается усиленный интерес к французским событиям в тех слоях малоимущей буржуазии, которые до тех пор крайне далеко стояли от политической жизни, а также, отчасти, и среди рабочих. 25 января 1792 г. радикально настроенный в то время еще начинающий публицист, Томас Гарди созвал первое заседание образованного им нового общества, получившего название: «Лондонское корреспондентское общество» *. По мысли Гарди, такие ассоциации должны были образоваться и в других городах Англии и вступить между собой в постоянную и оживленную корреспонденцию, обмениваться сведениями и соображениями, касающимися желательных общественных реформ, делиться информацией о том, что делается на свете, а также и в Англии, и за границей, в особенности во Франции, распространять «здравые понятия» и т. д. Другими словами, это общество должно было создать сеть пропагандистских, связанных между собой клубов, которые могли бы повести пропаганду идей Французской революции. Тогда же, почти одновременно, создалось в Лондоне и дру-

* «London corresponding society»— собственно —«корреспондирующее», «ведущее корреспонденцию» общество. Дело в том, что когда оно возникло, то во враждебных ему реакционных кругах указывали на странное название, желающее прикрыть «преступные» революционные цели невинным указанием на «переписку». Мы оставляем здесь, по традиции, слово «Корреспондентское».

гое политическое общество, открывшее свои заседания в эту же зиму 1792 г.; оно позаимствовало даже название свое у Марата: «Общество друзей народа». Правда, невзирая на «страшное» название, это общество с первых же шагов объявило, что оно домогается не революции, а мирной конституционной реформы. Это общество было вообще менее радикально настроено, чем ассоциация, основанная Томасом Гарди. Главенствующую роль в нем стал играть лорд Грей, и оно превратилось со временем в нечто вроде вигистского клуба, домогающегося умеренной избирательной реформы.

«ОБЩЕСТВО КОНСТИТУЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ»

С другой стороны, совершенно неожиданно, под явным влиянием углубления революции во Франции, стало радикализироваться давнишнее, существовавшее в Англии еще до Французской революции «Общество конституционной информации». Оно образовалось еще в разгар неудачной войны Англии против Северо-Американских Соединенных Штатов и было тогда (в 1780 г.) одним из проявлений оппозиции против безумной политики Георга III и его министров. Но с течением времени, в первые годы правления Вильяма Питта, это общество утратило значительную долю своего былого оппозиционного пыла. А теперь, в 1792 г., оно послало в Париж Якобинскому клубу восторженный адрес с выражением полной солидарности и горячего сочувствия. Памфлеты Пэна распространялись всеми этими ассоциациями очень деятельно. Политический радикализм Пэна и его единомышленников требовал демократической реформы избирательного права, частых выборов (некоторые уже тогда склонялись к требованию «ежегодных парламентов», что спустя почти полвека вошло в программу чартистов). Наиболее развитые представители рабочего класса жадно прислушивались к провозглашаемым членами этих ассоциаций учениям.

ПИТТ И БОРЬБА ПРОТИВ ВЛИЯНИЯ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ В АНГЛИИ

Ясно было, что правительство и стоящий за ним аристократический парламент ни в коем случае не останутся равнодушными перед лицом внезапно сложившегося нового положения вещей. Конечно, не только такой умнейший и проницательный человек, как глава министерства Вильям Питт, но и самые заурядные члены палаты лордов и даже провинциальные сквайры, заседавшие в тогдашней палате общин в таком значитель-

ном количестве, понимали очень хорошо, что ни Англии в 1792 г. не предстоит пережить превращения в республику, ни Георгу III не придется в 1793 г. сложить свою горемычную голову на эшафоте,— что непосредственной опасности для британского государственного строя французские революционеры не представляют. Но что опасность все же есть, что французский пример со временем может оказаться в той или иной степени заразительным, это Вильям Питт сознавал вполне. И особенно раздражало его и в проповеди Пэна и в деятельности всех этих обществ и их разветвлений в провинции, что пропаганда этих английских сторонников Французской революции обращалась к таким демократическим слоям, о поддержке которых и, прежде всего, о вовлечении которых в политическую жизнь меньше всего тогда думали не только парламентские тори, но и парламентские виги: лорд Грей имел тогда в своей партии еще очень мало сторонников по этому вопросу.

После низвержения монархии во Франции 10 августа 1792 г., в особенности после сентябрьских событий в парижских тюрьмах, Вильям Питт дал парламенту и правительству такой тон: кто сочувствует идеям Французской революции, тот сочувствует «парижской резне» и всему тому, что делают якобинцы во Франции. Этот демагогический прием очень удался. Например, приветствие, которое спустя неделю после открытия заседаний Конвента «Лондонское корреспондентское общество» послало на имя французского Национального конвента, рассматривалось в Англии как нарушение присяги и изменническое действие, хотя процесса все-таки устроить не решились.

Но уже начиная с ноября 1792 г., а в особенности с начала 1793 г., судебные кары посыпались дождем на всех, подозреваемых в сочувствии к «идеям Французской революции», и к ее деятелям. За казнью короля Людовика XVI последовало формальное объявление «состояния войны» между Англией и Французской республикой (1 февраля 1793 г.). Эти события придали на первых порах больше смелости лидерам тех политических группировок, которые требовали избирательной реформы, но, с другой стороны, эти же события отбросили часть вигов в лагерь решительнейшей консервативной реакции и окончательно сделали партию тори правительственной партией по преимуществу. Вильям Питт в 1793 г. заговорил таким языком, каким он даже еще после 10 августа 1792 г. не говорил. «Ужасы, происходящие в соседней стране», «погибающая от анархии Франция», «злодеи и преступники, управляющие несчастной страной», не сходят со столбцов правительственной печати и с языка правительственных ораторов. Проект рефор-

мы избирательного права, представленный Греем, провалился безнадежно (282 голоса против 41) уже в мае 1793 г., реакция в Англии все усиливалась. Сочувствие «французским идеям» стало квалифицироваться как государственная измена. Людей стали сажать на год и на два в тюрьму и выставлять у позорного столба за каждое неосторожное слово.

КРУПНАЯ АНГЛИЙСКАЯ БУРЖУАЗИЯ И ФРАНЦУЗСКИЕ КОЛОНИИ

Руководящие верхи буржуазии во главе с лондонским Сити теперь уже всецело поддерживали непримиримую политику Вильяма Питта. Война против революционной Франции, с одной стороны, позволяла проводить суровые репрессии против той плебейской массы, которая явно находилась под влиянием Французской революции и уже начала подавать свой голос, а с другой стороны, победа над Францией сулила в будущем переход всех французских колоний в руки Англии. И в данном случае надежды возлагались не только на британский флот и колониальные войска, но и на явное стремление французских плантаторов поскорее отделиться от революционной метрополии и передаться англичанам. Законодательство Конвента, отменившее рабство в колониях, превратило плантаторов французских колоний в государственных изменников, которые прямо или косвенно не переставали трудиться над делом передачи колоний в руки англичан или испанцев. При этих изменнических действиях была выработана и особая «благообразная» формула, впервые пущенная в ход представителем плантаторов Сан-Доминго Венан-де-Шармильи 3 сентября 1793 г., когда он подписал от имени союза плантаторов конвенцию с генерал-губернатором английской Ямайки Уильямсоном: плантаторы отдавали французскую часть Сан-Доминго англичанам, «чтобы быть избавленными от угнетающей тирании», причем «окончательное» решение вопроса о суверенитете над островом должно было последовать только «при заключении всеобщего мира». Легко себе представить, до какой степени заразительным при таких условиях оказался пример плантаторов Сан-Доминго.

Негры восставали еще с 1789 г., прослышав о «равенстве» и других принципах, так громогласно и торжественно провозглашенных в Декларации прав человека и гражданина, а затем и в ряде статей вырабатывавшейся Конституции. Во многих местах восстания негров в 1789—1792 гг. плантаторы подавляли только при помощи англичан и испанцев, специально ими для этой цели призываемых. Но только с конца 1792 г. и

особенно с 1793 г. углубление революции в метрополии и окончательно вотированное Конвентом уничтожение рабства заставили плантаторов и средний слой кормившихся около них людей (приказчиков, скупщиков продуктов, агентов транспорта и т. д.) утвердиться на решении искать спасения в перемене подданства, а точнее — в предательской передаче французского национального богатства и территории в руки врагов Франции.

До сих пор наука сравнительно очень мало исследовала поистине огромную роль именно этой деятельнейшей агитации плантаторов как в расширении и углублении контрреволюционного движения во французской крупной буржуазии, так и в резком усилении реакции среди того же класса в Англии. С 1793 г. хроническое состояние войны против революционной Франции стало рассматриваться в лондонском Сити, во всех приморских портах Англии, во всех британских колониях как выгоднейшая торговая и завоевательная афера. Чем больше неистовствовал Вильям Питт, предававший людей суду за малейший признак сочувствия революции, чем больше наводнял он Париж и французскую провинцию шпионами всех возрастов и мастей, чем больше английские суды ссылали на австралийскую каторгу и поселение на семь лет за распространение брошюр в пользу всеобщего избирательного права (как сослали в сентябре 1793 г. Пальмера), тем более английская крупная буржуазия рукоплескала всемогущему министру. И все-таки приверженцы революционных идей и друзья революционной Франции не складывали оружия.

В конце октября был созван, а 19 ноября 1793 г. в Эдинбурге собрался «конвент», т. е. съехались делегаты английских и шотландских ячеек «Общества друзей народа». Целью этого собрания была пропаганда идей всеобщего избирательного права, ежегодно избираемого парламента, свободы для всех граждан Британской империи, другими словами — уничтожения рабства в колониях. Этот конвент был в конце концов закрыт полицией, а три наиболее революционно настроенных оратора отправлены в качестве ссыльнопоселенцев в Австралию (каждый — на четырнадцать лет). Однако митинги, то в закрытых помещениях, то за городом, под открытым небом, продолжались время от времени, при малейшем неосторожном слове вызывая правительственные репрессии. Сохранение в неприкосновенности старого избирательного права в метрополии и рабства в колониях сделалось как бы главной заботой британского кабинета.

В середине мая 1794 г. Вильям Питт внес в парламент и провел без малейшего труда как через палату общин, так и через палату лордов билль о приостановке действий акта Habeas

Corpus, основного закона о неприкосновенности личности. Питт мотивировал необходимость этой меры существованием в Англии (выдуманного им) «огромнейшего заговора во владениях его величества короля». Заговор этот имел будто бы целью ниспровергнуть в Англии все: и образ правления, и общественный порядок, и религию, и частную собственность (прямой намек на вопрос об уничтожении рабства в колониях). После того, как этот билль стал законом, к судебным репрессиям прибавился полицейский произвол в таких размерах, о которых в Англии уже очень давно, пожалуй, со времен последнего Стюарта (Иакова II), не было слышно. И все-таки идеи и настроения Французской революции, от которых под влиянием как страха перед демократией, так и по соображениям непосредственной выгоды отвернулась английская крупная, а за ней и средняя буржуазия,— нашли свой путь в низшие (по имущественному признаку) слои народа. И до, и после знаменитых «мятежей во флоте» в 1797 г. Вильяму Питту еще неоднократно приходилось убеждаться в том, что ненавистный призрак революционной Франции продолжает тревожить в Англии мысль и воображение обездоленных и обойденных, несмотря ни на какие «приостановки» Habeas Corpus.

ВЛИЯНИЕ РЕВОЛЮЦИИ НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ В АНГЛИИ

Коснемся теперь в самой сжатой форме того влияния, которое оказала в эти годы Французская революция на английскую теоретизирующую политическую мысль.

В 1792 г. в Англии и враги и друзья революции уже не так относились к ней, не так оценивали ее значение, как в первые полтора года после взятия Бастилии. Уже в ноябре 1790 г., при первом появлении контрреволюционной книги Бёрка, английское читающее общество стало осваиваться с мыслью, что Французская революция — такое событие, которое затрагивает не одну Францию, но все человечество, и что, в частности, этому событию суждено иметь серьезное влияние на судьбы Англии. Эту мысль Бёрка восприняли и те публицисты — вроде Мэри Уолстонкрефт или Брук-Бусби, или Пристли,— которые резко отвергли злобные выходки автора «Размышлений о французской революции» и утверждали, что пером Бёрка руководят непонимание, незнание и ненависть. Мысль о всемирном значении революции воспринял и Мэкинтош, автор одного из наиболее значительных произведений из всех, какие были непосредственно вызваны памфлетом Бёрка. В 1791 г. появилась книга Мэкинтоша «Vindiciæ gallicæ». Это латинское название

английского трактата означает: «Галльские домогательства» или «Галльские требования», но в слове «vindiciæ есть оттенок, который не вполне передается этими русскими выражениями. Этим словом в древнем Риме обозначался судебный иск, предъявление судебной жалобы, требование о взыскании. В этом слове есть оттенок угрозы, и слово мститель (vindex) одного корня с термином vindiciae. Озаглавив так свою книгу, Мэкинтош доказывает, что Французская революция есть всенародное французское дело, а вовсе не результат тех или иных речей или злоумышленных или неосторожных поступков ораторов Национального собрания, или статей радикальных публицистов. Мэкинтош полагает, что французский народ был вполне вправе создавать новые политические убеждения, которые, по его мнению, должны дать ему больше благополучия, чем старый, только что сломленный абсолютистско-феодальный режим. Мэкинтош находит, что и тот акт, который тогда, в 1790—1791 гг., возбуждал такое негодование во всех консервативных кругах европейского общества — секвестр церковных земельных имуществ,— был совершенно правомерен и за это также незачем корить революцию.

Спустя несколько месяцев после Мэкинтоша, в том же 1791 г. выступил с книгой «Права человека» Томас Пэн. Этот яркий и убежденный публицист уже давно был знаменитостью если не у себя на родине — в Англии, то в Соединенных Штатах. Еще в 1776 г., как раз когда конгресс в Филадельфии готовился провозгласить Декларацию независимости отпавших от Англии колоний, Томас Пэн выпустил памфлет под названием: «Здравый смысл» (The Common Sense). В этом памфлете, явившемся как бы политико-философским комментарием к американской революции, Томас Пэн провозглашал, что наследственная власть есть нелепый предрассудок и обман, а монархия и гнусна, и бессмысленна, и даже греховна с чисто религиозной точки зрения.

Теперь, в 1791 г., приветствуя Французскую революцию, как он приветствовал за пятнадцать лет до того американскую революцию, Томас Пэн выражает гораздо более оптимистические чувства, чем в 1776 г. Тогда он с горечью говорил, что в Европе (в том числе и в Англии) всюду царит угнетение, что свобода, изгнанная из Европы, возлагает все надежды на приют только в Америке. Теперь, в 1791 г., Пэн, напротив, уверен, что монархи и аристократия отжили свой век и осуждены на скорое исчезновение. Мало того, он возмущается нелепостями и несправедливостями, которые находит в прославленной английской конституции с ее монархически-аристократическими основами. Он не верит в то, что живущее поколение должно с каким-то особым почтением относиться к унаследованным от

предков историческим учреждениям, законам и обычаям. Всецело стоя на почве учения о естественных, прирожденных человеку правах, Томас Пэн не только восторгается Французской революцией, но предвосхищает ее дальнейшее развитие и углубление. Можно сказать, что он уже в 1791 г. видит приближающиеся времена Конвента. В то время как Мэкинтош и другие как бы защищают революцию от несправедливых нападок со стороны реакционеров, Томас Пэн переходит в наступление. Людям, порицающим новую французскую конституцию, Томас Пэн отвечает, что конституция английская существует главным образом в целях предоставления королю денежных средств для подкупа законодательных органов.

Сенсация, произведенная книгой Пэна, была огромна. Правительство, после некоторых колебаний, отдало автора под суд. Но Пэн вовремя уехал во Францию. «Мое отечество там, где люди сражаются, чтобы добыть себе свободу»,— говорил Томас Пэн. В Англии его осудили — во Франции избрали членом Конвента. Что касается до его книги, то после осуждения автора ее отбирали в Англии через полицию и беспощадно преследовали тех, кто ее давал тайком для прочтения. В 1792 г. сначала в Оксфордском университете, а спустя некоторое время и в Кэмбриджском, студенты торжественно, в присутствии своих профессоров и граждан этих городов сожгли на костре фигуру, изображавшую Томаса Пэна. Контрреволюционный блок, в который вступили обе правящие поочередно партии английского аристократического и буржуазного классов — тори и виги, можно считать окончательно сформировавшимся уже весной 1793 г. Характерно, что прославленный теоретик либеральных доктрин Джереми Бентам уже в 1793 г. решительно выступил против Французской революции, хотя еще в начале 1792 г. благосклонно взирал на законодательные реформы французского Национального собрания.

Но если бурное развитие Французской революции создало и консолидировало в Англии единый контрреволюционный блок, твердо решивший всеми мерами отстаивать свои позиции от возможных покушений со стороны плебейской массы и, в частности, со стороны рабочих, как раз тогда переживавших все ужасы хронической голодовки и безработицы,— то, с другой стороны, развитие революционного процесса окрыляло радикально настроенных людей самыми радужными надеждами. В 1793 г. вышла в свет книга Вильяма Годвина под названием: «Исследование, касающееся политической справедливости и ее влияния на всеобщую добродетель и счастье».

Годвин идет гораздо дальше Томаса Пэна и гораздо дальше французского Конвента. Он решительно отвергает какую бы то ни было справедливость в господствующем праве собственно-

сти, ведущем только к эксплуатации неимущих имущими, и в охране этой эксплуатации всеми силами государственной власти. Более справедлив, сравнительно с этим существующим повсюду принципом, говорит Годвин, был бы другой принцип, согласно которому человек должен быть поставлен в такие условия, что мог бы самолично, не делясь ни с каким эксплуататором, пользоваться полностью всем продуктом своего труда. Но и этот принцип не удовлетворяет Годвина.

Единственно справедливой экономической и социальной организацией он признает такой порядок, когда индивидуум получает все материальные блага, необходимые для удовлетворения его потребностей. Но как же быть, если у данного индивидуума не хватает сил или орудий труда, чтобы самому заработать все нужное для удовлетворения его потребностей? Тут Годвин уповает на разум человека: принцип поведения разумного человека — гармония его личного блага с благом общественным. Когда восторжествует разум как единственный законодатель, люди имущие сами добровольно отдадут из своей собственности нуждающемуся все, чего ему будет недоставать. Годвин не уничтожает индивидуального владения: он только полагает, что все богатства будут разделены по потребностям,— и все это произойдет в результате просвещения разума, которое неизбежно приведет к моральному преобразованию общества.

Годвин — в основе — анархист: он считает, что государство и право отомрут сами собой за полной ненадобностью, когда победит разум, а вместе с ним тот экономический принцип, который он проповедует. Крайний рационализм и утопизм Годвина не должны мешать признанию за его трактатом (и другими его аналогичными произведениями) известного исторического значения. Подобно позднейшим учениям Фурье и Сен-Симона, Годвин четко поставил вопрос о бесплодности чисто политических перемен, если они не ведут к исправлению социальной несправедливости и прежде всего к уничтожению экономического неравенства. Но, отрицая политическую борьбу, отрицая насильственные меры, возлагая все надежды на моральное усовершенствование человеческих обществ, Годвин делал вполне утопическими все свои рассуждения и всю программу. Идеям Французской революции он очень сочувствовал, но, согласно всему укладу своего политического мышления, отрицательно относился к тем мерам, к которым революция в состоянии самозащиты, обороняясь от полчищ внешних и внутренних врагов, принуждена была прибегать, чтобы не погибнуть.

Годвина читали в кругах буржуазной радикальной интеллигенции. Рабочая масса его не знала вовсе.

НЕИЗБЕЖНОСТЬ ВОЕННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ АНГЛИИ

В течение 1793 и 1794 гг. в Европу постепенно прибывали известия о полнейшей, прочной поддержке, которую английский парламент оказывает Вильяму Питту, а затем, с опозданием в несколько месяцев, с Антильских и Маскаренских островов, с Сен-Пьера и Микелона (в ньюфаундлендских водах) — со всех концов земли, где только были французские колонии, стали получаться вести о победоносных и без особого труда совершаемых англичанами захватах французских владений. К 1792—1793 гг. обнаружился полнейший упадок французского флота и невозможность, по крайней мере в ближайшие годы, ждать его полного возрождения, так как все силы и средства французского народа должны были обратиться на дело сухопутной обороны от интервентов. Все эти обстоятельства делали ясным для политиков и дипломатов континентальных монархий, что война Англии против революционной Франции стала отныне, с 1793 г., основным и могущественнейшим фактором всех международных отношений не на год, не на два, а, быть может, на десяток лет. Что на самом деле эта война будет длиться с двумя перерывами (в восемь месяцев в 1802/1803 г. и одиннадцать месяцев в 1814/1815 г.) целых двадцать два года, с 1793 по 1815 г.,— этого, конечно, не предвидел никто.

Этот факт «перманентной войны» Англии против Франции имел огромное влияние на все последующие события. Врагам Франции он придал новую бодрость и уверенность в неминуемой конечной победе интервентов. Англичане помогали пока еще небольшими денежными субсидиями и Австрии, и Пруссии, и Сардинскому королевству, и Испании; англичане выгружали оружие на берегах Вандеи, поднявшей знамя роялистского мятежа; англичане поддерживали постоянную связь между вандейскими инсургентами и укрывшимися в Лондоне контрреволюционными эмигрантами; английский флот отрезал Францию от всех морей; английский десант угрожал Франции в самых разнообразных местах.

1941 г.

Предисловие

[К книге Наполеон. Избранные произведения. т. 1. М., Воен. изд., 1941]

Высокая историческая и теоретическая ценность произведений Наполеона, касающихся его войн, давно уже признана в науке и, конечно, не нуждается в доказательствах. Величайший полководец мировой истории настойчиво и неоднократно советовал всякому военному человеку изучать пристально и в деталях походы таких полководцев, как Цезарь, Ганнибал, Тюренн, Фридрих Великий. Себя он, конечно, ставил выше всех своих предшественников в военном искусстве, хотя нигде этого прямо не высказывает. Но ему этого и не нужно было делать; уже современники — и друзья и враги — это успели признать еще при его жизни, и это мнение не пошатнулось после неудач последних лет его изумительнейшей военной карьеры. Наполеон погиб не вследствие ослабления своего военного гения, но вследствие того, что он поставил перед собой абсолютно неосуществимую задачу уничтожения политической самостоятельности всех держав континента с превращением населения Европы в колониальных данников крупной французской буржуазии.

И в его исторической судьбе удивительно вовсе не то, что он в конце концов погиб, но что он мог столько времени продержаться в том безмерном величии, которое он для себя создал, и что он оказался в состоянии так далеко зайти по той дороге, на которую он вступил двадцатисемилетним артиллерийским генералом. Подавляющее большинство его военных произведений написано (вернее, продиктовано) им уже в последние годы жизни на острове Св. Елены,— и читатель не должен никогда забывать того, о чем всегда следует помнить при чтении вообще всего, что вышло из-под его пера или рассказано им устно маленькой свите, окружавшей его в Лонгвуде: о затаенной, но вполне явственной *цели,* которая была у императора при составлении его мемуаров.

Эта цель была чисто политической. Наполеон явно верил в то, что основанная им династия Бонапартов рано или поздно вернется на французский престол. Он не мог, конечно, предвидеть того, что случилось через тридцать лет после его смерти, т. е. воцарения своего племянника Луи-Наполеона; он думал не о племяннике, а о своем сыне, которому суждено было пережить отца всего одиннадцатью годами. Но что Бурбоны не продержатся и что нужно готовить трон для сына,— в этом император был уверен. Его мемуары поэтому прежде всего должны были поддержать неомраченным блеск сияния славы, которая окружала его имя, потому что эта слава и была тем главным историческим капиталом, который он завещал своему сыну.

Император был слишком умен и тонок, чтобы не понимать, в чем трудность достижения поставленной им себе цели. Он не только сознавал теперь, у порога могилы, страшные ошибки, приблизившие, а потом и повлекшие за собой его падение, но и понимал, что эти ошибки ясны и неопровержимы в глазах всего человечества и что попытка их отрицать совершенно бесполезна и может повредить мемуарам в глазах читателя. Поэтому он признал тяжкими своими ошибками и нашествие на Испанию, и поход в Россию, и даже относительно Пруссии, по крайней мере, что он не пожелал поддерживать либеральные стремления в покоренных и вассальных странах.

Но, признав за собой эти и еще кое-какие ошибки, Наполеон с тем большей настойчивостью выдвигает перед читателем то, что он считает своими историческими заслугами, не переставая подчеркивать свою будто бы всеблагую устрояющую роль монарха, старавшегося обеспечить счастье Франции, уже достигшего значительных на этом пути результатов и уже готовившегося стать всемирным благодетелем как раз тогда, когда несчастья 1812 и следующих лет положили предел его деятельности.

Естественно, что при такой центральной и все собой определяющей задаче мемуаров Наполеону особенно выгодно и важно было посвятить возможно больше места именно воспоминаниям о военных своих подвигах, т. е. остановиться на той стороне своей деятельности, которая в самом деле всегда возбуждала меньше всего порицаний и критики и где он действительно считался (и был) первоклассным мастером. Если трезвый, глубокий, беспристрастно взвешивающий ум Фридриха Энгельса определял, скажем, Аустерлиц как право на бессмертие наполеоновского имени, если бесчисленные военные писатели повторяли подобную же оценку, анализируя другие сражения и походы Наполеона, то нет ничего удивительного, если сам полководец особенно долго задерживался мыслью на воспоминаниях о своей огромной и блистательной военной эпопее.

Конечно, им были совершены ошибки и в руководстве военными действиями, но на их признание Наполеон был гораздо скупее, чем на признание ошибок политических. Тут он склонен большую часть вины перекладывать на исполнителей его предначертаний. Но тут читателю, конечно, придется обратиться к имеющимся в военно-исторической литературе обширным комментариям не только об отдельных походах Наполеона, но и об отдельных операциях, сражениях и осадах каждого похода. Следует отметить, что мемуары и пояснения самого Наполеона, критическое отношение к которым обязательно, все же признаются и старыми и новейшими военными историками совершенно необходимым, первоклассным материалом, пройти мимо которого немыслимо при мало-мальски серьезном отношении к делу.

Гениальный мастер военного искусства, унаследовавший от революции очень много нового, что она внесла в военное дело, и новые принципы действия массами, и новые задачи и методы боевых построений, унаследовавший от революции и нового солдата, повышенного морального качества людской материал,— Наполеон первый показал, до каких крайних пределов силы и успеха можно дойти, маневрируя с этой новой армией против войск полуфеодальных, крепостнических абсолютистских монархий.

В первом томе, предлагаемом ныне Военным издательством, читатель найдет воспоминания Наполеона о его любимой итальянской кампании 1796—1797 гг., где впервые его могучий полководческий дар поразил Европу. Молниеносные успехи первого завоевания Италии навсегда остались в памяти и самого Наполеона и его современников как поразительный, почти сказочный ряд неслыханных стратегических и тактических достижений. Исторические слова величайшего из военных современников Наполеона Суворова: «Далеко шагает! Пора, пора унять молодца!» — были сказаны именно по поводу первых успехов наполеоновской военной карьеры. «Я нашел свои сапоги итальянской кампании!» — с удовольствием повторял Наполеон среди совсем уже никем не ожидавшихся блестящих и непрерывных побед своей кампании 1814 г., когда, вопреки всякому правдоподобию, уже погибающий император продолжал наносить армиям коализованной Европы такие страшные поражения.

Наполеон, стремясь возвеличить свои подвиги 1814 г., считал, что нельзя сделать лучше, чем сравнив их с победами 1796—1797 гг.

Политика, так тесно и неразрывно сплетающаяся со стратегией, особенно крепко и прочно соединялась у Наполеона; и тут тоже нужно заметить, что именно при анализе чисто политических своих действий император старается задним

числом придать им наиболее положительный и способный вызвать одобрение характер. Например, чисто хищническое, ничем со стороны не вызванное свое нападение на нейтральную Венецию Наполеон мотивирует какими-то выдуманными избиениями французов, а также подчеркивает, что Венеция была республика *аристократическая,* так что читателю внушается мысль, будто Бонапарт, оккупируя (и ограбив) Венецию, радел как бы о ее демократизации и вместе с тем справедливо карал за обиды, чинимые французам. На деле же он захватил Венецию, во-первых, из-за ее материальных ресурсов и стратегических выгод, которые давало это завоевание французской армии, а во-вторых, чтобы иметь предмет для обмена, который можно было бы пустить в ход при мирных переговорах с австрийцами (которым завоеватель в конце концов и отдал Венецию).

Это лишь один из образчиков очень свободного обращения Наполеона с исторической истиной в тех случаях, когда истина не очень укладывается в предустановленные ей рамки. Критическое, настороженное внимание ни на минуту не должно покидать читателя при чтении этой книги. Но самая книга, как и ее продолжение, по богатству материалов, по яркости и глубине отдельных замечаний, по тонкости и основательности мотивировки основных военных действий постоянно будет напоминать читателю об авторе, который, по словам одного современного английского историка, «расширил до крайних пределов наше представление о том, до чего может дойти человеческий ум и человеческая энергия».

1941 г.

Михаил Илларионович Кутузов — полководец и дипломат

Анализ громадной, очень сложной исторической фигуры Кутузова иной раз тонет в пестрой массе фактов, рисующих войну 1812 г. в целом. Фигура Кутузова при этом если и не скрадывается вовсе, то иногда бледнеет, черты его как бы расплываются. Кутузов был русским героем, великим патриотом, великим полководцем, что известно всем, и великим дипломатом, что известно далеко не всем.

Выявление громадных личных заслуг Кутузова затруднялось прежде всего тем, что долгое время вся война 1812 г., с момента отхода русской армии от Бородина до прихода в Тарутино, а затем вплоть до вступления ее в Вильно в декабре 1812 г., не рассматривалась как осуществление глубокого плана Кутузова — плана подготовки, а затем реализации непрерывавшегося контрнаступления, приведшего к полному разложению и конечному уничтожению наполеоновской армии.

Теперь историческая заслуга Кутузова, который против воли царя, против воли даже части своего штаба, отметая клеветнические выпады вмешивавшихся в его дела иностранцев вроде Вильсона, Вольцогена, Винценгероде, провел и осуществил свою идею, вырисовывается особенно отчетливо. Ценные новые материалы побудили советских историков, занимающихся 1812 годом, приступить к выявлению своих недочетов и ошибок, пропусков и неточностей, к пересмотру сложившихся прежде мнений о стратегии Кутузова, о значении его контрнаступления, о Тарутине, Малоярославце, Красном, а также о начале заграничного похода 1813 г., о котором у нас знают очень мало, в чем виновна почти вся литература о 1812 годе, в том числе и моя старая книга, где этому походу посвящено лишь очень немного беглых замечаний. Между тем первые четыре месяца 1813 г. немало дают для характеристики стратегии Кутузова и показывают, как контрнаступление перешло в прямое наступление с точно поставленной целью уничтожения

агрессора и в дальнейшем — низвержения наполеоновской грандиозной хищнической «мировой монархии».

В подготовляемой мною новой книге «Нашествие 1812 года и разгром Наполеона в России» я надеюсь воспользоваться как новыми, так и более обстоятельно некоторыми старыми материалами и, более подробно рассказав о том, что вытекает само собой из новой концепции книги, дать читателю нечто более законченное и правильное, чем удалось дать в старой книге* [1].

Эта новая работа дает мне возможность и возлагает на меня обязанность вновь заняться 1812 годом, исправить, а главное, сильно пополнить работу и попытаться представить советскому читателю историю гибели наполеоновской армии в свете новых данных.

Я надеюсь со временем, в связи с выходом в свет II тома моей трилогии («Русский народ в борьбе против агрессоров в XVIII—XX веках»), опубликовать очерк о том, как «показан», а точнее, как замаскирован истинный образ великого полководца Кутузова в литературе Западной Европы и Америки. Туда прежде всего войдет разбор работ немецких историков, немало потрудившихся над фальсификацией истории 1812 г. вообще, а Кутузова в частности: Ганса Дельбрюка, Иорка фон Вартенберга, Бернгарди, а особенно сбивших многих с толку своим авторитетом «очевидцев» — Клаузевица и Толя, англичанина Роберта Вильсона, шпионившего за Кутузовым одновременно за счет и в пользу английского посла Кэткарта и императора Александра, Рюстова (он критикует Кутузова в войне 1805 г. и дает ему авансом общую оценку), Рота фон Шрекенштейна («Роль кавалерии в битве под Бородином») и т. д.

Отдельно я даю разбор показаний французских участников и летописцев похода: Коленкура, Сегюра, Жомини, историков Шамбре, Тьера, новейшего автора Луи Мадлена и др.,— причем отмечаю, что некоторые из них (например, основоположник «наполеоновской легенды» Адольф Тьер) фантазируют о сражениях 1812 г. больше, чем даже официальные «Бюллетени великой армии», хотя последние дали совсем недостижимые, казалось бы, образцы (вспомним бюллетень о выходе Наполеона из Москвы: «Великая армия, разбив русских, идет в Вильну» и пр.). Англичане (кроме упомянутого памфлета Вильсона) мало писали о 1812 годе и писали чисто фактические очерки, а когда пускались в оценки, то ограничивались краткими голословными презрительными или «снисходительными» отзывами. В частности, о Кутузове и его стратегии они вообще никакого представления не имеют. В последнее время стали появляться

* Указанная книга не была закончена автором, имеются лишь отдельные отрывки.— *Ред.*

и американские работы, которыми я и заканчиваю в подготовляемой статье свой обзор «сказаний иностранцев о 1812 годе», как можно было бы по-старинному назвать подавляющее большинство этих иногда прямо диковинных повествований.

В громадной новой (1946-го и последующих годов) «Британской энциклопедии» читаем о Кутузове следующее: «Он дал сражение при Бородине и потерпел поражение, но не решительное». А дальше: «Осторожное преследование противника старым генералом вызывало много критики». Вот и все. Эта оценка, особенно ее лаконизм, живо напоминает классические полторы строки о Суворове в одном из прежних изданий Малого Энциклопедического словаря Лярусса: «Суворов, Александр. 1730—1800. Русский генерал, разбитый генералом Массена». Когда и где? Об этом осторожно не упоминается по весьма понятной причине. Это — все, что французам полагается знать об Александре Суворове. Не менее обстоятельно сказано и о Кутузове: «Кутузов, Михаил, русский генерал, побежденный при Москве. 1745—1813»[2]. Вот и все. К этому следует прибавить и примечательный отзыв о Кутузове, принадлежащий акад. Луи Мадлэну, написавшему в 1934 г. во вступительной статье к изданию писем Наполеона к Марии-Луизе, что после Бородина Кутузов «имел бесстыдство (eût impudence) не считать себя побежденным».

Следует отметить одно очень любопытное наблюдение. Иностранные историки, пишущие о 1812 годе в России, меньше и реже пускают в ход метод опорочивания, злостной и недобросовестной критики, чем метод полного замалчивания. Приведу типичный случай. Берем четырехтомную новейшую «Историю военного искусства в рамках политической истории», написанную проф. Гансом Дельбрюком. Раскрываем четвертый, увесистый, посвященный XIX в. том, особенно главу «Стратегия Наполеона». Ищем в очень хорошо составленном указателе фамилию Кутузова, но не находим ее вовсе. О 1812 годе на стр. 386 читаем: «Настоящую проблему наполеоновской стратегии представляет кампания 1812 г. Наполеон разбил русских под Бородином, взял Москву, был вынужден отступить и во время отступления потерял почти всю свою армию». Оказывается, будь на месте Наполеона тайный советник проф. Г. Дельбрюк, России пришел бы конец: «Не лучше ли поступил бы Наполеон, если бы в 1812 г. он обратился к стратегии измора и повел бы войну по методу Фридриха?»[3]

И, собственно, больше ничего о 1812 годе не говорится. а Кутузов даже не упомянут. Но обо всем этом будет сказано более подробно в особом очерке. Там же я коснусь как старой русской литературы, так и советской, вышедшей в самое последнее время (в 1950—1951 гг.).

В 1948 г. я приступил к работе над значительной, очень своевременной темой «Русский народ в борьбе против агрессоров в XVIII—XX веках». Первый том этой работы посвящен шведскому нашествию и разгрому Карла XII, второй том, над которым я работаю в настоящее время,— нашествию 1812 г. и разгрому Наполеона в России, третий том будет посвящен нашествию и разгрому немецко-фашистских войск и полному разгрому гитлеровской Германии.

В этой общей связи я и рассматриваю сейчас нашествие 1812 г. В моей новой книге о 1812 годе я подробно анализирую то, что дают документы о боях под Тарутином, Малоярославцем, Красным, и пытаюсь выяснить, какое место они занимают в той цепи активных (и победоносных) военных действий, какой является от начала до конца контрнаступление Кутузова.

Отмечу некоторые моменты, наиболее существенно отличающие подготовляемую мною книгу от той, которая писалась в 1937 г. и была впервые издана в 1938 г. Во-первых, гораздо более обстоятельно будет показано разорение и сожжение французами Смоленска и общий жестокий характер нашествия как до Смоленска, так и особенно от Смоленска до Бородина, от Бородина до Москвы, от Москвы до Вязьмы, беспощадное, истинно варварское разорение, причиненное агрессором, грабившим, опустошавшим, сжигавшим города, села, деревни на всей постепенно занимаемой им территории.

Во вторых, деятельность Кутузова будет показана в тесной связи с его общей программой нанесения основного тяжкого удара неприятельской армии на путях к Москве. После Бородина и отступления к Москве и за Москву, к Тарутину, Кутузов поставил целью воссоздание регулярной военной силы, необходимой для начала систематического и непрерывного контрнаступления. Тут будет рассмотрена организаторская деятельность Кутузова и его штаба в Тарутине (что не было сделано в старой книге); наконец, будет дан анализ сражений под Тарутином, Малоярославцем, Вязьмой, Красным, Березиной и выявлено их значение как последовательных звеньев осуществления развивавшегося кутузовского плана контрнаступления, реализация которого и привела к уничтожающему разгрому армии агрессора. При описании партизанской войны в новой книге будет подробно показано, что партизанские действия были лишь большой, очень существенной поддержкой действий регулярной армии, но вовсе не главным средством и орудием, сокрушившим неприятеля, потому что решающая роль принадлежала регулярной армии,— другими словами, будет исправлена неточность, а потому и ошибочность формулировки, данной в старой книге, в главе о «народной войне».

Гораздо больше места будет уделено характеристике стра-

тегии и тактики Кутузова в течение всей войны и в ходе отдельных боевых столкновений, что не было сделано в должной степени в старой книге. Новая книга, которая по размерам будет почти вдвое больше старой, даст читателю более обширный материал и вообще облегчит автору исправление замеченных неточностей, недочетов и неполноты в изложении. Особая большая глава будет посвящена походу 1813 г. до момента смерти Кутузова, о чем у меня в старой книге сказано совсем бегло, а у большинства авторов научно-популярных книг о 1812 годе, замечу кстати, вообще ровно ничего не сказано.

В новой книге историческая роль Кутузова будет выявлена и охарактеризована по возможности полно. При той концепции планов и действий Кутузова, которую подсказывают и вполне подтверждают документы, совершенно немыслимо продолжать поддерживать теорию «золотого моста», которая долго всерьез приписывалась Кутузову со слов враждебного к нему английского бригадира Вильсона. Конечно, этой ошибке не будет места в труде, связывающем Бородино и контрнаступление общей мыслью главнокомандующего о полном уничтожении армии агрессора в России. Изображать контрнаступление в отрыве от Бородина — это значит впадать в глубокую ошибку. В действительности именно Бородино, а затем Тарутино сделали возможным переход в контрнаступление и полный успех глубокого замысла Кутузова.

Наконец, хотя и в старом издании я решительно нигде не приписываю ни голоду, ни морозу значения факторов, определивших исход гигантской борьбы, а говорю лишь о роли этих факторов в деле ускорения гибели французов, но ясно, что если у некоторых читателей могло возникнуть подобное недоразумение,— значит, необходимо будет более точно и подробно изложить свою мысль. Я формулирую ее теперь так: стратегия Кутузова привела к Бородину и создала затем глубоко задуманное и необычайно оперативно проведенное контрнаступление, «загубившее Наполеона». А геройское поведение регулярной армии при всех боевых схватках с неприятелем, деятельная помощь партизан, народный характер всей войны, глубоко проникшее в народ сознание полной справедливости этой войны — все это, в свою очередь, послужило несокрушимым оплотом для возникновения, развития и победоносного завершения гениальной стратегической комбинации Кутузова.

В предлагаемой статье я хочу поделиться с читателем тем, как мне представляется сейчас не только роль Кутузова в Отечественной войне 1812 г., но и главные этапы всего его жизненного пути до принесшего ему бессмертие 1812 года. Это самая краткая схема того, что будет дано в большой работе.

Ум и воинская доблесть Кутузова были признаны и товарищами и начальством уже в первые годы его военной службы, которую он начал 19 лет. Он воевал в войсках Румянцева, под Ларгой, под Кагулом, и тогда уже своей неслыханной храбростью заставил о себе говорить. Он первым бросался в атаку и последним прекращал преследование неприятеля. В конце первой турецкой войны он был опасно ранен и лишь каким-то чудом (так считали и русские и немецкие врачи, лечившие его) отделался только потерей глаза [4]. Екатерина велела отправить его на казенный счет для лечения за границу. Эта довольно длительная поездка сыграла свою роль в его жизни. Кутузов с жадностью набросился на чтение и очень пополнил свое образование. Вернувшись в Россию, он явился к императрице благодарить ее. И тут Екатерина дала ему необычайно подходившее к его природным способностям поручение: она отправила его в Крым в помощь Суворову, который исполнял тогда не очень свойственное ему дело: вел дипломатические переговоры с крымскими татарами.

Нужно было поддержать Шагин-Гирея против Девлет-Гирея и дипломатически довершить утверждение русского владычества в Крыму. Суворов, откровенно говоривший, что он дипломатией заниматься не любит, сейчас же предоставил Кутузову все эти щекотливые политические дела, которые тот выполнил в совершенстве. Тут впервые Кутузов обнаружил такое умение обходиться с людьми, разгадывать их намерения, бороться против интриг противника, не доводя спора до кровавой развязки, и, главное, достигать полного успеха, оставаясь с противником лично в самых «дружелюбных» отношениях, что Суворов был от него в восторге.

В течение нескольких лет, вплоть до присоединения Крыма и конца происходивших там волнений, Кутузов был причастен к политическому освоению Крыма. Соединение в Кутузове безудержной, часто просто безумной храбрости с качествами осторожного, сдержанного, внешне обаятельного, тонкого дипломата было замечено Екатериной. Когда она в 1787 г. была в Крыму, Кутузов — тогда уже генерал — показал ей такие опыты верховой езды, что императрица публично сделала ему суровый выговор: «Вы должны беречь себя, запрещаю вам ездить на бешеных лошадях и никогда вам не прощу, если услышу, что вы не исполняете моего приказания». Но выговор подействовал мало. 18 августа 1788 г. под Очаковом Кутузов, помчавшийся на неприятеля, опередил своих солдат. Австрийский генерал, принц де Линь, известил об этом императора Иосифа в таких выражениях: «Вчера опять прострелили голову Кутузову. Думаю, что сегодня или завтра умрет». Рана была страшная и, главное, почти в том же месте, где и в первый раз, но Кутузов снова избежал

смерти. Едва оправившись, через три с половиной месяца Кутузов уже участвовал в штурме и взятии Очакова [5] и не пропустил ни одного большого боя в 1789—1790 гг. Конечно, он принял непосредственное личное участие и в штурме Измаила. Под Измаилом Кутузов командовал шестой колонной левого крыла штурмующей армии. Преодолев «весь жестокий огонь картечных и ружейных выстрелов», эта колонна, «скоро спустясь в ров, взошла по лестницам на вал, несмотря на все трудности, и овладела бастионом; достойный и храбрый генерал-майор и кавалер Голенищев-Кутузов мужеством своим был примером подчиненным и сражался с неприятелем». Приняв участие в этом рукопашном бою, Кутузов вызвал из резервов Херсонский полк, отбил неприятеля, и его колонна с двумя другими, за ней последовавшими, «положили основание победы».

Суворов так кончает донесение о Кутузове: «Генерал-майор и кавалер Голенищев-Кутузов оказал новые опыты искусства и храбрости своей, преодолев под сильным огнем неприятеля все трудности, взлез на вал, овладел бастионом и, когда превосходный неприятель принудил его остановиться, он, служа примером мужества, удержал место, превозмог сильного неприятеля, утвердился в крепости и продолжал потом поражать врагов» [6].

В своем донесении Суворов не сообщает о том, что когда Кутузов остановился и был тесним турками, то он послал просить у главнокомандующего подкреплений, а тот никаких подкреплений не прислал, но велел объявить Кутузову, что назначает его комендантом Измаила. Главнокомандующий знал наперед, что Кутузов и без подкреплений ворвется со своей колонной в город.

После Измаила Кутузов участвовал с отличием и в польской войне. Ему уже было в то время около 50 лет. Однако ни разу ему не давали вполне самостоятельного поста, где бы он в самом деле мог полностью показать свои силы. Екатерина, впрочем, уже не упускала Кутузова из виду, и 25 октября 1792 г. он неожиданно был назначен посланником в Константинополь. По дороге в Константинополь, умышленно не очень спеша прибыть к месту назначения, Кутузов зорко наблюдал турецкое население, собирал различные справки о народе и усмотрел в нем вовсе не воинственность, которой пугали турецкие власти, а, «напротив, теплое желание к миру» [7].

26 сентября 1793 г., то есть через 11 месяцев после рескрипта 25 октября 1792 г. о назначении его посланником, Кутузов въехал в Константинополь. В звании посланника Кутузов пробыл до указа Екатерины от 30 ноября 1793 г. о передаче всех дел посольства новому посланнику, В. П. Кочубею. Фактически Кутузов покинул Константинополь только в марте 1794 г.

Задачи его дипломатической миссии в Константинополе были ограниченны, но нелегки. Необходимо было предупредить

заключение союза между Францией и Турцией и устранить этим опасность проникновения французского флота в Черное море. Одновременно нужно было собрать сведения о славянских и греческих подданных Турции, а главное, обеспечить сохранение мира с турками. Все эти цели были достигнуты в течение его фактического пребывания в турецкой столице (от сентября 1793 г. до марта 1794 г.).

После константинопольской миссии наступил некоторый перерыв в военной карьере и дипломатической деятельности Кутузова. Он побывал на ответственных должностях: был казанским и вятским генерал-губернатором, командующим сухопутными войсками, командующим флотилией в Финляндии, а в 1798 г. ездил в Берлин в помощь князю Репнину, который был послан ликвидировать или хотя бы ослабить опасные для России последствия сепаратного мира Пруссии с Францией. Он, собственно, сделал за Репнина всю требовавшуюся дипломатическую работу и достиг некоторых немаловажных результатов: союза с Францией Пруссия не заключила. Павел так ему доверял, что 14 декабря 1800 г. назначил его на важный пост: Кутузов должен был командовать украинской, брестской и днестровской «инспекциями» в случае войны против Австрии. Но Павла не стало; при Александре политическое положение постепенно стало меняться, и столь же значительно изменилось служебное положение Кутузова. Александр, сначала назначивший Кутузова петербургским военным губернатором, вдруг совершенно неожиданно 29 августа 1802 г. уволил его от этой должности, и Кутузов 3 года просидел в деревне, вдали от дел. Заметим, что царь не взлюбил его уже тогда, вопреки ложному взгляду, будто опала постигла Кутузова только после Аустерлица. Но, как увидим, в карьере Кутузова при Александре I в довольно правильном порядке чередовались опалы, когда Кутузова отстраняли от дел или давали ему иногда все же значительные гражданские должности, а затем столь же неожиданно призывали на самый высокий военный пост. Александр мог не любить Кутузова, но он нуждался в уме и таланте Кутузова и в его репутации в армии, где его считали прямым наследником Суворова.

В 1805 г. началась война третьей коалиции против Наполеона, и в деревню к Кутузову был послан экстренный курьер от царя. Кутузову предложили быть главнокомандующим на решающем участке фронта против французской армии, состоявшей под начальством самого Наполеона.

Если из всех веденных Кутузовым войн была война, которая могла бы назваться ярким образчиком преступного вмешательства двух коронованных бездарностей в распоряжения высокоталантливого стратега, вмешательства бесцеремонного, настой-

чивого и предельно вредоносного, то это была война 1805 г., война третьей коалиции против Наполеона, которую Александр I и Франц I, совершенно не считаясь с прямыми указаниями и планами Кутузова, позорно проиграли. Молниеносным маневром окружив и взяв в плен в Ульме едва ли не лучшую армию, когда-либо имевшуюся до той поры у австрийцев, Наполеон тотчас же приступил к действиям против Кутузова. Кутузов знал (и доносил Александру), что у Наполеона после Ульма руки совершенно свободны и что у него втрое больше войск [8]. Единственным средством избегнуть ульмской катастрофы было поспешно уйти на восток, к Вене, а если понадобится, то и за Вену. Но, по мнению Франца, к которому всецело присоединился Александр, Кутузов со своими солдатами должен был любой ценой защищать Вену. К счастью, Кутузов не исполнял бессмысленных и гибельных советов, если только ему представлялась эта возможность, т. е. если отсутствовал в данный момент высочайший советник.

Кутузов вышел из отчаянного положения. Во-первых, он, совершенно неожиданно для Наполеона, оказал наступающей армии крутой отпор: разбил передовой корпус Наполеона при Амштеттене, и пока маршал Мортье оправлялся, стал на его пути у Кремса и здесь уже нанес Мортье очень сильный удар. Наполеон, находясь на другом берегу Дуная, не успел оказать помощь Мортье. Поражение французов было полным. Но опасность не миновала. Наполеон без боя взял Вену и вновь погнался за Кутузовым. Никогда русская армия не была так близка к опасности подвергнуться разгрому или капитуляции, как в этот момент. Но русскими командовал не ульмский Макк, а измаильский Кутузов, под командованием которого находился измаильский Багратион. За Кутузовым гнался Мюрат, которому нужно было каким угодно способом задержать, хоть на самое короткое время, русских, чтобы они не успели присоединиться к стоявшей в Ольмюце русской армии. Мюрат затеял мнимые переговоры о мире.

Но мало быть лихим кавалерийским генералом и рубакой, чтобы обмануть Кутузова. Кутузов с первого же момента разгадал хитрость Мюрата и, сейчас же согласившись на «переговоры», сам еще более ускорил движение своей армии к востоку, на Ольмюц. Кутузов, конечно, понимал, что через день — другой французы догадаются, что никаких переговоров нет и не будет, и нападут на русских. Но он знал, кому он поручил тяжкое дело служить заслоном от напиравшей французской армии. Между Голлабрунном и Шенграбеном уже стоял Багратион. У Багратиона был корпус в 6 тысяч человек, у Мюрата — в четыре, если не в пять раз больше, и Багратион целый день задерживал яростно дравшегося неприятеля, и хотя положил

немало своих, но и немало французов и ушел, не тревожимый ими. Кутузов за это время отошел уже к Ольмюцу, за ним поспел туда же и Багратион.

Вот тут-то в полной мере и выявились преступная игра против Кутузова и истинно вредительская роль Александра и другого божьей милостью произведшего себя в полководцы монарха — Франца.

Ни в чем так ярко не сказывалась богатейшая и разносторонняя одаренность Кутузова, как в умении не только ясно разбираться в общей политической обстановке, в которой ему приходилось вести войну, но и подчинять общей политической цели все иные стратегические и тактические соображения. В этом была не слабость Кутузова, которую в нем хотели видеть как открытые враги, так и жалившие в пяту тайные завистники. В этом была, напротив, его могучая сила.

Достаточно вспомнить именно эту трагедию 1805 г.— аустерлицкую кампанию. Ведь когда открылись военные действия и когда, несмотря на все ласковые уговоры, а затем и довольно прозрачные угрозы, несмотря на всю пошлую комедию клятвы в вечной русско-прусской дружбе над гробом Фридриха Великого, так часто и так больно битого русскими войсками, Фридрих-Вильгельм III все-таки отказался вступить немедленно в коалицию, то Александр I и его тогдашний министр Адам Чарторыйский, и тупоумный от рождения Франц I посмотрели на это как на несколько досадную дипломатическую неудачу, но и только. А Кутузов, как это тотчас же вполне выяснилось по всем его действиям, усмотрел в этом угрозу проигрыша всей кампании. Он тогда знал и высказывал это неоднократно, что без немедленного присоединения прусской армии к коалиции союзникам остался единственный разумный выход: отступить в Рудные горы, перезимовать там в безопасности и затянуть войну, т. е. сделать именно то, чего боялся Наполеон.

При возобновлении военных действий весной обстоятельства могли либо остаться без существенных перемен, либо стать лучше, если бы за это время Пруссия решилась наконец покончить с колебаниями и войти в коалицию. Но уж, во всяком случае, решение Кутузова было предпочтительнее, чем решение отважиться немедленно идти на Наполеона, что означало бы идти почти на верную катастрофу. Дипломатическая чуткость Кутузова заставляла его верить, что при затяжке войны Пруссия может наконец сообразить, насколько ей выгоднее вступить в коалицию, чем сохранять гибельный для нее нейтралитет.

Почему же все-таки сражение было дано, несмотря на все увещания Кутузова? Да прежде всего потому, что оппоненты Кутузова на военных совещаниях в Ольмюце — Александр I, фаворит царя, самонадеянный вертопрах Петр Долгоруков,

бездарный военный австрийский теоретик Вейротер — страдали той опаснейшей болезнью, которая называется недооценкой сил и способностей противника. Наполеон в течение нескольких дней в конце ноября 1805 г. выбивался из сил, чтобы внушить союзникам впечатление, будто он имеет истощенную в предшествующих боях армию и поэтому оробел и всячески избегает решающего столкновения. Вейротер глубокомысленно изрекал, что нужно делать то, что противник считает нежелательным. А посему, получив столь авторитетную поддержку от представителя западноевропейской военной науки, Александр уже окончательно уверовал, что здесь, на Моравских полях, ему суждено пожать свои первые военные лавры. Один только Кутузов не соглашался с этими фанфаронами и разъяснял им, что Наполеон явно ломает комедию, что он нисколько не трусит и если в самом деле чего-нибудь боится, то только отступления союзной армии в горы и затяжки войны.

Но усилия Кутузова удержать союзную армию от сражения не помогли. Сражение было дано, и последовал полный разгром союзной армии под Аустерлицем 2 декабря 1805 г.

Именно после Аустерлица ненависть Александра I к Кутузову неизмеримо возросла. Царь не мог не понимать, конечно, что все страшные усилия как его самого, так и окружавших его придворных прихлебателей свалить вину за поражение на Кутузова остаются тщетными, потому что Кутузов нисколько не расположен был принимать на себя тяжкий грех и вину за бесполезную гибель тысяч людей и ужасающее поражение. А русские после Суворова к поражениям не привыкли. Но вместе с тем подле царя не было ни одного военного человека, который мог бы сравниться с Кутузовым своим умом и стратегическим талантом. Не было прежде всего человека с таким громадным и прочным авторитетом в армии, как Кутузов.

Разумеется, современники понимали — и это не могло не быть особенно неприятно Александру I,— что и без того большой военный престиж Кутузова еще возрос после Аустерлица, потому что решительно всем и в России и в Европе, сколько-нибудь интересовавшимся происходившей дипломатической и военной борьбой коалиции против Наполеона, было совершенно точно известно, что аустерлицкая катастрофа произошла исключительно оттого, что возобладал нелепый план Вейротера и что Александр преступно пренебрег советами Кутузова, не посчитаться с которыми он не имел никакого права, не только морального, но и формального, потому что официальным главнокомандующим союзной армии в роковую аустерлицкую годину был именно Кутузов. Но, конечно, австрийцы были более всех виновны в катастрофе [9].

После Аустерлица Кутузов был в полной опале, и только

чтобы неприятель не мог усмотреть в этой опале признания поражения, бывший главнокомандующий был все-таки назначен (в октябре 1806 г.) киевским военным губернатором. Друзья Кутузова были оскорблены за него. Это им казалось хуже полной отставки.

Но недолго пришлось ему губернаторствовать. В 1806—1807 гг. во время очень тяжелой войны с Наполеоном, когда после полного разгрома Пруссии Наполеон одержал победу под Фридландом и добился невыгодного для России Тильзитского мира, Александр на горьком опыте убедился, что без Кутузова ему не обойтись. И Кутузова, забытого во время войны 1806—1807 гг. с французами, вызвали из Киева, чтобы он поправил дела в другой войне, которую Россия продолжала вести и после Тильзита,— в войне против Турции.

Начавшаяся еще в 1806 г. война России против Турции оказалась войной трудной и мало успешной. За это время России пришлось пережить тяжелое положение, создавшееся в 1806 г. после Аустерлица, когда Россия не заключила мира с Наполеоном и осталась без союзников, а затем в конце 1806 г. опять должна была начать военные действия, ознаменовавшиеся большими битвами (Пултуск, Прейсиш-Эйлау, Фридланд) и кончившиеся Тильзитом. Турки мира не заключали, надеясь на открытую, а после Тильзита на тайную помощь новоявленного «союзника» России — Наполеона.

Положение было сложное. Главнокомандующий Дунайской армией Прозоровский решительно ничего не мог поделать и с беспокойством ждал с начала весны наступления турок. Война с Турцией затягивалась, и, как всегда в затруднительных случаях, обратились за помощью к Кутузову, и он из киевского губернатора превратился в помощника главнокомандующего Дунайской армией, а фактически в преемника Прозоровского. В Яссах весной 1808 г. Кутузов встретился с посланником Наполеона генералом Себастиани, ехавшим в Константинополь. Кутузов очаровал французского генерала и, опираясь на «союзные» тогдашние отношения России и Франции, успел получить подтверждение серьезнейшей дипломатической тайны, которая, впрочем, для Кутузова не была новостью,— что Наполеон ведет в Константинополе двойную игру и вопреки тильзитским обещаниям, данным России, не оставит Турцию без помощи.

Кутузов очень скоро поссорился с Прозоровским, бездарным полководцем, который вопреки советам Кутузова дал большой бой с целью овладеть Браиловом и проиграл его. После этого обозленный не на себя, а на Кутузова Прозоровский постарался отделаться от Кутузова, и Александр, всегда с полной готовностью внимавший всякой клевете на Кутузова, удалил его с

Дуная и назначил литовским военным губернатором. Характерно, что, прощаясь с Кутузовым, солдаты плакали.

Но они простились с ним сравнительно ненадолго. Неудачи на Дунае продолжались, и снова пришлось просить Кутузова поправить дело. 15 марта 1811 г. Кутузов был назначен главнокомандующим Дунайской армией. Положение было трудное, вконец испорченное его непосредственным предшественником, графом Н. М. Каменским, который оказался еще хуже смещенного перед этим Прозоровского.

Военные критики, писавшие историю войны на Дунае, единогласно сходятся на том, что яркий стратегический талант Кутузова именно в этой кампании развернулся во всю ширь. У него было меньше 46 тысяч человек, у турок — больше 70 тысяч. Долго и старательно готовился Кутузов к нападению на главные силы турок. Он должен был при этом учитывать изменившееся положение в Европе. Наполеон уже не был только ненадежным союзником, каким он был в 1808 г. Теперь, в 1811 г., это уже определенно был враг, готовый не сегодня-завтра сбросить маску. После долгих приготовлений и переговоров, искусно веденных с целью выиграть время, Кутузов 22 июня 1811 г. нанес турецкому визирю снова под Рущуком тяжкое поражение. Положение русских войск стало лучше, но все-таки продолжало оставаться еще критическим. Турки, подстрекаемые французским посланником Себастиани, намеревались воевать и воевать. Только мир с Турцией мог освободить Дунайскую армию для предстоявшей войны с Наполеоном, а после умышленно грубой сцены, устроенной Наполеоном послу Куракину 15 августа 1811 г., уже никаких сомнений в близости войны ни у кого в Европе не оставалось.

И вот тут-то Кутузову удалось то, что при подобных условиях никогда и никому не удавалось и что, безусловно, ставит Кутузова в первый ряд людей, прославленных в истории дипломатического искусства. На протяжении всей истории императорской России, безусловно, не было дипломата более талантливого, чем Кутузов. То, что сделал Кутузов весной 1812 г. после долгих и труднейших переговоров, было бы не под силу даже наиболее выдающемуся профессиональному дипломату, вроде, например, А. М. Горчакова, не говоря уже об Александре I, дипломате-дилетанте. «Теперь коллежский он асессор по части иностранных дел» — таким скромным чином наградил царя А. С. Пушкин.

Наполеон располагал в Турции хорошо поставленным дипломатическим и военным шпионажем и тратил на эту организацию большие суммы. Он не раз высказывал мнение, что когда нанимаешь хорошего шпиона, то нечего с ним торговаться о вознаграждении. У Кутузова в Молдавии в этом отношении в рас-

поряжении не было ничего, что можно было бы серьезно сравнивать со средствами, отпускавшимися Наполеоном на это дело. Однако точные факты говорят о том, что Кутузов гораздо лучше, чем Наполеон, знал обстановку, в которой ему приходилось воевать на Дунае [10]. Никогда не совершал Кутузов таких поистине чудовищных ошибок в своих расчетах, какие делал французский император, который совершенно серьезно надеялся на то, что стотысячная армия турок (!) не только победоносно отбросит Кутузова от Дуная, от Днестра, от верховьев Днепра, но и приблизится к Западной Двине и здесь вступит в состав его армии. Документов от военных осведомителей поступало в распоряжение Кутузова гораздо меньше, чем их поступало в распоряжение Наполеона, но читать-то их и разбираться в них Кутузов умел гораздо лучше.

За 5 лет, прошедших от начала русско-турецкой войны, несмотря на частичные успехи русских, принудить турок к миру все-таки не удалось. Но то, что не удалось всем его предшественникам, начиная от Михельсона и кончая Каменским, удалось Кутузову.

Его план был таков. Война будет кончена и может быть кончена, но только после полной победы над большой армией великого «верховного» визиря. У визиря Ахмет-бея было около 75 тысяч человек: в Шумле — 50 тысяч и близ Софии — 25 тысяч; у Кутузова в молдавской армии — немногим более 46 тысяч человек. Турки начали переговоры, но Кутузов понимал очень хорошо, что дело идет лишь об оттяжке военных действий. Шантажируя Кутузова, визирь и Гамид-эффенди очень рассчитывали на уступчивость русских ввиду близости войны России с Наполеоном и требовали, чтобы границей между Россией и Турцией была река Днестр. Ответом Кутузова был, как сказано, большой бой под Рущуком, увенчанный полной победой русских войск 22 июня 1811 г. Вслед за тем Кутузов приказал, покидая Рущук, взорвать укрепления. Но турки еще продолжали войну. Кутузов умышленно позволил им переправиться через Дунай. «Пусть переправляются, только перешло бы их на наш берег поболее»,— сказал Кутузов, по свидетельству его сподвижника и затем историка Михайловского-Данилевского. Кутузов осадил лагерь визиря, и осажденные, узнав, что русские пока, не снимая осады, взяли Туртукай и Силистрию (10 и 11 октября), сообразили, что им грозит полное истребление, если они не сдадутся. Визирь тайком бежал из своего лагеря и начал переговоры. А 26 ноября 1811 г. остатки умирающей от голода турецкой армии сдались русским.

Наполеон не знал меры своему негодованию. «Поймите вы этих собак, этих болванов турок! У них есть дарование быть битыми. Кто мог ожидать и предвидеть такие глупости?» — так

кричал вне себя французский император. Он не предвидел тогда, что пройдет всего несколько месяцев, и тот же Кутузов истребит «великую армию», которая будет состоять под водительством кое-кого посильнее великого визиря...

И тотчас же, выполнив с полнейшим успехом военную часть своей программы, Кутузов-дипломат довершил дело, начатое Кутузовым-полководцем.

Переговоры, открывшиеся в середине октября, как и следовало ожидать, непомерно затянулись. Ведь именно возможно бо́льшая затяжка переговоров о мире и была главным шансом турок на смягчение русских условий. Наполеон делал решительно все от него зависящее, чтобы убедить султана не подписывать мирных условий, потому что не сегодня-завтра французы нагрянут на Россию и русские пойдут на все уступки, лишь бы освободить молдавскую армию. Прошел октябрь, ноябрь, декабрь, а мирные переговоры оставались на точке замерзания. Турки предлагали в качестве русско-турецкой границы уже, правда, не Днестр, а Прут, но Кутузов и об этом не желал слышать.

Из Петербурга шли проекты произвести демонстрацию против Константинополя, и 16 февраля 1812 г. Александр даже подписал рескрипт Кутузову о том, что, по его мнению, следует «произвести сильный удар под стенами Царяграда совокупно морскими и сухопутными силами». Из этого проекта, впрочем, ничего не вышло. Кутузов считал более реальным тревожить турок небольшими сухопутными экспедициями.

Наступила весна, которая осложнила положение. Во-первых, вспыхнула местами в Турции чума, а во-вторых, наполеоновские армии стали постепенно уже проходить на территорию между Одером и Вислой. Царь уже шел на то, чтобы согласиться признать Прут границей, но требовал, чтобы Кутузов настоял на подписании союзного договора между Турцией и Россией. Кутузов знал, что на это турки не пойдут, но он убедил турецких уполномоченных, что для Турции наступил момент, когда решается для них вопрос жизни или смерти: если турки не подпишут немедленно мира с Россией, то Наполеон в случае его успехов в России все равно обратится против Турецкой империи и при заключении мира с Александром получит от России согласие на занятие Турции. Если же Наполеон предложит России примирение, то, естественно, Турция будет разделена между Россией и Францией. На турок эта аргументация очень сильно подействовала, и они уже соглашались признать границей Прут до слияния его с Дунаем и чтобы дальше граница шла по левому берегу Дуная до впадения в Черное море. Однако Кутузов решил до конца использовать настроение турок и потребовал, чтобы турки уступили России на вечные времена

Бессарабию с крепостями Измаилом, Бендерами, Хотином, Килией и Аккерманом. В Азии границы оставались, как были до войны, но по секретной статье Россия удерживала все закавказские земли, добровольно к ней присоединившиеся, а также полосу побережья в 40 километров. Таким образом, замечательный дипломат, каким всегда был Кутузов, не только освобождал молдавскую армию для предстоящей войны с Наполеоном, но и приобретал для России обширную и богатую территорию.

Кутузов пустил в ход все усилия своего громадного ума и дипломатической тонкости. Ему удалось уверить турок, что война между Наполеоном и Россией вовсе еще окончательно не решена, но что если Турция вовремя не примирится с Россией, то Наполеон опять возобновит с Александром дружеские отношения, и тогда оба императора разделят Турцию пополам.

И то, что впоследствии в Европе определяли как дипломатический «парадокс», свершилось. 16 мая 1812 г., после длившихся долгие месяцы переговоров, мир в Бухаресте был заключен: Россия не только освобождала для войны против Наполеона всю свою Дунайскую армию, но сверх того она получала от Турции в вечное владение всю Бессарабию. Но и это не все: Россия фактически получала почти весь морской берег от устьев Риона до Анапы.

Узнав о том, что турки 16 (28) мая 1812 г. подписали в Бухаресте мирный договор, Наполеон окончательно истощил словарь французских ругательств. Он понять не мог, как удалось Кутузову склонить султана на такой неслыханно выгодный для русских мир в самый опасный для России момент, когда именно им, а не туркам, было совершенно необходимо спешить с окончанием войны.

Таков был первый по времени удар, который нанес Наполеону Кутузов-дипломат почти за три с половиной месяца до того, как ему на Бородинском поле нанес второй удар Кутузов-стратег.

Одна из наиболее укоренившихся исторических фальсификаций, созданных французской историографией, начиная с 20-томной истории Консульства и Империи Тьера и кончая 14-томной историей Луи Мадлэна [11], выходящей в последние годы и еще не оконченной в 1951 г., заключается в утверждении, что еще в 1810 и даже в 1811 г. мир между Россией и Францией мог бы быть сохранен, если бы Александр воздержался от протеста по поводу захвата Наполеоном герцогства Ольденбургского и если бы он дал требуемые заверения касательно точного соблюдения континентальной блокады. Эту фальсификацию могут принять лишь те, кто, подобно французским шовинистически настроенным историкам и следующим за ними немецким, итальянским, английским и американским авторам, абсолютно

не желает видеть бросающуюся в глаза действительность. А действительность заключается в том, что наполеоновская прямая политическая агрессия против России, в сущности, началась значительно ранее 12 (24) июня 1812 г., когда император дал знак о переходе своего авангарда по мостам через Неман на восточный берег реки.

С 1810 г. под разными предлогами и вовсе без всяких предлогов, не давая никому никаких объяснений и только сообщая запуганной Европе о случившемся факте, Наполеон присоединял одну за другой территории, отделявшие громадную Французскую империю от русской границы. Сегодня ганзейские города Гамбург, Бремен и Любек с их территориями; завтра немецкие земли к северо-востоку от захваченного ранее королевства Вестфальского; послезавтра герцогство Ольденбургское. Формы и предлоги захвата были разные, но с точки зрения очевидной и прямой угрозы для безопасности России реальный результат был один: французская армия неуклонно подвигалась к русской границе. Низвергались государства, захватывались укрепления, ликвидировались водные преграды — за Рейном Эльба, за Эльбой Одер, за Одером Висла.

Впоследствии князь Вяземский, вспоминая об этом времени, говаривал, что тот, кто не жил в эти годы невозбранного владычества Наполеона над Европой, не мог вполне представить, как трудно и тревожно жилось в России в те годы, о которых друг его, А. С. Пушкин, писал: «Гроза двенадцатого года еще спала, еще Наполеон не испытал великого народа, еще грозил и колебался он».

Кутузов яснее, чем кто-либо, представлял себе опасность, угрожавшую русскому народу. И когда ему пришлось в это критическое, предгрозовое время вести войну на Дунае, высокий талант стратега позволил ему последовательно разрешать один за другим те вопросы, перед которыми в течение 6 лет становились в тупик все его предшественники, а широта его политического кругозора охватывала не только Дунай, но и Неман, и Вислу, и Днестр. Он распознал не только вполне уже выясненного врага — Наполеона, но и не вполне еще выяснившихся «друзей», вроде Франца австрийского, короля прусского Фридриха-Вильгельма III, лорда Ливерпуля и Кэстльри.

Впоследствии Наполеон говорил, что если бы он предвидел, как поведут себя турки в Бухаресте и шведы в Стокгольме, то он не выступил бы против России в 1812 г. Но теперь было поздно каяться.

Война грянула. Неприятель вошел в Смоленск и двинулся оттуда прямо на Москву. Волнение в народе, беспокойство и раздражение в дворянстве, нелепое поведение потерявшей голову Марии Федоровны и царедворцев, бредивших эвакуаци-

ей Петербурга,— все это в течение первых дней августа 1812 г. сеяло тревогу, которая возрастала все больше и больше. Отовсюду шел один и тот же несмолкаемый крик: «Кутузова!»

«Оправдываясь» перед своей сестрой, Екатериной Павловной, которая точно так же не понимала Кутузова, не любила и не ценила его, как и ее брат, Александр писал, что он «противился» назначению Кутузова, но вынужден был уступить напору общественного мнения и «остановить свой выбор на том, на кого указывал общий глас» [12]...

О том, что творилось в народе, в армии при одном только слухе о назначении Кутузова, а потом при его прибытии в армию, у нас есть много известий. Неточно и неуместно было бы употреблять в данном случае слово «популярность». Несокрушимая вера людей, глубоко потрясенных грозной опасностью, в то, что внезапно явился спаситель,— вот как можно назвать это чувство, непреодолимо овладевшее народной массой. «Говорят, что народ встречает его повсюду с неизъяснимым восторгом. Все жители городов выходят навстречу, отпрягают лошадей, везут на себе карету; древние старцы заставляют внуков лобызать стопы его; матери выносят грудных младенцев, падают на колени и подымают их к небу! Весь народ называет его *спасителем»* [13].

8 августа 1812 г. Александр принужден был подписать указ о назначении Кутузова главнокомандующим российских армий, действующих против неприятеля, на чем повелительно настаивало общее мнение армии и народа. А ровно через 6 дней, 14 августа, остановившись на станции Яжембицы по дороге в действующую армию, Кутузов написал П. В. Чичагову, главному командиру Дунайской армии, необыкновенно характерное для Кутузова письмо. Это письмо — одно из замечательных свидетельств всей широты орлиного кругозора и всегдашней тесной связи между стратегическим планом и действиями этого полководца, каким бы фронтом, главным или второстепенным, он ни командовал. Кутузов писал Чичагову, что неприятель уже около Дорогобужа, и делал отсюда прямой вывод: «Из сих обстоятельств вы легко усмотреть изволите, что невозможно ныне думать об... каких либо диверсиях, но все то, что мы имеем, кроме первой и второй армии, должно бы действовать на правый фланг неприятеля, дабы тем единственно остановить его стремление. Чем долее будут переменяться обстоятельства в таком роде, как они были по ныне, тем сближение Дунайской армии с главными силами делается нужнее» [14]. Но ведь все усилия Кутузова в апреле и все условия заключенного Кутузовым 16 мая 1812 г. мира и клонились к тому, чтобы тот, кому суждена грозная встреча с Наполеоном, имел право и возможность рассчитывать на Дунайскую армию! Письмо Чичагову вместе с тем

обличает беспокойство: как бы этот всегда снедаемый честолюбием и завистью человек не вздумал пустить освобожденную Кутузовым Дунайскую армию на какие-либо рискованные, а главное, ненужные авантюры против Шварценберга. Стратег Кутузов твердо знал, что Дунайская армия скорее сможет влиться в состав русских войск, действующих между Дорогобужем и Можайском, чем Шварценберг — дойти до армии Наполеона. А дипломат Кутузов предвидел, что хотя «союз» Наполеона со своим тестем был выгоден французскому императору тем, что заставит Александра отвлечь на юго-запад часть русских сил, но что фактически никакой реальной роли ни в каких боевых столкновениях австрийцы играть не будут.

Вот почему Кутузову нужна была, и притом как можно скорее, Дунайская армия на его левом фланге, на который, как он предвидел еще за несколько дней до прибытия на театр военных действий, непременно будет направлен самый страшный удар правого фланга Наполеона.

Приближался момент, когда главнокомандующий должен был удостовериться, что царский любимец Чичагов ни малейшего внимания не обратит на просьбу своего предшественника по командованию Дунайской армией и что если можно ждать сколько-нибудь существенной помощи и увеличения численного состава защищавшей московскую дорогу армии, то почти исключительно от московского и смоленского ополчений.

Как бы мы ни старались дать здесь лишь самую сжатую, самую общую характеристику полководческих достижений Кутузова, но, говоря о Бородине, мы допустили бы совсем непозволительное упущение, если бы не обратили внимания читателя на следующее. На авансцене истории в этот грозный момент стояли друг против друга два противника, оба отдававшие себе отчет в неимоверном значении того, что поставлено на карту. Оба делали все усилия, чтобы в решающий момент получить численное превосходство. Но один из них — Наполеон, которому достаточно приказать, чтобы все, что зависит от людской воли, было немедленно и беспрекословно исполнено. А другой — Кутузов, которого, правда, царь «всемилостивейше» назначил якобы неограниченным повелителем и распорядителем всех действующих против Наполеона русских вооруженных сил, оказывался на каждом шагу скованным, затрудненным и стесненным именно в этом гнетуще важном вопросе о численности армии. Он требует, чтобы ему как можно скорее дали новоформируемые полки, и получает от Александра следующее: «Касательно упоминаемого вами распоряжения о присоединении от князя Лобанова-Ростовского новоформируемых полков, я нахожу оное к исполнению невозможным».

Кутузов знал, что, кроме двух армий, Багратиона и Барк-

лая, которые поступили под его личное непосредственное командование 19 августа в Цареве-Займище, у него имеются еще три армии: Тормасова, Чичагова и Витгенштейна,— которые формально обязаны ему повиноваться столь же беспрекословно и безотлагательно, как, например, повиновались Наполеону его маршалы. Да, формально, но не фактически. Кутузов знал, что повелевать ими может и будет царь, а он сам может не приказывать им, но только увещевать и уговаривать, чтобы они поскорее шли к нему спасать Москву и Россию. Вот что он пишет Тормасову: «Вы согласиться со мной изволите, что в настоящие критические для России минуты, тогда как неприятель находится в сердце России, в предмет действий ваших не может уже входить защищение и сохранение отдаленных наших Польских провинций». Этот призыв остался гласом вопиющего в пустыне: армию Тормасова соединили с армией Чичагова и отдали под начальство Чичагова. Чичагову Кутузов писал: «Прибыв в армию, я нашел неприятеля в сердце древней России, так сказать под Москвою. Настоящий мой предмет есть спасение Москвы самой, а потому не имею нужды изъяснять, что сохранение некоторых отдаленных польских провинций ни в какое сравнение с спасением древней столицы Москвы и самих внутренних губерний не входит».

Чичагов и не подумал немедленно откликнуться на призыв. Интереснее всего вышло с третьей (из этих бывших «на отлете» от главных кутузовских сил) армией — Витгенштейна. «Данного Кутузовым графу Витгенштейну повеления в делах не отыскалось»,— деликатно замечает решительно ни в чем и никогда не укоряющий Александра Михайловский-Данилевский [15].

Нужна была бородинская победа, нужно было победоносное, истребляющее французскую армию непрерывное контрнаступление с четырехдневным ужасающим разгромом лучших наполеоновских корпусов под Красным, нужен был гигантски возросший авторитет первого и уж совсем бесспорного победителя Наполеона, чтобы Кутузов получил фактическую возможность взять под свою властную руку все без исключения «западные» русские войска и чтобы Александр убедился, что он уже не может вполне свободно мешать Чичагову и Витгенштейну выполнять повеления главнокомандующего. Тормасов, лишившись командования своей (3-й обсервационной) армией, прибыл в главную квартиру и доблестно служил и помогал Кутузову.

Путы, препятствия, западни и интриги всякого рода, бесцеремонное, дерзкое вмешательство царя в военные распоряжения, поощрявшееся сверху непослушание генералов — все это превозмогли две могучие силы: беспредельная вера народа и армии в Кутузова и несравненные дарования этого истинного

корифея русской стратегии и тактики. Русская армия отходила на восток, но она отходила с боями, нанося противнику тяжелые потери.

Но до лучезарных дней полного торжества армии пришлось пережить еще очень много: нужно было простоять долгий августовский день по колена в крови на Бородинском поле, шагать прочь от столицы, оглядываясь на далекую пылающую Москву, нужно было в самых суровых условиях в долгом контрнаступлении провожать незваных гостей штыком и пулей.

Цифровые показания, дающиеся в материалах Военно-ученого архива («Отечественная война 1812 г.», т. XVI. Боевые действия в 1812 г., № 129), таковы: «В сей день российская армия имела под ружьем: линейного войска с артиллериею 95 тысяч, казаков — 7 тыс., московского ополчения — 7 тыс. и смоленского — 3 тыс. Всего под ружьем 112 тыс. человек». При этой армии было 640 артиллерийских орудий. У Наполеона числилось в день Бородина войска с артиллерией более 185 тысяч. Но как молодая гвардия (20 тысяч человек), так и старая гвардия с ее кавалерией (10 тысяч человек) находились все время в резерве и в сражении непосредственно участия не принимали.

Во французских источниках признают, что непосредственное участие в бою, если даже совсем не считать старую и молодую гвардию, с французской стороны принимало около 135—140 тысяч человек.

Следует заметить, что сам Кутузов в своем первом же донесении царю после прибытия в Царево-Займище считал, что у Наполеона не то, что 185 тысяч, но даже и 165 тысяч быть не могло, а численность русской армии в этот момент он исчислял в 95 734 человека. Но уже за несколько дней, прошедших от Царева-Займища до Бородина, к русской армии присоединились из резервного корпуса Милорадовича 15 589 человек и еще «собранных из разных мест 2000 человек», так что русская армия возросла до 113 323 человек. Сверх того, как извещал Александр Кутузова, должно было прибыть еще около 7 тысяч человек.

Фактически, однако, готовых к бою, вполне обученных вооруженных регулярных сил у Кутузова под Бородином некоторые исследователи считают, едва ли точно, не 120, а в лучшем случае около 105 тысяч человек, если совсем не принимать во внимание в этом подсчете ополченцев и вспомнить, что казачий отряд в 7 тысяч человек вовсе не был введен в бой. Но ополченцы 1812 г. показали себя людьми, боеспособность которых оказалась выше всяких похвал.

Когда еще слабо обученные ополченцы подошли, то в непосредственном распоряжении Кутузова оказалось до 120 тысяч, а по некоторым, правда, не очень убедительным, подсчетам, даже несколько больше. Документы вообще расходятся в показа-

пиях. Конечно, Кутузов отдавал себе полный отчет в невозможности приравнивать ополченцев к регулярным войскам. Но все-таки ни главнокомандующий, ни Дохтуров, ни Коновницын вовсе не снимали со счетов это наспех собранное ополчение. Под Бородином, под Малоярославцем, под Красным в течение всего контрнаступления, поскольку, по крайней мере, речь идет о личном мужестве, самоотвержении, выносливости, ополченцы старались не уступать регулярным войскам.

Русских ополченцев 12-го года успел оценить и враг. После кровопролитнейших боев у Малоярославца, указывая угрюмо молчавшему Наполеону на устланное телами французских гренадеров поле битвы, маршал Бессьер убедил Наполеона в полной невозможности атаковать Кутузова на занятой им позиции: «И против каких врагов мы сражаемся? Разве вы не видели, государь, вчерашнего поля битвы? Разве не заметили, с какой яростью русские рекруты, еле вооруженные, едва одетые, шли там на смерть?» А в обороне Малоярославца именно ополченцы играли значительную роль. Маршал Бессьер был убит в боях 1813 г.

Война 1812 г. не походила ни на одну из тех войн, которые до тех пор приходилось вести русскому народу с начала XVIII столетия. Даже во время похода Карла XII сознание опасности для России не было и не могло быть таким острым и широко распространенным во всех слоях народа, как в 1812 г.

Мы будем дальше говорить о контрнаступлении Кутузова, окончательно сокрушившем наполеоновское нашествие, а сейчас отметим тот любопытный, небывалый до тех пор факт, что еще до Бородина, когда громадные силы неприятеля неудержимым потоком шли к Шевардину, русские предпринимали одно за другим удачные нападения на отбившиеся отряды французов, истребляли фуражиров и, что самое удивительное, умудрялись в эти дни общего отступления русской армии брать пленных.

За четыре дня до Бородина, в Гжатске, Наполеон оставил непререкаемое документальное свидетельство, что он жестоко встревожен этими постоянными нападениями. Вот что приказал он разослать по армии своему начальнику штаба, маршалу Бертье: «Напишите генералам, командующим корпусами армии, что мы ежедневно теряем много людей вследствие недостаточного порядка в способе добывания провианта. Необходимо, чтобы они согласовали с начальниками разных частей меры, которые нужно принять, чтобы положить предел положению вещей, угрожающему армии гибелью. Число пленных, которых забирает неприятель, простирается до нескольких сотен ежедневно; нужно под страхом самых суровых наказаний запретить солдатам удаляться». Наполеон приказал, отправляя людей на фуражировку, «давать им достаточную охрану против казаков и крестьян» [16].

Уже эти действия арьергарда Коновницына, откуда и выходили в тот момент партии смельчаков, приводивших в смущение Наполеона, показывали Кутузову, что с такой армией можно надеяться на успех в самых трудных положениях.

Кутузов не сомневался, что предстоящее сражение будет стоить французской армии почти стольких же потерь, сколько и русской. На самом деле после сражения оказалось, что французы потеряли гораздо больше. Тем не менее решение Кутузова осталось непоколебимым, и нового сражения перед Москвой он не дал.

Как можем мы теперь с полной уверенностью определять основные цели Кутузова? До войны 1812 г., в тех войнах, в которых Кутузову приходилось брать на себя роль и ответственность главнокомандующего, он решительно никогда не ставил перед собой слишком широких конечных целей. В 1805 г. никогда не говорил о разгроме Наполеона, о вторжении во Францию, о взятии Парижа, — т. е. о всем том, о чем мечтали легкомысленные царедворцы в ставке императоров Александра I и Франца I. Или, например, в 1811 г. он вовсе не собирался брать Константинополь. Но теперь, в 1812 г., положение было иным. Основная цель повелительно ставилась всеми условиями войны: закончить войну истреблением армии агрессора. Трагизм всех губительных для французов ошибок и просчетов Наполеона заключался в том, что он не понял, до какой степени полное уничтожение его полчищ является для Кутузова не максимальной, а минимальной программой и что все грандиозное здание всеевропейского владычества Наполеона, основанное на военном деспотизме и державшееся военной диктатурой, заколеблется после гибели его армии в России. И уже тогда может стать исполнимой в более или менее близком будущем и другая («максимальная») программа: именно уничтожение его колоссальной хищнической империи.

Программа нанесения тяжелого удара армии врага, с которой Кутузов, не высказывая ее в речах, явился в Царево-Займище, начала осуществляться в первой своей части у Шевардина и под Бородином. Несмотря на то, что уже кровавое побоище под Прейсиш-Эйлау 8 февраля 1807 г. показало Наполеону, что русский солдат несравним с солдатом какой бы то ни было другой армии, шевардинский бой поразил его, когда на вопрос, сколько взято пленных после длившихся целый день кровопролитных схваток, он получил ответ: «Никаких пленных нет, русские в плен не сдаются, ваше величество».

А Бородино на другой день после Шевардина затмило все сражения наполеоновской долгой эпопеи: оно вывело из строя почти половину французской армии.

Вся диспозиция Кутузова была составлена так, что французы могли овладеть сначала Багратионовыми флешами, а затем Курганной высотой, защищавшейся батареей Раевского, лишь ценой совсем неслыханных жертв. Но дело было не только в том, что к этим основным потерям прибавились еще новые потери в разных иных пунктах великой битвы; дело было не только в том, что около 58 тысяч французов остались на поле боя и между ними 47 лучших генералов Наполеона, — дело было в том, что уцелевшие около 80 тысяч французских солдат совсем уже не походили по духу и настроению на тех, кто подошел к Бородинскому полю. Уверенность в непобедимости императора пошатнулась, а ведь эта уверенность до этого дня никогда не покидала наполеоновскую армию — ни в Египте, ни в Сирии, ни в Италии, ни в Австрии, ни в Пруссии и нигде вообще. Не только безграничная отвага русских людей, отразивших 8 штурмов у Багратионовых флешей и несколько подобных же штурмов у батареи Раевского, изумила видавших виды наполеоновских гренадеров, но они не могли забыть и постоянно потом вспоминали момент незнакомого им до того чувства паники, охватившей их, когда внезапно, повинуясь никем не предвиденному — ни неприятелем, ни даже русским штабом — приказу Кутузова, Платов с казачьей конницей и Первый кавалерийский корпус Уварова неудержимым порывом налетели на глубокие тылы Наполеона. Сражение окончилось, и Наполеон первым отошел от места грандиозного побоища.

Первая цель Кутузова была достигнута: у Наполеона осталось около половины его армии. В Москву он вошел, имея, по подсчету Вильсона, 82 тысячи человек. Отныне для Кутузова были обеспечены долгие недели, когда, отойдя в глубь страны, можно было численно усилить кадры, подкормить людей и лошадей и восполнить бородинские потери. А главный, основной стратегический успех Кутузова при Бородине и заключался в том, что страшные потери французов сделали возможным пополнение, снабжение, реорганизацию русской армии, которую главнокомандующий затем и двинул в грозное, сокрушившее Наполеона контрнаступление.

Наполеон не потому не напал на Кутузова при отступлении русской армии от Бородина к Москве, что считал войну уже выигранной и не хотел попусту терять людей, а потому, что он опасался второго Бородина, так же как опасался его впоследствии, после сожжения Малоярославца. Действия Наполеона определяла также уверенность в том, что после занятия Москвы будет близок мир. Но, повторяем, не следует забывать того, что, можно сказать, на глазах у Наполеона русская армия, увозя с собой несколько сот уцелевших пушек, отступала в полнейшем порядке, сохраняя дисциплину и боевую готовность. Этот факт произвел

большое впечатление на маршала Даву и на весь французский генералитет.

Кутузов мог надеяться, что если бы Наполеон вздумал внезапно напасть на отступавшую русскую армию, то опять было бы «дело адское», как фельдмаршал выразился о шевардинском бое в своем письме от 25 августа к жене, Екатерине Ильиничне.

Наполеон допускал успех французов в возможном новом сражении под Москвой, очень для него важном и желательном, однако отступил перед риском предприятия. Это был новый (отнюдь не первый) признак, что французская армия была уже совсем не та, какой она была, когда Кутузов, идя из Царева-Займища, остановился около Колоцкого монастыря и заставил Наполеона принять сражение там и тогда, когда и где это признал выгодным сам Кутузов.

В значительной степени не только непосредственный, но и конечный стратегический успех замышленного удара, который Кутузов хотел перед Бородином нанести Наполеону на путях движения французской армии к Москве, зависел от правильного разрешения проблемы: кому раньше удастся восполнить те серьезные потери, которые, безусловно, обе армии понесут в предстоящем генеральном сражении? Успеют ли прибыть к Наполеону подкрепления из его тылов раньше, чем у Кутузова после неизбежного страшного побоища снова будет в распоряжении такая вооруженная сила, как та, которая встретила его радостными кликами в Цареве-Займище? Кутузов при решении этой жизненно важной задачи обнаружил в данном случае гораздо больший дар предвидения, чем его противник. Обе армии вышли из Бородинского боя ослабленными; но не только не одинаковы, а совершенно различны были их ближайшие судьбы: несмотря на подошедшее к Наполеону крупное подкрепление, пребывание в Москве с каждым днем продолжало ослаблять армию Наполеона, а в эти же решающие недели кипучая организаторская работа в Тарутинском лагере с каждым днем восстанавливала и умножала силы Кутузова. Мало того, во французской армии смотрели и не могли не смотреть на занятие Москвы как на прямое доказательство, что война приходит к концу и спасительный мир совсем близок, так что каждый день в Москве приносил постепенно усиливавшиеся беспокойство и разочарование. А в кутузовском лагере царила полная уверенность, что война еще только начинается и что худшее осталось позади. Стратегические последствия русской бородинской победы сказались прежде всего в том, что наступление врага на Россию стало выдыхаться и остановилось без надежды на возобновление, потому что Тарутино и Малоярославец были прямым и неизбежным последствием Бородина. Твердое сохранение русских пози-

ций к концу боевого дня было зловещим предвестием для агрессора. Бородино сделало возможным победоносный переход к контрнаступлению.

В этих-то дальнейших последствиях сказывалось, что Бородино было не только имевшей капитальное значение стратегической, но и великой моральной победой русской армии, и очень плох тот историк, который способен это недооценивать. Неприятель после Бородина стал выдыхаться и постепенно подвигаться к гибели. Уже под Тарутином и под Малоярославцем Наполеон и его маршалы (прежде всего Бессьер) поняли, что бородинская смертельная схватка не кончена, а продолжается, хоть и с большим перерывом. Вскоре они увидели, что она будет продолжаться и усиливаться и дальше и что «перерывы» будут становиться все короче, а после Красного совсем исчезнут и роздыха не будет вовсе. Имея перед собой противника, не знавшего тогда соперников в Европе, Кутузов доказал и до и после Бородина, что и с фактором времени также он умеет считаться гораздо лучше, чем Наполеон.

Кутузов назвал в донесении царю позицию, на которой разразилась великая битва, лучшей,— конечно, из возможных в том положении, в каком он находился, раз он решил остановить дальнейшее отступление и дать немедленно бой.

Позиция была выбрана, и уже на рассвете 22 августа Кутузов, объехав ее, сделал распоряжение, которое Наполеоном предвидено не было: главнокомандующий решил еще до генеральной битвы задержать явно накапливавшиеся неприятельские силы против русского левого фланга и использовать для этого холмы и пригорки у деревни Шевардино. 24 и 25 августа здесь происходил кровопролитный бой, в котором французы с большими потерями отбрасывались от выстроенного по непосредственной инициативе Кутузова 22—23 августа большого редута. Русские отошли от Шевардина по приказу, лишь когда оказалось уже бесполезным задерживать наступающего неприятеля и когда работы по укреплению Семеновского и Курганной высоты были почти закончены.

Наполеон был раздражен и обеспокоен героической стойкостью шевардинской обороны и объявил, что если русские не сдаются, а предпочитают, чтобы их убивали, то их и должно убивать. Он вообще по мере приближения решающей битвы как будто утрачивал свою способность держать себя в руках. Так, он не воспрепятствовал варварскому сожжению и разгрому французской армией г. Гжатска (который был совершенно цел до той поры) и вообще допускал такие (вредные прежде всего для французской армии) безобразия и неистовства, против чего еще незадолго до того боролся, конечно, не из человеколюбия, которым никогда не грешил, а из прямого расчета.

Кутузов, следя с близкого расстояния за шевардинской операцией, предугадав, что Наполеон обрушится прежде всего на левый фланг, какие бы диверсионные действия он ни предпринимал в других местах, поручил защиту левого фланга, Семеновских флешей и других укрепленных тут пунктов тому, на кого всегда возлагал наибольшие надежды,— Багратиону. И дорого достались флеши французам, когда безнадежно тяжело раненного героя унесли с поля битвы.

В течение всего боя Кутузов являлся в полном смысле слова мозгом русской армии. В течение всей борьбы за Семеновские (Багратионовы) флеши, потом за Курганную высоту, потом во время блестящего разгрома конницы Понятовского, наконец, при прекращении битвы к нему и от него мчались адъютанты, привозившие ему реляции и увозившие от него повеления.

В борьбе за так называемую Курганную высоту («батарея Раевского»), где уже после Семеновского сосредоточились все усилия боровшихся сторон, конечный «успех» французов тоже крайне близко походил на истребление лучших полков Наполеона, еще уцелевших от повторных убийственных схваток у Багратионовых флешей. Приказ Кутузова был категоричен: еще за два дня до Бородина, 24 августа (в первый день борьбы у Шевардинского редута), главнокомандующий подписал свою памятную диспозицию к предстоящему сражению. «При сем случае,— писал Кутузов,— неизлишним почитаю представить гг. главнокомандующим, что резервы должны быть сберегаемы сколько можно долее, ибо тот генерал, который сохранит еще резерв, не побежден». В этих словах раскрывается не только Кутузов как генерал, который готов встретить в генеральном бою такого противника, как Наполеон, но и как вождь будущего контрнаступления, который хотя и пишет в этой диспозиции также и о том, как поступать «на случай неудачного дела», но твердо знает, что и в этом «случае» конечную «неудачу» потерпит не Россия, но напавший на нее агрессор и «резервы» сыграют еще свою колоссальную роль.

Ввиду клеветнических усилий иностранной историографии представить Бородино как победу Наполеона считаю нужным подчеркнуть следующее. Наполеон не только первый отступил от долины кровавого побоища, но он отдал одновременный приказ отступать со всех пунктов, занятых французами с такими убийственными жертвами в течение дня: и от Багратионовых флешей, и от курганной батареи Раевского, и от села Бородина. Кто это решился сделать на глазах у своей армии, почти половина которой лежала в крови и во прахе? Наполеон, для которого сохранение репутации непобедимости в глазах солдат было превыше всего. И когда он это сделал? За несколько часов до приказа Кутузова. Закревский, состоявший при Барклае де Тол-

ли, показывал впоследствии Михайловскому-Данилевскому письменное повеление Кутузова, отданное тотчас после битвы Барклаю: оставаться на поле боя и распоряжаться приготовлениями к битве «на завтрашний день». Только уже почти в середине ночи (после 11 часов) решение Кутузова изменилось. Явился Дохтуров. «Поди ко мне, мой герой, и обними меня. Чем может государь вознаградить тебя?»[17] Но Дохтуров ушел с Кутузовым в другую комнату и рассказал о потерях в багратионовской (бывшей «второй») армии, защищавшей флеши. Кутузов тогда только велел отступать. Ни одного француза уже давно не было ни на поле боя, ни в ближайших окрестностях.

У нас есть неопровержимое свидетельство, исходящее от самого Наполеона, что Бородино вселило в него немалую тревогу, круто изменило все его ближайшие планы. Тотчас почти после битвы, сосчитав свои ужасающие потери, Наполеон отправил приказ маршалу Виктору идти немедленно в Смоленск, а оттуда на Москву. Вплоть до вступления в Москву Наполеон не знал, не даст ли Кутузов новой битвы. Он приказывал стягивать войска поближе к направлению Можайск — Москва. Успокаивая Виктора тем, что русские под Бородином «поражены в самое сердце», он все-таки своими распоряжениями показывал маршалам и свите, что вовсе не уверен в успехе «второй» битвы под Москвой. Эта осторожность сменилась самоуверенностью и бахвальством, когда император удостоверился, что Москва покинута и что Кутузов отошел довольно далеко. Но тут он впал в грубую ошибку, крайне преувеличив дальность расстояния между лагерем (где остановился Кутузов со своей армией) и Москвой. С этой иллюзией он довольно долго не желал расставаться.

Русская армия приблизилась к деревне Фили. В жизни Кутузова наступил момент, тяжелее которого он не переживал никогда, ни раньше, ни позже.

1 (13) сентября 1812 г. по приказу Кутузова собрались командующие крупными частями, генералы русской армии. Кутузов, потерявший в боях глаз, удивлявший своей храбростью самого Суворова, герой Измаила, мог, разумеется, презирать гнусные инсинуации своих врагов вроде нечистого на руку Беннигсена, укорявших, за спиной, конечно, старого главнокомандующего в недостатке смелости. Но ведь и такие преданные ему люди, как Дохтуров, Уваров, Коновницын, тоже высказывались за решение дать неприятелю новую битву. Кутузов, конечно, знал, что не только ненавидящий его царь воспользуется сдачей Москвы, чтобы свалить всю вину на Кутузова, но что и многие беззаветно ему верящие могут поколебаться. И для того, чтобы сказать слова, которые он произнес к концу совещания, необходимо

было мужество гораздо большее, чем стоять перед неприятельскими пулями и чем штурмовать Измаил: «Доколе будет существовать армия и находиться в состоянии противиться неприятелю, до тех пор сохраним надежду благополучно довершить войну, но когда уничтожится армия, погибнут Москва и Россия». До голосования дело не дошло. Кутузов встал и объявил: «Я приказываю отступление властью, данною мне государем и отечеством». Он сделал то, что считал своим священным долгом. Он приступил к осуществлению второй части своей зрело обдуманной программы: к уводу армии от Москвы.

Только те, кто ничего не понимает в натуре этого русского героя, могут удивляться тому, что Кутузов в ночь на 2 сентября, последнюю ночь перед оставлением Москвы неприятелю, не спал и обнаруживал признаки тяжелого волнения и страдания. Адъютанты слышали ночью плач. На военном совете он сказал: «Вы боитесь отступления через Москву, а я смотрю на это как на провидение, ибо это спасает армию. Наполеон, как бурный поток, который мы еще не можем остановить. Москва будет губкой, которая его всосет» [18]. В этих словах он не развил всей своей глубокой, плодотворной, спасительной мысли о грозном контрнаступлении, которое низринет агрессора с его армией в пропасть. И хотя он твердо знал, что настоящая война между Россией и агрессором — такая война, которая логически должна окончиться военным поражением и политической гибелью Наполеона,— еще только начинается, он, русский патриот, прекрасно понимая стратегическую, политическую, моральную необходимость того, что он только что сделал в Филях, мучился и не мог сразу привыкнуть к мысли о потере Москвы.

2 сентября русская армия прошла через Москву и стала от нее удаляться в восточном направлении — по Рязанской (сначала) дороге.

Здесь, в специально посвященной общей характеристике Кутузова работе, пока достаточно сказать о московском пожаре лишь несколько слов.

Что историческая, моральная, политическая ответственность за пожар и конечный варварский разгром Москвы лежит полностью на Наполеоне и ни на ком другом, в этом, конечно, нет и не может быть сомнения. Грандиозный пожар Москвы, несколько спутавший карты Наполеона тотчас после вступления французской армии в Москву, не был тогда, в начале сентября, им организован, потому что в тот момент это было ему невыгодно. Но все знали, что в октябре, перед уходом, он совершенно умышленно, в виде отместки, окончательно разорял город и не желал оставить в нем камня на камне. Современники были долго под впечатлением ужасающего вида Москвы, потрясшего их, когда

они вернулись в старую столицу. Вот что пишет Дмитрий Трощенский Кутузову 10 декабря 1812 г.: «Горестно жалеете вы, что не могли отстоять первопрестольного города нашего. Конечно, несказанно жаль, но что может бороться против судьбы? и льзя ли предположить, чтобы враг, пощадивший толико столиц, готовится хладнокровно излить на Москву всю ярость свою?» [19]

Он пишет, уже зная о планомерных поджогах, учиненных французской армией при ее уходе в середине октября с прямого разрешения Наполеона, собиравшегося взорвать Кремль и уже приступившего к выполнению этого намерения. Но занявшая Москву солдатчина уже с самого начала оккупации в сентябре неистово жгла и грабила город, не ожидая специальных приказов.

Что могли найтись и нашлись среди оставшегося населения и такие русские люди, которые захотели любым способом лишить захватчика его добычи,— в этом в глазах многих современников не было ничего невероятного. Наполеон очутился не на ожидаемой хорошо снабженной зимовке, которой он манил голодную армию, а на пожарище. Этот факт порождал самые разнообразные объяснения и создавал много слухов. В частности, слухи об участии населения в поджогах пошли по стране уже вскоре после события, и взятый из жизни пушкинский Рославлев ярко отразил, как эти слухи тогда понимались и принимались. А о настроениях части русских людей в Москве дает понятие поступок тех, которые, обрекши себя на безусловную гибель, заперлись в Кремле 2/14 сентября и, дав несколько выстрелов по коннице Мюрата, были все изрублены французами.

Вокруг пожара Москвы образовались и быстро наслаивались предания, возникали рассказы, слагались легенды в стихах и прозе. Передавалась от поколения к поколению известная традиция, не прерывавшаяся начиная от Пушкина и кончая волнующим памятным письмом трудящихся города Москвы, поданным И. В. Сталину в торжественный день празднования 800-летия Москвы в 1947 г., где речь идет о героической борьбе москвичей огнем и мечом против захватчика во время оккупации города и о значении этой борьбы.

Обращаясь к непосредственно интересующему нас выводу из всего сказанного, мы должны признать без колебаний, что и с политической, и с моральной, и с международно-правовой точки зрения в сожжении и разгроме Москвы всецело виновен агрессор, с завоевательными целями напавший на Россию и введший в Москву свою грабительскую орду, после того как она предварительно сожгла, разорила и беспощадно опустошила ряд русских городов, сел и деревень. Если в самой Москве Наполеон окончательно разнуздал свою солдатчину и сам непосредствен-

но включился в дело разгрома города не в сентябре, а в октябре, уже незадолго перед уходом, то это объясняется исключительно тем, что в сентябре, войдя в Москву, он еще надеялся найти и использовать продовольственные запасы и фураж, а убедившись в провале своего расчета, он отомстил Москве сугубыми зверствами. И никакие ухищрения и софистические кривотолкования французской империалистической историографии и возродившейся ныне бонапартистской и фашистской публицистики не могут снять с памяти Наполеона этого пятна, так же как ничем не изгладить клеймящих слов Кутузова, сказанных прибывшему в его лагерь наполеоновскому посланцу генералу маркизу Лористону 5 октября 1812 г., что со времен татарщины русский народ не знал такой варварской агрессии, как наполеоновская.

Совершенно независимо от строго научного критического обследования всей документации, прямо относящейся в той или иной степени к выяснению непосредственных причин пожаров, должно признать, что история возникновения вышеуказанной традиции, ярко отразившейся в поэзии и искусстве, заслуживала бы специального историко-литературного анализа, хотя сама по себе она, конечно, не может иметь значения сколько-нибудь решающего фактического, документального аргумента при выяснении поставленного вопроса.

Следует заметить, что в солдатских песнях пожар и разорение Москвы приписываются исключительно неприятелю: «Француз Москву разоряет, с того конца зажигает». Песня ратников тверского ополчения, распевавшаяся уже в конце войны, говорит: «Начался грабеж неслыханный, загорелись кровы мирные, запылали храмы божии» [20]. Поется и о разоренной путь-дорожке «от Можая до самой Москвы»: «Уж и ворог шел до самой Москвы, разорена белокаменная огнем спалена, ой да спалена».

Сочинялись песни и в Тарутинском лагере. Тут сначала говорится, как «ночь темна была и не месячна, рать скучна была и не радостна» и как ратники «оплакивали мать родимую, мать-кормилицу, златоглавую Москву-матушку». Но тут же звучат и бодрые мотивы, ждут возобновления активных военных действий: «Не боимся мы французов, штык всегда востер у нас, лишь бы батюшка Кутузов допустил к ним скоро нас!» Слышится предчувствие победы: «Постараемся все, ребятушки, чтобы сам злодей на штыке погиб, чтоб вся рать его здесь костьми легла, ни одна б душа иноверная не пришла назад в свою сторону».

Об упомянутом выше свидании Кутузова с Лористоном именно тут, забегая вперед, уместно напомнить хоть в нескольких словах. В разгар работ по подготовке активных действий против выдвинутого вперед отряда Мюрата Кутузову доложили о приезде в Тарутинский лагерь специально командированного Наполеоном генерала маркиза (в некоторых документах он неточно

назван графом) Лористона. Это была последняя из упорных и одинаково неуспешных попыток Наполеона войти в сношения с Александром и поскорее заключить мир. Провал первой попытки (с генералом Тучковым-третьим в Смоленске) и второй (с И. А. Яковлевым — в Москве) раздражал и смущал императора, привыкшего, чтобы у него просили мира, а не самому просить мира. Но положение на этот раз, в октябре, среди московского пожарища, было таково, что о самолюбии приходилось забыть.

Наполеон сначала хотел послать к Кутузову Коленкура, долго бывшего императорским послом при Александре, но Коленкур, при всей преданности Наполеону, отказался ввиду явной безнадежности попытки. Был позван Лористон, в свое время заменивший Коленкура на посольском посту в Петербурге. Лористон заикнулся было о том, что Коленкур прав, но тут Наполеон оборвал разговор прямым приказом: «Мне нужен мир, он мне нужен абсолютно, во что бы то ни стало. Спасите только честь». Лористон немедленно отправился к русским аванпостам.

Вопрос о приеме Лористона и, главное, о предстоящем разговоре с ним был решен Кутузовым без всяких признаков колебаний, и только злобствовавший на Кутузова английский оберщпион Роберт Вильсон мог подозревать Кутузова, что тот хочет, встретившись на аванпостах с глазу на глаз с Лористоном, войти с французами в мирные переговоры, без ведома и против воли царя и его союзников (Англии).

Мы уже знаем по всем свидетельствам и по словам самого Кутузова, сказанным перед сражением под Красным французскому военнопленному Пюибюску, что главнокомандующий делал все возможное, чтобы подольше задержать Наполеона в Москве. Поэтому он нашел вполне целесообразным не только весьма вежливо принять Лористона, но и обещать ему отправить императору Александру все, что ему передаст Лористон. Это обеспечило прежде всего долгую проволочку. Пустить самого Лористона в Петербург Кутузов решительно отказался.

По существу же ответ Кутузова не мог вызывать никаких недоразумений: никакой речи о мире с Наполеоном в данный момент быть не могло. На жалобы Лористона относительно обхождения русских крестьян с французами, попадавшими в их руки, фельдмаршал ответил, что русский народ «отплачивает французам той монетой, какой должно платить вторгнувшейся орде татар под командой Чингисхана». Эта мысль была повторена.

Доклад вернувшегося от Кутузова в Кремль генерала Лористона показал Наполеону, что надежды на компромиссный мир беспочвенны. Но мир был абсолютно невозможен — более невозможен, чем когда бы то ни было,— уже тогда, когда кутузовские полки 2 (14) сентября покидали Москву. Великой, не-

оцененной драгоценностью было в эти тяжкие дни нисколько не пошатнувшееся, беззаветное доверие народа и армии к Кутузову. Это доверие выдержало и превозмогло все испытания.

Отступающая русская армия по ночам видела громадное зарево горящей старой столицы, и Кутузов глядел и глядел на него. У фельдмаршала с гневом и болью вырывались изредка на этом пути обеты отмщения; его сердце билось в унисон с сердцем русской армии.

Армия не предвидела, что хоть много ей еще предстоит жесточайших испытаний, но что настанет, наконец, день 30 марта 1814 г., когда русские солдаты, подходя к Пантенскому предместью, будут восклицать: «Здравствуй, батюшка Париж! Как-то заплатишь ты за матушку-Москву?» Глядя на московское зарево, Кутузов знал, что день расплаты рано или поздно наступит, хотя и не знал, когда именно, и не знал, доживет ли он до этого дня.

Анализ скудных данных, касающихся начальной причины московского пожара, и посильная оценка их научного веса будут даны в моей книге «Нашествие 1812 года и разгром Наполеона в России». Здесь же, в сжатой характеристике Кутузова, достаточно напомнить, что в оценке непосредственных последствий московского пожара для французской армии ни малейших сомнений быть не может. Пожары не усилили, а ослабили неприятеля, когда он стоял в Москве. Этот факт бесспорен, хотя причислять московский пожар к основным, *решающим* моментам борьбы, как это склонны были делать многие впоследствии, нет оснований.

Начинался новый фазис войны — начало контрнаступления. Отойдя от Москвы и искуснейшим маневром дезориентировав французов, оторвавшись от конницы Мюрата и направив ее на Рязанскую дорогу, Кутузов повернул на Тульскую, оттуда — на Калужскую дорогу и вышел к тарутинской позиции, где и расположился лагерем.

Тон отношения двора и царедворцев, а отчасти и кое-кого из штаба (начиная, например, с Беннигсена) к Кутузову после оставления Москвы был дан прежде всего в двух исходивших от царя документах: в письме к Кутузову от 7 сентября и в письме к графу Н. А. Толстому от 8 сентября. «С 29 августа не имею я никаких донесений от вас. Между тем от 1 сентября получил я через Ярославль от московского главнокомандующего (Ростопчина — *Е. Т.*) печальное известие, что вы решились с армией оставить Москву. Вы сами можете вообразить действие, какое про-

извело сие известие, а молчание ваше усугубляет мое удивление. Я отправляю с сим ген.-ад. князя Волконского, дабы узнать от вас о положении армии и о побудивших вас причинах к столь несчастной решимости». Так писал царь фельдмаршалу. А на другой день он писал П. А. Толстому о решении Кутузова: «Причина сей непонятной решимости остается мне совершено сокровенной, и я не знаю, стыд ли России она принесет или имеет предметом уловить врага в сети» [21].

Подобные выходки (а это еще были более или менее сдержанные) поощряли, конечно, к писанию писем Александру с жалобами на фельдмаршала и с прямыми намеками на необходимость отнять у него командование. И не только Беннигсен и Вильсон изощрялись. Барклай дал волю долго и очень старательно сдерживаемому порыву ревности и обиды в своем длиннейшем французском письме к царю от 24 сентября. Здесь он не только всячески чернит и унижает Кутузова, но решается утверждать, что если бы у него, Барклая, не отняли командования, то он «дал бы сражение, но не у Можайска, а между Гжатском и Царевым-Займищем... И я уверен, что разбил бы неприятеля». Ненависть и обида так душат Барклая, что он совсем не понимает, в какое курьезное положение ставит себя этой запоздалой интригой [22]. Барклай никогда не понимал, что при всех своих достоинствах равняться или соревноваться с Кутузовым по своим стратегическим или каким бы то ни было другим талантам — значит делать себя без всякой нужды смешным.

Тарутинская организаторская деятельность Кутузова сама по себе была таким подвигом ума и энергии, явилась таким могучим фактором грядущих побед, что она одна могла бы увенчать лаврами Кутузова как замечательнейшего военного организатора.

Если Наполеон, очень понимавший толк в военном деле, гордился своим Булонским лагерем, созданным им в 1803—1805 гг., то разве можно сравнивать по трудности дела создание этого лагеря с организаторским подвигом Кутузова? У Наполеона в распоряжении были рабски подчинявшиеся ему Франция, вся западная и часть центральной и южной Германии, вся северная и средняя Италия, давно подчиненная Голландия, давно захваченная Бельгия, вся промышленность, вся торговля этих богатых стран. У него была исправная, исключительно ему повиновавшаяся военная администрация, налаженный бюрократический механизм, и он был неограниченным владыкой.

У Кутузова всего этого не было. В его распоряжении сначала находилась только довольно сильно разоренная часть западной,

восточной и центральной России. Кроме того, Кутузов должен был с полным успехом завершить создание нового превосходного войска на глазах у расположенной в двух шагах от него хоть и потрепанной, но еще сильной армии Наполеона, которая имела пока непрерывную коммуникацию со своими обширнейшими, хоть и далекими, западноевропейской и польской базами. Поэтому Кутузов в Тарутине не мог работать так спокойно, как Наполеон в Булони, отделенный Ламаншем от неприятеля, который его боялся.

Наконец, Наполеон в своем Булонском лагере был самодержавным государем, а Кутузов в разгар работы в Тарутине должен был выслушивать нелепые и дерзкие «советы» царя — поскорее начинать военные действия, не мешкать и т. п. Ему приходилось считаться с царскими шпионами и клевретами, успокаивать тревоги затесавшегося в его главную квартиру Вильсона и т. п. Царь и тут ему мешал, явно считая себя вправе в тот момент говорить с Кутузовым еще более сухим, нетерпеливым, раздражительным тоном, чем прежде.

Кутузов начал немедленно укреплять свою тарутинскую позицию и сделал ее неприступной. Затем Кутузов непрерывно пополнял свою армию, в которой уже перед тарутинским сражением насчитывалось до 120 тысяч человек. Особое внимание уделялось организации ополчения. После Бородина Кутузов мог определенно приравнивать ополчение к таким войскам, которые после сравнительно краткого обучения могли считаться частью регулярной армии. Деятельно собирались запасы. Артиллерия у Кутузова к концу тарутинского периода была гораздо сильнее, чем у Наполеона. По минимальным подсчетам, у русских было от 600 до 622 орудий, у Наполеона — около 350—360. При этом у Кутузова была хорошо снабженная конница, а у Наполеона не хватало лошадей даже для свободной перевозки пушек. Конница французов вынуждена была все более и более спешиваться. Деятельно готовился переход от активной обороны к предстоявшему выступлению.

В Тарутине и после Тарутина и особенно после Малоярославца Кутузов очень большое внимание уделял и сношениям с партизанскими отрядами и вопросу об увеличении их численности. Он придавал громадное значение партизанам в предстоящем контрнаступлении. И сам он в эти последние месяцы (октябрь, ноябрь, первые дни декабря 1812 г.) обнаружил себя как замечательный вождь не только регулярных армий, но и партизанского движения.

При таких-то условиях 6(18) октября 1812 г. Кутузов начал и выиграл бой, разгромив большой «наблюдательный» отряд Мюрата. Это была победа еще пока только начинавшегося контрнаступления... Победа первая, но не последняя!

Приказы Кутузова, быстро создавшего новую могучую армию и громадные запасы, исполнялись с большим рвением, с усердием и охотой, так, как исполняются боевые задания рвущимися в бой солдатами. Полки регулярные и полки ополченские были полны гнева, жажды отплатить за Москву, отстоять Родину.

Через несколько дней Малоярославец показал Наполеону, какова возникшая в Тарутине армия. Организовывалась и усиливалась под зорким наблюдением главнокомандующего и партизанская сила.

Глубокомысленные размышления французских историков о причинах «совпадения» тарутинского боя с уходом Наполеона из Москвы могут с успехом быть заменены самой удобопонятной формулой: император сразу же сообразил, что Кутузов снова начинает по своей инициативе умолкшую после Бородина войну регулярных армий. Что война «нерегулярная», партизанская, не прекращалась ни на один день после Бородина, он знал очень хорошо. Французы вышли из Москвы. «В Калугу! И смерть тем, кто воспрепятствует!» — воскликнул Наполеон.

Бой под Малоярославцем имел колоссальное значение в истории контрнаступления. По своему значению в истории войны он стоит непосредственно вслед за Бородином. После восьми отчаянных атак и сожжения Малоярославца Наполеон оказался перед грозной альтернативой: либо решиться на генеральный бой, либо сейчас же, с калужских путей, ведших на юг, сворачивать на северо-запад, к Смоленску. Он не решился идти в Калугу. Кутузов стал перед ним стеной.

Армия Кутузова была в этот момент больше и лучше, причем кавалерия и артиллерия французов, если исключить гвардию (да и то с оговорками), были снабжены и боеспособны несравненно хуже русских. Не в Москве, а в Малоярославце началась бедственная стадия наполеоновского отступления, а победоносный фазис кутузовского контрнаступления обозначился уже в Тарутине. Наполеон именно тут, под Малоярославцем, окончательно убедился в непоправимости своего реального поражения под Бородином, которое в его бюллетенях и в письмах к Марии-Луизе так легко было превращать в победу. Бородино убило одну половину его армии физически, а другую — морально. Кутузов же стоял перед ним во всеоружии, во главе более сильной русской армии, чем та, которая была при Бородине, и самое главное — армии, одушевленной неутолимым чувством гнева к врагу и полной веры в своего старого вождя.

Наполеон в первый раз в жизни ушел от генерального боя и пошел по Смоленской дороге навстречу надвигавшейся катастрофе. «Неприятель 15-го (октября — *Е. Т.*) оставил Ярославец и отступил по Боровской дороге; генерал Милорадович доносит,

что неприятель был преследован от Малого Ярославца 8 верст» [23],— в таких скромных словах известил Кутузов свою армию об одном из самых важных своих успехов в этой войне.

Начинали подводиться зловещие для агрессора итоги, без пышных бюллетеней и громких слов. Русский народный герой был всегда спокоен и прост.

Первым большим боем после вынужденного перехода Наполеона на разоренную Смоленскую дорогу был бой под Вязьмой. В сражении под Вязьмой 21 и 22 октября 1812 г. русские одержали новую блестящую победу. По донесению Кутузова, неприятель потерял убитыми и ранеными 6 тысяч человек, пленными — 2500 человек. Русские потери были значительно меньше. Кутузов считает их до 500 человек. Уже после сражения была взята в плен из числа беглецов еще тысяча человек [24].

В свете признания все возраставшего значения активного, систематически проводимого, обдуманного и в целом и во многих частностях стратегического контрнаступления в совсем ином, чем раньше, виде предстает перед историком роль партизан [25]. Накануне Бородина Кутузов смог уделить Денису Давыдову лишь незначительный отряд, на что Давыдов несправедливо жаловался своему другу и бывшему прямому начальнику Багратиону. Но как только появилась возможность, Кутузов ничего не жалел для усиления движения. Кутузов — вождь регулярной армии — стал в то же время центральным лицом в партизанском движении: он поддерживал партизан материальными средствами, он откомандировывал в отряды Давыдова, Сеславина, а также и в отряд Фигнера людей, восполнявших убыль в их рядах. Наконец, его штаб стал центром, куда стекались донесения о непрерывной борьбе партизан с отступавшим противником и откуда давались необходимые указания. Детализированных приказов, конечно, тут быть не могло. Со своим обычным тактом и умом Кутузов придал партизанскому движению нужную в интересах дела степень централизованности, как раз то, что было необходимо и возможно при этой форме военных действий, и вместе с тем ни в малейшей степени не стеснял действий отдельных начальников. Душа партизанского движения — самостоятельность инициативы — осталась нетронутой. Впрочем, никто другой не мог тогда сыграть эту роль в партизанском движении, кроме Кутузова. Он был не только военным вождем, но и любимцем народных масс, а в действиях партизан наиболее непосредственно осуществлялось сближение и ежедневное, постоянное сотрудничество офицерства и казачества, с одной стороны, и крестьянских предводителей, вроде Герасима Курина или Четверикова,— с другой.

При контрнаступлении роль партизан свелась вовсе не к тому, чтобы «беспокоить арьергарды» отступавшего противника,

как об этом говорили в начале движения. Своими постоянными нападениями (и вовсе не только на арьергарды) партизаны поддерживали в неприятельских рядах (это мы знаем из французских показаний) мысль и ощущение, что идет нескончаемая битва.

Прошло Тарутино, а нападения продолжались и непрерывно поддерживали тревогу вплоть до Малоярославца. Прошел Малоярославец, однако сражения — правда, малые, но зато ежедневные — продолжались вплоть до Вязьмы, где французы в отместку партизанам прибегли к гнуснейшей и случайно лишь не удавшейся им попытке загнать население в городской собор, запереть его там и сжечь живьем. Прошла Вязьма — и опять ни одного дня, вплоть до Смоленска, не было у противника уверенности, что не произойдет очередного нападения. Наконец, от Смоленска до Березины партизаны уже и в самом деле вели постоянные бои, а Кутузов продолжал свою «малую войну», отражая небольшие отряды со специальными заданиями против непомерно растянувшейся в длину отступающей неприятельской армии.

Губительные для Наполеона последствия Бородина и затем стоянки в Москве были условиями, сделавшими для него уже совсем невозможной надежду на победу в большом сражении над окрепшей и прекрасно организованной кутузовской армией, как это показали Тарутино и Малоярославец. После этих двух тяжелых поражений французам оставалась только медленная, но неизбежная гибель в самых ужасающих условиях, под ударами контрнаступления, осуществляемого и всей большой армией фельдмаршала, и «малой войной» командируемых небольших отрядов, и могущественно усилившимися партизанами.

Самой убийственной для французов чертой кутузовского контрнаступления оказалась его непрерывность. Стратегический план Кутузова нашел полное свое осуществление в наиболее целесообразной тактике.

Кутузов сидел в Ельне, затем в Копысе, и к нему стекались сведения: регулярные части имели такие-то встречи и изъяли столько-то; партизаны имели такие-то встречи и взяли столько-то. «Казаки и крестьяне» — под этим двойным обозначением все чаще начинали фигурировать русские партизаны в приказах Наполеона по армии и в частных приказах маршалов и корпусных командиров по корпусам.

Кутузову приходилось даже считаться с соревнованием, иногда довольно острым, между партизанскими начальниками и офицерами регулярных войск. По существу, это было соревнование в подвигах самоотвержения. Можно сказать, что Кутузов не только создал план контрнаступления, но и нашел для его осуществления в помощь своей регулярной армии необычайно ценную оперативную силу в виде партизанской войны. Народный

гнев, чувство патриотической ненависти к захватчику и грабителю нашли себе выход в партизанской войне, а партизанскую войну Кутузов ввел в систему тех сил, которые, осуществляя задуманное им контрнаступление, неуклонно гнали агрессора к ждавшей его страшной катастрофе.

Общий вывод о партизанском движении, который в моей новой книге будет обоснован еще несравненно более обильным фактическим материалом, таков: непримиримая ненависть тысяч и тысяч крестьян, стеной окружившая «великую армию» Наполеона, подвиги старостихи Василисы, Федора Онуфриева, Герасима Курина, которые, ежедневно рискуя жизнью, уходя в леса, прячась в оврагах, подстерегали французов,— вот то, в чем наиболее характерно выражались крестьянские настроения в 1812 г. и что оказалось губительным для армии Наполеона [26].

Уточняю тут данную мною раньше слишком сжатую и поэтому неполную формулу: именно русский крестьянин способствовал гибели кавалерии Мюрата, перед победоносным натиском которой бежали все европейские армии; русский крестьянин помогал по мере сил русской регулярной армии уничтожить кавалерию Мюрата, заморив голодом ее лошадей, сжигая овес и сено, за которыми приезжали фуражиры Наполеона, а иногда истребляя и самих фуражиров [27].

Таково было фактическое тесное сотрудничество крестьянства и армии в деле истребления лошадей французской кавалерии, а затем и лошадей артиллерийских частей на походе и в боях. Блестящий успех кавалерийского рейда Уварова и Платова, внесшего такое смятение в тылу Наполеона, не менее блестящее достижение русских конников, уже в конце Бородинского боя истребивших лучшую часть польской конницы Понятовского, обнаружили воочию все преимущество русской кавалерии над наполеоновской. Полностью бессилие конницы агрессора проявилось в разгар русского контрнаступления, когда в Смоленске, под Красным, между Красным и Березиной и за Березиной французы должны были бросать сотнями и сотнями вполне исправные орудия вследствие быстро исчезавшей возможности обеспечить артиллерии конную тягу.

Со дня на день у Кутузова крепла уверенность, что его план непрерывного контрнаступления, безусловно, исполним и поэтому опасные сюрпризы со стороны Наполеона мало возможны, так как Наполеону уже не оторваться от преследования и не создать внезапно нужный «кулак» для ответного удара. Есть факты, неопровержимо доказывающие, что уже в Малоярославце, т. е. в самом начале контрнаступления, Кутузов был совершенно убежден в полном успехе затеянной им грандиозной операции. Нужно предварительно напомнить, что нельзя себе представить человека, который был бы до такой степени, как Кутузов, лишен

самоуверенности, пренебрежения к противнику и какого бы то ни было намека на самохвальство. Притом осторожность Кутузова в выборе слов, когда ему приходилось делать сколько-нибудь ответственные заявления, была известна всем, кому случалось наблюдать его.

Но вот происходит сражение под Малоярославцем. Неизвестно, что сделает Наполеон, неизвестно, что сделает Кутузов. В записях «Достопамятной войны россиян с французами», изданных в Петербурге в 1814 г., когда были еще живы участники событий, читаем: «После отражения неприятеля под Малым Ярославцем калужские жители пришли в чрезвычайный страх, опасаясь, что Наполеон пробьется на Калугу. В чрезвычайном замешательстве и унынии они не знали, на что решиться: остаться ли в добычу неприятелю или спасать себя бегством. Калужский градской голова Торубаев, заботясь более прочих граждан, решился по долгу своему обратиться к князю Кутузову, дабы именем всех граждан испросить у него совета, что им делать. Кутузов, уверенный твердо в несомненном успехе своих предначертаний и усматривая совершенно, чем окончится дело, писал к градскому главе, чтобы он был спокоен и от лица его удостоверил всех граждан своих, *что опасности им никакой не настоит и что неизбежная гибель предстоит неприятелю.* Дабы удостоверить их в непреложной истине сего, Кутузов присовокупил, что лета и его любовь к отечеству имеют право требовать от них безусловной доверенности, силою коей вторительно уверял он их, что город Калуга есть и будет в совершенной безопасности».

После Вязьмы и после известий о полном опустошении Смоленска, исчезновении в нем продовольственных припасов, путь Кутузова, бывшего все время в теснейшей связи и с регулярной армией и с партизанскими силами, превращается в своеобразное триумфальное шествие. Ему по два — три раза в день доносят о новых удачных нападениях на неприятеля со стороны регулярных войск и особенно партизан. Французское отступление местами уже начинает походить на беспорядочное бегство. Уже нет речи о сопротивлении, об инициативе, об активности разбитой армии, бредущей по опустошенной дороге. Есть еще надежда выбраться живыми из России, но и она начинает исчезать.

Только одно большое столкновение с врагом, которое пришлось в это время пережить русской армии, было похоже на «правильный» бой регулярных армий: это было сражение под Красным, длившееся четыре дня, с 6 по 9 ноября, и окончившееся тягчайшим поражением французов. Не доходя до Красного, неприятель был окружен. Шестого числа был разгромлен один из лучших корпусов наполеоновской армии — корпус маршала Даву,— причем пленных было взято 9 тысяч человек.

В ближайшие дни сложил оружие корпус Нея в 12 тысяч человек со всей артиллерией, казной и т. п. Маршал Ней ушел с несколькими сотнями человек. Перебитых и утонувших при переправе через реку не сосчитать. Это был разгром в полном смысле слова. Кутузов еще перед битвой под Красным писал Александру: «После славного сражения при Бородине неприятель столько потерял, что и доселе исправиться не может и потому ничего против нас не предпринимает».

Старый фельдмаршал, по существу, был прав, потому что под бородинскими потерями французов он понимал и потерю прежней, навсегда исчезнувшей веры в победу.

Французы под Красным за четыре дня потеряли убитыми и пленными более 26 тысяч человек и 116 орудий. А сверх того при бегстве они вынуждены были оставить русским еще 112 орудий. Под Красным дрались с русской стороны те же бородинские, уцелевшие еще герои и ополченцы, на глазах маршала Бессьера громившие наполеоновских гренадеров, но французы как боевая сила были непохожи на тех, какими они были не только под Бородином, но еще и под Малоярославцем. После Красного их ждал окончательный разгром на Березине и на полях между Березиной и Вильной.

Под Березиной неумелость Чичагова и растерянность Витгенштейна на несколько считанных дней отсрочили гибель немногих людей, с которыми прорвался Наполеон, оставив на Березине тысячи погибших. Враг Кутузова, назначенный именно поэтому главнокомандующим Дунайской армией (когда «в награду» за Бухарестский мир Кутузов получил внезапную отставку), Чичагов действовал, абсолютно не считаясь с Кутузовым. Остаток дней своих Чичагов посвятил злобной клевете (на русском, французском и английском языках), имевшей целью свалить вину за свою неудачу на фельдмаршала. Выполнение этой цели облегчалось тем, что Чичагов надолго пережил Кутузова. Витгенштейн все же более откровенно признавал свою вину [28].

Далее мы увидим, как Кутузов уже после Березины решительно воспротивился нелепому плану Чичагова вести свою армию в Польшу, вместо того чтобы спешить к Вильне и присоединиться к шедшей туда армии главнокомандующего. Царедворческая челядь Александра была очень склонна поддержать Чичагова и клеветать на Кутузова. К счастью, теперь она уже не смела деятельно вредить победителю Наполеона.

Вся энергия мысли Кутузова после Березины была направлена на то, чтобы заставить Витгенштейна отрезать Макдональду путь к соединению с Наполеоном. В один и тот же день, 19 ноября (1 декабря), он пишет об этом Витгенштейну, а Чичагову отдает приказ — преследовать по пятам остатки армии

Наполеона, причем Платов с казачьими полками и полуротой Донской конной артиллерии должен был опередить бегущих французов и «атаковать его (неприятеля — *Е. Т.*) в голове и во фланге», уничтожая все мосты, магазины и пр. Кутузов требовал от Чичагова большой энергии: «Переправа неприятеля через Березину не могла иначе свершиться, как с пожертвованием большого числа войск, артиллерии и обоза. Весьма желательно, чтобы остатки его армии были истреблены, и для того необходимо быстрое и деятельное преследование» [29]. Кутузов не хотел обескураживать Чичагова, он был мягок с ним, но, по опыту зная его промахи и опоздания, настойчиво требовал неослабной энергии и от него и от Витгенштейна.

Ценнейшими документами для характеристики настроений и планов Кутузова в этот последний период войны являются его предписания Сакену 22 ноября (4 декабря) и Тормасову 23 ноября (5 декабря). Чичагов хотел отправить Сакена против Шварценберга, чтобы не дать ему проникнуть в Польшу, а Кутузов решительно отменил этот план.

Истребление остатков армии Наполеона, полное безостановочное и беспощадное,— вот основная цель фельдмаршала, а вовсе не диктуемая политическими (неосновательными) соображениями идея Чичагова о скорейшем вторжении в Польшу [30].

Кутузов-дипломат был столь же несоизмеримой величиной с Чичаговым, как и Кутузов-стратег. Он ясно видел, что́ может случиться, если отвлечь русскую армию от главной цели и бросить часть ее на ненужную борьбу против австрийцев и помогающих им поляков, когда еще не завершена гибель наполеоновского войска на главном направлении отступления французов [31].

Кутузов был великим полководцем и поэтому думал не только о победоносных приказах и блеске приблизившегося полного торжества, но и о многом таком, о чем легко забывали порицавшие его современники и о чем склонен забывать кое-кто из позднейших историков. В декабре русская армия подходила к Вильне, и Кутузов не хотел, чтобы исполнилась мечта Наполеона, чтобы в Литве началось восстание против русских. Он знал, что наполеоновские эмиссары вели в Литве агитацию против русской армии. Кутузов принял серьезные меры к тому, чтобы между армией и местным населением были сохранены нормальные отношения. «Я в особенную обязанность поставил графу Платову обратить всевозможное внимание и употребить все должные меры, дабы сей город (Вильна — *Е. Т.*) при проходе наших войск не был подвержен ни малейшей обиде, поставя ему притом на вид, *какие в нынешних обстоятельствах могут произойти от того последствия»* (курсив мой — *Е. Т.*). Об этом же он повторно писал и Чичагову и другим, еще когда входили в Ошмяны [32].

---

10 декабря 1812 г. в Вильну вошли одновременно Чичагов и Кутузов. Ближайшей очередной военной задачей Кутузова было не допустить Макдональда к соединению с остатками французской армии. Он приказал Витгенштейну и Чичагову сделать все возможное для достижения этой цели. Одновременно рекомендовалось от имени царя «давать чувствовать» прусским войскам, находившимся в составе наполеоновской армии (в корпусе Макдональда), что единственным своим врагом русские считают французов, а не пруссаков [33]. То были дни, когда готовился переход прусского генерала Иорка на сторону России.

12 декабря Кутузов не только знал о неизбежности заграничного похода, но начал делать соответствующие распоряжения: «Ныне предпринимается общее действие на Пруссию, ежели сие удобно произвести можно. Известно уже, что остатки французской армии ретировались в ту сторону, а потому одно только преследование туда только может быть полезно»,— писал фельдмаршал Чичагову 12 (24) декабря, то есть еще до виленских споров с Александром. Это неопровержимо доказывает, что самые споры касались совсем не существа вопроса о заграничном походе, а лишь сроков, т. е. того, переходить ли границу немедленно или позже. Не больше! Самый же вопрос был решен Кутузовым утвердительно. Цитируемое письмо решает и уточняет все: Кутузов хотел освобождения Европы и явно считал дело победы незавершенным, пока Наполеон в Европе распоряжается по-хозяйски, но он желал, чтобы немцы могли активно включиться в дело собственного освобождения.

В Вильне должен был решиться вопрос громадного значения — продолжать ли немедленно военные действия, преследуя отступавшие за Неман жалкие остатки почти совсем уничтоженных, разгромленных французских сил, или остановиться и дать русской армии, очень пострадавшей во время блистательно закончившего войну контрнаступления, отдохнуть и оправиться.

Когда Кутузов некоторое время высказывался против того, чтобы продолжать войну немедленно, это вовсе не означало, что он считал войну с Наполеоном уже оконченной. Изгнание, или, точнее, полное уничтожение 600 тысяч прекрасно вооруженных людей, в разное время прибывших в Россию начиная с 12 (24) июня 1812 г., покрыло Россию славой, было заслуженным грозным ответом агрессору, но оно не уничтожило хищническую империю. Кутузов — дипломат и политик — знал еще гораздо лучше и понимал гораздо тоньше спорившего с ним Александра, что великая победа, одержанная в России, с точки зрения широкой программы разрушения хищнической империи, является не концом, а началом дела.

Силу государственной организации, созданной на развалинах разрушенного революцией феодального строя во Франции,

он знал не хуже Н. П. Румянцева или М. М. Сперанского, но в отличие от них обоих и тех, кто около них группировался, Кутузов не верил в прочность и жизнеспособность международной политической комбинации, созданной двумя императорами в Тильзите. Киевскому или виленскому губернатору, совсем отстраненному после Тильзита от вопросов высшей политики не приходилось ни разу высказываться принципиально по существу дела, потому что его никто об этом не спрашивал, но как только он стал в 1811 г. главнокомандующим Дунайской армией, он повел и военные и дипломатические дела так, как можно и должно было их вести, имея в виду не Константинополь, а в отдаленном будущем Париж. Всякий мир с Наполеоном оказался бы перемирием, каковым оказался мир и союз Тильзитский. Предстояли долгие, кровавые войны...

В «союзников» России в предстоявшей борьбе Кутузов либо не верил, либо верил очень мало. Австрии и Пруссии верил мало, Англии не верил совсем, что без особых обиняков и высказывал в глаза Вильсону, когда тот назойливо приставал к нему с советами энергичнее вести войну. Замечу кстати, что глубокого смысла далекого расчета кутузовского контрнаступления Вильсон так никогда и не понял, подобно своему другу и корреспонденту Александру Павловичу.

С очень пошатнувшимся здоровьем кончал Кутузов свой победоносный поход 1812 г. Тяжкой рабочей страдой была для него эта война. Обожание и безусловное доверие солдат, совсем особый дар повелевать, делая это так, чтобы повеление звучало ласковой просьбой, обаяние ума и влекущее благородство характера,— словом, все то, что в Кутузове покоряло людей начиная с первых же лет его жизни, очень, конечно, помогало Кутузову при всей его усталости, при всех приступах недомогания, которые он искусно скрывал от окружающих, нести невероятно тяжелый груз труда и ответственности. Старик, которому, считая, например, от дня Бородинского боя (7 сентября 1812 г.) до дня смерти (28 апреля 1813 г.), оставалось жить ровным счетом семь месяцев и три недели, нес на себе бремя гигантского труда. Попробуйте прочесть хотя бы XVIII, XIX, XX томы «Материалов военно-ученого архива» главного управления генерального штаба, где напечатаны документы (письма, резолюции, писанные и диктованные, и т. п.), изо дня в день исходившие от Кутузова. А если не хватит терпения на такое «будничное» чтение (хотя у всякого, претендующего понять роль Кутузова, такого терпения должно хватить), то хоть посмотрите, перелистайте эти томы (а в них приведено еще далеко не все!) — и нельзя будет удержаться от возгласа удивления. Ведь то, что посылалось Кутузову, не просто прочитывалось в штабе, но и требовало резолюций, усилий направляющей мысли. Нужно отвечать — прика-

зами, решениями, даже советами, которые, исходя от главнокомандующего, являются тоже приказами. Что писать Милорадовичу? Чичагову? Витгенштейну? Как реагировать на то, что барон Розен пишет Коновницыну? Или что пишет непосредственно фельдмаршалу Ермолов? Или как отозваться на письмо Витгенштейна фельдмаршалу, из коего ясно, что царь посылает через Чернышева Витгенштейну руководящие указания помимо фельдмаршала и что Витгенштейн уже от себя «любезно» посылает Кутузову рапорт Чернышева царю? И все это еще забрасывается тучей рапортов (прямых или пересылаемых в порядке иерархическом), и эти рапорты ведь тоже вовсе не «мелкие», если они доходят все-таки до самого фельдмаршала. Да и что это значит в двенадцатом году — «мелкие дела», если партизан Фигнер должен быть уведомлен через Ермолова прямо из штаба Кутузова, что 4 октября «людям в лагере варить каши ранее и команд для фуражировки не высылать», так как «неприятель может сегодня противу нас предпринять» движение? А Фигнер должен немедленно соединиться с Дороховым, чтобы действовать вместе на Вороново? Что это, «мелкое дело»? Участь большой битвы зависела от таких «мелких дел». Все важно, от всего зависят тысячи жизней, и до самого конца похода еще существует противник, хотя уничтожена его армия и сам он уже бежал из России. Потому что выступают новые и новые вопросы: «Александр возлагает на армию заботу о безопасности прусского короля,— а эти монархические любезности и нежности могут отпугнуть генерала Иорка, самовольно мужественно перешедшего на русскую сторону... И всюду нужен орлиный взор и ума палата, и глубокая проницательность, и умение разом видеть и деревья и лес! А все это есть только у старика, с двух концов сжигающего последние остатки физических сил... Организация армии, организация тыла, заботы о снабжении, о вооружении, о сношениях с Тулой, с Сестрорецком, с Уралом — все это лежало в конечном счете на главнокомандующем.

В декабрьские дни 1812 г. в Вильне Кутузов ясно понял, что своей победой он уже сокрушил континентальную блокаду, вполне обессилил ее, насколько это было полезно и необходимо для русских экономических и политических интересов, и что фактически побережье Балтийского моря совершенно открыто для морской торговли с Россией. Торговля началась уже даже во время войны. Но пока существовала империя Наполеона, душившая Англию, континентальная блокада еще существовала на юге, в центре, на западе Европы [34].

Государства Средней Европы и Италия пока еще были если не совсем закрыты, то и не вполне открыты для английских товаров. О Франции (самом значительном из английских рынков сырья и сбыта) нечего и говорить: этот рынок был закрыт если

не «герметически», как хвалились министры Наполеона вроде Годена, то во всяком случае, весьма крепко.

Для Англии продолжение войны с Наполеоном было и с экономической и с политической точек зрения делом не только капитально важным, но и неотложным. Но реальная английская помощь в предстоящей континентальной войне была более чем проблематична. Другим будущим «союзникам» России — а пока союзникам Наполеона — старый русский дипломат и стратег если и «доверял», то с большими оговорками.

Конечно, пруссаки были непосредственно заинтересованы в избавлении от полного политического рабства у Наполеона, но ведь только что они воевали с Россией, что называется, не за страх, а «за совесть» (если можно тут так некстати употребить это слово), нещадно грабили оккупированные ими русские территории, заранее, до начала войны, приторговывали себе у Наполеона часть Курляндии в случае «удачи» французов в походе. Даже когда прусский генерал Иорк перешел на сторону русских и когда французов уже в Пруссии не было, король Фридрих-Вильгельм III писал Наполеону письмо, клянясь предать Иорка военному суду. Кутузов не имел причин доверять Фридриху-Вильгельму, которого Маркс впоследствии называл скотиной и который своим отношением к России заставляет часто вспоминать об этой марксовой квалификации, свободной от какой-либо двусмысленности.

Что касается Австрии, то Александр грубо ошибся, думая о скором ее разрыве с Наполеоном. Разрыв этот состоялся не в январе, а в конце августа 1813 г. Все это не мог не принимать в соображение Кутузов, видевший, что в первое, самое трудное время заграничного похода основную тяжесть войны придется нести русским и только русским, что и имело место.

Интересно, что Александр не хуже Кутузова знал, почему Вильсон так злобно, нагло и откровенно клеветал на Кутузова, почему английский посол Кэткарт так усиленно хлопотал в Вильне вопреки советам Кутузова о немедленном продолжении войны. «Скажите, не имеете ли вы и Кэткарт приказания в то время, как мы вступим в Пруссию и Германию, сжечь все тамошние мануфактурные заведения?» — такой вопрос задал Вильсону Александр. Когда же речь шла об издании русского перевода книги Вильсона, русская военная цензура (дело было в 1855 г.) решила эти слова не пропустить [35]. Вильсону было очень не по душе, что ему никак не удается перехитрить Кутузова, который видит его насквозь.

Когда Кутузов отдал распоряжение занять позицию после сражения у Малоярославца, то дошедший до предела дерзости Вильсон так себя вел, что старый фельдмаршал счел нужным его оборвать и напомнить ему, что не Англия спасает Россию, а Рос-

сия спасает Англию и что «наследниками власти Наполеона будет не Россия и не какие-либо другие континентальные государства, а воспользуются всем те, которые ныне господствуют на морях и которых владычество сделается тогда нестерпимым».

Кутузов считал Наполеона открытым врагом России, а Великобританию — тайным врагом, тоже стремящимся хоть и иными путями, но столь же упорно к мировому владычеству.

Александру, проведшему всю войну 1812 г. в уютных залах Зимнего дворца, не терпелось начать поход за границу немедленно, из Вильны. Но Кутузов, гениальный расчет которого и привел русскую армию в Вильну, несравненно лучше знал, чего стоило русскому солдату только что победоносно закончившееся контрнаступление. Это забыл не только Александр I, но склонны иногда игнорировать и некоторые историки, «защищающие» Кутузова от «обвинения» в том, что в декабре 1812 г. он оспаривал мнение царя о необходимости *немедленно* начать поход за границу. Другими словами, они защищают Кутузова от «обвинения» в том, что он не был согласен с желаниями английского шпиона, политического лазутчика Вильсона, перед которым в Вильне в декабре 1812 г. царь позорно «извинялся», что дает ненавистному им обоим Кутузову Георгия первой степени.

Говорить, например, что Кутузов должен был понимать, что относительно вопроса об уничтожении блокады интересы Англии и России «совпадали», могут только те, кто совершенно не разбирается в положении России и Европы в то время и абсолютно ничего не понимает в том, что такое была континентальная блокада. Именно оттого-то так и раздражали Кутузова приставания шпионившего за ним в 1812 г. Вильсона, что Кутузов, великий стратег и не менее великий дипломат, прекрасно понимал, что при разгроме Наполеона в России континентальная блокада уже фактически перестала существовать, потому что Россия, Швеция, Дания со всеми своими территориальными водами были уже вполне открыты отныне для ввоза английских товаров, а вот Англия действительно очень нуждалась в том, чтобы блокада была уничтожена также во Франции, Бельгии, Каталонии, Голландии, Италии, иллирийских провинциях, и уничтожена немедленно. Вот почему Вильсону не терпелось поскорей поймать (конечно, русскими, а не английскими руками) Наполеона и уничтожить империю. Кутузов же знал, что полное низвержение Французской империи потребует очень много русской крови. Он тоже ставил конечной целью войны полное уничтожение наполеоновского владычества, но желал дать русской армии хоть небольшой отдых и больше времени для пополнений.

Кутузов с гениальной прозорливостью предвидел тяжкие, кровавые дни Лютцена, Бауцена, Дрездена и то, что союзники до самой осени 1813 г. либо очень мало помогут русской армии,

как Пруссия или как кронпринц шведский Бернадот, либо даже и не объявят Наполеону войны, как Австрия, которая только в августе решилась на этот шаг, или как Англия, обманувшая своих русских союзников. Победа (и какая блестящая!) при Кульме была русской победой, а не прусской, не австрийской, не шведской. Кульм был поворотным моментом войны 1813 г. Но ведь он стал возможен лишь 17 сентября 1813 г.

Кутузов ничуть не меньше Александра знал, что окончательная ликвидация военной угрозы со стороны императорской Франции возможна не на Немане, а на Сене, и это доказывается приводимым дальше его разговором с де Пюибюском, но он хотел, чтобы эта победа была одержана после достаточной военной, а главное, дипломатической подготовки, с необходимыми кровавыми жертвами не одной только России, но и «союзных» держав. Об этом свидетельствует все его поведение с декабря 1812 г. до его смерти.

Прошло немного времени после смерти Кутузова, и прусский король уже метался в полной панике и кричал: «Вот я уже опять на Висле!» Русские должны были еще долго почти в одиночку выдерживать всю тяжесть боев против новой громадной армии Наполеона, чтобы спасти Берлин и не позволить Фридриху-Вильгельму отбыть в срочном порядке на Вислу.

Кутузов знал, что конечная победа над Наполеоном в Европе будет одержана, и шел к этой победе, но он не хотел щедро платить русской кровью за излишне нетерпеливое желание союзников ускорить свое освобождение от Наполеона, от его поборов и притеснений, от его континентальной блокады. Союзники же хотели ускорить это освобождение, тратя по возможности меньше своей крови и по возможности больше крови русской. И Кутузов хотел полной победы над Наполеоном, но у него и тут был свой план, и он противился навязываемому ему другому, чужому плану.

Величие гениального стратега и дипломата, величие прозорливого русского патриота, разгромившего армию Наполеона в 1812 г., имевшего всегда твердое намерение покончить с его империей и именно поэтому желавшего лучше подготовить окончательный удар,— это величие выявляется ярко не только в 1812, но и в 1813 г. «Потщимся довершить поражение неприятеля на собственных полях его!» — сказал Кутузов, изгнав французов из России. Но он хотел, чтобы в 1813 г. русской армии пришлось впредь уже не в одиночку сражаться с Наполеоном, как она сражалась против него в 1812 г.

Ему, великому патриоту, победоносному полководцу, по праву принадлежала бы честь ввести в марте 1814 г. русскую

рать в Париж; ему, а не Барклаю и никому другому. Но смерть застигла его в самом начале новых кровопролитий, приведших к предвиденному им окончательному торжеству.

За месяц с небольшим до смерти старый герой, победитель Наполеона, должен был выслушивать нетерпеливые советы одного из многочисленных прихлебателей и льстецов Александра, Винценгероде, поскорей идти навстречу Наполеону, собиравшему в это время новую громадную армию.

На сей раз Кутузов оборвал этого непрошенного советчика: «Позвольте мне еще раз повторить мое мнение насчет быстроты нашего продвижения вперед. Я знаю, что во всей Германии каждый маленький индивидуум позволяет себе кричать против нашей медлительности. Считают, что каждое движение вперед равносильно победе, а каждый потерянный день есть поражение. Я, покорный долгу, возлагаемому моими обязанностями, подчиняюсь подсчетам, и я должен хорошо взвешивать вопрос о расстоянии от Эльбы до наших резервов и собранные силы врага, которые мы можем встретить на такой-то и такой-то высоте... Я должен сопоставить наше прогрессирующее ослабление при быстром движении вперед с нашим увеличивающимся отдалением от наших ресурсов... Будьте уверены, что поражение одного из наших корпусов уничтожит престиж, которым мы пользуемся в Германии» [36].

Но когда Кутузов окончательно решился согласиться принять пост главнокомандующего в начинавшейся новой стадии войны против Наполеона, то он повел дело так, что за все четыре месяца, какие ему оставалось прожить, ему ни разу не пришлось испытать неудачи, а его переговоры с прусскими властями, с прусскими городами, влияние его всегда умно обдуманных заявлений, уверений и обещаний на растерянное, колебавшееся население, запуганное долгим наполеоновским гнетом, было громадно. В эти критические первые четыре месяца 1813 г. на Кутузова-полководца ни разу не осмелился напасть неприятель, а Кутузов-политик мирно, без открытой борьбы одолел франкофильскую партию, еще сильную при берлинском дворе и кое-где в стране.

В течение четырех месяцев заграничного похода Кутузов, старый и больной, явно чувствовал себя более независимым от двора, чем в течение всего похода 1812 г. Победитель Наполеона, спаситель России, кумир народа, он мог чувствовать себя минутами гораздо более царем, чем Александр. Приказы Кутузова исполнялись по всей России самым ревностным образом. В последние три дня декабря 1812 г., когда Кутузов перешел через Неман, у него было всего готовых к бою 18 тысяч человек, но когда он вошел в Калиш, а его генералы были им поставлены по Одеру, в начале и середине февраля 1813 г., то

у него было уже больше 140 тысяч. Гениальный организатор, тарутинский создатель армии превзошел в Калише самого себя. Он требовал (и получил!) еще и согласие царя на формирование резервов численностью в 180 тысяч человек.

И все-таки король Фридрих-Вильгельм трусил и в смятении не знал, кому, кого и, главное, когда ему следует предать и продать: Наполеона Александру или Александра Наполеону. Боялся их обоих он так, что в один и тот же день иногда писал истинно верноподданнические письма обоим императорам. Но тут снова во всем блеске выступил на сцену Кутузов-дипломат. Он сообщил, что прямо пошлет к Берлину Витгенштейна с войском, ласково при этом предупредив короля, что хочет его подкрепить. Фридрих-Вильгельм очень хорошо понял намек... и покорился. Но Кутузов имел основание рассчитывать не на короля, а на немецкий народ, и он дожил до начала осуществления этих надежд. В первые месяцы 1813 г. немцы еще медленно, но уже приходили в себя после долгого оцепенения, порожденного наполеоновским ярмом.

В солдатском фольклоре весьма характерно отразилось первое время войны 1813 г. Украинские ратники сочинили, по-видимому, именно в эти первые месяцы 1813 г. укоризненно-насмешливые стихи, обращенные к «прусам», или, иначе, «прусацьким головам»: «Як Россия стала биться,— ты французу все дывывся, ты нейшов нам помогать, з нами славу добывать!» А вот когда Россия начала побеждать, то «прус» «на коленьки пав любенько» перед русскими, умоляя о спасении своих «прусацьких голов».

Другая солдатская песня (великорусская) как бы дополняет украинскую: «Нутка, русские солдаты, станем немцев выручать! Немцы больно трусоваты, нам за них, знать, отвечать!»

Так отражались в сознании русского солдата долгие колебания прусского короля: помогать ли Кутузову или не помогать и если помогать, то в какой мере? Песни сообщают, что «гость незваный к нам явился не во сне, а наяву, и тем изверг веселился, что жег матушку-Москву». А другая песня полна гордой уверенности: «Нам не надобна и помощь, нам не нужны прусаки» [37].

10 февраля 1813 г. Фридрих-Вильгельм III подписал наконец русско-прусский союзный договор. Правда, он поспешил сейчас же обмануть Кутузова и вместо следуемых 80 тысяч человек дал немного больше 55 тысяч. Остальных только обещал додать, но зато требовал от Кутузова ускорения похода, так чтобы Пруссия осталась уже за линией огня. Кутузов отказывался. Тогда король, доходивший в это время под влиянием страха до поступков полоумного человека, послал своего канцлера Гарденберга поговорить по душам с Кутузовым и обещать,

что русский главнокомандующий получит в подарок имение, если согласится поскорее прикрыть Пруссию с запада, ускорив движение войск. Кутузов ответил, что и без этого подарка его детей и его самого «император не оставит»[38].

На короля приходилось махнуть рукой. Кутузов, игнорируя короля, уже обращался с воззваниями и прекрасно составленными призывами и сообщениями непосредственно к прусскому народу, к саксонскому народу (король Саксонии стоял на стороне Наполеона), к немецкому народу вообще, и эти воззвания, которые впоследствии клевреты Меттерниха приравнивали к революционным прокламациям, подняли дух немцев. Прусский народ окончательно стал в ряды бойцов против Наполеона.

Французский император сформировал армию в 200 тысяч человек. Он имел перед собой снова своего старого противника, единственного, которому удалось в 1812 г. победить его. Берлин был освобожден войсками Кутузова 27 февраля 1813 г. Кутузов по-прежнему не торопился делать то, что, по его мнению, должно было быть сделано лишь в свое время, и на советы Фридриха-Вильгельма обращал гораздо менее внимания, чем в декабре 1812 г. на желания Александра. Но не пришлось уже обоим полководцам — Кутузову и Наполеону — померяться силами. В конце марта старому фельдмаршалу стало трудно двигаться; в апреле он слег, и ему встать уже не пришлось.

Нужно сказать, что во время его болезни в конце марта и в течение всего апреля Александру, принявшему на себя полностью бразды правления армией, удалось все-таки вопреки желанию фельдмаршала осуществить некоторые меры и отдать кое-какие приказы, вредоносно впоследствии, в мае, сказавшиеся под Лютценом.

Ровно за месяц до смерти (28 марта 1813 г.) Кутузов лаконично и, конечно, не говоря о поведении короля, писал Логину Ивановичу Кутузову: «Берлин занять было надобно». И далее в том же письме прибавляет: «Я согласен, что отдале́ние от границ отдаляет нас от подкреплений наших, но ежели бы мы остались за Вислою, тогда бы должны были вести войну, какую вели в 1807 году. С Пруссией союза бы не было; *вся немецкая земля служила бы неприятелю людьми и всеми способами*»[39].

Кутузову не суждено было ликвидировать предстоявшие русской армии трудности и опасности, которые он предвидел в Вильне в декабре 1812 г. и которые выступили сразу же после его кончины. 28 апреля 1813 г. он скончался, а в мае уже произошла битва при Лютцене, за которой следовали Бауцен и Дрезден. «Простишь ли ты меня, Михайло Илларионович?» — «Я вам прощаю, государь, но Россия вам не простит». Этот разговор у смертного одра великого фельдмаршала о многом должен был напомнить Александру. Ему пришлось, можно сказать,

уже на другой день убедиться, как трудно заменить Кутузова стратега Витгенштейном, а Кутузова-дипломата Карлом Нессельроде.

Но ореол кутузовского бессмертного триумфа 1812 г. был так могуч, что временные неудачи весны и лета 1813 г. были изжиты и быстро забыты к тому времени, когда осенью русская армия дожила до новых замечательных побед при Кульме и Лейпциге.

В работе о 1812 годе, при анализе сражений, данных Кутузовым, при выявлении его творчества, например совсем особого использования партизанского движения, организации «малой войны», мы попытаемся выявить стратегический гений Кутузова в его характерных чертах. Здесь, в предлагаемой общей характеристике, достаточно сказать, что и в тактике борьбы «на истощение» и в тактике сокрушительных ударов Кутузов прибегал к замечательно искусному варьированию военных приемов, и поэтому нелепо его стратегию связывать с фридриховской «тактикой измора» или наполеоновской тактикой «сокрушительных ударов». У него была своя собственная, кутузовская, тактика, мощь которой состояла именно в том, что он прибегал на войне к самым неожиданным и разнообразным приемам (что ему так удалось, например, в Турции в 1811 г.).

Но в чем он был велик — это в том, что в 1812 г. он безошибочно угадал, до какой степени тактика армии, непрерывно преследующей противника и не дающей ему передышки то малыми, то крупными нападениями, и есть основное средство, которое вернее всего (и даже скорее всего) истребит «великую армию». Высокий талант стратега был не только в этом, но также и в том, что Кутузов понял, до какой степени этому его методу ведения войны соответствует, как наиболее дееспособное средство, применение в широчайших размерах «малой войны». Именно эта его собственная, кутузовская, тактика и уничтожила лучшую тогдашнюю армию западного мира и лучшего тогдашнего полководца западного мира.

Партизанская война до начала и в первой стадии развития контрнаступления и партизанская война, уже обращавшаяся в «малую войну», или, точнее, соединявшаяся с ней в ноябре,— это понятия, не вполне совпадающие. «Малая война» велась небольшими, а иногда и довольно крупными отрядами армии, которым Кутузов давал часто очень серьезные задания. Эти отряды вступали в прямую связь с партизанскими отрядами (например, с большим отрядом крестьянина Четверикова и др.), и их совместные действия кончались обыкновенно достижением весьма положительных результатов. Эта «малая война» — одно из проявлений творческой мысли Кутузова.

Русский народ, победивший Наполеона и ниспровергший затем его хищническую империю, нашел в Кутузове достойного представителя. Во всей полноте его достижения могут быть оценены лишь в тесной связи со всем комплексом военных действий 1812 г., где будет идти речь о времени, когда биография Кутузова и история русского народа сольются в одно неразрывное целое. Здесь, в этой сжатой характеристике, лишь намечены этапы его жизни, названы главные вехи пути, по которому он шел к историческому бессмертию.

Любимец народа, любимец армии, национальный русский герой умер в ореоле немеркнущей славы. В солдатской песне, сочиненной на смерть Кутузова, говорится о закатившемся солнышке: «Как от нас ли, от солдатушек, отошел наш батюшка, Кутузов-князь!.. Разрыдалося, слезно всплакало войско русское, христианское! Как не плакать нам, не кручиниться, нет отца у нас, нет Кутузова!» Очень показательно, что прежде всего они вспоминают Царево-Займище: «А как кланялся он солдатушкам, как показывал седины свои, мы, солдатушки, в один голос все прокричали ура! С нами бог! и идем в поход, припеваючи». С Кутузовым все было легко: «Ах, и зимушка не знобила нас и бесхлебица не кручинила: только думали, как злодеев гнать из родимые земли русские». Но русский солдат помнит, что и сам Кутузов, как и его солдаты, служил Родине: «И клянемся все клятвой верною послужить вперед, как служили с ним!» [40]

Стратегия Кутузова одолела грозного врага под Бородином, создала затем и гениально проведенное контрнаступление, загубившее Наполеона. А геройское поведение регулярной армии при всех боевых встречах с неприятелем, деятельная помощь партизанской войны, народный характер всей войны в целом, глубоко проникшее в народ сознание справедливости этой войны — все это создало несокрушимый оплот, твердую почву, на которой возникли, развились и привели к победоносному концу стратегические комбинации Кутузова.

Военные писатели, делавшие попытки сформулировать, в чем заключались наиболее характерные черты стратегического искусства Кутузова, нередко начинали с указания на его «осторожность». Как мы уже отметили, осторожность вовсе не была чертой, сколько-нибудь свойственной природному характеру полководца. И в офицерских и в генеральских чинах он нередко шел именно там, где дело касалось непосредственно и лично ему грозящей опасности, на такой отчаянный риск, который вызывал не только восхищение со стороны солдат, но и некоторое беспокойство и нарекания со стороны ответственных

начальников. Храбрецов в русской армии и при Румянцеве и при Суворове было всегда более чем достаточно, а Кутузов нужен был армии не только из-за своей бестрепетной готовности встретить смерть лицом к лицу. Но с того момента, когда ему стали поручать самостоятельные военные операции, Кутузов неизменно обнаруживал замечательную способность не только удерживаться от самых соблазнительных порывов, если желанная цель была сопряжена с серьезным риском, но и умение твердо обуздывать увлечения своих подчиненных. Когда, командуя левым крылом в разгар штурма Измаила, он запросил у Суворова подкрепления, то это он сделал вовсе не потому, что находился в безвыходном положении. Напротив, после отказа Суворова он продолжал свои действия, и в конечном счете левое крыло оказалось победоносным. Но подкрепление, в котором ему было отказано, обеспечивало его операцию от риска неудачи, и Кутузов предпочел достигнуть намеченной цели с промедлением и не рисковать быть снова отодвинутым турецким натиском.

Широта кругозора, умение предвидеть и решительность в осуществлении намеченного замысла сочетались у Кутузова с другими характерными для него свойствами: разумной осторожностью, способностью трезво оценить сильные и слабые стороны противника и умением всегда ставить в каждый данный момент ясную и строго определенную цель. Когда ряд нелепых распоряжений и вмешательств абсолютного ничего не смыслившего в военном деле австрийского императора Франца и вполне достойных своего монарха генералов вроде Вейротера и Макка поставил Кутузова в октябре 1805 г. в совершенно отчаянное положение, то, по позднейшим отзывам даже неприятеля (наполеоновских маршалов), необходим был высокий уровень и моральных качеств войск и стратегического искусства их руководителя, чтобы избавиться от грозившего разгрома и сдачи на капитуляцию.

Дипломат (и писатель) Жозеф де Местр в своем служебном донесении сардинскому королю восторгался действиями Кутузова, который шел от Инна к Ольмюцу в течение сорока дней, не только отбиваясь от наседавшего неприятеля, но и временами переходя к очень активным действиям: «Во время этого отступления генерал Кутузов дал пять замечательных сражений: первое на Эмсе 16 октября, второе — на Ламбахе 19-го, третье — между Штренбергом и Амштеттеном 24 октября, четвертое — у Кремса на Дунае 12 ноября (под Дюренштейном — *Е. Т.*) и пятое — 15 ноября на пути от Кремса в Брюн (под Шенграбеном — *Е. Т.*)». Жозеф де Местр прибавляет, что «военная история не знает ничего подобного» [41].

И Кутузов не только совершает в самом деле свой изумительный поход от Кремса к Цнайму, от Цнайма к Ольмюцу и

спасает русскую армию из жестоких наполеоновских клещей, уже готовых ее сдавить, но делает это, одерживая после первых двух столкновений ряд крупных успехов — под Амштеттеном, под Дюрнштейном,— и без всяких колебаний прибавляем — под Шенграбеном, потому что именно здесь русская армия была спасена мыслью Кутузова и геройством Багратиона и его отряда от самой страшной опасности — почти неминуемой капитуляции. Поэтому Шенграбен, где весь ноябрьский день Багратион со своими шестью с половиной тысячами отбрасывал атаки Мюрата, у которого было в четыре раза больше сил, может быть назван успешным выполнением такого поручения, которое, кроме русских, едва ли кем-нибудь могло быть выполнено. Правда, из 6500 человек у Багратиона уцелело немногим больше половины, но вся русская армия была спасена. Эта точная и строго ограниченная цель была достигнута, потому что ни после амштеттенской победы, ни после серьезного поражения маршала Мортье под Дюренштейном Кутузов не увлекался рискованными советами и своекорыстными подстрекательствами со стороны австрийцев, а продолжал планомерно свое отступление и благополучно его закончил.

С этим свойством Кутузова связана и его способность не увлекаться слишком широкими замыслами и воздушными замками в постановке основных целей войны. Здесь громадные дарования Кутузова-дипломата как нельзя более помогали расчетам Кутузова-стратега. Таким он был, помогая Суворову в крымских делах, таким он был в войну с турками в 1808 — 1812 гг., когда Александру I представлялось весьма возможным делом овладение Константинополем.

В единственном случае, именно в 1812 г., Кутузов был согласен с постановкой цели самой широкой, фундаментальной победы над противником. Он твердо был уверен, что прочного мира с Наполеоном у России быть не может и что спокойствие и длительная безопасность России требуют не только освобождения России от нашествия, но и низвержения хищнической империи, покорившей континентальную Европу и уже стоявшей на Висле и на Немане. Но именно поэтому он требовал, чтобы Александр, ставя перед собой подобную цель, отдавал себе отчет в трудности предстоящей борьбы. Он требовал, чтобы готовились к очень долгому и грозному единоборству, к новым отчаянным схваткам.

В триумфальные дни своих великолепных четырехдневных побед под Красным, в ноябре 1812 г., о чем Кутузов говорит с пленным де Пюибюском? О том, есть ли надежда, что французский сенат наконец воспротивится военному деспоту и не даст ему возможность продолжать бесконечную войну.

Кутузов явно считал внутренний переворот во Француз-

ской империи (если бы он был сколько-нибудь возможен) более скорым и уж поэтому более желательным способом достигнуть основной цели войны — низвержения наполеоновского владычества,— чем окончательная военная победа. Но именно несбыточность этой мечты делала в соображениях Кутузова абсолютно необходимым продолжать войну вплоть до победоносного низвержения опасного противника. Кутузов лишь хотел, чтобы народы, которых пойдет освобождать русская армия, и сами деятельно участвовали в своем избавлении от ярма.

Как верховный распорядитель армии, Кутузов принадлежал к числу тех полководцев, которые придают громадное значение своевременной организации резервов, и он мирился с промедлениями, отсрочками, отказом от использования намечаемого или даже уже одержанного успеха, если не видел за собой достаточных резервов. За внешними эффектами он никогда не гнался. Одержав самую блестящую победу над турками под Рущуком в 1811 г., он сейчас же из Рущука ушел, как это и следовало по его сложным стратегическим и дипломатическим соображениям. В этом отношении он решительно не походил на таких полководцев, как, скажем, Карл XII, которому все разумные люди его штаба вроде Гилленкрока или графа Пипера, или даже Реншильда неоднократно советовали отступить к Днепру или за Днепр, но который ни за что не хотел совершить этот спасительный шаг, чтобы в Европе не сказали, что он уже не наступает, как всегда, а отступает. Не походил Кутузов и на Наполеона, который тоже неоднократно во имя подобных же эфемерных и тщеславных соображений совершал порой очень рискованные действия. Все его высказывания и, что важнее, все его действия всегда сводились к тому, что основная цель полководца — выиграть войну и что сравнительно с этой задачей выигрыш или проигрыш отдельной битвы и потеря или возвращение того или иного города являются делом второстепенным. Ведь в чем было разногласие между Кутузовым, с одной стороны, и обоими императорами, Францем и Александром, и их советчиками — с другой, в роковые дни, предшествовавшие Аустерлицу? Кутузов предлагал уйти в Рудные горы и там отсиживаться, ожидая эрцгерцога Карла с юга и пруссаков с севера на подмогу. Война, конечно, затянется на месяцы, но весной возможно ждать успеха. Другими словами, лучше с известным промедлением победить, чем безотлагательно быть поколоченным.

Но Александр, бездарный австриец Вейротер, легкомысленный, ничтожный, смотревший на Кутузова сверху вниз Петр Долгоруков слышать ничего не хотели об отступлении. И катастрофа произошла. Кстати заметим, что все эти пылкие воители, развязно спорившие с Кутузовым, в день Аустерлица

уцелели, а ранен был, и довольно опасно (в щеку), только старый Кутузов.

К числу главных достоинств Кутузова как полководца должно отнести умение выбирать нужных людей, хороших исполнителей его предначертаний, и вместе с тем таких, которым можно было бы поручать трудные задания и надеяться на их самостоятельные шаги в случае необходимости принятия внезапных решений при сложившейся обстановке, иногда совершенно неожиданной.

Выше было отмечено, что Кутузов во время своего контрнаступления широко пользовался так называемой «малой войной», т. е. посылкой отдельных отрядов иногда на далекие поиски, с конкретными боевыми поручениями. Эти отряды действовали очень часто (но далеко не всегда) в соединении с партизанскими отрядами. Единая мысль и единая воля, воля фельдмаршала, управляла и регулярными армиями и партизанами. Ближайшие помощники и сподвижники Кутузова, вроде Коновницына, Дохтурова, Милорадовича и других, вспоминали впоследствии с особенной любовью отличительную черту кутузовских приказов: необычайную ясность, краткость, удобопонятность. Эта драгоценная черта приводила к тому, что и рядовой, участвовавший в деле, отчетливо понимал основную стратегическую цель и тактические движения, хотя сплошь и рядом никто всего этого сколько-нибудь детально не объяснял. Эта черта еще более тесно сближала организм армии с ее «мозгом», т. е. Кутузовым и его штабом, и еще более крепила любовь и доверие русского войска к ее вождю, в котором оно видело олицетворение спасения и торжества России.

Кутузов обладал более обширным военным образованием, чем Петр I и даже Румянцев, и уступал в этом отношении, может быть, лишь Суворову. Но так же, как и эти его предшественники и старшие современники, он строил свою стратегию и тактику совершенно независимо от всего, что он мог вычитать у западноевропейских авторов, например в мемуарах Фридриха или в сочинениях о войнах Фридриха. Если немецкие теоретики в духе Клаузевица и его школы (например, Ганс Дельбрюк) не понимают и не признают Кутузова, то прежде всего потому, что его искусство не вмещается ни в одну из созданных ими схем. Имеются, по их убеждению, две стратегии: одна Фридриха II, а другая Наполеона. Школа Фридриха учит тому, что в трудной войне можно достигнуть успеха стратегией затягивания военных действий и тактикой «измора». И есть наполеоновская стратегия и сопряженная с ней тактика нанесения молниеносных сокрушительных ударов. Но Кутузов решительно нарушает стройность и простоту этой классификации. Сегодня он действует отступая,— например, при долгом

отступлении в Ольмюц — и вызывает характерную похвалу маршала Мармона, сказавшего, что это отступление не только геройское, но и «классическое», а завтра начинает и выигрывает самым блестящим образом четырехдневный бой под Красным, очень напоминающий сокрушительные удары Наполеона под Аустерлицем или Иеной, или Ваграмом. Сегодня он одерживает уничтожающую победу над турками в Рущуке, а завтра начинает изводить турок многомесячным измором. Конечный успех бывает у него полным или частичным, но поражений Кутузов не знает (аустерлицкое несчастье произошло именно потому, что в тот день и в предшествующие дни Кутузов был главнокомандующим лишь номинально).

Кутузов всецело принадлежит к русской школе стратегии. Подобно другим трем замечательным русским полководцам XVIII столетия — Петру I, Румянцеву и Суворову,— Кутузов обнаруживал свои богатые природные дарования решительно вне какой-либо зависимости от влияния военных теорий и образцов полководческого искусства Запада.

Петр I очень мало чему «учился» у Карла XII. И уж если говорить о стратегии, диаметрально противоположной полководческому «искусству» шведского воителя, то это именно стратегия Петра.

Румянцев и Суворов не только хорошо знали принципы военного учения Фридриха II, но даже воевали с ним, и не только воевали, но частенько и колотили его войска, однако ни в войне 1770—1774 гг., ни в каких иных походах их даже самый придирчивый глаз не найдет и признака влияния стратегии прусского короля. О Суворове можно было сказать, что в нем всегда жило одновременно и инстинктивное и вполне сознательное отталкивание от столь модного в тогдашней Европе «фридерицианства», и, подобно многим другим мнимо беспечным прибауткам Суворова, его слова о том, что он не пруссак, а природный русак, имели вполне определенный, весьма серьезный смысл. Полководческий гений Суворова развивался самобытно, и он создал свою «науку побеждать». Не Фридриху II, которого, по его собственному признанию, после семи лет тяжкой войны только совсем непредвиденный случай (смерть Елизаветы) спас от полной гибели, было учить русских полководцев науке побеждать.

Казалось бы, поскольку конечный военный успех служит обыкновенно наиболее существенным и убедительным мерилом целесообразности распоряжений и одаренности полководца, высокий талант Кутузова должен был быть признан и врагами и друзьями его. Он и был признан, и всякий раз, когда нужно было выйти из трудного положения, к Кутузову обращались. Нехотя, скрепя сердце делал это и царь. Но справедливой оцен-

ки своих стратегических достижений и подробного анализа их характерных черт Кутузов ни от современников, ни от ближайших поколений так и не дождался. Даже Суворову судьба не дала выявить свой гений так полно, как выявил свой гений Кутузов, которому пришлось и командовать громадными армиями, разбросанными на больших пространствах, и вести войны, от которых зависели честь и спасение государственной независимости России, и стать «вождем спасения», как назвал его Жуковский в своей «Бородинской годовщине».

С каким умилением немецкие военные историки описывают в качестве счастливого открытия проведение Гельмутом Мольтке принципа, гласящего, что войска должны двигаться отдельно друг от друга, а на врага ударить сразу, всем вместе: getrennt marschieren,— vereint schlagen! И ведь никто из них не пожелал вспомнить, что первым стратегом нового времени, за полстолетия до Мольтке, систематически проводившим этот принцип с полным успехом, был именно Кутузов, у которого не только в турецком походе 1811 г., но и в России в 1812 г. и даже в Пруссии и Саксонии в 1813 г. маршировали не армиями и не корпусами, а полками и временами чуть ли не ротами, что облегчало и снабжение их, и заботливое наблюдение за ними, и подготовку их к боевым столкновениям с неприятелем. А в решительный момент происходило нужное для удара соединение. Кутузов придавал большое значение редутам и вообще инженерной подготовке намечаемого поля битвы, и прежде всего это нужно сказать о Бородине. В данном случае Кутузов как бы следовал заветам Петра I.

Задолго до известного предостережения Наполеона, которое несколько раз давалось им в назидание его маршалам и генералам («Помните, когда вы обходите неприятеля, что он в это самое время может обойти вас»), Кутузов вполне самостоятельно держался этого взгляда и извлек из этого стратегического правила все нужные последствия. Наполеон имел случай убедиться, что Кутузов вообще в совершенстве постиг всю премудрость, касающуюся охраны армии от обхода, когда Кутузов через семь дней после занятия французами Москвы благополучно вошел в Красную Пахру, а затем двинулся к Тарутину и уже к 20 сентября был в Тарутине, в полной безопасности от обхода. И не только сам Наполеон, но и его историки, как французские, так и немецкие, никогда не узнали, что значение стратегического обхода и борьба против него продуманы Кутузовым давным-давно, задолго до гениального флангового марша в Красную Пахру и оттуда в Тарутино. Глубоко проникновенный выбор Кутузовым бородинской позиции на возможно далеком расстоянии от Москвы обеспечил успех этого

марша и лишил Мюрата с авангардом, да и всю армию Наполеона возможности совершить обход кутузовских войск.

Одной из наиболее характерных особенностей Кутузова как полководца была всегдашняя забота, во-первых, о резервах и, во-вторых, об организации и обеспечении снабжения армии всем необходимым. Он старался по возможности не отрываться далеко ни от резервов, ни от обоза, хотя это, естественно, замедляло движение армии, и на примере Наполеона он видел, что никакие успехи, которые может сулить быстрое продвижение армии, не могут вознаградить за роковые последствия оторванности от резервов и от средств снабжения. Разговаривая в ноябре 1812 г., после сражений у Красного, с военнопленным офицером де Пюибюском, Кутузов категорически утверждал, что Наполеон погубил свою армию тем, что не остановился в августе 1812 г. в Смоленске. Конечно, это не значит, что Наполеон не потерпел бы дальше окончательного поражения, но оно не было бы таким уничтожающим. Такова, очевидно, мысль фельдмаршала.

И здесь же отметим, к слову, еще одну счастливую особенность ума Кутузова: он превосходно понимал основные свойства интеллекта и характера своего противника, назывался ли этот противник Мулла-пашой Виддинским или Измаил-беем, или верховным визирем, или Мюратом, или Наполеоном. Только что сказав де Пюибюску, что Наполеон погубил себя, не оставшись в Смоленске, Кутузов столь же решительно прибавил, что ожидать от Наполеона, чтобы он (в августе) остановился в Смоленске,— значит не знать Наполеона: «Все, что требует времени, осмотрительности и забот о деталях, не может иметь места в его намерениях» [42].

В том-то и дело, что светлый, не предвзятый, проницательный взгляд Кутузова очень хорошо постигал и сильные и слабые стороны противника, а Наполеон не только недооценивал, но и решительно не понимал разносторонних и громадных умственных ресурсов и замечательных политических и стратегических дарований старого фельдмаршала. Войну Наполеона, предпринятую против России, Кутузов считал какой-то дикой странностью, своего рода безумием. Эти слова победоносного фельдмаршала в ноябре 1812 г. должны были прозвучать как роковой приговор в ушах французского офицера, потому что Кутузов прибавлял: «Вы уже не можете более противопоставить мне ни кавалерию, ни артиллерию» [43].

Одна из самых могучих и самых счастливых особенностей интеллекта Кутузова заключалась в том, что никогда он не был и не ощущал себя только полководцем, дающим сражения, или только дипломатом, ведущим переговоры, или только государственным человеком — правителем и устроителем боль-

ного края. Помогая Суворову и Потемкину в Крыму в 80-х годах XVIII в., он сегодня воюет с татарскими партиями, завтра ведет с ними переговоры, послезавтра административно устраивает территорию, последовательно переходящую под власть России, а потом, когда это оказывается нужным, опять обращается к мечу и опять к дипломатии. Когда в порядке опалы в октябре 1806 г. его назначают киевским военным губернатором или на такую же должность в Литву в июле 1809 г., то он, вводя упорядоченную администрацию, преследуя злоупотребления, в то же время успешно и умело и в Киеве и в Вильне считается с национальными стремлениями и обезвреживает планы Наполеона вызвать восстания или брожения в польском и литовском населении, с полным успехом пуская для этого в ход всю тонкость своего ума и дипломатические свои таланты, потому что ни в тильзитские, ни в эрфуртские дружеские излияния обоих императоров он не верит и знает, какая угроза висит над русскими западными губерниями и Литвой со стороны наполеоновского герцогства Варшавского и как ловки тайные агенты Наполеона в Литве, подсылаемые из Парижа и из Варшавы. Когда он получает очень замысловатое поручение — ликвидировать многолетние ошибки и всякие вольные и невольные неудачи слабых и неспособных своих предшественников и закончить больше пяти лет длившуюся турецкую войну, то здесь всякий осведомленный и беспристрастный человек не знает, кому больше удивляться — гениальному полководцу, искуснейшим маневром то на левом, то на правом берегу Дуная надломившему, а потом разгромившему турецкую армию под Рущуком и после Рущука, или же несравненному виртуозу дипломатического искусства, который сослужил России такую службу Бухарестским миром.

Эта разносторонность ума и дарований позволяла Кутузову выискивать такие неожиданные средства, прибегать к таким ресурсам и достигать таких результатов, которые другим не приходили и в голову. Предупредить войну, пока она еще только угрожает, или поскорее ее окончить, если есть хоть какая-нибудь возможность достигнуть желаемых результатов мирными переговорами, — вот черта, очень характерная для Кутузова.

К чему, собственно, если не считать нескольких второстепенных политических и коммерческих успехов, сводилось основное достижение кутузовской миссии в Константинополе в 1793—1794 гг.? К тому, что турки убедились не только в ненужности, но и в опасности для них политической дружбы с Францией. Этим была предупреждена и, во всяком случае, надолго отсрочена война и ликвидировалось неспокойное положение на Черном море. Такую же трудную и очень в тот мо-

мент нужную роль сыграл Кутузов и во время своего внезапного командирования Павлом I в 1798 г. в Берлин в качестве чрезвычайного посла. Русское правительство крайне недовольно было сепаратным миром Пруссии с Францией, заключенным в Базеле в 1795 г. Но Кутузов понял свою миссию так, что выгодней не углублять, а, скорее, ликвидировать это чувство раздражения и неудовольствия. Это ему вполне удалось, и опасное в тот момент охлаждение было ликвидировано без вреда.

Только что нами было отмечено, что Кутузов там, где это было возможно без ущерба для интересов и для чести России, стремился не только предупреждать, но по возможности и сокращать военные действия и достигать намеченных результатов, уже не прибегая к силе оружия. Воюя ли с Турцией или с Францией, Кутузов не переставал думать о том, нельзя ли для сокращения войны использовать внутреннее положение страны противника. Необыкновенно показательна в этом смысле беседа Кутузова с уже упомянутым пленным французским офицером де Пюибюском о том, возможно ли ждать в самой Франции решительного выступления против Наполеона, которое сломило бы его власть и, во всяком случае, лишило бы его воможности продолжать войну.

Передавая в точности (в диалогической форме) эту беседу с Кутузовым, шедшую на французском языке, де Пюибюск отмечает, что фельдмаршал дважды затрагивал вопрос о возможной будущей роли «охранительного сената» в борьбе против бесконечного самовластия императора и против новых и новых рекрутских наборов. Тут слова «le sénat conservateur» следует переводить не «консервативный», а «охранительный» сенат, то есть охраняющий конституцию. Кутузов знал, что это официальный титул сената, учрежденного Наполеоном. Этот сенат состоял из назначаемых фактически императором подобострастных чиновников, да и «конституция», которую они были призваны «охранять», заключалась лишь в юридическом оформлении бесконтрольной власти самодержца.

Очень поучительно отметить, что Кутузов в ноябре 1812 г. на полях битвы под Красным уже думал о низвержении власти Наполеона во Франции как о единственно возможном и желательном исходе войны. Он вовсе не считал таким исходом одно лишь изгнание агрессора из России. Кутузов только допытывался у своего собеседника, есть ли какая-нибудь надежда, что сенат отважится на такое революционное выступление, пока оно еще сопряжено с риском жизни для сенаторов, т. е., другими словами, пока еще русская армия не вошла в Париж. Де Пюибюск мог ответить на этот вопрос лишь отрицательно.

Замечательно, что Кутузов, широко осведомленный в евро-

пейских делах политик и дипломат, совершенно правильно предугадал, что без формального, по крайней мере, вмешательства сената дело низвержения владычества Наполеона не обойдется.

Формальное низложение династии Бонапартов и было совершено именно через посредство этого самого «охранительного сената». В апреле 1814 г.— но, конечно, только когда русские вошли в Париж — покорный сенат под водительством Талейрана сейчас же поспешил беспрекословно исполнить волю победителей. Предсказавший и как бы подсказавший это сенату еще в ноябре 1812 г. на кровавых полях Красного и так много сделавший для достижения этого результата старый русский полководец уже лежал тогда в могиле.

Не мудрствуя лукаво, скромный, очень несчастный, производящий впечатление безусловно правдивого человека, французский офицер де Пюибюск передает слова Кутузова в первом лице, и в примечании мы даем, таким образом, *подлинную* французскую речь Кутузова, а здесь, в тексте, лишь русский *перевод*. «Он (Кутузов — *Е. Т.*) спросил у меня: «В случае, если Наполеон ускользнет на Березине, настолько ли преданна ему Франция, чтобы еще предоставлять ему свою кровь и свои богатства? Будет ли благоприятствовать сенат новым наборам и покажет ли он себя более привязанным к Наполеону, чем к интересам нации?..» После того как вопрос, относящийся к сенату, был мне задан повторно, его превосходительство (Кутузов — *Е. Т.*) прибавил: «Если я не ошибаюсь, охранительный сенат должен бдить над правами и интересами французской нации. Могу ли я игнорировать то, что вы мне только что сказали о ее нежелании способствовать честолюбивым проектам, которые лишь увеличивают народные бедствия? Ведь одна из самых прекрасных функций, которые человек обязан выполнить, и составляет обязанность ваших сенаторов? Как вы думаете, какое положение они займут, если Наполеон сможет возвратиться в Париж?» [44] Приведя эти слова русского фельдмаршала, де Пюибюск с грустью вспоминает, что надежда на гражданское мужество сенаторов не оправдалась и что, когда Наполеон вернулся из России в Париж, сенат сейчас же утвердил производство нового набора, который и дал Наполеону 350 тысяч рекрутов.

На этот раз никакие попытки ускорить победоносное окончание войны организацией внутреннего переворота во Франции, как бы это ни было желательно, даже и не предпринимались Кутузовым. Он понимал это, конечно, и до разговора с названным военнопленным французом. Приходилось вести борьбу до конца чисто военными средствами, чего бы это ни стоило. Судя по многим признакам, умирая в Бунцлау

16 (28) апреля 1813 г., Кутузов не очень многого ждал от прусского короля, от двусмысленной, предательской, виляющей политики Меттерниха, от грубо своекорыстной, изменнической тактики британского кабинета. Наконец, при глубине своего политического ума и широте кругозора он, имевший возможность изучить всю пустоту, тупость, упрямство и невежество французской аристократической эмиграции еще по образчикам вроде Карла Артуа, прикармливаемого при дворе Екатерины, не мог не предвидеть, до какой степени эти господа, бредившие воскрешением феодализма, своей нелепой программой отталкивают от себя народную массу во Франции и тем самым против своей воли укрепляют положение грозного военного диктатора, продолжавшего отчаянную, кровавую борьбу. Все эти внешние и внутренние обстоятельства, проявившиеся во всей своей силе уже после смерти великого фельдмаршала, безмерно затянули борьбу, залили потоками крови поля Германии, Франции, Бельгии, и окончательное низвержение Наполеона с императорского престола произошло только после его нового царствования (Сто дней) и после кровавого побоища под Ватерлоо 18 июня 1815 г., т. е. через три года без двух с половиной месяцев после Бородина. Агония наполеоновской империи затянулась, но смертельный удар этой империи, после которого уже полного выздоровления быть не могло, был нанесен ей на Бородинском поле, и слава единственного истинного победителя, сокрушившего всеевропейского завоевателя, навсегда осталась за Кутузовым.

Именно на Бородинском поле непобедимый до той поры агрессор начал тот путь, который привел его на остров Св. Елены.

Под Бородином русский народ, старый русский великан, нанес дерзкому захватчику сокрушительный удар, и он упал в дальнем море на неведомый гранит: поэтическая аллегория, связавшая великую русскую победу с конечной гибелью завоевателя, в точности соответствует исторической действительности.

Бессмертная слава Кутузова создалась из нескольких элементов, которые редко встречаются в таком гармоническом соединении в одной индивидуальности и редко когда проявляются с такой яркостью на всемирно-исторической арене.

Кутузов-полководец по глубине своих стратегических замыслов, по смелости и оригинальности своих дерзаний и по громадности своих достижений является, конечно, первоклассной величиной в ряду замечательнейших полководцев мировой истории.

Разумеется, и его противниками во главе с царем было сделано все, чтобы сначала ему мешать, а затем по мере сил принижать и замалчивать его. Конечно, за границей эта политика замалчивания практиковалась относительно стратегических достижений Кутузова еще больше и еще бессовестнее, чем, например, относительно Петра или Суворова. Лучший военный теоретик Запада в середине XVIII в., Мориц Саксонский, восторгался оригинальностью и гениальностью идеи редутов на поле Полтавской битвы и называл Петра великим стратегом. Его книга «Военные мечтания» («Rêveries militaires») была переведена на все языки, читалась и цитировалась, но «забывали» цитировать только то, что говорилось о полтавских полевых редутах. О Суворове говорилось все, что угодно, кроме того, что он был замечательнейшим стратегом, а не просто храбрым рубакой.

Кутузов не избег общей участи. О Бородине говорилось как о «победе» Наполеона, а о замысле и, главное, о выполнении плана контрнаступления Кутузова не говорилось ровно ничего, так же как из истории 1805 г. выбрасывался и жестокий разгром корпуса Мортье Кутузовым и замысел (и полная удача) задержки громадной наполеоновской армии сравнительно ничтожными силами командированного Кутузовым Багратиона, так же как игнорировалась выигранная Кутузовым в 1811—1812 гг. трудная турецкая война. Игнорировался и поход 1813 г., причем Кутузова усердно замалчивали именно немецкие историки, хотя вплоть до смерти Кутузова, т. е. в течение первых четырех месяцев 1813 г., кутузовская армия выбрасывала вон французов из немецких городов, где они еще держались.

Кутузов-дипломат замалчивался еще усерднее и успешнее, чем Кутузов-стратег. Потемкину, а не Кутузову приписывались тонкие и сложные негоциации в Крыму, закончившиеся полным успехом. Платон Зубов и Безбородко постарались утаить личную роль Кутузова в Константинополе в 1793—1794 гг.; за блистательный, поистине головокружительный по своим достижениям Бухарестский мир 1812 г., освободивший Дунайскую армию для борьбы против Наполеона и спасший от турецкого владычества Бессарабию, Кутузов был «награжден» лишением командования, а вся слава этого мира была приписана Чичагову, который прибыл, когда уже все было сделано.

Кутузов-организатор, воссоздавший в Тарутине армию, имел прекрасных помощников — Коновницына, Дохтурова, Милорадовича, впоследствии Тормасова и нескольких других, правда, уступавших им, но все же преданных, способных, надежных людей. Но эта менее видная работа была известна и могла быть оценена лишь ближайшими сотрудниками.

И не помогло врагам кутузовской славы ровно ничего: ни замалчивания, ни клевета! Слава Кутузова с годами не меркла, а сияла все ярче и ярче. Кутузов-патриот, Кутузов — гениальный слуга России — стал любимцем народа задолго до 1812 г. Сначала ему поверила армия, за армией поверил народ. Любовь и доверие народа к Кутузову и были могучим оплотом в борьбе с противниками.

В литературе, посвященной истории 1812 г., и, кроме того, в характеристике Кутузова, в свидетельствах русских и иностранных много раз встречаются выражения, могущие сбить читателя с толку и способные представить Кутузова мягким, уступчивым, лукавым царедворцем, не желавшим энергично бороться против царей. Это — сплошь фальшивое, поверхностно составленное и легкомысленно сформулированное мнение. Перчатка у Кутузова была бархатная (да и то далеко не всегда), но рука — железная. Наглые приставания Франца I в 1805 г., чтобы Кутузов положил всю русскую армию для защиты Вены, Кутузов не то что отклонил, а просто не обратил на них ни малейшего внимания. Довольно нелепый план Александра в 1811 г. (о нападении на Константинополь) ни в малой степени не удостоился со стороны Кутузова серьезного рассмотрения. В 1812 г., после Бородина, он ничуть не смутился раздражительными укорами царя, эти укоры могли его оскорбить, но никак не повлияли на его зрело обдуманные действия. И если под Аустерлицем ему не удалось, несмотря на все усилия, побороть губительное, наглое, невежественное упорство Александра, то исключительно потому, что царь уже не советовался с ним ни вечером 1 декабря 1805 г., ни на рассвете 2 декабря, а просто стал отдавать приказания через Петра Долгорукова и других прихвостней.

Корифей военного искусства, первоклассный дипломат, замечательный государственный деятель — Кутузов прежде всего был русским патриотом. Там, где речь шла о России и ее военной чести, о русском народе и его спасении,— там Кутузов был всегда несокрушимо тверд и умел поставить на своем. Умел даже резко и публично оборвать царя, как он это сделал с Александром перед очищением Праценских высот в день Аустерлица. Оттого-то царь и придворные, военные и штатские блюдолизы, как русские, так и иностранные, и ненавидели старого фельдмаршала и боялись его. Их вражда к нему особенно усиливалась, потому что они прекрасно знали, что в трудную минуту все-таки придется идти на поклон к этому хилому старику с выбитым глазом и молить его о спасении и что позвать его заставит русский народ. «Иди, спасай! — Ты встал и спас»,— народ обратился к Кутузову с этими словами задолго до Пушкина.

Все лучшие, бесценные черты русского национального характера отличают натуру этой необыкновенной личности, вплоть до редкой способности человечно, даже жалостливо относиться к поверженному врагу, признавать и уважать во враге храбрость и другие воинские качества.

Его любовь к России обостряла в нем естественную подозрительность к иностранцам, как только он замечал в них стремление использовать Россию в своих интересах. А его громадный и проницательный ум быстро открывал перед ним самые сокровенные тайны сложной дипломатической лжи и интриги. Оттого-то его и не терпели Вильсон и британский кабинет, и клевреты Меттерниха, и император Франц, и прусский король Фридрих-Вильгельм III, с отчаяния хотевший даже подкупить Кутузова предложением богатого подарка — большого поместья.

Кутузов жил для России и служил России, но дождался вполне достойного его бессмертных заслуг признания его национальным героем только в наши времена низвержения и уничтожения гнуснейшего из всех агрессоров, когда-либо нападавших на русский народ и на народы, входящие в великий Советский Союз.

1952 г.

Комментарии

НАПОЛЕОН

Введение

[1] Verflucht sei, wer nach falschem Rat Mit überfrechem Mut Das, was der Corse-Franke tat, Nun als ein Deutscher tut и т. д. (привожу эти стихи в переводе Владимира Фишера.— *Е. Т.*).

[2] Маркс К. и Энгельс Ф. *Сочинения*, т. 5, стр. 310—311.

[3] Rosebery, lord. *Napoleon. The last phase*. London, 1922, стр. 7.

[4] Narbonne M. de. *Séjour à Moscou*, стр. 227—228 (*Souvenirs contemporains d'histoire et de littérature*, par Villemain. Paris, 1854).

Глава VI

[1] Нац. арх. F^7 3458, 7 décembre 1810, № 579.

Глава VII

[1] Ленин В. И. *Сочинения*, т. 22, стр. 295.

Глава IX

[1] Давыдов Д. В. *Сочинения*, т. I. СПб., 1893, стр. 306, 307, 308.

Глава XI

[1] Маркс К. и Энгельс Ф. *Сочинения*, т. 2, стр. 137.

[2] Там же, стр. 137—138.

[3] Нац. арх. F^7 3458. Paris, le 29 août 1810.

[4] Там же. *Rapport sur les journaux hollandais*.

[5] Правда, вскоре стали ограничиваться сожжением только фабрикатов, а колониальные продукты конфисковывались в пользу казны.

[6] *Mes souvenirs sur Napoléon*. Paris, 1893, стр. 283.

[7] Там же, стр. 285.

[8] Нац. арх. AN IV. 1318, № 62. Доклад министра внутренних дел 7 мая 1810 г.

Глава XIII

[1] Героической русской обороне я посвятил особое исследование (*Нашествие Наполеона на Россию. 1812 год*. М., 1938.— См. наст. том, стр. 433—738.— *Ред*.).

[2] W i l s o n R. *Narrative of events during the invasion of Russia.* London, 1860, стр. 115.
[3] D r i a u l t E. *La chute de l'Empire.* Paris, 1927, стр. 27—28.

Заключение

[1] М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. *Сочинения*, т. 7, стр. 513.
[2] Там же, стр. 506.
[3] М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. *Сочинения*, т. XI, ч. II, стр. 553.
[4] Там же.
[5] Там же, стр. 565.
[6] То есть сначала для французов в годы борьбы против интервентов, а потом для народов, оборонявшихся от Наполеона.
[7] К л а у з е в и ц. *О войне.* Военгиз, 1935, стр. 545.
[8] М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. *Сочинения*, т. XXV, стр. 183.
[9] М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. *Сочинения*, т. 2, стр. 564.
[10] Там же.
[11] Там же, стр. 563—564.
[12] М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. *Сочинения*, т. 6, стр. 298.
[13] М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. *Сочинения*, т. X, стр. 38—39.
[14] М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. *Сочинения*, т. 2, стр. 565.
[15] М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. *Сочинения*, т. IX, стр. 372.

О НАПОЛЕОНОВСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

[1] Точные названия этой и других упоминаемых здесь книг приведены в списке литературы.
[2] R o s e n k r a n z. *Hegels Leben.* Berlin, 1844, прилож. Urkunden, стр. 559.

НАШЕСТВИЕ НАПОЛЕОНА НА РОССИЮ

Глава I

[1] N a p o l é o n I. *Correspondance*, t. XXIV. Paris, 1868, № 19389, стр. 342. 20 Décembre 1812. *Réponse à l'adresse du Sénat Conservateur.*
[2] Там же, № 19390, стр. 343.
[3] Там же, ...je n'en eus pas même idée. № 19462, стр. 403.
[4] В я з е м с к и й П. А. *Полн. собр. соч.*, т. VII. СПб., 1882, стр. 443.
[5] Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Л), рукописный отдел (ГПБ), арх. Н. К. Шильдера, К-6, № 6. *Précis des principaux événements qui ont eu lieu depuis 1807.* Présenté le 8 août 1812 par le comte de Nesselrode à S. M. l'Empereur Alexandre. Копия.
[6] ГПБ, рукописный отдел, арх. Н. К. Шильдера. К-6, № 4. *Papiers interceptés*, Compiègne, 7 avril 1810. Копия.
[7] *Переписка Александра I с сестрой, великой княгиней Екатериной Павловной.* СПб., 1910, стр. 35—37.
[8] Сб. РИО, т. 21. СПб., 1877, стр. 416. Письмо П. А. Шувалова — Александру I. 3/15 мая 1811 г.
[9] *Переписка Александра I с Екатериной Павловной*, стр. 51.
[10] Там же, стр. 57.

[11] Сб. РИО, т. 21, стр. 352. А. Б. Куракин — Н. П. Румянцеву. Париж, 30 ноября 1811 г.

[12] ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-6, № 6. Союзный трактат Франции с Пруссией 24 (12) февраля 1812 г. Копия.

[13] ГПБ, рукописн. отд., арх. К. А. Военского, I, № 282. Подробная опись собственноручным письмам Александра I к Барклаю де Толли. Копия.

[14] *Correspondance*, t. XXIII, № 18541, стр. 275. Au prince Kourakine. Paris, le 3 mars 1812.

[15] Там же, t. XXIV, № 18981, стр. 75.

[16] Сб. РИО, т. 21, стр. 361. А. Б. Куракин — Н. П. Румянцеву, 11/23 апреля 1812 г.

[17] ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-6, № 6. Лористон—Даву, 24 апреля 1812 г. Копия.

[18] Там же, Нарбонн — Даву, Варшава, 24 (12) мая 1812 г. Копия.

[19] Там же.

[20] Там же, К-6, № 4. *Papiers interceptés. Situation de l'Espagne.* 25 août 1810. Копия.

[21] Там же, К-6, № 6. Сухтелен — Александру I. Стокгольм, 18 (30) марта 1812 г.

[22] Там же. Сухтелен — Александру I, 29 марта (10 апреля) 1812 г.

[23] *Русская старина*, 1896, август, стр. 332—333.

[24] Архив Лен. Отд. Ин-та истории АН СССР, ф. 36 (Воронцовых), оп. 1, № 1264, письма к сыну, т. II, л. 447, Londres, le 5 juin 1812. Пометка рукой самого Семена Романовича: 5 juin NS (т. е. 5 июня нового стиля). Все письмо, конечно, нафранцузском языке.

[25] Wilson R. *Narrative of events during the invasion of Russia.* London, 1860, стр. 275.

[26] ГПБ, рукописн. отд., арх. К. А. Военского, I, № 295. Папка *Ковно в 1812 г.*, рукопись *Дневник особенных происшествий в уездном ковенском училище* (без подписи), запись от 12 (24) июня 1812 г. Копия.

[27] *Lettres inédites de Napoléon I à Marie-Louise.* Paris, 1935, № 42.

[28] ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-9, № 11. *Записки и заметки современников о 1812 г. Краткое обозрение знаменитого похода российских войск против французов в 1812 г. Барклая де Толли.* Копия.

Глава II

[1] Изложение разговора Балашова с Наполеоном хранится в Военно-ученом архиве и несколько раз появлялось в печати, но с некоторыми сокращениями и изменениями (у Михайловского-Данилевского, у Тьера). Наиболее полно оно дано в издании Дубровина *Отечественная война в письмах современников.* СПб., 1882. № 19. Но и тут есть купюры, восстановленные, замечу, Николаем Карловичем Шильдером чернилами па полях в экземпляре издания Дубровина Публичной библиотеки по собственноручной записке А. Д. Балашова. Конечно, не во всем можно полагаться на балашовское изложение, а проверить его нельзя, так как ни Наполеон, ни его свита не оставили нам своей версии, и, например, точный и правдивый Сегюр, бывший все время в свите Наполеона, говорит об этом свидании на двух беглых страницах (т. I, стр. 171—172), причем тоже ссылается на русскую (т. е. балашовскую) версию.

[2] См. указанный выше экземпляр издания Дубровина с приписками Н. К. Шильдера, стр. 21.

[3] Ségur, t. I, стр. 73.

[4] Черновик его впервые напечатан А. Ф. Бычковым в первой книге *Русской старины* за 1870 г.

[5] Er lachte wie ein halb Wahnsinniger über die Niederlage unserer Heere.

[6] Так писал Александр I Салтыкову из-под Дриссы. См. Шишков А. С. *Дрисская записка.* ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-30, № 33.

[7] Там же, К-9, № 11. *К истории войны 1812 г.* Копия.

[8] Харкевич В. *1812 год в дневниках, записках и воспоминаниях современников.* Материалы Военно-ученого архива Главного штаба, т. II. Вильна, 1903, стр. 46—47.

[9] Toll F. von. Denkwürdigkeiten, Bd. I. Leipzig, 1856, стр. 327—328.

[10] Ср. *Обозрение состояния артиллерии с 1798 по 1848 г.* СПб., 1852.

[11] ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-9, № 11. *К истории войны 1812 г.*

[12] ГПБ, рукописн. отд., арх. К. А. Военского, I, № 226, помечено: «На Двине близ Дриссы. Июня 30 дня 1812», подписано:«Верноподданнейше граф А. Аракчеев, Александр Балашев, Александр Шишков».

[13] *Переписка Александра I с Екатериной Павловной*, стр. 76.

[14] ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-30, № 33. Шишков А. С. Цит. соч., Копия.

[15] Харкевич В. *1812 год в дневниках...*, т. II, стр. 7.

[16] Маркс К. и Энгельс Ф. *Сочинения*, т. XI, ч. II, стр. 569.

[17] Эти записки графа Толя, человека, бывшего в центре событий, в штабе Барклая, необычайно важны для истории войны. Отмечу между прочим, что Маркс и Энгельс очень охотно пользовались Толем для своих военных статей в американском энциклопедическом словаре. Вот то знаменательное показание графа Толя, на которое я ссылаюсь:

«...ist besonders bemerkenswerth dass keinem auch der ausgezeichnetsten Offiziere des Hauptquartiers zu Wilna, auch nur entfernt einfiel die ungeheure Ausdehnung Russlands zu Hülfe zu nehmen was nachher im Laufe der Ereignisse ganz von selbst und ohne das jemand beabsichtigt hätte zur entscheidenden Hauptsache wurde». См. Toll F. von. Цит. соч., т. I, стр. 247. Эти записки обработаны и изданы генералом Бернгарди, и о Толе там всюду говорится в третьем лице.

[18] ГПБ, рукописн. отд., арх. К. А. Военского, I, № 281. *Разные сведения по 1812 г. Рапорт генерал-лейтенанта Эссена Александру I, Рига, июля 9 дня 1812 г.* Копия.

[19] Ермолов А. П. *Записки.* М., 1865, стр. 148.

[20] ГПБ, рукописн. отд., арх. К. А. Военского, I, № 281. Яков Вилье — Александру I. Поречье, 17 июля 1812 г., папка *Разные сведения по 1812 г.*

[21] Там же. «*О раненых, находящихся в Смоленской губернии, в городе Вязьме*, папка *Разные сведения по 1812 г.*». Козодавлев — Александру I, 7 августа 1812 г. Копия.

[22] *Записка Каликста Даниловича о действиях Наполеона в Вильне.* Военский К. *Акты, документы и материалы*, т. I, стр. 410—411.

[23] *Lettres inédites de Napoléon à Marie-Louise*, № 44. Wilna, le 30 juin.

[24] Там же, № 46. Wilna, le 2 juillet 1812.

[25] *Correspondance*, t. XXIV, № 19024, стр. 109.

[26] *Французы в России*, ч. 1. М., 1912, стр. 27.

[27] *Correspondance*, t. XXIV, № 18995, Gloubokoïe, 22 juillet 1812, стр. 89.

[28] Там же, № 18948, стр. 53.

[29] Там же, № 18972. Наполеон — Евгению, стр. 70.

[30] Там же, № 18988, стр. 83.

[31] Военский К. *Акты, документы и материалы для истории 1812 г.* Т. I. СПб., 1909, стр. 416. Письмо Эйсмонта.

[32] ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-9, № 11. D'Aupias — Александру I, 28 января 1813 г.

[33] *Correspondance*, t. XXIV, № 18899. Vilna, 4 juillet 1812, стр. 16.

[34] *Correspondance*, t. XXIII, № 18529, стр. 259. Note pour le comte Daru: Ce sont des régiments qu'on essaye, sur lesquels on ne compte point.

[35] *Французы в России*, ч. I. М., 1912, стр. 43—44.

[36] *Correspondance*, t. XXIV, № 18879, стр. 4.

[37] Там же, № 18905, стр. 19—20.

[38] Там же, № 18910 и 18911, стр. 22—24.

[39] *Русская старина*, 1902, декабрь, стр. 548. Дан этот приказ на марше в местечке Мир.

[40] *Correspondance*, t. XXIV, № 18946, стр. 50.

[41] По словам поэта Батюшкова, Раевский впоследствии отрицал точность этого рассказа.

[42] Клаузевиц. *1812 год*. М., 1937, стр. 65.

[43] *Correspondance*, t. XXIV, № 19008, стр. 99.

[44] Там же, № 19010, стр. 100.

[45] Там же, № 19021, стр. 107.

[46] Там же, № 19035, стр. 116.

[47] Там же, № 19038, стр. 117.

[48] ...eh bien je traiterai avec les boïards sinon avec la population de cette capitale; elle est considérable, ensemble et conséquemment éclairée, elle entendra ses intérêts, elle comprendra la liberté (Ségur. Цит. соч., т. I).

[49] *Correspondance*, t. XXIV, № 19097, стр. 156.

Глава III

[1] Ермолов А. П. *Записки*, прилож., стр. 172—173. Багратион — Ермолову, 29 июля, четыре часа пополудни.

[2] Подлинник в Военно-учен. архиве, копия в бумагах Михайловского-Данилевского в ГПБ. Там же печатный экземпляр (1 из 15). Помечено это: «Оправдание главнокомандующего Барклая де Толли в действиях его во время Отечественной войны в 1812 г.»— «Вильна, 15 декабря 1821 г.»

[3] Ахшарумов Д. *Описание войны 1812 года*. СПб., 1819, стр. 55—56.

[4] Ермолов А. П. *Записки*, стр. 163.

[5] Колюбакин Б. *1812 год*, стр. 106.

[6] Харкевич В. *1812 год в дневниках...*, т. II, стр. 11—16.

[7] *Французы в России*, ч. 1. М., 1912, стр. 104.

[8] *Lettres inédites de Napoléon à Marie-Louise*, № 74, Smolensk, le 18 août 1812.

[9] *Correspondance*, t. XXIV, № 19098, стр. 157. A M. Maret, duc de Bassano, Smolensk, 18 août 1812.

[10] Его воспоминания прекрасно были переведены на русский язык под редакцией Н. Н. Губского: Ложье Ц. *Дневник офицера великой армии*. М., 1912.

[11] Там же, стр. 105.

[12] ГПБ, рукописн. отд., арх. К. А. Военского, I, № 261. Смоленская губерния. Сведения, доставленные Михайловскому-Данилевскому по письму за № 178.

[13] *Отечественная война в письмах современников* (1812—1815 гг.). Изд. Н. Дубровина. СПб., 1882, № 89 и 90. Багратион — Ростопчину.

[14] *Lettres inédites de Napoléon à Marie-Louise*, № 82. Viasma, le 30 août.

Глава IV

[1] Его воспоминания появились на французском языке, а то, что касается 1812 г.,— в русском переводе в *Русской старине* за 1889 г. Я

пользовался рукописью в архиве В. И. Семевского (ИРЛИ, арх. *Русской старины*).

[2] *Переписка Александра I с Екатериной Павловной*, Iaroslaw. Ce 5 août 1812, стр. 81.

[3] *Показания майора Пиотровского маршалу Бертье*. ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-6, № 10, без точной даты, 1812. Граф Красинский — Наполеону. Копия.

[4] *Переписка Александра I с Екатериной Павловной*, Iaroslaw. Ce 5 août 1812, стр. 81.

[5] *Отечественная война в письмах современников*, № 97. Князь Багратион — графу Ростопчину (собственноручно), 20 августа 1812 г., деревня Дурыкина на реке Москве.

[6] Там же, № 65. Граф Шувалов — Александру I. Moschinki, le 31 juillet 1812.

[7] *Двенадцатый год в записках В. И. Бакуниной.— Русская старина*, 1885, № 9, стр. 403.

[8] *Переписка Александра I с Екатериной Павловной*, Pétersbourg, le 8 août 1812, стр. 82.

[9] ИРЛИ, арх. Кутузова, ф. 358, № 73, л. 3, подлинный рескрипт 25 марта 1791 г., подпись (собственноручная): «Екатерина».

[10] *Мой век или история С. И. Маевского.— Русская старина*, 1873, август, стр. 154.

[11] Архив Лен. Отд. Ин-та истории АН СССР, ф. 36 (Воронцовых) le 22 mai 1812.

[12] *Русская старина*, т. 71, стр. 494, прим.

[13] Ермолов А. П. *Записки*, прилож., стр. 208.

[14] Замечу, что большинство официальных документов, сохранившихся в Военно-ученом архиве и в других хранилищах, к сожалению,дают об этих предбородинских днях гораздо меньше, чем исследователь вправе был бы ждать, да и в ряде случаев явно и преднамеренно приукрашивают и извращают действительность.

[15] *Мой век или история С. И. Маевского.— Русская старина*, 1873, август, стр. 145.

[16] *Отечественная война в письмах современников*, № 98. Кутузов — Ростопчину, 21 августа 1812 г. Колоцкий монастырь.

[17] Там же, № 127. Я. Виллуе [Вилье — *Ред.*] — графу Аракчееву, № 423, 12 сентября 1812 г. Красная Пахра.

[18] *Correspondance*, t. XXIV, № 19176, стр. 203.

[19] *Lettres inédites de Napoléon à Marie-Louise*, № 85. Ghjat[sk], le 2 septembre.

[20] Конечно, с другой стороны, сам Кутузов в официальном донесении Александру, озлобленному своему врагу, должен был оправдывать выбор позиции. Но принимать этот отзыв за действительное мнение Кутузова никак нельзя. Да и отзывается Кутузов об этой позиции довольно осторожно, говоря, что *на этих плоских местах* она была «наилучшей». Эта служебная реляция писалась для Александра, а не для потомства и истории.

[21] Ségur. Цит. соч., т. I, стр. 360.

Глава V

[1] См. Маркс К. и Энгельс Ф. *Сочинения*, т. XI, ч. II, стр. 637.

[2] См. Клаузевиц. *1812 год*, цит. изд., стр. 82.

[3] Ермолов А. П. *Записки*, стр. 195.

[4] Глинка Ф. *Воспоминания о 1812 годе*, т. II, стр. 73.

[5] Архив Лен. Отд. Ин-та истории АН СССР, ф. 36 (Воронцовых), оп. 1, № 1280. *Lettres du C-te de St.-Priest à l'Empereur de Russie du 27 août de Mojaisk.*

[6] ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-9, № 11, из бумаг Михайловского-Данилевского, Заметки генерала Никитина. Копия.

[7] Липранди И. П. *Материалы для Отечественной войны 1812 г.* СПб., 1867, стр. 14. Об этом говорят и другие.

[8] *Русская старина*, т. 72, стр. 44.

[9] *Lettres inédites de Napoléon à Marie-Louise*, № 88, Borodino, le 8 septembre.

[10] ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-9, № 11. *Краткое обозрение знаменитого похода российских войск против французов в 1812 г. Барклая де Толли.*

[11] Там же. К-7, № 8. 29 августа 1812 г. Донесение Льва Аршеневского — Д. П. Руничу. Копия.

[12] Липранди И. П. Цит. соч., стр. 7—8.

Глава VI

[1] Колюбакин Б. Цит. соч., стр. 116 (походный дневник Фабер де Фора).

[2] *Отечественная война в письмах современников*, № 128. Барон Винценгероде — императору Александру, 13 (25) сентября 1812 г. Давыдовка.

[3] Харкевич В. *1812 год в дневниках...*, т. I, стр. 23.

[4] *Отечественная война в письмах современников*, № 124. 11 сентября 1812 г.

[5] Там же, № 125 (в конверте на имя Каткэрта).

[6] Архив Лен. Отд. Ин-та истории АН СССР, ф. 36 (Воронцовых), оп. 1, № 1248, стр. 232—235. Не подписано.

[7] ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-30, № 23. Материалы Михайловского-Данилевского. *Записки князя А. Б. Голицына о 1812 г.* Копия.

Обе цитаты, приведенные на этой странице, найдены мной в Ленинградских архивохранилищах и впервые опубликованы в 1938 г. в первом издании моей книги.

[8] *Мой век или история С. И. Маевского.— Русская старина*, 1873, август, стр. 143.

[9] *Отечественная война в письмах современников*, № 120. П. М. Капцевич — графу Аракчееву, 6 (18) сентября 1812 г. Подольск.

[10] Харкевич В. *1812 год в дневниках...*, т. I, стр. 25.

[11] ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-30, № 23. *Записки князя А. Б. Голицына о 1812 г.*

[12] ГПБ, рукописн. отд., арх. К. А. Военского, I, № 300. Материалы 1812 г. *Записки неизвестного о сдаче Москвы.*

[13] ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-30, № 23. *Записки князя А. Б. Голицына.*

[14] *Пожар Москвы*, ч. I, стр. 12. *Записки Маракуева.*

[15] *Русский архив*, 1869, № 9. Передает это Языков со слов Аракчеева. Замечу, впрочем, что передача показания Аракчеева по своему стилю не внушает полного доверия: Аракчеев так не говорил.

[16] ЦГИАМ, ф. 1165, оп. 1, ед. хр. 164, л. 1—4. Саратовская губерния, прокурор — министру юстиции, 15 июля 1812 г. *Речь Наполеона к князьям* (sic!) *Рейнского союза и королю Прусскому в Дрездене.*

[17] Ségur. Цит. соч., т. II, стр. 37.

[18] *Souvenirs du duc de Vicence.* Bruxelles, 1838, стр. 87.

[19] ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-6, № 4. *Papiers interceptés, 1812.* Moscou, 15 octobre 1812, подпись: «Prosper».

[20] *Lettres inédites de Napoléon à Marie-Louise*, № 93, le 16 septembre.

[21] ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-7, № 8. Москва, 24 октября 1812 г. Донесение Коржачевского — Руничу.

[22] Там же, К-6, № 10. Бумаги, отбитые у французов. Иван Тутолмин— Александру I, 7 сентября 1812 г.

[23] ГПБ, рукописн. отд., арх. К. А. Военского, I, № 259, папка *Московская губерния*, № 71, *Московской управы благочиния г. экзекутору Андрееву*.

[24] *Souvenirs du duc de Vicence*, стр. 92.

[25] ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-6, № 4. *Papiers interceptés, 1812*. Moscou, le 15 octobre, подпись: «Prosper».

[26] ГПБ, рукописн. отд., арх. К. А. Военского, I, № 282. 1812 г. *Сведения, полученные от выехавших из Москвы коллежского асессора Пестова, прапорщика Спекгана и штаб-ротмистра Булычева* (октябрь 1812 г.).

[27] *Lettres inédites de Napoléon à Marie-Louise*, № 94.

[28] ИРЛИ, арх. Кутузова, ф. 358, № 6, л. 1—1 об. черновик.

[29] *Отечественная война в письмах современников*, № 133, 17 сентября 1812 г.

[30] *Переписка Александра I с Екатериной Павловной*, стр. 83. Iaroslaw. Ce 3 septembre 1812.

[31] Там же, стр. 84. Pétersbourg, le 7 septembre 1812.

[32] ...une fois la guerre engagée, il faut que lui, Napoléon, ou moi, Alexandre, y perde sa couronne.— *Souvenirs du duc de Vicence*, t. I, стр. 84.

[33] *Переписка Александра I с Екатериной Павловной*, стр. 83—84. № 33. Iaroslaw. Ce 6 septembre 1812.

[34] Там же, стр. 86, 18 сентября 1812 г. Письмо занимает около 7 печатных страниц большого формата. Как и вся эта переписка, письмо написано на французском языке.

[35] ...on Vous accuse d'*ineptie*.— Там же, стр. 95. Iaroslaw. Ce 23 septembre 1812.

Глава VII

[1] Харкевич В. *1812 год в дневниках*, т. II, стр. 78—79. (*Записки Бенкендорфа*).

[2] ЦГИАЛ, ф. 1286, оп. 2, 1812 г., ед хр. 159, л. 1—222. *Дело об ослушании крестьян, купленных надворным советником Яковлевым. Начато 7 мая 1812 г., кончено 27 октября 1813 г.*

[3] *Журнал комитета министров. Царствование Александра I*, т. II. СПб., 1888, № 30, стр. 466.

[4] ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-7, № 8. Богдан Греве — Д. П. Руничу, 15 октября 1812 г.

[5] *Журнал комитета министров. Царствование Александра I*, т. II, стр. 566.

[6] Там же, стр. 712.

[7] ЦГИАЛ, ф. 1405, оп. 10, ед. хр. 2690, л. 3—8 об. 1812 г. рапорт прокурора от 13 декабря 1812 г.

[8] Там же, л. 12—13, донесение пензенского губернского уголовных дел стряпчего губернскому прокурору, 11 января 1813 г.

[9] Ростопчин — Александру I, 17 декабря 1806 г., Москва.

[10] *Двенадцатый год в записках В. И. Бакуниной*.— *Русская старина*, 1885, № 9, стр. 397.

[11] Архив Лен. Отд. Ин-та истории АН СССР, ф. 36 (Воронцовых), оп. 1, № 1248, т. VII, стр. 234 (без подписи).

[12] Харкевич В. *1812 год в дневниках...*, т. II, стр. 82—83 (*Записки Бенкендорфа*).

[13] *Отечественная война в письмах современников*, № 331. 16 января 1813 г. Бромберг.

[14] *Журнал комитета министров. Царствование Александра I.* Т. II, стр. 553.

[15] *Бумаги, относящиеся к Отечественной войне 1812 г.*, собр. и изд. П. И. Щукиным, ч. III. М., 1898, стр. 72.

[16] Опись документов и дел, хранящихся в сенатском архиве. *Отечественная война*, № 727, стр. 210—211.

[17] *Двенадцатый год в записках В. И. Бакуниной.— Русская старина*, 1885, № 9, стр. 409.

[18] ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-7, № 8. Секретно. Нижний-Новгород, 19 октября, № 236, Рунич—Козодавлеву.

[19] Там же, Москва, 29 сентября. Рунич — Козодавлеву. В собственные руки.

[20] Сб. РИО, т. 139. *Акты, документы и материалы для истории 1812 года*, стр. XXXV — XXXVII.

Глава VIII

[1] ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-6, № 10. Бумаги, отбитые у французов. Иван Тутолмин — Александру I, 7 сентября 1812 г.

[2] *Correspondance*, t. XXIV, № 19213, стр. 221—222, à Alexandre I, l'empereur de Russie. Moscou, 20 septembre 1812.

[3] *Рассказ о 12-м годе. Русский архив*, 1871, перепечатка в *Пожаре Москвы*, стр. 135.

[4] Герцог Бассано — Наполеону. Вильна, 22 сентября 1812 г.

[5] ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-6, № 4. *Papiers interceptés*, письмо Pastoret à Bignon, 26 octobre 1812.

[6] Там же, К-6, № 5. Наполеон — герцогу Фельтрскому. Moscou, le 16 octobre 1812.

[7] Там же, К-7, № 8. Из бумаг Рунича. Переписка с Козодавлевым (декабрь 1812 г.).

[8] Харкевич В. *1812 год в дневниках...*, т. I, стр. 30. (*Записки Щербинина*).

[9] Там же, стр. 33: Vous commandez l'armée, je ne suis que volontaire.

[10] Маркс К. и Энгельс Ф. *Сочинения*, т. XI, ч. II, стр. 577.

[11] Архив Лен. Отд. Ин-та истории АН СССР, ф. 36 (Воронцовых), письма разных лиц, оп. 1, № 1243, л. 488, об. Burlégh, le 22 septembre 1812, подписано «George Tate».

[12] *Отечественная война в письмах современников*, № 146. Роберт Вильсон — лорду Каткэрту. 23 сентября/5 октября 1812 г.

[13] Там же, № 172. Кутузов — Бертье, 8 октября 1812 г.

[14] *Correspondance*, t. XXIV, № 19273, стр. 264.

[15] Там же, № 19275, стр. 265. Moscou, le 16 octobre 1812.

[16] ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-6, № 5. Lettres interceptées. Наполеон — Марэ, Герцогу Бассано. Moscou, le 16 octobre 1812; *Correspondance*, t. XXIV, № 19278, стр. 268.

[17] Там же. Коротенькая записка Наполеона Марэ, герцогу Бассано (этот приказ дан в другой редакции). Moscou, le 16 octobre 1812.

[18] Там же. Наполеон — Савари, Герцогу Ровиго. Moscou, le 16 octobre 1812.

[19] Там же. Наполеон — Марэ, герцогу Бассано. Moscou, le 16 octobre 1812.

[20] *Отечественная война в письмах современников*, № 177. Беннигсен— жене, 10 октября 1812 г.

[21] *Мой век или история С. И. Маевского.— Русская старина*, 1873, август, стр. 157.

[22] Харкевич В. *1812 год в дневниках...*, т. I, стр. 43 (*Записки Щербинина*): «Вскоре после Тарутинского сражения Кутузов получил от государя письмо, которое послано было Беннигсеном его величеству. В этом письме заключался донос на Кутузова в том, что будто бы он оставляет армию в бездействии и лишь предается неге... Кутузов тотчас по получении этого письма велел Беннингсену оставить армию».

[23] *Lettres de Napoléon à Marie-Louise*, № 113, 20 octobre 1812 (из Десны).

[24] ЦГИАЛ, ф. 1345, оп. 98, ед. хр. 942, ч. I—V, дело о чиновниках и пр., показание Бестужева-Рюмина от 14 февраля 1814 г.

[25] ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-7, № 8. Донесение А. Коржачевского — Д. П. Руничу. 24 октября 1812 г.

Глава IX

[1] Липранди И. П. Цит. соч., стр. 33—34.

[2] *Отечественная война в письмах современников*, № 191. Роберт Вильсон — лорду Каткэрту.

[3] Там же, № 197. 23 октября/4 ноября 1812 г. Вязьма.

[4] ИРЛИ, арх. Кутузова, ф. 358, № 73. л. 68. Vienne, le 5 novembre 1805. Император Франц — Кутузову (собственноручное письмо, до сих пор не изданное).

[5] Харкевич В. *1812 год в дневниках...*, т. I, стр. 81.

[6] *Отечественная война в письмах современников*, № 261. 19 ноября/1 декабря 1812 г. Письмо англичанина Д. к его матери.

[7] Там же, № 211. Воейков — Г. Р. Державину. 30 октября 1812 г. Ельня.

[8] ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-9, № 11. *Записки генерала Крейца*. Эти записки были изданы, но не полно, во II выпуске (*1812 год в дневниках и документах*).

[9] Там же. Д'Опиа — Александру I. 26 января 1813 г. *Записка о войне 1812 г.* Копия.

[10] *Пожар Москвы*, ч. 1. М., 1911, стр. 126. *Письмо смоленского помещика*.

[11] Давыдов Д. В. *Сочинения*, т. II. СПб., 1893, стр. 31—35.

[12] *Русская старина*, 1898, июль, стр. 99—102.

[13] Волконский С. Г. *Записки*. СПб., 1902, стр. 207.

[14] Давыдов Д. В. *Сочинения*, т. III. СПб., 1893, стр. 76—77.

[15] Харкевич В. *1812 год в дневниках...*, т. II, стр. 112—113.

Глава X

[1] ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-6, № 4. *Papiers interceptés*. Duroc, duc de Friout, à Montesquieu. Smolensk, le 10 novembre 1812. Копия.

[2] Материалы Военно-учен. арх., *Отечественная война*, т. XIX, № 530, стр. 196, 15 ноября.

[3] Харкевич В. *Барклай де Толли в Отечественную войну*. СПб., 1904, стр. 36.

[4] Там же.

[5] *Отечественная война в письмах современников*, № 236. Роберт Вильсон — лорду Каткэрту. 7/19 ноября 1812 г.

[6] Там же, № 219. Роберт Вильсон — Александру I. 31 октября/12 ноября 1812 г. Лапково.

[7] Х а р к е в и ч В. *1812 год в дневниках...*, т. I, стр. 46—47.

[8] Л е в е н ш т е р н. В. И. *Записки. — Русская старина*, 1901, январь, стр. 123.

[9] Там же, февраль, стр. 375.

[10] Д а в ы д о в Д. В. *Сочинения*, т. II, стр. 103.

[11] Там же, стр. 108—109.

[12] Архив Лен. Отд. Ин-та истории АН СССР, ф. 36 (Воронцовых), письма к сыну, оп. 1, № 1264, л. 510, Londres, le 4 décembre 1812.

[13] ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-7, № 6. *Материалы к истории 1812 г.* Тормасов — Сакену. 7 июля 1812 г.

[14] *Correspondance*, t. XXIV, № 19340, стр. 340. Doubrovna, 18 novembre 1812, от той же даты № 19341; 19342 (от 19 ноября).

[15] ГПБ, рукописн. отд. *Критическое положение Наполеона при переправе французской армии через Березину*. СПб., 1833.

[16] Д а в ы д о в Д. В. *Сочинения*, т. II, стр. 122.

[17] *Отечественная война в письмах современников*, № 251, 18/30 ноября 1812 г. Орехов.

[18] Л е в е н ш т е р н В. И. *Записки. — Русская старина*, 1901, февраль, стр. 365.

[19] Там же, стр. 376—377.

[20] Там же, стр. 374, 378.

[21] *Записки Мартоса.— Русский архив*, 1893, № 8, стр. 500, 502.

[22] *Русский архив*, 1868, т. 6, стр. 1988.

[23] S é g u r. Цит. соч., II, стр. 392.

[24] Д а в ы д о в Д. В. *Сочинения*, т. II, стр. 141.

[25] ГПБ, рукописн. отд., арх. К. А. Военского. *Ковно в 1812 г.*, рукопись. *Дневник особенных происшествий в уездном ковенском училище.*

[26] Там же.

[27] *Отечественная война в письмах современников*, № 310. *Extrait d'une lettre de Varsovie* (первая строка: Au passage de Napoléon par Varsovie, le 10 décembre 1812...).

[28] ИРЛИ, арх. Кутузова, ф. 358, № 73, л. 23, собственноручное письмо Александра, «Полотцк (sic!), Понедельник 9 дек. 1812».

[29] W i l s o n R. Цит. соч., стр. 356—357.

[30] ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-7, № 8, бумаги Рунича, рапорт (неподписанный) — министру внутренних дел Козодавлеву, Москва, 26 декабря 1812 г.

[31] Там же. Донесения губернских почтмейстеров — Д. П. Руничу. Донесение Бабаева. Тула, 4 августа 1813 г.

[32] ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-8, № 1. Шильдер, до которого, передаваясь от поколения к поколению, дошло это известие, не мог им воспользоваться в своей биографии Александра I, очевидно, по цензурным условиям.

[33] ИРЛИ, арх. Кутузова, ф. 358, № 73, л. 24, письмо Александра I Екатерине Ильиничне Кутузовой. Дрезден, 25 апреля (7 мая) 1813 г. (собственноручное).

Заключение

[1] Ч е р н ы ш е в с к и й Н. Г. *Полн. собр. соч.*, т. III. СПб., 1906, стр. 256—257.

МИХАИЛ ИЛЛАРИОНОВИЧ КУТУЗОВ — ПОЛКОВОДЕЦ И ДИПЛОМАТ

[1] Моя старая книга была написана в 1937 г., а подписана к печати 2 июня 1938 г. И по использованным материалам, и по общей концепции

военных действий, и по ряду вопросов истории 1812 г. вообще эта книга, написанная 14 лет тому назад, конечно, очень расходится с подготовляемой мною новой работой и в главных выводах и во многих деталях. Об этом я уже сказал в своем «Письме в редакцию журнала «Большевик» (№ 19 за 1951 г.). В предлагаемой ныне статье я учел также ряд замечаний, сделанных редакцией журнала «Большевик» в том же № 19, в статье «От редакции», помещенной вслед за моим письмом в редакцию по поводу статьи С. Кожухова о моей старой книге. В подготовляемой мною книге будет дана также оценка двух вышедших недавно исследований (Жилин И. *Контрнаступление Кутузова в 1812 г.* и Бескровный Л. *Отечественная война 1812 года и контрнаступление Кутузова*).

[2] *Petit Larousse illustré*. Paris, 1909, стр. 1406; в издании 1892 г., стр. 1183.

[3] Дельбрюк Г. *История военного искусства в рамках политической истории*, т. IV. М., 1938, стр. 386.

[4] См. *М. И. Кутузов*. Документы. Под редакцией Л. Г. Бескровного, т. I. М., 1950. Док. № 7. Из реляции главнокомандующего крымской армией генерал-аншефа В. М. Долгорукова Екатерине II о сражении под Алуштой и ранении М. И. Кутузова (28 июля 1774 г.). Лагерь при Сарабузды.

[5] См. там же, № 106. Реляция Г. А. Потемкина Екатерине II о сражении под Очаковом и ранении М. И. Кутузова (22 августа 1788 г.). Лагерь под Очаковом.

[6] *Фельдмаршал Кутузов*. Сборник документов и материалов. Госполитиздат, 1947, стр. 63, док. № 30. Из рапорта А.В. Суворова Г. А. Потемкину о взятии Измаила 21 декабря 1790 г. (1 января 1791 г.).

[7] *М. И. Кутузов*. Документы, т. I, стр. 226, док. № 317, М. И. Кутузов — Екатерине II (21 августа 1793 г.).

[8] Там же, стр. XIV.

[9] Maistre J. de. *Oeuvres complètes*, t. X. Lyon, 1885, стр. 22: Ce malheur a été préparé comme tous les autres par le cabinet d'Autriche.

[10] Петров Н. *Война России с Турцией*, т. III, стр. 382: «Нужно было большое дипломатическое искусство, чтобы внушить Порте недоверие к Наполеону».

[11] Madelin L. *Histoire du Consulat et de l'Empire*. Paris, 1940—1954.

[12] *Переписка императора Александра I с сестрой, великой княгиней Екатериной Павловной*. СПб., 1910 (французский подлинник), стр. 87.

[13] Глинка Ф. *Письма русского офицера*, ч. IV. М., 1815, стр. 50.

[14] Кутузов. М. И. *Из личной переписки*. Кутузов — Чичагову, 14 августа 1812 г., по дороге в Яжембицы. — *Знамя*, 1948, № 5, стр. 96.

[15] Михайловский-Данилевский А. И. *Описание Отечественной войны 1812 г.*, ч. 2. СПб., 1843, стр. 191.

[16] Napoléon. *Correspondance*, t. XXIV. Paris, 1868, стр. 203—204.

[17] Михайловский-Данилевский А. И. Цит. соч., стр. 261.

[18] Архив Лен. Отд. Ин-та истории АН СССР. ф. 36 (Воронцовых), т. VII, л. 232—235.

[19] ГПБ, рукописн. отд., арх. А. А. Майкова. Трощенский — Кутузову. Кобенцы, 10 декабря 1812 г.

[20] *1812 год*. Песни: «Москва в огне» и пр. М., 1912, стр. 6—7. Сложена в лагере Кутузова при Тарутине.

[21] Материалы Военно-ученого архива (Главное управление Генерального штаба). *Отечественная война 1812 года*, т. XVIII, № 20 (письмо к Кутузову) и № 24 (письмо к П. А. Толстому), стр. 25 и 33.

[22] Там же, № 148, стр. 118. Барклай де Толли — государю императору. 24 сентября 1812 г. Из Камри.

[23] См. *Фельдмаршал Кутузов*. Сборник документов и материалов, стр. 212, № 160, 11/23 октября 1812 г. Из журнала военных действий об оставлении войсками Наполеона Москвы и отступлении его от Малоярославца.

[24] См. там же, стр. 219—220, № 169. Донесение М. И. Кутузова Александру I о сражении у города Вязьмы: 24 октября /5 ноября 1812 г.

[25] Я считаю, что главная, центральная роль в победах Кутузова принадлежала именно регулярной армии, а партизанское движение играло хоть и важную роль, но все же имело лишь второстепенное значение (см. *Большевик*, 1951, № 19). В моей формулировке в старой книге была неясность, заставившая думать, что я приписываю главную роль не регулярной армии, а партизанам.

[26] ГПБ, рукописн. отд. Смоленск, 7 ноября 1812 г. (из перехваченных казаками бумаг).

[27] Ср. Тарле Е. *Нашествие Наполеона на Россию*, стр. 233. Издание 1943 г. (см. наст. том, стр. 630. — *Ред.*).

[28] См. *Фельдмаршал Кутузов*. Сборник документов и материалов, № 166, стр. 216—217. Предписание М. И. Кутузова Витгенштейну следовать к Днепру (22 октября/3 ноября 1812 г.), № 167, стр. 217—218. Предписание М. И. Кутузова П. В. Чичагову об отправлении части его войск на Борисов (23 октября/4 ноября 1812 г.).

[29] Там же, № 184 и 185, стр. 238 и 239. Письма к Витгенштейну и Чичагову.

[30] См. там же, № 187 и 188, стр. 241 и 242.

[31] См. также Тарле Е. *Послесловие* в книге: Бескровный Л. Г. *Отечественная война 1812 года и контрнаступление Кутузова*. М., 1951, стр. 174—179.

[32] См. *Фельдмаршал Кутузов*. Сборник документов и материалов, № 191, стр. 245. Предписание М. И. Кутузова П. В. Чичагову о порядке прохождения войск через Вильно (27 ноября/9 декабря).

[33] См. там же, № 199, стр. 251. Предписание Кутузова Витгенштейну (11/23 декабря 1812 г.).

[34] Ср. мое исследование *Континентальная блокада*. СПб., 1913, стр. 680—695, а также 464—505. (см. наст. изд. т. III.— *Ред.*)

[35] ГПБ, рукописн. отд. Военное министерство. Канцелярия министерства, отд. 1, 3-й стол, № 103. Дело о печатании книги Р. Вильсона.

[36] ГПБ, рукописн. отд. Кутузов к Винценгероде. Калиш, 24 марта 1813 г. Письмо на французском языке.

[37] *Военные русские песни*. М., 1879, стр. 60 и 16—17.

[38] Ср. *Русский биографический словарь*. Издан под наблюдением А. А. Половцева, т. 9. СПб., 1903, стр. 690.

[39] Дубровин Н. *Отечественная война в письмах современников 1812—1815*. Приложение к XLIII т. *Записок Академии наук*, № 1. СПб., 1882, стр. 469, № 346. Князь М. И. Кутузов — Л. И. Кутузову, 28 марта 1813 г. На дороге к Дрездену.

[40] Боевые и народные песни 1812—1815 гг. СПб., 1877, стр. 53—56.

[41] *Русский архив*, 1871, стр. 70—71 (втор. отдел), ср. Maistre J. de. *Oeuvres complètes*, t. I. *Correspondance*, t. II. Lyon, 1885, стр. 19—20. L'histoire militaire ne présente rien d'égal.

[42] *Lettres sur la guerre de Russie 1812... par L. V. de Puibusque*. A Pa-

ris, 1817, стр. 171. Слова Кутузова: Tout ce qui demande du temps, de ménagements et des soins de détail ne peut trouver place dans ses desseins.

[43] Там же, стр. 165: En partant de Smolensk, vous ne pouviez plus m'opposer ni cavalerie, ni artillerie. Кутузов тут имеет в виду Смоленск, в ноябре 1812 г., конечно.

[44] Si je ne me trompe, le Sénat-conservateur doit veiller aux droits et aux intérêts de la nation française? Je ne peux ignorer tout ce que vous venez de me dire, de sa répugnance à servir des projets ambitieux qui ne font qu'augmenter la misère publique? C'est une des plus belles fonctions que l'homme puisse avoir à remplir que celle de vos sénateurs. Quel parti croyez vous qu'ils prennent, si Napoléon peut revenir à Paris? (там же, стр. 167).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Тарле
Евгений Викторович

Собрание сочинений, т. VII

Составители:
А. В. Паевская и А. Г. Чернов

•

Редактор Издательства *К. А. Гусева*
Технический редактор *Т. П. Поленова*
Художник *Н. А. Седельников*

•

РИСО АН СССР № 32–24 В
Сдано в набор 19/II 1959 г. Подп. в печать 17/VI 1959 г.
Формат бум. 60×92¹/₁₆. Печ. л. 54,25 + 2 вкл.
Уч.-изд. л. 52,8+0,2 вкл. Тираж 30000 экз.
Изд. № 3493. Тип. зак. 1443
Цена 20 руб

Издательство Академии наук СССР.
Москва, Б-62, Подсосенский пер., д. 21

2-я типография Издательства АН СССР.
Москва, Г-99, Шубинский пер., д. 10

ОПЕЧАТКИ в VI томе

Стр	Строка	Напечатано	Должно быть
475	св. 15	væux	vœux
599	сн. 22	все-такие	все-таки
669	св. 19	du-Rhôme	du-Rhône
669	св. 32	Conceil	Conseil
699	сн. 6	d'opiniâtrète difficite	d'opiniâtreté difficile
732	сн. 11	donne	bonne
745	сн. 1	de le Convention	de la Convention
761	св. 31	La 6 prairial	Le 6 prairial
771	сн. 15	ving	vingt